



**БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ
МИСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ
В ОДНОМ ТОМЕ**



**2016
МОСКВА**

**Большое собрание мистических
историй в одном томе**

С той стороны зеркального стекла

Эрнст Теодор Амадей Гофман

(1776–1822)

Приключение в ночь под Новый год

(Из «Фантазий в манере Калло»)

Пер. с нем. Л. Лунгиной

Предисловие издателя

И эту «Фантазию в манере Калло» мы позаимствовали из дневника путешествующего энтузиаста, который настолько не отделяет свою внутреннюю жизнь от внешней, что провести между ними черту было бы для него весьма затруднительно. Но именно потому, что и тебе, благосклонный читатель, вряд ли удастся их четко разграничить, наш духовидец, быть может, сумеет завлечь тебя в свой мир и ты незаметно для себя окажешься в чуждом тебе волшебном царстве, причудливые обитатели которого, ничтоже сумняшеся, станут вторгаться в твою обыденную жизнь и вести себя с тобой запросто, словно со старым знакомым. И я всем сердцем прошу тебя, мой благосклонный читатель, чтобы и ты отвечал им тем же, беззлобно снося все их странные выходки, и не выказывал своего душевного смятения, когда существа эти начнут тебе уж больно докучать. Вот, пожалуй, и все, что я смогу сделать для нашего путешествующего энтузиаста, с которым повсюду и всегда, а уж тем более в канун Нового года в Берлине, случаются ни с чем не сообразные, просто черт знает какие происшествия.

1. Возлюбленная

Смерть, ледяная смерть сковала мое сердце. Да, из самого нутра, из самой его сердцевины вонзала она свои колючие ледяные пальцы в мои раскаленные нервы. Точно безумный, выскочил я (без пальто и шляпы) в черную вьюжную ночь. Прорезные флюгера на железных флагштоках отчаянно скрежетали, будто само время во всеуслышание

двигало свою вечную устрашающую зубчатую передачу, и казалось, не пройдет и нескольких мгновений, как старый год сорвется, словно тяжелая гиря, и с глухим ударом канет в темную бездну.

Ты ведь знаешь, что в дни Рождества и новогодних празднеств, когда вы все, охваченные светлой радостью, веселитесь, какая-то сила вырывает меня из моего тихого укрытия и бросает в ваше бурливое, грохочущее житейское море. Рождество! Эти праздничные дни с их приветливым сиянием я предвкушаю задолго до того, как они наступают. Я едва могу их дожидаться... я становлюсь лучше, ребячливей, чем весь остальной год, ни одна черная мысль не омрачает мою душу, распахнутую навстречу небесной радости, я снова превращаюсь в такого ликующего мальчика. Из пестрых, раззолоченных витрин рождественских лавчонок мне улыбаются рожицы веселых деревянных ангелов, а сквозь многоголосый уличный гам доносятся до меня будто издали приглушенные звуки органа: «Родился божественный младенец!»

А после праздников все разом линяет, тускнеет, и тьма поглощает мерцание рождественских огней. С каждым годом все больше и больше цветов опадает, увянув до срока, их бутоны засыхают навеки, и весеннее солнце уже не возродит жизнь в голых ветвях. Все это я прекрасно знаю и сам, но всякий раз, когда год подходит к концу, вражья сила со злорадством нашептывает мне прямо в ухо:

— Погляди, сколько друзей потерял ты за этот год. Они больше никогда не вернутся, зато ты сам поумнел и уже не гоняешься за развлечениями, как прежде. Наконец-то ты становишься все более серьезным человеком и совсем уже не нуждаешься в веселье.

На сочельник черт всякий раз готовит для меня особые сюрпризы. Он находит подходящий момент, чтобы разодрать своими острыми когтями мне грудь и насладиться зрелищем моего кровоточащего сердца. И представьте, все благоприятствует осуществлению его гнусных затей. Вот вчера, например, ему с готовностью помог советник юстиции. У него (я имею в виду советника юстиции) в канун Нового года всегда собирается большое общество, и по случаю праздника он старается каждому доставить особое удовольствие, но делает это так неуклюже и бездарно, что все так тщательно задуманное веселье оборачивается какой-то тоскливой несуразицей.

Как только я вошел в прихожую, навстречу мне поспешил хозяин дома, преграждая мне путь в свой эдем, откуда сквозь приотворенную дверь струились волшебные благоухания крепкого чая и доброго табака. Вид у него был лукав до чрезвычайности, он так и расплывался в наиболее желательнейшей улыбке.

— Ах, мой дружочек, там, в гостиной, вас ожидает нечто совершенно удивительное — бесподобный новогодний сюрприз. Только, чур, не пугаться!..

От его слов замерло сердце, меня охватило мрачное предчувствие, и душа моя преисполнилась смятением и тревогой. Дверь отворилась, я стремительно рванулся вперед, переступил порог гостиной и был ослеплен — *она* сидела на софе в кругу дам. Да, то была *она*, я не видел ее уж бог весть сколько лет, и тут самые блаженные мгновения моей жизни ярко вспыхнули в памяти, развеивая мысль о разлуке. Отныне больше не будет этой убийственной потери! Какой счастливый случай привел ее сюда, благодаря каким обстоятельствам попала она в дом советника юстиции? Я ведь и не подозревал, что они знакомы. Но обо всем этом я не думал, главное одно — я вновь ее нашел!.. Я застыл у дверей словно заколдованный.

— Ну-с, дружочек, — сказал советник юстиции, легонько подталкивая меня.

Я механически сделал несколько шагов, но никого, кроме нее, не видел вокруг, а из сдавленной груди моей с трудом вырвались слова:

— Господи, господи, Юлия, вы здесь?..

Юлия заметила меня только тогда, когда я подошел вплотную к столику, на котором был сервирован чай. Она встала и произнесла отчужденно:

— Я очень рада повстречать вас. Вы хорошо выглядите.

Потом она снова села и обратилась к даме, сидевшей рядом с нею:

— Будет ли в ближайшую неделю что-нибудь интересное в театре?

Ты подходишь к восхитительному цветку, который светится и благоухает неким таинственным, сладчайшим ароматом, наклоняешься над ним, желая получше разглядеть изысканную форму лепестков, а из его сверкающей зелени появляется гладкий холодный василиск, чтобы смертельно поразить тебя своим ненавидящим взглядом! Именно это и произошло со мной!.. Я весьма угловато поклонился дамам и, усугубляя мучительность этой тягостной для

меня минуты, как-то неловко отпрянул от стола и резким движением локтя выбил чашку из рук советника юстиции, так что горячий чай выплеснулся прямо на его изысканное, в мелкую складочку, жабо. Все громко рассмеялись не столько над уроном, который понес советник, сколько над моей неуклюжестью. Безумие ситуации нарастало, однако я замкнулся в покорном отчаянии. Юлия не смеялась вместе со всеми, в смятении я взглянул на нее, поймал ее взгляд, и меня будто ослепил луч из изумительной прошлой жизни, полной любви и поэзии. Но тут кто-то заиграл на рояле в соседней комнате какую-то импровизацию, и все общество пришло в движение. Музыкант был, оказывается, известный приезжий виртуоз по имени Бергер, который действительно играл божественно и заслуживал, чтобы его слушали со всем вниманием.

— Не звякай так ужасно чайными ложечками, Минхен! — воскликнул советник юстиции, плавным жестом руки указал на дверь в соседнюю комнату и сладостным «Eh bien!»^[1] пригласил дам подойти поближе к инструменту. Юлия тоже встала и не спеша двинулась вслед за всеми. Она показалась мне совсем чужой, стала вроде бы выше ростом, утратила былую девичью угловатость и превратилась, как говорится, в писаную красавицу. Ее белое, особого покроя, в глубоких складках платье с пышными рукавами, обнажающими руки по локоть, с большим декольте, едва прикрывавшим ее грудь, плечи и шею, ее волосы, разделенные спереди на пробор и хитроумно заплетенные в высокую прическу сзади, — все это придавало ее облику нечто старомодное, словно дева с полотна Мириса, — и тем не менее я был уверен, что где-то встречал это существо, в которое ныне превратилась Юлия. Она стянула перчатки, обнаружив на запястьях искусной работы браслеты, которых как раз и не хватало, чтобы окончательно оживить в померкшей памяти нежный образ, обретший в этот же миг всю полноту красок. Прежде чем переступить порог двери в музыкальную гостиную, Юлия обернулась, и мне почудилось, что ее ангельское, исполненное девического очарования личико искажено саркастической гримасой; ужасное, страшное чувство сотрясло меня, словно судорога прошла по всем моим нервам.

— О, он играет божественно! — пролепетала с придыханием возбуждаясь от сладкого чая барышня, чья рука почему-то повисла

на моей, и оказалось, что я веду ее, точнее, она меня, в соседнюю комнату. Бергер, видно, весь отдался во власть того урагана, что бушевал в его груди; словно огромные волны, разбивающиеся о скалы, громыхали его могучие аккорды, и они, как ни странно, были благодатны для моего слуха... Юлия оказалась рядом со мной и прошептала так нежно и ласково, как никогда раньше:

— Мне хотелось бы, чтоб это ты сидел за роялем и тихо пел об утраченной радости и надежде.

Дьявольское наваждение исчезло, и в слове «Юлия» я хотел было выразить всю ту божественную гармонию, которая заполнила мою душу, но толпа вошедших вслед за нами гостей разъединила нас. Мне стало казаться, что Юлия специально избегает меня, и все же мне удавалось то коснуться ее платья, то ощутить легкое дуновение ее дыхания, и тысячью разноцветных бликов расцветчивалась моя память о той прошедшей весне. Тем временем Бергер покончил с бурей, небо посветлело, и, подобно золотистым утренним облакам, одна приятная мелодия проплывала за другой и исчезала в пианиссимо. Virtuoz был награжден вполне заслуженными восторженными аплодисментами, все общество пришло в движение, и я неожиданно снова оказался рядом с Юлией. Страсть моя все больше разгоралась, меня охватило неборимое желание удержать ее, обнять в безумном порыве любовной муки, но между нами вдруг возникло проклятое лицо излишне усердного слуги, который протянул нам большой поднос, выкрикнув: «Не угодно ли?..» Посреди стаканов с дымящимся пуншем стоял изящный хрустальный бокал, видимо с тем же напитком. Как он оказался среди обычных стаканов, знает лишь тот, с кем я постепенно начинал знакомиться; как Клеменс в «Октавиане», он выделяет ногами вензеля и невообразимо обожает красные одежды и красные перья. Вот именно этот тонко граненный и сверкающий бокал Юлия взяла с подноса и протянула мне.

— Ты с той же охотой, что и прежде, принимаешь вино из моих рук?

— Юлия... о Юлия... — только и смог выдохнуть я.

Когда я брал бокал, ненароком я коснулся ее нежных пальцев, и словно электрический ток пробежал по всем моим жилам — я отпивал из бокала поток за плотком, и мне казалось, что маленькие голубые огоньки, вспыхивая, лижут его граненый край и мои губы. Я

допил все до последней капли и, сам не зная как, оказался на кушетке в кабинете, освещенном алебастровой лампой, а Юлия сидела рядом со мной и глядела на меня с детской кротостью, как в былые времена. Бергер снова сел за рояль, он заиграл *andante* из волшебной моцартовской *C-dur*'ной симфонии, и на лебединых крыльях божественных звуков поднялись во мне вся любовь и радость солнечных вершин моей жизни... Да, это была Юлия — Юлия, прекрасная и нежная как ангел, — наш обычный разговор, сетования, полные любовного томления, скорее обмен взглядами, нежели словами, ее рука покоилась в моих руках.

— Я больше никогда тебя не покину. Твоя любовь — это искра, которая разгорается во мне, озаряя путь к искусству и поэзии, без тебя, без твоей любви все вокруг мертво и бесплодно; но разве ты не затем пришел, чтобы остаться со мной навсегда?

В этот момент в кабинет заглянул неуклюжий человек на ломких паучьих ножках, с лягушачьими навывкате глазами и воскликнул с повизгиванием и придурковатым подхохатыванием:

— Куда это, черт побери, запропастилась моя супруга?

Юлия встала и отчужденно произнесла:

— Не вернуться ли нам к обществу? Мой муж меня ищет... Вы были весьма забавны, дорогой, в таком же ударе, как бывали прежде, вот только не увлекайтесь вином...

Тут коротышка схватил ее за руку, и она с улыбкой последовала за ним в зал.

— Ты для меня навеки потеряна! — воскликнул я.

— Конечно, ты — пас, дорогой! — проскрипел некий отпетый плут, сидевший за ломберным столом. Скорее — прочь отсюда! Я помчался в бурную ночь...

2. Общество в погребке

Быть может, прогуливаться по Унтер-ден-Линден — занятие из приятных, однако же не в новогоднюю ночь, когда лютует мороз и завывает метель. В этом я убедился, хоть и весь пылал, меня в конце концов до костей пробрал холод — ведь я выскочил на улицу без шапки и без пальто. Я промчался по Оперному мосту, мимо Замка, свернул, перебежал на другой берег по Шлюзовому мосту, миновал Монетный двор и оказался на Егерштрассе, как раз у торгового

заведения Тирманна. Там за окнами горело много ярких огней, и я было уже хотел войти туда, потому что заоченел и мечтал выпить чего-нибудь горячительного; как раз в этот момент оттуда вывалилось на улицу целое общество в развеселом настроении. Перебивая друг друга, они восхищались превосходными устрицами и добрым эйльфером.

— И все же прав был тот господин, — воскликнул один из гостей, статный офицер-улан, как я разглядел при свете фонаря, — да-да, он был сто раз прав, когда в прошлом году в Майнце бранил на чем свет стоит тех негодяев, которые не спешили поделиться эйльфером тысяча семьсот девяносто четвертого года!

Все хохотали от души. Я невольно прошел несколько шагов дальше и остановился перед дверью погребка, в окне которого светилась одинокая лампа. Разве шекспировский Генрих не почувствовал себя как-то раз столь измученным и смиренным, что им овладело только одно-единственное желание — выпить легкого пива? Вот и со мной произошло то же самое. Моя плотка истосковалась по бутылке английского пива. Я стремительно вбежал в погребок.

— Что желаете? — приветливо спросил хозяин, сдвигая шапку набекрень и направляясь мне навстречу.

Я велел подать бутылку светлого ячменного пива и большую трубку с хорошим табаком. Вскоре я пришел в такое блаженное состояние духа, что даже сам черт, видно, заужавал меня и оставил в покое. О советник юстиции, если бы тебе довелось увидеть, как из твоей ярко освещенной гостиной, где подавали чай, я спустился в темный пивной подвал, ты отвернул бы от меня свое лицо с горделивым пренебрежением и процедил бы сквозь зубы:

— Неудивительно, что такой вот субъект портит почтенным господам их изящные жабо!

То, что я был без пальто и шляпы, должно было казаться странным. Я заметил, что у хозяина кабачка вопрос был готов сорваться с губ, но тут кто-то постучал в окно и послышался голос:

— Откройте, откройте, я пришел!

Хозяин опрометью выскочил на улицу и вскоре вернулся, держа в поднятых руках по зажженному фонарю, а за ним шел очень высокий худой человек. Проходя в низкую дверь, он забыл наклонить голову и сильно треснулся о притолоку, но, так как на нем была черная шапка,

похожая на берет, лоб он не расшиб. Он шел как-то странно, прижимаясь к стенке, и сел напротив меня, а хозяин поставил на наш стол фонари. О нем можно было бы сказать, что вид он имел несговорчивый и чванный. Раздраженным тоном он потребовал себе пива и трубку и, затянувшись всего несколько раз, выпустил столько табачного дыма, что мы все оказались словно в облаке. Впрочем, в лице пришельца было что-то столь своеобразное и привлекательное, что, несмотря на его мрачный вид, я сразу же почувствовал к нему расположение. Его густые черные волосы были раскинуты на пробор и свисали по обе стороны головы такими локончиками, точь-в-точь как на портретах Рубенса. Когда он отложил большой воротник своего пальто, я увидел, что на нем черная куртка со множеством шнурков, а еще я обратил внимание на то, что на его сапоги были надеты изящные туфли. Это я обнаружил в тот момент, когда он выбивал о каблук свою трубку, которую выкурил, наверно, всего минут за пять, не более. Наш разговор не клеился, все внимание пришельца было сосредоточено на каких-то редких растениях, которые он вынул из коробки и с явным удовольствием разглядывал. Я выразил восхищение этими красивыми растениями и спросил, поскольку они были явно только что сорваны, не заходил ли он перед приходом сюда в Ботанический сад или в лавку братьев Буше. Он как-то странно улыбнулся и ответил:

— Ботаника явно не ваша область, иначе вы не задали бы такого... — тут он запнулся, а я тихо прошептал:

— Глупого...

— ...вопроса, — простодушно закончил он. — Вы с первого взгляда увидели бы, — продолжал он, — что это альпийские растения, которые можно отыскать только на Чимборасо.

Последние слова незнакомец сказал тихо, как бы про себя, и ты легко можешь себе представить, какие чувства при этом охватили меня. Я не решался задать ему никакого вопроса, но во мне все сильнее крепло какое-то предчувствие, и мне почудилось, что я прежде никогда не видел его, но думал о нем. Тут снова постучали в окно. Хозяин отворил дверь, и чей-то голос произнес:

— Будьте так добры, завесьте ваше зеркало.

— А, — воскликнул хозяин, — как вы поздно, генерал Суваров!

Хозяин завесил зеркало, и тут с неуклюжей поспешностью, я бы даже сказал, хоть и торопливо, но на редкость неповоротливо, в подвал вбежал низкорослый сухонький человечек, закутанный в пальто какого-то неопределенного бурого цвета, которое, пока он скакал по подвалу, завивалось множеством трепещущих складок вокруг его тела так, что в неровном свете масляных фонарей чудилось, будто сходятся и расходятся несколько фигур, как в энсленовских фантасмагориях. При этом он яростно потирал замерзшие ручки, спрятанные в рукава, и восклицал:

— Какой холод, какой холод... вот так холод! У нас в Италии таких не бывает, не бывает.

Наконец он уселся между мной и долговязым и недовольно буркнул:

— Что за ужасный дым, ну вы и насолили. Однако клин клином вышибают. Эх, была бы у меня хоть одна понюшка!

У меня как раз лежала в кармане блестящая отполированная металлическая табакерка, которую, помнишь, ты мне как-то подарил, я тут же ее достал, чтобы угостить того, кто поменьше ростом, табаком. Но едва он ее увидел, как разом оттолкнул обеими руками и заорал:

— Долой, долой это мерзкое зеркало!

В его голосе было что-то ужасное, я удивленно взглянул на него и увидел, что он стал совсем другим. Когда он вбежал в подвал, у него было привлекательное молоджавое лицо, а теперь на меня уставился смертельно бледный, увядший старец с глубоко запавшими глазами. В ужасе я шарахнулся к долговязому.

— Господи, смотрите, смотрите... — начал было я. Однако он нимало не заинтересовался этим, будучи всецело поглощен созерцанием своих растений с Чимборасо. А тут тот, что поменьше ростом, потребовал «северного винца», как он претенциозно выразился. Разговор постепенно оживился. Правда, в обществе того, что поменьше ростом, мне было как-то не по себе, зато долговязый умел высказывать по поводу, казалось бы, сущих пустяков немало глубоких и парадоксальных мыслей, хотя выражал их коряво, с трудом подыскивая слова, позволяя себе иногда вставить и непристойность, что, однако, придавало его суждениям забавную оригинальность, и таким образом ему удавалось, внутренне все больше покоряя меня,

сглаживать то неприятное впечатление, которое производил наш низкорослый собеседник. А он, вроде бы движимый какими-то пружинами, ни минуты не сидел спокойно, ерзал на стуле, бурно жестикулировал, и меня буквально мороз подирал по коже, когда он оборачивался ко мне то одним лицом, то другим. Надо сказать, двуликий больше глядел на долговязого, чей невозмутимый покой так разительно контрастировал с его вертлявостью, поворачиваясь к нему своим старческим лицом, однако уже не таким устрашающим, каким я увидел его, когда протянул ему табакерку... Наша брэнная жизнь есть не что иное, как игра масок, где мы все носим различные личины, но нет-нет да и проглянет в озаренных глазах наш истинный дух, и его не обманешь, он безошибочно узнаёт среди окружающих тех, кто ему сродни. Так, видно, и случилось, что мы трое, такие своеобразные господа, сошлись здесь, в этом погребке, и хоть и не с первого взгляда, но все же узнали друг друга. В нашем разговоре зазвучал тот юмор, который доступен только смертельно раненым душам.

— Да, — заметил долговязый. — Тут дело не обошлось без крючка, без загвоздки.

— Господи, — подхватил я, — куда только черт не вколачивает крючки — то в стены комнат, то в беседки, то в изгородь, увитую розами, а мы, проходя мимо, зацепляемся и оставляем на них ключья своих душевных сокровищ! Похоже, почтенные господа, что с нами со всеми случилось нечто в этом роде. И именно поэтому я нынешней ночью оказался тут без шляпы и без пальто. Они, да будет вам известно, остались висеть на крючке в прихожей советника юстиции.

При этих словах и долговязый, и тот, что поменьше ростом, содрогнулись, словно на них неожиданно обрушился тяжелый удар. Низкорослый вмиг обернулся ко мне своим уродливым старческим ликом и, тут же вскочив на стул, поправил занавеску на зеркале, а долговязый тем временем принялся усердно протирать фонарь. Разговор наш с трудом снова склеивался, на этот раз речь зашла о молодом смелом художнике по имени Филипп и о написанном им портрете принцессы, который он только что закончил, исполненный любви и благочестивой тоски по возвышенному, что было пробуждено в нем божественной чистотой образа повелительницы.

— Сходство поразительное! — воскликнул долговязый. — И все же это не портрет, а чистой воды образ.

— Поразительно точно, — согласился я. — Можно сказать, украденное зеркальное отражение.

Тут низкорослый резко вскочил, опять повернул ко мне свое стариковское лицо со сверкающими от гнева глазами и прокричал:

— Какая нелепость!.. Какое безумие!.. Кто это может украсть из зеркала отражение? Кому это под силу? Уж не о черте ли ты думаешь, в конце концов? Ха-ха, братец! Да ведь он расколол бы своими грубыми когтями зеркальное стекло, и тонкие белые руки этой барышни поранились бы об острые осколки и были бы залиты кровью. Дурацкое предположение... Эй ты! Покажи-ка мне такое отражение, такой украденный зеркальный образ, не то я спущу тебя туда, вниз, по лестнице в тысячу ступеней!

Долговязый поднялся на ноги, подошел вплотную к низкорослому и сказал:

— Не следует озорничать, мой друг, не то вас могут зашвырнуть вверх по лестнице и у вас будет весьма жалкий вид с вашим собственным зеркальным отражением...

— Ха-ха-ха! — закатывался до визга тот, что поменьше ростом, в приступе безумного задора. — Ха-ха-ха! Ты так думаешь? Да, ты так думаешь? Однако моя прекрасная черная тень всегда при мне. О ты, жалкое создание, моя тень — при мне, при мне!..

И он выскочил из подвала на улицу, и оттуда доносился его хохот и визгливое бормотанье: «А моя тень при мне, при мне...»

Долговязый, казалось, был сражен, он побледнел как полотно, рухнул на стол, уронил голову на сложенные руки, и из груди его вырвался не то стон, не то тяжкий вздох.

— Что с вами? — участливо спросил я его.

— О сударь, — ответил он, — этот злыдень, он ведь сразу показался нам враждебным, преследовал меня по пятам до этой пивной, где я обычно коротаю время в одиночестве, если, конечно, не считать иногда появляющегося здесь духа земли, который усердно подбирает под столом хлебные крошки... Так вот, этот злыдень снова сверг меня в отчаяние, напомнив о моем страшном несчастье... Ах, ведь я потерял, навсегда потерял свою... Будьте здоровы, сударь...

Он встал и направился к двери, и пол вокруг него, представьте, был ровно освещен. Он не отбрасывал тени. Я в восторге кинулся вслед за ним.

— Петер Шлемиль!.. Петер Шлемиль! — закричал я радостно.

Но он быстро скинул домашние туфли, надетые поверх сапог, прибавил ходу и, завернув за каланчу жандармерии, скрылся в ночи.

Я хотел было вернуться в погребок, но хозяин захлопнул дверь перед самым моим носом и пробурчал:

— О боже, избави меня от таких посетителей!..

3. Явления

Господин Матьё — мой добрый друг, а сон у его привратника такой чуткий, что он сразу отворил мне, не успев я потянуть цепочку звонка у дверей «Золотого Орла». Я объяснил привратнику, что опрометью убежал со званого вечера, не надев даже ни шляпы, ни пальто, а как раз в кармане пальто и лежал ключ от входной двери моего дома, и к тому же я знал, что тугоухую сторожиху среди ночи не разбудишь. Приветливый старичок (я, конечно, имею в виду привратника) отпер мне один из номеров, поставил подсвечники на стол и пожелал доброй ночи. Красивое широкое зеркало было завешено простынью, и мне, сам не знаю почему, вдруг захотелось сорвать ее и переставить подсвечники на трюмо. Поглядев в зеркало, я едва узнал себя, таким я был бледным и осунувшимся, на мне, как говорится, лица не было... Мне вдруг почудилось, что в самой глубине зеркала стала проявляться какая-то темная фигура; по мере того как я все более сосредоточенно вглядывался в нее, отчетливее стали вырисовываться сквозь какую-то магическую мглу черты прелестного женского лица — это была Юлия. Охваченный невыразимой любовью и тоской, я скорее выдохнул, чем произнес: «Юлия, Юлия...» — и тут из-за спущенного полога кровати, стоявшей в противоположном углу комнаты, до меня донесся тихий стон. Я прислушался, стоны становились все более испуганными. Образ Юлии в глубине зеркала исчез, и тогда я, преисполненный решимости, схватил рывком один из подсвечников, раздернул полог и увидел... Как описать тебе чувства, охватившие меня, когда я увидел того, что поменьше ростом, лежащего на постели? Он крепко спал, его молодежавое лицо было искажено каким-то душевным страданием, а губы безостановочно шептали: «Джульетта, Джульетта...» Это имя воспламенило мою душу, страха как не бывало, я схватил того, что поменьше ростом, за грудь и принялся его бесцеремонно трясти, приговаривая:

— Эй, приятель, как это вы попали в мою комнату? Проснитесь и побыстрее проваливайтесь ко всем чертям!

Тот, что поменьше ростом, открыл глаза и уставился на меня, ровно ничего не понимая.

— Что за ужасный сон, — сказал он. — Спасибо, что вы меня разбудили.

Каждое его слово прерывалось тихим вздохом. Не знаю, что произошло, но он стал мне казаться совсем другим, нежели прежде, а боль, которую он явно испытывал, проникла и в меня, и вся моя злость к нему обернулась сочувствием. Не много понадобилось слов, чтобы понять, что привратник по ошибке отворил мне дверь в комнату, уже занятую тем, что поменьше ростом, и что я, так не вовремя явившись, нарушил его сон.

— Сударь, — сказал тот, что поменьше ростом, — наверно, там, в погребке, я показался вам каким-то необузданным, безумным, должен признаться, что в меня время от времени вселяется и попутывает какой-то бес и ввергает во всякого рода бесчинства, нарушающие все установления и приличия. А с вами разве не случалось подобного?

— Увы, увы, — малодушно признался я. — Не далее как нынче вечером, когда я вновь увидел Юлию.

— Юлия? — проскрипел тот, что поменьше ростом, мерзким голосом, и его лицо разом постарело и задергалось. — Пожалуйста, почтеннейший, дайте мне передохнуть и будьте любезны, потрудитесь завесить зеркало.

Все это он произнес, бессильно откинувшись на подушки.

— Сударь, — сказал я, — я вижу, что имя моей навеки потерянной любимой вызывает у вас какие-то странные воспоминания и что на моих глазах резко меняются черты вашего такого приятного лица. И все же я надеюсь, что спокойно проведу эту ночь, поэтому я намерен тотчас же завесить зеркало и лечь в кровать.

Тот, что поменьше ростом, приподнялся на локте, лицо его вновь помолодело, он поглядел на меня добродушно, схватил мою руку и, слабо пожав ее, проговорил:

— Спи спокойно, сударь, я заметил, что мы с вами товарищи по несчастью. Неужели вы тоже?.. Юлия... Джульетта... Будь что будет, вы оказываете на меня подавляющее влияние, и я не в силах не

открыть вам своей глубочайшей тайны... Потом можете меня презирать, ненавидеть, как вам будет угодно...

Сказав это, тот, что поменьше ростом, медленно сполз с кровати, закутался в белый широкий шлафрок, тихо, словно привидение, подошел к зеркалу и встал перед ним. Ах! В зеркальном стекле четко и явственно отражались оба подсвечника, мебель, что стояла в комнате, но того, кто находился перед зеркалом, в нем не было. Его близко придвинутое лицо в нем не отражалось. Он обернулся ко мне с выражением глубочайшего отчаяния и стиснул мои руки.

— Теперь вам известно мое ужасное несчастье, — сказал он. — Шлемилю, этой чистой, доброй душе, я, отверженный, могу только позавидовать. Он по легкомыслию продал свою тень, а вот я... Я отдал свое зеркальное отражение *ей*... *Ей*... О-о-о!

С глубокими стенаниями, прижимая пальцы к глазам, побрел тот, что поменьше ростом, к кровати и рухнул на нее. Я застыл на месте: подозрительность, презрение, страх, участие, сочувствие — сам не знаю, как назвать те чувства, которые бушевали в этот миг в моей груди. А тот, что поменьше ростом, тем временем начал так грациозно и мелодично похрапывать, что я не смог противиться гипнотическому воздействию этих звуков. Я завесил зеркало, задул свечи, кинулся на кровать и тут же погрузился в глубокий сон. Видно, уже настало утро, когда я проснулся от слабо мерцающего света. Я открыл глаза и увидел того, что поменьше ростом, — он сидел в своем белом шлафроке и с ночным колпаком на голове, повернувшись ко мне спиной, за столом и что-то усердно писал при свете обеих свечей. Он был похож на привидение, и мне стало как-то не по себе, но тут я вдруг снова погрузился в сон, и мне привиделось, что я опять у советника юстиции и сижу на кушетке рядом с Юлией. Потом мне стало казаться, что все общество, собравшееся у советника, не настоящее, а кукольное, выставленное по случаю рождественских праздников в витрине магазина Фукса, Вайде, или Шоха, или еще какого-нибудь, а сам советник юстиции — изящная фигурка, выточенная из марципана, с жабо из почтовой бумаги. Потом деревья и розовые кусты начали расти на глазах, а среди них стояла Юлия и протягивала мне хрустальный бокал, из-за краев которого вырывались голубые язычки пламени. Тут кто-то дернул меня за рукав, за моей

спиной стоял тот, что поменьше ростом, у него было старческое лицо, и он шептал:

— Не пей, не пей — приглядишься-ка к ней получше! Разве ты не видел ее уже на полотнах Брейгеля, Калло и Рембрандта? Неужто и это тебе не предостережение?

Юлия и вправду пугала меня, потому что в широкой одежде со множеством складок, пышными рукавами и старинной прической очень походила на манящих дев, окруженных всяческой адской нечистью, которых часто изображали мастера.

— Чего ты боишься? — спросила Юлия. — Ведь все равно и ты сам, и твое зеркальное отражение навсегда принадлежат мне.

Я схватил бокал, но тот, что поменьше ростом, словно белка, вскочил мне на плечи и принялся пушистым хвостом сбивать пламя с бокала, визгливо выкрикивая:

— Не пей, не пей!..

Тут все сахарные фигурки в витрине ожили, стали комично шевелить ручками и ножками, а марципановый советник юстиции засеменил мне навстречу и проскрипел тоненьким голоском:

— К чему вся эта суета, приятель? К чему вся эта суета? Вот только встали бы вы на ноги, а то, как я заметил, вы давно уже ходите по воздуху, перешагивая через стулья и столы.

Тот, что поменьше ростом, исчез, исчез и бокал, который Юлия держала в руке.

— Почему ты не осушил бокал? — спросила она. — Разве это чистое прекрасное пламя, которое вырывалось из него, не является тем поцелуем, который я тебе когда-то подарила?

Я хотел ее обнять, но между нами вдруг почему-то оказался долговязый Шлемиль.

— Вот это и есть та самая Минна, что вышла замуж за Раскала.

Он наступил на несколько сахарных фигурок, и они разом закричали... Однако они тут же стали множиться, их делалось все больше и больше, сотнями, тысячами вились они вокруг моих ног, ползли по мне уродливыми пестрыми стайками и жужжали, будто рои пчел... Марципановый советник юстиции добрался до моего галстука и стал затягивать его все туже и туже.

— Ах ты, проклятый марципановый советник юстиции! — громко крикнул я и проснулся.

Дневной свет рвался в комнату, было уже одиннадцать часов. «Наверно, моя встреча с тем, что поменьше ростом, тоже была всего лишь сном», — подумал я, но тут как раз вошел кельнер с завтраком на подносе и сказал, что чужестранец, который ночевал в этой же комнате, отбыл рано утром и велел кланяться. На столе, за которым он ночью сидел, похожий на привидение, я нашел листы исписанной бумаги, содержание коих я должен тебе изложить, ибо это и есть, безо всяких сомнений, удивительная история того, что поменьше ростом.

4. История об утраченном зеркальным отражением

И вот настало время, когда Эразмус Шпикер смог наконец осуществить желание, которое всю жизнь жгло его сердце. В прекрасном расположении духа, прихватив мешок с кое-какими вещичками, сел он в карету, чтобы, расставшись со своей северной родиной, укатить в прекрасную теплую страну Италию. Его милая набожная жена обливалась слезами и, тщательно утерев нос и губы маленького Расмуса, подняла малютку к окну кареты, чтобы отец смог его еще раз облобызать на прощание.

— Всего тебе наилучшего, мой дорогой Эразмус Шпикер, — сказала ему жена, всхлипывая, — дом твой я буду беречь как зеницу ока, не ленись вспоминать нас, будь мне верен и не потеряй, пожалуйста, свою красивую дорожную шапку, когда ненароком задремлешь в пути, как это с тобой частенько случается.

Все это Шпикер обещал неукоснительно выполнять.

В прекрасной Флоренции Эразмус повстречал нескольких соотечественников, которые, будучи преисполнены жизнелюбия и юношеского куража, без удержу предавались сладостным наслаждениям, столь щедро предоставляемым путешественникам в этой стране. Эразмус проявил себя веселым собутыльником и участником пиршеств, которые не ленились устраивать его новые знакомцы, он, обладая весьма живым умом и талантом обуздывать даже самых невожатых, придавал особую прелесть вечеринкам. И вот однажды случилось так, что все эти молодые люди (Эразмус, которому едва исполнилось двадцать семь лет, вполне подходил к их компании) оказались ночью в изумительном благоухающем саду, где в увитой зеленью беседке должен был начаться веселый праздник. Все юнцы, за исключением Эразмуса, привели с собой своих

возлюбленных. Мужчины были в изящных костюмах, по старинной немецкой моде, а донны вызывали восхищение своими пестрыми сверкающими нарядами, причем каждая была одета на свой манер, с большой фантазией, так что казались они движущимися цветами. Когда то одна, то другая нежно пела тихую любовную песню, шелестя мандалинными струнами, то вслед за ней мужчины по очереди оглушали присутствующих могучими, истинно немецкими балладами под веселый звон бокалов с сиракузским вином... Известно, что Италия — страна любви. Порывы теплого вечернего ветерка звучали как томные вздохи, ароматы цветущих апельсиновых деревьев и жасмина, заполнившие беседку, предвосхищали сладостную истому, прибавляя страсти той любовной игре, которой эти прелестные барышни, эти нежные актерки, какие бывают только в Италии, завлекали своих кавалеров. Фридрих, пожалуй, самый буйный из всех, встал, одной рукой он обнимал свою донну, а другой поднял полный бокал искрящегося сиракузского.

— Только в вашем обществе, о прекрасные, бесподобные итальянки, можно изведать истинное наслаждение и блаженство рая! — воскликнул он и добавил, обернувшись к Шпикеру: — Но вот ты, Эразмус, этого не чувствуешь, ибо только ты один из нас, пренебрегая нашей договоренностью, не привел с собой своей подруги. Именно поэтому ты такой мрачный и понурый, и, если бы ты еще не пил и не пел бы вместе с нами, я подумал бы, что ты превратился в унылого меланхолика.

— Должен тебе признаться, что такого рода развлечения не для меня, Фридрих, — возразил Эразмус. — Ты же знаешь, что я оставил дома милую, богобоязненную жену, к которой я привязан всем сердцем, и выбрать для себя забавы ради хоть на единый вечер донну было бы предательством с моей стороны. С вас, бесшабашных холостяков, взятки гладки, я же — отец семейства.

Молодые люди расхохотались, потому что Эразмус при словах «отец семейства» придал своему юношескому миловидному лицу постное выражение, что получилось весьма комично. Так как Эразмус сказал все это по-немецки, подруга Фридриха попросила перевести его слова на итальянский, и тогда она, погрозив Эразмусу пальчиком, заявила с серьезным видом:

— Эй ты, холодный немец, берегись! Ты еще не видел Джульетты...

В этот миг зашуршали кусты, и из темной ночи в круг света от мерцающих свечей вошла юная итальянка дивной красоты. На ней было белое, в глубоких складках платье с пышными рукавами, обнажавшими руки до локтя, и с глубоким декольте, едва прикрывавшим грудь, плечи и шею, а волосы ее были разделены спереди на пробор и хитроумно заплетены в высокую прическу сзади. Золотые цепочки на шее и роскошные браслеты на запястьях довершали ее туалет в старинном духе — казалось, она сошла с портретов Рубенса или изысканного Мириса.

— Джульетта! — в изумлении воскликнули все девицы.

— Разрешите и мне принять участие в вашем прекрасном празднике, милые немецкие юноши, — сказала Джульетта, чей ангельский облик затмил красоту всех ее подруг. — Я хочу сесть вон к тому, что невесел, а значит, не влюблен.

Она, грациозно ступая, направилась к Эразмусу и расположилась рядом с ним в кресле, которое поставили в расчете на то, что он все же приведет с собой донну.

— Поглядите только, как она хороша сегодня, — шептали друг другу девицы, а юноши говорили:

— Ну Эразмус, молодец! Отхватил себе самую красивую, обхитрил всех нас.

Как только Эразмус взглянул на Джульетту, с ним вроде бы что-то случилось, и он сам не понимал, что это так мощно забушевало в нем. Когда же она подошла к нему, им словно овладела какая-то чужая сила и сдавила ему грудь. Он не сводил глаз с Джульетты, губы его словно окаменели, и он не мог вымолвить ни слова, когда другие юноши принялись на все лады восхвалять ее прелесть и красоту. Джульетта взяла со стола бокал вина, встала и приветливо протянула его Эразмусу, и он принял его из ее рук, слегка прикоснувшись к ее нежным пальчикам. Он залпом выпил вино, и огонь разлился по его жилам.

— Хотите ли вы, чтобы я стала вашей донной? — спросила Джульетта как бы шутя.

Но тут Эразмус словно безумный бросился перед ней на колени и проговорил, прижав обе руки к груди:

— Да, это ты, я всегда *тебя* любил, ты сущий ангел! *Тебя* я видел во сне, *ты* — мое счастье, мое блаженство, моя высшая жизнь!

Все, конечно, подумали, что Эразмусу вино ударило в голову, ведь прежде они его таким никогда не видели, им казалось, что он стал совсем другим.

— Да, ты — моя жизнь, ты пылаешь в груди моей, словно раскаленный уголь. Дай мне погибнуть, погибнуть, растворившись в тебе!.. я хочу стать тобой!.. — выкрикивал Эразмус.

Джульетта нежно обняла его. Наконец он несколько успокоился, сел рядом с ней, и тогда снова возобновились смех, шутки, веселые любовные игры, прерванные появлением Джульетты. Когда она пела, то казалось, из ее груди исторгаются небесные звуки, доставляющие слушателям неведомое доселе наслаждение, по которому, однако, так долго томились их души. В ее раскованном хрустальном голосе был какой-то таинственный накал, и никто не мог устоять перед его чарами. Внимая ее пению, каждый юноша еще крепче обнимал свою возлюбленную, и еще ярче пылали их взоры. Но вот утренняя заря окрасила небо в розовый цвет, и Джульетта объявила, что праздник окончен. Эразмус хотел было ее проводить, но она отклонила его предложение, зато указала дом, в котором он вскоре сможет ее вновь увидеть. Молодые люди исполнили, вступая поочередно, немецкую балладу, чтобы этим отметить конец пиршества, и в это время Джульетта исчезла из беседки. Эразмус увидел ее на дальней дорожке сада в сопровождении двух слуг с факелами, но не решился пойти за ней следом. Молодые люди взяли каждый свою возлюбленную под руку, и все они весело разошлись по домам. Раздираемый тоской и любовным томлением, направился к себе и Эразмус, а мальчик-слуга освещал ему путь факелом. Распрощавшись с друзьями, он пошел по дальней улице, которая вела к его дому. Розовый свет уже залил все небо, развиднелось, и слуга стал гасить факел о булыжник мостовой. И среди разлетающихся во все стороны искр Эразмус увидел странную фигуру: перед ним стоял высокий, сухопарый человек с ястребиным носом, сверкающими глазами и тонкими губами, искривленными в язвительной гримасе. На нем был огненно-красный сюртук с блестящими стальными пуговицами. Он рассмеялся и произнес громким скрипучим голосом:

— Ха-ха!.. Вы, видно, сошли со старой книжной гравюры... Этот плащ, безрукавка с разрезом, берет с пером!.. Вы выглядите весьма забавно, господин Эразмус. Неужели вы намерены потешать уличных зевак?.. Отправляйтесь-ка лучше назад, в свой пергаментный фолиант, откуда вы и явились!

— Какое вам дело до моей одежды!.. — сердито огрызнулся Эразмус и, отодвинув незнакомца в красном сюртуке, хотел было пройти мимо, но тот крикнул ему вслед:

— Напрасно так торопитесь. Сейчас вам Джульетту не увидеть...

Эразмус стремительно обернулся.

— Как вы смеете говорить о Джульетте! — заорал он не своим голосом и схватил за грудки незнакомца в красном, но тот ловко увернулся и исчез, словно его здесь и не было, так стремительно, что Эразмус и опомниться не успел. Ошеломленный, стоял он посреди мостовой, сжимая в руке блестящую стальную пуговицу, которую сорвал с красного сюртука незнакомца.

— Ведь это же был доктор-чудодей синьор Дапертутто^[2]. Чего это он к вам привязался? — спросил мальчик-слуга.

Но Эразмусу стало как-то жутко, и он поспешил домой...

Джульетта встретила Эразмуса с той прелестной грацией и обходительностью, которые были ей присущи. Безумной страсти, которой был одержим Эразмус, она противопоставляла ровную мягкость поведения. Лишь время от времени какое-то темное пламя вспыхивало в ее глазах, а когда Эразмус чувствовал на себе ее взгляд, то из самой глубины его существа поднимался странный озноб. Она никогда не говорила, что любит его, но всем своим поведением давала это понять, и постепенно все более крепкие узы привязывали его к ней. Жизнь казалась ему прекрасной; со своими друзьями он встречался теперь редко, ибо Джульетта ввела его в другое, чужое общество.

Как-то раз случайно он повстречал Фридриха, и тот его не отпустил от себя. Они вместе предались воспоминаниям о своей родине, доме... И когда Эразмус совсем расчувствовался, Фридрих сказал ему:

— А знаешь ли ты, Шпикер, что ты ведешь весьма опасное знакомство? Ты небось уже и сам заметил, что прекрасная Джульетта — одна из самых хитрых куртизанок, которых когда-либо

видел мир. Про нее тут рассказывают весьма странные и таинственные истории, в которых она предстает в совершенно особом свете... Говорят, например, что стоит ей захотеть, и она может оказать на человека неодолимое влияние и загоняет его в такие обстоятельства, из которых он не может выбраться, да, впрочем, все это я вижу по тебе. Тебя же просто узнать нельзя, ты без остатка предан этой оболстительнице и больше не вспоминаешь свою милую богобоязненную супругу.

Эразмус закрыл лицо руками, он громко всхлипывал и произносил имя своей жены. Фридрих понял, что в душе друга начинается жестокая борьба.

— Шпикер, — не отступал он, — давай скорей уедем.

— Да, Фридрих, — с жаром отозвался Эразмус, — ты прав. Сам не знаю, почему меня вдруг охватывают ужасные предчувствия... Да, я должен уехать, уехать сегодня же!..

Друзья торопливо пересекали улицу, когда им повстречался синьор Дапертутто, он расхохотался в лицо Эразмусу и крикнул:

— Торопитесь, торопитесь, господа, Джульетта ждет... Сердце ее полно тоски... Слезы льются из глаз... Ах, господа, спешите, спешите...

Эразмус остановился, словно пораженный громом.

— Мне омерзителен этот шарлатан, — сказал Фридрих, — прямо с души воротит, и подумать только, что он ходит к Джульетте запросто, как к себе домой, и продает ей свои колдовские настойки.

— Что?! — воскликнул Эразмус. — Этот гнусный тип бывает у Джульетты?.. У Джульетты?..

— Ну, где же вы? Чего вы так долго не идете? Все вас ждут. Разве вы не думали обо мне? — раздался с балкона нежный голосок.

Это была Джульетта. Друзья не заметили, что стоят как раз перед ее домом. Эразмус опрометью кинулся к входной двери.

— Он погиб. Его уже не спасешь, — тихо проговорил Фридрих, спускаясь вниз по улице.

Никогда еще Джульетта не казалась такой пленительной. Она была одета в то же платье, что и при их первой встрече в саду, она была ослепительно хороша и так и сияла юной прелестью. Эразмус забыл все, о чем они говорили с Фридрихом, и всецело отдался блаженству этой минуты, он был исполнен безграничного восхищения. Но и

Джульетта прежде никогда еще не выказывала ему так, безо всякой сдержанности, своей любви. Казалось, что Эразмус для нее единственный свет в окошке, только для *него* она и живет.

На загородной вилле, которую Джульетта летом снимала, должен был состояться праздник. Туда-то они и отправились. Среди приглашенных был некий молодой итальянец весьма дурной внешности и еще более дурного поведения. Этот тип усердно ухаживал за Джульеттой, чем вызвал ревность у Эразмуса, который в досаде ушел ото всех и нервно расхаживал взад-вперед по отдаленной аллее сала. Там Джульетта и нашла его.

— Что с тобой? Разве ты не принадлежишь мне безраздельно?

Она обняла его своими нежными руками и поцеловала в губы. Жаркие молнии пронзили Эразмуса, в порыве бешеной страсти прижал он свою возлюбленную к сердцу и воскликнул:

— Нет! Я не покину тебя, даже если мне суждена самая позорная гибель!

Джульетта как-то криво усмехнулась в ответ на эти слова и бросила на него тот самый взгляд, от которого его всегда охватывала внутренняя дрожь. Они вернулись к гостям. Противный молодой итальянец оказался теперь в роли Эразмуса. Подхлестнутый ревностью, он принялся отпускать оскорбительные колкости относительно немцев вообще и Шпикера в частности. Эразмус не мог этого стерпеть и подошел вплотную к итальянцу.

— Немедленно прекратите ваши дурацкие выпады против немцев и меня, не то я брошу вас вон в тот пруд, может быть, плаванье вас остудит.

Тут в руке итальянца блеснул кинжал, но Эразмус в бешенстве схватил его за плотку, швырнул наземь и со всей силой ударил ногой в затылок. Итальянец страшно захрипел и отдал Богу душу... Казалось, мир рухнул на Эразмуса — он потерял сознание. Его словно подхватила какая-то неведомая ему сила. Когда он пробудился от этого глубокого обморока, то увидел, что лежит в маленьком кабинете у ног Джульетты, которая, склонив к нему свою головку, поддерживает его обеими руками.

— Ах ты, злой немец, — сказала она бесконечно нежно и ласково. — Какого страху я из-за тебя натерпелась. Пока что мне удалось тебя спасти, но во Флоренции, да и вообще в Италии, ты уже не в безопасности. Тебе надо уехать. Ты должен покинуть меня, а я тебя так люблю.

Мысль о разлуке отозвалась в его сердце невыносимой болью.

— Позволь мне остаться! — воскликнул он. — Я охотно приму смерть, ибо жизнь без тебя страшнее смерти.

И тут ему почудилось, что кто-то издалека тихо и горестно произносит его имя. Ах, это же голос его богобоязненной немецкой жены. Эразмус замолчал, и Джульетта странным образом тут же его спросила:

— Ты, видно, думаешь о своей жене. О Эразмус, ты меня скоро забудешь...

— Если бы я только мог навсегда всецело принадлежать тебе, — сказал Эразмус.

Они стояли как раз перед большим красивым зеркалом, укрепленным на одной из стен кабинета, по обе стороны зеркала горели яркие свечи. Все крепче, все горячее прижимала Джульетта к себе Эразмуса.

— Подари мне свое отражение, — шепотом попросила она. — О мой любимый, пусть оно будет моим и навсегда останется со мной.

— Джульетта! — воскликнул изумленный Эразмус. — Что ты имеешь в виду?.. Мое отражение в зеркале?

Говоря это, он поглядел в зеркало и увидел там себя в нежных объятиях Джульетты.

— Как это может остаться у тебя мое отражение? — недоумевал он. — Ведь оно неотъемлемо от меня и возникает в любой луже, в любой отполированной поверхности.

— Даже этой грезы твоего «я», такой, как она прорисовывается в зеркальном стекле, ты не хочешь мне подарить и при этом уверяешь, что принадлежишь мне душой и телом. Даже своего столь изменчивого образа ты не желаешь мне оставить, чтобы он сопутствовал мне в моей печальной жизни, в которой теперь, когда ты вынужден бежать, уже не будет ни веселья, ни любви.

И горячие слезы хлынули из красивых черных глаз Джульетты. Тогда Эразмус, обезумев от смертельной любовной истомы, прошептал:

— Я должен покинуть тебя? Что ж, раз я должен тебя покинуть, пусть мое зеркальное отражение навечно останется с тобой. Никакая сила, даже сам черт, не сможет его отнять у тебя, пока я принадлежу тебе душой и телом.

Не успел он это произнести, как пламенные поцелуи Джульетты запыхали на его губах, потом она выскользнула из его объятий и жадно протянула руки к зеркалу. И тут Эразмус увидел, что его изображение независимо от его позы, само по себе, отделилось от зеркальной поверхности, и Джульетта, схватив его, исчезла вместе с ним. И тут же кабинет огласился мерзкими гогочущими звуками и дьявольским саркастическим хохотом, запахло серой. Смертельный спазм ужаса сдавил его сердце, он потерял сознание, упал, на пол, однако не покинувший его страх тут же поднял его на ноги, в кромешной тьме он ринулся в дверь и побежал вниз по лестнице. Как только Эразмус очутился на улице, его кто-то схватил, втащил в карету, и лошади понеслись.

— Похоже, что вы слегка погорячились? — произнес некто, сидящий рядом с ним. — Да-да, погорячились... Но все будет в порядке, если вы мне полностью доверитесь. Джульетточка уже сделала, что могла, и рекомендовала вас мне. Вы очень милый молодой человек и имеете поразительную склонность к тем же забавам, которым мы с Джульеттой любим предаваться... А удар по затылку был отменный, чисто немецкий. У этого аморозо сине-красный язык свисал прямо до подбородка — зрелище было весьма эффектное. А потом он кряхтел, стонал и все никак не мог отправиться на тот свет. Ха-ха-ха!

Голос говорившего был каким-то ерническим, отвратно-насмешливым, а его болтовня такой гнусной, что каждое слово разило

Эразмуса словно кинжал.

— Кем бы вы ни были, — сказал Эразмус, — не говорите о моем ужасном поступке, в котором я раскаиваюсь, прошу вас...

— «Раскаиваюсь, раскаиваюсь», — передразнил его незнакомец. — А раскаиваетесь вы в том, что познакомились с Джульеттой и завоевали ее сладчайшую любовь?

— О, Джульетта, Джульетта, — вздохнул Эразмус.

— Ну да, — продолжал незнакомец, — вы просто ребячливы, вам все надобно, вы все желаете и при этом хотите, чтобы все шло без сучка без задоринки. То, что вам пришлось расстаться с Джульеттой, это, конечно, фатально. Но, останься вы здесь, я бы, пожалуй, мог вам помочь уклониться от всех мстительных клинков и судебных преследований.

Мысль о том, что появилась надежда остаться с Джульеттой, всецело овладела Эразмусом.

— Как же это возможно? — спросил он.

— Я знаю одно средство, симпатическое средство, которое отведет глаза вашим преследователям, короче говоря, оно так действует, что позволит вам всякий раз менять свое лицо и никто не сможет вас признать. Днем, когда будет светло, вы долго и внимательно поглядите на себя в зеркало, а я затем выну ваше зеркальное отражение, ничуть его не повредив, проделаю с ним кое-какие манипуляции, и вы будете навсегда защищены от всяческих посягательств. Вы сможете жить с Джульеттой в любви и благоденствии, не подвергаясь никакой опасности.

— Ужасно!.. Ужасно!.. — вырвалось у Эразмуса.

— Чему это вы так ужасаетесь, любезнейший? — полюбопытствовал с издевкой его странный собеседник.

— Ведь я отдал... отдал... — начал было Эразмус.

— Отдал свое отражение Джульетте?.. Ха-ха-ха!.. Браво, мой достопочтеннейший! Что ж, тогда вам придется бегать ножками по лесам и лугам, городам и весям, пока вы не доберетесь до своей супружницы и малютки Расмуса и снова станете отцом семейства, хотя и без зеркального отражения, с чем она, несомненно, примирится, поскольку очень вас любит. А Джульетта останется вашей мерцающей мечтой.

— Замолчи, ты, чудовище!.. — завопил Эразмус.

В этот момент к ним приблизился веселый галдящий кортеж экипажей и пламя факелов на мгновение осветило внутренность их кареты. Эразмус поглядел в лицо своему спутнику и узнал уродливого доктора Дапертутто. Он тут же выпрыгнул из кареты и побежал вдогонку кортежу, потому что издали различил приятный бас Фридриха. Эразмус поведал другу обо всем, что с ним произошло, умолчав только о потере своего отражения. Фридрих вернулся вместе с ним в город, и они так быстро справились со всем необходимым, что, когда рассвело, Эразмус уже скакал на своем быстроногом коне далеко от Флоренции.

Шпикер описал также некоторые приключения, которые случились с ним во время этого путешествия. Самым значительным из них было то, когда он впервые почувствовал, что значит не иметь зеркального отражения. Он как раз остановился в некоем городе, чтобы дать передохнуть своему утомленному коню, и сел, ничего не опасаясь, за большой общий стол в каком-то постоялом дворе, не обратив внимания на то, что как раз против него на стене висит большое ясное зеркало. Какой-то чертов кельнер, который, как на грех, стоял за его стулом, вдруг обратил внимание, что стул в зеркале оставался свободным — оно не отражало сидевшего на нем человека. Кельнер сообщил о своем наблюдении соседу Эразмуса, а тот шепнул об этом своему соседу, и скоро все сидевшие за столом стали перешептываться и поглядывать то на Эразмуса, то на зеркало. Эразмус еще не успел сообразить, что именно он — причина всей этой кутерьмы, как из-за стола встал некий солидный мужчина с серьезным лицом и заставил Эразмуса подойти вплотную к зеркалу, потом оглядел его с ног до головы и, обернувшись к обществу, громогласно объявил:

— В самом деле, отражения у него нет.

— Нет отражения!.. Глядите, он не отражается в зеркале! — загудели все разом. — Гоните его в шею! Прочь!.. Прочь!..

В бешенстве, стораая от стыда, Эразмус вбежал в свою комнату, но едва он запер дверь, как к нему явились из полиции и объявили, что, ежели он через час не представит своего абсолютно точного зеркального отражения начальству, ему предписывается немедленно покинуть город. Во избежание худших неприятностей он бежал из города под улюлюканье праздных зевак и свист уличных мальчишек.

— Вот он, удирает отсюда! Этот тип продал свое отражение дьяволу!.. — неслось ему вслед.

Наконец город остался позади, и с тех пор, где бы он ни появлялся, под предлогом врожденного отвращения ко всякого рода отражениям, он первым делом приказывал завешивать все зеркала. Вот его и прозвали «генералом Суваровым», который, по преданию, поступал с зеркалами точно так же.

Когда же он добрался до своей родины, до своего родного дома, то его милая женушка и малютка Расмус встретили его весьма приветливо, и вскоре ему стало казаться, что в обстановке мирной семейной жизни можно перенести утрату своего зеркального отражения. Но вот однажды, когда Шпикер, уже совершенно выкинувший Джульетту из своих мыслей, играл с маленьким Расмусом, тот, балуясь, вымазал отцу щеки сажей.

— Ой, папа, гляди-ка, как я тебя разукрасил. У тебя совсем черное лицо! — крикнул малыш и, прежде чем Шпикер успел его остановить, притащил зеркало и, держа его перед отцом, сам поглядел в него. И в тот же миг он выронил его из рук и, расплакавшись, выбежал из комнаты. Вскоре появилась жена, лицо ее выражало страх и изумление.

— Знаешь, что мне Расмус рассказал? — спросила она.

— Что я будто бы не отражаюсь в зеркале? Так, что ли, моя милая? — произнес Шпикер с натянутой улыбкой, как бы говорящей, что, хотя сама мысль о том, что можно потерять свое отражение, в сущности, безумна, все же, случись это, потеря была бы невелика, поскольку всякое зеркальное отражение содержит в себе чисто иллюзорный эффект, не являясь, по сути дела, ничем вещественным. Самосозерцание, рассуждал он, лишь будоражит тщеславие, да к тому же и безусловно содействует разрыву своего «я» на реальное и воображаемое. Пока он все это излагал, его супруга поспешно сорвала занавеску с висевшего в комнате зеркала. Она взглянула на него и рухнула на пол, словно пораженная молнией. Шпикер поднял ее, но едва сознание вернулось к ней, как она с отвращением оттолкнула его от себя.

— Оставь меня! — визжала она. — Оставь меня, чудовище! Ты не мой муж, ты не мой муж, ты дух ада, который хочет погубить мою

душу и лишить меня вечного блаженства. Убирайся!.. Чур меня, чур меня, у тебя нет власти надо мной!

Ее голос разносился по всем комнатам, на крик в ужасе сбежались слуги, и тогда Эразмус в бешенстве и отчаянии ринулся прочь из своего дома. Будто гонимый безумием, метался он по пустынным аллеям парка на окраине города, и вдруг перед ним мелькнул образ Джульетты во всей ее ангельской красоте.

— Ты что, мстишь мне, Джульетта? — крикнул он во весь голос. — Мстишь за то, что я бросил тебя и вместо себя оставил свое зеркальное отражение? Послушай, Джульетта, я готов стать всецело твоим, и душой и телом, она отвергла меня, *она*, ради которой я пожертвовал тобой! Джульетта, Джульетта, я хочу посвятить тебе свою жизнь, повторяю: быть твоим душой и телом.

— Это совсем нетрудно сделать, любезнейший, — проскрипел синьор Дапертутто, который почему-то оказался рядом со Шпикером на аллее; на нем был все тот же кроваво-красный сюртук с блестящими стальными пуговицами. И представьте, его слова прозвучали для несчастного Эразмуса утешением, поэтому он, невзирая на коварное, отвратительное лицо доктора, спросил его жалобным голосом:

— Как же мне ее найти? Ведь она для меня навеки потеряна.

— Ничего нет проще, — ответил Дапертутто, — она недалеко отсюда и тоскует по вашей драгоценной персоне, почтеннейший, поскольку, надеюсь, вы не можете не согласиться, зеркальное отражение — одна пустейшая иллюзия. К тому же, как только вы явитесь к ней собственной драгоценной персоной и она будет знать, что вы отдались ей на всю жизнь, и душой и телом, она вернет вам ваше привлекательное отражение, причем в полной сохранности.

— Веди меня к ней! Скорее к ней! — крикнул Эразмус. — Где она?

— Нужно разрешить еще один пустячный вопрос, — сказал Дапертутто, — прежде чем вы увидите Джульетту и замените собой свое зеркальное отражение. Пока что она не может всецело располагать вами, ибо вы еще связаны известными узами, которые необходимо разорвать... Я имею в виду вашу милую женушку и подающего надежды сыночка.

— Что вы хотите сказать? — дико взревел Эразмус.

— Бесповоротный разрыв ваших связей, — продолжил Дапертутто, — может быть осуществлен вполне человеческим способом. Еще по Флоренции вам должно быть известно, что я умею весьма ловко готовить удивительные снадобья. Вот и сейчас у меня в руке есть пузырек с таким домашним средством. Достаточно нескольких капель, и люди, стоящие на пути вашей с Джульеттой любви, мгновенно и тихо уйдут в мир иной, причем безо всяких мучений. Правда, иные называют это смертью, а смерть будто бы горька. Но разве вкус горького миндаля не прекрасен? Именно такой горечью и обладает смерть, которая заключена в моем пузырьке^[3]. Когда члены вашей дражайшей семьи навеки радостно закроют глаза, они будут благоухать нежнейшим запахом горького миндаля. Вот этот пузырек, почтеннейший, возьмите его.

И доктор Дапертутто протянул Эразмусу маленький пузырек.

— Мразь! — завопил Эразмус. — Вы хотите, чтобы я отравил собственную жену и ребенка?

— Кто говорит о яде? — спросил красносюртучный. — В пузырьке домашняя настойка и, к слову сказать, весьма приятная на вкус. Мне были бы с руки иные средства добиться вашей свободы, но поручить это вам так естественно, так человечно, не правда ли? Пусть это будет моим маленьким капризом... Берите, берите, любезнейший.

Эразмус и сам не заметил, как пузырек оказался в его руке. Безо всяких умыслов он побежал домой и скрылся в своей комнате. Его жену всю ночь одолевал безотчетный страх, она ужасно мучилась и все время твердила, что вернувшийся к ним в дом человек — не ее муж, а адский житель, принявший личину ее мужа. Не успел Эразмус переступить порог, как все его домочадцы в суеверном страхе разбежались кто куда, только маленький Расмус решился к нему подойти и с детской наивностью спросить, не принес ли он своего зеркального отображения, не то мама умрет от горя. Эразмус дико поглядел на ребенка, у него в пальцах все еще была зажата склянка, которую дал ему Дапертутто. У малыша на руках сидел его любимый голубь, который вдруг ни с того ни с сего взмахнул крыльями и клюнул пробку пузырька. Он тотчас же уронил набок свою головку и упал замертво.

— Предатель! — вскричал Эразмус. — Ты не заставишь меня свершить адское деяние!

И он вышвырнул в открытое окно дьявольский пузырек, который разбился о камни мощеного двора на тысячу кусков. Приятный запах миндаля заполнил комнату. Маленький Расмус в испуге убежал.

Шпикер, терзаемый тысячью страданий, весь день не находил себе места. Наконец часы пробили полночь. И образ Джульетты все больше и больше оживал в его душе. Как-то раз во Флоренции в его присутствии у Джульетты разорвалась нитка ожерелья из высушенных красных ягод. Подбирая их с пола, он припрятал одну, ведь она касалась лилейной шейки его возлюбленной, и он все время ревностно хранил эту сухую ягодку. А теперь он вытащил ее на свет божий и, уперев в нее взор, сосредоточил все свои мысли и душевные силы на потерянной возлюбленной. И ему почудилось, что из бусинки стал исходить волшебный аромат, который обычно витал вокруг Джульетты.

— О Джульетта! Хоть бы один-единственный раз увидеть тебя, а потом можно и сгинуть в позоре и бесчестии!

Едва он произнес эти слова, как в коридоре перед дверью что-то зашуршало, затем послышались чьи-то легкие шаги, и в дверь постучали. Эразмус даже задохнулся от страха, что предчувствие его обманет, и все же он был полон надежды. Он отворил дверь, и в комнату вошла Джульетта, сияя своей неземной красотой и очарованием. Обезумев от любви и счастья, заключил он ее в свои объятия.

— Вот я и пришла, мой возлюбленный, — сказала она тихо и нежно. — Но ты только погляди, как верно я храню твое зеркальное отражение.

Она сняла с зеркала занавеску, и Эразмус с восторгом увидел в нем себя, однако ни одного из его движений отражение не повторяло. И снова ужас охватил Эразмуса.

— Джульетта, неужели я сойду с ума от любви к тебе?.. Верни мне мое отражение, а взамен возьми мою жизнь, я твой душой и телом.

— Нас разделяет еще одно обстоятельство, ты же знаешь... Неужели Дапертутто тебе не сказал?..

— Господи, — перебил ее Эразмус, — если это цена нашей любви, то я предпочитаю умереть.

— Конечно, Дапертутто не должен тебя принуждать к такому поступку... Что и говорить, это ужасно... Обет и благословение

священника не должны бы так много значить, но все же тебе придется разорвать узы, которые связывают тебя, и для этого есть другое, лучшее средство, чем то, которое предложил тебе Дапертутто.

— Какое? — быстро спросил Эразмус. — В чем оно состоит?

Джульетта обвила его голову руками, склонила ее себе на грудь и тихо прошептала:

— Ты поставь свое имя Эразмус Шпикер под таким обязательством: «Я передаю моему доброму другу доктору Дапертутто власть над моими женой и ребенком, и он может распоряжаться ими по своему произволу, и тем самым расторгаю узы, которые нас связывают, ибо отныне я своим смертным телом и бессмертной душой хочу принадлежать Джульетте, которую избираю себе в жены и навеки связываю себя с нею особым обетом».

Нервы Эразмуса были напряжены до предела, он дергался, как марионетка на нити. Огненные поцелуи жгли ему губы, он уже держал в руке листочек, что протянула ему Джульетта. Но за спиной Джульетты вдруг появился, увеличившись до огромных размеров, сам доктор Дапертутто. Он протянул Эразмусу металлическое перо, и в этот момент на левой руке несчастного лопнула жилка и брызнула кровь.

— Обмакни перо... обмакни перо... пиши... пиши... — настойчиво шипел красносюртучный.

— Пиши, пиши, мой навеки единственный возлюбленный, — шептала Джульетта.

Он уже обмакнул перо в кровь и готов был начать писать расписку, как распахнулась дверь и в комнату вошла фигура в белой одежде, она уперла в Эразмуса свои неподвижные глаза привидения и глухим голосом, исполненным тоски и страдания, прогудела:

— Эразмус, Эразмус, что ты затеял... Опомнись... Во имя Спасителя...

Эразмус узнал в этой фигуре свою жену, отшвырнул перо и листочек бумаги.

Сверкающие искры посыпались из глаз Джульетты, лицо ее уродливо исказилось, а тело запылало.

— Отыди от меня, исчадь ада! Не получить тебе моей души! Во имя Спасителя нашего, отыди от меня, дьявольское отродье! Адское пламя исходит от тебя!..

Так кричал Эразмус и ударом кулака отбросил от себя Джульетту, которая все еще стискивала его в своих объятиях. Комната наполнилась странным визгом и воем, запахло гарью, и что-то закружилось в воздухе, похожее на вороновы крылья. Джульетта и доктор Дапертутто исчезли в густом зловонном дыме, который, казалось, исходил от стен и гасил огонь свечей. Наконец в окошке забрезжил рассвет. Эразмус тут же отправился к своей жене. Он застал ее в добром настроении, она была мягка и кротка. Маленький Расмус тоже проснулся и сидел у нее на постели. Она протянула своему измученному мужу руку и сказала:

— Теперь я знаю, какая ужасная история произошла с тобой в Италии, и от всего сердца жалею тебя. Власть искусителя велика, и так как он подвержен всем порокам, в том числе и воровству, то он не смог устоять от соблазна похитить у тебя самым коварным образом твое прекрасное, непревзойденное, такое похожее на тебя зеркальное отражение... Погляди-ка на себя вон в то зеркало, мой дорогой, милый муженек.

Эразмус подошел к зеркалу, дрожа всем телом, вид у него был весьма жалкий. Зеркало оставалось ясным и незамутненным, никакого Эразмуса в нем не отражалось.

— Как удачно, что на этот раз ты в нем не отразился, — сказала жена, — потому что вид у тебя, мой дорогой Эразмус, сейчас на редкость дурацкий. Ты сам, наверно, понимаешь, однако, что без отражения в зеркале ты — посмешище для людей и, естественно, не можешь стать настоящим, подлинным отцом семейства, вызывающим уважение у жены и детей. Даже Расмусхен начинает над тобой смеяться и собирается нарисовать тебе углем усы, поскольку ты этого все равно не заметишь, поэтому тебе сейчас в самый раз еще немного побродить по свету и найти случай вернуть себе свое зеркальное отражение, так подло похищенное извергом рода человеческого. Как только ты его получишь — добро пожаловать домой, мы будем тебе сердечно рады. Поцелуй меня, мой милый (Шпикер так и сделал)... а теперь — счастливого пути! Посылай Расмусу время от времени новые брючки, потому что он все время ползает на коленках и быстро их протирает. А если попадешь в Нюрнберг, то добавь к подарку еще раскрашенного гусара и перечный пряник, как любящий отец. Всего тебе самого доброго, мой дорогой Эразмус!

Сказав все это, жена повернулась на бок и заснула. Шпикер схватил маленького Расмуса и прижал к своей груди, но тот заорал благим матом, и тогда Шпикер спустил его на пол и пошел бродить по белу свету. Однажды во время своих странствий он повстречал некоего Петера Шлемиля, который продал черту свою тень. Они решили было побродить вместе, чтобы Эразмус Шпикер отбрасывал на дорогу тень за обоих путников, а Петер Шлемиль обеспечивал бы отражение в зеркалах тоже за двоих, но из этого ничего не вышло.

Вот и конец истории о потерянном зеркальном отражении.

Постскриптум путешественного энтузиаста

— Что это за отражение вон в том зеркале? Я ли это?.. О, Юлия, Джульетта! Ангел небесный... Исчадие ада... Восторг и мука... Томление и отчаяние... Ты видишь, мой дорогой Теодор Амадеус Гофман, что в мою жизнь часто врывается чужая темная сила, отнимая у меня добрые сны и все время сталкивая с какими-то странными персонажами. Весь во власти той истории, что приключилась со мной в сочельник, я готов поверить и что тот советник юстиции сделан из марципана, и что чаепитие было не более чем кукольное украшение рождественской витрины, а прелестная Юлия была влекущим к себе живописным образом, сошедшим с полотна Рембрандта или Калло, и она обвела вокруг пальца несчастного Эразмуса Шпикера, похитив похожее на него как две капли воды его зеркальное отражение. Прости меня!

Натаниель Готорн

(1804–1864)

Мосье де Зеркалье

Пер. с англ. С. Поляковой

Кроме названного выше господина, в кругу моих знакомых не сыщется человека, кого я изучал бы так пристально, но чью подлинную сущность постиг бы лишь настолько, насколько ему было угодно ее обнаружить. Любопытствуя понять, кто он, что представляет из себя на самом деле, как со мной связан и чем для меня и для него обернется наш обоюдный интерес друг к другу, не predetermined моим выбором и, кажется, непрестанно крепнувший, а к тому же стремясь исследовать людскую природу — впрочем, едва ли мосье де Зеркалье наделен чем-нибудь человеческим, кроме внешнего облика, — я решил познакомить свет с некоторыми примечательными чертами этого господина, в уверенности, что обладаю ключом к объяснению его характера. Пусть читатель не посетует на обилие мелочных подробностей, поскольку предмет моих напряженных раздумий обнаруживает свою суть в ничтожных частностях; пожалуй, трудно предрешать, какая случайная и незначительная деталь сыграет роль собаки-поводыря и выведет нас к истине. Но какими странными, удивительными, противоестественными или невероподобными ни покажутся некоторые мои наблюдения, совесть моя в том порукой, что я буду со священным трепетом относиться к каждому своему слову, будто свидетельствую под присягой, памятуя, что затрагиваю глубоко личные стороны жизни господина, о котором идет речь. Впрочем, нет оснований для судебного преследования мосье де Зеркалье, да если б они даже и были, я ни за что бы не взялся за подобное дело. Я имею к нему претензии лишь потому, что его окутывает непроницаемая тайна, которая сущий пустяк, если скрывает добро, но много опаснее, если за ней прячется зло.

Допустим, меня можно подозревать в лицеприятности суждений, но в таком случае мосье де Зеркалье, пожалуй, скорее выиграет от нее, нежели пострадает, поскольку за долгие годы знакомства мы почти не знали размолвок. Есть, кроме того, основания считать, что он связан со мной родством и потому располагает правом на самые добрые слова, какие есть у меня в запасе. Мосье де Зеркалье, несомненно, удивительно похож на меня лицом и всегда является в трауре на похороны моих близких. С другой стороны, имя его как будто указывает на французское происхождение; поскольку же мне приятнее думать, что в моих жилах течет англосаксонская и подлинно пуританская кровь, я позволю себе отрицать всякое родство с мосье де Зеркалье. Некоторые знатоки генеалогий считают колыбелью его семьи Испанию и видят в мосье рыцаря ордена Caballeros de los Espejos^[4], один из представителей которого был побежден Дон-Кихотом. Что же говорит обо всем этом сам мосье? Скажу, что он никогда и словом не обмолвился о себе. Быть может, он хранит свою интригующую тайну только потому, что лишен дара речи и бессилен ее открыть. Иногда мосье шевелит губами, глаза и черты его меняют выражение, как бы соответствуя зримым значкам, посылаемым ритмом его дыхания, а потом лицо его становится серьезным и удовлетворенным, точно мой друг высказал какую-то умную мысль. Складны или бессвязны его речи, о том судить самому мосье де Зеркалье, поскольку ни одного его слова не дошло до слуха постороннего человека. Быть может, он немой? Или весь свет глух? Быть может, мой друг шутит и потешается над нами? Если так, то смешно ему одному.

Я убежден, что только демон немоты, которым одержим мосье де Зеркалье, не позволяет ему высказывать мне самых лестных дружеских заверений. Во многом — это касается обычных его склонностей и привычек — между нами существует несомненное внутреннее сходство, и отличаемся мы разве тем, что все же я иногда произношу несколько слов. Мосье так доверяет моему вкусу, что, презирая моду, перенимает покрой моего платья, поэтому, примеряя обнову, я наперед знаю, что встречу мосье в такой же одежде. У него есть разновидности всех моих жилетов и галстуков, такие же, как у меня, манишки и поношенная домашняя куртка, сшитая, кажется, портным-китайцем по образцу моей старой любимой куртки и до того

с ней схожая, что ее тоже украшает заплата на локте. Сказать по правде, наши жизни с их каждодневными мелочами и серьезными событиями так напоминают одна другую, что невольно вспоминаются легендарные рассказы о влюбленных, близнецах или роковых двойниках, которые одинаково жили, радовались, мучились, а на смертном ложе повторяли последний вздох своего второго «я», хотя между ними пролегли необозримые пространства моря и суши. Как ни странно, мои беды обрушиваются и на моего друга, хотя бремя их не делается для меня легче оттого, что поделено между нами. Промучившись, скажем, ночь зубной болью, утром я встретил мосье де Зеркалье с таким флюсом, что мои страдания удвоились, как, впрочем, и страдания мосье, если мне позволительно заключить об этом по его раздувшейся вдруг щеке. Колебания моего настроения мгновенно передаются мосье, и несчастный целый божий день хандрит и куксится или, напротив, смеется затем, что на меня нашел веселый или мрачный стих.

Однажды нас с ним приковала к постели трехмесячная болезнь, а когда мы поднялись на ноги, оба выглядели при встрече как призраки-близнецы. Стоило мне влюбиться, как мосье становился пылким и мечтательным, а случись получить отставку — этот чрезвычайно чувствительный господин ходил мрачнее тучи. Кровь его закипала, он горел, точно в жару, и кипятился из-за несправедливостей, которые сыпались как будто только на мою голову. Подчас я даже брал себя в руки, видя на его лице с гневно сведенными бровями отражение своей бешеной ярости. Мосье — великий охотник вступать в мои ссоры, но я не запомню, чтобы, защищая меня, он дал заслуженную пощечину моему противнику. Вообще он постоянно вмешивается в мои дела безо всякого толку, и в припадках подозрительности мне иной раз думается, что дружеское участие мосье столь же показное, как у всех прочих. Но поскольку каждый человек что-нибудь таит под личиной сочувствия — неподдельное золото или сплавленное с медью, я предпочитаю принимать мосье де Зеркалье таким, каков он есть, чем гнаться за полноценной монетой, рискуя потерять фальшивую.

В пору, когда я вел рассеянную жизнь, я часто встречал мосье в бальных залах и мог бы вновь увидеть, если б мне вздумалось искать его там. Мы нередко сталкивались в театре Трмонт; однако здесь он не занимал места в бельэтаже, партере или на балконе и не смотрел на

сцену, где блистает знаменитости, а порой даже сама Фанни Кэмбл. Ничуть не бывало: оригинал предпочитал сидеть в фойе у одного из тех высоких зеркал, в которых отражается это залитое светом помещение. Мой друг склонен к таким странностям, что в общественных местах я стараюсь его не замечать и даже таить, что имею к нему отношение. Но он упорно продолжает раскланиваться со мной, хотя здравый смысл, если он таковым обладает, мог бы подсказать ему, что это мне так же приятно, как приветствовать дьявола. В другой раз он угодил на пороге скобяного склада прямо в громадный медный котел, а через минуту ударился головой о блестящую жаровню и, взглянув на меня, безжалостно дал мне понять, что я узнал. Затем улыбнулся, и я ответил ему тем же. Однако из-за всех этих ребяческих выходов почтенные люди сторонятся мосье де Зеркалье и избегают, как никого в городе.

Одна из наиболее примечательных особенностей этого странного господина — его поразительная любовь к воде. Сказать по правде, ему не столько нравится ее пить (мосье довольствуется очень умеренным количеством воды), сколько при каждом удобном случае поливать себе голову и шею. Быть может, он какой-нибудь тритон или сын русалки, сочетавшейся со смертным человеком, и унаследовал ее водную и земную природу, подобно тем отпрыскам, которые рождались от брака морских божеств или нимф источников с обыкновенными людьми. Если мосье не находит лучшего места, чтобы освежиться, этот безумец, как я сам видел, не брезгует и прудом, где купают лошадей. Иной раз он плещется в водостоке у водонапорной башни, не заботясь о том, что подумают люди. Когда после проливного дождя я шел по улице и старательно выбирал места посуше, мосье де Зеркалье, одетый на выход, к моему ужасу, шлепал по лужам, увязая в грязи по колени и не пропуская ни одной. Стоило мне заглянуть в колодец, как я видел этого чудака на дне, откуда, словно через длинную трубу телескопа, он смотрит на небо и, очевидно, среди бела дня открывает новые звезды. На прогулках по одиноким тропкам или в лесной чаще я нередко набредал на затерянные родники и уже готов был мнить себя их первооткрывателем, как тут же убеждался, что мосье меня опередил. Благодаря присутствию мосье места моих прогулок казались мне еще более уединенными. Я приходил к озеру Георга, которое французы считают природным источником святой

воды, используют ее в здешних своих бревенчатых церквах и в соборах за океаном, склонялся над обрывом и обнаруживал мосье в озерных струях. И на Ниагарском водопаде, где я с радостью забывал и о себе, и о нем, на водной глади у самого края водопада под Столовой горой меня опять упрямо встречал мой неизменный спутник. Я убежден, что даже у истоков Нила мосье не оставил бы меня в покое. Не будучи вторым Ладурладом, чье платье не намокало в морских волнах, трудно понять, как мой друг мог оставаться сухим, а я должен признать, что одежда мосье, кажется, даже не сыреет и столь же ладно сидит, как моя собственная. Все же на правах друга я хочу посоветовать мосье, чтобы он так не злоупотребил купаньем.

Все сказанное здесь можно отнести к безобидным причудам мосье, сулящим обществу только приятное разнообразие, и хотя подчас они доставляют докучу, наша повседневная жизнь без них лишилась бы свежести и остроты. Этим попутно сделанным намеком я хочу предварить рассказ о более странных особенностях поведения моего друга; скажи я о них сразу, читатель мог бы решить, что мосье де Зеркалье — просто тень, что я не заслуживаю доверия, а эта правдивая история — чистейший вымысел. Но теперь, когда читатель видит, что я достоин всяческого доверия, я заставлю его удивиться.

Честно говоря, мне нетрудно было бы убедительнейшим образом доказать, что в действительности мосье де Зеркалье чародей, а может, даже обитатель мира духов, с которым чародеи общаются. Ведь ему ведомо таинственное искусство перемещаться из одной точки пространства в другую со скоростью быстрого парохода или поезда; при этом мосье нипочем каменные стены, дубовые засовы или железные запоры. Приведу, к примеру, такой случай: как-то раз поздним вечером я сижу здесь, в своей комнате, в полном одиночестве — дверь заперта, ключ из нее вынут, а замочная скважина заткнута бумагой, чтобы не сквозило. Однако мое одиночество — мнимое, ибо, стоит мне засветить лампу и сделать пять шагов направо, мосье де Зеркалье, без сомнения, встретит меня с зажженной лампой в руке: если завтра, не сказав моему другу ни слова, я надумаю сесть в почтовую карету и уехать на неделю из дому, можно не сомневаться, что в любой гостинице этот непрошенный гость разделит со мной комнату. Приди мне на ум каприз погулять при луне и полюбоваться на фонтан Шейкера в Кентербери, мосье де Зеркалье

повторит мою нелепую затею и не преминет встретиться там со мной. Мне предстоит еще больше удивить читателя! Нанося на бумагу слова этой фразы, я случайно взглянул на большой медный шар, украшающий каминную подставку для дров, и — чудеса! — увидел, что во много раз уменьшенный мосье де Зеркалье с лицом, расплюснутым в забавной гримасе, как бы потешается над моим изумлением! Но мой друг так часто выкидывал подобные шутки, что они уже приелись. Как-то со свойственной ему бесцеремонностью мосье прокрался в голубые глаза одной молодой леди, и пока я мечтательно и восторженно плядел на нее, в грезах моих витал и мой вездесущий друг. Прошедшие с тех пор годы так изменили мосье, что теперь эти голубые глаза откажут ему, конечно, в пристанище.

Сообщенные здесь достоверные сведения позволяют заключить, что дела мосье обернулись бы плачевно, шути он свои шутки в стародавние времена процессов над ведунами, по крайней мере если бы констебль или блюстители порядка получили полномочия схватить его, а тюремщик оказался достаточно предусмотрителен, чтобы сделать побег мосье невозможным. Но мне часто представлялось странным и свидетельствующим то ли о его болезненной подозрительности, то ли о глубочайшей осторожности, что даже мне, самому близкому другу, он не позволял к себе притронуться и пальцем. Если сделать шаг навстречу мосье, он с готовностью приблизится, если протянуть руку, охотно сделает то же, но не ждите сердечного рукопожатия — вам не подадут и пальца! О, мосье де Зеркалье скользок как угорь!

Право, все это поистине странные вещи. Затратив много умственных сил и не сумев составить себе представление о характере моего друга, я прибегал к помощи людей сведущих, читал мудреные философские трактаты, стараясь разгадать, что за создание меня преследует и зачем. Я слушал длинные лекции и углублялся в толстые тома, но постиг лишь то, что в истории человеческого рода обыкновенные смертные не раз оказывались связанными с существами, сходными с мосье. Быть может, многие из моих современников имеют такого друга, как мой мосье де Зеркалье. Почему бы этому господину не сблизиться с кем-нибудь из них или, на худой конец, не разрешить другому духу сопутствовать мне? Если уж судьбе угодно, чтобы у меня был столь навязчивый друг, который

не сводит с меня глаз, даже когда я в полнейшем уединении, я предпочитаю — бог с ними, с условностями — улыбающуюся молодую девушку мрачному, насупленному и бородатому мосье. Увы, такие желания никогда не осуществляются! Хотя родичей мосье де Зеркалье, быть может, справедливо, обвиняют в том, что они любят бывать у друзей в роскошных домах и не посещают их под мрачными тюремными сводами, все же они выказывают редкую верность объектам своей первой привязанности, хотя их избранники бывают необходимы и даже грубы в обращении, несчастны, ославлены или отвергнуты светом. Таков и мой спутник. Наши с ним судьбы оказываются неразделимы. Мне кажется, поскольку мосье де Зеркалье появляется уже в самых ранних моих воспоминаниях, что мы одновременно родились, и он, как тень, вышел за мною на свет солнца, и, как некогда, так и впредь, удачи и печали моей жизни будут освещать или затуманивать его лицо. Оба мы когда-то были молоды и сейчас в зените своего лета, но, если нам суждена долгая жизнь, собственные морщины и седые волосы мы будем замечать, глядя друг на друга. А когда заколотят мой гроб и брентную мою оболочку, которая действительно была единственной, не в пример обычным клятвам влюбленных, утехой его жизни, опустят во мрак могилы, куда мосье де Зеркалье уже не прийти своими быстрыми бесшумными шагами, что станет тогда с бедным моим другом? Хватит ли у него духу вместе с остальными друзьями бросить прощальный взгляд на мое мертвенно-бледное лицо? Пойдет ли он в первых рядах за погребальными дрогами? Будет ли часто ходить на кладбище, посещать мою могилу, выдергивать крапиву, сеять среди зелени цветы и оттирать замшелые буквы на моем памятнике? Останется ли мосье там, где я жил, чтобы напоминать забывчивому свету о человеке, который в погоне за громким именем не скупился на ставки и кому теперь безразлично, выиграл он или проиграл?

Нет, таким образом мосье не станет доказывать свою глубокую преданность мне. И когда мы расстанемся навеки, не приведи бог ему показаться на людной улице, пройти по нашей любимой тропинке у тихой реки или оказаться в кругу семьи, где лица наши так знакомы и милы! Нет, об этом даже страшно подумать! Когда солнце перестанет дарить меня своим благословением, задумчивый свет лампы не упадет на мой письменный стол, а веселый огонь в камине не согреет

погруженного в раздумья человека, это таинственное существо, исполнив свою миссию, навеки покинет земные пределы. Мосье де Зеркалье переселится во мглистое царство небытия, но не найдет меня там.

Есть что-то устрашающее в связях с существом, столь мало мне ведомым, и в мысли, что все, меня касающееся, соответственно отразится и на его участи. Когда знаешь, что другому человеку предстоит разделить с тобой судьбу, невольно более строгим судом судишь свои намерения и обуздываешь привычку доверяться обольщениям, которые окрашивают будущее волшебным светом счастья. Последние годы отношения между нами по разным причинам омрачились, и, не будь наш союз неременным условием взаимного существования, мы, конечно, давно бы разошлись. В ранней юности, когда привязанности мои были горячи и непосредственны, я искренне любил мосье и всегда с приятностью коротал время в его обществе, поскольку это позволяло составить весьма лестное мнение о собственной персоне. В ту пору безмолвный мосье де Зеркалье умел любезно уверить меня в том, что я красавец; и я, конечно, отвечал ему таким же комплиментом, так что чем чаще мы бывали вместе, тем более самодовольными становились. Теперь, правда, это уже не грозит нам. Случайно встретившись — а встречаемся мы обычно ненароком, — один уныло вглядывается в лоб другого, боясь увидеть морщины, или смотрит на виски, где раньше всего начинают редеть волосы, или на запавшие глаза, которые уже не оживляют лица своим веселым блеском. В облике мосье я невольно читаю следы моей безрадостной юности, которую прожил попусту, не зная надежд и высоких порывов, или растратил на обременительный и бессмысленный труд, не принесший никаких плодов. Да, теперь я вижу, что разочарование жизнью омрачило лицо мосье де Зеркалье: черные мысли о безнадежном будущем слились с темными тенями прошлого, придав его чертам какую-то обреченность. Неужто передо мной моя судьба, воплотившаяся в собственный мой образ, и потому она преследует меня с таким неотвратимым упорством, совершает за меня поступки, прикидываясь, будто лишь повторяет их, морочит меня, притворяясь, что делит со мной беды, которые сама же предначертала и воплотила в себе? Не стоит об этом думать, иначе я проникнусь ужасом перед мосье де Зеркалье и при новой встрече,

особенно в полночь или в безлюдном месте, буду боязливо озираться по сторонам и дрожать. А тогда — ведь мой друг очень чувствителен к тому, как обходятся с ним, — мосье с омерзением или в испуге отведет от меня глаза.

Но нет, это недостойно меня. Бывало, я искал его общества, потому что он навевал мне волшебные грезы о женской любви и всем своим видом сулил близкое счастье. А сейчас я ежедневно и подолгу буду видеться с ним ради суровых уроков, которые он преподаст мне в нынешние мои зрелые годы. Мы неподвижно будем сидеть лицом к лицу и вести бессловесную беседу в надежде, что радость расцветет на почве нашего уныния. Быть может, мосье де Зеркалье когда-нибудь негодуяще заявит, что только ему пристало оплакивать утрату своей красоты, прежде бывшей его главным достоянием, а затем спросит, нет ли у меня сокровища, ценность которого с возрастом увеличивается, хотя годы или сама смерть стараются отнять его у брэнного моего тела. А затем мосье де Зеркалье добавит, что, хотя цвет нашей жизни тронут морозом, пусть праздная душа не дрожит в своем убежище, но встрепенется и согреет себя, чтобы защититься от осенней и зимней стужи. Я в свою очередь призыву его не терять бодрости и не сетовать на то, что по моей вине серебрятся его волосы, а щеки похожи на сморщенное яблоко. Ведь взамен я постараюсь осветить его лицо умом и благожелательностью, и он только безмерно выиграет от этой перемены. Тут грустная улыбка тронет губы мосье де Зеркалье.

Довольно коснувшись этой темы, мы можем перейти к другим, не менее важным. Размышляя о способности мосье де Зеркалье следовать за мной в любые, самые отдаленные места и разделять самое укромное одиночество, мне хочется сравнить свою попытку бежать его с тем, как иные люди безуспешно бегут от воспоминаний, влечений сердца или нравственных запретов, хотя страдают от этого сверх всякой меры. Я предамся раздумьям о себе самом, к чему призывает меня Натура, и живо представлю моему другу то, о чем думаю, чтобы ум мой, как прежде, рассеянно не витал в хаосе, ловя свою тень, но настигая лишь обитающих там чудовищ. Затем мы обратим мысли к миру духов, подлинность которого собеседник мой проиллюстрирует, если не докажет мне. Поскольку мы располагаем лишь зрительным подтверждением бытия мосье де Зеркалье, в то

время как все прочие чувства не могут подтвердить, что он стоит на расстоянии вытянутой руки, почему бы бок о бок с нами не существовать бесчисленным созданиям, которые наполняют небо и землю своими сонмами и тем не менее не поддаются чувственному восприятию? Ведь слепой мог бы с таким же основанием отрицать реальность мосье де Зеркалье, как мы — наличие духов, поскольку Бог не наградил нас сверхчувственным восприятием. Но они существуют! И когда я действительно поверил в это и мысль о духах слилась в моем мозгу с торжественно-пугающими представлениями, которые, как может показаться, с этими созданиями не вяжутся, я вообразил, что мосье — посланец их царства, чуждый людских качеств, если не считать обманчивой внешней оболочки. Меня, конечно, охватил бы страх, если бы, вновь появившись, он обнаружил свою сверхъестественную способность преодолевать в погоне за мной любые преграды.

Но что это? Опять мой таинственный двойник! Может быть, биение моего сердца отозвалось в твоём и вызвало тебя из обители, сверкающей в дрожащих отсветах северного сияния, среди теней, легших от заходящего солнца, и гигантских призраков, которые на закате появляются в облаках и пугают альпинистов. Воистину меня удивило, когда, бросив осторожный взгляд в левый угол, я увидел непрошеного гостя, пристально смотрящего на меня. Все тот же мосье де Зеркалье! Он по-прежнему сидит там и отвечает на мой взгляд таким же испуганным и вместе пытливым взглядом, словно, подобно мне, провел одинокий вечер в странных размышлениях, предметом которых был я. Мосье столь безошибочно подделывается под меня, что я готов усомниться, кто же из нас двоих призрак, и подумать, что один — таинственный близнец другого и мы — роковые двойники из повторяющих друг друга миров. Друг, неужели ты лишен слуха и неспособен отвечать на мои слова? Сломай разделяющие нас преграды! Возьми мою руку! Скажи хоть слово! Послушай меня! Если бы мосье прервал молчание и обратился ко мне, мое лихорадочное любопытство было бы удовлетворено, обретя кормчую мысль, которая повела бы меня по жизненному лабиринту, помогая уяснить, зачем я родился на свет, как следует выполнять свое предназначение и что такое смерть. Увы! Даже мой призрачный близнец отказывается подражать мне и улыбается этим праздным вопросам. Так уж

повелось, что люди поклоняются собственной тени, призраку человеческого разума, и хотят, чтобы он приподнял завесу над тайнами, которые высшая мудрость подчас открывает нам в назидание, а подчас хранит недоступными.

Прощайте, мосье де Зеркалье! Вас, как, впрочем, многих людей, едва ли назовешь мудрецом, хотя вы только и делаете, что отражаете чужие мысли.

Эдмунд Гилл Суэйн

(1861–1938)

Индийский абажур

Пер. с англ. Л. Бриловой

Читатель, знакомый с тем, что прежде говорилось о мистере Батчеле, усвоил, несомненно, что он — человек с весьма консервативными привычками. Бытовые удобства, число которых в последнее время стремительно множится, не привлекают его даже в тех случаях, когда он о них наслышан. Неудобства, к которым он привык, для него предпочтительней удобств, к которым надо привыкать. Поэтому он до сих пор пишет гусиным пером, заводит часы ключиком, а содовую воду потребляет исключительно из бутылок с пробковой затычкой, прикрученной к горлышку проволокой.

Соответственно, читателя нисколько не удивит известие, что мистер Батчел по сю пору пользуется настольной лампой, которую приобрел восемьдесят лет назад, при поступлении в школу. Он по-прежнему переносит ее при необходимости из комнаты в комнату, и все другие осветительные приборы для него не существуют. Лампа эта недорогая, вида самого неказистого, и изготовлена она в те времена, когда производители не ставили перед собой цель облегчить потребителю жизнь. Чтобы зажечь лампу, необходимо частично ее разобрать, а чтобы погасить, приходится пользоваться примитивным тушильником для камина. Однако дам из семейства мистера Батчела больше беспокоит не это, а несоответствие лампы окружению. Мебель в доме солидная и удобная, но красивая лампа на каннелированной бронзовой колонне, подарок родственников по случаю его назначения, до сих пор стоит нераспакованной.

Одна из его младших и наиболее коварных родственниц намеренно подстроила фатальный, как она надеялась, инцидент со старой лампой, но через год обнаружила, что та, дополнительно изуродованная починкой, вновь используется по назначению.

Попытки сжечь лампу со свету как со стороны членов семьи, так и посторонних, происходили неоднократно, однако лампа не сдавалась.

Лишь однажды мистер Батчел пошел в этом деле на уступку — случилось это совсем недавно и, можно сказать, неожиданно. Одна из родственниц, уехавшая в Индию, дабы вступить там в брак (к чему мистер Батчел приложил руку), прислала ему абажур местного производства. Предмет навевал приятные мысли. Узор из буддистских фигурок на нем бередил любопытство мистера Батчела, и он, к немалому удивлению всех своих друзей и приятелей, насадил абажур на лампу и там и оставил. Однако отнюдь не экзотические рисунки побудили его дополнить старую лампу не вполне подходящим к ней новым элементом. Более всего мистера Батчела привлек необычный цвет материи. Такой яркий оранжево-красный оттенок он видел впервые, а замечания посетителей, имевших в подобных вопросах более обширный опыт, убедили его, что цвет абажура и вправду неповторим. Все сошлись в том, что прежде такого цвета не встречали и наименовать его кратко, без пояснений, не получается: ни одному из известных цветовых оттенков он не соответствовал. Самого мистера Батчела название цвета не заботило; он знал только, что этот оттенок ему по душе — более того, необычайно его завораживает. Когда вносили лампу и задергивали занавески, он со странным удовольствием обводил взглядом обстановку, которая прежде его совершенно не интересовала. Книжки в кабинете, старомодная, основательная мебель столовой — все представало в новом, более дружелюбном свете; можно было подумать, застывшие предметы оттаивают, возрождаются к жизни. Абажур словно сообщал свету энергию, и комнаты, по словам мистера Батчела, смотрели бодрее.

Оптический эффект, как выражался мистер Батчел, был особенно заметен в столовой, где викарий любил проводить вечерние часы, поскольку там имелся большой удобный стол. В любимой позе, опираясь локтем о камин, мистер Батчел с удовольствием обводил взглядом интерьер комнаты, отражавшийся в большом старинном зеркале над каминной полкой. Высокий буфет красного дерева, стоявший напротив, светился, казалось, изнутри, что придавало ему мягкость очертаний и некоторое жизнеподобие, которое приятно волновало воображение его владельца. Тому случалось, к примеру, посетовать в шутку, что зеркало не способно сохранять и

воспроизводить сцены, которым было свидетелем с конца XVIII века, когда его здесь поместили. Красноватый свет абажура всегда подстегивал фантазию мистера Батчела; в иных из его стихотворных опусов описаны видения, посещавшие его перед зеркалом, и можно было бы порадовать ими читателя, но автор чересчур скромно, чтобы согласиться на их публикацию. Не будь он столь тверд в своем решении, мы поместили бы здесь стихотворение, в котором мистер Батчел отважно вторгается в область физической науки. Он наделяет свое зеркало способностью бесконечно долго хранить свет, однажды на него упавший, и отражать его лишь под влиянием особых факторов. Фраза, начинающаяся со слов:

Случайный образ, что мелькнет пред ним,
Для будущего зеркалом храним^[5],

позабавила бы, вероятно, знатоков оптики. В последующие дни мистер Батчел неоднократно ее зачитывал и поражался: когда его праздные фантазии воплотились в самую что ни на есть подлинную реальность, ему стало ясно, что, сочиняя эти стихи, он обнаружил факт, неизвестный науке, но подкрепленный не менее солидными экспериментальными доказательствами, чем всеми признанные и описанные в учебниках законы отражения.

Как-то морозным вечером в январе мистер Батчел сидел у себя в столовой. Кресло его было придвинуто к камину, в зеркале отражалась верхняя часть комнаты у него за спиной. В ярком пятне света от абажура перед ним лежала книга. Судьба часто распоряжается так, что посетители являются к нам в дом именно в то время, когда мы более всего жаждем уединения; услышав в тот вечер, в девять часов, звяканье дверного колокольчика, мистер Батчел выразил свою досаду громким восклицанием. Слуга объявил: «Мистер Матчер», и мистер Батчел, поспешно изобразив на лице любезную мину, встал, чтобы встретить гостя. Мистер Матчер был Вице-Гроссмейстер Провинциальной Ложи Древнего Ордена Собирателей, и держался он чопорно, как подобает носителю столь пышного титула. Вскоре мистер Батчел понял, что на остатке вечера можно поставить крест. Вице-Гроссмейстер Провинциальной Ложи явился, дабы обсудить, как может сказаться закон о страховании на обществах взаимопомощи, радетелем которых мистер Батчел являлся. Он участвовал в собраниях

этих обществ, в некоторых случаях вел их счета и никогда не отказывался вникнуть в их обстоятельства. Посему он усадил мистера Матчера в кресло по другую руку от камина и волей-неволей приготовился слушать.

— Приятный уголок, — сказал мистер Матчер, осмотревшись. — В холодные вечера здесь, должно быть, очень уютно. Вы были весьма добры, достопочтенный сэръ, согласившись уделить мне внимание, а удобство вашего жилья побуждает желать, чтобы наша беседа была неспешной.

Постаравшись не выдать, что его желания идут вразрез с желаниями гостя, мистер Батчел долгие полчаса покорно его выслушивал. В конце концов он сосредоточил внимание на дальней стене, где между двух полосок на обоях дергалась тень от бакенбарды мистера Матчера, словно отбивая такт его размеренной речи.

ВГПЛ (эту должность обозначают обычно аббревиатурой) не относился к людям, способным, если их поторопишь, изложить свою мысль кратко. Его манера говорить была выработана на собраниях Ложи, и мистер Батчел, зная это, ожидал весьма пространной преамбулы.

— Я позволил себе злоупотребить снисходительностью вашего преподобия, — говорил мистер Матчер, глядя в висевшее перед его глазами зеркало, — по той причине, что в новом законе о страховании имеются один или два пункта, в которых мне видится угроза нашему дрящемуся уже много лет процветанию. Повторяю, процветанию, дрящемуся уже много лет, — повторил он, словно сомневаясь, что мистер Батчел уловил смысл. — Вчера я имел честь беседовать с Заместителем Надзирающего за Моральным Духом в Обстоятельствах Обычных и Чрезвычайных, — (в кругах, где вращался мистер Батчел, такие звания были нередки, и он понимал их без труда), — и мы пришли, к единому мнению, что данный вопрос должен быть всесторонне рассмотрен. В уставе нашего Ордена есть одна или две нормы, как нам представляется, существенно важные для его процветания, но не далее как со следующего июля их придется упразднить... повторяю, упразднить. Мы не мидяне и даже не персы... — Собираясь повторить слово «персы», мистер Матчер скользнул быстрым взглядом по комнате и смертельно побледнел. Мистер Батчел вскочил с кресла и поспешил ему на помощь: гостю

явно сделалось плохо. Но тот с усилием взял себя в руки, встал и, пробормотав на ходу: «Разрешите мне откланяться», заторопился к двери. Мистер Батчел, искренне обеспокоенный, устремился следом, дабы предложить бренди или какое-нибудь иное средство. Мистер Матчер даже не остановился, чтобы ответить. Не дожидая мистера Батчела, он пересек холл, схватился за ручку двери, молча открыл ее и выскользнул на улицу. Что совсем уже не поддавалось объяснению, за порогом он самым неподобающим для столь величественной персоны образом пустился рысью, и удивленному мистеру Батчелу оставалось только закрыть дверь и вернуться в столовую. Он сел в кресло и взял книгу, но не сразу в нее углубился, а задумался о том, почему посетитель повел себя столь странно. Подняв взгляд на зеркало, мистер Батчел обнаружил у буфета пожилого мужчину.

Он быстро обернулся и тут же вспомнил, что такое же телодвижение проделал и недавний гость. В комнате было пусто. Он снова обернулся к зеркалу: человек оставался на месте. Он походил на слугу — скорее всего, дворецкого. Визитка, широкий белый галстук, чисто выбритый подбородок, аккуратные бакенбарды, сноровистые, но степенные движения — все это были признаки слуги respectable семейства, и стоял он у буфета с уверенностью привычного человека.

Из-за рамы зеркала едва-едва вылядывал еще один предмет, заметив который мистер Батчел вновь оплянул и вновь не обнаружил ничего необычного. Это была дубовая шкатулка высотой в два-три дюйма — дворецкий как раз ее отпирал. И тут мистер Батчел, проявив незаурядное самообладание, проделал очень полезный опыт. Он снял ненадолго с лампы индийский абажур и положил на стол. Зеркало при этом не показало ничего, кроме пустого пространства и скучных очертаний мебели. Дворецкий, а равно и шкатулка исчезли, но по возвращении абажура вернулись на место.

Открыв шкатулку, дворецкий вынул из-под полы визитки свою левую руку, в которой прятал узелок из платка. Правой рукой он извлек содержимое узелка, поспешно сунул в шкатулку, захлопнул крышку и тут же вышел за дверь. Похоже было, что его вспугнули. Шкатулку он даже не запер. Наверное, услышал чьи-то шаги.

Почему мистер Батчел так заинтересовался шкатулкой, будет объяснено ниже. Как только дворецкий скрылся, викарий подошел к

зеркалу и внимательно его изучил. Не однажды, желая поближе рассмотреть шкатулку, он оборачивался к буфету, где ничего не было, и, как ни странно, возвращался к зеркалу разочарованный. Наконец, прочно закрепив в памяти образ шкатулки, он опустил в кресло — подумать о действиях (или правильной сказать — «о проделках»?) дворецкого. К досаде мистера Батчела, содержимое узелка осталось для него тайной. Все, что обнаружилось в зеркале, — это что дворецкого спугнули и он сбежал, едва успев сунуть в шкатулку какой-то предмет. Ясно было одно: дворецкому требовалось что-то спрятать, и он тайком воспользовался для этого шкатулкой.

— Представление закончено или это только первый акт? — спросил себя мистер Батчел, глядя в зеркало. Об ответе можно было догадаться, поскольку шкатулка оставалась на месте. Ей-то уж точно надлежало исчезнуть, прежде чем комната обретет свой привычный облик; и как это произойдет: расплывется она в воздухе или будет унесена дворецким, — мистер Батчел твердо вознамерился проследить. Он не видел (в отличие, быть может, от мистера Матчера), как дворецкий принес шкатулку, но рассчитывал увидеть, как тот ее вынесет.

Второй акт не заставил себя долго ждать. Внезапно у буфета показалась женщина. Она метнулась так быстро, что мелькнувшую картинку не удалось рассмотреть. Женщина остановилась лицом к буфету, полностью заслонив собой шкатулку, и мистер Батчел установил только, что она высока ростом и волосы ее, цвета воронова крыла, не очень-то хорошо ухожены. От нетерпеливого желанья увидеть ее лицо мистер Батчел выкрикнул: «Обернись!» Выкрик не произвел никакого действия, и священник понял, что вел себя глупо. На миг обернувшись, он увидел пустую комнату и вновь осознал, что спектакль (трагедия, как ему теперь казалось) закончился давным-давно — лет сто назад. Тем не менее ему представился случай посмотреть женщине в лицо. Она повернулась к зеркалу (тут мы принимаем за данность, что у отражения имелся оригинал), открывая мистеру Батчелу свои красивые, с печатью жестокости, черты, восковую бледность кожи, блестящие, чуть навывкате глаза. Женщина окинула поспешным взглядом комнату, раз-другой покосилась на дверь и открыла шкатулку.

«Похоже, наш достопочтенный приятель не остался незамеченным, — подумал мистер Батчел. — Если он присвоил себе нечто, принадлежащее этой блестящей особе, ему не поздоровится». Вот если бы в буфет было вделано зеркало, он мог бы подсмотреть за манипуляциями со шкатулкой, но, к его досаде, такое дополнение не отвечало взыскательным вкусам тогдашних мебельщиков. Шкатулки он не видел, однако движения ничем не скрытых локтей выдавали, что женщина в ней роется. Наконец локти одновременно дернулись в стороны: это, несомненно, указывало, что женщина вскрыла какую-то емкость. Таким натужным движением откидывают плотно сидящую крышку жестянки.

— Что дальше? — произнес мистер Батчел, поняв, что манипуляции со шкатулкой завершились. — Что это, конец второго акта?

Вскоре он убедился, что это еще не конец и драма в зеркале приобретает все признаки трагедии. Женщина закрыла шкатулку, глянула, как прежде, на дверь, быстро шагнула туда, но неожиданно встала как вкопанная. Через мгновение она бессильно рухнула на пол. Очевидно, с ней случился обморок.

Теперь мистер Батчел не видел ничего, кроме шкатулки, оставшейся на буфете; чтобы обозреть, пользуясь его выражением, всю сцену, он встал и приблизился к зеркалу вплотную. Так ему стали видны женщина, которая недвижно лежала на ковре, и священник в седом парике, стоявший в дверях.

— Стоунграундский викарий, без сомнения, — заметил мистер Батчел. — Похоже, домохозяйство моего почтенного предшественника далеко от идеального: судя по тому, как его испугалась эта особа, грядут серьезные неприятности. Бедный старик, — добавил он, когда священнослужитель вошел в комнату.

На викария нельзя было смотреть без жалости. Он выглядел усталым и больным, на щеках блестели полосы слез. Он постоял, глядя на бесчувственную женщину, потом наклонился и осторожно разжал ее руку.

Мистер Батчел дорого бы дал за то, чтоб узнать, что обнаружил викарий. Взяв из руки женщины какой-то предмет, священник выпрямился (глаза его выражали ужас), постоял недолго, челюсть его вдруг отвисла, глаза закатились, и он, как и женщина, рухнул на пол.

Оба лежали бок о бок между столом и буфетом, их было едва видно. Когда священник стал падать, мистер Батчел обернулся, желая его поддержать, и вновь убедился в своей бессилии, что его искренне огорчило. Чтобы помочь несчастным, нужно было вернуться на два века назад. С тем же успехом можно было бы оказывать помощь раненым при Ватерлоо. От досады он готов был снять с лампы абажур и уже протянул было руку, но любопытство взяло верх, и мистер Батчел вознамерился досмотреть спектакль до конца.

Первой подала признаки жизни женщина. Этого можно было ожидать, поскольку она первой лишилась чувств. Если бы мистер Батчел не успел заметить выражение ее лица в зеркале, его бы удивили ее первые движения. Еще не в силах встать на ноги, женщина расцепила безжизненные пальцы священника и вынула то, что в них было зажато. Мистер Батчел разглядел блеск драгоценных камней. Она встала, добралась неверными шагами до двери, помедлила, бросила недобрый взгляд на распростертое тело священника и скрылась в холле. Больше она не появлялась, и мистер Батчел был рад от нее избавиться.

К старому викарию сознание вернулось нескоро; когда он зашевелился, в дверях уже, к счастью, стоял дворецкий. С бесконечной нежностью он поднял хозяина и, поддерживая крепкой рукой, вывел за порог. Комната наконец опустела.

— Ну, вот и завершился второй акт, — сказал мистер Батчел. — Да я бы, наверное, больше и не выдержал. Если та жуткая особа вернется, я уберу абажур и со всем этим покончу. Впрочем, надеюсь узнать, что случится со шкатулкой, а также — честный ли человек мой достопочтенный приятель, который только что проводил из комнаты своего хозяина.

Увиденное взволновало мистера Батчела — он даже немного устал. Однако он не сел, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Из кресла не было видно ни двери, ни нижней части комнаты, поэтому мистер Батчел остался у камина — ждать, когда исчезнет деревянная шкатулка.

Он так пристально следил за шкатулкой, которая его особенно занимала, что едва не пропустил следующий эпизод. За приоткрытой дверью виднелась бархатная портьера, не привлекавшая внимания мистера Батчела. Она представлялась ему — что и понятно —

обычным предметом обстановки, и лишь по случайности он бросил на нее повторный взгляд. Но, когда портьера стала медленно перемещаться по холлу, мистера Батчела, конечно же, разобрало любопытство. Десятью минутами раньше дворецкий, помогая хозяину выйти, оставил дверь приоткрытой, однако просвет был виден под углом и от холла просматривалась лишь небольшая полоска. Мистер Батчел шагнул, чтобы открыть дверь пошире, и убедился, разумеется, что в очередной раз был обманут живостью образов. Дверь столовой не открывалась с тех пор, как он закрыл ее за мистером Матчером, чье внезапное смятение теперь сделалось понятней.

Между тем портьера продолжала перемещаться, и в голову мистеру Батчелу пришла догадка. Это был погребальный покров. Из дома к месту последнего упокоения несли пышно убранные останки, за ними следовала большая процессия скорбящих в длинных плащах. Черные перчатки, в руках черные шляпы, на шляпах креповые ленты, свисавшие до самой земли. Впереди шел знакомый старик-священник; двое из членов семьи пытались его поддержать, но он отказывался принять помощь. Мистер Батчел с сочувствием наблюдал, как участники похорон миновали дверь, и, лишь поняв, что они вышли из дома, вновь перевел взгляд на шкатулку. Он не сомневался, что близится заключительная сцена трагедии, и она в самом деле была не за горами. Финал оказался кратким и незатейливым. В комнату решительно вошел дворецкий, откинул гардины, поднял шторы и тотчас удалился, унося шкатулку. Вслед за тем мистер Батчел потушил лампу и отправился в постель; в голове у него созрел замысел, который предстояло осуществить завтра.

В чем состоял этот замысел, можно изложить без проволочек. Мистер Батчел узнал деревянную шкатулку — она до сих пор хранилась в доме. В старой библиотеке викария Уайтхеда стояли три книжных шкафа, набитых материалами большого судебного процесса о церковной десятине, относившимися к концу XVIII века. В дальнем шкафу среди бумаг находилась и неоднократно упоминавшаяся выше шкатулка. Сколько помнилось мистеру Батчелу, там хранились сведения о бедняках в большом числе имений, затронутых процессом, и ему не приходило в голову там порыться. Но в тот вечер перед сном он твердо вознамерился тщательно изучить содержимое шкатулки. Конечно, трудно было надеяться после стольких лет отыскать

объяснение сцен, которым он был свидетелем, но он решил по крайней мере попытаться. И еще мистер Батчел решил, если ничего не найдет, поместить в шкатулку правдивое описание того, что наблюдал в столовой.

Едва ли скоро уснет человек, располагающий многими, хотя и разрозненными, сведениями о некой загадочной истории, — нет, он попытается, несомненно, сложить из фрагментов единое целое. Мистер Батчел размышлял более часа, стараясь как-нибудь связать дворецкого и его хозяина, женщину, похожую на цыганку, и похороны, однако удовлетворительного результата не получил. Во сне же загадка показалась не столь сложной, отгадка нашлась, причем такая очевидная, что оставалось удивляться, как он не додумался прежде. Утром, напротив, очевидными представились слабые стороны этой отгадки, и мистер Батчел удивился, как мог поверить в такую чушь; впрочем, во что только ни поверишь, когда критическая способность спит. Но предстояло еще провести расследование, и мистер Батчел вынул шкатулку из дальнего шкафа, отер ее полотенцем и, одевшись, отнес вниз. Принадлежности для завтрака занимали лишь малую часть обширного стола, на остальном пространстве скоро появились документы из шкатулки, которые мистер Батчел один за другим просматривал. Память его не подвела. Это были инспекционные оценочные листы по приходам, он выложил на стол десятка два или больше. Они не представляли собой никакого интереса и неспособны были пролить хотя бы малейший свет на дело, над которым он размышлял. Похоже было, кто-то попросту сунул их в шкатулку, не найдя другого вместилища.

Вскоре, однако, начали попадаться бумаги иного характера. Мистер Батчел сам не заметил, как погрузился в чтение одного из листков, ни формой, ни цветом не походившего на предыдущие.

«Ирландский бекон — приобретать у мистера Броудли, торговца хмелем в Саутуорке».

«Вино из изюма — хранится в подвалах „Вино и бренди“ на Кэтрин-стрит».

«Лучший сланец — у мистера Форстерса на Литтл-Бритн».

Далее следовал рецепт «ревматической микстуры», способ приготовления полировальной смеси для красного дерева и прочее подобное. Это были, судя по всему, бумаги дворецкого.

Мистер Батчел отложил их в сторону, как и предыдущие; далее следовали счета, одно-два личных письма, объявление о лотерее, и вот он добрался до закрытого отделения, занимавшего около половины объема шкатулки. Крышка отделения была снабжена костяным шпеньком; мистер Батчел вынул ее и положил на стол среди бумаг. Он сразу увидел, что достал дворецкий из носового платка. Это был открытый складной нож со зловещими следами на ржавом лезвии. И тонкий человеческий палец, желтый и высохший, с золотым кольцом.

Мистер Батчел снял кольцо, что удалось, даже сейчас, не без труда. Уронил палец обратно в шкатулку и отнес ее в другую комнату. Завтракать ему расхотелось, он позвонил в колокольчик, чтобы унесли приборы, а сам принялся изучать кольцо в лупу.

Кольцо украшали прежде три больших камня, но все они были бесцеремонно вырваны из оправы. Лапки частью погнулись, частью сломались. Внутри изящным курсивом было выгравировано: ЭЙМИ ЛИ; за камнями уместившись две строчки:

Счастья вдвое даст — и боле,
Половину снимет боли^[6].

Держа в руках это трогательное свидетельство любви, мистер Батчел перебирал в уме эпизоды, которым оно могло послужить объяснением. По поводу камней на кольце сомневаться не приходилось: он помнил, как взволновался старый викарий, когда они сверкнули у него в ладони. Но мистеру Батчелу хотелось надеяться, что старику не пришлось узнать, каким образом кольцо попало в шкатулку.

Имя Эйми Ли мистеру Батчелу было известно не хуже его собственного. Уже семь лет он каждое воскресенье, раза по два, не меньше, видел такую надпись у своих ног, когда сидел в алтаре, как и надпись «Роберт Ли» на соседней плите. Под неспешное пение затейливых церковных гимнов он задумывался, не появится ли повод произнести это имя. Теперь знание надписей на плитах вновь ему пригодилось. Вдоль ряда плит, в головах, были уложены мелкие плитки, и мистер Батчел поспешил исполнить то, что почел своим долгом. Он вернул кольцо на палец Эйми Ли, отнес его в церковь, с помощью зубила поддел одну из плиток и пристойным образом предал палец земле.

Узнал ли дворецкий, что и сам был ограблен, кто мог сказать? После похорон его, несомненно, уволили, а деревянную шкатулку он — или кто-то другой — спрятал в таком месте, где ее никто бы не нашел. Она по-прежнему хранится среди судебных бумаг и могла бы лежать нетронутой еще сотню лет. Возвратив туда шкатулку без обещанного отчета, мистер Батчел пошел в столовую, снял с лампы индийский абажур, поднес к краю зажженную спичку и стал наблюдать, как его медленно пожирало пламя.

Оставалось еще одно дело. Мистер Батчел чувствовал, что получит некоторое удовлетворение, посетив мистера Матчера. Адрес он нашел в приходском альманахе Ордена Собирателей: Уильямсон-стрит, Альберт-Виллас, 13 — в миле от Стоунграунда.

К счастью, мистер Батчел застал мистера Матчера дома; в дверях тот пространно извинялся за то, что встречает посетителя без пиджака.

— Надеюсь, — начал мистер Батчел, — ваше недавнее недомогание прошло без последствий.

— Лучше и не упоминайте о нем, ваше преподобие, — отозвался мистер Матчер. — Супруга, когда я вернулся, сделала мне такое внушение, что я устыдился себя... повторяю, устыдился себя.

— Не сомневаюсь, ваша супруга заметила, что вы нездоровы, — проговорил мистер Батчел, — но вряд ли она стала бы вас за это упрекать.

Гостя уже провели в гостиную, появилась миссис Матчер и смогла сама за себя ответить.

— Мне в самом деле стало стыдно, сэр: подумать только, что нагородил Матчер, и это про дом священника. Матчер не такой человек, сэр, чтобы прикладываться к спиртному, но он ужас как охоч до холодной свинины, и это ему вечно выходит боком, а на ночь — особенно.

— Получается, ваше недомогание вызвано холодной свининой?

— И да и нет, ваше преподобие. Со стороны внутренних органов меня не беспокоило ничто... повторяю, ничто. Но при скудном освещении — прошу простить меня, ваше преподобие, — при скудном освещении мне почудился престарелый джентльмен, который принес в вашу комнату шкатулку и поставил ее на шифоньер.

— Но никакого джентльмена не было, — вставил мистер Батчел.

— Да-да, не было! — подтвердил ВГПЛ. — И это необъяснимое обстоятельство привело меня в ужас. Надеюсь, вы простите меня за столь бесцеремонный уход.

— Разумеется. Необъяснимые обстоятельства всегда выбивают из колеи.

— И вы позволите мне как-нибудь возобновить наш разговор относительно государственного страхования? — добавил мистер Матчер, провожая гостя к двери.

— До греческих календ у меня едва ли найдется время, — рискнул ответить мистер Батчел.

— О, я готов обождать. Для спешки нет причин.

— Срок долгий, — заметил мистер Батчел.

— Ни слова об этом, — наиучтивейшим тоном отозвался Вице-Гроссмейстер Провинциальной Ложи. — Но не откажитесь дать мне знать, когда время придет.

Густав Майринк

(1868–1932)

Зеркальные отражения

Пер. с нем. В. Крюкова

Вот уж действительно странным было это ночное кафе, в котором я оказался в столь поздний час! Стоило повернуть голову к мутному настенному зеркалу, тускло мерцавшему в полумраке залы, и оно тут же превращалось в обрамленное черной рамой окно, выходящее в соседнее помещение, нечто вроде крошечной зальцы, в которой сидели два пожилых седобородых господина с длинными глиняными голландскими трубками в пергаментно-желтых руках, — зачарованно вперив взгляд в стоящую меж ними шахматную доску, они, казалось, парили в густых синевато-сизых клубах табачного дыма, ибо ничего больше нельзя было различить: ни стульев, ни стола, ни стен...

«Наверняка картина... Висит себе там, в соседней зале, а мне мерещится невесть что! Просто картина, и ничего больше!..» — убеждал я себя и некоторое время крепился, стараясь не обращать внимания на этот зияющий в стене жутковатый провал, но потом все равно не выдерживал гнетущего чувства нереальности, которое упорно не желало меня покидать, — косился украдкой в сторону подозрительного «окна» и, не обнаружив за ним никаких изменений, в который уже раз зарекался смотреть на цепенеющих в неподвижности призрачных игроков.

«Ничего, завтра рано утром придет мой корабль», — как бы в утешение мелькало в голове, однако никакого радостного возбуждения, связанного с надеждой выбраться наконец из этого чужого, погруженного в мертвый сон портового города, который явно не спешил отпускать меня из волчьей ямы одного из самых захолустных своих кварталов, я не испытывал — напротив, при мысли о завтрашнем отплытии меня охватывала смутная тревога; казалось, в предстоящем путешествии крылся какой-то темный подтекст, нечто двусмысленное и зловещее, словно отправиться в путь мне надлежало

не на комфортабельном пассажирском судне, а на утлой траурной ладье Харона, чтобы пересечь Стикс и достигнуть «инога берега» — берега того сопредельного мира, который так же похож на наш, как отражение в зеркале на реальность...

Дабы не искушать себя вновь, я решительно отвернулся к выходящему на улицу окну и устремил свой взгляд на подернутую туманной дымкой водную поверхность грахта, вплотную примыкавшего к кафе, — темная вода и угрюмое, пасмурное небо сливались в одну беспросветную хмарь, в которой сразу и не разберешь, где верх, а где низ. Потом в стеклянном прямоугольнике возник призрачный, размытый силуэт, который медленно, будто под гипнозом, пересекал его почти по диагонали, — гигантская, груженная углем баржа с крошечным красным фонариком на носу. Казалось, она плыла через кафе! Да-да, прямо через залу! Во всяком случае, никаких более или менее явных признаков того, что баржа находится снаружи, мне в этой повисшей за окном промозглой мгле, лишавшей пространство перспективы, обнаружить не удалось...

«Похоже, я окончательно заблудился в мире иллюзий», — дошло до меня наконец, и как бы в подтверждение этого моего открытия нахлынули старые, полузабытые воспоминания: белая церковная колокольня, безукоризненно четко отразившаяся в водной глади, старый металлический мост над рекой, глядя с которого по дороге в школу я видел на поверхности текущего подо мной потока своего двойника, а вот залитая солнечным светом альпийская деревушка, залюбовавшаяся собственным отражением в неправдоподобно прозрачных водах горного озера...

Однако я ничего не хочу знать о днях давно минувших, обо всех этих юношеских переживаниях, которые, окружив меня обманчивым миражом зеркальных отражений, вновь пытаются сделать своим рабом! Я не позволю этим восставшим из могилы образам морочить мне голову, время вспять не повернуть и канувших в Лету событий, живых свидетелей которых, кроме меня самого, в этом мире больше нет, не воскресить! Завтра, завтра придет мой корабль! И тогда сегодняшний день мгновенно обратится в прах и тоже станет никому не нужным призрачным отражением!

Я вновь повернулся к потускневшему зеркалу, в ледяную поверхность которого словно вмерзли седобородые игроки: хотел

найти опору в настоящем, будто оно было таким же мертвым и неподвижным, как эти двое... Один из них, совсем уже старик, по-прежнему сидел, прикрыв лицо морщинистой рукой, другой... другой, похоже, ожил и перевел взгляд с шахматной доски на меня... Или мне это померещилось и он смотрел в мою сторону с самого начала?.. Ну конечно же, он все время следил за мной! В течение многих-многих лет!.. А может, меня ввело в заблуждение это невероятное сходство?! Когда-то очень давно, в одном уже несуществующем доме, в полуподвале которого скрывалось пользовавшееся дурной славой ночное кафе, этот самый старик частенько подсаживался за мой помещавшийся в стенной нише столик, и мы с ним, недостижимые в нашем укрытии для прочей публики, ночами напролет предававшейся пьяной гульбе, разыгрывали за шахматной доской поистине фантастические партии.

В городе, в котором я тогда жил, этого старика называли доктор Нарцисс — настоящего его имени никто не знал, да оно, похоже, никого особенно и не интересовало. Ну кому какое дело до жалкого, одетого в обноски с чужого плеча старого бродяги, который, судя по всему, не имел ни постоянного заработка, ни крыши над головой и в поисках хлеба насущного шлялся по ночным кабакам, где игрой в шахматы можно было иногда заработать пару крейцеров... Говорили, что в юности он учился на факультете философии, а вот откуда у нищего студента это странное имя Нарцисс, никто мне так и не ответил — действительно, назвать его красивым при всем желании было трудно, да и в дни своей молодости он явно не походил на прекрасного мифического юношу. Думаю, своим прозвищем старик обязан какому-то неизвестному, которого он, как однажды меня, посвятил в свою навязчивую идею...

Это случилось в Рождественский сочельник. Закончив очередную шахматную партию и согласившись на ничью, мы подняли глаза от доски с фигурами и, внезапно встретившись взглядами, замерли, глядя друг на друга точно так же, как сейчас смотрим друг на друга мы — я, замороженно взирающий в тусклое зеркало, и этот сидящий в соседней зале старик...

Внезапно доктор Нарцисс воскликнул, и голос его прозвучал так же отчетливо, как если бы это сказал тот старик из зеркала: «Ничья! Первый раз в жизни! Никому еще не удавалось сыграть со мной

вничью! До сих пор я выигрывал все свои партии — и не только шахматные!» И мой странноватый партнер принялся с каким-то почти болезненным вниманием рассматривать себя, он словно хотел удостовериться в своей реальности — даже изношенные калоши, которые не снимал ни зимой, ни летом, разглядывал долго и задумчиво...

Потом с отсутствующим видом стал бубнить себе под нос — казалось, старик был не в себе: «Точно так же, как сейчас сидите предо мной вы, досточтимый шахматный партнер, когда-то давно, в одну памятную ночь, сидел я сам, нищий, голодный студент, который до тех пор истощал свой ум наукой, пока совсем не утратил его. Да-да, именно это я и хочу сказать: я сидел напротив самого себя! Напротив своего зеркального отражения, разумеется! Вы, конечно же, не находите в этом ничего особенного, но... — тут доктор Нарцисс сделал многозначительную паузу, и лицо его приобрело в высшей степени таинственное выражение, — но дело-то все в том, что, когда мы оба — один по ту сторону зеркала, другой по сю, — закончив партию, встали из-за стола, из нас двоих в комнате остался лишь один... И вовсе не тот, который истощал свой ум наукой, а его зеркальный антипод, повторявший в холодно поблескивающем стекле каждое движение незадачливого визави. И этим антиподом был я... Нет-нет, милостивый государь, я не оговорился! В противном случае мне было бы известно то, что всю свою жизнь, до тех пор, пока не свихнулся, с такой самозабвенной страстью изучал сидевший перед зеркалом студент! Но я-то этого не знал! А отсюда по всем законам логики следует: я могу быть лишь находящимся по ту сторону зеркала призрачным двойником! Ведь единственное, что я умею, — это играть в шахматы: признаюсь вам без ложной скромности, мой разум девственно-чист и абсолютно свободен от того накопленного человечеством хлама, который наши просвещенные современники высокопарно именуют “багажом знаний”...»

Эта закончившаяся вничью шахматная партия была последней — больше никогда я с доктором Нарциссом не играл и даже стал избегать его, ибо сознание того, что сидящий напротив меня партнер — человек ненормальный, явно страдающий тяжелым психическим расстройством, а может быть, и просто сумасшедший, оставило в моей душе какой-то неприятный и болезненный осадок...

Пытаясь избавиться от мучительного воспоминания, я снова перевел взгляд на непроницаемо-черную воду грахта, при этом кто-то темный и призрачно-зыбкий в упор уставился на меня из оконного стекла — разумеется, это было всего лишь мое собственное отражение. И тут я услышал донесшийся из соседней залы голос одного из стариков:

— Люди почти не задумываются над магической природой зеркал, в которых все и вся мгновенно претерпевают поистине дьявольскую метаморфозу: правая рука превращается в левую, а левая — в правую! Стоит только внимательно взглянуть на себя в зеркало, и вы тут же с ужасом поймете, что тот, кто смотрит на вас из таинственно мерцающей бездны, вовсе не вы, а какой-то кошмарный оборотень, который куда более чужд человеку, чем что бы то ни было на этой земле! Мертвый и бездонный омут зеркала извращает божественный миропорядок, рождая в своей непостижимой инфернальной глубине сатанинского антипода! Мало кто знает о так называемом Мастере левой руки, а ведь, согласно каббалистическому преданию, это он, а не библейский Бог сотворил мир! Какое тягостное чувство — сознавать, что наша земная действительность в конце концов не что иное, как дьявольское отражение некой иной, истинной реальности, о которой мы, в сущности, ровным счетом ничего не знаем! Абсолютно ничего! Вот мы тут с вами просидели полночи за шахматной доской, наивно полагая, что разыгранные нами хитроумные комбинации родились в нашем сознании, а может, мы, как отражения в зеркале, лишь бездумно и мертво повторяли чьи-то чужие ходы...

Окончание фразы я не расслышал и поспешно обернулся: ведущая в соседнюю залу дверь была открыта... Я напряженно всматривался в царивший за нею полумрак, однако никого, ни единой живой души, как ни старался, не мог разглядеть — помещение было пусто, если, конечно, не считать смахивавшей пыль старой кельнерши в белом голландском чепце.

Закончив свою нехитрую работу, старуха подошла к моему столику и, буравя меня любопытным взглядом, спросила:

— Могу я убрать шахматную доску, менеер?^[2] Или, может быть, зажечь лампу? Менеер всегда играет с самим собой? Жаль, что сегодня никого нет, а то бы я вам обязательно подыскала партнера...

— А куда подевались те двое пожилых господ, которые еще несколько минут назад сидели в соседней зале? — растерянно спросил я.

— Двое пожилых господ?.. О ком это вы, менеер? Соседняя зала сегодня весь день пустует!..

Я молча рассчитался и, накинув пальто, вышел вон.

— Утром придет мой корабль... Утром придет мой корабль... — не переставая бормотал я себе под нос, как заклинание, лишь бы не думать...

Кем был тот второй старик, лица которого я не разглядел, так как он постоянно прикрывал его рукой? Его партнера — того, кто произнес донесшиеся до меня слова, — я узнал сразу: это был доктор Нарцисс, все еще влачивший свою потустороннюю жизнь в темных лабиринтах моей памяти. Но кто, кто был тот, второй, сидевший напротив?..

В лабиринтах сновидений

Уильям Уилки Коллинз

(1824–1889)

Женщина из сна

Пер. с англ. Л. Бриловой

1

Однажды (я к тому времени практиковал в провинции чуть более полугода) за мной прислали из соседнего города: тамошнему врачу потребовалась моя консультация по поводу пациента, страдавшего весьма опасной болезнью.

После долгой ночной скачки моя лошадь упала. Животное получило серьезную травму, я, к счастью, не очень. Пришлось добираться до места назначения в почтовой карете: железных дорог в то время еще не было. Обрато я рассчитывал вернуться к полудню тем же способом.

После консультации я отправился в главную городскую гостиницу — ждать прибытия почтовой кареты. Когда она подкатила к гостинице, оказалось, что все места — и внутри, и снаружи — заняты. Мне не оставалось ничего другого, как попытаться нанять — сколь возможно дешево — кабриолет. Но плату запросили такую, что у меня глаза на лоб полезли, и я решил поискать гостиницу поскромней в надежде совершить там более выгодную сделку.

Вскоре мне подвернулось то, что я искал: обшарпанный тихий дом со старомодной вывеской. В последний раз его красили, судя по всему, в незапамятные времена. Владелец оказался не прочь слегка заработать и, оговорив со мной условия, позвонил в колокольчик, чтобы отрядить экипаж.

— Роберт еще не вернулся? — спросил хозяин явившегося на зов слугу.

— Нет, сэр.

— Тогда разбуди Айзека.

— Разбудить? — вмешался я. — В это время дня? Неужели у вас кучеры такие лежебоки?

— Не все, а только один, — промолвил хозяин гостиницы со странной улыбкой.

— Спит и вдобавок видит сны, — подхватил слуга.

— Не важно, пойди и разбуди его. Джентльмену нужен кабриолет.

Слова владельца гостиницы и слуги вроде бы не заключали в себе ничего интригующего, но слышали бы вы, каким тоном они были произнесены! Заподозрив, что мне, как представителю медицинской науки, не мешало бы проявить к этому случаю интерес, я решил взглянуть на кучера до того, как слуга его разбудит.

— Подожди-ка минутку, — остановил я слугу. — Мне хочется бросить взгляд на этого человека, пока он спит. Я доктор и, если его дневная сонливость связана с какими-либо мозговыми нарушениями, смогу дать медицинский совет.

— Сдается мне, что его болезнь не по врачебной части, сэр, — заметил хозяин. — Но если хотите, можете на него взглянуть.

Он проводил меня через двор и далее к конюшням, открыл одну из дверей и, сам оставаясь снаружи, предложил мне войти.

Внутри я увидел два стойла. В одном жевала овес лошадь. В другом на соломенной подстилке растянулся спящий старик.

Я пристально всмотрелся в него. Передо мной было иссохшее лицо человека, много повидавшего на своем веку. Насупленные брови, жесткий рот с опущенными уголками, ввалившиеся морщинистые щеки, редкие седые волосы — все говорило о былых невзгодах.

Дышал он судорожно; еще через мгновение он заговорил во сне.

Это был лихорадочный шепот через сжатые губы:

— Караул! Убивают!

Исхудавшей рукой он прикрыл горло, потом задрожал и перевернулся на бок. Вытянул руку и стал шарить по соломенной подстилке, как будто пытаясь за что-то ухватиться. Заметив, что губы у него дергаются, я склонился ниже. Он продолжал говорить.

— Глаза светло-серые, — бормотал он, — левое веко слегка опущено, волосы льняные с золотыми прядками — да, мама, — красивые белые руки с пушком — ладонь как у знатной дамы, маленькая, а кончики пальцев розовые. И нож, вечно этот проклятый

нож, сперва с одной стороны, потом с другой. Ах ты, чертовка, где твой нож?

Голос зазвучал громче, спящий задрожал, его иссохшее лицо исказила судорога. Со всхлипом вздохнув, он вскинул руки. При этом кучер задел ясли, под которыми лежал, и от удара пробудился. Прежде чем он открыл глаза, я успел выскользнуть из конюшни и закрыть за собой дверь.

— Вам что-нибудь известно о его прежней жизни? — спросил я хозяина гостиницы.

— Да почти все, сэр, — ответил он. — Странная это история, многие не верят. Но это чистая правда. Да вы посмотрите на него. — Владелец гостиницы снова открыл дверь конюшни. — Бедняга! Ночь так вымотала его, что он уже опять заснул.

— Не будите его, мне не к спеху. Подожду, пока вернется другой кучер. А тем временем я бы хотел, чтобы мне подали ланч и бутылочку хереса и чтобы вы ко мне присоединились.

Как я и предполагал, вино вскоре размягчило душу хозяина, и он с охотой стал отвечать на мои вопросы о человеке, спавшем на конюшне. Потихоньку я вытянул из него всю историю. События эти покажутся невероятными, но мой рассказ верно воспроизводит то, что я слышал от хозяина гостиницы, и — могу поручиться — соответствует истине.

2

Несколько лет назад жил на окраине одного большого портового города на западе Англии небогатый человек по имени Айзек Скэтчард. Он был кучером и существовал на случайные заработки, а временами ему удавалось устраиваться подручным на конюшни в частные дома. Фортуна никак не желала повернуться лицом к этому честнейшему и степеннейшему человеку. Его невезение стало у соседей притчей во языцех. Злосчастные случайности неизменно лишали его заработка. Дольше всего он оставался на службе у людей любезных, но не имевших привычки вовремя платить слугам жалованье. «Невезучий Айзек» — такое прозвище дали ему соседи, и упрекать их за это не приходится.

Да, на долю Айзека выпало куда больше незадач, чем полагается обыкновенному смертному, но ему было даровано одно утешение — и

то, правда, очень невеселого свойства. Жена и дети умножили бы бремя его забот и усугубили горечь жизненных поражений — так вот, ни жены, ни детей у Айзека Скэтчарда не было. То ли сухость и бесчувственность, то ли благородное нежелание навязывать свое несчастье другим удерживали его от женитьбы, хотя он успел уже достичь средних лет. Более того, тридцативосьмилетнего Айзека, как в свое время восемнадцатилетнего, молва ни разу не обвинила в том, что он завел себе сердечную привязанность.

Когда Айзек не состоял на службе, он жил вместе со своей матерью, вдовой. Миссис Скэтчард была женщиной, чьи манеры, ум и прочие достоинства выделяли ее среди низкого окружения. Она, как говорится, знавала лучшие дни, но никогда не упоминала об этом в присутствии любопытных. Неизменно любезная со всеми, она, однако, ни с кем из соседей близко не сошлась. Чтобы заработать себе на хлеб, ей приходилось выполнять для портных грубую шитейную работу. При этом она умудрялась содержать в порядке дом, и ее сыну, когда он в очередной раз оказывался на улице, там всегда была открыта дверь.

Однажды блеклой осенью (Айзеку было уже под сорок) наш герой, оставшийся — как обычно, не по своей вине — без места и живший в домике своей матери, должен был отправиться пешком в дальний путь. В усадьбе одного джентльмена, как ему сказали, требовался подручный на конюшне.

Через два дня Айзеку исполнялось сорок, и миссис Скэтчард, неизменно ласковая и заботливая мать, взяла с сына обещание вовремя вернуться домой, где его ожидало празднество настолько роскошное, насколько позволяли их скромные средства. Выполнить обещанное ему было проще простого, даже если бы пришлось дважды заночевать в дороге: и на пути туда, и на пути обратно.

Айзек собирался выйти из дома в понедельник утром, а в среду в два часа, вне зависимости от того, получит он место или нет, вернуться к праздничному столу.

В понедельник вечером, когда Айзек прибыл к месту назначения, было уже слишком поздно, чтобы являться в усадьбу и предлагать свои услуги. Пришлось ему заночевать в деревенской гостинице, а уж во вторник, с утра пораньше, заявить свои претензии на место подручного конюха. Но и тут, как всегда и повсюду, невезение

осталось при нем. Блестящие рекомендации оказались бесполезными, долгий путь — напрасным: всего лишь днем раньше на работу наняли кого-то другого.

Новое разочарование Айзек принял со своей всегдашней покорностью судьбе. Как и положено тугодуму и флегматику, он был терпелив и не склонен к вспышкам чувств. Скэтчард спокойно и вежливо поблагодарил управляющего, удостоившего его беседы, ни взглядом, ни жестом не дав понять, что огорчен.

Прежде чем отправиться домой, бедолага навел в гостинице справки и узнал, что можно срезать путь и выиграть несколько миль. Получив исчерпывающие указания, где и куда сворачивать, и затвердив их после многократных повторений наизусть, Айзек пустился в обратную дорогу и шел весь день почти безостановочно, с одним лишь привалом, чтобы подкрепиться хлебом и сыром. Когда солнце стало клониться к закату, хлынул дождь и поднялся ветер. В довершение неприятностей наш герой находился теперь в совершенно незнакомой местности. Ему было известно только, что до дома оставалось еще миль пятнадцать. Решив, что пора справиться о дальнейшем маршруте, он сразу же наткнулся на придорожную гостиницу, одиноко стоявшую на лесной опушке. Зрелище это мог бы счесть унылым кто угодно, но не усталый и промокший путешественник, к тому же томимый голодом и жаждой. Хозяин гостиницы разговаривал любезно и вид имел располагающий; цена за ночлег оказалась вполне приемлемой. И вот Айзек решил расположиться на ночь со всеми удобствами в гостинице.

Скэтчард был по природе человек умеренный. На ужин он удовольствовался двумя ломтиками бекона, куском домашнего хлеба и пинтой эля. После скромной трапезы он не удалился немедленно на покой, а потолковал с хозяином гостиницы о своем плачевном положении и вечных неудачах, потом речь зашла о конине и скачках. За все это время ни он сам, ни хозяин гостиницы, ни забредавшие в комнату рабочие не сказали ничего, что могло бы возбудить скудное и неповоротливое воображение Айзека.

В начале двенадцатого хозяин запер все засовы. Айзек сам обошел вместе с ним дом, держа свечу, пока хозяин запирает окна нижнего этажа и двери, и с удивлением заметил, как прочны болты, засовы и обшитые железом ставни.

— Гостиница наша, как видите, на отшибе, — пояснил хозяин. — До сих пор никто не пытался взломать двери, но береженого бог бережет. Когда нет постояльцев, я единственный мужчина в доме. Мои жена и дочь женщины боязливые, а служанка во всем подражает господам. Еще стакан эля на сон грядущий? Нет? И почему только такой трезвенник мается без места, никак не возьму в толк. Ну ладно, вот ваша постель. Вы у нас сегодня единственный постоялец, поэтому — убедитесь сами — жена расстаралась вовсю, чтобы вам было удобно. Так вы в самом деле не будете больше пить? Ну что ж, доброй ночи.

Разговор этот происходил наверху, в спальне, окно которой выходило в сторону леса. Часы в коридоре показывали половину двенадцатого ночи.

Оставшись один, Айзек запер дверь, водрузил свечу на комод и не спеша разделся. На улице все так же задувал пронзительный осенний ветер, и из леса, нарушая ночное безмолвие, доносились его леденящие душу стоны. Как ни странно, Айзека несколько не клонило ко сну. Улегшись в постель, он решил задуть свечу, только когда начнет клевать носом. Он и думать не хотел о том, чтобы лежать в постели без сна в полной темноте и слушать бесконечные унылые завывания непогоды.

Сон подкрался к Скэтчарду незаметно. О свече он и не вспомнил, так быстро сомкнулись его веки.

Во сне наш герой внезапно ощутил непонятную дрожь во всем теле и острую боль в сердце, прежде ему незнакомую. Дрожь не спугнула его сон, но от боли он тут же пробудился. Сна не было и в помине, и Айзек широко раскрыл глаза: насторожившись, он приготовился к чему угодно. Все произошло столь молниеносно, что походило на чудо. Свеча догорела почти до конца, но с фитиля спал нагар, и в яркой короткой вспышке вся комната оказалась на виду, как днем.

Между изножьем кровати и закрытой дверью стояла, глядя на него, женщина с ножом в руке.

От ужаса Айзек потерял дар речи, но необычная ясность восприятия осталась при нем; он не сводил с женщины глаз. Они молча смотрели друг другу в лицо, а потом женщина начала неторопливо приближаться к левому краю постели.

Айзек разглядел, что она красива, волосы у нее цвета соломы, глаза светло-серые, левое веко слегка опущено. Он успел это заметить и удержать в памяти до того, как женщина подошла к кровати вплотную. Незнакомка ступала молча, бесшумно, с недрогнувшим лицом, потом остановилась и медленно подняла нож. Айзек прикрыл правой рукой горло, но, проследив движение ножа, выбросил руку в сторону и резко дернулся следом. Нож вонзился в матрац в дюйме от плеча бедняги.

Пока знакомка не спеша вынимала нож, Скэтчард разглядел ее руку. Она была красивая, с нежным пушком на белой коже. Ладонь маленькая, как у знатной леди, кончики пальцев — под ногтями и вокруг — изысканно розовели.

Женщина высвободила нож и, по-прежнему неторопливо, отошла к изножью кровати. Там она мгновение помедлила, не сводя глаз с Айзека, а затем крадучись, все так же молча, с каменным лицом, подошла к правому краю кровати, где лежала ее жертва.

Вновь знакомка занесла нож: Айзек отдернулся, теперь уже влево, и удар опять пришелся в матрац. На этот раз Айзек обратил внимание на нож. Такими большими складными ножами обычно режут хлеб и бекон работяги. Тоненькие пальцы женщины охватывали не всю рукоятку — приблизительно треть оставалась на виду. Рукоятка, на вид новая, сделанная из оленьего рога, была вычищена и сверкала, так же как и лезвие.

Женщина вторично выдернула нож, спрятала его в широкий рукав платья и задержалась у постели, наблюдая. В следующий миг в огарке опал фитиль, пламя сжалось в голубую точку, и комната погрузилась во мрак.

Свеча тускло вспыхнула в последний раз. Взгляд Айзека был по-прежнему устремлен вправо, туда, где только что стояла женщина, но теперь там было пусто. Красавица с ножом исчезла.

Оставшись один, Айзек почувствовал, что ужас, сковавший ему язык, ослабил свою хватку. Вместе с испугом исчезла и вызванная им обостренность чувств. В мозгу Айзека все смешалось, сердце отчаянно колотилось, а до слуха его, впервые после появления таинственной знакомки, донеслись горестные завывания ветра в верхушках деревьев. Не сомневаясь в том, что происшедшее ему не

привиделось, Скэтчард выпрыгнул из постели и с криком «Караул! Убивают!» — ринулся к двери.

Точно так же, как и вечером, когда он ложился спать, дверь оказалась запертой.

Крики Айзека всполошили весь дом. Послышались испуганные, бессвязные женские голоса; в коридоре Айзек обнаружил хозяина, бежавшего ему навстречу со свечой в одной руке и ружьем в другой.

— Что стряслось? — выдохнул он.

Неспособный заговорить в полный голос, Айзек прошептал:

— Женщина, с ножом в руке. В моей комнате — красивая женщина с желтыми волосами. Она дважды пыталась ударить меня ножом.

Хозяин гостиницы побледнел. Он пристально оглядел Айзека в мерцающем свете свечи. Потом на щеки его вернулся румянец, а голос обрел прежнюю звучность:

— И оба раза промахнулась, как видно.

— Я каждый раз увертывался, — объяснил постоялец тем же испуганным шепотом, — удары приходились в постель.

Хозяин поспешил в спальню. Не прошло и минуты, как он, страшно разозленный, вернулся.

— Черт бы вас побрал с вашей женщиной и ее ножом! Постель цела. Чего ради являетесь сюда и пугаете до полусмерти весь дом своими снами?

— Я здесь не останусь, — проговорил Айзек слабым голосом. — На дороге, в темноте и под дождем, и то лучше, чем в этой комнате, после того, что я там увидел. Дайте мне свечу, чтобы я мог собрать одежду, и скажите, сколько вам заплатить.

— Заплатить! — проворчал хозяин, с хмурым видом сопровождая его в спальню. — Ваш счет будет на грифельной доске, когда вы сойдете вниз. Знай я раньше ваши повадки, ни за какие деньги вас бы не впустил. Посмотрите на постель! Где здесь дырки от ножа? И на окно: засов взломан, как по-вашему? А дверь — я ведь слышал, вы запирались перед сном, — цела она или нет? Убийца с ножом, в моем доме! Постыдились бы!

Скэтчард, ничего не отвечая, наспех оделся, и они вместе спустились по лестнице.

— Почти двадцать минут третьего, — снова заговорил хозяин, когда они проходили мимо часов. — Самое время стращать честных людей!

Айзек уплатил по счету, и владелец гостиницы, отпирая тяжелый засов, чтобы выпустить его на улицу, с издевательской улыбкой спросил, не через эту ли дверь забралась в дверь убийца.

Расстались они молча. Дождь прекратился, но мгла царила беспросветная, а ветер сделался еще пронзительней. Но ни тьма, ни холод, ни опасность заблудиться Айзека не страшили. Ему легче было брести в бурю через чащобу, чем оставаться в гостинице, после того что он там пережил.

Кем была та красивая женщина с ножом? Откуда она явилась — из страны снов или из другого, неведомого мира, что зовется миром духов? На эти вопросы он не нашел ответа ни тогда, ни позже, в среду в полдень, стоя наконец перед крыльцом родного дома после многочасовых блужданий в поисках дороги.

3

Заждавшаяся мать встречала его на пороге. По лицу сына она тут же поняла, что с ним не все благополучно.

— Места я не получил, но так уж мне на роду написано. Я этой ночью видел дурной сон, матушка, а может быть, то было привидение. Так или иначе, я до сих пор не нахожу себе места от испуга.

— Айзек! На тебя страшно смотреть. Входи же, садись к огню и расскажи матери все от начала до конца.

Если матери не терпелось услышать рассказ, то Айзек жаждал поскорее его начать, ведь по дороге он все время утешал себя надеждой, что мать, превосходившая его живостью ума и обширностью познаний, сумеет пролить свет на загадку, которая оказалась не по зубам ему самому. Мысли его путались, но таинственный сон запечатлелся в памяти четко.

По мере того как подходило к концу повествование, лицо матери покрывалось смертельной бледностью. Она ни разу не прервала сына, но, когда тот замолчал, подседа ближе, обняла его за шею и спросила:

— Айзек, ты видел свой дурной сон в эту самую ночь, со вторника на среду? И в котором же часу тебе явилась женщина с ножом?

Айзек вспомнил слова хозяина гостиницы, прикинул как можно точнее, сколько времени прошло с той минуты, когда он отпер дверь своей спальни, до момента, когда оплатил счет, и ответил:

— Часа в два.

Мать в отчаянии всплеснула руками:

— В эту среду твой день рождения, Айзек, и родился ты как раз в два часа ночи!

Сын соображал не настолько быстро, чтобы сразу разделить суеверный испуг матери. С удивлением и некоторым беспокойством он наблюдал, как она вдруг поднялась со стула, открыла свою старую конторку, достала перо, чернила, бумагу. Потом миссис Скэтчард сказала:

— У тебя неважная память, Айзек, да и у меня теперь не многим лучше: я ведь совсем старуха. Я хочу, чтобы и годы спустя мы с тобой помнили этот сон в подробностях, как ты его помнишь сейчас. Повтори мне все, что говорил о женщине и ее ноже.

Айзек повиновался и, видя, как мать тщательно заносит на бумагу каждое слово, был немало изумлен.

«Светло-серые глаза, — писала она, когда сын рассказывал о внешности гостыи, — левое веко слегка опущено. Волосы льняные, с золотистыми прядками. Руки белые, с пушком. Ладони маленькие, как у знатной леди, кончики пальцев розовые. Складной нож с рукояткой из оленьего рога, на вид почти новый». Это подробное описание миссис Скэтчард снабдила указанием года, месяца, дня недели и часа, когда ее сыну явилась во сне загадочная женщина. Потом миссис Скэтчард сложила записи в конторку и заперла.

И в этот день, и позже все попытки сына вновь завести разговор о поразившем его сне ни к чему не привели. Мать упорно скрывала, что думает о происшедшем, избегала даже упоминать о бумагах, запертых в конторке. Очень скоро Айзек потерял надежду вытянуть у нее хотя бы слово. Рано или поздно время стирает все воспоминания, и таинственный сон постепенно изгладился из памяти Скэтчарда. Мысли об этом сне уже не так пугали его, как прежде, а затем и вовсе исчезли.

Такая забывчивость тем более понятна, если учесть, что вскоре после страшной ночи в судьбе Айзека наметился благоприятный перелом: как воздаяние за долготерпение и многолетние невзгоды он

получил наконец великолепное место, проработал там семь лет, а когда, по смерти хозяина, оставил свою должность, вдобавок к прекрасной рекомендации ему досталась, согласно завещанию последнего, приличная ежегодная рента (в благодарность за спасение жизни госпожи во время несчастного случая с экипажем). Вот так и получилось, что Айзек Скэтчард, через семь лет после того как видел в гостинице страшный сон, вернулся к матери с ежедневным доходом, достаточным для безбедного и независимого существования до конца их дней.

Мать, в последние годы хворавшая, благодаря сыновним заботам и избавлению от нужды оправилась настолько, что в очередной день рождения Айзека смогла сесть вместе с сыном за праздничный стол.

Когда день клонился к вечеру, миссис Скэтчард обнаружила, что пузырек с укрепляющим средством, которое она регулярно принимала, против ее ожидания, уже совсем пуст. Айзек немедленно вызвался пойти к аптекарю и пополнить запас. Было так же дождливо и ветрено, как в ту памятную осеннюю ночь, когда ему пришлось остановиться в придорожной гостинице.

Входя в лавку аптекаря, Айзек заметил бедно одетую женщину, поспешно выходящую оттуда. Лицо незнакомки поразило Айзека, и он проводил ее взглядом, пока она спускалась с крыльца.

— Вы обратили внимание на женщину, которая только что вышла? — заговорил стоявший за прилавком ученик аптекаря. — Подозрительная особа. Спросила настойку опия против зубной боли. Хозяин на полчаса вышел, и я ей ответил, что мне не велено продавать яды в его отсутствие. Женщина чудно усмехнулась и сказала, что через полчаса зайдет опять. Если она надеется, что хозяин ее обслужит, то, по-моему, сильно ошибается. Она замыслила самоубийство, сэр, это ясно как день.

Уже при первом взгляде на женщину Айзек ощутил неожиданный прилив любопытства, а после этих слов заинтересовался еще больше. Получив пузырек с лекарством, Айзек вышел на улицу и стал взволнованно оглядываться, надеясь снова увидеть незнакомку. Оказалось, что она медленно прогуливается взад-вперед на другой стороне улицы. Ощувив, как отчаянно забилося в его груди сердце, и немало этому удивившись, Скэтчард подошел к незнакомке и заговорил с нею.

Он спросил, не расстроена ли она чем-то. Она указала на свою изорванную шаль, убогое платье, измятую грязную шляпку, потом встала так, что фонарь осветил ее суровое, бледное, но все же необычайно красивое лицо.

— Как, по-вашему, похоже, что я довольна и счастлива? — произнесла она в ответ с горькой усмешкой.

Такой чистый выговор Айзек до сих пор считал особенностью речи одних лишь знатных леди. В каждом движении незнакомки сквозила естественная, небрежная грация, свойственная дамам, которые подучили превосходное воспитание. Кожа, несмотря на малокровие — спутник бедности, — поражала своей нежностью. Можно было подумать, что обладательница столь гладкой кожи всю жизнь не знала отказа во всех тех удобствах и удовольствиях, какие может доставить богатство. Даже ее тонкие, изящные руки, несмотря на отсутствие перчаток, не утратили своей белизны.

Мало-помалу, отвечая на вопросы Айзека, женщина открыла свою печальную историю. Нет надобности пересказывать здесь эту повесть: подобными ей пестрят страницы полицейских отчетов, где идет речь о покушениях на самоубийство.

— Мое имя — Ребекка Мердок, — заключила женщина свой рассказ. — У меня осталось девять пенсов, и я решила потратить эти деньги в аптеке напротив, чтобы оплатить себе дорогу на тот свет. Хуже, чем здесь, мне там не будет, так к чему медлить?

Не одно лишь естественное сострадание шевельнулось в сердце Айзека, когда он слушал эти слова. Какие-то таинственные, непонятные ощущения путали его мысли и сковывали язык. По поводу ее безрассудного намерения он смог сказать только, что не даст ей покуситься на собственную жизнь, даже если придется не спускать с нее глаз всю ночь. Серьезность и взволнованность его незатейливой речи произвели, по всей видимости, немалое впечатление на женщину.

— Вам не нужно будет этот делать, — ответила она, когда он повторил свою угрозу. — Благодаря вашему сочувствию ко мне вернулось желание жить. Не стану произносить театральных клятв и уверений. Я буду ждать вас, живая и невредимая, завтра в полдень в Фуллер-Медоу. Нет, денег не нужно. Моих девяти пенсов хватит, чтобы оплатить вполне приличный ночлег.

Попрощавшись с ним кивком, она скрылась. Айзек за ней не последовал: он поверил своей собеседнице без колебаний.

— Странно, но я ей верю, — сказал он себе и в полной растерянности отправился в обратную дорогу.

Происшедшее настолько поглотило мысли Айзека, что, войдя в дом, он не обратил ни малейшего внимания на то, чем была занята в это время его мать. Пока он отсутствовал, она отперла свою старую конторку и начала просматривать спрятанные там бумаги. С тех пор как она записала со слов сына рассказ о привидевшемся ему сне, миссис Скэтчард каждый год в день рождения Айзека перечитывала эти бумаги и украдкой размышляла над ними.

На следующий день Айзек отправился в Фуллер-Медоу.

Безоговорочно поверив новой знакомой, он оказался прав: она действительно пришла, причем минута в минуту. И в это незабываемое утро сердце Айзека утратило способность сопротивляться чарам голоса и облика Ребекки Мердок.

Если человек средних лет, дотоле не испытывавший привязанности к женщине, вспыхивает наконец страстью, то, каковы бы ни были обстоятельства, он едва ли найдет в себе силы сопротивляться ей. Женщина, чья изысканная речь и утонченные манеры все еще говорят о прежнем высоком положении, обращается к нему по-дружески, с такой нежностью и признательностью! В немалой опасности оказался бы в этом случае двадцатилетний юнец, стоящий на той же ступени общественной лестницы, что и Айзек. А что касается мужчины, достигшего середины жизненного пути, то есть возраста, когда все сильные чувства, возникнув, пускают в душе глубокие корни, то для такого человека поддаться новой, недостойной привязанности значило погибнуть неминуемо и окончательно. Еще одно-другое свидание украдкой после встречи в Фуллер-Медоу, и пагубная страсть завладела Айзеком Скэтчардом. Не прошло и месяца со дня знакомства, как Айзек дал Ребекке Мердок обещание на ней жениться, — событие, означавшее, что к Ребекке вернулась удача, а с ней, возможно, и доброе имя.

Ребекка завладела отныне не только чувствами, но также мыслями и волей будущего мужа. Она направляла каждый его шаг, научила даже, как лучше преподнести матери новость о предстоящей женитьбе.

— Если ты начнешь с того, что расскажешь, как ты меня встретил и кто я такая, — учила лукавая женщина, — то она все перевернет вверх дном, лишь бы помешать нашей свадьбе. Скажи, что я сестра твоего приятеля, слуги, в подробности не вдавайся, а все прочее предоставь мне. Пусть она меня полюбит, я стану для нее самым дорогим человеком после тебя, и тогда уже можно будет открыть ей глаза.

Цель оправдывала средства, и Айзек примирился с обманом. Благодаря задуманной хитрости с его души спал груз. Но все же для полного счастья ему чего-то не хватало. Непонятное, неуловимое беспокойство не оставляло его ни на мгновение, причем не в отсутствие Ребекки Мердок, а, как ни странно, именно тогда, когда она бывала рядом! А она была сама доброта: ни разу не дала Айзеку понять, насколько он ниже ее по уму и воспитанию, с трогательной заботливостью старалась угодить ему во всем, даже в мелочах. Но беспокойство не проходило. С первой встречи ее лицо не только восхищало Айзека, но и тревожило отголосками смутных воспоминаний. Они с Ребеккой сходились все ближе, но чувство необъяснимой томительной неопределенности все так же донимало Скэтчарда.

Итак, по наущению Ребекки Айзек скрывал правду до последнего дня, когда он поспешно и путано объявил матери о том, что сегодня состоится помолвка. Бедная миссис Скэтчард показала, насколько доверяет сыну, заключив его в объятия и радуясь вместе с ним тому, что нашлась наконец женщина, которая станет нежить его и покоить, когда мать отойдет в лучший мир. Она горела желанием поскорее увидеть избранницу своего сына; знакомство было назначено на следующий день.

Наступило утро, яркое и солнечное, гостиная домика Скэтчардов была залита светом. Миссис Скэтчард, нарядившаяся ради такую случая в свое воскресное платье, с радостным нетерпением ожидала сына и будущую невестку.

Ровно в назначенное время, торопясь и волнуясь, появился Айзек со своей невестой. Мать встала, чтобы приветствовать гостью, сделала несколько шагов ей навстречу, всмотрелась в Ребекку и... застыла на месте. Ее разругавшееся лицо в одно мгновение побелело; доброта и нежность во взгляде сменились выражением полнейшего ужаса;

руки, простертые для объятия, повисли как плети. Тихонько вскрикнув, она отступила назад.

— Айзек, — прошептала мать, уцепившись за локоть сына, когда тот с беспокойством спросил, не больна ли она. — Айзек! Разве эта женщина никого тебе не напоминает?

Не успел он ответить, не успел бросить взгляд туда, где, пораженная таким приемом, стояла Ребекка, как мать нетерпеливо указала на конторку и протянула сыну ключ.

— Открой! — шепнула она поспешно.

— Что это значит? Почему со мною обращаются так, будто я здесь лишняя? Твоя мать намерена меня оскорбить? — со злостью спрашивала Ребекка.

— Открой и дай мне записи из левого ящика. Быстрее, быстрее же, бога ради! — торопила сына миссис Скэтчард, продолжая испуганно пятиться.

Айзек протянул ей бумагу. Миссис Скэтчард молниеносно пробежала ее глазами, а затем последовала за Ребеккой, которая с высокомерным видом повернулась, чтобы выйти из комнаты. Миссис Скэтчард поймала ее за плечо и внезапно откинула свободный рукав ее платья, чтобы взглянуть на руку. В лице Ребекки злость сменилась страхом. Вырвавшись из рук старой женщины, она шепнула себе под нос: «Сумасшедшая! А Айзек это от меня скрыл!» С этими словами она вышла за порог.

Скэтчард поспешил следом, но мать обернулась и остановила его. На миссис Скэтчард жалко было смотреть, такое страдание и ужас выражали ее черты.

— Глаза светло-серые, — начала она негромко, заунывным торжественным голосом, указывая в сторону открытой двери. — Левое веко слегка опущено, льняные волосы с золотистыми прядками, руки белые, с пушком, ладони маленькие, как у знатной леди, кончики пальцев розовые. Женщина из сна! Айзек, это Женщина из сна!

Так вот почему при взгляде на Ребекку Мердок его всегда подспудно мучило какое-то сомнение! Да, он и в самом деле видел ее раньше — семь лет назад, в свой день рождения, в уединенной гостинице.

— Берегись, сынок! Берегись! Айзек! Айзек! Не ходи за ней, останься со мной!

При этих словах на окно гостиной пала тень. Внезапно содрогнувшись, Айзек поднял глаза. Это вернулась Ребекка Мердок. Она с любопытством глядела на них поверх низкого ставня.

— Я дал обещание жениться, мама, и должен его сдержать.

Слезы выступили на глазах у Скэтчарда, но он все же различил, что роковое лицо удаляется от окна.

Мать низко опустила голову.

— Тебе плохо, мама? — прошептал сын.

— Я убита горем, Айзек.

Он склонился и поцеловал мать. Свет в окне вновь затмился: зловещие глаза сверлили их напряженным взглядом.

4

Три недели спустя Айзек и Ребекка были уже мужем и женой. Роковую страсть, которую подпитывало присущее Айзеку изрядное упрямство, уже невозможно было искоренить из его души.

После первой встречи с Ребеккой миссис Скэтчард наотрез отказалась не только видеться с невесткой, но даже слушать доводы и уговоры Айзека, пытавшегося вступить за жену.

Причину этого ни в коей мере не следует искать в той бесславной жизни, которую Ребекка вела прежде. У матери с сыном никогда не заходила речь ни об этом, ни о чем-либо другом, связанном с Ребеккой, кроме устрашающего, неотличимого сходства между живой женщиной и призраком из сна Айзека.

Ребекка, со своей стороны, никогда не выказывала ни малейшего огорчения из-за непонятной враждебности свекрови. В интересах семейного мира Айзек не стал противоречить, когда жена предположила, что преклонный возраст и длительное недомогание сказались на душевном здоровье миссис Скэтчард. Более того, Айзеку пришлось пролотить упрек в попытке скрыть во время помолвки, что его мать не в себе. Чего стоило это пустячное криводушие в сравнении с другой, худшей ложью, вернее самообманом; сколь мало пострадала совесть Айзека, принеся ранее куда более значительные жертвы!

Однако расставание с иллюзиями, тяжкое и мучительное, было не за горами. После нескольких спокойных месяцев семейной жизни, когда близилась уже осень, а с ней и день рождения Айзека,

отношение жены к нему заметно переменилось. Она сделалась раздражительной и высокомерной, завела весьма неподобающие знакомства. Ни укоры, ни мольбы, ни требования мужа не помогали, а хуже всего было то, что вскоре она начала после каждой очередной ссоры искать забвения в бутылке. Айзек все чаще видел жену в одной компании с пьяницами, а потом, к своему горю, убедился, что она и сама перестала от них отличаться.

Но и до того, как начались эти домашние неприятности, Скэтчарду было о чем печалиться. Заходя в домик матери, он каждый раз обнаруживал, что силы ее убывают, и не мог не винить себя в ее телесных и душевных муках. Когда к угрызениям совести добавился стыд за поведение жены, этот двойной груз оказался слишком тяжел для Айзека. Бедняга менялся на глазах, и вскоре при взгляде на него всякому становилось ясно, что перед ним человек сломленный.

Мать Айзека, мужественно сражавшаяся с болезнью, которой суждено было свести ее в могилу, раньше всех заметила, что сын переменился, и узнала о его неладах с женой. В тот день, когда он сделал это унижительное для него признание, миссис Скэтчард только горько заплакала в ответ, но при новой встрече выяснилось, что она приняла решение, немало удивившее и даже встревожившее Айзека. Сын заметил, что мать одета для выхода, а в ответ на его недоуменный вопрос она сказала:

— Мне уже недолго осталось жить, Айзек, и если я не сделаю всего, что в моих силах, для счастья своего ребенка, то на смертном одре мне не знать покоя. Бог с ней, с неприязнью, и с тревогами тоже, — я собираюсь пойти к твоей жене, чтобы уговорить ее одуматься. Дай мне опереться на твою руку, Айзек, и в путь: ведь это все, что я еще могу для тебя сделать на земле.

Сыну пришлось повиноваться, и вместе они прибреди под его злополучный семейный кров.

Был всего лишь час пополудни, их обычное обеденное время, и Ребекка хлопотала на кухне. Таким образом, Айзеку представилась возможность, усадив мать в гостиной, приготовить жену к предстоявшей встрече. К счастью, она не успела еще много выпить и была настроена более миролюбиво, чем обычно.

Немного успокоенный, Айзек вернулся в гостиную. Вскоре к нему присоединилась жена, и, вопреки его опасениям, встреча прошла

вполне благополучно, разве что, как заметил Айзек, мать, в целом неплохо владевшая собой, не могла заставить себя во время разговора смотреть Ребекке в лицо. Поэтому, когда Ребекка начала накрывать на стол, Айзек почувствовал облегчение.

Она расстелила скатерть, внесла поднос с хлебом, отрезала кусок для мужа и вернулась в кухню. Тут же Айзек, в упор смотревший на мать, с тревогой обнаружил, что ее лицо исказилось страшной судорогой, точь-в-точь как в то утро, когда они с Ребеккой встретились впервые. Он не успел и рта раскрыть, как мать в ужасе зашептала:

— Скорей, Айзек, отведи меня назад, домой! Пойдем, и больше никогда не возвращайся сюда, Айзек!

Скэтчард не решился спросить, что произошло; он только приложил к губам палец, помог матери подняться и повел ее к двери. Когда они проходили мимо подноса с хлебом, мать остановилась и указала на него.

— Ты видел, чем твоя жена режет хлеб? — спросила она едва слышно.

— Нет, мама, я не посмотрел. Что это?

— Посмотри.

Рядом с караваем лежал новый складной нож с рукояткой из оленьего рога. Содрогнувшись, Айзек потянулся к ножу, но тут из кухни донесся шум, и мать схватила сына за руку.

— Нож из сна! Айзек, я умираю от страха, уведи меня, пока она не вернулась!

Айзек и сам едва стоял на ногах. При виде ножа, такого реального и осязаемого, его охватила паника. В один миг исчезли все сомнения и стало ясно: его почти восьмилетней давности таинственный сон был предупреждением. С трудом собрав последние силы, он вывел мать за порог. Ему удалось сделать это так тихо, что Женщина из сна (как ее теперь называл про себя Скэтчард) ничего не услышала.

— Не возвращайся туда, Айзек, прошу тебя, — умоляла миссис Скэтчард, когда сын, доставив ее домой, собрался назад.

— Мне нужно забрать нож, — шепнул в ответ Айзек. Мать пыталась его удержать, но он, не проронив больше ни слова, поспешно вышел.

Жена уже обнаружила их тайное бегство. Она кипела яростью и то и дело прикладывалась к бутылке. Обед полетел в очаг, скатерть

исчезла со стола. А где же был нож?

Айзек имел неосторожность о нем спросить. Жена охотно ухватилась за возможность позлить мужа. Зачем ему сдался нож? Может, он объяснит? Нет? Ну так он его не получит, пусть хоть на колени встает. Выяснилось, что она купила этот нож по дешевке, а раз так, значит, он ее собственность. Убедившись, что так просто нож ему не достанется, Айзек решил поискать его позже, втайне от жены. Но все старания оказались напрасны: нож исчез. Всю ночь Айзек бродил по улицам. Ему было страшно спать в одной комнате с женой.

Прошло три недели. Жена злилась по-прежнему и не отдавала ему нож, и поэтому Айзек опасался ночевать в спальне. По ночам он либо уходил на улицу, либо дремал в гостиной, либо сидел у постели больной матери. В начале следующего месяца миссис Скэтчард умерла. Не исполнилось ее желание дожить до дня рождения сына: не хватило всего лишь десяти дней. Миссис Скэтчард скончалась на руках у Айзека, и ее последние слова были обращены к нему:

— Не возвращайся туда, сынок, ради бога, не возвращайся!

Но ему пришлось вернуться, хотя бы для того, чтобы не выпускать жену из виду. Доведенная до бешенства подозрительностью мужа, Ребекка старалась в последние дни болезни миссис Скэтчард растравить его рану и для этого объявила, что намерена воспользоваться своим правом присутствовать на похоронах. Возражения и уговоры были бесполезны — Ребекка упрямо стояла на своем. В день похорон, упившись так, что море стало ей по колени, Ребекка явилась к мужу и предупредила, что собирается участвовать в траурной процессии, которая сопровождает его мать к месту последнего успокоения.

Это надругательство, вызывающий вид и оскорбительные слова Ребекки на мгновение лишили Айзека рассудка, и он ударил жену.

В тот же миг Скэтчард пожалел о своей горячности. Жена молча скорчилась в углу комнаты и стала оттуда следить за ним; от этого взгляда у мужа мороз побежал по коже. Но мириться времени уже не было. Пришлось до конца похорон оставить все как есть. Не найдя другого выхода, Айзек запер жену в ее спальне.

Через несколько часов, когда он вернулся, Ребекку было не узнать. Она сидела на кровати с узелком на коленях. При виде мужа она встала и, не выказав ни малейших признаков волнения, заговорила. Во

всем — в голосе, взгляде, движениях Ребекки — сквозила какая-то необычная бесстрастность.

— Такого еще не бывало, чтобы кто-нибудь ударил меня дважды. Я не намерена давать своему мужу такую возможность. Открой дверь и выпусти меня. С этого дня мы никогда больше не увидимся.

Прежде чем Скэтчард успел произнести хотя бы слово, жена проскользнула мимо него. Выглянув в дверь дома, он увидел ее удалявшуюся спину.

Неужели она больше не вернется?

Всю ночь он настороженно прислушивался, но тишину за окнами ничто не потревожило. На следующую ночь усталость взяла над Айзеком верх: он, одетый, прилег на постель, предварительно заперев дверь (ключ он положил на стол) и оставив горящую свечу. Спал он без помех. Прошла третья ночь, четвертая, пятая, шестая — все было спокойно. Через неделю он, как обычно, лег в постель не раздеваясь и не загасив свечу; дверь была на замке, ключ на столе. Тревога его, однако, уже отпустила.

Итак, Айзек отошел ко сну, здоровый телом и спокойный душой. Но на сей раз ночь не обошлась без приключений. Дважды он просыпался, ничего неприятного при этом, правда, не испытывая. На третий раз — как в ту незабываемую ночь в уединенной гостинице — он ощутил сперва непонятную дрожь, а потом острую боль в сердце, заставившую его мгновенно пробудиться.

Айзек открыл глаза и обнаружил по левую сторону кровати...

Снова Женщину из сна? Да нет же, это была его жена, живая и реальная, с лицом того призрака и в той же позе: прекрасная рука воздета вверх, тонкие белые пальцы сжимают рукоятку ножа.

Едва увидев жену, Айзек бросился на нее, но схватить нож не сумел: Ребекка успела его спрятать. Борьба происходила в молчании. Муж рывком усадил жену на стул и принялся ощупывать ее рукав. Да, Ребекка скрыла нож там же, где и Женщина из сна, — почти новый нож с рукоятью из оленьего рога.

Отчаяние и страх не затуманили разум Айзека и не поколебали его мужества. Пристально глядя на жену и сжимая в руке нож, он произнес:

— Ты сказала, что мы никогда больше не увидимся, и все же вернулась. Теперь моя очередь уйти, и я уйду навсегда. На сей раз я

говорю: мы больше никогда не увидимся, и мое слово нерушимо.

Айзек оставил жену и пустился в ночное странствие. Дул пронзительный ветер, пахнувший недавним дождем. Когда Айзек Скэтчард поспешно миновал последние дома предместья, часы на башне отдаленной церкви пробили четверть. Навстречу попался полисмен, и Айзек осведомился, который час.

Тот сквозь слипавшиеся веки взглянул на часы и ответил: «Третий». Четверть третьего ночи. Что же за день недели сегодня? Айзек прибавил семь дней к дате смерти своей матери. Да, круг замкнулся — это был его день рождения!

Так что же, избежал он страшной опасности, которую предвещал сон, или просто получил второе предупреждение?

Едва в нем зародилось это зловещее сомнение, он остановился, поразмыслил немного и повернул обратно в город. Айзек был верен слову и не собирался показываться на глаза жене, но решил потихоньку за нею понаблюдать. Нож оставался у него, и Скэтчард волен был идти на все четыре стороны, но смутные суеверные опасения его удерживали.

— Я должен узнать, где она теперь, после того как я ушел, — сказал он себе, пока, еле волоча ноги от усталости, подкрадывался к своему дому.

Было еще совсем темно. В спальне он оставил горящую свечу — теперь, взглянув в окно, он не увидел там света. Скэтчард осторожно подобрался к двери. Он помнил, что, уходя, запер ее. Он подергал ручку — дверь подалась.

До утра Айзек простоял на улице, не спуская с дома глаз. Потом осмелился войти, прислушался и не услышал ни звука — заглянул в кухню, чулан для мытья посуды, гостиную и ничего не обнаружил. Наконец он поднялся в спальню — и там тоже было пусто. На полу валялась отмычка, с помощью которой, как теперь стало ясно, жена проникла ночью в дом, и больше ничто не напоминало здесь о Ребекке.

Куда она отправилась? Это неведомо никому. Бегство ее совершилось под покровом ночи, и кто знает, где застал ее свет дня.

Перед тем как навсегда покинуть свой дом и город, Айзек попросил друзей и соседей продать мебель и употребить вырученные деньги на розыски его жены, для чего привлечь полицию. Они честно

выполнили поручение, деньги потратили до последнего пенса, но все усилия были напрасны. Отмычка на полу спальни оказалась последним бесполезным напоминанием о Женщине из сна.

Тут хозяин гостиницы прервал свое повествование и бросил взгляд в окно, на конюшню.

— До сих пор, — проговорил он, — я пересказывал услышанное от других. Остается добавить немного — то, что я знаю сам. Месяца через два с небольшим после описанных мною событий Айзек Скэтчард явился ко мне. Лицо у него до времени увяло и постарело — вы это видели. Он предъявил рекомендации и просил взять его на работу. Они с моей женой — дальние родственники, и потому я согласился испытать его. Он человек чудной, но мне понравился. Второго такого честного, трезвого и работающего конюха трудно сыскать. Что же до его ночной бессонницы и дремоты днем, в часы отдыха, то, зная его историю, удивляться этому не приходится. Кроме того, если он нужен, его можно разбудить — он слова не скажет. Нет, работник он хороший, жаловаться не на что.

— Он, судя по всему, опасается, что сбудется тот страшный сон, — боится ночного пробуждения?

— Нет. Сон этот он видит так часто, что уже привык и успокоился. Он не спит по ночам из-за своей жены — я часто это от него слышал.

— Как? О ней по-прежнему нет известий?

— Никаких. Айзек вбил себе в голову, что она жива и охотится за ним. Думаю, он ни за что на свете не решится сомкнуть глаза в два часа ночи. Именно в два часа она до него доберется — так он говорит. В это время он всегда проверяет, при нем ли тот самый нож. Он не спит, но без боязни остается один — в любую ночь, но только не накануне своего дня рождения, когда, как он уверен, ему грозит смертельная опасность. Айзек не живет здесь еще и двух лет. Когда был его день рождения, он всю ночь просидел с ночным привратником. «Она за мной охотится», — повторяет он всякий раз, когда с ним заговаривают о том, что его тревожит. Возможно, он и прав, почему нет. Кто знает?

— Кто знает? — повторил я вслед за ним.

Эймиас Норткот

(1864–1923)

Мистер Оливер Кармайкл

Пер. с англ. Л. Бриловой

Мистер Оливер Кармайкл принадлежал к любимчикам фортуны. Отпрыск хорошей семьи, он был поздним единственным ребенком родителей состоятельных и культурных; под их любящим присмотром он получил традиционное для английского джентльмена воспитание. В Итоне и Оксфорде он учился с удовольствием, хотя без особых отличий, затем получил превосходную должность в одном из второстепенных правительственных учреждений и повел жизнь если не самоотверженного труженика, то, во всяком случае, достойного государственного служащего. Избрав себе в дополнение к работе хобби — коллекционирование старинного серебра, он полностью обеспечил себя потребными для ума стимулами.

Мистера Кармайкла нельзя было назвать светским человеком; он чурался женщин, предпочитая уединенную обстановку одного из лучших привилегированных клубов Англии, где у него было немало знакомых; там он проводил большую часть досуга. Приятели его ценили: при слегка женственном характере и отсутствии интереса к чисто мужским занятиям вроде охоты, мистер Кармайкл был по-настоящему хорошим парнем, всегда готовым помочь советом или деньгами тем, кому не так посчастливилось в жизни.

Роста он был среднего, внешне весьма привлекателен, хотя хрупкого сложения и не без оттенка женственности. К началу его странного приключения мистеру Кармайклу исполнилось тридцать семь лет или около того.

В отведенный природой срок похоронив родителей, Оливер искренне их оплакал, расстался со старым лондонским домом и переехал в жильё поменьше, где стал вести беззаботную холостяцкую жизнь; при нем остались прежние семейные слуги, в том числе и знавшие его с рождения.

Этот портрет Оливера Кармайкла краток и неполон, однако целью было представить его таким, каков он был: человек с легким характером и доброй душой, проживший жизнь без серьезных бед и намеренный дальше жить спокойно и достойно, в мире со всеми окружающими.

Меж тем назревали события, вызвавшие кардинальную перемену в его характере и взглядах на мир.

Однажды ночью мистера Кармайкла посетили дурные сны. Утром он не смог вспомнить подробности, однако нервы его были угнетены, и оттого он чуть дольше обычного занимался туалетом. Добираясь до работы пешком (привычка, которой он педантично придерживался как полезной для здоровья), он обнаружил внезапно, что забыл дома носовой платок. Неприятность досадная, но легко поправимая — Оливер зашел в ближайшую трикотажную лавку, чтобы снабдить себя необходимым предметом.

День только начинался, посетителей в лавке было раз-два и обчелся. Мистер Кармайкл направился к нужному прилавку, и навстречу ему вышла молодая женщина. И тут безо всякого повода его охватило совершенно непонятное и очень тягостное чувство. Он ощутил сильнейшее инстинктивное отвращение к этой девице; вгляделся пристально, но не обнаружил ничего, что бы его оправдывало. Молодая женщина ничем не отличалась от обычных представительниц своей профессии: скромная, аккуратно и неброско одетая. Высокий рост, крепкое сложение, возраст — около двадцати пяти и — уродливая, иначе не скажешь, внешность. В и без того непривлекательных чертах проглядывал оттенок порочности, но не активной, а пассивной; они изобличали человека, чьи мысли и устремления низменны и злобны.

Мистер Кармайкл выбрал платок и протянул девице сверток. До тех пор она уделяла Оливеру не больше внимания, чем обычному посетителю, но, вручая сдачу, взглянула ему прямо в лицо, и в ее глазах мелькнуло злорадное торжество. Она тут же отвела взгляд. Когда Оливер направлялся к выходу, ему стадо страшно — непонятно чего и почему. В дверях он обернулся. Девица не сводила с него глаз.

По дороге в контору он размышлял об этом мелком происшествии. Поначалу Оливер отнесся к нему легкомысленно и доискивался только, откуда взялась эта внезапная неприязнь к вполне приличной,

вежливой продавщице. Но постепенно дело принимало серьезный оборот: мысли о девице угнетали, образ ее вновь и вновь возникал в памяти, предвещая недоброе. Весь день он думал о своем приключении и даже вечером в клубе, за спокойной послеобеденной партией в бридж, не мог отделаться от этого враждебного, торжествующего взгляда. Когда наконец он добрался до постели и уснул, ему вновь явились сны, и на этот раз они не исчезли из памяти. Ему снилось, что он находится где-то на равнине, поблизости никого не видно и вокруг вихряется, гонимые ветром, клубы светящегося серого тумана. Он шагает по этой равнине, куда — неизвестно, но вроде бы имеет перед собой какую-то цель. Внезапно в тумане вырастает фигура, в которой он тут же узнает девицу из лавки. Она приближается, глаза ее горят злобной радостью. В дикой панике он поворачивается и бежит, забыв о своей цели, забыв обо всем, только бы спастись от стремительной преследовательницы. Серое свечение вокруг темнеет, дороги не разобрать, угроза все ближе и ближе. Оливер с криком пробудился; в окно лился дневной свет.

С постели он поднялся разбитым, сон не шел из головы. При свете нового дня он попытался взглянуть на все спокойней и постепенно внушил себе, что о вчерашнем волнении можно забыть. Отправившись в контору, он вдруг обнаружил, что следует другой дорогой; бесполезно было убеждать себя в преимуществах нового, более живописного маршрута — с горькой улыбкой Оливер понял, что избегает трикотажной лавки. Весь день давешняя девица занимала его мысли; наконец, основательно все обдумав, мистер Кармайкл изобрел способ избавиться от этих воспоминаний. В скором времени у него был запланирован ежегодный отпуск, дела в конторе шли вяло — он попросит начальника отпустить его раньше и тут же тронется с места. Сказано — сделано. Начальник легко дал разрешение, и вечером мистер Кармайкл ошеломил слуг известием, что завтра отправится в Брайтон, где пробудет неделю, а затем совершит обычный круг по тихим загородным домам своих знакомых, приглашавших его на время отпуска.

В Брайтон Оливер Кармайкл, соответственно, и переселился, но и на новом месте наваждение не отвязалось. Ему то и дело вспоминалась девица, которую он уже возненавидел; но являлись и другие навязчивые мысли. До тех пор привычные, порожденные его

образом жизни представления носили характер приятный и мирный; в них не прослеживалось высокого полета ума, но это были мысли человека чистого и порядочного. Теперь в его сознание постепенно проникали иные, порочные идеи: враждебный, недоброжелательный взгляд на людской род, с упором на худшую сторону человеческой природы. Он отчаянно сопротивлялся новому ходу мыслей, но ощущал, что проигрывает сражение; Оливер Кармайл терял веру в себя, свою честь и благородство; он был близок к отчаянию.

Снов он больше не видел, а проводил ночи в глубоком забытии — состоянии, в котором, как можно предположить, то, что мы называем душой, покинув свою земную оболочку, блуждает и ищет родственного отклика в пределах, незнакомых нашему дневному «я».

Спал мистер Кармайл теперь глубже, но просыпался, как правило, в тревоге, не отдохнувшим; ради внутреннего спокойствия, а также внешнего приличия он старался вести себя как обычно, однако друзья впоследствии замечали, что он выглядел рассеянным, утратившим как будто прежнюю безмятежность, довольство жизнью и врожденное великодушие.

Когда отпуск подошел к концу, мистер Кармайл вернулся в город преисполненным решимости. Он пойдет в лавку посмотреть на злополучную девицу; заново увидев ее во плоти, он сможет выкинуть из мыслей ее навязчивый образ. Ты сделал из мухи слона, говорил он себе; тебе не понравилось ее лицо, но это не причина, чтобы, удерживая его в памяти, доводить себя до безумия. При новой встрече она, несомненно, окажется самой заурядной некрасивой девушкой, занятой собственными делами и давно забывшей случайного посетителя, который больше месяца назад купил у нее платок. Таким образом, он задумал под предлогом мелкой покупки снова посетить лавку и, приняв решение, немного успокоился. На следующее утро он проделал этот опыт: с, надо сказать, неровно бьющимся, но исполненным надежды сердцем мистер Кармайл открыл дверь лавки и переступил порог.

Обведя лавку глазами, он не заметил девушки, но у хорошо запомнившегося прилавка она спокойно вышла ему навстречу. Как прежде, она держалась очень сдержанно и скромно; взглянула на него едва-едва, как на любого незнакомого и совершенно безразличного ей покупателя. Кармайл уверился в своей правоте: он был дурак

дураком, девица о нем нисколько не думала и, судя по всему, его не узнает.

Она спросила, чего он желает. Поколебавшись, мистер Кармайкл назвал первое, что пришло в голову. Перчатки. Вынув их, продавщица спросила размер; мистер Кармайкл забыл, потому что мелочи вроде перчаток ему обычно покупал слуга. Нужно было обмерить руку.

Он вытянул ладонь, и продавщица склонилась, чтобы выполнить эту незамысловатую операцию. Прикладывая перчатку, она на мгновение — вероятно, по случайности — коснулась его руки. Оливера Кармайкла потряс электрический удар, и от его самообладания, от веры в нереальность того, что происходило с ним в последние несколько недель, ничего не осталось. За один ослепительный миг он заглянул в глубины, каких прежде не ведал, и познал ужас, какой ему прежде не снился. Едва сознавая, что делает, он взял перчатки, расплатился и на мгновение замер, глядя на девушку.

До этого она вела себя как подобает продавщице, выполняла свою работу старательно, разговаривала вежливо, но несколько машинально; ни единого признака того, что она помнит клиента, ни единого многозначительного взгляда.

Но тут она внезапно подняла глаза и уставилась прямо ему в лицо; снова в ее взгляде мелькнуло торжество, зажглось сознание своей власти. Она сознавала себя хозяйкой положения, знала и понимала тайные узы, приковавшие к ней Оливера, в то время как он, смутно чувствуя свою несвободу, не догадывался о ее характере и происхождении.

Через какой-то миг девица отвела взгляд и небрежно отвернулась; мистер Кармайкл вышел за порог совершенно раздавленным. Добравшись до конторы, он не мог сосредоточиться на работе, и начальник, заметив, что подчиненному нехорошо, посоветовал ему пойти домой. Мистер Кармайкл ухватился за эту идею: он вернется в лавку — это совершенно необходимо, он снова увидит продавщицу — это тоже совершенно необходимо; возможно, она что-нибудь ему объяснит, а может, он и сам хоть немного разберется. Он нахлобучил шляпу и вышел.

Однако в лавке его ждало разочарование: в тот день она закрывалась рано, и все продавцы уже ушли домой. Не зная,

досадовать или радоваться, он побрел к себе. Мистер Кармайкл ясно сознавал, что необходимо повидаться с продавщицей, однако страшился этого разговора; он будет решающим — это понятно, но к чему он поведет — вопрос.

Дом был всего в двух шагах, мистер Кармайкл пересекал одну из тихих лондонских площадей. Завернув за угол, он лицом к лицу столкнулся со своей врагинею (что девица ему враждебна, он не сомневался).

Одетая непритязательно и опрятно, она спокойно шла ему навстречу; глядела, как обычно, скромно и чинно, но с некоторым беспокойством. Приблизившись к мистеру Кармайклу, она подняла глаза. На этот раз в них не было ликования, они были глубокие и внимательные. Едва сознавая, что делает, мистер Кармайкл приподнял шляпу, девица кивнула в ответ на приветствие, он развернулся и пошел рядом.

Сначала они молчали, потом мистер Кармайкл, собравшись, заговорил:

— Я рад, что вас встретил, мне нужно было с вами поговорить; я проходил мимо «Господ ***», но лавка была уже закрыта. — Он помолчал.

— Да? — спросила девица.

— Я кое-чего не понимаю, — продолжил Оливер. — Месяц с небольшим назад я заходил в вашу лавку, чтобы купить платок, и с тех пор вы поселились у меня в голове. Я думал о вас днем, вы, как я теперь понимаю, владели мной во сне. — Он опять замолчал.

— Вы что, признаетесь в любви? — Девица усмехнулась.

Мистер Кармайкл был так ошеломлен, что на мгновение онемел. Потом воскликнул:

— В любви?! К вам?! Боже упаси!

— Вы не очень-то вежливы! — заметила собеседница. — Ну ладно, если вы в меня не влюблены, то, быть может, испытываете противоположное чувство, то есть ненавидите меня.

Она всмотрелась в мистера Кармайкла, тот медлил с ответом. Девушка продолжила:

— Не трудитесь смягчать выражения. Я знаю ваши чувства, знаю гораздо лучше, чем вы сами.

Тем временем они вошли в Гайд-парк, и девушка, указывая на два свободных стула, предложила:

— Сядем, нам есть что обсудить.

Он молча подчинился и смерил девушку долгим пристальным взглядом. Держалась она, как всегда, спокойно и скромно и полностью владела собой; только в глазах горел мрачный огонь, загадочный и угрожающий. Она отвернулась.

— Что со мной произошло? — спросил Оливер. — Кто вы такая и чего хотите? Я запутался.

Она отвечала неспешно:

— Вы задали несколько вопросов, но, если бы я ответила вам полно, вы бы сейчас меня не поняли. Кое-что я вам, однако, объясню. Кто я такая? Что ж, со временем вы узнаете, кто я и что, но пока можете называть меня по имени, данному родителями: Филлис Рурк. Я не всегда была продавщицей, даже здесь, в Лондоне. Отец мой был мудрецом, джентльменом; он научил меня, как усвоить... — она помедлила, — ...немало познаний, истин, фактов, которые недоступны вам и вам подобным. Чего я от вас хочу? Что ж, я хочу многого, того, с чем вам будет страшно расставаться, но я держу вас... — отколов от платья цветок, она сжала его в руках, — ...держу, как этот цветок, и так же могу раздавить.

Она так и поступила и молча стала разглядывать остатки цветка. Мистер Кармайкл колебался между страхом и негодованием. Да кто она такая, эта хвастунья, думал он; как-никак я джентльмен, человек с положением, мне ли бояться угроз никому не известной девицы из второразрядной лавки? Собравшись с духом, он ответил:

— Вы высказались недвусмысленно, мисс Рурк, но не подумали о том, что я могу предпринять со своей стороны. Вам вздумалось мне угрожать? А разницу в нашем социальном статусе вы учли? Известно ли вам, что я — мистер Кармайкл, человек солидный и с положением? И наконец... о полиции вы подумали? По-вашему, можно докучать людям безнаказанно?

Храбрился он только на словах. Едва закончив речь, он почувствовал, что сникает. Девица слушала с улыбкой, не двигаясь с места; она походила на кошку, наблюдающую за мышью. Дождавшись, пока он закончит, она несколько секунд помедлила и произнесла низким напряженным голосом:

— Несчастный несмышлениш! Ничего-то вы не понимаете. Ведь пять недель минуло с ночи, когда я впервые вас нашла, но еще не показывалась вам наяву, — неужели вы ничему за это время не научились? Толкуете о вашем положении, влиятельности, полицию поминаете. — Пожирая мистера Кармайкла своими темными, мрачными глазами, девушка продолжала: — Что вы можете сделать? Я держу вас и не выпущу. Может, я никогда больше не увижу вас воочию, материальная сторона вашего существования меня не интересует, мне нужно нечто большее, мне нужны вы сами, ваша душа.

Оливер в ужасе отшатнулся.

— Вы — дьявол? — спросил он.

Она разразилась жутким беззвучным смехом.

— Дьявол, — повторила она, — что-то вас в Средние века потянуло. Вы что, ждете, что эта ступня, — она выдвинула вперед ногу, — обернется копытом? Что я вытащу из-за пазухи пергамент — подпишете собственной кровью?

Она снова рассмеялась.

— Нет, мистер Кармайкл, — продолжала девица, — я не дьявол. Но, может, встретиться с дьяволом для вас было бы лучше.

Наступила тишина. Мистер Кармайкл чувствовал себя как птичка перед змеей. Он был заморожен, полон омерзения, хотел улететь, но не мог; желал укрепить свой дух и сопротивляться, но уступал, становился все более податливым под воздействием ее личности.

Девица вновь заговорила:

— Ну вот, пока сказано довольно. Вы узнали все, что в состоянии сейчас понять; ваши страхи подтвердились: я держу вас под контролем, ради цели, известной мне, но не вам. Нам нет необходимости больше встречаться. Когда мне понадобится, я вас призову, и вы явитесь на место нашей встречи во сне.

Оливер Кармайкл опять вздрогнул. Подобно молнии, его пронзило сознание, что в последнее время под дурманом глубокого сна его душа, разлучившись с телом, посещала неведомые и страшные области, где сообщалась с душой Филлис Рурк. Он решил, что попробует не засыпать, девица отозвалась на его мысль смехом.

— Как же, как же, будете спать как миленький. А теперь, — добавила она, — пора расставаться. Я живу с теткой в Фулеме,

старушка разволнуется, что меня нет.

Она поднялась со стула.

— Прощайте, мистер Кармайкл. Au revoir^[8], родственная душа, до встречи во сне.

Она ушла, а Оливер, ошеломленный и павший духом, сидел до тех пор, пока служитель не предупредил его, что ворота парка закрываются.

Домой мистер Кармайкл вернулся, едва переставляя ноги: поразительный разговор, могущество Филлис Рурк и ее недоброжелательный настрой — все это до полусмерти его напугало. Как было сказано выше, он походил на птичку, зачарованную змеей: желал воспротивиться, вырваться, скрыться — но не видел пути отступления. Тщетно он напрягал мозг, тщетно старался собрать в кулак волю и сделать... сам не знал что. Он подвергся нападению с незащищенного фланга, угрозе, о самом существовании которой еще недавно не подозревал. Что же ему грозило? Об этом он тоже не знал. Если бы речь шла об осязаемой опасности для жизни или собственности, он бы понимал, как ее встретить, что противопоставить, но это зло нацелилось на его душу. Как бывает обычно с людьми, ведущими безмятежную, мирную жизнь, ему до сих пор не приходилось беспокоиться о душе. Он смутно подозревал о ее существовании, в юности был ортодоксальным приверженцем Англиканской церкви, но в последние годы начал склоняться к умеренному агностицизму и при всегдашней готовности помочь нуждающемуся ни разу по-настоящему не задумывался над тем, что такое страдание и несправедливость. Он старался избегать того и другого, знал о том, что они существуют, но знал поверхностно; стремился ради собственного счастья и спокойствия свести их к минимуму и по возможности о них не думать.

Но вот в одно мгновение все переменялось. Он попал во власть воплощенного Зла. Разум девицы служил такой же плодородной почвой для зла, как его собственный, по его представлению, — для добра. И он был перед ней бессилен. Что с ним станет? Каковы ее намерения: низвести его на свой низменный уровень, разрушить его личность, душу, существование которой он впервые отчетливо осознал?

Он упорно размышлял, но ничего не мог придумать. Во мраке высветилась только одна дорожка, и Оливер надеялся, что это выход. Девушка грозилась угнездиться в его снах. Что ж, он поменяет местами день и ночь, по ночам станет бодрствовать, а сну отводить дневные часы, когда, как он опрометчиво уверился, его противница будет занята профессиональными обязанностями. Ухватившись за эту надежду, он несколько воспрянул духом, остаток вечера старался сосредоточиться и взять себя в руки, а в обычный час отхода ко сну разжег камин, выбрал книгу и приготовился бодрствовать всю ночь.

Однако сфокусировать внимание на книжных страницах не удавалось. Мысли вновь и вновь обращались к Филлис Рурк. Что она делает, празднует ли победу, а может, даже сейчас подбирается к нему? Отгоняя эти раздумья, Оливер снова брался за книгу.

Вздрагнув, он пробудился. Огонь погас, лампа тоже, в окна лился дневной свет, в ушах, как ему почудилось, звучали отголоски тихого издевательского смеха Филлис Рурк.

Начиная с этой ночи Оливер Кармайкл совсем отчаялся. Надежда защитить себя от вражеских происков не оправдалась, другой он не видел.

Описывать подробно, что происходило в последующие несколько месяцев, занятие столь же затруднительное, сколь и бесплодное; под конец жизни Оливер Кармайкл вспоминал их как время нисхождения в глубины ада. Достаточно будет в двух словах рассказать о том, что он пережил.

После единственной попытки всеобщего бдения мистер Кармайкл решил, что это пустая затея, и вернулся к своему обычному образу жизни. Что касается внешней стороны его существования, знакомые заметили в его характере постепенный сдвиг; не то чтобы эта трансформация особенно бросалась в глаза, однако он все дальше отходил от своего всегдашнего взгляда на человеческую природу, взгляда спокойного и доброжелательного. Он высказывал едкие суждения; гадая о мотивах человеческих поступков, предпочитал толковать их дурно; добродушного, готового прийти на помощь мистера Кармайкла едва узнавали: он сделался эгоистичен, холоден, безжалостен. У него прорезалось тщеславие, интерес к общению: он посещал приемы, принимал гостей, но, находясь таким образом на

виду, не приобрел дополнительной популярности, а скорее утратил имевшуюся. Самые близкие друзья, опечаленные этими переменами, пытались его переубедить, но не смогли и постепенно от него отделились. Работу мистер Кармайкл выполнял успешно, коллеги все больше ценили его и все меньше любили. Такова была внешняя сторона его существования. Труднее будет описать то, что творилось у мистера Кармайкла внутри.

Вначале он отчаянно боролся с ненавистными посягательствами на его личность, но сразу ощутил, что битва заранее проиграна. Он был слеп и безоружен, враг — зряч и искусен. В часы бодрствования губительное воздействие ни в чем не проявлялось. Врагами мистера Кармайкла были ночь и Филлис Рурк. Спал он спокойно, без сновидений — вернее, ни разу не смог их вспомнить. И все же ему было ясно, что именно во сне могучий дух Филлис Рурк отрывал его душу от тела и влек, вопреки тщетному сопротивлению, в трясину духовной деградации. Он понимал это, ночами собирал все свои силы для безнадежной битвы, а днем осознавал, что сделан еще один шаг по пути вниз.

Пожалуй, нельзя утверждать с уверенностью, что борьба возобновлялась каждую ночь; ясно только, что иной раз происходили отчаянные схватки: утром он просыпался дрожащий, залитый потом, измученный так, словно и вправду побывал на поле брани. После таких ужасных ночей он замечал неизменно, что еще более проникся злом. Проникся злом! Его пронзило острой болью, когда однажды, размышляя о своей судьбе и оплакивая утраченную невинность, он различил внутри себя тихий голосок, говоривший: «Утратив невинность, ты приобрел знание». Эта мысль засела у него в мозгу; в нем росла уверенность, что в глубине души он все более предпочитает порок добродетели, зло — добру.

С тех самых пор, как только начались ненавистные ночные посягательства на его личность, Оливер Кармайкл делал все, чтобы себя оборонить. Он, как мы знаем, обладал если не сильной волей, то твердыми принципами, его бдительная совесть распознавала чужеродные влияния и всячески им противилась; поначалу, в дневные часы, ей это удавалось. Даже и позднее он не потерял уверенности, что эти ужасные мысли не принадлежат его истинному «я», а навязаны со стороны, но теперь они, напротив, составляли

неотъемлемую часть его внутреннего существа. Филлис Рурк хорошо справилась со своим делом: ее порочная душа не только завладела чистой душой Оливера Кармайкла, произошло смешение их личностей, слились воедино мысли, и уже невозможно было понять, руководят ли им собственные или чужие желания и побуждения. Оливер утратил и личность свою, и принципы.

Этот удар раздавил его окончательно. Осталась только слабая надежда, что смерть так или иначе избавит его от мук; время от времени возникали мысли о самоубийстве. От рокового шага мистера Кармайкла удерживала только неясная память о прошлом религиозном воспитании, боязнь, что, нарушив законы морали, он лишь усугубит свое положение. Но вот исчезла и эта последняя надежда; он потерял себя и был обречен на вечное единство со своим злым гением.

За шесть месяцев, пока длились его умственные и душевные муки, у Оливера Кармайкла ни разу не возникло ни малейшего желания вновь увидеть свою мучительницу; ее образ уже не маячил у него перед глазами в часы бодрствования. Лишь подсознательная убежденность говорила о том, что Филлис Рурк посещает его сны, хотя он, не сомневаясь, винил ее во всех своих бедах. Проходя мимо «Лавки господ ***», где, как предполагалось, продолжала работать Филлис Рурк, мистери Кармайклу ни разу и в голову не пришло поинтересоваться, там она по-прежнему или нет. Он никогда не наводил о ней справки, так как успел осознать, что их отношения принадлежат не к этому, а к совершенно иному миру.

Именно так обстояло дело спустя шесть месяцев после первой встречи мистера Кармайкла с мисс Рурк. И вот однажды утром он пробудился с привычными уже признаками ночного сражения. Он был вымотан, дрожал, истекал потом, но в глубине его существа зародилось новое ощущение — живое и радостное; в этой чудовищной битве душ он впервые одержал победу. Он ведал только это и больше ничего; не забывайте: подробности ночных приключений были от него скрыты, он знал только результат, но не причину.

На удивление радостный, мистер Кармайкл встал и оделся; размышляя о происшедшем, он начал потихоньку надеяться, что срок его испытаний на исходе и скоро при помощи какой-то неведомой

силы ему удастся разорвать свою внутреннюю связь с Филлис Рурк. Это был самый счастливый день с тех пор, как Оливер впервые зашел в злополучную лавку, и по пути домой ему захотелось свернуть туда и увидеть свою противницу. Но он этого не сделал.

Ночью ему приснился сон, который он наутро смог вспомнить.

Ему привиделось, что он, вновь обретя себя, идет по красивой местности. Ярко светит солнце, но жару смягчает легкий бриз. В кронах и шпалерах поют птицы, в траве резвятся кролики, в воздухе разлит аромат бесчисленных цветов. Впереди прогуливалась под ручку пара влюбленных — судя по всему, они счастливо проводили время. Вокруг царили мир и спокойствие, и мистер Кармайкл шагал вперед в хорошем настроении, благорасположенный ко всему человечеству. Внезапно раздался крик, птицы замолкли, упавший с неба сокол унес в когтях злополучную добычу. Мирная сцена была испорчена, мистер Кармайкл отвратил взгляд: виноват не он, виновата Природа. И тут с пронзительным визгом на кроликов кинулся горноста́й; он оседлал одного из крохотных зверьков и, пока жертва пыталась освободиться, приник к ее шее, вонзив зубы под ухо. Мистер Кармайкл вздрогнул, поскольку не терпел крови и насилия, и ускорил шаги. Ветер, однако, стих, солнце жарило немилосердно, полевые цветы под его лучами увяли и сникли. Красота пейзажа померкла, контуры сохранились, но их размыло маревом, подобным туману, вставшему из моря, — мгновение, и он накрыл кораблики, что сверкали на солнце где-то у горизонта. Оливер завернул за угол, на дороге вновь показались влюбленные, но на этот раз они ссорились, поносили друг друга; при виде его они поспешили вперед, но в ушах звенели отзвуки их злых голосов. Собрались тучи и затмили солнце, жара давила; внезапно разразилась гроза, прокатился гром, сверкнула молния, стеной хлынул ливень. Мистер Кармайкл нашел себе какое-то укрытие; буря вскоре утихла, и он вновь зашагал по дороге. Освеженные дождем, подняли головки цветы и наполнили воздух ароматом, запели птицы, помирившиеся влюбленные продолжили счастливую прогулку. Беда пришла и ушла. Он пробудился.

Этим утром он обнаружил в почте письмо, подписанное незнакомым почерком, но сразу понял, от кого оно. Письмо было от Филлис Рурк. Немного помедлив, мистер Кармайкл развернул послание и прочел:

«Дорогой мистер Кармайкл!

Мне бы очень хотелось, если это возможно, снова с Вами встретиться. Завтра я раньше обычного уйду из „Лавки господ ***“ и буду в Гайд-парке, там же, где мы сидели в прошлый раз. Жду Вас там в четыре пополудни.

Искренне Ваша, Филлис Рурк.

P. S. Пожалуйста, приходите».

Мистера Кармайкла это письмо не удивило. Он понял, что ожидал его, однако терялся в сомнениях, как поступить. Мисс Рурк желает с ним увидеться, это понятно. Но почему он должен идти ей навстречу? В нем разгорался гнев, ведь мисс Рурк была его злейшим врагом. Он взглянул на дело под другим углом. Из зеркала на него смотрел красивый, хорошо ухоженный джентльмен, так почему бы не пойти и не показать мисс Филлис, что ее происки, во всяком случае, ничуть не повредили его телесной оболочке. Так ничего и не решив, он отправился в контору и при тех же сомнениях пустился после ланча в обратный путь. Ноги сами привели его в Гайд-парк, к тому памятному месту, где он полгода назад беседовал с мисс Рурк. Найдя там два стула, он сел и дождался ее прихода.

Его сердце заколотилось от волнения, страха и ненависти. Когда Филлис Рурк приблизилась, он, всмотревшись, заметил, что она как-то изменилась: не такими резкими сделались черты, смягчился и взгляд; одета она была, как всегда, скромно и опрятно. Шагала она поспешно, однако ровно; при виде Оливера ее лицо приняло приветливое выражение. Он встал и подождал, пока она подойдет.

— Рада, что вы пришли. — Она ничего не добавила к этому скупому приветствию. — Очень рада. Мне есть что вам сказать, чем поделиться.

Мистер Кармайкл ответил холодным взглядом.

— Что вы можете мне сказать? — начал он. — Неужели вам непонятно, как вы со мной обошлись? Со мной, совершенно незнакомым, безобидным человеком, ничего вам не сделавшим, желавшим одного — жить мирно и спокойно?

— Мне все известно, причем лучше, чем вам. Я знаю, что вы перенесли и какие с вами произошли перемены. — Она замолкла.

Немного помолчав, Филлис Рурк продолжила:

— Я знаю, что происходило с вами, однако вам неизвестно, что случилось со мной.

— Мне это безразлично. Что у нас есть общего?

Она тихонько засмеялась, но это не был прежний, хорошо ему знакомый издевательский смех.

— Когда вы все узнаете, вы заговорите иначе. Однако посмотрите на меня, замечаете разницу?

Кармайкл всмотрелся.

— Да, — протянул он, — вы изменились. — Он помедлил. — Вы изменились... к лучшему.

Она снова улыбнулась.

— Я изменилась, изменилась к лучшему, и это благодаря вам. В войне, которую мы вели, я многое обрела, а вы, вероятно, ничего не потеряли.

— Я вас не понимаю.

Она снова уставилась ему прямо в глаза. И он, глядя на нее, почувствовал, что становится другим человеком. Как бы сквозь тусклое стекло он прозревал размытые очертания великой истины; он старался различить ее, понять умом то, что уже постигло его подсознание.

Но ничего не получилось, видение померкло, мистер Кармайкл вздохнул и повторил, слегка изменив, свои слова:

— Я не могу вас понять.

— Пока не можете, — отозвалась Филлис Рурк, — пока. Ваше внутреннее, истинное зрение все еще затуманено вашим земным разумом. Вы не способны ясно разглядеть удивительное сродство между душами тех, кого мы ошибочно называем обособленными личностями. Как тьма и свет образуют вместе совершенный день, так души мужчины и женщины образуют вместе совершенное целое. Ради каких-то таинственных целей в давние века души были разделены, как свет и тьма, и с тех пор искали друг друга, стремясь воссоединиться. Иным повезло — они достигли цели, но в тумане земных, суетных мыслей едва сознают свое счастье, другие по-прежнему ищут, блуждая в ночи.

— Я начинаю вас понимать, — проговорил Оливер.

— Я принадлежала к этим ищущим, — рассказывала она, — но не к жалким, а к сильным. В незапамятные времена Рок или Случай

расторг союз наших душ и направил вашу по пути мира и радости, мне же, несчастной, назначил низменный удел. Как долго я вас искала, не ведаю, знаю только, что тщетные розыски длились веками и постепенно в глубинах моего существа зрела ненависть к вам, моей парной душе, ненависть, идущая от зависти и отчаяния. Наконец я вас отыскала. Прежде чем вы увидели меня во плоти, я нашла вас в духе, и, когда вы впервые явились в мою лавку, моя душа возликовала, ибо я поняла, что одержала победу и вы у меня в руках. И я взялась за дело, стягивая вас вниз, погружая в пучину потерянных душ, где пребывала сама. Я старалась вас замарать. — Немного помолчав, она продолжила вполголоса: — Но я не подумала о том, что из смешения черного с белым получается серое, а из серого, под солнечными лучами, — чистейшая белизна.

Оба надолго замолкли, Кармайкл постепенно проникался истиной; знание, в нем дремавшее, пробудилось и наполнило собой разум.

— Кажется, я вас понимаю, — произнес Оливер.

Филлис продолжала:

— Завязалось противоборство, я упивалась вашими бесплодными усилиями, вашим постепенным падением. Мною владела радость, ликование торжествующего зла, но затем к ней добавилось беспокойство. Незаметно для меня самой мой напор начал ослабевать, а ваше сопротивление нарастало. Об этих страшных, безмолвных ночных битвах ваш земной разум не ведал, но задолго до того утра, когда вы проснулись победителем, я поняла, что мое дело проиграно, и возрадовалась этому. Пока вы падали, я поднималась, а поднявшись, помогла подняться вам.

Она снова помолчала.

— Теперь вам известно все, вы знаете, что, однажды разлученные, мы навсегда воссоединились. В этом существовании мы больше не встретимся, так будет лучше, но вы возвращайтесь к вашей повседневной жизни, работе, друзьям, семье, если она у вас есть. Что до меня, то мне досталось небольшое наследство, так что я уговорила свою тетушку уехать со мной вместе из Лондона за город, где меня ждет спокойное, созерцательное существование. Нам обоим еще предстоит побороться, вам — чтобы вернуть себе достоинство, мне — чтобы его обрести, но будем оба стремиться к знанию, дарующему Мир, каковой есть Господь Бог.

Снова наступило молчание, потом Филлис встала и протянула руку.

— Прощайте, мистер Кармайкл, — сказала она, — прощайте.

Он тоже поднялся со стула и на мгновение сжал ее ладонь.

— Au revoir, — проговорил он, — до встречи во сне.

И они пошли каждый своею дорогой.

1921

Говард Филлипс Лавкрафт

(1890–1937)

Гипнос

Пер. с англ. В. Дорогокупли

*Что касается сна, этого мрачного и
своенравного властителя наших ночей, то
безрассудство, с каким люди предаются ему
ежедневно, нельзя объяснить ничем иным,
кроме как неведением относительно
поджидающей их опасности.*

Бодлер

Да хранят меня всемилостивые боги — если только они существуют — в те часы, когда ни усилие воли, ни придуманные людьми хитроумные снадобья не могут уберечь меня от погружения в бездну сна. Смерть милосерднее, ибо она уводит в края, откуда нет возврата; но для тех, кому довелось вернуться из мрачных глубин сна и сохранить в памяти все там увиденное, никогда уже не будет покоя. Я поступил как последний глупец в своем неистовом стремлении постичь тайны, не предназначенные для людей; глупцом — или богом — был мой единственный друг, указавший мне этот путь и вступивший на него раньше меня, чтобы в финале пасть жертвой ужасов, которые, возможно, предстоит испытать и мне.

Я помню, как впервые встретил его на перроне вокзала в окружении толпы зевак. Он лежал без сознания, скованный судорогой, из-за чего его некрупная худощавая фигура, облаченная в темный костюм, казалась окаменевшей. На вид ему можно было дать лет сорок, судя по глубоким складкам на изможденном, но притом безукоризненно овальном и красивом лице, а также по седым прядям в коротко подстриженной бороде и густых волнистых волосах, от

природы черных как смоль. Его лоб идеальных пропорций цветом и чистотой был подобен пентелийскому мрамору. Наметанным глазом скульптора я тотчас углядел в этом человеке сходство со статуей какого-нибудь античного бога, извлеченной из-под руин эллинского храма и чудесным образом оживленной только ради того, чтобы в наш тусклый безыскусный век мы могли с трепетом ощутить величие и силу всесокрушающего времени. А когда он раскрыл свои огромные, черные, лихорадочно горящие глаза, я вдруг отчетливо понял, что в этом человеке обрету своего первого и единственного друга, ибо прежде у меня никогда не было друзей. Именно такие глаза должны были видеть все величие и весь ужас иных миров за пределами обычного сознания и реальности — миров, о которых я мог лишь грезить безо всякой надежды лицезреть их воочию. Я разогнал зевак и пригласил незнакомца к себе домой, выразив надежду, что он станет моим учителем и проводником в сфере загадочного и необъяснимого. Он слегка кивнул в знак согласия, не произнеся ни слова. Как выяснилось позднее, он обладал на редкость звучным и красивым голосом, в котором гармонично сочетались густое пение виол и нежный звон хрусталя. Много ночей и дней мы провели в беседах, пока я высекал из камня его бюсты или вырезал из слоновой кости миниатюры, стремясь запечатлеть в них различные выражения его лица.

Я не в состоянии описать то, чем мы занимались, поскольку эти занятия имели слишком мало общего с обыденной жизнью. Объектом нашего изучения была неизмеримая и устрашающая вселенная, лежащая вне познаваемых материй, времен и пространств, — вселенная, о существовании которой мы можем лишь догадываться по тем редким, особенным снам, которые никогда не посещают заурядных людей и лишь пару раз в жизни могут привидеться людям с богатым и ярким воображением. Мир нашего повседневного существования соотносится с этой вселенной, как соотносится мыльный пузырь с трубочкой, из которой его выдувает клоун, всегда могущий по своей прихоти втянуть пузырь обратно. Ученые мужи могут иметь кое-какие догадки на сей счет, но, как правило, они избегают об этом думать. Мудрецы пытались толковать такие сны, что вызывало лишь смех у бессмертных богов. А смертные в свою очередь насмеялись над одним человеком с восточными глазами,

утверждавшим, что время и пространство суть вещи относительные. Впрочем, и этот человек не был уверен в своих словах, а только высказал предположение. Я же мечтал зайти дальше простых догадок и предположений, к чему также стремился мой друг, преуспев лишь отчасти. А теперь мы объединили наши усилия и с помощью разных экзотических снадобий открыли для себя манящий и запретный мир сновидений, которые посещали нас в мастерской на верхнем этаже башни моего старинного особняка в графстве Кент.

Всякий раз пробуждение было мучительным, но самой мучительной из пыток оказалась неспособность выразить словами то, что я узнал и увидел, странствуя в мире снов, поскольку ни один язык не обладает подходящим для этого набором понятий и символов. Все наши сновидческие открытия относились к сфере особого рода ощущений, абсолютно несовместимых с нервной системой и органами восприятия человека, а пространственно-временные элементы этих ощущений попросту не имели конкретного, четко определяемого содержания. Человеческая речь в лучшем случае способна передать лишь общий характер того, что с нами происходило, назвав это погружением или полетом, ибо какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и сиюминутного, воспаряя над ужасными темными безднами и преодолевая незримые, но воспринимаемые преграды — нечто вроде густых вязких облаков. Эти бестелесные полеты сквозь тьму совершались нами иногда поодиночке, а иногда совместно. В последних случаях мой друг неизменно опережал меня, и я догадывался о его присутствии только по возникающим в памяти образам, когда мне вдруг являлось его лицо в ореоле странного золотого сияния: пугающе прекрасное и юношески свежее, с лучистыми глазами и высоким олимпийским лбом, оттененное черными волосами и бородой без признаков седины.

Мы в ту пору совсем не следили за временем, которое представилось нам просто иллюзией, и далеко не сразу отметили одну особенность, так или иначе с этим связанную, а именно: мы перестали стареть. Амбиции наши были воистину чудовищны и нечестивы — ни боги, ни демоны не решились бы на открытия и завоевания, которые мы планировали. Меня пробирает дрожь при одном лишь воспоминании об этом, и я не рискну передать в деталях

суть наших тогдашних планов. Скажу лишь, что однажды мой друг написал на листе бумаги желание, которое он не отважился произнести вслух, а я по прочтении написанного немедленно сжег этот листок и опасно оглянулся на звездное небо за окном. Я могу позволить себе лишь намек: его замысел предполагал ни много ни мало установление власти над всей видимой частью вселенной и за ее пределами, возможность управлять движением планет и звезд, а также судьбами всех живых существ. Лично я, могу поклясться, не разделял этих его устремлений, а если мой друг в каком-либо разговоре или письме утверждал обратное, это неправда. Мне никогда не хватило бы сил и смелости, чтобы затеять настоящую битву в таинственных сферах, а без такой битвы нельзя было рассчитывать на конечный успех.

В одну из ночей ветры неведомых пространств унесли нас в бескрайнюю пустоту за пределами бытия и мысли. Нас переполняли самые фантастические, непередаваемые ощущения, тогда вызывавшие эйфорию, а ныне почти изгладившиеся из моей памяти; да и те воспоминания, что сохранились, я все равно не смогу передать словами. Мы преодолели множество вязких преград и наконец достигли самых удаленных областей, до той поры нам недоступных. Мой друг, по своему обыкновению, вырвался далеко вперед, и, когда мы неслись сквозь жуткий океан первозданного эфира, в моей памяти возникло его слишком юное лицо, на сей раз искаженное гримасой какого-то зловещего ликования. Внезапно этот образ потускнел и исчез, а еще через миг я наткнулся на непреодолимое препятствие. Оно напоминало те, что попадались нам прежде, но было гораздо плотнее — какая-то липкая тягучая масса, если только подобные определения применимы к нематериальным объектам.

Итак, я был остановлен барьером, который мой друг и наставник успешно преодолел. Я хотел было предпринять новую попытку, но тут закончилось действие наркотика, и я открыл глаза у себя в мастерской. В углу напротив лежал мой друг, мраморно-бледный и бесчувственный; его осунувшееся лицо показалось мне особенно прекрасным в золотисто-зеленом свете луны. Спустя недолгое время тело в углу шевельнулось — и не дай мне бог еще раз когда-нибудь слышать и увидеть то, что за этим последовало! Мне не под силу описать его истощенный вопль и адские видения, отразившиеся в его

глазах. Я лишился чувств и пришел в себя оттого, что мой друг отчаянно тряс меня за плечо, боясь остаться наедине со своими кошмарами.

На том и закончились наши добровольные странствия в мире снов. Глубоко потрясенный и чуть не до смерти напуганный, мой друг, побывавший за последней чертой, предостерег меня от новых подобных попыток. Он так и не решился рассказать мне, что он там видел, но, основываясь на своем страшном опыте, настоял, чтобы мы впредь как можно меньше спали, даже если ради этого придется использовать сильнодействующие стимуляторы. Вскоре я убедился в его правоте: стоило мне задремать, как меня охватывал невыразимый ужас. И всякий раз после краткого вынужденного сна я ощущал себя разбитым и постаревшим; что же касается моего друга, то его процесс старения шел с потрясающей быстротой. Тяжко было наблюдать, как у него ежедневно появляются все новые морщины и седые волосы. Наш образ жизни теперь совершенно переменялся. Прежде бывший затворником, мой друг — кстати, так ни разу и не обмолвившийся о своем настоящем имени и происхождении — теперь панически боялся одиночества. По ночам он не мог оставаться один, да и компании из нескольких человек ему было недостаточно, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Единственным его утешением стали шумные многолюдные сборища и буйные пирушки, так что мы сделались завсегдатаями мест, где обычно гуляла веселая молодежь. В большинстве случаев наши внешность и возраст вызывали насмешки, больно меня задевавшие, но мой спутник считал их меньшим злом по сравнению с одиночеством. Более всего он страшился остаться один среди ночи под звездным небом, а если ему все же случалось ночной порой очутиться вне дома, то и дело затравленно взглядывал вверх, словно ожидая нападения оттуда каких-то чудовищ. При этом я заметил, что в разные времена года его внимание приковывают разные точки на небосводе. Весенними вечерами такая точка находилась низко над северо-восточным горизонтом, летом он высматривал ее почти прямо над головой, осенью — на северо-западе, а зимой — на востоке, правда лишь ранним утром. Вечера в середине зимы были для него самым спокойным периодом. Прошло два года, прежде чем я догадался связать его страх с конкретным объектом и стал искать на небосводе точку, чья позиция менялась бы на протяжении года в

соответствии с направлением его взглядов, — и таковая обнаружилась в районе созвездия Северная Корона.

К тому времени мы уже перебрались в Лондон, где снимали комнату под мастерскую и были по-прежнему неразлучны, но избегали говорить о тех днях, когда мы пытались разгадать тайны миров, находящихся за пределами нашей реальности. Мы оба сильно постарели и подорвали свое здоровье в результате злоупотребления наркотиками, беспорядочного образа жизни и нервного истощения; редющие волосы и борода моего друга сделались снежно-белыми. Мы приучили себя не спать более одного-двух часов подряд, дабы не оставаться надолго во власти забвения, представлявшего для нас смертельную угрозу.

И вот наступил туманный и дождливый январь, когда наши сбережения подошли к концу и не на что было купить стимулирующие препараты. Я давно уже распродал все свои мраморные бюсты и миниатюры из слоновой кости, а для изготовления новых у меня не было исходных материалов — как, впрочем, не было и сил работать, даже имейся у меня материал. Мы оба ужасно страдали, а однажды ночью мой друг прилег на кушетку и, не выдержав, забылся сном, настолько тяжелым и глубоким, что мне никак не удавалось его пробудить. Я отчетливо помню эту сцену: запущенная мрачная комната под самой крышей, по которой беспрестанно барабанит дождь; тикают единственные настенные часы, что сопровождается неслышным, но воображаемым таканьем наших наручных часов, лежащих на туалетном столике; поскрипывает незакрытый ставень на одном из нижних этажей; смутно слышатся звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; и самое жуткое среди всего этого — глубокое мерное дыхание моего друга, как будто отсчитывающее секунды агонии его духа, унесенного в далекие запретные сферы.

Мое напряженное бдение становилось все более гнетущим; череда мимолетных впечатлений и ассоциаций стремительно проносилась в моем расстроенном воображении. Откуда-то донесся бой часов — не наших настенных, поскольку они были без боя, — и это дало новое направление моим мрачным фантазиям: часы — время — пространство — бесконечность... Тут я вернулся к реальности, вдруг очень явственно представив себе, как где-то за скатом крыши, за

дождем и туманом над северо-восточным горизонтом именно сейчас восходит Северная Корона. Это сияющее звездное полукольцо, наводившее такой ужас на моего друга, пусть сейчас и незримое, тянуло к нам свои лучи через космическую бездну. Внезапно мой обострившийся слух уловил новый звук в уже привычной какофонии шумов — это был низкий несмолкающий вой, жалобный, издевательский и зовущий одновременно, и доносился он издалека, с *северо-востока*.

Но не этот отдаленный вой приковал меня к месту и оставил в моей душе печать страха, от которой мне не избавиться вовеки; не он стал причиной моих последующих воплей и конвульсий, которые побудили соседей вызвать полицию и взломать дверь мастерской. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел: в темной комнате с запертой дверью и плотно зашторенным окном вдруг из северо-восточного угла вырвался зловещий золотисто-красный луч, который не рассеивал окружающую тьму, а только высветил откинутую на подушку голову спящего. И в этом свете я увидел то же самое юное лицо, какое являлось мне во время сновидческих полетов сквозь пространство и время, когда мой друг раньше меня преодолевал все преграды, пока не проник за последний барьер, в самое средоточие ночных кошмаров.

Между тем голова его приподнялась с подушки, глубоко запавшие черные глаза раскрылись в ужасе, а тонкие бескровные губы искривились словно в попытке издать крик, который, однако, так и не прозвучал. И в этом мертвенно-бледном, высвеченном из тьмы и застывшем как маска лице отразился предельный, абсолютный ужас, какой только может существовать во вселенной. Мы оба не издали ни звука, а между тем далекий вой все нарастал. Когда же я проследил за направлением его взгляда и на мгновение увидел источник зловещего луча, этого мгновения оказалось достаточно: я тотчас издал пронзительный вопль и забился в припадке, как эпилептик, переполошив соседей и побудив их вызвать полицию. При всем желании я не смог бы описать, что именно мне довелось увидеть в тот момент; а что бы ни увидел мой бедный друг, он уже никогда не расскажет. Мне же впредь не остается ничего иного, как по возможности дольше не поддаваться властителю снов — коварному и

ненасытному Гипносу, а также губительным силам звездного неба и безумным амбициям познания и философии.

До сих пор подробности этой истории являются загадкой не только для меня, но и для всех окружающих, поголовно ставших жертвами непонятной забывчивости, если только не группового помешательства. С какой-то стати они в один голос утверждают, что у меня никогда не было никакого друга и что вся моя злосчастная жизнь была без остатка заполнена искусством, философией и безумными фантазиями. В ту ночь соседи и полицейские попытались меня утихомирить, а затем вызвали врача, давшего мне успокоительное, но при этом все они дружно проигнорировали иные последствия разыгравшейся там трагедии. Их, в частности, нисколько не озаботила участь моего несчастного друга; совсем напротив — то, что они обнаружили на кушетке, вызвало с их стороны бурю восторгов и похвал в мой адрес, отчего меня едва не стошнило. За восторгами последовала и громкая слава, ныне с презрением отвергаемая мной: лысым седобородым стариком, жалким, разбитым, усохшим и вечно одурманенным наркотиками, — когда я часами сижу, любясь и вознося молитвы предмету, найденному тогда в мастерской.

Ибо они утверждают, что я не продал самое последнее из своих творений, и без устали восторгаются им — холодным, окаменевшим и навсегда умолкшим после прикосновения запредельного света. Это все, что осталось от моего друга и наставника, приведшего меня к безумию и катастрофе, — божественный мраморный образ, достойный резца лучших мастеров древней Эллады; неподвластное времени прекраснейшее юное лицо в обрамлении бородки, с приоткрытыми в улыбке губами, высоким чистым лбом и густыми вьющимися кудрями, покрытыми венком из полевых маков. Говорят, это я изваял по памяти самого себя, каким я был в двадцать пять лет, однако на мраморном основании бюста начертано лишь одно имя — ГИПНОС.

Густав Майринк

(1868–1932)

Магия в глубоком сне

Пер. с нем. В. Крюкова

Мы, люди, — создания на редкость нелюбознательные, оставляющие без внимания то великое множество маленьких, повседневных чудес, с которыми сталкиваемся чуть ли не на каждом шагу, считая их недостойными серьезного и обстоятельного изучения. Взять хотя бы сон... Все живые существа спят, в том числе и растения, только у каждого из них своя «ночь». Мне кажется, камни тоже спят — не станем же мы утверждать обратное только потому, что они при этом не храпят...

Едва успев родиться, мы привыкаем к регулярному чередованию сна и бодрствования и перестаем воспринимав попеременное пребывание в двух столь различных состояниях как нечто в высшей степени странное и удивительное, а впоследствии ледяные мурашки ужаса не пробегают у нас по спине даже тогда, когда ловим себя на том, что частенько среди бела дня без всякой видимой причины на несколько минут выпадаем из обыденной действительности и, погружаясь в омут сна, оставляем наше дневное сознание на поверхности, однако стоит только вынырнуть, и оно уже тут как тут, подобно верному псу, поджидает, скуля от радости, на опостылевшем до невыносимости «берегу». О, как недопустимо редко задаемся мы справедливым вопросом: а что, собственно, происходит с нами там, в той жутковато-темной бездне, которая зовется сном?!

Ну а если кому-нибудь из нас взбредет все же в голову более или менее внимательно отнестись к этой проблеме и, убедившись, что сходу она не решается, обратиться за помощью к друзьям или близким, то нетрудно предугадать, каким взглядом одарят «чудака» его здравомыслящие сородичи, — ведь приставать к серьезным людям с подобными «глупостями» просто верх неприличия! Так что пристыженному бедолаге, коль скоро ему втемяшилось раз и навсегда

уяснить для себя сей «проклятый вопрос», не останется ничего другого, как направиться за консультацией к врачу! Хотя, думается мне, с тем же успехом он мог бы обратиться к адвокату. Тот, кто эту и подобные ей проблемы не пытается исследовать сам, никогда не получит ответа — в лучшем случае пополнит со временем свой вокабуляр десятком-другим греческих словечек, ибо и психология, и физиология обязаны своей пресловутой премудростью исключительно священному языку Элевсинских мистерий.

Умудренный опытом «специалист» лишь усмехнется наивности явившегося к нему дилетанта, встанет в позу и примется долго и высокопарно вещать о материях столь зыбких и туманных, что, скорее всего, посеет в сумбурных мыслях своего приунывшего слушателя еще больший хаос; суть же сих пространных речений сводится к одной-единственной аксиоме: в недостижимых глубинах сна сокрыты истинные первопричины всех наших деяний, совершенных в состоянии бодрствования!.. Разумеется, человек начитанный может возразить: если бы это было так, то люди, страдающие бессонницей — а известны случаи, когда некоторые больные не спали в течение года! — были бы обречены на полную бездеятельность и не могли бы и пальцем шевельнуть...

Впрочем, этот довод лишь на первый взгляд кажется столь неопровержимым, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы самому понять его несостоятельность. Действительно, согласиться с ним можно только в том случае, если будет неоспоримо доказан факт существования никогда в своей жизни не спавшего человека, и тогда уже с чистой совестью разделить общепринятую точку зрения, согласно которой сон — это отдых, и ничего больше! Однако существуют многочисленные свидетельства — и они с течением времени только множатся, подтверждаясь все новыми фактами, — со всей очевидностью доказывающие, что при известных обстоятельствах в глубоком сне можно достигнуть большего, чем в «сознательном состоянии».

Приведу достаточно широко известный пример: некий студент — если не ошибаюсь, впоследствии он стал знаменитым ученым, — целый день понапрасну промучившись над одним мудреным уравнением, усталый и недовольный собой, лег спать, а среди ночи вдруг проснулся и, подойдя в полусне к столу, наспех набросал

безукоризненно верное решение упорно не желавшей даваться задачи, при этом он прибегнул к такому чрезвычайно сложному математическому аппарату, которым не мог воспользоваться днем по той простой причине, что не знал его. Увидев утром лежащий на столе листок с решенным уравнением, изумленный студент вначале подумал, что это сделал кто-то другой, однако, присмотревшись внимательнее, узнал собственный почерк и только тогда вспомнил про ночное откровение, как он, не отдавая себе отчета в своих действиях, схватил в полусне карандаш и быстро, словно под диктовку, записал явившееся ему решение...

Думаю, расхожее мнение о том, что функция сна сводится лишь к устранению телесной усталости, в корне ошибочно. Как мне неоднократно приходилось убеждаться, сомнамбулы, выходя из транса даже после многочасовых, в высшей степени утомительных ночных хождений по крышам, чувствуют себя не менее свежо и бодро — я бы даже сказал, еще более бодро! — чем обычные, не подверженные никаким аномальным эксцессам люди, мирно почивавшие всю ночь в постелях.

Древней мистической истине: «Когда наше тело глаза закрывает, наш дух их открывает», вторит известная народная пословица: «Утро вечера мудренее», — подобных сентенций, присказок и поговорок множество, и все они только подтверждают темное предчувствие, еще в ранней юности закравшееся мне в душу: должны существовать тайные источники магических знаний и сил, которые столь надежно сокрыты от нашего дневного сознания, что, если мы хотим приблизиться к ним, нам придется побороть свой страх и погрузиться в непроглядные глубины сна.

Там, на дне, покоится центр бытия — незыблемый полюс вселенной, та искомая Архимедом точка опоры, установив на которую свой легендарный рычаг великий философ собирался перевернуть земной шар. Однако достигнуть эти сокровенные источники чрезвычайно сложно — поистине, нет задачи труднее на пути самосовершенствования. Здесь необходимы определенные вспомогательные средства — специальные медитативные приемы... Скажу только, что из десяти предпринятых мной попыток восемь закончились полным крахом.

О тех двух случаях, когда эксперимент удался, я и хочу здесь рассказать...

Однажды вечером — было это в 1895 году в Праге — я улегся в постель с твердым намерением явиться (или перенестись) во сне в квартиру моего приятеля, художника Артура фон Римея, в жилище которого мне наяву бывать не приходилось, несмотря на то что мы тогда много общались, ибо он, как и я, страстно стремился к постижению метафизических проблем. Итак, я намеревался «в духе» проникнуть в незнакомый мне дом, дав о себе знать каким-нибудь характерным стуком.

С этой целью — точнее говоря, чтобы облегчить себе самовнушение, — я положил поверх одеяла мою прогулочную трость и, не выпуская ее из рук, попытался уснуть. У меня был кое-какой опыт в таких вещах, и я знал, что сосредоточиться на одной мысли и достаточно долго удерживать ее в сознании можно только в том случае, если замедлить ритм сердечных сокращений. Это довольно просто достигается с помощью особой дыхательной техники и медитации...

Внезапно, по всей видимости помог «случай», мне удалось уснуть. Я погрузился в короткий, глубокий и начисто лишенный каких-либо сновидений сон, больше похожий на обморок. Помню только, как мной овладел какой-то безумный ужас, который и разбудил меня... Все мое тело было покрыто холодным потом, а сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Задыхаясь, я судорожно хватал ртом воздух и, наверное, впрямь походил на только что выловленную из воды рыбу, однако при этом меня ни на миг не оставляла какая-то необъяснимая, казалось бы, ни на чем не основанная и тем не менее абсолютно незыблемая внутренняя уверенность, что попытка удалась.

Взглянув на лежавший у постели хронометр — было без пяти час, — я отметил, что мой сон продолжался не более десяти минут, и потом до самого утра старался собрать хоть какие-нибудь обрывки воспоминаний, которые помогли бы мне понять, каким образом осуществлялось это таинственное перемещение в пространстве, — напрасный труд, все тонуло в непроницаемой тьме. «Ну что же, хоть и

не знаю как, а своей цели я, похоже, достиг!» — сказал я себе и, сгорая от нетерпения, не мог дожидаться рассвета...

Около десяти утра я уже был у Артура фон Римея. И тут моя уверенность в успешном исходе эксперимента подверглась серьезному испытанию — я-то надеялся, что художник тут же бросится меня поздравить с фантастическим успехом и забросает любопытными вопросами, а он с рассеянным видом болтал о чем угодно, только не о странном ночном происшествии.

Выждав некоторое время, я с дрожью в голосе спросил:

— Тебе сегодня ночью ничего необычного не снилось?..

— Так это был ты?! — воскликнул Артур.

Я попросил приятеля подробно описать мне все случившееся этой ночью и не произнес ни слова, пока не дослушал его рассказ до конца.

Итак, вот что он поведал:

— Около часа ночи — (время в точности совпадало с показаниями моего хронометра!) — я внезапно проснулся, разбуженный громкими ударами, с правильными интервалами раздававшимися в соседней комнате, — такое впечатление, будто кто-то со всего размаху методично бил тяжелым цепом по столу. Шум становился все сильнее, и я, откинув одеяло, бросился в соседнюю комнату. Затебив дрожащей рукой свечи, я осмотрел помещение, однако никого не обнаружил, а вот таинственные звуки явно приобрели другую тональность — они были по-прежнему очень громкими, но доносились как будто издалека, подобно приглушенному эху. Источником их был большой, стоявший в центре стол. Все вещи находились на своих местах, и ничего необычного мне обнаружить не удалось. Через несколько минут в комнату ворвались моя не на шутку встревоженная матушка и бледная от ужаса старая экономка. Разбуженные страшным грохотом, они уж думали, что в доме орудует банда взломщиков. Мало-помалу сотрясавшие дом удары становились все тише и тише, пока наконец не прекратились вовсе. В недоумении качая головами, мы разошлись по своим спальням...

Таков был рассказ моего приятеля Артура фон Римея; он сейчас живет в Вене и в случае надобности может подтвердить, что все, мной здесь написанное, полностью соответствует истине.

— Почему же ты мне все это сразу не рассказал, не дожидаясь моих вопросов? Ведь как бы ни были они сумбурны и невняты, а тем

не менее только после них ты вдруг вспомнил про таинственный ночной инцидент! Согласись, все это в высшей степени странно! — удивленно воскликнул я.

— В самом деле странно, — неуверенно согласился не менее моего озадаченный художник. — И как только такое необычное, из ряда вон выходящее происшествие могло выскочить у меня из головы?! Должно быть, то исключительное впечатление, которое произвело на меня случившееся, было слишком сильным, и тогда сработали какие-то неведомые защитные механизмы психики, успевшие за время моего последующего сна сокрыть это тягостное воспоминание в укромный уголок памяти, так что я мог бы почти с уверенностью сказать, что события минувшей ночи мне просто приснились — столь далеким и каким-то нереальным представлялся мне, когда я проснулся, этот ночной переполох, — если бы за пару часов до твоего прихода не обсуждал их за завтраком с матушкой. Скажи, неужто ты и вправду покинул свою телесную оболочку и, собственным призрачным двойником перенесся в мою комнату, дал о себе знать этими потусторонними стуками, повторяющимися с правильными интервалами?

В качестве доказательства я молча протянул ему лист бумаги с кратким описанием всего того, что было предпринято мной сегодняшней ночью.

И все же самым удивительным в этой истории мне показался не столько сам граничащий с чудом эксперимент, сколько таинственное, сопутствующее ему нечто, явно стремящееся замести следы противоестественной акции, — это оно принудило память моего приятеля дать необъяснимый сбой и проявить поистине парадоксальную избирательную способность, сохранив ничем не примечательную рутину повседневности и едва не уничтожив то экстраординарное событие, которое уже хотя бы в силу своей из ряда вон выходящей странности должно было бы навеки в ней запечатлеться! Впоследствии на спиритических сеансах я не раз имел возможность убедиться, что на подобные граничащие с психологическим шоком паранормальные феномены человеческая память всегда реагирует парадоксально и либо поразительно точно и надежно фиксирует случившееся, либо старается как можно быстрее избавиться от неприятного впечатления.

Несколько лет спустя, проведя после тяжелой болезни пару месяцев в санатории Ламанна, близ Дрездена, я возвращался поездом в Прагу. Проезжая Пирну, я вдруг, к своему немалому ужасу, вспомнил, что забыл написать в письме своей невесте — моей теперешней жене — нечто чрезвычайно важное для нас обоих, кроме того, это злосчастное послание я отправил на ее домашний адрес, а не *post restante*^[9], как мы договаривались. Оба эти непростительных промаха могли иметь для нас самые печальные последствия!

Послать телеграмму по очень многим причинам было невозможно. Холодный пот выступил у меня на лбу: выхода из критической ситуации не было! И тут мне вдруг вспомнились мои медиумические эксперименты с Артуром фон Римеом... А что, если... Ведь то, что удалось тогда, могло получиться и в этот раз! Нет, сейчас телепатическая связь просто обязана сработать, ибо на карту поставлено все! Да, но тогда была ночь... Ну что же, выбора у меня нет! И я твердо вознамерился явиться своей невесте среди бела дня! Но как? В зеркале, осенило вдруг меня. Да-да, именно так, предстану перед ней в зеркале с предостерегающе поднятой рукой, внушая на расстоянии, что необходимо сделать то-то и то-то!..

Я облек свои инструкции в четкие, лаконичные фразы и, закрыв глаза, до тех пор «выжигал» их буква за буквой в сознании, пока они накрепко не запечатлелись там огненными письменами.

Теперь нужно как можно быстрее заснуть и транслировать своего призрачного двойника в Прагу! Превратить сердце в передатчик, максимально замедлив ритм его ударов, и внутренне абстрагироваться от окружающего — вот ключ, без которого невозможно успешное наведение магнетической связи! Легко сказать! Ну глаза-то ладно, по крайней мере их можно закрыть, но как быть со слухом, когда слева и справа от меня сидят ни на миг не прекращающие чесать языком кумушки?!

Я буквально взмолился, заклиная свой мозг: ну сделай же меня глухим, старый дружище!.. Однако тот, казалось, сам вдруг оглох. В конце концов моим мольбам вяло сердце, и вновь, как когда-то, я внезапно провалился в глубокий сон...

Уже через несколько минут меня, как пробку, вытолкнуло из непроницаемо темной бездны на поверхность. На сей раз мой пульс был неправдоподобно редким — я насчитал не больше сорока ударов в

минуту! И вновь это ни с чем не сравнимое чувство победы, преисполнившее меня таким великим умиротворением и таким восторгом, каких мне в своей жизни почти не приходилось испытывать! Чтобы испытать истинность и жизнестойкость этой переполнявшей меня уверенности в удачном исходе эксперимента, я попробовал посеять в своей душе зерна сомнения — напрасный труд, ничего, кроме ликующего смеха, сотрясшего мое тело, эта попытка не вызвала, а жалобный писк малодушного недоверия был немедленно сметен и заглушен громоподобным прибоем победно бушующей крови, эхом отозвавшимся в моих барабанных перепонках...

Прибыв в Прагу, я устремился к своей невесте. Какова же была моя радость, когда я узнал, что мое мысленное послание нашло своего адресата!

Вот что рассказала мне счастливая девушка:

— Днем, примерно через полчаса после обеда, на меня напала какая-то беспричинная усталость, и я прилегла на диван. Однако только-только задремала, как вдруг почувствовала, что меня кто-то трясет, и проснулась. Мой взгляд упал на...

— На зеркало! — нетерпеливо воскликнул я.

— Как бы не так! — засмеялась рассказчица. — У меня в комнате нет зеркала. Мой взгляд упал на полированный шкаф — тот, что стоит рядом с софой. В полированном глянце его поверхности я увидела твою маленькую, в две пяди ростом фигурку: облаченный в какую-то светлую мантию, ты предостерегающе воздымал свою правую руку. Спустя несколько мгновений видение исчезло...

Из дальнейшего разговора явствовало, что моя будущая жена исполнила все, что я ей мысленно наказывал, только намного лучше и аккуратнее, чем это мне представлялось в самых смелых мечтах. А то, что этой молоденькой и неопытной девушке надлежало сделать, было делом совсем не простым, и ей самой никогда бы и в голову не пришло браться за него, ибо, не располагая некоторыми чрезвычайно важными сведениями — а она ими не располагала! — нечего было и думать приступать к этой сложной и в высшей степени деликатной задаче.

— На меня словно откровение сошло, — призналась она, задумчиво глядя в окно.

Средневековому магу Агриппе Неттесгеймскому принадлежит следующее изречение: «Nos habitat non tartara sed nec sidera coeli: spiritus in nobis qui viget, illa facit». По-немецки это звучит примерно так: «Обитель наша ни на небе, ни в преисподней: в нас самих сокрыт тот дух, коим все движется».

Это исполненное предвечной мудрости изречение стало эпитафией всей моей жизни — путеводной звездой моего «полярного» странствования...

1928

Избегая неизбежного

Натаниель Готорн

(1804–1864)

Пророческие портреты^[10]

Пер. с англ. И. Разумовской и С. Самостреловой

— Удивительный художник! — с воодушевлением воскликнул Уолтер Ладлоу. — Он достиг необычайных успехов не только в живописи, но обладает обширными познаниями и во всех других искусствах и науках. Он говорит по-древнееврейски с доктором Мэзером и дает уроки анатомии доктору Бойлстону. Словом, он чувствует себя на равной ноге даже с самыми образованными людьми нашего круга. Более того, это светский человек с изысканными манерами, гражданин мира — да-да, истинный космополит: о любой из стран, о любом уголке земного шара он способен рассказывать так, словно он там родился; это не относится, правда, к нашим лесам, но туда он как раз собирается. Однако и это еще не все, что восхищает меня в нем!

— Да что вы! — отозвалась Элинор, которая с чисто женским любопытством слушала рассказ о таком необыкновенном человеке. — Уж и этого, казалось бы, достаточно!

— Разумеется, — ответил ее возлюбленный, — но гораздо удивительнее его природный дар настраиваться на любой тип характера, так что мужчины, да и женщины, Элинор, разговаривая с этим необыкновенным художником, видят себя в нем как в зеркале. Однако я все еще не сказал о самом главном!

— Ну, если он обладает другими такими же редкостными свойствами, — засмеялась Элинор, — то, боюсь, Бостон для него опасен. Да послушайте, о ком вы мне рассказываете, о живописце или о волшебнике?

— По правде сказать, этот вопрос заслуживает более серьезного внимания, чем вам кажется, — ответил Уолтер. — Говорят, этот художник изображает не только черты лица, но и душу и сердце человека. Он подмечает затаенные страсти и чувства, и холсты его озаряются то солнечным сиянием, то отблесками адского пламени,

если он рисует людей с запятнанной совестью. Это страшный дар, — добавил Уолтер, и в его голосе уже не слышалось прежнего восхищения, — я даже побаиваюсь заказывать ему портрет.

— Неужели вы говорите серьезно, Уолтер? — воскликнула Элинора.

— Ради всего святого, дорогая, когда будете позировать ему, не глядите так, как вы смотрите сейчас на меня, — с улыбкой, но несколько озабоченно заметил ее возлюбленный. — Ну вот, ваш взгляд изменился, а минуту назад вы показались мне смертельно испуганной и в то же время опечаленной. О чем вы подумали?

— Да ни о чем! — поспешила заверить его Элинора. — У вас просто разыгралось воображение. Ну что ж, приезжайте завтра ко мне, и мы поедем к этому удивительному художнику.

Следует, однако, заметить, что, когда молодой человек удалился, на прелестном лице его юной возлюбленной снова возникло то же загадочное выражение. Она казалась встревоженной и грустной, что явно не подобало девушке накануне свадьбы, а ведь Уолтер Ладлоу был избранником ее сердца!

— Взгляд! — прошептала она. — Стоит ли удивляться, что он поразился моему взгляду, если в нем выразились предчувствия, которые временами одолевают меня. Я по собственному опыту знаю, каким страшным может быть взгляд. Однако все это плод воображения. В ту минуту я ни о чем таком не думала и вообще давно не вспоминала об этом. Просто мне все это приснилось.

И она принялась вышивать воротник, в котором собиралась позировать для своего портрета.

Художник, о котором они говорили, не принадлежал к числу американских живописцев, тех, что в более поздние времена обратились к краскам, заимствованным у индейцев, и стали изготавливать кисти из меха диких зверей. Возможно, если бы он был властен начать жизнь сызнова и распоряжаться своей судьбой, то решил бы примкнуть к этой школе, не имеющей главы, в надежде стать хотя бы оригинальным, ибо тут не требовалось ни копировать старые образцы, ни подчиняться каким-либо правилам. Но он родился и получил образование в Европе. Про него рассказывали, что, постигая красоту и величие замыслов, изучая совершенство мазка знаменитых художников, он осмотрел все музеи, все картинные

галереи, стенную роспись всех церквей, и в конце концов ничто уже не могло дать пищу его пытливому уму. Искусству нечего было добавить к его познаниям, и он обратился к Природе. Поэтому он отправился в край, где до него еще не ступала нога его собратьев по профессии, и наслаждался созерцанием зрелищ, возвышенных и живописных, но ни разу не запечатленных на полотне. Америка была слишком бедна, чтобы соблазнить чем-либо иным этого видного художника, хотя многие представители местной знати, заслышав о его приезде, выражали желание с помощью его искусства увековечить свои черты для потомства. Когда к нему обращались с подобной просьбой, он устремлял на посетителя пристальный взгляд, который, казалось, пронизывал человека насквозь. Если он видел перед собой приятное, но ничем не примечательное лицо, то пусть даже клиент этот был одет в расшитый золотом кафтан, который украсил бы картину, и располагал золотыми гинеями, чтобы заплатить за портрет, — художник вежливо отклонял заказ и связанное с ним вознаграждение; но если ему попадалось лицо, говорящее о своеобразии душевного склада, о смелости ума или о богатстве жизненного опыта, если на улице он видел нищего с седой бородой и со лбом, изборожденным морщинами, или если ему удавалось поймать взгляд и улыбку ребенка, он вкладывал в их портреты все мастерство, в котором отказывал богачам.

Искусство живописи было редкостью в колониях, и потому художник возбуждал всеобщее любопытство. Хотя лишь немногие могли — или, скорее даже, никто не мог — оценить техническое совершенство его работ, все же в некоторых отношениях мнение толпы интересовало его не меньше, чем указания тонких знатоков. Он следил за впечатлением, которое его картины производили на неискушенных зрителей, и старался извлечь пользу из их замечаний, между тем как говорившим, пожалуй, скорее пришло бы в голову поучать саму Природу, чем художника, который, казалось, с ней соперничал. Следует, однако, признать, что их восхищение несколько умерялось предрассудками, свойственными этой стране и эпохе. Одни считали, что столь правдивое изображение созданий Божьих нарушает заповеди Моисея и является самонадеянным подражанием Творцу. Другие, испытывая трепет перед искусством, способным вызывать к жизни призраки и запечатлеть для живых черты

умерших, были склонны принимать художника за колдуна, а быть может, и за Черного человека, известного со времен охоты за ведьмами, творящего свои чары в новом обличье. Толпа почти всерьез принимала эти нелепые слухи. Даже в светских кругах к художнику относились с некоторым страхом, что было отчасти отзвуком суеверных подозрений черни, но в основном вызывалось его обширными познаниями и многообразными талантами, помогавшими ему в его искусстве.

Собираясь соединиться узами брака, Уолтер Ладлоу и Элинор хотели поскорее обзавестись своими портретами, которым, как они, без сомнения, надеялись, предстояло положить начало целой фамильной галерее. Поэтому на другой день после описанного выше разговора они отправились к художнику. Слуга провел их в комнату, в которой хозяина не оказалось, но зато они увидели целое скопление лиц и с трудом удержались, чтобы почтительно не раскланяться с ними. Они понимали, что это картины, но не могли поверить, что при таком разительном сходстве с оригиналами портреты совсем лишены жизни и разума. Кое-кто из людей, изображенных на картинах, принадлежал к числу их знакомых, другие были известны им как выдающиеся деятели того времени. Среди них находился губернатор Бернет, и казалось, будто он только что усмотрел крамолу в действиях палаты представителей и обдумывает, как бы резче ее осудить. Рядом с правителем висел портрет мистера Кука, человека, возглавлявшего оппозицию. В нем чувствовались воля и несколько пуританский склад, как и подобает народному вождю. Пожилая супруга сэра Уильяма Фиппса, в воротнике с рюшем и фижмах, взирала на них со стены — высокомерная старуха, вид которой наводил на мысль, что она не чужда колдовству. Джон Уинслоу, тогда еще очень молодой человек, выглядел на портрете исполненным той боевой решимости, которая много лет спустя помогла ему стать выдающимся полководцем. Своих друзей Уолтер и Элинор узнавали с первого взгляда. На большинстве портретов все свойства ума и сердца их оригиналов были выражены в лицах и сконцентрированы во взглядах с такой силой, что, если говорить парадоксами, живые люди меньше походили на самих себя, чем написанные с них портреты.

Среди этих современных знаменитостей висели изображения двух бородатых святых, едва различимых на потемневших холстах. Была

тут и бледная, но не поблекшая Мадонна, верно, некогда почитавшаяся в Риме, которая теперь с такой добротой и святостью смотрела на влюбленных, что им, словно католикам, захотелось помолиться.

— Как странно подумать, — заметил Уолтер Ладлоу, — что это прекрасное лицо остается прекрасным более двухсот лет. Вот если бы земная красота могла сохраняться так же долго! Вы не завидуете ей, Элинор?

— Будь на земле рай, может, и позавидовала бы, — ответила она, — но там, где все обречено на увядание, как мучительно было бы сознавать, что ты одна не можешь постареть.

— Этот потемневший святой Петр хмурится свирепо и грозно, хоть он и святой, — продолжал Уолтер, — мне не по себе от его взгляда, а вот Мадонна смотрит на нас ласково.

— Да, но, по-моему, очень печально, — отозвалась Элинор.

Под этими тремя старинными картинами стоял мольберт с только что начатым холстом. И, по мере того как они всматриваются в едва намеченные черты, изображение, проступая как бы сквозь дымку, приобретало живость и ясность, и они узнали своего священника, преподобного доктора Колмана.

— Добрый старик! — воскликнула Элинор. — Он смотрит на меня так, будто собирается дать отеческое напутствие.

— А мне представляется, — подхватил Уолтер, — будто он вот-вот укоризненно покачает головой, словно подозревает меня в каком-то проступке. Впрочем, так же смотрит и оригинал. Знаете, пока он нас не поженит, я не смогу спокойно выдерживать его взгляд.

В этот момент они услышали чьи-то шаги и, оглянувшись, увидели художника, который вошел несколько минут назад и прислушивался к их разговору. Это был человек средних лет, с лицом, достойным его собственной кисти. Потому ли, что душой он всегда жил среди картин, или благодаря живописной небрежности своего яркого костюма, художник и сам походил на портрет. Это родство между ним и его работами бросилось в глаза посетителям, и им почудилось, будто одна из картин сошла с полотна, чтобы их приветствовать.

Уолтер Ладлоу, уже немного знакомый с художником, изложил ему цель их визита. Пока он говорил, косой луч солнца так удачно осветил влюбленных, что они казались живыми символами юности и красоты,

обласканными счастливой судьбой. Было очевидно, что они произвели впечатление на художника.

— Мой мольберт будет занят еще несколько дней, к тому же я не могу задерживаться в Бостоне, — произнес задумчиво художник, затем, внимательно поглядев на них, добавил: — Но вашу просьбу я все же удовлетворю, хотя для этого мне придется отказать верховному судье и мадам Оливер. Я не имею права терять такую возможность ради того, чтобы запечатлеть несколько метров черного сукна и парчи.

Он выразил желание написать одну большую картину, изобразив их вместе за каким-нибудь подходящим занятием. Влюбленные рады были бы принять это предложение, но им пришлось отклонить его, потому что комната, которую они собирались украсить своими портретами, не могла вместить полотно таких размеров. Наконец договорились о двух поясных портретах. Возвращаясь домой, Уолтер с улыбкой спросил Элинор, знает ли она, какое влияние на их судьбу может отныне приобрести художник.

— Старухи в Бостоне уверяют, — заметил он, — что, взявшись рисовать чье-нибудь лицо или фигуру, он может изобразить этого человека в любой ситуации, и картина окажется пророческой. Вы верите в это?

— Не совсем, — улыбнулась Элинор. — В нем чувствуется какая-то доброта, так что, если даже он и обладает этим чудесным даром, я уверена, он не употребит его во зло.

Художник решил писать оба портрета одновременно и, с характерной для него манерой загадочно выразиться, объяснил, что их лица освещают друг друга. Поэтому он накладывал мазки то на портрет Уолтера, то на портрет Элинор, и черты их стали вырисовываться так живо, словно сила искусства могла заставить их отделиться от холста. Взорам влюбленных открывались их собственные двойники, сотворенные из цветных пятен и глубоких теней. Но хотя сходство и обещало быть безупречным, молодых людей не совсем удовлетворяло выражение лиц, ибо оно казалось менее определенным, чем на других картинах художника. Однако сам художник не сомневался в успехе и, глубоко заинтересовавшись влюбленными, в свободное время делал с них карандашные наброски, хотя они и не подозревали об этом. Пока они позировали ему, он старался вовлечь их в разговор и вызвать на их лицах то характерное,

хотя и постоянно меняющееся выражение, которое он ставил себе целью уловить и запечатлеть. Наконец он объявил, что к следующему разу портреты будут готовы и он сможет их отдать.

— Только бы моя кисть осталась послушной моему замыслу, когда я буду наносить последние мазки, — сказал он, — тогда эти портреты окажутся лучшими из того, что я создал. Надо признаться, художнику нечасто выпадает счастье иметь такую натуру.

При этих словах он обратил на них пристальный взгляд и не сводил его до тех пор, пока они не спустились с лестницы.

Ничто не затрагивает так человеческое тщеславие, как возможность запечатлеть себя на портрете. Чем это объяснить? В зеркале, в блестящих металлических украшениях камина, в недвижной глади воды, в любых отражающих поверхностях мы постоянно видим собственные портреты, точнее говоря — призраки самих себя, и, взглянув на них, тотчас их забываем. Но забываем только потому, что они исчезают. Возможность увековечить себя, приобрести бессмертие на земле — вот что вселяет в нас загадочный интерес к собственному портрету. Это чувство не было чуждо и Уолтеру с Элинор, и потому точно в назначенный час они поспешили к художнику, горя желанием увидеть свои изображения, предназначенные для взора их потомков. Солнце ворвалось вместе с ними в мастерскую, но, закрыв дверь, они оказались в полумраке.

Взгляд их тотчас обратился к портретам, прислоненным к стене в дальнем конце комнаты. В неверном свете они различили сначала лишь хорошо знакомые им очертания и характерные позы, и оба вскрикнули от восторга.

— Посмотрите на нас! — восторженно воскликнул Уолтер. — Мы навеки освещены солнечными лучами! Никаким темным силам не удастся омрачить наши лица!

— Да, — ответила Элинор более сдержанно, — не коснутся их и печальные перемены.

С этими словами они направились к портретам, но все еще не успели их как следует разглядеть. Художник поздоровался с ними и склонился над столом, заканчивая набросок и предоставив посетителям самим судить о его работе. Время от времени его карандаш застывал в воздухе, и он из-под насупленных бровей поглядывал на лица влюбленных, обращенные к нему в профиль. А

они уже несколько минут, забыв обо всем, стояли перед портретами, и каждый безмолвно, но с необыкновенным вниманием изучал портрет другого. Наконец Уолтер шагнул ближе, снова отступил, чтобы разглядеть портрет Элинон с разных расстояний и при разном освещении, а потом заговорил.

— С портретом что-то произошло, — с недоумением, будто размышляя вслух, произнес он. — Да, чем больше я смотрю, тем больше убеждаюсь в перемене. Бесспорно, это та же самая картина, что и вчера, то же платье, те же черты, все то же — и, однако, что-то изменилось.

— Значит ли это, что портрет меньше похож на оригинал? — с нескрываемым интересом спросил художник, подойдя к нему.

— Нет, это точная копия лица Элинон, — ответил Уолтер, — и на первый взгляд кажется, что и выражение схвачено правильно, но я готов утверждать, что, пока я смотрел на портрет, в лице произошла какая-то перемена. Глаза обращены на меня со странной печалью и тревогой. Я бы сказал даже, что в них застыли скорбь и ужас. Разве это похоже на Элинон?

— А вы сравните нарисованное лицо с живым, — предложил художник.

Уолтер взглянул на свою возлюбленную и вздрогнул. Элинон неподвижно стояла перед картиной, словно зачарованная созерцанием портрета Уолтера, и на лице ее было то самое выражение, о котором он только что говорил. Если бы она часами репетировала перед зеркалом, ей и тогда не удалось бы передать это выражение лучше. Да если бы даже сам портрет стал зеркалом, он не смог бы более верно сказать печальную правду о выражении, возникшем в эту минуту на ее лице. Казалось, она не слышала слов, которыми обменялись художник и ее жених.

— Элинон! — в изумлении вскричал Уолтер. — Что с вами?

Но она не слышала его и все не сводила глаз с портрета, пока Уолтер не схватил ее за руку. Только тут она заметила его; вздрогнув, она перевела взгляд с картины на оригинал.

— Вам не кажется, что ваш портрет изменился? — спросила она.

— Мой? Нет, нисколько! — ответил Уолтер, присматриваясь к картине. — Хотя постоите, дайте взглянуть. Да-да, что-то изменилось, и пожалуй, к лучшему, но сходство осталось прежним. Выражение

стало более оживленным, чем вчера, словно блеск глаз отражает какую-то яркую мысль, которая вот-вот сорвется с губ. Да, теперь, когда я уловил взгляд, он кажется мне весьма решительным.

Пока он рассматривал портрет, Элинон обернулась к художнику. Она глядела на него печально и с тревогой — и читала в его глазах сочувствие и сострадание, о причинах которых могла только смутно догадываться.

— Это выражение... — прошептала она с трепетом. — Откуда оно?

— Сударыня, на этих портретах я изобразил то, что вижу, — грустно молвил художник и, взяв ее за руку, отвел в сторону. — Взгляд художника, истинного художника, должен проникать внутрь человека. В том-то и заключается его дар, предмет его величайшей гордости, но зачастую и весьма для него тягостный, что он умеет заглянуть в тайники души и, повинувшись какой-то необъяснимой силе, перенести на холст их мрак или сияние, запечатлевая в мгновенном выражении мысли и чувства долгих лет. Если бы я мог убедить себя, что на этот раз заблуждаюсь!

Они подошли к столу, где в беспорядке лежали наброски гипсовых голов, рук, не менее выразительных, чем некоторые лица; зарисовки часовен, увитых плющом; хижин, крытых соломой; старых, сраженных молнией деревьев; одеяний, свойственных далеким восточным странам или древним эпохам, и прочих плодов причудливой фантазии художника. Перебирая их с кажущейся небрежностью, он поднял один карандашный набросок, на котором были изображены две фигуры.

— Если я ошибаюсь, — продолжал он, — если вы не видите, что на вашем портрете отразилась ваша душа, если у вас нет тайной причины опасаться, что и второй портрет говорит правду, то еще не поздно все изменить. Я мог бы переделать и этот рисунок. Но разве это повлияет на события?

И он показал ей набросок. Дрожь пробежала по телу Элинон, она едва не вскрикнула, но сдержалась, привыкнув владеть собой, как все, кому часто приходится таить в душе подозрения и страх. Оглянувшись, она обнаружила, что Уолтер подошел к ним и мог увидеть рисунок, но не поняла, заметил ли он его.

— Мы не хотим ничего менять в этих портретах, — сказала она поспешно. — Если мой портрет выйдет печальным, то тем веселее буду казаться рядом с ним я.

— Ну что ж, — поклонился художник, — пусть ваши горести окажутся воображаемыми и печалиться о них будет лишь этот портрет! А радости пусть будут столь яркими и глубокими, что запечатлеются на этом прелестном лице наперекор моему искусству.

После свадьбы Уолтера и Элинора портреты стали лучшим украшением их дома. Разделенные только узкой панелью, они висели рядом и, казалось, не сводили друг с друга глаз, хотя в то же время неизменно провожали взглядом каждого, кто смотрел на них. Люди, много поездившие на своем веку и утверждавшие, что знают толк в таких вещах, относили их к числу наиболее совершенных образцов портретного искусства, тогда как неискушенные зрители сличали их черту за чертой с оригиналами и приходили в восторг от удивительного сходства. Но самое сильное впечатление портреты производили не на знатоков и не на обычных зрителей, а на людей, по самой природе своей наделенных душевной чуткостью. Эти последние могли сначала скользнуть по ним беглым взглядом, но затем в них пробуждался интерес и они снова и снова возвращались к портретам и изучали изображения, словно листы загадочной книги. Прежде всего привлекал их внимание портрет Уолтера. В отсутствие супругов они обсуждали иногда, какое выражение художник намеревался придать его лицу, и все соглашались на том, что оно исполнено глубокого значения, хотя толковали его различно. Портрет Элинора вызвал меньше споров. Правда, они каждый по-своему объясняли природу печали, омрачавшей лицо на портрете, и по-разному оценивали ее глубину, но ни у кого не возникало сомнений, что это именно печаль и что она совершенно чужда жизнерадостному нраву их хозяйки. А один человек, наделенный воображением, после пристального изучения картин объявил, что оба портрета следует считать частью одного замысла и что скорбное выражение Элинора чем-то связано с более взволнованным или, как он выразился, с искаженным бурной страстью лицом Уолтера. И хотя сам он дотоле никогда не занимался рисованием, он даже принялся за набросок, стараясь объединить обе фигуры такой ситуацией, которая соответствовала бы выражению их лиц.

Вскоре друзья Элинора стали поговаривать о том, что день ото дня лицо ее начинает заволакиваться какой-то задумчивостью и угрожает сделаться слишком похожим на ее печальный портрет. В лице же Уолтера не только не было заметно того оживления, которым художник наделил его на полотне, а напротив, он становился все более сдержанным и подавленным, и если в душе его и бушевали страсти, внешне он ничем не выдавал этого. Через некоторое время Элинора заявила, что портреты могут потускнеть от пыли или выцвести от солнца, и закрыла их роскошным занавесом из пурпурного шелка, расшитым цветами и отделанным тяжелой золотой бахромой. Этого оказалось достаточно. Друзья ее поняли, что тяжелый занавес уже нельзя откидывать от портретов, а о самих портретах больше не следует упоминать в присутствии хозяйки дома.

Время шло, и вот художник снова вернулся в их город. Он побывал на далеком севере Америки, и ему удалось увидеть серебристый каскад Хрустальных гор и обозреть с самой высокой вершины Новой Англии плывущие внизу облака и бескрайние леса. Но он не дерзнул осквернить этот пейзаж, изобразив его средствами своего искусства. Лежа в каноэ, он уплывал на самую середину озера Георга, и в душе его, словно в зеркале, отражались красота и величие окружающей природы, которая постепенно вытеснила из его сердца воспоминания о картинах Ватикана. Он отправился с индейцами-охотниками к Ниагаре и там в отчаянии швырнул свою беспомощную кисть в пропасть, поняв, что нарисовать этот чудесный водопад так же невозможно, как нельзя изобразить на бумаге рев низвергающейся воды. Правда, его редко охватывало желание передавать картины живой природы, потому что она интересовала его скорее как фон для изображения фигур и лиц, отмеченных мыслью, страстями или страданием. А такого рода набросков он скопил за время своих скитаний великое множество. Гордое достоинство индейских вождей, смуглая красота индианок, мирная жизнь вигвамов, тайные вылазки, битва под угрюмыми соснами, гарнизон пограничной крепости, диковинная фигура старика-француза, воспитанного при дворе, обветренного и поседевшего в этих суровых краях, — вот сюжеты нарисованных им портретов и картин. Упоение опасностью, взрывы необузданных страстей, борьба неистовых сил, любовь, ненависть, скорбь, исступление — словом, весь потрепанный арсенал чувств

нашей древней земли представился ему в новом свете. В его папках хранились иллюстрации к книге его памяти, и силою своего гения он должен был преобразить их в высокие создания искусства и вдохнуть в них бессмертие. Он ощущал, что та глубокая мудрость, которую он всегда стремился постичь в живописи, теперь найдена.

Но всюду — среди ласковой и угрюмой природы, в грозных чащах леса и в убаюкивающем покое роц — за ним неотступно следовали два образа, два призрачных спутника. Как все люди, захваченные одним всепоглощающим стремлением, художник стоял в стороне от обычных людей. Для него не существовало иных надежд, иных радостей, кроме тех, что были в конечном счете связаны с его искусством. И хотя он отличался мягким обхождением и искренностью в намерениях и поступках, добрые чувства были чужды его душе; сердце его было холодно, и ни одному живому существу не позволялось приблизиться, чтобы согреть его. Однако эти два образа сильнее, чем кто-либо другой, вызывали в нем тот необъяснимый интерес, который всегда привязывал его к увековеченным его кистью созданиям. Он с такой проникательностью заглянул в их души и с таким неподражаемым мастерством отобразил плоды своих наблюдений на портретах, что ему уже не много оставалось для достижения того уровня — его собственного сурового идеала, — до которого не поднимался еще ни один гений. Ему удалось, во всяком случае, так он полагал, разглядеть во тьме будущего страшную тайну и несколькими неясными намеками воспроизвести ее на портретах. Столько душевных сил, столько воображения и ума затратил он на проникновение в характеры Уолтера и Элинора, что чуть ли не считал их самих своими творениями, подобно тем тысячам образов, которыми он населил царство живописи. И потому призраки Уолтера и Элинора неслышно проносились перед ним в сумраке лесов, парили в облаках брызг над водопадами, встречали его взор на зеркальной глади озер и не таяли даже под жаркими лучами полуденного солнца. Они неотступно стояли в его воображении, но не как навязчивые образы живых, не как бледные духи умерших, — нет, они всегда являлись ему такими, какими он изобразил их на портретах, с тем неизменным выражением, которое его магический дар вызвал на поверхность из скрытых тайников их души. Он не мог уехать за океан,

не повидав еще раз двойников этих призрачных портретов, — и он отправился к ним.

«О волшебное искусство! — в увлечении размышлял он по дороге. — Ты подобно самому Творцу. Бесчисленное множество неясных образов возникает из небытия по одному твоему знаку. Мертвые оживают вновь; ты возвращаешь их в прежнее окружение и наделяешь их тусклые тени блеском новой жизни, даруя им бессмертие на земле. Ты навсегда запечатлеваешь промелькнувшие исторические события. Благодаря тебе прошлое перестает быть прошлым, ибо стоит тебе дотронуться до него — и все великое навсегда остается в настоящем, и замечательные личности живут в веках, изображенные в момент свершения тех самых деяний, которые их прославили. О всемогущее искусство! Перенося едва различимые тени прошлого в краткий, залитый солнцем миг, называемый настоящим, можешь ли ты вызвать сюда же погруженное во мрак будущее и дать им встретиться? Разве я не достиг этого? Разве я не пророк твой?»

Охваченный этими гордыми и в то же время печальными мыслями, художник начал разговаривать вслух, идя по шумным улицам среди людей, которые не догадывались о терзавших его думах, а приведись им подслушать его размышления, не поняли бы их, да и вряд ли захотели бы понять. Плохо, когда человек вынашивает в одиночестве тщеславную мечту. Если вокруг него нет никого, по кому он мог бы равняться, его стремления, надежды и желания грозят сделаться необузданными, а сам он может уподобиться безумцу или даже стать им. Читая в чужих душах с прозорливостью почти сверхъестественной, художник не видел смятения в своей собственной душе.

— Вот, верно, их дом, — проговорил он и, прежде чем постучать, внимательно оглядел фасад. — Боже, помоги мне! Эта картина! Неужели она всегда будет стоять перед моими глазами? Куда бы я ни смотрел, на дверь ли, на окна, — в рамке их я постоянно вижу эту картину, смело написанную, сверкающую сочными красками. Лица — как на портретах, а позы и жесты — с наброска!

Он постучал.

— Скажите, портреты здесь? — спросил он слугу, а затем, опомнившись, поправился: — Господин и госпожа дома?

— Да, сэр, — ответил слуга и, обратив внимание на живописную внешность художника, которая бросалась в глаза, добавил: — И портреты тут.

Художника провели в гостиную, дверь из которой вела в одну из внутренних комнат такой же величины. Поскольку в первой комнате никого не оказалось, художник прошел к двери, и здесь взорам его предстали и портреты, и сами их живые прототипы, так давно занимавшие его мысли. Невольно он замер у порога.

Его появления не заметили. Супруги стояли перед портретами, с которых Уолтер только что отдернул пышный шелковый занавес. Одной рукой он еще держал золотой шнур, а другой сжимал руку жены. Давно скрытые от глаз, портреты с прежней силой приковывали к себе взор, поражая совершенством исполнения, и казалось, не дневной свет оживлял их, а сами они наполняли комнату каким-то горестным сиянием. Портрет Элинор выглядел почти как сбывшееся пророчество. Задумчивость, перешедшая потом в легкую печаль, с годами сменилась на ее лице выражением сдержанной муки. Случись Элинор испытать страх, ее лицо стало бы точным повторением ее портрета. Черты Уолтера приняли хмурое и угрюмое выражение: лишь изредка они оживлялись, чтобы через минуту стать еще более мрачными. Он переводил глаза с Элинор на ее портрет, затем взглянул на свой и погрузился в его созерцание.

Художнику показалось, что он слышит у себя за спиной тяжелую поступь судьбы, приближающейся к своим жертвам. Странная мысль зашевелилась у него в мозгу. Не в нем ли самом воплотилась судьба, не его ли избрала она орудием в том несчастье, которое он когда-то предсказал и которое теперь готово было свершиться?

Однако Уолтер все еще молча рассматривал свой портрет, как бы ведя немой разговор с собственной душой, запечатленной на холсте, и постепенно отдаваясь роковым чарам, которыми художник наделил картину. Но вот глаза его загорелись, а лицо Элинор, наблюдавшей, как ярость овладевает им, исказилось от ужаса, и, когда, оторвав взгляд от картины, он обернулся к жене, сходство их с портретами стало совершенным.

— Пусть исполнится воля рока! — неистово завопил Уолтер. — Умри!

Он выхватил кинжал, бросился к отпрянувшей Элинор и занес его над ней. Их жесты, выражение и вся сцена в точности воспроизводили набросок художника. Картина во всей ее трагической яркости была закончена.

— Остановись, безумец! — воскликнул художник.

Кинувшись вперед, он встал между несчастными, ощущая, что наделен такой же властью распоряжаться их судьбами, как изменять композицию своих полотен. Он напоминал волшебника, повелевающего духами, которых сам вызвал.

— Что это? — промолвил Уолтер, и обуревавшая его ярость уступила место мрачному унынию. — Неужели судьба не даст свершиться своему же велению?

— Несчастливая женщина! — обернулся художник к Элинор. — Разве я не предупреждал вас?

— Предупреждали, — ровным голосом отозвалась Элинор, оправившись от испуга, и на лице ее появилось привычное выражение тихой грусти, — но ведь я... я любила его!

Разве рассказ этот не включает в себе глубокой морали? Если бы можно было предугадать и показать нам последствия всех или хотя бы одного из наших поступков, некоторые из нас назвали бы это судьбой и устремились ей навстречу, другие дали бы себя увлечь потоком своих страстей, — но все равно никого пророческие портреты не заставили бы свернуть с избранного пути.

1837

Уильям Фрайр Харви

(1885–1937)

Августовская жара

Пер. с англ. С. Антонова

*Клэфам, Фенистон-роуд
20 августа 190... года*

Полагаю, это был самый удивительный день в моей жизни, и, пока события еще свежи в моей памяти, я хочу как можно отчетливее отобразить их на бумаге.

Прежде всего позвольте представиться: меня зовут Джеймс Кларенс Уизенкрофт.

Мне сорок лет, у меня отменное здоровье, и я не припомню ни одного дня, когда был болен.

По профессии я художник, не слишком преуспевающий, хотя средств, выручаемых за мои графические работы, вполне хватает, чтобы удовлетворить мои жизненные потребности.

Сестра, моя единственная близкая родственница, умерла пять лет назад, так что ныне моя жизнь протекает независимо от кого бы то ни было.

В то утро я позавтракал в девять часов, просмотрел свежую газету, закурил трубку и предался мысленным блужданиям, надеясь найти тему, достойную моего карандаша.

Хотя окна и двери были распахнуты, в комнате стояла изнуряющая духота, и я уже решил было отправиться в самое прохладное и удобное место в округе — дальний угол публичного плавательного бассейна, расположенного неподалеку, — как вдруг меня посетила идея.

Я принялся рисовать и так погрузился в работу, что позабыл про обед и оторвался от своего занятия, лишь когда часы на Сент-Джудс пробили четыре раза.

Для беглого эскиза результат оказался превосходным; убежден, это был лучший из когда-либо созданных мною рисунков.

Эскиз изображал преступника на скамье подсудимых сразу после оглашения приговора. Человек этот был тучен — необыкновенно тучен. Жир слоями свисал у него из-под подбородка, бороздил складками короткую массивную шею. Человек был гладко выбрит (точнее сказать, несколькими днями ранее он, вероятно, был гладко выбрит) и почти лыс. Он стоял у скамьи, вцепившись короткими, грубыми пальцами в барьер и устремив взгляд прямо перед собой. На лице его был написан не столько ужас, сколько выражение полного и окончательного краха.

Казалось, в этом человеке не было сил, способных поддерживать подобную гору мяса.

Свернув эскиз в трубочку, я, сам не зная зачем, засунул его в карман. Затем с редким ощущением счастья, которое доставляет сознание хорошо сделанного дела, я вышел из дому.

Кажется, я собирался навестить Трентона, поскольку, помнится, шел по Литтон-стрит и свернул направо возле Гилкрайст-роуд, у подножия холма, где велись работы по прокладке новой трамвайной линии.

О том, куда я направился после этого, у меня сохранились довольно смутные воспоминания. Единственное, что занимало мои мысли, — это невероятный жар, который почти осязаемой волной поднимался от пыльного асфальта. Я жаждал грозы, которую обещала длинная череда красных как медь облаков, низко висевших в западной стороне небосвода.

Я, должно быть, успел прошагать так пять или шесть миль, прежде чем встречный мальчишка заставил меня очнуться, спросив, который теперь час.

Было без двадцати минут семь.

Когда он ушел, я начал осматриваться по сторонам, дабы понять, где нахожусь. И обнаружил, что стою у ворот, ведущих во двор, который окаймляла полоска сухой земли, где росли пурпурные левкой и багровая герань. Над входом висела дощечка с надписью: *«Чарльз Аткинсон, изготовитель надгробных плит. Работы по английскому и итальянскому мрамору».*

Со двора доносились веселый свист, шум ударов молотка и холодный скрежет стали о камень.

Повинуясь внезапному импульсу, я вошел внутрь.

Спиной ко мне сидел человек, трудившийся над плитой причудливо испещренного прожилками мрамора. Услышав мои шаги, он обернулся, и я застыл на месте как вкопанный.

Это был тот самый человек, которого я недавно нарисовал и чей портрет лежал у меня в кармане.

Он сидел там, огромный, слоноподобный, и красным шелковым платком утирал пот, катившийся с его лысой головы. И хотя это было то же самое лицо, его выражение было теперь абсолютно иным.

Он с улыбкой приветствовал меня, словно давнего друга, и пожал мне руку.

Я извинился за вторжение.

— Снаружи так жарко и ослепительно, — произнес я, — а у вас тут словно оазис посреди пустыни.

— Не знаю насчет оазиса, — отозвался он, — но печет и правда как в аду. Садитесь, сэр.

Он указал на край надгробия, над которым работал, и я присел.

— Прекрасный камень вам удалось раздобыть, — заметил я.

Человек покачал головой.

— Отчасти вы правы, — сказал он. — С этой стороны поверхность камня — лучше некуда; однако с обратной стороны большая трещина, которую вы, конечно, не могли увидеть. Из такого куса мрамора никогда не выйдет стоящей работы. Сейчас, летом, это не имеет значения — камню не страшна эта чертова жара. Но подождите, пока наступит зима. Ничто так не выявляет изъяны в камне, как сильный мороз.

— Тогда зачем он вам? — удивился я.

В ответ он неожиданно рассмеялся:

— Не поверите — я готовлю его к выставке. Это суцая правда. Художники устраивают выставки, бакалейщики и мясники — тоже. И у нас есть свои выставки. Самые последние новшества в изготовлении надгробий, ну вы понимаете.

И он пустился в рассуждения о том, какой сорт мрамора наиболее устойчив к ветру и дождю и какой легче всего поддается обработке; потом завел речь о своем саде и о новом сорте гвоздик, который ему недавно довелось купить. При этом он поминутно ронял инструменты, вытирал блестящую от пота лысину и проклинал жару.

Я говорил мало, ибо чувствовал себя неловко. В моей встрече с этим человеком было что-то неестественное и жуткое.

Поначалу я пытался убедить себя, что уже видел его прежде и что его лицо неосознанно запечатлелось в каком-то укромном уголке моей памяти, но вместе с тем я знал, что это всего лишь успокоительный самообман.

Закончив работу, мистер Аткинсон сплюнул и со вздохом облачения поднялся.

— Ну вот. Что скажете? — спросил он с явной гордостью в голосе.

И я впервые увидел выбитую им на камне надпись:

«Памяти Джеймса Кларенса Уизенкрофта.»

Родился 18 января 1860 года.

Скоропостижно скончался 20 августа 190... года.

«И в гущи жизни мы открыты смерти».

Некоторое время я сидел молча. Затем по моей спине пробежала холодная дрожь. Я спросил у него, где он наткнулся на это имя.

— Да нигде, — ответил мистер Аткинсон. — Мне требовалось какое-нибудь имя, и я написал первое, что пришло в голову. А почему вы спрашиваете?

— По какому-то странному совпадению это имя принадлежит мне. Он протяжно присвистнул.

— А даты?

— Я могу сказать лишь об одной. Она совершенно точна.

— Ну и дела! — произнес он.

Однако он знал меньше, чем было известно мне. Я рассказал ему о своей утренней работе, достал из кармана и показал ему эскиз. Аткинсон разгадывал рисунок, и выражение его лица постепенно менялось, обретая все большее сходство с портретом человека, изображенного мной.

— А ведь только позавчера я говорил Марии, что призраков не существует! — произнес он наконец.

Ни мне, ни ему никогда не являлись призраки, но я понимал, что он имеет в виду.

— Должно быть, вы слышали мое имя, — предположил я.

— А вы, вероятно, где-то видели меня прежде и позабыли об этом! Вы не были в июле в Клэктон-он-Си?

Я никогда в жизни не бывал в Клэктоне. Некоторое время мы молчали, глядя на две даты, выбитые на могильном камне, одна из которых была совершенно точной.

— Заходите в дом, поужинаем, — предложил мистер Аткинсон.

Его жена оказалась маленькой веселой женщиной с благодушным румяным лицом уроженки сельской местности. Ее супруг представил меня как своего друга, художника по профессии. Результат получился досадный, ибо, как только со стола были убраны сардины и водяной кресс, она принесла Библию Доре, и мне пришлось битых полчаса сидеть и рассматривать книгу, расточая восторги.

Когда я вышел наружу, то увидел Аткинсона, который курил, присев на надгробный камень.

Мы продолжили наш разговор с того самого места, где он прервался.

— Простите мне мой вопрос, — сказал я, — но не знаете ли вы, за что вас могли бы привлечь к суду?

Он покачал головой.

— Мне не грозит банкротство, мои дела идут вполне успешно. Три года назад я преподнес кое-кому из сторожей индеек на Рождество, но это все, что я могу припомнить... Да и те были невелики, — добавил он после некоторого раздумья.

Он поднялся, взял с крыльца лейку и принялся поливать цветы.

— В знойную погоду нужно регулярно поливать дважды в день, — сказал он, — да и тогда жара порой губит самые чувствительные побеги. А папоротники — боже правый! — им ни за что не устоять против нее. Вы где живете?

Я назвал ему свой адрес. Мне требовался час быстрой ходьбы, чтобы вернуться к себе.

— Ну так вот, — сказал он. — Давайте говорить напрямик. Если вы отправитесь нынче вечером домой, с вами может произойти несчастный случай. На вас налетит повозка, либо банановая кожура или апельсиновая корка подвернется под ногу, не говоря уже о том, что под вами может обрушиться лестница.

Он говорил о невероятных вещах с необыкновенной серьезностью, которая шестью часами ранее показалась бы мне смехотворной. Но сейчас я не смеялся.

— Было бы лучше всего, — продолжал он, — если бы вы остались здесь до полуночи. Поднимемся наверх и покурим; внутри, возможно, прохладнее.

К моему собственному удивлению, я согласился.

И вот мы сидим в низкой, продолговатой комнате под свесом крыши. Жену Аткинсон отправил спать, а сам при помощи маленького оселка натачивает какие-то инструменты и покуривает сигару, которой я его угостил.

Воздух полнится предстоящей грозой. Я пишу эти строки, сидя за шатким столиком у открытого окна. Одна ножка стола дала трещину, и Аткинсон, который, кажется, ловко умеет обращаться с

инструментами, намерен залатать ее, когда заострит как следует лезвие своего резца.

На часах уже больше одиннадцати вечера. Меньше чем через час я отправлюсь домой.

Но вокруг по-прежнему стоит удушающая жара.

Жара, от которой любой способен сойти с ума.

1910

Монтегю Родс Джеймс

(1862–1936)

Подброшенные руны

Пер. с англ. С. Антонова

15 апреля 190... года

Досточтимый сэр!

Совет... Ассоциации уполномочил меня возвратить Вам рукопись доклада на тему «Истина алхимии», который Вы любезно предложили зачитать на нашем предстоящем собрании, и проинформировать Вас, что он не считает возможным включить этот доклад в программу.

Искренне Ваш,

.....

секретарь Ассоциации.

18 апреля

Досточтимый сэр!

С сожалением вынужден сообщить, что, будучи загружен делами, не имею возможности встретиться с Вами для обсуждения Вашего доклада. Равным образом наш устав не предусматривает процедуры обсуждения Вами этого вопроса с комитетом нашего Совета, которое Вы предложили провести. Позвольте заверить Вас в том, что представленная Вами рукопись была рассмотрена предельно внимательно и отклонена лишь после консультации с самым авторитетным в этой области специалистом. Едва ли есть смысл добавлять, что решение Совета никоим образом не обусловлено какими-либо личными мотивами.

Примите уверения... и прочее.

20 апреля

Секретарь Ассоциации... со всем почтением уведомляет мистера Карсвелла, что не уполномочен сообщать ему сведения о лице или лицах, которым могла быть передана на рассмотрение рукопись его доклада, а также желает известить о том, что не обязуется далее поддерживать переписку на эту тему.

— И кто такой этот мистер Карсвелл? — полюбопытствовала у секретаря его жена, которая незадолго до того зашла к нему кабинет и — возможно, несколько бесцеремонно — пробежала взглядом последнее из вышеприведенных писем, только что принесенное машинисткой.

— Ну, в данный момент, моя дорогая, мистер Карсвелл — это весьма рассерженный человек. Но кроме этого я мало о нем знаю — разве только то, что он довольно состоятелен, живет в Лаффордском аббатстве в Уорикшире, судя по всему, занимается алхимией и жаждет выговориться на эту тему перед членами нашей Ассоциации. Вот, пожалуй, и все — если не считать того, что в ближайшие неделю-другую мне бы не хотелось с ним встречаться. Ну а теперь, если ты готова, мы можем идти.

— Чем же ты так его рассердил?

— Обычное дело, дорогая, самое обычное: он прислал рукопись доклада, который хотел зачитать на ближайшем заседании, и мы передали ее на рассмотрение Эдварду Даннингу — едва ли не единственному в Англии человеку, разбирающемуся в подобных вещах. Даннинг сказал, что доклад совершенно безнадежен, и мы его отклонили. С тех пор Карсвелл забрасывает меня письмами. В последнем он потребовал назвать ему имя того, кто рецензировал его вздор; мой ответ ты видела. Но, ради бога, не говори никому об этом ни слова.

— Я и не собираюсь. Разве я когда-нибудь болтала о твоих делах? Однако я все же надеюсь, он никогда не узнает, что это был бедный мистер Даннинг.

— «Бедный»? Не понимаю, почему ты так его называешь; на самом деле он весьма счастливый человек, этот Даннинг. У него множество увлечений, уютный дом и уйма времени, которым он волен располагать, как пожелает.

— Я лишь имела в виду, что было бы весьма огорчительно, если бы тот человек узнал о нем и стал бы ему досаждать.

— О да! Конечно. Рискну предположить, что тогда он и вправду стал бы «бедным мистером Даннингом».

Супруги были приглашены на ланч к друзьям из Уорикшира, и жена секретаря решила во что бы то ни стало осторожно расспросить

их о мистере Карсвелле. Однако хозяйка дома избавила ее от необходимости аккуратно подводить разговор к этой теме: едва они принялись за ланч, она произнесла, обращаясь к мужу:

— Я видела нашего «лаффордского аббата» нынче утром.

Хозяин присвистнул.

— Правда? Интересно, каким ветром его сюда занесло?

— Бог его знает; он как раз выходил из ворот Британского музея, когда я проезжала мимо.

Вполне естественно, что жена секретаря поинтересовалась, о настоящем ли аббате идет речь.

— О нет, моя дорогая: это просто наш сосед из Уорикшира, который несколько лет назад приобрел в собственность Лаффордское аббатство. На самом деле его зовут Карсвелл.

— Он ваш друг? — спросил секретарь, незаметно для хозяев подмигнув жене.

В ответ на него обрушился настоящий поток красноречия. На самом деле ничего, что свидетельствовало бы в пользу мистера Карсвелла, сказать было невозможно: его занятия были скрыты от посторонних глаз; у него в услужении состояли люди самого низшего разбора; он придумал себе новую религию и практиковал отвратительные обряды, о которых, впрочем, никто ничего не знал достоверно; он чрезвычайно легко обижался и никогда не прощал обид; у него была отталкивающая наружность (так утверждала хозяйка, меж тем как ее супруг вяло ей возражал); он ни разу в жизни никому не сделал добра, от него исходил один только вред.

— Дорогая, будь же к нему справедлива, — прервал хозяин монолог жены. — Ты, верно, забыла, какое развлечение он устроил для школьной детворы.

— Забудешь такое, как же! Впрочем, хорошо, что ты упомянул тот случай — он дает ясное представление об этом человеке. Вот послушайте, Флоренс. В первую зиму, которую он встретил в Лаффорде, наш замечательный сосед написал священнику своего прихода (мы не его прихожане, но очень хорошо его знаем) письмо с предложением устроить для школьников показ картинок посредством волшебного фонаря. Он заявил, что у него есть новые образцы, которые, как ему кажется, вызовут у детей интерес. Священник был несколько озадачен, поскольку прежде мистер Карсвелл определенно

не жаловал детвору — сетовал на ее вторжения в его усадьбу и прочие подобные шалости. Тем не менее согласие было дано, и в назначенный вечер наш друг отправился самолично взглянуть на представление и удостовериться, что все идет как должно. По его словам, он никогда не испытывал такой благодарности небесам, какую ощутил в тот день оттого, что на показе не присутствовали его собственные дети — они в это время были на детском празднике, который мы устроили у себя в доме. Потому как мистер Карсвелл, несомненно, затеял все это лишь для того, чтобы перепугать деревенских ребятишек до смерти, и я уверена, что, если бы ему позволили продолжать, он добился бы своей цели. Начал он со сравнительно безобидных вещей — картинок, иллюстрирующих сказку о Красной Шапочке, — но даже на них, как утверждает мистер Фаррер, волк оказался таким отвратительным, что нескольких малышек пришлось увести. Священник говорит также, что мистер Карсвелл, рассказывая эту сказку, издал звук, который напоминал отдаленный волчий вой и ужаснее которого мистеру Фарреру в жизни не доводилось слышать. Все изображения были сделаны в высшей степени искусно и отличались необыкновенным правдоподобием; священник понятия не имеет, где Карсвелл их раздобыл или как сумел изготовить. Меж тем представление продолжалось, истории становились все страшнее, дети, зачарованные зрелищем, притихли. И наконец их взорам предстала серия картинок, изображавших маленького мальчика, который вечерней порой шел через принадлежащий Карсвеллу Лаффордский парк. Любой ребенок в комнате мог без труда узнать это место. Так вот, мальчика преследовало — сперва хоронясь за деревьями, но постепенно становясь все более видимым — некое ужасное прыгающее существо в белом одеянии; в конце концов это существо настигало несчастного и то ли разрывало его на части, то ли расправлялось с ним каким-то другим способом. Мистер Фаррер сказал, что именно этому зрелищу он обязан самым жутким из когда-либо снявшихся ему кошмаров, и трудно даже представить, как оно могло подействовать на детей. Конечно, это было уже чересчур, о чем он и заявил в крайне резких выражениях мистеру Карсвеллу, добавив, что не позволит ему продолжать. На что тот ответил: «А, так вы полагаете, что пора завершать наше маленькое представление и отправлять детишек

домой, по кроваткам? *Очень хорошо*». И затем — вы только вообразите — он вставил в волшебный фонарь еще одну пластинку, и на экране появилось огромное скопление змей, сороконожек и омерзительных крылатых тварей; вдобавок ему удалось, посредством каких-то уловок, создать впечатление, будто эти гады выбрались из картинки и расползаются среди зрителей, и сопроводить все это каким-то сухим шелестом, который едва не свел детей с ума и, конечно, заставил их вскочить со своих мест. Выбираясь из комнаты, многие заработали себе синяки и набили шишки, и навряд ли хоть один ребенок в ту ночь заснул. Случившееся вызвало в деревне ужасный переполох. Матери, разумеется, возложили львиную долю вины на бедного мистера Фаррера, а отцы, наверное, перебили бы все стекла в окнах аббатства, если бы сумели проникнуть за его ворота. Вот что представляет собой мистер Карсвелл, наш «лаффордский аббат»; из этого, моя дорогая, вы сами можете заключить, сильно ли мы жаждем общения с ним.

— Да, я полагаю, у него несомненно есть преступные задатки, у этого Карсвелла, — заметил хозяин. — Не завидую участи того, кого он сочтет своим недругом.

— Не тот ли это человек — или я путаю его с кем-то другим, — вступил в разговор секретарь, который уже несколько минут озабоченно хмурился, словно пытаюсь что-то вспомнить, — не тот ли это человек, что в свое время выпустил в свет «Историю колдовства»? Лет десять назад, если не больше?

— Он самый. Вы помните, какие отзывы снискал этот труд?

— Конечно помню, и, что не менее важно, я знавал автора самого язвительного из них. Да и вы должны помнить Джона Харриштона — он учился в Сент-Джонс-колледже в одно время с нами.

— Да, в самом деле, я отлично его помню, хотя после окончания университета, кажется, не имел о нем никаких известий, до тех пор, пока не наткнулся на отчет о расследовании по его делу.

— О расследовании? — переспросила одна из дам. — А что с ним случилось?

— Ну, случилось так, что он упал с дерева и сломал себе шею. Но что побудило его туда забраться, так и осталось загадкой. Довольно-таки темная история, надо сказать. Человек, не наделенный атлетическим сложением и, насколько нам известно, не склонный к

эксцентрике, возвращается поздним вечером домой по проселочной дороге, на которой нет никаких бродяг, которая пролегает через места, где его хорошо знают и любят, — и вдруг ни с того ни с сего бросается бежать как безумный, теряет шляпу и трость и в довершение всего карабкается на дерево, составляющее часть живой изгороди, куда залезть не так-то просто. Сухая ветка не выдерживает его веса, он падает, и утром его находят лежащим на земле со сломанной шеей и с выражением неопишуемого ужаса на лице. Разумеется, совершенно ясно, что за ним гнались; поговаривали об одичавших собаках, о хищных животных, сбежавших из зверинца, но дальше предположений дело не пошло. Случилось это в восемьдесят девятом году, и с тех пор его брат Генри (которого вы, возможно, не знали в Кембридже, а я знал так же хорошо, как самого Джона) пытается найти объяснение случившемуся. Он, конечно, утверждает, что здесь имел место злой умысел, но мне трудно понять, каким образом он мог быть претворен в жизнь.

Прошло некоторое время, и разговор вернулся к «Истории колдовства».

— А вы в нее когда-нибудь заглядывали? — любопытно спросил хозяин дома.

— Не только заглядывал, но даже прочел целиком, — ответил секретарь.

— И что же, она и вправду так плоха, как утверждали рецензенты?

— В том, что касается стиля и построения, совершенно безнадежна и вполне заслуживает тех уничижительных отзывов, которых удостоилась. Но, кроме того, это зловещая книга. Этот человек верил в каждое написанное им слово, и думаю, я не сильно ошибусь, предположив, что действенность большинства своих рецептов он проверил на практике.

— Ну, что до меня, то я помню лишь отзыв Харрингтона и должен признаться, что, будь я автором книги, подобная отповедь отбила бы у меня всякое желание вновь братья за перо. После такого я бы ни за что не осмелился вновь поднять голову.

— В данном случае результат оказался иным. Но постойте, уже половина четвертого; я вынужден проститься.

По дороге домой жена секретаря сказала:

— Надеюсь, этот ужасный человек все же не узнает, что мистер Даннинг причастен к отклонению его рукописи.

— Думаю, это маловероятно, — ответил секретарь. — Сам Даннинг не станет об этом распространяться, поскольку такие вопросы считаются конфиденциальными, да и мы этого делать не будем — по той же самой причине. Догадаться Карсвелл не сможет, ведь Даннинг не публиковал никаких работ по теме, которой посвящен этот злополучный доклад. Единственная опасность заключается в том, что Карсвелл надумает поинтересоваться у сотрудников Британского музея, кто из читателей имеет обыкновение заказывать алхимические кодексы: я ведь не могу запретить им упоминать имя Даннинга, верно? Это лишь подстегнуло бы их все немедленно ему рассказать. Но будем надеяться, что подобного не случится.

Мистер Карсвелл, однако, оказался проницательным человеком.

Все вышеизложенное — своего рода пролог истории. Как-то вечером в конце той же недели мистер Эдвард Даннинг возвращался после своих научных занятий из Британского музея в уютный пригородный дом, где жил один, опекаемый двумя прилежными служанками, которые состояли при нем уже долгое время. К описанию мистера Даннинга, которое мы слышали прежде, нам добавить нечего, а посему последуем за ним в его спокойном возвращении домой.



«Сон разума рождает чудовищ»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Воображение, покинутое разумом, порождает немислимых чудовищ; но в союзе с разумом оно — мать искусств и источник творимых им чудес



«Много можно сосать»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Человек словно для того и рождается и живет на свете, чтобы из него тянули соки

Станция, на которую мистера Даннинга доставил поезд, находилась в паре миль от его дома; он преодолевал это расстояние на пригородном трамвае и затем пешком — от конечной остановки до его парадной двери было около трехсот ярдов. В этот день он вдоволь начитался еще до того, как сел в вагон, да и скудное освещение в трамвае располагало разве что к разглядыванию объявлений на оконных стеклах рядом со своим местом. Вполне естественно, что объявления, расклеенные на этом трамвайном маршруте, ему приходилось изучать довольно часто, и, если не считать блестящего и убедительного диалога между мистером Лэмплоу и знаменитым Кингз-колледжем по поводу антипиретической соли, ни одно из них не способно было увлечь его воображение. Впрочем, не совсем так: на сей раз мистер Даннинг заметил в самом дальнем углу вагона одно объявление, которое, насколько он помнил, ему прежде не доводилось видеть. Со своего места он не мог разобрать ничего из написанного синими буквами на желтом поле — ничего, кроме имени Джона Харрингтона и ряда цифр, похоже, составлявших дату. Возможно, это и не заслуживало внимания, однако, когда вагон несколько опустел, любопытство все же побудило мистера Даннинга перебраться на то место, откуда текст был различим целиком. Его старания оказались до известной степени вознаграждены — объявление и впрямь было необычным. В нем говорилось: *«В память о мистере Джоне Харрингтоне, ч. о. а., «Лавры», Эшбрук, скончавшемся 18 сентября 1889 года после трехмесячной отсрочки».*

Вагон остановился. Мистер Даннинг продолжал разглядывать синие буквы на желтом фоне, и лишь оклик кондуктора заставил его вернуться к действительности.

— Прошу простить меня, — сказал он. — Я изучал вот это объявление — оно в высшей степени странное, вы не находите?

Кондуктор медленно прочитал надпись.

— Надо же, — произнес он, — никогда не видел его прежде. Какое-то чудачество, иначе не скажешь. Кто-то дурака валяет, вот что я думаю.

Он достал тряпку, поплевал на нее и потер стекло — сперва изнутри, а затем, выйдя из вагона, и снаружи.

— Нет, — констатировал он по возвращении, — оно не просто наклеено. Сдается мне, оно находится *внутри* стекла, то есть в самом

веществе, как вы бы сказали. А вам так не кажется, сэр?

Мистер Даннинг исследовал надпись, поскреб стекло пальцем в перчатке и вынужден был согласиться с собеседником.

— Кто отвечает за размещение объявлений в вагоне? — спросил он. — Мне бы хотелось, чтобы вы выяснили, как появилась здесь эта надпись. А текст ее я, с вашего разрешения, перепишу.

В этот момент до них донесся голос вагонновожатого:

— Пошевеливайся, Джордж, время поджигает!

— Ладно, ладно, — ответил кондуктор. — Здесь тоже кое-что зажато, прямо в стекле. Иди-ка плянь.

— Ну, что тут у тебя в стекле? — спросил вагонновожатый, подойдя к ним. — Ну и кто такой этот Харрингтон? О чем вообще речь?

— Я как раз поинтересовался, кто отвечает за размещение объявлений в вагонах, и сказал, что было бы неплохо разузнать, как попало сюда это, — пояснил Даннинг.

— Ну, сэр, это все делается в конторе компании; думаю, этим ведает мистер Тиммз. Вечером, как закончим смену, я порасспрошу его и, возможно, завтра смогу что-то вам рассказать, если опять поедете этой дорогой.

Больше ничего примечательного в тот вечер не произошло. Мистер Даннинг лишь дал себе труд выяснить месторасположение Эшбука и установил, что тот находится в Уорикшире.

На следующий день он вновь отправился в город. В утренний час в вагоне (а это оказался тот самый вагон) было так людно, что Даннингу не удалось перемолвиться с кондуктором ни единым словом; он смог лишь убедиться, что объявление, так заинтересовавшее его накануне вечером, кем-то убрано. Конец дня добавил происходящему загадочности. Даннинг опоздал на трамвай или же просто решил прогуляться до дому пешком, но в довольно поздний час, когда он работал у себя в кабинете, одна из служанок пришла сообщить, что два человека из трамвайного депо хотят во что бы то ни стало переговорить с ним. Он сразу вспомнил про объявление, о котором, по его собственным словам, почти успел позабыть. Пригласив визитеров в кабинет (ими оказались кондуктор и вагонновожатый) и предложив им напитки, он поинтересовался, что сказал по поводу объявления мистер Тиммз.

— Из-за этого-то мы и решились прийти к вам, сэр, — сказал кондуктор. — Мистер Тиммз, услышав про надпись, крепко выбранил Уильяма. Он говорит, что никто подобного объявления не давал, не заказывал, не оплачивал и не вывешивал, и вообще его там быть не могло, а мы только дурака валяем, отнимая у него время. Ну, говорю я, коли так, то все, о чем я прошу вас, мистер Тиммз, это сходить и взглянуть на него собственными глазами. И конечно, если его там нет (продолжаю я), тогда вы можете называть меня как вам угодно. Хорошо, говорит он, я схожу. И мы не мешкая отправились в вагон. А теперь скажите мне, сэр, разве не было то объявление, как мы их называем, с именем Харрингтона синими буквами на желтом стекле, видно яснее ясного и — как я тогда сказал, а вы со мной согласились — помещено *внутри* стекла? Если помните, я еще пытался стереть его своей тряпкой.

— Будьте уверены, я помню совершенно отчетливо. Хорошо, ну и что же дальше?

— По мне, так не очень-то хорошо. А дальше мистер Тиммз заходит в вагон с фонарем — нет, не так, он велел Уильяму держать зажженный фонарь снаружи. Ну, говорит, и где ваше драгоценное объявление, о котором вы мне уши прожужжали? Вот оно, мистер Тиммз, говорю я и кладу руку на то место, где оно должно быть. — Сказав это, кондуктор умолк.

— И, — заговорил мистер Даннинг, — полагаю, оно исчезло. Стекло оказалось разбито?

— Разбито? Нет. Не знаю, поверите вы мне или нет, но от тех синих букв на стекле не осталось и следа — не больше, чем на... ну, да что говорить. В жизни не видел ничего подобного. Пусть Уильям скажет, если... но, повторяю, чего ради я стал бы выдумывать?

— А что сказал мистер Тиммз?

— Да именно то, что я сам позволил ему сказать в такой ситуации: обозвал нас обоих на разные лады, и не думаю, что его стоит за это сильно винить. Но мы — Уильям и я — вот о чем подумали: мы ведь видели, как вы переписали себе что-то из того объявления — ну из той надписи.

— Именно так, и эта запись сейчас у меня. Вы хотите, чтобы я лично поговорил с мистером Тиммзом и показал написанное ему? Вы ведь за этим ко мне пришли?

— Ну, а я что говорил? — сказал Уильям, обращаясь к своему товарищу. — Нужно иметь дело с джентльменом, если можешь отыскать такового, вот что я скажу. Небось теперь, Джордж, ты признаешь, что я не напрасно потащил тебя на ночь глядя в такую даль?

— Ладно, ладно, Уильям, не делай вид, будто ты меня силком сюда приволок. Я ведь вел себя смирно, правда? Тем не менее нам не следовало отнимать у вас столько времени, сэр; и все же мы были бы вам ужасно признательны, если бы вы смогли заглянуть поутру в нашу контору и рассказать мистеру Тиммзу о том, что видели собственными глазами. Понимаете, нас беспокоит не то, что он обзывал нас так и этак; но если в конторе решат, что нам мерещится то, чего нет, то, слово за слово — и где мы окажемся через год?.. Ну, вы понимаете, о чем я.

И, продолжая на ходу строить предположения, Джордж, подталкиваемый Уильямом, покинул кабинет.

Недоверие мистера Тиммза (который был шапочно знаком с мистером Даннингом и прежде) было значительно поколеблено на следующий день благодаря тому, что посетитель ему рассказал и продемонстрировал; и никаких пометок, неблагоприятных для репутации Уильяма и Джорджа, напротив их имен в документах компании не появилось. Однако и объяснения случаю в трамвае тоже не было.

Днем позже произошло еще одно событие, которое только усилило интерес мистера Даннинга к этому делу. Направляясь из своего клуба к железнодорожной станции, он заметил чуть впереди человека с пачкой листовок наподобие тех, что раздают прохожим агенты торговых фирм. Этот агент, впрочем, выбрал для своей рекламной акции не слишком оживленную улицу: пока мистер Даннинг не поравнялся с ним, распространителю листовок не удалось заинтересовать своей информацией ни одного человека. Листок оказался в руке у Даннинга, когда он проходил мимо, при этом незнакомец невзначай коснулся его руки, заставив его слегка вздрогнуть. Рука, вручившая листовку, была неестественно горячей и грубой. Даннинг мельком глянул на распространителя, но зрительный образ, оставшийся у него в памяти, оказался настолько смутным, что, как ни пытался он впоследствии мысленно восстановить его, все было

тщетно. Не замедляя шага, он на ходу окинул взглядом бумагу. Она была голубого цвета, и ему в глаза бросилась фамилия Харрингтон, напечатанная крупными прописными буквами. Мистер Даннинг остановился, пораженный, и принялся искать очки. В следующее мгновение какой-то человек, быстро проходивший мимо, вырвал бумагу у него из рук и бесследно исчез. Даннинг пробежал чуть назад, но не обнаружил ни прохожего, схватившего листок, ни распространителя.

На следующий день мистер Даннинг, пребывая в несколько задумчивом настроении, вошел в Отдел редких рукописей Британского музея и заполнил требования на Харли 3586 и некоторые другие тома. Спустя непродолжительное время, получив заказанные манускрипты, он водрузил фолиант, с которого хотел начать чтение, на стол, и вдруг ему показалось, что у него за спиной кто-то произнес шепотом его имя. Мистер Даннинг поспешно обернулся, ненароком смахнув со стола свою папку с бумагой для записей, но не увидел никого из знакомых, кроме смотрителя отдела, который приветственно кивнул ему, и принялся собирать рассыпавшиеся по полу листки. Решив, что подобрал все, он вернулся на место и уже намеревался приступить к работе, когда дородный джентльмен (который сидел позади него и теперь, судя по всему, приготовился уходить) сказал, тронув мистера Даннинга за плечо: «Позвольте отдать это вам. Мне кажется, это ваше», — после чего вручил ему утерянный бумажный листок.

— Да, это мое, благодарю вас, — ответил мистер Даннинг, и в следующий миг любезный незнакомец покинул помещение.

По завершении намеченных на этот день дел мистеру Даннингу довелось разговаривать с дежурным сотрудником отдела, и он, пользуясь случаем, поинтересовался, как зовут того полного джентльмена.

— О, его фамилия Карсвелл, — ответил сотрудник. — Неделю назад он просил меня назвать ему имена самых крупных знатоков в области алхимии, и я, конечно, указал на вас как на единственного в стране специалиста по этому предмету. Я узнаю, когда его можно будет застать здесь; уверен, он обрадуется знакомству с вами.

— Ради бога, даже не думайте об этом! — воскликнул мистер Даннинг. — Я всячески стараюсь избежать встречи с ним.

— Что ж, хорошо, — пожал плечами дежурный. — Он нечасто сюда приходит; смею предположить, что вы навряд ли с ним столкнетесь.

В тот день, возвращаясь домой, мистер Даннинг не раз мысленно признавался себе, что перспектива провести вечер в уединении не вселяет в его душу привычной радости. Ему казалось, будто между ним и окружающими людьми пролегло нечто неосязаемое и трудноуловимое — и властно заявило свои права на него. В поезде и в трамвае ему хотелось сесть поближе к соседям-пассажирам, но таковых, как нарочно, и в том и в другом вагоне оказалось крайне мало. Кондуктор Джордж выглядел задумчивым, как будто с головой ушел в подсчет численности пассажиров. Добравшись до дому, мистер Даннинг увидел доктора Уотсона, своего врача, который ожидал его у порога.

— Весьма сожалею, Даннинг, что вынужден был нарушить ваш домашний распорядок. Обе ваши служанки *hors de combat*^[11]. По правде говоря, мне пришлось отправить их в больницу.

— Господи! Что случилось?

— Напоминает отравление трупным ядом. Сами вы, как я вижу, не пострадали, иначе не смогли бы так вот разгуливать. Но я думаю, они поправятся.

— Боже правый! У вас есть какие-нибудь предположения, почему это произошло?

— Ну, они говорят, что купили на обед устриц у какого-то разносчика. Это странно. Я навел справки: ни к кому из ваших соседей по улице никакой разносчик не заходил. Я не мог сообщить вам... некоторое время ваших служанок при вас не будет. Как бы то ни было, приходите ко мне на ужин нынче вечером, и мы обсудим, что делать дальше. В восемь часов. И не тревожьтесь без нужды.

Вечера в одиночестве, таким образом, удалось избежать — правда, ценой весьма печальных обстоятельств и вызванных ими бытовых неудобств. Мистер Даннинг довольно приятно провел время в обществе доктора (сравнительно недавно поселившегося в этих местах) и вернулся в свой опустевший дом около половины двенадцатого. Наступившую вскоре ночь он едва ли вспоминал по прошествии времени с удовольствием. Погасив свет, Даннинг лежал в постели и прикидывал, достаточно ли рано придет утром поденщица,

чтобы согреть к его пробуждению воды, как вдруг услышал звук, который не мог не узнать: открылась дверь его рабочего кабинета. Никаких шагов из коридора за этим не последовало, однако донесшийся до него звук был, несомненно, недобрым знаком — Даннинг отлично помнил, что вечером, убрав бумаги в ящик стола и выйдя из кабинета, закрыл за собой дверь. Скорее стыд, чем храбрость, заставил его выскользнуть в ночной рубашке в коридор и, перегнувшись через перила лестницы, вслушаться в тишину. Нигде не было видно ни единого проблеска света, ничто не нарушало тишины, лишь его голени на мгновение овеял поток теплого, даже горячего воздуха. Мистер Даннинг вернулся в спальню и решил запереть дверь изнутри. Неприятности, однако, еще не закончились. То ли местная электрокомпания, решив, что ее услуги в ночное время не нужны, отключила свет в целях экономии, то ли что-то случилось со счетчиком, но только электричества в доме не было. Даннинг ощутил вполне естественное в этой ситуации желание отыскать спички и выяснить, который час и как долго ему еще придется терпеть неудобство. С этим намерением он запустил руку в хорошо знакомый укромный уголок под подушкой, но вместо часов наткнулся на то, что, как он уверяет, было зубастым ртом, поросшим волосами и ничуть не похожим на человеческий. Едва ли есть смысл гадать, что он в этот момент сказал или сделал; известно только, что, сам не понимая как, он оказался в соседней комнате возле запертой изнутри двери, к которой настороженно припал ухом. Там он и провел остаток самой несчастной в его жизни ночи, ежесекундно ожидая уловить движение за дверью; однако больше ничего не случилось.

Утром, то и дело вздрагивая и вслушиваясь в тишину, он вернулся в спальню. Дверь, к счастью, была распахнута настежь, а жалюзи подняты (поскольку накануне служанки покинули дом еще до наступления темноты). Одним словом, ничто не говорило о том, что в комнате кто-то побывал. Часы мистера Даннинга также находились на своем обычном месте; все пребывало в полном порядке — кроме разве что дверцы платяного шкафа, как всегда, немного приоткрытой. С черного хода раздался звонок, который возвестил о приходе поденщицы, нанятой днем раньше; с ее появлением мистер Даннинг достаточно осмелел, чтобы перенести свои поиски в другие уголки дома. Но и там его разыскания не увенчались каким-либо успехом.

Начавшийся подобным образом день и продолжился довольно уныло. Отправиться в музей мистер Даннинг не решился: вопреки уверению дежурного, Карсвелл мог в любой момент там появиться, а Даннинг не чувствовал в себе сил противостоять враждебно настроенному незнакомцу. Собственный дом сделался ему ненавистен, однако и злоупотреблять гостеприимством доктора было неловко. Он несколько приободрился, когда, дозвонившись до больницы и справившись о самочувствии горничной и экономки, услышал обнадеживающий ответ. Близилось время ланча, и Даннинг отправился в клуб, где нашелся еще один повод для радости: он повстречался там с секретарем вышеупомянутой Ассоциации. За ланчем он рассказал своему другу о поразившем его домоуправительниц недуге, однако не решился поведать о том, что сильнее всего тяготило его душу.

— Как это печально, мой бедный дорогой друг! — воскликнул секретарь. — Послушайте: мы с женой живем совершенно одни; вам следует на некоторое время поселиться у нас. И не возражайте: сегодня же днем присылайте свои вещи!

Даннинг не нашел в себе сил воспротивиться этой идее: по правде говоря, его, что ни час, все сильнее терзали мысли о том, что принесет ему ближайшая ночь. Он был почти счастлив, когда, охваченный нетерпением, возвращался домой собирать вещи.

Друзья, к которым мистер Даннинг вскоре прибыл, как следует присмотревшись к нему, поразились его удрученному виду и, как могли, постарались поднять ему настроение — надо сказать, не без успеха. Однако позднее, когда мужчины курили вдвоем, лицо Даннинга вновь омрачилось. Неожиданно он произнес:

— Гэйтон, мне кажется, тот алхимик знает, что его доклад отклонен по моей рекомендации.

Секретарь присвистнул.

— Почему вы так думаете? — спросил он.

Даннинг пересказал ему свой разговор с сотрудником музея, и Гэйтон вынужден был признать, что догадка друга, по всей видимости, верна.

— Не то чтобы я был сильно обеспокоен, — продолжал Даннинг, — но, доведись нам встретиться, могут быть неприятности. Как мне кажется, он довольно вздорный субъект.

Разговор вновь прервался; лицо и весь облик Даннинга выдавали все возрастающее отчаяние; проникшись участием к другу, Гэйтон в конце концов собрался с духом и спросил напрямик, не гнетет ли его что-то серьезное. Даннинг в ответ издал возглас облегчения.

— Я тщетно пытался прогнать от себя эти мысли, — сказал он. — Вам что-нибудь известно о человеке по имени Джон Харрингтон?

Гэйтон был так поражен услышанным, что вместо ответа лишь поинтересовался, почему Даннинг об этом спрашивает. И тот поведал секретарю всю историю своих злоключений — обо всем, что произошло с ним в трамвае, в его собственном доме и на улице, о тревоге, которая охватила его и никак не хотела исчезать, — и под конец повторил свой вопрос. Гэйтон не знал, что ответить другу. Вероятно, стоило бы рассказать ему о том, как умер Харрингтон; вот только находившийся в нервическом состоянии Даннинг едва ли был подходящим слушателем для такого рассказа, да и вертевшийся в голове вопрос, не является ли Карсвелл звеном, связующим оба случая, никак не способствовал принятию решения. Человеку науки было нелегко допустить подобное; впрочем, термин «гипнотическое внушение» мог смягчить ситуацию. В конце концов секретарь решил, что пока следует ответить на вопрос Даннинга осторожно и нынче же вечером обсудить эту тему с женой. Поэтому он сказал, что знал Харрингтона в Кембридже, что, кажется, тот внезапно умер в 1889 году, и добавил к этому некоторые подробности касательно самого Харрингтона и опубликованных им работ. Несколько позже он переговорил обо всем этом с миссис Гэйтон, и она, как и предвидел супруг, незамедлительно сделала вывод, к которому он склонялся и сам. Именно она напомнила мужу о Генри Харрингтоне, брате покойного Джона, и посоветовала связаться с ним через друзей, у которых им недавно довелось побывать в гостях.

— Он, должно быть, неисправимый чудак, — возразил ей Гэйтон.

— Это можно выяснить у Беннетов, они хорошо его знают, — ответила миссис Гэйтон и на следующий же день встретила с упомянутой четой.

Вряд ли имеет смысл излагать дальнейшие подробности знакомства Даннинга с Генри Харрингтоном. Зато нельзя обойти вниманием состоявшуюся между ними беседу. Даннинг рассказал

Харрингтону, каким странным образом ему стало известно имя покойного, а также поведал о череде более поздних событий из собственной жизни. Потом он спросил, не мог бы Харрингтон в свою очередь припомнить обстоятельства, при которых умер его брат. Нетрудно представить себе, насколько собеседник Даннинга был удивлен услышанным; тем не менее он с готовностью ответил на вопрос.

— В течение нескольких недель, предшествовавших трагедии (хотя и не перед самым концом), Джон, несомненно, временами пребывал в очень странном состоянии, — сказал он. — Тому есть ряд подтверждений, главное из которых заключается в том, что ему казалось, будто его кто-то преследует. Несомненно, он был впечатлительным человеком, но подобных навязчивых идей за ним прежде не замечалось. Я никак не могу отделаться от мысли, что случившееся с ним стало следствием чьей-то злой воли, а ваш рассказ о собственных злоключениях живо напомнил мне о моем брате. Как вы думаете, здесь может существовать какая-то связь?

— У меня есть только одно смутное предположение. Я слышал, что ваш брат незадолго до смерти опубликовал весьма нелицеприятный отзыв об одной книге, а мне совсем недавно довелось перейти дорогу тому самому человеку, который ее написал, и здорово его этим обидеть.

— Только не говорите, что его фамилия Карсвелл!

— Почему же? Именно о нем и идет речь.

Генри Харрингтон откинулся на спинку кресла.

— Тогда, на мой взгляд, все очевидно. Теперь я должен объяснить подробнее. Разговаривая с братом, я убедился, что он, сам того не желая, начал видеть в Карсвелле источник своих несчастий. Расскажу вам кое о чем, что, по-моему, имеет отношение к делу. Мой брат очень любил музыку и часто посещал концерты, проходящие в городе. Как-то раз, месяца за три до смерти, вернувшись с одного такого концерта, он показал мне программку — обзорную программку: он всегда их сохранял. «На этот раз я едва без нее не остался, — сказал он. — Вероятно, свой экземпляр я выронил. Во всяком случае, я искал ее под креслом, в карманах и в разных других местах, и в итоге мой сосед предложил мне свою, сказав, что она ему больше не нужна; почти сразу после этого он ушел. Кто это был, я не знаю: такой полноватый,

чисто выбритый человек. Мне было бы жаль лишиться программки: конечно, я мог бы купить еще одну, но эта-то досталась мне даром». Впоследствии он признался мне, что по пути в гостиницу и в продолжение ночи чувствовал себя крайне неудобно. Вспоминая это теперь, я мысленно связываю те события в единую нить. Некоторое время спустя он разобрал свои программки, раскладывая их по порядку, чтобы затем переплести, и на первой странице той, которую обронил в театре (и на которую я тогда, признаться, едва глянул), обнаружил полоску бумаги с какими-то странными письменами; выведенные чрезвычайно аккуратно красными и черными чернилами, эти буквы более всего напомнили мне руническое письмо. «О! — воскликнул он. — Должно быть, это принадлежит моему полноватому соседу. Судя по ее виду, эта запись важная и ее следует вернуть владельцу; возможно, она откуда-то скопирована и определенно стоила кому-то немалого труда. Как бы мне узнать его адрес?» Коротко посоветовавшись, мы решили, что не стоит давать объявление о находке — лучше поискать того человека на очередном концерте, куда мой брат в скором времени собирался. Было это в холодный, ветреный летний вечер; мы вдвоем сидели возле камина, а пресловутая находка лежала поверх книжного переплета. Полагаю, ветер приоткрыл дверь, хотя сам я этого не видел; так или иначе, поток теплого воздуха внезапно прошел между нами, подхватил бумажную полоску с надписью и направил ее напрямик в огонь; легкая и тонкая, она ярко вспыхнула и пепельным лепестком улетела в дымоход. «Ну вот, — сказал я, — теперь ты не сможешь ее вернуть». С минуту он молчал, потом раздраженно бросил: «Сам знаю, что не смогу; но зачем без конца это повторять?» Я возразил ему, заметив, что упомянул о потере всего один раз. «Всего четыре раза, ты хотел сказать», — произнес он и умолк. Это происшествие запомнилось мне необычайно ясно — уже не знаю, по какой причине.

Теперь перехожу к самому главному. Не знаю, случалось ли вам заглядывать в книгу Карсвелла, которую рецензировал мой несчастный брат, но подозреваю, что нет. А вот мне доводилось читать ее, причем как до, так и после кончины брата. В первый раз мы потешались над ней вместе с Джоном. Там нет даже намека на какой бы то ни было стиль — незавершенные периоды и всевозможные ошибки, от которых любому выпускнику Оксфорда сделалось бы

дурно. Кроме того, автор безоговорочно верит во все, о чем пишет: классические мифы и истории из «Золотой легенды» перемешаны у него с документальными рассказами про обычаи современных дикарей; все это, несомненно, заслуживает серьезного отношения, но только надо уметь это использовать — а он, увы, не умеет: он, похоже, не видит разницы между «Золотой легендой» и «Золотой ветвью» и верит им обеим; одним словом, жалкое зрелище. Так вот, уже после того как с братом произошло несчастье, мне довелось перечитать эту книгу. Она, разумеется, не стала лучше, но на сей раз открылась мне в каком-то ином свете. Я, как вы уже знаете, подозревал, что Карсвелл питал враждебные чувства к моему брату и даже был в известной мере повинен в случившемся; и теперь эта книга показалась мне в высшей степени зловещим произведением. Особенно поразила меня одна глава, где он говорит о «подброшенных рунах», с помощью которых можно привязывать к себе людей или, напротив, убирать их со своего пути (главным образом последнее); то, как об этом сказано, заставляет думать, что автор рассуждал о подобных заклятиях, исходя из собственного реального опыта. Сейчас не время вдаваться в детали, но в результате своих размышлений я совершенно уверился, что тем любезным человеком на концерте был Карсвелл. Я подозреваю — даже более чем подозреваю, — что сгоревшая бумажка имела важное значение, и мне верится, что, сумей мой брат вернуть ее, он, возможно, был бы сейчас жив. И потому хочу спросить: не случилось ли с вами чего-то похожего на то, что рассказал я?

В ответ Даннинг поведал о происшествии в Отделе рукописей Британского музея.

— Так, значит, он и вправду передал вам какие-то бумаги? Вы их рассмотрели? Нет? Тогда, с вашего позволения, нам необходимо взглянуть на них тотчас же, и притом очень внимательно.

Они отправились в дом Даннинга, по-прежнему пустовавший; обе служанки были еще слишком слабы, чтобы вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Папка для бумаг лежала на письменном столе, постепенно покрываясь пылью. Внутри обнаружилась пачка листков небольшого формата, которые Данниг использовал для беглых заметок; он вынул их и принялся перебирать, и вдруг от одного из листков отделилась легкая тонкая бумажная полоска, с удивительной быстротой заскользившая по кабинету. Окно

было открыто, но Харрингтон захлопнул его как раз вовремя, чтобы не дать бумажке выпорхнуть наружу, и сумел схватить ее на лету.

— Так я и думал, — произнес он. — Эта штука, может стать, того же рода, что и полученная моим братом. Отныне вам следует соблюдать осторожность, Даннинг. Это может иметь для вас очень серьезные последствия.

Затем они долго совещались. Тщательное исследование найденной бумажки подтвердило правоту слов Харрингтона: начертанные на ней знаки более всего походили на руны, однако расшифровке не поддавались; ни Даннинг, ни Харрингтон не решились скопировать эти знаки — из опасения придать сил злой воле, которая могла в них таиться. Немного забегая вперед, заметим, что это необычное послание или поручение так и осталось неп прочтенным. Однако ни Даннинг, ни Харрингтон не сомневались, что обнаруженный ими документ обладает способностью окружать своих владельцев крайне нежелательными спутниками. Оба они были убеждены, что его нужно вернуть туда, откуда он появился, причем для большей уверенности в успехе необходимо сделать это собственноручно; последнее предполагало немалую изобретательность, ибо Карсвелл знал Даннинга в лицо, и тому требовалось по крайней мере сбрить бороду, чтобы как-то изменить внешность. Но что, если удар будет нанесен раньше? Харрингтон заявил, что они сумеют рассчитать время. Он знал дату концерта, на котором его брату была вручена «черная метка»: это случилось 18 июня, а смерть Джона Харрингтона последовала 18 сентября. Даннинг напомнил ему, что в надписи на вагонном стекле говорилось о трех месяцах отсрочки.

— Возможно, мне тоже выдан кредит на три месяца, — добавил он с грустной усмешкой. — Думаю, я могу установить это по своему дневнику. Да, та встреча в музее произошла двадцать третьего апреля, что переносит меня — если аналогия верна — в двадцать третье июля. Что ж, полагаю, вы понимаете, как важно для меня знать все, что вам будет угодно рассказать о постепенно разраставшейся черной полосе в жизни вашего брата, — если вы чувствуете в себе силы говорить об этом.

— Конечно. Сильнее всего прочего его угнетало чувство, что за ним постоянно следят, неизменно обострявшееся, когда он оставался один. Спустя некоторое время я стал ночевать в его спальне, и он

несколько приободрился; правда, часто разговаривал во сне. О чем именно? Не знаю, разумно ли вдаваться в эти подробности, по крайней мере, пока задуманное нами не осуществлено. Полагаю, что нет, но могу сообщить вам вот что: как раз в те недели ему пришли по почте две посылки — обе с лондонским штемпелем и адресом получателя, написанным казенным почерком. В одной из них находился грубо вырванный из какой-то книги лист с гравюрой Бьюика, изображающей человека на залитой лунным светом дороге, за которым следует некое ужасное демоническое создание. Ниже шли строки из «Сказания о Старом Мореходе» (которое, как я полагаю, и иллюстрировала гравюра) о том, кто, однажды обернувшись,

не смотрит более назад,
Лишь ускоряет шаг,
Поскольку знает, что за ним
Крадется страшный враг.

В другой посылке был отрывной календарь, из тех, какие нередко рассылают торговцы. Мой брат не удостоил его вниманием, но я — уже после смерти Джона — перелистал этот календарь и обнаружил, что все листки в нем после 18 сентября вырваны. Вас, верно, удивляет, что он отважился предпринять одинокую прогулку в тот вечер, когда его убили, но дело в том, что дней за десять до смерти он совершенно избавился от ощущения слежки и чьего-то присутствия у себя за спиной.

Посоветовавшись, Харрингтон и Даннинг договорились о том, как будут действовать дальше. Харрингтон был знаком с одним из соседей Карсвелла и полагал, что это позволит ему отслеживать передвижения последнего. От Даннинга же требовалось быть готовым в любой момент встретиться с Карсвеллом, имея при себе бумажку с рунами — целую и невредимую и при этом хранящуюся в таком месте, откуда ее можно без труда извлечь.

На этом они расстались. Последующие несколько недель стали, без сомнения, суровым испытанием для нервов Даннинга: казалось, в тот день, когда он принял из рук Карсвелла листок, вокруг него образовался неосызаемый барьер, постепенно сгущавшийся в давящую тьму, которая отсекала любые возможные пути спасения. Рядом с ним не было никого, кто мог бы указать ему подобные пути, а действовать

самостоятельно у него, похоже, не было сил. На протяжении мая, июня и первой половины июля он в неопишуемой тревоге ждал сигнала от Харрингтона. Однако Карсвелл за все это время ни разу не покинул пределы Лаффорда.

Наконец, когда оставалось уже меньше недели до того дня, который воспринимался Даннингом как дата окончания его земной жизни, пришла телеграмма: «Выезжает с вокзала „Виктория“ в четверг ночным поездом, с последующей пересадкой на пароход. Не упустите. Буду у вас вечером. Харрингтон».

Он прибыл в назначенный час, и они составили план действий. Поезд отправлялся с вокзала «Виктория» в девять вечера, и последней его остановкой перед Дувром был Кройдон-Вест. Харрингтону предстояло выследить Карсвелла на вокзале и найти в Кройдоне Даннинга, окликнув его, если потребуется, по заранее условленному имени. Тот в свою очередь должен был насколько возможно изменить внешность, снять с багажа все именные бирки и непременно иметь при себе пресловутый листок.

Волнение, в котором пребывал Даннинг, дожидаясь поезда на кройдонской платформе, думается, понятно без слов. В последние дни угнетавшее его чувство неотвратимой опасности лишь обострилось, несмотря на то что мрак вокруг него заметно рассеялся; облегчение, которое он испытал поначалу, являло собой зловещий симптом, и если Карсвеллу удастся ускользнуть (а это было вполне вероятно, даже слух о его предполагаемом путешествии мог оказаться не более чем хитроумной уловкой), то всякая надежда на спасение будет потеряна. Двадцать минут, в течение которых он мерил шагами платформу и додумал носильщиков вопросами о том, когда придет поезд, были едва ли не самыми мучительными в его жизни. Наконец поезд прибыл, и Даннинг увидел Харрингтона в окне одного из вагонов. Чтобы ничем не выдать факт их знакомства, Даннинг вошел в вагон с дальнего конца и лишь затем неторопливо приблизился к купе, в котором ехали Карсвелл и Харрингтон, не без удовольствия отметив про себя, что в поезде сравнительно не много пассажиров.

Карсвелл был настороже, но, судя по всему, не узнал Даннинга. Тот уселся наискосок от него и попытался — сперва безуспешно, но потом постепенно обретая самообладание — оценить, насколько возможна желанная передача. Рядом с ним на сиденье лежала целая груда принадлежавшей Карсвеллу верхней одежды, однако исподтишка засовывать туда листок не имело смысла: для того чтобы оказаться (и почувствовать себя) в безопасности, необходимо было каким-то образом передать Карсвеллу бумагу из рук в руки. Взгляд Даннинга упал на открытый саквояж противника и лежавшие внутри бумаги. Что, если изловчиться и незаметно убрать этот саквояж с глаз хозяина, чтобы Карсвелл забыл про него, выходя из вагона, а затем догнать попутчика и вручить ему потерю? Такой план напрашивался сам собой. Как пригодился бы сейчас совет Харрингтона! Но на это рассчитывать, увы, не приходилось. Одна за другой тянулись минуты. Несколько раз Карсвелл поднимался и выходил в коридор; во время второй его отлучки Даннинг уже приготовился было столкнуть саквояж на пол, но спохватился, поймав предостерегающий взгляд Харрингтона. Противник наблюдал за происходящим в купе из коридора, желая выяснить, знакомы ли его попутчики друг с другом. По возвращении он выглядел явно встревоженным; и когда он опять поднялся со своего места, возник проблеск надежды, ибо

что-то соскользнуло с его сиденья и с тихим шелестом упало на пол. Карсвелл снова вышел и на сей раз встал так, что его не было видно через окно в купейной двери. Даннинг поднял упавший предмет и обнаружил, что ключ к решению проблемы находится у него в руках: это был билетный футляр Кука с билетами внутри. На внешней стороне футляра имелся карман; не прошло и нескольких секунд, как неизвестная бумажная полоска оказалась в этом кармане. Для подстраховки операции Харрингтон встал у двери и начал поправлять штору на окне. Дело было сделано, и сделано как раз вовремя, поскольку поезд уже начал замедлять ход, приближаясь к Дувру.

Мгновением позже Карсвелл возвратился в купе. Даннинг протянул ему футляр и произнес с неожиданной для него самой твердостью в голосе:

— Позвольте отдать вам это, сэр. Кажется, это ваше.

Мимоходом глянув на билет, лежавший внутри, Карсвелл произнес желанный ответ: «Да, это мое, премного благодарен вам, сэр», — и затем убрал футляр в нагрудный карман.

Даже в немногие оставшиеся до прибытия в Дувр минуты — минуты, полные напряжения и тревоги, связанных с риском преждевременного обнаружения подброшенного листка, — оба джентльмена заметили, что в купе вокруг них как будто начала сгущаться тьма, а воздух стал теплее, и что Карсвелл сделался подавленным и беспокойным: он притянул к себе груды одежды и затем оттолкнул обратно, словно испытывая к ней отвращение, после чего сел прямо и подозрительно оглядел своих попутчиков. Те, испытывая тошнотворный страх, принялись все же собирать свои вещи; когда поезд остановился в Дувр-тауне, обоим показалось, что Карсвелл вот-вот заговорит с ними. Вполне естественно, что на коротком перегоне между городом и причалом они предпочли выйти в коридор.

На конечной остановке — возле причала — они покинули вагон, но, поскольку в поезде было совсем не много пассажиров, Харрингтону и Даннингу пришлось, разделившись, задержаться на платформе до тех пор, пока Карсвелл не проследовал в сопровождении носильщика мимо них, направляясь к пароходу. Только тогда они смогли без опаски пожать друг другу руки и обменяться горячими поздравлениями, при этом Даннинг от радости

едва не лишился чувств. Харрингтон прислонил его к стене, а сам, пройдя чуть вперед, оказался неподалеку от трапа, к которому в этот момент как раз приблизился Карсвелл. Контролер проверил его билет, и пассажир, нагруженный своими пальто и пледами, прошел по трапу на борт. Внезапно контролер окликнул его: «Прошу прощения, сэр, а второй джентльмен показал свой билет?» В ответ с палубы донесся раздраженный голос Карсвелла: «Какого черта вы имеете в виду?» Контролер наклонился и посмотрел на него, и Харрингтон расслышал, как он произнес вполголоса: «Черт? Что ж, может, оно и так, я не поручусь», а потом громко добавил: «Я ошибся, сэр. Должно быть, это ваши пледы. Прошу прощения!» Затем он сказал своему подчиненному, стоявшему рядом: «Собака с ним, что ли? Чудно. Я готов поклясться, что он был не один. Ладно, что бы это ни было, с ним разберутся на борту. Пароход уже отбывает. Еще неделя, и повалят отпускники».

Пять минут спустя с причала, озаренного луной и светом множества фонарей на дуврской набережной и овеваемого ночным бризом, были видны лишь тающие вдаль огни парохода.

Много часов просидели эти двое в номере гостиницы «Лорд-губернатор». Несмотря на то, что главная причина их страха была устранена, обоих одолевали тяжкие сомнения. Они были уверены, что послали человека на верную смерть, — но правильно ли они поступили? И не следовало ли хотя бы предупредить его о грозящей ему опасности?

— Нет, — сказал Харрингтон. — Если он убийца, а я в этом убежден, то мы всего лишь воздали ему по заслугам. Впрочем, если вы считаете, что так будет лучше... Но как и где вы могли бы предупредить его?

— У него билет только до Абвиля, — ответил Даннинг. — Я успел это заметить. Если я отправлю во все тамошние гостиницы, упомянутые в путеводителе Джоанна, телеграммы, в которых будет сказано: «Проверьте свой билетный футляр. Даннинг», то тем самым сниму с души камень. Сегодня двадцать первое, значит, у него будет в запасе целый день. Но боюсь, он уже безвозвратно ушел во тьму.

Текст телеграммы был передан для незамедлительной отправки в администрацию гостиницы «Лорд-губернатор»; однако получил ли адресат одно из этих посланий и, если получил, верно ли его понял,

неизвестно. Известно лишь, что в полдень двадцать третьего июля некий английский путешественник, осматривая фасад церкви Святого Вольфрама в Абвиле, где в то время шли масштабные реставрационные работы, был поражен в голову камнем, который упал со строительных лесов, окружавших северо-западную башню, и погиб на месте; совершенно точно установлено, что на лесах в тот момент не было ни одного рабочего. Согласно найденным при нем документам, этим путешественником был мистер Карсвелл.

Остается добавить только одну подробность. При распродаже имущества Карсвелла Харрингтон приобрел довольно подержанное собрание работ Бьюика. Как он и предполагал, лист с гравюрой, изображающей путника и демона, был безжалостно вырван. И еще: благоразумно выждав некоторое время, Харрингтон решил рассказать Даннингу кое-что из того, что говорил во сне его брат; но Даннинг очень скоро прервал поток его воспоминаний.

Эдвард Фредерик Бенсон

(1867–1940)

Корстофайн

Пер. с англ. Л. Бриловой

Однажды я получил письмо от Фреда Беннетта. Он писал, что собирается рассказать мне одну очень любопытную историю, и напрашивался в гости денька на два-три. Время устроило меня как нельзя лучше, и в назначенный день перед обедом мой приятель прибыл. Мы с ним были одни, но, когда я намекнул, что готов — более того, изнываю от нетерпения — выслушать обещанный рассказ, Фред ответил, что предпочитает чуть-чуть повременить.

— Давай-ка сперва проясним наши позиции, — предложил он. — Для начала всегда следует договориться о принципах.

— Привидения? — спросил я, поскольку знал, что все имеющее отношение к оккультизму для него куда более реально, чем обыденная действительность.

— Вот уж не знаю, как ты это истолкуешь, — задумчиво проговорил он, — возможно, объяснишь происшедшее совпадением. Но ты знаешь, я в совпадения не верю. По мне, такой вещи, как слепой случай, просто не существует. То, что мы называем случаем, на самом деле есть проявление неведомого нам закона.

— Ну-ка, поподробней.

— Что ж, возьмем восход солнца. Если бы мы ничего не знали о вращении Земли, то, наблюдая, как солнце восходит каждый день почти в то же время, что накануне, назвали бы это совпадением. Но нам известен, в большей или меньшей степени, закон, управляющий этим феноменом, вот почему в данном случае о совпадении мы не говорим. С этим ты согласен?

— Пока что да. Возражений не имею.

— Хорошо. Мы знаем о вращении Земли и поэтому можем с уверенностью предсказать завтрашний восход. Знание прошлого дает нам возможность заглянуть в будущее, вот почему, услышав, что завтра взойдет солнце, мы не назовем это сообщение пророчеством.

Подобным же образом если бы кому-нибудь были заранее точно известны траектории движения «Титаника» и айсберга, с которым он столкнулся, то этот человек смог бы предсказать предстоящее крушение и время, когда оно произойдет. Короче говоря, знание будущего обусловлено знанием прошлого — имей мы абсолютно все сведения о первом, таким же всеобъемлющим было бы знание и второго.

— Это не совсем так, — отозвался я. — В дело может вмешаться какой-нибудь посторонний фактор.

— Но и он определяется прошлым.

— Сам твой рассказ так же сложен для понимания, как и вступление?

Фред рассмеялся.

— Сложнее, причем намного. По крайней мере, при его толковании придется столкнуться с немалыми трудностями, если ты не предпочтешь к простым и бесхитростным фактам отнести столь же просто и бесхитростно. Я не вижу иного способа объяснить происшедшее, кроме признания единства прошлого, настоящего и будущего.

Фред отодвинул тарелку, облокотился о стол и воззрился на меня в упор. Подобных глаз я ни у кого больше не видел. Взгляд Фреда обладает поразительным свойством: он то проникает сквозь тебя, фокусируясь где-то вдали, за твоей спиной, то вновь возвращается к твоему лицу.

— Разумеется, время, если взять его все в совокупности, является не более чем бесконечно малой точкой на шкале вечности. После того как мы выйдем за пределы времени, то есть умрем, оно представится нам точкой, обзриваемой со всех сторон. Есть люди, которым даже при жизни случается воспринимать время в его единстве. Мы называем их ясновидящими: им являются ясные и достоверные картины будущего. А может быть, дело обстоит иначе: они пророчествуют благодаря тому, что им открыто прошлое, как в приведенном мной примере с «Титаником». Если бы нашелся человек, способный предсказать гибель «Титаника», и ему поверили бы окружающие, несчастье можно было бы предотвратить. Я привел два возможных объяснения — выбирай любое.

Для меня не было секретом, что мистические озарения, о которых говорил Фред, случались с ним самим, причем не однажды. Поэтому я догадывался, какого рода историю мне предстоит услышать.

— Стало быть, речь идет о видении, — сказал я, вставая. — Говори же, или я лопну от любопытства.

Вечер выдался на редкость душный, поэтому мы удалились не в другую комнату, а в сад, где благодаря ветерку и росе чувствовалась свежесть. Солнце ушло за горизонт, но зарево все еще стояло в небе, над головой пронзительно кричала стая стрижей, в теплом воздухе разливался тонкий аромат роз с клумбы. Слуга оборудовал для нас снаружи уютное пристанище: два плетеных стула и на всякий случай карточный столик. Там мы и обосновались.

— И главное, — попросил я, — излагай все полностью, во всех подробностях, иначе мне придется без конца перебивать тебя вопросами.

С разрешения Фреда я передаю эту историю в точности так, как услышал. Пока длился наш разговор, спустилась ночь, удалились от своих шумных хлопот стрижи, уступив место летучим мышам с их едва слышным, но все же более резким, чем крики стрижей, писком. Редкие вспышки спички, скрип плетеного стула — ничто иное не прерывало рассказ.

— Однажды вечером, недели три назад, — говорил Фред, — я обедал с Артуром Темплом. Присутствовали также его жена и свояченица, но около половины одиннадцатого дамы отправились на бал. Мы с Артуром оба ненавидим танцы, и он предложил мне партию в шахматы. Их я обожаю, играю из рук вон плохо, но во время игры ни о чем другом думать уже не могу. В тот вечер, однако, партия складывалась весьма благоприятно для меня, и, дрожа от возбуждения, я начал сознавать, что, как ни странно, в перспективе — ходов эдак через двадцать — маячит выигрыш. Упоминаю об этом, чтобы показать, насколько я был в те минуты сосредоточен на игре.

Пока я размышлял над ходом, грозившим моему сопернику скорым и неминуемым поражением, передо мной, как чертик из табакерки, внезапно возникло видение. Подобные уже являлись мне прежде раз или два. Я протянул руку, чтобы взять ферзя, но тут и шахматная доска, и все прочее, что меня окружало, бесследно исчезло, и я

очутился на платформе железнодорожной станции. Вдоль платформы тянулся поезд, который — я знал это — только что привез меня сюда. Мне было также известно, что через час подойдет другой поезд и на нем мне предстоит отправиться к какому-то неведомому месту назначения. Напротив находилась доска с названием станции; покуда я о нем умолчу, чтобы ты не догадался, о чем пойдет речь дальше. Я нисколько не сомневался, что именно здесь и должен находиться, но в то же время, если память мне не изменяет, ни разу не слышал этого названия раньше. Мой багаж был сложен рядом, на платформе. Я поручил его заботам носильщика, как две капли воды похожего на Артура Темпла, и сказал, что собираюсь прогуляться, а к прибытию поезда вернуться.

Дело происходило днем (я знал это, несмотря на сумрак); стояла предгрозовая духота. Я прошел через здание вокзала и оказался на площади. Справа, за несколькими небольшими садиками, местность круто возвышалась и переходила вдали в вересковую пустошь, налево громоздились бесчисленные строения, из высоких труб которых извергался вонючий дым, вперед же, меж беспорядочно сгрудившихся домов, тянулась длинная улица. Ни в окнах этих бедных и унылых жилищ, построенных из серого выцветшего камня и крытых шифером, ни на всем бесконечном протяжении улицы не виднелось ни единого живого существа. Возможно, предположил я, все местные жители трудятся сейчас в мастерских — тех, что я заметил по левую руку, — но куда попрятались дети? Поселок казался вымершим, и в этом чудилось что-то печальное и тревожное.

На мгновение я задумался над тем, что предпочесть: прогулку по этим безрадостным местам или ожидание на вокзале с книгой. И тут я почему-то ощутил, что мне нужно идти, ибо за этой длинной пустынной улицей меня ждет важное открытие. Я знал одно: идти необходимо, хотя и не ясно зачем и куда. Я пересек площадь и вышел на улицу.

Как только я двинулся вперед, ощущение, давшее мне толчок, полностью развеялось (вероятно, потому, что сделало свое дело); в памяти осталось одно: я жду поезда и прогуливаюсь, чтобы убить время. Конец улицы терялся вдали, на холме; по обе стороны стояли приземистые двухэтажные дома. Несмотря на удушающую жару, двери и окна были наглухо закрыты; всюду царило полное безлюдье.

Ничьи шаги, кроме моих, не нарушали тишину. Не порхали по карнизам и канавам воробьи, не крались вдоль домов и не дремали на ступеньках коты; ни единая живая душа не показывалась на глаза и не выдавала своего присутствия какими-либо звуками.

Я шел и шел, пока наконец не понял, что улица кончается. На одной стороне домов не стало и потянулись мрачные пустые пастбища. И тут в моем мозгу, подобно отдаленной молнии вспыхнула мысль: моему взгляду недоступно ничто живое, так как у меня нет с живущими ничего общего. Вокруг, возможно, кишмя кишат дети, взрослые, коты и воробьи, но я не один из них, я попал сюда иным путем, и то, что привело меня в эту пустынную местность, к жизни не имеет никакого отношения. Я не могу высказать эту мысль яснее, настолько неопределенной и мимолетной она была. На другой стороне улицы дома тоже кончились, и я шел теперь унылой деревенской дорогой. Справа и слева тянулись чахлые живые изгороди. Быстро надвигались и густели сумерки, горячий воздух застыл в неподвижности. Дорога сделала крутой поворот. По одну сторону по-прежнему простиралась открытая местность, по другую же мой взгляд уперся в высокую каменную стену. Я уже начал гадать, что прячется там, за стеной, когда набрел на большие железные ворота и через решетку разглядел кладбище. Ряд за рядом в полумраке тускло поблескивали надгробия; в дальнем конце едва виднелись скаты крыши и низкий шпиль часовни. Смутно ожидая чего-то для себя важного, я вошел в раскрытые ворота и по заросшей сорняками гравиевой дорожке направился к часовне. Взглянув при этом на свои часы, я убедился, что полчаса уже на исходе и вскоре придется возвращаться. Я знал, однако, что пришел сюда не просто так.

Надгробий вокруг больше не было, и от часовни меня отделяло открытое пространство, поросшее травой. Мне попалось на глаза одиноко стоявшее надгробие, и, повинувшись особого рода любопытству, заставляющему нас иногда склоняться, чтобы прочесть надписи на могильных камнях, я свернул с тропы.

Надгробие, хотя и свежее (судя по тому, как оно белело в сумраке), уже успело порости мхом и лишайником, и мне подумалось, что здесь, возможно, покоится странник, умерший на чужбине, где нет ни родных, ни друзей, чтобы присмотреть за могилой. При виде растительности, целиком скрывшей надпись, во мне шевельнулась

жалость к несчастному, столь скоро забытому миром. Кончиком трости я принялся расчищать буквы. Мох отваливался кусок за куском, уже показалась надпись, но тьма успела так сгуститься, что букв я не различал. Я зажег спичку и поднес к надгробию. На камне было высечено мое собственное имя.

Я услышал испуганное восклицание и понял, что оно вырвалось из моих уст. Тут же послышался смех Артура Темпла, и я снова очутился у него в гостиной, перед шахматной доской, на которую взирал с огорчением. Ход, сделанный Артуром, оказался сюрпризом и развеял в прах все мои победные планы.

— А полминуты назад, — проговорил Темпл, — я думал, что дела мои швах.

Через несколько ходов игра пришла к печальному завершению, мы перекинулись еще несколькими словами, и я отправился восвояси. Мое видение уложилось в те полминуты, которые Темпл затратил на свой ход, ведь до того, как перенестись за тридевять земель, я успел пойти ферзем.

Фред примолк, и я решил, что его история достигла финала.

— Странное дело, — заговорил я, — это одно из тех ничего не значащих, но любопытных впечатлений, которые время от времени вторгаются в нашу обыденную жизнь. Бог знает, откуда они исходят, но что они никуда не ведут, можно утверждать с уверенностью. Кстати, как называлась та станция? Ты не выяснял, не напоминает ли твое видение реально существующую местность? Не обнаружил ли ты совпадений?

Должен признаться, я был немного разочарован, хотя рассказывал Фред поистине мастерски. Не исключая, что временами ясновидящим и медиумам бывает дано приоткрыть завесу, за которой в тесном соседстве с нашим собственным прячется иной мир, незримый и неведомый, и он становится доступен существам, пребывающим в физическом плане бытия, — но в чем смысл таких видений? Смысла нет, и то же самое можно было сказать и об услышанной истории. Если даже в конечном счете Фреда Беннетта похоронят на кладбище вблизи привидевшегося ему сумеречного опустелого городка, что пользы знать об этом заранее? Если, воспользовавшись случаем заглянуть в иной, обычно заповедный мир,

мы не узнаём ничего хоть сколько-нибудь ценного и интересного, то к чему нам такая возможность?

Фред бросил на меня свой пронизывающий, устремленный в неведомую даль взгляд и рассмеялся.

— Нет, — ответил он, — вернее, не в совпадениях, как ты их называешь, суть моей истории. Что же до названия станции — потерпи, вскоре оно всплывет.

— О, так это еще не все?

— Ну да, разумеется, ты ведь просил рассказывать со всеми подробностями. То, что ты слышал, это пролог или же первый акт. Так мне продолжать?

— Конечно же. Извини.

— Итак, я вновь находился в комнате Артура, видение не продлилось и минуты, приятель не заметил ничего необычного: я всего-навсего глазел на шахматную доску, а когда он сделал ход, нарушивший мои планы, от досады вскрикнул. Потом, как я уже говорил, мы немножко побеседовали и он упомянул, что им с женой, возможно, предстоит поездка в Йоркшир. Там, по дороге в Уитсантайд, находится усадьба Хелиат, которую оставил жене в наследство ее недавно скончавшийся дядя. Расположена она на возвышенности, среди вересковых пустошей. Осенью там можно охотиться, а сейчас как раз сезон ловли форели. Они, может быть, выберутся туда недельки на две. Артур предложил мне провести неделю с ними в Хелиате, если у меня нет других планов. Я охотно согласился, но поездка, как ты понимаешь, была под вопросом, все зависело от Темплов. Десять дней от них не поступало известий, но затем пришла телеграмма (Артур предпочитает телеграммы, потому что они, по его словам, внушительнее писем) с приглашением прибыть как можно скорее, если я не передумал. Темпл просил сообщить, когда придет мой поезд, тогда они меня встретят; остановка называется Хелиат. Скажу сразу: станция, явившаяся мне в видении, носила другое название.

У меня есть дома расписание; я отыскал там Хелиат, выбрал подходящий поезд и телеграфировал Артуру, что завтра выезжаю. Таким образом, все, что пока требовалось, я сделал.

В Лондоне стояла удушливая жара, и йоркширские вересковые пустоши рисовались мне райским уголком. Кроме того, после давешнего странного видения меня донимали дурные предчувствия. Понятное дело, я уговаривал себя, что всему виной спертая атмосфера города, хотя в глубине души знал истинную причину: происшествие за шахматной доской. Назойливое воспоминание давило свинцовой тяжестью, грозной тучей застило небосвод. Стоило мне отослать телеграмму, как подъем духа, вызванный мыслью о бодрящем горном воздухе, уступил место предчувствию неведомой опасности, и я, недолго думая, послал вслед первой вторую телеграмму с сообщением, что все же не смогу приехать. Но почему мне вздумалось связать свои дурные предчувствия именно с поездкой в Хелиат — об этом я не имел понятия и, как ни старался, никакой разумной причины не измыслил. Тогда я сказал себе, что на меня напал иррациональный страх (такое случается даже с самыми спокойными людьми) и поддаться ему — лучший способ расшатать свою нервную систему. В подобных случаях ни за что не следует себе потакать.

По этой причине я решил пойти наперекор себе — не столько ради приятной загородной поездки, сколько с целью доказать, что напрасно боялся. На следующее утро я явился на вокзал с запасом в четверть часа, нашел себе место в уголке, заранее заказал в вагоне-ресторане ланч и обосновался со всеми удобствами. Перед самым отходом поезда появился кондуктор. Надрезая мой билет, он взглянул на название конечного пункта.

— Пересадка в Корстофайне, сэр, — сказал он. Теперь ты знаешь, что за станция мне привиделась.

Меня охватил панический ужас, но я все же задал кондуктору вопрос:

— И сколько придется там ждать?

Он вынул из кармана расписание:

— Ровно час, сэр. А потом подойдет поезд, который по боковой ветке направляется в Хелиат.

На сей раз я не удержался и прервал его:

— Корстофайн? Это название недавно попадалось мне в газете.

— Мне тоже. Об этом чуть позже. А тогда я попросту впал в панику, потерял над собой контроль. Я выпрыгнул из поезда как ошпаренный. Не без труда мне удалось забрать из багажного вагона свои вещи. А Темплу я отправил телеграмму, где говорилось, что меня задержали. Спустя минуту поезд тронулся, а я остался на платформе. Уши у меня горели от стыда, но в какой-то потаенной клеточке мозга прочно засела уверенность, что я поступил правильно. Каким образом, сам не знаю, но я внял полученному десятью днями раньше предостережению.

Позже я пообедал у себя в клубе, а затем взял в руки газету и наткнулся на сообщение о трагической железнодорожной аварии, имевшей место в тот же день у станции Корстофайн. Скорый поезд из Лондона, на котором я собирался ехать, прибыл в 2.53, а поезд, следовавший по боковой ветке на Хелиат, должен был отправиться в 3.54. В заметке говорилось, что этот поезд отходит от платформы, куда прибывают лондонские поезда, несколько ярдов следует по ветке, ведущей к Лондону, а затем сворачивает вправо. Примерно в то же время мимо Корстофайна проходит без остановки лондонский экспресс. Обычно местный хелиатский поезд его пропускает, однако в тот день экспресс запаздывал, и хелиатский поезд получил сигнал к отправлению. То ли стрелочник не дал лондонскому поезду сигнал остановки, то ли машинист зазевался, но, когда местный поезд находился на лондонской ветке, в него на полной скорости врезался наперстывавший опоздание экспресс. Пострадали локомотив и головной вагон экспресса; что до местного поезда, то его просто-напросто разнесло в щепки: экспресс пролетел насквозь как пуля.

Фред снова сделал паузу; я на сей раз молчал.

— Ну вот, — произнес он, — такая мне пригрезилась картина, и такое я извлек из нее предостережение. Осталось добавить немного, но, как мне представляется, для исследователя, изучающего подобного рода феномены, эта часть рассказа не менее интересна, чем все остальное.

Итак, я тут же решил на следующий день отправиться в Хелиат. После всего, что произошло, я изнывал от любопытства. Мне не терпелось узнать, совпадет ли с действительностью мое видение или это была, скажем так, весть из нематериального мира, облаченная в формы времени и пространства, свойственные миру физическому.

Должен сознаться, первое предположение нравилось мне больше. Обнаружив в Корстофайне ту же картину, что ранее пригрезилась мне, я убедился бы в тесной связи и взаимопроникновении здешнего и нездешнего миров, в том, что последний способен представать перед смертным в формах первого... Я вновь телеграфировал Артуру Темплу, сообщая, что приеду на следующий день в то же время.

Снова я отправился на вокзал, и снова кондуктор предупредил, что в Корстофайне мне нужно сделать пересадку. Утренние газеты пестрели сообщениями о вчерашней аварии, но кондуктор заверил, что путь уже очищен и задержек не будет. За час до прибытия за окнами потемнело: мимо потянулись угольные копи и фабрики, из труб извергался густой, заволакивавший солнце дым. Когда поезд остановился, местность уже начал окутывать знакомый мне плотный, неестественный сумрак. В точности так же, как в прошлый раз, я поручил свои вещи носильщику, а сам отправился исследовать места, которых ни разу не видел, но знал до таких мельчайших подробностей, какие обычно не в состоянии удержать память. Справа к привокзальной площади примыкало несколько садовых участков, за которыми высилось поросшее вереском плоскогорье, — где-то там, без сомнения, располагался Хелиат. Налево громоздились крыши хозяйственных строений, из высоких труб клубами шел дым. Впереди устремлялась в бесконечную даль крутая унылая улица. Но городок, прежде мертвый и необитаемый, на сей раз был заполнен сновавшими толпами. В водосточных канавах копошились дети, на ступеньках у входных дверей вылизывались кошки, воробьи поклевывали рассыпанный на дороге мусор. Так и должно было случиться. В прошлый раз, когда Корстофайн посетил мой дух, или астральное тело — называй как знаешь, — за мной уже затворялись ворота мира теней и все живое оставалось вне моего круга восприятия. Теперь же, принадлежа к живым, я наблюдал, как вокруг меня кипела и бурлила жизнь.

Я поспешно зашагал вдоль улицы, по опыту зная, что мне едва хватит времени добраться до цели и не опоздать затем на поезд. Стояла изнуряющая жара, темень с каждым шагом сгущалась все больше. По левую руку дома кончились, и передо мной открылись печальные поля, потом дома перестали попадаться и справа, и наконец дорога сделала резкий поворот. Следуя вдоль каменной, выше

моего роста, стены, я добрался до распахнутых железных ворот, показались ряды надгробий и, на фоне темного неба, скаты крыши и шпиль кладбищенской часовни. Вновь я вступил на заросшую гравиевую дорожку, достиг открытого пространства перед часовней и увидел могильную плиту в стороне от остальных.

По траве я приблизился к плите, сплошь покрытой мхом и лишайником. Поскреб тростью поверхность камня, где было выбито имя того (или той), кто под ним покоился, зажег спичку, потому что во тьме уже не различал букв, и обнаружил не чье-нибудь, а свое собственное имя. Ни даты, ни текста — имя, и больше ничего.

Беннетт вновь умолк. Пока длился рассказ, слуга успел поставить перед нами поднос с сельтерской и виски и водрузить на стол лампу; пламя застыло в неподвижном воздухе. Ни прихода, ни ухода слуги я не заметил, подобно тому как Фред, когда поле его сознательного восприятия было целиком занято видением, ничего не знал о ходе, сделанном его соперником за шахматной доской. Фред налил себе немножко виски, я последовал его примеру, и он продолжал:

— Остается только гадать, не посетил ли я когда-нибудь Корстофайн и не пережил ли как раз то, что явилось мне в видении. Не могу поручиться, что это не так: не в моих силах воссоздать в памяти каждый прожитый мною день начиная с появления на свет. Могу утверждать только, что ни о чем подобном я не помнил, даже название «Корстофайн» представлялось мне совершенно незнакомым. Если я побывал в Корстофайне, то не исключено, что меня посетило не видение, а воспоминание, и беду оно предотвратило по чистой случайности, всплыв в памяти как раз накануне того рокового дня, когда мне грозила неминуемая гибель в железнодорожной аварии. Если бы несчастье произошло и мои останки опознали, то похоронили бы их определенно на том самом кладбище: в моем завещании душеприказчик нашел бы пункт, где говорится, что при отсутствии весомых причин поступить иначе мое тело следует похоронить рядом с тем местом, где меня настигнет смерть. Разумеется, мне нет дела до того, что произойдет с моей брэнной оболочкой, когда душа с ней расстанется, и никакие сантименты не побуждают меня в данном случае причинять ближним хлопоты.

Фред вытянулся и издал смешок.

— Да, можно сказать, совпадение изощренное, а если им к тому же предусмотрено, что по соседству с моей предполагаемой могилой похоронен еще один Фред Беннетт, то оно поистине выходит за всякие разумные пределы. Да уж, мне скорее по душе более простое объяснение.

— Какое же?

— То самое, в которое ты в глубине души веришь, одновременно восставая против него разумом, неспособным подвести его под какой-либо известный закон природы. Однако закон в данном случае существует, пусть он и не проявляет себя с таким постоянством, как тот, что управляет восходом солнца. Я сравнил бы его с законом, в соответствии с которым прилетают кометы, только сталкиваемся мы с ним, разумеется, гораздо чаще. Возможно, чтобы замечать его проявления, требуется особая психическая восприимчивость, которая дана не всем людям, а лишь некоторым. Аналогичный пример: кто-то наделен способностью слышать (на сей раз речь идет о физическом восприятии) писк, который издают в полете летучие мыши, а кто-то нет. Я вот не воспринимаю эти звуки, а ты как-то упоминал, что слышишь их, и я верю тебе безоговорочно, хотя сам к ним абсолютно глух.

— И в чем же заключается закон, о котором ты говоришь?

— В том, что в единственно подлинном и реальном мире, скрытом за «земною грязной оболочкой праха»^[12], прошлое, настоящее и будущее неотделимы друг от друга. Они представляют собой единую точку в вечности, воспринимаемую целиком и со всех сторон сразу. Это трудно выразить словами, но дело обстоит именно так. Есть люди, для которых эта оболочка праха время от времени на мгновение приоткрывается, и тогда они обретают способность видеть и познавать. В сущности, ничего нет проще, и, если разобраться, ты веришь в это и всегда верил.

— Согласен, — кивнул я, — но именно потому, что подобные явления столь редки и столь отличны от повседневного хода вещей, я и пытаюсь, столкнувшись с необычным случаем, прежде всего подыскать ему более знакомую мне причину — объяснить его повышенной чувствительностью органов восприятия. Мы знаем о том, что существует чтение мыслей, телепатия, внушение. Когда берешься толковать феномены столь загадочные, как предвидение будущего,

нужно прежде всего исключить вмешательство этих менее таинственных свойств человеческой психики.

— А, ну тогда давай исключай. Но не думай, что ясновидение и пророчества принадлежат не к одному и тому же кругу явлений. Они представляют собой всего лишь продолжение естественного закона природы. Боковая ветка, ведущая в Хелиат, так сказать, в стороне от магистрали. Часть общей сети дорог.

Здесь было над чем задуматься, и мы замолчали. Да, я слышу писк летучих мышей, а Фред не слышит, но, если б он на том основании, что сам плух, отказался верить мне, я счел бы, что он чересчур далеко зашел в материализме. Я обдумал его историю шаг за шагом и в самом деле признал, что склонен согласиться с провозглашенным им принципом: из тех областей, которые мы в невежестве своем считаем вместилищем пустоты, поступали, поступают и будут поступать сигналы, и, если приемник настроен на соответствующую волну, он их улавливает. Да, Фред видел мертвый, опустевший город, ибо сам принадлежал смерти, а потом город ожил, потому что, вняв предостережению, Фред вернулся к жизни. И тут меня осенило.

— Ага, попался! В твоём видении отсутствовали люди, потому что сам ты был тогда мертв, не так ли?

Фред снова усмехнулся.

— Знаю, что ты собираешься сказать. Ты хочешь спросить, а как же носильщик, которого я видел на станции. Не могу подыскать удовлетворительного объяснения. А если вспомнить о том, как маячит перед человеком, получающим наркоз, лицо анестезиолога, — последнее, что он видит, прежде чем впасть в беспамятство, и последнее, что связывает его с материальным миром? Я ведь говорил тебе, что носильщик смахивал на Артура Темпла.



«Строгий выговор»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Без выговоров и нравоучений нельзя преуспеть ни в какой науке, а ведовство требует особого таланта, усердия, зрелости, покорности и послушания Великому Ведьмаку, который ведает колдовской семинарией Бараоны



«Подношение учителю»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Правильно делают: они были бы неблагодарными учениками, если бы не угощали своего наставника, которому они обязаны всей своей дьявольской выучкой

Спасители с того света

Чарльз Диккенс

(1812–1870)

Сигнальщик

Пер. с англ. С. Сухарева

— Эге-ге, там, внизу!

Когда я его окликнул, сигнальщик стоял у дверцы будки, держа в руке свернутый флажок. Учитывая характер местности, следовало ожидать, что он сразу догадается, откуда послышался голос, но, вместо того чтобы взглянуть вверх — на край крутого откоса, нависавшего чуть ли не у него над головой, он обернулся назад и впился взглядом в железнодорожное полотно. Проделал он это на какой-то особый манер: впрочем, объяснить, в чем тут состояла странность, я бы затруднился. Но повел он себя действительно странно: ведь привлекло же что-то в нем мое внимание, хотя его укороченная расстоянием фигура терялась в тени на дне глубокой выемки, я же стоял высоко над ним, облитый лучами грозно пламеневшего заката, — мне даже пришлось заслонить глаза рукой, прежде чем я сумел его различить.

— Эге-ге, внизу!

Сигнальщик снова развернулся и посмотрел вперед и только потом, задрвав голову, заметил меня высоко над собой.

— Есть тут тропинка, чтобы я спустился к вам — на два слова?

Сигнальщик, не отвечая, продолжал меня разглядывать, и я не спешил повторять свой досужий вопрос. Тем временем воздух слегка задрожал, земля под ногами еле заметно сотряслась и тут же мощно заколыхалась: стремительное приближение паровоза заставило меня отпрянуть, будто меня могло скинуть с верхотуры. Когда поезд пронесся мимо и застлавшие обзор клочья пара понемногу рассеялись, я снова бросил взгляд вниз и увидел, как сигнальщик сворачивает флаг, который он держал на вытянутой руке, пока состав не прошел.

Я повторил свой вопрос. Выдержав паузу и не переставая пристально в меня всматриваться, сигнальщик ткнул свернутым

флажком куда-то вверх и вбок — на две-три сотни ярдов в сторону от места, где я стоял. Я крикнул ему, что понял его знак, и пошел, куда он указывал. Внимательно огляделся и обнаружил извилистую неровную тропу, которая вела вниз.

Выемка была на редкость глубокой, с почти отвесными скатами; рыхлая поверхность камня под моими подошвами делалась все более влажной и вязкой. Поэтому спуск оказался достаточно долгим и мне хватило времени подивиться тому, с какой неохотой — чуть ли не против воли — сигнальщик показал мне дорогу.

Пропетляв по зигзагообразной тропе и очутившись невдалеке от сигнальщика, я увидел, что он стоит между рельсами, по которым только что промчался поезд, и в его напряженной позе угадывалось ожидание.левой ладонью он подпирает подбородок, левый локоть опирается на ладонь правой руки, прижатой к груди. Вид его выражал столь острую настороженность, что я на секунду остановился в недоумении.

Ступив наконец на железнодорожный путь, я подошел к сигнальщику: это был темноволосый человек с нездоровым цветом лица, густобровый и чернобородый. Его пост находился в месте самом что ни на есть безотрадном и уединенном. По бокам выемку замыкали иззубренные откосы из мокрого камня, оставляя над головой лишь неширокую полосу неба; с одной стороны это громадное узилище уходило, изгибаясь, вдаль; с другой, менее протяженной, горел угрюмым красным светом семафор и зияла еще более угрюмая горловина непроницаемого темного туннеля, массивная и грубая кладка которого наводила тоску. Так мало проникало сюда солнечного света, что тяжелый могильный запах не разгоняли даже порывы ледяного ветра, пронизавшего меня до мозга костей таким холодом, будто я покинул земные пределы.

Сигнальщик еще не успел пошевелиться, как я приблизился к нему вплотную. По-прежнему не сводя с меня глаз, он отступил на шаг и вскинул руку.

Место службы тут, видно, безлюдное (начал я), и оно меня заинтересовало, как только я увидел его сверху. Посетители, наверное, здесь большая редкость, но, можно надеяться, их визиты не всегда нежелательны? Перед ним человек, который всю жизнь провел взаперти, стиснутый тесными рамками, а теперь, оказавшись наконец

на воле, желал бы утолить проснувшуюся тягу к таким вот грандиозным сооружениям. Речь моя сводилась примерно к этому, но я далек от уверенности, в точности ли так выразился; я и всегда-то не умел удачно завязать разговор, а сейчас в обличии собеседника что-то меня обескураживало.

Сигнальщик вперил взгляд в красный семафор возле горловины туннеля, изучил его самым внимательным образом, как если бы в нем чего-то недоставало, а потом снова повернулся ко мне.

— Надзор за семафором, кажется, входит в обязанности сигнальщика?

Сигнальщик негромко спросил:

— А разве вам об этом неизвестно?

Я пристальней взгляделся в тусклое лицо собеседника, в его недвижно застывший взор и вздрогнул от жуткой мысли: что, если передо мной не простой смертный, а призрак? Нельзя было отделаться и от подозрения, что с рассудком у него не все ладно.

Теперь и я попятился, но при этом поймал мелькнувшую у него в глазах тревогу: он как будто втайне меня опасался. Мои нелепые страхи тут же рассеялись.

— Вы так на меня смотрите, — произнес я с натянутой улыбкой, — словно я внушаю вам ужас.

— Я засомневался, — пояснил сигнальщик, — не видел ли вас раньше.

— Где?

Сигнальщик указал на красный фонарь семафора.

— Там? — переспросил я.

Не спуская с меня глаз, он еле слышно обронил:

— Да.

— Дружище, да что мне там делать? Ладно, скажу вам как на духу: я никогда там не бывал, можете под присягой это подтвердить.

— Пожалуй, смогу, — согласился сигнальщик. — Да, наверняка смогу.

Скованность его отпустила, меня тоже. Он с готовностью отвечал на мои вопросы, подыскивая слова поточнее. Много ли у него хлопот? Да как сказать, ответственности хватает, но бдительность и аккуратность — главное, что здесь требуется, а работы как таковой — физического труда — не так уж много. Менять сигнал семафора,

поддерживать его в порядке, время от времени поворачивать эту железную ручку — собственно, и все. Что до нескончаемо долгих одиноких часов, им тут проведенных (меня сильно это впечатлило), то сигнальщик просто сказал, что так уж сложилась его жизнь и он с этим свыкся. Он самостоятельно выучил здесь иностранный язык — если можно это так назвать, поскольку учил его только по книгам, а о произношении слов имеет лишь самое примитивное понятие. Решал задачи с дробями — простыми и десятичными, пробовал заняться и алгеброй, но с математикой он еще со школы не в ладах. Всегда ли по долгу службы ему необходимо оставаться в этом сыром ущелье и может ли он хоть изредка выбираться из этого каменного мешка на солнышко? Что ж, когда как. Зависит от обстоятельств: бывает, линия перегружена, бывает — нет; имеет значение и разное время суток. В ясную погоду он улучал часок-другой и поднимался в горку проветриться, но, поскольку его в любую минуту могли вызвать, с удвоенным беспокойством прислушивался тогда к электрическому звонку, так что даже короткая вылазка, сами понимаете, особого удовольствия ему не доставляла.

Сигнальщик повел меня к себе в будку: там горел очаг, на столе лежал служебный журнал, в котором ему полагалось делать записи; тут же находились телеграфный аппарат с диском, циферблатом и стрелками, а также электрический звонок, о котором он уже упоминал. Выразив надежду, что его не заденет мое предположение, я заметил, что он, по-видимому, получил неплохое образование и, вероятно (тут я снова повторил, что не имею ни малейшего намерения его обидеть), достаточно основательное для того, чтобы претендовать на лучшее место в жизни; сигнальщик согласился, что примеры названного несоответствия в изобилии отыщутся среди представителей самых разных слоев общества — обитателей работных домов, полицейских и даже тех, кто в порыве отчаяния не нашел ничего лучшего, как записаться в солдаты; насколько ему известно, примерно так же обстоит дело и с персоналом почти любой крупной железнодорожной компании. В молодости (мне, видя его в этой хибарке, трудно в такое поверить — ему самому верится с трудом) он изучал натурфилософию, посещал лекции, но сбился с пути, пренебрег возможностями, скатился на дно, откуда так и не

сумел подняться. Но жаловаться на судьбу ему незачем. Что посеял, то и приходится пожинать. Жизнь заново не начнешь.

Все, что я тут сжато пересказал, сигнальщик поведал мне неторопливо и размеренно, сохраняя серьезный и сосредоточенный вид и отвлекаясь изредка на то, чтобы поворошить в очаге угли. Время от времени, обращаясь ко мне, он вставлял словечко «сэр», особенно когда вспоминал годы юности, словно желая дать мне понять, что не притязает ни на какой иной статус, кроме нынешнего. Раза два-три раздавался звонок: он прочитывал сообщения и передавал ответ. Однажды должен был выйти наружу: встретить проходивший поезд, выставить флажок и обменяться парой слов с машинистом. Обязанности свои он исполнял на редкость пунктуально, с превеликой старательностью, прерывая рассказ на полуслове и не возобновляя его до тех пор, пока все необходимые действия не будут выполнены.

Короче говоря, я считал бы сигнальщика надежнейшим исполнителем своего профессионального долга, если бы не одно обстоятельство: во время нашего разговора он дважды умолкал и с вытянутым лицом оборачивался к звонку, вовсе *не* звонившему, распахивал дверь будки (она была закрыта, чтобы не впускать внутрь нездоровой сырости) и, выпянув, всматривался в красный семафор у входа в туннель. Оба раза он возвращался к огню в непонятной оторопи, которую я приметил в нем (не в силах ее разгадать) еще раньше, издавека.

Вставая с места, чтобы откланяться, я сказал:

— Вы почти уверили меня в том, что я свел знакомство с человеком, вполне довольным судьбой.

(Не скрою, что на самом деле этой фразой я рассчитывал вызвать его на откровенность.)

— Думаю, так оно когда-то и было, — отозвался он тем же приглушенным голосом, что и в самом начале, — но душа у меня, сэр, не на месте, совсем не на месте.

Он охотно вернул бы сказанное, если бы только мог. Но слова уже вырвались, и я не преминул за них ухватиться.

— Отчего же? Что вас тяготит?

— Это непросто передать, сэр. Очень, очень непросто. Если вы снова ко мне заглянете, я попробую.

— Но я и вправду намерен вас навестить еще раз. Скажите когда?

— Я ложусь спать рано утром, но заступлю на дежурство завтра в десять вечера, сэр.

— Я приду в одиннадцать.

Сигнальщик поблагодарил меня и вышел проводить за дверь.

— Я, сэр, выставлю белый свет, — произнес он негромко, — пока вы не найдете тропу наверх. А найдете — не окликайте меня! И когда взберетесь на вершину — тоже не окликайте!

Он так это сказал, что меня пробрало ознобом, но я только кивнул:

— Да-да, хорошо.

— И когда спуститесь завтра вечером вниз — не окликайте! Позвольте на прощание задать вам один вопрос: почему вы крикнули сегодня «Эге-ге, там, внизу!»?

— Да бог его знает. Крикнул что-то — сам точно не вспомню...

— Не что-то, сэр. Те самые слова. Мне они хорошо известны.

— Допустим, именно так я и крикнул. Почему? Конечно же потому, что увидел внизу вас.

— Только по этой причине?

— По какой же еще?

— У вас не было ощущения, что вам внушили их каким-то сверхъестественным способом?

— Нет.

Сигнальщик пожелал мне доброй ночи и занялся семафором. Я двинулся вдоль железнодорожной линии в поисках тропы (испытывая весьма неприятное чувство, будто сзади меня нагоняет поезд). Вскарabкиваться в гору легче, чем спускаться, и я добрался до гостиницы без каких бы то ни было осложнений.

Верный данному слову, следующим вечером я ступил на первый изгиб змеистой дорожки ровно в одиннадцать вечера, едва до меня донесся отдаленный бой часов. Сигнальщик ждал меня у подножия, в семафоре горел белый свет.

— Всю дорогу молчал, как велели, — начал я, как только мы сошлись, — теперь-то можно говорить?

— Разумеется, сэр.

— Тогда добрый вечер, вот вам моя рука.

— Добрый вечер, сэр, а вам — моя.

Обменявшись рукопожатием, мы направились бок о бок к будке, вошли в нее, прикрыли дверь и расположились у очага.

— Я принял решение, сэр, — подавшись вперед, заговорил сигнальщик почти что шепотом, — не заставляйте вас дважды меня расспрашивать о моих тревогах. Вчера вечером я принял вас за кого-то другого. Потому и места себе не нахожу.

— Из-за своей ошибки?

— Нет. Из-за того — другого.

— Кто же он?

— Не знаю.

— Похож на меня?

— Не знаю. Лица его я не видел. Лицо заслоняла левая рука, а правой он размахивал — что есть мочи. Вот так.

Он показал мне, как именно, — в его жесте мне почудились крайнее возбуждение и исступленный призыв: «Ради бога, прочь с дороги!»

— Однажды лунной ночью, — начал свой рассказ сигнальщик, — сидел я вот здесь и вдруг услышал крик: «Эге-ге, там, внизу!» Вскочил с места, выпянул за дверь и вижу: тот самый «кто-то» стоит у красного семафора возле туннеля и машет рукой, как я вам только что показал. Голос у него охрип от крика, но он не умолкал: «Берегись! Берегись!» И снова: «Эге-ге, там, внизу! Берегись!» Я схватил фонарь, включил в нем красный свет и кинулся навстречу с возгласами: «Что там такое? Что случилось? Где?» Человек почти сливался с чернотой туннеля. Вблизи было непонятно, почему глаза у него закрыты рукавом. Я подбежал вплотную и только протянул руку — отвести рукав, как он исчез.

— В туннеле? — спросил я.

— Нет! Я ринулся в туннель, промчался ярдов с полсотни. Остановился, поднял фонарь над головой: там были цифры разметки да потеки на стенах. Наружу я выскочил еще быстрее (там, в туннеле, мне стало невыносимо тошно), при свете красного фонаря осмотрел красный фонарь семафора, поднялся по железной лесенке на верхнюю площадку, спустился и бросился к себе в будку. Телеграфировал в оба конца: «Подан сигнал тревоги. Что произошло?» Мне с обеих сторон ответили: «Все спокойно».

Стараясь не замечать ледяной щекотки, медленно пробежавшей у меня по спине, я попытался убедить сигнальщика в том, что померещившаяся ему фигура — не что иное, как следствие

оптического обмана; известно, что некоторые пациенты, страдающие подобными галлюцинациями (а возникают они в результате расстройства чувствительных нервов, которые обеспечивают зрительное восприятие), вполне отдают себе отчет в природе этого недуга и даже способны доказать его происхождение с помощью поставленных на себе экспериментов.

— Что касается воображаемого крика, — заключил я, — вслушайтесь только на минуту в завывания ветра внутри этой искусственной теснины — как он неистово гудит в телеграфных проводах.

Все это верно, согласился сигнальщик, после того как мы немного посидели молча; уж кому-кому, а ему ли не знать о свойствах здешнего ветра и проводов: немало долгих зимних ночей он провел тут в одиночестве, к ним прислушиваясь. Затем он попросил меня обратить внимание на то, что рассказ его еще не окончен.

Я принес свои извинения — и он, тронув меня за руку, неторопливо продолжил:

— Спустя шесть часов после Видения на линии случилась памятная железнодорожная катастрофа, и не позже чем через десять часов сквозь туннель пронесли погибших и раненых — мимо того места, где стоял тот человек.

Меня бросило в дрожь, но я постарался с собой совладать. Совпадение ошеломляющее, нечего и говорить, подтвердил я: настолько исключительное, что оно не могло не поразить моего нового знакомца. Однако не приходится сомневаться, что исключительные совпадения — отнюдь не редкость: в подобных случаях об этом необходимо помнить. Впрочем, признавая это, я счел необходимым добавить (мне показалось, будто мой собеседник собирается возразить), что люди здравомыслящие в повседневной жизни случайным совпадениям серьезного значения не придают.

Сигнальщик вновь взмолился позволить ему довести историю до конца.

Я вновь принес свои извинения за то, что поневоле его прервал.

— Случилось это, — он опять тронул меня рукой, глянув ввалившимися глазами себе за спину, — ровно год тому назад. Минуло полгода или чуть больше, я понемногу оправился от

внезапного потрясения и вот однажды ранним утром стою в дверях... бросил взгляд на красный семафор, а там — опять призрак.

Он замолчал, не сводя с меня глаз.

— Он крикнул?

— Нет. Молчал.

— Махал рукой?

— Нет. Склонился к опоре семафора и закрыл лицо руками. Вот так.

Я проследил за его движениями. Это был жест скорбного отчаяния. В такой позе изображают каменные изваяния на надгробиях.

— Вы подошли к нему?

— Вернулся в будку и опустил на стул — отчасти собраться с мыслями, отчасти справиться с дурнотой. Когда шагнул наружу, уже совсем рассвело, а призрака и след простыл.

— И ничего такого не стряслось? Обошлось без последствий?

Сигнальщик постучал мне по руке указательным пальцем, всякий раз сопровождая прикосновение многозначительным кивком:

— В тот самый день я заметил в окне поезда, выходящего из туннеля, какую-то суматоху: чьи-то головы, руки, кто-то чем-то размахивал. Я успел подать сигнал машинисту — и остановить поезд. Он выпустил пар, повернул кран тормоза, но состав по инерции проехал вперед еще на полторы сотни ярдов, если не больше. Я ринулся вдогонку и на бегу услышал жуткие крики и рыдания. В одном из вагонов внезапно скончалась молодая красивая девушка: тело принесли ко мне в будку и положили вот тут, на полу, между вами и мной.

Я невольно отодвинулся в сторону вместе со стулом и перевел взгляд с половиц на сигнальщика.

— Да-да, сэр. Именно так. Все в точности так и произошло, как я вам рассказал.

Я не находил слов: добавить было нечего, во рту пересохло. Рассказ сигнальщика подхватил протяжный и жалобный плач ветра в телеграфных проводах.

— Вот так, сэр, — снова заговорил сигнальщик, — судите сами, насколько все это выбило меня из колеи. Призрак вернулся неделю тому назад. С тех пор он тут нет-нет да и появится.

— У семафора?

— Когда горит красный свет.

— И как себя ведет?

Сигнальщик с еще более отчаянной и красноречивой жестикуляцией повторил прежнюю немую пантомиму: «Ради бога, прочь с дороги!»

— Теперь нет мне ни сна, ни покоя. Призрак в мучительном отчаянии — минута за минутой — взывает ко мне: «Там, внизу! Берегись, берегись!» Стоит и машет мне. Звонит в звонок...

— А звонил он, — ухватился я за эту зацепку, — вчера вечером, когда я был у вас и вы ходили к двери?

— Звонил дважды.

— Вот видите, — заметил я, — как воображение сбивает вас с толку. Звонок был у меня перед глазами, уши у меня не заложены — и, ей-же-ей, *никаких* звонков в те моменты не раздавалось. До и после — тоже, кроме тех звонков вполне естественного происхождения, когда вас вызывали со станции.

Сигнальщик покачал головой:

— Я на этот счет сроду не ошибался, сэр. Звонок призрака со служебным пока ни разу не путал. Когда звонит призрак, звонок совсем по-особому, странно вибрирует — и я вовсе не утверждал, будто эта вибрация заметна глазу. Неудивительно, что вы ничего не слышали. Зато я слышал.

— И когда вы выплянули за дверь, вам померещился призрак?

— Он *был* там.

— Оба раза?

— Оба раза, — твердо заявил сигнальщик.

— Вы не подойдете сейчас к двери со мной — посмотрим вместе?

Сигнальщик покусал губы, словно борясь с собой, но поднялся с места. Я открыл дверь и шагнул на ступеньку, тогда как он задержался у косяка. Горел красный сигнал: «Путь закрыт». Мрачно темнел вход в туннель. Узкий проход ограждали высокие стены из влажного камня. На небе сияли звезды.

— Вы его видите? — спросил я, пристально изучая лицо сигнальщика. Взгляд его казался напряженным и сосредоточенным, но, наверное, таким же был и мой, когда я обратил взор в ту же точку.

— Нет, не вижу. Его там нет.

— Согласен.

Мы вернулись в хижину, затворили дверь и уселись на прежние места. Я мысленно прикидывал, как бы получше воспользоваться этим удачным, если его так можно назвать, поворотом, но сигнальщик возобновил разговор совершенно будничным тоном, точно не произошло ничего примечательного, и я почувствовал себя обескураженным.

— Теперь, сэ, думаю, вы вполне уяснили суть дела: меня терзает мучительный вопрос — чего он хочет, этот призрак?

Я ответил, что, пожалуй, не совсем улавливаю, в чем, собственно, суть.

— О чем он предупреждает? — задумчиво продолжал сигнальщик, глядя на огонь и лишь изредка оборачиваясь ко мне. — В чем заключается опасность? Откуда она исходит? Где-то на линии таится угроза. Случится какое-то страшное бедствие. После всего происшедшего сейчас, в третий раз, сомневаться в этом не приходится. Но пока для меня это жестокое наваждение. Что мне делать? — Он вытащил из кармана носовой платок и стер капли пота с разгоряченного лба. — Телеграфировать об опасности в одну или другую сторону линии или же сразу в обе никаких оснований нет. — Сигнальщик обтер платком ладони. — Пользы это не принесет, а у меня будут неприятности. Меня сочтут помешанным. Выйдет вот что. Сообщение: «Опасность на линии. Примите меры». Ответ: «Какая опасность? Где именно?» Сообщение: «Неизвестно. Но, ради бога, будьте начеку!» Меня уволят. А как же иначе?

На его душевные терзания тяжело было смотреть. Бедняга невыносимо страдал из-за своей добросовестности, не в силах противостоять непонятной угрозе, которой подвергались чужие жизни.

— Когда призрак впервые явился под красным семафором, — сигнальщик, отведя назад свои черные волосы, в лихорадочном волнении принялся потирать виски, — почему он не сообщил мне, где должна произойти авария, если ее нельзя избежать? Почему не сообщил мне, каким образом ее предотвратить — если возможно предотвратить? А когда явился снова, закрыв лицо, почему бы вместо того прямо не оповестить: «Девушка умрет. Нельзя отпускать ее из дома»? Если, явившись вот так дважды, призрак преследовал единственную цель — показать, что его предупреждения сбываются,

и подготовить меня к третьему визиту, — почему бы прямо не поставить меня в известность уже сейчас? А кто я такой, господи? Простой сигнальщик на этой богом забытой станции! Почему бы ему не явиться лицу влиятельному — кому все поверят, кого послушаются?

Видя беднягу в таком состоянии, я уяснил, что и ради его собственного блага, и во имя общественной безопасности единственное, чем я могу ему помочь, — это его успокоить. Посему, не касаясь более вопроса о реальной или сверхъестественной природе случившегося, я постарался внушить ему, что любому добросовестному служащему необходимо держать себя в здравии, и, если зловещий феномен ему непонятен, пусть утешает себя тем, что назубок знает свой долг. В этом я преуспел значительно больше, нежели в попытках убедить его в иллюзорности им виденного. Сигнальщик успокоился, внимание его переключилось на его ночные обязанности, и в третьем часу я с ним расстался. Я предлагал задержаться до утра, но он и слышать об этом не желал.

Взбираясь по тропе вверх, я не раз и не два оглядывался на красный семафор — и оглядывался с беспокойством; я подумал, что мне вряд ли мирно спалось бы от его соседства, — все это так, не скрою. Крайне угнетали меня и мысли о двух несчастных случаях подряд и о мертвой девушке. Не стану умалчивать и об этом.

Но более всего мучил меня вопрос, как я должен действовать, будучи посвященным во все эти неизвестные прочим обстоятельства? Я удостоверился воочию в полной разумности, неусыпной бдительности, редком усердии и пунктуальности сигнальщика, но сколь долго он сумеет сохранять в себе эти качества — при таком-то душевном разладе? Должность у него незначительная, однако в высшей степени ответственная, и решил бы, к примеру, я сам с риском для жизни положиться на его способность нести службу с прежней неукоснительностью?

Тем не менее я чувствовал, что обратиться к начальству железнодорожной компании — через голову сигнальщика, не посоветовавшись с ним и не выработав компромисса, — будет в известном смысле предательством; в итоге я собрался предложить ему (пока что сохраняя все в полной тайне) совместно отправиться за советом к наиболее опытному из практиковавших в данной местности

медиков. По словам сигнальщика, через день расписание у него будет таким же: он освободится спустя час-другой после рассвета, а заступит на дежурство вскоре после захода солнца. В соответствии с этим мы и условились о моем визите.

Вечер того дня выдался на славу, и я вышел пораньше, чтобы им насладиться. Когда я брел по полевой тропе близ верхушки откоса, солнце еще не село. Растяну-ка свою прогулку еще на часик, подумалось мне: полчаса туда и полчаса обратно — и как раз подойдет время явиться в будку сигнальщика.

Прежде чем продолжить прогулку, я приблизился к краю откоса и машинально бросил взгляд вниз с того самого места, откуда увидел сигнальщика впервые. Не подыщу слов для описания своего ужаса: у самого входа в туннель маячила человеческая фигура — левым рукавом она заслоняла глаза, а правой рукой неистово размахивала в воздухе.

Мое оцепенение длилось недолго: это и в самом деле был человек, а чуть поодаль толпились другие люди, к которым он и обращал свой жест. Красный фонарь семафора не горел. Вблизи его опоры — что было для меня новостью — из деревянных кольев и брезента соорудили низкий шалашик, размерами не больше балдахина над кроватью.

Не в силах побороть дурного предчувствия (я запоздало упрекал себя в том, что оставил сигнальщика одного, не поручил никому за ним присмотреть и проследить за его действиями — из-за этого, быть может, и случилось несчастье), я опрометью сбежал по извилистой тропе.

— Что случилось? — выдохнул я.

— Утром погиб сигнальщик, сэр.

— Дежурный из этой будки?

— Именно, сэр.

— Тот самый, мой знакомый?

— Если знакомый, сэр, то вы его узнаете, — произнес человек, отвечавший мне за всех остальных, и, скорбно обнажив голову, приподнял край брезента. — Лицо у него ничуть не пострадало.

— Но как же это случилось, как случилось? — твердил я, поочередно обращаясь к собравшимся, когда брезент вернули на место.

— Его сбил паровоз, сэр. В Англии не сыскать было человека, который лучше знал бы свое дело. Но он почему-то не отошел на изгибе от наружного рельса. Случилось это среди бела дня. Сигнальщик зажег семафор, в руке у него был фонарь. Когда паровоз показался из туннеля, он стоял спиной к нему, и паровоз на него наехал. Вел состав вот этот машинист: он нам сейчас показывал, как все это произошло. Покажи еще раз джентльмену, Том.

Том, в грубой темной робе, занял прежнее место возле горловины туннеля.

— Проезжаю я изгиб туннеля, сэр, — пояснил он, — и в конце вижу сигнальщика, как если бы смотрел на него в подзорную трубу. Времени сбавить скорость уже не было, а об его крайней осторожности кто только не знал. Свистка он, кажется, не слышал, и я его отключил: мы же вот-вот должны были на него наехать — ну я и крикнул ему что было мочи.

— И что вы крикнули?

— Эге-ге, там, внизу! Берегись! Берегись! Ради бога, прочь с дороги!

Я вздрогнул.

— Ох, какого ужаса я натерпелся, сэр. Уж я кричал ему, кричал. А глаза загородил рукой, чтобы ничего не видеть, но рукой махал до последнего, только что толку?

Не стану ничего добавлять к моему рассказу, уточняя ту или иную подробность; отмечу лишь напоследок странное совпадение: машинист выкрикнул не только те слова, которые навязчиво преследовали злополучного сигнальщика, но также и другие, которые домыслил я сам, причем про себя — когда тот воспроизводил жесты призрака.

Амелия Энн Блэнфорд Эдвардс

(1831–1892)

Новый перевал

Пер. с англ. Е. Будаговой

То, о чем я собираюсь рассказать, произошло четыре года назад осенью, когда я путешествовал по Швейцарии со своим старым другом по школе и колледжу Эгертоном Вульфом.

Однако, прежде чем продолжить, я хотел бы заметить, что мой незамысловатый рассказ не претендует на художественность. Я — самый обыкновенный, прозаический человек, зовут меня Френсис Легрис, по профессии я адвокат. Полагаю, трудно найти людей, менее расположенных смотреть на жизнь с романтической точки зрения или давать волю воображению. Мои недоброжелатели и люди, хлопчущие об исправлении моих недостатков, считают, что привычку к недоверчивости я довожу порой до грани всеобъемлющего скептицизма. И в самом деле, я готов признать, что мало доверяю тому, чего не слышал и не видел сам. Но за свой рассказ я готов поручиться, поскольку он повествует о моих личных наблюдениях. Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что видели мои глаза при ясном свете дня: это всего лишь изложение фактов, очевидцем которых мне пришлось стать.

Итак, я путешествовал тогда по Швейцарии с Эгертоном Вульфом. Это было не первое наше совместное путешествие — мы частенько отдыхали вдвоем — но, похоже, последнее. Вульф был обручен и весной собирался жениться на очень красивой, очаровательной девушке, дочери одного баронета с севера.

Вульф был красивый малый — высокий, изящный, темноволосый и темноглазый, поэт, мечтатель, художник — полная противоположность мне; в общем, мы отличались друг от друга по характеру и прочим природным качествам настолько, насколько это возможно. И все же мы прекрасно ладили — мы были верные друзья и самые лучшие товарищи по путешествиям на всем белом свете.

В этот раз мы начали свой отдых, целую неделю пробездельничав в местечке, которое я буду называть Обербрунн — восхитительное место, воплощение Швейцарии, состоящее из одного большого деревянного здания (наполовину водолечебница, наполовину отель), двух меньших по размеру строений, называемых Dépendances^[13], крошечной церквушки, колокольни, выкрашенной в зеленый цвет, с верхушкой-луковкой, и маленькой деревни, все дома которой теснились на продуваемом ветрами горном плато примерно в трех тысячах футов над озером и долиной.

Здесь, вдали от мест, осаждаемых британскими туристами и членами клуба любителей альпийских видов спорта, мы читали, курили, карабкались по склонам, вставали с рассветом, совершенствовались в немецком языке и готовились к предстоящему пешему путешествию с рюкзаками.

Но вот наш недельный отдых подошел к концу, и мы собрались в путь — несколько позже, чем следовало бы, поскольку нам предстояло прошагать целых тридцать миль, а солнце поднялось уже высоко.

Утро, однако, выдалось великолепное, небо наполнилось светом, дул прохладный ветерок. Эта яркая картина и сейчас стоит у меня перед глазами: мы спускаемся по ступенькам отеля и видим, что проводник уже ждет нас. На поляне, вокруг фонтанчика над источником, собрались курортники-водохлебы; толпа бродячих торговцев с украшениями из оленьих рогов и игрушками, вырезанными из дерева и кости, сидит полукругом возле двери; пять-шесть малолетних босоногих горцев бегают туда-сюда, продавая лесную малину; долина внизу усеяна крошечными деревеньками, по ней вьется ручей, издали похожий на сверкающую серебряную нить, до половины склона темнеет сосновый лес, заснеженные пики гор сверкают на горизонте.

— *Von voyage*^[14]! — сказал наш добрый хозяин д-р Штайгль, в последний раз пожимая нам руки.

— *Von voyage!* — подхватили официанты и зеваки.

Три-четыре курортника у фонтанчика приподняли шляпы, дети в оборванной одежке бежали за нами с ягодами до самых ворот — вот мы и отправились в дорогу.

Сначала тропа шла вдоль склона горы, сквозь сосновый лес и возделанные поля, где, созревая, золотилась кукуруза и сено ожидало позднего сенокоса. Затем она постепенно начала спускаться —

потому что между нами и перевалом, который нам предстояло сегодня преодолеть, лежала долина. По мягким зеленым склонам и рдеющим яблочным садам мы вышли к голубому озеру, обрамленному камышами, где сняли лодку с полосатым тентом, как на Лаго-Маджоре, и наш лодочник принялся усердно грести. На полпути он устроил себе отдых и исполнил йодль.

На противоположном берегу дорога сразу устремилась вверх — по словам проводника, можно было считать, что подъем на Хоэнхорн уже начался.

— Это, однако, *meine Herren*^[15], — сказал он, — всего лишь часть старого перевала. За ним плохо смотрят, потому что никто, кроме деревенских и путешественников из Обербрунна, этой дорогой уже не ходит. А вот выше мы свернем на Новый Перевал. Великолепная дорога, *meine Herren*, прекрасная, как Симплон, широкая — в карете можно проехать. Ее открыли только этой весной.

— Во всяком случае, мне вполне хватает и старой дороги! — сказал Эгертон, засовывая сорванные незабудки за ленту своей шляпы. — Это точно кусочек Аркадии, невесть как сюда попавший!

И в самом деле, место было уединенное и поразительно красивое. Простая неровная тропа вилась по крутому склону в мягкой зеленой тени, среди больших деревьев и замшелых скал в пятнах бархатистого лишайника. Вдоль тропы бежал говорливый ручеек, то глубоко утопая в папоротниках и травах, то наполняя примитивную поилку, выдолбленную в древесном стволе, то переломленным солнечным лучом пересекая нам дорогу; иногда он разбивался пенным водопадиком где-то поодаль, чтобы снова появиться рядом с нами через несколько шагов.

Потом сквозь завесу листьев стали проглядывать кусочки голубого неба и золотые лучи солнца. Маленькие рыжие белки перебежали с ветки на ветку, в глубине густой травы по обе стороны тропы виднелись густые заросли папоротника, красные и золотые мхи, голубые колокольчики, тут и там алела мелкая лесная земляника. Прошагав почти час, мы вышли на поляну, в середине которой стоял суровый высокий монолит; древний, выцветший от времени, покрытый грубой резьбой, точно рунический памятник, он представлял собой примитивный пограничный камень между кантонами Ури и Унтервальден.

— Привал! — закричал Эгертон, бросаясь на траву и растягиваясь там во весь рост. — Eheu, fugaces!^[16] — а часы короче, чем годы. Почему же не насладиться ими?

Но наш проводник, по имени Петер Кауфман, тут же вмешался, по обыкновению всех проводников: то, что мы задумали, его решительно не устроило. Он заверил, что совсем рядом, в пяти минутах ходьбы, имеется горная гостиница.

— Превосходная маленькая гостиница, где подают хорошее красное вино.

Итак, мы подчинились судьбе и Петеру Кауфману и продолжили путь наверх. Вскоре, как он и предсказывал, мы увидели ярко освещенное открытое место и деревянное шале на уступе плато, нависавшем над головокружительной пропастью. Под шпалерой, увитой виноградными лозами, на самом краю скалы расположились три горца, занятых флягой вышеупомянутого красного вина.

В этом живописном гнездышке мы устроили полуденный привал. Улыбчивая Mädchen^[17] принесла нам кофе, серый хлеб и козий сыр, а проводник вытащил из сумки большой ломоть сухого черного хлеба и присоединился к горцам, распивавшим его любимое вино.

Мужчины весело болтали на своем малопонятном местном наречии. Мы сидели молча, рассматривая глубокую туманную долину и большие аметистовые горы вдаль, пересеченные голубыми ниточками водопадов.

— Бывают, наверное, моменты, — начал Эгертон Вульф, — когда даже люди вроде тебя, Фрэнк, — светские и любящие общество — чувствуют, как в них просыпается первобытный Адам, какая-то смутная тяга к идиллической жизни лесов и полей, о которой мы, мечтатели, достаточно безумные в глубине души, все еще вздыхаем как о чем-то самом прекрасном.

— Ты имеешь в виду, не мечтаю ли я иногда жить как швейцарский крестьянин-фермер в sabots, à goitre^[18], с женой, бесформенной внешне и бестолковой внутри, и с crétin^[19] дедушкой ста трех лет от роду? Ну нет, я предпочитаю оставаться самим собой.

Мой друг улыбнулся и тряхнул головой.

— Почему мы считаем столь очевидным, — сказал он, — что нельзя культивировать собственные мозги и землю одновременно?

Гораций, не имея упомянутых тобой дополнений, любил деревенскую жизнь и обратил ее в бессмертную поэзию.

— Мир с тех пор не единожды повернулся, мой милый, — ответил я философски. — В наши дни наилучшая поэзия происходит из городов.

— И худшая тоже. Видишь вон там снежные лавины?

Проследив взгляд приятеля, я обнаружил сгусток белого дыма, скользивший по склону огромной горы на противоположной стороне долины. За ним последовал еще один и еще. Где начинались лавины, куда они низвергались, разглядеть было нельзя. Издали не было слышно даже их зловещего грохота. Бесшумно промелькнув, они так же бесшумно исчезли.

Вульф тяжело вздохнул.

— Бедный Лоуренс, — сказал он. — Швейцария была его мечтой. Он грезил Альпами так же страстно, как другие мечтают о деньгах или славе.

Лоуренс был его младшим братом, которого я никогда не видел. Этот многообещающий юноша лет десять-двенадцать назад надорвал здоровье в Аддискомбе и умер в Торки от скоротечной чахотки.

— И что, он так и не осуществил свою мечту?

— Нет, он вообще не выезжал из Англии. Сейчас врачи, как я слышал, прописывают легочным больным бодрящий климат, но тогда все было иначе. Бедняга! Мне иногда представляется, что если бы он осуществил свою мечту, то остался бы жив.

— Я бы на твоём месте избегал таких печальных мыслей, — произнес я поспешно.

— Но я ничего не могу с этим поделать! Все утро думаю о бедном Лоуренсе. И чем великолепнее вид, тем отчетливее представляю себе, в каком бы он был восторге. Помнишь строки Кольриджа, написанные в долине Шамони? Он знал их наизусть. Это вид лавин напомнил мне... Ну да ладно! Постараюсь не думать об этом. Давай поменяем тему.

Тут из дома вышел хозяин — ясноглазый, словоохотливый молодой горец лет двадцати пяти с эдельвейсом на шляпе.

— Добрый день, meine Herren, — сказал он, обращаясь как бы ко всем присутствующим, но прежде всего к Вульфу и ко мне. — Прекрасная погода для путешествий — прекрасная погода для

винограда. Herren пойдут через Новый Перевал? Ах, Herr Gott!^[20] Вот уж чудо из чудес! И ведь на все работы не ушло и трех лет. Herren увидят сегодня его впервые? Хорошо. Возможно, они уже были на Тет-Нуар? Нет? Проходили через Шплюген? Отлично. Если Herren проходили Шплюген, они легко представят себе Новый Перевал. Новый Перевал очень напоминает Шплюген. Там есть галерея-тоннель в скале, как на Виа-Мала, но здешняя галерея намного длиннее и ее освещают окошечки, пробитые в скале. Прежде чем войти в тоннель, соблаговолите бросить взгляд вверх и вниз — во всей Швейцарии нет видов прекраснее.

— Должно быть, это большое удобство для всех здешних жителей, что появилась такая хорошая дорога из одной долины в другую. — Я улыбнулся его восторженности.

— О, это на самом деле просто замечательно для нас, mein Herr!^[21] — ответил он. — И прекрасно для всей этой части нашего кантона. Перевал привлечет туристов, толпы туристов! Кстати, Herren непременно должны взглянуть на водопад над галереей. Святой Николай! До чего же интересно он устроен!

— Устроен? — отозвался Вульф, которого это выражение позабавило не меньше, чем меня. — Diavolo!^[22] Вы что, сами устраиваете у себя в стране водопады?

— Это сделал герр Беккер, — сказал хозяин, не уловив насмешки, — выдающийся инженер, который конструировал Новый Перевал. Знаете ли, meine Herren, нельзя было допустить, чтобы вода, как прежде, стекала по скале: она попадала бы в окошечки и заливала дорогу. И что же, как вы думаете, сделал герр Беккер?

— Повернул течение водопада и отвел его на сотню метров дальше, — бросил я довольно нетерпеливо.

— О нет, mein Herr, — ничего подобного! Герр Беккер не пошел на такие расходы. Он оставил водопад на месте, в старом ущелье, но пробил за тоннелем вертикальный ход, так что поверхность скалы теперь сухая; этот искусственный желоб, или водовод, выходит наружу под галереей, там, где утес нависает над долиной. Ну что английские Herren скажут на это?

— Недурная инженерная идея, — ответил Вульф.

— И мы достаточно отдохнули и вполне можем тронуться в путь, чтобы взглянуть на это чудо, — добавил я, пользуясь возможностью

прервать поток красноречия нашего хозяина.

Итак, мы расплатились, бросили последний взгляд на окрестный пейзаж и пустились в путь, снова углубившись в лес.

Тропа по-прежнему шла в гору, но вот мы очутились на открытом месте, залитом светом; это была великолепная высокогорная дорога футов тридцать шириной; с одной стороны — лес и телеграфные провода, по другую — пропасть. Обрыв ограждали массивные гранитные столбы, поставленные на равном расстоянии. Местные жители продолжали тут и там строительные работы: раскалывали и укладывали камни, расчищали местность от обломков. Новый Перевал — сразу поняли мы.

Дорога вводила нас все выше, открывая при каждом повороте все новые виды на долину — один прекраснее другого. Лес мало-помалу начал редеть и вскоре остался далеко внизу, головокружительные обрывы по левую сторону делались все круче, горные склоны над нами совсем оголились. И вот уже исчезли последние альпийские розы, остался только ковер коричневого и рыжеватого мха да огромные валуны — одни не так давно откололись от горных вершин, другие, сплошь покрытые лишайником, явно пролежали здесь столетия.

Мы, видимо, достигли наивысшей точки перевала: дорога еще несколько миль пролежала по ровной пустынной местности. Слева открывалась необозримая панорама горных пиков, снежных полей и ледников, а между нею и дорогой в глубоком провале скрывалась окутанная туманом долина. Солнце припекало немилосердно. Вокруг царили жара и тишина. Всего лишь один раз мы видели группу путешественников. Их было трое. Растянувшись в тени большого обломка скалы и удобно устроив головы на рюкзаках, они спали глубоким сном.

Один за другим рядом с тропой возникали массивы серого камня, все ближе и ближе подбираясь к нам; утесы нависали уже у нас над головами, дорога превратилась в уступ над пропастью. Сделав крутой поворот, мы увидели всю панораму — дорогу, скалы и долину. Дорога, явно шедшая на спуск, примерно в миле от нас исчезала словно бы в пещере (крохотный вход ее, похожий издалека на кроличью нору, вел в недра массивного выступа горы).

— Ну вот и знаменитая галерея! — воскликнул я. — Хозяин гостиницы был прав — напоминает Шплюген, если не считать того, что здесь повыше, а долина пошире. А где же водопад?

— Водопад — громко сказано, — заметил Вульф. — Я вижу только тоненькую нить тумана: вот там, далеко, вьется по скале за входом в тоннель.

— Ну да, сейчас и я вижу — как Штаубах, но помельче. О боже, ну и пекло же здесь, в горах! Что сказал Кауфман — когда мы будем в Шварценфельдене?

— Не раньше семи, это в лучшем случае, — а сейчас еще нет четырех.

— Гм... Еще три часа, считай, три с половиной. Ну что ж, неплохо для первого дня пеших странствий — да и жара к тому же!

На этом наша беседа прервалась, и мы продолжали брести молча.

Тем временем солнце продолжало плавиться в небе, и его лучи, отражаясь от белой скалы и белой дороги, слепили глаза. Горячий воздух дрожал и мерцал, вокруг стояли полное безветрие и какая-то неживая тишина.

Вдруг — совершенно внезапно, точно он вышел из скалы, — я увидел на дороге человека. Он двигался к нам, энергично жестикулируя. Казалось, он призывает нас повернуть назад, но я был так поражен его загадочным появлением, что едва ли об этом задумался.

— Как странно! — Я остановился. — Откуда он взялся?

— Кто?

— Ну посмотри, вон тот юноша! Ты видел, откуда он вышел?

— Какой юноша, друг мой? Я никого не вижу, кроме нас.

Пока он растерянно осматривался, юноша, размахивая поднятой рукой, бежал нам навстречу.

— Боже мой! Эгертон, ты что, ослеп? — Я потерял терпение. — Вот же он, буквально перед нами — и четверти мили не будет — всю машет рукой! Может, нам лучше его подождать?

Мой друг вытащил из футляра подзорную трубу, тщательно ее настроил и принялся внимательно разглядывать дорогу. Заметив это, незнакомец остановился, но руку не опустил.

— Теперь-то ты видишь? — спросил я и не поверил своим ушам, услышав ответ.

— Честное слово, — искренне сказал Эгертон, — я вижу впереди только пустую дорогу и вход в тоннель. Сюда, Кауфман!

Кауфман, стоявший неподалеку, подошел к нам и коснулся края шапки.

— Взгляни на дорогу.

Проводник прикрыл ладонью глаза от слепящего света и посмотрел на дорогу.

— Что ты видишь?

— Вижу вход в галерею, mein Herr.

— И больше ничего?

— Больше ничего, mein Herr.

А незнакомец все еще стоял на дороге — даже подошел на шаг или два ближе! Неужели я сошел с ума?

— Тебе все еще кажется, что там кто-то есть? — спросил Эгертон, глядя на меня очень серьезно.

— Я действительно вижу его.

Он протянул мне свою подзорную трубу.

— Посмотри и скажи, видишь ли ты его и теперь.

— Вижу более отчетливо, чем раньше.

— Ну и как он выглядит?

— Очень высокий, худенький, светловолосый, очень юный, я бы сказал, лет пятнадцати-шестнадцати, не больше, явно англичанин.

— Как он одет?

— Серый костюм — ворот расстегнут, шея не прикрыта. Шотландская шапочка с серебряной кокардой. Снял шапочку и машет ею. На правом виске у него белый шрам. Я вижу даже движения губ — он как будто говорит: «Вернитесь! Вернитесь!» Сам посмотри, ты должен его увидеть!

Я повернулся, чтобы дать Эгертону подзорную трубу, но он оттолкнул ее.

— Нет, нет, — хрипло сказал он. — Это бесполезно. Продолжай смотреть... Бога ради, что еще ты видишь?

Я посмотрел снова, моя рука с трубой опустилась.

— О господи! — От волнения у меня перехватило дыхание. — Он исчез!

— Исчез?!

Да, исчез. Исчез внезапно, как и появился, — словно не бывало! Я не мог поверить. Тер глаза. Протер о рукав стекло подзорной трубы. Снова и снова смотрел — и не верил.

С диким потусторонним криком, подобно тяжелому снаряду рассекая неподвижный воздух, мимо нас пронесся на мощных крыльях орел и нырнул в глубину долины.

— Ein Adler! Ein Adler!^[23] — крикнул проводник, подбросил вверх шапку и побежал к краю обрыва.

Вульф, обхватив мою руку, глубоко вздохнул.

— Легрис, — начал он очень спокойным голосом, однако в его побледневшем лице читался благоговейный страх. — Ты описал моего брата Лоуренса — возраст, рост, все прочее, даже шотландскую шапочку, которую он всегда носил, и эту серебряную кокарду, которую мой дядя Гораций подарил ему на день рождения. А шрам он получил во время матча по крикету в Хэрроугейте...

— Твоего брата Лоуренса? — едва выговорил я.

— Странно, что только тебе было позволено его видеть, — продолжал Эгертон, разговаривая скорее сам с собой. — Очень странно! Жаль... но нет! Возможно, я не поверил бы собственным глазам. А твоим — должен верить.

— Чтобы я видел твоего брата Лоуренса? Ни за что не поверю.

— Никуда не денешься, нужно поворачивать назад, — продолжал он, не обращая на меня внимания. — Послушай, Кауфман, если мы немедленно повернем, то сможем ли добраться до Шварценфельдена через старый перевал сегодня к вечеру?

— Повернем обратно? — вмешался я. — Мой милый Эгертон, ты ведь это не серьезно?

— Серьезней не бывает.

— Если Herren желают идти старой дорогой, — сказал удивленный проводник, — мы не попадем в Шварценфельден раньше полуночи. Мы уже уклонились на семь миль в сторону, а по старой дороге нужно пройти еще двенадцать.

— Двенадцать и четырнадцать — это двадцать шесть, — сказал я. — Рассчитывали на тридцать, а тут еще двадцать шесть. Даже говорить об этом не стоит.

— Herren могут провести ночь в шале, где мы останавливались.

— И правда, я как-то не подумал об этом, — подхватил Вульф. — Мы можем поспать в гостинице, а на рассвете тронуться в путь.

— Повернуть назад, спать в шале, утром пуститься в дорогу — и потерять полдня, при том что перед нами один из прекраснейших перевалов Швейцарии и две трети пути уже пройдено?! — вскричал я. — Глупость несусветная!

— Ничто не заставит меня продолжать путь и пренебречь предостережением умершего, — замотал головой Вульф.

— А меня ничто не заставит поверить, что мы получили такое предостережение. Может быть, я в самом деле видел человека, а может, это была своего рода оптическая иллюзия. Я не верю в духов.

— Как тебе угодно. Можешь продолжать путь, если тебе угодно, и возьми с собой Кауфмана. Обратную дорогу я запомнил.

— Согласен, но Кауфман пусть выбирает сам.

Кауфман, узнав все обстоятельства, сразу же принял решение идти назад с Эгертоном Вульфом.

— Если Herr англичанин получил предупреждение от призрака, — сказал он, набожно перекрестившись, — то идти дальше — чистое самоубийство. Нужно послушаться этого благословенного духа, mein Herr!

Но даже если я и колебался в глубине души, теперь ни за что не повернул бы назад. Договорившись на следующий день встретиться в Шварценфельдене, мы распрощались.

— Храни тебя Господь! — сказал Вульф, поворачивая назад.

— Да брось ты, ничего мне не грозит, — со смехом отозвался я.

Итак, мы расстались.

Я стоял и смотрел им вслед, пока они не исчезли из виду. На повороте дороги они замедлили шаг и оглянулись. Когда Вульф помахал рукой, я не смог сдержать внезапной дрожи — так он был похож на мою иллюзию!

А в том, что это была именно иллюзия, я несколько не сомневался. О подобных феноменах хотя и нечасто, но приходится слышать. Я сам не раз беседовал на эту тему с выдающимися врачами и помню, что все они приводили похожие примеры из своей практики. Кроме того, была ведь всем известная история с Николаи, берлинским книготорговцем, не говоря уже о прочих случаях, столь же достоверных. Совершенно очевидно, что я на время тоже стал

жертвой иллюзии; однако чувствовал я себя как никогда хорошо: свежая голова, ясный ум, ровный пульс. Ладно, решил я для себя, с неверием в галлюцинации покончено. Но что до призраков... ну уж нет! Как может нормальный человек, да еще такой, как Эгертон Вульф, верить в привидения?

Улыбаясь своим мыслям, я подтянул плечевые ремни, плотнул вина из фляги и направился к тоннелю.

До него оставалось еще полмили: когда я заметил незнакомца, мы не успели пройти и половины расстояния от поворота дорога до темного отверстия в скале. С трудом переставляя ноги, я все время осматривал обочины (особенно край пропасти) в поисках тропинки или выступа скалы, где мог бы укрыться человек, но нет: по одну сторону шла сплошная известняковая стена, другая заканчивалась крутым, головокружительным обрывом. Иллюзия — это было единственное объяснение. Раз или два я останавливался и пытался вызвать ее снова, но тщетно.

С каждым шагом отверстие тоннеля выросло, таинственная тень в глубине сгушалась. Сейчас, вблизи, было видно, что вход в тоннель облицован кирпичом, шириной не уступает дороге и что свод достаточно высок для старомодного дилижанса с высоким верхом. В нескольких ярдах от входа я отчетливо слышал негромкое журчание водопада (теперь оно доносилось сквозь толщу горного уступа, где была продолблена галерея). Я вступил в тоннель.

Это было подобно перемещению из оранжереи в ледник — из полудня в полночь. Глубокая тьма, внезапный ледящий холод — на миг у меня перехватило дыхание.

Свод, стены и дорога под ногами — все было прорублено в твердой породе. Впереди, примерно в пятидесяти ярдах, в тоннель проникали острые стрелы солнечных лучей — там было расположено первое окошко. Второе, третье, четвертое... всего их светилось в глубине восемь или десять. Крошечное голубое пятнышко далеко впереди давало знать, где галерея открывается свету дня; до него предстояло шагать не меньше мили. Под ногами было мокро и скользко, и, когда глаза привыкли к темноте, я заметил струившуюся повсюду влагу.

Я ускорил шаг. Быстро миновал первое окошко, второе, но у третьего остановился, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И тут мне

впервые бросились в глаза ручейки, бежавшие по всем бороздам дороги.

Я почти бежал. Меня пробирала дрожь. Холод пронизывал до костей. Времени прошло всего ничего, но входная арка сжалась уже до размера ладони, а крошечное голубое пятнышко впереди казалось таким же далеким, как раньше. В тоннеле меж тем сквозь стены, как из душа, сочилась вода.

И тут я уловил непонятный шум: тяжело и глухо в сердце горы заворочались мощные неведомые силы. Я застыл, задержав дыхание, — твердая скала словно бы завибрировала у меня под ногами! Мелькнула мысль, что близок уже водопад за стеной галереи, что этот приглушенный рев сопровождает падение его вод. Случайно я взглянул под ноги: по всей ширине дороги струилась вода глубиной не меньше дюйма.

Конечно, будучи адвокатом, я мало что смыслю в основах инженерного дела, но я догадывался, что этот прославленный герр Беккер должен был озаботиться водонепроницаемостью своего тоннеля. Да, совершенно очевидно, что галерея где-то дала течь и что мириться в дальнейшем с такими неудобствами для путешественников никак нельзя. Дюйм воды под ногами, например, это... один дюйм? О боже! Вода поднялась до трех дюймов — она достигала моих щиколоток, — это был уже стремительный поток!

Меня охватил настоящий ужас — страх темноты и внезапной гибели. Я повернулся, отбросил альпеншток и припустил во все лопатки.

Я бежал, ничего не видя, едва дыша, точно дикое животное, за спиной жутко грохотал плененный водопад, а под ногами вздувался поток!

Покуда жив, не забуду этот ужас: руки и ноги занемели, дыхание отказывало, поток шумно прибывал, гнался за мной по пятам, обгонял, завихрялся водоворотом под окошками; в конце галереи (я был уже в двух шагах от него) вода, подобно живому существу, рванулась на солнечный свет и повернула к краю пропасти!

В последний миг, когда я проскочил арку и на неверных ногах пустился вверх по дороге, воздух потряс оглушительный, громоподобный взрыв, разбудивший стократное эхо. На мгновение его сменила зловещая тишина. С угрюмым низким ревом, заглушавшим

перекаты горного эха, в устье тоннеля возникла огромная волна — мощная и искристая, как волны Атлантики на западном английском берегу; на пороге она помедлила, вознесла ввысь величественный гребень, изогнулась, дрогнула, вспенилась и хлынула на дорогу ниже скалы, к которой я прилепился, как моллюск; потом, подобно волнам прибоя, откатилась назад, захлестнула утес и исчезла в облаке тумана.

Недолгое время освобожденный из плена поток бушевал, загромождавая дорогу обломками камня и кирпичей, но вот успокоился и он; еще не успело замереть вдали последнее эхо взрыва, а вольные воды уже весело бежали по новому руслу; поблескивая в солнечных лучах на выходе из галереи, струи плавно перекатывались через край пропасти и в причудливых завитках радужного тумана низвергались в долину, что была расположена двумя тысячами футов ниже.

Мне же, промокшему до нитки, оставалось только повернуть назад и смиренно последовать путем Эгертона Вульфа и Петера Кауфмана. Как я, промокший, усталый и без альпенштока, плелся по дороге, как добрался на закате до шале как раз вовремя, чтобы получить порцию превосходного омлета и форели, как швейцарская пресса дней девять не могла успокоиться, описывая мое спасение; как гневно поносили господина Беккера за его несовершенную инженерию и как Эгертон Вульф до сегодняшнего дня верит, что его брат Лоуренс явился с того света, чтобы спасти нас от гибели, — это подробности, на которых нет нужды останавливаться. Достаточно сказать, что я едва-едва спасся и если бы мы пошли дальше (а мы бы так и сделали, когда б не видение, нас задержавшее), то, вероятнее всего, взрыв застал бы нас в глубине тоннеля и рассказывать эту историю было бы некому.

Тем не менее, мои милые друзья, в духов я не верю и впредь верить не собираюсь.

Маргарет Олифант

(1828–1897)

Портрет

Пер. с англ. Н. Роговской

В то время, когда случились описанные здесь события, я жил с отцом в нашей усадьбе под названием «Дубрава». Там, в большом старинном доме в предместье провинциального городка, отец поселился на многие годы, и кажется, там я появился на свет. Дом из красного кирпича, отделанный белым камнем, представлял собой типичный образчик архитектуры времен королевы Анны — нынче так уж не строят. Планировка у него самая несуразная, со множеством пристроек и флигелей, широких коридоров и не менее широких лестниц, с просторными площадками на каждом этаже и большими комнатами при невысоких потолках, — словом, никакой рачительной экономии места: дом со всей очевидностью принадлежал отошедшим в прошлое временам, когда земля стоила дешево и ограничивать себя в масштабах не было нужды. Учитывая близость города, окружавшая дом роща могла сойти за лес, особенно весной: тогда под деревьями, куда ни глянь, расстилался ковер первоцветов. У нас были еще поля для выпаса коров и превосходный сад за каменной оградой. Сейчас, когда я пишу эти строки, наш старый дом сносят до основания, освобождая место для новых городских улиц с крохотными, тесно стоящими ломиками, которые, вероятно, здесь уместнее, нежели унылая громада господской усадьбы, памятник захудалому дворянскому роду. Дом и правда был унылый, и мы, последние его обитатели, оказались ему под стать. На всей обстановке лежала печать времени и, пожалуй, ветхости — в общем, похвалиться особенно нечем. Я, впрочем, не хотел бы создать у читателя превратное впечатление, будто наши семейные дела пришли в упадок, отнюдь нет. Откровенно говоря, отец мой был богат, и, пожелай он придать блеск своей жизни и дому, ему вполне хватило бы средств; только он не желал, а я наведывался слишком ненадолго и не мог сколько-нибудь заметно повлиять на вид и состояние фамильного

гнезда. Другого дома у меня никогда не было, и все же, не считая младенческих лет и, позже, школьных каникул, я почти в нем не жил. Матушка моя умерла при моем рождении или вскоре после него, и я рос в сумрачной тишине жилища, не согретого женским присутствием. В моем детстве, как я знаю, с нами жила еще сестра отца — тогда и дом, и я были вверены ее заботам; но она тоже давным-давно умерла, и скорбь по ней — одно из самых первых моих воспоминаний. Когда ее не стало, никто не пришел ей на смену. В доме были, разумеется, экономка и девушки-горничные, но последних я почти не видел, разве только женская фигура мелькнет и скроется за углом где-то в конце коридора или тотчас скользнет за дверь, стоит «джентльменам» войти в комнату. Что до экономки, миссис Вир, ее я встречал чуть ли не каждый божий день, но что сказать о ней? Книксен, улыбка да пара гладких полных рук, которые, слегка потирая одна другую, лежали на широком животе поверх большого белого передника. Вот, собственно, и все мои впечатления, вот и все женское влияние в доме. О нашей общей гостиной мне было известно только, что там царит мертвенно-идеальный порядок, никем никогда не нарушаемый. Три высоких окна гостиной смотрели на лужайку, а стена против двери полукружьем вдавалась в оранжерею наподобие большого эркера. В детстве я подходил снаружи к окну и подолгу разглядывал обстановку: вышитый узор на креслах, ширмы и зеркала, в которых не отражалось ни одно живое лицо. Мой отец не любил эту комнату, оно и понятно, но в те далекие дни мне и в голову не приходило спросить почему.

Добавлю здесь, рискуя разочаровать тех, кто лелеет сентиментальные иллюзии о необычайной одаренности детей, что мне в моем нежном возрасте не приходило в голову расспрашивать и про матушку. В моей жизни, какой она мне в ту пору представлялась, для подобного существа просто не было места; ничто не наводило меня на мысль о том, что она всенепременно должна была присутствовать в прошлом или что в нашем домашнем укладе ощущается ее отсутствие. Я безо всяких вопросов и рассуждений принимал, как, полагаю, обычно принимают дети, непреложную данность бытия в том виде, в каком она мне открылась. В некотором роде я сознавал, что в доме у нас довольно уныло, однако не видел в том ничего необычного, даже если сравнивал свои впечатления с тем,

о чем читал в книгах или слышал от школьных товарищей. Возможно, я сам по своей природе был унылого нрава. Я всегда любил читать, и возможностей удовлетворять это пристрастие у меня имелось в избытке. Я был в меру честолюбив по части своих успехов в учебе, но и тут не встречал ни малейших препятствий. Когда я поступил в университет, то оказался почти исключительно в мужском окружении. Разумеется, к тому времени и тем более в последующие годы я во многом изменился, однако, признавая женщин неотъемлемой частью общей экономики природы и ни в коем случае не испытывая к ним неприязни или предубеждения, я никак не связывал их с представлениями о собственной домашней жизни. Когда бы мне ни случилось в промежутках между разъездами по миру ступить под холодные, строгие, бесстрастные своды дома, он оставался неизменным — навсегда застывший, упорядоченный, серьезный: еда отменная, комфорт безупречный, вот только старый Морфью, наш дворецкий, становился раз от разу немного старше (совсем немного старше, а в общем, пожалуй, и вовсе не старше, если принять во внимание, что в детстве он казался мне библейским Мафусаилом), а миссис Вир — чуть менее бойкой, и руки у нее были теперь скрыты рукавами, хотя она складывала их на животе и потирала одну другой совершенно как раньше. Иногда я по детской привычке заглядывал снаружи в окна гостиной с ее мертвым, нерушимым порядком, вспоминал с усмешкой свое ребяческое благоговение и думал, что эта комната должна оставаться такой на веки вечные и что наконец войти в нее значило бы лишить это место занятой таинственности, рассеять нелепые, но милые чары.

Впрочем, как я уже говорил, в отчий дом я наезжал лишь изредка. Во время продолжительных каникул отец часто возил меня за границу, и мы с немалым для обоих удовольствием изъездили чуть ли не всю Европу. Он был стар в сравнении со столь юным сыном — его шестьдесят против моих двадцати, — но это ничуть не омрачало наших теплых и ровных отношений. Я не назвал бы их очень доверительными. У меня самого нашлось бы слишком мало поводов излить душу: я не попадал ни в какие истории и ни в кого не влюблялся, а ведь это два первейших обстоятельства, когда ищут сочувствия или пускаются в откровенность. Да и отца нельзя было заподозрить в желании облегчить душу. Я доподлинно знал, из чего

складывается его жизнь и чем он занят едва ли не всякий час дня: при какой погоде он поедет верхом, а при какой пойдет размять ноги, как часто и ради каких именно гостей позволит себе устроить званый ужин и предаться этому «серьезному» развлечению — не столь приятному, сколь обязательному. Все это я знал не хуже его самого, как и взгляды отца на те или иные общественные вопросы или его политические воззрения, которые, естественно, разнились с моими. О чем же нам было откровенничать? В сущности, не о чем. Мы оба от природы были весьма сдержанны и не склонны, к примеру, поверять кому бы то ни было свои религиозные чувства. Считается, что замкнутость в подобных вопросах есть знак особой к ним почтительности. Что до меня, я далеко в этом не уверен, но, как бы то ни было, такая манера поведения наиболее соответствовала складу моего характера.

Когда годы ученичества остались позади, я и вовсе надолго покинул отчий дом, пытаюсь проторить в жизни собственный путь. В этом я не слишком преуспел. Следуя естественному для молодого англичанина жребию, я отправился в североамериканские колонии, а затем в Индию с полудипломатической миссией, но спустя семь или восемь лет вернулся домой по болезни — здоровье мое было расстроено, а дух подорван теми испытаниями и разочарованиями, которыми обернулось первое же серьезное столкновение с жизнью. Просто у меня, как говорится, «не было причины» торить свой путь. Мой отец не давал мне ни малейшего повода усомниться в том, что рано или поздно я унаследую его внушительный капитал. Содержание он положил мне отнюдь не мизерное, и, не препятствуя моим честолюбивым планам, он вместе с тем ни в коей мере не побуждал меня к чрезмерному усердию. А когда я возвратился домой, он принял меня с превеликой радостью, не скрывая своего удовлетворения таким поворотом событий.

— Разумеется, — сказал он, — я радуюсь не тому, что ты разочарован, Филип, и, уж конечно, не тому, что ты подорвал здоровье. Но знаешь ли, нет худа без добра. Я очень рад, что ты снова дома. Ведь я старею...

— Но я не вижу никаких перемен, сэр, — возразил я. — На мой взгляд, здесь все точно так же, как было, когда я уехал...

Он улыбнулся и покачал головой.

— Хоть и верно говорят, что, когда доживешь до известного возраста, тебе начинает казаться, будто ты все идешь по ровной плоскости и никаких заметных перемен от года к году не происходит, однако это только кажется — плоскость-то наклонная, и чем дальше мы на ней удерживаемся, тем неожиданнее в конце срываемся вниз. Но как бы то ни было, ты здесь, и для меня это большое утешение.

— Кабы я только знал, кабы догадался, что нужен вам, я тотчас вернулся бы домой, вне зависимости от обстоятельств. Нас ведь только двое на свете...

— Да, — согласился он, — на свете нас только двое, и все же я не призвал бы тебя к себе, Фил, не стал бы вынуждать тебя прервать карьеру.

— Ну так тем лучше, что она сама собой прервалась, — сказал я с горечью, ибо нелегко смириться с разочарованием.

Он слегка похлопал меня по плечу и повторил: «Нет худа без добра», и вид у него при этом был такой довольный, что мне и самому стало легче на сердце: в конце концов, кто как не старик-отец — тот единственный в целом мире человек, пред кем я в долгу! Не скажу, чтобы меня никогда не посещали мечты об иных сердечных привязанностях, но мечты мои не сбылись. Ничего трагического, напротив, все очень обыденно. Наверное, я мог бы добиться любви, которой сам не желал, но не такой, которой желал, а раз так, то нечего и стенать, это обыкновенная житейская неудача. С подобными огорчениями сталкиваешься едва ли не каждый день, и, если уж на то пошло, из таких заурядных неприятностей жизнь в основном и состоит, и задним числом иногда понимаешь, что все закономерно и даже к лучшему.

Однако в свои тридцать лет я оказался у разбитого корыта, ни в чем, впрочем, не нуждаясь, — в обстоятельствах, которые у большинства моих сверстников скорее вызвали бы не жалость, но зависть: спокойная и приятная жизнь, денег сколько хочешь и в перспективе — солидное состояние. Правда, здоровье мое еще не поправилось, и у меня не было никакого полезного занятия. Близость города в такой ситуации шла мне скорее во вред, нежели во благо. Меня постоянно дразнил соблазн вместо длительных прогулок по сельской местности, настоятельно рекомендованных мне доктором, избрать куда более короткий маршрут и совершить променады по

главной улице нашего городка, то есть всего-навсего перейти на другой берег реки и вернуться назад — сказать по совести, не прогулка, а одна ее видимость. Наедине с природой ты погружаешься в тишину и раздумья, порой не самые приятные, тогда как тут же, совсем рядом, можно без хлопот найти себе развлечение: поглазеть на повадки и причуды здешних провинциалов, послушать городские новости, иначе говоря, отдаться пустому времяпрепровождению, которое и составляет жизнь (вернее, жалкое ее подобие) празднующегося бездельника. Мне все это претило, но вместе с тем я чувствовал, что сдаюсь, не находя в себе сил проявить твердость характера. В один прекрасный день местный священник и хозяин адвокатской конторы пригласили меня отужинать с ними. Еще немного, и я незаметно для себя влился бы в общество, какое ни есть, если бы имел к тому малейшую склонность, и скоро оказался бы в закрытом коконе, как будто мне не тридцать лет от роду, а все пятьдесят и я вполне доволен своей участью.

Вероятно, моя собственная бездеятельность заставила меня спустя некоторое время с изумлением увидеть, сколь деятельную жизнь ведет мой отец. Он не скрывал своей радости по поводу моего возвращения, однако теперь, когда я делил с ним общий кров, мы почти не виделись. Он, как и прежде, едва ли не все время проводил у себя в библиотеке. Но, по привычке наведавшись к нему, я не мог не заметить разительной перемены: библиотека превратилась в подобие рабочего кабинета, если не сказать конторы. На столе громоздились какие-то гроссбухи, которым я не мог найти объяснения в его обычных занятиях, а кроме того, он вел обширнейшую переписку. Однажды мне даже показалось, что при моем появлении он поспешно захлопнул один из фолиантов, словно не хотел, чтобы я в него ненароком заглянул. (Смысл происшедшего стал понятен мне позже, тогда же это меня слегка удивило, и только.) Он больше чем когда-либо погрузился в какие-то важные дела. Время от времени он принимал у себя посетителей не самой располагающей наружности. В душе моей росло недоумение, и я терялся в догадках. Так продолжалось, пока я случайно не разговорился с Морфью, и тогда мое смутное беспокойство стало обретать более или менее определенные контуры. Разговор возник сам собой, безо всякого умысла с моей стороны. Как-то раз, когда я пожелал увидеть отца,

Морфью сообщил мне, что хозяин чрезвычайно занят. Я, признаться, выслушал его ответ с неудовольствием.

— Сдается мне, отец нынче занят постоянно, — сгоряча обронил я.

На что Морфью с многозначительностью оракула несколько раз кивнул:

— Даже слишком занят, сэр, если мне позволено высказать свое мнение.

Я был так изумлен, что не удержался от вопроса.

— Что ты хочешь сказать? — осведомился я, не подумав, что выпытывать у слуги приватные сведения относительно обычаев моего отца так же дурно, как и проявлять излишнее любопытство к делам постороннего человека. Эта, казалось бы, очевидная истина в ту минуту не пришла мне в голову.

— Мистер Филип, — доверительно начал Морфью, — случилось то, что случается, к несчастью, слишком часто. На склоне лет хозяин стал очень переживать из-за денег.

— Раньше за ним такого не водилось.

— Прошу прощения, сэр, но такое водилось за ним и раньше. Только раньше он умел себя перебороть, хоть и нелегко было, вы уж простите, что я так говорю. Не знаю, как он теперь с собой справится, в его-то возрасте.

Слова старого дворецкого меня не столько встревожили, сколько рассердили.

— Ты, верно, сам не знаешь, что плетешь, — едва сдерживаясь, упрекнул я его. — Твое счастье, что за столько лет ты доказал свою преданность, иначе я не позволил бы тебе подобным образом отзываться об отце!

Старик смерил меня наполовину удивленным, наполовину надменным взглядом.

— Я при хозяине состою небось подольше, чем вы — у него в сыновьях, — сказал он и повернулся на каблуках к двери.

Его логика показалась мне столь комичной, что весь мой гнев как рукой сняло. Я вышел из дому — этот разговор застиг меня в ту минуту, когда я направлялся к выходу, — и совершил обычную краткую прогулку в город, в очередной раз потешив себя сим сомнительным развлечением. В тот день суетная праздность такого

времяпрепровождения показалась как никогда очевидной. Я встретил с полдюжины местных знакомцев и выслушал столько же новых сплетен. Я от начала до конца измерил шагами главную улицу, сперва туда, потом обратно, и по дороге купил какую-то мелочь. После чего повернул к дому, презирая себя и в то же время не зная другого способа убить время. Больше ли добродетели было бы в том, чтобы отправиться в поход по сельским дорогам? Такая прогулка по крайней мере оказалась бы полезной для здоровья, но не более того. Откровения Морфью не тяготили мой ум. В его словах я не видел никакого смысла и легко от них отмахнулся, запомнил только презабавную шутку о том, что он якобы ближе к сердцу принимает интересы своего хозяина, нежели я — интересы своего отца. Мне очень хотелось придумать, как бы так рассказать об этом отцу, чтобы у него не сложилось впечатления, будто Морфью отпустил по его адресу нелicenseприятное замечание, в то время как я стоял и слушал: было бы жаль не посмеяться вместе доброй шутке. Однако на подходе к дому произошло нечто, отчего упомянутый анекдот напрочь выскочил у меня из головы. Удивительное дело: стоит какому-то новому треволнению проникнуть в душу, как тут же вослед ему спешит другой сигнал и едва слышная поначалу тревожная нота вдруг начинает звучать в полную силу.

Я почти уже подошел к дому, гадая, застану ли по возвращении отца и найдется ли у него для меня минута досуга — я имел к нему небольшой разговор, — как вдруг заметил возле наших запертых ворот какую-то бедно одетую женщину. На руках у нее спал младенец. Стоял погожий весенний вечер, в полумраке тускло мерцали звезды, сплаживая очертания, приглушая краски, и женская фигура напоминала призрачную тень, которая бродила то туда, то сюда, от одной стойки ворот до другой. Завидев меня, женщина замерла на месте, словно в нерешительности, но потом, вероятно, собрав всю свою смелость, оставила сомнения и двинулась мне навстречу.

Я смотрел на незнакомку с тайным предчувствием, что она сейчас заговорит со мной, хотя и не догадывался о чем. Она, словно бы еще колеблясь, но более не медля, приблизилась ко мне и, не дойдя двух шагов, присела в неловком поклоне, тихо спросив:

— Вы, должно быть, мистер Филип?

— Что вам угодно? — отозвался я.

И тогда она без дальнейших предисловий, что называется с места в карьер, разразилась долгой речью — слова лились из нее обильным потоком, как если бы они давно уже были наготове и только ждали, когда двери ее уст растворятся и выпустят их наружу.

— Ах, сэр, мне нужно поговорить с вами! Не могу поверить, чтоб вы были бессердечны, вы же так молоды, не может быть, что он не смягчится, коли за нас заступится его сын — его единственный, как я слыхала, сын! Ах, милостивый государь, конечно, вам, господам, все нипочем — не нравится в одной комнате, так можно перейти в другую, но если у вас только и есть одна эта комната, а все, что в ней было, у вас забрали, все до последней табуретки, и у вас ничегошеньки не осталось, кроме четырех голых стен, — ни колыбельки для младенца, ни стула для мужа, чтоб мог после работы прийти и сесть, ни захудалой кастрюли, чтоб сварить ему ужин...

— Полно, голубушка, — опешил я, — да кто ж это мог все у вас отобрать? Кто решился бы обойтись с вами столь жестоко?

— Жестоко, говорите? То-то! — вскричала она торжествуя. — О, я так и знала, что вы... что всякий истинный джентльмен, который не думает, как бы выжать последний грош из бедняка, будет такого мнения. А вот вы подите и скажите это хозяину, Христом Богом молю! Образумьте его, пусть поймет, что он творит. Как можно доводить несчастных до отчаяния! Да, скоро лето, хвала Господу, но по ночам еще лютый холод, когда окно-то без стекла! А каково горбатиться день-деньской и знать, что дома у тебя только одни голые стены, и даже плохонькую мебелишку, на которую всю жизнь по крохам собирал, и ту за долги всю вынесли, и ты, считай, вернулся к тому, с чего начал, только теперь еще того хуже — тогда-то у нас была хотя бы молодость... Ох, сэр! — уже в полный голос, готовый вот-вот сорваться в безудержные рыдания, воззвала ко мне женщина. Кое-как взяв себя в руки, она с мольбой добавила: — Заступитесь за нас! Он не откажет собственному сыну...

— Да перед кем же мне за вас заступиться? Кто ваш обидчик?

Женщина помедлила, взглянула испытующе мне прямо в лицо и вновь, слегка запнувшись, спросила: «Вы ведь мистер Филип?» — как будто это все объясняло.

— Все верно, я Филип Каннинг, — подтвердил я, — но какое я ко всему этому имею отношение? И с кем мне надлежит о вас говорить?

Она принялась жалобно всхлипывать и, плотая слезы, взмолилась:

— О, прошу вас, сэра! Мистер Каннинг, он тут хозяин всех домов, и двор наш ему принадлежит, и улица, и все, все здесь его! Это он выдернул из-под нас кровать, и колыбельку забрал, даром что Библия не велит отнимать у бедняка постель.

— Как, мой отец! — невольно вскричал я. — Уж, верно, не сам он, а кто-то другой от его имени. Уверяю вас, что он о том не ведает. Не сомневайтесь: я тотчас же поговорю с ним.

— Храни вас Бог, сэра, — прочувствованно сказала женщина и, понизив голос, пробормотала: — Никакой это не другой, он самый и есть, который живет, беды не зная. Он это, он, хозяин господского дома! — Конец ее речи прозвучал еле слышно — слова явно не предназначались для моих ушей.

Все время, пока она изливала свои жалобы, в голове у меня мелькали обрывки моего разговора с Морфью. Что все это значит? Не здесь ли кроется объяснение отцовых нескончаемых часов в кабинете, неподъемных гроссбухов и странных посетителей? Я узнал у женщины ее имя, дал ей немного денег, чтобы уже в этот вечер хоть как-то облегчить участь несчастной, и пошел в дом со смятенной душой и с камнем на сердце. Я отказывался поверить, что мой отец способен на такие поступки. При этом я знал, что он не терпит вмешательства в свои дела, и недоумевал, как навести его на нужный мне предмет. Оставалось только надеяться, что, когда я затею этот разговор, слова сами ко мне придут невесть откуда, как нередко случается в минуты отчаяния, даже если повод не столь значительный, чтобы простой смертный мог ожидать от себя чуда красноречия... Как повелось, я не видел отца до самого ужина. Я уже упомянул о том, что еда у нас в доме была отменная, изысканная в своей простоте, всегда все самое лучшее, отлично приготовленное и правильно поданное — совершенство без тени вычурности, то есть именно такое сочетание, которое дорого сердцу англичанина. Я не сказал ни слова, пока Морфью, строго следивший за тем, чтобы все было исполнено как подобает, не удалился из столовой, и только тогда, собравшись с духом, решился начать разговор:

— Нынче у ворот меня остановила весьма странная просительница — бедная женщина, как видно, одна из ваших съемщиц, сэр, с которой, судя по всему, ваш поверенный обошелся чересчур сурово.

— Мой поверенный? О ком ты? — невозмутимо спросил отец.

— Имя его мне неизвестно, но его компетентность весьма сомнительна. У несчастной, как она говорит, вынесли из дому все имущество — даже кровать, даже колыбель младенца!

— Вне всякого сомнения, она задержала ренту.

— Это более чем вероятно, сэр. С виду она очень бедна.

— Ты говоришь так, словно неуплата долга в порядке вещей, — промолвил отец, подняв на меня глаза, в которых мелькнула насмешка: кажется, мое замечание совершенно его не задело, а скорее позабавило. — Но ежели мужчина — или женщина, не важно, — берет в аренду дом, то, полагаю, само собой разумеется, что за него нужно платить ренту.

— Несомненно, сэр, — отвечал я, — когда есть чем платить.

— Подобная оговорка для меня неприемлема, — отрезал отец, но без гнева, вопреки моим опасениям.

— По моему мнению, — продолжал я, — ваш человек проявил излишнюю суровость. И это придает мне смелости высказать то, что в последнее время все больше меня занимает... — вот они, те самые слова, которые, как я надеялся, сами ко мне придут: они сорвались с языка под влиянием минуты, но произнес я их с большим чувством, словно был глубоко убежден в их правоте, — а именно: я ничем не занят, мне совершенно некуда девать время. Сделайте меня своим доверенным лицом. Я сам во все вникну и позволю вам избежать подобных ошибок, к тому же у меня появится полезное занятие...

— Ошибок? На каком основании ты считаешь это ошибкой? — недовольно спросил он и, чуть помолчав, продолжил: — Да и странно слышать от тебя такое предложение, Фил. Понимаешь ли ты сам, что предлагаешь? Заделаться сборщиком ренты, ходить от порога к порогу, неделя за неделей, следить, чтобы вовремя починили то, отремонтировали другое, чтобы исправно работал водопровод и так далее, и тому подобное, да чтобы жильцы не задерживали плату — если начистоту, это самое главное, — и своими сказками про бедность не вынуждали идти у них на поводу.

— Куда важнее, чтобы вы не шли на поводу у людей, не знающих сострадания, — возразил я.

Отец посмотрел на меня с каким-то странным выражением, которое я не сумел до конца разгадать, и вдруг сказал то, чего, сколько я себя помнил, он ни разу в жизни не говорил:

— Ты становишься похож на свою мать, Фил...

— На мать! — Упоминание о ней прозвучало так необычно, так беспримерно необычно, что я был до глубины души поражен. Мне показалось, будто в застоялой атмосфере дома внезапно обнаружился совершенно новый элемент, а к нашему разговору присоединился неведомый третий участник. Отец смотрел на меня с противоположного конца стола словно бы в недоумении, не понимая, чему я так изумился.

— Разве это столь уж невероятно?

— Нет, разумеется, ничего невероятного нет в том, что я похож на мать. Вот только... я так мало о ней знаю... почти что ничего.

— Это так. — Он поднялся и стал перед камином, огонь в котором едва теплился, поскольку вечер не был холодным — во всяком случае, до этой минуты никакого холода не ощущалось. Но сейчас в этой слабо освещенной, блеклой комнате на меня вдруг повеяло стужей. Допускаю, что в тот миг обстановка показалась мне особенно унылой, когда я мысленно представил себе, насколько теплее, веселее, наряднее здесь могло быть. — Уж коли речь зашла об ошибках, — молвил отец, — один свой промах я готов, пожалуй, признать: мне не следовало так решительно отлучать тебя от ее половины дома. Все дело в том, что самому мне бывать там без надобности. И ты поймешь, почему я сейчас завел этот разговор, когда я скажу тебе...

Тут он прервался, с минуту постоял молча, а потом позвонил в колокольчик. На его призыв явился Морфью, как всегда обставив свой приход со всей возможной церемонностью, так что мы провели в полном безмолвии еще какое-то время, в течение которого мое удивление все возрастало. Когда старик-слуга наконец показался в дверях, отец спросил его:

— Ты зажег свечи в гостиной, как я просил?

— Да, сэр, и ящик открыл, сэр, и... сходство поразительное.

Последнюю реплику старый слуга произнес скороговоркой, словно опасался, что хозяин не даст ему договорить. И он не ошибся — отец

оборвал его нетерпеливым взмахом руки.

— Довольно. Свое мнение можешь оставить при себе. Сейчас ступай.

Дверь за ним закрылась, и, оставшись наедине, мы вновь погрузились в молчание. Столь беспокоивший меня только что предмет вдруг рассеялся, словно туман. И как ни пытался я вернуть себе недавнюю решимость, все было тщетно. Я так разволновался, что у меня перехватило дыхание, хотя я ни на минуту не допускал мысли, будто наш пусть унылый, но почтенный дом, где все дышит благонаравием и добропорядочностью, может скрывать постыдную тайну. Итак, прежде чем отец заговорил, прошло некоторое время — в том не было расчета, сколько я мог судить, просто в голове его роились мысли, для него самого, вероятно, непривычные.

— Ты ведь, поди, не бывал в гостиной, Фил, — наконец сказал он.

— Пожалуй. При мне ею не пользовались. Честно говоря, эта комната всегда внушала мне робость, если не трепет.

— Совершенно напрасно. Для страхов вовсе нет причины. Просто при моем образе жизни, а я ведь по большей части жил один, гостиная совсем ни к чему. Я всегда по своей охоте сживал среди книг. Мне следовало, однако, подумать о том, какое впечатление это может произвести на тебя.

— О, пустяки, — возразил я, — все мои страхи такое ребячество! Я ни разу не вспомнил об этой комнате, с тех пор как возвратился домой.

— Она и в лучшие времена не отличалась роскошным убранством. — С этими словами отец взял со стола лампу и, пропустив мимо ушей мое предложение принять ее у него из рук, в какой-то странной рассеянности первый пошел к двери. Ему было уже под семьдесят, и выглядел он на свой возраст. Но он был еще очень бодр — никто не сказал бы про него, что он начал сдавать. Круг света от лампы выхватывал из темноты его седые волосы, живые голубые глаза и чистое, без изъянов, лицо — гладкий, словно старая слоновая кость, лоб, чуть тронутые теплым румянцем щеки: старик, но старик в полной силе. Он был выше меня ростом и почти так же крепок. Когда он на мгновение замер с лампой в руке, я невольно сравнил его с башней — высокой, монументальной башней. Я смотрел на него и думал, как близко я его знаю — ближе, чем кого бы то ни было в

целом свете, знаю до мельчайших подробностей его внешней жизни. Возможно ли, что в действительности я совсем его не знаю?..

Гостиная была освещена мерцающим светом свечей, расставленных на каминной полке и вдоль стен, — приятный, хоть и неяркий свет, как от звезд в ночном небе. Не имея даже отдаленного представления о том, что мне предстоит увидеть, ибо я совершенно не понимал, к чему отнести второпях оброненные Морфью маловразумительные слова о каком-то «поразительном сходстве», я окинул комнату взглядом, но поначалу обратил внимание только на вышеописанную иллюминацию, для которой покамест не видел причины. Я снова оглядел комнату и тут заметил большой, в полный рост портрет, еще не вынутый из ящика, в котором он, по всей вероятности, к нам прибыл. Картину прислонили к столу в центре гостиной. Отец направился прямо к ней, жестом велел мне придвинуть стол поменьше к левому краю полотна и на этот стол поставил лампу. Указав на картину, он отступил в сторону, чтобы я мог рассмотреть ее без помех.

Это был портрет очень молодой женщины, скорее девушки — ей едва ли исполнилось двадцать, — в белом платье, совсем простом, старинного покроя, хотя я слабо разбирался в женских костюмах и затруднился бы точно сказать, к какому времени оно относится. Может быть, лет сто тому, а может, и двадцать — бог весть. Такого лица, такого чистого выражения свежести, искренности, простодушия мне еще не доводилось встречать — во всяком случае, это то, что поразило меня в первую минуту. В глазах у нее сквозила легкая грусть, а возможно, и потаенная тревога — безоблачного счастья в ее взоре определенно не было: что-то едва заметное, почти неуловимое в изгибе век убеждало в этом. Изумительный цвет лица, светлые волосы — но глаза темные, и это придавало ее облику милое своеобразие. Если бы глаза у нее были голубые, лицо было бы ничуть не менее, а может стать, и более очаровательным, но темные глаза сообщали ему особую выразительность: это тот малый диссонанс, от которого рождается изысканная гармония. Лицо ее, возможно, не отвечало канону абсолютной красоты. Для настоящей красавицы девушка выглядела слишком юной, слишком хрупкой и неразвитой физически; и все же я никогда прежде не видел лица, столь

располагающего к любви и доверию. Оно вызывало безотчетную симпатию, так что нельзя было ему не улыбнуться.

— Какое прелестное личико! — умилился я. — До чего же славная девушка! Кто она? Какая-нибудь наша родственница, из тех, о ком вы мне сказывали?

Отец молчал. Он отступил в сторону и смотрел на портрет с каким-то отрешенным выражением, словно слишком хорошо знал эти черты и ему не было нужды в них вглядываться, словно этот облик и без того стоял у него перед глазами.

— Да, — сказал он после долгого молчания с глубоким вздохом, — девушка была славная, если воспользоваться твоим определением.

— Была? Так она мертва? Какая жалость! — огорчился я. — Какая жалость! Такая молоденькая, такая милая!

Мы стояли бок о бок, неотрывно глядя на нее, столь обворожительную в своем неколебимом покое, двое мужчин, из которых один, тот, что моложе, достиг уже полной зрелости и имел за плечами разнообразный жизненный опыт, а второй был и вовсе старик, — стояли затаив дыхание перед этим совершенным воплощением нежной юности. Молчание прервал отец, и голос его слегка дрожал, когда он произнес:

— Ужели ты не догадываешься, Фил, кто это?

Я обернулся к нему в полнейшем недоумении, но он отвел взгляд. Трепет тайного волнения коснулся его лица.

— Это твоя мать, — сказал он и, не проронив более ни слова, внезапно вышел за дверь, оставив меня одного.

Моя мать!

На миг я застыл в оцепенении перед невинным созданием в белых одеждах, сущим ребенком в моих глазах. Потом, сам того не желая, я вдруг истерически расхохотался: во всем этом было что-то смехотворное — и жуткое одновременно. Отсмеявшись, я понял, что глаза мои, прикованные к портрету, полны слез и мне нечем дышать. Нежные черты, кажется, ожили, губы дрогнули, потаенная тревога в глазах излилась в обращенный ко мне пыливый вопрос. Да нет, пустое! Ничего подобного, не более чем обман зрения, затуманенного соленой влагой в моих глазах. Моя мать! Возможно ли? Это чистое и нежное создание... Да у какого мужчины повернется язык назвать ее так, когда ее и женщиной-то назвать нельзя? Что до меня, я слишком

слабо представлял себе значение слова «мать». Мне доводилось слышать, как его высмеивали, обдавали презрением, боготворили... но я не умел определить его место, пусть умозрительное, среди первооснов жизни. И тем не менее, ежели оно что-нибудь да значило, стоило над этим задуматься. О чем она вопрошала, глядя на меня своими несравненными очами? «О если б эти губы говорили...» Что сказала бы она мне? Да знай я ее хотя бы так, как знал свою матушку Купер — только по детским воспоминаниям, — даже тогда между нами могла бы быть какая-то ниточка, могла сохраниться слабая, но понятная связь. А так единственное, что я чувствовал, — это дикое несоответствие между словом и образом. Бедное дитя, повторял я про себя, милое создание, бедная, нежная девочка, душенька... словно она была моя младшая сестра, мое дорогое дитя... Но чтобы моя мать!.. Не могу сказать, сколько времени я стоял, глядя на нее, изучая ее бесхитрое, милое личико, в котором так ясно угадывались задатки всего, что только может быть доброго и прекрасного, и как же я сожалел, что она умерла и всему этому не суждено было в ней расцвести. Бедная девочка! И бедные те, кто любил ее! Так думал я, голова моя кружилась, все странно плыло и вертелось перед глазами — мой разум отказывался понять смысл нашего непостижимого родства.

Через некоторое время отец вернулся — вероятно, удивленный моим долгим отсутствием, ибо сам я не замечал бега минут; а может быть, он не находил себе места, потому что его привычный покой был растревожен. Он взял меня под руку, будто хотел на меня опереться, и это невольное движение сказало мне о его любви и доверии больше, чем любые слова. Я теснее прижал к себе его руку: никакое объятие для нас, двух чуждых сентиментальности англичан, не выразило бы большей полноты чувств.

— Я не в силах этого понять, — признался я.

— Ничего удивительного. Но если тебе это странно, Фил, вообрази, во сколько раз более странно это мне! Ведь она... Для меня она подруга жизни. Другой у меня не было, да я о другой и не помышлял. Эта... девочка! Ежели нам доведется свидеться, на что я всегда уповал, что скажу ей я, старик? Да-да, я знаю твои возражения. Для своих лет я не дряхл, но мои лета — без малого семь десятков: спектакль сыгран, и скоро опустится занавес. И мне, мне свидеться с

этим юным созданием? Когда-то мы уверяли друг друга, что будем навеки вместе, что мы неразлучны в жизни и в смерти. Но что я скажу ей, Фил, когда вновь повстречаю ее — этого чистого ангела? Нет, не то меня мучит, что она ангел, а то, что она так юна! Она же мне годится... во внучки! — выпалил он не то сквозь слезы, не то сквозь смех. — И это моя жена... а я старик... старик! Столько всего минуло, столько произошло, чего она не сможет понять.

Я был так ошеломлен его сетованиями, что стоял, словно набрав в рот воды. Я не мог проникнуться его заботой и потому ответил так, как ответил бы любой, — в самом общем плане:

— Они там не такие, как мы, сэр, они смотрят на нас иными, всезнающими глазами.

— Ах, тебе меня не понять, — поспешно сказал он и постарался совладать с собой. — Первое время после ее кончины моим утешением была мысль, что мы с ней снова встретимся — что нас нельзя разлучить. Но бог ты мой, как же я с тех пор переменялся! Я другой человек — я существо иной породы. Конечно, я и тогда уже был не слишком молод — на двадцать лет старше ее, — но ее юность словно бы и меня делала моложе. Нельзя сказать, что я не подходил ей: она была довольна своей участью, а ведь она настолько же больше меня понимала в каких-то вещах — будучи значительно ближе к их природной сути, — насколько я лучше разбирался в других, а именно в делах житейских. Но с тех пор я прошел большой и долгий путь, Фил, очень долгий. А она и поныне там, где я ее оставил, все та же.

Я вновь прижал к себе его руку.

— Отец (так я обращался к нему в исключительных случаях), — право, не следует полагать, будто там, в высшей жизни, человеческий разум застывает раз навсегда.

Не то чтобы я мог со знанием дела рассуждать на подобные темы, но считал своим долгом произнести нечто в этом роде.

— Тогда всё еще хуже, еще хуже! — убивался он. — Тогда и она тоже, подобно мне, теперь другая, и значит, мы встретимся — как кто? Как чужие, как люди, которые давно потеряли друг друга из виду, оказались разделены... Это мы, которые расстались, боже, боже, с тем... с той... — Голос его сорвался, и он замолчал. И покуда я, удивленный, нет, потрясенный его взрывом, растерянно искал в своей душе подходящий отклик, он внезапно отнял свою руку и сказал уже

обычным тоном: — Куда мы повесим картину, Фил? Ее место здесь, в этой комнате. Где тут, по-твоему, наилучшее освещение?

Столь внезапная перемена настроения удивила меня пуще прежнего, усугубив мою растерянность, однако я понимал, что обязан послушно следовать за этой переменной, если ему угодно упрятать всколыхнувшиеся чувства под замок. И мы с величайшей серьезностью взялись за решение нехитрого вопроса — выбор наилучшего освещения.

— Боюсь, я неважный советчик, — начал я, — эта комната для меня все равно что чужая. Если не возражаете, давайте отложим наше дело до завтра, когда можно будет увидеть все при свете дня.

— Мне кажется, — сказал он задумчиво, — лучше всего ей будет здесь.

Он указал на стену за камином, напротив окон, — с точки зрения освещения место отнюдь не лучшее для масляной живописи, в этом я был уверен. Но когда я попытался высказать свои сомнения, он нетерпеливо оборвал меня:

— Удачный свет или нет, в конце концов, не суть важно — кроме нас с тобой, никто на нее смотреть не будет. У меня свои резоны...

В облюбованном им месте к стене был придвинут столик, на который отец как раз оперся рукой. На столике стояла изящная плетеная корзинка. Отцовская рука, должно быть, сильно тряслась — столик покачнулся, корзинка упала, и все, что в ней лежало, рассыпалось по ковру: образцы вышивки, лоскуты цветного шелка, неоконченное вязанье. Когда все вывалилось ему под ноги, он рассмеялся и хотел было наклониться, чтобы собрать рукоделие обратно в корзинку, но вместо этого на подгибающихся ногах проковылял к стулу и уронил лицо в ладони.

Нет нужды объяснять, что это была за корзинка. Сколько я себя помнил, в нашем доме женского рукоделия никто не видел. Я почтительно собрал с пола милые мелочи и уложил все на место. Хотя я совершенно несведущ в таких делах, но сразу понял, что вязанье — это какая-то вещица для младенца. Мог ли я не прижать дорогую реликвию к своим губам? Неоконченная вещица предназначалась для меня!

— Да, полагаю, здесь ей будет лучше всего, — произнес отец через минуту своим обычным тоном.

Тем же вечером мы сами, без посторонней помощи, повесили картину. Она была большая, в тяжелой раме, но отец не стал никого звать и подсоблять мне взялся собственноручно. Потом, поддавшись странному суеверию, объяснить которое я не в состоянии даже себе, мы заперли за собой дверь, оставив в комнате зажженные свечи, словно для того, чтобы их неяркий, таинственный свет скрасил ей первую ночь после возвращения под кров старого дома, где она некогда жила.

В тот вечер мы более не обмолвились ни словом. Вопреки обыкновению отец рано ушел к себе. Впрочем, у нас и не было заведено, чтобы я допоздна сидел с ним в библиотеке. У меня имелся собственный кабинет, или курительная, где хранились мои «сокровища» — сувениры из путешествий, любимые книги — и где я уединялся после вечерней молитвы: так повелось издавна. Вот и в тот вечер я, как всегда, удалился к себе и, как всегда, читал, правда, на сей раз довольно рассеянно, то и дело отвлекаясь от книги на свои мысли. Поздно ночью я вышел через застекленную дверь на лужайку и пошел вокруг дома, намереваясь заглянуть в окно гостиной, как, бывало, заглядывал ребенком. Только я забыл, что на ночь окна закрывали ставнями: сквозь узкие щели изнутри едва пробивался слабый свет, робко свидетельствуя о новом жильце.

Наутро отец уже совершенно владел собой. Он невозмутимо поведал мне, каким образом картина попала к нему в руки. Портрет принадлежал семье моей матери и в конце концов достался какому-то ее родственнику, проживавшему за границей.

— Я никогда его не жаловал, как и он меня, — заметил отец. — Ему чудился во мне соперник — напрасно, однако он не хотел с этим согласиться. На все мои просьбы снять с портрета копию он отвечал мне отказом. Ты можешь себе представить, Фил, как горячо я желал иметь у себя этот портрет. Если бы мне пошли навстречу, ты по крайней мере знал бы, как выглядела твоя мать, и не пережил бы теперь такого потрясения. Но ее родственник был неумолим. Полагаю, ему доставляло особую радость сознавать, что он обладатель единственного ее портрета. Теперь он умер и из запоздалого раскаяния — или с иным неведомым умыслом — завещал портрет мне.

— Вероятно, он поступил так из добрых побуждений, — сказал я.

— Вероятно... Или из каких-то других. Возможно, он рассчитывал таким образом связать меня обязательствами, — обронил отец, но более распространяться на эту тему он определенно не желал.

Мне было невдомек, о каких обязательствах могла идти речь, в чьих это было интересах и кто тот человек, который на смертном одре обременил нас столь весомым долгом. Одно я знал наверное: я точно у него в долгу, хотя я не понимал, с кем мне следует расплатиться, поскольку сам он уже отошел в мир иной. Отец тотчас прекратил этот разговор, для него, по-видимому, крайне неприятный. Когда бы я потом ни пытался завести речь об этом, он молча принимался разбирать письма или перелистывать газету. Судя по всему, он решил, что сказал достаточно.

Я прошел в гостиную еще раз взглянуть на портрет. Странно — в глазах девушки как будто не читалось столь явной тревоги, которая мне почудилась накануне вечером. Вероятно, все дело было в свете, теперь более благоприятном. Портрет висел прямо над тем местом, где, вне всяких сомнений, она частенько сиживала при жизни и где по сию пору стояла ее корзинка с рукоделием, — висел чуть выше корзинки, почти касаясь ее. Портрет, как я уже говорил, был выполнен в полный рост, а мы повесили его довольно низко, так что складывалось невольное впечатление, будто девушка в белом со ступени сходит в комнату: ее голова оказалась почти вровень с моей. И вот я вновь стоял против нее и смотрел ей в лицо. И снова удивленно улыбался мысли, что это юное создание, почти ребенок, — моя мать; и снова при виде ее мои глаза увлажнились. Да, тот, кто вернул ее нам, — поистине благодетель! Я сказал себе, что если когда-нибудь сумею оказать услугу пусть не ему самому, но кому-то из его близких, то сделаю это без колебаний, ради себя... ради этого прелестного юного создания.

Переполненный такими чувствами и теми мыслями, которые им сопутствовали, я, признаюсь, начисто позабыл о другом предмете, еще вчера целиком мною владевшим.

Подобные предметы, однако же, как правило, сами не позволяют с легкостью выкинуть их из головы. Когда днем я совершал свою обычную прогулку — вернее, когда с нее возвращался, — я вновь увидал у себя на пути женщину с ребенком на руках, ту самую, чьи

слова накануне глубоко меня огорчили. Она опять поджидала меня у ворот и, едва завидев, кинулась ко мне.

— Ах, господин, так что же вы мне скажете?

— Сударыня... я... я был чрезвычайно занят. У меня... не нашлось времени.

— Ах, вот как! — разочарованно воскликнула она. — То-то муж говорил мне, что радоваться рано — с благородными господами никогда наперед не знаешь!

— Я не могу объяснить вам, — сказал я со всей возможной предупредительностью, — причину, по которой я позабыл о вашем деле. Случилось нечто такое, что в конечном счете вам только на руку. Сейчас идите домой и разыщите человека, который забрал ваш скарб, — пусть придет ко мне. Я обещаю вам все уладить.

Женщина в изумлении возрилась на меня, а потом ее словно прорвало — кажется, она сама не ведала, что говорит:

— Как! Вы поверите мне на слово и расследования не назначите?

Дальше хлынул поток благодарных слез и славословий, так что я заторопился прочь, однако же, при всей поспешности своего бегства, я запомнил ее странный возглас: «Вы поверите мне на слово?» Возможно, я свалял дурака, но в конце концов дело-то предстояло пустячное! Дабы осчастливить эту несчастную, мне достаточно было пожертвовать — чем? — разве что одной-другой коробкой сигар или иной подобной мелочью. Да если бы и оказалось, что в ее бедственном положении винить нужно ее самое или ее мужа, что с того? Кабы меня наказывали за все мои провинности, где был бы теперь я сам? И если мое благодеяние поправит ее жизнь лишь на время — что с того? Разве такая передышка, такое утешение, пусть даже на день, на два, — не то, на что мы уповаем среди тягот жизни? Таким вот образом я потушил огненную стрелу порицания, которую моя протеже сама же в меня и выпустила по ходу нашего разговора (я не преминул отметить комичность этого обстоятельства). Однако известной цели острие пущенной ею стрелы достигло: я уже не так рвался увидеться с отцом, напомнить ему о моем деловом предложении и привлечь его внимание к излишней суровости, проявляемой от его имени. Данный случай был исключен мною из категории ошибок, подлежащих исправлению, и я попросту присвоил себе роль Провидения — ибо, разумеется, твердо решил заплатить ренту несчастной женщины и вернуть ей отнятое у нее имущество: что бы ни случилось с ней в будущем, но ее прошлое я брался изменить. Тем временем ко мне явился поверенный отца.

— Не могу знать, сэр, как посмотрит на это мистер Каннинг, — с сомнением сказал он. — Ему не нужны такие жильцы, которые платят не вовремя и кое-как. Он всегда говорит, что, если все им спускать и разрешать как ни в чем не бывало жить дальше, то в конце концов им же хуже будет. У него ведь какое правило: «Месяц ждем, и точка, Стивенс». Так он мне говорит, мистер Каннинг то есть. И это хорошее правило, очень даже хорошее. Он не желает слушать их рассказы. И ей же богу, если их слушать, так вы ни пенни с их лачуг не получите. Но коли вам угодно уплатить ренту миссис Джордан, мое какое дело, уплачено — значит уплачено, пожалте, верну ей ее скарб. Только в другой-то раз все одно придется забрать, — невозмутимо добавил он, — и так снова и снова. С бедняками это вечная песня: слишком

они бедные — и для того, и для сего, и для всего, — философически заключил он.

Едва за посетителем закрылась дверь, ко мне вошел Морфью.

— Мистер Филип, — начал он, — прошу прощения, сэр, но если вы собираетесь оплачивать ренту всех бедняков, которые кивают на свои несчастья, так скоро сами окажетесь в долговой яме, потому что конца-края этому не будет...

— Я намерен впредь сам заниматься арендаторами, Морфью, буду лично управлять делами отца, и скоро мы положим конец безобразиям, — сказал я с бодростью, которой в глубине души не чувствовал.

— Управлять делами хозяина!.. — ошарашенно выдохнул Морфью. — Вы, мистер Филип?!

— Ты, кажется, ни в грош меня не ставишь, Морфью.

Он не стал этого отрицать. В страшном волнении старик знай твердил свое:

— Хозяин, сэр... Хозяин не потерпит, чтобы ему ставили палки в колеса, ни от кого не потерпит. Хозяин... не такой он человек, чтобы кто-то управлял его делами. Не нужно ссориться с хозяином, мистер Филип, Христом Богом молю. — Старик побледнел как полотно.

— Ссориться! — изумился я. — Я в жизни не ссорился с отцом — и сейчас не собираюсь.

Пытаясь унять расхолодившиеся нервы, Морфью начал хлопотать вокруг затухающего камина и разжег такой огонь, словно на дворе стоял декабрь, тогда как вечер был по-весеннему теплый. Старые слуги знают множество способов вернуть себе душевный покой, и это один из них. Подбрасывая в камин угли и подкладывая дрова, Морфью беспрестанно бубнил себе под нос:

— Ему это ох как не понравится... уж мы-то знаем! Хозяин не потерпит никакого вмешательства, мистер Филипп. — Последние слова он пустил в меня словно дротик, прежде чем затворить за собой дверь.

Вскоре я убедился в его правоте. Поначалу отец не разгневался, отчасти он даже находил все это забавным.

— Не думаю, Фил, что твой план удастся воплотить в жизнь. Говорят, ты взялся покрывать ренту должников и выкупать их пожитки — накладная затея и в высшей степени бесполезная. Но

покуда ты играешь в человеколюбца, который раздает благодеяния ради собственного удовольствия, меня это не касается. Какая, право, мне разница, откуда я получаю свои деньги, хотя бы и из твоего кармана, раз тебя это тешит. Но если ты станешь действовать как мой уполномоченный, каковым ты любезно предложил мне тебя назначить...

— Само собой разумеется, я исполнял бы ваши распоряжения, — заверил я его, — во всяком случае, вы могли бы не сомневаться в том, что я не запятнаю ваше имя никакими... никаким... — Я запнулся, подыскивая нужное слово.

— Притеснением, — с улыбкой пришел он мне на помощь, — издевательством, вымогательством — найдется еще с полдюжины пригодных слов.

— Сэр!.. — вскричал я.

— Не надо, Фил, я хочу, чтобы мы как следует друг друга поняли. Смею надеяться, я всегда поступал по справедливости. Я неукоснительно выполняю свои обязательства и от других ожидаю того же. А вот твое человеколюбие поистине бесчеловечно. Я с великим тщанием вычислял размер допустимого кредита, но ни одному арендатору, будь то мужчина или женщина, я не позволю задолжать мне больше того, что он способен возместить. Таков мой закон, и точка. Теперь ты, надеюсь, понимаешь. Мои поверенные, как тебе угодно их называть, никакой самостоятельности не проявляют — они лишь исполняют мою волю...

— Но в таком случае в расчет не берутся никакие обстоятельства, а ведь в жизни случаются неудачи, злключения, непредвиденные потери!..

— Нет никаких злключений, — отрезал он, — и неудач тоже не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Я не намерен ходить по домам, выслушивать душеспитательные истории и позволять себя дурачить — нет уж, увольте! И ты еще скажешь мне спасибо за то, что я поступаю так, а не иначе. У меня для всех одно правило, и выведено оно, уверяю тебя, по зрелом размышлении.

— Неужели совсем ничего нельзя изменить? — упорствовал я. — Неужели нет способа хоть как-то облегчить бремя, установить более справедливый закон?

— По всей видимости нет, — сказал он. — Я, по крайней мере, не вижу никакого попутного «средства передвижения», которое помогло бы нам двинуться в эту сторону. — Засим он перевел разговор на общие темы.

Я ушел к себе страшно удрученный. В былые эпохи, если верить тому, что нам внушают, всякий поступок совершался — а среди низших, необразованных слоев общества, которые во многом держатся древнего, примитивного уклада жизни, и по сей день совершается — намного проще, чем в обществе, осложненном достижениями нашей хваленной цивилизации. Дурной человек есть нечто вполне определенное, и ты более или менее четко знаешь, какие меры к нему применить. Тиран, угнетатель, негодный помещик — тот, кто (переходя на частности) сдает в аренду жалкие лачуги и дерет за них три шкуры, подвергая несчастных всем тем измывательствам, о коих мы довольно наслышаны, — чем это не очевидный враг? Вот же он, и нет ему оправдания — долой его! Положить конец его злодеяниям! Однако когда перед тобой, напротив, человек порядочный и справедливый, много размышлявший о наилучшем разрешении отнюдь не простого, как ты и сам признаешь, вопроса, человек, который и рад бы, да не может, будучи всего лишь человеком, избежать печальных последствий (для некоторых несчастных индивидуумов), вытекающих из самого мудрого принципа его управления... Как тебе в таком случае поступить? Что делать? Человеколюбивые жесты, редкие и случайные, могут тут и там создавать ему помехи, но что сумеешь ты предложить взамен его продуманной системы? Благотворительность, плодящую нищих? А что еще? Я не рассматривал этот вопрос во всей его глубине, но мне казалось, будто я уперся в глухую стену, и, чтобы ее пробить, моего смутного чувства жалости и возмущения было явно недостаточно. Где-то здесь должен быть изъян — но где? Должен быть способ изменить все к лучшему — но как?

Я сидел за столом над раскрытой книгой, подперев голову руками. Мой взор был устремлен на печатную страницу, но я не читал; в голове теснились вопросы, которые оставались без ответа, на сердце камнем лежало уныние — гнетущее чувство, что я ничего не могу поделать, в то время как непременно должно быть какое-то средство все изменить — вот только бы знать какое... Огонь, который Морфью

развел в очаге перед ужином, почти угас, на столе у меня горела лампа под абажуром, но углы комнаты тонули в таинственном полумраке. Дом словно вымер: отец у себя, в библиотеке, — за долгие годы одинокой жизни такое вечернее времяпрепровождение вошло у него в привычку, и он не желал, чтобы его тревожили; а я здесь, в своем убежище, воспитываю подобную привычку в себе самом. Внезапно я подумал о третьем члене нашей компании — о новой жилище, которая тоже сейчас совсем одна в комнате, которая когда-то ей принадлежала, и во мне всколыхнулось желание взять лампу, пойти в гостиную и нанести ей визит в надежде, что ее нежное ангельское личико поможет разрешить мои сомнения. Но я подавил в себе этот бесполезный порыв — чем, в самом деле, способен помочь мне портрет? — и вместо того принялся фантазировать, как все сложилось бы, будь она жива, будь она здесь все эти годы, восседай она, как на троне, в своем кресле у камина... Да, тогда это был бы настоящий семейный очаг, святилище, тогда это воистину был бы дом! Предположим, она и теперь была бы жива, что тогда? Увы! Этот вопрос представлялся мне не менее трудным, чем предыдущий. Может статься, она тоже коротала бы вечерние часы в одиночестве, а заботы мужа и думы сына оказались бы так же далеки от нее, как и сейчас, когда в тиши и мраке ее бывшей комнаты поселился ее безмолвный представитель. Я на собственном опыте — и не раз — успел убедиться, что такое случается нередко. Любовь не всегда подразумевает понимание и участие. И может быть, эта девушка, навеки застывшая в пленительном образе нераскрывшейся красоты, со временем стала значить для нас много больше, чем значила бы, если бы осталась жить и в свой час вступила бы, как все мы, в пору зрелости и увядания.

Не берусь сказать наверное, предавался ли я все еще этим невеселым размышлениям или задумался о чем-то другом, когда со мной случилось странное происшествие, о котором я намерен поведать. Да и верно ли назвать случившееся происшествием? Я сидел, опустив взгляд на книгу, и мне почудилось, что где-то отворилась и потом захлопнулась дверь, но звук был такой слабый, словно донесся из самого дальнего угла дома. Я не шелохнулся, только поднял от книги глаза — обычное неосознанное действие, когда пытаешься к чему-то прислушаться, — и тут... Но я не могу

объяснить и до сих пор не умею толком описать, что именно произошло. Сердце ни с того ни с сего прыгнуло у меня в груди. Я прекрасно понимаю, что выражение это сугубо фигуральное и что сердце «прыгать» не может; однако в данном случае фигура речи настолько точно подкрепляется ощущением, что всякий без труда поймет, о чем я говорю. Сердце прыгнуло и бешено забилося — в горле, в ушах, точно меня изнутри что-то со страшной силой толкнуло. В голове зашумело так, что сразу сделалось дурно, будто там заработало непонятное механическое устройство — тысячи шестеренок и пружин завертелись, залязгали, заходили у меня в мозг. Я чувствовал, как стучит кровь в жилах, во рту пересохло, в глазах загло, и казалось, что у меня нет мочи терпеть. Я вскочил на ноги, потом снова сел. Быстрым взглядом я осмотрел комнату за малым кругом света от лампы, но не увидел ничего, что могло бы хоть как-то объяснить мой внезапный и в высшей степени странный припадок, для которого я не находил ни малейшей, даже предположительной причины материального или морального свойства. Решив, что я, вероятно, заболеваю, я вынул хронометр и нащупал на руке пульс: биение было сумасшедшее, сто двадцать пять ударов в минуту. Я не слыхивал ни об одной болезни, которая начиналась бы подобным образом — в один миг, безо всякого предупреждения, и попытался утихомирить себя, уговорить, что все это пустое, незначительный сбой, то ли нервный, то ли физический. Я заставил себя лечь на диван, полагая, что так скорее приведу себя в чувство, и недвижно замер, покуда мог выносить стук и толчки неутомимого механизма, орудовавшего у меня внутри с яростью дикого зверя, который мечется в клетке и кидается на прутья. Я опять-таки сознаю всю несуразность этой метафоры, только в действительности именно это со мной и творилось: во мне работал какой-то свихнувшийся механизм, запущенный с немислимым ускорением, точь-в-точь как те кошмарные шестерни, что иногда хватают зазевавшегося бедолагу и рвут его в клочья; и в то же самое время буйство во мне напоминало взбесившееся животное, которое неистово рвется вон, на волю.

Не в силах более терпеть, я встал с дивана и прошелся по комнате; потом, отчасти еще владея собой, хотя и не умея унять внутреннего смятения, я нарочно снял с полки одну занимательную книгу — рассказ о головокружительном приключении, неизменно меня

увлекавший, — и с ее помощью попытался избавиться от наваждения. Однако уже через несколько минут я отбросил книгу в сторону: чем дальше, тем больше я терял над собой всякую власть. До чего я эдак мог дойти — закричать ли в голос, кинуться ли сражаться неведомо с кем и чем или вовсе лишиться рассудка, — я и сам не знал. Я озирался вокруг, как если бы ожидал увидеть что-то, и несколько раз краем глаза, кажется, ловил какое-то движение, словно кто-то поспешно ускользал от моего взгляда; но стоило мне посмотреть в ту сторону, я ровным счетом ничего не обнаруживал, кроме обычных очертаний стены, да ковра, да стульев, стоявших точно так, как им и положено. Наконец я схватил со стола лампу и вышел за дверь. Куда? Взглянуть на портрет, время от времени всплывавший в моем воображении, на глаза, как будто смотревшие на меня с тревогой откуда-то из безмолвного полумрака моей комнаты? Так нет же, дверь гостиной я миновал без задержки и стремительно, словно послушный чьей-то воле, двинулся дальше. Сам не успев понять, куда направляюсь, я вошел к отцу в библиотеку.

Он еще сидел за рабочим столом и в изумлении воззрился на меня, когда я с лампой в руке появился у него на пороге.

— Фил! — удивленно воскликнул он.

Помню, что я закрыл за собой дверь, приблизился к нему и поставил лампу на стол. Мое внезапное появление не на шутку его встревожило.

— Что случилось? — испуганно спросил он. — Фил, да что с тобой творится?

Я опустился на ближайший стул и, оторопело глядя на него, с минуту ловил ртом воздух. Буря в душе улеглась, кровь потекла по своим обычным руслам, сердце вернулось на место. Смею заверить, я не прибежал бы к подобным выражениям, если бы владел иным языком для передачи своих ощущений. Между тем я окончательно опомнился и теперь обескураженно смотрел на отца, совершенно не понимая, что на меня вдруг накатило и отчего все вдруг само собой прекратилось.

— Что со мной творится? — нервически повторил я за ним. — Я понятия не имею, что творится!

Отец сдвинул очки на лоб. Я смотрел на него и видел так, как видят лица сквозь горячечный бред — словно озаренные изнутри

каким-то нездешним светом: глаза сверкали, седые волосы отливали серебром; но весь его облик дышал суровостью.

— Ты не ребенок, чтобы делать тебе внушение, но так себя не ведут!

Я принялся объяснять ему, как мог, что случилось. Случилось? Да ничего ведь не случилось. Он меня не понимал — я сам себя не понимал теперь, когда все было позади; однако же одно он для себя уяснил: мои расстроенные нервы — не блажь и не глупая выходка. Едва он уверился в этом, как тотчас сменил гнев на милость и стал говорить со мной, всячески стараясь отвлечь мои мысли на другие, безобидные темы. Когда я вошел, он держал в руке письмо с широкой черной каймой. Я мельком это отметил, но значения не придал и никаких догадок не строил. Отец вел обширную переписку, и, несмотря на то что отношения у нас установились самые дружеские, мы никогда не были на такой короткой ноге, чтобы один мог запросто спросить другого, от кого то или иное письмо. Такое меж нами не было принято, хотя мы отец и сын. Немного времени спустя я вернулся к себе в комнату и завершил вечер самым обычным образом; прежнее болезненное возбуждение больше не повторилось, и теперь, когда никаких его признаков не было и в помине, оно стало казаться мне каким-то диковинным сном. Что же в таком случае этот сон значил? Да и был ли в нем скрытый смысл? Я сказал себе, что происшедшее нужно отнести к явлениям чисто физического порядка: что-то во мне временно разладилось и само же наладилось. Да, несомненно, то было физическое расстройство, никак не душевное. Моего сознания оно не затронуло, я не утратил способности наблюдать за своим необычным состоянием: это ли не доказательство, что, как ни назови случившееся со мной, оно поразило только мою телесную оболочку?

На следующий день я вновь обратился к предмету, который не давал мне покоя. На одной из боковых улиц я разыскал давешнюю просительницу и удостоверился, что она теперь вполне счастлива, хотя, на мой взгляд, возвращенное ей имущество было отнюдь не таково, чтобы лить по нему слезы — хоть горя, хоть радости. Да и дом ее не производил впечатления жилища, каковое пристало бы иметь оскорбленной добродетели, восстановленной в своих скромных правах. Что она не оскорбленная добродетель, ясно было как божий

день. Завидев меня, она стала приседать в поклонах и бормотать: «храни вас Господь». Тут как раз подоспел ее муженек и, вторя ей, хриплым, грубым голосом выразил надежду, что Бог меня вознаградит, а «старый джентльмен» не станет больше их донимать. Тот еще тип. Зимним вечером да в темном закоулке с таким лучше не встречаться! Но это еще не конец истории. Когда я вышел на короткую улочку, на которой, сколько я мог судить, все или почти все принадлежало отцу, я увидел, что на пути у меня толкуются сбившиеся в кучки местные жители, из числа коих ко мне выдвигается по меньшей мере с полдюжины новых просительниц. «У меня, небось, побольше прав будет, чем у Мэри Джордан, — начала одна, — я у сквайра Каннинга в разных домах почитаю уж двадцать лет как живу!» — «А я? А мне? — подхватила другая. — У меня вон шестеро по лавкам супротив ее двоих, храни вас Бог, сэр, и все без отца растут!» Покамест я выбирался с этой улицы, я вполне уверовал в незыблемое отцовское правило и мысленно похвалил его мудрое решение не встречаться лицом к лицу с арендаторами. Но когда я оглянулся назад на заполненную людьми дорогу, на серые домишки, на женщин в дверях, готовых беззастенчиво перекрикивать друг друга, лишь бы вперед соседок добиться моего благорасположения, сердце у меня упало: только подумать, что на их нищете строится часть нашего богатства — пусть ничтожная часть, все равно! — и что мне, молодому и сильному, позволено жить в праздной роскоши за счет тех жалких грошей, которые нужны им на хлеб насущный, которые они отдают, жертвуя подчас всем, что им дорого! Конечно, я не хуже других знаю прописные истины: мол, ежели ты своими руками или на свои средства построил дом и сдаешь его внаем, арендатор обязан платить ренту, и получать ее — твое законное право. И все же...

— Не кажется ли вам, сэр, — сказал я вечером за ужином, когда отец сам вновь коснулся этой темы, — что мы несем определенные обязательства перед этими людьми, если облагаем их такой нещадной данью?

— Всенепременно, — подтвердил он. — Об их водопроводе я хлопочу не меньше, чем о своем.

— Это уже кое-что, я полагаю.

— Кое-что! Это великое дело! Где еще они такое найдут! Я содержу их в чистоте, насколько только возможно. По крайней мере, я

даю им условия содержать себя в чистоте и тем пресекать болезни и продлевать свою жизнь, и это, уверяю тебя, куда больше того, на что они вправе рассчитывать.

Я оказался не готов к спору, мне следовало заранее обдумать свои доводы. Отец исповедовал евангелие от Адама Смита, в духе которого его сызмальства воспитывали, но в мое время эти заповеди стали утрачивать былую непреложность. Мне хотелось чего-то большего — или меньшего, на худой конец; но взгляды мои были не такие твердые, а система не такая логичная и стройная, как то учение, которым отец поверял свою совесть, с легким сердцем забирая себе положенный процент.

Однако и в нем я наблюдал признаки душевных треволнений. Как-то утром я столкнулся с ним в коридоре, когда он выходил из гостиной, где висел портрет, на который он, по всей вероятности, долго и пристально смотрел: он недовольно тряс головой и все повторял: «Нет, нет». Меня он даже не заметил, и я, видя, как глубоко он ушел в себя, отступил в сторону и молча дал ему пройти. Сам я только изредка навещал гостиную. Чаще я выходил из дому и по детской привычке прикинул снаружи к окну, вглядываясь в это тихое, а теперь и святое для меня место, неизменно внушавшее мне благоговение. Отсюда казалось, будто легкая фигура в белом платье нисходит в комнату с какой-то невысокой приступки; во взгляде ее было то особенное выражение, которое я сперва воспринял как тревожное, но после все чаще угадывал в нем меланхоличное любопытство, словно она испытующе вглядывалась в жизнь, лишь по воле злого рока не ставшую ее собственной. Где все то, что некогда она называла своим, где милый дом, где покинутое ею дитя? Она не сумела бы признать его в мужчине, который пришел сейчас посмотреть на нее через стекло — словно сквозь кисейную завесу, точно поклонялся святыне, — как и я не мог признать ее. Мне никогда уже не быть ее возлюбленным чадом, а ей не быть мне матерью.

Прошло несколько тихих, безмятежных дней. Не происходило ничего такого, что запечатлело бы в памяти ход времени, и привычный распорядок жизни ничем не нарушался. Мои мысли были поглощены отцовскими арендаторами. Он владел изрядной собственностью в соседнем городке — ему принадлежали целые улицы, сплошь

застроенные небольшими домами: уж эта-то собственность приносила отличный доход (я в том нимало не сомневался). Мне не терпелось прийти наконец к определенному мнению, но так, чтобы, с одной стороны, не поддаться слепо сантиментам, а с другой — не последовать примеру отца и не позволить всколыхнувшемуся во мне чувствам кануть без следа в холодной пустоте практической схемы. И вот однажды вечером я сидел в своей гостиной, с головой уйдя в подсчеты расходов и доходов, преисполненный желанием убедить отца либо в том, что его доходы превосходят допустимые по справедливости пределы, либо в том, что доходы эти подразумевают обязательства совсем иного порядка, нежели те, которые он готов признать.

Было поздно, хотя и не ночь, часов около десяти, не более, и жизнь в доме еще не замерла. Несмотря на тишину, покамест не ощущалось той торжественности полуночного безмолвия, в которой всегда есть что-то таинственное, — просто тихое дыхание вечера с его еле слышными, привычными для уха отголосками человеческого присутствия, когда ты безотчетно знаешь, что вокруг происходит какая-то жизнь. Я был весь в своих цифрах — так увлекся, что ни о чем другом и думать не мог. Странное происшествие, недавно столь меня поразившее, длилось очень недолго и более не повторялось. Я и думать о нем забыл, легко убедив себя в его сугубо физической природе. На сей же раз я и вовсе был слишком занят, чтобы давать волю воображению. Поэтому, когда внезапно, застигнув меня врасплох, ко мне вернулся первый тревожный симптом, я встретил его с твердой решимостью не поддаваться, не допустить, чтобы меня вновь одурачила какая-то нелепая напасть, затевавшая игру с моими нервными узлами и окончаниями. Первый симптом был все тот же: сердце бешено скакнуло в груди, ударив меня изнутри так, как будто мне из пушки выстрелили прямо в ухо. От неожиданности я дернулся всем телом. Перо выпало из руки, а цифры враз выскочили из головы, словно меня парализовало; однако еще какое-то время я понимал, что не окончательно утратил власть над собой. Я был точно наездник на испуганной лошади, ополоумевшей от страха перед чем-то, что она вдруг увидела, — бог весть, что она, бессловесная тварь, углядела там на дороге, но дальше она идти отказывается и, несмотря на все понукания, артачится, взбрыкивает, встает на дыбы, поворачивает

вспять и с каждой минутой все сильнее буйнит. Немного спустя ее необъяснимый, безумный, животный ужас передается и ездоку. Полагаю, так и случилось со мной, и все же еще какое-то время я оставался хозяином положения. Я не позволил себе вскочить на ноги, как мне хотелось, как велел мне инстинкт, но упрямо продолжал сидеть, цепляясь за книги, за стол, силясь сосредоточиться хоть на чем-нибудь, лишь бы не отдаться во власть стремнины чувств и ощущений, которые нахлынули на меня и увлекали невесть куда. Я пытался вновь взяться за вычисления. Я пытался расшевелить себя воспоминаниями о недавно представших мне картинах нищеты и безысходности. Я пытался возбудить в себе негодование. Но, предпринимая все эти усилия, я чувствовал, как опасная зараза расплзается во мне и мое сознание предательски уступает мучительным телесным явлениям, и вот уже я весь взвинчен, едва ли не до безумия доведен, а чем — я и сам не знаю. Не страхом, нет. Я был как корабль в море — ветер треплет его, волны швыряют вверх и вниз... хотя страха я не испытывал. Я опять-таки вынужден прибегать здесь к метафорам, иначе мне не объяснить свое состояние, когда меня словно потащило куда-то супротив моей воли и сорвало со всех якорей рассудка, за канаты которых я отчаянно держался, покуда хватало сил.

Когда наконец я поднялся из кресла, сражение было проиграно — я более собой не владел. Итак, я встал (вернее, меня подняло с места), судорожно хватаясь за любые попадавшиеся мне под руки предметы в последнем усилии сохранить самостоятельность. Но это было теперь невозможно — меня одолели. С минуту я стоял, бессмысленно озираясь кругом и что-то бессвязно бормоча непослушными губами, чтобы только не закричать — это было бы совсем уж непристойно. Я повторял одно и то же: «Что мне делать?» — и потом опять: «Чего вам от меня надо?» При этом я никого не видел и ничего не слышал и вряд ли, учитывая, что в голове у меня все сместилось и смешалось, сам сумел бы сказать, что я имел в виду. Я стоял, оглядывался по сторонам, и ждал, когда меня направят, снова и снова повторяя свой вопрос, который спустя некоторое время произносил уже почти машинально: «Чего вам от меня надо?», хотя к кому он обращен и почему, я не ведал. Затем — то ли какие-то сторонние силы вняли моим вопрошаниям, то ли мои собственные меня оставили, уж не

знаю, — я ощутил перемену: возбуждение не то чтобы утихло, скорее спланилось, словно способность сопротивляться во мне иссякла, и я начал уступать неведомой и кроткой силе, безымянному благому влиянию. Я почувствовал, что готов сдаться. Несмотря на смятение, сердце мое странно млело; я как будто бы смирился, и даже движения мои стали такими, словно меня тянула чья-то рука, вложенная в мою руку, увлекала куда-то, но не принудительно — напротив, при полной моей душевной готовности исполнить невесть что из любви невесть к кому. Из любви — я это чувствовал, — а не по принуждению, как в прошлый раз, когда я ночью покинул свою комнату. Однако ноги сами вновь привели меня туда же, куда и раньше: в неопишемом волнении я прошел по темному коридору и открыл дверь в покои отца.

Он, как обычно, сидел за столом, и на его склоненную седую голову падал свет от лампы. Услышав, как скрипнула дверь, он удивленно поднял глаза.

— Фил, — сказал он, с боязливым недоумением глядя на меня. Я подошел к нему вплотную и положил руку ему на плечо. — Фил, в чем дело? Чего тебе от меня надо? Что такое?

— Не знаю, отец. Я пришел не по своей воле. В этом, должно быть, есть тайный смысл, вот только какой? Во второй раз что-то приводит меня сюда, к вам.

— Уж не повредился ли ты... — Он оборвал себя, словно испугавшись, как бы в его возмущенном возгласе не открылась страшная правда. Он в ужасе смотрел на меня.

— Не повредился ли я в уме? Нет, не думаю. Ничего похожего на бред я за собой не замечал. Отец, подумайте... Не известна ли вам какая-либо причина, почему что-то приводит меня сюда? Ведь должна быть какая-то причина!

Я стоял, опираясь на спинку отцовского кресла. Стол был завален бумагами — среди них несколько писем с широкой черной каймой, как на том, которое я видел у него в прошлый раз. Сейчас, в моем смятенном состоянии, я только мельком отметил это, не задумавшись над совпадением, — я просто не мог мыслить логически; но черная кайма бросилась мне в глаза. Не укрылось от меня и то, что отец тоже кинул на письма с каймой поспешный взгляд и одним движением руки сгреб их в сторону.

— Филип, — сказал он, отодвигаясь от стола вместе с креслом, — ты, верно, нездоров, мой бедный мальчик. Теперь я вижу, что мы тут все худо за тобой ухаживаем, а ты, оказывается, болен серьезнее, чем я предполагал. Послушайся моего совета — ступай к себе и ложись в постель.

— Я совершенно здоров, — возразил я. — Отец, не станемте лукавить друг перед другом. Я не из тех, кто сходит с ума или видит призраков. Что возымело надо мной такую власть, мне неведомо, но тому есть причина. Не иначе как вы что-то предпринимаете или планируете предпринять без моего ведома, хотя у меня есть право вмешаться.

Он всем корпусом повернулся в кресле, сверкнув на меня голубыми глазами. «Не такой он человек, чтобы...»

— Ну те-с, по какому же это праву мой сын вознамерился отныне вмешиваться в мои дела? Смею надеяться, я покамест в силах сам управлять своими мыслями и поступками.

— Отец! — вскричал я. — Да слышите ли вы меня? Никто не скажет, что я непочтителен или забыл свой долг. Однако я взрослый человек и вправе высказывать свое мнение, как я давеча и поступил. Но сейчас речь не об этом. Я здесь не по своей воле. Что-то, что сильнее меня... привело меня сюда. В ваших помыслах есть нечто, внушающее беспокойство... другим. Я сам не знаю, что говорю. Я вовсе не собирался говорить это, но вы лучше меня разумеете смысл сказанного. Кто-то — кто может говорить с вами не иначе как через меня — говорит моими устами, и я уверен, что вы все понимаете.

Отец неотрывно смотрел на меня снизу вверх; он страшно побледнел, рот невольно открылся. Я почувствовал, что до него дошел смысл моих слов. Неожиданно сердце у меня в груди замерло — так внезапно, что мне сделалось дурно. Перед глазами все поплыло, завертелось, увлекая и меня в этот круговорот. Я удержался на ногах только благодаря тому, что вцепился в кресло. Потом я ощутил страшную слабость и упал на колени, после кое-как водрузил себя на первый подвернувшийся стул и, закрыв лицо руками, едва не разрыдался: направившая меня таинственная сила вдруг отступилась, и все напряжение мигом спало.

Некоторое время мы оба молчали, потом отец заговорил, но каким-то надломленным голосом:

— Я не понимаю тебя, Фил. Ты, вероятно, вбил себе в голову нечто такое, что мой нерасторопный ум... Скажи наконец, скажи прямо. Что тебя не устраивает? Ужели это все... это все та женщина, Джордан? — Он коротко, принужденно рассмеялся и почти грубо встряхнул меня за плечо. — Говори! Что... что у тебя на уме?

— Сдается мне, сэр, я все уже сказал. — Голос у меня дрожал сильнее, чем у него, но по-иному. — Я ведь сказал вам, что пришел не по своей воле. Я сколько мог этому противился. Вот, теперь все сказано. Только вам судить, стоило оно того или нет.

Он порывисто поднялся с места.

— Ты не только себя, но и меня... сведешь с ума! — произнес он и снова сел, так же резко, как встал. — Изволь, Фил, ежели тебе угодно, дабы не доводить до размолвки — до первой размолвки между нами, — пусть будет по-твоему. Я согласен: пожалуй, займись нашими беднейшими арендаторами. Довольно тебе расстраивать себя из-за этого, даже если я не разделяю всех твоих взглядов.

— Благодарю, — сказал я, — только, отец, дело не в этом.

— В таком случае все это просто блажь, — рассердился он. — Полагаю, ты намекаешь... но уж об этом судить только мне.

— Так вы знаете, на что я намекаю, — сказал я, стараясь сохранять предельное спокойствие, — хотя я сам не знаю. Вот вам и причина. Вы согласитесь сделать мне одолжение, только одно, прежде чем я вас оставлю? Пойдемте со мной в гостиную...

— Зачем это тебе? — Голос его снова дрогнул. — Чего ты добиваешься?

— Я толком не знаю, сэр. Но ежели мы оба, вы и я, станем перед нею, это нам как-нибудь да поможет. А что до размолвки, то я убежден: размолвки не может быть между нами, когда мы оба предстанем пред ней.

Он поднялся, весь трясясь, как старик, — да он и был старик, даром что стариком не выглядел, за исключением тех редких случаев, когда бывал чем-то сильно расстроен, как вот сейчас, — и велел мне взять лампу. Но на полпути к двери остановился.

— Что за театральная сентиментальность, право, — сказал он. — Нет, Фил, я с тобой не пойду. Я не стану ломать перед ней... Поставь лампу на место и послушайся моего совета — ложись спать.

— Что ж, — сказал я ему на прощанье, — нынче ночью я вас больше не побеспокою. Раз вы сами все понимаете, то и говорить не о чем.

Он коротко пожелал мне доброй ночи и снова обратился к бумагам на столе — к письмам с черной каймой, которые не то и впрямь, не то в моем воображении всегда оказывались сверху. Я один проследовал в тихое святилище, где висел портрет. Мне необходимо было увидеть ее, хотя бы в одиночку. Не помню, спрашивал ли я себя, спрашивал ли осознанно: она велела мне... или то был еще кто-то?.. Ничего этого я не знал. Но всем своим размягченным сердцем — быть может, в силу простой физической слабости, овладевшей мной после того, как прошло наваждение, — я стремился к ней, чтобы скорее увидеть ее и узреть в ее лице знак сочувствия, тень одобрения. Я поставил лампу на стол с ее корзинкой для рукоделия, и свет, поднимаясь снизу, выхватил из темноты ее фигуру, многократно усилив впечатление, будто она вот-вот сойдет в комнату, шагнет прямо ко мне, вернется в свою прежнюю жизнь. Ах, нет! Ее жизни уж не было в помине, та жизнь исчезла, канула в небытие — и как иначе, если вся *моя* жизнь стояла теперь между нею и всем, что она когда-то знала. Во взгляде ее ничего не переменилось. Только тревога, которая мне в тот первый раз почудилась в ее глазах, сейчас воспринималась мною скорее как печальный, потаенный вопрос. Но перемена была не в ее взгляде — в моем.

Нет нужды подробно задерживаться здесь на промежутке времени, отделившем описанное происшествие от следующего знаменательного события. Упомяну только, что на другой же день ко мне «случайно» заглянул давно пользовавший нас доктор и у меня с ним состоялся долгий разговор. Вслед за тем к ланчу явился из города молодой человек, с виду очень важный, хотя нрава самого добродушного, — знакомец отца, доктор Имярек (нас поспешно представили друг другу, и я не разобрал как следует его имени). Милейший эскулап также имел со мной продолжительную беседу наедине — к отцу как раз пожаловал посетитель по срочному делу. Доктор ловко навел меня на разговор о бедняках-арендаторах. Дескать, он слышал, будто я весьма интересуюсь сим предметом, в последнее время вызвавшим большое оживление в нашей округе.

Заверив меня, что он и сам питает интерес к этой теме, доктор пожелал из первых рук узнать мое мнение. Я довольно пространно объяснил ему, что мое «мнение» касается отнюдь не предмета в целом, ибо в таком разрезе я его рассматривать не брался, а только частного случая, то бишь управления отцовским имуществом. Доктор оказался в высшей степени терпеливым и умным слушателем — в чем-то он со мной соглашался, в чем-то расходился, и в целом его визит доставил мне изрядное удовольствие. Об истинной его цели я догадался много позже, хотя мог бы заподозрить ее и раньше, если бы обратил внимание на то, с каким озадаченным видом отец покачивал головой, когда в конце концов вновь ко мне наведалься. Так или иначе, вывод медицинских светил относительно моего состояния был, вероятно, вполне утешителен, во всяком случае, больше я никого из них не видел и не слышал. Прошло, наверное, недели две, прежде чем со мной приключился еще один, последний случай странного помешательства.

На этот раз все произошло засветло, около полудня, в сырой, ненастный весенний день. Едва раскрывшиеся листочки стучались в окно, словно умоляя впустить их в дом; первоцветы, высыпавшие в траве под деревьями, там, где к роще подступала гладко подстриженная лужайка, стояли мокрые и жалкие, пряча золотые головки в листья. Отрадные в другое время приметы того, что вся живая природа двинулась в рост, наводили уныние: сейчас, когда в воздухе пахло весной, непрошеное напоминание о зимней непогоде портило настроение, хотя несколько месяцев назад оно воспринималось как естественный ход вещей. Я сидел за столом и писал письма, с легким сердцем возвращаясь в круг друзей прежних лет и, должно быть, немного жалея о своей былой свободе и независимости, хотя в то же время я сознавал, что мне не след роптать на судьбу: мое нынешнее спокойствие шло мне, вероятно, только на пользу.

Я пребывал в этом довольно благодушном состоянии, когда внезапно опять проявились уже хорошо знакомые мне симптомы одержимости, которой я стал подвержен с недавних пор: бешеный подскок сердца и внезапное, беспричинное, необоримое физическое возбуждение, которое нельзя ни отринуть, ни унять. Не поддающийся ни описанию, ни разумному объяснению ужас обуял меня, когда я

осознал, что вот опять началось — почему, зачем, для чего?.. Тайный смысл происходящего был понятен если не мне, то моему отцу; однако мало радости чувствовать себя всего лишь послушным орудием, не ведая, какой цели служишь, и, хочешь не хочешь, исполнять роль оракула, да еще ценой такого болезненного напряжения всех сил, что после ты вынужден несколько дней кряду приходить в себя! Я сколько мог сопротивлялся, хотя и не так, как прежде, но упорно и уже с некоторым знанием дела пытаюсь подавить новый приступ. Кинувшись к себе в комнату, я выпил успокоительное, прописанное мне от бессонницы после моего первого приезда из Индии. В коридоре я увидел Морфью и кликнул его, чтобы разговором с ним попробовать самого себя перехитрить. Морфью, однако, замешкался, и, когда он наконец явился, мне стало не до разговоров. Я слышал его голос, доносившийся до меня сквозь беспорядочный гул в ушах, но что он тогда говорил, навсегда осталось для меня загадкой. Я стоял и неотрывно смотрел прямо перед собой, силясь сосредоточить внимание: вид у меня, вероятно, был такой, что старый слуга оторопел от страха. Обретя дар речи, он в голос запричитал, что я болен и нужно срочно принести мне что-нибудь. Слова его худо-бедно проникли в мое воспаленное сознание, только вот понял я их превратно, истолковав как намерение привести ко мне кого-нибудь — скорее всего, одного из отцовских докторов, — дабы обуздать меня, не допустить моего вмешательства, а значит, заключил я, если хоть мгновение промедлить, будет поздно. Вместе с тем мною овладела шальная мысль искать защиты у портрета — припасть к его, так сказать, стопам, кинуться к нему и подле него переждать, пока пройдет мой пароксизм. Однако не туда понесли меня ноги. Помню, как я делал над собой усилия, желая остановиться возле двери в гостиную и отворить ее, но меня буквально протащило мимо, словно подхватило могучим порывом ветра. Нет, не туда мне было назначено идти — меня, плохо соображающего, не способного связать двух слов, снова влекло к отцу, который, в отличие от меня, его сына, *понимал* значение моей миссии.

На сей раз все происходило при свете дня, и мимоходом я невольно кое-что примечал. В холле кто-то сидел, словно чего-то дожидался, — незнакомая женщина, вернее девушка, вся в черном и с черной вуалью на лице, — и я даже спросил себя, кто бы это мог быть и зачем она

здесь. Этот вопрос, совершенно посторонний моему тогдашнему состоянию, неведь каким образом проник в мой ум — его подбрасывало вверх и вниз, как оторвавшееся от плота бревно на стремнине, подхваченное ревушим потоком, которое то скрывается из глаз, то вновь выныривает по воле необузданной стихии. Я рывком открыл дверь отцовского кабинета и затворил ее за собой, не удосужившись прежде узнать, один ли он и можно ли отвлечь его от дел. В рассеянном дневном свете его фигура выступала не так четко, как ночью в круге света лампы. При звуке распахнувшейся двери он поднял голову, и во взгляде его мелькнул испуг. Резко поднявшись и строго, чуть ли не сердито оборвав на полуслове кого-то, кто стоя говорил с ним, он устремился мне навстречу.

— Ко мне сейчас нельзя, — быстро сказал он, — я занят. — Затем, увидав в моих чертах выражение, к тому времени уже ему знакомое, он тоже переменялся в лице и добавил негромко не терпящим возражений тоном: — Фил, горе ты мое, ступай... ступай отсюда, не нужно, чтобы чужие тебя видели...

— Я не могу уйти, — заявил я. — Это невозможно. Вы знаете, зачем я здесь. Я не могу, даже если бы захотел. Это сильнее меня.

— Ступайте, сэр, — приказал он. — Сейчас же, довольно с меня этих глупостей! Я не разрешаю вам здесь оставаться. Иди, иди же!..

Я промолчал. Не понимаю, как я смог его послушаться. Никогда прежде мы не ссорились, но в ту минуту я словно в ступоре застыл на месте. Внутри меня царило полнейшее смятение. Я хорошо расслышал, что он мне сказал, и мог бы что-то сказать в ответ, но его слова тоже уподобились обломкам, которыми играет могучий поток. В ту минуту я своим лихорадочным взором узрел наконец, с кем он говорил. Это была женщина, одетая в траур, как и та, что дожидалась в холле, только эта была немолода и держалась со скромным достоинством почтенной прислуги. Очевидно, она плакала и, воспользовавшись паузой, вызванной нашим препирательством, утирала глаза платком, который комкала в руке — вероятно, в сильном волнении. Пока отец говорил со мной, она обернулась и посмотрела на меня, как мне показалось, с надеждой, но тут же опустила глаза и застыла в прежнем положении.

Отец вернулся на свое место. Он тоже был чем-то растревожен, хотя всеми силами старался это скрыть. Мое беспардонное

вторжение, очевидно, совершенно не входило в его планы и вызвало у него сильнейшую досаду. Садясь в кресло, он метнул в меня взгляд, какого я ни до, ни после от него не удостаивался, — взгляд, в котором ясно читалась крайняя степень неудовольствия. Но больше он ничего мне не сказал.

— Поймите же, — обратился он к женщине, — это мое последнее слово, и возвращаться к этой теме я не намерен, тем более в присутствии сына, который сейчас нездоров и не может участвовать в серьезном разговоре. Я сожалею, что ваши хлопоты оказались напрасны, но вас ведь с самого начала предупреждали, так что вам некого винить, кроме как самое себя. Я не признаю за собой никаких обязательств и своего решения не изменю, что бы вы еще ни сказали. На сем я вынужден просить вас удалиться. Все это весьма прискорбно и решительно бесполезно. Я никому ничем не обязан.

— О сэр! — взмолилась она, и на глаза ее опять навернулись слезы, а голос то и дело прерывался короткими всхлипываниями. — Зачем я только брякнула про обязательства! Я не такая образованная, где уж мне спорить с джентльменом. Может быть, и нету за нами никаких прав. Пусть так, мистер Каннинг, но неужели в вашем сердце не найдется ни капли жалости? Она ведь не знает, бедняжка, что я вам тут говорю. Сама-то она не станет за себя просить-умолять, как я вас прошу. Ах, сэр, она же совсем молоденькая! И одна-одинешенька в целом мире — никто за нее не заступится, никто не приютит! Вы у нее только и есть из близких родственников, больше никого не осталось. Ни одной родной души... ближе вас никого... Пойдите!.. — встрепенулась вдруг она, словно ее осенила какая-то мысль, и быстро повернулась ко мне. — Ведь этот джентльмен ваш сын! Ежели разобраться, так она больше родня ему, чем вам, — родня по его матери! Ну да, он ей ближе, ближе! О сэр! Вы сами молоды, сердце-то у вас, поди, не зачерствело. А у моей молодой госпожи никогошеньки нет, и некому о ней позаботиться. Вы с нею одна плоть и кровь — она же вашей матушке кузина будет, у них с вашей матушкой...

Отец громоподобным голосом велел ей немедленно замолчать.

— Филип, сей же час оставь нас! Наш разговор не для твоих ушей.

И тут в одно мгновение мне враз открылся весь тайный смысл. Я с трудом удерживал себя на месте. Грудь моя вздымалась, охваченная необоримым порывом, словно что-то вливалось в меня — больше, чем

я мог в себя вместить. Впервые за все это время я понял, я наконец понял!.. Я кинулся к нему и, хотя он и противился, взял его руку в свою. Моя рука горела, его была холодна как лед: прикосновение ожгло меня ледяной стужей.

— Так в этом все дело! — вскричал я. — Я же до последней минуты ничего не знал! Я не знал, чего от вас добиваются. Но поймите, отец! Вы ведь знаете, как знаю теперь и я, что кто-то посылает меня... кто-то... у кого есть право.

Он со всей силы оттолкнул меня.

— Ты сошел с ума! — крикнул он. — По какому праву ты берешься... Нет, ты безумец... безумец! Я как чувствовал, что к этому идет...

Просительница меж тем притихла, следя за нашей стычкой с опаской и любопытством — как женщины всегда наблюдают за ссорой мужчин. Услыхав его слова, она вздрогнула и слегка отпрянула, но по-прежнему не сводила с меня глаз, пристально следя за каждым моим движением. Когда я направился к двери, у нее вырвался невольный взглас разочарования и протеста, и даже отец привстал с кресла и в изумлении проводил меня взглядом, сам не веря, что так быстро сумел со мной совладать. Я на миг остановился и, обернувшись к ним, увидел сквозь лихорадочную пелену только две большие неясные фигуры.

— Я еще вернусь, — пообещал я. — Я приведу к вам такого посланца, которому вы не сможете отказать.

Отец выпрямился в полный рост и грозно крикнул мне вслед:

— Я не позволю прикасаться к ее вещам. Не позволю осквернить...

Я не дослушал его. Я знал, что нужно делать. Каким чудом ко мне пришло это знание, объяснить не могу, но незыблемая уверенность в силе, исходившей оттуда, откуда ее никто не ждал, как-то вдруг успокоила меня в самый разгар моего болезненного возбуждения. Я вышел в холл, где заметил молодую незнакомку. Приблизившись к ней, я тронул ее за плечо. Она тотчас вскочила, слегка вздрогнув от неожиданности, но с такой мгновенной покорностью, словно была готова к тому, что за ней придут. Я велел ей снять вуаль и шляпку, при этом я едва ли взглянул на нее, едва ли ее видел, каким-то внутренним чувством зная все наперед. Я взял ее нежную, маленькую, прохладную, подрагивающую руку в свою, и эта ее такая нежная и прохладная — именно прохладная, а не холодная — рука, робко трепетавшая в моей, была как поток чистой воды. Все это время я двигался и говорил точно во сне — быстро, бесшумно, как если бы все осложнения обычной жизни, жизни наяву, были устранены и пришла пора действовать без рассуждений, не теряя ни секунды. Отец все так же стоял, чуть подавшись вперед, как несколькими минутами раньше, когда я вышел за дверь, — грозный, но вместе с тем объятый ужасом, ибо он не ведал, что у меня на уме, — таким я его и застал, возвратясь рука об руку со своей спутницей. Этого он совсем не ждал. Он был застигнут врасплох и совершенно потерялся. Едва завидев ее, он воздел руки над головой и издал безумный крик, такой жуткий, словно то был прощальный вопль всего сущего: «Агнес!» — и, как подкошенный, навзничь упал в свое кресло.

Мне же недосуг было думать, что с ним и слышит ли он меня. Я должен был сказать заветные слова.

— Отец, — произнес я, прерывисто дыша, — единственно ради этой минуты небеса разверзлись и та, которой я никогда не видел, та, которой я не знал, обрела надо мною безраздельную власть. Ежели бы не наша сугубо земная природа, мы увидели бы ее — ее самое, а не только ее рукотворный образ. Я сам не знал, что ей угодно. Я, как последний глупец, ничего не понимал. Уже в третий раз я прихожу к

вам по ее наущению, не разумея, что мне должно сказать. Но теперь я знаю. Вот ее наказ. Наконец я это знаю!

В комнате воцарилась страшная тишина — казалось, все боялись пошевелиться и даже дышать не смели. Потом от кресла отца донесся срывающийся голос. Отец меня не понял, хотя, полагаю, он слышал все, что я сказал.

— Фил... кажется, я умираю... Она... она пришла за мной?

Мы отнесли его на кровать. Какую душевную борьбу он пережил до этой минуты, я не берусь судить. Он долго держал оборону, не желал поддаваться сантиментам и вот теперь рухнул — как обветшала башня, как старое дерево. Насущная необходимость позаботиться о нем уберегла меня от физических последствий, которые в прошлый раз выразились в полном упадке сил. Теперь мне было не до собственных мыслей и ощущений.

Его заблуждению вряд ли стоило удивляться — напротив, оно представлялось более чем естественным. Правда, незнакомка была с головы до ног одета во все черное — не в белое, как фигура на портрете. Она знать не знала о нашей стычке, вообще ни о чем, кроме того, что ее куда-то позвали и что в следующие несколько минут, вероятно, решится ее судьба. Вот отчего в ее глазах застыл жалобный вопрос, в линии век проступила тревога, в выражении лица читалась невинная мольба. Ее лицо... лицо было то же самое: те же чуткие, каждый миг готовые дрогнуть губы, тот же бесхитростный, чистый лоб; во всем ее облике было не простое сходство черт, а что-то более существенное и неуловимое — одна порода. Каким шестым чувством я заранее знал это, я не могу объяснить, и никто из смертных не сможет. Только та, другая, старшая по возрасту — ах, нет! не старшая, а вечно юная, та Агнес, которой не суждено было повзростеть, юная мать зрелого мужчины, никогда ее не выдавшего, — только она могла привести свою родственницу по крови, свою избранницу, к нашим сердцам.

Через несколько дней отец оправился от болезни: накануне он, как оказалось, простудился, а в семьдесят лет любой малости довольно, чтобы выбить из колеи даже крепкого человека. После того случая он на здоровье не жаловался, однако сам пожелал передать обременительное для нервов управление собственностью, от которого

прямо зависело благополучие многих людей, в мои руки, поскольку я был легче на подъем и всегда мог воочию убедиться, как обстоят дела. Сам он предпочитал оставаться дома и на склоне лет научился получать много больше удовольствия от своей частной жизни. Агнес стала моей женой, как он, конечно же, и предвидел. Справедливости ради я должен сказать, что в той тягостной истории им руководило не просто мстительное упрямство — нежелание предоставить кров дочери своего недруга или признать навязанные ему обязательства, — хотя оба эти соображения сыграли свою роль. Он так и не рассказал мне, и теперь уже не расскажет, что он имел против семьи моей матери и в особенности против того самого злосчастного родственника; но то, что он был настроен непримиримо и крайне предвзято, не подлежит сомнению. Как впоследствии выяснилось, в тот раз, когда меня впервые погнала к нему неведомая сила, он получил письмо, призывающее его — того, чьей просьбе автор письма сам в свое время не внял! — позаботиться о сироте, которая скоро останется одна на белом свете. Во второй раз это случилось, когда пришли другие письма — от няни, единственной опекуны сироты, и от священника того прихода, где скончался отец юной особы: оба считали само собой разумеющимся, что в доме моего отца она обретет новое пристанище. Что происходило в третий раз и чем все завершилось, я уже описал.

Еще много времени спустя меня преследовал подспудный страх, что я вновь попаду под влияние силы, однажды возымевшей надо мной безраздельную власть. Отчего я так страшился оказаться в плену у этой силы, стать посланцем чистой души, у которой и быть не могло иных помыслов, кроме ангельских? Бог весть. Видно, плоть и кровь не созданы для подобных встреч: я, по крайней мере, не в силах был этого выносить. Но с тех пор ничего подобного не случилось.

Свой мирный домашний трон юная Агнес устроила прямо под портретом в гостиной. Так пожелал мой отец, который перестал скрываться по вечерам в библиотеке и, сколько был жив, сидел здесь же, с нами, в тепле и уюте, в узком круге света, выхваченного из темноты настольной лампой. Посторонние, бывая у нас, полагают, что на картине изображена моя жена, и я такому заблуждению только рад. Та, что когда-то дала мне жизнь, а потом вернулась ко мне и трижды словно становилась моей душой, чего я в те минуты не мог

осознать, — для меня она теперь удалась в эфемерные пределы незримого. Она снова вступила в таинственный сонм теней, способных обрести реальность только в особый миг, когда все многообразие сущего преобразуется в единую гармонию и когда возможны любые чудеса, — в миг, когда наш мир вдруг озаряется светом райского дня.

Джозеф Конрад

(1857–1924)

Харчевня двух ведьм

Находка

Пер. с англ. Г. Клепцовой

Этот случай, происшествие, эпизод — называйте как угодно — рассказан в середине прошлого века. Автору, по собственному его признанию, было в ту пору шестьдесят лет.

Шестьдесят — возраст неплохой, хотя приближение этой даты вызывает у многих самые противоречивые чувства. Это мирный возраст; игра почти доиграна, можно отойти в сторонку и возродить еще не потускневшие картины удалого прошлого. С благословения небес у шестидесятилетних нередко появляется, как я заметил, поэтический взгляд на свою молодость. От самих ошибок веет своеобразием и очарованием сотни надежд. И верно, что может быть отрадней юных надежд: они такие изысканные, такие обольстительные, правда, если можно так выразиться, не совсем одетые, им не до нарядов, того и гляди сорвутся с места. Хорошо еще, что медлительное прошлое догадалось облачиться в романтические покровы, а то оно, бедное, совсем продрогло бы под надвигающимися тучами.

Наверное, именно старческая мечтательность побудила рассказчика взяться за труд, столь же приятный для него, сколь назидательный для потомков. Приятный, но не слишком лестный, ибо суть его истории в пережитом безумном страхе — он называет его ужасом, — а такое чувство никого не красит. Я думаю, вы догадались, что история эта была записана и мне довелось ее прочитать.

Она и является той находкой, о которой извещает подзаголовок. Заглавием же рассказ обязан мне. Возможно, оно не очень оригинально, но, по крайней мере, верно. О харчевне речь впереди; что касается ведьм — это всего лишь образное выражение и, насколько оно удачно, известно только автору.

Находка попала ко мне в руки вместе с ящиком книг. Я приобрел их в Лондоне на давно исчезнувшей улице у полунищего букиниста. Книги, похоже, сменили немало хозяев и при ближайшем рассмотрении оказались недостойными даже той ничтожной суммы, которую я за них выложил. Какое-то предчувствие заставило меня сказать: «Ящик в придачу». Отчаявшийся букинист только обреченно махнул на это рукой.

Дно ящика устилали разрозненные листки, исписанные мелким, аккуратным, скучным почерком. Сначала я почти не обратил на них внимания. Но потом в одном месте прочел, что в 1813 году автору исполнилось двадцать два года. Это меня заинтересовало. В двадцать два года разум, как правило, молчит, зато воображение разыгрывается, поэтому человек в этом любопытном возрасте способен на безрассудные поступки и легко поддается страху.

В другом месте я рассеянно отметил фразу: «Вечером мы снова взяли курс на берег». Так мог сказать только моряк. «Ну-ка, посмотрим, что это такое», — без особого воодушевления решил я.

Рукопись, увы, могла нагнать тоску на кого угодно. Ее ровные, тесные строчки напоминали монотонное, заунывное пение. По сравнению с ней и доклад об очистке сахара (более нудной темы я не представляю) показался бы увлекательным. «В 1813 году мне исполнилось двадцать два года» — этим искренним признанием открывается невозмутимый, устрашающе дотошный рассказ. Не стоит, впрочем, думать, что моя находка безнадежно устарела. Древнее как мир дьявольское искусство хитроумных изобретений живо и поныне. Взять хотя бы телефоны, отнимающие крохи душевного покоя, или пулеметы, в мгновение ока лишаящие жизни. У любой подслеповатой ведьмы сегодня хватит сил нажать на спуск и, не теряя времени даром, уложить сотню двадцатилетних мужчин.

Прогресс налицо!.. Еще какой! Мы ушли далеко вперед, и не удивлюсь, если описанное изобретение покажется вам наивным, а цели персонажей бесхитростными. Это недостатки давно минувшего века. В наши дни туристы на автомобилях напрасно будут искать похожую харчевню. Та, о которой здесь говорится, находилась в Испании. Выяснить это мне удалось скорее логическим путем, поскольку многих страниц рукописи не доставало — потеря, в сущности, небольшая. На этих страницах автор, видимо,

подробнейшим образом останавливался на причинах и следствиях своего пребывания на берегу — судя по всему, северном берегу Испании. К морю его история, однако, не имеет никакого отношения. Насколько я понял, наш герой служил на борту корвета, что по тем временам было явлением обычным. На всех этапах длительной Испанской кампании наши малые военные суда курсировали вдоль северного побережья полуострова — предприятие довольно рискованное и малоприятное.

Можно предполагать, что корабль его выполнял особое задание. В тексте наверняка имелись подробные объяснения всех обстоятельств дела, но, как я уже говорил, часть листов (добротных и плотных) была утрачена: использована на обертки и пыжи неблагодарными потомками. Но и из оставшегося понятно, что в задачу судна входила связь с берегом, больше того — отправка посыльных для получения новостей и передачи приказов и сведений испанским патриотам, партизанам или тайным союзам. Все это более или менее ясно следовало из уцелевших отрывков его детального отчета.

Затем следует панегирик одному из членов команды, старшему рулевому, опытному, бывалому моряку. Звали его Куба-Том, хотя он вовсе не был кубинцем, а, напротив, являл собой образец истинного британского матроса тех лет, ветерана военной службы. Таким прозвищем наградили его за пристрастие к сказочным историям, которыми он частенько донимал команду по вечерам на носовом полубаке. Все они повествовали о приключениях, перенесенных им в молодости на этом славном острове. Автор сообщает также, что Том был умным, очень сильным и по-настоящему храбрым матросом. Он не забывает упомянуть и о его изумительной косичке, самой длинной и толстой в британском флоте. Это нежно лелеемое украшение, упрятанное в чехол из китовой шкуры, покоилось на его широкой спине, вызывая восхищение у многих и зависть у некоторых.

Наш юный офицер необыкновенно тепло описывает многочисленные достоинства Тома. Подобные чувства по отношению к младшему чину не были тогда исключением. Новичков обычно отдавали на попечение опытному матросу, который подвешивал для будущего командира первый гамак, а затем нередко становился его почтительным другом. Попав на корвет, рассказчик снова, после

долгой разлуки, увидел своего приятеля. С трогательной нежностью описывает он встречу с наставником юных лет.

Далее мы узнаем, что за неимением подходящего испанца Тома, как обладателя уникальной косы, а также как человека незаурядной смелости и осмотрительности, отрядили для очередной вылазки на берег. Собирался он недолго. Пасмурным осенним утром корвет вошел в небольшую бухту, самую удобную на этом неприступном берегу. С корабля спустили шлюпку, Том Корбин (Куба-Том) устроился на носу, рассказчик (мистер Эдгар Берн — такое имя он получил при рождении, с таковым его и отпели) занял место на кормовом люке.

Жители деревушки, расположенной ярдах в ста по склону глубокого оврага, вышли из серых каменных домов и с берега наблюдали за приближением лодки. Когда оба англичанина высадились, крестьяне то ли от растерянности, то ли по природной дикости молча отступили назад.

Мистер Берн решил лично проследить за отправлением Тома. Оглядев мрачные, удивленные лица крестьян, он сказал:

— От них толку мало. Надо подняться в деревню. Там наверняка найдется трактир, где народ поразговорчивей и можно будет кое-что разузнать.

— Так точно, сэръ, — ответил Том, вышагивая за своим командиром. — С людьми никогда не помешает потолковать. Как-то стояли мы на Кубе, и я по нечаянности опоздал на «Бланш», наш фрегат. Пришлось идти пешком. И что вы думаете: прошел всю Кубу — язык довел, хотя по-испански я тогда и двух слов не мог связать, сейчас и то лучше разумею.

Как видно, предстоящее путешествие нисколько не удручало Тома. И хотя дорога в горы занимала не меньше дня, для человека, пересекавшего Кубу с багажом из двух испанских слов, это был, конечно, сущий пустяк.

Теперь офицер и матрос шли по толстому, сырому настилу из опавших листьев, которые местные крестьяне оставляли гнить на улицах до зимы, а потом собирали на удобрение. Оглянувшись, мистер Берн обнаружил, что все мужское население бесшумно следует за ними по упругому ковру. Женщины выплядывали из дверей; дети, видимо, прятались. Корабль стал для местных жителей привычным зрелищем, а вот чужестранцы не высаживались здесь по крайней мере

лет сто. Треуголка мистера Берна, густые бакенбарды и чудовищная косица матроса вызывали у них немалое изумление. Они теснились за спиной у англичан и таращились на них, как гавайцы на капитана Кука.

Именно тогда Берн заметил впервые маленького человечка в плаще и желтой шляпе. Его головной убор, изрядно поношенный и грязный, тем не менее сразу привлекал к нему внимание.

Вход в трактир напоминал расщелину в скале. Хозяин, в отличие от остальных, не вышел на улицу, он появился из глубины комнаты, где в темноте неявно виднелись висевшие на гвоздях пузатые бурдюки с вином. На худом и небритом лице этого высокого одноглазого астурийца застыло угрюмое выражение, которое странным образом уживалось с бегаящим взглядом единственного глаза. Узнав, что английского моряка нужно проводить в горы к некоему Гонсалесу, он на минуту, как бы в раздумье, прикрыл здоровый глаз. Потом открыл его и живо произнес:

— Конечно, конечно. Это можно устроить.

Имя Гонсалеса, местного вождя освободительного движения, вызвало в дверях одобрительный гул. Берн поинтересовался, спокойно ли в округе, и, к радости своей, узнал, что французские войска уже несколько месяцев не появлялись поблизости. Слава богу, давно и слыхом не слыхивали об окаянных *polizones*^[24]. Отвечая, хозяин перелил вино в глиняный кувшин, поставил его перед безбожниками-англичанами и бесстрастно опустил в карман мелочь, которую офицер кинул на стол, — по неписаному закону этих мест сидеть в трактире без вина не полагалось. Глаз трактирщика бегал, будто старался работать за двоих, но, когда Берн захотел нанять мула на дорогу, взгляд его застыл на двери, осаждаемой толпой любопытных. Впереди всех, на пороге, обосновался коротышка в широком плаще и желтой шляпе. Маленький, невзрачный, настоящий гомункулус, как описывает его Берн, он сохранял до смешного таинственный и настойчивый вид. Плащ, картинно перекинутый через левое плечо, прикрывал рот и подбородок, а широкополая шляпа криво свисала на угловатый лоб. Время от времени коротышка подносил к носу щепотку табаку.

— Мул... — повторил трактирщик, пристально глядя на забавного, шмыгающего носом человечка. — Нет, сеньор офицер! Мула в этом

нищем селении вам не найти.

Рулевой, который, как настоящий моряк, держался в незнакомом месте с полной невозмутимостью, спокойно заметил:

— Поверьте, сэр, эту дорогу лучше проделать на своих двоих. Мула все равно пришлось бы где-нибудь оставить; капитан предупреждал меня, что здешние тропинки пригодны только для коз.

Крошечный человечек выступил вперед и произнес сквозь складки плаща, смягчавшие, казалось, сарказм его слов:

— Si^[25], сеньор. Народ в этой деревне простодушен и не сберег ни одного мула для вашей милости. Клянусь, и мулы, и другая скотина остались теперь только у мошенников и ловкачей. Вашему bravому матросу нужен проводник, и в этом, сеньор, никто не поможет лучше, чем мой зять Бернардино, трактирщик и алькальд нашей гостеприимной и богобоязненной деревни.

Делать было нечего, пишет мистер Берн. После коротких переговоров явился парень в рваной куртке и штанах из козьей шкуры. Офицер поставил на всех угощение, и, пока крестьяне пили, они с Куба-Томом и проводником тронулись в путь. Человечек в плаще исчез.

Берн проводил рулевого до края деревни. Он хотел убедиться, что с моряком все в порядке, и пошел бы дальше, но тот почтительно посоветовал ему вернуться и не задерживать корабль у берега без нужды в такое ненастное утро. Они простились; мрачное грозное небо нависло над их головами, каменистые поля, поросшие густым кустарником, тоскливо простирались вокруг.

— Через четыре дня, — сказал Берн напоследок, — корабль вернется и, если не будет штормить, вышлет на берег шлюпку. Ну а в случае непогоды устройся как-нибудь в деревне и жди от нас вестей.

— Слушаюсь, сэр, — ответил Том и быстро зашагал вперед.

Берн видел, как он свернул на узкую тропинку. В толстом бушлате, с парой пистолетов за поясом, саблей на боку и крепкой палкой в руке он выглядел очень уверенно и надежно. Обернувшись, он взмахнул рукой, и Берн еще раз увидел его открытое, докрасна загорелое лицо с густыми бакенбардами. Парень в мохнатых штанах, который, по словам Берна, как фавн или молодой сатир, скакал впереди, остановился, подождал его и побежал дальше. Оба пропали из виду.

Берн пошел обратно. Деревня пряталась в складке холма, и местность вокруг казалась ужасно заброшенной, безлюдной, обреченной на вечное уныние. Не успел он пройти нескольких ярдов, как из кустов неожиданно выступил закутанный в плащ коротышка-испанец. Берн, конечно, остановился.

Незнакомец сделал загадочный жест ручкой, торчавшей из-под плаща. Шляпа его совсем съехала набок.

— Сеньор, — без предисловий начал он. — Будьте осторожны! Я знаю точно, что у одноглазого Бернардино, моего зятя, в сарае стоит мул. Спрашивается, почему Бернардино, не такой уж и ловкач, держит мула? Отвечу: потому что он бессовестный мошенник. Я отдал ему своего macho^[26] за крышу над головой и ложку olla^[27], только чтобы душа не рассталась с никчемным телом. Но в этом теле, сеньор, бьется благородное сердце, куда честней и благородней, чем комок грязи в груди моего негодяя-зятя. Я стыжусь родства с ним и всегда был против их брака. Бедная обманутая женщина! Сколько адских мук выпало ей на земле — упокой Господь ее душу!

Берн так растерялся от неожиданного появления гнома и едкой горечи его слов, что в потоке семейных сведений, которые ни с того ни с сего обрушились на его голову, поначалу упустил важный факт. Быстрая, напористая речь, совершенно непохожая на кипучую болтовню итальянцев, смутила и озадачила его. Поэтому он промолчал, а гомункулус, уронив с плеча плащ, насыпал на ладонь табаку и втянул изрядную понюшку.

— Мул! — воскликнул Берн, уловив наконец суть дела. — Вы сказали, мул? Странно! Почему же он не дал его мне?

Малютка-испанец снова с величайшим достоинством задрапировался в плащ.

— Quien sabe^[28], — холодно произнес он, пожимая закутанными плечами. — Он большой politico^[29] во всех делах. Но не сомневайтесь, ваша милость, намерения его всегда бесчестные. Муженек моей defunta^[30] сестры поистине достойная пара для одноногой деревянной вдовы^[31].

— Возможно. Но что бы вы, уважаемый, ни говорили сейчас, тогда вы поддержали его ложь.

Тоскливые глаза, горевшие по сторонам хищного носа, не мигая уставились на Берна, и с запальчивостью, которая часто таится под испанской гордостью, человек произнес:

— Конечно, если мне всадят нож в спину, вам, сеньор, не будет больно. Кому какое дело до бедного грешника? — Потом, резко сменив тон, добавил: — Сеньор, обстоятельства вынудили меня, кастильца и доброго христианина, прозябать в нищете и изгнании среди грубых астурийцев, жить в кабале у худшего из них, этого негодяя с волчьей совестью. Я человек неглупый и решил вести себя соответственно. Но поверьте, я с трудом сдерживаю презрение. Вы ведь слышали, как я говорил тогда. Такой достойный кабальеро не мог не понять, в чей огород я метил.

— Огород? — встревожился Берна. — Ах да, конечно, вы хотели меня предостеречь. К сожалению, сеньор, я ничего не заметил. Англичане не любят намеков и околичностей. Поэтому будьте добры, ответьте прямо: лгал ли трактирщик во всем остальном?

— Французов поблизости нет, он не солгал, — прежним равнодушным тоном проронил человек.

— А бандитов — *Ladrones*?

— *Ladrones en grande*^[32] — их тоже нет! Что им тут делать после французов? — философски заметил тот. — Да и путешественники теперь перевелись. Хотя кто знает! Долго ли до греха. Правда, такого молодца, как ваш матрос, голыми руками не возьмешь. Но ведь не зря говорят: «Где мед, там и пчелы».

Его загадочные прорицания вывели Берна из терпения.

— Бога ради! — воскликнул он. — Скажите наконец, что угрожает моему матросу?

Гомункулус, снова преобразившись, схватил офицера за руку. Его ручка оказалась неожиданно сильной.

— Сеньор! Бернардино взял его на заметку. Чего вам еще? На этой дороге, точнее, в одном ее месте, люди, случалось, пропадали. И как раз в этом месте, заметьте, мой зять держал *meson*, харчевню. Я подвозил ему постояльцев, тогда у меня были и повозки, и мулы. Сейчас никто не путешествует, повозки не нужны. Французы разорили меня, сеньор. После смерти моей сестры Бернардино почему-то переселился сюда. Он и две его тетки, Эрминия и Люцилла, — проклятая троица, продавшая душу дьяволу, — мучили и

терзали ее. А теперь он и последнего мула украл у меня. Вы вооружены, сеньор. Пригрозите ему пистолетом, отнимите моего *macho* — это *мой* мул, клянусь вам, а потом догоните верхом вашего друга. Вдвоем вы будете в безопасности, никто не слышал, чтобы два путешественника разом пропадали в этих местах. Ну а мула, моего мула, я, так и быть, доверяю вам.

Они обменялись тяжелым взглядом. Берн чуть не рассмеялся — до того наивным и прозрачным показался ему план, придуманный человечком для спасения потерянного мула. Но он сдержался, ибо, как это ни странно, у него возникло неясное желание последовать нелепому совету. Берн не улыбнулся, но губы его дрогнули; крошка-испанец сейчас же отвел горящие черные глаза и резко запахнул плащ, выразив тем самым презрение, горечь и обиду одновременно. Он отвернулся и стоял так в криво надвинутой на уши шляпе, пока Берн не заговорил с ним примирительно и не протянул как ни в чем не бывало серебряный *duro*.

— Мне пора на корабль, — сказал он наконец.

— *Vaya usted con Dios*^[33], — пробормотал гном и, завершив беседу, насмешливо поклонился, низко взмахнул шляпой и снова небрежно заломил ее набок.

Едва только шлюпку подняли на борт и парусник вышел в море, Берн доложил обо всем капитану. История возмутила и позабавила его, но, отсмеявшись, они серьезно взглянули друг на друга. Карлик-испанец, который пытался уговорить офицера королевского флота украсть для него мула, — неслыханно, невероятно, абсурдно. Капитан (всего на пару лет старше Берна) просто не мог поверить в эту нелепость.

— Вы правы, действительно невероятно, — тихо и выразительно заметил Берн.

Они переглянулись.

— Все ясно как день, — очень твердым голосом заключил капитан, так как в душе уверенности не испытывал.

Том, лучший матрос одного и добродушный, почтительный товарищ другого, вдруг неизмеримо вырос в их глазах, показался обоим чуть ли не символом верности, взывающим к чувствам и совести, заставляющим беспокоиться о его судьбе. Они несколько раз поднимались на палубу, только для того чтобы взглянуть на берег,

словно ждали от него ответа. Но он тянулся вдали, немой, голый и дикий, то и дело скрываясь за косыми струями холодного дождя. Западный ветер гнал и гнал бесконечные яростные пенные буруны; огромные темные тучи зловещей чередой неслись над кораблем.

Ближе к вечеру командир корвета с заметным раздражением произнес:

— Право, лучше бы вы последовали совету вашего приятеля в желтой шляпе.

— Вы думаете, сэр? — иронически откликнулся Берн, сам доведенный до предела. — Интересно, что бы вы потом сказали? Меня могли в два счета уволить за кражу мула у союзников. Или избить до полусмерти цепами и вилами, застав на месте преступления, — веселенькие слухи пошли бы дома о вашем офицере. Или с позором прогнали бы к шлюпке — не могу же я, в самом деле, стрелять в невинных людей из-за какого-то грязного мула... И все-таки, — добавил он тихо, — я и сам жалею, что не сделал этого.

До наступления темноты молодые люди так измучили себя, что впали в странное состояние: насмешливое, скептическое и в то же время смущенное и встревоженное. Пытка казалась тем сильнее, что длиться могла и неделю, и гораздо дольше. Поэтому, как только стемнело, корабль взял курс на берег. Всю ночь он пробирался к суше, где остался его матрос, то кренясь под сильными порывами ветра, то лениво качаясь на волнах, почти без движения, словно и он колебался между здравым смыслом и безрассудным порывом.

А на рассвете от его борта отчалила шлюпка и, подпрыгивая на волнах, понеслась к мелкому заливу, где офицер в толстой куртке и шапке не без труда выбрался на каменистый берег.

«Я решил, — пишет мистер Берн, — и решение мое поддержал капитан, высадиться по возможности незаметно. Ни мой оскорбленный приятель в желтой шляпе, что бы он ни замышлял, ни одноглазый трактирщик, знался он с чертом или нет, ни остальные обитатели глухой деревушки не должны были меня видеть. Задача непростая, учитывая, что другой удобной бухты вблизи не нашлось, а обойти дома стороной я не мог из-за крутого оврага.

К счастью, — продолжает он, — все еще спали. Когда я вышел на единственную улицу, высланную сырыми опавшими листьями, рассвет только занимался. Вокруг не было ни души, не лаяла ни одна

собака. Царила полная тишина, и я уже с удивлением подумал, что в деревне, должно быть, вообще нет собак, как вдруг раздалось тихое рычание и из зловонного проулка между двумя лачугами выскочил отвратительный пес с поджатым хвостом. Он прошмыгнул мимо, оскалив зубы, и пропал, как исчадие ада. Таинственное появление и исчезновение мерзкого существа так повлияли на мое и без того подавленное настроение, что я воспринял его как дурной знак».

Никем не замеченный, он прошел берегом и, невзирая на дождь и ветер, отважно углубился в мрачные, безлюдные предгорья, лежавшие на западе под пепельно-серым небом. Вдали поднимались суровые, пустынные горы, их крутые вершины, казалось, злобно подстерегали его. К вечеру он почти добрался до них, но сильно вымок, проголодался, устал от целого дня блуждания по камням и, выражаясь морским языком, сбился с курса. К тому же в пути он почти никого не встретил и не смог выяснить, проходил ли тут Том Корбин. «Вперед, вперед! Надо идти вперед!» — твердил он, подгоняемый в своем одиноком испытании не столько страхом или надеждой, сколько неопределенностью.

День быстро угас, оставив его перед разрушенным мостом. Он спустился в овраг, при последних отблесках солнца перешел узкий бурный ручей, а когда вскарабкался на другой берег, ночь темной повязкой легла ему на глаза. Ветер хлестал в борта съерры, отзывался в ушах непрерывным рокочущим шумом яростного моря. По-видимому, он заблудился. Даже днем дорога со всеми колеями, лужами и грядами обнаженных пород терялась среди мрачных пустошей, усеянных валунами и зарослями голых кустов. Теперь она и вовсе пропала. Но он продолжал идти вперед, «выправив курс по ветру», низко надвинув на глаза шляпу, опустив голову и останавливаясь время от времени, чтобы отдохнуть, но не телом, а духом, словно беспокойство, напряжение и усилия (напрасные, как он подозревал) истощали в пути не силы его, а решимость.

Во время одной из таких остановок ветер донес до него слабый, отдаленный стук, стук по дереву. Вслед за тем ветер сразу стих.

Сердце его взволнованно забило: он-то воображал, что последние шесть часов бродил в безлюдной пустыне, тягостное чувство одиночества одолевало его. Он поднял голову и сразу заметил призрачный — как бывает в кромешной тьме — луч света. Пока он

всматривался, слабый стук повторился, и он скорее почувствовал, чем увидел препятствие, возникшее на пути. Что это? Уступ горы? Дом? Да! Это был дом, и совсем близко. Он словно вырос из-под земли или выскользнул навстречу из тайных глубин ночи. Немой и бледный, он величественно возвышался перед ним. Берн вступил под его сень; еще пара шагов — и он дотронулся рукой до стены. Это, бесспорно, была *posada*^[34], и какой-то путник уже пытался войти. Снова раздался осторожный стук.

В следующее мгновение из распахнутой двери упала на землю широкая полоса света. Берн с готовностью шагнул вперед, а человек, стоявший рядом, приглушенно вскрикнул, отпрянул и исчез в ночи. Из комнаты послышался возглас удивления. Быстро нажав на полуоткрытую дверь, Берн протиснулся внутрь, несмотря на чье-то упорное сопротивление.

Жалкий огарок свечи мерцал на конце длинного соснового стола. В его свете ошеломленный Берн разглядел девушку, которую он оттеснил от двери. На ней были короткая черная юбка и оранжевая шаль; волосы, выбившиеся из темной и густой как лес копны, скрепленной гребнем, черным облаком охватывали низкий смуглый лоб. Из дальнего конца длинной комнаты, где в густой тени открытого очага плясали языки пламени, раздался резкий, горестный вопль двух голосов: «*Misericordia!*»^[35] Девушка пришла в себя и со свистом втянула воздух сквозь сжатые зубы.

Нет необходимости повторять бесчисленные вопросы и ответы, которыми Берн постарался рассеять страхи двух старух, сидевших у огня, по обе стороны от большого глиняного котла. «Точь-в-точь как две ведьмы за приготовлением дьявольского зелья», — подумалось Берну. Тем не менее, когда одна из старух с усилием приподняла чахлое тело и сняла крышку, из котла поднялся вполне аппетитный запах. Вторая неподвижно сторбилась рядом, и только голова ее не переставая тряслась.

Они были отвратительны. Их дряхлость граничила с гротеском и могла бы показаться смешной. Но смех застывал на губах при виде беззубых ртов, крючковатых носов, худобы одной (той, что подняла крышку) и отвисших желтых щек другой (сидящей); мороз пробежал по коже при тягостной мысли о неотвратимом беге времени, превратившем этих женщин в жалких, страшных, немощных уродов.

Чтобы отвлечься, Берн заговорил. Он сообщил, что ищет земляка, англичанина, который прошел этой дорогой. Стоило ему начать, как сцена прощания с Томом удивительно живо встала перед глазами: молчаливые крестьяне, сердитый гном, одноглазый трактирщик Бернардино. Ага! Значит, эти безобразные чудовища и есть его тетки, продавшие душу дьяволу.

Кому бы они ни служили раньше, здесь, в мире живых, такие хилые создания вряд ли представляли интерес для нечистого. Кто из них Люцилла и кто Эрминия? Они давно утратили имена. Вопрос Берна как будто заморозил их: колдунья с ложкой перестала размешивать варево в железном котле, а голова второй на секунду застыла. В этот неизмеримо короткий миг Берн почувствовал, что он на верном пути, еще чуть-чуть — и он догонит Тома.

«Они его видели, — с уверенностью подумал он. — Наконец хоть кто-то его видел». Он решил, что старухи начнут все отрицать, но они с охотой подтвердили, что «инглес» поел и переночевал в харчевне. Перебивая друг друга, они вспоминали его внешность и манеры. Для их тщедушных тел такое волнение казалось чрезмерным. Сгорбленная колдунья размахивала деревянной ложкой, распухшее страшилище сползло со скамьи и, переступая с ноги на ногу, принялось вопить, причем голова ее тряслась все быстрее и быстрее. Их пыл поразил Берна... Да-да! Огромный, свирепый «инглес» ушел утром — съел кусок хлеба, выпил вина и ушел. И если кабальеро хочет его догнать, нет ничего проще — утром он за ним отправится.

— Вы дадите мне проводника? — спросил Берн.

— Да, сеньор. Надежного парня. Вы его видели, он как раз выходил.

— Он не выходил, он стучал в дверь, — возразил Берн. — А когда заметил меня, отскочил. Но он хотел войти.

— Нет-нет! — одновременно вскрикнули обе мегеры. — Он выходил! Он выходил!

«Может, так оно и было, — подумал Берн. — Слабый, обманчивый стук мог мне просто послышаться». Он спросил:

— А кто этот человек?

— Ее *novio*^[36], — закричали старухи, указывая на девушку. — Он пошел домой, в деревню, далеко отсюда. Но утром он вернется. Ее

novio! Она сиротка. Ее родители — бедные, честные люди. Мы приютили ее из милосердия, из милосердия.

Сиротка затаилась у очага и следила оттуда за Берном. Он подумал, что не из милосердия, а скорее по воле дьявола попала к страшным колдуньям эта дочь сатаны. Слегка косившие глаза, полные, но красивые губы и все ее смуглое лицо дышали дикой, непокорной чувственной прелестью. Взгляд, которым она с откровенной настойчивостью провожала Берна, напоминал взгляд голодной кошки на птичку в клетке или мышшь в мышеловке.

Он обрадовался, увидев, что она собирает на стол, хотя под пристальным взглядом больших черных косящих глаз, словно силившихся что-то прочесть на его лице, ему стало слегка не по себе. Но лучше она, чем два жутких, мутноглазых привидения. После изнурительной борьбы с упрямым, пронзительным ветром тепло и тишина дома подействовали на него успокаивающе, подозрения его постепенно рассеялись. Теперь он не сомневался, что Том давно встретил отряд Гонсалеса и сейчас спит себе спокойно в горном лагере.

Берн встал, наполнил оловянный кубок вином из бурдюка, висевшего на стене, и снова сел. Ведьма с лицом мумии завела беседу о былых временах, путаясь, принялась расхваливать прошлую славу харчевни. Богатые господа приезжали в своих экипажах. А однажды, давным-давно, в casa^[37] переночевал даже архиепископ.

Ведьма с заплывшим лицом и трясущейся головой тихо сидела на скамейке и, казалось, прислушивалась. Девушка (Берн был уверен, что она безродная цыганка и в дом ее взяли неспроста) устроилась перед догоравшим очагом. Она что-то напевала вполголоса и время от времени тихонько постукивала кастаньетами. При упоминании архиепископа она непочтительно хихикнула и оглянулась на Берна. Из укрытия под массивным печным навесом блеснули красным отсветом черные глаза и белые зубы. Он улыбнулся в ответ.

Почувствовав себя в безопасности, он расслабился. Его прихода не ждали, значит, никакого заговора быть не могло. Его сковала дремота; с удовольствием погружаясь в нее, он старался не заснуть по-настоящему, но потом сон, должно быть, одолел его, потому что очнулся он вдруг от адского шума. Ему в жизни не доводилось слышать более пронзительных и скрипучих воплей. Ведьмы затеяли

яростную грызню. Из-за чего начался спор, он не знал, но сейчас они обвиняли друг друга во всех смертных грехах; в злобных старческих голосах слышались ярость и дикий страх. Цыганка быстро переводила взгляд с одной на другую. Берну стало тревожно: слишком мало походили эти женщины на человеческие существа. Прежде чем он разобрался, в чем дело, девушка резко ударила в кастаньеты. Все стихло. Подойдя к столу, она наклонилась к Берну и, глядя ему в глаза, твердо сказала:

— Сеньор, вы будете спать в комнате архиепископа.

Ведьмы промолчали. Костлявая, согнувшись в три погибели, оперлась на палку, толстуха сжала в руках костыль.

Берн встал, подошел к двери и, повернув ключ в огромном замке, невозмутимо положил его в карман. Другого входа не было, и теперь, какие бы опасности ни таились снаружи, врасплох они его не застанут. Оглянувшись, он встретился взглядом с тремя прислужницами дьявола. Интересно, догадался ли Том Корбин принять вчера те же меры предосторожности? Как только он вспомнил о Томе, странное чувство охватило его: ему снова почудилось, что Том где-то рядом. В доме было так тихо, что он слышал неровный, прерывистый шум крови в ушах, шум, похожий на шепот: «Мистер Берн! Осторожней, сэръ!» Голос Тома. Берн поежился: очень уж живым казался голос, слишком навязчивым был обман слуха.

Он не знал, что и думать. Как будто холодный ветер пронесся по комнате и дохнул на него. Он с усилием стряхнул наваждение.

Провожать его наверх пошла девушка; над пламенем железной лампы без колпака, которую она держала в руках, тянулась узкая струйка дыма. Он заметил, что ее грязные белые чулки все в дырах.

С той же спокойной решимостью, с какой он запер входную дверь, Берн распахивал одну за другой двери коридора. Комнаты были пусты, лишь в одной-двух валялся какой-то хлам. Угадав его намерения, девушка терпеливо поднимала коптящую лампу перед каждой дверью. И, подняв, пристально вглядывалась в него. Последнюю дверь она распахнула сама.

— Вы будете спать здесь, сеньор, — голосом тихим, как дыхание ребенка, произнесла она, передавая ему лампу.

Он взял ее и вежливо проговорил:

— Buenos noches, senorita^[38].

Губы ее дрогнули, она что-то прошептала в ответ и продолжала разглядывать его черными, как безлунная ночь, глазами. Войдя в комнату, он хотел закрыть дверь, но она не уходила, немая, загадочная; в чувственных губах и косящих глазах ее читалось жадное, нетерпеливое ожидание голодной кошки. Он помедлил, и опять в тяжелом, неровном шуме крови послышался близкий, настойчивый голос Тома, на этот раз невнятный и от этого еще более жуткий.

Он захлопнул дверь перед ней, оставив ее в темноте, но тут же распахнул снова. Никого. Она растаяла без малейшего шороха. Он быстро затворил дверь и задвинул два тяжелых болта.

Неожиданно им овладело гнетущее недоверие. Почему ведьмы спорили, куда его поместить? Что означал пристальный взгляд девушки, словно пытавшейся навсегда запомнить его черты? Собственная нервозность не понравилась ему: не хватало еще самому потерять человеческий облик.

Он внимательно осмотрел комнату. В пространстве между полом и потолком с трудом помещалась кровать с роскошным пологом, скорее даже балдахин, и тяжелыми шторами спереди и сзади — кровать и впрямь архиепископская. Внушительный стол с богатой резьбой по углам, на редкость солидные кресла — добыча из замка какого-нибудь гранда — и у самой стены высокий, узкий шкаф с двойными дверцами. Он подергал их. Заперто. Промелькнувшее подозрение заставило его схватить лампу и изучить шкаф поближе. Нет, на потайной ход не похоже. Массивный, высокий шкаф на целый дюйм отстоял от стены. Он взглянул на дверные запоры. Они тоже не подведут, можно спать спокойно. «Но удастся ли заснуть?» — озабоченно подумал он. Если бы рядом был Том — опора и верный помощник не в одном опасном деле, заботливый наставник, учивший его осторожности. «Погибнуть в бою — много ума не надо, — говаривал он. — А вот уцелеть и наутро с новой силой бить француза — задача похитрей».

Берн с трудом удерживался, чтобы не вслушиваться в тишину. Почему-то он верил, что нарушить ее может только неотступный шепот Тома. Он уже дважды слышал его. Странно! Хотя, если рассудить здраво, последние тридцать часов он только о Томе и думает, и, что самое главное, думает безрезультатно. Из смутных

подозрений родился пока только один вывод — Том исчез. Вывод пугающий и неопределенный. Исчез! Куда, как?

Он поежился — должно быть, от озноба. Том не мог исчезнуть. Берну только что о нем рассказали. И снова зашумело в ушах. Молодой человек не двигался, каждую секунду ожидая различить в пульсирующих ударах сердца голос Тома. Он ждал, напрягая слух, но напрасно. Неожиданно у него мелькнула мысль: «Том не исчез, он просто не может говорить».

Берн вскочил с кресла. Какая нелепость! Он положил на стол пистолет и кортик, снял сапоги и, почувствовав вдруг страшную усталость, рухнул в постель, на удивление мягкую и удобную.

Сначала ему не спалось, но потом он, наверное, все-таки задремал, потому что вдруг осознал, что сидит на кровати и пытается вспомнить слова Тома. Да! Том сказал вот что: «Мистер Берн! Осторожней, сэр!» Он предупреждал его. Но о чем, о чем?

Одним прыжком он выбрался из постели, встал посередине комнаты, судорожно вздохнул и огляделся. Окно закрыто ставнями и железной задвижкой. Снова провел взглядом по голым стенам, посмотрел на потолок, довольно высокий. Потом подошел к двери и проверил запоры — два громадных металлических штыря, входивших в стену. Узкий коридор с той стороны не позволял высадить дверь ни тараном, ни топором — ее можно было только взорвать. Проверая, хорошо ли держится нижний болт, он вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Ощущение было таким сильным, что он стремительно обернулся. Никого. Да и кто там мог быть? И все же...

И тут остатки самообладания покинули его. Махнув рукой на достоинство и приличия, он поставил лампу на пол и на четвереньках, как пугливая девица, заглянул под кровать. Там не нашлось ничего, кроме пыли. Он поднялся с пылающим лицом и стал мерять комнату шагами. Он сердился на себя, а заодно и на Тома, который не оставлял его в покое. В ушах все время звучало тревожное: «Мистер Берн! Осторожней, сэр!»

«Лягу-ка я в постель и попробую заснуть», — подумал он. Но тут взгляд его упал на высокий шкаф, и, досадуя, но не в силах противиться наваждению, он направился к нему. Он не думал, что будет объяснять завтра двум гнусным ведьмам по поводу взломанного шкафа, он просто вставил конец кортика между половинками дверей и

постарался открыть их. Они не поддавались. Он выругался, пробормотал, обращаясь к отсутствующему Тому:

— Теперь-то ты будешь доволен, черт побери, — и нажал что было сил. Дверцы распахнулись.

Он был там.

Верный, рассудительный, отважный Том стоял навытяжку, смутный, суровый, и остекленевшими глазами смотрел на Берна, призывая хранить молчание. Но потрясенный Берн и так не издал ни звука. В ужасе он отступил назад, и в этот миг матрос подался вперед, словно желая обнять своего командира. Берн машинально вытянул дрожащие руки и принял окоченевшее тело; их головы столкнулись; прижавшись на мгновение щекой к щеке Тома, Берн ощутил жуткий холод смерти. Он пошатнулся и, боясь уронить тело и наделать шума, крепко прижал его к себе. Он едва успел осторожно опустить страшную ношу, как голова у него закружилась, ноги подкосились и он бессильно осел рядом с трупом, опершись руками на холодную, неподатливую грудь своего доброго, отзывчивого друга.

— Он умер, мой бедный Том умер, — беззвучно повторял он. Свет лампы, стоявшей на краю стола, отразился в пустых, ледяных глазах, прежде веселых и живых.

Берн отвел взгляд. Он заметил, что на шее Тома нет черной шелковой косынки. Убийцы сняли также туфли и чулки. При виде голой груди и босых торчащих ног Тома глаза Берна наполнились слезами. Все остальное было на месте, одежда не выдавала следов борьбы. Только конец рубашки торчал из-за пояса, как будто кто-то проверял, нет ли под ней денег. Берн зарыдал, прижав платок к глазам.

Вспышка отчаяния быстро угасла. Не вставая с колен, он с грустью глядел на сильные руки матроса, которые одинаково ловко орудовали кортиком, заряжали пушку и управлялись с парусами в бурю; на холодное, окоченевшее тело, чей бодрый, бесстрашный дух летел сейчас, быть может, вслед за кораблем по сизым волнам, прочь от неприступного берега; летел, надеясь найти там своего юного друга.

Ему бросилось в глаза, что с куртки Тома срезаны все шесть медных пуговиц. Представив, как убогие, гнусные ведьмы, словно два упыря, возились над беззащитным телом друга, он содрогнулся. Срезали пуговицы. Может быть, тем же ножом... У одной тряслась голова, другая скрючилась в три погибели, мутные глаза покраснели,

когтистые пальцы дрожали. Все произошло, наверное, в этой комнате. Они не могли убить его на открытом месте, а потом принести сюда. Берн был уверен в этом. Даже напав исподтишка, жалкие развалины не справились бы с Томом, а ведь он, конечно, был начеку. В любом деле он проявлял осторожность и осмотрительность... Но как же все-таки его убили? Кто? Чем?

Берн вскочил, схватил со стола лампу и склонился над телом. Ни единого пятна, ни следа, ни капли крови не обнаружилось на одежде. У Берна затряслись руки, и, чтобы успокоиться, он вынужден был поставить лампу на пол и отвернуться.

Затем он принялся методично осматривать холодное, неподвижное тело, ища ножевую или огнестрельную рану, след смертельного удара. Он тщательно ощупал череп. Ни малейшего повреждения. Провел рукой по шее. Ничего. Расширенными от ужаса глазами заглянул под подбородок, но и там не увидел никаких отметин.

Нигде никаких следов. Том был просто мертв.

Берн отшатнулся, словно таинственная смерть вытеснила из его сердца жалость, оставив страх и недоверие. Лампа у головы моряка освещала застывшее, спокойное лицо, безнадежно вперявленное в потолок. В круге света на полу ясно выступил толстый нетронутый слой пыли, из чего Берн заключил, что схватки в комнате не было. «Его убили снаружи», — подумал он. Да, именно там, в узком коридоре, где с трудом можно повернуться, настигла его бедного друга непонятная смерть. Берн хотел схватить пистолет и выбежать за дверь, но одумался. И Том был вооружен — теми же бесполезными пистолетами и кортиком. А умер от чего-то темного и непостижимого.

Берна вдруг осенило. Незнакомец, стучавший в дверь и отскочивший при его появлении, шел, чтобы забрать тело. Теперь он понял, какого проводника обещала высохшая ведьма английскому офицеру, кто показал бы ему кратчайшую дорогу к матросу. Лишь сейчас он осознал жуткий смысл этого обещания. Сегодня ночью услуг незнакомца будут ждать два трупа. Офицер и матрос покинут дом вместе. Берн уже не сомневался, что до утра ему не дожить и что умрет он такой же загадочной смертью, не оставляющей следов.

Раскроенный череп, перерезанное горло или зияющая огнестрельная рана принесли бы ему неизмеримое облегчение,

рассеяли бы его страхи. «Том, чего мне остерегаться? Ответь, не молчи!» — тщетно взывала его душа к мертвому другу, который при жизни не задумываясь спешил ему на помощь. Сейчас же, немой и непреклонный, он распростерся на полу, не желая делить свою страшную тайну с живыми.

Берн упал на колени и безжалостно, яростно распахнул рубашку на груди Тома, словно надеясь насильно вырвать ответ из некогда верного, а сейчас холодного сердца. Ничего! Ничего! Он поднял лампу и увидел на лбу Тома еле заметный синяк — большего это раньше такое ясное лицо ему не открыло. На коже не было даже царапины. Он долго, как в тяжком забытии, глядел на синяк. Потом вдруг заметил, что кулаки Тома стиснуты, словно перед смертью он собрался сразиться с кем-то. Присмотревшись, он обнаружил, что кожа на костяшках пальцев содрана на обеих руках.

Эти слабые отметины потрясли Берна больше, чем отсутствие всяких следов. Значит, Том сопротивлялся, значит, хотел ударить таинственное нечто, но оно поразило его незримо и молниеносно — одним дыханием.

Жгучий страх охватил Берна, запылал в груди, как огонь, который то лизнет, то отпустит свою жертву, пока та не превратится в пепел. Он попятился как можно дальше от трупа, но потом снова боязливо придвинулся, украдкой косясь на синяк. Может, и на его лбу появится такой же — еще до рассвета.

— Это невыносимо! — прошептал он. Теперь Том вызывал в нем содрогание, притягивал и в то же время отталкивал. Он не решался смотреть на него.

Когда наконец отчаяние взяло верх над нараставшим страхом, он оторвался от стены и, взяв труп под мышки, потащил к кровати. Голые пятки матроса бесшумно скользили по полу. Неподатливое тело налилось каменной, мертвой тяжестью. Собрав последние силы, Берн поднял бесчувственный труп, уложил на кровать лицом вниз, перевернул, вытянул простыню и накрыл его сверху. Потом задернул шторы в ногах и головах и расправил их так, чтобы тело полностью скрылось за ними.

Неверными шагами он добрался до стула и, как подкошенный, упал на него. Пот градом катил с его лба, леденевшая кровь слабо

бежала по жилам. Безмерный, невыразимый ужас переполнял его, испепеляя сердце.

Оставив лампу на полу у ног, а пистолет и кортик — слева на краю стола, он напряженно выпрямился на жестком стуле и неустанно шарил глазами по стенам, по потолку, по полу, ожидая таинственное и непостижимое нечто, насылающее мгновенную смерть. Оно притаилось там, за запертой дверью. Но теперь Берн не доверял ни стенам, ни замкам. Под влиянием безумного страха детское восхищение бесстрашным Томом, могучим Томом (непобедимым, как казалось ему когда-то) обернулось бессильной безысходностью.

Не было больше Эдгара Берна. Осталось жалкое существо, терзаемое в адских печах непереносимого страха. О силе его страданий можно судить по тому, что в какой-то момент этот молодой и далеко не трусливый человек готов был схватить пистолет и пустить себе пулю в висок. Он выполнил бы свое намерение, если бы не мертвящая зябкая слабость, разлившаяся по членам. Мышцы размякшей глиной облепили ребра. Скоро войдут две ведьмы с клюкой и палкой, жуткие, нелепые, безобразные — дьявольские отродья, — и поставят ему на лоб клеймо смерти — крошечное, еле заметное пятнышко. И он ничего не сможет сделать. Том сопротивлялся, но ему далеко до Тома. Уже сейчас онемевшие руки и ноги не слушались его. Он не шевелился, принимая медленную пытку; двигались только глаза, снова и снова обегая стены, пол, потолок, пока, едва не вылезая из орбит, не застыли вдруг на кровати.

Он увидел, как тяжелые шторы заколыхались, словно мертвец, спрятанный за ними, повернулся и сел. Берн почувствовал, как волосы встают у него на голове — кошмарам этой ночи, казалось, не будет конца. Он вцепился в ручки кресла, челюсть его отвисла, холодный пот выступил на лбу, а пересохший язык прилип к нёбу. Шторы снова дрогнули, но не раскрылись. «Не надо, Том!» — хотел закричать он, но из горла вырвался только слабый стон, как у человека в тревожном сне. Он подумал, что сходит с ума: ему померещилось, что потолок над кроватью сдвинулся с места — приподнялся и снова опустился, а задернутые шторы опять колыхнулись, готовые вот-вот разойтись.

Берн зажмурился, только бы не видеть, как жуткий мертвец, воскрешенный дьявольской силой, восстает с кровати. Гробовая тишина тянулась, продлевая агонию страха. Потом он открыл глаза. И

сразу увидел, что шторы по-прежнему задернуты, но потолок над кроватью поднялся на целый фут. Остатки здравого смысла подсказали, что дело не в потолке: гигантский балдахин медленно опускался над кроватью, а тихо колыхавшиеся шторы плавно ложились на пол. Он привстал и, сжав губы, молча следил, как бесшумно падает чудовищный полог. Скользя и замирая, он добрался почти до половины, а потом обрушился вниз и замер, гладкий, как палуба; широкая кайма пришлась точно по краям кровати. Чуть слышно треснуло дерево, и снова воцарилась мертвая тишина.

Берн встал, задыхаясь; яростный, смятенный крик сорвался с его губ — первый за всю эту страшную ночь. Так вот какой смерти он избежал! Вот о какой адской ловушке предупреждал его из запредельной дали бедный Том, сам погибший в ней. Теперь Берн был уверен, что слышал его невнятный голос, его обычное: «Мистер Берн! Осторожней, сэр!» — и что-то еще, чего он не разобрал: ведь от мертвых до живых так далеко! Бедный Том, он очень старался. Берн подбежал к кровати и начал толкать, поднимать жуткую плиту, придавившую тело. Она даже не дрогнула, тяжелая, как свинец, и неподвижная, как надгробие. Мстительный гнев обуял его, в голове роились бессвязные убийственные планы, он озирался вокруг, словно забыл, где его оружие, где дверь, он не переставая бормотал страшные угрозы...

Отчаянный стук во входную дверь привел его в чувство. Он метнулся к окну, толкнул ставни и выплянул наружу. В тусклом утреннем свете внизу толпились какие-то люди. Ха! Орда убийц явилась, чтобы расправиться с ним. Ну что ж, он готов с ними встретиться. После несказанных ужасов этой ночи он жаждал открытой схватки с вооруженным противником. Но благоразумие, как видно, еще не вернулось к нему: забыв о пистолетах, он бросился вниз, с иступленным криком откинул запоры на двери, осыпаемой с той стороны градом ударов, и, широко распахнув ее, безоружный, кинулся на ближайшего разбойника. Оба покатались по земле. Берн рассчитывал прорваться сквозь толпу, по горной тропе добежать до Гонсалеса и, вернувшись с его людьми, воздать убийцам по заслугам. Он дрался как одержимый, но вдруг деревья, дом, гора — все обрушилось и исчезло перед его глазами.

Далее мистер Берн в подробностях описывает умело наложенную на голову повязку, сообщает, что потерял много крови, и добавляет, что сохранил здравый рассудок исключительно благодаря этому обстоятельству. Он целиком приводит пространные извинения Гонсалеса. Ибо не кто иной, как Гонсалес, устав ждать известий от англичан, направился с половиной своего отряда к морю, завернув по дороге в харчевню.

— Вы так свирепо накинулись на нас, ваше благородие, — оправдывался он, — мы не могли предполагать, что встретим здесь

друга, поэтому мы и... — и т. д. На вопрос о судьбе двух ведьм он молча указал пальцем в землю, сопроводив свой жест следующим нравоучительным замечанием: — В стариках страсть к золоту безжалостна, сеньор. Не сомневаюсь, что в былые времена они не раз пускали одиноких путешественников переночевать в кровати архиепископа.

— Там была еще цыганка, — слабым голосом проговорил Берн с импровизированных носилок, на которых бригада повстанцев переправляла его к берегу.

— Она-то и крутила обычно лебедку адской машины, — ответили ему. — И в ту ночь именно она опускала полог.

— Но зачем? Зачем? — воскликнул Берн. — Зачем ей понадобилось убивать меня?

— Только для того, чтобы заполучить пуговицы с вашей куртки, — вежливо ответил его мрачный спутник. — Мы нашли у нее пуговицы убитого матроса. Но не беспокойтесь, ваше благородие, дело улажено должным образом.

Берн не задавал больше вопросов. «Улаживание дела», как выразился Гонсалес, завершилось еще одной смертью. Заряд шести escopettas^[39] пригвоздил одноглазого Бернардино к стене его трактира. Выстрелы еще не отзвучали, когда испанские патриоты, сильно смахивавшие на разбойников, пронесли грубо сколоченный настил с телом Тома вниз по оврагу, где у берега бранные останки доблестного матроса уже ждали две шлюпки.

Бледный, слабый мистер Берн сел в лодку рядом с телом своего смиренного друга. Похоронить Тома Корбина решили далеко в Бискайском заливе. Взявшись за румпель, офицер кинул последний взгляд на берег и там, на сером склоне холма, разглядел фигурку всадника в желтой шляпе, трясшегося на муле — муле, без которого судьба Тома Корбина навсегда осталась бы нерешенной загадкой.

Призраки жертв

Уильям Гилмор Симмс

(1806–1870)

Грейлинг, или Убийство обнаруживается

Пер. с англ. И. Бернштейн

Глава I

Мир в наши дни стал что-то уж очень прозаичен. Рассказа с привидениями теперь днем с огнем не найдешь. Всем заправляют материалисты, и даже мальчишка-постреленок восьми лет от роду, нет, чтобы слушать с приличествующей почтительностью, что рассказывает бабушка, — обязательно выступает с собственным мнением. Он готов верить в любые —измы, но не в спиритизм. «Фауст» и «Старуха из Беркли» вызывают у него только насмешку, он бы и Волшебницу из Аэндора поднял на смех, если б посмел. На его стороне — весь арсенал новейших доводов, и хотя на словах он признает иногда, что вера произвольна, однако же не терпит никакого легковерия. Холоднокровный демон по имени Наука занял ныне место всех прочих демонов. Он, бесспорно, изгнал многих дьяволов, пусть даже главного среди них и пощадил; другой вопрос, пошло ли нам это на пользу. Есть основание полагать, что, подорвав нашу наивную веру в духов, нас лишили кое-каких здоровых моральных запретов, которые многих из нас могли бы удерживать на стезе добродетели, когда законам это не под силу.

Но особенно серьезно пострадала литература. Наши беллетристы желают иметь дело только с реальностью, с подлинными фактами, их интересуют лишь те сюжеты, все подробности коих вульгарно достоверны и могут быть подтверждены доказательствами. С этой целью они даже героев себе обыкновенно подбирают прямо из осужденных преступников, чтобы употреблять в дело имеющиеся неопровержимые улики; и, выказывая свою горячую приверженность жизненной правде, изображают оную не только голой, но еще и, так сказать, неумытой. Боюсь, грубость современных вкусов проистекает отчасти из недостатка в нас благоговения, каковое было свойственно — и придавало достоинство — самым заблуждениям

минувшего времени. Любовь к чудесному присуща, на мой взгляд, всем истинным поклонникам и служителям изящных искусств. В наши дни, как и прежде, едва ли, я думаю, найдется среди поэтов, живописцев, скульпторов и романистов один, не приверженный — или хотя бы не склонный — к признанию дивных чудес невидимого глазу мира. А уж поэты и живописцы высших степеней, сочинители и творцы — те непременно имеют в душе мистическую струну. Но, впрочем, все это — лишь отступление и уводит нас в сторону от цели.

О призраках у нас так давно не было ни слуху ни духу, что нынче всякое привидение показалось бы нам в новинку, и я намерен изложить здесь рассказ, слышанный мною когда-то в детстве из уст одной престарелой родственницы, которая умела заставить меня поверить в нем каждому слову — ибо умела убедить меня, что каждому слову в нем верит сама, и в этом, пожалуй, весь секрет. Моя бабушка была почтенная дама, жительница Каролины, где во время Революции находился театр почти непрерывных военных действий. Она благополучно пережила многие ужасы войны, коим поневоле оказалась свидетельницей, и, обладая острой наблюдательностью и отличной памятью, имела в запасе тысячу рассказов о тех волнующих временах и часто долгими зимними вечерами разгоняла ими мою сонливость. Из этих легенд и мой рассказ; если же я еще прибавлю, что не только она сама свято в него верила, но и другие ее сверстники, посвященные в ту часть событий, о которых могли знать посторонние, тоже разделяли с ней ее веру, — тогда неудивительным покажется серьезный тон моего повествования.

Революционная война тогда только завершилась. Англичане ушли; но заключенный мир не принес покоя. Общество находилось в состоянии брожения, естественного для той поры, когда не улеглись еще страсти, вызванные к жизни семью долгими годами кровопролития, через которые только что прошла нация. Штат наводнили авантюристы, бродяги, преступники и прочее отребье. Солдаты, отпущенные по домам, полуголодные, изверившиеся, хозяйничали на больших дорогах, всевозможные отщепенцы повыползали из укрытий и бродили вблизи жилищ, боясь и ненавидя; патриоты шумно требовали правосудия над тори — приверженцами британской короны — и подчас, опережая его, сами вершили расправу; а тори, если улики против них были красноречивы и

неопровержимы, препоясывали чресла для дальнейшей борьбы. Легко понять, что в таких условиях жизнь и собственность не имели надлежащих гарантий. Отправляясь в путь, брали с собой обычно оружие, чуть что пускали его в ход и старались по возможности путешествовать под охраной.

Жила там в это тревожное время, рассказывала моя бабушка, семья по имени Грейлинг, их дом стоял на самой окраине «Девяносто Шестого». Старого Грейлинга, главы семейства, уже не было в живых, он погиб во время Бафордской резни. Осталась вдова, добрая, еще не старая женщина, и с нею их единственный сын Джеймс и пятилетняя крошка-дочь по имени Люси. Джеймсу было четырнадцать лет, когда погиб отец, и это несчастье сделало из него мужчину. Он взял ружье и вместе с Джоэлем Спаркменом, братом своей матери, вступил в бригаду Пикенса. Солдат из него получился отличный. Он не знал, что такое страх. Во всякое дело всегда вызывался первым, из ружья за добрую сотню шагов шутя попадал в пуговицу на вражеском мундире. Участвовал в нескольких сражениях с англичанами и их приспешниками, а перед самым концом войны еще и в знаменитой стычке с индейцами-чероки, у которых Пикенс отнял земли. Но хотя он не ведал страха и устал в бою, был он юноша необыкновенно застенчивый, говорила бабушка, и такого кроткого нрава, прямо не верилось, что он может быть в сражении так свиреп, как рассказывали. И однако же, это была правда.

Так вот, война кончилась, и Джоэль Спаркмен, который жил в доме своей сестры Грейлинг, уговорил ее переселиться вниз, на равнину. Не знаю, какие доводы он выставлял и чем они предполагали там заняться. Имущество их было очень невелико, но Спаркмен был человек знающий и на все руки мастер; не имея своей семьи, он любил сестру и ее детей как своих собственных, и ей вполне естественно было поступить в соответствии с его желанием. А тут еще и Джеймс — непоседливый по натуре и приобретший на войне вкус к бродячей жизни, он сразу загорелся мыслью о переезде. Потому в одно прекрасное апрельское утро их фургон двинулся по дороге в город. Фургон был небольшой, пароконный, немногим больше тех, в каких возят фрукты и птицу из пригородов на базар. На облучке сидел негр по имени Клайтус, а внутри ехали миссис Грейлинг и Люси. Джеймс и его дядюшка слишком любили верховую

езду, чтобы запереться в фургоне, да и лошади под ними были отличные, добытые в бою у противника. У Джеймса еще и седло составляло предмет его гордости, военный трофей, завоеванный в сражении при Коупенсе у одного из поверженных им драгун Тарлтона. Проезд там в ту пору был хуже некуда, весь март шли обильные дожди, дороги развезло, всюду колдобины и развояды, с гор «Девяносто Шестого» намыло целые потоки красной глины, и по двадцать раз на дню приходилось, всем навалившись, на плечах вытаскивать застрявший в грязи фургон. Оттого и продвигались очень медленно, делая в день от силы по пятнадцати миль. Другая причина их медленного продвижения состояла в том, что требовалось соблюдать сугубую осторожность и постоянно быть начеку, высматривая врагов на дороге спереди и сзади. Джеймс с дядюшкой менялись по очереди, один ехал передовым, как разведчик в военном походе, а второй держался рядом с фургоном. Они провели в пути два дня, не встретив ничего внушающего тревогу или опасения. Проезжих на дороге попадалось мало, и все с одинаковой опаской сторонились друг друга. Но к вечеру второго дня, когда они только остановились и начали устраивать бивуак, кололи дрова, доставали котелки и сковороду, подъехал какой-то человек и без долгих церемоний к ним присоединился. Был он приземист и широкоплеч, с виду лет между сорока и пятьюдесятью, в грубой простой одежде, но на добром вороном коне редкой силы и стати. Изъяснялся очень вежливо, хотя и немногословно, но было ясно по его разговору, что хорошего воспитания и образования он не получил. Незнакомец попросился переночевать с ними и выразил свою просьбу почтительно, даже заискивающе, но в его лице было что-то хмурое, тяжелое, светло-серые глаза все время бегали, а вздернутый нос ярко рдел. Лоб у него был чересчур широк, брови, как и волосы, лохматые, кустистые, с сильной проседью. Миссис Грейлинг он сразу не понравился, и она шепнула об этом сыну, но Джеймс, который чувствовал себя равней любому взрослому мужчине, только ответил:

— Что же из того, матушка? Не можем же мы вот так, за здорово живешь, прогнать человека. Ну а если он замыслил недоброе, так ведь нас двое, а он один.

Незнакомец был безоружен, — по крайней мере, оружия при нем было не видно — и держался так смиренно, что первоначальное

предубеждение против него если и не развеялось, то и не утвердилось. Молчаливый, слова лишнего не вымолвит, он никому не смотрел в глаза, даже женщинам, и одно лишь это обстоятельство подкрепляло, по мнению миссис Грейлинг, неприятное впечатление, которое он на нее произвел при первом знакомстве. Вскоре маленький лагерь был готов для мирных и военных нужд. Фургон откатали с дороги и поставили под сводами леса у опушки, лошадей привязали к задку, чтобы их не украли, даже если бы бдительность сторожа, которому предстояло их стеречь, и притупилась на какое-то время. В соломе на полу фургона спрятали запасные заряженные ружья. Вскоре у обочины, между фургоном и дорогой, запылал костер, бросая вокруг фантастические, но приветливые блики, и миссис Грейлинг, эта достойная леди, не тратя времени даром, принялась с помощью маленькой Люси прилаживать на угольях сковороду и нарезать окорок, который был взят с собою из дому. Джеймс Грейлинг между тем пошел в обход вокруг лагеря, а его дядя Джоэль Спаркмен, оставшись сидеть лицом к лицу с незнакомцем, казался воплощением той совершенной беззаботности, какая почитается в этом мире верхом земного блаженства. Однако же он вовсе не был столь безмятежен, как представлялся. Бывалый солдат, он просто предпринял маскировку и спрятал свои страхи за показным бесстрашием и спокойствием. Ему тоже, как и сестре, незнакомец с первого взгляда пришелся не по вкусу, и, подвергнув его расспросам, что в то опасное, сложное время вовсе не рассматривалось как нарушение учтивости, он только утвердился в своей неприязни.

— Ты ведь шотландец, верно? — ни с того ни с сего спросил Джоэль, подобрав ноги, вытянув шею и зорко сверкнув на того взглядом, словно ястреб на выводок куропаток. Трудно было этого не понять: у незнакомца был сильный шотландский выговор. Но Джоэль соображал медленно, понемногу. Ответ последовал не без колебаний, но утвердительный.

— Надо же, какая странность, — отозвался Джоэль, — что ты воевал на нашей стороне. Мало кто из шотландцев, — я так ни одного не встречал, разве что вот ты, — чтобы не стоял горой за тори. Этот поселок Кросс-Крик у речной переправы был нам, вигам, хуже болячки в боку. Просто не люди, а змеи аспидные. Ты, незнакомец, надеюсь, не из тех мест?

— Нет, — отвечал его собеседник, — я вовсе не оттуда. Я жил выше в горах, в поселке Дункан.

— Слышал про такой. Но не знал, что люди оттуда дрались на нашей стороне. Ты у какого генерала сражался? Из наших, каролинских, у кого?

— Я был при Смолистом болоте, когда генерал Гейтс потерпел поражение, — помявшись, ответил тот.

— М-да, слава богу, что меня там не было. Хотя им бы туда кого-нибудь из молодцов Самтера, Пикенса или Мариона, к этим двуногим тварям, что тогда задали стрекача. Небось другое дело было бы. Я слышал, там некоторые полки кинулись наутек, не выпустив и по одному патрону. Надеюсь, ты, незнакомец, не из их числа?

— Нет, — последовал более решительный ответ.

— По-моему, нет худа, ежели солдат и поклонится пуле или увернется от штыка, коли сумеет, потому что, мое такое мнение, живой солдат лучше мертвого или, глядишь, еще станет когда-нибудь лучше; но побежать, не сделав по врагу ни единого выстрела, это чистейшей воды трусость. Тут двух мнений быть не может, вот так, незнакомец.

Шотландец выразил свое согласие с этим суждением, произнесенным не без запальчивости, однако Джоэля Спаркмена даже собственное красноречие не способно было отвлечь от первоначального предмета. Он продолжал:

— Но ты не сказал мне, кто был твоим каролинским генералом. Гейтс ведь из Виргинии, да и воевал-то у нас совсем недолго. Ты, верно, из-под Кэмдена далеко не убежал и снова вернулся в армию, ну и поступил к Грину, так, что ли, дело было?

Это незнакомец подтвердил, но с явной неохотой.

— Ну, тогда мы с тобой небось побывали в одних переделках. Я был при Коупенсе, и в «Девяносто Шестом», и еще кое в каких местах побывал, где драка шла не на шутку. В «Девяносто Шестом» и ты, наверно, был, и при Коупенсе, поди, тоже, раз ты шел с Морганом?

Незнакомец отвечал со все большей неохотой. Правда, он подтвердил, что был в «Девяносто Шестом», но, как вспоминал потом Спаркмен, ни тогда, ни когда речь шла о поражении Гейтса на Смоляном болоте, на чьей стороне он воевал, сказано не было. Видя, как неохотно он отвечает и при этом все темнеет лицом, Джоэль не

стал его больше донимать, но про себя решил впредь не сводить с него глаз и следить за каждым его шагом.

В заключение он только осведомился о том, что простодушные обычаи Юга и Юго-Запада предписывают выяснять первым делом:

— А как же твое имя, незнакомец?

— Макнаб, — с готовностью отозвался тот. — Сэнди Макнаб.

— Ну что ж, мистер Макнаб, по-моему, у сестры уже готов ужин, так что самое время нам навалиться на бекон и кукурузные лепешки.

С этими словами Спаркмен поднялся и повел его к фургону, возле которого миссис Грейлинг собрала вечернюю трапезу.

— Мы здесь рядом с проезжей дорогой, но, сдается мне, большой опасности теперь уже нет. Притом еще Джим Грейлинг нас охраняет, а у него глаза зоркие — настоящий разведчик — и ружьецо, — кто имел с нашим Джимом дело, тот знает, — любо-дорого послушать, как палит, если, конечно, не твое сердце служит ему мишенью. Он отличный стрелок и всегда рад ввязаться в драку и перестрелку, это у него, можно сказать, в крови.

— Будем ждать его с ужином? — опасливо поинтересовался Макнаб.

— Ни в коем разе, — ответил Спаркмен. — Он будет нас караулить, пока мы едим, а потом я вместо него заступлю. Так что давай, принимайся за дело и ни о чем не беспокойся.

Но только Спаркмен разломил лепешку, как послышался отдаленный свист.

— Ага! Парень знак подает! — воскликнул он, вскакивая. — Напал на след. Верно, увидел костер противника. Пожалуй, невредно будет, друг Макнаб, нам приготовить оружие к бою.

Сказав так, Спаркмен распорядился, чтобы сестра забралась в фургон, где уже сидела малютка Люси, а сам взял ружье, открыл полку и разворошил пальцем затравку. Тогда Макнаб пошел и из пристегнутых к своему седлу кобур, которых не было заметно, пока он сидел на коне, достал пару кавалерийских пистолетов, богато изукрашенных серебряной чеканкой. Они были большие, длинноствольные и, бесспорно, видали виды. Действовал он, в отличие от Спаркмена, не говоря ни слова и как бы заученно, машинально. Проверил затравку, положил пистолеты рядом с собою и снова обратился к половине лепешки, полученной из рук Спаркмена.

А свист, который они сочли сигналом от Джеймса Грейлинга, повторился. За ним последовала недолгая тишина. Спаркмен обошел опушку, где они расположились. Но как раз когда он вернулся к костру, послышался стук копыт и короткий условный возглас Грейлинга оповестил дядю о том, что никакой опасности нет. А еще немного погодя из-за деревьев появился и он сам, и с ним — неизвестный всадник, красивый рослый молодой мужчина, чей взгляд был быстр и весел, а голос, когда стало слышно, как они разговаривают, звучал звонко и жизнерадостно, точно боевой горн победы. Джеймс Грейлинг шел у его стремени, непринужденно, весело о чем-то с ним болтая и смеясь, из чего Спаркмен даже на расстоянии смог заключить, что его племянник нежданно-негаданно повстречал если не друга, то доброго знакомого.

— Эгей, кто это с тобой, Джеймс? — крикнул Спаркмен, опуская ружье прикладом в землю.

— Кто бы ты думал, дядя? Да это сам майор Спенсер, наш командир!

— Что ты говоришь! Как? Неужто? Лайонел Спенсер собственной персоной! Благослови вас Бог, майор, вот уж не думал встретить вас в этих краях, да еще на добром коне, ни дать ни взять опять на войну собрались? Ну, я рад, клянусь, я рад вас видеть!

— А я рад видеть вас, Спаркмен, — отозвался тот, слезая с коня и протягивая руку для сердечного рукопожатия.

— Верю, майор, я вам без слов верю. Однако вы подъехали как раз вовремя. Бекон жарится, а вот и хлеб. Сядем-ка на корточки, честь по чести, по-походному, и вкусим со смиренной душой, что Бог послал. Я так полагаю, вы нынче уже не думаете продолжать путь?

— Нет, — отвечал тот, — конечно, если получу позволение пристроиться на ночь у вашего костра. Но кто это там в фургоне? Мой добрый друг миссис Грейлинг, если не ошибаюсь?

— Вы угадали, майор, — ответствовала сама дама, с радушной поспешностью вылезая из фургона и приветливо протягивая ему руку.

— Право, миссис Грейлинг, как же я рад вас видеть!

И новоприбывший с галантностью истинного джентльмена и сердечностью старого соседа выразил свое удовольствие от встречи с добрыми друзьями.

Когда обмен приветствиями был окончен, майор Спенсер охотно подсел к костру, а Джеймс Грейлинг, поборов нежелание, снова углубился в лес, вернувшись на время ужина к обязанностям караульщика.

— А это кто с вами? — спросил Спенсер, разглядев при свете пламени темную приземистую фигуру шотландца. Спаркмен вполголоса передал ему все, что успел узнать о незнакомце, а затем представил их друг другу по всем правилам.

— Мистер Макнаб — майор Спенсер. Мистер Макнаб говорит, что он самый что ни на есть синий и дрался при Кэмдене, когда генерал Гейтс помчался со всех ног догонять ополченцев. И еще он дрался в «Девяносто Шестом» и при Коупенсе, так что, выходит, он, можно сказать, свой.

Майор Спенсер пристально посмотрел в лицо шотландцу — что явно пришлось тому не по вкусу, — задал было ему несколько вопросов в связи с теми эпизодами, в коих он не отрицал своего участия, но, видя, что тот отвечает с явной неохотой — столь неестественной для солдата, с честью прошедшего войну, — молодой офицер, не утративший душевной деликатности на грубых ухабах военных дорог, естественно, свои расспросы прекратил. Однако он продолжал разглядывать его хмурое лицо со все возрастающим любопытством и тревогой. Позднее, когда отужинали и вернулся Джеймс Грейлинг, он объяснил Спаркмену, собравшемуся в дозор на замену племяннику:

— Где-то я видел этого шотландца, Спаркмен, и наверняка при каких-то интересных обстоятельствах. Но где, когда, как — не могу вспомнить. С его лицом связано что-то для меня неприятное, тяжелое. Ну право, где я мог его видеть?

— Мне и самому его вид не по сердцу, — признался Спаркмен. — Не иначе как он был скорее тори, чем вигом. Да только теперь это уже все равно: он сидит у нашего огня, мы преломили с ним вместе кукурузную лепешку, и нечего ворошить старый пепел, только пыль подымать.

— Да-да, конечно, — согласился Спенсер. — Даже если бы он действительно оказался тори, это не должно нас ссорить теперь. А вот настороже быть надо. Я рад, что вы не забыли, как вести разведку на болотах.

— Такое разве забудешь, майор? — горячо, хотя и шепотом, отозвался Спаркмен, прикладываясь ухом к земле. — Я слышу, Джеймс уже поужинал, майор. Это его свист. Пойду условлюсь с ним, как будем сторожить нынче ночью.

— Рассчитывайте и на меня тоже, Спаркмен, раз уж мы ночуем вместе, — сказал майор.

— Ну уж это ни в коем разе, — последовал ответ. — Сторожим мы с Джеймсом по очереди. Конечно, ежели вам будет охота пополучничать с одним из нас, то пожалуйста, это другое дело, поступайте как вам нравится.

— Хорошо, не будем из-за этого ссориться, Джоэль, — миролюбиво проговорил молодой офицер, и они вместе вернулись в лагерь.

Глава II

У костра скоро обо всем договорились. Спенсер снова выразил готовность принять участие в ночном дежурстве, вызвался и шотландец Макнаб, но его предложение только послужило лишней причиной отказать и майору. Спаркмен решительно настоял на своем и, отправив Джеймса Грейлинга в одиночку обходить дозором окрестности, сам занялся тем, что нарубил веток и соорудил некое подобие шалаша для своего бывшего командира. Миссис Грейлинг и Люси спали в фургоне. Шотландец без долгих приготовлений растянулся возле костра, а сам Джоэль Спаркмен, закутавшись в плащ, устроился под фургоном полусидя, прислонясь спиной к колесу. Оттуда он время от времени вылезал, подбрасывал дров в огонь, задрав голову, смотрел в небо, оглядывал спящий маленький лагерь и, возвратившись на свое неудобное ложе, беспокойно, с перерывами, дремал. Так прошли первые два часа, и Джеймс Грейлинг сменился с дозора. Спать ему, однако, не хотелось, он уселся у костра, извлек из кармана книжицу под заглавием «Учитесь читать» и при свете колеблющегося смолистого пламени приступил прямо под открытым небом к этому естественному для юного возраста занятию, имея в виду наверстать понемногу те семь драгоценных лет, которые у него отняли волнующие события минувшей войны. За этим делом и застал его бывший командир, когда, так и не заснув, вышел из шалаша и сел с ним рядом у костра. Спенсеру всегда нравился этот мальчик. Они

выросли в одной местности, первые военные успехи Джеймс сделал у него на глазах и при его одобрении. А разница в возрасте между ними была как раз такая, когда в сердце у младшего может родиться горячая привязанность к старшему другу, нисколько не противоречащая уважению, которое должен питать солдат к своему командиру. Грейлингу было от силы семнадцать, а Спенсеру лет тридцать пять — самый расцвет мужества. Сидя у костра, они толковали о прежних временах и вспоминали разные случаи, болтая весело и добродушно, как это свойственно молодости. Расспрашивали друг друга о том, куда и с какими намерениями они едут. У Джеймса Грейлинга своих намерений, строго говоря, не было. Были планы и виды его дяди, о которых нам здесь нет нужды знать больше, чем уже было рассказано выше. Однако Джеймс поделился ими со Спенсером во всех подробностях, будто с родным братом, и Спенсер с такой же готовностью открылся своему собеседнику. Оказалось, что он тоже едет в Чарлстон, а оттуда морем в Англию.

— Я тороплюсь в город, — заметил Спенсер, — так как оттуда через несколько дней в Англию отходит Фалмутский пакетбот, и я должен плыть на нем.

— В Англию, майор? — с непритворным изумлением переспросил юноша.

— Да, Джеймс, в Англию. А почему тебя это так удивляет?

— Господи, ну как же! — простосердечно воскликнул его собеседник. — Да знай они, как знаю я, сколько вы перекроили у них красных мундиров, они бы вас на первом же ихнем пекане повесили!

— Да нет, едва ли, — улыбнулся майор.

— Но вы, конечно, перемените имя? — спросил юноша.

— Нет, — отвечал Спенсер. — Явись я туда под чужим именем, вся эта поездка оказалась бы ни к чему. Дело в том, Джеймс, что один старый родственник в Англии оставил мне изрядное наследство. И я смогу его получить, только если докажу, что Лайонел Спенсер — это я. Так что придется мне сохранить свое имя, как ни велик может быть риск.

— Вам виднее, майор. А только я все же думаю, догадайся они, как от вас досталось ихним солдатам при Хобкерке, при Коупенсе, в Юте и в других местах, уж они бы нашли способ вас повесить и не

посмотрели бы, что мир. И потом, какая вам надобность ехать в эдакую даль за деньгами, когда у вас своих денег пропасть?

— Вовсе не такая уж пропасть, — возразил Спенсер, поневоле с опаской взглянув туда, где лежал шотландец и как будто спал крепким сном. — Да и вообще в деревне откуда быть деньгам? Даже на дорогу я должен буду достать в Чарлстоне. При мне сейчас только и хватит, чтобы туда добраться.

— Вот это уж чудеса так чудеса, майор. Я всегда думал, что в наших краях нет людей богаче вас; но если вы сейчас в таких стесненных обстоятельствах, майор... только не сочтите за дерзость, но, может, вы позволите мне одолжить вам пока что гинею-другую, у меня есть лишние, а вы потом из английских денег вернете.

И юноша извлек из-за пазухи полотняный кошелек и в следующее же мгновение представил глазам офицера его более чем скромное содержимое.

— Нет-нет, Джеймс! — воскликнул тот, отводя его руку с этим щедрым даром. — Мне вполне хватит доехать до Чарлстона, а там я легко достану, сколько понадобится, у купцов. Но все равно благодарю тебя, мой добрый друг, за предложение. Ты хороший человек, Джеймс, и я тебя не забуду.

Нет нужды передавать их разговор до конца. Ночь прошла без тревог, и на рассвете следующего дня маленький отряд стал готовиться к продолжению пути. Миссис Грейлинг занялась стряпней. Майора Спенсера уговорили задержаться и вместе позавтракать, а вот шотландец, вежливо поблагодарив за оказанное ему гостеприимство, собрался ехать дальше не мешкая. Путь его, похоже, тоже лежал вниз, но он не сказал, куда едет, и не поинтересовался, не по дороге ли ему со Спенсером. Последний не имел охоты возобновлять расспросы, так не понравившиеся тому накануне, но лишь без дальних слов с ним простился, пожелав ему счастливого пути, — и все остальные присоединились к этому дружественному напутствию. Когда же шотландец скрылся из виду, Спенсер сказал Спаркмену:

— Если бы этот человек был немного более приятным, вернее, немного менее неприятным, я бы поехал вместе с ним. А так пусть себе скачет, я же задержусь и позавтракаю с вами.

По окончании трапезы двинулись дальше; но Спенсер, проехав милю вместе со всеми, тоже попрощался. Бравому кавалеристу трудно

было двигаться с той скоростью, с какой катился фургон милого семейства, к тому же, пояснил он, дела настоятельно требуют, чтобы он достиг города не позже чем через две ночи. Расставаясь, обе стороны выразили сожаление, столь же искренне прочувствованное, сколь и горячо высказанное; и Джеймсу Грейлингу никогда еще не был так в тягость медлительный ход их каравана, как в этот день, когда из-за него он оказался разлучен с любимым командиром. Однако он крепился и не произнес ни слова жалобы; недовольство его сказалось лишь в том, что он, против обыкновения, весь день ехал шагом молча, хотя его так и подмывало пришпорить коня, да и конь разделял это его тайное желание. Так прошел еще один день; с рассвета до заката они успели проделать не больше двадцати миль. Опять устроились на ночлег, приняв те же, что и накануне, меры предосторожности, а наутро поднялись уже веселее навстречу алой заре нового, бодрого и сулящего радости дня. Проехали еще двадцать миль, и снова с заходом солнца выбрали место для бивуака, и, как обычно, позаботились об ужине и о безопасности. На этот раз остановились на краю очень густого леса — там росли сосны попеременно с низкорослыми дубками, а часть леса занимала болотистая низина, сплошь заросшая туей, лавром, миртом, карликовой ивой и тростником, так что от дерева к дереву стояла стена подлеска, под прикрытием которой ничего не стоило незаметно подойти со стороны леса к самому лагерю. Путники откатали фургон с обочины на всхолмленную опушку, уютно затененную дубами и пеканами, над которыми там и сям возвышались одинокие стройные сосны. Выпрягли лошадей, Джеймс Грейлинг собрался было развести костер, но хватился топора; искал целых полчаса — все без толку, и тогда решили, что топор забыт на месте вчерашней стоянки. Это было истинное бедствие; но пока ломали голову, как выйти из положения, внизу под ними показался негр-пастушонок, гнавший по дороге небольшое стадо. От него они узнали, что всего лишь в миле или двух отсюда находится ферма, где можно позаимствовать топор, и Джеймс, вскочив на лошадь, поскакал туда. Топор он раздобыл без затруднений и, поблагодарив фермера, который заодно содержал постоялый двор, осведомился между прочим, не ночевал ли у них накануне майор Спенсер. К его удивлению, оказалось, что нет.

— Ночевал у меня давеча один джентльмен, — сказал фермер, — но только майором он не назвался, да и видом на майора не походил.

— Еще конь у него гнедой, такой ладный, стройный, огненной масти и одна нога в белом чулке? — настаивал Джеймс.

— Вовсе нет. Конь вороной, могучий, черный как смоль, а белого ни крапинки.

— Шотландец! Но отчего же это, интересно, у вас не остановился майор? Верно, проехал мимо. Нет ли поблизости другого дома ниже по дороге?

— Нет. Здесь ни вниз, ни вверх на пятнадцать миль ни единого жилья. Я один живу у дороги, один на всю эту местность. И не мог ваш знакомец проехать мимо меня, уж я бы его заметил. Я с утра дотемна проработал вот на этой поляне, кусты корчевал.

Глава III

Вчуже подивившись, зачем было майору съезжать с большой дороги, но не придав еще этому особого значения, Джеймс Грейлинг взял одолженный ему топор и поспешил обратно в свой лагерь, где заботы о заготовке дров для нужд надвигающейся ночи так поглотили его, что совершенно вытеснили из головы всякую мысль об этом странном обстоятельстве. Однако стоило ему сесть за ужин у разведенного им же костра, как досужие мысли сразу обступили его и у него возникло неприятное смутное чувство, будто бы вот-вот что-то должно случиться. И непривычно тяжело, тоскливо стало у него на сердце, а отчего, он не смог бы выразить словами, хотя чувствовал, знал — что-то не так. Иначе говоря, он испытывал то подавленное состояние души, то смутное предчувствие недоброго, которое заставляет нас ждать беды, даже когда небеса над нами безоблачно ясны и легкий зефир струит лишь музыку да ароматы. Спутники не разделяли его дурного настроения. Джоэль Спаркмен находился в отличнейшем расположении духа, а мать Джеймса была так бодр и весела, что, уходя в дозор, юноша слышал, как она напевает деревенскую песенку, которую пронесла в своей памяти через все мрачные события минувшей войны.

— Как странно, — говорил сам себе юноша, идя краем болотистой низины, о которой мы упоминали выше. — Что бы это могло меня так встревожить? Мне даже боязно стало, а ведь я не из боязливых, да и

чего мне бояться в здешних лесах? Непонятно, почему майор не проехал этой дорогой? Может быть, выше свернул на другую? Жаль, я не спросил у фермера, есть ли в этих местах другая дорога. Должна быть, иначе куда же было подеваться майору?

И дальше этих посылок Джеймс Грейлинг, сколько ни ломал свой неискушенный ум, продвинуться не сумел. Так, повторяя снова и снова свой краткий монолог, он брел по лесу краем болота, покуда не вышел туда, где оно соприкасалось с дорогой. Юноша выбрался на дорогу и через несколько шагов, сам не заметив как, очутился на другой стороне болотистой впадины. И опять побрел по ее краю, все больше и больше удаляясь от дороги, как он потом рассказывал, не чуя времени и не имея силы остановиться. Вместо условленных двух он провел в дозоре, как оказалось, целых четыре часа и наконец, сломленный усталостью, присел под деревом передохнуть. Что он заснул, он впоследствии решительно отрицал. До конца жизни он утверждал, что сон в ту ночь даже не коснулся его век — что он испытывал усталость, ломоту, но не сонливость, — что у него все тело ныло и болело, тут и хотел бы спать, да не уснешь. И вот, когда он так сидел под деревом, оцепеневший телом, но неизвестно почему возбужденный духом, весь настороженный, охваченный каким-то ожиданием, он вдруг услышал знакомый голос друга, майора Спенсера, который произнес его имя. Трижды позвал его голос: «Джеймс Грейлинг! Джеймс! Джеймс Грейлинг!» — прежде чем он собрался с силой ответить. Не по малодушию он промедлил, в этом он мог бы поклясться, он понимал, что случилось что-то дурное, и был готов, по его словам, немедля вступить в бой; но беда в том, что он совершенно не владел своими физическими способностями: горло пересохло от удушья, губы спеклись, словно запечатанные воском, и голос, когда он все-таки, превозмогши слабость, откликнулся, прошелестел неслышно, как лепет новорожденного младенца:

— Майор! Это вы?

Таковыми словами, помнится ему, он отозвался. И сразу же услышал ответ, раздавшийся словно бы со стороны болота, тогда как звуки собственного голоса были ему совсем не слышны. Он только знает смысл того, что говорил. Ответено же ему было следующее:

— Да, Джеймс. Это я, твой друг Лайонел Спенсер, говорю с тобой. Не пугайся, когда меня увидишь, ибо я злодейски убит!

Джеймс хотел — так он сам говорит — заверить его, что не испугается, но голос по-прежнему его не слушался и звучал еле различимым шепотом. В следующий миг будто внезапным ветром повеяло снизу от кустов на болоте и глаза его сами собой, и даже против его воли, закрылись. Он тут же опять открыл их и видит: на краю болота, шагах в двадцати, стоит майор Спенсер. Он стоял в густой тени кустов, и ночь была темной, только звезды мерцали на небе, но Джеймс тем не менее без труда и во всех подробностях различил лицо друга.

Тот был очень бледен, и одежду его запятнала кровь, и Джеймс говорит, что бросился было к нему, «потому что, — рассказывал юноша, — я не только не испытывал страха, но, наоборот, пришел в ярость; однако, как ни тщился, не смог шевельнуть ни рукой, ни ногой; и лишь охнул и подался вперед всем телом. Я готов был умереть от досады, что не могу встать на ноги; но сила, которой я не способен был противиться, сделала меня недвижимым и почти безгласным. „Убит!“ — только и смог произнести я, и это слово, мне кажется, я повторил несколько раз».

— Да, убит! Убит рукой шотландца, который ночевал вместе с нами в позапрошлую ночь у вашего костра. Джеймс, я жду от тебя, что ты привлечешь убийцу к суду! Джеймс! Ты слышишь меня, Джеймс?

«Таковы, — рассказывал Джеймс, — или примерно таковы были его точные слова. Я хотел было расспросить майора, как это произошло и что, по его мнению, мне следует предпринять, чтобы выполнить его волю; но своего голоса я опять не услышал, а вот он похоже что и услышал, так как на вопросы, которые я ему пытался задать, он мне без промедления давал ответы. Он сказал, что шотландец подстерег его на дороге, убил и спрятал тело в этом самом болоте; что убийца поехал дальше в Чарлстон; и что если я поспешу, то найду его на Фалмутском пакетботе, который стоит в порту, готовый отплыть в Англию. Дальше он сказал, что теперь все зависит от моей поспешности — если я не хочу опоздать, то должен попасть в город не позже завтрашнего вечера, сразу отправиться на судно и предъявить преступнику обвинение. „И не бойся, — заключил он свой рассказ. — Не бойся ничего, Джеймс, ибо Бог поддержит и укрепит тебя в достижении твоей цели“». Выслушав его, я залился потоками

слез, и сила моя ко мне вернулась. Я почувствовал, что могу говорить и сражаться, что я на все способен. Вскочил и уже бросился было вниз, туда, где стоял майор, но при первом же моем шаге он исчез. Я встал как вкопанный, огляделся вокруг: никого и ничего! Болото лежало в непроглядной тьме у моих ног. Я все же спустился, хотел пробраться к тому месту, где только что стоял майор, но непроходимая чаща кустарника меня остановила. Я осмелел, и голос ко мне вернулся, я стал кричать, так что слышно было за полмили, но к чему я взывал, что хотел услышать, я сам не знал, а может, знал, да забыл. Однако мне в ответ не раздалось ни звука. Тут я вспомнил про лагерь, и мне стало страшно — не стряслось ли чего с матерью и дядей? Я только теперь спохватился, как далеко ушел по краю болота, оставив их без защиты — напади на них кто-нибудь, успею ли я на помощь? Сколько времени я провел, блуждая над болотом, я точно сказать бы не мог, но видно было, что час поздний. Звезды рассыпались вовсю, и с востока уже потянулись прозрачные утренние облачка. Я стал прикидывать, в какую сторону идти, — ведь я совсем запутался и не имел представления, где нахожусь; но в конце концов сообразил и зашагал по направлению к лагерю, скоро впереди замерцал наш костер, почти догоревший; вот когда я понял, что пробыл в отсутствии много больше двух часов. Придя на место, я заглянул под фургон — дядя спал сладким сном, и хотя сердце мое было переполнено до предела тем страшным, что я видел и слышал, однако же будить его мне никак не хотелось, я походил по опушке, потом подбросил дров в огонь, сел и так просидел, глядя в пламя, пока почти совсем не рассвело. Тут проснулась мать в фургоне, подала голос и справилась, кто у костра. Ее голос разбудил дядю, и тогда я вскочил и все им рассказал: дольше хранить молчание было выше моих сил. Матери показалось все это очень странным, но дядя Спаркмен счел мой рассказ сновидением, хотя меня убедить в этом и не смог; а услышав, что я намерен с наступлением дня пуститься в путь, как велел майор, и поспешить что есть духу в Чарлстон, он весело рассмеялся и назвал меня плутом. Но я-то знал, что я не плуток, знал наверняка, что это был не сон, и, как мать с дядей ни отговаривали меня, решение мое оставалось неизменно, и им пришлось уступить. Потому что хорош бы я был другом майору, если бы после всего от него услышанного остался с ними и потащился вдогонку за убийцей со скоростью

фургона! Да я бы до могилы не мог белому человеку в глаза взглянуть. С первым светом дня я уже был в седле. Мать загрустила и жалобно просила меня не уезжать, а дядя разозлился и только и знал, что обзывал меня плутом и дурнем, — я уж и сам от злости едва не забыл, что мы с ним кровная родня. Но никакие его речи меня остановить не могли, и я отъехал, наверно, миль на пять, прежде чем он впряг лошадей в фургон и снова пустился в путь. Я скакал так быстро, как только мог, лишь бы не загнать моего конька. Скакать предстояло добрых сорок миль, и дорога была плоха, из рук вон. И все-таки оставалось еще два часа до захода солнца, когда я достиг Чарлстона, где первым моим вопросом к встречным на улице было: как проехать в порт? А с пристани мне показали и Фалмутский пакетбот, который стоял на рейде, готовый выйти в море с первым попутным ветром».

Глава IV

Джеймс Грейлинг со всем страстным нетерпением, выше описанным его собственными словами, уже нанял лодку, чтобы отправиться на пакетбот, как вдруг спохватился, что не позаботился о средствах, законных или иных, для осуществления своего намерения. Он толком не знал, какие именно законные шаги полагаются в таких случаях, но ему хватило ума сообразить по кратком размышлении, что какие-то шаги предпринять необходимо. Это снова поставило его перед трудностью: он понятия не имел, куда обратиться за советом и помощью. Но, по счастью, лодочник, видя его растерянность и угадав в нем по платью и речи жителя горного захолустья, научил его, как разыскать в городе купцов, с которыми вел дела его дядя Спаркмен. К ним он и отправился и без околичностей рассказал им о том, как ему явился призрак убитого майора. Даже если это было и сновидение, как сразу подумали купцы, то на редкость отчетливое и вразумительное, и, ввиду горячей увлеченности Джеймса Грейлинга сим предметом, они сочли уместным по крайней мере произвести обыск на судне. Было бы весьма любопытным совпадением, решили они (ибо считали Джеймса правдивым юношей), если на борту и вправду окажется тот шотландец. Но один из компаньонов фирмы предложил сначала проверить рассказ Джеймса. По случайному совпадению агенты майора Спенсера, в Чарлстоне весьма известного,

держали контору поблизости от них; и туда они все вместе отправились. Но здесь рассказ Джеймса нашел не подтверждение, а, казалось бы, скорее опровержение. Агенты предъявили им письмо майора Спенсера, в котором тот оповещал их о невозможности для себя в ближайший месяц быть в городе и выражал сожаление, что не сможет воспользоваться иностранным судном, о прибытии в Чарлстон и предполагаемом сроке отбытия которого они его ранее уведомили. Письмо прочитали Джеймсу и его спутникам вслух, и при этом агенты с трудом подавили улыбки, когда первый с совершенной серьезностью и убежденностью изложил им все обстоятельства своего приключения.

— Значит, он потом передумал, — настаивал на своем юноша. — Говорю вам, он ехал вниз, уже миль сто проехал и ночевал с нами. Я его хорошо знал, и мы с ним тогда проговорили полночи.

— Во всяком случае, — заметил один из спутников Джеймса, — не будет худа проверить. Выправим ордер на розыск этого самого Макнаба, и, если он действительно окажется на борту пакетбота, это даст городским властям основание задержать его, покуда не будет выяснено теперешнее местонахождение майора Спенсера.

Так и было решено, однако солнце уже почти село, пока удалось получить необходимый ордер и был снаряжен для их сопровождения соответствующий представитель власти. Легко вообразить, какие страдания причиняла нетерпеливому, целеустремленному Джеймсу Грейлингу эта проволочка; а в лодке, уже на пути к судну, где должен был находиться преступник, он просто не мог усидеть на месте, отчего его спутники претерпели немалые неудобства. Его порывистые, резкие движения грозили того и гляди перевернуть лодку, и сопровождавший его купец, которого увлекло в эту поездку одно лишь любопытство, все время опасался, как бы он не выпрыгнул за борт, чтобы вплавь поскорее преодолеть оставшееся расстояние. И то же горячее нетерпение помогло юноше, прежде никогда не видевшему настоящего судна, сразу же ловко, как кошка, вскарабкаться на палубу по спущенному для них канату. Не тратя времени на представления и разъяснения, он стал бегать от борта к борту, заглядывая в лица недоумевающим матросам, офицерам и пассажирам и изучая их с придирчивостью прямо-таки оскорбительной. Но поиски эти принесли ему одно лишь

разочарование. Никого похожего на Макнаба он не обнаружил. Между тем на палубу поднялись приехавшие с ним купец и помощник шерифа и вступили в объяснение с капитаном. Грейлинг направился к ним и успел только захватить заключительные слова капитана о том, что человека по имени Макнаб, обозначенного в ордере, у него на судне не имеется, ни в команде, ни среди пассажиров.

— Здесь он! Должен быть здесь! — возбужденно воскликнул юноша. — Майор в жизни не сказал слова лжи, не мог он солгать и мертвый. Макнаб где-то здесь... он шотландец и...

Капитан прервал его:

— У нас на судне несколько шотландцев, молодой человек, и один из них носит фамилию Маклауд, но...

— Покажите мне его! Где он?

К этому времени вокруг них уже столпились пассажиры и большая часть команды. Капитан оглянулся и спросил:

— Где мистер Маклауд?

— Сошел вниз. Его укачало, — ответил кто-то.

— Это он! Не иначе как он! — вскричал Джеймс. — Голову отдаю, что это он и есть. Только изменил имя.

Тут один из пассажиров вспомнил и рассказал, что Маклауд почувствовал себя дурно вот только недавно и ушел вниз, когда лодка уже совсем приблизилась к пакетботу. Услышав это, капитан направился в каюту, и за ним по пятам последовали Джеймс Грейлинг и остальные.

— Мистер Маклауд, — чуть повысив голос, произнес капитан, приблизившись к его койке. — Будьте добры выйти ненадолго на палубу, вы нам нужны.

— Я очень плохо себя чувствую, капитан, — отозвался тот слабым голосом из-за занавески.

— Но это необходимо, — строго сказал капитан. — У нас есть ордер от городских властей, разыскивается лицо, скрывающееся от правосудия.

Маклауд снова завел было речь о своей немощи, но тут бесстрашный юноша Грейлинг подскочил к занавешенной койке и одним рывком отдернул полотнище, за которым скрывался подозреваемый.

— Он! — при первом же взгляде на пассажира воскликнул юноша. — Это он, Макнаб, шотландец, тот самый, что убил майора Спенсера.

Макнаб — ибо это был он — сидел без кровинки в лице. Он весь дрожал как осина, зрачки у него расширились от смертного ужаса, а губы посинели. Но все же у него достало силы заговорить и решительно отвергнув обвинение. Юношу, что стоит сейчас перед ним, он никогда в глаза не видел — и никакого майора Спенсера знать не знает — и имя его Маклауд, другим он никогда не назывался.

— Придется вам встать, мистер Маклауд, — сказал ему капитан. — Обстоятельства свидетельствуют против вас. Вы должны последовать за этим офицером!

— Неужто вы выдадите меня моим врагам? — вскричал обвиняемый. — Вы, соотечественник, британец! Я воевал за нашего короля, сражался с этими бунтовщиками, вот они теперь и ищут моей смерти. Не предавайте меня в их кровавые руки!

— Лжец! — воскликнул Джеймс Грейлинг. — Не ты ли, сидя с нами у костра, говорил, что ты наш? Что был при поражении Гейтса и под «Девяносто Шестым»?

— Но ведь я не сказал, на чьей стороне! — ухмыльнулся шотландец.

— Ага! Запомните это, — заметил помощник шерифа. — Только что он утверждал, будто в глаза не видывал этого молодого человека, а сейчас сам признался, что разговаривал и сидел с ним у одного костра.

Шотландец содрогнулся от ужаса, что допустил, себе на беду, такой промах. Заикаясь и противореча сам себе, он пытался как-то оправдаться, но только еще хуже запутался в собственных сетях. Но он все равно продолжал взывать к капитану пакетбота и к остальным пассажирам как своим соотечественникам и подданным одного монарха, чтобы они защитили его от людей, которые всех их равно ненавидят и готовы погубить. Рассчитывая сыграть на их национальных предубеждениях, он стал хвастать, что с оружием в руках причинил бунтовщикам огромный урон; он убеждал их, что убийство — это вымысел стоящего здесь юноши и только предлог для того, чтобы схватить его и выместить на нем всю злобу, которую возбудили в сердцах врагов его боевые подвиги. Двое или трое пассажиров и в самом деле склонились на его сторону и стали просить капитана высадить с судна пришельцев и незамедлительно выйти в море; но честный англичанин сразу же отверг их недостойный совет. К тому же он лучше других понимал, какими опасностями грозили бы его судну подобные неосмотрительные действия. Форт Моултри на острове Салливан только что был заново укреплен и приведен в полную боеспособность, а с противоположной стороны при первом их движении был готов грозно ощериться замок Пинкни.

— Нет, джентльмены, — сказал капитан. — Вы не за того меня принимаете. Боже избави, чтобы я стал укрывать убийцу, пусть он хоть будет из одного со мной прихода.

— Но я не убийца! — твердил шотландец.

— Не знаю, плядя на вас, я бы не поручился, — отрезал капитан. — Шериф, можете его взять.

Ничтожный человек бросился к ногам англичанина, с мольбами обхватил его колени. Но капитан брезгливо оттолкнул его и отвернулся.

— Стюард, вынесите багаж этого человека, — распорядился он.

Приказание было выполнено. Багаж вынесли из каюты на палубу и передали помощнику шерифа, и тот осмотрел его в присутствии остальных и составил список всего, что там было. Багаж состоял из новенького сундучка, купленного, как потом выяснилось, накануне в Чарлстоне. В нем нашли несколько смен белья, двадцать шесть гиней денег, золотые часы в неисправном состоянии и два пистолета — те

самые, которые шотландец вынимал при Джоэле Спаркмене у костра, но только теперь у одного была отломана рукоять, и среди вещей ее обнаружить не удалось. Самый тщательный осмотр не выявил в багаже подозреваемого ничего, чем подтверждалась бы его вина, однако присутствовавшие все до одного были убеждены, что преступление совершено им, как если бы присяжные уже вынесли обвинительный вердикт. В ту ночь он уже спал — если, конечно, способен был спать — в городской уголовной тюрьме.

Глава V

А его разоблачитель, решительный и пылкий юноша Джеймс Грейлинг, не спал. Вихрь противоречивых чувств: печаль по любимому командиру и понятное ликование благородного сердца из-за столь удачного исполнения трудной и неприятной задачи — будоражил его и гнал от очей сладостную дремоту; и с первым светом зари он уже был на ногах, бодр и полон мыслей об ужасном происшествии, участником коего стал. Нам нет нужды проследить его хождения по городу и перечислять различные его занятия в последовавшие два или три дня, покуда непременно предварительное рассмотрение обстоятельств дела, которое должно предшествовать судебному разбирательству, вновь не привело молодого обвинителя в состояние крайнего возбуждения. Макнаб, он же Маклауд — а возможно, что и оба имени были вымышленными, — как только оправился от первого испуга, нанял себе адвоката — одного из тех ушлых крючкотворов, которые найдутся в любом городе и будут с равным усердием служить и преступнику, и праведнику, лишь бы щедро платили. Защитник этот выступил с жалобой на нарушение закона о неприкосновенности личности и выдвинул требование об освобождении своего клиента из-под стражи на нескольких формальных основаниях. Прежде всего, доказывал он суду, следует удостовериться, что майора Спенсера, предполагаемой жертвы преступления, действительно нет в живых. Чтобы человека по решению суда арестовать, судить и покарать за некое преступление, следует предварительно доказать, что это преступление имело место, — тут адвокат весьма остроумно проехался насчет встречи юного Грейлинга с привидением. Однако в те времена древние предрассудки еще не были так близки к изживанию, как теперь.

Почтенный судья принадлежал к тем честным людям, которые с должным уважением относятся к взглядам и верованиям предков; хотя он, бесспорно, не согласился бы повесить Маклауда на основании представленных суду доказательств, он тем не менее счел их, при данных обстоятельствах, достаточными для задержания его под стражей. А пока что следовало по возможности выяснить местонахождение майора Спенсера, хотя, как утверждал адвокат Маклауда, его отсутствие все равно не означало бы, что его нет в живых. На что судья только покачал головой и ответил: «Видит Бог, на это лучше не надейтесь. — Он был ирландец и острил на ирландский манер. Пусть же читатель простит его юридические шутки. — Можно присудить человека к повешению за убийство другого, даже если убитый и не убит, даже если он жив, здоров и невредим и ничего с ним не случилось, его убийца все-таки будет болтаться в петле за свое кровавое преступление!»

И судья — а это, надо сказать, лицо реальное, в свое время пользовавшееся на Юге большой известностью, — доказывая свою правоту, пустился в рассуждения и толкования, несомненно, доставившие всем присяжным истинное удовольствие, но никак не идущие к нашему рассказу, развязку которого они, будучи воспроизведены здесь, могли бы только неоправданно задержать. Джеймса Грейлинга не удовлетворяла такая медлительная процедура нахождения истины. Не оценил он по достоинству и остроумия судьи, главным образом потому, наверно, что ничего в нем не понял. Но насмешки адвоката задели его за живое, и он не раз в ходе судебного заседания бормотал себе под нос клятву «спустить шкуру с наглеца». Дал он себе еще и другую клятву, к выполнению какой собрался приступить, не откладывая: разыскать тело своего убитого друга там, где, по его мнению, оно должно было находиться, а именно на темном и мрачном болоте, где его глазам явился призрак.

Намерение это встретило поддержку — хотя решительность юноши в ней и не нуждалась — со стороны его матери и дяди Спаркмена. Последний даже вызвался сопровождать его. И к ним присоединился помощник шерифа, который арестовал подозреваемого преступника. На следующий день после предварительного рассмотрения в суде и водворения Маклауда обратно в тюрьму они еще затемно отправились в путь. Каждая остановка, каждая задержка

лишь распалляли нетерпеливого Джеймса Грейлинга, и, увлекаемые его порывом, они вскоре после полудня достигли той местности, где должны были произвести поиски. Подойдя к краю болотистой низины, все трое в смущении остановились, ибо не видели пути дальше. Заросли густого колючего кустарника, перевитого плющом, стояли плотной черной стеной и преграждали путь на болото. Глазу горожанина они представлялись совершенно непроходимыми, о чем помощник шерифа тут же им и объявил. Но Джеймса не так-то просто было смутить. Он повел их в обход, той самой дорогой, какой шел сам в ночь, когда ему явился призрак; нашел дерево, у корней которого тогда сидел, охваченный сверхъестественным, как он считал, оцепенением; и показал им внизу, шагах в двадцати, место, где возникло привидение. Туда они попытались было пробраться, но болотные заросли и здесь оказались так густы, что все трое, включая Джеймса, вынуждены были остановиться, убедившись, что ни убийца, ни его жертва не могли пройти этим путем.

И вдруг — о чудо! — ибо именно чудом это поначалу представилось глазам Джеймса и его спутников — пока они стояли в нерешительности и растерянности, не зная, куда теперь податься, над болотом раздалось хлопанье крыльев, и невдалеке от того места, где они находились, в воздух поднялось с полсотни сарычей, этих стервятников Юга, и расселись по ветвям обступивших болото деревьев. Даже не зная характера этих птиц, легко было понять, чем они только что занимались за стеной кустарника в середине болота: в клювах у некоторых были большие куски мяса, и они продолжали рвать и терзать его, сидя на раскидистых ветвях. Вопль сорвался с уст Джеймса Грейлинга при виде этого зрелища — он хотел спугнуть гнусных птиц и помешать их пиршеству.

— Бедный майор! Бедный майор! Мог ли я думать, что до этого дойдет! — с болью сердечной воскликнул юноша.

Поиски по свежему следу возобновились с удвоенной энергией и тщанием — и, наконец, действительно был обнаружен проход в чаще, где, судя по всему, недавно протащили какой-то крупный предмет: кустарник был обломан, густая трава втоптана в землю. По этому проходу они и пошли, и, как нередко бывает на таких болотах, кусты скоро расступились, и на открытом месте оказалась заводь, небольшая, заваленная старыми стволами, но, как видно, изрядной

глубины. В таких ямах обычно водятся аллигаторы: их и здесь, наверное, было немало. У воды Джеймс Грейлинг и его товарищи увидели то, что привлекло сюда зорких стервятников: мертвую лошадь, в которой юноша сразу узнал гнедого, принадлежавшего майору Спенсеру. Туша была уже истерзана, глаза выклеваны, внутренности вырваны. Однако нетрудно было убедиться, что смерть животному причинило огнестрельное оружие. Две пули вошли в череп чуть выше глаз, и каждый выстрел в отдельности, несомненно, был смертелен. Убийца завел коня Спенсера на болото и оставил тушу на месте своего злодеяния. Теперь надо было разыскать тело хозяина. Поначалу поиски ничего не дали, но потом Джеймс Грейлинг разглядел среди заводи в осоке и сплетении водорослей у поваленного ствола что-то бесцветное, беловатое и как бы чужеродное. Оседлав лежащий ствол, он продвинулся к тому месту, где белел непонятный предмет, и с горестным сокрушением удостоверился, что это рука его несчастного друга в белом манжете полотняной сорочки, который и привлек первоначально его внимание. Ухватив руку, он вытянул на поверхность воды и все тело, спрятанное под ветвями лежавшего поперек заводи дерева; и наконец при содействии дяди Спаркмена вытащил его на берег. Здесь они подвергли труп тщательному осмотру. Голова была изуродована, череп проломлен в нескольких местах многократными ударами какого-то тупого орудия, нанесенными преимущественно с затылка. При ближайшем рассмотрении обнаружили и пулевую рану в живот — вероятно, она была первой и выбила несчастного из седла. Удары по затылку могли быть даже излишними, да, видно, убийца, действовавший очень целеустремленно, решил «упрочить свой покой вдвойне». Однако бдительное Провидение словно вознамерилось собрать все существующие улики, дабы вина преступника не оставляла сомнений: помощник шерифа тем временем, споткнувшись, поднял у самой заводи обломанную рукоять от пистолета, который находился в сундуке у Маклауда. Тем самым стало очевидно, что пистолет Маклауда и есть, по всей вероятности, то тупое орудие, которым были нанесены смертельные удары.

— Клянусь Богом, — сказал преступнику судья, когда все эти улики были предъявлены суду присяжных, — может быть, вы и ни в чем не виноваты, как были, возможно, не виноваты многие другие

убийцы до вас; однако вас надлежит повесить в назидание прочим, чтобы не оставляли после своих невинных шалостей такие неопровержимые инкриминирующие улики. Господа присяжные! Если этот человек, Маклауд или Макнаб, не убивал майора Спенсера, тогда это сделали либо вы, либо я. Вот и решайте кто. Я повторяю, господа присяжные, что либо вы, либо я, либо же вот этот обвиняемый убил джентльмена, о котором идет речь; и если у вас возникнет хотя бы тень сомнения в том, кто именно совершил это деяние, тогда справедливость и милосердие требуют, чтобы при вынесении вердикта ваше сомнение было истолковано в пользу обвиняемого. Так что ступайте и примите решение. Но имейте в виду: если вы найдете подсудимого невинным, тогда господину прокурору не останется ничего иного, как привлечь к суду за это преступление нас всех.

Едва ли надо добавить, что присяжные, быть может, из вполне понятного опасения, как бы делу не был дан ход, предложенный достопочтенным судьей, вынесли вердикт «виновен», не вставая со скамьи; и Макнаб, он же Маклауд, был повешен в чарлстонской крепости Уайт-Пойнт, что произошло где-то в 178— году.

— Вот видишь, — продолжала моя набожная бабушка, — как Господь печется о том, дабы ни одно убийство не осталось сокрыто и ни один убийца — безнаказанным. Смотри, Он послал дух убитого — раз не было никакой иной возможности обнаружить правду — и через него объявил о преступлении и разоблачил убийцу. Не явись тогда призрак, и Макнаб уплыл бы преспокойно в Шотландию и, может быть, жил бы себе поживал там и по сей день на денежки, найденные при убитом майоре.

И на том почтенная старушка завершала свой рассказ с привидениями, который, кстати сказать, повторяла раз пятьдесят, подстегиваемая желанием опровергнуть моего отца, любившего смеяться над подобными предрассудками. И тогда нить повествования подхватывал он.

— А теперь, сын мой, — говорил он, — когда ты выслушал все, что по этому вопросу имеет сказать твоя бабка, я объясню тебе, чему верить, а чему не верить. Верно, что Макнаб убил Спенсера, и убил именно так, как тебе рассказали; и что об этом узнал Джеймс Грейлинг и предпринял розыски; что он нашел тело и привлек злодея

к суду; что Макнаб был казнен, а перед казнью во всем признался: он совершил убийство ради денег, которые надеялся найти у Спенсера, а еще из ненависти к человеку, особо отличившемуся в одном сражении у границы Северной Каролины, когда был разгромлен отряд лоялистов, в котором он состоял. Но появление призрака — целиком и полностью плод живой фантазии, а также проницательности и правильного рассуждения. На самом деле призрак был только у Джеймса Грейлинга в голове, и, хотя случай это примечательный, основанный на редком стечении и взаимосвязи обстоятельств, все же, я полагаю, его можно объяснить самыми простыми и естественными законами природы.

Бабушка вознегодовала:

— Как же это, интересно, призрак был у Джеймса в голове, а он видел его на краю того самого болота, где как раз и было совершено убийство и где уже тогда лежал запрятанный труп?

Отец же прямо на ее вопрос отвечать не стал, но продолжал:

— Джеймс Грейлинг, как мы знаем, матушка, был человек деятельный, восторженный и умный. Он имел нрав живой и горячий, как чистокровная скаковая лошадь, был великодушен, порывист и отзывчив; сделав шаг, никогда не отступал назад. За что ни брался, то исполнял сразу же, без опядки, и доводил до конца. Трудностей не избегал, наоборот, с радостью шел навстречу тяготам и испытаниям. Из такого теста сделаны вожди и властители рода человеческого. Расставшись с другом, он со свойственной ему увлеченностью весь день только и думал, что об их задушевной беседе и о разделяющей их теперь дали. Медлительный ход фургона, рядом с которым он вынужден был ехать, раздражал его, и он весь день провел в дурном расположении духа. Когда же вечером он оказывается в доме, где, как он предполагал, накануне ночевал майор Спенсер, и выясняется, что, кроме шотландца Макнаба, там никого не было, это, как мы видели, сильно его поражает. Он говорит себе: «Странно, куда же подевался майор?» Мысли его, естественно, возвращаются к шотландцу, к тем подозрениям и мнениям о нем, которые высказывал его дядя Спаркмен и разделял он сам. Они с дядей давно уже поняли, что Макнаб, хоть и утверждал обратное, в действительности сражался на стороне англичан. Потом Джеймс, естественно, опять стал думать о том, что дороги-де сейчас не охраняются, что путешествуя

угрожают опасности, что было много случаев ограбления и что повсюду на дорогах можно встретить лихих людей. Он как раз обходил тогда дозором лес, сторожа свой лагерь, так что подобные размышления не могли не прийти ему в голову. Если меры предосторожности требовались даже для охраны таких бедных людей, как они, у которых не было ничего, что могло бы толкнуть алчность на преступление, насколько необходимее они были, когда речь шла о богатом джентльмене вроде майора Спенсера! Ему припомнился их разговор у костра в присутствии спящего, как они тогда полагали, шотландца. Разве не естественно для него в ту минуту было подумать, что, наверное, тот вовсе не спал, а раз не спал, то, должно быть, слышал, как он говорил о богатстве Спенсера. Правда, майор выказал больше осторожности, чем он, и утверждал, что денег при нем только-только хватит доехать до города, но подобные утверждения — обычная уловка путешественников, сознающих опасности, подстерегающие их в диком краю. Что Макнабу нельзя доверять, Джоэль Спаркмен и его племянник почувствовали с первой минуты. Такой вполне мог ограбить и даже убить, если бы знал, что останется безнаказанным. А болотистая низина, которую он тогда обходил во тьме и безмолвии ночи, близость ее топких глубин и мрачных теней, все это натолкнуло его на размышления, естественные для того, кто был знаком с хитростями и приемами недавно прошедшей войны. Ему подумалось, что вот как раз подходящее место, если бы опытному партизану нужно было устроить засаду на ничего не подозревающего противника. Проезжая дорога, делая поворот, огибает с трех сторон непроходимую болотную чашу. В ней можно залечь и с расстояния в десять шагов поразить в грудь приближающегося врага. Итак, мы видим, что в живом и проницательном уме Джеймса Грейлинга сложилось шаг за шагом такое логическое рассуждение: на деньги майора Спенсера вполне мог попольститься грабитель; грабителей в округе много; Макнаб — из их числа; здесь как раз такое место, где легко осуществить кровавое дело, а затем надежно скрыть следы; и, что особенно веско в свете всего остального, майор Спенсер до некоего пункта на дороге не доехал, тогда как Макнаб доехал.

Погруженный в такие размышления, крепко сцепленные между собой логической связью, юноша не замечает, сколько времени находится в дозоре и как далеко зашел. Уже одно это доказывает, как

разыгралось его воображение. Оно влечет его, глубоко задумавшегося, все вперед, покуда, обессилев, он не опускается на землю под деревом. Опускается и засыпает. И во сне то, что было умозаключением, становится свершившимся фактом, а творческая фантазия облакает образы в живые формы. Образы получаются тем отчетливее, нагляднее и красочнее, чем они логически правдоподобнее. И вот он видит своего друга; однако заметьте — и это должно убедить всякого, если кто сомневается, что видит он лишь свои собственные фантазии, — заметьте, Спенсер, объявив, что он убит, и убит именно Макнабом, не сообщает, как, при каких обстоятельствах и каким оружием он убит. Джеймс видит его бледным, как призрак, однако не видит и не знает, где его раны! Он отчетливо различает его бледные черты и окровавленную одежду. А ведь если бы он действительно наблюдал призрак убитого в том виде, каким он был впоследствии найден, лица бы он различить не смог, так как оно, по его же собственному рассказу, было размозжено до полной потери человеческого облика, да еще залеплено грязью, и с одежды должны были стекать потоки болотной воды и ила, а не кровь.

— Ах, — восклицает почтенная старушка, моя бабушка, — да разве тебя заставишь поверить в то, чего ты не видел собственными глазами! Ты как святой Фома из Писания. Но откуда, по-твоему, Джеймс тогда узнал, что шотландец находится на борту Фалмутского пакетбота? Ну, скажи-ка!

— Это объяснить не труднее, чем все остальное. Если помните, в том разговоре у костра между Джеймсом и майором Спенсером последний сообщил ему, что намеревается отплыть в Европу на Фалмутском пакетботе, который стоит в Чарлстонском порту и уже готов поднять якорь. Макнаб все это подслушал.

— Возможно и очень правдоподобно, — заметила старая дама. — Однако из того, что майор Спенсер собирался в Европу на Фалмутском пакетботе, вовсе не следует, что таковы же были и намерения убийцы.

— Но это так естественно! И вполне понятно, что такая мысль пришла Джеймсу Грейлингу в голову. Во-первых, он знал, что Макнаб — британец; он не сомневался, что Макнаб воевал на британской стороне, а отсюда напрашивался вывод, что такой человек не захочет оставаться в стране, где ему подобные вызывают общую

ненависть и предубеждение властей и живут в постоянной опасности стихийных расправ. То, что Макнаб принужден был скрывать истинные свои симпатии и делать вид, будто разделяет симпатии тех, против кого он воевал, доказывает, как хорошо он представлял себе, какие опасности ему угрожают. Вполне возможно, что Макнаб и сам не хуже майора Спенсера знал о Фалмутском пакетботе, готовом к отплытию из Чарлстона. Наверное, они оба ехали одной дорогой, имея одну и ту же цель, и, не убей он Спенсера, они бы еще оказались оба пассажирами одного судна и вместе плыли бы в Европу. Но знал он об этом раньше или нет, он, конечно, слышал, как о пакетботе говорил Спенсер ночью у костра, а даже если и не узнал от него, когда притворялся спящим, то все равно получил сведения, как только прибыл в Чарлстон. И тогда ему пришло в голову бежать в Европу со своей несправедливой добычей. Но что представилось разумным преступнику, могло показаться вероятным тому, кто его подозревал. Вся эта история зиждется на предположениях, которые были вероятными, а оказались верными. Если она что и доказывает, то лишь истину, и без того нам известную: что Джеймс Грейлинг был человек примечательно четкого ума и живого, смелого воображения. Это свойство воображения, кстати сказать, в сочетании с острым здравым смыслом и гармонично развитыми прочими способностями характеризует тот тип интеллекта, который мы за быстроту и способность к творчеству и комбинированию зовем гением. Только гений может творить призраки, и Джеймс Грейлинг был гений. Он видел, сын мой, лишь те призраки, которые сам сотворил!

Я терпеливо выслушивал все рассуждения отца, но находил их крайне скучными. Он с таким старанием сокрушал то, что служило для меня источником величайшего удовольствия. Надо ли добавлять, что я, конечно, продолжал верить в привидения и вместе с бабушкой отвергал философию отца. С привидениями ведь все ясно, а философия — кто ее поймет?

Чарльз Диккенс (1812–1870), Чарльз Оллстон Коллинз (1828–1873)

Судебный процесс по делу об убийстве

Пер. с англ. И. Гуровой

Я всегда замечал, что даже у людей весьма умных и образованных редко хватает мужества рассказывать о странных психологических явлениях, имевших место в их жизни. Обычно человек боится, что такой его рассказ не найдет отклика во внутреннем опыте слушателя и вызовет лишь смех или недоверие. Правдивый путешественник, которому доведется увидеть чудище вроде сказочного морского змея, не колеблясь сообщит об этом; но тот же самый путешественник вряд ли легко решится упомянуть о каком-нибудь своем странном предчувствии, необъяснимом порыве, игре воображения, видении (как это называют), пророческом сне или другом подобном же духовном феномене. Именно подобной сдержанности я приписываю то обстоятельство, что эта область окутана для нас таким туманом неопределенности. Мы охотно говорим о фактах окружающего нас внешнего мира, но о своих переживаниях, не поддающихся рациональному объяснению, предпочитаем умалчивать. Вот почему обо всем этом нам известно недопустимо мало.

Рассказ мой не имеет целью ни выдвигать какую-либо новую теорию, ни опровергать или поддерживать уже существующие. Мне хорошо известен случай с берлинским книготорговцем, я внимательно изучил историю жены королевского астронома, сообщаемую сэром Дэвидом Брустером, и я знаю все подробности того, как призрак являлся одной даме, с которой я хорошо знаком. Пожалуй, следует упомянуть, что дама эта не состояла со мной ни в каком родстве — даже самом дальнем. Если бы я этого не оговорил, часть того, что мне пришлось пережить, могла бы получить неправильное истолкование. Но только часть. Мой случай не может быть объяснен какой-либо странной наследственностью, и ни прежде, ни после со мной ничего подобного не происходило.

Несколько лет тому назад (не важно, сколько именно) в Англии было совершено убийство, наделавшее много шума. Нам и так

приходится слишком много слышать об убийцах, по мере того как они один за другим получают право на этот зловещий титул, и если бы я мог, то с радостью похоронил бы все воспоминания об этом бесчувственном негодяе, подобно тому как тело его похоронено в Ньюгейте. Поэтому я сознательно опускаю все указания на личность преступника.

Когда убийство было обнаружено, против человека, впоследствии за него осужденного, не было никаких подозрений — впрочем, вернее будет сказать (в своем рассказе я хочу излагать факты с предельной точностью), что об этих подозрениях нигде не упоминалось. Газеты ничего о нем не говорили, и, следовательно, в них не могли тогда появиться его описания. Это обстоятельство необходимо иметь в виду.

Газету, содержащую первое сообщение об этом убийстве, я раскрыл за завтраком, и оно показалось мне настолько интересным, что я прочел его с глубочайшим вниманием. А затем дважды перечитал. Там сообщалось, что все произошло в спальне, и, когда я положил газету, меня вдруг толкнуло... захлестнуло... понесло... не знаю, как описать это ощущение, у меня нет для него слов, — и я увидел, как эта спальня проплыла через мою комнату, словно картина, каким-то чудом написанная на струящейся поверхности реки. Она промелькнула почти мгновенно, но была поразительно четкой — настолько четкой, что я с большим облегчением заметил отсутствие трупа на кровати.

И это необъяснимое ощущение охватило меня не среди каких-либо романтических развалин, а в доме на Пикадилли, неподалеку от угла Сент-Джеймс-стрит. Никогда прежде мне не случалось испытывать чего-либо подобного. По телу у меня пробежала странная дрожь, и кресло, в котором я сидел, немного повернулось (следует, впрочем, помнить, что кресла на колесиках вообще легко сдвигаются с места). Затем я встал, подошел к одному из окон (в комнате их два, а сама комната расположена на третьем этаже) и, стараясь отвлечься, устремил взгляд на Пикадилли. Было солнечное утро, и улица казалась оживленной и веселой. Дул сильный ветер. Пока я смотрел, порыв ветра подхватил в Грин-парке сухие листья и закружил их спиралью над мостовой. Когда спираль рассыпалась и листья разлетелись, я увидел на противоположном тротуаре двух мужчин, двигавшихся с запада на восток. Они шли друг за другом. Первый то и

дело оглядывался через плечо. Второй следовал за ним шагах в тридцати, угрожающе поднимая руку.

Сначала меня поразила странная неуместность такого жеста на столь людной улице, но затем я был еще больше удивлен, заметив, что никто не обращает на него ни малейшего внимания. Оба этих человека шли сквозь толпу так, словно на их пути никого не было, и ни один из встречных, насколько я мог судить, не уступал им дороги, не задевал их, не глядел им вслед. Проходя под моими окнами, оба они посмотрели на меня. Я хорошо разглядел их лица и почувствовал, что отныне всегда смогу их узнать. Однако они вовсе не показались мне примечательными — только у человека, шедшего впереди, был необычайно угрюмый вид, а лицо его преследователя напоминало цветом плохо очищенный воск.

Я холостяк; вся моя прислуга состоит из лакея и его жены. Я служу в банке и от души желал бы, чтобы мои обязанности в качестве управляющего отделением были и в самом деле столь необременительны, как это принято считать. Из-за них я был вынужден этой осенью остаться в Лондоне, хотя мне настоятельно требовалось переменить обстановку. Болен я не был, но не был и здоров. Пусть мой читатель сам по мере сил представит себе угнетавшее меня чувство безразличия, порожденное однообразием жизни и «некоторым расстройством пищеварения». Мой весьма знаменитый врач заверил меня, что состояние моего здоровья вполне исчерпывается этим диагнозом, который я цитирую по его письму, присланному им в ответ на мою просьбу дать свое заключение, не болен ли я.

По мере того как выяснялись обстоятельства этого убийства, оно начинало все больше и больше интересовать публику — но не меня, ибо, несмотря на всеобщее возбуждение, я предпочитал знать о нем по возможности меньше. Однако мне было известно, что против предполагаемого убийцы выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве и что он заключен в Ньюгейт, где и ожидает суда. Мне было известно также, что его процесс перенесен на следующую сессию Центрального суда по уголовным делам, ибо общее предубеждение против преступника было слишком велико, а времени для подготовки защиты оставалось недостаточно. Возможно, я слышал также (хотя

далеко в этом не уверен), когда именно должна была начаться эта сессия.

Моя гостиная, спальня и гардеробная расположены на одном этаже. В последнюю можно войти только через спальню. Правда, прежде она сообщалась с лестницей, но поперек этой двери уже несколько лет назад были проложены трубы к ванной. Дверь в связи с этими переделками была наглухо заколочена и затянута холстом.

Как-то поздно вечером я стоял в спальне, отдавая последние распоряжения слуге. Лицо мое было обращено к единственной двери, через которую можно попасть в гардеробную, и дверь эта была закрыта. Слуга стоял к ней спиной. Разговаривая с ним, я вдруг заметил, что дверь приоткрылась и из нее выпянулся какой-то человек, настойчиво и таинственно поманивший меня к себе. Это был второй из двух мужчин, которых я видел на Пикадилли, — тот, чье лицо напоминало цветом плохо очищенный воск.

Поманив меня, он попятился и закрыл за собой дверь. Ровно через столько секунд, сколько мне потребовалось, чтобы пересечь спальню, я распахнул дверь гардеробной и заглянул туда. В руке я держал зажженную свечу. У меня не было внутреннего убеждения, что я увижу в гардеробной моего неожиданного посетителя, и действительно — его там не оказалось.

Понимая, что мой слуга должен быть удивлен моим поведением, я повернулся к нему и спросил:

— Деррик, можете ли вы поверить, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, я решил, будто вижу... — тут я прикоснулся рукой к его груди, и он, содрогнувшись, слабым голосом произнес:

— О господи, сэръ! Как же — мертвеца, который манил вас за собой.

Я совершенно твердо убежден, что Джон Деррик, в течение двадцати с лишком лет бывший моим доверенным и преданным слугой, не видел ничего этого, пока я не дотронулся до его груди. Но когда я коснулся его, в нем произошла разительная перемена, которая могла объясняться только тем, что он каким-то оккультным путем воспринял от меня этот образ.

Я попросил Джона Деррика принести коньяку, дал ему рюмку и сам был рад выпить плоток. О том, что я видел этого мертвеца до нынешнего вечера, я не обмолвился ему ни словом. Обдумывая все

случившееся, я пришел к твердому убеждению, что никогда прежде не видел этого лица, кроме единственного раза — тогда на Пикадилли. И вспоминая его выражение, когда человек повернулся к моему окну, я заключил, что в первом случае он стремился запечатлеть свои черты в моей памяти, а во втором хотел убедиться, смогу ли я его сразу узнать.

Ночь я провел беспокойно, хотя испытывал необъяснимую уверенность, что образ этот больше пока не явится. Днем я впал в тяжелую дремоту и был разбужен Джоном Дерриком, державшим в руке какую-то бумагу.

Оказалось, что из-за этой бумаги мой слуга и доставивший ее посыльный поспорили у дверей. Меня вызывали присяжным на ближайшую сессию Центрального уголовного суда в Олд-Бейли. Я впервые назначался присяжным в подобный суд, что хорошо было известно Джону Деррику. Он считал — я и по сей день не знаю, был ли он в этом прав или нет, — что людей моего положения присяжными для подобных процессов не назначают, и сперва отказался принять повестку. Посыльный отнесся к этому с полным равнодушием. Он сказал, что ему все равно, явлюсь я в суд или нет; он доставил повестку, а как я поступлю, его не касается.

Дня два я пребывал в нерешительности — явиться ли в суд или оставить вызов без внимания. Я не испытывал никакого таинственного влияния; у меня не было никакой необъяснимой потребности сделать тот или иной выбор. Я убежден в этом так же твердо, как и во всех остальных приводимых здесь мною фактах. В конце концов я решил пойти в суд, чтобы как-то нарушить однообразное течение моей жизни.

Было сырое и холодное ноябрьское утро. Густой бурый туман окутывал Пикадилли, а к востоку от Темпл-Бара он казался почти черным и даже зловещим. Коридоры и лестницы Олд-Бейли были ярко освещены газом, так же как и залы заседаний. Если память мне не изменяет, до того как пристав провел меня в Старый суд и я увидел заполнившую его публику, я еще не знал, что в этот день начинается процесс вышеупомянутого убийцы. Если память мне не изменяет, то, когда пристав с трудом прокладывал мне дорогу сквозь толпу, я еще не знал, в какой из двух судов был вызван. Однако я не берусь утверждать

это с полной уверенностью, так как оба этих факта вызывают у меня некоторые сомнения.

Я прошел к местам, отведенным для вызванных присяжных, сел и начал оглядывать зал сквозь туманный сумрак. Мне запомнилась черная мгла, висевшая за окном словно грязный занавес, и приглушенный стук колес по соломе и стружкам, которыми была устлана мостовая, гул голосов собравшихся снаружи людей, в котором иногда можно было различить пронзительный свист, особенно громкую песню или оклик.

Вскоре вошли судьи — их было двое — и заняли свои места. Шум в зале сменился жуткой тишиной. Было приказано ввести убийцу. Он вошел в зал. И в то же мгновение я узнал его — это был первый из двух мужчин, которые прошли по Пикадилли.

Если бы моя фамилия была названа именно в эту минуту, вряд ли я сумел бы ответить членораздельно. Но она стояла в списке шестой или седьмой, и к этому времени я уже достаточно пришел в себя, чтобы откликнуться: «Здесь!» Но вот что примечательно: когда я прошел в ложу присяжных, подсудимый, до тех пор следивший за этой процедурой внимательно, но без всякой тревоги, вдруг выказал величайшее волнение и подозвал своего адвоката. Намерение подсудимого дать мне отвод было настолько очевидно, что секретарь перестал читать фамилии присяжных, и все ждали, пока адвокат, опершись о барьер, шептался со своим клиентом; затем он отрицательно покачал головой. Впоследствии я узнал от него, что подсудимый в страшном испуге потребовал: «Во что бы то ни стало дайте отвод этому человеку!» Но поскольку он не мог привести никакой причины, которая оправдывала бы его требование, и даже признался, что никогда не слышал моей фамилии, пока секретарь не назвал ее и я не встал, просьба его выполнена не была.

Вследствие того что мне не хотелось бы воскрешать память об этом злодее, а также вследствие того, что подробное изложение длинного процесса не является необходимым для моего рассказа, я из всех происшествий, случившихся за те десять суток, пока мы, присяжные, пребывали вместе, изложу лишь те, которые непосредственно связаны с описываемым мною странным феноменом. Именно этим феноменом, а не судьбой убийцы хочу я

заинтересовать читателя. Цель моя — сообщить о нем, а не написать страничку для «Ньюгейтского календаря».

Меня избрали старшиной присяжных. На второй день процесса после двух часов опроса свидетелей (я слышал, как били церковные часы) я случайно бросил взгляд на остальных присяжных и вдруг заметил, что никак не могу их сосчитать. Сколько я их ни пересчитывал, каждый раз один оказывался лишним.

Наклонившись к своему соседу, я шепнул ему:

— Окажете мне услугу, пересчитаете нас.

Просьба моя его удивила, но он все же обернулся и начал считать.

— Как же так, — сказал он внезапно, — ведь нас тринад... Впрочем, что за нелепость. Нет-нет. Нас двенадцать.

Сколько раз я ни пересчитывал в этот день присяжных, результат был один и тот же: кто-то из нас все время оказывался лишним, хотя в ложе сидели только мы. Среди нас не было чужой видимой фигуры, присутствие которой объяснило бы эту странность, и все же предчувствие подсказывало мне, какая фигура вскоре должна была появиться.

Присяжных поместили в Лондонской гостинице. Мы спали все вместе в одном большом зале, и с нами постоянно находился судебный пристав, под присягой обязавшийся строго блюсти наше уединение. Я не вижу оснований скрывать его настоящее имя. Он был умен, весьма любезен и обязателен и (как я был рад узнать) пользовался большим уважением в Сити. У него было приятное лицо, зоркие глаза, завидные черные бакенбарды и красивый звучный голос. Звали его мистер Хоркер.

Когда вечером мы расходились по нашим двенадцати постелям, кровать мистера Хоркера ставилась поперек двери. В ночь на третий день, не чувствуя желания спать и заметив, что мистер Хоркер сидит у себя на кровати, я подошел к нему, присел рядом и предложил ему понюшку табаку. Мистер Хоркер, потянувшись к табакерке, задел мою руку — тут же по его телу пробежала странная дрожь, и он сказал:

— Кто это там?!

Проследив направление взгляда мистера Хоркера, я в глубине комнаты снова увидел фигуру, которую ожидал увидеть, — второго из двух мужчин, шедших по Пикадилли. Я встал и шагнул к нему, но

потом остановился и посмотрел на мистера Хоркера. Тот рассмеялся и шутливо сказал:

— Мне было показалось, что у нас появился тринадцатый присяжный, которому негде лечь. Но теперь я вижу, что меня обманул лунный свет.

Ничего не объясняя мистеру Хоркеру, я пригласил его прогуляться со мной по комнате, а сам следил за тем, что делал наш незваный гость. Он по очереди останавливался у изголовья каждого из остальных одиннадцати присяжных, причем неизменно приближался к ним с правой стороны кровати, а удаляясь, проходил в ногах соседней. Судя по повороту его головы, можно было предположить, что он лишь задумчиво смотрит на этих мирно спящих людей. Ни на меня, ни на мою кровать, которая стояла рядом с кроватью мистера Хоркера, он не обратил ни малейшего внимания. Потом он покинул комнату через высокое окно, поднявшись по лунному лучу, как по воздушным ступеням.

На следующее утро за завтраком выяснилось, что все, кроме меня и мистера Хоркера, видели во сне убитого.

Теперь я уже не сомневался, что второй человек, который шел по Пикадилли, был убитый (если можно так назвать призрак), — уверенность моя не могла бы стать глубже, даже если бы я услышал подтверждение тому из его собственных уст. Однако я получил и такое свидетельство, и притом совершенно неожиданным для меня образом.

На пятый день процесса, когда допрос свидетелей обвинения близился к концу, в качестве улики была представлена миниатюра, изображавшая убитого, — в день убийства она исчезла из его спальни, а затем была найдена в месте, где, как показали свидетели, убийцу видели с лопатой в руке. После того как ее опознал допрашиваемый свидетель, она была вручена судье, который затем передал ее для ознакомления присяжным. Едва облаченный в черную мантию служитель суда приблизился ко мне, держа ее в руке, от толпы зрителей отделился второй мужчина, шедший в тот день по Пикадилли, властно выхватил у него миниатюру и сам вложил ее в мою руку, сказав тихо и беззвучно — еще до того, как я успел открыть медальон с миниатюрой: «Я был тогда моложе, и лицо мое не было обескровлено»; точно так же он передал миниатюру моему соседу,

которому я ее протянул, и следующему присяжному, и следующему, и следующему, пока она не обошла всех и не вернулась ко мне. Никто из них, однако, не заметил его вмешательства.

За столом и когда нас запирали на ночь под охраной мистера Хоркера, мы имели обыкновение обсуждать то, что слышали в суде. В этот пятый день, когда допрос свидетелей обвинения закончился и все доказательства преступления были нам предъявлены, мы, разумеется, говорили о деле с особым одушевлением и интересом. Среди нас находился некий член церковного совета — ни до, ни после мне не случалось встречать такого тупоголового болвана, — который нелепейшим образом оспаривал самые очевидные улики, опираясь на поддержку двух угодливых прихлебателей из того же прихода; вся троица проживала в округе, где свирепствовала гнилая лихорадка, и их самих следовало бы привлечь к суду за пятьсот убийств. Когда эти упрямые тупицы особенно вошли в раж — дело близилось к полуночи и кое-кто из нас уже готовился лечь, — я снова увидел убитого. Он с мрачным видом стоял позади них и манил меня к себе. Едва я приблизился к ним и вмешался в разговор, как он исчез. Это было началом его постоянных появлений в зале, где мы помещались. Стоило нескольким присяжным заговорить о процессе, как я замечал среди них убитого. И стоило им прийти к неблагоприятным для него заключениям, как он грозно и властно подзывал меня к себе.

Следует заметить, что до пятого дня процесса, когда была предъявлена миниатюра, я ни разу не видел призрак в суде. Но теперь, после того как начался допрос свидетелей защиты, произошли три перемены. Сначала я расскажу о двух первых вместе. Призрак теперь постоянно находился в зале суда, но обращался он уже не ко мне, а к выступающему свидетелю или адвокату. Вот например: горло убитого было перерезано, и адвокат в своей вступительной речи высказал предположение, что он сделал это сам. В то же мгновение призрак, чье горло было располосовано самым страшным образом (до той поры оно оставалось скрытым), возник около адвоката и принялся водить под подбородком то ребром правой ладони, то ребром левой, неопровержимо доказывая ему, что нанести себе подобную рану невозможно ни той, ни другой рукой. Еще пример. Свидетельница защиты показала, что обвиняемый — человек редкостной душевной доброты. В ту же секунду перед ней очутился призрак и, глядя ей

прямо в глаза, вытянутыми пальцами простертой руки указал на злобную физиономию обвиняемого.

Но более всего меня поразила третья перемена, о которой я сейчас расскажу. Я не пытаюсь как-либо объяснить ее и ограничусь лишь точным изложением фактов. Хотя те, к кому обращался призрак, не замечали его, однако стоило ему к ним приблизиться, как они содрогались и на их лицах отражалось смятение. Казалось, он, подчиняясь законам, чье действие простиралось на всех, кроме меня, не мог показаться другим людям — и тем не менее таинственно, невидимо и неслышимо подчинял себе их сознание.

Когда адвокат выдвинул гипотезу о самоубийстве, а призрак встал около этого высокоученого юриста и принялся устрашающе водить руками по своему перерезанному горлу, тот совершенно явным образом запнулся, на несколько секунд потерял нить своих хитроумных рассуждений, вытер платком вспотевший лоб и побелел как полотно. А когда призрак встал перед свидетельницей защиты, нет никакого сомнения, что она обратила свой взор туда, куда он указывал пальцем, и некоторое время смущенно и обеспокоенно глядела на лицо обвиняемого. Достаточно будет привести еще два примера. На восьмой день процесса, после небольшого перерыва, который устраивался вскоре после полудня для отдыха и еды, я вместе с остальными присяжными вернулся в зал за несколько минут до появления судей. Стоя в ложе и обводя глазами публику, я решил было, что призрака здесь нет, как вдруг увидел его на галерее — он наклонялся через плечо какой-то почтенной дамы, словно хотел проверить, заняли уже судьи свои места или нет. И тотчас же дама вскрикнула, лишилась чувств, и ее вынесли из зала. Такой же случай произошел с многоопытным, проницательным и терпеливым судьей, который вел процесс. Когда разбирательство закончилось и он разложил свои бумаги, готовясь к заключительной речи, убитый вошел сквозь судейскую дверь, приблизился к креслу его чести и с живейшим интересом заглянул через его плечо в записи, которые тот листал. Лицо его чести исказилось, рука замерла, по телу пробежала странная, столь хорошо знакомая мне дрожь, и он нетвердым голосом произнес:

— Я на несколько минут умолкну, господа. Здесь очень душно... — и смог продолжать лишь после того, как выпил стакан

воды.

На протяжении последних шести монотонных дней этого нескончаемого десятидневного разбирательства — все те же судьи в креслах, все тот же убийца на скамье подсудимых, все те же адвокаты за столом, все тот же тон вопросов и ответов, гулко отдающихся под потолком, все тот же скрип судейского пера, все те же приставы, снующие взад и вперед, все те же лампы, зажигаемые в один и тот же час, если их не приходилось зажигать еще с раннего утра, все тот же туманный занавес за огромными окнами, когда день был туманным, все тот же шум и шорох дождя, когда день выпадал дождливый, все те же следы тюремщиков и обвиняемого утро за утром все на тех же опилках, все те же ключи, отпирающие и запирающие все те же тяжелые двери, — на протяжении этих мучительно однообразных дней, когда мне казалось, что я стал старшиной присяжных много столетий назад, а Пикадилли существовала во времена Вавилона, убитый ни на мгновение не утрачивал для меня четкости очертаний, и я видел его столь же ясно, как и всех, кто меня окружал. Должен также упомянуть, что призрак, которого я именую «убитым», ни разу, насколько я мог заметить, не посмотрел на убийцу. Снова и снова я с удивлением спрашивал себя — почему? Но он так ни разу и не посмотрел на него.

На меня он тоже не глядел с той самой минуты, как подал мне миниатюру и почти до самого конца процесса. Вечером последнего дня, без семи десять, мы удалились на совещание. Тупоумный член церковного совета и два его прихлебателя причинили нам столько хлопот, что мы были вынуждены дважды возвращаться в зал и просить судью повторить некоторые из его выводов. Девятеро из нас несколько не сомневались в точности этих выводов, как, вероятно, и все, кто присутствовал в суде, но пустоголовый триумвират, только и выискивавший, к чему бы придраться, оспаривал их именно по этой причине. В конце концов мы настояли на своем, и в десять минут первого присяжные вошли в зал для оглашения своего вердикта.

Убитый стоял рядом с судьей как раз напротив ложи присяжных. Когда я занял свое место, он устремил на мое лицо внимательнейший взгляд; казалось, он остался доволен и начал медленно закутываться в серое покрывало, которое до той поры висело у него на руке. Когда я

произнес: «Виновен», покрывало съежилось, затем все исчезло, и это место опустело.

На обычный вопрос судьи, может ли осужденный сказать что-нибудь в свое оправдание, прежде чем ему будет вынесен смертный приговор, убийца произнес несколько невнятных фраз, которые газеты, вышедшие на следующий день, описали как «бессвязное бормотанье, означавшее, по-видимому, что он подвергает сомнению беспристрастность суда, поскольку старшина присяжных был предубежден против него». В действительности же он сделал следующее примечательное заявление:

— Ваша честь, я понял, что обречен, едва старшина присяжных вошел в ложу. Ваша честь, я знал, что он меня не пощадит, потому что накануне моего ареста он каким-то образом очутился ночью рядом с моей постелью, разбудил меня и накинул мне на шею петлю.

Густав Майринк

(1868–1932)

Внушение

Пер. с нем. В. Крюкова

23 сентября

Свершилось. Теперь, когда моя система доведена до конца, страх более не властен надо мной.

Ни один человек в мире не сможет расшифровать мою тайнопись. И очень хорошо — есть возможность спокойно, без спешки, не опасаясь коварного удара исподтишка, все заранее продумать вплоть до мельчайших деталей с точки зрения самых различных областей человеческого знания. Эти записи будут моим дневником, куда я смогу, ничего не опасаясь, записывать все, что сочту необходимым для самоанализа. И шифр, обязательно шифр — одного тайника недостаточно, какая-нибудь плулая случайность, и все откроется...

Не забыть: самые тайные тайники — самые ненадежные. Как абсурдно все, чему нас учат в детстве! Однако с годами я научился смотреть в корень и теперь знаю совершенно точно, как подавить в себе эмбрион страха.

Одни утверждают, что совесть есть, другие отрицают; таким образом, для тех и других — это проблема и повод для дискуссий. Но истина всегда проста: совесть есть, и ее нет — смотря по тому, верят в нее или нет.

Моя вера в совесть — это просто самовнушение. Ничего больше. Здесь есть одна странность: если я верю в совесть, то она не только *возникает*, но и *противостоит* — сама по себе — моим желаниям и воле...

«Противо-стоит»! Странно! Итак, Я, которое я вообразил, становится напротив того Я, каким я его создал, и обретает отныне полную независимость...

Но точно так же, по всей видимости, обстоит дело и с другими понятиями. Например, стоит кому-нибудь заговорить об убийстве, и

мое сердце начинает биться чаще, сам же я веду себя как ни в чем не бывало и нисколько не беспокоюсь, что смогут напасть на мой след. А как же иначе? Во мне нет и тени страха — сомнений тут быть не может: слишком пристально я слежу за собой, чтобы это могло ускользнуть от моего внимания; а сердце — сердце начинает биться чаще... Ну и пусть его!..

Поистине из всего, что когда-либо выдумала Церковь, эта идея с совестью — самое дьявольское измышление.

Интересно, кто первый посеял эту мысль в мир?! Какой-нибудь грешник? Едва ли! А может, безгрешный? Так называемый праведник? Но каким образом праведник мог охватить разумом те inferнальные бездны, которые сокрыты в этой идее?!

Здесь, конечно же, не обошлось без какого-нибудь благообразного старца, который взял да и внушил идею совести — как пугало — чадам своим непослушным. Инстинктивная реакция старости, сознающей свою незащитность перед агрессивным напором юности...

В детстве — очень хорошо это помню — я нисколько не сомневался, что призраки мертвых преследуют убийцу по пятам и являются ему в кошмарах.

«Убийца»! До чего же хитро составлено это словечко!.. «Убийца»! В нем так и слышится какой-то задушенный вопль.

По-моему, весь ужас заключен в букве «й», придавленной свинцовым «ц»...

И до чего ловко обложили люди с внушенным сознанием нас, одиночек!

Но я-то знаю, как нейтрализовать их коварные происки. Однажды вечером я повторил это слово тысячу раз, пока оно наконец не утратило свой страшный смысл. Теперь оно для меня как всякое другое.

Я очень хорошо понимаю, что эта бредовая идея о преследовании мертвыми может довести до безумия какого-нибудь необразованного убийцу, но только не того, кто анализирует, обдумывает, предвидит... Кто уже сегодня привык хладнокровно, так, чтобы сознание собственной безгрешности не дало течь, смотреть в стекленеющие глаза, полные смертельного ужаса, или душить в хрипящем горле проклятия, которых он втайне боится. Ничего удивительного — такое

воспоминание может в любой момент ожить и пробудить то, что принято называть совестью, ну а уж это пугало будет день ото дня расти как снежный ком, пока в конце концов не подомнет под себя незадачливого преступника и не раздавит его. И поделом!..

Что же касается меня, то я — нужно это признать без ложной скромности! — нашел абсолютно гениальный выход из положения. Отправить на тот свет двоих и уничтожить все улики — это может любая посредственность, но уничтожить вину, само сознание вины еще в зародыше — это... думаю, это действительно гениально...

Да, если ты — человек сведущий, то тебе можно только посочувствовать, тяжело тебе будет с психологической блокадой; я же судьбой не обижен, бремя знаний меня не гнетет — и слава богу, ибо человек разумный любой недостаток умудрится превратить в достоинство... Так и я предусмотрительно избрал такой яд, при отравлении которым агония протекает совершенно неизвестным мне образом. Вот она — анестезия неведением!..

Морфий, стрихнин, цианистый калий — их действие я знаю либо могу себе представить: корчи, судороги, внезапное падение, пена у рта... Но курарин! Я не имею ни малейшего понятия, как при отравлении этим ядом наступает летальный исход. Да и откуда мне это знать?! Читать об этом я, разумеется, не буду, случайная возможность что-либо услышать исключена. Ну кому сегодня знакомо хотя бы слово «курарин»?!

Итак, если я не могу даже представить себе последних минут моих жертв (какое нелепое слово!), то каким образом это видение будет меня преследовать? Ну а если оно мне приснится, то при пробуждении я смогу неопровержимо *доказать* несостоятельность подобного внушения. И какое внушение совладает с таким *доказательством*!

26 сентября

Интересно, именно сегодня ночью оба отравленных сопровождали меня во сне: один шел за мной слева, другой — справа. Возможно, потому, что вчера я, предвидя вероятность таких сновидений, зафиксировал ее на бумаге?!

Есть только два способа заблокировать эти сны: либо подвергнуть их детальному анализу и, привыкнув к ним, лишить их всякого

внутреннего содержания, как я это уже проделал с глупым словечком «убийца», либо просто вырвать с корнем это воспоминание.

Первое? Гм... Сон был слишком жуткий!.. Я выбрал второе. Итак: «Я больше не хочу об этом думать! Не хочу! Я не хочу — не хочу — не хочу больше об этом думать! Слышишь, ты?! Ты больше не должен об этом думать!»

Впрочем, формула: «Ты не должен» и так далее — некорректна: не следует обращаться к себе на «ты» — в этом случае происходит что-то вроде раздвоения твоего Я, что со временем может повлечь роковые последствия!

5 октября

Если бы я самым тщательным образом не исследовал природу суггестии, то мог бы легко перенервничать: уже восьмую ночь подряд мне снится один и тот же сон. Шаг в шаг, след в след эта парочка идет за мной по пятам. Вечером, пожалуй, куда-нибудь выберусь и позволю себе выпить несколько больше, чем обычно...

Я бы предпочел театр, но, к сожалению, это невозможно: как раз сегодня дают «Макбета»...

7 октября

А ведь верно: век живи — век учись. Теперь я знаю, почему меня так упорно *должен* преследовать этот сон. Парацельс высказался на сей счет ясно и недвусмысленно: для того чтобы видеть постоянно что-либо во сне, достаточно разок-другой записать это видение. Решено: в следующий раз — никаких записей...

Вот где истинные знатоки человеческой души! Не чета этим современным умникам, которые сами ни уха ни рыла в психологии, а туда же — поучают... И ведь ничего, кроме ругани в адрес Парацельса, от них не услышишь...

13 октября

Сегодня я должен очень точно записать случившееся, боюсь, как бы мое воображение не добавило впоследствии чего лишнего...

С некоторых пор у меня появилось чувство — от снов я, слава богу, избавился, — словно кто-то постоянно следует за мной с левой стороны.

Разумеется, я мог бы обернуться, чтобы убедиться в обмане чувств, но как раз это-то и было бы непростительной ошибкой, так как тем самым я признал бы реальную *возможность* чего-то подобного.

Так продолжалось несколько дней. Я был все время начеку.

А когда сегодня утром садился завтракать, у меня снова появилось это неприятное ощущение; внезапно я услышал за спиной какой-то скрип и, не успев взять себя в руки, инстинктивно обернулся... Мгновение видел совершенно отчетливо мертвого Ричарда Эрбена!.. Что-то уж очень мрачен он был!.. Заметив мой взгляд, фантом молниеносно шмыгнул мне подальше за спину и затаился, но не настолько, чтобы я, как раньше, лишь догадывался о его присутствии. Если вытянуться в струнку и сильно скосить глаза влево, то можно различить его мерцающий контур; но стоит обернуться, и образ сразу ускользает...

Конечно, мне теперь совершенно ясно, что скрипела старая служанка, которая вечно путается под ногами и подслушивает у дверей.

Отныне я велел ей не попадаться мне на глаза, а лучше всего приходить в то время, когда меня нет дома. Больше никого не хочу видеть рядом с собой.

Неужели у меня тогда действительно волосы встали дыбом? Странное ощущение!.. Думаю, это оттого, что кожа на голове резко собирается в складки...

Ну а фантом? Первая мысль — следствие прежних снов, зрительный образ, порожденный внезапным испугом; ничего больше. Страх, ненависть, любовь — словом, все сильные эмоции и потрясения, раздваивая наше Я, выносят на его поверхность то, что обычно скрыто в глубинах подсознания, и тогда эти жуткие топляки отражаются в органах чувств, как в зеркале...

Нет, так дальше продолжаться не может. Теперь мне необходимо внимательно и достаточно долго понаблюдать за собой, а на людях лучше пока не появляться.

Неприятно, что все это пришлось как раз на тринадцатое число. С самого начала мне надо было энергично бороться с идиотским суеверием. Впрочем, это все мелочи...

20 октября

С каким бы удовольствием упаковал чемоданы и уехал в другой город! Старуха опять подслушивала у дверей. Снова скрип — на этот раз справа... Все повторилось в точности как тогда. Только теперь это был мой отравленный дядя, а когда я прижал подбородок к груди и скосил глаза в разные стороны, то разглядел обоих и слева, и справа...

Вот только ног не видно. Впрочем, мне кажется, образ Ричарда Эрбена проступил более отчетливо, он как будто даже несколько приблизился.

Старухе я должен отказать от места — эта ее возня у дверей становится все более подозрительной; но еще несколько недель буду любезно раскланиваться, как бы она чего не заподозрила...

Переезд вынужден пока отложить — сейчас опасно, очень опасно! — а лишняя осторожность никогда не повредит.

Утром собираюсь посвятить пару часов штудированию слова «убийца» — оно снова начинает наливать каким-то злокозненным содержанием...

Сделал весьма многозначительное открытие: наблюдая себя в зеркало, заметил, что при ходьбе стал больше, чем раньше, загружать носок, поэтому чувствую иногда легкую неуверенность. «Твердо стоять на ногах» — в этом есть какой-то глубокий внутренний смысл, кстати, слова скрывают великую психологическую тайну. Ладно, постараюсь смещать центр тяжести к пяткам...

Господи, только бы за ночь не забыть ничего из намеченного! А то забываю — забываю начисто! — как будто сон все стирает...

1 ноября

В прошлый раз специально ничего не стал писать о втором фантоме, но он тем не менее не исчез. Ужасно, ужасно! Неужели на этих ревенантов нет никакой управы?

Ведь однажды я подробно описал два способа, как выработать иммунитет к подобным феноменам. Причем выбрал-то я второй, а сам все время пытаюсь применять первый!

Это что же — обман чувств?

Эта потусторонняя парочка — результат раздвоения моего Я или же у призраков своя собственная независимая жизнь?

...Нет, нет! В таком случае получается, что я их питаю собственной жизненной энергией!.. Итак, это существа реальные! Кошмар! Но нет, я их только рассматриваю как реальные самостоятельные существа, а чем они являются в действительности, это... это... Боже милосердный, да ведь я и сам не понимаю, о чем пишу! Пишу как под диктовку... Наверное, из-за шифра, который я вынужден сначала переводить про себя.

Завтра же перепишу весь дневник обычным языком. Господи, не оставь меня в эту долгую ночь...

10 ноября

Это существа *реальные*, они мне рассказывали во сне о своих предсмертных муках. Господи, защити меня! Они хотят меня задушить! Я проверил: все правильно — курарин действует именно так, абсолютно точно!.. Откуда им это знать, если они всего-навсего призраки?..

Господи, почему Ты меня не предупредил о загробной жизни? Я бы не убивал.

Почему Ты не открылся мне, как дитя?.. снова пишу как говорю; хоть мне все это и не нравится.

12 ноября

Сейчас закончил переписывать дневник и прозрел: я болен! И теперь меня могут спасти лишь твердость, мужество и холодный расчет. На завтрашнее утро договорился с доктором Веттерштрандом; надеюсь, с его помощью удастся обнаружить ошибку в моей теории. Расскажу ему все и во всех подробностях, он, разумеется, подумает, что я сошел с ума, и не поверит ни единому моему слову, но, чтобы не волновать меня, виду не подаст и дослушает до конца, а потом поделится со мной теми сведениями о внушении, которых мне так недостает...

Ну, а о том, чтобы сей гуманист, верный своему врачебному долгу, на следующий день не выкинул какой-нибудь фортель, уж я позабочусь: стаканчик доброго домашнего винца!!! На посошок...

13 ноября

.....

1904

Амброз Бирс

(1842–1914)

Арест

Пер. с англ. Л. Мотылева

Оррину Брауэру из Кентукки, убившему своего шурина, удалось-таки вырваться из рук правосудия. Он бежал ночью из окружной тюрьмы, где находился в ожидании суда, оглушив охранника железным прутом от решетки, взяв у него ключи и отперев ими входную дверь. Так как охранник был безоружен, Брауэру нечем было защищать вновь обретенную свободу. Выйдя из города, он имел глупость углубиться в лес; дело происходило много лет назад, когда места там были более глухие, чем сейчас.

Ночь настала довольно темная, безлунная и беззвездная, и, не будучи местным жителем и не зная окрестностей, Брауэр, конечно же, миглом заблудился. Он не знал, удаляется он от города или приближается к нему, — а ведь это было для Оррина Брауэра немаловажно. Он понимал, что в любом случае толпа горожан со сворой ищеек скоро нападет на его след и что шансы на спасение невелики; но помогать преследователям он не хотел. Каждый лишний час свободы что-нибудь да значил.

Вдруг впереди него показалась заброшенная дорога, и, выйдя на нее, он увидел поодаль смутную фигуру человека, неподвижно стоящего во мраке. Бежать было поздно; Брауэру было ясно, что, сделай он движение в сторону леса, его бы, как он сам потом выразился, «нафаршировали свинцом». Двое стояли друг против друга, словно вросли в землю; у Брауэра сердце готово было выпрыгнуть из груди, у другого — что касается другого, его чувства нам неизвестны.

Секунду спустя — а может, час спустя — из-за тучи вынырнула луна, и беглец увидел, как стоящее перед ним зримое воплощение Закона, подняв руку, властно указывает пальцем ему за спину. Он понял. Повернувшись, он покорно пошел в указанном направлении, не

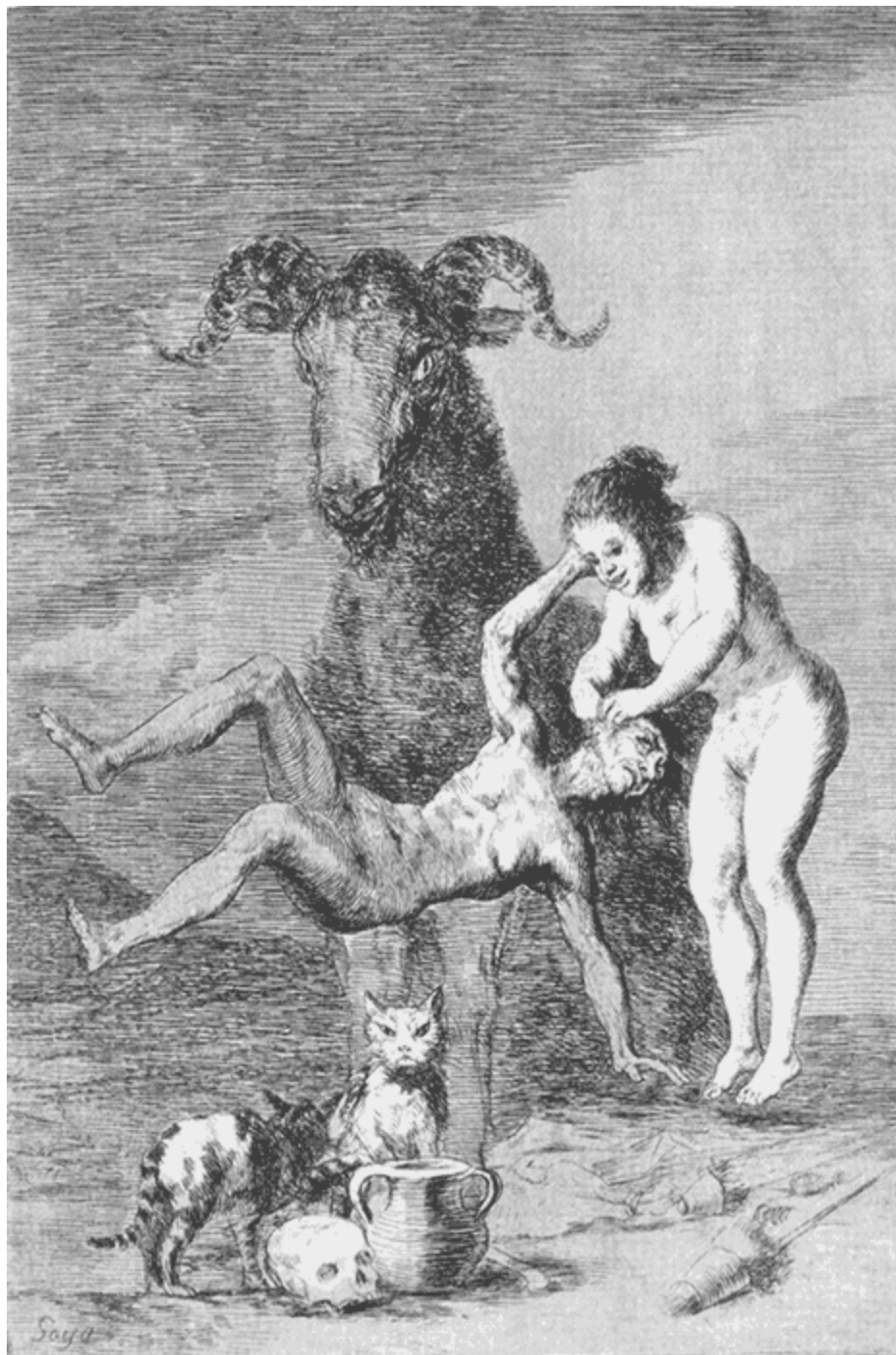
глядя ни вправо, ни влево и едва осмеливаясь дышать; спина его, ожидавшая свинца, так и ныла.

Брауэр был один из самых дерзких преступников, что когда-либо болтались на веревке; об этом свидетельствует хотя бы то, с каким риском для собственной жизни и как хладнокровно убил он шурина. Здесь не место об этом рассказывать, поскольку все обстоятельства убийства подробно разбирались на суде; заметим лишь, что его спокойствие перед лицом смертельной опасности смягчило сердца некоторых присяжных и едва не спасло его от петли. Но что поделаешь? Когда храбрый человек побежден, он покоряется.

Так и шли они через лес по заброшенной дороге, приближаясь к тюрьме. Только раз решился Брауэр обернуться — в этот миг сам он находился в глубокой тени, а другой, он знал, был освещен луной. И он увидел, что за ним идет Бертон Дафф, тюремный охранник, бледный как смерть и с темным рубцом от железного прута через весь лоб. Больше Оррин Брауэр назад не глядел.

Наконец они вошли в город, улицы которого были пусты, хотя все окна горели; в нем остались только женщины и дети, а они сидели по домам. Преступник направился прямо в тюрьму. Он подошел к ее главному входу, взялся за ручку массивной железной двери, толкнул, не дожидаясь приказа, и, войдя, оказался в окружении полудюжины вооруженных людей. Тут он оглянулся. Сзади никого не было.

На столе в тюремном коридоре лежало мертвое тело Бертона Даффа.



«Первые опыты»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Мало-помалу он продвигается вперед и уже делает первые шаги, а со временем он будет знать столько же, сколько его наставница



«Они взлетели»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Этот клубок ведьм, который служит подножием щеголихе, вовсе ей не нужен — разве что для красоты. У иных в голове столько горячего газа, что они могут взлететь на воздух без помощи ведьм и без воздушного шара

...и жертвы призраков

Джозеф Шеридан Ле Фаню

(1814–1873)

Давний знакомый

Пер. с англ. Л. Бриловой

Пролог

Случаев, более или менее сходных с описанным в рассказе «Зеленый чай», мне известно двести тридцать или около того. Из них я выбрал один и привожу его ниже под названием «Давний знакомый».

Доктор Гесселиус пожелал присовокупить к настоящему манускрипту ряд своих собственных замечаний на нескольких листочках бумаги, исписанных мелкими, размером чуть больше печатных, буквами. Вот что он пишет:

«Что касается добросовестности, то лучшего рассказчика, чем достопочтенный ирландский священник, от которого я получил бумаги с описанием случая мистера Бартона, едва ли можно пожелать. Для медика, однако, такого отчета недостаточно. Чтобы вынести свое суждение с уверенностью, мне желательно было бы ознакомиться с рассказом сведущего врача, наблюдавшего развитие болезни и пользовавшего пациента начиная с ранних стадий ее течения и до конца. Мне бы следовало знать о возможной наследственной предрасположенности мистера Бартона; не исключено, что по каким-либо ранним симптомам удалось бы проследить корни болезни в более отдаленном прошлом, чем это доступно сейчас.

Упрощая, можно свести все подобные случаи к трем основным видам. Приводимая мной классификация опирается на первичное различие между субъективным и объективным. Часть из тех, кто утверждал, что их восприятию представлялись некие сверхъестественные явления, не более чем визионеры, жертвы иллюзий, порожденных болезнью мозга или нервов. В других случаях не приходится сомневаться во вмешательстве внешних,

скажем так, духовных сил. И наконец, бывают тягостные состояния смешанного происхождения. Внутреннее восприятие больных и в самом деле обострено, но оно становится и остается таковым по причине болезни. Болезнь эту можно в определенном смысле сравнить с потерей наружного слоя кожи, с обнажением тех поверхностей, которые ввиду их особой восприимчивости природа снабдила защитной оболочкой. Нарушение этого покрова сопровождается постепенной утратой чувствительности к нежелательным воздействиям. Что касается мозга и тех нервов, которые имеют непосредственное отношение к его функционированию и к чувственному восприятию, то мозговое кровообращение периодически подвергается тем самым расстройствам, имеющим характер вибраций, которые я детально изучил и описал в своем исследовании под номером А-17. Указанные расстройства, как я доказываю, не имеют ничего общего с приливами крови — феноменом, которому посвящено исследование под номером А-19. Будучи чрезмерными, упомянутые нарушения неизменно сопровождаются *иллюзиями*.

Если бы я имел возможность осмотреть мистера Бартона и выяснить все детали, нуждающиеся в уточнении, мне не стоило бы ни малейшего труда соотнести известные мне феномены с вызвавшей их болезнью. В данном же случае мой диагноз поневоле не выходит за рамки предположений».

Это пишет доктор Гесселиус и приводит прочие рассуждения, понятные лишь специалистам в области медицинской науки.

А рассказ преподобного Томаса Херберта, в котором содержится все, что известно об интересующем нас случае, приводится в нижеследующих главах.

Глава I

ШАГИ

В то время я был молод и близко знаком с некоторыми из действующих лиц этой странной истории; вот почему обстоятельства, с нею связанные, произвели на меня столь глубокое, надолго засевшее в памяти впечатление. Постараюсь теперь изложить все указанные обстоятельства в точности, соединяя, разумеется, в рассказе данные,

почерпнутые из разных источников, и пытаюсь, насколько возможно, рассеять тьму, которая с начала и до конца окутывает эту историю.

Году приблизительно в 1794-м младший брат некоего баронета — назову его сэр Джеймс Бартон — возвратился в Дублин. Капитан Бартон заслужил отличия во флоте, командуя одним из фрегатов его величества почти все время, пока длилась американская Война за независимость. Капитану Бартону было года сорок два — сорок три. Он мог при желании быть умным и приятным собеседником, но обычно вел себя сдержанно, иногда даже казался угрюмым.

В обществе, однако, он держался светски, как джентльмен. Ему ни в коей мере не были присущи шумные, грубоватые манеры, зачастую свойственные морякам; напротив, его поведение отличалось непринужденностью, спокойствием, даже лоском. Роста он был среднего, сложения довольно крепкого; лицо выдавало склонность к размышлениям и обычно носило на себе отпечаток серьезности и меланхолии. Будучи, как я уже говорил, человеком превосходно воспитанным, отпрыском благородного семейства и обладателем крупного состояния, капитан Бартон не нуждался, разумеется, в дальнейших рекомендациях, чтобы получить доступ в лучшее общество Дублина.

В повседневной жизни мистер Бартон был неприхотлив. Он занимал апартаменты на одной из фешенебельных в то время улиц в южной части города, но держал всего лишь одну лошадь и одного слугу; слыл вольнодумцем, однако вел упорядоченную, высокоморальную жизнь — не склонен был ни к игре, ни к выпивке, ни к каким-либо другим порокам. Он был погружен в себя, ни с кем близко не сходил, друзей не заводил. Общество, судя по всему, привлекало его скорее веселой, бездумной суетой, чем возможностью обменяться с кем-либо своими мыслями и настроениями.

В результате Бартон прослыл человеком бережливым, благоразумным и замкнутым, имеющим хорошие шансы устоять против хитрых уловок и прямых атак и сохранить свое холостяцкое положение. Похоже было, что он доживет до глубокой старости и умрет богатым, завещав свои деньги какой-нибудь больнице.

Вскоре, однако, стало ясно, что жизненные планы мистера Бартона были поняты в корне неверно. В то время в свете появилась некая молодая леди, назовем ее мисс Монтегю, введенная туда ее тетей,

леди Л., вдовой. Мисс Монтегю была неоспоримо красива и превосходно воспитана. Обладая природным умом и изрядной долей веселости, она стала на время любимицей общества.

Тем не менее популярность на первых порах не приносила ей ничего, кроме эфемерного восхищения окружающих, пусть лестного, но ни в коей мере не сулившего скорого брака, ибо, к несчастью для упомянутой молодой леди, было общеизвестно, что, кроме привлекательности, ровно никаких земных благ у нее за душой не имеется. При таком положении вещей не приходится сомневаться, что появление у бесприданницы мисс Монтегю признанного поклонника в лице капитана Бартона повергло общество в изумление.

Его ухаживания, как следовало ожидать, были встречены благосклонно, и в скором времени каждому из полутора сотен близких друзей старой леди Л. было сообщено персонально, что капитан Бартон действительно предложил мисс Монтегю, с одобрения ее тетушки, руку и сердце; что, более того, предложение его принято — при условии согласия отца невесты, который следовал на родину из Индии и должен был прибыть в ближайшие две-три недели.

Браку ничто не препятствовало, отсрочка представлялась не более чем формальностью, так что помолвка считалась делом решенным, и леди Л., верная старомодному обычаю, которым ее племянница, разумеется, охотно бы пренебрегла, удержала девушку от дальнейшего участия в городских увеселениях.

Капитан Бартон был в доме частым гостем, порой засиживался подолгу и на правах нареченного жениха пользовался всеми преимуществами тесного, непринужденного общения с невестой. Таковы были отношения между действующими лицами моего повествования к тому времени, когда на него пала тень грядущих загадочных событий.

Леди Л. обитала в красивом доме на севере Дублина, а квартира капитана Бартона, как уже было упомянуто, располагалась на юге. Оба жилища разделяло значительное расстояние, и капитан Бартон завел себе привычку, проводя вечер в обществе старой леди и ее прекрасной воспитанницы, возвращаться домой пешком и в одиночестве.

Кратчайший маршрут таких ночных прогулок пролегал вдоль одной довольно длинной недостроенной улицы — стены домов только-только начали подниматься над фундаментами.

Однажды вечером, вскоре после обручения с мисс Монтегю, капитан Бартон дольше обычного пробыл у своей невесты и леди Л. Речь зашла об откровении свыше, которое он оспаривал с полнейшим неверием заядлого скептика. В те дни в высшее общество уже проложили себе дорогу так называемые «французские принципы» — в особенности те из них, что перекликаются с либерализмом. Не избежали этой заразы и старая леди с ее воспитанницей. Вот отчего взгляды мистера Бартона не были сочтены серьезным препятствием для предполагаемого брака. Разговор тем временем перешел на сверхъестественные и загадочные явления, причем и тут мистер Бартон прибегал все к тем же не лишенным язвительности аргументам. Несправедливо было бы обвинять его в желании покрасоваться: доктрины, которые отстаивал капитан Бартон, являлись основой его собственных, если можно так выразиться, верований. Из всех странных обстоятельств, затронутых в моей повести, не последнюю роль играет тот факт, что жертва напастей, которые я собираюсь описать, в силу лелеемых годами принципов упорно отвергала возможность так называемых сверхъестественных явлений.

Было глубоко за полночь, когда мистер Бартон распрощался и пустился в свой одинокий обратный путь. Он достиг уже той безлюдной дороги, где над фундаментами едва возвышались незаконченные стены будущих домов. Туманно светила луна, и под ее тусклыми лучами дорога, по которой шел Бартон, казалась еще мрачнее; царило полное, непонятным образом волновавшее душу безмолвие, не нарушаемое ничем, кроме шагов Бартона, неестественно громких и отчетливых.

Он шел так некоторое время, а затем внезапно слышал другие шаги, размеренно ступавшие, казалось, метрах в десяти позади него.

Ощущение, что кто-то следует за тобой по пятам, всегда неприятно, а особенно в столь уединенном месте. Капитан Бартон резко обернулся, рассчитывая оказаться лицом к лицу с преследователем, но, хотя луна светила достаточно ярко, ничего подозрительного на дороге не обнаружил.

Стук не был отзвуком его собственных шагов: Бартон убедился в этом, потопав ногой и быстро пройдясь взад-вперед в безуспешных попытках разбудить эхо. Не будучи ни в коей мере склонным к фантазиям, Бартон тем не менее вынужден был приписать шаги игре своего воображения и счесть их иллюзией. Рассудив таким образом, он вновь пустился в путь. Но едва он сошел с места, как сзади опять послышались таинственные звуки, и в этот раз, словно в доказательство, что с эхом они не имеют ничего общего, шаги то постепенно замирали, почти совсем останавливаясь, то переходили в бег, а затем опять замедлялись.

Как и в первый раз, капитан Бартон резко обернулся, но результат был тот же: на одинокой дороге не виднелось ровно ничего. Он пошел обратно по своим следам, рассчитывая обнаружить причину смутивших его звуков, но безуспешно.

При всем своем скептицизме Бартон почувствовал, что им постепенно овладевает суеверный страх. Не в силах отделаться от этих столь непривычных ощущений, Бартон опять двинулся вперед. Таинственные звуки не возобновлялись, но, когда он достиг того места, где прежде остановился и повернул назад, шаги послышались вновь, время от времени учащаясь, отчего казалось, что неведомый преследователь вот-вот наткнется на уstraшенного пешехода.

Капитан Бартон в очередной раз остановился. Непостижимость происходившего вызывала у него непонятные, мучительные чувства, и, поддавшись волнению, он резко крикнул: «Кто там?» Собственный голос, прозвучавший в полной тишине и сменившийся столь же глубоким безмолвием, показался Бартону удручающе унылым, и им овладело сильнейшее, дотолле ему неведомое беспокойство.

Шаги преследовали Бартона до самого конца одинокой улицы, и ему потребовалось немало гордого упрямства, чтобы с перепугу не пуститься бежать со всех ног. Только достигнув своей квартиры и усевшись у камелька, он успокоился настолько, что смог восстановить в памяти и обдумать свое обескураживающее приключение. Самой малости, в сущности, достаточно, чтобы поколебать гордыню скептика и доказать власть над нами старых добрых законов природы.

Глава II

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Когда на следующее утро за поздним завтраком мистер Бартон обдумывал вчерашнее происшествие — скорее критически, чем с суеверным страхом, ибо ободряющее влияние дневного света быстро вытесняет мрачные впечатления, — слуга положил на стол перед ним письмо, только что принесенное почтальоном.

В надписи на конверте не обнаружилось ничего примечательного, за исключением того, что почерк был Бартону неизвестен. Возможно, надпись была сделана измененным почерком: высокие буквы клонились влево. Несколько взволновавшись, как бывает в подобных случаях со всеми, Бартон целую минуту изучал конверт, прежде чем сломать печать. После чего он прочел письмо, написанное той же рукой:

«Мистер Бартон, бывший капитан „Дельфина“, предупреждается об опасности. Он поступит мудро, если будет избегать ***-стрит (тут было названо место вчерашнего приключения). Если он не прекратит ходить там, то быть беде — пусть запомнит это раз навсегда, ибо ему следует страшиться

Наблюдателя».

Капитан Бартон читал и перечитывал это странное послание, изучал его то так, то эдак, под разными углами, рассматривал бумагу, на которой оно было написано, и заново вглядывался в почерк. Ничего не добившись, он обратил внимание на печать. Это был просто кусок воска, на котором слабо виднелся случайный отпечаток пальца.

Ни малейшей зацепки, ничего, что могло привести хотя бы к догадке о происхождении письма. Казалось, цель автора — оказать услугу, и в то же время он объявлял себя тем, кого «следует страшиться». Все вместе — и письмо, и его автор, и истинные цели последнего — представляло собой неразрешимую головоломку, к тому же самым неприятным образом напоминавшую о событиях минувшей ночи.

Повинуясь какому-то чувству — возможно, гордости, — мистер Бартон никому, даже своей нареченной невесте, не сообщил об описанных выше происшествиях. Казалось бы, незначительные, они крайне неприятно поразили его воображение, и исповедоваться в том, что упомянутая молодая леди могла бы счесть свидетельством слабости, ему не хотелось. Письмо вполне могло оказаться всего лишь

шуткой, а загадочные шаги — галлюцинацией или трюком. Но хотя Бартон и вознамерился отнестись ко всей этой истории как к чепухе, не стоящей внимания, подспудно его мучили сомнения и догадки, угнетали смутные предчувствия. И разумеется, Бартон долгое время избегал улицы, упомянутой в письме как опасное место.

В последующую неделю ничто не напомнило капитану о содержании воспроизведенного мною письма, и тревожные впечатления постепенно изгладились из его памяти.

Однажды вечером, когда названный промежуток времени уже истек, мистер Бартон возвращался из театра, расположенного на Кроу-стрит. Усадив мисс Монтегю и леди Л. в их коляску, он немного поболтал с двумя-тремя знакомыми.

Однако у колледжа он расстался с ними и продолжил путь в одиночестве. Был уже час ночи, и улицы совершенно опустели. Пока Бартон шел в обществе приятелей, он по временам с болезненным чувством улавливал звуки шагов, которые следовали, казалось, за ними по пятам.

Раз или два он беспокойно оборачивался, опасаясь вновь столкнуться с теми загадочными и неприятными явлениями, которые на прошлой неделе выбили его из колеи, и очень надеясь обнаружить какую-нибудь естественную причину непонятных звуков. Но улица была пуста — вокруг ни души.

Продолжая путь домой в одиночестве, капитан Бартон по-настоящему испугался, когда яснее, чем прежде, уловил хорошо знакомые звуки, от которых его теперь бросало в дрожь.

Чужие шаги, стихая и возобновляясь одновременно с его собственными, сопровождали Бартона вдоль глухой стены, окружавшей парк при колледже. Поступь невидимки была, как и прежде, неровной: то медлила, то, на протяжении двух десятков ярдов, ускорялась почти до бега. Снова и снова Бартон оборачивался, поминутно бросал украдкой быстрый взгляд через плечо, но никого не видел.

Неуловимый и незримый преследователь довел Бартона до сильнейшего раздражения; когда капитан наконец оказался дома, его нервы были так взвинчены, что он не мог заснуть и до самого рассвета даже не пытался лечь.

Разбудил его стук в дверь. Вошедший слуга протянул ему несколько писем, пришедших только что по почте. Одно из них мгновенно привлекло внимание Бартона — единственный взгляд на это письмо тут же стряхнул с него остатки сна. Он сразу узнал почерк и прочел следующее:

«Скрыться от меня, капитан Бартон, — все равно что убежать от собственной тени. Что бы ты ни делал, я буду являться каждый раз, когда вздумаю на тебя взглянуть, и ты тоже меня увидишь, прятаться я не собираюсь, не думай. Отдыхай себе спокойно, капитан Бартон, ведь *если совесть у тебя чиста*, то с чего бы тебе бояться

Наблюдателя?»

Едва ли нужно говорить о том, с какими чувствами изучал Бартон это странное послание. Несколько дней всем было заметно, что вид у капитана отсутствующий и расстроенный, но о причине не догадывался никто.

Что бы он там ни думал по поводу призрачных шагов, следовавших за ним по пятам, но письма не были иллюзией, и их приход уж очень странно совпал с появлением таинственных звуков.

Смутно, инстинктивно разум Бартона связал нынешние приключения с некоторыми страницами из прошлой жизни — теми самыми, о которых капитану очень не хотелось вспоминать.

Однако случилось так, что, помимо приближавшейся свадьбы, капитана Бартона занимали тогда — вероятно, к счастью для него — дела, связанные с важным и долговременным судебным процессом, который касался прав собственности. Процесс поглотил его внимание целиком. Деловая суэта и спешка, естественно, рассеяли с недавнего Бартона уныние, и в короткий срок к нему вернулось прежнее расположение духа.

Тем не менее все это время Бартона продолжали снова и снова пугать знакомые уже звуки, которые слышались ему в уединенных местах как ночью, так и днем. Теперь, однако, они были слабыми и отрывочными, и зачастую он с немалой радостью убеждался, что их вполне можно приписать разгоряченному воображению.

Однажды вечером Бартон направлялся к зданию палаты общин вместе со знакомым нам обоим членом парламента. Это был один из

тех редких случаев, когда мне довелось общаться с капитаном Бартоном. Шагая рядом, я заметил, что вид у него отсутствующий. Его замкнутость и молчаливость свидетельствовали, казалось, о том, что над ним тяготеет какая-то всепоглощающая забота.

Позже я узнал, что все это время он слышал за спиной знакомые шаги.

Но такое произошло в последний раз. Наваждению, уже измучившему Бартона, предстояло теперь перейти в новую, совершенно иную стадию.

Глава III

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Однажды вечером мне пришлось стать свидетелем первого из тех происшествий, которые впоследствии сыграли в судьбе Бартона роковую роль; но если бы не дальнейшие события, оно едва ли бы мне запомнилось.

В тот миг, когда мы входили в пассаж у Колледж-Грин, какой-то человек (о котором я помню только, что он был невысок ростом, похож на иностранца и носил дорожную меховую шапку) резко, по-видимому в крайнем возбуждении, устремился прямо на нас, быстро и яростно бормоча что-то себе под нос.

Этот престранный субъект, приблизившись вплотную к Бартону, который шел впереди всех (нас было трое), остановился и несколько мгновений сверлил его угрожающим, исполненным маниакальной злобы взглядом; затем отвернулся, стал удаляться той же странной походкой и исчез в боковой галерее. Хорошо помню, что внешность и поведение этого человека немало меня поразили; от него исходило смутное, но непреодолимое ощущение опасности. Подобного я не испытывал ни разу в присутствии человеческого существа. Происшествие, однако, ничуть не вывело меня из равновесия — ничего страшного, просто попало на глаза на редкость злобное, почти безумное лицо.

Крайне удивила меня при этом реакция капитана Бартона. Я знал его как человека храброго, в минуту истинной опасности всегда державшегося со спокойным достоинством. Тем более странным показалось мне тогда его поведение. Когда незнакомец приблизился, Бартон на шаг или два отпрянул и молча схватился за мою руку,

видимо, не помня себя от смертельного ужаса. Потом, когда коротышка, грубо оттолкнув меня, исчез, Бартон сделал несколько шагов ему вслед, остановился в растерянности и опустился на скамью. Ни разу мне не доводилось видеть лица бледнее и изможденнее.

— Боже мой, Бартон, что с вами? — спросил наш спутник, встревоженный его видом. — Вы ушиблись или, может быть, нездоровы? Что случилось?

— Что он сказал? О чем он, я не расслышал? — спрашивал Бартон, не обращая ни малейшего внимания на вопрос N.

— Ерунда! — ответил тот в крайнем изумлении. — Кого это интересует? Вы нездоровы, Бартон, решительно нездоровы! Позвольте я возьму вам экипаж.

— Нездоров? Да нет, я здоров, — сказал Бартон, с явным усилием стараясь взять себя в руки, — но, говоря по правде, устал. Немного перетрудился, да и перенервничал. Я был, знаете ли, в суде лорд-канцлера. Когда процесс подходит к концу, всегда волнуешься. Мне весь вечер было не по себе, но сейчас уже лучше. Ну пойдете же, пойдете!

— Нет-нет. Послушайте меня, Бартон, отправляйтесь домой: вам необходимо отдохнуть, у вас совершенно больной вид. Я настаиваю, чтобы вы разрешили мне проводить вас домой, — говорил приятель капитана.

Я присоединился к уговорам, тем более что Бартон явно был готов сдаться. Но тем не менее он расстался с нами, отклонив предложенную помощь. Я не настолько близко знал N., чтобы обсуждать с ним происшедшее, но после обычного в таких случаях обмена сочувственными замечаниями понял: наскоро выдуманный предлог не убедил его, точно так же как и меня, и мы оба подозревали, что для загадочного поведения Бартона имелись какие-то тайные причины.

На следующий день я зашел к Бартону справиться о его здоровье и узнал от слуги, что, вернувшись накануне вечером домой, хозяин не покидал своей комнаты, однако он испытывает всего лишь легкое недомогание и надеется, что через несколько дней будет опять на ногах. В тот же вечер он послал за доктором P., имевшим тогда большую практику в дублинском обществе, и у них состоялась, говорят, весьма странная беседа.

Бартон рассказывал о своем недомогании равнодушно и обрывисто и казался, как ни странно, мало заинтересованным в лечении — во всяком случае, дал понять, что есть предметы, которые занимают его несравненно более, чем теперешнее нездоровье. Он жаловался на возникавшее иногда учащенное сердцебиение и головную боль.

Доктор Р. спросил между прочим, не испытывает ли он почему-либо беспокойство или тревогу. На это Бартон быстро и не без раздражения дал отрицательный ответ. Доктор вслед за тем объявил, что ничего у него не находит, кроме легкого расстройств пищеварения, выписал соответствующий рецепт и уже собирался откланяться, когда Бартон, словно внезапно о чем-то вспомнив, удержал его.

— Извините, доктор, едва не забыл. Не разрешите ли задать вам пару вопросов, касающихся медицины? Возможно, вы сочтете их странными и бестолковыми, но речь идет о пари, так что вы, надеюсь, меня простите.

Врач выразил готовность удовлетворить его любопытство.

Бартон, по всей видимости, не знал, с чего начать расспросы, так что с минуту помолчал, затем подошел к книжному шкафу, вернулся на место, сел и сказал:

— Вопросы покажутся вам ребяческими, но ответ мне необходим, чтобы выиграть пари, поэтому я их и задаю. Во-первых, меня интересует столбняк. Если у человека была эта болезнь и он, как представляется, от нее умер, — во всяком случае, обычный, средней руки врач заявил, что он мертв, — то может ли такой человек в конечном счете оказаться живым?

Врач улыбнулся и покачал головой.

— Но ведь бывают и ошибки? — снова заговорил Бартон. — Что, если речь идет о невежественном шарлатане — не мог ли он ошибиться, приняв какое-либо свойственное этой болезни состояние за смерть?

— Кто хоть раз в жизни видел смерть, — ответил врач, — никогда не спутает ее со столбняком.

Несколько минут Бартон размышлял.

— Задам вам вопрос, возможно, еще более наивный; но скажите, сперва не бывает ли в иностранных госпиталях, скажем в

неаполитанских, беспорядка и путаницы, например ошибок при регистрации больных и прочего?

Доктор Р. признал свою некомпетентность в этом вопросе.

— Хорошо, доктор, тогда последнее. Вероятно, я вас насмешу, но, так или иначе, прошу ответить. Существует ли среди всех человеческих болезней такая, от которой человек уменьшается в росте и объеме — то есть остается в точности подобен сам себе, но в других пропорциях, с другим ростом и поперечными размерами; *хоть одна* болезнь, пусть самая редкая, самая малоизвестная, может привести к таким изменениям?

Ответом была улыбка и самое решительное «нет».

— Тогда скажите, — проговорил Бартон отрывисто, — если у человека имеются причины опасаться, что на него нападет сумасшедший, разгуливающий на свободе, может ли он добиться ордера на задержание и арест этого сумасшедшего?

— Вопрос скорее по адвокатской части, чем по медицинской, — ответил доктор Р., — но, думаю, если обратиться к властям, дело нетрудно уладить законным порядком.

На этом врач распрощался, но в дверях холла вспомнил, что оставил наверху свою трость, и вернулся. Появление его привело к некоторой неловкости, потому что листок бумаги, в котором он узнал свой рецепт, медленно сгорал в камине, а Бартон сидел рядом, нахмурившийся и приунывший.

Доктор Р. был слишком тактичным человеком, чтобы заострять на этом внимание, но увиденное убедило его в одном: недуг гнезился не в теле капитана Бартона, а в душе.

Несколько дней спустя в дублинских газетах появилось следующее объявление:

«Если Сильвестр Йелланд, ранее служивший матросом на фрегате его величества „Дельфин“, или его ближайшие родственники обратятся к мистеру Хьюберту Смиту, поверенному, в его конторе на Дейм-стрит, то они (или он) узнают нечто весьма для них (или для него) полезное. Встреча может состояться в любое время, вплоть до двенадцати часов ночи, в случае, если заинтересованные стороны желают избежать любопытных глаз; при необходимости гарантируется строжайшая секретность всех переговоров».

Как я уже упоминал, «Дельфин» был тем самым судном, которым командовал капитан Бартон. Сопоставив этот факт с усилиями автора при помощи афиш и газет распространить свое необычное обращение как можно шире, доктор Р. предположил, что обеспокоенность Бартона каким-то образом связана с лицом, упомянутым в тексте, и что автор последнего не кто иной, как сам Бартон.

Нет нужды добавлять, что это была всего лишь догадка. Посредник сохранил в тайне все сведения, могущие пролить свет на то, кто является его нанимателем и какова его истинная цель.

Глава IV

БАРТОН БЕСЕДУЕТ СО СВЯЩЕННИКОМ

Мистер Бартон, хотя и походил в последнее время на ипохондрика, был еще очень далек от того, чтобы подпасть под это определение. Веселым его характер, разумеется, трудно было назвать, но ровным — пожалуй. Унынию он не поддавался.

Соответственно, вскоре он обратился к своим прежним привычкам, и одним из первых признаков душевного подъема стало его появление на торжественном обеде франкмасонов, ибо он принадлежал к этому достойному братству. Бартон, вначале мрачный и отрешенный, выпил много больше, чем обыкновенно, — возможно, с целью разогнать собственные тревожные мысли, — и под влиянием хорошего вина и приятной компании постепенно сделался разговорчивым (чего с ним прежде не случалось), даже болтливым.

Непривычно возбужденный, он покинул общество приблизительно в половине одиннадцатого, и, так как праздничная атмосфера весьма располагает к галантности, ему в голову пришла мысль отправиться к леди Л. и провести остаток вечера с ней и со своей нареченной невестой.

И вот вскоре он оказался на ***-стрит и завел веселую беседу с обеими дамами. Не следует думать, что капитан Бартон вышел за пределы, предписываемые благоразумием, — он выпил ровно столько вина, чтобы дух возвеселился, но не пошатнулся разум и не изменили хорошие манеры.

Испытывая чрезвычайный душевный подъем, Бартон совсем забыл или отбросил от себя смутные опасения, так долго над ним тяготевшие и до известной степени отдалившие его от общества. Но

со временем искусственно возбужденная веселость пошла на убыль и мучительные ощущения постепенно вернулись; Бартон сделался таким же рассеянным и встревоженным, как раньше.

Наконец он распрощался, мучимый предчувствием беды и перебирая в уме бесчисленное множество смутных опасений. Остро ощущая их тяжесть, он тем не менее пытался заставить себя пренебречь ими или сделать вид, что пренебрегает.

Именно гордое сопротивление тому, что он считал слабостью, и подтолкнуло его в данном случае на путь, приведший к приключению, о котором я собираюсь вам поведать.

Мистер Бартон без труда мог бы нанять экипаж, но понял, что острое желание это сделать вызвано не чем иным, как суеверными страхами (так он предпочитал называть свои чувства).

Он мог бы также избрать и другой путь домой — не тот, от которого предостерегало таинственное письмо, — но и от этой идеи отказался по той же причине; с упорством почти отчаянным Бартон вознамерился довести дело до кризиса (не важно, какого именно), если для давешних страхов имелось какое-либо реальное основание, если же нет, то получить удовлетворительные доказательства их иллюзорности; поэтому он избрал свой старый маршрут — как в ту памятную ночь, когда началось странное наваждение. По правде говоря, даже штурман, впервые ведущий судно под прицелом неприятельской батареи, не подвергает свою решимость столь суровому испытанию, какому подвергал себя капитан Бартон, когда вступил, сдерживая дрожь, на одинокую тропу, где (как он чувствовал, несмотря на все усилия сопротивлявшегося рассудка) затаилось какое-то злобное, враждебное существо.

Он шел размеренно и быстро, ожидая вот-вот услышать странные шаги, но все было тихо, и он уже начал успокаиваться. Три четверти пути были благополучно пройдены, а впереди виднелся длинный ряд мерцающих масляных фонарей, которые освещали оживленную улицу.

Чувство облегчения, однако, покинуло его очень скоро: позади, ярдах в ста, прозвучал выстрел из мушкета, и у самой головы Бартона просвистела пуля. Первым его побуждением было броситься назад и настичь убийцу; но, как мы уже говорили, по обе стороны улицы были заложены фундаменты будущих домов, а за ними простирались

обширные пустыри, усеянные мусором и брошенными печами для обжига кирпичей; вокруг снова наступила такая тишина, словно ни единый звук и не тревожил это мрачное и уродливое место. Понятно, что в такой обстановке искать убийцу в одиночку, без помощи со стороны, было бесполезно — тем более в полном безмолвии, которое не нарушал даже стук удалявшихся шагов.

Капитан Бартон — возбужденный, что и естественно для человека, на которого только что было совершено покушение и который едва избег смерти, — повернулся и, не переходя на бег, быстро зашагал вперед.

Он повернулся, как я уже сказал, несколько секунд помедлив, и уже пустился в поспешное отступление, но тут же внезапно наткнулся на знакомого маленького человечка в меховой шапке. Встреча продолжалась всего лишь несколько мгновений. Коротышка шел той же неестественной походкой, что и раньше, с тем же выражением угрозы на лице; а когда он поравнялся с Бартоном, тому послышался злобный шепот: «Жив, все еще жив!»

Душевное состояние мистера Бартона настолько отразилось на его здоровье и внешнем виде, что это обратило на себя всеобщее внимание.

По причинам, известным только ему самому, Бартон не предпринял никаких шагов, чтобы уведомить власти о едва не удавшемся покушении; напротив, он ревниво хранил происшедшее в тайне; лишь несколькими неделями позже, когда душевные муки заставили его наконец искать совета и помощи, он под строжайшим секретом доверился одному джентльмену.

Однако бедный Бартон, невзирая на хандру, вынужден был делать все, чтобы являть в свете лик человека довольного и счастливого, ибо ничто не могло оправдать в глазах общества отказа от приятных обязанностей, которые диктовались отношениями, связывавшими его и мисс Монтегю.

Бартон так ревниво хранил в тайне свои душевные муки и обстоятельства, их вызвавшие, что возникало подозрение: быть может, причина странного преследования ему известна и она такова, что ее приходится скрывать.

Рассудок, погруженный таким образом в себя, терзаемый тревогой, не решавшийся довериться ни единой человеческой душе, приходил

день ото дня во все большее возбуждение и, разумеется, все более поддавался воздействию со стороны нервной системы; и при этом Бартон все чаще оказывался лицом к лицу с тайными видениями, которые с самого начала обрели над ним страшную власть.

Как раз в то время Бартон нанес визит знаменитому тогда проповеднику, доктору *** (он был с ним немного знаком), и воспоследовала весьма необычная беседа.

Когда доложили о приходе Бартона, проповедник сидел в своем кабинете в колледже, окруженный богословскими трудами, и размышлял.

Манеры вошедшего свидетельствовали о растерянности и волнении и вкупе с бледным, изнуренным лицом посетителя навели ученого на грустную мысль: его гость недавно испытал поистине жестокие муки, ведь что же еще могло вызвать перемены столь разительные, можно сказать, пугающие.

После обычного обмена приветствиями и общими замечаниями капитан Бартон, заметив, вероятно, что его визит изумил хозяина (доктор *** не сумел этого скрыть), прервал краткую паузу словами:

— Мой приход сюда может показаться странным, доктор; наше столь недавнее знакомство его, должно быть, не оправдывает. При обычных обстоятельствах я ни за что не осмелился бы вас беспокоить. Не считайте мой визит праздным или бесцеремонным вторжением. Уверен, вы так не подумаете, когда узнаете, какие муки я терплю.

Доктор *** прервал его уверениями, продиктованными вежливостью, а затем Бартон продолжил:

— Я намерен злоупотребить вашей снисходительностью, чтобы спросить у вас совета. Я говорю «снисходительность», но мог бы сказать «человечность», «сочувствие», ибо я невыносимо страдал и страдаю.

— Дорогой сэръ, — сказал в ответ служитель Церкви, — я воистину был бы глубоко удовлетворен, если бы мог утишить ваши духовные терзания, но...

— Я знаю, что вы собираетесь сказать, — быстро прервал его Бартон. — Я неверующий, а значит, не способен воспользоваться помощью Церкви; но не считайте это само собой разумеющимся. Во

всяком случае, из того, что у меня нет твердых религиозных убеждений, не стоит делать вывод, будто я не испытываю глубокого — очень глубокого — интереса к религии. События последних дней заставили меня обратиться к изучению вопросов, связанных с верой, так непредвзято и с таким открытым сердцем, как никогда ранее.

— Ваши затруднения, я полагаю, связаны с доказательствами откровения, — подсказал священник.

— Нет, не совсем; собственно, как ни стыдно в этом признаваться, я не обдумал своих возражений настолько, чтобы связно их изложить, но... есть один предмет, к которому я питаю особый интерес.

Он снова примолк, и доктор *** попросил его продолжать.

— Дело вот в чем, — заговорил Бартон. — Сомневаясь относительно того, что принято называть откровением, я глубоко убежден в одном: помимо нашего мира существует мир духов, который из милосердия от нас по большей части сокрыт, но может приоткрыться, и временами, к нашему ужасу, так и происходит. Я уверен — я *знаю точно*, — продолжал Бартон, все более волнуясь, — что Бог существует — Бог грозный — и что за виной неисповедимым, поразительным образом следует воздаяние от сил ужасных, непостижимых уму; что существует мир духов — Боже правый, мне пришлось в этом убедиться! — мир злобный, безжалостный и всемогущий, заставляющий меня переживать муки ада! Да, жестокие пытки преисподней!

Во время речи Бартон впал в такое неистовство, что богослов был поражен, более того — испуган. Взволнованная порывистость речи, а главное, невыразимый ужас, запечатлевшийся в чертах Бартона, составляли резкий, болезненный контраст его обычному холодному и бесстрастному самообладанию.

Глава V

БАРТОН ИЗЛАГАЕТ СВОЕ ДЕЛО

— Дорогой сэръ, — произнес доктор *** после недолгого молчания, — я вижу, что вы и в самом деле глубоко несчастны, но осмелюсь предсказать, что вашей нынешней хандре найдется вполне материальное объяснение и что с переменой климата, а также с помощью укрепляющих средств к вам вернутся и бодрость духа, и прежнее спокойствие, и веселье. В конце концов, не так уж далека от

истины старая теория, утверждающая, что чрезмерное преобладание того или иного душевного настроения связано с чрезмерной активностью или, наоборот, вялостью того или иного телесного органа. Поверьте, понемножку диеты, физических упражнений и прочих мер, полезных для здоровья, под опекой знающего врача — и вы снова придете в себя.

— Доктор, — сказал Бартон, содрогнувшись, — я не могу обольщаться подобными надеждами. Мне остается лишь уповать на то, что некая духовная сила, более могущественная, чем та, которая меня терзает, возьмет верх над последней и спасет меня. Если это невозможно, тогда я пропал — окончательно пропал.

— Но, мистер Бартон, припомните, — стал уговаривать его собеседник, — что и другие страдали так же, как и вы, и...

— Нет, нет же, — прервал его Бартон с раздражением, — нет, сэр. Я не суеверный, далеко не суеверный человек. Я был склонен, возможно, даже чрезмерно, к обратному — к скептицизму и недоверчивости, — но я не принадлежу к тем, кого не убеждает вообще ничто, кто способен пренебречь многократно повторяемым, *постоянным* свидетельством своих собственных чувств, и теперь — теперь наконец — я вынужден поверить, мне не убежать, не скрыться от подавляющей очевидности, что мне является, меня преследует по пятам — *демон!*

Всепоглощающий ужас искажил черты Бартона, когда, обратив к собеседнику мертвенно-бледное лицо, он излил таким образом свои чувства.

— Помогите вам Господь, мой бедный друг, — сказал потрясенный доктор ***. — Помогите вам Господь, ибо вы *воистину* страдалец, какова бы ни была причина ваших мук.

— О да, помогите мне Господь! — сурово откликнулся Бартон. — Но *поможет ли* он мне, поможет ли?

— Молитесь Ему, молитесь с верой и смирением, — отвечивал доктор ***.

— Молитесь, молитесь, — снова как эхо повторил Бартон. — Я не могу молиться; легче сдвинуть гору усилием воли. Для молитвы мне недостает веры; что-то во мне сопротивляется молитве. Я не в силах последовать вашему совету — это невозможно.

— Только попытайтесь — и вы убедитесь в образном, — сказал доктор ***.

— Попробуйте! Я *пытался*, но попытки приводили меня в смятение, а иногда — в ужас. Пытаться бесполезно, более чем бесполезно. Устрашающая, невыразимая идея вечности и бесконечности подавляет, загоняет в безумие мой мозг, когда я принимаюсь размышлять о Создателе, — я пугаюсь и отступаю. Говорю вам, доктор, если мне суждено спасение, то иным путем. Идея вечного Творца для меня неприемлема, моему рассудку не вынести этой мысли.

— Тогда скажите, дорогой сэр, — спросил собеседник, — какой поддержки вы от меня ждете, что надеетесь узнать? Могу ли я что-нибудь сказать или сделать для вашего спасения?

— Сперва выслушайте меня, — отозвался капитан Бартон с подавленным видом, сиюсь обуздать свое волнение, — выслушайте, и я вам расскажу в подробностях о том наваждении, из-за которого моя жизнь сделалась непереносимой и которое заставило меня убояться смерти и *потустороннего* мира так же сильно, как я возненавидел *посторонний*.

Бартон повел затем рассказ о тех происшествиях, которые уже нам известны, и продолжил следующим образом:

— Это стало делом обычным — привычкой. Я не имею в виду, что вижу его во плоти, слава богу, такое дозволяется не каждый день. Хвала Создателю, от *этого* ужаса мне милосердно даруется хотя бы отдых, раз уж не дано избавления. Но от сознания, что злобный дух повсюду меня преследует, мне не отделаться ни на минуту. Мне вослед несутся богохульства, крики отчаяния, на меня изливается отвратительная, безумная ненависть. Эти страшные звуки разлаются всякий раз, когда я заворачиваю за угол; эти выкрики доносятся до меня ночью, когда я сижу один в своей комнате; они преследуют меня повсюду, обвиняют в отвратительных преступлениях и — Боже милосердный! — грозят неминуемой мезтью и вечными муками. Тсс... *Слышите?* — вскричал Бартон с жуткой торжествующей усмешкой. — Слушайте, слушайте, теперь-то вы мне верите?

К священнику подкрался леденящий ужас, когда в вое внезапно поднявшегося ветра он различил как будто приглушенные, неясные восклицания, в которых угадывались ярость и злобная насмешка.

— Ну, что вы об *этом* думаете? — выкрикнул наконец Бартон, хватая ртом воздух.

— Я слышал шум ветра, — ответил доктор ***. — Что же мне думать, ничего особенного в этом нет.

— «Князь, господствующий в воздухе», — пробормотал Бартон, содрогаясь.

— Ну-ну, дорогой сэр, — сказал ученый, пытаюсь ободрить сам себя, ибо даже сейчас, среди бела дня, в нервном возбуждении, жестоко терзавшем посетителя, с беспокойством ощущал что-то заразительное. — Вам не следует поддаваться этим диким фантазиям, сопротивляйтесь порывам воображения.

— Как же, «противостаньте дьяволу, и убежит от вас», — отозвался Бартон по-прежнему мрачно. — Но *как* сопротивляться? В этом вся трудность. Что... *что* мне делать? Что я *могу* сделать?

— Дорогой сэр, все это фантазии, — отвечал книжник, — вы терзаете сами себя.

— Нет-нет, сэр, с фантазиями это не имеет ничего общего, — возразил Бартон с оттенком суровости в голосе. — Эти адские звуки, которые и вы, точно так же как я, только что слышали, — фантазии? Как бы не так. Нет, нет.

— Но вы видели этого человека неоднократно, — сказал священник. — Почему вы не заговорили с ним, не задержали его? Не поторопились ли вы — чтобы не сказать больше — предположить вмешательство сверхъестественных сил, в то время как все происшедшее поддается более простому объяснению, стоит только надлежащим образом поразмыслить?

— Есть некоторые обстоятельства, связанные с этим... *этим явлением*, — не стану объяснять, в чем они заключаются, но я вижу в них доказательства его зловещей природы. Я знаю: существо, которое меня преследует, — не человек. Говорю вам, я это *знаю* и мог бы вам доказать. — Бартон помолчал, а потом добавил: — А заговорить с ним я не решаюсь, не могу; при виде его мне изменяют силы, сама смерть взирает на меня. Я оказываюсь перед лицом торжествующей адской силы, воплощенного зла. Решимость, чувства, память — все отказывает мне. О боже! Боюсь, сэр, вы сами не знаете, о чем говорите. Пощадите, силы небесные, сжальтесь надо мной!

Бартон оперся локтем о стол, прикрыл рукой глаза, словно заслоняясь от какого-то жуткого образа, и принялся вновь и вновь взывать к небесам.

— Доктор, — сказал он, внезапно вставая и умоляюще глядя священнику прямо в глаза, — я уверен, вы сделаете для меня все, что только возможно. Вы знаете теперь о постигшем меня бедствии. Самому мне не спастись, у меня нет надежды, я совершенно бессилён. Заклинаю вас, обдумайте мою историю, и, если способна тут помочь чужая молитва, заступничество доброго человека или что-либо иное, на коленях, именем Всевышнего прошу: протяните мне руку помощи перед лицом смерти. Вступитесь за меня, сжальтесь; я знаю: вы это сделаете, вы не можете мне отказать. Именно затем я и пришел сюда. Даруйте мне напоследок хоть проблеск — малейший проблеск — надежды, а я наберусь храбрости, чтобы выносить час за часом тот кошмар, в который превратилось мое существование.

Доктор *** заверил Бартона, что может только молиться за него от всего сердца и не преминет так и поступить. Их прощание было поспешным и грустным. Бартон сел в ожидавшую его у дверей коляску, задернул шторы и двинулся в путь, а доктор *** вернулся в свою комнату, чтобы на досуге поразмыслить о необычном разговоре, прервавшем его ученые штудии.

Глава VI

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Трудно было ожидать, что странная метаморфоза, приключившаяся с капитаном Бартоном, не сделается в конце концов темой для пересудов. Теорий, объяснявших загадку, было выдвинуто несколько. Одни подозревали тайные денежные потери, другие — нежелание выполнять обязательства, принятые на себя, судя по всему, чересчур поспешно, наконец, третьи — зарождавшуюся душевную болезнь. Последняя гипотеза была признана наиболее вероятной и чаще других склонялась досужими языками.

Как бы ни были малозаметны поначалу признаки происшедшей перемены, от внимания мисс Монтегю они, разумеется, не ускользнули. Близкое общение с будущим мужем, а также естественный к нему интерес давали ей как повод, так и возможность

пустить в ход свою проницательность и наблюдательность — свойства, особо присущие именно женскому полу.

Визиты жениха стали со временем столь нерегулярными, а его рассеянность и беспокойство — столь заметными, что леди Л. после неоднократных намеков высказала наконец свое недоумение вслух и потребовала объясниться.

Объяснения были даны, и поначалу они развеяли худшие тревоги старой леди и ее племянницы, но, поразмыслив немного о вновь открывшихся странных обстоятельствах, которые поистине пагубным образом сказались на состоянии духа и даже рассудке несчастного, обе дамы растерялись.

Генерал Монтегю, отец молодой леди, наконец-то прибыл. Он был немного знаком с Бартоном лет десять-двенадцать тому назад, наслышан о его состоянии и связях и склонялся к тому, что Бартон — идеальная, в высшей степени желанная партия для его дочери. Выслушав рассказ о преследующем Бартона призраке, он рассмеялся и поспешил отправиться к предполагаемому зятю.

— Мой дорогой Бартон, — начал генерал весело после короткой беседы о том о сем, — сестра рассказывает, что вас гложет какой-то ни на что не похожий червячок.

Бартон переменялся в лице и глубоко вздохнул.

— Ну-ну, это уж никуда не годится, — продолжал генерал. — Вы смахиваете на человека, которого ждет виселица, а не алтарь. Этот червячок вам прямо-таки выел все нутро.

Бартон попытался перевести разговор на другую тему.

— Нет-нет, так не пойдет, — заявил гость со смехом, — раз уж я решил быть откровенным, то выскажу все, что думаю про эти ваши страсти-мордасти. Уж не сердитесь, но жалко смотреть, как вы в вашем возрасте до того запуганы, что сделались пай-мальчиком, словно ребенок, которого застрашали букой. Да и было бы чего бояться, а то ведь смех один, как я слышал. В самом деле, когда мне об этом рассказали, я расстроился, но притом сразу понял, что стоит постараться, повести дело с толком, и за неделю, а то и скорее, все прояснится.

— Ах, генерал, вы не знаете... — начал Бартон.

— Знаю достаточно, чтобы не сомневаться в успехе, — прервал его старый вояка. — Я знаю, всем вашим неприятностям виной человек в шапке, пальто и красной фуфайке, со злобной физиономией, который вам по временам является, таскается за вами, набрасывается на вас на перекрестках и доводит до припадков. Так вот, дружище, я берусь поймать этого злосчастного фигляра и либо собственными руками сделаю из него котлету, либо не пройдет и месяца, как его протащат по городу за повозкой, избивая кнутом.

— Если бы вы знали то, что известно мне, — произнес Бартон мрачно и взволнованно, — вы бы так не говорили. Я не настолько слаб, чтобы выносить суждение при отсутствии неопровержимых доказательств. Эти доказательства заключены здесь, здесь. — Он похлопал себя по груди и с тяжким вздохом вновь принялся ходить взад-вперед по комнате.

— Ну-ну, Бартон, — сказал гость, — готов спорить на что угодно: я в два счета поймаю этого призрака, и даже вам все станет ясно.

Генерал продолжал в том же духе, но внезапно вынужден был в испуге умолкнуть, когда Бартон, стоя у окна, отшатнулся, словно оплушенный ударом, и указал рукой на улицу. Лицо и даже губы его побелели, он бормотал: «Там... боже мой, там, там!»

Генерал Монтегю невольно вскочил на ноги и, выплянув в окно гостиной, увидел фигуру, в точности отвечавшую — насколько он смог рассмотреть — описанию того человека, который упорно являлся, чтобы мучить его друга.

Коротышка как раз отходил от низкой ограды дворика, на которую только что опирался. Не задерживаясь долее у окна, старый

джентльмен схватил трость и шляпу и, пылая надеждой схватить таинственного незнакомца и наказать его за дерзость, сломя голову бросился вниз по лестнице.

На улице генерал осмотрелся, но человека, которого только что видел так отчетливо, не обнаружил. Пыхтя, он помчался к ближайшему углу, где рассчитывал увидеть удаляющуюся фигуру, но ничего похожего ему на глаза не попало. Он носился взад-вперед, от одного перекрестка к другому, потеряв голову, пока любопытные взгляды и смеющиеся лица прохожих не подсказали ему, что поиски потеряли всякий смысл. Он резко остановился, опустил свою угрожающе поднятую в порыве ярости трость, поправил шляпу, принял спокойный вид и пошел назад, в глубине души разозленный и взбудораженный. Вернувшись, он обнаружил, что Бартон бледен и дрожит с головы до пят. Несколько секунд оба молчали, но каждый при этом думал о своем. Наконец Бартон прошептал:

— Вы *это* видели?

— *Это?* Ну да, его, то есть того самого... да, видел, — отвечал Монтегю с раздражением. — Но что толку? Он бежит быстрее ветра. Я хотел его *поймать*, но он удрал, не успел я еще добежать до двери. Но не важно, в следующий раз я успею наверняка и, ей-богу, придется ему отведать моей трости.

Что бы ни предпринимал генерал Монтегю, как ни увещевал он будущего зятя, мучения Бартона продолжались, и все по той же необъяснимой причине: его повсюду преследовало, на каждом шагу подстерегало существо, возымевшее над ним столь страшную власть.

Нигде и никогда не был он в безопасности; отвратительное видение преследовало его с упорством поистине дьявольским.

Уныние и беспокойство с каждым днем овладевали Бартоном все больше. Беспрестанные душевные муки стали серьезно сказываться на его здоровье, так что леди Л. и генералу Монтегю легко удалось уговорить его предпринять короткую поездку на континент, в надежде, что смена обстановки прервет цепь ассоциаций, связанных со знакомыми местами. Именно в этих ассоциациях, как предполагали те из друзей Бартона, кто с наибольшим скепсисом относился к возможности сверхъестественного вмешательства, и крылась причина вновь и вновь возникавших нервных иллюзий.

Генерал Монтегю же был убежден, что существо, являвшееся его будущему зятю, ни в коей мере не было плодом воображения, а, напротив, состояло из плоти и крови и одушевлялось решимостью преследовать несчастного джентльмена, намереваясь, судя по всему, сжить его со света.

В этой гипотезе также не заключалось ничего приятного, но было ясно: если удастся убедить Бартона в том, что сверхъестественные, как он считал, феномены на самом деле таковыми не являются, происходящее не станет более наводить на него такой ужас и губительное воздействие на его душевное и физическое здоровье прекратится. Если бы в ходе путешествия, с переменной обстановки, досаждавшие Бартону явления исчезли, он мог бы сделать вывод, что ничего сверхъестественного они в себе не содержат.

Глава VII

БЕГСТВО

Сдавшись на уговоры, Бартон в обществе генерала Монтегю отправился из Дублина в Англию. В почтовой карете они быстро добрались до Лондона, а затем до Дувра, откуда с попутным ветром отплыли на пакетботе в Кале. С тех пор как они покинули берега Ирландии, генерал день ото дня все больше верил в благотворное воздействие поездки на душевное состояние своего спутника: в пути Бартона, к несказанной его радости, ни разу не посещали прежние кошмары, из-за которых он постепенно погрузился в самые глубины отчаяния.

Пришел конец мукам, от которых Бартон уже не чаял избавиться, и он вновь почувствовал себя в безопасности. Все это воодушевляло, и, наслаждаясь своим, как он полагал, избавлением, Бартон предавался счастливым мечтам о будущем, в которое еще недавно не решался заглядывать. Короче говоря, Бартон и его будущий тесть втайне уже поздравляли себя с тем, что о неотступном мучительном наваждении, преследовавшем капитана, можно теперь забыть.

Стоял прекрасный день, и на пристани столпилось множество зевак, пришедших поглазеть на суету, которая сопровождала прибытие пакетбота. Когда Монтегю, немного опередивший Бартона, пробирался сквозь толпу, какой-то небольшого роста человек тронул его за рукав и заговорил на диалекте:

— Месье слишком спешит; так он потеряет в толпе большого джентльмена, что идет следом. Ей-богу, бедный джентльмен вот-вот упадет без чувств.

Монтегю быстро обернулся и увидел, что Бартон и в самом деле смертельно бледен. Монтегю поспешил к нему.

— Дружище, вам нехорошо? — спросил встревоженный генерал.

Монтегю пришлось повторить этот вопрос не один раз, пока Бартон не выдавил из себя:

— Я его видел... там... я видел его!

— *Его?* Этого негодяя... Где он? — выкрикивал генерал, оглядывая толпу.

— Я его видел. Но его уже нет, — повторил Бартон слабым голосом.

— Но где... где вы его видели? Да говорите же, ради бога, — неистовствовал генерал.

— Только что... *здесь*, — последовал ответ.

— Но как он выглядит? Во что одет? Да быстрее же! — подгонял своего спутника взволнованный генерал, готовый молнией метнуться в толпу и схватить обидчика за шиворот.

— Он взял вас за руку, что-то шепнул и указал на меня. Господи, сжался надо мной, мне нет спасения. — В приглушенном голосе Бартона слышалось отчаяние.

Подстегиваемый надеждой и яростью, Монтегю уже ринулся в толпу; но, хотя своеобразное обличье незнакомца живо запечатлелось в его памяти, никого хотя бы отдаленно похожего на эту странную фигуру ему отыскать не удалось.

В бесплодных поисках генерал воспользовался помощью нескольких случайных свидетелей, полагавших, что речь идет об ограблении. Но и их усердие ни к чему не привело, и генерал, запыхавшийся и сбитый с толку, вынужден был в конце концов сдаться.

— Бесполезно, дорогой друг, — произнес Бартон слабым голосом. Бледный как полотно, он походил на человека, которому нанесли смертельный удар. — Его не одолеть. Кем бы он ни был, страшные узы отныне приковали меня к нему... мне нет спасения... нет избавления во веки веков!

— Ерунда, мой дорогой Бартон, не говорите так, — возразил генерал, колеблясь между гневом и страхом. — Послушайте меня, не горюйте, мы еще схватим этого негодяя, немножко терпения — и дело в шляпе.

Однако с того дня не стоило и пытаться внушить Бартону хоть какую-нибудь надежду: он пал духом окончательно.

Неосязаемое и, казалось бы, ничтожное воздействие быстро лишало его жизненных сил, губило разум и здоровье. Он хотел теперь лишь одного: вернуться в Ирландию, где, как он полагал и почти что надеялся, его ждала скорая смерть.

И вот он достиг Ирландии, но первым, что он увидел на берегу, снова было лицо его страшного, неумолимого преследователя. Не только радость жизни, не только упования покинули Бартона — он лишился также и свободы воли. Теперь все решали за него друзья, озабоченные его благополучием, а он лишь безропотно подчинялся.

Отчаявшийся и безвольный, он послушно проделывал все, что они советовали. А те избрали последнее средство: поселить Бартона в доме леди Л. вблизи Клонтарфа и поручить заботам врача, который, между прочим, упорно придерживался мнения, что вся описанная история есть не более чем следствие нервной болезни. Было решено, что Бартон должен неотлучно находиться в доме, причем исключительно в тех комнатах, окна которых выходили во внутренний дворик, ворота же дворика надлежало тщательно запирать.

Указанные меры предосторожности были рассчитаны на то, чтобы в поле зрения капитана не попало случайно какое-нибудь постороннее живое существо; как полагали, в каждом встречном, имевшем хотя бы отдаленное сходство с тем образом, который ему вначале нарисовало воображение, Бартону мерещился его преследователь.

Месяц-другой полного затворничества, с соблюдением вышеописанных условий, и — как рассчитывали друзья — цепь кошмаров будет прервана, а затем постепенно рассеются и укоренившиеся в сознании большого страха и ассоциации, которые питали болезнь и препятствовали излечению.

Самые радужные надежды связывались с жизнерадостной обстановкой и с неусыпными заботами друзей — средством, против которого неспособна устоять и самая упорная ипохондрия.

И вот бедняга Бартон, не осмеливаясь уповать на окончательное избавление от ужаса, отравившего все его существование, поселился в обществе леди Л., генерала Монтегю и своей невесты в новых апартаментах, куда посторонний, которого он так страшился, ни под каким видом не мог проникнуть.

Вскоре неуклонное следование принятому образу действий дало плоды: медленно, но верно к больному стало возвращаться как телесное, так и душевное благополучие. Это не означало, однако, что дело двигалось к полному выздоровлению. Напротив, всякий, кто знал Бартона до его странной болезни, был бы потрясен происшедшей в нем переменой.

При всем том и незначительного улучшения было довольно, чтобы преисполнить благодарностью и восторгом доброжелателей Бартона, в особенности молодую леди, заслуживавшую, пожалуй, не меньшего сочувствия, чем он сам, — и за привязанность к нему, и за то двусмысленное положение, в котором она оказалась ввиду продолжительной болезни жениха.

Прошли неделя, две, месяц — ненавистный преследователь более не появлялся. Пока что лечение шло как нельзя более успешно. Цепь ассоциаций удалось прервать; груз, обременявший измученную душу, был снят; и в этих благоприятных обстоятельствах больной вновь ощутил себя членом человеческого сообщества и начал испытывать если не радость жизни, то хотя бы интерес к ней.

Именно в это время леди Л., владевшая, подобно большинству старых дам того времени, фамильными рецептами и претендовавшая на немалые познания в медицине, послала свою горничную в огород, снабдив ее списком трав, которые надлежало со всем тщанием собрать и доставить хозяйке для известных этой последней надобностей. Горничная, однако, вскоре вернулась, взбудораженная и испуганная, выполнив поручение едва ли наполовину. Оправдывая свое бегство и страх, она поведала вещи столь странные, что у старой леди голова пошла кругом.

Глава VIII

УМИРОТВОРЕННЫЙ

По словам горничной, она, выполняя поручение хозяйки, отправилась, куда ей было велено, и приступила к отбору трав из тех,

что буйно разрослись в забытом уголке огорода. За этим приятным занятием она сама не заметила, как стала напевать одну старинную песенку — «чтобы не соскучиться», как она пояснила. Вскоре, однако, ей пришлось умолкнуть, потому что послышался чей-то злобный смех. Она подняла глаза и через живую изгородь, окружавшую сад, увидела какого-то маленького человечка на редкость неприятного обличья. Незнакомец (в лице его читались злоба и ненависть) стоял прямо напротив нее по ту сторону кустов боярышника, которые ограждали сад.

Горничная рассказывала, что застыла на месте ни жива ни мертва, а человек тем временем дал ей поручение к капитану Бартону. Как ей отчетливо вспоминалось, смысл сказанного сводился к следующему: пусть, дескать, капитан Бартон, как раньше, выходит погулять и покалякать с друзьями, в противном же случае он дождетя, что гости нагрянут прямо к нему.

В довершение всего незнакомец с угрожающим видом спустился в канаву, которая опоясывала изгородь снаружи, схватился за стволы боярышника и сделал вид, будто собирается пролезть через изгородь, — судя по всему, это не составило бы для него большого труда.

Девушка, конечно, не стала ожидать дальнейшего развития событий, а, уронив на землю свой драгоценный чабрец и розмарин, сломя голову кинулась в дом. Леди Л. наказала ей под угрозой немедленного увольнения никому ни слова не говорить о происшедшем, а сама тем временем разослала слуг на поиски незнакомца. Обыскали сад и близлежащие поля, но, как обычно, безуспешно. Охваченная дурными предчувствиями, леди Л. рассказала о случившемся брату. Эта история долгое время хранилась в тайне — в особенности, разумеется, от Бартона, чье здоровье медленно, но верно шло на поправку.

Между тем Бартон начал иногда прогуливаться во дворе, упомянутом мною выше. Дом был обнесен сплошной высокой стеной, полностью скрывавшей от глаз улицу. Бартон чувствовал себя здесь в безопасности и мог бы и дальше наслаждаться покоем, если бы один из конюхов не ослушался по беспечности хозяйских распоряжений. Двор сообщался с улицей через деревянные ворота, в которых имелась калитка. С внешней стороны ворота защищала железная решетка.

Было дано строжайшее указание тщательно запирасть оба замка. Несмотря на это, однажды, когда Бартон, как обычно, медленно мерил шагами тесный двор и собирался, упершись в стену, повернуть назад, он увидел, что деревянная калитка распахнута настежь, а через железную решетку на него неотрывно смотрят глаза его мучителя. На несколько секунд он застыл — онемевший и бледный — под чарами этого ужасного взгляда, а потом без чувств рухнул на плиты двора.

Там его вскоре и нашли, а затем отнесли в комнату, которую ему не суждено уже было покинуть живым. С тех пор в его характере произошла решительная и необъяснимая перемена. Новый капитан Бартон не походил на прежнего, возбужденного, впавшего в отчаяние; да, произошла странная метаморфоза: в душе Бартона воцарилось непонятное спокойствие — предвестие могильного покоя.

— Монтегю, друг мой, борьба уже близится к концу, — говорил Бартон невозмутимым тоном, но с благоговейным страхом в остановившемся взоре. — Мир духов, до сих пор каравший меня, дарует мне ныне малую толику утешения. Теперь я знаю: избавление не за горами.

Монтегю попросил его продолжать.

— Да, — произнес Бартон кротким голосом, — срок искупления почти уже истек. Скорбь моя, вероятно, пребудет со мною вечно, но муки прекратятся очень скоро. Мне даровано утешение, и все превратности, что еще выпадут на мою долю, я снесу покорно, более того — с надеждой.

— Мне радостно слышать, дорогой Бартон, такие благостные речи, — отозвался Монтегю, — спокойствие и веселость как раз и требуются, чтобы воспрянуть духом.

— Нет, нет, этому не бывать, — последовал печальный ответ, — к жизни мне уже не возродиться. Я скоро умру. Мне предстоит еще один лишь раз увидеть его, и все будет кончено.

— Это он вам так сказал?

— Он? Нет-нет, ему ли приносить мне добрые известия, а это весть добрая и желанная. Как величаво и мелодично она прозвучала, с какой непередаваемой любовью и печалью! Но об этом я умолчу, чтобы не сказать лишнего о событиях и людях недавнего прошлого. — Бартон говорил, а по щекам его катились слезы.

— Ну-ну, — проговорил Монтегю, не звавший истинной причины волнения Бартона, — не стоит отчаиваться. Ведь дело выеденного яйца не стоит: причудилась раз-другой какая-то ерунда, или, на худой конец, вмешался какой-то хитрый негодяй, который упивается своей властью над вами и любит ее испытывать, — подлый мошенник на вас обозлился и сводит счеты таким образом, не осмеливаясь действовать, как подобает мужчине.

— Обозлился... Да, так оно и есть, — произнес Бартон, внезапно задрожав всем телом, — именно обозлился, как вы говорите, и не зря. О боже! Когда при попустительстве Божественного правосудия воздаяние измышляет враг рода человеческого, когда он вкладывает карающий меч в руки существа потерянного, жертвы греха, когда этот последний своей гибелью обязан именно тому, кто ныне отдан ему во власть, — тогда воистину муки и мытарства ада можно изведать здесь, на земле. Однако небеса сжалились надо мной: у меня наконец появилась надежда, и если в смертный час я буду избавлен от того ужасающего образа, который обречен видеть вседневно, то закрою глаза с радостью в душе. Но хотя смерть для меня желанная гостья, меня охватывает неизъяснимый страх, панический ужас, когда я думаю о последней встрече с этим... этим демоном, который привел меня на край бездны и готовится столкнуть вниз. Мне предстоит увидеть его еще раз, и заключительная встреча будет самой страшной из всех.

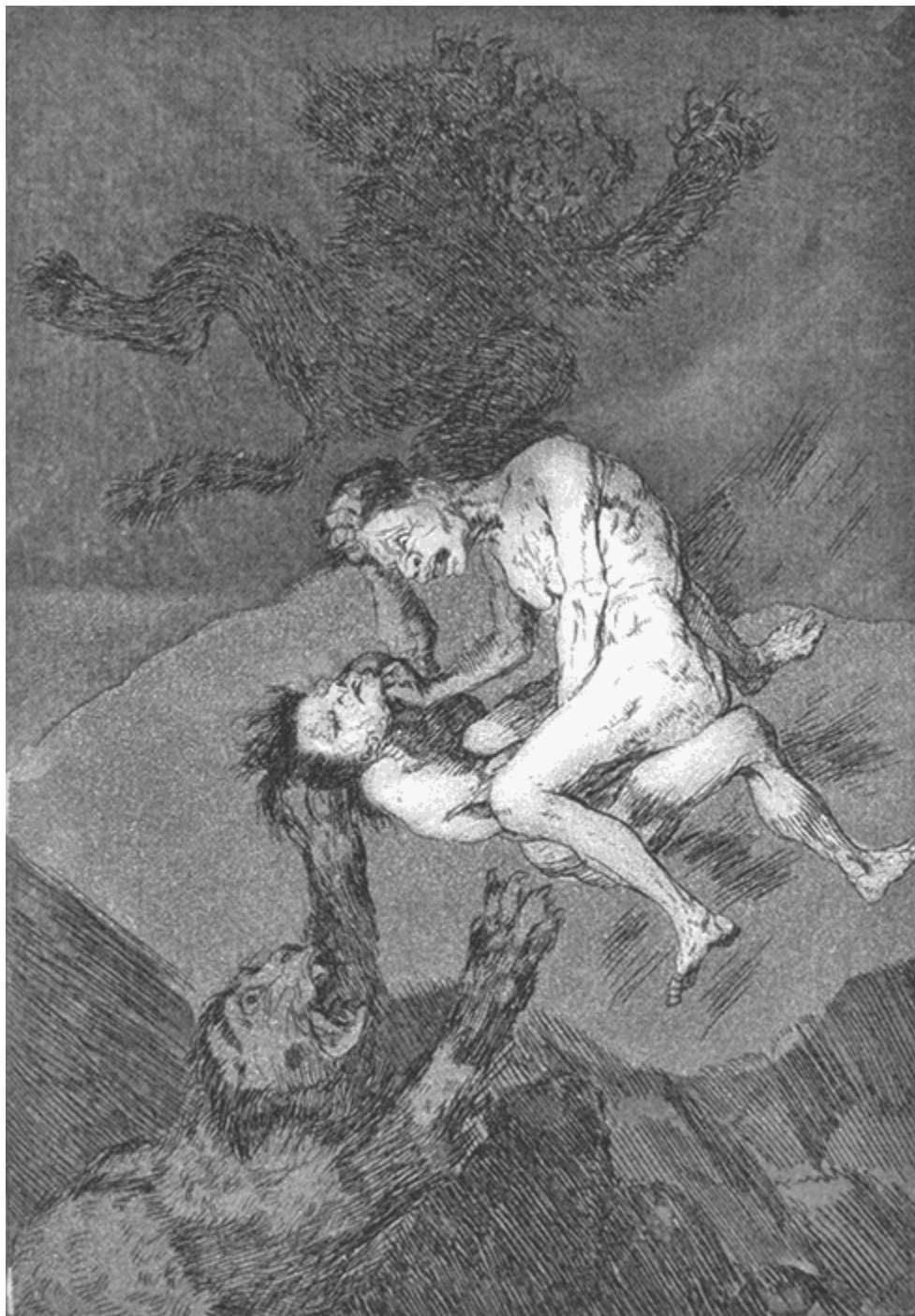
Когда Бартон произносил эти слова, его била такая сильная дрожь, что Монтегю при виде столь внезапного и крайнего смятения встревожился и поспешил перевести разговор на прежнюю тему, оказавшую на больной рассудок его друга успокоительное воздействие.

— Это был не сон, — сказал Бартон, немного помолчав, — это было какое-то иное состояние. Окружающая обстановка, при всей ее непривычности и странности, выглядела так же ясно и живо, как то, что мы видим сейчас. Это была реальность.

— И что же вам явилось? — последовал нетерпеливый вопрос.

— Я медленно, очень медленно приходил в сознание после обморока (это произошло, когда мне попался на глаза *он*), — продолжал Бартон, словно не слыша собеседника. — Оказалось, что я лежу на берегу большого озера, вдали со всех сторон виднеются

окутанные туманом холмы, и все вокруг залито нежным розовым светом. Это было зрелище, исполненное необычайной печали и одиночества, но подобной красоты мне не доводилось созерцать нигде. Моя голова покоилась на коленях какой-то девушки, и та пела песню, в которой — то ли словами, то ли мелодией — говорилось обо всей моей жизни: о прошедшем, равно как и о будущем. Во мне пробудились давно забытые чувства, и из глаз моих полились слезы; виной тому были и таинственная красота песни, и неземная нежность голоса. А ведь мне был знаком этот голос — о, как он мне запомнился! Очарованный, я слушал и наблюдал, не шевелясь и едва дыша, и — увы! — не догадывался перевести взгляд с дальних предметов на близкие — столь прочно, хотя и нежно, завладело мной волшебство. А потом и песня, и пейзаж стали медленно растворяться в воздухе, пока вновь не воцарились темнота и безмолвие. Вслед за тем я вернулся в здешний мир, прибодрившись (вы это заметили), ибо многое мне простилось. — Бартон снова залился слезами и плакал долго и горько.



«Невероятно!»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Две ведьмы крепко повздорили, которая из них сильнее в бесовском деле. Трудно поверить, что Косматая и Кудлатая способны на такую потасовку. Дружба — дочь добродетели: злодеи могут быть только сообщниками, но не друзьями



«Какие важные персоны!»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

На картинке — два почтенных и сановитых ведьмака. Они выехали верхом, чтобы поразмяться

С того дня, как мы уже говорили, Бартон почти безраздельно предался глубокой и спокойной печали. Но время от времени спокойствие изменяло ему. Бартон, нимало не сомневаясь, ожидал еще одной, последней встречи со своим преследователем, причем столь ужасной, что она затмит все предыдущие. Предвидя будущие несказанные муки, он неоднократно впадал в такие пароксизмы самого жалкого страха и отчаяния, что всех домашних охватывал суеверный ужас. Даже те из них, кто вслух отрицал возможность вмешательства потусторонних сил, среди ночного безмолвия нередко отдавали тайную дань малодушию, и никто не сделал попытки отговорить Бартона, когда тот принял (и стал неукоснительно выполнять) решение затвориться отныне в своей комнате. Шторы здесь были всегда тщательно задернуты; почти неотлучно, день и ночь, при Бартоне находился слуга — даже кровать его помещалась в комнате хозяина.

На этого человека, преданного и достойного доверия, в дополнение к обычным обязанностям слуги — необременительным, так как Бартон не любил пользоваться посторонней помощью, — возлагалась также задача следить за соблюдением тех простых мер предосторожности, благодаря которым его хозяин надеялся обезопасить себя от вторжения Наблюдателя. Кроме упомянутых мер, сводившихся в первую очередь к тому, чтобы тщательно закрывать двери и задергивать шторы на окнах, дабы хозяин не подвергся зловредному воздействию извне, слуге было вменено в обязанность ни в коем случае не оставлять хозяина одного, ибо мысль о полном одиночестве, пусть даже кратковременном, сделалась для Бартона столь же невыносимой, сколь и идея отказаться от затворничества и вернуться к светской жизни. Бартон инстинктивно предчувствовал событие, которому суждено было свершиться в скором времени.

Глава IX

REQUIESCAT^[40]

Не знаю, нужно ли говорить, что в сложившихся обстоятельствах не могло быть и речи о выполнении матримониальных обязательств. Между молодой леди и Бартоном существовала слишком большая разница в годах и, разумеется, в привычках, чтобы ожидать от невесты

бурной страсти или нежных чувств. Да, она была опечалена и встревожена, но сердце ее отнюдь не было разбито.

Как бы то ни было, мисс Монтегю посвятила немало времени и терпения безуспешным попыткам подбодрить несчастного больного. Она читала ему вслух, занимала его беседой, но было очевидно, что все его усилия, все старания вырваться из цепких когтей страха совершенно бесплодны.

Молодые дамы обычно с большой благосклонностью относятся к домашним животным. В число любимцев мисс Монтегю входила старая сова, которую в свое время садовник поймал в плюще, обвивавшем развалины конюшни, и почтительно преподнес юной госпоже.

При выборе фаворита люди руководствуются не разумом, а капризом. Примером тому может послужить нелепое предпочтение, которого с первого же дня удостоила зловещую и несимпатичную птицу ее хозяйка. Эту маленькую причуду мисс Монтегю не стоило бы и упоминать, если бы не роль, которую она, как ни странно, сыграла в заключительной сцене моей истории.

Бартон, дотоле разделявший пристрастия своей невесты, с первого дня проникся к ее любимице отвращением столь же яростным, сколь и необъяснимым. Ему нестерпимо было находиться с совой в одной комнате. Он ненавидел и боялся ее со страстью поистине смешной. Людям, не знакомым с подобными чувствами, эта антипатия покажется невероятной.

Дав таким образом предварительные пояснения, я начну в подробностях описывать заключительную сцену, последнюю в ряду странных событий. Однажды зимней ночью, когда стрелки часов приблизились к двум, Бартон, как обычно в это время суток, лежал в постели. Слуга, упомянутый нами выше, занимал кровать поменьше в той же комнате; спальня была освещена. И вот слугу внезапно разбудил голос хозяина:

— Никак не могу выбросить из головы проклятую птицу, все кажется, что она выбралась на свободу и прячется где-то здесь, в углу. Она мне только что приснилась. Вставай, Смит, поищи ее. Не сон, а настоящий кошмар!

Слуга поднялся с постели и стал осматривать комнату. Вскоре ему почудились хорошо знакомые звуки, более похожие на хрип, чем на

птичий посвист. Именно такими звуками совы, притаившись где-нибудь, спугивают ночное безмолвие.

Уверившись в близости ненавистного хозяину создания (звук доносился из коридора, куда выходила комната Бартона), слуга понял, где продолжать поиски. Он приотворил дверь и шагнул за порог, намереваясь прогнать птицу. Но стоило ему отойти от двери, как та тихо захлопнулась — видимо, под действием легкого сквозняка. Вверху, однако, помещалось окошечко, пропускавшее в коридор свет, и, поскольку в комнате горела свеча, слуге не пришлось блуждать в потемках.

В коридоре он услышал, что хозяин зовет его (очевидно, тот, лежа в постели с задернутым пологом, не видел, как слуга вышел) и велит поставить свечу на столик у кровати. Слуга был уже довольно далеко и потому, чтобы не разбудить домашних, молча поспешил обратно, стараясь ступать бесшумно. И вдруг, к своему изумлению, он услышал, как чей-то спокойный голос откликнулся на зов; взглянув на окошко над дверью, слуга обнаружил, что источник света медленно перемещается, словно в ответ на приказание хозяина.

Парализованный страхом, к которому примешивалось любопытство, слуга стоял у порога ни жив ни мертв, не решаясь открыть дверь и войти. Послышалось шуршание полога, тихий голос, словно бы убаюкивавший ребенка, и тут же прерывистые восклицания Бартона: «Боже мой! Боже мой!» — и так несколько раз. Наступила тишина, потом ее вновь прервал убаюкивающий голос, и наконец раздался жуткий, душераздирающий вопль, исполненный предсмертной тоски. В неопишемом ужасе слуга бросился к двери и налег на нее всем телом. Но то ли он в волнении неправильно повернул ручку, то ли дверь действительно была заперта изнутри — так или иначе, войти ему не удавалось. Он тянул и толкал, а в комнате все громче и неистовей повторялись вопли, сопровождавшиеся теми же приглушенными звуками.

Похолодевший от страха, едва осознавая, что делает, слуга помчался по коридору прочь. На верхней площадке лестницы он наткнулся на перепуганного генерала Монтегю. Лишь только они встретились, жуткие крики стихли.

— Что это? Кто... где твой хозяин? — бессвязно восклицал Монтегю. — Что-то... Ради бога, что случилось?

— Боже милосердный, все кончено, — проговорил слуга, кивая в сторону комнаты хозяина. — Он мертв, сэр, ручаюсь, что он умер.

Не требуя дальнейших объяснений, Монтегю поспешил к комнате Бартона. Слуга следовал за ним по пятам. Монтегю повернул ручку, и дверь отворилась. Тут же, издав протяжный потусторонний крик, внезапно сорвалась с дальнего конца кровати зловещая птица, за которой охотился слуга. Она едва не задела в дверном проеме генерала и его спутника, по дороге загасила свечу в руках Монтегю и, пробив слуховое окно, растворилась в окружающей тьме.

— Вот она где, Господи помилуй, — шепнул слуга, прервав напряженное молчание.

— Черт бы побрал эту птицу, — пробормотал Монтегю, не сумевший скрыть свой испуг при внезапном появлении совы.

— Свеча не на месте, — заметил слуга после еще одной паузы, указывая на горящую свечу. — Смотрите, ее кто-то поставил рядом с кроватью.

— Отдерни-ка полог, приятель, нечего попусту стоять и глазеть. — Голос генерала звучал тихо, но сурово.

Слуга замешкался в нерешительности.

— Тогда поддержи, — сказал Монтегю, торопливо сунув ему в руку подсвечник, приблизился к кровати и сам откинул полог. Свет упал на бесформенную фигуру, полусидевшую в изголовье. Несчастный откинулся назад, стараясь, казалось, вжаться в стенную панель; руки его все еще цеплялись за одеяло.

— Бартон, Бартон, *Бартон!* — Голос генерала прерывался от волнения, к которому примешивался благоговейный трепет. Генерал взял свечу и поднес ее к лицу Бартона, застывшему и побелевшему. Челюсть Бартона отвисла, открытые глаза незряче вперились в пространство. — Боже всемогущий, он мертв, — вырвалось у генерала при виде этого страшного зрелища.

Минуту-другую оба стояли молча.

— И уже похолодел, — шепнул Монтегю, потрогав руку мертвеца.

— Смотрите, смотрите, сэр, — содрогаясь, прервал слуга вновь наступившее молчание, — чтоб мне провалиться, здесь что-то лежало, у него в ногах. Вот здесь, сэр, здесь.

Он указывал на пубокую вмятину в постели — по-видимому, след от какого-то тяжелого предмета.

Монтегю безмолвствовал.

— Пойдемте отсюда, сэр, ради бога, пойдемте, — прошептал слуга, схватив генерала за рукав и испуганно осматриваясь. — Ему уже ничем не поможешь. Пойдемте, бога ради!

Тут же послышались шаги — к комнате приближалось несколько человек. Монтегю поспешно приказал слуге остановить их, а сам попытался высвободить из мертвой хватки покойника одеяло и по возможности придать жуткой фигуре лежачее положение. Затем он, тщательно задернув полог, вышел навстречу домашним.

Вряд ли имеет смысл проследивать дальнейшую судьбу второстепенных персонажей моего повествования; достаточно сказать, что ключа к разгадке таинственных событий сыскать так и не удалось. Ныне, когда утекло уже немало воды после завершающего эпизода этой странной и необъяснимой истории, трудно надеяться, что время прольет на нее новый свет. Пока не наступит день, когда на земле не останется более ничего сокровенного, она пребудет под покровом неизвестности.

В прошлом капитана Бартона обнаружилось лишь одно происшествие, которое молва связала с муками, пережитыми им в его последние дни. Он и сам, судя по всему, рассматривал случившееся с ним как кару за некий совершенный в свое время тяжкий грех. Об упомянутом событии стало известно, когда со дня смерти Бартона прошло уже несколько лет. При этом родственникам Бартона пришлось пережить немало неприятных минут, а на его собственное доброе имя была брошена тень.

Оказалось, что лет за шесть до возвращения в Дублин капитан Бартон, будучи в Плимуте, вступил в незаконную связь с дочерью одного из членов своей команды. Отец сурово — более того, жестоко — покарал несчастное дитя за слабость. Рассказывали, что девушка умерла от горя. Догадываясь, что Бартон был соучастником ее греха, отец стал вести себя по отношению к нему подчеркнуто дерзко. Возмущенный этим, а главное, безжалостным обхождением с несчастной девушкой, Бартон неоднократно пускал в ход те непомерно жестокие меры поддержания дисциплины, какие дозволяются военно-морским уставом. Когда судно стояло в неаполитанском порту, моряку удалось бежать, но вскоре, как

рассказывали, он умер в городском госпитале от ран, полученных во время очередной кровавой экзекуции.

Связаны эти события с дальнейшей судьбой капитана Бартона или нет, сказать не берусь. Однако весьма вероятно, что сам Бартон такую связь усматривал. Но чем бы ни объяснялось таинственное преследование, которому он подвергся, в одном сомневаться не приходится: что за силы здесь замешаны, никому не дано узнать вплоть до Судного дня.

1851/1872

Брэм Стокер

(1847–1912)

Дом Судьи

Пер. с англ. С. Антонова

Когда до экзамена оставалось совсем немного времени, Малкольм Малкольмсон надумал уехать куда-нибудь, где никто не мешал бы его подготовке. Его пугали соблазны курортных местечек, равно как и уединенность сельской глубинки, ибо он не понаслышке знал ее очарование; посему он вознамерился найти какой-нибудь тихий маленький городок, в котором ничто не отвлекало бы его от учебы. С друзьями советоваться он не стал: они наверняка принялись бы рекомендовать ему места, где побывали сами и где успели завести знакомства. Малкольмсону, желавшему избежать внимания друзей, их собственные друзья, конечно, тем более оказались бы в тягость; поэтому он решил подыскать подходящий для его планов городок, не обращая ни к чьей помощи. Уложив в чемодан одежду и необходимые для занятий книги, он прибыл на вокзал и взял билет до станции с незнакомым названием, выбранным наугад в расписании местных поездов.

Спустя три часа, выйдя из вагона в Бенчерче, Малкольмсон ощутил удовлетворение от того, как удачно он замел следы и тем самым обеспечил себе возможность спокойно предаться своим штудиям. Он направился напрямик в единственную гостиницу этого сонного городка и остановился там на ночь. Раз в три недели в Бенчерче устраивались ярмарки, и в такие дни его наводняла шумная толпа, но в остальное время он походил на пустыню. Наутро Малкольмсон решил снять жилье еще более уединенное, чем его тихая комнатка в гостинице «Добрый путник», и занялся поисками. Лишь один дом пришелся ему по вкусу, поскольку безоговорочно отвечал самым оригинальным представлениям о тихом месте; впрочем, назвать этот дом тихим было бы неточно — передать всю меру его уединенности могло разве что слово «запустение». Это было старое, внушительных размеров здание в яcobитском стиле, с множеством пристроек,

массивными фронтонами и при этом необычайно маленькими окнами, которые располагались выше, чем принято в домах подобного типа, окруженное высокой и мощной кирпичной стеной. При ближайшем рассмотрении оно напоминало скорее крепость, чем жилой дом. Но все это как нельзя более приглянулось Малкольмсону. «Вот, — подумал он, — именно то, что я искал, и, если мне удастся здесь поселиться, я буду просто счастлив». Радость его возросла еще больше, когда он понял, что в настоящее время дом, несомненно, пустует.

На почте он выяснил имя агента по найму и при встрече до крайности удивил его, сообщив, что намерен арендовать часть старого особняка. Мистер Карнфорд, местный адвокат и агент по продаже и найму недвижимости, оказался добродушным пожилым джентльменом, который пришел в откровенный восторг от того, что сыскался человек, желающий обосноваться в упомянутом доме.

— По правде говоря, — сказал он, — на месте владельцев я был бы счастлив сдать кому-нибудь этот дом на несколько лет совершенно бесплатно, хотя бы для того, чтобы здешние жители привыкли видеть его обитаемым. Он так долго пустует, что насчет него сложилось какое-то нелепое предубеждение, и самый лучший способ развеять его — это появление в доме жильца, пусть даже, — тут он не без иронии глянул на Малкольмсона, — ученого вроде вас, который временно нуждается в тишине и покое.

Малкольмсон счел излишним расспрашивать агента о «нелепом предубеждении», поскольку не сомневался, что в случае необходимости всегда сможет найти в округе того, кто сполна удовлетворит его любопытство. Он внес арендную плату за три месяца, получил расписку и адрес пожилой женщины, которую можно было нанять для поденной работы по дому, и ушел с ключами в кармане. Затем Малкольмсон отправился к хозяйке гостиницы, радушной и весьма общительной особе, и испросил у нее совета насчет того, какие товары и провизия ему вероятнее всего могут понадобиться. Когда он сказал ей, где намерен поселиться, она в изумлении всплеснула руками.

— Только не в Доме Судьи! — побледнев, воскликнула она.

Он описал ей местонахождение дома, прибавив, что не знает его названия.

— Да, так и есть, то самое место! — отозвалась она. — Дом Судьи, он самый!

Малкольмсон попросил ее рассказать, что это за дом, почему он так называется и чем заслужил свою дурную славу. Хозяйка гостиницы поведала ему, что лет сто назад, а то и больше — сколько именно, она не могла сказать, так как была родом из других краев, — этот дом принадлежал судье, наводившему на округу ужас своими жестокими приговорами и проявлявшему откровенную враждебность к обвиняемым. Почему сам дом, прозванный местными жителями Домом Судьи, снискал скверную репутацию, она не знала. Она многих спрашивала об этом, но не смогла выяснить ничего конкретного; однако все сходились на том, что в доме обитает *нечто*, и лично она даже за все золото банкира Дринкуотера не согласилась бы провести там хотя бы час в одиночестве. На сем хозяйка спохватилась и принялась извиняться перед Малкольмсоном за то, что тревожит его своей болтовней.

— Нехорошо с моей стороны говорить это — уж простите меня, сэр, — но вы поступаете очень неразумно, собираясь жить там совсем один! К тому же вы так молоды! Будь вы моим сыном — извините мне и эти слова! — я не позволила бы вам провести там ни единой ночи, даже если бы мне пришлось для этого отправиться туда и ударить в большой набатный колокол на крыше!

Добрая женщина выглядела столь серьезной и была явно исполнена столь добрых намерений, что, хотя ее слова и позабавили Малкольмсона, он оказался тронут ее заботой. Сердечно поблагодарив ее за участие, студент добавил:

— Но, дорогая миссис Уизэм, у вас нет никаких оснований тревожиться за меня! Тому, кто готовится к выпускному экзамену по математике в Кембридже, есть о чем подумать, кроме какого-то таинственного «нечто». Предмет этих занятий слишком точен и прозаичен, чтобы позволить моим мыслям хоть отчасти отвлечься на какие бы то ни было загадки. Мне вполне достанет загадок, заключенных в гармонической прогрессии, превращениях, сочетаниях и эллиптических функциях!

Миссис Уизэм любезно предложила позаботиться о необходимых ему покупках, и Малкольмсон отправился к пожилой поденщице, которую порекомендовал нанять мистер Карнфорд. Спустя пару часов,

придя с нею в Дом Судьи, он обнаружил возле него хозяйку гостиницы, нескольких мужчин и мальчишек, нагруженных тюками, и приказчика из мебельного магазина, с кроватью в повозке (поскольку миссис Уизэм заключила, что если прежние столы и стулья, возможно, еще сгодятся, то на ветхой и затхлой кровати, которой не пользовались добрых полвека, юноше почивать не следует). Миссис Уизэм явно сгорала от желания увидеть дом изнутри и в сопровождении студента, преодолевая непритворный страх перед пресловутым «нечто», заставлявший ее при малейшем шорохе вцепляться в Малкольмсона, которого она не оставляла ни на миг, обошла все комнаты особняка.

Осмотрев дом, Малкольмсон решил обосноваться в просторной столовой, где можно было устроиться со всеми удобствами, и миссис Уизэм с помощью миссис Демпстер, поденщицы, принялась обустраивать помещение. В столовую внесли и распаковали корзины с едой, и Малкольмсон увидел, что хозяйка «Доброго путника» с заботливой предусмотрительностью прислала съестных припасов из собственной кухни, которых ему должно было хватить на ближайшие дни. Перед уходом она пожелала ему всяческого благополучия, а уже в дверях обернулась и добавила:

— Эта комната такая большая и с такими сквозняками, сэр, что, наверное, вам стоит по ночам придвигать к кровати одну из тех широких ширм, — хотя, по правде говоря, я бы померла со страху, очутись я за этой загородкой в окружении всяких... всяких тварей, которые станут высовывать свои головы с боков и сверху и тарашиться на меня!

Этот образ, созданный собственным воображением, оказался настолько непереносим для нервов миссис Уизэм, что она незамедлительно ретировалась.

Как только хозяйка гостиницы ушла, миссис Демпстер высокомерно фыркнула и заявила, что лично ее не испугают все привидения королевства, вместе взятые.

— Я скажу вам, что это такое, сэр, — продолжала она. — Это все, что угодно, только не привидения! Это крысы и мыши, жуки и скрипучие двери, расшатанная черепица, треснувшие оконные стекла, тугие ручки в ящиках стола, которые отказываются повиноваться днем и высвобождаются сами собой посреди ночи. Взгляните на стенные

панели здесь, в этой комнате, — им, наверное, не одна сотня лет! Думаете, за ними не скрываются жучки да крысы? И неужто вы воображаете, что они не покажутся на свет? Говорю вам, привидения — это крысы, а крысы — это привидения, и не нужно тут искать иных разгадок!

— Миссис Демпстер, — серьезным тоном произнес Малкольмсон, отвесив учтивый поклон, — вы знаете больше, чем лучшие выпускники-математики Кембриджа! И позвольте в знак восхищения вашим бесспорным здравомыслием и бесстрашием заверить вас, что, когда я уеду, этот дом останется в полном вашем распоряжении и вы сможете жить здесь еще целых два месяца, до конца срока аренды, ведь для моих целей хватит и четырех недель.

— Премного благодарна вам, сэр! — ответила она. — Но я не могу и ночи провести вне дома. Я ведь живу в приюте Гринхау, и, если там заметят мое отсутствие, я потеряю все средства к существованию. Правила у нас очень строги, и желающих занять мое место в приюте предостаточно, так что я не стану рисковать. Если бы не это, сэр, я бы с радостью перебралась сюда и прислуживала бы вам все время, пока вы здесь живете.

— Дорогая миссис Демпстер, — поспешно проговорил Малкольмсон, — я приехал сюда, чтобы побыть в уединении, и, поверьте, признателен покойному Гринхау за его замечательный приют и за строгие правила, которые так или иначе избавляют меня от упомянутого искушения! Сам святой Антоний в подобной ситуации не мог бы проявить большей твердости!

Пожилая женщина отрывисто рассмеялась.

— Ох уж эта молодежь, — сказала она, — ничего-то вы не боитесь. Что ж, вероятно, вы найдете здесь вдоволь уединения, коего ищете.

Миссис Демпстер принялась за работу, и к вечеру, вернувшись с прогулки (которую он, как всегда, совершал с учебником в руках), Малкольмсон нашел комнату подметенной и тщательно прибранной; в старинном камине полыхал огонь, а на столе, рядом с зажженной лампой, юношу ожидал превосходный ужин — плод щедрости миссис Уизэм.

— Вот теперь здесь по-настоящему уютно, — сказал он себе, потирая руки.

Отужинав, Малкольмсон передвинул поднос с посудой на противоположный край длинного дубового обеденного стола, достал свои книги, подбросил поленьев в очаг, подрезал фитиль лампы и с головой ушел в работу. Он засиделся за учебниками до одиннадцати часов вечера, после чего решил сделать перерыв, чтобы поправить огонь в камине и в лампе и приготовить себе чаю. Он всегда любил почаевничать и, когда учился в колледже, нередко допоздна засиживался за книгами, выпивая за ночь не одну чашку. Отдых был для него великой роскошью, и Малкольмсон смаковал минуту за минутой с чувством восхитительной сладострастной неги. От порции свежих поленьев пламя в камине, заискрившись, взметнулось вверх и отбросило на стены большой старинной комнаты замысловатые тени. Прихлебывая маленькими плотками горячий чай, юноша наслаждался чувством отъединенности от окружающего мира — и вдруг впервые заметил, какую возню подняли крысы.

«Конечно, — подумал он, — они не могли так шуметь все то время, пока я читал, иначе я бы их услышал!»

Шум усилился, убедив Малкольмсона в правильности этого предположения. Было ясно, что поначалу крысы пугались присутствия незнакомца, огня в камине и света лампы, но постепенно они осмелели и предались своей всегдашней возне.

В каком оживлении они пребывали — и какие странные издавали звуки! Они сновали вверх и вниз по старым стенным панелям, над потолком и под полом, грызя и царапая дерево. Малкольмсон улыбнулся, вспомнив афоризм миссис Демпстер: «Привидения — это крысы, а крысы — это привидения!» Чай начал ободряюще действовать на его ум и нервы, и юноша, в радостной надежде закончить до утра значительную часть работы и преисполнившись уверенности в своих силах, позволил себе немного отвлечься, чтобы как следует осмотреть комнату. Взяв со стола лампу, он двинулся через столовую, дивясь тому, что такой красивый, очаровательно старомодный дом мог пустовать столь долгое время. Дубовые панели обшивки украшала затейливая резьба, а на дверях и дверных косяках, на окнах и ставнях она была еще великолепней и изысканней. Несколько старинных полотен, развешанных по стенам, покрывал такой густой слой пыли и грязи, что, как ни тянул Малкольмсон вверх лампу, ему ничего не удалось разглядеть. Обходя столовую, он замечал

в стенах многочисленные щели и дыры, из которых то и дело высовывались на мгновение крысиные мордочки с ярко блестящими в свете лампы глазками и тут же исчезали, после чего слышались писк и шорох. Но сильнее всего его воображение поразила веревка установленного на крыше большого набатного колокола, свисавшая с потолка в углу комнаты, справа от камина. Малкольмсон придвинул к очагу массивное резное дубовое кресло с высокой спинкой и уселся в него, чтобы выпить последнюю чашку чая. Потом он снова подкинул поленьев в огонь и вернулся к своим ученым занятиям, расположившись у края стола, так, чтобы камин был слева от него. Какое-то время крысы докучали ему своей непрерывной беготней, но постепенно он привык к этому шуму, как привыкает человек к тиканью часов или журчанию ручья, и настолько погрузился в работу, что забыл обо всем на свете, кроме задачи, которую пытался решить.

Внезапно он оторвал взгляд от листка с незавершенным тестом, ощутив приближение того предрассветного часа, которого так страшится нечистая совесть. Крыс не было слышно. Малкольмсону показалось, что затихли они совсем недавно и что именно это отсутствие уже привычного шороха и привлекло его внимание. Огонь в камине заметно потускнел, но все еще озарял комнату темно-алым мерцанием, и то, что увидел юноша в этих бликах, заставило его содрогнуться, несмотря на свойственную ему *sang froid*^[41].

Справа от камина, на массивном резном дубовом кресле с высокой спинкой, сидела, злобно уставившись на Малкольмсона, огромная крыса. Он двинулся к креслу, рассчитывая ее спугнуть, однако крыса не шелохнулась. Тогда он сделал вид, будто что-то швыряет в нее. Она и тут не стронулась с места, но хищно оскалила крупные белые зубы, и ее немигающие глаза полыхнули в свете настольной лампы каким-то мстительным огнем.

Пораженный увиденным, Малкольмсон схватил каминную кочергу и кинулся на крысу с намерением ее прибить. Но прежде, чем он успел нанести удар, тварь с пронзительным визгом, полным ненависти, спрыгнула на пол, уцепилась за веревку набатного колокола и, стремительно вскарабкавшись по ней наверх, исчезла в темноте, сгущавшейся за пределами светового пятна от лампы с зеленым абажуром. И сразу же странным образом возобновилась шумная беготня крыс за стенными панелями.

К этому времени Малкольмсон напрочь позабыл о нерешенной задаче и, когда резкий крик петуха за окном возвестил о наступлении утра, отправился спать.

Он спал так крепко, что даже появление миссис Демпстер не смогло его разбудить. Только когда она, прибрав в комнате и приготовив завтрак, постучала по ширме, которой Малкольмсон загородил кровать, он наконец протер глаза. Он чувствовал себя немного утомленным после усердной ночной работы, но чашка крепкого чая придала ему бодрости, и он отправился на утреннюю прогулку, взяв с собой книгу и несколько сандвичей, чтобы можно было не возвращаться домой до самого обеда. Где-то на окраине города он нашел тихую аллею, обсаженную высокими вязами, и провел там большую часть дня, штудируя Лапласа. Возвращаясь домой, он решил навестить миссис Уизэм и поблагодарить ее за проявленную заботу. Увидев юношу в ромбовидное эркерное окно гостиничной конторы, она вышла встретить его и пригласила войти внутрь. Пристально оглядев его, женщина покачала головой и сказала:

— Вам не следует переутомиться, сэр. Что-то вы нынче очень уж бледный. Засиживаться допоздна да напрягать мозги — это никому не идет на пользу! Но скажите мне, сэр, как вы провели ночь? Надеюсь, благополучно? Боже мой, сэр, я была так рада услышать от миссис Демпстер нынче утром, что вы целы и невредимы и крепко спали, когда она пришла.

— О да, я и вправду цел и невредим, — с улыбкой ответил он. — Покуда «нечто» ничем не побеспокоило меня. Только крысы, которые, признаться, устроили в комнате суший балаган. Была там одна — этакий мерзкий старый дьявол, — уселась на мое кресло у камина и не желала убираться до тех пор, пока я не взялся за кочергу. Тогда она взбежала по веревке набатного колокола и скрылась через дыру в стене или в потолке — я не разглядел, где именно, там было слишком темно.

— Боже милосердный! — воскликнула миссис Уизэм. — Старый дьявол, да еще восседающий в кресле у камина! Берегитесь, сэр! Берегитесь! В каждой шутке, как известно, есть немалая доля правды.

— Что вы имеете в виду? Честное слово, я вас не понимаю.

— Старый дьявол, вы сказали? Вероятно, *тот самый* дьявол, собственной персоной! Сэр, не стоит смеяться над этим, — добавила

она, поскольку Малкольмсон искренне расхохотался. — Вечно вас, молодых, забавляет то, от чего людей постарше бросает в дрожь. Полно, сэр, полно! Дай бог, сэр, чтобы вы и дальше могли так смеяться. Я сама вам этого от души желаю!

С этими словами добрая женщина заулыбалась, заразившись весельем студента и на миг позабыв о своих страхах.

— Простите! — произнес Малкольмсон спустя минуту. — Не считите меня неучтивым, но, на мой вкус, эта идея слишком экстравагантна: сам старина дьявол собственной персоной восседал минувшей ночью в моем кресле!

При мысли об этом он вновь рассмеялся, после чего направился домой обедать.

В этот вечер крысы начали беготню раньше, чем накануне, еще до того, как Малкольмсон воротился домой, и лишь на время притихли, встревоженные его приходом. После обеда он ненадолго уселся покурить возле камина, а затем, расчистив стол, возобновил свои занятия. Ближе к ночи крысы стали досаждать ему пуще прежнего. Как шустро они шмыгали вверх и вниз, под полом и над головой! Как пищали, царапая и грызя древесину! Как, понемногу осмелев, выглядывали они из дыр, щелей и трещин в деревянных панелях и как сверкали их глазки, точно крошечные фонарики, в мерцающем свете каминного пламени! Впрочем, Малкольмсон, пообвыкшись, уже не находил блеск этих глаз зловещим, его раздражала лишь неугомонная возня, доносившаяся со всех сторон. Порой самые отважные особи совершали вылазки на пол и на планки панельной обшивки. Временами, когда они начинали сверх меры его донимать, Малкольмсон громко хлопал рукой по столу или резко кричал: «Кыш! Кыш!» — и крысы тут же скрывались в своих норах.

Так прошел вечер. Несмотря на шум, Малкольмсон все реже отрывал взгляд от книг.

Внезапно он перестал читать, пораженный, как и в предыдущую ночь, неожиданно наступившей тишиной. До него не доносилось ни малейшего писка, царапанья или шороха. В комнате царил могильное безмолвие. Вспомнив о странном происшествии прошлой ночи, он непроизвольно бросил взгляд на кресло, стоявшее возле камина, — и в следующий миг по всему его телу пробежала странная дрожь.

На старом массивном резном дубовом кресле с высокой спинкой сидела, злобно уставившись на Малкольмсона, все та же огромная крыса.

Машинально схватив книгу с таблицами логарифмов — первое, что подвернулось под руку, — он запустил ею в крысу. Книга пролетела мимо, и тварь осталась сидеть на месте, поэтому Малкольмсон, как и накануне, ринулся на нее с кочергой, и снова крыса, увернувшись от него в последний момент, проворно вскарабкалась по веревке набатного колокола. И сразу после ее бегства обитавшая за стенами комнаты крысиная колония по непонятной причине вновь с шумом ожила. Как и в прошлую ночь, Малкольмсон не смог разглядеть, где именно спряталась крыса, — зеленый абажур лампы оставлял верхнюю часть столовой во мраке, а огонь в камине почти угас.

Взглянув на часы, он обнаружил, что близится полночь; ничуть не сожалея о выпавшем ему *divertissement*^[42], юноша подбросил в очаг поленьев и, как обычно, заварил себе чаю. Он усердно потрудился в этот вечер и, решив, что заслужил еще одну сигарету, расположился у камина в резном кресле из дуба и с наслаждением закурил. За этим занятием Малкольмсон стал размышлять о том, что было бы неплохо выяснить, куда подевалась крыса, так как подумывал утром установить в комнате ловушку. Он зажег еще одну лампу и разместил ее так, чтобы свет падал на ту часть стены, которая находилась справа от камина. Потом он собрал все имевшиеся в его распоряжении книги и разложил их в удобном для обстрела мерзких тварей порядке. И в довершение всех этих манипуляций юноша подтянул веревку набатного колокола к столу и закрепил там, подсунув конец под лампу. Взяв ее в руки, Малкольмсон обратил внимание на то, какая она прочная и вместе с тем гибкая для веревки, которой давно никто не пользовался. «Подошла бы для виселицы», — подумал он.

Завершив свои приготовления, юноша огляделся по сторонам и удовлетворенно произнес:

— Ну что ж, дружище, я думаю, на этот раз мы кое-что о тебе узнаем!

Он снова засел за работу и, хотя поначалу, как и прежде, отвлекался на крысиную возню, вскоре с головой ушел в теоремы и задачи.

И опять ему пришлось вернуться на грешную землю. На этот раз Малкольмсона заставила насторожиться не только внезапно воцарившаяся тишина, но и легкое подрагивание веревки, которое передавалось настольной лампе. Не двигаясь с места, он покосился на стопку книг, проверяя, сможет ли до нее дотянуться, а затем бросил взгляд на свисавшую с потолка веревку и увидел, как с нее на дубовое кресло свалилась огромная крыса и уселась там, враждебно уставившись на него. Взяв в правую руку одну из книг, юноша тщательно прицелился и метнул ее в крысу. Та проворно отскочила в сторону, увернувшись от летящего снаряда. Студент схватил еще пару томов и один за другим зашвырнул их в мерзкого грызуна, но оба раза промахнулся. Наконец, когда он поднялся с очередной книгой наизготовку, крыса пискнула, похоже, впервые ощутив страх. От этого Малкольмсону пуще прежнего захотелось угодить в нее, и на сей раз ему это удалось — его новый снаряд достиг цели, нанеся крысе звучный удар. Она испуганно взвизгнула и, наградив своего преследователя необыкновенно злобным взглядом, вскочила на спинку кресла, откуда отчаянным прыжком перенеслась на веревку колокола и с молниеносной скоростью взбежала вверх. От внезапного натяжения веревки лампа на столе покачнулась, но собственный вес не позволил ей упасть. Малкольмсон, не сводивший глаз с крысы, увидел при свете второй лампы, как беглянка запрыгнула на планку стеной обшивки и скрылась в дыре, зиявшей в одной из больших картин, что висели на стенах, потемневшие и почти неразличимые под слоем грязи и пыли.

— Поутру я выясню, где ты обитаешь, приятель, — пробормотал студент, собирая разбросанные по комнате книги. — Запомним, третья картина от камина.

Поднимая с пола том за томом, он высказывал о каждом из них критические суждения:

— Ее не сразили ни «Конические сечения»... ни «Качающиеся часы»... ни «Начала»... ни «Кватернионы»... ни «Термодинамика»... А вот и книга, которая все же попала в цель!

Малкольмсон поднял увесистый том, взгляделся в переплет и вздрогнул. Внезапная бледность покрыла его лицо. Он в замешательстве огляделся по сторонам, встрепенулся и произнес вполголоса:

— Матушкина Библия! Какое странное совпадение!

Он опять принялся за свои штудии, а крысы снова начали резвиться за стенными панелями. Впрочем, теперь они не мешали Малкольмсону — напротив, их беспокойное присутствие, как ни странно, позволяло ему чувствовать себя не столь одиноким. Тем не менее сосредоточиться на учебе он так и не смог и после нескольких бесплодных попыток одолеть очередную тему в отчаянии оставил ее и отправился в постель, когда в восточное окно уже прокрался первый рассветный луч.

Спал он долго, но беспокойно и видел многочисленные бессвязные сны, а когда миссис Демпстер довольно поздно его разбудила, поначалу чувствовал себя не в своей тарелке и, казалось, не понимал, где находится. Его первое распоряжение порядком ее удивило:

— Миссис Демпстер, я хочу, чтобы в мое отсутствие вы взяли лестницу и протерли или отмыли картины на стенах — особенно третью от камина. Мне хочется посмотреть, что на них изображено.

Большую часть дня Малкольмсон провел в тенистой аллее за чтением книг и ближе к вечеру обрел прежнюю бодрость. Он далеко продвинулся в своих штудиях и преуспел в решении всех задач, которые ранее никак ему не давались, и, возвращаясь в приподнятом настроении в город, решил завернуть в «Добрый путник», чтобы повидать миссис Уизэм. В уютной гостиной студент увидел незнакомца, которого сидевшая рядом хозяйка представила как доктора Торнхилла. Она держалась несколько принужденно, а доктор немедля начал расспрашивать юношу на разные темы; сопоставив одно с другим, Малкольмсон пришел к выводу, что его собеседник появился здесь не случайно, а потому без околичностей заявил:

— Доктор Торнхилл, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые вы сочтете нужным задать мне, если вы сперва ответите на один мой вопрос.

Доктор выглядел удивленным, однако улыбнулся и тотчас ответил:

— Договорились! Что за вопрос?

— Это миссис Уизэм попросила вас прийти сюда, чтобы вы взглянули на меня и высказали свое профессиональное мнение?

Доктор Торнхилл на мгновение впал в замешательство, а миссис Уизэм зарделась и отвернулась; доктор, однако, оказался человеком

открытым и прямодушным и потому ответил незамедлительно и без утайки:

— Да, это так, но она не хотела, чтобы вы об этом узнали. Полагаю, меня выдала неуклюжая торопливость, с которой я задавал вам вопросы. Миссис Уизэм сказала мне, что, по ее мнению, вам не следует жить одному в том доме и что вы чересчур налегаете на крепкий чай. Собственно говоря, она просила меня убедить вас отказаться от чаепитий и ночных бдений. Я сам в свое время был старательным студентом, так что позволю себе, без какого-либо намерения оскорбить вас, дать вам совет на правах бывшего универсанта и, следовательно, как человек, которому не вполне чужд ваш образ жизни.

Малкольмсон с дружелюбной улыбкой протянул доктору руку.

— По рукам, как говорят в Америке! — произнес он. — Мне следует поблагодарить вас, а также миссис Уизэм, за проявленную доброту, которая заслуживает ответного жеста с моей стороны. Обещаю не пить больше крепкого чая — вообще впредь не пить чая до вашего разрешения — и отойти сегодня ко сну самое позднее в час ночи. Годится?

— Отлично! — воскликнул доктор. — А теперь расскажите нам обо всем, что вы заметили в старом доме.

И Малкольмсон сей же час поведал во всех подробностях о событиях двух минувших ночей. Миссис Уизэм то и дело прерывала его рассказ причитаниями и вздохами, а когда юноша наконец добрался до эпизода с Библией, хозяйка «Доброго путника» дала выход долго сдерживаемым эмоциям, испустив громкий крик, и лишь солидная порция бренди, разведенного водой, смогла ее немного успокоить. Чем дольше доктор Торнхилл слушал, тем больше мрачнел, а когда студент закончил и миссис Уизэм пришла в себя, он спросил:

— Крыса всякий раз взбиралась по веревке набатного колокола?

— Да.

— Полагаю, вы знаете, — продолжил доктор, помолчав, — что это за веревка?

— Нет, не знаю.

— Это, — медленно произнес доктор, — та самая веревка, на которой были повешены все жертвы приговоров злобного судьи!

В этот момент миссис Уизэм издала новый крик, и доктору снова пришлось приводить ее в чувство. Малкольмсон взглянул на часы и, обнаружив, что близится время обеда, отправился домой, не дожидаясь, пока хозяйка полностью придет в себя.

Когда миссис Уизэм оправилась от потрясения, она накинулась на доктора, сердито вопрошая, зачем он внушает бедному юноше подобные ужасы.

— Ему там и без этого хватает невзгод, — добавила она.

— Дорогая моя, поступая так, я преследовал совершенно определенную цель! — ответил доктор Торнхилл. — Я намеренно привлек его внимание к этой веревке, можно сказать, привязал его к ней. Не исключено, что этот юноша сильно переутомлен вследствие чрезмерных занятий, хотя, на мой взгляд, он вырядит в высшей степени здоровым душевно и телесно... но, с другой стороны, эти крысы... и эти намеки на дьявола... — Доктор покачал головой и затем продолжил: — Я хотел было предложить ему свое общество на ближайшую ночь, но, уверен, он бы обиделся. Возможно, ночью его посетят какие-то неведомые страхи или галлюцинации, и, случись так, было бы неплохо, если бы он дернул за ту самую веревку. Поскольку он там совершенно один, колокольный звон послужит для нас сигналом и мы сможем вовремя прийти к нему на помощь. Нынче вечером я намерен бодрствовать допоздна и буду настороже. Не тревожьтесь, если до утра в Бенчерче произойдет нечто неожиданное.

— О, доктор, что вы хотите этим сказать?

— А вот что: возможно — нет, даже вероятно, — этой ночью мы услышим звон большого набатного колокола, что висит на крыше Дома Судьи, — бросил доктор на прощанье самую эффектную реплику, какую смог придумать.

Придя домой, Малкольмсон обнаружил, что вернулся несколько позже обычного и миссис Демпстер уже ушла — правилами приюта Гринхау не следовало пренебрегать. Ему было отрадно видеть, что его комната аккуратно прибрана, в камине весело полыхает огонь, а настольная лампа заправлена свежим маслом. Вечер выдался не по-апрельски прохладным, и резкие порывы ветра становились все сильнее, недвусмысленно обещая ночную грозу. С приходом Малкольмсона крысы на несколько минут затаились, но, едва свыкшись с его присутствием, продолжили свою ежевечернюю возню.

Он был рад этим звукам, ибо, как и накануне, почувствовал себя менее одиноким, — и задумался над тем, почему они странным образом затихают, когда на свет божий показывается та огромная крыса со злыми глазами. В комнате горела только настольная лампа, зеленый абажур которой оставлял потолок и верхнюю часть стен в темноте, поэтому яркое пламя очага, озарявшее пол и белую скатерть стола, придавало обстановке теплоту и уют. Малкольмсон принялся обедать с отменным аппетитом и в превосходном расположении духа. После трапезы он выкурил сигарету и не мешкая принялся за работу; памятуя про обещание, данное доктору, юноша твердо решил ни на что не отвлекаться и с максимальной пользой распорядиться временем, имевшимся в его распоряжении.

С час или около того он исправно трудился, а потом его мысли начали блуждать вдалеке от книг. Атмосфера, царившая вокруг, звуки, привлекавшие его внимание, чуткость собственных нервов — все это способствовало его рассеянию. Между тем ветер за окном из порывистого превратился в шквальный, а затем в ураганный. Старый дом, несмотря на прочность постройки, казалось, содрогался до самого основания под ударами стихии, которая ревела и неистовствовала в многочисленных трубах и вдоль причудливых старинных фронтонов, отзываясь странным, нездешним гулом в комнатах и коридорах. Даже большой набатный колокол на крыше, должно быть, чувствовал силу ветра и немного покачивался, ибо веревка временами слегка поднималась и опускалась и конец ее с тяжелым и глухим стуком снова и снова ударялся о дубовый пол.

Прислушавшись к этому стуку, Малкольмсон вспомнил слова доктора: «Это та самая веревка, на которой были повешены все жертвы приговоров злобного судьи!», подошел к камину и взялся за конец веревки, чтобы получше ее рассмотреть. Казалось, она обладает какой-то неумолимой притягательностью, и, глядя на нее, он на миг задумался о том, кто были эти жертвы, и о мрачном желании судьи всегда иметь эту страшную реликвию у себя перед глазами. Пока Малкольмсон стоял так, веревка в его руке продолжала ритмично подрагивать в такт колебаниям колокола на крыше, но вдруг юноша ощутил новую, иную вибрацию, как будто по веревке что-то передвигалось.

Непроизвольно подняв голову, Малкольмсон увидел, как сверху медленно спускается, впившись в него глазами, огромная крыса. Он отпустил веревку и с плухим проклятием отпрянул, а крыса, круто развернувшись, скрылась под потолком, и в тот же миг Малкольмсон осознал, что временно стихшая возня остальных тварей возобновилась опять.

Все это побудило его задуматься, и он вдруг сообразил, что до сих пор не разведал, как собирался, местонахождение крысиной норы и не осмотрел полотна. Юноша зажег другую лампу, не затененную абажуром, и, держа ее высоко над головой, приблизился к третьей картине справа от камина, за которой, как он заметил, минувшей ночью спряталась крыса.

Едва бросив взгляд на полотно, он отшатнулся так резко, что чуть не выронил лампу, и смертельно побледнел. Колени его подогнулись, на лбу выступили крупные капли пота, он задрожал как осиновый лист. Но он был молод и решителен и, собравшись с духом, спустя несколько секунд снова сделал шаг вперед, поднял лампу и пристально всмотрелся в изображение, которое теперь, очищенное от пыли и отмытое, предстало перед ним совершенно отчетливо.

Это был портрет судьи в отороченной горностаем алой мантии. В его мертвенно-бледном лице с чувственным ртом и красным крючковатым носом, похожим на клюв хищной птицы, читались суровость, неумолимость, ненависть, мстительность и коварство. Взгляд неестественно блестящих глаз переполняла жуткая злоба. Малкольмсона пробрала дрожь: он узнал в этих глазах глаза огромной крысы. Он снова чуть было не выронил лампу, когда внезапно увидел саму эту тварь, враждебно уставившуюся на него из дыры в углу картины; одновременно юноша заметил, что суетливый шум, издаваемый другими крысами, неожиданно смолк. Однако, взяв себя в руки, Малкольмсон продолжил осмотр картины.

Судья был запечатлен сидящим в массивном резном дубовом кресле с высокой спинкой, справа от большого камина с каменной облицовкой, в углу комнаты, где с потолка свисала веревка, конец которой, свернутый кольцом, лежал на полу. Цепенея от ужаса, Малкольмсон узнал на полотне комнату, в которой находился, и с трепетом огляделся по сторонам, словно ожидая обнаружить у себя за

спиной чье-то постороннее присутствие. Потом он посмотрел в сторону камина — и с громким криком выпустил из руки лампу.

Там, на судейском кресле, рядом с веревкой, свисавшей позади его высокой спинки, сидела крыса со злыми глазами судьи, в которых теперь светилась дьявольская усмешка. Если не считать завываний бури за окном, вокруг царила полная тишина.

Стук упавшей лампы вывел Малкольмсона из оцепенения. К счастью, она была металлической и масло не вытекло на пол. Однако лампу необходимо было привести в порядок, и, пока он этим занимался, его волнение и страх немного улеглись. Погасив лампу, юноша отер пот со лба и на минуту призадумался.

— Так не годится, — сказал он себе. — Если дело так и дальше пойдет, недолго и спянуть. Надо это прекратить! Я обещал доктору не пить чая. Ей-богу, он прав! Должно быть, у меня нервы расшатались. Странно, что я этого не ощутил; никогда еще не чувствовал себя лучше. Однако теперь все в порядке, и впредь никому не удастся сделать из меня посмешище.

Малкольмсон приготовил себе солидную порцию бренди с водой и, выпив, решительно взялся за работу.

Где-то через час он оторвал взгляд от книги, встревоженный внезапно наступившей тишиной. Снаружи ветер завывал и ревел пуще прежнего и ливень хлестал в оконные стекла с силой града, но в самом доме не раздавалось ни звука, только в дымоходе гуляло эхо урагана, а когда он ненадолго стихал, слышалось шипение падавших оттуда в очаг редких дождевых капель. Пламя в камине сникло и потускнело, хотя и отбрасывало в комнату красноватые блики. Малкольмсон прислушался и тотчас уловил слабое, едва различимое поскрипывание. Оно доносилось из угла комнаты, где свисала веревка, и юноша подумал, что это она елозит по полу, поднимаясь и опускаясь под действием колебаний колокола. Однако, подняв голову, он увидел в тусклом свете очага, как огромная крыса, прильнув к веревке, пытается перегрызть ее и уже почти преуспела в этом, обнажив сердцевину из более светлых волокон. Пока он наблюдал, дело было сделано, отгрызенный конец со стуком свалился на дубовый пол, а огромная тварь, раскачиваясь взад и вперед, повисла подобием узла или кисти на верхней части веревки. На мгновение Малкольмсона, осознавшего, что теперь он лишен возможности

позвать на помощь кого-либо извне, вновь охватил ужас, который, впрочем, быстро уступил место гневу; схватив со стола только что читанную книгу, юноша запустил ею в грызуна. Бросок был метким, но, прежде чем снаряд достиг цели, крыса отпустила веревку и с глухим стуком шлепнулась на пол. Малкольмсон не мешкая вскочил и кинулся к ней, но она метнулась прочь и пропала в затененной части комнаты. Студент понял, что в эту ночь поработать ему уже не удастся, и решил разнообразить учебную рутину, устроив охоту на крысу. Он снял с лампы зеленый абажур, чтобы расширить освещенное пространство столовой, и мрак, в котором утопал верх помещения, сразу рассеялся. В этом внезапно высвобожденном свете, особенно ярком в контрасте с давешней тьмой, отчетливо проступили изображения на развешанных по стенам картинах. Прямо напротив того места, где стоял Малкольмсон, находилось третье от камина полотно, взглянув на которое юноша в изумлении протер глаза — и затем замер, охваченный страхом.

В центре картины возникло большое, неправильной формы пятно коричневой ткани, такой новой на вид, словно ее только что натянули на раму. Фон остался прежним — уголок комнаты у камина, кресло и веревка, — но фигура судьи с портрета исчезла.

Цепenea от ужаса, Малкольмсон медленно обернулся — и затрясся как паралитик. Силы, казалось, покинули его, он утратил всякую способность действовать, двигаться и даже мыслить. Он мог лишь смотреть и слушать.

В массивном резном дубовом кресле с высокой спинкой восседал судья в алой, отороченной горностаем мантии. Его злые глаза мстительно горели, а резко очерченный рот кривила жестокая, торжествующая усмешка. Внезапно он поднял руки, в которых держал черную шапочку. Малкольмсон ощутил, как у него кровь отхлынула от сердца, что бывает нередко в минуты томительного, тревожного ожидания; в ушах его стоял гул, сквозь который он слышал рев и завывание ветра за окном и далекий звон колоколов на рыночной площади, возвещавших о наступлении полуночи. Он провел так несколько мгновений, показавшихся ему вечностью, не дыша, застыв как статуя, с остановившимся от ужаса взглядом. С каждым колокольным ударом торжествующая улыбка на лице судьи

становилась все шире, и, когда пробило полночь, он водрузил себе на голову черную шапочку.

С величавой неторопливостью судья встал с кресла, поднял с пола отгрызенную часть веревки набатного колокола и пропустил между пальцами, словно наслаждаясь ее прикосновением, после чего не спеша принялся завязывать на одном ее конце узел, намереваясь сделать удавку. Закрепив узел, он проверил его на прочность, наступив на веревку ногой и с силой потянув на себя; оставшись доволен результатом, судья соорудил мертвую петлю и зажал ее в руке. Затем он начал продвигаться вдоль стола, который отделял его от Малкольмсона, и при этом не сводил глаз со студента; внезапно, совершив стремительный маневр, он загородил собой дверь комнаты. Малкольмсон сообразил, что оказался в западне, и стал лихорадочно искать путь к спасению. Неотрывный взгляд судьи действовал на юношу гипнотически и намертво приковывал к себе его взор. Студент следил за тем, как противник приближается, по-прежнему заслоняя дверь, поднимает петлю и выбрасывает ее в его сторону, словно пытаясь его заарканить. С невероятным трудом Малкольмсон увернулся и увидел, как веревка с громким шлепком упала рядом с ним на дубовый пол. Судья вновь вскинул петлю и, продолжая злобно буравить его глазами, опять попытался поймать свою жертву, и опять студенту едва удалось ускользнуть. Так повторялось много раз, при этом судья, казалось, нисколько не был обескуражен или расстроен своими промахами, а скорее забавлялся игрой в кошки-мышки. Наконец Малкольмсон, пребывавший уже в полном отчаянии, быстро огляделся и в свете ярко разгоревшейся лампы в многочисленных дырах, щелях и трещинах стеной обшивки увидел сверкающие крысиные глазки. Это зрелище, будучи порождением материального мира, слегка его приободрило. Обернувшись, он обнаружил, что свисавшая с потолка веревка набатного колокола сплошь усеяна крысами. Они покрывали своими телами каждый ее дюйм, и все новые особи продолжали прибывать из маленького круглого отверстия в потолке, так что колокол на крыше пришел в движение под их совокупной тяжестью.

Непрестанные колебания веревки в конце концов привели к тому, что юбка колокола ударилась о язык. Звон получился негромкий, но

колокол еще только начал раскачиваться и вскоре должен был зазвучать во всю мощь.

Услышав звон, судья, до этого неотрывно смотревший на Малкольмсона, поднял голову, и печать лютого гнева легла на его чело. Глаза его загорелись, как раскаленные угли, и он топнул ногой с такой силой, что весь дом как будто сверху донизу содрогнулся. Внезапно с небес донесся ужасающий раскат грома, и в тот же миг судья вновь вскинул удавку, а крысы проворно забегали вниз и вверх по веревке, словно боясь куда-то опоздать. На сей раз судья не пытался заарканить свою жертву, а двинулся напрямик к ней, на ходу растягивая петлю. Он подошел к студенту почти вплотную, и в самой его близости, казалось, было что-то, парализующее силы и волю и заставившее Малкольмсона застыть на месте наподобие трупа. Он почувствовал, как ледяные пальцы судьи смыкаются у него на горле, прилаживая к его шее веревку. Петля затягивалась все туже и туже. Затем судья поднял неподвижное тело студента, пронес через комнату, водрузил стоймя на дубовое кресло и сам взобрался на него, после чего вытянул руку и поймал покачивающийся конец веревки набатного колокола. Завидев его жест, крысы с визгом кинулись наверх и скрылись через отверстие в потолке. Взяв конец петли, обвивавшей шею Малкольмсона, он привязал его к веревке колокола и, сойдя на пол, выбил кресло из-под ног юноши.

Когда с крыши Дома Судьи донесся колокольный звон, у входа в особняк быстро образовалась людская толпа. Держа в руках всевозможные фонари и факелы, жители городка, не говоря ни слова, устремились на помощь. Они принялись громко стучать в дверь дома, но изнутри никто не отозвался. Тогда собравшиеся вышибли дверь и, ведомые доктором, один за другим проникли в просторную столовую.

Там, на конце веревки большого набатного колокола, висело тело студента, а на одном из портретов злорадно усмехался старый судья.

Монтегю Родс Джеймс

(1862–1936)

Предостережение любопытным

Пер. с англ. Л. Бриловой

Местечко на восточном побережье, к которому я хочу привлечь внимание читателя, известно под названием Сибург. Оно знакомо мне с детства и с тех пор мало изменилось. К югу — болотистая местность с сетью канав, воскрешающая в памяти первые главы «Больших надежд»; к северу — плоские поля, которые переходят в вересковую пустошь; напротив берега — вереск, хвойные леса и можжевельник. Вдоль длинной прибрежной полосы — улица, за ней большая каменная церковь с внушительной фасадной башней и шестью колоколами. Вспоминаю, как эти колокола звонили в один жаркий августовский воскресный день, а мы медленно взбирались им навстречу по пыльной белой дороге (чтобы подойти к церкви, нужно преодолеть короткий крутой подъем). В те жаркие дни они издавали унылый сухой звук, а когда воздух становился мягче, то и колокола звучали нежнее. Рядом проходила железная дорога, а чуть дальше располагалась крохотная конечная станция. Не доходя до вокзала, вы натыкались на ярко-белую ветряную мельницу. Была и другая — на южной окраине городка, вблизи усеянного галькой берега, и еще несколько, на возвышенности к северу. Были здесь коттеджи из ярко-красного кирпича с шиферными крышами... Но к чему я обременяю вас всеми этими банальными подробностями? Дело в том, что стоит начать описывать Сибург, и они сами в изобилии стекают с пера. Хотелось бы надеяться, что совсем уж лишние не попали на бумагу. Но прошу прощения, я не окончил еще живописать местность.

Давайте удалимся от побережья и от городка, минуем станцию и свернем направо. Если идти по грунтовой дороге параллельно железнодорожной колее, придется все время взбираться вверх. Слева (а путь наш ведет на север) простирается вересковая пустошь, а справа, со стороны моря, видна полоса старых, потрепанных непогодой елей, с густыми верхушками, скособоченных, как обычно

бывает со старыми деревьями, которые выросли на морском берегу; стоит увидеть их очертания из окошка поезда, и сразу станет ясно, если вы раньше об этом не знали, что невдалеке побережье, обдуваемое ветрами. Ну вот, а на вершине небольшого холма эта череда елей разворачивается и направляется в сторону моря, следуя за вытянутыми очертаниями возвышенности. На краю возвышенности расположен довольно четко различимый курган с несколькими елями на вершине, откуда открывается вид на ровное, поросшее жесткой травой пространство внизу. Здесь хорошо посидеть в жаркий весенний день, с удовольствием обозревая синий морской простор, белые мельницы, красные коттеджи, ярко-зеленый ковер травы, церковную башню и высокую башню мартелло далеко на юге.

Как я уже сказал, Сибург я знаю с детства, но мои ранние впечатления от недавних отделяет промежуток во много лет. Как бы то ни было, я по-прежнему привязан к Сибургу, и мне интересно все, что с ним связано. Имеет к нему отношение и эта история, а услышал я ее совершенно случайно вдали от Сибурга. Поведал ее один человек, которому я как-то оказал услугу, и по этой причине он проникся ко мне доверием.

— Мне знакомы те места, — сказал он. — Я обычно приезжал в Сибург весной, чтобы поиграть в гольф. Остановливался я, как правило, в «Медведе», вместе со своим другом Генри Лонгом, вы его, возможно, знали («Немножко», — сказал я). У нас была гостиная на двоих, и мы замечательно проводили время. С тех пор как Лонг умер, мне уже не хочется туда возвращаться. Да и в любом случае вряд ли бы меня туда потянуло после того, что произошло в наш последний приезд.

Это было в апреле 19** года. По случайности, кроме нас, в гостинице почти не было постояльцев. Поэтому в общих помещениях царил почти полное безлюдье. Тем более мы были удивлены, когда после обеда дверь нашей гостиной открылась и в комнату заглянул молодой человек. Мы его видели раньше: это был малокровный, хиловатый субъект, светловолосый и светлоглазый, не лишенный, впрочем, приятности. Так что в ответ на вопрос: «Прошу прощения, это ваш номер или общая гостиная?» — мы не проворчали, насупившись: «Это наша комната», а кто-то из нас (Лонг или я, уж не помню) произнес: «Входите, будьте любезны». — «О, так мне можно

здесь посидеть?» — проговорил молодой человек с явным облегчением. Заметно было, что ему очень хочется побыть в обществе себе подобных, а так как человек он был приличный, не из тех, кто обрушит вам на голову истории всех своих родственников до пятого колена, то мы пригласили его располагаться как дома. «В общих комнатах сейчас, вероятно, мрачновато», — заметил я. Вот именно, мрачновато; но как же любезно с нашей стороны... и так далее. Покончив с изъявлениями благодарности, молодой человек сделал вид, что погрузился в чтение. Лонг раскладывал пасьянс; я принялся писать. Но вскоре я понял, что нервное, взвинченное состояние, в котором, видимо, находился наш гость, передалось и мне, поэтому я отложил свои бумаги и повернулся к посетителю, приглашая его к беседе.

Мы слегка поболтали о том о сем, и молодой человек постепенно освоился в нашем обществе. «Вам это покажется странным, — так он начал, — но дело в том, что я недавно пережил потрясение». Ну что ж, я тут же предложил выпить, чтобы взбодриться, и мы так и сделали. Приход официанта прервал lamentации нашего юного друга (мне показалось, что тот дернулся, когда открылась дверь), но ненадолго. Он здесь никого не знает, а о нас он слышал (от каких-то общих знакомых в соседнем большом городе), и ему позарез нужен добрый совет, и если мы не против... «Ради бога» и «конечно не против» — только и оставалось сказать, а Лонг отложил в сторону карты. И мы приготовились выслушать, в чем состоят его затруднения.

«Началось это, — проговорил юноша, — недели полторы назад. Я тогда ездил на велосипеде во Фростон, — это всего в пяти или шести милях отсюда — чтобы осмотреть тамошнюю церковь. Я очень интересуюсь архитектурой, а там чудесный портик, бывают, знаете, такие — с нишами, с гербовыми щитами. Я его сфотографировал, а потом ко мне подошел старик, который присматривает за кладбищем, и спросил, не хочу ли я зайти в церковь. Я ответил, что хочу, он вынул ключ и впустил меня внутрь. Там не было ничего особенного, но я сказал, что церквушка замечательная, что прибрано там очень чисто, но самое лучшее — это, конечно, портик. В ту минуту мы как раз стояли рядом с портиком, и старик заметил: „Да, портик у нас красивый; а знаете ли вы, сэр, что это за герб?“

Он указал на герб с тремя коронами. Я не знаток геральдики, но смог определить, что это, вероятно, старинный герб королевства Восточной Англии.

„Верно, сэра, — подтвердил старик, — а знаете ли вы, что означают эти три короны?“ Я ответил, что это, конечно, какой-то известный символ, но я не помню, приходилось ли мне что-либо о нем слышать.

„Вы, видать, сэра, человек ученый, — продолжал старик, — но я вам расскажу кое-что, чего вы не знаете. Это три святые короны, они зарыты в землю на берегу, чтобы здесь не смогли высадиться германцы, — да вы, я вижу, не верите. Но я вам вот что скажу: если бы не одна из этих корон, что лежит здесь в земле по сию пору, германцы бы нагрянули как пить дать, и не один раз. Сошли бы с кораблей и поубивали всех подряд: и мужчин, и женщин, и младенцев в колыбели. Это чистая правда, как Бог свят, а если вы мне не верите, то спросите у священника, вот он идет, спросите у него сами“.

Я оглянулся и увидел, что по тропинке поднимается священник, красивый старик. Я хотел было заверить своего собеседника, который все больше горячился, что и не думаю сомневаться, но священник вмешался в разговор:

„В чем дело, Джон? Добрый день, сэра. Любуетесь нашей церковью?“

Мы немного побеседовали, давая сторожу время успокоиться, а затем священник снова спросил его, в чем дело.

„Да ничего особенного, — ответил тот. — Просто я говорил этому джентльмену, чтобы он спросил у вас насчет трех святых корон“.

„А, ну да, — произнес священник, — это весьма любопытная история. Но не знаю, будут ли интересны джентльмену наши старинные предания?“

„Еще бы не интересны! — с жаром начал убеждать его Джон. — Ведь вам-то он поверит, сэра; как же, вы ведь знали Уильяма Эйджера — обоих, и отца и сына“.

Тут и я вставил слово и принялся уверять, что горю желанием все услышать. В результате я отправился вместе со священником. Мы прошли по деревенской улице (священнику нужно было обменяться парой слов с кем-то из прихожан) и наконец оказались в доме священника, в его кабинете. Дорогой священник расспросил меня и мог убедиться, что я не просто любопытствующий турист, а серьезно

интересуюсь фольклором. Поэтому он с большим удовольствием приступил к своему рассказу, а когда закончил, мне оставалось только удивляться, что такая замечательная легенда до сих пор не опубликована.

Вот что он мне поведал: „В здешних краях народ всегда верил в три святые короны. Старожилы говорят, что все они зарыты в разных местах вблизи берега и охраняют местность то ли от датчан, то ли от французов или германцев. Рассказывают, что одну из этих корон кто-то выкопал еще в стародавние времена, другую поглотило наступавшее на побережье море, осталась только одна, и она по-прежнему делает свое дело — не дает вторгнуться сюда чужеземцам. Так вот, если вы читали путеводители или труды по истории нашего графства, то, возможно, вспомните, что в 1687 году в Рендлсхеме была обнаружена закопанная там корона Редволда, короля восточных англов. Увы, она была пущена в переплавку, прежде чем кто-нибудь успел ее подробно описать или же зарисовать. Правда, Рендлсхем стоит не на самом берегу, но не так уж далеко от берега, и как раз на оживленной дороге, ведущей к побережью. Уверен, это была именно та корона, которую, как люди говорят, кто-то выкопал. Далее, к югу отсюда — не мне вам рассказывать, где именно, — располагался дворец саксонских королей, ныне оказавшийся на морском дне, так ведь? Думаю, как раз там и была вторая корона. А кроме этих двух, где-то, как говорят старики, зарыта и третья“.

Мне ничего не оставалось, кроме как спросить: „А где она зарыта, они не говорят?“

Священник бросил в ответ: „Говорят, конечно, но не каждому“. Он произнес это так, что следующий напрашивавшийся сам собой вопрос я задать не решился. Вместо этого я чуть помедлил и спросил: „Сторож утверждал, что вы знали Уильяма Эйджера. Он как будто связывал этот факт с тремя коронами“.

„Да, это целая история, — отозвался священник, — и тоже весьма любопытная. Эйджеры — а эта фамилия встречается в наших краях, но, насколько мне известно, среди них не было ни выдающихся людей, ни крупных собственников, — так вот, Эйджеры утверждают или утверждали, что они, то есть представители их ветви рода, являются хранителями последней короны. Самый старший из Эйджеров, кого я знал, был старый Натаниел Эйджер (я родился и вырос поблизости

отсюда), и он, мне кажется, безвылазно дежурил здесь на побережье, пока шла война 1870 года.

Уильям, его сын, во время Южноафриканской войны вел себя точно так же. А его сын, молодой Уильям, который умер совсем недавно, поселился в коттедже рядом с тем самым местом. Он страдал чахоткой и, не сомневаюсь, сам приблизил свой конец, обходя побережье ночью, в непогоду. Он был последним в роду. Для него было горем, что он последний, но ничего нельзя было поделать: немногие его родственники жили в колониях. Я по его просьбе писал им письма, умолял приехать, объяснял, что речь идет о деле, чрезвычайно важном для всего их рода, но ответа не было. Так что последняя из трех святых корон — если, конечно, она существует, — лишилась теперь хранителя“.

Вот что рассказал мне священник, и можете себе вообразить, как меня заинтересовал его рассказ. Ни о чем другом я уже не мог думать, только о том, где же она спрятана, эта последняя корона. Нет чтобы выбросить все это из головы!

Но не иначе как меня преследовал рок: когда я ехал обратно на велосипеде мимо кладбища, на глаза мне попала недавно установленная могильная плита с именем Уильяма Эйджера. Разумеется, я остановился и прочел надпись. Она гласила: „Уильям Эйджер, житель здешнего прихода, умер в Сибурге в 19**, 28 лет от роду“. Вот так находка! А стоит задать несколько толковых вопросов кому нужно, и найдется по крайней мере коттедж, что „рядом с тем самым местом“. Только вот кому бы задать эти вопросы? И снова вмешалась судьба: именно она привела меня в антикварную лавку, в той стороне, — вы там, наверное, бывали. Я рылся в старинных книгах, и пожалуйста — наткнулся на молитвенник тысяча семьсот сорок какого-то года в довольно красивом переплете. Сейчас я его принесу, он у меня в комнате».

Мы были несколько растеряны, но прежде чем успели обменяться хоть парой слов, наш гость, запыхавшись, влетел в комнату и протянул нам молитвенник, раскрытый на первой странице. Там было нацарапано:

Звать Натаниел Эйджер меня, в Англии я возрос,
В Сибурге я обитаю, спасенье мое — Христос.
Я в могилу сойду, и не вспомнят о мертвых моих костях,
Но Господь не оставит меня, когда обращусь я в прах^[43].

Внизу стояла дата: «1754». Были и записи, относившиеся к другим Эйджерам: Натаниелу, Фредерику, Уильяму и так далее. В конце стояло: «Уильям, 19**».

«Вот видите, — сказал наш новый знакомый, — любой бы счел это величайшим везением. Я и сам так считал... тогда. Конечно, я спросил хозяина лавки об Уильяме Эйджере, и он, конечно, припомнил, что тот жил в коттедже в Норт-Филде и там же умер. Стало ясно, что делать дальше. Я догадывался, что это за коттедж: там всего один и есть подходящего размера. Нужно было посмотреть, что за люди там живут, и я отправился туда немедленно.

Неоценимую услугу мне оказала собака: она набросилась на меня с такой яростью, что хозяевам пришлось выбежать из дому и отогнать ее. Разумеется, потом они попросили у меня прощения, и завязался разговор. Мне достаточно было вскользь упомянуть Эйджера и сказать: я, мол, кажется, о нем слышал, и женщина тут же посетовала, что он умер таким молодым. Она была уверена: это произошло из-за того, что он провел ночь на улице, а погода стояла холодная. Лишь только я спросил: „Так он прогуливался по ночам по берегу моря?“ — как услышал в ответ: „Не по берегу, а по тому холму с деревьями на верхушке“. Вот и все.

Мне кое-что известно о раскопках на курганах: я сам вскрыл немало курганов в Южной Англии. Но это делалось с разрешения владельца земли, при свете дня, с участием помощников. На этот раз без тщательной разведки нельзя было браться за лопату: копать ров поперек кургана невозможно, и к тому же будут мешать корни старых елей, которые растут наверху. Правда, грунт здесь рыхлый, песчаный, и имеется что-то вроде кроличьей норы, которую можно расширить и превратить в туннель. Затруднительно будет выходить из гостиницы и входить туда в неурочные часы. Когда я обдумал, как вести раскопки, я объявил, что меня вызвали и ночевать в гостинице я в этот раз не буду. Туннель я вырыл; не стану докучать вам подробным рассказом о том, как я его укреплял и как зарыл, когда дело было сделано; главное одно — я добыл корону».

Разумеется, мы с Лонгом издали возгласы изумления и любопытства. Что касается меня, то я давно знал о короне, найденной в Рендлсхеме, и часто оплакивал ее судьбу. Никому еще не доводилось видеть корону англосаксонских королей — тогда не доводилось. Наш юный друг ответствовал нам унылым взглядом. «Да, — вздохнул он, — а самое ужасное, что я не знаю, как вернуть ее обратно».

«Вернуть? — вскричали мы в один голос. — Но зачем, скажите на милость? Вы сделали одну из величайших находок в истории нашей страны. Вам следует отправиться прямиком в сокровищницу Тауэра. Что вас смущает? Если нужно разобраться с хозяином земли, с правами на владение кладом и тому подобное, то мы вам поможем, не сомневайтесь. В таких случаях формальности улаживаются легко».

Мы говорили еще что-то в том же роде, но наш гость в ответ только бормотал, пряча лицо в ладонях: «Знать бы мне, как вернуть ее на место».

Наконец Лонг произнес: «Простите за нетактичный вопрос, но вы нашли именно то, что искали? Вы уверены?» Я и сам хотел об этом спросить, потому что вся история сильно смахивала на бред сумасшедшего, но не решался — боялся обидеть беднягу. Однако он отреагировал вполне спокойно — можно сказать, со спокойствием отчаяния. Он выпрямился и заявил: «О, в этом нет сомнения; она сейчас у меня в комнате, лежит запертая в рюкзаке. Если хотите, можно пойти взглянуть; сюда я ее не понесу».

Не упускать же было такой случай! Мы пошли с юношей к нему в комнату; она находилась в нескольких шагах от нашей. Как раз перед этим в коридоре слуга собирал обувь — так, во всяком случае, мы решили тогда. Впоследствии мы в этом засомневались. Наш гость — звали его Пакстон — совсем скис, его била дрожь. Он проскользнул в комнату и знаком пригласил нас следовать за ним, включил свет и тщательно закрыл за нами дверь. Затем он открыл рюкзак и извлек из него нечто завернутое в чистые платки. Он положил узел на кровать и развязал его. Теперь я могу утверждать, что видел настоящую корону англосаксонских королей. Она была серебряная — та, другая, из Рендлсхема, тоже, говорят, была из серебра, — простой, можно даже сказать, грубой работы, украшена драгоценными камнями, в основном старинными инталиями и камеями. Она походила на те короны, которые можно видеть на монетах или в манускриптах.

Я бы отнес ее к девятому веку, не позже. Разумеется, я изнывал от любопытства и желания подержать корону в руках и рассмотреть ее получше, но Пакстон остановил меня. «Не трогайте, — сказал он. — Я сам». Со вздохом, который невозможно было слышать без содрогания, Пакстон взял в руки корону и стал поворачивать так, чтобы мы смогли разглядеть ее со всех сторон. «Насмотрелись?» — спросил он наконец. Мы кивнули. Пакстон снова завернул корону и спрятал в рюкзак. Он молча смотрел на нас. «Идемте обратно в нашу комнату, — предложил Лонг. — Там вы расскажете, что вас так встревожило». Пакстон поблагодарил нас и сказал: «Может быть, вы пойдете первыми и убедитесь, что путь свободен?» Мы не совсем поняли, чего он хочет: ведь вряд ли наши действия кому-нибудь показались подозрительными, да и гостиница, как я уже говорил, была почти пуста.

Как бы то ни было, но в нас стало просыпаться... трудно сказать что, но нервы и у нас начали пошаливать. Сперва мы приоткрыли дверь и выглянули наружу, и тут нам почудилось («Уже стало чудиться», — отметил я про себя), что от двери в конец коридора проскользнула какая-то тень — или даже не тень, но, во всяком случае, скользнула она бесшумно. Мы вышли в коридор. «Все в порядке», — шепнули мы Пакстону (нам почему-то не хотелось говорить во весь голос), и все втроем, Пакстон посередине, проследовали обратно в нашу гостиную. Я уже готовился разразиться восторженной речью по поводу уникальной находки, но, взглянув на Пакстона, понял, что это будет совершенно некстати, и дождался, пока он заговорит сам.

«Что же мне делать?» — были его первые слова. Лонг, как он сам объяснил мне позже, решил, что уместнее всего будет прикинуться простачком, и откликнулся так: «Почему бы не найти сперва владельца земли и не спросить у него...» — «Да нет же, — нетерпеливо прервал его Пакстон. — Я прошу прощения, вы были очень любезны, но неужели вы не понимаете, что ее необходимо вернуть, ночью я боюсь туда идти, а днем это сделать нельзя. Вы, может быть, и в самом деле не понимаете, так я вам скажу как на духу: с тех пор как я к ней прикоснулся, я ни на миг не оставался один». Я уже готовился произнести какую-то глупую фразу, но поймал взгляд Лонга и осекся. Лонг произнес: «Кажется, я

догадываюсь, о чем идет речь, но не лучше ли будет, если вы расскажете подробнее?»

И вот тайна прояснилась. Пакстон огляделся, знаком подозвал нас поближе и негромким голосом начал свой рассказ. Мы, можете не сомневаться, старались не пропустить ни слова. Позже мы сравнили то, что у нас отложилось в памяти, и я все это записал. Поэтому могу утверждать, что рассказ Пакстона передаю почти слово в слово.

Он заговорил: «Это началось, когда я еще только осматривал курган. Несколько раз это меня отпугивало. Там все время кто-то был — стоял у одной из елок. И при свете дня, заметьте. И он ни разу не оказывался прямо передо мной: я его видел только краем глаза, слева или справа, а когда поворачивался, его там уже не было. Потом я каждый раз подолгу сидел тихо и внимательно наблюдал, убеждался, что никого нет, но стоило мне подняться и снова приступить к разведке, как он появлялся опять. А он к тому же начал подавать мне знаки: где бы я ни оставил этот самый молитвенник, возвратившись, я всегда находил его на столе. Каждый раз он был открыт на первой странице, там, где сделаны записи, а на нем — одна из моих бритв, чтобы он не захлопнулся. Под конец я уж решил прятать книгу. Наверняка мой рюкзак этому типу не открыть — иначе произошло бы что-нибудь похлеще. Он ведь слабый и хлипкий; но все же я боюсь с ним связываться.

Ну вот, а когда я рыл туннель, мне сделалось совсем невмоготу. Меня так и подмывало бросить все и убежать. Похоже было, что кто-то все время скребет меня по спине. Я думал, что это падают комья земли, но когда был уже рядом с короной, то все стало ясно. А когда я расчистил край короны, схватил ее и потянул, то сзади послышался как будто крик — и сколько же в нем было отчаяния! И угрозы тоже. У меня сразу пропало все удовольствие — как отрезало. Не будь я таким круглым идиотом, я положил бы эту штуку обратно и забыл о ней. Но нет.

Остаток ночи я провел ужасно. Для возвращения в гостиницу время было неподходящее — пришлось выждать несколько часов. Сначала я засыпал туннель, потом маскировал следы, а он все старался мне помешать. Его то видно, то нет — как ему вздумается, наверное; то есть он все время на месте, но что-то такое делает с твоими глазами. Да, мне пришлось там долго торчать — до рассвета, а

потом нужно было идти на станцию и возвращаться обратно на поезде. Наконец рассвело, но от этого мне не сделалось много легче.

Края дороги сплошь обсажены живой изгородью или можжевельником, — я хочу сказать, что там есть прикрытие, — и мне все время было беспокойно. А потом, когда начали попадаться люди, шедшие на работу, они все как-то странно заглядывали мне за спину. Может быть, не ожидали встретить здесь кого-нибудь так рано, но казалось, что дело не только в этом, и смотрели они не прямо на меня, а немножко в сторону. Носильщик на станции вел себя точно так же. А когда я вошел в вагон, кондуктор не сразу закрыл дверь — как будто следом за мной шел еще кто-то. И будьте уверены, мне это не почудилось. — Пакстон невесело усмехнулся и продолжил: — Даже если я смогу вернуть корону на место, он меня ни за что не простит, я в этом убежден. А ведь две недели назад не было человека счастливее меня». Пакстон без сил опустился в кресло, и мне показалось, что он заплакал.

Мы растерянно молчали, но чувствовали, что просто обязаны прийти ему на помощь. Другого выхода не было: мы сказали, что если ему так приспичило вернуть корону, то пусть рассчитывает на нашу помощь. Да это было и самое разумное решение после того, что мы слышали. Если на несчастного свалились такие беды, то стоило задуматься: может быть, неспроста рассказывают, что эта корона обладает чудесной властью охранять берег? Во всяком случае, такое у меня было ощущение, да и у Лонга, думаю, тоже. Как бы то ни было, наше предложение Пакстон принял с радостью. Когда же мы приступим к делу? Было почти половина одиннадцатого. Не исхитриться ли нам под каким-нибудь предлогом выбраться этой ночью из гостиницы на позднюю прогулку?

Мы выпянули из окна: ослепительно сияла полная — пасхальная — луна. Лонг взял на себя задачу умиловать коридорного. Нужно было сказать, что мы предполагаем отсутствовать чуть больше часа, а если увлечемся прогулкой и ему придется ждать нас немного дольше, то он не останется внакладе. Мы были хорошими постояльцами, особых хлопот не доставляли, скупостью не отличались, так что коридорный позволил себя умиловать, отпустил нас прогуляться к морю и дождался, как мы

убедились впоследствии, нашего прихода. Пакстон перекинул через руку широкое пальто, скрывшее сверток с короной.

И вот мы отправились в эту странную экспедицию, не успев даже осознать, в какое необычное дело ввязались. Я был намеренно краток в первой части своего рассказа: мне хотелось дать вам представление о том, с какой поспешностью мы наметили план действий и принялись его осуществлять.

«Ближе всего будет взобраться на холм и пройти через кладбище, — сказал Пакстон, когда мы на минутку остановились перед зданием гостиницы, чтобы хорошенько осмотреться. Вокруг не было ни души. Когда кончается курортный сезон, Сибург рано пустеет по вечерам. — Вдоль дамбы и мимо коттеджа идти нельзя — там собака», — пояснил он, когда я указал на более короткий, как я считал, путь: вдоль берега и через два поля. Мы согласились.

Взобравшись на холм, мы достигли церкви и свернули на кладбище. Признаюсь, мне думалось: а что, если кто-то из тех, кто там лежит, знает, куда мы направляемся? Но если это и так, то им было также известно, что один из их компании (если можно так сказать) держит нас под наблюдением, и они ничем себя не выдали.

При этом нас не оставляло ощущение, что за нами следят. Не припомню ничего подобного за всю свою жизнь. Особенно усилилось это чувство, когда мы, пройдя кладбище, шагали по узкой тропинке, зажатой между двумя рядами густой и высокой живой изгороди, как Христиан по Долине, — и так, пока не выбрались на открытое место. Дальше наш путь лежал вдоль кустов, хотя я бы предпочел видеть, не крадется ли кто-нибудь сзади. Мы пересекли возвышенность, на краю которой расположен курган.

Вблизи кургана мы оба, и Генри Лонг, и я, ощутили присутствие чего-то множественного и неопределенного, чему я не подберу названия, и это помимо того единичного, но куда более ощутимого, что сопровождало нас до сих пор. Все это время Пакстон был вне себя: он дышал, как загнанный зверь, и мы просто не решались взглянуть ему в лицо. Мы не задавались вопросом, как он будет действовать на месте: уж очень явно он был уверен в том, что трудностей не возникнет. Так оно и оказалось. Он молнией метнулся к известной ему точке на склоне кургана и стал зарываться в землю, так что через несколько минут почти скрылся из виду.

Мы стояли, держа в руках пальто и сверток, и посматривали по сторонам, надо признать, весьма боязливо. И ничего вокруг нас не было, кроме темневшей на фоне неба череды елей позади, деревьев и церковной башни справа, в полумиле, коттеджей и ветряной мельницы на горизонте слева, мертвенно-неподвижного моря впереди, едва слышного собачьего лая у коттеджа, где слабо мерцала плотина, полной луны и лунной дорожки на воде, вечного шепота шотландских елей над головой и вечного рокота моря вдали. И при всем спокойствии, которое нас окружало, — резкое, пронзительное ощущение стремившейся на волю враждебной силы где-то поблизости; как будто рядом была собака, готовая вот-вот сорваться с привязи.

Из норы высунулся Пакстон и не глядя протянул руку. «Разверните ее и дайте мне», — прошептал он. Мы развязали платки, и Пакстон взял корону. В то же мгновение на нее упал лунный свет. Сами мы к ней не притронулись. Позже я думал, что ничего бы от этого не изменилось. В следующий миг Пакстон появился снова и принялся руками забрасывать землю обратно в нору. Руки у него уже кровоточили, но он не позволил нам помочь ему. На то, чтобы скрыть следы подкопа, ушло гораздо больше времени, чем на сам подкоп; но — уж не знаю почему — удалось это Пакстону как нельзя лучше. Наконец он удовлетворился результатом, и мы отправились восвояси.

Когда мы были уже в двух сотнях ярдов от холма, Лонг внезапно обратился к Пакстону: «Послушайте, вы забыли пальто. Так не годится. Видите его?» И я различил ясно: длинное темное пальто там, где был туннель. Но Пакстон шел не останавливаясь; он только потряс головой и поднял руку, на которой болталось пальто. Мы догнали его, и он сказал — недрогнувшим голосом, как будто больше не о чем было беспокоиться: «Это не оно». И в самом деле, когда мы снова оглянулись, той темной штуки на склоне уже не было.

Мы вышли на дорогу и поспешили обратно в гостиницу. Вернулись мы туда незадолго до полуночи, изобразили святую невинность и стали расхваливать чудесную ночь и прогулку. Коридорный ждал нас, и в расчете на него мы с Лонгом и затеяли, входя в гостиницу, этот разговор. Коридорный, прежде чем закрыть дверь, выпянул наружу и сказал: «Народу, видно, сейчас на улице не много, сэр?» — «Ни души», — ответил я, а Пакстон, припоминая,

бросил на меня очень странный взгляд. «Я просто видел, как кто-то пошел вслед за вами по дороге к станции, — продолжал коридорный. — Но вас было трое, и я не думаю, чтобы тот человек замыслил дурное». Я растерялся, однако Лонг завершил беседу пожеланием: «Покойной ночи», и мы, уверив слугу, что вмиг выключим свет и ляжем в постель, отправились наверх.

Вернувшись в свою комнату, мы сделали все от нас зависящее, чтобы внушить Пакстону более оптимистический взгляд на вещи. Мы заверяли: «Корону вы вернули на место; возможно, было бы лучше, если бы вы совсем ее не трогали (тут он выразительно кивнул), но большой беды не произошло, а от нас никто ничего не узнает — ни один человек, способный повторить ваш безумный поступок. Ну, теперь-то вам полегчало? Честно признаюсь (добавил я), по дороге я готов был с вами согласиться, что... ну, что за нами кто-то следит, но сейчас-то все выплывет уже иначе, не правда ли?» Нет, наши уговоры не подействовали. «Вам тревожиться нечего, — проговорил в ответ Пакстон, — но я... я не прощен. Мне еще предстоит расплата за мое злосчастное святотатство. Знаю, что вы на это скажете. Церковь спасет. Да, но только душу, а не тело. Вы правы, у меня нет ощущения, что он именно сейчас поджидает меня на улице. Но...» Тут Пакстон умолк. Потом он принялся нас благодарить, и мы поспешили от него отделаться. И разумеется, мы весьма настойчиво пригласили его воспользоваться завтра нашей гостиной и сказали, что с удовольствием вместе с ним прогуляемся. А может быть, он играет в гольф? Да, играет, но завтра ему будет не до гольфа.

Ну что ж, мы ему посоветовали поспать подольше, а утром посидеть у нас в гостиной, пока мы будем играть, а потом мы вместе отправимся на прогулку. Он был сама покорность, само смирение: готов делать все, что мы сочтем нужным, но сам-то уверен, что судьбу ни отвортить, ни смягчить не удастся.

Вы спросите, почему мы не настояли на том, чтобы проводить его домой и сдать на попечение братьев или кто там у него еще имелся. Дело в том, что у него не было родни. Недавно он решил переселиться на время в Швецию, так что его квартира в соседнем городе была пуста: все свое имущество он уже погрузил на корабль. Так или иначе, нам оставалось только лечь и заснуть — или же, как я, лечь и долго не засыпать, — а назавтра посмотреть, как все обернется. И назавтра все

обернулось по-другому для нас с Лонгом, потому что утро было самое чудесное, какого только можно пожелать в апреле. Пакстон тоже выглядел иначе, когда мы увидели его за завтраком. «Первая сравнительно приличная ночь за все время», — сказал он. Тем не менее он собирался поступить, как мы договорились: все утро просидеть в гостинице, а позже совершить вместе с нами прогулку. Мы с Лонгом отправились на поле для гольфа, там встретили знакомых, играли с ними в гольф, пообедали пораньше, чтобы не поздно вернуться в гостиницу. И все же Пакстон не избежал силков смерти.

Не знаю, можно ли было это предотвратить. Думаю, это так или иначе случилось бы, что бы мы ни делали. А произошло вот что.

Мы поднялись в нашу комнату. Пакстон был там — мирно сидел за книгой. «Готовы к выходу? — спросил Лонг. — Через полчаса отправляемся?» — «Конечно». Я сказал, что нам сперва нужно переодеться и, может быть, принять ванну. В спальне я прилег и продремал минут десять. Мы с Лонгом покинули свои комнаты одновременно и вместе пошли в гостиную. Пакстона там не было — осталась только книга. Спальня Пакстона была пуста, и на первом этаже мы его тоже не обнаружили. Мы принялись громко звать его. Вышел слуга и сказал: «А я думал, джентльмены, что вы уже ушли, а тот, другой, джентльмен с вами. Он услышал, как вы его зовете снизу, с тропинки, и припустил со всех ног, а я выпянул из окна столовой, но вас не увидел. Он в ту сторону побежал, вдоль берега».

Мы молча бросились туда, куда указал слуга, — в направлении, противоположном маршруту нашего ночного путешествия. Еще не пробило четырех, погода стояла хорошая, хотя и не такая прекрасная, как с утра, и, казалось, беспокоиться было не о чем. Кругом народ, беды ждать не приходится.

Но, думаю, когда мы сорвались с места, вид у нас был такой, что слуга испугался. Он выскочил на порог, махнул рукой и крикнул: «Да-да, в ту сторону он и побежал». Мы примчались к краю усыпанной галькой отмели и притормозили. Здесь дорога раздваивалась: можно было продолжать путь либо мимо домов, стоявших вдоль берега, либо по песчаному пляжу. Был отлив, и перед нами лежала широкая полоса песка. Можно было, разумеется, бежать и посередине, по гальке. Тогда бы мы не теряли из виду ни ту, ни другую дорогу, но

передвигаться здесь было трудно. Мы выбрали песчаный пляж: он был безлюден — вдруг там действительно кто-нибудь нападет на Пакстона.

Лонг сказал, что видит Пакстона: тот бежал и размахивал тростью, как будто подавая знаки кому-то впереди. Я ничего не смог разобрать: с юга быстро приближалась полоса тумана, как часто бывает на море. Кто-то там был, а кто — не скажу. На песке виднелись следы чьих-то туфель. Были и другие следы, босые, более ранние: туфли местами их затоптали. Я ничего не могу предъявить в доказательство своих слов: Лонг мертв, ни времени, ни возможности сделать зарисовку или слепок у нас не было, а прилив вскоре все смыл. Мы разглядели на ходу эти следы — вот и все, что мы смогли сделать. Они попадались снова и снова, и у нас исчезли все сомнения: это были отпечатки босых ног и скорее костей, чем мышц.

Нам жутко было думать, что Пакстон гонится за чем-то... чем-то подобным, думая, что следует за своими друзьями. Нетрудно догадаться, что нам при этом представилось: существо, за которым он гонится, внезапно останавливается, поворачивается лицом к Пакстону, и каково это лицо... полускрытое вначале туманом, который сгущается и сгущается. У меня не укладывалось в голове, как бедняга мог принять за нас это непонятное создание, а потом я вспомнил слова Пакстона: «Он что-то такое делает с моими глазами». И затем я уже только спрашивал себя, каков же будет конец, а что он неотвратим, в этом я больше не сомневался. И... а впрочем, что толку пересказывать вам все те убийственные, мрачные мысли, которые проносились у меня в голове, пока мы бежали по окутанному туманом берегу.

Жуть усиливалась еще и оттого, что солнце светило, а нам ничего не было видно. Мы различали только, что миновали дома и оказались на пустом пространстве перед старой сторожевой башней. А за ней, как вам известно, нет ничего — ни домов, ни людей, только земля, вернее, сплошная галька; справа — река, слева — море, и так долго-долго.

Но, не доходя до этого места, у самой башни мартелло... там старая батарея, на самом берегу, помните? Сейчас от нее, должно быть, осталась пара-другая бетонных блоков, все прочее смыло, но в то время кое-что еще сохранялось, хотя и было частично разрушено.

Так вот, мы бросились туда и стремглав взбежали вверх, чтобы перевести дыхание и взглянуть на отмель, если туман вдруг позволит это сделать. В любом случае нам нужно было отдышаться. Мы ведь преодолели бегом милю, не меньше. Разглядеть ничего не удалось, мы уже собирались сойти вниз и продолжить безнадежную погоню, как вдруг услышали звук, который я, за неимением другого слова, назову смехом. Если вы сможете представить себе смех без признаков дыхания, без участия легких, то поймете, о чем я говорю; но думаю, не сможете. Звук этот раздался снизу и ушел в сторону, в туман. Этого было довольно. Мы перегнулись через стену и поглядели вниз. Пакстон был там.

Разумеется, он был мертв. Следы показывали, что он пробежал вдоль края батареи, резко завернул за угол и, несомненно, попал прямо в объятия того, кто его поджидал. В рот Пакстону набились песок и камни, зубы и челюсти были раздроблены на кусочки. Мне хватило одного взгляда на его лицо.

Карабкаясь вниз, туда, где лежало тело, мы услышали крик и увидели человека, мчавшегося по берегу со стороны башни. Это был местный сторож. Опытным взглядом он сумел сквозь туман распознать неладное. Он видел, как упал Пакстон и как, мгновением позже, появились мы. Тут счастье было на нашей стороне: если бы не он, то не избежать бы нам самых роковых подозрений. Не напал ли кто-нибудь на нашего друга, спросили мы. Не может сказать, не разглядел.

Мы послали сторожа за помощью, а сами оставались у мертвого тела, пока сторож не вернулся с подмогой и носилками. До его прихода мы нашли следы на узкой полосе песка вплотную к стене батареи. Вокруг всюду галька, и никакой возможности определить, куда делся тот, другой.

Что мы могли сказать при дознании? Мы были убеждены, что в данных обстоятельствах наш долг — сохранить тайну короны от газетчиков. Не знаю, что бы вы сказали на нашем месте, но мы сговорились на следующем: познакомились мы с Пакстоном только вчера, он упоминал, что опасается какого-то человека по имени Уильям Эйджер. Кроме того, когда мы догоняли Пакстона, то видели на берегу рядом с его следами другие. Но разумеется, к тому времени никаких отпечатков на песке уже не было.

К счастью, оказалось, что никакого Уильяма Эйджера в округе никто не знает. Свидетельство сторожа освободило нас от всяких подозрений. Был вынесен вердикт, что имело место умышленное убийство, совершенное одним или несколькими неизвестными. Этим дело и ограничилось.

Все дальнейшие попытки что-либо разузнать привели в тупик, так как у Пакстона не оказалось ни родных, ни близких — буквально ни души. С тех пор я ни разу не бывал ни в самом Сибурге, ни вообще в тех краях.

Генри Сент-Клэр Уайтхед

(1882–1932)

Камин

Пер. с англ. Е. Титовой

Когда гостиница Плантера в Джексоне, Миссисипи, сгорела до основания в памятном пожаре 1922 года, потери для значительной части Юга казались невосполнимыми. До сих пор многие вспоминают о былом великолепии гостиницы. Давным-давно миновали дни, когда виргинская ветчина подавалась здесь не иначе как на закуску к хорошему белому вину; и так как несуразное старое здание было застраховано на серьезную сумму, владельцы не понесли значительных материальных потерь. Основные потери касались не вещей, а людей — в огне погибли двое известных общественных деятелей, вице-губернатор Френк Стекпул и мэр Кассиус Л. Тернер. Эти джентльмены, находившиеся лишь на пороге старости, в тот день встречались в гостинице с двумя своими старыми приятелями, судьей Варни Дж. Бейкером из Мемфиса, штат Теннесси, и почтенным Вальдемаром Пилом, уважаемым гражданином штата Джорджия, из Атланты. Так вышло, что два других южных города тоже облачились в траур: судья Бейкер и мистер Пил также погибли в огне. Пожар случился как раз накануне Рождества, двадцать третьего декабря, и среди множества сочувственных и печальных замечаний, которые последовали за этим кошмарным событием, неоднократно высказывалось предположение, что эти господа устроили своего рода рождественский праздник. Впрочем, этот факт мало что добавлял к всеобщему ужасу и скорби.

По требованию этих важных господ управляющий отеля подготовил меблированную комнату на третьем этаже с большим камином, комнату, долгое время используемую как чулан; однако мэр и вице-губернатор уверяли, что именно это помещение обеспечит желанные удобства четверем добрым друзьям. Пламя, вырвавшееся из камина и распространившееся вопреки безнадежным попыткам мужчин остановить пожар, видимо, загнало в ловушку четверых

людей, тела которых в итоге буквально обуглились. Пожар начался, как выяснилось, приблизительно за полчаса до полуночи, когда все в гостинице отошли ко сну. Никто из обитателей дома больше не пострадал от огня; разве что незначительный ущерб был причинен в суматохе при извлечении тел погибших из пылающей огненной ловушки.

Примерно за десять лет до этого прискорбного случая, положившего конец долгой и успешной истории этой знаменитой гостиницы, некий мистер Джеймс Коллендер, прервав свое изнурительное путешествие на Север, очутился в гостеприимном вестибюле гостиницы Плантера и вздохнул с облегчением. Он в течение девяти часов был заперт в душном вагоне поезда. Он устал, хотел есть и пить, к тому же весь перепачкался в саже.

Два улыбающихся носильщика-негра внесли его внушительный багаж, который они доставили с железнодорожной станции в надежде на хорошее вознаграждение; по крайней мере, его можно было ожидать, судя по внешнему виду их состоятельного патрона и приближавшимся рождественским праздникам. Они получили чаевые и оставили мистера Коллендера, когда он заполнял регистрационный бланк.

— Нельзя ли мне занять двадцать восьмой номер? — спросил он клерка. — Там, если я не ошибаюсь, комната с большим камином, не так ли? Мой друг, господин Том Калбертсон из Свитбрая, рекомендовал мне ее на случай, если я остановлюсь здесь.

Номер двадцать восемь был, к счастью, свободен, и новый постоялец скоро в него заселился. Огонь, как и ожидалось, ревел в дымоходе; вскоре господин увлекся приготовлением такой роскоши, как горячая ванна.

После неспешного обильного обеда, каковыми славилась старая гостиница, мистер Коллендер сначала медленно прогулялся через лобби-бар, насладившись хорошей сигарой, потом, не заметив ни одного знакомого, с которым можно было бы поговорить, поднялся в свою комнату, подбавил дров в огонь и приготовился провести вечер в уединении. Вскоре, в пижаме, купальном костюме и удобных тапочках, он расположился в удобном кресле на безопасном расстоянии от огня и принялся читать привезенную с собой книгу. Его

обед был поздним, поэтому за книгу он сел уже в половине десятого. Это был «Дом духов» Артура Мэйчена, и вскоре жуткие впечатления от прочитанного захватили господина Коллендера, так как эта замечательная работа превосходила все его предыдущие опыты изучения оккультных текстов. Эта книга производила особенный эффект, она не усыпляла. Мистер Коллендер читал внимательно, вдумчиво; но его размышления прервались, когда раздался внезапный стук в дверь.

Мистер Коллендер перестал читать, отметил место, на котором остановился, и поднялся, чтобы открыть дверь, удивляясь, кому он мог понадобиться в столь поздний час. Проходя мимо бюро, он взглянул на часы и был еще более удивлен, заметив, что уже половина двенадцатого. Значит, он читал приблизительно два часа. Он открыл дверь и снова изумился, не обнаружив никого в коридоре. Он перешагнул через порог и огляделся по сторонам. Заметив какое-то движение в обоих концах коридора, вдали от двери, мистер Коллендер, который не раз упражнялся в объяснении очевидного, мгновенно нашел подходящий ответ. Постоялец из двухместного номера, решил мистер Коллендер, поздно вернулся и просто ошибся комнатой; он постучал, чтобы предупредить соседа о своем возвращении. Затем, поняв, что стучится не в ту дверь, человек скрылся за поворотом коридора, чтобы избежать нелепых объяснений!

Мистер Коллендер, улыбаясь этой своей мысли, вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Какой-то господин сидел в кресле, которое он только что оставил. Мистер Коллендер быстро остановился и уставился на незваного гостя. Человек, занимавший его удобное кресло, был немногим старше его самого, приблизительно лет тридцати пяти. Он был высок, хорошо сложен и очень хорошо одет, хотя, окинув его беглым взглядом, господин Коллендер заметил что-то неуловимо странное в одежде. Мужчины оценивающе рассматривали друг друга в тишине на протяжении нескольких секунд, а затем мистер Коллендер вдруг понял, что было не так во внешности незнакомца. Он был одет по моде пятнадцатилетий давности, в стиле конца девяностых. Никто уже не носил таких высоких воротников на булавке и таких огромных многослойных галстуков, которые скрывали все признаки белья, за исключением тонкого края. Этот галстук на

незнакомце был круглым, безупречным и крепился к одежде при помощи пары больших круглых резных черных пуговиц.

Даже не поднявшись с кресла, странный господин, сложив руки на груди, нарушил тишину голосом, в котором отчетливо слышалось недовольство:

— Должен перед вами извиниться, сэр. Надеюсь, вы выслушаете мои объяснения. Эта комната имеет для меня особое значение. Вы все поймете, если позволите мне говорить дальше, но пока я ограничусь вопросом: позволите ли?

Речь велась в такой искренней и располагающей манере, что мистер Коллендер не мог позволить себе прервать говорившего.

— Хорошо, сэр, пожалуй, будет лучше, если вы продолжите, как предлагаете. Признаться, я весьма озадачен тем, как вы сюда попали. Единственный проход — эта дверь, но клянусь, через нее никто не входил. Я услышал стук, подошел к двери, но там никого не было.

— Мне представляется, что будет лучше, если я начну с самого начала, — рассудительно заметил неизвестный. — Факты будут несколько необычны, как вы увидите в процессе моего рассказа; тем не менее иначе я едва ли оказался бы здесь в этот поздний вечерний час и злоупотребил бы вашим гостеприимством. Уверяю вас, что все это не пустая шутка.

— Продолжайте, сэр, разумеется, — перебил мистер Коллендер; его любопытство все возрастало. Он пододвинул другое кресло и уселся обок камина, напротив незнакомца, который сразу же начал свое объяснение.

— Мое имя Чарльз Беллинджер, этот факт я бы любезно попросил вас отметить и сохранить в памяти. Я приехал из Билокси, это вниз по заливу, и, в отличие от вас, я южанин, уроженец штата Миссисипи. Как видите, сэр, мне кое-что о вас известно, или, по крайней мере, я знаю, кто вы.

Мистер Коллендер кивнул, незнакомец ответил жестом, указывая на то, что он переходит к делу.

— К этому я могу добавить еще кое-что, чтобы сразу ответить на некоторые вопросы. Хотя само по себе это прозвучит несколько необычно, но вообще-то я мертв.

При этом поразительном заявлении мистер Беллинджер заметил изумление на лице мистера Коллендера, улыбнулся обнадеживающе и

снова стал делать выразительные жесты, используя свое молчаливое красноречие.

— Да, сэр, то, что я говорю вам, чистая правда. Я ушел из жизни прямо в этой комнате, в которой мы сейчас сидим, почти шестнадцать лет тому назад. Моя смерть произошла двадцать третьего сентября. Послезавтра исполняется ровно шестнадцать лет с того дня. Я пришел сюда в этот вечер с твердым намерением рассказать вам факты, в том случае, конечно, если вы готовы меня выслушать и повременить со скорыми суждениями относительно моего здравомыслия. Это я стучал в вашу дверь, и я прошел сквозь нее и, если можно так выразиться, сквозь вас, мой дорогой!

В тот день ближе к вечеру, как мне припоминается, я прибыл в гостиницу в компании мистера Френка Стекпула, моего знакомого, который все еще живет здесь, в Джексоне. Я встретил его, как только сошел с поезда, и пригласил пойти со мной сюда пообедать. Так как он холостяк, колебаний не последовало, и мы пошли. Сразу же после обеда мы встретили в лобби-баре еще одного человека, которого зовут Кассиус Л. Тернер, тоже из Джексона. Он-то и предложил сыграть в карты и пригласить еще двух джентльменов для полной партии. Я пригласил их всех пройти в мою комнату, а Стекпул и я пришли сюда заранее, чтобы приготовить все необходимое для вечера игры в покер.

Вскоре после этого прибыли господин Тернер и два других джентльмена. Одного из них звали Бейкер, а другой из них был Вольдемар Пил из Атланты, штат Джорджия. Полагаю, вам знакомо его имя, я на это и рассчитывал. Мистер Пил сейчас очень значительный человек. Он далеко ушел с тех пор, как мы не виделись. Если бы вы лучше знали этот город, вы бы поняли, что Стекпул и Тернер тоже очень важные персоны. Бейкер, который живет в Мемфисе, штат Теннесси, также хорошо известен в своем кругу.

Пил, как оказалось, был зятем Стекпула, чего я заранее не знал, и вообще все четверо были очень хорошо знакомы между собой. Я был представлен двум новоприбывшим господам, и мы начали играть в покер.

Мне трудно это объяснить, но, поскольку я был и хозяином, и новичком партии одновременно, мне везло, и я стабильно побеждал с самого начала. Мистер Пил проигрывал больше всех, и, хотя на

протяжении вечера он сидел, сжав губы, не проронив ни слова, было ясно, что он очень тяжело переживает свои значительные потери.

Вскоре после одиннадцати часов случился очень неприятный инцидент. Я никак не мог ожидать, что нахожусь в кругу не джентльменов. Больше остальных, как видите, я знал Стекпула, но и с ним мое знакомство было только случайным. Так вот, в тот момент, я припоминаю, начался джекпот. Во второй раунд я вошел с парой королей и парой четверок. Понадеявшись на счастливую руку, я сбросил четверки с нечетными и остался с парой королей в ожидании третьего раунда. Удача была на моей стороне. Мне достался не только третий король, но еще и пара восьмерок. Так что я полагал свои карты лучшими, и, когда в двух раундах все остальные сложили свои карты, поединок начался между Пилом и мной. Пил, я заметил, тоже скинул три карты, и все шло к тому, что я его побью. Я вынудил его вскрыть карты, и, когда он раскрылся, в его руках было четыре четверки! Понимаете? Он подобрал мои скинутые карты.

Желая уличить Пила при любом удобном случае, я сразу же объявил о своих подозрениях, поскольку как иначе обвинять соседа по карточной игре в мошенничестве, особенно здесь, на Юге? Возможно, так и было, по крайней мере, маловероятно, чтобы мои подозрения были ошибкой. Конечно, дилер мог случайно положить скинутую карту на стол, но весь вечер он раздавал карты последовательно, без путаницы. Подразумевая, что считаю все это не более чем ошибкой, я сразу же предложил передать внушительный выигрыш, который вообще-то принадлежал мне, в руки следующего победителя. Во время своей речи я приподнялся со стула, но не успел никто и слова сказать, как Пил через стол наклонился и ударил меня острым охотничьим ножом, который я даже не смог заметить у него в руках — настолько стремительными были его движения. Он ударил снизу вверх, по наклонной, и лезвие, войдя в мое тело прямо под ребро, разрезало правое легкое надвое. Я медленно упал поперек стола и в течение нескольких секунд кашлял, а затем почти бесшумно умер.

Сам момент перехода был до некоторой степени болезненным. Казалось, будто неотъемлемая часть меня — моя душа — вдруг резко, в одно мгновение, отделилась от той деформированной вещи, которая неуклюже лежала ничком среди беспорядка на столе; эта вещь называлась моим телом. И тело больше не шевелилось.

Потом то, что продолжало быть мной (хотя оно, конечно, отделилось от того, что было средством выражения меня, от моего тела), непрерывно осознавало происходившее и следило за тем, что случилось далее.

В течение нескольких мгновений стояла полная тишина. Потом Тернер хриплым напряженным голосом прошептал Пилу: «Теперь сам расхлебывай, ты, невообразимый дурак!»

Пил молча сидел, нож, который он машинально вынул из раны, все еще оставался в его руках, и то, что было моей кровью, медленно капало с него и постепенно высыхало, потому что падало на рассыпанную колоду карт. Затем, спокойно и без долгих разговоров, Бейкер взял ситуацию под контроль. На протяжении вечера он оставался очень спокойным и вел весьма сдержанную игру.

— Дело требует тщательной обработки, — произнес он медленно, — и, если вы последуете моему совету, думаю, это можно превратить в простое исчезновение. Беллинджер приехал из Билокси. Его здесь не знают.

Затем, поднимаясь и концентрируя всеобщее внимание, он продолжал:

— Сейчас я спущусь вниз, в кухню, ненадолго. Пока я хожу, держите дверь запертой и сидите тихо, приберитесь в комнате, оставьте *это* (он указал на мое тело) там, где оно лежит. Ты, Стекпул, расставь мебель в комнате приблизительно так, как она стояла, когда ты пришел сюда. Ты, Тернер, разведи огонь посильнее. Подожди, не сейчас. — Он бросил взгляд на Пила, который начал нервно оттирать кровь с ножа обрывком газеты; и с этим таинственным замечанием судья скрылся за дверью.

Двое названных, казалось, несколько ошеломленные произошедшим, тихо занялись порученными им делами. Пил, который не мог отойти от стола, продолжал бросать на него взгляды и постоянно переставлял стулья, поправлял их, а потом собрал карты и другие остатки со стола и швырнул их в ярко пылавший огонь, в который Тернер быстро подкидывал свежие дрова.

Через несколько минут Бейкер вернулся, так же бесшумно, как и ушел, и, после того как осторожно закрыл дверь и приблизился к столу, собрал трех других вокруг себя и достал из-под полы пальто громоздкую и наскоро собранную пачку газет. Затем он развернул

пачку; внутри лежали три больших кухонных ножа. Я видел, как Тернер весь побелел, как только идея Бейкера стала доходить до него. Теперь все поняли, что Бейкер имел в виду, когда посоветовал Пилу подождать с чисткой охотничьего ножа! По-видимому, этот план, который он задумал, часто применялся на практике. Тело — *corpus delicti* (состав преступления), так, полагаю, вы, люди закона, называете его — было крайне неудобным. По крайней мере, Бейкер ясно осознавал, что не должно быть никакого *corpus delicti*!

Он вел поспешный, на пониженных тонах, разговор с остальными; выслушав его, даже Пил отшатнулся. Я не буду передавать весь разговор вам. Вы и так уже отгадали, что Бейкер спланировал. В камине трещал огонь. Именно он являлся средством, которое уж точно не должно было оставить никакого *corpus delicti* в комнате, когда все уйдут. Без такого доказательства, как само тело убитого, не последовало бы, как вы, разумеется, понимаете, и никакого судебного преследования, ибо не было бы ни единого доказательства, что преступление вообще совершено. Я должен был просто «исчезнуть». Он предвидел все это и даже возможность, которую предоставлял камин для исполнения плана, — все сразу. Но пламя было хоть и большим, но все же недостаточно сильным, чтобы полностью поглотить человеческое тело. Вот чем объяснялось спешное и таинственное посещение кухни. Мужчины оглядывались друг на друга. Пил ощутимо дрожал, пот струился с лица Тернера. Стекпул казался неколебимым, но я успел заметить, как тряслась его рука, когда он потянулся за одним из огромных мясницких ножей, к тому же он был первым, кто отвернул голову, когда Бейкер, сам бледный и с каменным лицом, осторожно взялся за первую окоченевшую руку.

В ту ночь камин горел, как сегодня, — за полтора часа не осталось ничего от *corpus delicti*, за исключением зубов.

Бейкер, казалось, все продумал. Когда огонь уже изрядно прогорел, уничтожив половину того, что в него складывали по частям, он подбросил топлива и стал сжигать сердце, положив его на остатки костей, которые не сгорели с первого раза. В итоге все доказательства преступления были уничтожены. Как будто бы меня никогда и не существовало! Моя одежда, конечно же, тоже была сожжена. Когда эти четверо, уже измученные своими ордалиями, закончили процесс сожжения, они еще раз прибрались и расставили мебель в комнате.

Множество газет, принесенных ими в карманах пальто, были использованы для очистки стола. Ножи, включая нож Пила, тщательно вычистили и вымыли, а воду, вылившуюся из раковины, полностью собрали. На ковре не осталось ни капли крови.

Мой немалый выигрыш, и чеки, и валюту — все, что у меня было, — эти жулики хладнокровно разделили между собой, и только в этот короткий отрезок времени они считали меня реальным. Затем возникла проблема распределения других вещей, мне принадлежавших. Это были часы, складной карманный нож и несколько старых брелоков, доставшихся мне от моего деда, которые я привык носить на цепочке в другом кармане, не в том, в котором я носил часы. Еще оставались мои запонки, булавка для галстука, два кольца и, наконец, мои зубы. Последние были отложены в сторону Бейкером, когда он осторожно перемешивал тлеющие угольки после первой части аутодафе.

В этой точке рассказа мистер Беллинджер остановился и в задумчивости поправил волосы на макушке своей выразительной рукой. Коллендеру удалось наконец разглядеть то, что он до этого не улавливал: у его гостя были необычайно длинные, тонкие руки, очень мускулистые. Это были руки художника, руки решительного и активного человека. Коллендер еще заметил, что указательные пальцы были почти такой же длины, как и средние.

Коллендер, не способный ответить на вполне естественный вопрос — кто же все-таки перед ним и почему этот человек излагает столь необычную историю так спокойно и убедительно, — с величайшим интересом рассматривал эти руки, говорившие о силе характера. Мистер Беллинджер тем временем продолжал рассказ:

— Затем они стали обсуждать, как бы избавиться от всех этих вещей. Сошлись на том, что раз уж нельзя их попросту сжечь, то нужно спрятать. Если бы я был одним из них, я бы непременно настоял на том, чтобы выбросить вещи в реку при первой же возможности. Один из них мог бы без малейшего подозрения и чрезвычайно легко вынести их из комнаты, в которой они находились, но этому простейшему плану не суждено было сбыться. Вероятно, их изобретательность иссякла после совершения ужасного дела, и они более всего желали в тот момент побыстрее отсюда выбраться. Поэтому они сумели только спрятать эти безделушки, а само место

выбрано было случайно. Они воспользовались способом, который мне не нужно описывать, потому что я лучше вам все покажу.

Мистер Беллинджер поднялся и направился в угол комнаты, за ним последовал изумленный Коллендер. Беллинджер указал прямо в угол.

— Хотя сейчас я и выпяжу как живой, — заметил он, — вы, вероятно, понимаете, что все происходящее подчиняется действию строгих законов физики, в том числе я и мои силы. Я неспособен совершать какие-то реальные действия. Скорее всего, я лишился этой способности после того, как постучал в дверь, но как по-другому было оповестить вас о моем присутствии... Вы окажете мне большую любезность, если приподнимете ковер вот в этом месте.

Мистер Коллендер подхватил дрожащими пальцами угол ковра и потянул. Гвозди после нескольких сильных рывков поддались, и ковер стал отрываться от пола; внизу обнаружился большой кусок тяжелого олова, упирившийся в старую крысиную нору.

— Не могли бы вы отодвинуть и металл, пожалуйста, — попросил мистер Беллинджер. Справиться с куском олова оказалось труднее, нежели с ковром, но мистер Коллендер, теперь вконец заинтригованный, довольно быстро справился и с ним, хотя и ценой двух сломанных лезвий карманного ножа. Следуя дальнейшим распоряжениям Беллинджера, отдаваемым с помощью жестов, он обнаружил и извлек сверток, который, как оказалось, был сделан из подкладки кармана брюк. Ткань обветшала и разваливалась, мистер Коллендер аккуратно положил ее на стол. Затем, развернув сверток, он обнаружил те самые вещи, которые назвал Беллинджер. Круглые запонки лежали с краю, и в тот момент, когда они оказались у него в руках, он посмотрел на запястье господина Беллинджера. Тот улыбнулся и сорвал свои запонки, и Коллендер снова обратил внимание на его особенность — длинные, мускулистые пальцы особенно выделялись сейчас, в ярком свете электрической лампы. Обе пары запонок были абсолютно одинаковыми.

— Возможно, вы будете так любезны и примете эти вещи от меня в подарок, собрав всю коллекцию, — предложил Беллинджер. Затем добавил, потому что Коллендер, как это ему было свойственно, сомневался: — Возьмите их, дорогой, возьмите их без колебаний. Они мои, и я отдаю их вам!

Коллендер подошел к платяному шкафу, где висела его одежда, и положил сверток в карман пиджака. Когда он вернулся к камину, его гость снова сидел на своем месте.

— Надеюсь, — сказал он, — что, несмотря на исключительность — я бы даже сказал, странность — моего рассказа и в особенности того утверждения, с которого я решил его начать, вы все же мне доверяете. Редко можно столкнуться с изложением тех событий, о которых я поведал вам, не так ли? К тому же далеко не каждый, а только, с позволения сказать, избранный сможет вынести пространную беседу с человеком, который вот уже шестнадцать лет, как мертв.

Моя цель, возможно, уже предстала перед вами во всей своей простоте. Эти люди избежали всех последствий своего злодеяния. Они — думаю, вы не будете этого отрицать — просто четверо отъявленных негодяев. Они на свободе, они занимают ответственные, важные посты, они солидны, им доверяют. Вы — юрист, человек высоко профессиональный и просто честный. Посему позвольте спросить, предпримете ли вы какие-либо меры, чтобы установить справедливость? Вы, должно быть, способны повторить основные моменты моего рассказа. У вас даже есть доказательства в виде тех вещей, которые сейчас лежат в вашем кармане. Факт моего исчезновения известен. В то время было много шума вокруг этой истории, но ее так никто и не объяснил. Существует книга регистрации в отеле, которая доказывает, что я был здесь в тот день, и будет не сложно доказать, что эти мужчины были со мной в одной компании. Но прежде всего я смею надеяться, что для вынесения обвинительного приговора хватит простого пересказа моей истории в присутствии этих четверых, должным образом вызванных в суд. Просто повторите все, что я рассказал вам; это подтвердило бы их вину и удовлетворило бы любого судью или присяжных. Они стали бы просить о помиловании и унижаться в подлом суеверном страхе задолго до того, как вы закончили бы свое описание. Или же троим из них можно было бы организовать очную ставку, сообщив, что четвертый уже сознался. Возьметесь ли вы за исправление этой мучительной несправедливости, мистер Коллендер, и тем самым даруете успокоение моему праху? Ваша профессиональная обязанность, состоящая в поддержании справедливости и

расследовании правонарушений, в сочетании с вашим характером, должны заставить вас согласиться.

— Я сделаю это, обещаю от всего сердца, — ответил Коллендер, протягивая свою руку. Но, до того как его собеседник успел пожать ее, вновь раздался стук в дверь гостиничной комнаты. Немного испуганный, Коллендер подошел к двери и распахнул ее. Служащий гостиницы напомнил ему, что он просил постучаться к нему, и как раз настал указанный час. Мистер Коллендер поблагодарил служащего, подал ему чаевые, а когда вновь обернулся, то обнаружил, что находится в комнате один.

Он приблизился к камину, присел и принялся пристально смотреть на тлеющие угли за решеткой. Затем он встал, подошел к платяному шкафу и ощупал карман пальто в поисках свидетельства того, что он просто спал; его рука наткнулась на мешочек из подкладки брючного кармана. Он выложил на стол во второй раз за это утро те вещи, которые были в мешочке.

После раннего завтрака мистер Коллендер попросил разрешения взглянуть на книгу регистрации за 1896 год. Он обнаружил, что Чарльз Беллинджер из Билокси был зарегистрирован в ней после полудня двадцать третьего декабря, и его поселили в комнату номер двадцать восемь. У него больше не было времени для дальнейших запросов, и, поблагодарив услужливого клерка, мистер Коллендер поспешил на железнодорожную станцию, чтобы продолжить свое путешествие на Север.

На протяжении поездки его мысли были заняты только этим странным случаем. В конце концов он всерьез обеспокоился.

Как только ему позволили профессиональные обязанности, он начал делать запросы, отыскивая тех людей, имена которых глубоко запечатлелись в его памяти. Но он был вынужден прервать поиски, так как небывалое количество юридических дел требовало его незамедлительного внимания. Он знал, что этот этап карьеры исключительно важен для его будущего; он старательно трудился над делами клиентов. Усердие было вознаграждено рядом заметных профессиональных успехов, его репутация значительно укрепилась.

Чрезмерная занятость не могла не заглушить тех сильных впечатлений, которые остались после приключения в номере отеля, и содержимое кармана брюк пребывало нетронутым и запертым в его

сейфе в то время, как он занимался делами нефтяной корпорации Рокленда, боролся и подавал апелляции в ходе известного судебного разбирательства между Бернетом и Де Кастро и прочее.

Именно в погоне за доказательствами по вышеназванному делу служебные обязанности и привели его снова на Юг. Получив искомые подтверждения, он направился домой и снова нашел целесообразным прервать свою длинную поездку на Север именно в Джексоне. До тех пор пока он не стал расписываться в книге регистрации посетителей, Коллендер даже не задумывался, что в тот день было двадцать третье декабря, дата, напрямую связанная с необыкновенным рассказом мистера Беллинджера.

На сей раз он не попросил поселить его в какую-то определенную комнату. Он ощущал смутное предчувствие, что его ожидает возмездие за какую-то небрежность, — чувство, изредка возникавшее в далеком детстве. Он улыбался, но эти странные мысли быстро сменились мрачными ожиданиями, которые он никак не мог отбросить; они появились в тот момент, когда по странному стечению обстоятельств ему снова предоставили номер двадцать восемь — комнату с камином. Коллендер подумал было попросить другой номер, но не смог найти ни одного рационального объяснения. Он расписался и ощутил, как забилося сердце, когда он увидел эти цифры, выведенные в конце страницы, — но промолчал. Он согласился поселиться в этом номере, хотя комната и была связана с ужасной тайной, о которой в целом мире знали только он и четверо убийц, все еще остававшиеся на свободе из-за того, что он не смог сдержать обещания. Он был человеком современным и вполне прогрессивным, а желание переменить комнату без каких-либо зримых оснований могло навлечь на него подозрения в чудаковатости.

Он вошел в свою комнату и, поскольку снаружи царил холодная ночь, попросил разжечь в камине огонь...

Когда гостиничный служащий постучал в его дверь утром, ответа не последовало; после нескольких попыток разбудить постояльца он сообщил о неудаче портье. Позже была предпринята еще одна попытка, но поскольку и она оказалась безрезультатной, дверь взломали, прибегнув к помощи слесаря.

Тело мистера Коллендера было найдено около камина, голова лежала за решеткой. Казалось, его задушили, так как следы двух рук

глубоко отпечатались на горле. Пальцы буквально впились в посиневшее, безжизненное тело, и понятые, приглашенные следователем, заметили одну особенность, когда составляли описание: следы явно указывали на то, что у убийцы были очень длинные и тонкие пальцы, а указательный палец был почти такой же длины, как и средний.

1925

Хью Уолпол

(1884–1941)

Миссис Лант

Пер. с англ. М. Куренной

1

— Вы верите в привидения? — спросил я Рансимана. Я задал ему этот крайне банальный вопрос скорее оттого, что долго поддерживать разговор с таким собеседником довольно трудно, нежели по какой-либо иной причине. Возможно, вам знакомы книги Рансимана — «Бегущий человек», «Вяз», «Кристалл и горящая свеча», — но, вероятнее всего, нет.

Рансиман — один из тех незаметных писателей, которые выказывают достаточное постоянство в наше время перепроизводства книг: каждую осень они публикуют новый роман, вызывающий бурный восторг и похвалы у критиков определенного рода, имеют небольшую, но преданную читательскую аудиторию, очень мало известны, крайне неинтересны в общении и зачастую застенчивы, нервны, унылы и далеки от повседневной жизни. Такие писатели создают порой чудесные произведения, но не получают признания при жизни и еще лет эдак пятьдесят после смерти, — правда, затем бывают извлечены из забвения каким-нибудь дотошным критиком и становятся кумирами нового поколения.

Я задал Рансиману вопрос о привидениях, ибо по какой-то непонятной мне самому причине пригласил этого человека пообедать к себе домой и теперь оказался перед малоприятной перспективой провести в его обществе длинный вечер за самым утомительным из всех возможных разговоров, который каждые две минуты замирает и возобновляется лишь невероятными усилиями собеседников.

Рансиман чувствовал себя тем более неуверенно в моем обществе, что я, как литературный критик, много раз хвалил его работы. Если бы я ругал их, возможно, мой гость нашел бы много тем для разговора; уж такого рода он был человек. Но вопрос мой оказался удачным. Рансиман мгновенно встрепенулся; его длинное костлявое

тело начало с новой силой излучать энергию; взгляд, словно обращенный к неким волнующим событиям прошлого, возбужденно загорелся. Мой гость принялся говорить не останавливаясь, и я постарался не перебивать рассказчика. Безусловно, он поведал мне одну из наиболее удивительных историй, какие мне когда-либо доводилось слышать. Правдива она или нет, я, конечно, судить не могу: истории о привидениях мы почти всегда слышим из вторых или третьих уст. Мне, во всяком случае, посчастливилось в жизни избежать опыта общения с потусторонним миром. Но Рансимана нельзя назвать лжецом: он слишком серьезен для этого. Сам он признал, что по прошествии долгого времени история эта едва ли стала звучать достоверней. Так или иначе, вот рассказ, записанный со слов моего гостя.

— Это случилось около пятнадцати лет назад, — начал он. — Я отправился в Корнуолл погостить у некоего Роберта Ланта. Вы помните это имя? Вероятно, нет. Он написал несколько книг из того неопределенного разряда произведений, который представляет собой нечто среднее между романом и поэмой, пронизан мистическими настроениями, довольно живописен и не приносит автору ровным счетом никакого дохода. «Возвращение» де ла Мара — яркий пример такого рода произведений. Я где-то опубликовал отзыв о последней книге Ланта — отзыв благожелательный — и получил от автора поистине трогательное письмо, из которого становилось ясно, что человек этот страстно нуждается в добром слове и, как мне показалось, в обществе друга. Лант жил в Корнуолле где-то на побережье; жена его умерла год назад. Он писал, что живет там совершенно один, спрашивал, не найду ли я возможности провести с ним рождественские праздники, и выражал надежду, что я не сочту подобное приглашение бестактным. Он предполагал, что я уже получил к этому времени приглашение на Рождество, однако решил все-таки попытать счастья. Что ж, никакого приглашения на Рождество я еще не получил и получить не рассчитывал. Если Лант так одинок, то я тоже. Если он был неудачником — я тоже. Да, меня чрезвычайно тронуло это письмо, и я принял приглашение. Сидя в поезде, шедшем в Пензанс, я пытался представить себе внешность этого человека. Мне никогда не доводилось видеть его фотографий: он не относился к числу авторов, чьи портреты появляются на страницах

газет. Я воображал человека приблизительно моего возраста, возможно, несколько старше. Ведь некоторые одинокие люди вечно ждут появления в своей жизни некоего друга, идеального друга, который поймет все их чувства, одарит любовью, далекой от сентиментальности, и примет живое участие в их делах, не становясь при этом навязчивым, — короче, друга, каких не бывает на свете.

Думаю, еще до прибытия в Пензанс я проникся к Ланту совершенно романтическим чувством. Мы, он и я, могли бы обсуждать вдвоем все литературные вопросы, занимавшие в то время мое внимание, могли бы проводить много времени вместе и даже совершать те небольшие поездки за границу, которые так неизбежно печальны, когда человек одинок, и так восхитительны, когда рядом с ним находится близкий друг. Я представлял себе Ланта рассеянным, хрупким и утонченным джентльменом, с некоторой склонностью к меланхолии и по-детски живой фантазией. Оба мы не добились успеха в жизни, думалось мне, но вместе мы сможем творить великие дела.

Когда поезд прибыл в Пензанс, уже почти стемнело, и из низких облаков, весь день грозивших просыпаться снегом, на землю начали робко падать первые пушистые снежинки. В письме Лант сообщал, что у станции меня будет ждать наемный экипаж, — и я увидел его там: нелепую старую, выдавшую виды повозку с нелепым старым, выдавшим виды кучером. Возможно, сейчас, по прошествии долгих лет, многие вещи я додумываю задним числом, но мне кажется, что, едва дверца экипажа захлопнулась за мной, смутный страх и дурные предчувствия зашевелились в моей душе. Мне кажется, у меня вдруг возникло страстное желание немедленно вылезти вон и вернуться ночным поездом обратно в Лондон — желание, чрезвычайно нехарактерное для меня, ибо я всегда отличался своего рода упрямой решимостью доводить до конца все начатые предприятия. Во всяком случае, я чувствовал себя крайне неудобно в том экипаже; помню, он отвратительно пах внутри плесенью, сырой соломой и тухлыми яйцами и казался закрытым со всех сторон так плотно, словно мне никогда не суждено было выбраться из этой ловушки, раз уж я попался в нее. Кроме того, мне было страшно холодно. Во время той поездки я замерз так сильно, как не замерзал никогда — ни прежде, ни впоследствии. Жгучий мороз пронизывал самый мой мозг, отчего я

потерял способность думать о чем-либо ясно и мог лишь снова и снова жалеть о том, что пустился в это путешествие. Конечно, я ничего не видел вокруг, только чувствовал тряску экипажа по неровной дороге и время от времени догадывался, что он движется по каким-то узким темным тропам, ибо слышал, как таинственно стучат по крыше повозки низко свисавшие ветви деревьев, словно срочно пытаются сообщить мне что-то важное.

Впрочем, я не должен делать из этой истории нечто большее, чем мне позволяют факты, и не должен заранее подготавливать слушателя к последующим важным событиям. Вполне определенно могу сказать одно: по мере приближения экипажа к дому Ланта я все больше впадал в уныние — от жуткого холода, от дурных предчувствий и от сознания своего бесконечного одиночества...

Наконец экипаж остановился. Старое пугало с кряхтением и тяжелыми вздохами медленно слезло с козел, подошло к двери повозки и с великим трудом открыло ее, действуя с раздражающей неповоротливостью. Я вышел и тут же увидел, что снег теперь валит всюю и аллея сплошь залита его мягким и таинственным сиянием. Прямо передо мной чернела неясная громада: дом, который ожидал моего прибытия. Разглядеть его в темноте не представлялось возможным, и я просто стоял, дрожа всем телом, пока старик дергал за шнур колокольчика с такой яростью, словно желал как можно скорей освободиться от своей тягостной обязанности и возвратиться домой. Прошла, казалось, целая вечность, но наконец дверь открылась и из нее выпянул старик, который, несомненно, приходился родным братом кучеру. Старики обменялись несколькими словами, в результате чего мой багаж был извлечен из повозки и я получил дозволение войти в дом с ледяного мороза.

Следующее свое чувство я никак не могу отнести к разряду воображаемых. Ни к одному дому я еще ни разу не проникался с первого взгляда столь сильным отвращением, как к жилищу Ланта. Ничего особенно отталкивающего не бросилось мне в глаза в просторном темном холле, освещенном двумя тусклыми лампами, холодном и безрадостном. Но я не успел составить о нем более четкое представление, поскольку старый слуга мгновенно провел меня в какой-то коридор и оттуда в комнату, которая была настолько же тепла и уютна, насколько мрачен и безрадостен холл. Действительно, я так

сильно обрадовался при виде ярко пылавшего камина, что тут же направился к нему, в первый момент не заметив присутствия хозяина. Увидев же наконец последнего, я сначала не поверил, что это и есть Лант. Я уже говорил, какого рода человека ожидал встретить, — но вместо рассеянного утонченного художника я обнаружил перед собой дородного мужчину ростом, пожалуй, более шести футов, широкоплечего, явно обладавшего огромной физической силой, и с черной остроконечной бородой, скрывавшей нижнюю часть лица.

Но если меня поразила внешность Ланта, то вдвойне удивился я, когда он заговорил. У него был тонкий писклявый голос, похожий на голос старухи. А мелкие суетливые движения рук делали его еще больше похожим на женщину. Но последнее я отнес на счет волнения, ибо Лант действительно казался чрезвычайно взволнованным. Он подошел ко мне, обеими руками схватил мою руку и долго держал так, словно не собирался выпускать ее вовсе. Позднее тем же вечером хозяин извинился за свое поведение.

— Я так обрадовался вам, — признался он. — Я не смел надеяться, что вы действительно приедете. Вы здесь первый за долгое время гость, которого я могу считать близким по духу человеком. Конечно, мне было неловко приглашать вас, но я решил рискнуть. Ваш приезд значит для меня так много!

Его восторженность внушала мне смутное беспокойство и одновременно вызывала жалость. Лант просто не мог сделать для гостя слишком многого; он провел меня по нелепым старым коридорам, где доски пола скрипели при каждом шаге; по каким-то темным лестницам, где, насколько я мог разглядеть в полумраке, на стенах висели пожелтевшие от времени фотографии с видами разных городов, и наконец пригласил пройти в мою комнату умоляющим нервным жестом, словно ожидая, что при виде ее я сразу повернусь и брошусь прочь. Комната моя понравилась мне не больше, чем остальной дом, но вины хозяина в этом не было. Он сделал для меня все, что мог: в камине ярко полыхал огонь; в большой кровати под одеялом, как пояснил Лант, лежала бутылка с горячей водой; и старый слуга, который открыл мне дверь, уже извлекал мои вещи из саквояжа и убирал их в шкаф. Возбуждение Ланта носило характер почти сентиментальный. Он положил обе руки мне на плечи и сказал, просительно заглядывая в мои глаза:

— Если бы вы знали, что значит для меня ваше присутствие здесь, возможность побеседовать с вами... Ну вот, сейчас я должен покинуть вас. Вы спуститесь и присоединитесь ко мне, как только освободитесь, не правда ли?

Я остался один и именно тогда во второй раз почувствовал острое желание обратиться в бегство. Четыре свечи в старинных серебряных подсвечниках горели ярко и вместе с пылавшим камином давали достаточно света; однако комната казалась сумрачной, словно наполненной прозрачным дымом. И помню, я подошел к одному из забранных решеткой окон и распахнул его, как будто мне вдруг стало душно. Две вещи заставили меня тут же закрыть окно: во-первых, в комнату ворвалась струя ледяного ветра вместе с кружащимся роем снежинок, а во-вторых, оглушительный рев моря ударил мне в лицо, словно желая опрокинуть меня навзничь. Я поспешно захлопнул створку, обернулся и увидел у самой двери старую женщину. Вообще, любая история подобного рода интересна именно своим правдоподобием. Конечно, дабы мой рассказ звучал убедительно, мне следует как-то доказать, что я действительно видел ту старую женщину, — но я не могу этого сделать. Вы знаете, я не пью, никогда не пил, и, самое главное, появление подобной фигуры у двери было для меня полной неожиданностью. Но я ни на миг не усомнился в том, что увидел в комнате именно старую женщину, и никого другого. Вы можете говорить об игре теней, о висевшей на двери одежде и тому подобном. Не знаю. У меня нет никаких теорий, объясняющих эту историю: я не спиритуалист и едва ли верю во что-либо, за исключением красоты прекрасных вещей и явлений. Если угодно, можно сказать так: фигура у двери привиделась мне, но иллюзия эта оказалась настолько полной, что я по сей день весьма подробно могу описать внешность той женщины. Она была в черном шелковом платье с огромной безобразной золотой брошкой на груди. Ее зачесанные назад черные волосы разделял посередине пробор. Шею женщины украшало ожерелье из каких-то белых камней. Лицо ее — неестественно бледное — имело самое злобное и коварное выражение из всех, какие мне приходилось когда-либо видеть. Ныне безнадежно увядшая, дама эта некогда, вероятно, была довольно красива. Она стояла у двери очень тихо, опустив руки вдоль тела. Я подумал, что она экономка или кто-нибудь в этом роде.

— Благодарю вас, у меня есть все необходимое, — сказал я. — Какой замечательный камин!

Я оплянул на камин, а когда снова повернулся к двери, женщина уже исчезла. Не придав случившемуся никакого значения, я пододвинул к огню старое кресло, обитое выцветшей зеленой тканью, и решил немного почитать привезенную с собой книгу, перед тем как спуститься вниз. Я не спешил оказаться в обществе хозяина, пока меня не вынудят к этому приличия. Лант пришелся мне не по душе. Я уже решил при первом удобном случае уехать обратно в Лондон под каким-нибудь благовидным предлогом.

Не могу объяснить, почему Лант так не понравился мне: разве что сам я человек очень сдержанный и, подобно большинству англичан, крайне недоверчиво отношусь к бурным проявлениям чувств, особенно со стороны мужчин. Мне не понравилось, как Лант клал руки мне на плечи, и, возможно, я не чувствовал себя способным оправдать все восторженные надежды хозяина, связанные с моим приездом.

Я опустил в кресло и раскрыл книгу, но не прошло и двух минут, как в нос мне ударил в высшей степени неприятный запах. На свете существуют самые разные запахи — здоровые и нездоровые, — но самым мерзким из всех мне кажется прохладный затхлый душок, которым тянет из непроветренных помещений с испорченным водопроводом и который встречается порой в маленьких деревенских гостиницах и обветшалых меблированных комнатах. Запах был настолько отчетлив, что я практически мог определить, откуда он доносится: он шел от двери. Я поднялся с кресла, направился туда — и тут же у меня возникло такое чувство, будто я приближаюсь к некоей особе, не имеющей обыкновения (извините за грубость) часто принимать ванны. Я отпрянул назад, словно упомянутая особа действительно стояла передо мной. Затем совершенно неожиданно гадкий запах исчез, я почувствовал дуновение свежего воздуха и с удивлением увидел, что одно из окон отворилось и в комнату снова влетает снег. Я закрыл окно и спустился вниз.

За этим последовал довольно странный вечер. Сам по себе мой новый знакомый не производил неприятного впечатления. Лант был человеком утонченной культуры и глубоких познаний, великим знатоком книг. К концу вечера он постепенно развеселился и угостил

меня восхитительным обедом в забавной маленькой столовой, на стенах которой висело несколько очаровательных меццо-тинто. За столом нам прислуживал все тот же дворецкий — забавный старик с длинной белой бородой, напоминавшей козлиную, — и, как ни странно, именно он снова пробудил в моей душе прежние дурные предчувствия. Дворецкий только что подал на стол десерт и бросил взгляд в сторону двери. Я обратил на это внимание, поскольку протянутая к тарелке рука старика внезапно задрожала. Слуга явно испугался чего-то. И затем (конечно, это с легкостью можно отнести на счет воображения) я снова почувствовал в воздухе тот странный, нездоровый запах.

Я забыл об этом незначительном эпизоде, когда мы с хозяином уселись напротив восхитительного, жарко пылавшего камина в библиотеке. У Ланта было чудесное собрание книг, и, подобно любому библиофилу, он находил величайшее удовольствие в беседе с человеком, способным по-настоящему оценить его коллекцию. Мы стояли у книжных полок, разглядывая одну книгу за другой, и оживленно разговаривали о второстепенных английских романистах начала века, которыми я особенно увлекался, — Бейдже, Годвине, Генри Маккензи, миссис Шелли, Мэтью Льюисе и прочих, — когда Лант вновь поразил меня самым неприятным образом, положив руки мне на плечи. Всю жизнь я совершенно не мог выносить прикосновений определенных людей. Полагаю, всем нам знакомо подобное чувство. Это одна из особенностей человеческой психики, не имеющая никакого объяснения. И прикосновение этого человека было настолько неприятно мне, что я резко отпрянул в сторону.

В мгновение ока гостеприимный хозяин превратился вдруг в воплощение яростного и необузданного гнева. Мне показалось, он хочет ударить меня. Лант стоял передо мной, трясаясь всем телом, и бессвязные слова потоком лились с его языка, словно он впал в помешательство и совершенно не отдавал себе отчета в своих речах. Он обвинил меня в том, что я оскорбил его, насмеялся над его гостеприимством, презрительно отверг его доброе отношение, и в тысяче других нелепых вещей. И не могу объяснить вам, насколько странно было слышать все эти гневные речи, произносимые пронзительным писклявым голосом, и видеть в то же время перед

собой огромное мускулистое тело, непомерно широкие плечи и чернобородое лицо.

Я ничего не сказал. В физическом отношении я трус. Больше всего на свете я не выношу ссор. Наконец я сумел проговорить:

— Мне очень жаль. Я не хотел вас обидеть. Пожалуйста, извините меня. — И повернулся, собираясь покинуть библиотеку.

В тот же миг с Лантом снова произошла разительная перемена: теперь он едва не плакал. Он умолял меня не уходить, обвинял во всем свой ужасный характер, говорил, что глубоко несчастен, покинут всеми, измучен долгим одиночеством и потому совершенно не в силах контролировать свои действия. Он униженно просил меня дать ему возможность оправдаться и выражал надежду, что я отнесусь к нему с большим пониманием, если выслушаю его историю.

Мгновенно (так уж устроен человек!) я переменял свое отношение к Ланту. Мне стало очень жаль его. Я увидел, что он находится на грани нервного срыва, действительно нуждается в помощи и участии и впадет в полное отчаяние, если не получит их. Я положил руку ему на плечо, желая успокоить беднягу и показать, что я не таю против него никакого зла, — и почувствовал, как сотрясается с головы до ног его огромное тело. Мы снова сели в кресла, и хозяин торопливо и бессвязно поведал мне свою историю. Особого интереса она не представляла, и суть ее заключалась в следующем: пятнадцать лет назад Лант — скорее ища спасения от одиночества, нежели следуя порыву страсти — женился на дочери местного священника. Супруги не обрели счастья в браке, и в конце концов, совершенно искренне признался Лант, он возненавидел жену. Женщина эта была злым, властным и ограниченным существом; и, по словам рассказчика, он испытал облегчение, когда ровно год назад она неожиданно скончалась от сердечного приступа. Тогда Лант решил, что теперь все образуется, но этого не случилось, и с той поры жизнь его разладилась окончательно. Он потерял способность работать, многие друзья перестали навещать его, и даже слуг ему не удавалось удерживать в доме; несчастный изнывал от одиночества, плохо спал, почему и находился сейчас на грани нервного расстройства. В доме с ним жил только старый дворецкий, который, к счастью, умел прекрасно готовить, и мальчик-слуга, внук старика.

— О! — воскликнул я. — А я решил, что этот замечательный обед приготовила ваша экономка.

— Экономка? — переспросил Лант. — Но в доме нет женщин.

— Но какая-то женщина заходила сегодня вечером ко мне в комнату, — ответил я. — Такая пожилая особа вполне благопристойного вида, в черном шелковом платье.

— Вам показалось, — произнес хозяин в высшей степени странным, напряженным голосом — голосом человека, который невероятным усилием воли старается сохранять спокойствие и самообладание.

— Я уверен, что видел ее, — настаивал я. — Здесь не может быть никакой ошибки. — И я описал внешность женщины.

— Вам показалось, — повторил Лант. — Разве может быть иначе, если я ясно сказал: никаких женщин в доме нет.

Я поспешно согласился с ним, опасаясь новой вспышки гнева. Затем хозяин обратился ко мне с чрезвычайно странной просьбой. Самым настойчивым образом — словно речь шла о жизни и смерти — он умолял меня остаться с ним на несколько дней. Лант намекнул (хотя и не вполне определенно), что оказался в страшной беде, но, если я проведу с ним несколько дней, все будет в порядке. Он говорил, что если мне суждено когда-либо в жизни сделать действительно доброе дело, то эта возможность представилась мне именно сейчас. И говорил, что, конечно, он не вправе рассчитывать на мое согласие, но никогда не забудет моей доброты, если я все-таки выполню его просьбу. И такое безысходное отчаяние звучало в молящем голосе Ланта, что я успокоил беднягу, словно ребенка, пообещал остаться, и мы пожали друг другу руки, как если бы скрепляли наш договор торжественной клятвой.

2

Уверен, вы ждете от меня не отступающего от истины описания событий, и, если финальная катастрофа будет выглядеть совершенно случайной, могу сказать лишь одно: так оно и было на самом деле. В тот вечер я попытался сделать какие-то выводы из имевшихся в моем распоряжении фактов и не преуспел в этом, полагаю, не только по своей вине: такова уж особенность всех подлинных историй о привидениях.

Но, по правде говоря, после той странной сцены в библиотеке я прекрасно провел ночь и спал как убитый в теплой и уютной постели под убаюкивающий шепот моря за окнами. Следующее утро тоже было веселым и ясным: солнце посылало яркие лучи навстречу снегу, и снег ослепительно сверкал в ответ, словно они радовались при виде друг друга. Утро я провел замечательно: рассматривал книги, беседовал с Лантом и написал одно или два письма. Надо сказать, в конце концов я проникся симпатией к своему хозяину. Высказанная им накануне просьба о помощи по-настоящему тронула меня. Видите ли, так мало людей когда-либо обращались ко мне за поддержкой. Лант по-прежнему нервничал и явно томился дурными предчувствиями, однако старался не подавать виду и сделал все возможное, чтобы мое настроение было легким и непринужденным, — таким образом он пытался склонить меня к решению остаться и не лишать его дружеского общения, столь остро необходимого ему в тот момент. Впрочем, когда бы книги не заняли полностью мое внимание, едва ли я испытывал бы такое довольство, ибо стоило замолчать и прислушаться, как сразу становилась заметной странная зловещая тишина, царившая в доме. А один раз, помню, я поднял голову от письма, которое писал, сидя за старым бюро, и случайно встретил взгляд Ланта: последний напряженно следил за мной, словно пытаюсь угадать, видел ли или слышал я что-нибудь. Тогда я напряг слух, и мне почудилось вдруг, что кто-то стоит за дверью библиотеки, собираясь постучать. Очень странное и совершенно необоснованное предположение, но в тот момент я мог поклясться, что, если быстро подойти к двери и неожиданно распахнуть ее, за ней непременно кто-то окажется.

Однако все утро я пребывал в добром расположении духа, а после ланча почувствовал себя и вовсе счастливым. Лант предложил мне прогуляться, я согласился, и по хрустящему снегу, сверкавшему под яркими лучами солнца, мы направились к морю. Не помню, о чем мы говорили; всякая неловкость, казалось, исчезла между нами. Мы пересекли поля, остановились на берегу, посмотрели на море — ровное и гладкое, словно шелковое, — и повернули обратно. Помню, у меня стало вдруг так радостно на душе, что будущее начало рисоваться мне в розовом свете. Я принялся доверительно делиться с Лантом своими маленькими планами, надеждами относительно

книги, которую писал в то время, и даже робко заговорил о возможности нашей совместной работы: ведь и мне, и ему одинаково не хватало друга и единомышленника. Я продолжал говорить без умолку, и, помню, мы пересекли узкую деревенскую улочку и уже сворачивали в сторону ведущей к дому темной аллеи, когда в моем спутнике произошла неожиданная перемена.

Сначала я заметил, что он не слушает меня и напряженно всматривается в густые заросли деревьев впереди, черневшие на фоне серебристого снега. Я тоже пригляделся. Там, прямо перед деревьями, стояла, словно ожидая нас, та самая женщина, которая накануне вечером появлялась в моей комнате. Я остановился и воскликнул:

— Но послушайте, вот же она! Та женщина, о которой я говорил вам... Это она заходила ко мне в комнату!

Лант схватил меня за плечо.

— Там никого нет. Разве вы не видите сами? Это просто тень. Что с вами? Разве вы не видите, что там никого нет?

Я шагнул вперед, и действительно, там никого не было, но до сего дня я не могу сказать определенно, привиделась мне та женщина или нет. Уверенно могу утверждать лишь одно: с этого момента сумерки начали быстро спускаться на землю. Едва мы вошли в обсаженную деревьями аллею — в молчании, торопливым шагом, словно кто-то преследовал нас по пятам, — вокруг вдруг сгустилась такая тьма, что я с трудом различал перед собой дорогу. Мы оба задыхались от быстрой ходьбы, когда достигли дома. Лант сразу бросился в кабинет, словно забыв о моем присутствии, но я последовал за ним и, закрыв за собой дверь, сказал со всей настойчивостью, на какую был способен:

— Итак, в чем дело? Что тревожит вас? Вы должны довериться мне! Иначе как я могу помочь вам?

И он ответил странным голосом, похожим на голос безумца:

— Говорю вам, все в порядке! Почему вы не верите мне? Со мной все нормально... О боже мой! Боже мой!.. Только не покидайте меня... Сегодня тот самый день... та самая ночь, о которой она говорила... Но я ни в чем не виноват! Поверьте, я ни в чем не виноват... Это только ее ужасная злоба...

Голос Ланта прервался. Несчастный по-прежнему крепко держал меня за руку и другой рукой делал странные нервные движения, словно вытирая обильный пот со лба. Он как будто умолял меня о

чем-то, потом вдруг снова впал в ярость и затем опять принял вид жалкий и просительный, словно я отказывал ему в какой-то важной просьбе.

Я увидел, что хозяин мой действительно близок к помешательству, и внезапно сам начал испытывать страх перед этим сырым мрачным домом, перед огромным трясшимся человеком и перед чем-то еще, гораздо более ужасным. Но мне было жалко Ланта. Да и разве любой другой на моем месте смог бы остаться равнодушным? Я заставил беднягу сесть в кресло у потухшего камина, в котором теперь тускло мерцало лишь несколько красных угольков, опустился в кресло рядом с Лантом, позволил ему крепко вцепиться мне в руку и сказал как можно более спокойно:

— Расскажите мне все. Не бойтесь признаться в любом своем поступке. Расскажите, что за опасность внушает вам такой страх, — и тогда мы вместе сможем противостоять ей.

— Страх! Страх! — повторил он и затем с великим усилием, достойным лишь восхищения, взял себя в руки и сказал: — Я схожу с ума от одиночества и тоски. Моя жена скончалась в эту самую ночь ровно год назад. Мы ненавидели друг друга. Я не мог сожалеть о ее смерти, и она знала это. Во время последнего приступа жена, задыхаясь, успела сказать мне, что еще вернется за мной, — и я всегда с ужасом ждал этой ночи. Отчасти поэтому я и попросил вас приехать... чтобы со мной в доме находился кто-то... кто угодно... И вы были очень добры ко мне — гораздо более добры, чем я мог ожидать. Вероятно, вы считаете меня сумасшедшим, но, прошу вас, присмотрите за мной этой ночью — и впоследствии мы сможем замечательно проводить время вместе. Только не оставляйте меня сейчас... именно сейчас!

Я пообещал не оставлять его и, как мог, успокоил несчастного. Не знаю, сколько времени мы сидели так в сгущавшейся тьме; никто из нас не шевелился, огонь в камине потух окончательно, и комнату заливало таинственное приглушенное сияние, исходившее от снежного пейзажа за незашторенными окнами. Сейчас, по прошествии многих лет, сцена эта представляется нелепой. Мы сидели рядом в тесно сдвинутых креслах, держась за руки, словно пара любовников, но на самом деле — двое насмерть перепуганных

мужчин, с ужасом ожидавших опасности и не способных никак противостоять ей.

Пожалуй, самым странным в той ситуации было то, что я вдруг впал в какое-то непонятное оцепенение. Как бы любой другой поступил на моем месте? Вызвал дворецкого? Отправился в деревенскую гостиницу? Обратился к местному доктору? Я же не мог сделать ровным счетом ничего — мог лишь смотреть, как отраженный свет снега стекает дрожащими струями со стен и с мебели, да внимать в гробовой тишине приглушенному уханью совы, доносившемуся из далекого леса.

3

Как ни удивительно, при всем старании я не могу вспомнить, что происходило между часом нашего странного бдения и тем моментом, когда я пробудился от краткого сна, рывком сел в постели и увидел у двери своей комнаты Ланта со свечой в руке. Он был в ночной рубашке и в неверном свете свечи казался просто огромным; борода его густо чернела на белом фоне рубашки. От огня свечи зыбкие тени плясали по комнате. Очень тихо Лант подошел к кровати и заговорил голосом приглушенным и невнятным, почти шепотом:

— Не посидите ли вы со мной полчаса? Всего лишь полчаса? — повторил он, глядя на меня странным, незнающим взглядом. — Я боюсь оставаться один... очень боюсь...

Потом Лант испуганно покосился через плечо, поднял свечу над головой и начал пристально всматриваться в темные углы комнаты. Я понял: что-то случилось с ним, он еще на один шаг продвинулся в темную область Страх и тем самым отдалился от меня и любого другого человеческого существа.

— Ступайте тихо, когда пойдете, — прошептал он. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал нас.

Я сделал все, что мог: вылез из постели, надел халат и ночные тапочки и попытался убедить Ланта остаться со мной. Огонь в камине почти потух, но я предложил снова развести его и посидеть у очага в ожидании утра. Но нет: он продолжал повторять снова и снова:

— Лучше в моей комнате. Там безопасней.

— О какой опасности вы говорите? — спросил я, вынуждая его взглянуть мне в глаза. — Очнитесь, Лант! Вы как будто спите. Нам

совершенно нечего бояться. Здесь нет никого, кроме нас. Давайте останемся в этой комнате, побеседуем до утра и положим конец всему этому вздору.

Но Лант, не отвечая, увлекал меня вперед по темному коридору и наконец свернул в свою комнату, знаком попросив меня последовать за ним. Он забрался в постель и сел там, сгорбившись и обхватив колени руками. Он пристально смотрел на дверь, и легкая дрожь время от времени сотрясала его тело. Комнату освещала только одна свеча, постепенно угасавшая, тишину нарушал лишь тихий, ровный гул моря за окнами.

Казалось, Ланту все равно, нахожусь я рядом или нет. Он не смотрел на меня, ибо не отрывал взгляда от двери, а когда я заговорил с ним, не ответил и, похоже, даже не услышал моих слов. Я опустился в кресло рядом с кроватью и, только чтобы нарушить тягостное молчание, принялся говорить о чем попало, о каких-то пустяках; кажется, я начал постепенно погружаться в какую-то тревожную дремоту, когда вдруг раздался голос Ланта. Очень внятно и отчетливо он произнес:

— Если я и убил ее, то она заслужила это. Она никогда не была мне хорошей женой, с самого начала. Ей не следовало так раздражать меня: она прекрасно знала мой тяжелый нрав. Впрочем, у нее характер был еще хуже. Она не может ничего сделать мне: я не слабее ее.

И именно в этот момент — насколько я помню сейчас — голос говорившего неожиданно упал до мягкого, еле слышного шепота, словно Лант почти обрадовался тому, что страхи его наконец подтвердились.

— Вот она! — прошептал он.

Не могу описать, как при этих словах Страх волной поднялся в моей душе. Я ничего не видел... пламя свечи высоко взметнулось в последние моменты жизни Ланта... Но я ничего не видел. Внезапно Лант испустил страшный пронзительный вопль, подобный воплю смертельно раненного животного в предсмертной агонии.

— Не подпускайте ее ко мне... Не подпускайте ее ко мне! Не подпускайте... не подпускайте!

Он со страшной силой вцепился в меня, ногти его глубоко вонзились мне в кожу; затем — словно неожиданная ужасная судорога

свела напряженные мышцы — руки Ланта медленно опустились; он тяжело откинулся на подушку, будто от сильного толчка в грудь, руки его бессильно упали на одеяло, и страшная конвульсия сотрясла все тело несчастного. Потом он перекатился на бок и затих. Я ничего так и не увидел, лишь совершенно явственно ощутил смраднй запах, памятный мне с предыдущего вечера. Я бросился к двери, выскочил в коридор и кричал до тех пор, пока не прибежал старый слуга. Я послал его за доктором, но не нашел в себе сил вернуться в комнату и стоял, не слыша ничего, кроме громкого тиканья часов в холле.

Я рывком открыл окно в конце коридора; рев моря ударил мне в уши, где-то пробили куранты. Затем, собравшись с духом, я все-таки вернулся в комнату Ланта...

— И что же? — спросил я, когда Рансиман на мгновение умолк. — Он был мертв, конечно?

— Да, умер от сердечного приступа, как впоследствии установил доктор.

— И что же? — повторил я.

— Это все. — Рансиман помолчал. — Не знаю, можно ли вообще назвать это историей о явлении призрака. Та старая женщина вполне могла просто пригрезиться мне. Я даже не знаю, так ли выглядела жена Ланта при жизни. Возможно, она была огромной и толстой. Ланта погубила нечистая совесть.

— Да, — согласился я.

— Единственное только... — добавил Рансиман после продолжительной паузы, — на теле Ланта остались следы — в основном на шее и несколько на груди... Следы от чьих-то пальцев, царапины и темные кровоподтеки. В приступе ужаса Лант мог сам вцепиться себе в горло...

— Да, — повторил я.

— Так или иначе... — Рансиман содрогнулся. — Я не люблю Корнуолл. Отвратительное место. Странные вещи случаются там... что-то витает в воздухе...

— Да, говорят... — откликнулся я.

Смерть из воска и смерть из мрамора

Проспер Мериме

(1803–1870)

Венера Илльская

Пер. с фр. А. Смирнова

«Да будет милостива и благосклонна статуя, — воскликнул я, — будучи столь мужественной!»

Лукиан. Любитель врак

Я спускался с последних предгорий Канигу и, хотя солнце уже село, различал на равнине перед собою домики маленького городка Илля, куда я направлялся.

— Вы, наверное, знаете, — обратился я к каталонцу, служившему мне со вчерашнего дня проводником, — где живет господин Пейрорад?

— Еще бы не знать! — воскликнул он. — Мне его дом известен не хуже моего собственного, и, если бы сейчас не было так темно, я бы его вам показал. Это лучший дом во всем Илле. Да, у господина де Пейрорада есть денежки. А девушка, на которой он женит сына, еще богаче, чем он сам.

— А скоро будет свадьба? — спросил я.

— Совсем скоро. Пожалуй, уж и скрипачей заказали. Может случиться, сегодня, а не то завтра или послезавтра. Свадьбу будут справлять в Пюигариге. Невеста — дочь тамошнего хозяина. Славный будет праздничек!

Меня направил к г-ну де Пейрораду мой друг г-н де П. По его словам, это был большой знаток древностей и человек необычайно услужливый. Он, конечно, с удовольствием покажет мне все остатки старины на десять миль в окружности. И я рассчитывал на его помощь при осмотре окрестностей Илля, богатых, как мне было известно, античными и средневековыми памятниками. Но эта свадьба, о которой я услышал сейчас впервые, грозила расстроить все мои планы.

«Я окажусь непрошеным гостем», — подумал я. Но меня уже там ожидали. Г-н де П. предупредил о моем приезде, и мне нельзя было не явиться.

— Держу пари, сударь, на сигарету, — сказал мой проводник, когда мы уже спустились на равнину, — что я угадал, ради чего вы идете к господину де Пейрораду.

— Но это не так уж трудно угадать, — ответил я, давая ему сигару. — В такой поздний час, как теперь, после шести миль перехода через Канигу, первая мысль должна быть об ужине.

— Пожалуй. Ну а завтра?.. Знаете, я готов об заклад побиться, что вы пришли в Илль, чтобы поглядеть на идола. Я догадался об этом, еще когда увидел, что вы рисуете портреты святых в Серабоне.

— Идола! Какого идола?

Это слово возбудило мое любопытство.

— Как! Вам не рассказывали в Перпиньяне, что господин де Пейрорад вырыл из земли идола?

— Вы, верно, хотите сказать — терракотовую статую из глины?

— Как бы не так! Из настоящей меди. Из нее можно бы понаделать немало монет, потому что весом она не уступит церковному колоколу. Нам пришлось-таки покопаться под оливковым деревом, чтобы достать ее.

— Значит, и вы были там, когда ее вырыли?

— Да, сударь. Недели две тому назад господин де Пейрорад велел мне и Жану Колю выкорчевать старое оливковое дерево, замерзшее прошлой зимой, потому что тогда, как вы помните, стояли большие холода. Так вот, начали мы с ним работать, и вдруг, когда Жан Коль, очень рьяно копавший, ударил разок изо всех сил киркой, я услышал: «бимм», — словно стукнули по колоколу. «Что бы это было такое?» — спросил я себя. Мы стали копать все глубже и глубже, и вот показалась черная рука, похожая на руку мертвеца, лезущего из земли. Меня разобрал страх. Иду я к господину де Пейрораду и говорю: «Хозяин, там, под оливковым деревом, зарыты мертвецы. Надо бы сбегать за священником». — «Какие такие мертвецы?» — говорит он. Пришел он на это место и, едва завидел руку, закричал: «Антик! Антик!» Можно было подумать, что он сыскал клад. Засуетился, схватил сам кирку в руки и принялся работать не хуже нас с Жаном.

— И что же вы в конце концов нашли?

— Огромную черную женщину, с позволения сказать, совсем почти голую, из чистой меди. Господин де Пейрорад сказал нам, что это идол времен язычества... времен Карла Великого, что ли...

— Понимаю... Это, наверно, бронзовая Мадонна из какого-нибудь разрушенного монастыря.

— Мадонна? Ну уж нет!.. Я бы сразу узнал Мадонну. Говорят вам, это идол; это видно по выражению ее лица. Уж одно то, как она глядит на вас в упор своими большими белыми глазами... словно сверлит взглядом. Невольно опускаешь глаза, когда смотришь на нее.

— Белые глаза? Должно быть, они вставлены в бронзу. Вероятно, какая-нибудь римская статуя.

— Вот-вот, именно римская. Господин де Пейрорад говорит, что римская. Теперь я вижу: вы тоже человек ученый, как и он.

— Хорошо она сохранилась? Нет отбитых частей?

— О, все в порядке! Она выглядит еще лучше и красивее, чем крашенный гипсовый бюст Луи-Филиппа, что стоит в мэрии. А все-таки лицо этого идола мне не нравится. У него недоброе выражение... да и сама она злая.

— Злая? Что же плохого она вам сделала?

— Мне-то ничего, а вот вы послушайте, что было. Принялись мы четвером тащить ее, и господин де Пейрорад, милейший человек, тоже тянул веревку, хотя силы у него не больше, чем у цыпленка. С большим трудом поставили мы ее на ноги. Я уже взял черепок, чтобы подложить под нее, как вдруг — трах! — она падает всей своей тяжестью навзничь. «Берегись!» — кричу я, но слишком поздно, потому что Жан Коль не успел убрать свою ногу...

— И статуя ушибла его?

— Переломила начисто ему, бедному, ногу, словно щепку! Ну и разозлился же я, черт побери! Я хотел разбить идола своим заступом, да господин Пейрорад удержал меня. Он дал денег Жану Колю, а Жан до сих пор лежит в постели, хотя дело было две недели назад, и доктор говорит, что он никогда уже не будет владеть этой ногой как здоровою. А жаль, потому что он был у нас лучшим бегуном и, после сына господина де Пейрорада, самым ловким игроком в мяч. Да, господин Альфонс де Пейрорад сильно был огорчен, потому что он любил играть с ним. Приятно было смотреть, как они раз за разом отбивали мячи — паф, паф! — и все с воздуха.

Беседуя таким образом, мы вошли в Илль, и вскоре я предстал перед г-ном де Пейрорадом. Это был маленький, еще очень живой и крепкий старичок, напудренный, с красным носом, с веселым и задорным лицом. Прежде чем вскрыть письмо г-на де П., он усадил меня за уставленный всякими яствами стол, представив меня жене и сыну как выдающегося археолога, долженствующего извлечь Руссильон из забвения, в котором он пребывал вследствие равнодушия ученых.

Я ел с наслаждением, ибо ничто так не возбуждает аппетита, как свежий горный воздух, и в то же время рассматривал моих хозяев. Я уже говорил о г-не де Пейрораде; добавлю еще, что он был необыкновенно подвижен. Он говорил, ел, вскакивал, бегал в свою библиотеку, приносил мне книги, показывал гравюры, подливал вина, не мог двух минут посидеть спокойно. Жена его, особа немного тучная, как все каталонки, которым за сорок, показалась мне истинной провинциалкой, всецело поглощенной хозяйством. Хотя стоявшего на столе было более чем достаточно, чтобы накормить шестерых человек, она побежала на кухню, велела зарезать несколько голубей, нажарить просяных лепешек, открыла несметное количество банок варенья. В одно мгновение стол оказался весь уставлен блюдами и бутылками, и я, наверное, умер бы от несварения желудка, если бы только отведал всего того, что мне предлагалось. И всякий раз, как я отказывался от какого-нибудь блюда, хозяйка неизменно рассыпалась в извинениях: конечно, в Илле трудно угодить моим вкусам. В провинции нелегко достать что-нибудь хорошее, а парижане так избалованы!

В то время как отец и мать суетились, Альфонс де Пейрорад оставался неподвижным, как Терм. Это был высокий молодой человек, двадцати шести лет, с лицом красивым и правильным, но маловыразительным. Его рост и атлетическое сложение хорошо согласовались со славою неутомимого игрока в мяч, которою он пользовался в тех краях. В этот вечер он был одет элегантно, по картинке последнего номера «Модного журнала». Но мне казалось, что этот костюм стесняет его; в своем бархатном воротничке он сидел, словно проглотив аршин, и поворачивался не иначе, как всем корпусом. Его большие загорелые руки с короткими ногтями плохо подходили к его наряду. Это были руки крестьянина в рукавах денди.

Вообще же, хотя он с любопытством рассматривал меня с ног до головы как приезжего из Парижа, он за весь вечер лишь один раз заговорил со мной, именно чтобы спросить, где я купил цепочку для часов.

— Да, мой дорогой гость, — сказал мне г-н де Пейрорад, когда ужин подходил к концу, — раз уж вы ко мне попали, я вас не выпущу. Вы покинете нас не раньше, чем осмотрите все, что есть достопримечательного в наших горах. Вы должны хорошенько познакомиться с нашим Руссильоном и отдать ему должное. Вы и не подозреваете, что мы вам здесь покажем. Памятники финикийские, кельтские, римские, арабские, византийские — все это предстанет пред вами, все без исключения. Я вас поведу всюду и заставлю все осмотреть до последнего кирпича.

Приступ кашля прервал его речь. Я воспользовался этим, чтобы высказать ему, как неприятно мне отнимать у него время в момент, столь важный для его семейных дел. Если бы он согласился дать мне свои ценные наставления касательно экскурсий, которые мне надлежит совершить, я мог бы один, избавив его от труда сопровождать меня...

— А, вы намекаете на женитьбу этого молодца! — вскричал он, прервав меня. — Пустяки! Мы с этим покончим послезавтра. Вы посмотрите свадьбу, которую мы справим запросто, так как невеста носит траур по тетке, оставившей ей наследство. Поэтому не будет ни празднества, ни бала... Конечно, жаль: вы увидели бы, как пляшут наши каталонки... Среди них есть прехорошенькие, и вас разобрала бы, пожалуй, охота последовать примеру моего Альфонса. Говорят, одна свадьба влечет за собой другую... В субботу, когда молодые поженятся, я буду свободен, и мы двинемся в путь. Не посетуйте, если поскучаете на провинциальной свадьбе. Для парижанина, пресыщенного празднествами... свадьба, да еще без танцев!.. А все же вы увидите новобрачную... новобрачную... ну да вы сами потом скажете ваше мнение... Впрочем, вы человек серьезный и на женщин, наверное, уже не заглядываетесь. У меня найдется получше, что вам показать. Да, вы кое-что увидите!.. Я приготовил вам на завтра славный сюрприз.

— Боже мой! — сказал я. — Трудно хранить в доме сокровище, чтобы о нем не знали все кругом. Я, кажется, догадываюсь о

сюрпризу, который вы мне готовите. Если речь идет о вашей статуе, то описание ее, которое я получил от моего проводника, подстрекает мое любопытство и заранее обеспечивает ей мое восхищение.

— А, он уже рассказал вам об идоле — так они называют мою прекрасную Венеру Тур... Впрочем, не буду забегать вперед. Завтра, при ярком дневном свете, вы увидите ее и тогда скажете, прав ли я, считая ее шедевром. Черт побери! Вы явились как раз вовремя. На ней есть надписи, которые я, бедный невежда, объясняю по-своему... Но вы, парижский ученый, можете быть, станете смеяться над моим толкованием... Дело в том, что я написал маленькую работу... Да, я, такой, каким вы меня видите... старый провинциальный антикварий, дерзнул на это... Я хочу предать ее тиснению... Если бы вы согласились прочесть и внести свои поправки, я мог бы надеяться... Например, мне было бы очень интересно узнать, как переведете вы надпись на цоколе: *Cave...* [44] Впрочем, пока воздержусь от вопросов. До завтра, до завтра! Сегодня ни слова больше о Венере.

— Правда, Пейрорад, — сказала ему жена, — ты лучше сделаешь, если оставишь своего идола в покое. Разве ты не видишь, что мешаешь нашему гостю кушать? Поверь мне: он видел в Париже статуи красивее твоей. В Тюильри есть несколько десятков, и таких же бронзовых.

— О невежество, святое провинциальное невежество! — перебил ее Пейрорад. — Сравнить дивную античную статую с безвкусными фигурками Кусту!

Не дано стряпухе милой
О богах судить бессмертных.

Вообразите только: жена хотела, чтобы я переплавил мою статую на колокол для нашей церкви. И она стала бы его крестной матерью. Так обойтись с шедевром Мирона!

— Шедевр! Шедевр! Хороший шедевр сама она сотворила! Сломать человеку ногу!

— Слушай, жена, — сказал г-н де Пейрорад решительным тоном, вытягивая свою правую ногу в пестром шелковом чулке. — Если бы Венера сломала мне ногу, и то я бы не жалел.

— Боже мой, что ты только говоришь, Пейрорад! Счастье еще, что бедняге лучше... У меня просто духу не хватает смотреть на статую,

которая творит такие беды. Несчастный Жан Коль!

— Раненный Венерой дурень жалуется! — с громким смехом воскликнул г-н Пейрорад. — *Veneris nec graemia nois*^[45]. Кто не был ранен Венерой?

Альфонс, смысливший во французском языке больше, чем в латыни, хитро сощурил глаза и поглядел на меня, как бы спрашивая: «А вы, парижанин, поняли?»

Ужин кончился. Прошел уже час, как я перестал есть. Чувствуя усталость, я не мог скрыть овладевшую мною зевоту. Г-жа де Пейрорад первая это заметила и сказала, что пора идти спать. Тогда посыпались новые извинения по поводу плохого ночлега, который меня ожидал. Это ведь не то что в Париже. В провинции все так скверно устроено! Надо быть снисходительным к руссильонцам. Сколько ни уверял я, что после такой прогулки по горам охапка соломы будет для меня превосходнейшим ложем, они продолжали умолять меня извинить скромных деревенских жителей, которые не могут принять гостя так хорошо, как бы им хотелось. Наконец в сопровождении г-на де Пейрорада я поднялся в отведенную мне комнату. Лестница, верхние ступеньки которой были из дерева, вела в середину коридора, куда выходило несколько комнат.

— Вот здесь, направо, — сказал мой хозяин, — комната, назначенная мною для будущей супруги моего сына. А ваша находится в противоположном конце коридора. Вы, конечно, понимаете, — добавил он, стараясь придать голосу оттенок лукавства, — новобрачные любят уединение. Вы будете в одном конце дома, они — в другом.

Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первое, что мне бросилось в глаза, была кровать длиною в семь футов и шириною в шесть, притом такая высокая, что без табуретки невозможно было на нее взлезть. Показав мне, где находится звонок, и удостоверившись лично, что сахарница полна и флаконы с одеколоном стоят на своем месте, на туалетном столе, мой хозяин несколько раз спросил, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь, затем пожелал спокойной ночи и оставил меня одного.

Окна были закрыты. Прежде чем раздеться, я открыл одно из них, чтобы подышать свежим воздухом, таким сладостным после долгого ужина. Прямо передо мной высился Канигу, изумительный во всякий

час дня, но в этот вечер под заливавшими его лунными лучами показавшийся мне прекраснейшею горою в мире. Я постоял несколько минут, созерцая его чудесный силуэт, и уже собирался закрыть окно, как вдруг, опустив глаза, заметил метрах в сорока от дома стоявшую на пьедестале статую. Она стояла в углу, у живой изгороди, отделявшей садик от большого, совершенно гладкого прямоугольника, который представлял собою, как я впоследствии узнал, городскую площадку для игры в мяч. Этот кусок земли принадлежал раньше г-ну де Пейрораду, но он передал его по настоятельной просьбе сына городу.

Расстояние, отделявшее меня от статуи, не позволяло мне ее рассмотреть; я мог судить лишь о ее высоте и определил ее примерно в шесть футов. В эту минуту двое гуляк проходили через площадку, насвистывая славную руссильонскую песенку «Средь гор родимых». Они остановились посмотреть на статую, и один из них даже заговорил с нею. Он изъяснялся по-каталонски, но я уже достаточно прожил в Руссильоне, чтобы понять все, что он говорил.

— Ты здесь, подлюга? (Он употребил на своем родном языке более сильное выражение.) Ты еще здесь? — говорил он. — Это ты сломала ногу Жану Колю! Достанься ты мне, я бы тебе свернул шею.

— А как бы ты это сделал? — сказал другой. — Она вся из меди, и такой твердой, что Этьен сломал напильник, когда попробовал резануть. Это медь языческих времен, тверже всего на свете.

— Будь у меня с собой долото (говоривший, видимо, был подмастерьем слесаря), я бы сейчас же выковырял ее белые глазищи, как вынимают миндалину из скорлупы. В них серебра не меньше чем на сто су.

Они пошли дальше.

— Надо все-таки попрощаться с идолом, — сказал, вдруг остановившись, старший из парней.

Он наклонился и, должно быть, поднял с земли камень. Я видел, как он размахнулся, что-то швырнул, и тотчас бронза издала гулкий звук. Но в то же мгновение подмастерье схватился рукой за голову, вскрикнув от боли.

— Она швырнула в меня камень обратно! — воскликнул он.

И оба проказника пустились бежать со всех ног. Очевидно, камень отскочил от металла и наказал плупца, дерзнувшего оскорбить богиню.

Я закрыл окно и от души посмеялся.

«Еще один вандал, наказанный Венерой! Если бы все разрушители наших древних памятников поразбивали о них головы!»

После этого человеколюбивого пожелания я заснул.

Было совсем светло, когда я пробудился. Около моей постели стояли с одной стороны г-н де Пейрорад в халате, с другой — посланный его женой слуга с чашкой шоколада в руках.

— Пора вставать, парижанин. Эх вы, лентяи, столичные жители! — говорил мой хозяин, пока я поспешно одевался. — Уже восемь часов, а вы еще в постели. Я на ногах с шести часов. Уже три раза я поднимался к вам, подходил к двери на цыпочках: тишина, никаких признаков жизни. Вредно так много спать в ваши годы. Вас дожидается моя Венера, которой вы еще не видели! Ну-ка, выпейте скорее чашку барселонского шоколада... Настоящая контрабанда... Такого шоколада в Париже не найти. Вам нужно набраться сил, потому что, когда я приведу вас к моей Венере, вы от нее не оторветесь.

Через пять минут я был готов, то есть наполовину выбрился, кое-как натянул на себя платье и обжег себе горло кипящим шоколадом. Спустившись в сад, я очутился перед великолепной статуей.

Это была действительно Венера, притом дивной красоты. Верхняя часть ее тела была обнажена в соответствии с тем, как древние обыкновенно изображали свои великие божества. Правая рука ее, поднятая вровень с грудью, была повернута ладонью внутрь, большой палец и два следующих были вытянуты, а последние два слегка согнуты. Другая рука придерживала у бедра складки одеяния, прикрывавшего нижнюю часть тела. Своею позою эта статуя напоминала «Игрока в мурр», которого неизвестно почему называют Германиком. Быть может, это было изображение богини, играющей в мурр.

Как бы то ни было, невозможно представить себе что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры, более нежное и сладостное, чем его изгибы, более изящное и благородное, чем складки ее одежды. Я ожидал увидеть какое-нибудь произведение поздней Империи; передо мною был шедевр лучших времен искусства ваяния. Больше всего меня поразила изумительная правдивость форм, которые можно было

бы счесть вылепленными с натуры, если бы природа способна была создать столь совершенную модель.

Волосы, поднятые надо лбом, по-видимому, были когда-то вызолочены. Голова маленькая, как почти у всех греческих статуй, слегка наклонена вперед. Что касается лица, то я не в силах передать его странное выражение, характер которого не походил ни на одну из древних статуй, какие только я в состоянии припомнить. Это была не спокойная и суровая красота греческих скульпторов, которые по традиции всегда придавали чертам лица величавую неподвижность. Здесь художник явно хотел изобразить коварство, переходящее в злобу. Все черты были чуть-чуть напряжены: глаза немного скошены, углы рта приподняты, ноздри слегка раздувались. Презрение, насмешку, жестокость можно было прочесть на этом невероятно прекрасном лице. Право же, чем больше всматривался я в эту поразительную статую, тем сильнее испытывал мучительное чувство при мысли, что такая дивная красота может сочетаться с такой полнейшей бессердечностью.

— Если модель когда-либо существовала, — сказал я г-ну де Пейрораду, — а я сильно сомневаюсь, чтобы небо могло создать подобную женщину, — то я очень жалею любивших ее. Она, наверное, радовалась, видя, как они умирали от отчаяния. Есть что-то беспощадное в выражении ее лица, а между тем я никогда не видел ничего столь прекрасного.

— Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче! —

воскликнул г-н де Пейрорад, которому мой восторг доставлял удовольствие.

Это выражение сатанинской иронии еще усиливалось, быть может, контрастом между ее блестящими серебряными глазами и черновато-зеленым налетом, наложенным временем на всю статую. Эти блестящие глаза создавали некоторую иллюзию реальности, казались живыми. Я вспомнил слова моего проводника, уверявшего, что она заставляет тех, кто на нее смотрит, опускать глаза. Это было похоже на правду, и я даже рассердился на себя за то, что испытывал какую-то неловкость перед этой бронзовой фигурой.

— Теперь, когда вы насладились достаточно, мой дорогой коллега по гробокопательству, — сказал мне хозяин, — приступим, с вашего

разрешения, к ученой беседе. Что вы скажете об этой надписи, на которую вы до сих пор еще не обратили внимания?

Он указал на цоколь статуи, и я прочел следующие слова:

CAVE AMANTEM^[46].

— *Quid dicis, doctissime?*^[47] — спросил он меня, потирая руки. — Посмотрим, сойдемся ли мы в толковании этого «*save amantem*».

— Смысл может быть двоякий, — ответил я. — Можно перевести: «Берегись того, кто любит тебя, остерегайся любящих». Но я не уверен, что в данном случае это будет хорошая латынь. Принимая во внимание бесовское выражение лица этой особы, я скорее готов предположить, что художник хотел предостеречь смотрящего на статую от ее страшной красоты. Поэтому я перевел бы так: «Берегись, если она тебя полюбит».

— Гм... — сказал г-н де Пейрорад. — Это, конечно, вполне допустимое толкование. Но, не в обиду вам будь сказано, я предпочел бы ваш первый перевод, но только я развил бы вашу мысль следующим образом. Вам известно, кто был любовник Венеры?

— Их было много.

— Да, но первым был Вулкан. Не хотел ли художник сказать ей: «При всей твоей красоте и надменности ты получишь в любовники кузнеца, хромого уроды»? Хороший урок кокеткам, сударь!

Я не мог сдержать улыбку — настолько натянутым показалось мне это объяснение.

— Ужасный язык — эта латынь с ее сжатостью выражений, — заметил я, желая уклониться от спора с моим антиквариером, и отошел на несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть статую.

— Одну минуту, коллега! — сказал г-н де Пейрорад, удерживая меня за руку. — Вы еще не все видели. Есть другая надпись. Поднимитесь на цоколь и посмотрите на правую руку.

Сказав это, он помог мне взобраться. Без лишних церемоний я обхватил за шею Венеру, с которой начал уже чувствовать себя запросто. Я даже рискнул заглянуть ей прямо в лицо и нашел его еще более злым и прекрасным. Затем я различил несколько букв, вырезанных на предплечье, как мне показалось, античной скорописью. Напрягая зрение, я с помощью очков разобрал следующее, причем г-н де Пейрорад, по мере того как я читал вслух,

повторял каждое мое слово, выказывая жестами и восклицаниями свое одобрение. Итак, я прочел:

VENERI TURBUL...

EUTYCHES MYRO

IMPERIO FECIT

После слова «turbul» в первой строке, как мне показалось, раньше было еще несколько букв, позднее стершихся, но *turbul* можно было прочесть ясно.

— Что это значит? — спросил мой хозяин с сияющим лицом и лукавой усмешкой, так как он был уверен, что мне нелегко будет справиться с этим *turbul*.

— Здесь есть слово, которого я пока еще не понимаю. Остальное все ясно: «Евтихий Мирон сделал это приношение Венере по ее велению».

— Превосходно! Но что такое *turbul*?.. Как вы его объясняете? Что значит *turbul*?..

— *Turbul*... меня очень смущает. Я тщетно ищу среди известных мне эпитетов Венеры такого, который подходил бы сюда. А что сказали бы вы о *turbulenta*? Венера буйная, возмущающая?.. Как видите, я все время думаю о злом выражении ее лица. *Turbulenta* — это, пожалуй, неплохой эпитет для Венеры, — добавил я скромно, так как сам не до конца был удовлетворен своим объяснением.

— Венера — буянка! Венера — забияка! Уж не считаете ли вы мою богиню кабацкой Венерою? Ну нет, сударь, эта Венера из порядочного общества. Позвольте мне объяснить по-своему это *turbul*... Но только обещайте не разглашать моего открытия до тех пор, пока мое исследование не будет напечатано. Дело в том, видите ли, что я горжусь своим открытием... Надо же, чтобы и на долю бедных провинциалов достались кое-какие крохи! Вы достаточно богаты, господа парижские ученые!

С высоты цоколя, на котором я продолжал стоять, я торжественно обещал ему, что не совершу такой низости и не присвою его открытие.

— *Turbul*, — начал он, подойдя ко мне поближе и понизив голос, чтобы кто-нибудь со стороны не подслушал, — надо читать: *Turbulneral*.

— Это мало что объясняет.

— Выслушайте меня. В одной миле отсюда, у подножия горы, находится деревня, которая называется Бультернера. Это искажение латинского слова «Turbulnera». Такого рода инверсия — вещь обычная. Бультернера, сударь, была римским городом. Я давно это подозревал, но до сих пор у меня не было точного доказательства. Теперь я им располагаю. Эта Венера была местным божеством Бультернерской общины. И это имя Бультернера, античное происхождение которого теперь мною доказано, свидетельствует о другом, еще более любопытном обстоятельстве, именно что Бультернера, прежде чем стать римским городом, была городом финикийским.

Он остановился на минуту, чтобы передохнуть и насладиться моим изумлением. Мне с трудом удалось подавить в себе смех.

— В самом деле, — продолжал он. — Turbulnera — название чисто финикийское. Tur, если произнести его как Tur, и sur — одно и то же слово, не так ли? Но ведь sur — это финикийское название Тира, смысл которого вряд ли стоит вам объяснять. Vul, иначе Vel, Vul с небольшими различиями в произношении, — это Ваал. Меня несколько затрудняет Nera. За отсутствием подходящего финикийского слова я готов предположить, что Nera происходит от греческого negos — влажный, болотистый. В таком случае это — гибридное имя. В подтверждение negos я мог бы вам показать гнилые болота, образуемые слиянием горных ручьев около Бультернеры. С другой стороны, возможно, что окончание nera было присоединено гораздо позже, в честь Неры Пивезувии, жены Тетрика, оказавшей, быть может, какое-нибудь благодеяние Турбульской общине. Но из-за болот я предпочитаю этимологию с negos.

Г-н де Пейрорад с довольным видом втянул понюшку табаку.

— Но оставим финикийцев и вернемся к нашей надписи. Я ее перевожу так: «Венере Бультернерской Мирон посвящает, по ее велению, эту статую, сделанную им».

Я воздержался от критики этой этимологии, однако, желая показать, что я тоже не лишен проницательности, сказал:

— Позвольте, сударь. Мирон что-то посвятил Венере, но я не думаю, чтобы этим предметом была сама статуя.

— Как! — воскликнул он. — Ведь Мирон был знаменитый греческий скульптор! Его талант мог сохраниться в его роду, и один из его потомков сделал эту статую. Для меня это очевидно.

— Но, — возразил я, — я вижу на руке маленькую дырочку. Мне кажется, она служила для прикрепления какого-нибудь предмета, например запястья, которое Мирон, несчастливый любовник, поднес Венере как искупительную жертву. Венера была разгневана на него, и он умилил ее, принеся ей в дар золотое запястье. Заметьте, что *fecit* часто употребляется в значении *consecravit*^[48]; это синонимы. Я мог бы вам привести не один пример, будь у меня под рукою Грутер или Орелли. Легко предположить, что влюбленный увидел во сне Венеру и ему почудилось, будто она велела ему поднести золотое запястье ее статуе. Мирон посвятил ей запястье... Потом явились варвары или какой-нибудь вор-святотатец, и...

— Сразу видно, что вы сочинитель романов! — воскликнул мой хозяин, протягивая руку, чтобы помочь мне спуститься. — Нет, сударь, это — произведение школы Мирона. Поглядите на работу, и вы согласитесь со мной.

Взяв себе за правило никогда серьезно не противоречить антиквариам, вбившим себе что-нибудь в голову, я кивнул ему в знак согласия и сказал:

— Изумительное произведение!

— Ах, боже мой! — вскричал г-н де Пейрорад. — Новое проявление вандализма! Кто-то бросил в мою статую камнем.

Он обратил внимание на белое пятнышко под самой грудью Венеры. Я заметил такой же знак на пальцах правой руки, задетых, как мне подумалось, пролетевшим камнем, если только он не был осколком, отскочившим от камня при ударе о статую и оцарапавшим рикошетом ее руку. Я рассказал моему хозяину о поругании, коего я был свидетелем, и о немедленном наказании, за ним последовавшем. Он долго смеялся и, сравнив подмастерье с Диомедом, пожелал ему, чтобы он, подобно греческому герою, увидел, как его товарищи превращаются в белых птиц.

Колокол, позвавший нас к завтраку, прервал эту классическую беседу, и так же, как накануне, я принужден был есть за четверых. Затем явились фермеры г-на де Пейрорада. В то время как он их принимал, его сын повел меня смотреть коляску, купленную им в

Тулуге для своей невесты и вызвавшую, как вы сами понимаете, мое живейшее восхищение. После этого мы с ним направились в конюшню, где он продержал меня с полчаса, расхваливая своих лошадей, рассказывая их родословную и перечисляя призы, взятые ими на департаментских скачках. Наконец он завел речь о своей невесте в связи с серой кобылой, которую он собирался ей подарить.

— Сегодня она будет здесь, — сказал он. — Не знаю, понравится ли она вам. Ведь вы, парижане, очень разборчивы. Но здесь и в Перпиньяне все ее находят очаровательной. Самое главное, она очень богата. Ее тетка из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив!

Я был искренне возмущен тем, что молодого человека больше трогает приданое, нежели прекрасные глаза его невесты.

— Вы знаете толк в драгоценностях, — продолжал Альфонс. — Что вы скажете об этой вещице? Я завтра поднесу ей кольцо.

Говоря так, он снял с первого сустава своего мизинца массивный перстень с брильянтами в форме двух сплетенных рук — образ, показавшийся мне необычайно поэтичным. Работа была старинная, но, по-моему, кольцо было переделано, когда вставляли брильянты. На внутренней стороне перстня можно было прочесть следующие слова, написанные готическими буквами: *sempr'ab ti*, что значит: «Навеки с тобой».

— Красивый перстень, — сказал я, — но из-за брильянтов он потерял часть своей прелести.

— О, он стал теперь гораздо красивее! — заметил Альфонс с улыбкой. — Здесь брильянтов на тысячу двести франков. Мне дала его мать. Это фамильный перстень, очень древний... Рыцарских времен. Его носила моя бабка, а она получила его тоже от своей бабки. Бог весть, когда он был сделан.

— В Париже принято, — сказал я, — дарить совсем простые кольца, обычно составленные из двух разных металлов, например из золота и платины. Вот другое кольцо, которое у вас на пальце, очень подошло бы в данном случае. А этот перстень с его брильянтами и рельефными руками так толст, что на него нельзя надеть перчатку.

— Ну, это уж дело моей супруги устраиваться, как она хочет. Думаю, что ей все же приятно будет получить его. Носить тысячу двести франков на пальце всякому лестно. А это колечко, — прибавил

он, с довольным видом поглядывая на гладкое кольцо, украшавшее его руку, — мне подарила одна женщина в Париже во время карнавала. Ах, как славно я провел время в Париже, когда был там два года назад! Вот где умеют повеселиться!..

И он вздохнул с сожалением.

В этот день нам предстояло обедать в Пюигариге у родителей невесты. Мы сели в коляску и поехали в усадьбу, находившуюся в полутора милях от Илля. Я был представлен и принят как старый друг. Не стану описывать обед и последовавшую за ним беседу, в которой я принимал слабое участие. Альфонс, сидевший рядом с невестой, шептал ей что-то на ухо каждые четверть часа. Она не подымала глаз и всякий раз, когда жених с нею заговаривал, застенчиво краснела, но отвечала ему безо всякого замешательства.

Мадемуазель де Пюигариг было восемнадцать лет, и ее гибкая и тонкая фигура являла полный контраст мощному телосложению ее жениха. Она была не только красива, но и пленительна. Я восхищался полнейшей естественностью всех ее ответов, а выражение доброты, не лишенное, однако, легкого оттенка лукавства, невольно заставило меня вспомнить Венеру моего хозяина. При этом мысленном сравнении я задал себе вопрос: не зависит ли в значительной мере та особая красота, в которой невозможно было отказать статуе, от ее сходства с тигрицей, ибо энергия, хотя бы и в дурных страстях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то невольное восхищение?

«Как жаль, — подумал я, покидая Пюигариг, — что такая прелестная девушка богата и что ради ее приданого на ней женится не достойный ее человек!»

Вернувшись в Илля, я не знал, о чем заговорить с г-жой де Пейрорад, с которой я считал необходимым изредка обмениваться несколькими словами; я воскликнул:

— Вы, руссильонцы, настоящие вольнодумцы! Как это вы могли, сударыня, назначить свадьбу на пятницу? Мы в Париже более суеверны: у нас никто бы не решился жениться в этот день.

— Ах, боже мой, и не говорите! — отвечала она. — Если бы зависело от меня, я бы, уж конечно, выбрала другой день. Но Пейрорад настаивал, и мне пришлось уступить. Меня все же это очень тревожит. Что, если случится какое-нибудь несчастье? Должна же быть причина, почему все люди боятся пятницы?

— Пятница — это день Венеры! — воскликнул ее муж. — Хороший день для свадьбы! Как видите, дорогой коллега, я все время думаю о моей Венере. Честное слово, я ради нее выбрал пятницу! Завтра, если хотите, мы совершим перед свадьбой маленькое жертвоприношение — зарежем двух голубок, и если бы только удалось достать ладану...

— Перестань, Пейрорад! — прервала его жена, до крайности возмущенная. — Курить ладан перед идолом! Это кощунство! Что будут говорить о нас люди?

— По крайней мере, — сказал г-н де Пейрорад, — ты мне разрешишь возложить ей на голову венок из роз и лилий: *Manibus date lilia plenis*^[49]. Вы видите, сударь, конституция — это только пустой звук. У нас нет свободы вероисповедания!

На завтра был выработан следующий распорядок дня. Все должны быть готовы и одеты в парадное платье к десяти часам. После утреннего шоколада мы отправимся в экипажах в Пюигариг. Гражданский брак будет заключен в деревенской мэрии, а венчание совершится в часовне при усадьбе. Потом — завтрак. После завтрака каждому будет предоставлена свобода до семи часов вечера. В семь — возвращение в Иль к г-ну де Пейрораду, где состоится ужин для обоих семейств. Остальное не требовало разъяснений. Так как танцевать было нельзя, решили как можно лучше угоститься.

С восьми часов утра я сидел перед Венерой с карандашом в руке и в двадцатый раз принимался набрасывать голову статуи, но мне все не удавалось схватить ее выражение. Г-н де Пейрорад ходил вокруг меня, давал советы, повторял свою финикийскую этимологию; затем, возложив бенгальские розы на цоколь статуи, он трагикомическим тоном обратился к ней с мольбой о счастье четы, которой предстояло жить под его кровлей. Около девяти часов он вернулся домой, чтобы нарядиться, и в ту же минуту появился Альфонс в плотно облегавшем его новом костюме, в белых перчатках и лакированных ботинках, в сорочке с запонками тонкой работы и с розой в петлице.

— Вы нарисуете портрет моей жены? — сказал он, наклоняясь над моим наброском. — Она тоже недурна собой.

Как раз в это время на площадке для игры в мяч, упомянутой мною, началась партия, тотчас же привлекая внимание Альфонса. Устав и отчаявшись воссоздать это демоническое лицо, я скоро бросил

свой рисунок и пошел смотреть на играющих. Среди них было несколько испанцев — погонщиков мулов, прибывших накануне. Это были арагонцы и наваррцы, почти все отличавшиеся поразительной ловкостью. Неудивительно поэтому, что ильские игроки, хотя и подбадриваемые присутствием и советами Альфонса, довольно скоро были побиты пришлыми мастерами. Местные зрители были этим весьма расстроены. Альфонс посмотрел на часы. Была только половина десятого. Его мать еще не была причесана. Он отбросил сомнения: сняв фрак и взяв у кого-то куртку, он вызвал испанцев на бой. Я смотрел на него с улыбкой, немного удивленный.

— Надо поддержать честь города, — сказал он.

Теперь он мне показался действительно красивым. Он был охвачен страстью. Парадный костюм, еще недавно столь его занимавший, сейчас утратил для него всякое значение. Минуту назад он боялся повернуть голову, чтобы не сдвинуть в сторону галстук. Сейчас он забыл о своих завитых волосах, о тонких складках своего жабо. А о невесте... О, я думаю, он отложил бы свадьбу, если бы это понадобилось! Я видел, как он поспешно надел сандалии, засучил рукава и с уверенным видом стал во главе побежденных, как Цезарь, собравший своих солдат при Диррахии. Я перелез через изгородь и с удобством расположился в тени железного дерева так, что мог хорошо видеть оба лагеря.

Вопреки ожиданиям, Альфонс пропустил первый мяч; правда, мяч скользнул по земле, пущенный с необыкновенной силой одним арагонцем, который, казалось, был главарем испанцев. То был человек лет сорока, худощавый и нервный, шести футов ростом, с кожей оливкового цвета, почти такую же темной, как бронза статуи Венеры.

Г-н Альфонс с яростью швырнул свою ракетку на землю.

— Все это проклятое кольцо! — вскричал он. — Оно так жмет мне палец, что я промазал верный удар.

Он снял не без труда брильянтовое кольцо. Я подошел, чтобы взять его, но, предупредив меня, он подбежал к Венере, надел ей перстень на безымянный палец и вернулся на свое место во главе ильских игроков.

Он был бледен, но спокоен и решителен. С этого момента он ни разу не промахнулся, и испанцы потерпели полное поражение. Приятно было смотреть на восторженных зрителей: они пожимали

руки победителю, называя его гордостью их города. Если бы он отразил неприятельское вторжение, то и тогда, я думаю, его бы не поздравляли более пламенно и сердечно. Огорчение побежденных усиливало блеск его победы.

— Мы как-нибудь еще поиграем с вами, милейший, — сказал он арагонцу тоном превосходства, — но только я дам вам несколько очков вперед.

Я предпочел бы, чтобы Альфонс был скромнее, и мне стало почти неловко от унижения его противника.

Гиганту-испанцу эти слова показались жестоким оскорблением. Я видел, как его смуглое лицо побледнело. Он хмуро посмотрел на свою ракетку, стиснул зубы, затем грубо пробормотал: «Me lo pagarás»^[50].

Голос г-на де Пейрорада прервал торжество его сына. Хозяин мой, крайне удивленный тем, что не застал сына во дворе, где сейчас закладывали его новую коляску, удивился еще более, увидев его в поту, с ракеткою в руке. Альфонс побежал домой, вымыл руки и лицо, опять надел новый фрак и лакированные ботинки, и через пять минут мы уже ехали крупной рысью по дороге в Пюигариг. Все городские игроки в мяч вместе с толпой зрителей бежали вслед за нами с радостными криками. Могучим лошадям, которые везли нас, едва удавалось опередить неустрашимых каталонцев.

Мы прибыли в Пюигариг, и процессия уже готовилась двинуться к мэрии, когда Альфонс, ударив себя по лбу, сказал мне тихо:

— Вот так штука! Ведь я забыл свой перстень! Он остался на пальце у Венеры, черт бы ее побрал! Только не говорите об этом матери. Может быть, она не заметит.

— Пошлите кого-нибудь за ним, — сказал я.

— Эх, мой слуга остался в Илле! А этим я не доверяю. Брильянтов на тысячу двести франков — это может хоть кого соблазнить. Да и что сказали бы здесь о моей рассеянности? Стали бы надо мной смеяться. Прозвали бы мужем статуи... Только бы не украли кольца! К счастью, идол внушает страх моим молодцам. Они не решаются подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Не беда, обойдемся; у меня есть другое кольцо.

Обе церемонии, как гражданская, так и церковная, прошли с подобающей торжественностью, и мадемуазель де Пюигариг получила кольцо парижской модистки, не подозревая, что жених

подарил ей залог любви другой женщины. Потом, усевшись за стол, пили, ели, даже пели, и все это тянулось весьма долго. Грубое веселье, царившее вокруг новобрачной, заставляло меня страдать за нее. Однако она держалась лучше, чем я мог ожидать, и ее смущение не было ни неловкостью, ни притворством.

Быть может, мужество приходит вместе с трудностью положения.

Когда завтрак с божьей помощью окончился, было около четырех часов. Мужчины принялись бродить по парку, который был великолепен, или смотреть, как танцуют на лужайке перед замком пюигаригские крестьянки, нарядившиеся по-праздничному. Таким способом нам удалось убить несколько часов. Тем временем женщины теснились около новобрачной, восторгаясь полученными ею свадебными подарками. Затем она переоделась, и я заметил, что она накрыла свои прекрасные волосы чепцом и шляпой с перьями, ибо больше всего на свете женщины торопятся надеть наряд, который обычай воспрещает им носить в девичестве.

Было около восьми часов, когда мы собрались в обратный путь. Но перед этим произошла волнующая сцена. Тетка мадемуазель де Пюигариг, заменявшая ей мать, особа весьма пожилая и крайне набожная, не должна была ехать с нами в город. Перед разлукой она прочла своей племяннице трогательное наставление о ее обязанностях супруги, следствием чего были потоки слез и нескончаемые объятия. Г-н де Пейрорад сравнил это расставание с похищением сабинянок. Наконец нам удалось выбраться, и в течение всей дороги каждый старался как мог развлечь молодую и рассмешить ее, но все было напрасно.

В Илле нас ждал ужин, да еще какой! Если грубое утреннее веселье меня коробило, то еще более тягостными показались мне те двусмысленные шутки и прибаутки, мишенью которых были по преимуществу новобрачные. Новобрачный, куда-то исчезавший на минутку перед тем, как сесть за стол, был бледен и странно серьезен. Он непрерывно пил старое кольюрское вино, крепкое, почти как водка. Сидя рядом с ним, я почел себя обязанным предостеречь его:

— Берегитесь! Говорят, что вино...

Чтобы не отстать от сотрапезников, и я сказал какую-то глупость.

Он толкнул меня коленом и шепнул:

— Когда мы встанем из-за стола... мне хотелось бы сказать вам несколько слов.

Его торжественный тон удивил меня. Я посмотрел на него внимательно и заметил странную перемену в его лице.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил я.

— Нет.

И он снова принялся пить.

Между тем под веселые возгласы и рукоплескания одиннадцатилетний мальчик, залезший под стол, показал присутствующим хорошенькую белую с розовым ленточку, снятую им со шиколотки новобрачной. Это и называется подвязка. Тотчас же ленту разрезали на кусочки и роздали их молодым людям, украсившим ими свои петлицы, согласно старинному обычаю, еще соблюдаемому в патриархальных семьях. Это заставило новобрачную покраснеть до ушей... Но ее смущение достигло предела, когда г-н де Пейрорад, водворив молчание, пропел ей несколько каталонских стихов, сочиненных им, по его уверению, экспромтом. Вот их содержание, насколько мне удалось его понять:

«Что я вижу, друзья? Или от выпитого вина двоится в глазах моих? Две Венеры здесь предо мною...»

Жених внезапно повернул голову с выражением ужаса, заставившим всех рассмеяться.

«Да, — продолжал г-н де Пейрорад, — две Венеры под кровом моим. Одну нашел я в земле, словно трюфель; другая, сойдя с небес, разделила сейчас меж нами свой пояс».

Он хотел сказать: подвязку.

«Сын мой! Избери себе какую хочешь Венеру — римскую или каталонскую. Но плутишка уже предпочел каталонку, выбрал лучшую долю. Римлянка черна, каталонка бела. Римлянка холодна, каталонка воспламеняет все, что к ней приближается».

Последние слова вызвали такой рев восторга, такой раскатистый смех, такие бурные рукоплескания, что я испугался, как бы потолок не обрушился нам на голову. Только у троих лица были серьезны — у новобрачных и у меня. У меня сильно болела голова. К тому же, не знаю почему, свадьбы всегда нагоняют на меня грусть, а эта вдобавок мне была даже неприятна.

Напоследок помощник мэра пропел куплеты, надо сказать, очень игривые. После этого перешли в гостиную, чтобы полюбоваться зрелищем, как будут готовить новобрачную к отходу в спальню, так как было уже около полуночи.

Альфонс отвел меня к окну и сказал, глядя в сторону:

— Вы будете надо мной смеяться... Но я не знаю, что со мной... Я околдован, черт меня побери!

У меня мелькнула мысль, что ему грозит опасность вроде той, о которой рассказывают Монтень и мадам де Севинье: «История любви человеческой полна трагических случаев» и т. д., и т. д.

«Я всегда полагал, что такого рода неприятности бывают лишь с людьми умственно развитыми», — подумал я.

— Вы выпили слишком много кольюрского вина, — сказал я ему. — Я вас предупреждал.

— Да, это возможно. Но случилась вещь более ужасная...

Его голос прервался. Мне показалось, что он совсем пьян.

— Вы помните мое кольцо? — продолжал он после небольшого молчания.

— Ну конечно! Его украли?

— Нет.

— Значит, оно у вас?

— Нет... я... я не мог снять его с пальца этой чертовки Венеры.

— Да будет вам! Вы просто недостаточно сильно потянули.

— Я старался изо всех сил... Но Венера... согнула палец.

Он пристально посмотрел на меня растерянным взглядом, ухватившись за шпингалет, чтобы не упасть.

— Что за басни! — воскликнул я. — Вы слишком глубоко надвинули его на палец. Завтра вы снимете его клещами. Только не повредите статую.

— Да нет же, говорят вам! Палец Венеры изменил положение; она сжала руку, понимаете?... Выходит, что она моя жена, раз я надел ей кольцо... Она не хочет его возвращать.

Я вздрогнул, и по спине моей пробежали мурашки. Но тут он испустил глубокий вздох, и на меня пахнуло вином. Мое волнение сразу рассеялось. «Бездельник вдребезги пьян», — подумал я.

— Вы, сударь, антикварий, — продолжал он жалобным тоном, — вы хорошо знаете эти статуи... Может быть, там есть какая-нибудь

пружинка или секрет, неизвестный мне... Пойдемте посмотрим!

— Охотно, — ответил я. — Пойдемте вместе.

— Нет, лучше пойдите вы один.

Я вышел из гостиной.

Покуда мы ужинали, погода испортилась, и пошел сильный дождь. Я уже хотел попросить зонтик, но следующее соображение удержало меня. «Глупо идти проверять рассказы пьяницы, — сказал я себе. — В конце концов, он просто хотел надо мной подшутить, чтобы позабавить своих недалеких земляков. Наименьшее, что мне грозит, — это промокнуть до костей и схватить насморк».

Я поглядел с порога на статую, по которой струилась вода, и прошел к себе в комнату, не заходя в гостиную. Я лег в постель; но долго не мог заснуть. Все виденное мною за день не выходило у меня из головы. Я думал о молодой девушке, такой прекрасной и чистой, отданной этому грубому пьянице. «Какая отвратительная вещь, — говорил я себе, — брак по расчету! Мэр надевает трехцветную перевязь, священник — епитрахиль, и вот достойнейшая в мире девушка отдана Минотавру. Что могут два существа, не связанные любовью, сказать друг другу в минуту, за которую двое любящих отдали бы жизнь? Может ли женщина полюбить мужчину, который однажды был груб с ней? Первые впечатления никогда не изглаживаются, и я уверен, что Альфонс заслужит ненависть своей жены...»

Во время этого монолога, который я здесь сильно сокращаю, я слышал движение в доме, хлопанье отворяемых и затворяемых дверей, стук отъезжавших экипажей; затем я услышал на лестнице легкие шаги женщин, направлявшихся в конец коридора, противоположный моей комнате. По-видимому, это была процессия, провожавшая новобрачную до ее постели. Дверь в комнату г-жи де Пейрорада затворилась. «Как, должно быть, смущена и плохо себя чувствует, — подумал я, — эта бедная девушка!» Я ворочался в постели, будучи в самом дурном настроении духа. Какую глупую роль играет холостяк в доме, где совершается свадьба!

На некоторое время воцарилась тишина, но вдруг ее нарушили тяжелые шаги по лестнице. Деревянные ступеньки ее сильно скрипели. «Вот увалень! — мысленно воскликнул я. — Еще, пожалуй, свалится».

Все снова затихло. Я взял книгу, чтобы изменить течение моих мыслей. Это был статистический отчет департамента, украшенный статьей г-на Пейрорада о друидических памятниках в округе Прад. Я заснул на третьей странице.

Я спал плохо и несколько раз просыпался. Было, должно быть, часов пять утра, и я лежал уже более двадцати минут без сна, как вдруг пропел петух. Близился рассвет. И вот я отчетливо услышал снова те же тяжелые шаги, тот же скрип лестницы, какие слышал перед тем как заснуть. Это мне показалось удивительным. Позевывая, я пробовал угадать, для чего понадобилось Альфонсу встать так рано,

но не мог придумать ничего правдоподобного. Я уже собирался снова закрыть глаза, но тут внимание мое было привлечено странным шумом, к которому вскоре присоединились звонки, хлопанье дверей и наконец громкие крики. «Наш пьяница где-нибудь обронил огонь!» — подумал я, вскакивая с кровати.

Я поспешно оделся и вышел в коридор. С другого конца его неслись крики и жалобные стоны, покрываемые душераздирающим воплем:

— Мой сын! Мой сын!

Было ясно, что с Альфонсом приключилось несчастье. Я вбежал в спальню новобрачных; она была полна народу. Первый, кого я увидел, был молодой Пейрорад, полуодетый и распростертый поперек сломанной кровати. Он был мертвенно-бледен и неподвижен. Мать плакала и кричала, стоя около него. Г-н де Пейрорад суетился, тер ему виски одеколоном, подносил к носу пузырек с солями. Увы, его сын был давно мертв! На диване, в другом конце комнаты, лежала новобрачная, бившаяся в страшных судорогах. Она испускала нечленораздельные крики, и две дюжины служанок едва могли ее удержать.

— Боже мой! — воскликнул я. — Что случилось?

Я подошел к кровати и приподнял тело несчастного юноши; оно уже окоченело и остыло. Сжатые зубы и почерневшее лицо выражали страшные страдания. Было очевидно, что он погиб насильственной смертью и что агония его была ужасна. Однако ни малейшего следа крови не было видно на одежде. Я раскрыл его рубашку и увидел синюю полосу на груди, на боках и на спине. Похоже было на то, что его сдавили железным обручем. Я наступил ногой на что-то твердое, лежавшее на ковре; наклонившись, я увидел брильянтовый перстень.

Я отвел г-на де Пейрорада и его жену в их комнату; затем распорядился перенести туда же новобрачную.

— У вас осталась дочь, — сказал я им. — Вы должны позаботиться о ней.

После этого я ушел из комнаты.

Мне казалось несомненным, что Альфонс стал жертвой злодеяния и что убийцы нашли способ проникнуть ночью в комнату новобрачных. Однако эти кровоподтеки, опоясывавшие все тело,

очень смущали меня — их нельзя было причинить палкой или ломом. Внезапно я припомнил рассказы о том, что валенсийские наемные убийцы пользуются длинными кожаными мешками, набитыми мелким песком, чтобы приканчивать людей, за смерть которых им заплачено. И тотчас же мне вспомнился арагонский погонщик мулов с его угрозой. Тем не менее трудно было допустить, чтобы он прибег к столь ужасной мести из-за глупой шутки.

Я принялся блуждать по дому, ища повсюду следы взлома и не находя их нигде. Я сошел в сад, чтобы посмотреть, не проникли ли злоумышленники оттуда, но не обнаружил никаких явных улик. Впрочем, от дождя, шедшего накануне, почва настолько размокла, что на ней не могло сохраниться ясных следов. Все же я заметил на земле несколько глубоких отпечатков ног; они шли в двух противоположных направлениях, но по одной линии, начинавшейся от угла изгороди, прилегавшей к площадке для игры в мяч, и кончавшейся у входной двери дома. Это могли быть следы, оставленные Альфонсом, когда он ходил к статуе, чтобы снять кольцо с ее пальца. Впрочем, изгородь была здесь менее плотной, чем в других местах, и убийцы могли пролезть через нее именно тут. Бродя вокруг статуи, я остановился на минуту, чтобы посмотреть на нее. На этот раз, признаюсь вам, я не мог взглянуть без содрогания на злое и насмешливое выражение ее лица. И, весь во власти ужасных сцен, свидетелем которых я только что был, я воображал, что вижу перед собой адское божество, ликующее по поводу несчастья, поразившего этот дом.

Я вернулся к себе в комнату и оставался в ней до полудня. Затем вышел, чтобы проведать моих хозяев. Они несколько успокоились. Мадмуазель де Пюигариг, точнее, вдова Альфонса, пришла в себя. Она даже говорила с королевским прокурором из Перпиньяна, оказавшимся в Илле проездом, и давала этому представителю власти свои показания. Он пожелал также выслушать меня. Я ему рассказал, что знал, и не скрыл своих подозрений насчет арагонца. Он распорядился немедленно его арестовать.

— Узнали вы что-нибудь существенное от вдовы господина Альфонса? — спросил я у королевского прокурора после того, как мое показание было запротоколировано и подписано мною.

— Несчастливая молодая женщина потеряла рассудок, — сказал он мне с печальной улыбкой. — Она совсем помешалась, совсем. Вот что

она рассказывает. Она лежала, по ее словам, несколько минут в кровати с задернутым пологом, как вдруг дверь в спальню отворилась, и кто-то вошел. В этот момент молодая госпожа де Пейрорад лежала на краю постели, лицом к стене. Она не шевельнулась, уверенная, что это ее муж. Вскоре затем кровать затрещала, точно на нее навалилась огромная тяжесть. Она очень испугалась, но не решилась повернуть голову. Прошло пять минут, может быть, десять... она не знает в точности сколько. Потом она сделала невольное движение, или же существо, находившееся в кровати, переменило положение, но только она почувствовала прикосновение чего-то холодного, по ее выражению, как лед. Она опять отодвинулась на краешек кровати, дрожа всем телом. Немного погодя дверь отворилась вторично, и вошедший сказал: «Здравствуй, женушка». Вслед за тем полог раздвинулся. Она услышала сдавленный крик. Особа, бывшая рядом с ней на кровати, села и как будто вытянула вперед руки. Тогда молодая женщина повернула голову... и увидела, как она говорит, своего мужа, стоявшего на коленях перед кроватью с головою на уровне подушек, в объятиях какого-то зеленого гиганта, сжимавшего его со страшной силой. Несчастливая женщина уверяла меня и повторяла раз двадцать, что узнала — угадайте, кого! — бронзовую Венеру, статую господина де Пейрорада... С тех пор как эта статуя появилась здесь, она всех свела с ума. Но вернемся к рассказу бедной помешанной. При этом зрелище она потеряла сознание, как, вероятно, потеряла и свой рассудок за минуту до того. Она не может даже приблизительно определить, сколько времени лежала без чувств. Придя в себя, она опять увидела призрак или, как она утверждает, статую; эта статуя была неподвижна; она сидела на кровати слегка наклонившись. В руках она сжимала ее неподвижного мужа. Пропел петух. Тогда статуя сошла с кровати, выпустила труп из рук и удалилась. Молодая женщина кинулась к звонку, а остальное вы знаете.

Привели испанца. Он был спокоен и защищался с большим хладнокровием и присутствием духа. Он не отрицал тех слов, которые я слышал, но, согласно его объяснению, он хотел сказать только то, что на другой день, хорошенько отдохнув, он рассчитывал обыграть своего победителя. Помню, что он прибавил:

— Араговец, когда он оскорблен, не станет откладывать месть до завтра. Если бы мне показалось, что господин Альфонс обидел меня, я

тут же всадил бы ему нож в живот.

Сравнили его башмаки со следами в саду: башмаки оказались гораздо бóльших размеров.

В довершение всего трактирщик, у которого этот человек остановился, засвидетельствовал, что он провел всю ночь, растирая и лечя своего заболевшего мула.

Вообще же этот араговец был человек с хорошей репутацией, всем известный в этих краях, куда он приезжал ежегодно по торговым делам. Его отпустили, извинившись перед ним.

Я забыл еще упомянуть о показаниях слуги — он последний видел Альфонса в живых. Это случилось в ту минуту, когда тот собирался идти к жене; подозвав слугу, он спросил его с видимым беспокойством, не знает ли он, где я нахожусь. Тот ответил, что не видел меня. Тогда Альфонс вздохнул и, помолчав с минуту, сказал: «Уж не унес ли и его дьявол?»

Я спросил этого человека, был ли у г-на Альфонса на пальце брильянтовый перстень, когда он говорил с ним. Слуга подумал немного, потом ответил, что, кажется, перстня не было, но что он не обратил на это внимания.

— Если бы перстень у него был, — поправился он, — я бы, наверное, заметил — я был уверен, что он отдал его своей супруге.

Расспрашивая этого человека, я испытывал суеверный страх, овладевший всем домом после показаний жены Альфонса. Королевский прокурор посмотрел на меня с улыбкой, и я воздержался от дальнейших вопросов.

Через несколько часов после погребения Альфонса я собрался уезжать из Илля. Коляска г-на де Пейрорада должна была отвезти меня в Перпиньян. Бедный старик, несмотря на свою слабость, пожелал проводить меня до садовой калитки. Мы молча прошли по саду, причем он еле волочил ноги, опираясь на мою руку. В минуту расставания я в последний раз бросил взгляд на Венеру. Я чувствовал, что мой хозяин, хотя и не разделял страха и отвращения, которые статуя внушала некоторым членам его семейства, все же захочет отделаться от предмета, который будет непрестанно напоминать ему о его ужасном несчастье. Мне хотелось убедить его отдать статую в музей. Я не знал, как заговорить об этом. В это время г-н де Пейрорад, заметив, что я куда-то пристально смотрю, машинально повернул

голову в ту же сторону. Он увидел статую и тотчас же залился слезами. Я обнял его и, не найдя в себе силы что-нибудь ему сказать, сел в коляску.

После моего отъезда я не слышал, чтобы какие-нибудь новые данные пролили свет на это таинственное происшествие.

Господин де Пейрорад умер через несколько месяцев после смерти своего сына. Он завещал мне свои рукописи, которые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Я не нашел среди них исследования о надписях на Венере.

P.S. Мой друг г-н де П. только что сообщил мне в письме из Перпиньяна, что статуи больше не существует. Г-жа де Пейрорад после смерти мужа немедленно распорядилась перелить ее на колокол, и в этой новой форме она служит илльской церкви. «Однако, — добавляет г-н де П., — можно подумать, что злой рок преследует владельцев этой меди. С тех пор как в Илле звонит новый колокол, виноградники уже два раза пострадали от мороза».

Герман Мелвилл

(1819–1891)

Башня с колоколом

Пер. с англ. С. Сухарева

На юге Европы, близ столицы, славной некогда своими бесчисленными фресками — ныне их отцветшие краски изъедает серая плесень, — посреди пустынной равнины возвышается громада, издали похожая на темный замшелый пенёк от исполинской сосны, поверженной в незапамятные времена вместе с Енакимами и титанами.

Как рухнувшая сосна, истлевая, оставляет после себя мшистую грядку, подобную тени, отброшенной на прощание исчезнувшим деревом, — тени, нечувствительной к обманчивым прихотям солнца, тени, что никогда не растёт и никогда не убывает, тени неподвижной и неизменной, будто истинная мера простёртого на земле тела, — так и у подножия того, что кажется обломком гигантского ствола, покоится устремленная к западу копьевидная, поросшая лишайниками руина.

Что за дивные переливы птичьих трелей, излетающих из серебряных гортаней, доносились с этой верхушки! Каменная сосна, на вершине которой гнездились металлические хористы, встарь была колокольней, воздвигнутой великим изобретателем — злосчастливым подкидышем по имени Баннадонна.

Основание этой колокольни, как и основание Вавилонской башни, закладывалось восторженной порой всемирного обновления, когда второй потоп миновал, воды Средневековья схлынули и показавшаяся земля вновь зазеленела. Неудивительно поэтому, что, ступив наконец на сушу, преисполненные ликующих предвкушений сыны человеческие, как древле потомки Ноя, обратили свои помыслы ввысь, вдохновляясь дерзновенным примером обитателей Сеннаара.

По бесстрашной решимости никто в Европе в те времена не мог сравниться с Баннадонной. Жители разбогатевшего на торговле с Левантом государства, подданным которого он являлся, единодушно подали голоса за постройку самой большой в Италии городской

башни с колоколом. Назначением на должность архитектора Баннадонна был обязан своей славе. Камень за камнем, месяц за месяцем — башня росла. Все выше и выше — медленно, как улитка, но подобная факелу или звезде фейерверка в своей гордыне.

И всякий вечер зодчий после ухода каменщиков стоял в одиночестве на вершине растущей башни, видя, что с каждым разом поднимается все выше и выше над деревьями и стенами города. Он оставался там допоздна, поглощенный планами новых, еще более величественных сооружений. В праздники святых на строительной площадке собирались целые толпы: иные зрители, не замечая ни сыпавшейся им на голову известки, ни даже слетавших подчас кусков щебня, повисали на лесах, будто моряки, которые по команде усеивают корабельные реи, или роящиеся пчелы, что плотно облепляют куст. Столь почтительное внимание со стороны простого люда еще более укрепляло Баннадонну в высоком о себе мнении.

И вот торжественный день настал. Под звуки виол замковый камень свода медленно поднялся в воздух и, сопровождаемый пушечными выстрелами, был помещен самим Баннадонной в навершие башни. Он встал на этот камень и, одинокий, стоял там, выпрямившись во весь рост, со скрещенными на груди руками, устремив взор к снежным вершкам голубых Альп и еще более белым хребтам гор вдали от берега. Ему открылось зрелище, с равнины недоступное взору. Нельзя было различить снизу и выражения его лица, когда, словно орудийные залпы, донеслись до него взрывы рукоплесканий.

Восторг взбудораженной толпы вызвало то невозмутимое спокойствие, с каким Баннадонна, пренебрегая высотой в триста футов, стоял на крохотной, ничем не огражденной площадке. На такое никто, кроме него, не отважился бы, однако зодчий всходил на башню раз за разом, неукоснительно изо дня в день все то время, пока она возводилась, и подобная выучка, конечно же, не могла пройти даром.

Теперь дело оставалось за колоколами. Они во всех отношениях должны были соответствовать своему вместилищу.

Отливка малых колоколов завершилась успешно. Затем был отлит еще один — богато украшенный, невиданной еще формы: его предстояло укрепить на колокольне новым, неизвестным дотеле способом. О назначении этого колокола, а также о том, каким образом

он совершал оборот вокруг своей оси и как соединялся с часовым механизмом, изготовленным тогда же, будет сказано ниже.

Звонница и часы совмещены были в одном сооружении, хотя в те времена обычно строились они раздельно, как поныне свидетельствует о том колокольня и Башня часов перед собором Святого Марка.

При отливке же главного городского колокола мастер поистине превзошел самого себя. Тщетно предостерегали его более трезво настроенные члены городского совета, напоминая о том, что даже для такой грандиозной башни вес раскачивающейся в воздухе громады может оказаться чрезмерным. Но непреклонный мастер, невзирая на все увещания, подготовил исполинскую форму, изукрашенную мифологическими фигурами и эмблемами, раздул мехами пламя, примешав к нему благовонные смолы, расплавил олово с медью и, побросав в кипящий металл столовое серебро, щедро пожертвованное знатными горожанами в порыве патриотизма, открыл летку.

Огненная струя вырвалась на волю, будто спущенная с привязи свора гончих. Подручные испуганно отпрянули в сторону. Их растерянность могла погубить колокол. Баннадонна, отважный как Седрах, ринулся через раскаленный поток и поразил виновника замешательства увесистым черпаком. Осколок разможенного черепа отскочил в расплавленную массу и мгновенно исчез.

На следующий день со всеми необходимыми предосторожностями открыли успевшую остыть часть литья. Все, казалось, было в порядке. На третье утро с тем же удовлетворением обнажили всю верхнюю половину. Наконец, подобно изваянию некоего фиванского правителя, готовый колокол целиком явился на свет. Безупречная отливка имела один-единственный странный изъян. Однако мастер, никому не позволявший сопровождать себя во время своих осмотров, как нельзя искуснее скрыл недостаток при помощи состава, им же самим изобретенного.

Отливку столь громадного колокола восприняли как настоящий триумф мастера, причем такой триумф, разделить который не зазорно было всему государству. На убийство посмотрели сквозь пальцы. Люди, снисходительные к человеческим слабостям, начисто отрицали злонамеренные побуждения и всецело приписывали содеянное внезапному порыву художнического темперамента. Случается,

взбрыкивает строптивый арабийский скакун — так и провинность Баннадонны сочли следствием врожденной горячности, но отнюдь не проявлением преступной натуры.

Судья его оправдал, священник отпустил грехи: большего и больная совесть не могла бы желать.

Устроив в честь строителя новое торжество, республика сопровождала поднятие колоколов и часового механизма пышными празднествами, далеко затмившими первое.

По окончании праздника Баннадонна надолго предался уединению и показывался на людях реже обыкновенного. Доходили слухи, что он занят неким приспособлением для колокольни, долженствующим превзойти все сделанное им до сих пор. По мнению многих, новый замысел мастера состоял в изготовлении еще одной отливки. Другие же, полагавшие, будто обладают даром особой проницательности, многозначительно качали головами, намекая, что не случайно изобретатель держит свои занятия в строжайшем секрете. Между тем затворничество мастера не могло не облекать его работу покровом все более манящей таинственности, присущей всему запретному.

Вскоре на колокольню подняли какой-то тяжелый предмет, закутанный в темный кусок материи — мешок или плащ, что делалось иногда, если статую, предназначенную для украшения фасада нового здания, архитектор не желал выставлять на всеобщее обозрение до тех пор, пока она, в соответствии с планом, не занимала отведенного ей места. Именно так представлялось дело столпившимся внизу наблюдателям и на этот раз. Однако один из присутствующих, по роду занятий скульптор, при подъеме непонятого предмета наверх заметил — или ему так почудилось — несвойственную каменным изваяниям податливость и даже некоторую гибкость, с какой этот предмет перемещался в воздухе. В тот же момент, когда загадочный груз, едва различимый снизу, достиг нужной высоты, многим показалось, будто статуя сама, без помощи лебедки, шагнула на колокольню, и один искусенный опытом старый кузнец, стоявший поблизости, высказал предположение, что там находится живой человек. Хотя догадку отвергли как несостоятельную, это еще более разожгло любопытство окружающих.

Невзирая на неудовольствие Баннадонны, представители городской власти — сам градоправитель вместе со своим помощником, оба люди

в летах, — поднялись на башню вслед за помещенным туда предметом, имевшим человеческие очертания, однако, взобравшись на колокольню, были мало чем вознаграждены: изобретатель, надежно оградившись благовидной необходимостью блюсти тайны своего искусства, учтиво, но твердо избегал каких-либо объяснений. Члены городского совета невольно поглядывали в сторону закутанной фигуры: она, к их изумлению, казалось, переменила позу, хотя уже и не вызывала прежнего недоумения — ее странный вид во время подъема на башню объяснялся, вероятно, тем, что резкие порывы ветра, дувшего снаружи, трепали и развевали ее одеяние. Теперь же облаченная в домино фигура полулежа покоилась на незаметном со стороны сиденье. В верхней части одеяния виднелся небольшой квадрат, в котором — случайно или же преднамеренно — ткань была прорежена: поперечные нити кое-где выдернуты, с тем чтобы получилось некое подобие решетки. То ли это было действие сквозняка, проникавшего через просветы в каменной кладке, то ли разыгравшееся смятенное воображение было тому виной — сказать трудно, однако посетителем явственно мнилось, будто они различают внутри домино едва приметные судорожные движения. Ни одна мелочь, даже самая незначительная, не ускользала от их обеспокоенного взора. Среди прочего бросилась им в глаза валявшаяся в углу глиняная чаша, вся покрытая накипью и выщербленная по краю, при виде которой один из вошедших шепнул другому, что именно такая вот чаша вполне годилась бы для того, чтобы, потехи ради, поднести ее к губам медной статуи, если только это в самом деле статуя, а не что иное.

Изобретатель, однако, отвечал, что чаша использовалась им при отливке колокола, и пояснил также ее предназначение: тут смешивались разогретые металлы для определения качества сплава. Он добавил далее, что чаша эта оказалась на колокольне по чистой случайности.

Посетители меж тем беспрестанно поглядывали на фигуру в домино, словно это был подозрительный инкогнито, явившийся в разгар венецианского карнавала. Их одолевали всевозможные тягостные предчувствия. Особенную тревогу внушало им смутное опасение того, что после их ухода изобретатель, хотя и без

компаньона, обладающего плотью и кровью, все же не останется в одиночестве.

Делая вид, что его забавляет смятение гостей, Баннадонна просил их соизволения устранить причину беспокойства и натянул посредине помещения кусок грубой холстины, который совершенно скрыл подозрительный предмет из виду.

Сам Баннадонна прилагал все старания, дабы вызвать у посетителей больший интерес к другим своим работам, — и теперь, когда домино находилось вне поля зрения, они недолго оставались равнодушными к стоявшим вокруг чудесам искусства — чудесам, которые до того никто еще не видел завершенными, поскольку, с тех пор как колокола подняли на башню, входить туда мог один только мастер. Следуя неизменному своему правилу, Баннадонна никому не позволял, даже если речь шла о пустяках, делать то, что мог без слишком больших затрат времени сделать сам. Таким образом, на протяжении нескольких предшествующих недель часы, свободные от работы над своим тайным замыслом, он посвящал тщательной отделке фигур на колоколах.

Особенное внимание привлек часовой колокол. Красота орнамента, ранее затемненная потускнением, нередко сопутствующим отливке, под прилежным резцом проступила теперь наружу во всей своей изящно-стыдливой прелести. Увитые гирляндами девические фигуры (каждая олицетворяла собой один из двенадцати часов), взявшись за руки, кружились по краю колокола в радостном хороводе.

— Баннадонна, — промолвил градоправитель, — свет еще не видал такого колокола. Он — само совершенство. Но что это? — Тут послышался странный звук. — Ветер?

— Ветер, эчеленца, — последовал беззаботный ответ. — Однако фигуры не вполне отделаны, над ними придется еще работать. Как только все будет окончено, а вон то... то устройство, — мастер указал на холщовый занавес, — как только Аман (так я в шутку его называю), как только он — вернее, оно — займет свое место на уготованном для него древе, вот тогда, всемилостивейшие государи мои, вы безмерно осчастливите меня новым своим визитом.

Двусмысленный намек на скрытый за занавесом предмет снова заставил гостей ощутить смутную тревогу. Они постарались, однако,

не выказать ни малейшего интереса к сказанному, не желая, видимо, предоставить безродному подкидышу возможности убедиться, сколь легко мог он силой своего плебейского искусства лишить лиц благородного происхождения уверенности в себе.

— Так что ж, Баннадонна, — произнес градоправитель, — когда вы запустите механизм и часы начнут отбивать время? Мы дорожим вами не менее, чем вашей работой, и желали бы обрести полную уверенность в вашем успехе. Народ тоже полон нетерпения — слышите возгласы? Назовите же срок, когда все будет исполнено.

— Завтра, эчеленца, соблаговолите только прислушаться, а нет — так и без того услышите небывалую музыку. Первым зазвучит вот этот колокол, — Баннадонна указал на колокол с фигурами девушек, увитых гирляндами, — он пробьет один раз. Взгляните: Уна и Дуа держатся за руки, но первый же удар молота разомкнет это любовное пожатие. Итак, завтра, ровно в час пополудни, после того как молот ударит сюда, именно сюда, — Баннадонна приблизился к колоколу и коснулся переплетенных девических пальцев, — жалкий механик будет безмерно счастлив снова дать вам всепокорнейшую аудиенцию здесь, у себя, среди всего этого хлама. А покуда прощайте, светлейшие превосходительства, и внемлите бою часов вашего подданного.

Сохраняя внешнее спокойствие, сквозь которое готова была вырваться, подобно огню из горнила, жгучая пламенность, Баннадонна с подчеркнутой учтивостью шагнул к лестничному спуску, дабы сопроводить высоких гостей к выходу. Однако младший член городского совета — человек по натуре добросердечный, — встревоженный вызывающе насмешливым презрением, сквозившим под смиренной почтительностью найденьша, и не столько задетый явным пренебрежением, сколько движимый христианским сочувствием и состраданием к смутно провидимой им участи, каковая неотвратимо постигает дерзких анахоретов, и находившийся, очевидно, под сильным впечатлением от окружавшей его диковинной обстановки, — этот облеченный властью человеколюбец с печалью отвел глаза от собеседника, и тут пронизательный взгляд его упал на застывшее лицо Уны, выражение которого заставило его вздрогнуть.

— Отчего вышло так, Баннадонна, — кротко обратился он к мастеру, — что Уна ничуть не похожа на своих сестер?

— Христос свидетель, — немедля вмешался в разговор градоправитель, благодаря замечанию спутника только сейчас обративший внимание на эту фигуру, — что лицо Уны не отличить от лица Деворы-пророчицы, которую изобразил дель Фонка, флорентиец.

— Ясно, что вы, Баннадонна, — мягко продолжал младший член городского совета, — равно стремились придать всем двенадцати отрешенно-беспечный вид. Однако взгляните: в улыбке Уны есть нечто роковое. Ее улыбка совсем иная...

При этих словах градоправитель, уже ступивший одной ногой на лестницу, испытующе перевел глаза на ваятеля, словно желая проследить по его лицу, какое объяснение подыщет тот для оправдания подобного несоответствия.

Баннадонна заговорил:

— Эчеленца, сейчас, когда я вслед за вашим острым взором пристальнее всматриваюсь в лицо Уны, я и в самом деле замечаю, что оно несколько отличается от прочих. Однако обойдите вокруг колокола — и вы не найдете двух лиц, совершенно одинаковых. Причина в том, что искусству предписан закон... Впрочем, становится все прохладнее: эти решетки — плохая защита от сквозняков. Позвольте же мне, сиятельнейшие государи мои, хотя бы немного проводить вас. Тех, в чьем благополучии кровно заинтересовано общество, следует опекать особенно ревностно.

— Говоря о выражении лица Уны, вы упомянули, Баннадонна, о том, что в искусстве есть некий закон, — заметил градоправитель, когда все трое спускались вниз по каменным ступеням. — Прошу вас, откройте, в чем он заключается...

— Простите, эчеленца, как-нибудь в другой раз: здесь, в башне, ужасная сырость.

— Нет-нет, я должен передохнуть и узнать обо всем немедленно. Вот тут, на площадке, есть место, где расположиться; оконный проем защищен от ветра, да и света достаточно. Рассказывайте про свой закон, и во всех подробностях.

— Поскольку, эчеленца, вы настаиваете, то знайте, что в искусстве существует закон, исключаяющий возможность точных копий. Несколько лет тому назад, если помните, я вырезал небольшую печать вашей республики с изображением, в качестве главного символа, головы вашего собственного предка, ее прославленного основателя.

Для нужд таможи, где опечатывают бесчисленные тюки и ящики, я награвировал целую доску, содержащую сотню таких печаток. И вот, хотя я и ставил перед собой задачу изготовить сотню неотличимых друг от дружки голов и хотя со стороны они кажутся, вероятно, совершенно одинаковыми, стоит только пристальнее взглянуть на оттиск моей доски с изображением всех лиц, как сразу обнаружится, что даже между двумя из них нет полного сходства. Главное в выражении всех лиц — величавость, однако в каждом она проявляется по-разному. Здесь с ней соединена благожелательность, там сквозит явная двусмысленность; кое-где, если всмотреться ближе, проступает откровенное коварство, а вызваны все эти перемены ничтожными — тоньше волоса — сдвигами линии, изображающей тени в углу рта. А теперь, эчеленца, замените величавость веселостью, эту веселость придайте двенадцати из названных вариаций и скажите, не двенадцать ли моих фигур предстанут перед вами, и вот эта самая Уна среди них? Но мне по душе...

— Тише, что это — шаги наверху?

— Штукатурка, эчеленца, куски ее падают время от времени на пол с арки, где каменная кладка осталась плохо заделанной. Надо будет сказать рабочим. Так вот, я говорю: что до меня, то мне по душе закон искусства, исключаящий повторение. Он вызывает к жизни примечательные особи. Да, эчеленца, эта странная — а для вас сомнительная — улыбка, этот прозорливый взор Уны удовлетворяют Баннадонну вполне.

— Слышите опять: неужели наверху в самом деле нет ни души?

— Ни души, эчеленца, будьте уверены, души — ни единой. Вот, опять штукатурка!

— Почему-то при нас с потолка ничего не падало.

— О, в вашем присутствии, эчеленца, даже штукатурке следует знать свое место, — отвечал Баннадонна с галантным поклоном.

— И все-таки Уна, — заметил младший член городского совета, — казалось, не сводила с вас глаз: можно было поклясться, что из нас троих только вы ее занимали.

— Если это так, эчеленца, то причиной тому ее обостренная чуткость.

— Что? Я не понимаю вас, Баннадонна.

— Пустяки, эчеленца, совершенные пустяки... Однако ветер переменился — дует во все щели. Позвольте же мне сопроводить вас к выходу, а затем — простите, но каждый работник должен спешить к своим инструментам.

— Быть может, это покажется смешным, синьор, — проговорил помощник градоправителя, когда, оставшись на третьей лестничной площадке одни, они начали спускаться дальше, — но наш гениальный изобретатель внушает мне какую-то странную тревогу. Вот, скажем, сейчас, когда он, провожая нас, так надменно держался, походка его напоминала походку Сисары, бесславного врага Господа, на полотне дель Фонки. А эта юная изваянная Девора! Да-да, и потом...

— Ну что вы, синьор, бог с вами! — бросил градоправитель. — Всего лишь минутный каприз, и только. Девора, вы говорите? Где же тогда Иаиль?

— Ах, синьор, — вздохнул его спутник, когда оба, шагнув через порог, ступили на мягкий дерн, — я вижу, вы оставили свои страхи позади, там, где холод и тьма, а вот мои, увы, даже при ярком солнце преследуют меня по-прежнему... Слышите?

Дверь, ведущая в башню, откуда они только что вышли, с шумом захлопнулась. Обернувшись, они увидели, что теперь она крепко заперта.

— Он сбежал вниз по лестнице и заперся на замок, — усмехнулся градоправитель. — Это у него в обычае.

Безотлагательно было обнародовано известие о том, что на завтра, ровно в час пополудни, раздастся звон башенных часов с удивительным, благодаря всесильному искусству мастера, сопровождением, однако каким именно — оставалось загадкой. Известие это вызвало всеобщее ликование.

Праздные наблюдатели, с самого вечера расположившиеся вокруг башни, видели на самом ее верху мерцающий сквозь оконные проемы огонь, который погас только с рассветом. Те же, чьи душевные силы — под действием напряженного ожидания — могли оказаться расстроенными, явственно различали (во всяком случае, были уверены, что так им слышалось) странные звуки: до них не только доносилось бряцание каких-то металлических орудий и приспособлений, но, по их словам, чудились также приглушенные

крики и стенания, какие могла бы издавать некая чудовищная машина, изнемогающая от усталости.

Медленно надвигался день, и, пока иные зрители коротали время за песнями и азартными играми, багровый солнечный шар выкатился наконец, словно огромный мяч, на равнину.

Ровно в полдень показалась кавалькада прибывших верхом дворян и прочей городской знати вместе с отрядом солдат, игравших — для вящей торжественности — военную музыку.

Оставался всего лишь час до назначенного срока. Нетерпение росло. Возбужденные зрители сжимали в руках часы, пристально следя за перемещением крохотных стрелок; потом, высоко запрокидывая головы, обращали взор к колокольне, словно желая поскорее увидеть то, что могло быть только услышано, поскольку башенные часы не имели пока циферблата.

И вот большие стрелки часов вплотную приблизились к цифре I. Над заполненной людьми равниной, словно в ожидании мессии, воцарилось молчание. Внезапно с башни сорвался глухой отрывистый звук, едва различимый на расстоянии, — и тут же все стихло. Собравшиеся недоуменно уставились друг на друга. Затем все вновь обратили взгляды к своим часам. Повсюду часовая стрелка незаметно подошла к цифре I, слилась с ней, а затем двинулась дальше. Толпа загудела.

Выждав немного, градоправитель знаком призвал всех к молчанию и громко окликнул мастера с намерением выяснить, что за непредвиденная случайность произошла на колокольне.

Ответа не последовало.

Он крикнул еще, потом еще раз.

Было по-прежнему тихо.

По приказу градоправителя солдаты взломали входную дверь и проникли внутрь башни, а сам он, распорядившись поставить часовых для защиты от напиравшей толпы, в сопровождении своего прежнего спутника поднялся по винтовой лестнице. На полпути они остановились и прислушались. Всюду царило молчание. Ускорив шаг, оба добрались до самого верха, но, едва ступив на порог, застыли как вкопанные при виде открывшегося им зрелища. Невесть откуда взявшийся спаниель, прошмыгнувший за ними, дрожал с головы до пят, словно при встрече в глухой чаще с неведомым чудовищем:

невольно казалось, будто он наткнулся на след из какого-то иного, нездешнего мира. Баннадонна неподвижно лежал ничком на полу, весь в крови, у основания колокола с фигурами девушек, украшенных гирляндами. Он был простерт у самых ног фигуры, названной Уна: как раз над его головой левая рука Уны крепко сжимала руку Дуа. Склонившись над телом, подобно Наили в шатре над пригвожденным к земле Сисарой, стояла та самая фигура в домино — теперь уже без плаща.

Фигуру покрывала чешуйчатая броня — сверкавшая, как крылья у саранчи. Руки в оковах были воздеты над жертвой, будто с намерением нанести новый удар. Выдвинутая вперед ступня задевала носком мертвеца, словно попирая его с презрением.

О том, что произошло далее, достоверных сведений не сохранилось. Вполне естественно предположить, что представители городской власти поначалу не могли не отшатнуться от увиденного. Какое-то время, во всяком случае, они медлили в невольном смятении, вызванном, что не исключено, охватившим их ужасом. Известно только, что потребовалось прибегнуть к помощи аркебузы, которая и была вскоре доставлена на колокольню. По рассказам, сразу после того как раздался залп, послышался свистящий лязг, будто внезапно лопнула ходовая пружина некоего механизма, а затем раздался громкий металлический звон, какой бывает, если обрушить на мостовую целую связку стальных клинков. Смутный шум этот донесся до равнины, где все взгляды обратились к колокольне, сквозь оконные прорезы которой вились слабые струйки дыма.

Одни утверждали, что застрелен был спаниель, который взбесился от страха. Другие с ними не соглашались. Спаниеля действительно больше никто не видел — и вполне вероятно, по какой-то невыясненной причине он разделил участь манекена в домино, о погребении которого необходимо упомянуть особо. Но что бы там ни было, после того как миновал первый инстинктивный страх или же устранены были все разумные для него основания, оба члена городского совета собственными руками поспешно обернули манекен в брошенный поодаль плащ — тот самый, что окутывал его во время подъема на башню. Той же ночью манекен тайно спустили вниз, доставили к берегу, вывезли в открытое море и затопили. Впоследствии даже за вольным пиршественным столом в ответ на

самые неотступные расспрашивания оба очевидца так и не раскрыли до конца тайну происшедшего на колокольне.

Случившееся не могло не представляться загадкой, и молва усматривала в развязке явное вмешательство сверхъестественных сил, решивших судьбу найденыша, однако более просвещенные умы без труда находили событиям иное объяснение. В цепи обстоятельных умозаключений, выводящихся свидетелями происшествия, могут обнаружиться заведомо неверные звенья, подчас между ними недостает связи, но, поскольку данное истолкование является единственным относительно достоверным из дошедших до нас, то его и следует, за неимением лучшего, изложить здесь. Впрочем, представляется необходимым сначала привести предположения касательно тайного замысла Баннадонны, а именно — каким образом этот замысел у него возник и каким целям должен был служить; предположения эти высказывались теми, кто сумел якобы не только постичь до тонкостей существо события, но и проникнуть в самую душу мастера. При рассмотрении вопроса придется косвенным образом затронуть ряд материй особого рода — далеких от ясности и непосредственно с предметом речи не связанных.

В те времена, как и ныне, всякий большой колокол заставляли звучать, либо раскачивая подвешенный внутри него язык, либо ударяя по металлу тяжелым молотом при помощи громоздкого механизма; зачастую роль механизма исполняли находившиеся на колокольне дюжие стражи; если же колокол располагался на башне под открытым небом, то стражи эти помещались поблизости в караульной булке.

Полагали, что наблюдение над такими именно колоколами, а также над тем, как стражи исполняли свои обязанности, и натолкнуло найденыша на его замысел. Вознесенная высоко вверх человеческая фигура при взгляде снизу настолько уменьшается в размерах, что теряет сходство с существом, которое наделено разумом. Черты личности как таковой совершенно утрачиваются. Вместо жестов, свидетельствующих о наличии сознательной воли, движения человеческих рук напоминают скорее механическое перемещение стрелок оптического телеграфа.

Раздумывая о том, что, если глядеть издалека, человеческая фигура мало чем отличается от Пульчинеллы, Баннадонна нечаянно напал на мысль о создании некоего автомата, который мог бы отбивать время

железной рукой, причем с безукоризненной точностью. Более того, созерцая живого человека, который появлялся в урочный час из своего укрытия и подходил к колоколу с молотом в руке, Баннадонна утвердился в решении, что его изобретение равным образом должно обладать способностью передвигаться — и вместе с тем сохранять по крайней мере видимость существа, наделенного разумом и сознательной волей.

Если правильны догадки тех, кто заявлял, будто проник в замысел Баннадонны, — каким же дерзостным духом он обладал! Однако толкователи на этом не останавливались, подразумевая, что, хотя начальным толчком для изобретателя и послужил главным образом вид стража при колоколе и на первых порах предполагалось изготовить всего лишь достаточно сноровистого механического звонаря, впоследствии, как это нередко случается с авторами проектов, исходная мысль, преследующая задачи сравнительно малые, незаметно переросла в идею, ставящую перед собой цель титаническую, и в итоге достигла — если принять во внимание возможные последствия ее осуществления — неслыханной дотоле смелости. Баннадонна по-прежнему тратил свои усилия на изготовление движущейся фигуры для колокольни, но теперь рассматривал ее только как промежуточный образец для создания в будущем илота-гиганта, предназначенного несказанно облегчить жизнь человечества и приумножить его славу: изобретатель вознамерился дополнить созданное за шесть дней творения и населить землю новыми рабами — полезнее вола, стремительнее дельфина, сильнее льва, хитрее обезьяны, изворотливей змеи, терпеливее осла и трудолюбивее муравья. Все совершенства сотворенных Богом существ, служивших человеку, были призваны на суд ради дальнейшего усовершенствования, дабы совместиться потом в одном-единственном существе. Илот, обладавший всеми возможными совершенствами, должен был именоваться Талусом. Талусом — железным служителем Баннадонны, а через посредничество Баннадонны — всего человечества.

В том случае, если свидетели происшествия не заблуждались относительно тайных планов подкидыша, он неминуемо должен был быть заражен безумнейшими химерами своего века, далеко превосходившими измышления Корнелия Агриппы и Альберта

Великого. Утверждали, однако, обратное. Каким бы головокружительным ни казался его замысел, ясно преступавший не только рамки человеческих возможностей, но и границы Божественного творения, тем не менее пущенные изобретателем в ход средства, по общему мнению, неукоснительно соответствовали строгим требованиям трезвого разума. Говорили, что Баннадонна, скептически настроенный по отношению ко всем тщеславным безрассудствам своего времени, не питал к ним ни малейшей симпатии — более того, недвусмысленно их презирал. К примеру, он вовсе не заключил, вместе с визионерами из числа метафизиков, что между утонченными механическими силами и наиболее грубой животной деятельностью может обнаружиться некий зачаток соответствия. Столь же мало отразился в его проекте и энтузиазм иных натурфилософов, которые надеялись посредством физиологических и химических изысканий добраться до первоисточника жизни и тем самым притязать на право производить и улучшать ее по собственному усмотрению. Еще менее общего имел Баннадонна с племенем алхимиков, в стенах лаборатории пытавшихся особыми заклинаниями вызвать некую ошеломляющую жизненную силу. Не разделял он и жизнерадостные упования некоторых теософов, веривших, что в награду за истовое поклонение вышним силам человеку ниспослано будет неслыханное могущество. Материалист по складу ума, в своей практике Баннадонна ставил перед собой задачи, для разрешения которых требовались не логика, не тигель, не магические формулы, не церковные алтари, но простой верстак и молоток. Словом, разгадывать загадки Природы, крадучись проникая в ее тайны; строить против нее козни; заручаться сторонней поддержкой, дабы подчинить ее своей власти, — все это не входило в его намерения; нет, не испрашивая благоволения ни у бездушных элементов, ни у одушевленных существ, полагаясь только на себя самого, желал он соперничать с Природой, превзойти ее и покорить. Унижение паче гордости — вот к чему он стремился. Его теургией был здравый смысл, чудом — машина, героем Прометеем — механик, а подлинным богом — сам человек.

Тем не менее, приступая к первому опыту — изготовлению пробного автомата для колокольни, он позволил своей фантазии слегка разыграться: впрочем, то, что могло показаться своевольной

причудой, на самом деле было побочным результатом его честолобивого практицизма. Наружный облик существа для колокольни не должен был сходствовать с человеческим, а равно и животным; не должен был и уподобляться вымышленным, пусть даже самым диковинным, образам древних легенд и преданий: создание это должно было быть совершенно оригинальным как по внутреннему устройству, так и по внешнему виду, причем чем ужаснее последний — тем лучше.

Вот что говорилось очевидцами относительно предприятия Баннадонны и сокрытого за ним умысла. Каким образом в самом начале непредвиденная катастрофа опрокинула все планы — или, вернее, какие догадки высказывались на этот счет, — предстоит изложить ниже.

Предполагалось, что накануне злосчастной развязки, после ухода посетителей, Баннадонна распаковал манекен, привел его в полную готовность и поместил в надлежащее укрытие — нечто вроде сторожевой будки в самом углу; далее на протяжении ночи и почти все утро он занимался тем, что пытался обеспечить безошибочность действий облаченной в домино фигуры: следовало устроить так, чтобы манекен покидал сторожевую будку каждые шестьдесят минут, скользил по железным рельсам, приближался к колоколу с вздетыми оковами, ударял по одному из двенадцати соединений двадцати четырех рук, затем обходил вокруг колокола и возвращался на свое место, пребывая там в ожидании следующие шестьдесят минут, после чего тот же самый ритуал подлежал повторению; колокол между тем, под действием хитроумного механизма поворачиваясь на своей оси, подставлял под опускавшийся молот сплетенные руки других двух фигур, когда часам следовало пробить два, три раза — и так далее, до самого конца. Звучащий металл для колокола изготовлен был таким образом (секрет сплава погиб вместе с изобретателем), что при разъединении каждого из двенадцати рукопожатий должна была раздаваться своя особенная мелодия.

Однако волшебный металл под ударом колдовского металлического пришельца не прозвучал ни разу, и не союз двух рук разомкнул тот своим молотом, но одним взмахом оборвал жизнь честолобивого мастера. Высказывались догадки, что, после того как манекен был спрятан в сторожевой будке, где должен был оставаться до урочного

времени, готовый к неотвратимому появлению в назначенный час, изобретатель тщательно смазал маслом колею, по которой тот должен был скользить, и поспешил затем к колоколу — желая, вероятно, придать изваянию окончательную завершенность. Истинный художник, Баннадонна тотчас с головой ушел в работу: видимо, его подстегивало еще и стремление смягчить странное выражение на лице Уны, хотя при посторонних он, казалось, относился к этому как нельзя беззаботней, на самом деле втайне не мог не чувствовать в душе смутных угрызений.

Таким образом, на какое-то время изобретатель совершенно забыл о собственном создании, которое, однако, не забыло о нем и, верное своему назначению, в точности повинувшись старательно заведенной пружине, оставило свой пост как раз в нужный момент: по отлично смазанной колее манекен бесшумно приблизился к указанной ему черте и, нацелившись на руку Уны, с тем чтобы извлечь единственную звучную ноту, с глухим стуком сплющил оказавшийся здесь помехой мозг Баннадонны, затем развернулся и тотчас же снова взметнул скованные руки вверх. Рухнувшее тело загородило путь, не позволив манекену вернуться на свое место; тут он и остановился, все еще склонившись над Баннадонной, словно и после смерти своего творца шепотом посылал ему неведомые угрозы. Резец, выпавший из руки мастера, лежал рядом; масло пролилось из масленки на железные рельсы.

Республика, памятуя о редкой гениальности изобретателя, нашедшего столь плачевный конец, постановила устроить ему торжественные похороны. Было решено при вносе гроба в кафедральный собор ударить в большой колокол — тот самый, успешной отливке которого угрожала нерасторопность злополучного рабочего. Обязанности звонаря поручили самому могучему в округе крестьянину.

Однако едва только несшие гроб переступили порог собора, как их ушей достиг долетевший с башни зловещий отрывистый звук, напоминавший снежный обвал в Альпах. Затем все смолкло.

Оглянувшись, они увидели, что свод колокольни накренился и завалился набок. Позднее выяснилось, что деревенский силач, которому поручили раскачать язык, желая разом испытать полную силу колокола, дернул за веревку одним резким богатырским рывком.

Огромная масса металла, слишком тяжелая для своей рамы и все же, как ни странно, державшаяся на весу, высвободилась из крепления, сорвалась вниз, проломив кладку свода, рухнула с высоты трех сотен футов, перевернулась и похоронила себя в мягком дерне, наполовину скрывшись из виду.

После того как колокол извлекли из земли, выясилось, что основная трещина брала начало от небольшого пятна в ушке: когда его поскоблили, в отливке нашли изъян, на первый взгляд незначительный, замаскированный каким-то неизвестным составом.

Переплавленный металл вскоре снова занял свое место в отделанной заново надстройке башни. Целый год хор металлических птиц разносил свои мелодии, словно из каменной чаши, через сквозную аркаду звонницы с бесчисленными украшениями. Но в первую же годовщину окончания строительства, на рассвете, прежде чем башню окружила стекавшаяся толпа, началось землетрясение. Послышался грохот — и мгновение спустя каменная сосна, где находили приют звонкоголосые солисты, уже лежала поверженной посреди равнины.

Так слепой раб повиновался своему еще более слепому господину и в слепом послушании поразил его насмерть. Так создатель погиб от руки собственного создания. Так тяжесть колокола оказалась для башни непосильным бременем. Так уязвимость колокола обнаружилась там, где его запятнала человеческая кровь. И так гордыня повлекла за собой падение.

Густаво Адольфо Беккер

(1836–1870)

Поцелуй

Толедская легенда

Пер. с исп. Н. Ванханен

I

Когда в начале века части наполеоновской армии овладели древним городом Толедо, французское командование, учитывая опасность, которой подвергались солдаты на испанской земле, становясь на постой в отдаленных друг от друга домах, стремилось использовать в качестве казарм самые большие и удобные здания.

После того как французы заняли величественный замок Карла V, настал черед городской ратуши, а когда и она больше не могла вместить ни одного человека, в ход пошли монастырские богадельни, и в конце концов даже церкви были отданы под конюшни. Именно так обстояло дело там, где произошли описываемые события. Однажды, поздно вечером, завернувшись в темные солдатские плащи и оглашая пустынные улицы, что ведут от Пуэрта-дель-Соль к площади Сокодовер, звоном оружия и цокотом копыт, высекающих искры из булыжной мостовой, в город въехала сотня драгун, из тех высоких, статных и крепких молодцов, о которых до сих пор с восторгом вспоминают наши бабушки.

Возглавлявший их юный офицер, шагов на тридцать обогнав свой отряд, вполголоса беседовал с каким-то пешим, судя по одежде — тоже военным.

Этот человек, слегка опередивший собеседника, держал в руке фонарь и, по-видимому, служил ему провожатым в лабиринте темных, извилистых и запутанных улочек.

— По правде говоря, — заметил всадник, обращаясь к своему спутнику, — если наше прибежище действительно таково, как ты его рисуешь, на мой взгляд, лучше бы нам расположиться на ночлег под открытым небом, где-нибудь в поле или посреди площади.

— Что поделаешь, капитан! — отвечал проводник, сержант, исполнявший обязанности квартирмейстера. — В замке столько народу — яблоку негде упасть; я уж не говорю о монастыре Святого Иоанна — Сан-Хуан де лос Рейес, — в каждой келье там ночует больше дюжины гусар. Обитель, куда я отведу вас, была бы недурным пристанищем, если бы дня три-четыре назад на нас не свалилась, как с неба, одна из частей, объезжавших провинцию; счастье еще, что нам удалось разместить людей в галереях, не занимая саму церковь.

— Делать нечего! — воскликнул, помолчав, офицер, словно примирившись в душе со странным приютом, доставшимся ему по воле случая, — лучше неудобное жилье, чем никакого. По крайней мере, если хлынет дождь, — а, судя по тому что собираются тучи, так оно и будет, — у нас окажется крыша над головой, а это уже немало.

На том разговор оборвался, и всадники во главе с проводником в молчании добрались до маленькой площади, в глубине которой вырисовывался черный силуэт монастыря с мавританской башней, высокой островерхой колокольней, округлым куполом и темными гребнями крыш.

— Вот вы и на месте! — воскликнул квартирмейстер, обращаясь к капитану, и тот, приказав отряду остановиться, спешился, взял у проводника фонарь и направился, куда ему указали.

Поскольку монастырская церковь была полностью разорена, солдаты, занимавшие прочие помещения, сочли, что двери ей больше ни к чему, и доска за доской растащили их на дрова для костров, согревавших по ночам.

Таким образом, нашему офицеру не пришлось ни подбирать ключи, ни отодвигать засовы, чтобы проникнуть внутрь храма.

Держа в руке фонарь, тусклый свет которого то и дело терялся в густом сумраке нефов, отбрасывая на стены неправдоподобно огромную тень шедшего впереди квартирмейстера, капитан обошел церковь сверху донизу, обследовал одну за другой все капеллы; решившись наконец, он приказал отряду спешиться и в общей толчее принялся как мог устраивать драгун на ночлег.

Мы уже говорили, что церковь была совершенно разграблена: с высоких карнизов над главным алтарем еще свисали клочья изорванного покрывала, которым служители, покидая храм, укрыли святыню; тут и там можно было разглядеть священные изображения, в

беспорядке сваленные у стен; на потемневших спинках церковных скамей, вырезанных из лиственницы, в слабом свете фонаря угадывались чьи-то причудливые лица; плиты пола во многих местах распались на куски, но кое-где еще уцелели массивные надгробия с девизами, гербами и длинными изречениями готическим письмом, а в глубине в безмолвии капелл и на пересечении нефов, подобно бледным недвижимым призракам, смутно вырисовывались во мраке каменные статуи — выпрямившись в полный рост или преклонив колени над мрамором гробниц, они оставались единственными обитателями разоренного святилища.

Всякому непривычному к подобным зрелищам человеку, утомленному меньше нашего драгунского офицера, который одолел за день переход в четырнадцать лиг длиною, хватило бы и сотой доли воображения, чтобы всю ночь не сомкнуть глаз в сумрачной и величавой обители, где все — и ругань солдат, во весь голос клявших новое жилье, и звяканье шпор о грузные могильные плиты, и ржание привязанных к колоннам жеребцов, которые, горячась и вскидывая голову, нетерпеливо звенели цепями, — сливалось в невнятный гул, эхом отдававшийся под высокими сводами и постепенно затихавший в глубине храма.

Однако наш герой, несмотря на молодость, притерпевшийся к неудобствам походной жизни, устроив отряд на ночлег, приказал бросить возле алтаря мешок сена, поплотнее завернулся в плащ, и не прошло и пяти минут, как он уже похрапывал не хуже самого короля в мадридском дворце.

Солдаты, подложив под головы седла, последовали его примеру, и шум голосов постепенно начал стихать.

Полчаса спустя в храме слышался только приглушенный свист ветра, гулявшего в разбитых витражах стрельчатых окон, шелест крыльев вспугнутых ночных птиц, что ютились среди лепнины и в складках каменных балдахин, да мерная поступь часового, который, закутавшись в широкополый плащ, вышагивал туда и обратно вдоль портала.

II

В те давние времена, когда приключилась эта правдивая, хотя и невероятная история, равно как и сейчас, всякому, равнодушному к

сокровищам культуры, заключенным в стенах древнего Толедо, город показался бы беспорядочным, старым, унылым и обветшалым.

Офицеры французской армии, судя по их варварским действиям, надолго сохранившим по себе печальную память, отнюдь не интересовались ни искусством, ни стариной; излишне говорить, что они изнывали от скуки в древней столице.

Обстановка весьма благоприятствовала тому, что празднующиеся завоеватели с жадностью хватались за любую самую незначительную новость, способную хоть немного нарушить медленное и однообразное течение дней. В результате повышение в чине одного из товарищей, известие о передислокации какой-нибудь части, отъезд вестового или прибытие подкрепления становились темой бурных обсуждений и порождали множество разнообразных толков — до тех пор пока новое происшествие не приходило на смену прежнему, давая почву для жалоб, догадок и недовольства.

Как и следовало ожидать, у офицеров, по обычаю собравшихся на другой день у площади Сокодовер поболтать и погреться на солнышке, только и речи было, что о вступлении в город драгун, командира которых мы оставили в предыдущей главе отдыхать от тягот перехода, забывшись сном.

Уже около часа разговор крутился вокруг этого события, и отсутствие капитана, коему один из офицеров — его однокашник — назначил встречу на Сокодовере, стало порождать разного рода домыслы. И тут в переулке показался наконец наш отважный герой, на сей раз без широченного походного плаща, в сияющей железной каске с белоснежным плюмажем, в темно-синем мундире с красными обшлагами, с тяжелым двуручным палахом в стальных ножнах, позванивавших в такт его чеканным шагам и сухому резкому звяканью шпор.

Завидев капитана, приятель поспешил ему навстречу; за ним последовали остальные офицеры, наслышанные о странном и необычном нраве вновь прибывшего и побуждаемые любопытством познакомиться с ним поближе.

После обычных в таких случаях дружеских объятий, восклицаний, приветствий и расспросов, после долгого и пространного обсуждения мадридских новостей, превратностей войны и воспоминаний о погибших или уехавших товарищах беседа, переходя от предмета к

предмету, коснулась наконец тягот службы, отсутствия в городе развлечений и неудобств с жильем.

Едва речь зашла о расквартировании, кто-то из офицеров, зная, по-видимому, о невезении молодого человека, вынужденного расположиться со своими людьми в покинутой церкви, насмешливо обратился к нему:

— Кстати о жилье, как тебе там спалось?

— Да всего хватало, — откликнулся тот, — но, честно говоря, если я плоховато выспался, причина моей бессонницы стоит того: бодрствование возле хорошенькой женщины, разумеется, не худшее из зол.

— Женщина! — повторил его собеседник, восхищаясь удачливостью нашего драгуна. — Вот уж, воистину, с места в карьер!

— Не иначе какая-нибудь старинная возлюбленная, оставив двор, последовала за ним в Толедо, чтобы скрасить его одиночество, — предположил кто-то.

— О нет! — возразил капитан. — Ничего подобного. Клянусь Богом, я не был знаком с ней раньше и никак не ожидал встретить подобную красавицу в столь неуютном месте. Тут самое настоящее приключение.

— Расскажи-ка! Расскажи-ка нам все! — хором воскликнули офицеры, окружая капитана, и, так как он явно вознамерился это сделать, приготовились слушать, затаив дыхание, а молодой человек начал так:

— Прошлой ночью я спал, подобно всякому, покрывшему за день расстояние в четырнадцать лиг, когда мой сладкий сон был внезапно прерван ужасающим грохотом и я, вздрогнув, приподнялся на локте. Грохот этот, поначалу совершенно меня оглушивший, долго еще отдавался в ушах, словно жужжание слепня. Как вы, вероятно, догадываетесь, испуг мой был вызван первым ударом окаянного церковного колокола — этакого здоровенного бронзового горлодера, вознесенного святыми отцами Толедо на башню с благим намерением доводить до отчаяния всех, нуждающихся в отдыхе. Едва странный, зловещий гул замер и я, проклиная сквозь зубы и колокол, и звонаря, собрался уже вернуться к ускользящим снам, как вдруг удивительное зрелище поразило мое воображение: в тусклом свете луны,

проникавшем в храм сквозь сводчатое окно центрального нефа, я увидел у алтаря коленопреклоненную женщину.

Офицеры изумленно и недоверчиво переглянулись, а капитан, не обращая внимания на произведенное впечатление, продолжал:

— Невозможно представить себе что-либо более невероятное, чем это фантастическое ночное видение, смутно различимое в полумраке, подобно девам на цветных витражах, чья светозарная белизна притягивает наши взоры из темных глубин соборов. Овал ее утонченного лица, правильные черты, исполненные очарования и грусти, бледность щек, безупречные линии стройной фигуры, благородная и спокойная, полная достоинства осанка, струящиеся белые одежды — все напоминало идеал, рисовавшийся моему воображению еще в детстве. Чистый, небесный образ, призрачное порождение неясной юношеской влюбленности! Весь во власти наваждения, я, затаив дыхание, не сводил с нее глаз, опасаясь, что чары рассеются от единого вздоха. Она по-прежнему была неподвижна. При виде ее светлого сияющего облика невольно показалось — перед тобой не земное создание, а бесплотный дух, принявший на краткий миг человеческое обличие, чтобы спуститься по лунному лучу, оставив в воздухе голубоватый след, идущий из высокого окна к подножию алтаря сквозь густую тьму таинственной и мрачной обители.

— Однако... — воскликнул, прерывая его, однокашник, вначале пытавшийся обратить рассказ в шутку, но постепенно увлекшийся им, — как она там оказалась? Ты ни о чем не расспросил ее? Она тебе ничего не объяснила?

— Я не пытался заговорить с ней, уверенный, что она не только не ответит, но даже не увидит и не услышит меня.

— Она была глухой?

— Слепой?

— Немой? — воскликнули в один голос трое или четверо собеседников.

— Все вместе, — помолчав, отозвался капитан. — Она была... мраморной.

При столь неожиданной развязке загадочного приключения слушатели разразились оглушительным хохотом, а кто-то, обращаясь к

рассказчику, по-прежнему серьезному и даже несколько огорченному, воскликнул:

— Вот так штука! Этого добра и у нас хоть отбавляй, — в Сан-Хуан де лос Рейес целый гарем! С удовольствием предоставлю его в твое распоряжение: сдастся, тебе не так уж важно, будут ли женщины из плоти и крови или из камня.

— О нет, — возразил капитан, ничуть не смущенный насмешками товарищей, — уверен, все они не чета моей! Моя незнакомка — настоящая благородная испанка, вырванная из рук смерти чудесным мастерством скульптора; кажется, живая женщина, охваченная восторгом нездешней любви, застыла с молитвенно сложенными руками, преклонив колена у собственной гробницы.

— Не хочешь ли ты убедить нас в правдивости мифа о Галатее?

— Сознаюсь, я сам всегда считал его небылицей, но с сегодняшней ночи мне стала понятна страсть греческого скульптора.

— Хотя твоя новая возлюбленная несколько необычна, полагаю, ты не сочтешь неудобным представить нас ей? Что касается меня, то должен признаться: я сгораю от желания лицезреть это чудо. Но... черт возьми! Что с тобой?! Похоже, это тебя совсем не радует. Ха! Тебе не хватает только впасть в ревность!

— Впасть в ревность! — поспешно откликнулся капитан. — Ревновать к людям — о нет! И все же... Узнайте, как далеко зашел я в своих фантазиях. Возле той статуи стоит еще одна — тоже мраморная, исполненная жизни, суровая фигура воина, несомненно, изваяние ее мужа. Так вот... смейтесь надо мной сколько душе угодно, но, если бы не опасение прослыть безумцем, я уже тысячу раз разбил бы ее на куски!

Необычайное признание чудака, влюбленного в каменную красавицу, было встречено новым взрывом оглушительного хохота.

— Полно, полно, нам необходимо ее увидеть, — заговорили одни.

— Да-да, надо удостовериться, достойна ли она столь пылкой страсти! — подхватили другие.

— Так когда же мы соберемся в твоей церкви пропустить стаканчик? — зашумели все остальные.

— Да когда вам заблагорассудится, хоть нынче вечером, — откликнулся молодой капитан, вновь призвав на помощь свою обычную улыбку, скрытую было мимолетным облачком ревности. —

Кстати, в моем обозе прибыло дюжины две бутылок шампанского, настоящего французского шампанского, остатки того, что досталось в подарок нашему бригадному генералу — мы с ним в родстве.

— Браво, браво! — в один голос вскричали офицеры, разражаясь радостными возгласами.

— Отведаем родного винца!

— Да споем что-нибудь из Ронсара!

— Да поболтаем о женщинах, а заодно и о пассии нашего радушного хозяина!

— Итак, до вечера!

— До вечера!

III

Мирные обитатели Толедо давно уже заперли на ключ и задвинули на засовы тяжелые двери старинных жилищ; большой соборный колокол прозвонил время тушить огни, а на башне превращенного в казарму замка в последний раз протрубили отбой, когда десяток офицеров, куда больше вдохновенных жаждой опустошить обещанные бутылки, нежели увидеть удивительную статую, направились от Сокодовера к монастырю, где квартировал драгунский капитан.

Стояли темные, зловещие сумерки; все небо заволочло свинцовыми тучами; ветер свистел в узких, кривых улочках, колебля слабое пламя светильников у входа в часовни, и с пронзительным скрипом вращал на башнях железные флюгера.

Не успели офицеры окинуть взглядом площадь, где стояло жилище их нового приятеля, как сам он, сгорая от нетерпения, вышел им навстречу; вполголоса обменявшись несколькими словами, они все вместе переступили порог и затерялись в сумрачных глубинах храма.

— Черт возьми! — воскликнул один из гостей, озираясь. — Не очень-то подходящее место для дружеской пирушки!

— В самом деле, — отозвался другой, — ты пригласил нас познакомиться с дамой, а тут не разглядишь и пальцев на собственной руке!

— Вдобавок здесь холодно, как в Сибири, — добавил третий, кутаясь в плащ.

— Спокойствие, друзья, спокойствие, — вмешался хозяин, — не волнуйтесь, сейчас мы все уладим. Эй, малый! — окликнул он рядового. — Принеси-ка сюда немного дров и разложи нам славный костерчик в главном алтаре.

Выполняя распоряжение капитана, солдат принялся крушить скамьи на хорах, а набрав достаточное количество дров, аккуратно сложил их у ступеней алтаря и поднял факел, намереваясь предать огню обломки тончайшей резьбы, среди которых попадались части витых колонн и изображения святых каноников, фигурки женщин и полускрытые в густой листве уродливые головы грифонов.

Вскоре яркое сияние разлилось по всей церкви, давая знать офицерам, что час веселья настал, и капитан, соблюдая все возможные церемонии, провозгласил, обращаясь к гостям:

— А теперь, мосье, если не возражаете, прошу к столу!

Его товарищи с комически-серьезным видом отсалютовали в ответ на это приглашение и направились к главному алтарю вместе с хозяином, который, замешкавшись на мгновение у подножия лестницы, протянул руку к стоявшей поодаль гробнице и с самой изысканной вежливостью произнес:

— Честь имею, мосье, представить вас даме сердца. Полагаю, вы признаёте, что я не преувеличивал, расписывая ее красоту.

Офицеры обернулись, и у всех невольно вырвался крик изумления: в глубине погребальной ниши, облицованной черным мрамором, им предстала коленопреклоненная фигура женщины с молитвенно сложенными руками и обращенным к алтарю лицом, — ни резец гениального скульптора, ни самая пылкая фантазия не смогли бы сотворить ничего прекраснее.

— Да она и вправду ангел! — воскликнул один из гостей.

— Жаль, что мраморный! — отозвался другой.

— Теперь я вижу: эта женщина — всего лишь создание фантазии, но одного ее присутствия достаточно, чтобы всю ночь не сомкнуть глаз.

— Не знаешь ли ты, кто она? — обратились два-три офицера к довольному своим триумфом капитану.

— Призвав на помощь все знания по латыни, накопленные в детстве, я с грехом пополам сумел разобрать надпись на гробнице, — отвечал тот. — Как я понял, славный воин принадлежал к кастильской

знати и участвовал в итальянском походе вместе с Великим Капитаном. Имя его мне не запомнилось; что касается его супруги, статую которой вы видите, то звали ее донья Эльвира де Кастаньеда, и я полагаю — если копия похожа на оригинал, — она была красивейшей женщиной своего времени.

Получив это краткое объяснение, гости, не терявшие из виду основную цель встречи, откупорили бутылки и, сев вокруг огня, пустили их по кругу.

По мере того как учащались возлияния, а головы все сильнее кружились от паров пенистого шампанского, оживление молодых людей возрастало: одни швыряли пустые бутылки в колонны с изображениями монахов, другие пьяными голосами горланили похабные песни, третьи, сбившись в кучи, покатывались со смеху и одобрительно хлопали в ладоши, изощряясь в ругани и богохульствах.

Угрюмый капитан молча пил, не сводя глаз со статуя доньи Эльвиры.

Порою, в тумане опьянения, ему чудилось, что статуя оживает в красноватых отсветах пламени; казалось, губы ее шевелятся, шепча молитву; грудь тяжело вздымается, будто в ней теснятся рыдания; скрещенные руки отчаянно сжимаются, а на щеках выступает румянец стыда, словно вид кошунственного зрелища ей невыносим.

Заметив безмолвную печаль своего товарища, офицеры попытались вывести его из задумчивости и, протянув бокал, хором воскликнули:

— А ну-ка, скажи тост — ты единственный, кто еще не сделал этого нынешней ночью!

Взяв бокал, молодой человек вскочил на ноги и, высоко подняв его, произнес, обращаясь к статуе воина, преклонившего колени возле доньи Эльвиры:

— Я пью за императора, за триумф его оружия, благодаря которому мы достигли сердца Кастилии и теперь отбиваем супругу у героя Сериньолы возле его собственной гробницы.

Офицеры встретили этот тост громом аплодисментов, а капитан, покачиваясь, сделал несколько шагов к надгробию.

— Нет, — продолжал он, с глуповатой пьяной ухмылкой обращаясь к изваянию, — не подумай, что я затаил злобу, видя в тебе соперника. Напротив, я восхищаюсь тобой — невозмутимым мужем, образцом

долготерпения и кротости, и со своей стороны тоже хочу проявить великодушие. Как всякий солдат, ты, верно, не прочь выпить... Пусть же никто не скажет, что я заставил тебя мучиться жаждой, пока мы приканчиваем второй десяток бутылок... На, пей!

С этими словами он поднес полный бокал к губам статуи и, омочив их вином, выплеснул остатки в лицо воину, разразившись оглушительным хохотом при виде того, как капли падают на надгробную плиту, стекая с каменной бороды недвижимого рыцаря.

— Капитан! — насмешливо воскликнул кто-то. — Будь осторожен... Шутки с этим каменным народом иной раз дорого обходятся. Вспомни-ка, что произошло с гусарами в монастыре Поблет... Поговаривают, будто в одну прекрасную ночь статуи воинов взяли там за свои мраморные мечи и задали жару весельчакам, от нечего делать подрисовывавшим им углем усы.

Собутыльники приветствовали замечание взрывом смеха, но капитан, не обращая внимания на их веселье, продолжал, увлеченный своей мыслью:

— Вы думаете, я предложил ему бокал, уверенный, что он не сможет пропустить ни глотка? О нет!.. В отличие от вас, я не считаю эти статуи всего лишь куском мрамора, столь же неодушевленным, как в день, когда его извлекли из каменоломни. Художник — почти Бог, наделяющий свои творения дыханием жизни, и, хотя не в его силах заставить их двигаться и разговаривать, ему удается порой вдохнуть в них жизнь, странную и непостижимую, — суть ее я не умею объяснить и все же явственно ощущаю, что это так, особенно когда немножечко выпью.

— Блестяще! — закричали слушатели. — Пей и продолжай.

Капитан сделал глоток и, устремив взор на статую доньи Эльвиры, произнес с возрастающим волнением:

— Взгляните, взгляните же на нее! Разве вы не видите живого румянца на тонкой прозрачной коже?.. Разве не кажется вам, что под этой нежной, чуть голубоватой алебастровой оболочкой разливаются потоки розового света? Вы жаждете большей жизни? Большого правдоподобия?..

— О да, — послышалось в ответ, — пожалуй, мы бы предпочли женщину из плоти и крови.

— Плоть и кровь!.. Прах и ничтожество!.. — воскликнул капитан. — Я знаю, как пылают уста, как кругом идет голова на шумном пиру. Мне знаком этот огонь, растекающийся по жилам подобно кипучей вулканической лаве, чьи душные пары туманят мозг, порождая причудливые видения. Было время — поцелуи женщин из плоти и крови жгли меня раскаленным железом, и я отворачивался от них с разочарованием, с тоской, даже с отвращением... ибо тогда, как и сейчас, мой пылавший лоб жаждал лишь свежего дуновения морского ветра... Целовать лед... снег... да, снег, тронутый мягким светом, позолоченный солнечными лучами... Касаться губами прекрасных, бледных, холодных уст, как уста этой мраморной женщины, что томит меня непостижимой красотой и трепещет в отблесках пламени; ее приоткрытые губы влекут к себе, обещая бесценные сокровища любви... О да — поцелуй... только твой поцелуй может погасить пожирающий меня жар!

— Капитан! — вскричали несколько офицеров, видя, как он, с блуждающим взором, не помня себя, нетвердыми шагами направляется к изваянию. — Что ты задумал? Довольно шуток, оставь мертвецов в покое!

Молодой человек не слышал — пошатываясь, он приблизился к статуе, но стоило ему протянуть к ней руки, как страшный крик раздался в храме. С залитым кровью лицом капитан рухнул навзничь у подножия гробницы.

Онемев от ужаса, офицеры не смели сделать ни шагу, чтобы прийти ему на помощь.

Они ясно видели, как в тот самый миг, когда молодой человек приник пылающими губами к устам доньи Эльвиры, мраморный воитель внезапно поверг его наземь сокрушительным ударом десницы, облаченной в каменную перчатку.

Эдит Несбит

(1858–1924)

Из мрамора, в натуральную величину

Пер. с англ. Н. Кротовской

Хотя каждое слово в этой ужасной истории правда, я не надеюсь, что кто-нибудь мне поверит. Нынче и вера нуждается в рациональном объяснении. Позвольте тогда и мне начать с рационального объяснения, к которому склоняются те, кто слышал рассказ о самом трагическом событии моей жизни. Как они полагают, в тот день, 31 октября, я и Лаура стали жертвой душевного расстройства. Подобное предположение будто бы подводит под случившееся достаточно убедительное основание. Выслушав мою историю, читатель сам рассудит, можно ли считать это объяснение исчерпывающим. В том, что произошло, участвовали трое: Лаура, я и еще один человек. Этот человек жив и может подтвердить наименее правдоподобную часть моего рассказа.

Всю жизнь мне не хватало денег на самое необходимое: на хорошие краски, книги, на извозчика. И когда мы с Лаурой поженились, то сразу поняли, что сумеем свести концы с концами, только «упорно трудясь и экономя каждый грош». В ту пору я занимался живописью, Лаура — сочинительством, и мы надеялись как-то продержаться. О том, чтобы жить в городе, и речи быть не могло, и мы решили подыскать себе домик в деревне, живописный и вместе с тем удобный. Два этих качества сочетаются в одном доме так редко, что долгое время наши поиски заканчивались ничем. Мы прилежно изучали объявления, однако при ближайшем знакомстве обычно оказывалось, что возжеленная сельская обитель не отвечает ни одному из двух обязательных условий. Дом с водопроводом неизменно бывал оштукатурен и напоминал бонбоньерку. А если мы находили крыльцо, увитое розами и виноградом, внутри всегда скрывалось запустение. Красноречие агентов по найму и вопиющее несоответствие обещанных красот тому надругательству над прекрасным, которое мы с горечью наблюдали, настолько затуманило

нам мозги, что накануне свадьбы мы едва могли отличить дом от собачьей конуры. Когда же в медовый месяц мы очутились вдали от друзей и агентов, туман в наших головах рассеялся и, увидав наконец красивый дом, мы сразу оценили его по достоинству. Дом находился недалеко от Брензета, крохотной деревушки на холме, у южных болот. Мы забрели туда из приморского селения, где снимали комнаты, поглядеть на церковь и, миновав два поля, наткнулись на этот дом. Он стоял на отшибе, в двух милях от деревни: длинное, низкое здание с причудливым расположением комнат. Когда-то на этом месте находился огромный дом, однако от прежних времен уцелела лишь часть каменной кладки, замшелой и увитой плющом, да две старые комнаты. Все остальное было пристроено позже. Без зарослей роз и жасмина дом показался бы чудовищным. С ними он был очарователен, и после беглого осмотра мы его сняли. Стоил он до смешного дешево. Остаток медового месяца мы провели в соседнем городке в поисках старой дубовой мебели и чиппендейлских стульев. Напоследок мы съездили в «Либерти», и вскоре низкие комнаты с дубовыми балками и решетчатыми окнами стали нашим кровом. К дому примыкал прелестный запущенный сад с поросшими травой дорожками, множеством подсолнухов, мальв и высоких лилий. Из окон открывался вид на заболоченные луга, дальше едва голубела полоска моря. Лето стояло великолепное, мы были счастливы и принялись за работу даже раньше, чем ожидали. Я увлеченно пытался передать на холсте причудливую игру облаков за распахнутым окном; Лаура, сидя за столом, слагала о них стихи, в которых и мне отводилось не последнее место.

Хозяйство наше вела высокая старая крестьянка. Наружность у нее была самая благообразная, хотя стряпня слишком уж незатейлива. Однако она прекрасно управлялась с садом и вдобавок сообщила нам все прежние названия полей и рощ, а также рассказывала истории о контрабандистах, разбойниках с большой дороги и призраках, подстерегающих одинокого путника звездными ночами. Она оказалась полезной во всех отношениях, ибо Лаура терпеть не могла домашней работы, а я обожал фольклор, и вскоре мы переложили все хлопоты по дому на миссис Дорман, а услышанные от нее легенды отсылали в журнал, который платил нам звонкой монетой.

Три месяца мы прожили душа в душу, ни разу не поссорившись. В один из октябрьских вечеров я отлучился из дому выкурить трубку с доктором, приятным молодым ирландцем, единственным нашим соседом. Лаура осталась дома, чтобы дописать смешной рассказ из сельской жизни для журнала «Недотепа». Я оставил ее улыбавшейся собственным шуткам, а вернувшись, нашел рыдавшей на подоконнике.

— Боже правый, дорогая, что стряслось? — воскликнул я, прижимая ее к груди.

Не переставая всхлипывать, она склонила темную головку мне на грудь. Раньше я никогда не видел ее в слезах — ведь мы были так счастливы, — поэтому я не на шутку испугался.

— В чем дело? Не томи меня.

— Это все миссис Дорман, — всхлипнула она.

— Что же она натворила? — допытывался я, почувствовав огромное облегчение.

— Она сказала, что уйдет от нас еще до конца месяца, сказала, у нее захворала племянница. Сейчас она отправилась ее проведать, но это просто отговорка, потому что ее племянница больна уже давно. Наверное, кто-то настроил ее против нас. Она вела себя так странно...

— Успокойся, любимая, — сказал я. — Что бы там ни было, не плачь, не то я заплачу вместе с тобой и ты перестанешь меня уважать.

Она послушно вытерла глаза моим платком и слабо улыбнулась.

— Видишь ли, — продолжала она, — это и в самом деле очень серьезно, ведь деревенские все заодно, и если уж кто-нибудь из них заартачился, то, будь уверен, никто другой не согласится. И мне придется стряпать и мыть противные грязные тарелки, а тебе — таскать воду, чистить башмаки и ножи, и у нас не останется времени ни на что: ни на живопись, ни на поэзию, ни на то, чтобы заработать денег. Мы будем трудиться, не разгибая спины, и отдыхать, дожидаясь, пока вскипит чайник.

Я возразил, что, даже если нам придется выполнять все эти обязанности, времени хватит и для работы, и для отдыха. Однако она желала видеть вещи только в самом мрачном свете. Моя Лаура не отличалась благоразумием, но, будь она такой же рассудительной, как Уэйтли, я не мог бы любить ее сильнее.

— Я побеседую с миссис Дорман, когда она вернется, и постараюсь отговорить ее, — сказал я. — Возможно, она хочет получить прибавку к жалованью. Все как-нибудь образуется. Пойдем прогуляемся до церкви.

Огромное здание церкви одиноко высилось вдали, и мы любили наведываться туда, особенно светлыми ночами. Тропа тянулась краем леса, пересекала его, взбиралась на гребень холма, шла лугами и огибала церковную стену, над которой темными купами высились старые тисы. Тропа эта, частью мощеная, звалась «погребальной», так как по ней с незапамятных времен возили на погост покойников. Кладбище густо поросло деревьями, стоявшие за оградой древние вязы простирали величественные длани над мирно спавшими мертвецами. В храм вела массивная низкая паперть с норманнским порталом и тяжелой дубовой дверью, окованной железом. Внутри уходили во мрак высокие своды, меж которыми в лунном свете белели окна с частым переплетом. В алтаре тускло мерцали благородными красками витражи, в их неровном свете темные дубовые хоры сливались с зыбкими тенями. По обе стороны от престола на низком постаменте лежали серые мраморные фигуры двух рыцарей в полном вооружении, с руками, сложенными в вечной молитве. Эти фигуры всегда бросались в глаза, даже при самом скудном освещении. Имен тех рыцарей давно никто не помнил, но, по рассказам крестьян, были они свирепы и жестоки, чинили разбой на суше и на море, сея вокруг страх и отчаяние, и за неслыханные злодеяния их постигла небесная кара: их родовое гнездо, тот большой дом, что стоял на месте нашего коттеджа, поразила молния. Однако золото их наследников купило им место в церкви. Взглянув на грубые, жестокие лица из мрамора, в эту историю легко было поверить.

В ту ночь церковь выглядела особенно живописно и таинственно. Тени от тисов падали сквозь окна в неф, ложась неровными пятнами на колонны. Мы сели рядом и молча наслаждались торжественной красотой древнего храма, нам словно передалось благоговение, вдохновлявшее в древности его строителей. Мы подошли к алтарю поглядеть на спящих воинов. Затем отдохнули немного на каменной скамье портала, глядя на притихшие луга, залитые лунным светом, каждой частицей своего существа чувствуя спокойствие ночи и

счастье любви, и наконец отправились домой, размышляя о том, что все наши житейские заботы всего лишь суета.

Как только миссис Дорман вернулась из деревни, я пригласил ее поговорить с глазу на глаз.

— Миссис Дорман, — произнес я, когда она вошла в мою мастерскую, — вы и впрямь намерены нас покинуть?

— Мне надобно уйти еще до конца месяца, сэр, — ответила она с присущим ей спокойным достоинством.

— Вы чем-то недовольны?

— Что вы, что вы, сэр, вы и ваша жена так добры ко мне...

— Так в чем же дело? Вам не хватает жалованья?

— Нет, сэр, я получаю достаточно.

— Тогда почему вы уходите?

— Я рада бы остаться, да... — с некоторым колебанием: — У меня захворала племянница.

— Но ваша племянница больна с тех пор, как мы здесь поселились.

Ответа не последовало. Настала долгая, тягостная пауза. Я нарушил ее.

— Вы не могли бы остаться еще на месяц? — спросил я.

— Нет, сэр. Мне надобно уйти до четверга.

А был понедельник!

— Что ж, но вам следовало предупредить нас заранее. Теперь уже поздно искать вам замену, а вашей госпоже тяжелая работа не по силам. Не задержитесь ли вы хотя бы до следующей недели?

— На следующей неделе я, может, и ворочусь.

Теперь мне стало ясно, что ей просто нужен небольшой отпуск, и мы охотно отпустили бы ее, подыскав ей замену.

— Но почему вы уходите именно на этой неделе? — упорствовал я. — Объясните мне.

Миссис Дорман поежилась, словно от холода, и потуже затянула на груди теплый платок, с которым никогда не расставалась. Затем нехотя сказала:

— Говорят, в католические времена на этом месте стоял большой дом, и в нем всякое творилось...

Леденящая кровь интонация, с которой миссис Дорман произнесла эти слова, не оставляла сомнений в характере того, что здесь

«творилось». К счастью, Лауры не было в комнате. Как и все нервические натуры, она была очень впечатлительна, и мне показалось, что легенда о нашем доме, рассказанная старой крестьянкой с такой заразительной убедительностью, может глубоко взволновать мою жену, поколебав ее привязанность к нашему очагу.

— Миссис Дорман, — попросил я, — расскажите-ка мне все, что знаете. Я не из тех молодых людей, что потешаются над подобными вещами.

Что было отчасти правдой.

— Так вот, сэр, — она понизила голос, — верно, вам приходилось видеть в церкви у алтаря две фигуры.

— Вы говорите о статуях рыцарей в латах, — заметил я живо.

— Я говорю о двух человеческих фигурах в мраморном обличье, — поправила она, и должен признаться, ее описание было гораздо выразительней моего, не говоря уже о таинственной, сверхъестественной силе, которой веяло от слов «мраморное обличье».

— Сказывают, на канун Дня всех святых обе фигуры встают со своих плит и топают по проходу, а сами-то как есть из мрамора. (Еще одна удачная фраза, миссис Дорман.) И, только на церковных часах пробьет одиннадцать, выходят из дверей и идут напрямик через кладбище по «погребальной» тропе. А коли ночь сырая, наутро можно видеть их следы.

— Куда же они направляются?

— Они возвращаются сюда, в свой дом, сэр, и ежели кто повстречается с ними...

— Что тогда? — спросил я.

Но больше мне не удалось вытянуть из нее ни слова, если не считать старой песни о больной племяннице. После всего услышанного я потерял интерес к этому вопросу и постарался выведать у миссис Дорман подробности легенды. Но услышал одни предостережения:

— В канун Дня всех святых закройте дверь пораньше, сэр, да начертите кресты над дверью и над окнами.

— Да видел ли кто-нибудь этих рыцарей? — допытывался я.

— Сама не видала, а за других не скажу.

— Ну хорошо, кто здесь жил в прошлом году?

— Никто. Владелица дома была здесь летом, да она завсегда уезжает в Лондон аж за месяц до той самой ночи. Мне неохота огорчать вас и вашу жену, но у меня захворала племянница, и в четверг я ухожу.

Когда она открыла мне истинную причину своего ухода, я попытался убедить ее в абсурдности этих доводов.

Но она твердо вознамерилась уйти, и никакие уговоры не могли поколебать ее решимости.

Я утаил от Лауры легенду о мраморных рыцарях, разгуливающих по ночам, отчасти потому, что такая легенда о нашем доме могла напугать мою жену, а отчасти, я думаю, по причине более таинственного свойства. Для меня эта история была не просто одной из многих, поэтому мне не хотелось говорить о ней прежде, чем назначенный день минует. Вскоре, однако, я и думать о ней забыл. Все мои мысли занимал портрет Лауры у открытого окна. Я увлеченно писал ее лицо на восхитительном фоне желто-серого заката. В четверг миссис Дорман покинула нас. Уходя, она растрогалась и сказала:

— Не больно усердствуйте, мэм, и, коль на будущей неделе у вас найдется кой-какая работенка, охотно вам подсоблю.

Из чего я заключил, что она не прочь вернуться к нам после Дня всех святых. И все же до последней минуты она с завидным упорством держалась версии о больной племяннице.

Четверг прошел благополучно. Лаура проявила незаурядные способности в приготовлении жаркого, а я на удивление ловко справился с тарелками и ножами, которые вызвался помыть.

Настала пятница. Именно то, что случилось в пятницу, и заставило меня взяться за перо. Не будь я одним из участников этой истории, я бы в нее не поверил. Постараюсь изложить события коротко и ясно. Все происшедшее в тот день оставило жгучий след в моей памяти. Я никогда не забуду, ничего не упущу.

Помнится, я поднялся рано, развел огонь на кухне, и, только над поленьями взвился легкий дымок, впорхнула моя жена, свежая и сияющая, как то погожее октябрьское утро. Мы вместе приготовили завтрак, дружно взялись за уборку, и, когда щетки, метлы и ведра вернулись на свои места, в доме воцарилась тишина. Удивительно, как много значит присутствие каждого человека. Нам и в самом деле недоставало миссис Дорман, и вовсе не потому, что некому было

заняться горшками и сковородками. Мы провели день, стирая пыль с книг и аккуратно расставляя их по полкам, а после весело пообедали холодным мясом, запивая его кофе. В тот день Лаура показала мне бодрей, веселей и милей, чем обычно, и я было подумал, что немного домашней работы ей не повредит. Во всяком случае, мы так не радовались со дня нашей свадьбы, а нашу вечернюю прогулку я вспоминаю как счастливейший миг моей жизни. Глядя, как пурпурные облака медленно становятся свинцово-серыми на фоне бледно-зеленого неба, а беловатые завитки тумана стелются над далекими болотами, мы возвратились домой примолкнув, рука в руке.

— Ты что-то грустна, дорогая, — сказал я как бы в шутку, когда мы очутились в нашей маленькой гостиной. Я ждал возражений, ибо мое молчание было молчанием полного блаженства. Но, к моему удивлению, она произнесла:

— Да, я и впрямь грущу, верней, мне как-то не по себе. Меня бьет озноб, а здесь ведь не холодно, правда?

— Ничуть, — ответил я, тревожась, как бы ей не повредил предательский туман, поднявшийся с болот в сумерки.

— Туман здесь ни при чем, — отозвалась она. И, помолчав немного, вдруг спросила: — Бывали у тебя дурные предчувствия?

— Нет, — отвечал я с улыбкой. — Впрочем, я никогда в них не верил.

— А у меня бывали, — продолжала она, — в ночь, когда умер мой отец, я чувствовала это, хотя он находился далеко, на севере Шотландии.

Я ничего не ответил.

Какое-то время она сидела, глядя на огонь, и молча гладила меня по руке. Потом решительно поднялась, встала у меня за спиной и, откинув мне голову назад, поцеловала.

— Все прошло, — сказала она. — Какая же я глупая! Давай зажжем свечи и споем что-нибудь из новых дуэтов Рубинштейна.

И мы провели один или два счастливых часа за фортепьяно.

Около половины одиннадцатого мне захотелось выкурить на ночь трубку, но, видя бледность Лауры, я подумал, что жестоко наполнять нашу гостиную клубами едкого дыма.

— Я выйду покурить, — сказал я.

— И я с тобой.

— Нет, дорогая, не сегодня. Ты слишком утомлена. Я ненадолго. А ты отправляйся спать, не то завтра мне придется не только чистить башмаки, но и нянчиться с больной женой.

Я поцеловал ее и повернулся, чтоб идти, но вдруг она обняла меня так крепко, словно не в силах была со мной расстаться. Я нежно погладил ее по голове.

— Бедняжка, ты перетрудилась. Домашняя работа слишком тяжела для тебя.

Она слегка ослабила объятия и глубоко вздохнула:

— Нет. Сегодня мы были очень счастливы, Джек, правда? Возвращайся поскорей.

Я вышел через парадную дверь, не заперев ее. Что это была за ночь! Рваные клочья тяжелых, темных облаков неслись по небу, легкая белесая дымка заволокла звезды. В бурном потоке облаков плыла луна, то выныривая из-за туч, то вновь погружаясь во тьму. Временами свет ее падал на лес, который, казалось, бесшумно и плавно качался в такт проплывавшим вверху облакам. Над землей был разлит странный серый свет. Над полями повисла мерцающая пелена, которую рождает союз тумана с лунным светом или мороза с сиянием звезд.

Я бродил возле дома, упиваясь красотой притихшей земли и бурного неба. Стояло полное безмолвие. Все вокруг словно вымерло. Не раздавалось ни возни кроликов, ни гомона сонных птиц. И хотя по небу неслись облака, гнавший их ветер не достигал земли, не шелестел сухими листьями на лесных тропинках. За лугами на фоне неба чернел силуэт церкви. Я шел и думал о трех месяцах нашего счастья, о моей жене, ее ласковых глазах, милых привычках. О моя девочка, моя родная девочка, какие картины нашей долгой счастливой жизни пригрезились мне тогда!

Я услышал звон церковного колокола. Уже одиннадцать! Я повернул было к дому, но ночь не отпускала меня. Я не спешил вновь оказаться в наших уютных комнатах. Меня тянуло в церковь. Я смутно чувствовал потребность прийти с любовью и благодарностью в святилище, куда в былые времена люди несли свою печаль и радость.

Проходя мимо низкого окна, я заглянул в него. Лаура полулежала в кресле у камина. Лица ее я не видел, только ее головка темнела на фоне бледно-голубой стены. Она не шевелилась. Наверное, спала.

Сердце мое устремилось к ней. Конечно, Бог есть, подумал я, и этот Бог добр... Иначе откуда взяться такому чуду, как она?

Я медленно брел краем леса. Внезапно ночную тишину нарушил резкий звук: в лесу что-то трещало. Я замер и прислушался. Звук тотчас стих. Я двинулся дальше и теперь явственно различил чужие шаги, звучавшие в такт моим. В нашей глуши хватало браконьеров и порубщиков леса, но только болван мог поднять такой шум. Я углубился в чащу, и теперь шаги, казалось, доносились с дороги, по которой я только что шел. Наверное, это эхо, подумал я. В свете луны лес поражал великолепием. Там, где листва на деревьях поредела, призрачный свет выхватывал из темноты увядшие кусты и папоротники. Вокруг, точно готические колонны, высились стволы деревьев. Они напомнили мне о церкви. Я свернул на «погребальную» тропу, через кладбищенские ворота прошел меж могил к низкой паперти и опустился на каменную скамью, где мы с Лаурой любовались погружавшимся во тьму пейзажем. Тут я заметил, что церковная дверь распахнута, и упрекнул себя, что не закрыл ее прошлой ночью. По будням никто, кроме нас, не удосуживался заглянуть в церковь, и я огорчился, что по нашей беспечности сырой осенний воздух проникнет внутрь и повредит старинное убранство. Я вошел внутрь. Возможно, это покажется странным, но только на полпути к алтарю я вспомнил — с внезапной дрожью, которая так же внезапно сменилась внутренним удовлетворением, — что в этот самый день и час мраморные рыцари, по преданию, сходят со своих могильных плит.

А раз уж я вспомнил легенду, и вспомнил с содроганием, которого тут же устыдился, мне ничего не оставалось, как подойти к алтарю: просто взглянуть на фигуры, уверял я себя. На самом деле мне хотелось убедиться, что, во-первых, я не верю в легенду, а во-вторых, легенда лжет. Я даже доволен был, что пришел: теперь-то я докажу миссис Дорман, что все ее рассказы — чистый вымысел и в этот страшный час мраморные фигуры мирно покоятся на своих местах. Засунув руки в карманы, я направился к алтарю. В тусклом сером свете восточный придел церкви казался просторней обычного, а своды над обеими гробницами — выше. Вышла луна, и я понял почему. Я остолбенел, сердце у меня в груди отчаянно подскочило и бессильно упало.

«Человеческие фигуры в мраморном обличье» исчезли, и мраморные плиты лежали, просторные и пустые, в тусклом лунном свете, падавшем в восточное окно.

Куда они делись? Ушли, или я сошел с ума? Взяв себя в руки, я наклонился и провел рукой по гладким плитам, ощутив их ровную, неповрежденную поверхность. Может быть, кто-то унес изваяния? Как бы то ни было, я должен выяснить, в чем дело. Я торопливо свернул газету, оказавшуюся у меня в кармане, зажег и поднял высоко над головой. Желтое пламя осветило темные своды и обе могильные плиты. Статуи исчезли. И я был в церкви один... Или не один?

Меня охватил ужас, неопиcуемый и безграницный, всепроникающая уверенность в огромной непоправимой беде. Я отшвырнул свой факел и бросился прочь, закусив губу, чтоб не закричать. Что мною тогда владело, безумие или нечто другое? В один прыжок я перемахнул через церковную ограду и бросился напрямик через поля на свет, лившийся из наших окон. Но, только я перелез через первую изгородь, передо мной, словно из-под земли, выросла темная фигура. Все еще вне себя от мрачных предчувствий, я бросился на нее с криком:

— Прочь с дороги!

Однако мой противник оказался сильнее, чем я ожидал. Он словно тисками сжал мои руки выше локтя и тряс до тех пор, пока я не признал в нем сухопарого доктора-ирландца.

— Что с вами? — кричал он с акцентом, который невозможно было спутать. — Что с вами?

— Пустите меня, болван, — прохрипел я. — Мраморные рыцари ушли из церкви, говорю вам, они ушли.

Он залился звонким смехом.

— Завтра я напою вас микстурой. Вы накурились табака и наслушались бабьих сказок.

— Говорю вам, я видел пустые плиты.

— Что ж, вернемся назад. Я иду к старому Палмеру, у него заболела дочь. Заглянем по пути в церковь, и вы покажете мне пустые плиты.

— Идите сами, если вам так хочется, — буркнул я, немного успокоившись, — а я пойду домой к жене.

— Никуда вы не пойдете, — возразил он. — Думаете, я вам позволю? И вы потом всю жизнь будете твердить, что видели, как ожил холодный мрамор, а я всю жизнь — повторять, что вы обыкновенный трус? Нет уж, увольте.

Ночная прохлада, человеческий голос, а также непоколебимый здравый смысл этого высокого человека отрезвили меня, а слово «трус» холодным душем окатило мой смятенный ум.

— Тогда пошли, — ответил я угрюмо, — возможно, вы и правы.

Он по-прежнему крепко держал меня за руку. Мы перелезли через изгородь и поспешили к церкви. Стояла мертвая тишина. Пахло сыростью и землей. Мы приблизились к алтарю. Не скрою, я закрыл глаза: я знал, что статуй там нет. Келли чиркнул спичкой.

— Да вот же они, смотрите, лежат себе целехоньки. Вам, видно, все во сне приснилось или, простите, померещилось спяну.

Я открыл глаза и в свете догоравшей спички увидел на постаментах два мраморных изваяния. Я с облегчением вздохнул и схватил доктора за руку.

— Крайне вам признателен, — воскликнул я. — Наверное, я был введен в заблуждение игрой света, а может, и в самом деле перетрудился. Знаете, ведь я и впрямь решил, что они исчезли.

— Знаю, — ответил он довольно резко. — Вам с вашими нервами следует беречь себя, мой друг, уверяю вас.

Он наклонился и стал разглядывать фигуру справа, чье каменное лицо было особенно жестоким и зловещим.

— Клянусь Юпитером! — воскликнул он. — Здесь что-то не так: от руки отломан кусок.

И точно. Но ведь в последний раз, когда мы с Лаурой сидели здесь, рука была цела!

— Похоже, кто-то пытался сдвинуть надгробие с места, — сказал молодой доктор.

— Но ведь мне привиделось, что статуй вообще не было.

— Если рисовать с утра до вечера и курить до умопомрачения, еще не такое привидится.

— Пошли, — сказал я, — не то жена станет беспокоиться. Пропустим по стаканчику виски за посрамление призраков и мое душевное здоровье.

— Вообще-то я шел к Палмеру, да сейчас уже поздно. Лучше зайду к нему завтра, — ответил доктор. — Я проторчал до вечера в богадельне, а потом еще навещал больных. Ладно, я иду с вами.

По-моему, он решил, что я нуждаюсь в его помощи больше палмеровской дочки, и мы поспешили домой, рассуждая о том, как могла возникнуть эта иллюзия, а полученные выводы распространили на вопрос о привидениях вообще. Еще с садовой дорожки мы заметили, что из парадной двери льется свет, а вскоре увидели, что дверь в гостиную тоже распахнута. Неужели Лаура куда-то вышла?

— Входите, — пригласил я доктора, и Келли последовал за мной в гостиную. Повсюду горели свечи, расставленные где придется, не только восковые, но и не меньше дюжины сальных. Я знал, что Лаура всегда зажигает свет, когда ей беспокойно. Бедное дитя! Как мог я уйти! Как мог оставить ее одну!

Мы оглядели комнату и поначалу не заметили Лауры. Окно было распахнуто, и сквозняк клонил пламя свечей в одну сторону. Стул, на котором она сидела, был пуст, а носовой платок и книга валялись на полу. Я кинулся к окну и там, в оконной нише, увидел ее. О моя девочка, моя любовь! Она подошла к окну поглядеть, не возвращаюсь ли я. И кто-то вошел в комнату у нее за спиной. К кому повернулась она с выражением дикого ужаса на лице? О моя крошка, наверное, она подумала, что это мои шаги она слышит. Кого же она увидела, обернувшись?

Она упала на стол, стоявший в нише, и тело ее лежало частью на столе, а частью на подоконнике, голова свесилась вниз, а распустившиеся волосы касались ковра. Губы ее кривила гримаса ужаса, а глаза были широко-широко раскрыты. Они уже ничего не видели. Что они увидели в последний миг?

Доктор направился к ней, но я, оттолкнув его, прижал ее к груди с криком:

— Не бойся, Лаура! Я с тобой!

Ее тело безжизненно обвисло у меня в руках. Я обнимал и целовал ее, называл самыми ласковыми словами, но, кажется, все время понимал, что она мертва. Ее руки были сжаты в кулак. Из одного торчало что-то твердое. Когда я уже не сомневался, что она мертва, а остальное потеряло для меня всякий смысл, я позволил доктору разжать ее ладонь.

Там был палец из серого мрамора.

1893

Амброз Бирс

(1842–1914)

Хозяин Моксона

Пер. с англ. Н. Рахмановой

— Неужели вы это серьезно? Вы в самом деле верите, что машина думает?

Я не сразу получил ответ: Моксон, казалось, был всецело поглощен углями в камине, он ловко орудовал кочергой, пока угли, польщенные его вниманием, не запылали ярче. Вот уже несколько недель я наблюдал, как развивается в нем привычка тянуть с ответом на самые несложные, пустячные вопросы. Однако вид у него был рассеянный, словно он не обдумывает ответ, а погружен в свои собственные мысли, словно что-то гвоздем засело у него в голове. Наконец он проговорил:

— Что такое «машина»? Понятие это определяют по-разному. Вот послушайте, что сказано в одном популярном словаре: «Орудие или устройство для приложения и увеличения силы или для достижения желаемого результата». Но в таком случае разве человек не машина? А согласитесь, что человек думает или же думает, что думает.

— Ну, если вы не желаете ответить на мой вопрос, — возразил я довольно раздраженно, — так прямо и скажите. Ваши слова попросту увертка. Вы прекрасно понимаете, что под «машиной» я подразумеваю не человека, а нечто созданное и управляемое человеком.

— Если только это «нечто» не управляет человеком, — сказал он, внезапно вставая и подходя к окну, за которым все тонуло в предгрозовой черноте ненастного вечера. Минуту спустя он повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал: — Прошу извинения, я и не думал увертываться. Я просто счел уместным привести это определение и сделать создателя словаря невольным участником нашего спора. Мне легко ответить на ваш вопрос прямо: да, я верю, что машина думает о той работе, которую она делает.

Ну что ж, это был достаточно прямой ответ. Однако нельзя сказать, что слова Моксона меня порадовали, скорее они укрепили печальное подозрение, что увлечение, с каким он предавался занятиям в своей механической мастерской, не принесло ему пользы. Я знал, например, что он страдает бессонницей, а это недуг не из легких. Неужели Моксон повредился в рассудке? Его ответ убеждал тогда, что так оно и есть. Быть может, теперь я отнесся бы к этому иначе. Но тогда я был молод, а к числу благ, в которых не отказано юности, принадлежит невежество. Подстрекаемый этим могучим стимулом к противоречию, я сказал:

— А чем она, позвольте, думает? Мозга-то у нее нет.

Ответ, последовавший с меньшим, чем обычно, запозданием, принял излюбленную им форму контрвопроса:

— А чем думает растение? У него ведь тоже нет мозга.

— Ах так, растения, значит, тоже принадлежат к разряду мыслителей! Я был бы счастлив узнать некоторые из их философских выводов — посылки можете опустить.

— Вероятно, об этих выводах можно судить по их поведению, — ответил он, ничуть не задетый моей глупой иронией. — Не стану приводить в пример чувствительную мимозу, некоторые насекомоядные растения и те цветы, чьи тычинки склоняются и стряхивают пыльцу на забравшуюся в чашечку пчелу, для того чтобы та могла оплодотворить их далеких супругов, — все это достаточно известно. Но поразмыслите вот над чем. Я посадил у себя в саду на открытом месте виноградную лозу. Едва только она проросла, я воткнул в двух шагах от нее колышек. Лоза тотчас устремилась к нему, но, когда через несколько дней она уже почти дотянулась до колышка, я перенес его немного в сторону. Лоза немедленно сделала резкий поворот и опять потянулась к колышку. Я многократно повторял этот маневр, и наконец лоза, словно потеряв терпение, бросила погоню и, презрев дальнейшие попытки сбить ее с толку, направилась к невысокому дереву, росшему немного поодаль, и обвилась вокруг него. А корни эвкалипта? Вы не поверите, до какой степени они могут вытягиваться в поисках влаги. Известный садовод рассказывает, что однажды корень проник в заброшенную дренажную трубу и путешествовал по ней, пока не наткнулся на каменную стену, которая преграждала трубе путь. Корень покинул трубу и пополз

вверх по стене; в одном месте выпал камень и образовалась дыра, корень пролез в дыру, спустившись по другой стороне стены, отыскал продолжение трубы и последовал по ней дальше.

— Так к чему вы клоните?

— Разве вы не понимаете значения этого случая? Он говорит о том, что растения наделены сознанием. Доказывает, что они думают.

— Даже если и так, то что из этого следует? Мы говорили не о растениях, а о машинах. Они, правда, изготовлены либо частью из металла, а частью из дерева, но дерева, уже переставшего быть живым, либо целиком из металла. Или же, по-вашему, неорганическая природа тоже способна мыслить?

— А как же иначе вы объясняете, к примеру, явление кристаллизации?

— Никак не объясняю.

— Да и не сможете объяснить, не признав того, что вам так хочется отрицать, а именно — разумного сотрудничества между составными элементами кристаллов. Когда солдаты выстраиваются в шеренгу или каре, вы говорите о разумном действии. Когда дикие гуси летят треугольником, вы рассуждаете об инстинкте. А когда однородные атомы минерала, свободно передвигающиеся в растворе, организуются в математически совершенные фигуры или когда частицы замерзшей влаги образуют симметричные и прекрасные снежинки, вам нечего сказать. Вы даже не сумели придумать никакого ученого слова, чтобы прикрыть ваше воинствующее невежество.

Моксон говорил с необычным для него воодушевлением и горячностью. В тот момент, когда он замолчал, из соседней комнаты, именуемой «механической мастерской», доступ в которую был закрыт для всех, кроме него самого, донеслись какие-то звуки, словно кто-то колотил ладонью по столу. Моксон услышал стук одновременно со мной и, явно встревожившись, встал и быстро прошел в ту комнату, откуда он слышался. Мне показалось невероятным, чтобы там находился кто-то посторонний; интерес к другу, несомненно, с примесью непозволительного любопытства заставил меня напряженно прислушиваться, но все-таки с гордостью заявляю — я не прикладывал уха к замочной скважине. Раздался какой-то беспорядочный шум не то борьбы, не то драки, пол задрожал. Я

совершенно явственно различил затрудненное дыхание и хриплый шепот: «Проклятый!» Затем все стихло, и сразу появился Моксон с виноватой улыбкой на лице:

— Простите, что я вас бросил. У меня там машина вышла из себя и взбунтовалась.

Глядя в упор на его левую щеку, которую пересекли четыре кровавые ссадины, я сказал:

— А не надо ли подрезать ей ногти?

Моя насмешка пропала даром: он не обратил на нее никакого внимания, уселся на стул, на котором сидел раньше, и продолжал прерванный монолог, как будто ровным счетом ничего не произошло:

— Вы, разумеется, не согласны с теми (мне незачем называть их имена человеку с вашей эрудицией), кто учит, что материя наделена разумом, что каждый атом есть живое, чувствующее, мыслящее существо. Но я-то на их стороне. Не существует материи мертвой, инертной: она вся живая, она исполнена силы, активной и потенциальной, чувствительна к тем же силам в окружающей среде и подвержена воздействию сил еще более сложных и тонких, заключенных в организмах высшего порядка, с которыми материя может прийти в соприкосновение, например в человеке, когда он подчиняет материю себе. Она вбирает в себя что-то от его интеллекта и воли — и вбирает тем больше, чем совершеннее машина и чем сложнее выполняемая ею работа. Помните, как Герберт Спенсер определяет понятие «жизнь»? Я читал его тридцать лет назад. Возможно, впоследствии он сам что-нибудь переиначил, уж не знаю, но мне в то время казалось, что в его формулировке нельзя ни переставить, ни прибавить, ни убавить ни одного слова. Определение Спенсера представляется мне не только лучшим, но единственно возможным. «Жизнь, — говорит он, — есть определенное сочетание разнородных изменений, совершающихся как одновременно, так и последовательно в соответствии с внешними условиями».

— Это определяет явление, — заметил я, — но не указывает на его причину.

— Но такова суть любого определения, — возразил он. — Как утверждает Милль, мы ничего не знаем о причине, кроме того, что она чему-то предшествует; ничего не знаем о следствии, кроме того, что оно за чем-то следует. Есть явления, которые не существуют одно

без другого, хотя между собой не имеют ничего общего: первые по времени мы именуем причиной, вторые — следствием. Тот, кто видел много раз кролика, преследуемого собакой, и никогда не видел кроликов и собак порознь, будет считать, что кролик — причина собаки.

— Боюсь, однако, — добавил он, рассмеявшись самым естественным образом, — что, погнавшись за этим кроликом, я потерял след зверя, которого преследовал, — я увлекся охотой ради нее самой. Между тем я хочу обратить ваше внимание на то, что определение Гербертом Спенсером жизни касается и деятельности машины; там, собственно, нет ничего, что было бы неприменимо к машине. Продолжая мысль этого тончайшего наблюдателя и глубочайшего мыслителя — человек живет, пока действует, — я скажу, что и машина может считаться живой, пока она находится в действии. Утверждаю это как изобретатель — и конструктор — машин.

Моксон длительное время молчал, рассеянно уставившись в камин. Становилось поздно, и я уже подумывал о том, что пора идти домой, но никак не мог решиться оставить Моксона в этом уединенном доме совершенно одного, если не считать какого-то существа, о природе которого я мог только догадываться и которое, насколько я понимал, настроено недружелюбно или даже враждебно. Наклонившись вперед и пристально глядя приятелю в глаза, я сказал, показав рукой на дверь мастерской:

— Моксон, кто у вас там?

К моему удивлению, он непринужденно засмеялся и ответил без тени замешательства:

— Никого нет. Происшествие, которое вы имеете в виду, вызвано моей неосторожностью: я оставил машину в действии, когда делать ей было нечего, а сам в это время взялся за нескончаемую просветительскую работу. Знаете ли вы, кстати, что Разум есть детище Ритма?

— Ах, да провалились они оба! — ответил я, подымаясь и берясь за пальто. — Желаю вам доброй ночи. Надеюсь, что, когда в другой раз понадобится укрощать машину, которую вы по безопасности оставите включенной, она будет в перчатках.

И, даже не проверив, попала ли моя стрела в цель, я повернулся и вышел.

Шел дождь, вокруг была непроницаемая тьма. Вдали, над холмом, к которому я осторожно пробирался по шатким дощатым тротуарам и грязным немощным улицам, стояло слабое зарево от городских огней, но позади меня ничего не было видно, кроме одинокого окна в доме Моксона. В том, как оно светилось, мне чудилось что-то таинственное и зловещее. Я знал, что это незанавешенное окно в мастерской моего друга, и нимало не сомневался, что он вернулся к своим занятиям, которые прервал, желая просветить меня по части разумности машин и отцовских прав Ритма... Хотя его убеждения казались мне в то время странными и даже смехотворными, все же я не мог полностью отделаться от ощущения, что они каким-то образом трагически связаны с его собственной жизнью и характером, а быть может, и с его участью, и, уж во всяком случае, я больше не принимал их за причуды больного рассудка. Как бы ни относиться к его идеям, логичность, с какой он их развивал, не оставляла сомнений в здравости его ума. Снова и снова мне вспоминались его последние слова: «Разум есть детище Ритма». Пусть утверждение это было чересчур прямолинейным и обнаженным, мне оно теперь представлялось бесконечно заманчивым. С каждой минутой оно приобретало в моих глазах все больше смысла и глубины. Что ж, думал я, на этом, пожалуй, можно построить целую философскую систему. Если Разум — детище Ритма, в таком случае все сущее разумно, ибо все находится в движении, а всякое движение ритмично. Меня занимало, сознает ли Моксон значение и размах своей идеи, весь масштаб этого важнейшего обобщения. Или же он пришел к своему философскому выводу извилистым и ненадежным путем опыта?

Философия эта была настолько неожиданной, что разъяснения Моксона не обратили меня сразу в его веру. Но сейчас словно яркий свет разлился вокруг меня подобно тому свету, который озарил Савла из Тарса, и, шагая во мраке и безлюдии этой непогожей ночи, я испытал то, что Льюис назвал «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли». Я упивался неизведанным сознанием мудрости, неизведанным торжеством разума. Ноги мои едва касались земли, меня словно подняли и несли по воздуху невидимые крылья.

Повинуясь побуждению вновь обратиться за разъяснениями к тому, кого отныне я считал своим наставником и поводырем, я бессознательно повернул назад и, прежде чем успел опомниться, уже стоял перед дверью моксоновского дома. Я промок под дождем насквозь, но даже не замечал этого. От волнения я никак не мог нащупать звонок и машинально нажал на ручку. Она повернулась, я вошел и поднялся наверх, в комнату, которую так недавно покинул. Там было темно и тихо; Моксон, очевидно, находился в соседней комнате — в «мастерской». Ощупью, держась за стену, я добрался до двери в мастерскую и несколько раз громко постучал, но ответа не услышал, что приписал шуму снаружи, — на улице бесновался ветер и швырял струями дождя в тонкие стены дома. В этой комнате, где не было потолочных перекрытий, дробный стук по кровле звучал громко и непрерывно.

Я ни разу не бывал в мастерской, более того, доступ туда был мне запрещен, как и всем прочим, за исключением одного человека — искусного слесаря, о котором было известно только то, что зовут его Хейли и что он крайне неразговорчив. Но я находился в таком состоянии духовной экзальтации, что позабыл про благовоспитанность и деликатность и отворил дверь. То, что я увидел, разом вышибло из меня все мои глубокомысленные соображения.

Моксон сидел лицом ко мне за небольшим столиком, на котором горела одна-единственная свеча, тускло освещавшая комнату. Напротив него спиной ко мне сидел некий субъект. Между ними на столе лежала шахматная доска. На ней было мало фигур, и даже мне, совсем не шахматисту, сразу стало ясно, что игра подходит к концу. Моксон был совершенно поглощен, но не столько, как мне показалось, игрой, сколько своим партнером, на которого он глядел с такой сосредоточенностью, что не заметил меня, хотя я стоял как раз против него. Лицо его было мертвенно-бледно, глаза сверкали, как алмазы. Второй игрок был мне виден только со спины, но и этого с меня было достаточно: у меня пропала всякая охота видеть его лицо.

В нем было, вероятно, не больше пяти футов росту, и сложением он напоминал гориллу: широченные плечи, короткая толстая шея, огромная квадратная голова с нахлобученной малиновой феской, из-под которой торчали густые черные космы. Малинового же цвета куртку туго стягивал пояс, ног не было видно — шахматист сидел на

ящике. Левая рука, видимо, лежала на коленях, он передвигал фигуры правой рукой, которая казалась несоразмерно длинной.

Я отступил назад и стал сбоку от двери, в тени. Если бы Моксон оторвал взгляд от лица своего противника, он заметил бы только, что дверь приотворена, — и больше ничего. Я почему-то не решался ни переступить порог комнаты, ни уйти совсем. У меня было ощущение (не знаю даже, откуда оно взялось), что вот-вот на моих глазах разыграется трагедия и я спасу моего друга, если останусь, и, не слишком мучаясь совестью из-за собственной нескромности, я остался.

Игра шла быстро. Моксон почти не смотрел на доску, перед тем как сделать ход, и мне, не искушенному в игре, казалось, что он передвигает первые попавшиеся фигуры, настолько жесты его были резки, нервны, малоосмысленны. Противник тоже, не задерживаясь, делал ответные ходы, но движения его руки были до того плавными, однообразными, автоматическими и, я бы даже сказал, театральными, что терпение мое подверглось довольно тяжкому испытанию. Во всей обстановке было что-то нереальное, меня даже пробрала дрожь. Правда и то, что я промок до нитки и окоченел.

Раза два-три, передвинув фигуру, незнакомец слегка наклонял голову, и каждый раз Моксон переставлял своего короля. Мне вдруг подумалось, что незнакомец нем. А вслед за этим — что это просто машина, автоматический шахматный игрок! Я припомнил, как Моксон однажды говорил мне о возможности создания такого механизма, однако я решил, что он только придумал его, но еще не сконструировал. Не был ли тогда весь разговор о сознании и интеллекте машин всего-навсего прелюдией к заключительной демонстрации изобретения, простой уловкой для того, чтобы ошеломить меня, невежду в этих делах, подобным чудом механики?

Хорошее же завершение всех умозрительных восторгов, моего любования «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли»! Разозлившись, я уже хотел уйти, но тут мое любопытство вновь было подстегнуто: я заметил, что автомат досадливо передернул широкими плечами, и движение это было таким естественным, до такой степени человеческим, что в том новом свете, в каком я теперь все видел, оно меня испугало. Но этим дело не ограничилось: минуту спустя он резко ударил по столу кулаком.

Моксон был поражен, по-моему, еще больше, чем я, и, словно в тревоге, отодвинулся вместе со стулом назад.

Немного погодя Моксон, который должен был сделать очередной ход, вдруг поднял высоко над доской руку, схватил одну из фигур со стремительностью упавшего на добычу ястреба, воскликнул: «Шах и мат!» — и, вскочив со стула, быстро отступил за спинку. Автомат сидел неподвижно.

Ветер затих, но теперь все чаще и громче раздавались грохочущие раскаты грома. В промежутках между ними слышалось какое-то гудение или жужжание, которое, как и гром, с каждой минутой становилось громче и явственнее. И я понял, что это с гулом вращаются шестерни в теле автомата. Гул этот наводил на мысль о вышедшем из строя механизме, который ускользнул из-под умиротворяющего и упорядочивающего начала какого-нибудь контрольного приспособления, — так бывает, если выдернуть собачку из зубьев храповика. Я, однако, недолго предавался догадкам относительно природы этого шума, ибо внимание мое привлекло непонятное поведение автомата. Его была мелкая, непрерывная дрожь. Тело и голова тряслись, точно у паралитика или больного лихорадкой, конвульсии все учащались, пока наконец весь он не заходил ходуном. Внезапно он вскочил, всем телом перегнулся через стол и молниеносным движением, словно ныряльщик, выбросил вперед руки. Моксон откинулся назад, попытался увернуться, но было уже поздно: руки чудовища сомкнулись на его горле, Моксон вцепился в них, пытаясь оторвать от себя. В следующий миг стол перевернулся, свеча упала на пол и потухла, комната погрузилась во мрак. Но шум борьбы доносился до меня с ужасающей отчетливостью, и всего страшнее были хриплые, захлебывающиеся звуки, которые издавал бедняга, пытаясь плотнуть воздуха. Я бросился на помощь своему другу, туда, где раздавался адский грохот, но не успел сделать в темноте и нескольких шагов, как в комнате сверкнул слепяще белый свет, он навсегда выжег в моем мозгу, в сердце, в памяти картину схватки: на полу борющиеся, Моксон внизу, горло его по-прежнему в железных тисках, голова запрокинута, глаза вылезают из орбит, рот широко раскрыт, язык вывалился наружу, и — жуткий контраст! — выражение спокойствия и глубокого раздумья на раскрашенном лице

его противника, словно погруженного в решение шахматной задачи! Я увидел все это, а потом надвинулись мрак и тишина.

Три дня спустя я очнулся в больнице. Воспоминания о той трагической ночи медленно всплыли в моем затуманенном мозгу, и тут я узнал в том, кто выхаживал меня, доверенного помощника Моксона Хейли. В ответ на мой взгляд он, улыбаясь, подошел ко мне.

— Расскажите, — с трудом выговорил я слабым голосом, — расскажите все.

— Охотно, — ответил он. — Вас в бессознательном состоянии вынесли из горящего дома Моксона. Никто не знает, как вы туда попали. Вам уж самому придется это объяснить. Причина пожара тоже не совсем ясна. Мое мнение таково, что в дом ударила молния.

— А Моксон?

— Вчера похоронили то, что от него осталось.

Как видно, этот молчаливый человек при случае был способен разговариваться. Сообщая больному эту страшную новость, он даже проявил какую-то мягкость.

После долгих и мучительных колебаний я отважился наконец задать еще один вопрос:

— А кто меня спас?

— Ну, если вам так интересно, — я.

— Благодарю вас, мистер Хейли, благослови вас Бог за это. А спасли ли вы также несравненное произведение вашего искусства, автоматического шахматиста, убившего своего изобретателя?

Собеседник мой долго молчал, глядя в сторону. Наконец он посмотрел мне в лицо и мрачно спросил:

— Так вы знаете?

— Да, — сказал я, — я видел, как он убивал.

Все это было давным-давно. Если бы меня спросили сегодня, я бы не смог ответить с такой уверенностью.

Иногда они возвращаются

Эдгар Аллан По

(1809–1849)

Лигейя

Пер. с англ. В. Рогова

*И заложена там воля, ей же нет смерти.
Кто ведает тайны воли и силу ея? Понеже
Бог — всемогущая воля, что проникает во все
сущее мощию своею. Человек не предается до
конца ангелам, ниже́ самой смерти, но лишь
по немощи слабыя воли своя.*

Джозеф Гленвилл

Сколь ни стараюсь, не могу припомнить, каким образом, когда или даже где именно познакомился я с госпожой Лигейей. С той поры минули долгие годы, и память моя ослабела от многих страданий. Или, быть может, я не могу теперь припомнить эти подробности, ибо, право же, характер моей подруги, ее редкостная ученость, ее неповторимая, но покойная красота и волнующая, покоряющая живость ее тихих, музыкальных речей полонили мое сердце со столь постепенным, но неукоснительным нарастанием, что остались незамеченными и неузнанными. И все же сдается мне, что сначала и очень часто встречал я ее в некоем большом, старом, приходящем в упадок городе близ Рейна. О родне своей — конечно же, она что-то говорила. Что род ее — весьма древний, не следует сомневаться. Лигейя! Лигейя! Поглощенный занятиями, более прочих мертвящими впечатления внешнего мира, одним лишь этим милым именем — Лигейя — я вызываю пред взором моего воображения образ той, кого более нет. И теперь, пока я пишу, — то внезапно припоминаю, что я *никогда не знал* фамилию той, что была моим другом и моею невестою, и стала участницей моих изысканий и, наконец, моею возлюбленною супругою. Был ли то шаловливый вызов со стороны моей Лигейи? или испытание силы любви моей — то, что я не должен

был пускаться в расспросы на этот счет? или, скорее, мой собственный каприз — пылкое романтическое приношение на алтарь наипрастнейшей верности? Я лишь смутно припоминаю сам факт — удивляться ли тому, что я совершенно запомнил обстоятельства, которые его породили или же ему сопутствовали? И право, ежели тот дух, что наименован духом Возвышенного — ежели она, зыбкая и туманнокрылая *Аштофет* египетских язычников предвещала горе чьему-нибудь браку, то, без всякого сомнения, моему.

Есть, однако, нечто мне дорогое, в чем память мне не изменяет. Это — *облик* Лигейи. Ростом она была высока, несколько тонка, а в последние дни свои даже истощена. Напрасно пытался бы я живописать величие, скромную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и упругость ее поступи. Она появлялась и исчезала, словно тень. О ее приходе в мой укромный кабинет я узнавал только по милой музыке ее тихого, нежного голоса, когда она опускала мраморные персты на мое плечо. Вовек ни одна дева не сравнилась бы с нею красотой лица. Его озаряла лучезарность грез, порожденных опиумом, — воздушное и возвышающее видение, своею безумной божественностью превосходящее фантазии, что осеняли дремлющие души дочерей Делоса. И все же черты ее не имели той правильности, которою классические усилия язычников приучили нас безрассудно восхищаться. «Нет утонченной красоты, — справедливо подмечает Бэкон, лорд Верулам, говоря обо всех формах и genera^[51] прекрасного, — без некой *необычности* в пропорциях». Все же, хоть я и видел, что черты Лигейи лишены были классической правильности — хоть я понимал, что красота ее была воистину «утонченная», и чувствовал, что в ней заключается некая «необычность», но тщетно пытался я найти эту неправильность и определить, что же, по-моему, в ней «странно». Я взирал на очертания высокого бледного лба — он был безукоризнен — о, сколь же холодно это слово, ежели говоришь о столь божественном величии! — цветом соперничал с чистейшей слоновой костью, широкий и властно покойный, мягко выпуклый выше висков; а там — черные, как вороново крыло, роскошно густые, в ярких бликах, естественно вьющиеся кудри, заставляющие вспомнить гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я смотрел на тонкие линии носа — только на изящных древнееврейских медальонах видывал я подобное

совершенство. Та же роскошная гладкость, та же едва заметная горбинка, тот же плавный вырез ноздрей, говорящий о пылкой душе. Я любовался прелестными устами. В них воистину заключалось торжество горнего начала — великолепный изгиб короткой верхней губы — нежная, сладострастная дремота нижней — лукавые ямочки, красноречивый цвет, зубы, что отражали с почти пугающей яркостью каждый луч небесного света, попадавший на них при ее безмятежной, но ликующе лучезарной улыбке. Я рассматривал форму ее подбородка — и здесь также обнаруживал широту, лишённую грубости, нежность и величие, полноту и одухотворенность — очертания, что олимпиец Аполлон лишь в сновидении явил Клеомену, сыну афинянина. И тогда я заглядывал в огромные глаза Лигейи.

Античность не дала нам идеала глаз. Быть может, именно в глазах моей подруги и заключалась тайна, о которой говорит лорд Верулам. Сколько я помню, они были намного больше обыкновенных человеческих глаз. Неюю они превосходили и самые исполненные неги газельи глаза у племени в долине Нурджахада. Но лишь изредка — в пору крайнего волнения — эта особенность делалась у Лигейи слегка заметной. И в такие мгновения красота ее — быть может, это лишь представлялось моему разгоряченному воображению — красота ее делалась красотой существ, живущих над землею или вне земли, — красотой баснословных мусульманских гурий. Зрачки ее были ослепительно черны, и осеняли их смоляные ресницы огромной длины. Брови, чуть неправильные по рисунку, были того же цвета. Однако «странность», которую я обнаруживал в глазах ее, по природе своей не была обусловлена их формой, цветом или блеском и должна, в конце концов, быть отнесена к их *выражению*. О, бессмысленное слово, за звучностью которого мы укрываем наше полное неведение духовного! Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов размышлял я об этом! О, как я пытался постичь это выражение целую летнюю ночь напролет! Что это было — то, глубочайшее демокритова колодца, — что таилось в бездонной глубине зрачков моей подруги? Что это *было*? Меня обуяла жажда узнать. О, эти глаза! Эти огромные, сверкающие, божественные очи! Они стали для меня двойными звездами Леды, а я — увлеченнейшим из астрологов.

Среди многочисленных непостижимых аномалий, которыми занимается наука о разуме, нет ничего более волнующего и вселяющего беспокойство, нежели тот факт — по-моему, не замеченный учеными, — что при наших попытках воскресить в памяти что-либо давно забытое мы часто оказываемся *на самой грани* припоминания, но так и не можем окончательно вспомнить. Подобным образом, как часто в моем пристальном изучении взора Лигейи чувствовал я, что близится полное понимание сути его выражения — чувствовал, что близится — вот-вот я пойму его, — и наконец совершенно уходит! И (странная, о, странная тайна!) я обнаруживал в самых обыденных предметах аналогии этому выражению. Я хочу сказать, что, после того как красота Лигейи воцарилась в душе моей, словно в алтаре, многое в материальном мире внушало мне то же, что я ощущал вокруг и внутри себя, при взоре ее огромных лученосных очей. И все же я не мог ни определить это ощущение, ни подвергнуть его разбору, ни даже внимательно проследить за ним. Я узнавал его, повторяю, глядя на буйно растущую лозу — наблюдая за мотыльком, за бабочкой, за хризалидой, за стремительным водным потоком. Я чувствовал его при виде океана или при падении метеора. Я чувствовал его во взорах людей, доживших до необычно преклонных лет. И есть в небесах две-три звезды (в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и переменная, видная около большой звезды в созвездии Лиры), рассматривая которые в телескоп я испытывал это же чувство. Оно переполняло меня при звуках некоторых струнных инструментов и нередко — при чтении некоторых мест в книгах. Среди других многочисленных примеров я отлично помню нечто в книге Джозефа Гленвилла, что (быть может, лишь диковинностью своей — кто скажет?) неизменно внушало мне это же чувство: «И заложена там воля, ей же нет смерти. Кто ведает тайны воли и силу ея? Понеже Бог — всемогущая воля, что проникает во все сущее мощию своею. Человек не предается до конца ангелам ниже самой смерти, но лишь по немощи слабая воли своя».



«Счастливого пути»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Куда держит путь эта адская банда, завывающая в ночном мраке? При свете было бы нетрудно перестрелять всю эту нечисть. Однако в темноте их не видно



«Ну-ка, полегче!»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Долгие годы и последующие размышления способствовали тому, что я и в самом деле установил некую отдаленную связь между этим высказыванием английского моралиста и одной из сторон характера

Лигейи. *Сила* в мыслях, действиях и речах, возможно, являлась в ней следствием или, по крайней мере, признаком того титанического волнения, которое за долгое время нашего союза не выражалось в иных и более прямых свидетельствах своего существования. Из всех женщин, когда-либо мне знакомых, она, внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя, была беспомощною жертвою бешеных коршунов неумолимой страсти. И о подобной страсти я не мог бы составить никакого понятия, ежели бы глаза ее не отверзались столь чудесным образом, внушая мне восторг и страх — если бы ее тихий голос не звучал столь ясно, гармонично и покойно, с почти волшебною мелодичностью — если бы не свирепая энергия (оказывающая удвоенное воздействие контрастом с ее манерой говорить) безумных слов, которые она постоянно изрекала.

Я упомянул об учености Лигейи — она была громадна, такой я не встречал ни у одной женщины. Лигейя обладала глубокими познаниями в области классических языков, и насколько простирается мое собственное знакомство с современными европейскими наречиями, я и тут никогда не замечал у нее каких-либо пробелов. Да и в каком разделе, наиболее модном или наиболее непонятном из тех, что составляют хваленую академическую эрудицию, *когда-либо* я мог обнаружить у Лигейи недостаток знаний? Сколь неповторимо и волнующе одна эта черта характера жены моей лишь в последний период приковала мое внимание! Я сказал, что не встречал подобных знаний ни у одной женщины — но где существует мужчина, который постиг, и постиг успешно, *все* обширные отрасли моральных, физических и математических наук? Тогда я не видел того, что ныне мне совершенно ясно: что знания, накопленные Лигейей, были грандиозны, ошеломляющи; и все же я достаточно понимал ее бесконечное превосходство, дабы с детскою доверчивостью покориться ее путеводству в хаотичной области метафизических исследований, коими я был глубоко поглощен первые годы нашего брака. С каким безмерным торжеством — с каким живым восторгом — с какою огромною мерою всего, что есть неземного в упованиях, *ощутил* я, когда она была со мною во время моих занятий, — но мало искал — и еще менее сознавал — ту восхитительную перспективу, что постепенно раскрывалась предо мною, по чьей дальней, роскошной и никем еще не пройденной тропе

я мог бы в конце концов пройти к постижению мудрости, слишком божественной и драгоценной, дабы не быть запретной.

Сколь же остро в таком случае должно было быть мое огорчение, с каким через несколько лет обнаружил я, что мои справедливые ожидания отлетели от меня неведомо куда! Без Лигейи я был что дитя, заблудившееся в ночной тьме. Лишь ее присутствие, ее чтения озарили мне ярким светом многие трансцендентальные тайны, в которые мы были погружены. Без лучезарного сияния ее очей искристые золотые письма стали тусклее сатурнова свинца. А очи ее все реже и реже озаряли сиянием свои страницы, над которыми я сидел, не разгибаясь. Лигейю поразила недуг. Безумный взор сверкал слишком — слишком ярко; бледные персты стали сквозить могильною прозрачностью; и голубые жилки на высоком челе вздувались и опадали при малейшем волнении. Я увидел, что она должна умереть, и душа моя вступила в отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. И моя пылкая жена боролась, к моему изумлению, еще более напряженно, нежели я сам. Много в ее строгом характере вселило в меня убеждение, будто смерть посетит ее без своих обычных ужасов; но нет! Слова бессильны передать сколько-нибудь верное представление о том, как ожесточенно сопротивлялась она Тени. Я стонал при этом горестном зрелище. Я попробовал было утешать ее — взывать к ее рассудку; но при напоре ее безумной жажды жизни — жизни — *только* жизни — и утешения, и рассуждения были в равной мере нелепы. Но до самого последнего мига, когда ее исступленный дух дошел до предела мук, наружная безмятежность ее облика пребывала неизменной. Ее голос стал еще мягче — но я не хотел бы останавливаться на буйном смысле тихо произносимых ею слов. Я едва не лишился разума, пока зачарованно внимал мелодии, превосходящей все земные мелодии — предположениям и посягновениям, ранее неведомым ни одному смертному.

Что она любит меня, мне не следовало сомневаться; и я мог бы легко понять, что в таком сердце любовь не оставалась бы заурядным чувством. Но лишь с ее смертью я целиком постиг силу ее страсти. Долгие часы, держа меня за руку, она изливала предо мною свою пылкую преданность, граничащую с обожествлением. Чем заслужил я благодать подобных признаний? Чем заслужил я проклятие разлуки с моею подругой в тот самый час, когда я их услышал? Но об этом я не в

силах говорить подробно. Лишь позвольте мне сказать, что в любви Лигейи, превосходящей женскую любовь, в любви, которой, увы, я был совершенно недостоин, я наконец узнал ее тягу, ее безумную жажду жизни, столь стремительно покидавшей ее. Именно эту безумную тягу — эту бешено исступленную жажду жизни — *только* жизни — я не в силах живописать — не способен выразить.

В полночь, перед самой кончиной, властно поманив меня к себе, она приказала мне повторить вслух некие стихи, незадолго до того ею сочиненные. Я повиновался. Вот они:

Смотри: спектакль богат
Порой унылых поздних лет!
Сонм небожителей, крылат,
В покровы тьмы одет,
Повергнут в слезы и скорбит
Над пьесой грез и бед.
А музыка сфер надрывно звучит —
В оркестре лада нет.

На бога мим любой похож;
Они проходят без следа,
Бормочут, впадают в дрожь —
Марионеток череда,
Покорна Неким, чей синклит
Декорации движет туда-сюда,
А с их кондоровых крыл летит
Незримо Беда!

О, балаганной драмы вздор
Забыт не будет, нет!
Вотще стремится пестрый хор
За Призраком вослед, —
И каждый по кругу бежать готов,
Продолжая бред;
В пьесе много Безумья, больше Грехов,
И Страх направляет сюжет!

Но вот комедиантов сброд
Замолк, оцепенев:
То тварь багровая ползет,
Вмиг оборвав напев!
Ползет! Ползет! Последний мим
Попал в разверстый зев,
И плачет каждый серафим,
Клыки в крови узрев.

Свет гаснет — гаснет — погас!
И все покрывается тьмой,
И с громом завеса тотчас
Опустилась — покров гробовой...
И, вставая, смятенно изрек
Бледнеющих ангелов рой,
Что трагедия шла — «Человек»,
В ней же Червь-победитель — герой.

«Господи! — вскричала Лигейя, воспрянув и судорожно воздевая руки горе, как только я дочитал эти строки. — Господи! Отче небесный — неизбежно ли это? — не будет ли Победитель побежден хоть единожды? Или мы — не частица Твоя? Кто — кто ведает тайны воли и силу ее? — Человек не предается до конца ангелам, *нижé самóй смерти*, но лишь по немощи слабыя воли своя».

И тогда ее белые руки бессильно упали, и она, как бы изнуренная нахлынувшими чувствами, торжественно опустилась на смертный одр. И с ее последними вздохами смешался неясный шепот ее уст. Я склонил к ним ухо и вновь услышал заключительные слова отрывка из Гленвилла: *«Человек не предается до конца ангелам, нижé самóй смерти, но лишь по немощи слабыя воли своя».*

Она умерла; и я, поверженный во прах скорбью, не в силах был долее выносить унылое одиночество моего жилья в смутном, приходящем в упадок городе близ Рейна. Я не испытывал недостатка в том, что свет называет богатством, Лигейя принесла мне его еще больше, гораздо, гораздо больше, нежели выпадает на долю смертного. Вследствие этого после нескольких месяцев утомительных и бесцельных скитаний, я приобрел и в известной мере заново отделал некое аббатство, о названии которого умолчу, в одной из самых

пустынных, малолюдных местностей прекрасной Англии. Суровое, наводящее тоску величие здания, почти полное запустение усадьбы, многие грустные и прославленные в веках воспоминания, с нею связанные, весьма гармонировали с чувством крайней потерянности, загнавшим меня в тот отдаленный и неприветливый край. И хотя снаружи аббатство, затянутое зеленою плесенью, претерпело очень мало изменений, я предался ребяческому капризу, быть может, с неясным упованием облегчить мою скорбь, и внутри разубрал жилище более чем по-царски. К подобным причудам я пристрастился еще в детстве, и ныне они возвратились ко мне, как бы впавшему в детство от горя. Увы, я чувствую, что можно было бы обнаружить признаки зарождающегося помешательства в роскошных и фантастических драпировках, в угрюмых египетских изваяниях, в хаосе карнизов и мебели, в сумасшедших узорах толстых парчовых ковров! Я стал покорным рабом опиума, и мои труды и приказания заимствовали окраску моих видений. Но не буду задерживаться на перечислении всех нелепостей. Скажу лишь об одном покое, навеки проклятом, куда в минуту умственного помрачения я привел от аналогия как мою жену — как преемницу незабытой Лигейи — светлокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тремейна.

Нет такой мельчайшей подробности в зодчестве и убранстве того брачного покоя, что ныне не представала бы зримо предо мною. Где были души надменных родичей невесты, когда, снедаемые жаждою золота, они позволили деве, дочери, столь любимой, переступить порог покоя, убранного *таким образом*? Я сказал, что в точности помню любую мелочь покоя, — но плачевно запамятовал многое более важное; а в фантастическом облике покоя не было никакой системы, никакого порядка, ничего, способного удержаться в памяти. Комната помещалась в высокой башне аббатства, построенного на манер замка, была просторна и о пяти углах. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — огромный кусок цельного стекла из Венеции — свинцового оттенка, так что лучи солнца или луны, проходя сквозь него, падали на все с жутким отсветом. Над верхнею частью этого громадного окна простиралась решетка, увитая старой лозой, что карабкалась вверх по массивным стенам башни. Потолок из мрачного дуба, сводчатый и чрезвычайно высокий, испещряла резьба — очень странный, гротескный орнамент,

полуготический, полудруидический. Из самой середины этих унылых сводов на одной золотой цепи с длинными звеньями свисал огромный светильник из того же металла, сарацинский по рисунку, и многочисленные отверстия в нем были пробиты с таким расчетом, дабы из них, извиваясь, как бы наделенные змеиной гибкостью, непрерывно выскальзывали многоцветные огни.

Несколько оттоманок и золотых восточных канделябров размещались в беспорядке; было там и ложе — супружеское ложе — в индийском стиле, низкое, вырезанное из тяжелого эбена, с пологом, подобным гробовому покрову. По углам покоя стояли на торцах гигантские саркофаги из черного гранита, доставленные из царских гробниц в окрестностях Луксора, древние саркофаги, ставшие вечными изваяниями. Но главная фантастичность заключалась — увы! — в драпировках. Стены, гигантски — даже непропорционально — высокие, сверху донизу были увешаны тяжелыми, массивными вышивками — вышивками по такой же ткани, что служила и ковром на полу, и покрывалами для оттоманок и эбенового ложа, и пологом над ним, и роскошными волютами завес, частично скрывавшими окно. Материал этот был драгоценнейшая золотая парча. Ее беспорядочно покрывали арабески, каждая около фута в диаметре, черные как смоль. Но эти фигуры приобретали характер арабесок лишь при рассматривании с определенной точки зрения. Благодаря некоему устройству, ныне распространенному, а восходящему к самой глубокой древности, они могли менять вид. Вначале они казались вошедшему просто уродливыми; но по мере приближения к ним это впечатление пропадало, и, пока посетитель шаг за шагом продвигался по комнате, он обнаруживал себя окруженным бесконечною вереницею жутких фигур, порожденных норманнским суеверием или возникающих в греховных сновидениях монаха. Фантасмагорический эффект бесконечно усугублялся от искусственно вызванного воздушного потока за драпировками, который сообщал всему непокойную и страшную живость.

В подобных-то палатах — в подобном-то брачном покое — проводил я с леди Ровеной нечестивые часы в первый месяц нашей брачной жизни — проводил их лишь с малым беспокойством. Что жену мою ужасал мой свирепый и тяжелый нрав — что она сторонилась меня и любила меня очень мало, — я не мог не заметить;

но это скорее доставляло мне удовольствие. Я питал к ней ненависть и отвращение, свойственные скорее демону, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с какую силою сожаления!) к Лигейе, любимой, царственной, прекрасной, погребенной. Я упивался воспоминаниями об ее чистоте, об ее мудрости, об ее возвышенной — ее неземной душе, об ее страстной любви, доходившей до полного самоотречения. И дух мой вполне и вволю пылал — огнями бóльшими, нежели все огни ее духа. В чаду моих опиумных грез (ибо я был постоянно скован узами этого зелья) я громко зывал к ней порою ночного безмолвия или днем, среди тенистых лесных лощин, как будто дикий жар, высокая страсть, снедающий пламень моей тоски по ушедшей могли способствовать ее возврату на земные тропы, ею покинутые — ах, вправду ли навек?

Примерно в начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и исцеление ее тянулось долго. Лихорадка, ее изнурявшая, лишала ее покоя по ночам; и в болезненной полудремоте она говорила о звуках и движениях внутри и вокруг башни, порожденных, как я заключил, ее расстроенным воображением, а быть может, фантазмагорическим видом самого помещения. Постепенно стала она поправляться — и наконец выздоровела. Но прошло совсем немного времени, и второй приступ, гораздо более жестокий, вновь поверг ее на ложе страданий; и от этого приступа тело ее, всегда хрупкое, так вполне и не оправилось. После этого и заболевания ее, и их частые повторения делались все страшнее и страшнее, вопреки и познаниям, и великим усилиям ее врачей. В ходе ее недуга, который, очевидно, так завладел ее организмом, что излечить ее было свыше сил человеческих, я не мог не заметить, что усиливалась и ее нервная раздражительность, ее способность волноваться и пугаться по самому пустячному поводу. Все чаще и настойчивее заговаривала она о звуках — о неясных звуках — и о странных движениях за драпировками, о чем упоминала и ранее.

Как-то ночью, к концу сентября, она повела речь об этом мучительном предмете, более обычного пытаюсь направить на него мое внимание. Она только что очнулась от непокойной дремоты, а я следил за чертами ее изможденного лица со смешанным чувством нетерпения и неясного испуга. Я сидел в головах эбенового ложа на

одной из индийских оттоманок. Она приподнялась и заговорила напряженным тихим шепотом о звуках, что *тогда* слышала она, но не я, — о движениях, что *тогда* видела она, но не я. Ветер с шумом колыхал драпировки, и я хотел показать ей (чему, признаться, *не вполне* верил сам), что именно от него возникают почти неслышные вздохи и едва уследимые изменения арабесок. Но смертельная бледность, покрывшая ей лицо, доказала мне, что все попытки разуверить ее будут бесплодны. Казалось, она вот-вот лишится чувств, а все слуги находились далеко и не слышали бы зова. Я вспомнил, где стоит графин с легким вином, прописанным ей врачами, и поспешно пересек комнату, дабы принести его. Но, попав в лучи, исходившие от светильника, я обратил внимание на два поразительных обстоятельства. Я ощутил, как нечто невидимое, но осязаемое провеяло близ меня, и увидел, что на золотой ковер, в самой середине яркого светового круга, отброшенного светильником, легла тень — неясная, зыбкая тень, чьи очертания подобны очертаниям ангела, — ее можно было счесть тенью тени. Но я был взбудоражен неумеренной дозой опиума, не придав этому значения и ничего не сказал Ровене. Найдя вино, я возвратился к ложу, наполнил бокал и поднес его к устам жены, терявшей сознание. Она, однако, почти пришла в себя и сама взяла бокал, а я опустился рядом на оттоманку, не сводя глаз с больной. И тогда-то я отчетливо услышал легкие шаги на ковре у ложа; и через мгновение, пока Ровена подносила бокал к устам, я увидел — или это мне померещилось, — что в бокал упали, словно из некоего незримого источника, три или четыре большие капли сверкающей жидкости рубинового цвета. Если я это и увидел, то Ровена — нет. Она без колебаний выпила вино, а я не стал говорить о явлении, которое, как я подумал, было всего-навсего внушено мне взвинченным воображением, доведенным до болезненной живости страхами жены, опиумом и поздним часом.

И все же не могу скрыть от самого себя, что сразу после падения рубиновых капель состояние моей жены стало резко ухудшаться; и на третью ночь, следовавшую за этой, руками слуг она была обряжена для гроба, а на четвертую я сидел один около ее тела, повитого саваном, в том фантастическом покое, куда она вошла как новобрачная. Предо мною, словно тени, неистово проносились видения, порожденные опиумом. Я тревожно взирал на расставленные

по углам саркофаги, на различные узоры драпировок и на извивы многоцветных огней в светильнике над головой. А когда я припомнил бывшее ранее, взор мой упал на круг, образованный пыланием светильника, туда, где я видел неясную тень. Однако там ее больше не было; я вздохнул свободнее и оборотился к бледному, окоченелому телу, простертому на ложе. И тогда на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и тогда буйно и мятежливо вновь затопило мне сердце то невыразимое горе, с каким я взирал на *нее*, повитую саваном. Ночь пошла на убыль; но, все исполнен горьких дум о единственной, кого я истинно любил, я, не отводя взора, смотрел на тело Ровены.

Наверное, в полночь, а быть может, раньше или позже, ибо я не следил за временем, рыдание, тихое, нежное, но весьма отчетливое вывело меня из оцепенения. Я почувствовал, что оно идет с эбенового ложа — со смертного одра. Я слушал, терзаемый суеверным страхом, — но звук не повторился. Я напряг зрение, пытаюсь заметить, не шевельнется ли труп, — но ничего не увидел. И все же я не мог обмануться. Я слышал этот звук, сколь бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. Я настойчиво и неотрывно смотрел на тело. Много прошло минут, прежде чем случилось что-либо, способное пролить свет на эту загадку. Наконец стало ясно, что легкий, очень бледный и едва заметный румянец появился на щеках и вдоль опавших жилок на веках умершей. Обуянный невыразимым ужасом, для передачи которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое не бьется, а члены окоченели. Но чувство долга наконец вернуло мне самообладание. Я не мог долее сомневаться, что мы поспешили с приготовлениями — что Ровена еще жива. Необходимо было тут же предпринять что-нибудь; но башня стояла совсем не в той стороне, где находилось крыло аббатства с помещениями для слуг, — я бы не мог никого дозваться — их невозможно было позвать на помощь, не выходя надолго из комната, — а на это я не осмеливался. Поэтому я в одиночку напрягал все усилия, дабы возвратить дух, парящий поблизости. Однако вскоре стало ясно, что она впала в прежнее состояние; румянец сошел с ланит и век, оставив более чем мраморную бледность; уста вдвойне сморщились и поджались в ужасной гримасе смерти; очень скоро поверхность тела стала омерзительно липкой и холодной; и

немедленно наступило обычное окоченение. Я с содроганием откинулся на тахту, с которой был так резко поднят, и вновь начал страстно грезить наяву о Лигейе.

Так прошел час, когда (возможно ли?) второй раз в мое сознание проник некий неясный звук, идущий со стороны ложа. Я прислушался в крайнем ужасе. Снова этот звук — то был вздох. Бросившись к трупу, я увидел — отчетливо увидел, — что уста затрепетали. Через минуту они расслабились и открыли яркую полосу жемчужных зубов. Теперь в сердце моем с плубоким ужасом, дотоле царившим там безраздельно, стало бороться изумление. Я почувствовал, что у меня потемнело в глазах, что рассудок мой помутился; и лишь бешеным усилием я заставил себя выполнять то, к чему снова призывал меня долг. Теперь румянец рдел кое-где на лбу, на щеках, на шее; все тело заметно пронизала теплота; ощущалось даже легкое биение сердца. Она *жила*; и с удвоенным жаром принялся я возвращать ее к жизни. Я растирал и омывал виски и руки, не забывал ничего, что могли бы подсказать опыт и основательное чтение медицинских книг. Но тщетно. Внезапно румянец исчез, пульс прекратился, губы помертвому опали, и еще через миг все тело стало холодным как лед, посинело, окоченело, линии его расплылись — оно приобрело все отвратительные признаки многодневных насельников могилы.

И вновь погрузился я в грезы о Лигейе — и вновь (удивительно ли, что я дрожу, пока пишу все это?), *вновь* до ушей моих донеслось тихое рыдание со стороны эбенового ложа. Но к чему излагать в подробностях все несказанные ужасы той ночи? К чему задерживаться на рассказе о том, как время от времени, почти до той поры, когда забрезжила заря, повторялась кошмарная драма оживления; как любой ужасающий возврат признаков жизни лишь погружал труп во все более суровую и необратимую смерть; как каждая агония представлялась борьбою с неким незримым супостатом и как за каждым периодом борьбы следовала безумная перемена в наружном виде трупа? Нет, поспешу к развязке.

Ночь почти кончалась, и та, что была мертва, шевельнулась вновь, на этот раз с большею энергией, нежели ранее, хотя это и последовало за омертвением, наиболее ужасным по своей полной безнадежности. Я давно перестал бороться, да и двигаться, и недвижимо, скованно сидел на оттоманке, беспомощная жертва урагана бешеных эмоций,

из коих крайний ужас являлся, быть может, чувством наименее страшным и поглощающим. Повторяю: труп опять зашевелился, и на сей раз энергичнее прежнего. Краски жизни буйно бросились в лицо — окоченение миновало, — и если не считать того, что веки были крепко сжаты, а погребальные повязки и ткани все еще соединяли тело с могилою, то я мог бы подумать, будто Ровена в самом деле и полностью сбросила с себя узы Смерти. Но если даже тогда я не мог целиком принять эту мысль, то я, по крайней мере, не мог более сомневаться, когда, встав с ложа, шатаюсь, нетвердыми шагами, не открывая глаз, как бы перепуганное страшным сновидением, то, что было повито саваном, решительно и ошутимо вышло на середину комнаты.

Я не дрожал — я не шелохнулся — рой невыразимых фантазий, навеянных ростом, осанкою, статью фигуры, вихрем пронесся в моем мозгу и обратил меня в камень. Я не шелохнулся — но пристально взирал. В мыслях моих царил безумный хаос — неукротимый ураган. Ужели и вправду передо мною стояла *живая* Ровена? Ужели и вправду это *Ровена* — светлокудрая и голубоглазая леди Ровена Тревенион из Тремейна? К чему — к чему сомневаться? Повязки туго обвивали рот — но, быть может, то не был рот живой леди Ровены? А щеки — розы цвели на них, словно в полдень ее жизни — да, в самом деле, это могли быть щеки леди Ровены. И подбородок с ямочками, совсем как у здоровой, разве это не мог быть ее подбородок? Но что же, неужели *она стала выше ростом за время своей болезни?* Какое невыразимое безумие обуяло меня при этой мысли? Я прынул и очутился у ног ее! Она отшатнулась при моем касании и откинула размотанную ужасную ткань, скрывавшую ей голову, и в подвижном воздухе покоя заструились потоки длинных, разметанных волос; *они были чернее, чем вороново крыло полуночи!* И тогда медленно отверзлись очи стоявшей предо мною. «По крайней мере в этом, — вскричал я, — я никогда — я никогда не ошибусь — это черные, томные, безумные очи — моей потерянной любви — госпожи — ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ!»

Амброз Бирс

(1842–1914)

Заколоченное окно

Пер. с англ. Ф. Золотаревской

В 1830 году, всего в нескольких милях от того места, где сейчас вырос большой город Цинциннати, тянулся огромный девственный лес. В те времена все это обширное пространство было населено лишь немногочисленными обитателями фронта — этими беспокойными душами, которые, едва успев выстроить себе в лесной чаще более или менее сносное жилье и достичь скудного благополучия, по нашим понятиям граничащего с нищетой, оставляли все и, повинувшись непостижимому инстинкту, шли дальше на запад, чтобы встретиться там с новыми опасностями и лишениями в борьбе за жалкие удобства, которые они только что добровольно отвергли.

Многие из них уже покинули этот край в поисках более удаленных земель, но среди оставшихся все еще находился человек, который пришел сюда одним из первых. Он жил одиноко в бревенчатой хижине, со всех сторон окруженной густым лесом, и сам казался неотъемлемой частью этой мрачной и безмолвной лесной глухомани. Никто никогда не видел улыбки на его лице и не слышал от него лишнего слова. Он удовлетворял свои скромные потребности, продавая или обменивая шкуры диких животных в городе у реки. Ни единого злака не вырастил он на земле, которую мог при желании объявить своей по праву долгого и безраздельного пользования. Правда, кое-что здесь свидетельствовало о попытках ее освоения: на примыкавшем к дому участке в несколько акров были когда-то вырублены все деревья. Но теперь их сгнившие пни почти невозможно было различить под новой порослью, которая восполнила опустошения, произведенные топором. Очевидно, земледельческое рвение поселенца угасло, оставив после себя лишь пепел какого-то страшного горя или раскаяния.

Покоробившаяся дощатая кровля хижины была скреплена поперечными жердями, труба сделана из брусьев, щели в стенах были

замазаны глиной. В хижине имелась единственная дверь, а напротив двери — окно. Последнее, впрочем, было заколочено еще в незапамятные времена. Никто не знал, почему это было сделано, но, во всяком случае, причиной тому послужило отнюдь не отвращение обитателя хижины к свету и воздуху. В тех редких случаях, когда какой-нибудь охотник проходил мимо этого глухого места, он неизменно заставлял отшельника греющимся на солнышке у порога хижины, если небо посылало ему ясную погоду. Теперь, наверное, осталось в живых два-три человека из тех, кто знает тайну этого окна, и, как вы сейчас увидите, я принадлежу к их числу.

Говорят, что звали этого человека Мэрлок. Он выглядел семидесятилетним стариком, хотя на самом деле ему не было и пятидесяти. Что-то помимо возраста состарило Мэрлока. Его волосы и длинная густая борода побелели, серые безжизненные глаза запали, частая сетка морщин избороздила лицо. Он был высок и худощав, плечи его согнулись, точно под бременем непосильной тяжести. Я никогда не видел его; все эти подробности я узнал от моего деда. От него же я еще мальчиком услышал историю Мэрлока. Мой дед знал его, так как в те годы жил неподалеку от его дома.

Однажды Мэрлока нашли в хижине мертвым. В тех местах тогда не водилось ни газет, ни следователей, а общественное мнение, вероятно, сошлось на том, что он умер естественной смертью. Будь здесь иная причина, мне рассказали бы, и я бы, конечно, ее запомнил. Знаю только, что люди, должно быть, смутно ощущая взаимосвязь вещей, похоронили Мэрлока около хижины рядом с могилой его жены, умершей так много лет назад, что в местных преданиях не сохранилось о ней почти никаких следов. Тут кончается заключительная глава этой правдивой истории; следует лишь упомянуть о том, что спустя много лет я, в компании других столь же отчаянных храбрецов, частенько пробирался к дому Мэрлока и, отважно приблизившись к разрушенной хижине, швырял в нее камнем, а затем опрометью кидался прочь, чтобы избежать встречи с призраком, который, как известно было всякому хорошо осведомленному мальчику, бродил в этих местах. А теперь я приступаю к начальной главе этой истории, рассказанной моим дедом.

В ту пору, когда Мэрлок построил свою хижину и с помощью топора энергично принялся отвоевывать у леса участок земли для своей фермы, он был молод, крепок и полон надежд. На первых порах он добывал себе пропитание охотой. Мэрлок явился сюда с востока страны и, по обычаю всех пионеров, привез с собою жену, молодую женщину, во всех отношениях достойную его искренней привязанности. Она охотно и с легким сердцем делила с ним все выпавшие на его долю опасности и лишения. Имя ее не дошло до нас. Предания ничего не говорят о ее духовном и телесном очаровании, и скептик волен сомневаться на этот счет. Но упаси меня Бог разделить эти сомнения! Каждый день из всех долгих лет вдовства этого человека мог служить доказательством былой любви и взаимного счастья супругов. Что, как не привязанность к священной памяти об умершей, обрекло этот неукротимый дух на подобный удел?

Однажды Мэрлок, вернувшись с охоты, застал свою жену в бреду и лихорадке. На многие мили вокруг не было ни врача, ни вообще какого-либо человеческого жилья. Да к тому же и состояние жены не позволяло покинуть ее надолго, чтобы отправиться за помощью. И тогда Мэрлок решил сам выходить ее. Но к концу третьего дня она впала в беспамятство и скончалась, так и не придя в сознание.

На основании того, что нам известно о подобных натурах, мы можем попытаться представить себе некоторые детали общей картины, нарисованной моим дедом. Поняв, что жена его мертва, Мэрлок, при всем своем горе, все-таки вспомнил, что мертвых принято обрывать для погребения. Выполняя эту священную обязанность, он время от времени путался; одно делал не так, как нужно, другое по нескольку раз без необходимости переделывал. Прوماхи, которые он допускал при самых простых и обыденных действиях, изумляли его, подобно тому как приходит в изумление пьяный, которому кажется, что вдруг перестали действовать привычные, естественные законы природы. Он был также удивлен тем, что не плакал, — удивлен и немного смущен. Ведь мертвых полагается оплакивать.

— Завтра, — вслух произнес он, — нужно будет вырыть могилу и сделать гроб. И тогда я потеряю ее навеки, потому что никогда больше не увижу ее. И сейчас... да, она, конечно, умерла, но все хорошо... По

крайней мере, должно быть хорошо. Все не так уж страшно, как кажется на первый взгляд.

Он стоял над умершей, освещенной слабым светом догоравшей свечи, поправляя ей волосы и завершая ее несложный туалет. Все это он делал механически, с какой-то бесстрастной заботливостью. И тем не менее его не покидала подсознательная уверенность, что все будет хорошо, все наладится и жена снова будет с ним. Ему еще никогда не приходилось переживать тяжкого несчастья, и он не умел предаваться горю. Сердце его не в состоянии было вместить эту горе так же, как воображение не способно было постичь всей его глубины. Он не понимал, до какой степени поражен обрушившимся на него ударом; сознание это должно было явиться позднее, чтобы уже никогда больше не покидать его. Горе вызывает к жизни силы столь же разнообразные, как и инструменты, на которых оно играет свою погребальную песнь по умершему. У одной человеческой души оно исторгает резкие, пронзительные ноты, у другой — низкие, печальные аккорды, звучащие время от времени как медленные приглушенные удары в барабан. Некоторых людей горе будоражит, на иных действует оупляюще. Одних оно пронзает, словно стрела, возбуждая и обостряя чувства; других оглушает, словно удар дубиной, повергая в оцепенение.

Мы можем догадываться, что на Мэрлока оно подействовало именно так, потому что (и здесь мы переходим от догадок к достоверным фактам), едва закончив свое печальное дело, он тяжело опустился на табурет рядом со столом, на котором покоилось тело и смутно белели в темноте очертания лица. Положив руки на край стола, Мэрлок уронил на них голову. Он не плакал, но чувствовал невыносимую усталость. В это мгновение через открытое окно в комнату донесся чей-то жалобный вопль, точно плач ребенка, заблудившегося в глубине темного леса. Но Мэрлок даже не шевельнулся. И снова, теперь уже гораздо ближе, донесся этот жуткий вопль, с трудом проникая в угасавшее сознание человека. Быть может, то был крик дикого зверя, а может быть, он просто пригрезился Мэрлоку, потому что охотник крепко спал.

Спустя несколько часов, как выяснилось позднее, этот ненадежный страж пробудился, поднял голову и, сам не зная почему, стал внимательно прислушиваться. Он сразу вспомнил все, что произошло,

и, сидя в крошечной тьме около трупа, напрягал зрение, чтобы увидеть, а что — он и сам не знал. Чувства его были напряжены, дыхание замерло; казалось, кровь остановилась в жилах, чтобы не нарушать тишины. Кто или что разбудило его и где оно было?

Внезапно стол заколебался у него под руками, и в то же мгновение он услышал — или, может быть, ему почудилось? — легкие осторожные шаги, точно шлепанье босых ног по полу.

От ужаса Мэрлок не в силах был ни шевельнуться, ни крикнуть. Волей-неволей ему пришлось ждать, ждать целую вечность, в крошечной тьме, в состоянии неопределимого страха, который если и можно пережить, то только для того, чтобы рассказать о нем другим. Напрасно силился он выговорить имя умершей, безуспешно пытался протянуть руку, чтобы убедиться, что труп на месте. Язык не повиновался ему, руки и ноги были точно налиты свинцом. Затем произошло нечто еще более ужасное. Чье-то огромное тело стремительно ринулось к столу, толкнув его на Мэрлока и едва не опрокинув его. В тот же миг Мэрлок услышал, как что-то упало на пол, и от чудовищного удара задрожала вся хижина. Раздался шум борьбы и еще какие-то непередаваемо зловещие звуки. Мэрлок вскочил на ноги. Ужас окончательно лишил его самообладания. Он стал шарить руками по столу. Стол был пуст!

Бывают минуты, когда страх переходит в безумие. А безумие подстрекает к действию. Без всякой определенной цели, повинувшись лишь причудливому порыву сумасшедшего, Мэрлок подскочил к стене, ощупью нашел ружье и, не целясь, выстрелил в темноту. При вспышке, ярко озарившей комнату, он увидел громадную пантеру, которая, вцепившись зубами в горло мертвой женщины, тащила ее к окну. Затем наступила тишина и еще более непроглядная тьма.

Когда Мэрлок пришел в себя, ярко светило солнце и лес оглашался птичьим щебетом. Тело лежало у окна, там, где бросил его убежавший зверь, испуганный вспышкой и звуком выстрела. Руки и ноги трупа были раскинуты, платье сбилось, волосы спутались. Из ужасной рваной раны на горле натекала целая лужа крови, еще не успевшей свернуться. Ленты, связывавшие запястья, были разорваны, пальцы судорожно скрючены. В зубах у женщины торчал кусок уха пантеры.

Уильям Уаймарк Джейкобс

(1863–1943)

Обезьянья лапка

Пер. с англ. В. Харитонова

I

Снаружи был холодный и сырой вечер, а в зашторенной гостиной «Ракитника» ярко полыхал камин. Отец и сын играли в шахматы, и первый, поборник острой игры, так откровенно и глупо подставил своего короля, что не удержалась от замечания даже седоволосая мать семейства, мирно вязавшая у камелька.

— Ты гляди, какой ветер, — сказал мистер Уайт, поздно заметив свою оплошность и горячо желая, чтобы сын ее проглядел.

— Слышу, — сказал тот, зорко высматривая доску из-за протянутой руки. — Шах.

— Вряд ли он сегодня к нам выберется, — сказал отец, нерешительно перебирая над доской пальцами.

— Мат, — ответил сын.

— Хуже нет — жить на отшибе! — необъяснимо взорвался мистер Уайт. — Грязнее и сырее нашей дыры на всем свете не сыщешь. За порогом болото, на дороге потоп. Куда они смотрят?! Если жильцы только в двух домах, значит, можно о них не думать?

— Успокойся, дорогой, — умиротворяюще сказала жена, — выиграешь в следующий раз.

Вскинув глаза, мистер Уайт перехватил понимающий взгляд, которым обменялись мать с сыном. Слова застыли у него на губах, и виноватая улыбка скользнула в редкую седую бороду.

— Вот и он, — отозвался Герберт Уайт на громкий стук калитки и тяжелые шаги под дверь.

По-хозяйски суется, отец пошел открыть дверь, и было слышно, как он сочувствует гостю. Гость и сам себе сочувствовал, а миссис Уайт поцокала языком и раз-другой кашлянула, когда в комнату вошел муж и следом высокий статный мужчина с глазами-бусинками и румянцем во всю щеку.

— Сержант Моррис, — представил его муж.

Сержант пожал им руки, занял предложенное место у камина и удовлетворенно огляделся, а хозяин тем временем достал бутылку виски, стаканы и поставил на огонь маленький медный чайник.

После третьей порции глазки у сержанта заблестели, язык развязался, и хозяева завороченно внимали залетному гостю, а тот, расправив широкие плечи и удобно устроившись в кресле, повествовал о диких местах и дерзких делах, о битвах, моровой язве и чужеземных народах.

— И этак протрубить двадцать один год, — кивнул на него жене и сыну мистер Уайт. — Уезжал мальцом на подхвате в таможне. А теперь — вон какой.

— По виду и не догадаешься, что всего натерпелась, — вежливо заметила миссис Уайт.

— Я бы и сам съездил в Индию, — сказал старик. — Хоть краешком повидать жизнь.

— Дома лучше, — покачал головой сержант. Он опустил пустой стакан, чуть слышно вздохнул и снова покачал головой.

— Хоть повидать их древние храмы, факиров, фокусников, — сказал старик. — Про что вы в прошлый раз начали рассказывать, Моррис, — про обезьянью лапку вроде бы?

— Пустое, — отмахнулся солдат. — Ничего интересного.

— А что с ней, с этой лапкой? — живо спросила миссис Уайт.

— Да, пожалуй, самое обыкновенное волшебство, — брякнул сержант.

Все три шеи напряженно вытянулись. Гость рассеянно поднес к губам пустой стакан, опустил. Хозяин наполнил его.

— На вид, — сказал сержант, роясь в кармане, — лапка как лапка, только усохшая.

Он что-то вынул из кармана и протянул им. Миссис Уайт брезгливо отпрянула, а сын взял в руки и стал внимательно разглядывать.

— Что же в ней такого особенного? — спросил мистер Уайт, забирая ее у сына, и, насмотревшись, положил на стол.

— Один старый факир, очень святой человек, — сказал сержант, — ее заколдовал. Хотел доказать, что человеческой жизнью управляет судьба и кто толкает ее под руку, тому не поздоровится. Он

ее так заколдовал, чтобы три человека загадали каждый по три желания.

В его словах было столько убеждающей силы, что смешок внимавших даже для них самих прозвучал неуверенно.

— Тогда что же вы не загадали свои три желания, сэр? — поддел его Герберт Уайт.

Солдат смерил его взглядом, каким зрелость удостаивает приткую молодость.

— Я загадал, — спокойно ответил он, бледнея угреватым лицом.

— И все три исполнились? — спросила миссис Уайт.

— Все три, — сказал сержант, и его крепкие зубы клацнули о стакан.

— А кто-нибудь еще загадывал? — пытала его хозяйка.

— Как же, первый загадал все три, — последовал ответ. — Не знаю, какие были сначала, а в третий раз он пожелал себе смерти. И лапка перешла ко мне.

Прозвучало это так мрачно, что в комнате повисла тишина.

— Если ваши три желания исполнились, то вам она уже без пользы, Моррис, — снова заговорил старик. — Чего ради вы ее держите?

Солдат покачал головой.

— Так, ради интереса, — молвил он. — Думал даже продать, только вряд ли решусь. Она уже порядочно зла натворила. Да и не купит никто. Одни считают, что все это сказки, другие если верят, то сначала хотят попробовать и уж потом выложить деньги.

— А будь у вас еще три желания, — сказал старик, пронзительно глядя на него, — вы бы захотели, чтобы они исполнились?

— Не знаю, — ответил тот. — Не знаю.

Взяв лапку двумя пальцами, он помотал ею в воздухе и вдруг швырнул в огонь. Охнув, Уайт сунулся в камин и вытащил ее.

— Бросьте, пусть сгорит, — сурово сказал солдат.

— Если вам она не нужна, Моррис, — ответил тот, — отдайте мне.

— Ни за что, — уперся его друг. — Я кинул ее в огонь. Если вы ее берете, то пеняйте на себя, я ни при чем. Будьте умником, отправьте ее обратно в огонь.

Тот помотал головой и внимательно осмотрел свое приобретение.

— Как вы это делаете? — спросил он.

— Возьмите в правую руку и назовите желание, — сказал сержант, — но я вас предостерег.

— Прямо «Тысяча и одна ночь», — сказала миссис Уайт, начиная накрывать к ужину. — Загадал бы ты мне четыре пары рук в подмогу.

Муж вынул талисман из кармана, и тут все трое расхохотались, потому что сержант, изменившись в лице, перехватил его руку.

— Если решитесь, — хрипло сказал он, — то загадайте что-нибудь разумное.

Мистер Уайт сунул лапку в карман, расставил стулья и жестом пригласил друга к столу.

За ужином про талисман не вспоминали, а после ужина вся троица замороженно слушала вторую часть солдатских приключений в Индии.

— Если про обезьянью лапку такая же сказка, как все, что он тут наплел, — сказал Герберт, когда за гостем, досидевшим до последнего поезда, захлопнулась дверь, — то от нее будет мало проку.

— Ты что-нибудь дал за нее, отец? — спросила миссис Уайт, пытливо взглянув на мужа.

— Сущую ерунду, — ответил тот, слегка розовея. — Он не хотел брать, но я настоял. Он опять велел выбросить ее.

— Ой, как страшно, — с притворным ужасом сказал Герберт. — Теперь нам не миновать богатства, славы и счастья. Знаешь, папа, для начала пожелай стать императором — хватит тебе быть подкаблучником.

И он побежал вокруг стола, спасаясь от оклеветанной миссис Уайт, потрясавшей салфеткой.

Мистер Уайт вынул из кармана лапку и с сомнением посмотрел на нее.

— Не знаю, право, что и загадать, — промолвил он. — Все у меня вроде бы есть.

— Для полноты счастья не хватает только расплатиться за дом, правда? — сказал Герберт, обняв его за плечи. — Вот и загадай двести фунтов, ведь за ними все дело.

Сконфуженно улыбаясь собственному легковерию, отец зажал талисман в руке, а сын с торжественной миной, которую он подпортил, подмигнув матери, сел за пианино и взял несколько звучных аккордов.

— Я хочу двести фунтов, — отчетливо произнес старик.

Пианино бравурно отозвалось на эти слова, но отчаянный вопль старика покрыл все звуки. Жена с сыном кинулись к нему.

— Она шевельнулась! — крикнул старик, с омерзением глядя на упавшую лапку. — Когда я загадал желание, она дернулась в руке, точно змея.

— А денег-то нет, — заметил сын, подняв с пола талисман и кладя его на стол, — и не будет.

— Тебе показалось, отец, — сказала жена, глядя на него встревоженными глазами.

Тот покачал головой.

— Ничего, ничего, руки-ноги целы, хотя, ей-богу, она меня напугала до смерти.

Они вернулись к камину, и мужчины раскурили трубки. Снаружи крепчал ветер, и, когда наверху хлопнула дверь, старик вздрогнул. Непривычная, гнетущая тишина томила их, покуда старики не собрались спать.

— Наверное, деньги будут в мешке, а мешок под одеялом, — сказал Герберт, пожелав им спокойной ночи, — и какая-нибудь мерзость будет пялиться со шкапа на то, как вы прибираете к рукам нечестную добычу.

Старик сидел один в темноте, смотрел на гаснущий огонь и видел в нем разные рожицы. Вдруг возникла такая страшная, такая обезьянья рожа, что он обмер, пораженный. Она кривлялась, эта рожа, и он с нервным смешком ощупью поискал на столе стакан с водой, чтобы плеснуть на уголья. Его рука ухватила обезьянью лапку, и, судорожно вытерев руку о пиджак, он отправился спать.

II

При ярком свете зимнего солнца, струившего лучи на его завтрак, он посмеялся над своими страхами. Вещи обрели скучный положительный смысл, накануне ими утраченный, и грязную сморщенную лапку бросили на буфет неуважительно, безо всякой веры в ее могущество.

— Наверное, все старые вояки одинаковы, — сказала миссис Уайт. — Стыд подумать, что мы слушали эту чепуху. Когда они

исполнялись, желания, в наши-то дни? А хоть бы и исполнялись — чем тебе могут навредить двести фунтов, отец?

— Свалятся с неба и оглошат, — заметил легкомысленный Герберт.

— Моррис говорил, оно происходит само собой, — сказал отец, — так что при желании можно сослаться на стечение обстоятельств.

— В общем, до моего прихода к деньгам даже не прикасайся, — сказал Герберт, вставая из-за стола. — У меня есть опасения, что они превратят тебя в жалкого скупердяя и нам придется отказаться от такого родственника.

Рассмеявшись, мать проводила его до двери, посмотрела, как он вышел за калитку; вернувшись к столу, она втихомолку еще посмеялась над мужниным легковерием. Впрочем, это не помешало ей сорваться с места на стук почтальона и не удержало от энергичных слов по адресу выпивох-сержантов, когда выяснилось, что пришел счет от портного.

— Представляю, как повеселится Герберт, когда вернется с работы, — сказала она за обедом.

— Наверняка, — сказал мистер Уайт, наливая себе пива. — Только как хотите, а эта штука шевельнулась у меня в руке. Готов поклясться.

— Тебе показалось, — успокоила его жена.

— Говорю тебе, шевельнулась! — ответил он. — Чему тут казаться? Я взял... Что там?

Она не ответила. Станным показалось ей мельтешение человека на улице: нерешительно поглядывая на их дом, он словно бы намеревался войти. Не забыв еще о двухстах фунтах, она отметила, что он хорошо одет и на голове у него новехонький блестящий цилиндр. В четвертый раз он взялся за щеколду, постоял и, в приливе решимости нажав на нее, ступил на дорожку. В ту же минуту миссис Уайт сунула руки за спину, развязала тесемки передника и спрятала полезную домашнюю вещь под подушку, на которой сидела.

Незнакомец, которого она провела в комнату, был, что называется, не в своей тарелке. Он прятал глаза, вполуха слушал извинения за беспорядок в комнате и за мужнину куртку, в которой тот обычно работал в саду. С терпением, сколько его наберется у женщины, она ждала, чтобы он объяснил свое вторжение, но тот непонятно молчал.

— Мне... меня попросили зайти, — наконец заговорил он и, согнувшись, извлек из брючного кармана клочок бумаги. — Я из «Мо и Меггинса».

Хозяйка сорвалась со стула.

— Что случилось? — еле слышно спросила она. — Что-нибудь с Гербертом? Что там? Что?

В разговор вступил муж.

— Ну-ну-ну, мать, — зачастил он, — садись и не выдумывай. Вы, надеюсь, не с дурными вестями, сэр? — и посмотрел на того тоскливыми глазами.

— Не знаю, как... — начал гость.

— С ним несчастье? — задохнулась мать.

Гость кивнул.

— Большое несчастье, — сказал он тихим голосом, — но самое страшное для него позади.

— Слава богу! — вскричала мать, сложив руки. — Слава...

И осеклась, уяснив себе зловещий смысл оговорки и видя подтверждение худшему в отведенном взоре посетителя. Глубоко вздохнув, она повернулась к своему тугодуму-мужу и дрожащей старческой рукой накрыла его руку. Молчание длилось долго.

— Его затащило в машину, — все так же тихо продолжал гость.

— Затащило в машину, — обреченно повторил мистер Уайт. — Вот оно что.

Он невидяще глядел в окно, сжимая в ладонях женину руку, как встарь, во времена своего жениховства, лет сорок тому назад.

— Он один у нас оставался, — сказал он, полуобернувшись к гостю. — Как же так?

Гость откашлялся, встал и прошел к окну.

— Фирма поручила мне выразить искреннее сочувствие вашему огромному горю, — сказал он, не оборачиваясь. — Поймите, я простой служащий и делаю, что мне приказывают.

Ответа ему не последовало. Старуха сидела с помертвевшим лицом и остановившимся взглядом, и дыхания ее не было слышно; на лице же ее мужа было то выражение, с каким, наверное, вышел из первого испытания его друг-сержант.

— Мне поручено сказать, что Мо и Меггинс снимают с себя ответственность за случившееся, — продолжал третий. — Они не

видят за собой никакой вины, но, уважая заслуги вашего сына, желают выплатить вам некоторую компенсацию.

Мистер Уайт выронил руку жены, поднялся со стула и с ужасом уставился на гостя. Пересохшими губами он вылепил слово:

— Сколько?

— Двести фунтов.

Не слыша вопля жены, старик слабо улыбнулся, слепо повел рукой и безжизненно рухнул на пол.

III

На огромном новом кладбище, милях в двух от дома, они похоронили своего покойника и вернулись к себе, к погасшему и остывшему очагу. Все так скоро кончилось, что поначалу случившееся не укладывалось у них в голове и они пребывали как бы в ожидании чего-то такого, что облегчит тяжесть, навалившуюся на их старые сердца.

Дни шли, и ожидание сменилось покорностью, той безнадежной покорностью стариков, которую порой путают с апатией. Иногда они за весь вечер не обменивались и словом, потому что говорить им было не о чем, и дни тянулись томительно долго.

Миновала неделя, и однажды, проснувшись, как от толчка, старик пошарил рукой и понял, что лежит один. Было темно, и от окна доносились тихие всхлипывания. Он сел в постели и прислушался.

— Иди сюда, — осторожно позвал он. — Простынешь.

— Сыночку там холоднее, — сказала старуха и разрыдалась.

Он все глуше слышал ее плач. В постели было тепло, глаза слипались. Он несколько раз впадал в забытие и наконец провалился в сон, из которого его вырвал страшный крик жены.

— Лапка! — кричала она страшным голосом. — Обезьянья лапка!

Он испуганно вскинулся в постели:

— Где? Где она? Что случилось?

Она ощупью двинулась к кровати.

— Нужна лапка, — сказала она ровным голосом. — Ты не уничтожил ее?

— Она в гостиной, на полке, — озадаченно сказал он. — А что такое?

Разом смеясь и плача, она нагнулась и поцеловала его в щеку.

— Я о чем подумала, — заговорила она срывающимся голосом. — Как я раньше не подумала? Как ты не подумал?

— О чем не подумал? — спросил он.

— Осталось два желания! — выпалила она. — Мы загадали только одно.

— Тебе этого мало? — жестко спросил он.

— погоди! — радостно вскричала она. — Мы загадаем еще одно. Пооди за ней и загадай, чтобы наш мальчик стал живым.

Старик сел и откинул одеяло с задрожавших ног.

— Господи, ты сошла с ума! — крикнул он, похолодев.

— Иди, иди за ней, — задыхалась она, — и загадай... Мальчик мой!

Муж чиркнул спичкой и зажег свечу.

— Ложись в постель, — неуверенно сказал он. — Ты сама не понимаешь, о чем говоришь.

— Первое-то желание исполнилось, — горячо сказала старуха. — Почему не исполниться второму?

— Это было совпадение, — пробормотал старик.

— Пооди за ней и загадай! — крикнула жена, дрожа как в лихорадке.

Вглядевшись в нее, старик сказал дрогнувшим голосом:

— Он уже десять дней мертвый, и потом... я тебе не говорил... я узнал его только по одежде. Если тогда тебе нельзя было его видеть, то как же теперь?

— Верни его! — вскричала старуха и потащила его к двери. — Неужели я испугаюсь собственного ребенка?

Он спустился по темной лестнице, вслепую нашел гостиную, а потом и камин. Талисман лежал на месте, и страшная мысль, что невыговоренное желание может вернуть ему изувеченного сына прямо сейчас, вдруг сковала старика, он забыл, в какой стороне дверь, и дыхание у него перехватило. Его прошиб холодный пот, он на ощупь обошел вокруг стола и не отлипал от стены, пока не оказался с этой дрянью в руке в тесной передней.

И жена выглядела другой, когда он вошел в комнату. К нему было обращено белое настороженное лицо, и его необычное выражение напугало старика. Ему стало с ней страшно.

— Загадывай! — решительно велела она.

— Глупая и вредная затея, — пробормотал он.

— Загадывай! — повторила жена.

Он поднял руку.

— Я хочу, чтобы мой сын опять был живой.

Талисман упал на пол, и он в ужасе уставился на него. Потом, дрожа, опустился в кресло, а старуха с загоревшимися глазами отошла к окну и подняла шторы.

Он сидел, коченея от холода, и время от времени поглядывал на старуху, прикинувшую к окну. Свечной огарок, догорев до чашечки фарфорового подсвечника, бросал на стены и потолок дергающиеся тени, потом ярко вспыхнул и погас. Чувствуя невыразимое облегчение оттого, что талисман не подействовал, старик забрался в постель, и через минуту-другую рядом тихо и вяло улеглась старуха.

Оба молчали, прислушиваясь к тиканью часов. Скрипнула лестница; попискивая, прошуршала вдоль стены мышь. Темнота угнетала, и, еще полежав для храбрости, старик взял коробок спичек, чиркнул и пошел вниз за свечой.

На нижней ступеньке спичка догорела, и он остановился зажечь другую; и в эту самую минуту в дверь тихо и осторожно, почти неслышно постучали.

Спички выпали у него из рук и рассыпались по всей передней. Он замер и не дышал, пока стук не повторился. Тогда он проворно вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. В третий раз стук отозвался по всем комнатам.

— Что это? — встрепелась старуха.

— Крыса, — дрожащим голосом ответил старик. — Попалась на лестнице.

Жена села в постели и прислушалась. Громкий стук разнесся по всему дому.

— Это Герберт! — пронзительно закричала она. — Герберт!

Она кинулась к двери, но муж опередил ее и, крепко схватив за руку, удержал.

— Что ты хочешь сделать? — прохрипел он.

— Мальчик мой, Герберт! — кричала она, вырываясь. — Я забыла, тут же целых две мили. Что ты меня держишь? Пусти. Я открою.

— Ради бога, не впускай! — дрожа, кричал старик.

— Ты боишься собственного сына! — кричала она, вырываясь. —
Пусти меня. Иду, Герберт, иду!

Снова раздался стук, потом еще раз. Сильным рывком старуха освободилась и выбежала из спальни. Муж выскочил за ней на площадку, заклиная вернуться. Он слышал, как звякнула сброшенная дверная цепочка и медленно и туго отодвинулся нижний засов. Потом услышал ее напряженный, задыхающийся голос.

— Теперь верхний! — крикнула она. — Спустишь. Мне не достать.

Но муж ползал по полу, нащупывая лапку. Только бы найти ее прежде, чем тот, снаружи, войдет. Канонадой разносились по дому удары, он слышал, как скрипнул стул, который жена поволокла к двери. Слышал, как заскрипел верхний засов, и в эту минуту он нашел обезьянью лапку и иступленно выдохнул последнее, третье желание. Стук оборвался, хотя его эхо еще звучало в доме. Он услышал, как стул отодвинули и дверь открылась. Порыв холодного ветра взмыл по лестнице, и протяжный, отчаянный и горестный вопль жены дал ему силы сбежать к ней и потом добежать до калитки. Под мигающим светом уличных фонарей лежала пустая мирная дорога.

Говард Филлипс Лавкрафт
(1890–1937)

Герберт Уэст, реаниматор

Пер. с англ. С. Антонова

I

Из мрака

О Герберте Уэсте, с которым я дружил, учась в колледже и в последующие годы, я могу говорить не иначе как с чувством безграничного ужаса. Этот ужас, порожденный не только зловещими обстоятельствами недавнего исчезновения Уэста, но и общим характером его занятий, я впервые ощутил необычайно остро более семнадцати лет назад, когда мы оба были студентами третьего курса медицинского факультета Мискатоникского университета в Аркхеме. Пока он находился рядом, удивительная и демоническая природа его экспериментов чрезвычайно пленяла меня и я был его ближайшим помощником. Теперь, когда он исчез, чары рассеялись, а страх сделался еще сильнее. Воспоминания и предчувствия ужаснее любой реальности.

Первое из череды жутких событий, которыми отмечено наше знакомство, стало для меня величайшим потрясением, и я рассказываю о нем лишь в силу необходимости. Как я уже говорил, это произошло во время нашей учебы на медицинском факультете, где Уэст успел снискать дурную славу благодаря своим безумным теориям о природе смерти и возможности преодолеть ее искусственным путем. Его взгляды, служившие предметом многочисленных насмешек со стороны преподавателей и сокурсников, основывались на механистическом представлении о природе жизни и предполагали возможность вновь запустить, посредством продуманного химического воздействия, органический механизм человека, в котором уже остановились все естественные процессы. Экспериментируя с различными оживляющими растворами, он искалечил и умертвил несметное число кроликов, морских свинок,

кошек, собак и обезьян, пока не сделался парией всего колледжа. Несколько раз ему действительно удалось добиться появления признаков жизни у животных, которые, как предполагалось, были мертвы; в большинстве случаев оставались лишь следы насилия; но вскоре он понял, что совершенствование процесса, если оно вообще возможно, неизбежно потребует целой жизни непрерывных исследований. К тому же стало очевидно, что, поскольку одни и те же растворы по-разному воздействуют на различные виды живых существ, для дальнейшей и более детальной работы ему потребуются человеческие особи. Здесь-то и начался его конфликт с руководством колледжа — продолжать эксперименты ему запретил ни больше ни меньше как сам декан, просвещенный и добросердечный доктор Аллан Хэлси, чья забота о пациентах памятна каждому старожилу Аркхема.

Я всегда очень терпимо относился к исследованиям Уэста, и мы часто обсуждали его теории, за которыми открывалось почти бесконечное множество возможных следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь — это совокупность химических и физических процессов, а так называемая душа — не более чем миф, мой друг полагал, что искусственное воскрешение мертвых зависит только от состояния тканей и что, пока не начался их распад, тело, не получившее каких-либо повреждений, можно вновь оживить, применив необходимые для этого средства. Уэст ясно сознавал, что чувствительные клетки мозга, которые хотя бы ненадолго постигнет смерть, могут подвергнуться необратимым изменениям, которые станут препятствием для последующей психической или интеллектуальной деятельности. Сперва он надеялся найти реактив, который оказывал бы оживляющее действие до того, как наступила смерть, но из серии неудачных опытов на животных стало ясно, что естественное стремление организма к жизни и искусственные стимулы несовместимы друг с другом. Тогда он начал искать совсем свежие экземпляры, которым вводил в кровь свои растворы незамедлительно после кончины. Именно это и вызвало оказавшийся столь опрометчивым скепсис профессоров, не всегда уверенных в том, что факт смерти действительно имеет место, и потому внимательно наблюдавших за происходящим.

Вскоре после того как власти факультета наложили запрет на его работу, Уэст поведал мне, что намерен доставать тем или иным способом свежие трупы и втайне продолжать эксперименты, которые не может проводить открыто. Слушать его разглагольствования на эту тему было довольно неприятно, так как в колледже нам не приходилось раздобывать анатомические образцы самостоятельно. Если тела в морге отсутствовали, к делу привлекались двое местных негров, которым не задавали ненужных вопросов. Уэст был невысоким, стройным, светловолосым юношей с тихим голосом, тонкими чертами лица и голубыми глазами, которые скрывали стекла очков, — и странное возникало чувство, когда он пускался в пространные сравнения кладбища при церкви Христа с кладбищем для бедняков. В конце концов выбор был сделан в пользу второго, поскольку едва ли не каждый, кого хоронили на церковном кладбище, перед погребением подвергался бальзамированию — обстоятельство, безусловно катастрофическое для исследований Уэста.

Так я стал его деятельным и преданным помощником и отныне способствовал всем его начинаниям, подыскивая не только необходимый трупный материал, но и подходящее место для нашей отвратительной работы. Именно мне пришла мысль перебраться в заброшенный дом на ферме Чапмена за Медоу-хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, занавесив в них все окна, дабы скрыть наши полночные занятия. Место это находилось в стороне от дорог, других строений поблизости не было, и тем не менее предосторожности представлялись нелишними: слух о странных огнях в доме, пущенный случайными ночными бродягами, мог быстро положить конец нашему предприятию. На случай, если нас все же обнаружат, мы условились называть наше пристанище химической лабораторией. Постепенно мы оснастили эту мрачную обитель науки оборудованием, купленным в Бостоне или же тайком позаимствованным в колледже, и тщательно замаскировали его, так что распознать его назначение смог бы только глаз знатока; кроме того, мы заготовили кирки и лопаты для многочисленных будущих захоронений в подвале. В колледже мы пользовались кремационной печью, но для нашей нелегальной лаборатории это была бы слишком большая роскошь. Тела всегда доставляли немало хлопот — даже

тушки морских свинок, над которыми Уэст тайно экспериментировал в своей комнате в пансионе.

Словно вампиры, мы следовали по пятам каждой смерти в округе, ведь необходимые нам образцы должны были обладать весьма специфическими свойствами. Нам требовались тела умерших, захороненные сразу после их кончины, без применения искусственных средств консервации; желательным, чтобы они не были затронуты болезнью; и конечно, непременным условием являлось наличие всех жизненно важных органов. Жертвы несчастных случаев были нашей заветной мечтой. На протяжении многих недель нам не везло, хотя мы и запрашивали, якобы в интересах колледжа, морги и больницы — настолько часто, насколько могли это делать, не вызывая подозрений. Обнаружив, что колледж обладает в таких случаях приоритетным правом, мы решили остаться в Аркхеме на время каникул, когда в университете читаются только немногочисленные летние курсы. Наконец нас посетила удача. Однажды мы прознали о почти идеальном случае: крепкий молодой рабочий утонул рано утром в пруду Самнера и был незамедлительно захоронен на кладбище для бедняков; ни о каком бальзамировании, разумеется, не было и речи. В тот же день мы отыскали свежую могилу и решили приступить к делу после полуночи.

Предпринятое нами в недолгие ночные часы было омерзительно — хотя в ту пору кладбища еще не вызывали в нас того ни с чем не сравнимого ужаса, который развился позднее. Мы принесли с собой лопаты и потайные масляные фонари (электрические фонарики тогда уже производились, но были не столь надежны, как сегодняшние). Вскрытие могилы, в котором иные художественные натуры могли бы усмотреть нечто жутковато-поэтичное, для нас, людей науки, было занятием рутинным и грязным, и мы почувствовали радость, услышав наконец стук наших лопат о дерево. Когда сосновый гроб оказался полностью откопан, Уэст забрался в яму, снял крышку, извлек тело и приподнял его. Я же, нагнувшись, выволок труп из могилы, а затем мы вдвоем потратили немало сил, чтобы придать ей прежний облик. Вся эта сцена стала серьезным испытанием для наших нервов — особенно застывшее тело и безучастный вид нашего первого трофея, — и все же мы сумели уничтожить все следы своего визита. Утрамбовав лопатой последнюю

горсть земли, мы уложили добытый образец в холщовый мешок и отправились к дому старика Чапмена, что за Медоу-хилл.

На импровизированном анатомическом столе в старом фермерском доме, освещенный мощной карбидной лампой, наш подопечный ничуть не походил на привидение. Это был крепко сложенный парень здорового плебейского типа, с серыми глазами и каштановыми волосами; настоящее животное, при жизни явно не отличавшееся развитым воображением и психологической утонченностью и наверняка обладавшее незатейливой и исправной физиологией. Теперь, когда глаза его были закрыты, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательное обследование, проведенное моим другом, не оставило никаких сомнений на этот счет. Нам наконец удалось найти то, что так жадно искал Уэст, — воплощенный идеал мертвеца, который был готов к принятию внутрь раствора, специально синтезированного для введения в организм человека. Мы были крайне взволнованы, поскольку не рассчитывали на полный успех и терзались страхами по поводу возможных гротескных последствий частичного воскрешения. Более всего нас беспокоило состояние мозга и рефлексов подопытного — ведь за время, прошедшее с момента его смерти, в некоторых особенно чувствительных церебральных клетках могли произойти необратимые изменения. Что до меня, я все еще придерживался традиционных представлений о том, что принято считать человеческой душой, и ощущал священный трепет при мысли о тайнах, которые мог поведать восставший из мертвых. Я спрашивал себя, какие картины довелось узреть в недоступных нам сферах этому безмятежному юноше и что сможет он рассказать, если полностью вернется к жизни. Впрочем, эти вопросы не могли всецело поглотить мой ум, ибо в главном я был приверженцем материалистических воззрений своего друга. А тот держался гораздо спокойнее меня и уверенно ввел в вену трупа изрядную дозу заготовленного раствора, после чего надежно перевязал место укола.



«Погоди, тебя подмажут»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Его посылают с важным поручением, и он торопится в путь, хотя его еще не успели подмазать как следует. Среди ведьмаков тоже встречаются ветреники, торопыги, нетерпеливые сумасброды без капли здравого смысла. Всюду бывает всякое



«Вот так наставница»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Для ведьмы метла — одно из важнейших орудий: помимо того, что ведьмы — славные метельщицы, они, как известно, иногда превращают метлу в верхового мула, и тогда сам черт их не догонит

Ожидание было томительным, но Уэст полностью владел собой. То и дело он прикладывал к груди покойного стетоскоп, с философским спокойствием отмечая отсутствие изменений. Примерно через три четверти часа, не увидев никаких признаков жизни, он с досадой заявил, что раствор неудовлетворителен и что, прежде чем мы избавимся от нашего жуткого трофея, нужно изменить формулу препарата и повторить попытку. Еще днем мы вырыли в подвале могилу, в которой до рассвета собирались схоронить мертвеца, — ибо, несмотря на то что мы запирали двери дома, желательно было избежать даже малейшего риска разоблачения нашей отвратительной работы. Кроме того, до следующей ночи труп все равно не сохранил бы даже подобия свежести. Поэтому мы перебрались в смежную лабораторию, захватив с собой карбидную лампу и оставив нашего безмолвного гостя лежащим в темноте на столе, и сосредоточили все свои усилия на приготовлении нового раствора, ингредиенты для которого Уэст взвешивал и отмерял с какой-то фанатичной аккуратностью.

Ужасное событие произошло внезапно и застало нас обоих врасплох. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст возился со спиртовкой, заменявшей нам в этом заброшенном здании газовую горелку, когда из погруженной во мрак комнаты, которую мы недавно оставили, донеслись самые чудовищные и демонические крики, какие нам когда-либо доводилось слышать. Даже если бы сама преисподняя разверзлась и исторгла вопли страдающих грешников, хаос адских голосов не мог бы быть более неопишуемым, ибо в услышанной нами невероятной какофонии слились запредельный ужас и бесконечное отчаяние воскрешенного естества. Эти крики не были человеческими — человек не способен издавать подобные звуки; и мы оба, Уэст и я, не думая более ни о нашей недавней работе, ни о том, что ее могут обнаружить, рванулись, как раненые звери, к ближайшему окну, опрокидывая пробирки, реторты и лампу, и совершили безумный прыжок в усеянную звездами бездну деревенской ночи. Полагаю, мы сами издавали истошные крики, когда, спотыкаясь, неслись по направлению к городу, хотя, достигнув его окраин, мы постарались принять более сдержанный вид, прикинувшись запоздалыми гуляками, возвращающимися домой после попойки.

Не расставаясь, мы пробрались в комнату Уэста, где при свете газового рожка проговорили шепотом до наступления утра, после чего, немного успокоенные различными теориями и планами дальнейших действий, проспали весь день, проигнорировав занятия. Но вечером две никак не связанные друг с другом газетные заметки опять лишили нас сна. Старый заброшенный дом Чапмена по неизвестной причине превратился в бесформенную кучу пепла — мы объяснили себе этот пожар опрокинутой лампой. Кроме того, на кладбище для бедняков была предпринята попытка разрыть совсем свежую могилу — казалось, кто-то тщился раскопать ее голыми руками, не прибегая к помощи лопаты. Этого мы понять не могли, так как помнили, что перед уходом старательно утрамбовали землю, образующую могильный холм.

Даже по прошествии семнадцати лет после той ночи Уэст нередко косился через плечо и жаловался, что ему чудятся шаги за спиной. А теперь он исчез.

II

Демон эпидемии

Мне никогда не забыть то ужасное лето, в которое по Аркхему, точно злобный ифрит из чертогов Эблиса, стал распространяться, ища добычу, брюшной тиф. С тех пор прошло шестнадцать лет, но и по сей день живы воспоминания о той дьявольской каре, о кошмаре, что распростер тогда перепончатые крылья над рядами могил на кладбище при церкви Христа; для меня же то время наполнено еще бóльшим ужасом — ужасом, который теперь, после исчезновения Герберта Уэста, ведом лишь мне одному.

Мы с Уэстом посещали тогда летние аспирантские курсы на медицинском факультете Мискатоникского университета, где мой друг успел приобрести печальную известность благодаря своим экспериментам по реанимации мертвых. После того как он извел в научных целях бессчетное количество мелких животных, на его странные изыскания наложил официальный запрет наш декан доктор Аллан Хэлси; однако Уэст втайне продолжал проводить различные опыты в своей убогой комнатке в пансионе, а однажды совершенно ужасным и незабываемым образом выкопал из могилы на кладбище для бедных человеческий труп, который доставил в заброшенный дом

на ферме за Медоу-хилл. Я был его соучастником в этом отвратительном предприятии и видел, как он впрыснул в мертвую вену эликсир, который, как он надеялся, хотя бы отчасти восстановит в теле химические и физические процессы. Последствия оказались ужасны — и хотя страх, пережитый нами тогда, мы приписали позднее нервному переутомлению, Уэст так никогда и не смог избавиться от сводящего с ума ощущения, будто за ним непрерывно наблюдают. Труп, с которым он экспериментировал, оказался недостаточно свежим для восстановления нормальных психических функций. Пожар, случившийся в старом доме, помешал нам захоронить останки, а мы чувствовали бы себя куда спокойнее, если бы знали, что они покоятся под землей.

После того случая Уэст на некоторое время прекратил свои исследования, но затем энтузиазм прирожденного ученого постепенно взял свое и мой друг начал вновь осаждать руководство колледжа, добиваясь права пользоваться факультетской операционной и свежими трупами для работы, которую он полагал чрезвычайно важной. Все его просьбы, однако, не возымели действия: решение доктора Хэлси было неколебимо, а остальные профессора единодушно поддержали приговор своего начальника. В радикальной теории воскрешения они усматривали всего-навсего незрелую причуду молодого энтузиаста, чье субтильное сложение, светлые волосы, голубые глаза, скрытые за стеклами очков, и тихий голос ничем не выдавали сверхъестественной, почти дьявольской силы его холодного ума. Его тогдашний облик сам собой всплывает в моей памяти — и меня пробирает дрожь. С годами он посуровел лицом, но не стал выглядеть старше. А теперь произошло это несчастье в психиатрической лечебнице в Сефтоне, и Уэст исчез.

В конце нашего последнего учебного семестра он сошелся с доктором Хэлси в ожесточенном словесном поединке, в котором проявил себя куда менее достойно, чем добрейший декан. Уэст чувствовал, что бессмысленно расточает время, необходимое для продолжения крайне серьезной работы; эту работу он, конечно, мог бы проводить своими силами и дальше, однако ему не терпелось приступить к делу безотлагательно, пока у него была возможность использовать уникальное университетское оборудование. Тот факт, что консервативно мыслящие старики оставляют без внимания

плодотворные результаты его экспериментов с животными и упорно отрицают саму возможность воскрешения, неимоверно возмущал и приводил в недоумение такого юношу, как Уэст, с его строго логическим складом ума. Лишь возраст и жизненный опыт могли бы привести его к осознанию неизбежной умственной ограниченности этого типа людей, порожденного веками истового пуританства: их доброту, совесть, мягкость и дружелюбие сводили на нет всегдашняя узость мысли, нетерпимость, зашоренность и неприятие перемен. Зрелый человек относится более терпимо к этим несовершенным, хотя и возвышенным характерам, чьим наихудшим грехом является робость и чья интеллектуальная ущербность — будь то приверженность птолемеевой либо кальвинистской доктрине, антидарвинизму, антинищенству, обязательным воскресным походам в церковь или строгому соблюдению налогового законодательства — в конце концов наказывается всеобщим осмеянием. Уэст, при всех его поразительных научных достижениях, был еще очень юн и слишком нетерпелив по отношению к доброму доктору Хэлси и его ученым коллегам; он испытывал всевозрастающую обиду вкупе с желанием доказать свои теории этим праведным тупицам каким-либо поразительным и драматическим способом. Подобно большинству молодых людей, он с упоением предался мечтам о мести, триумфе и финальном великодушном прощении.

А затем из кошмарных пещер Тартара пришла кара, ухмыляющаяся и смертоносная. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались для дополнительных занятий на летних курсах, и нам довелось увидеть всю силу той демонической ярости, с которой эпидемия обрушилась на Аркхем. Еще не получившие врачебных лицензий, мы тем не менее уже были дипломированными медиками, и, поскольку число заболевших непрерывно росло, нас привлекли для оказания срочной помощи горожанам. Ситуация грозила выйти из-под контроля, одна смерть так стремительно сменялась другой, что местные гробовщики перестали справляться с работой. Погребения проводились поспешно, ни о каком сохранении тел не было и речи, и даже кладбищенский морг при церкви Христа заполнили гробы с покойниками, не подвергшимися бальзамированию. Уэст был весьма впечатлен этим обстоятельством и

часто размышлял об иронии ситуации: так много свежих образцов — и ни один не становится объектом его подпольных исследований! Крайнее переутомление, в котором мы пребывали, и ужасающее нервное и умственное напряжение повергали моего друга в мрачную, болезненную задумчивость.

Между тем добродетельные противники Уэста были ничуть не меньше измотаны своими утомительными обязанностями. Колледж фактически закрылся, все доктора с медицинского факультета, как могли, помогали бороться с эпидемией. Особенно самоотверженно трудился на этом поприще доктор Хэлси, подаривший свои умения и искреннюю заботу тем больным, от которых другие врачи, из боязни заражения или ввиду явной безнадежности пациентов, уже отказались. Не прошло и месяца, как бесстрашный декан стал в глазах окружающих подлинным героем, хотя сам он, казалось, не осознавал собственной славы, пребывая на грани физического и нервного истощения. Уэст не мог не восхищаться силой духа своего недоброжелателя, но именно поэтому он еще решительнее, чем прежде, вознамерился доказать ему правоту своих поразительных теорий. Воспользовавшись неразберихой, царившей в колледже и в муниципальных инструкциях по здравоохранению, он ухитрился раздобыть тело одного только что умершего больного, тайком доставил его под покровом ночи в университетскую анатомичку и там в моем присутствии ввел ему свой новый раствор. Мертвец открыл глаза, вперил в потолок взгляд, полный цепящего душу ужаса, а затем впал в протрацию, из которой его уже ничто не могло вывести. Уэст сказал, что экземпляр был недостаточно свежим, — летняя жара не идет на пользу трупам. В тот раз нас едва не застали с мертвым телом на руках, и Уэст сказал, что впредь не следует столь дерзко злоупотреблять лабораторией колледжа.

В августе эпидемия тифа достигла своего пика. Мы с Уэстом были полумертвы от усталости, а доктор Хэлси четырнадцатого числа умер на самом деле. Днем позже на поспешные похороны собрались все его студенты, купившие пышный венок, который, впрочем, затмили другие, присланные зажиточными горожанами и муниципалитетом. Похороны стали событием почти что общественного значения, ибо декан определенно был благодетелем граждан Аркхема. После погребения все мы ощущали некоторую подавленность и провели

остаток дня в баре Торговой палаты, где Уэст, хотя и потрясенный смертью своего главного оппонента, шокировал остальных изложением своих пресловутых теорий. Ближе к вечеру студенты по большей части разошлись — кто направился домой, кто вернулся к делам, — меня же Уэст убедил поспособствовать ему в «успехе этой ночи». Хозяйка, у которой он снимал комнату, видела, как примерно в два часа ночи мы ввалились к нему, ведя под руки кого-то третьего; она еще сказала мужу, что, судя по всему, мы основательно набрались за ужином.

Очевидно, это язвительное наблюдение было верным, так как около трех часов ночи весь дом переполошили крики, донесшиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то обнаружили, что мы вдвоем лежим без сознания на покрытом кровавыми пятнами ковре, избитые, исцарапанные, истерзанные, а вокруг разбросаны осколки склянок и инструментов. Распахнутое настежь окно объясняло, что случилось с нападавшим, и многие задавались вопросом, как он сумел уцелеть после столь ужасного прыжка с третьего этажа на лужайку, который ему, по-видимому, пришлось совершить. В комнате также нашли странного вида одежду, но Уэст, придя в себя, сказал, что эти вещи не принадлежат незнакомцу, а были взяты им самим на бактериологический анализ, цель которого — установить способ передачи болезнетворного вируса, и распорядился не откладывая сжечь их в просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о том, кем был наш ночной спутник. Уэст нервно объяснил, что мы встретили его в одном из баров в центре города и он показался нам подходящей компанией. Все мы были тогда слегка навеселе, и потому ни Уэст, ни я не настаивали на розыске нашего драчливого приятеля.

В ту же ночь Аркхем стал ареной другого кошмара, который, на мой взгляд, затмил собой ужасы эпидемии. На церковном кладбище произошло страшное убийство — тамошний сторож был растерзан с такой жестокостью, которая заставляла усомниться в том, что его совершил человек. Нашлись свидетели, подтвердившие, что далеко за полночь жертва была еще жива, — а на рассвете открылось неопишное зрелище. В соседнем Болтоне был допрошен владелец цирка, который поклялся, что ни один зверь не сбегал у него из клетки. Те, кто обнаружил тело, заметили кровавый след, тянувшийся

к моргу, перед бетонированным входом в который виднелась красная лужица. Менее отчетливый след тянулся к лесу, но вскоре пропал.

Следующей ночью на крышах Аркхема плясали демоны, а в порывах ветра слышался вой чудовищного безумия. По взбудораженному городу кралась беда, которая, как говорили одни, была страшнее эпидемии и, как шептали другие, являла собой воплощение ее злого духа. Безымянное нечто посетило восемь домов, повсюду сея красную смерть, — всего этот вездесущий, безмолвный и жестокий монстр оставил на своем пути семнадцать изуродованных тел. Несколько человек, смутно видевших его во мраке, утверждали, что он был белокожим и походил на безобразную обезьяну или на дьявола в человеческом облике. В ряде случаев останки были фрагментарными, ибо нападавший утолял голод плотью своих жертв. Четырнадцать человек он убил на месте, трое других умерли в городских больницах.

На третью ночь разъяренные группы добровольцев, руководимые полицией, разыскали и схватили чудовище в доме на Крейн-стрит, неподалеку от кампуса Мискатоникского университета. Поиски были организованы очень тщательно, связь между группами поддерживалась при помощи специально оборудованных телефонных пунктов, и, когда из района, прилегающего к университету, сообщили о том, что кто-то скребется в запертое окно, сеть оказалась раскинута без промедления. Благодаря общей бдительности и осторожности поимка монстра обошлась без массовых жертв — пострадали только два человека. Преследуемый получил пулю, которая не была смертельной, и затем срочно доставлен в местную больницу, сопровождаемый всеобщим ликованием и отвращением.

Ибо выяснилось, что, несмотря на омерзительный взгляд, обезьянью немоту и дьявольскую жестокость, это создание все же было человеком. Ему перевязали рану и отправили в психиатрическую клинику в Сефтоне, где он на протяжении шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока — совсем недавно — не сбежал при обстоятельствах, которые мало кому захочется упоминать. Кстати, поисковой группе из Аркхема бросилась в глаза одна подробность, которая показалась им особенно отвратительной: издевательское, невероятное сходство отмытой от грязи физиономии монстра с лицом просвещенного и самоотверженного мученика,

погребенного тремя днями ранее, — покойного доктора Алана Хэлси, всеобщего благодетеля и декана медицинского факультета Мискатоникского университета.

У меня и у пропавшего ныне Герберта Уэста эта новость вызвала величайший ужас и отвращение. Я и теперь вздрагиваю в ночи, едва подумаю об этом, — вздрагиваю даже сильнее, чем в то утро, когда Уэст пробормотал сквозь скрывавшие его лицо бинты: «Черт побери, он был *недостаточно* свежим!»

III

Шесть выстрелов в лунном свете

Довольно странно шесть раз подряд палить из револьвера в ситуации, когда достаточно одного выстрела, но в жизни Герберта Уэста многое было странным. К примеру, нечасто молодой врач, выпускник университета, вынужден скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, однако с Гербертом Уэстом дело обстояло именно так. Получив дипломы об окончании медицинского факультета Мискатоникского университета, Уэст и я обрели возможность выбиться из нужды, открыв частную практику; при этом мы тщательно скрывали, что выбор дома для наших занятий был обусловлен его удаленностью от других строений и близостью к кладбищу для бедных.

Подобная скрытность почти всегда имеет свои причины, и наш случай не был исключением: необходимость этого диктовал характер того дела, которому мы посвятили наши жизни и которое определенно не пользовалось популярностью у окружающих. На первый взгляд мы были обыкновенными врачами, но за этой видимой простотой скрывались куда более великие и страшные цели — ибо смыслом существования Герберта Уэста являлись поиски в темных, запретных областях непознанного, блуждая в которых он надеялся раскрыть тайну жизни и найти способ навечно возвращать в мир хладный кладбищенский прах. Для подобных исследований требуются необычные материалы, в том числе свежие человеческие трупы; и чтобы поддерживать их приток, нужно жить незаметно, и желательно поблизости от места неофициальных захоронений.

Мы с Уэстом познакомились в колледже, где я был единственным, кто одобрял его отвратительные эксперименты. Мало-помалу я

сделался его верным помощником, и, окончив колледж, мы решили держаться вместе. Найти хорошую вакансию сразу для двоих врачей было непросто, но благодаря ходатайству университета нам в конце концов удалось получить практику в Болтоне — фабричном городке неподалеку от Аркхема, где располагался наш колледж. Многоязыкий рабочий люд Болтонской ткацкой фабрики — самой крупной в Мискатоникской долине — никогда не был в чести у тамошних докторов. Мы крайне тщательно выбирали место, где нам предстояло обосноваться, и в итоге остановились на весьма неказистом строении в конце Понд-стрит; пять соседних домов пустовали, а от местного кладбища для бедных его отделял луг, в который с севера вдавалась узкая полоса довольно густого леса. Расстояние это было несколько больше, чем нам бы хотелось, но дома, стоявшие ближе к кладбищу, находились с другой его стороны, за пределами фабричного района. Местоположение дома, впрочем, имело то преимущество, что между нами и мрачным источником нашего сырья не было ни единой живой души. Путь до кладбища был неблизкий, но зато мы могли беспрепятственно доставлять в наше жилище свои безмолвные трофеи.

С самого начала у нас оказалось на удивление много работы — такой обширной практике был бы рад любой молодой врач, но для ученых, чьи истинные интересы лежали в иной области, она оказалась скучной и обременительной. Рабочие с фабрики отличались довольно буйным нравом, и, помимо обычных заболеваний, их частые стычки и драки с поножовщиной доставляли нам немало хлопот. На деле же все наши мысли занимала тайно оборудованная в подвале лаборатория с длинным столом и подвесными электрическими лампами, где в короткие предрассветные часы мы нередко вводили приготовленные Уэстом растворы в вены трупов с кладбища для бедняков. Уэст как одержимый подбирал все новые компоненты, стремясь отыскать состав, который вернул бы человеческому организму жизненные функции, утраченные вследствие так называемой смерти, но раз за разом наталкивался на непредвиденные трудности. Для разных видов живых существ требовались различные по составу растворы: то, что годилось для морских свинок, не действовало на человеческие особи, каждая из которых в свою очередь требовала индивидуального сочетания компонентов.

В своих экспериментах мы могли использовать только совсем свежие тела, поскольку разложение мозговой ткани даже в самой начальной стадии делало полноценное воскрешение невозможным. Собственно, это и составляло главную проблему еще со времен ужасающих подпольных опытов с трупами сомнительной сохранности, которые Уэст проводил, учась в колледже. Последствия частичного воскрешения были гораздо плачевнее тех случаев, когда мы терпели полное фиаско, и оставили неизгладимый и жуткий след в нашей памяти. Со дня нашего первого дьявольского эксперимента, предпринятого в заброшенном доме на ферме возле Медоу-хилл в Аркхеме, мы непрестанно чувствовали давящую угрозу; и даже Уэст, хладнокровный светловолосый голубоглазый ученый-автомат, не раз признавался мне, что нередко вздрагивает от ощущения, будто за ним тайно следят. Ему казалось, что его кто-то преследует; это была мания, вызванная расшатанными нервами и усугубленная тревожным сознанием того, что по крайней мере один из оживленных нами мертвецов — безобразная плотоядная тварь в обитой войлоком палате сефтонской психиатрической клиники — все еще жив. Но существовал и еще один — наш первый подопытный, чью судьбу мы доподлинно так никогда и не узнали.

В Болтоне нам здорово везло с материалом для наших опытов — гораздо больше, чем в Аркхеме. Не прошло и недели, как мы заполучили в свое распоряжение — в ночь после похорон — жертву несчастного случая и сумели добиться того, чтобы покойник открыл глаза, продемонстрировав удивительно осмысленный взгляд, после чего раствор перестал действовать. Погибший потерял в катастрофе руку; возможно, не будь тело повреждено, мы преуспели бы больше. До января мы сумели раздобыть еще троих; с первым нас постигла неудача, у второго нам удалось вызвать видимое сокращение мышц, третий же приподнялся и издал какой-то невразумительный звук, заставив меня и Уэста содрогнуться. Затем удача на время от нас отвернулась: захоронений стало меньше, а когда они все же имели место, тела оказывались или слишком истерзаны болезнью, или серьезно искалечены и не могли быть использованы в наших опытах. Мы тщательно отслеживали все случаи смерти и обстоятельства, при которых они происходили.

Впрочем, в одну мартовскую ночь нам в руки неожиданно попал труп, не успевший побывать в земле. В Болтоне, где царил пуританский дух, бокс находился под запретом — с очевидными последствиями: тайные, плохо организованные поединки были обычным делом среди фабричных рабочих, и порой в них участвовали и второразрядные профессиональные бойцы. Той ночью как раз состоялся один такой матч, который, по-видимому, закончился плачевно, так как к нам явились двое испуганных поляков, которые принялись шепотом, перебивая друг друга, умолять тайком осмотреть больного, находившегося в отчаянном положении. Мы проследовали за ними в заброшенный сарай, где поредевшая толпа испуганных иммигрантов глазела на молчаливую черную фигуру, распростертую на полу.

Бой произошел между Малышом О'Брайеном — неуклюжим, дрожавшим теперь от страха парнем с необычным для ирландца крючковатым носом — и Баком Робинсоном по прозвищу Гарлемская Сажа. Негр пребывал в нокауте, и даже из беглого осмотра стало понятно, что он останется там навсегда. Это был безобразный гориллоподобный малый с непропорционально длинными руками, которые так и подмывало назвать передними лапами, и лицом, навевавшим мысли об ужасных тайнах Конго и об игре на тамтамах при свете луны. При жизни он, должно быть, выглядел еще отвратительнее — но мало ли существует на свете уродливых зрелищ! Жалкая толпа, собравшаяся вокруг, была охвачена страхом, так как никто не знал, что его ждет в том случае, если дело не удастся замять; поэтому все выразили искреннюю благодарность Уэсту, когда тот, не обращая внимания на невольную охватившую меня дрожь, предложил потихоньку избавиться от трупа — преследуя при этом цель, которая была слишком хорошо мне известна.

Бесснежный город озарял яркий свет луны, однако мы рискнули оттащить мертвеца по пустынным улицам и лужайкам к нам домой, одев его и подхватив с двух сторон, как уже некогда делали одной жуткой ночью в Аркхеме. Мы приблизились к дому со стороны поля, расстилавшегося на задворках, вошли со своей ношей через черный ход, спустили ее по лестнице в подвал и там подготовили к успешной стать традиционной процедуре. Несмотря на то что мы рассчитали время таким образом, чтобы не столкнуться с патрульным,

обходившим этот район, нас не отпускал ставший уже навязчивым страх перед полицией.

Результат наших усилий был удручающим. Омерзительный трофей никак не реагировал ни на один из вводимых в его черную руку растворов, приготовленных, впрочем, на основании опытов с представителями белой расы. Поэтому, когда время опасно приблизилось к рассветной поре, мы поступили с нашим подопытным так же, как и с прежними: сволокли его через луг в лес возле кладбища и закопали в яме, настолько вместительной, насколько это позволяла мерзлая земля. Могила, хотя и не слишком глубокая, получилась не хуже той, что мы вырыли для предыдущего покойника — того, который поднялся и что-то пробормотал. Светя себе потайными фонарями, мы старательно присыпали место захоронения листьями и сухими ветками, уверившись в том, что полиция никогда не обнаружит его в таком густом и темном лесу.

Однако на следующий день я с еще большей тревогой, чем накануне, ожидал визита полиции, ибо один из пациентов сообщил о распространившихся по городу слухах про подпольный поединок и гибель боксера. Что до Уэста, у него был и другой повод для беспокойства: днем его вызвали к больной, и это посещение закончилось неприкрытой угрозой в его адрес. Одна итальянка впала в истерику из-за исчезновения своего ребенка — пятилетнего мальчика, который пропал рано утром и не вернулся к обеду; от волнения у нее развились симптомы, крайне опасные ввиду хронической сердечной недостаточности, которой она страдала. Для подобной истерики не было серьезных причин, поскольку мальчишка и прежде частенько исчезал из дому; но итальянские простолюдины очень суеверны, и тревога этой женщины, похоже, основывалась не на фактах, а на дурных предзнаменованиях. Около семи часов вечера она скончалась, и ее обезумевший от горя супруг устроил безобразную сцену — осыпал проклятиями Уэста, не сумевшего спасти его жену, и попытался убить его. Он выхватил стилет, но друзья удержали его, и Уэст удалился, сопровождаемый нечеловеческими воплями, бранью и обещаниями мести. Последнее несчастье, кажется, заставило итальянца забыть о своем ребенке, который не объявился и с наступлением ночи. Кто-то предложил начать поиски в лесу, но большинство друзей семьи хлопотали возле умершей женщины и ее

не унимавшегося мужа. Уэст места себе не находил, одолеваемый тяжелыми мыслями о полиции и об одержимом итальянце.

Мы легли спать около одиннадцати вечера, но сон ко мне не шел. Местная полиция работала на удивление хорошо для такого заштатного городка, и я со страхом думал о том, какая кутерьма поднимется в Болтоне, если откроются события минувшей ночи. Это поставило бы крест на нашей работе здесь — а возможно, и привело бы нас обоих за тюремные стены. Мне не нравились слухи о поединке, которые стали циркулировать по городу. После трех часов ночи луна начала светить мне в лицо, но я поленился вставать и опускать шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то я и расслышал какой-то отчетливый шум возле черного хода.

Я в удивлении затаился, но вскоре в мою дверь постучался Уэст. Он был в ночном халате и шлепанцах, а в руках держал револьвер и электрический фонарик. При виде оружия я понял, что его мысли больше занимает безумный итальянец, чем полиция.

— Нам лучше пойти вдвоем, — прошептал он. — В любом случае прятаться не следует. Не исключено, что этот пациент — один из тех олухов, что лезут с черного хода.

Мы на цыпочках спустились по лестнице, охваченные страхом, который отчасти был оправдан ситуацией, отчасти же являлся всегдашним спутником таинственных предутренних часов. Шум между тем продолжался и постепенно становился громче. Когда мы приблизились к двери, я осторожно снял засов и отворил ее. Едва лунный свет озарил стоящую снаружи фигуру, Уэст повел себя неожиданно. Невзирая на риск привлечь чье-нибудь внимание и тем самым предать нас обоих в руки полиции — риск, к счастью, не оправдавшийся благодаря уединенному расположению нашего дома, — мой друг внезапно, не сумев совладать с собой, разрядил револьвер, выпустив все шесть пуль в ночного гостя.

Ибо этим гостем был не итальянец и не полицейский. Смутно вырисовываясь в неверном свете луны, нашим взорам предстала огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть не иначе как в кошмарном сне: иссиня-черный призрак с остекленевшим взглядом стоял на четвереньках, перепачканный землей и запекшейся кровью с прилипшими к ней листьями и сухими стеблями. В его блестевших

зубах было зажато нечто белоснежное, ужасающее, продолговатое, с крошечными пальцами на конце.

IV

Вопль мертвеца

Вопль мертвеца пробудил во мне то внезапное и острое чувство ужаса перед доктором Гербертом Уэстом, которое терзало меня все последующие годы нашего общения. Вполне естественно, что вопль, испускаемый мертвецом, вселяет в человека ужас, — явление это не рядовое и определенно не слишком приятное. Впрочем, я уже успел привыкнуть к подобным вещам, и меня страшил не сам покойник — мой ужас был вызван исключительными обстоятельствами происшедшего.

Научные интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я был, простирались много дальше обычных занятий провинциального врача. Вот почему, открывая практику в Болтоне, он выбрал себе стоявший на отшибе дом возле кладбища для бедных. Если называть вещи своими именами, то надо признать, что единственной, всепоглощающей страстью Уэста было тайное изучение хрупкого феномена жизни, а конечной целью — возможность реанимировать мертвых путем введения им стимулирующих растворов. Для этих отвратительных экспериментов был необходим постоянный приток свежих человеческих трупов — абсолютно свежих (так как процесс распада, едва начавшись, приводил к непоправимым повреждениям мозговых клеток) и непременно человеческих, поскольку обнаружилось, что для различных видов живых организмов нужны разные по составу растворы. В жертву нашим опытам было принесено несчетное множество кроликов и морских свинок, но этот путь завел нас в тупик. Уэсту ни разу не удалось добиться полного успеха с человеческими трупами, и причиной тому была недостаточная свежесть рабочего материала. Ему требовались тела, которые едва успела покинуть жизнь, тела, в которых каждая клетка цела и готова воспринять импульс, возвращающий организм в то активное состояние, что именуется жизнью. Сперва мы надеялись посредством регулярных инъекций сделать эту вторую, искусственную жизнь вечной, но вскоре выяснилось, что носители обычной, естественной жизни никак не реагируют на наши манипуляции. Чтобы

искусственное движение стало возможным, естественная жизнь должна угаснуть — тело должно быть безупречно свежим, но при этом безусловно и несомненно мертвым.

Эти зловещие исследования Уэст начал еще в те времена, когда мы учились на медицинском факультете Мискатоникского университета в городе Аркхеме, где он впервые убедился в сугубо механической природе жизни. События, о которых здесь идет речь, произошли семь лет спустя, однако для Уэста они пролетели словно один день — он был все тем же невысоким, тихим, гладко выбритым блондином в очках, и лишь изредка в его холодных голубых глазах загорался огонек фанатизма, возраставшего и крепнувшего под влиянием его ужасных опытов. Результаты наших экспериментов часто бывали отвратительны до крайности, особенно в случаях неполной реанимации, когда кладбищенский прах под действием очередной модификации оживляющего раствора обретал способность к движению — болезненному, неестественному и бессмысленному.

Один из подопытных, будучи воскрешен, испустил пронзительный, душераздирающий крик; другой в ярости вскочил, избил нас обоих до потери сознания, а затем, пребывая в страшном неистовстве, напал на кого придется, пока его не схватили и не заперли в сумасшедшем доме; третий же, мерзкий чернокожий монстр, сумел выбраться из своей неглубокой могилы и совершил жуткое злодеяние, после чего Уэст был вынужден его пристрелить. Нам никак не удавалось заполучить мертвеца, который оказался бы достаточно свежим для того, чтобы по воскрешении выказать хоть какой-то проблеск разума, и в результате мы, сами того не желая, плодили омерзительных чудовищ. Нас серьезно беспокоило, что один, а возможно, и двое из них еще живы, — эта мысль тайно преследовала меня и Уэста до тех самых пор, пока он не исчез при ужасных обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, оборудованной в подвале уединенного болтонского дома, раздался тот пронзительный крик, наши страхи еще уступали страстному желанию заполучить свежайший образец. Уэст был одержим этим больше, чем я, и мне стало казаться, что он как-то хищно поглядывает на всякого живого и пышущего здоровьем человека.

В июле 1910 года полоса преследовавших нас неудач с образцами как будто закончилась. Я долго гостил у родителей в Иллинойсе, а

вернувшись, нашел Уэста в чрезвычайно приподнятом настроении. Он взволнованно сообщил мне, что, по всей видимости, сумел решить проблему свежести рабочего материала, применив совершенно иной подход, а именно — искусственную консервацию. Я знал, что он работает над новым, весьма необычным бальзамирующим составом, и потому не был удивлен услышанным; однако, пока он не посвятил меня в детали, я недоумевал, для чего этот состав может нам пригодиться: ведь мы проводили опыты с мертвыми телами, которые, увы, утрачивали свежесть раньше, чем попадали к нам в руки. Но Уэст, как я понял, ясно сознавал это — и создал свой бальзамирующий состав скорее в расчете на будущее, надеясь, что судьба вновь пошлет нам труп только что умершего человека, не успевший побывать в могиле, как это произошло несколько лет назад с телом негра, погибшего во время боксерского поединка. И судьба оказалась к нам благосклонна: в нашей тайной лаборатории в подвале, как выяснилось, уже лежал труп, разложение которого удалось счастливым образом предотвратить. Уэст не стал делать прогнозов относительно того, чем закончится воскрешение и каковы шансы восстановить память и разум покойного. Этот эксперимент должен был стать поворотным пунктом в наших изысканиях, и Уэст сохранил тело до моего приезда, чтобы, как обычно, разделить со мной роль зрителя.

Он рассказал мне, каким образом ему удалось заполучить этот экземпляр. Это был крепкий на вид, хорошо одетый незнакомец, только что приехавший в Болтон для заключения какой-то сделки с ткацкой фабрикой. Путь по городу оказался неблизким, и к тому моменту, когда приезжий остановился около нашего дома, чтобы спросить дорогу до фабрики, его сердце было крайне переутомлено. Отказавшись от лекарства, он мгновением позже упал замертво. Уэст, как и следовало ожидать, счел происшедшее даром небес. Из краткого разговора с приезжим он понял, что в Болтоне того никто не знает, а осмотрев карманы трупа, выяснил, что умершего звали Робертом Ливиттом, семьи у него не было, и, следовательно, его исчезновение не повлечет за собой настойчивых розысков. Если этого человека и не удастся вернуть к жизни, никто не узнает о нашем эксперименте — мы просто захороним останки в густом лесу между домом и кладбищем. Если же у нас, напротив, получится его воскресить, мы покроем себя немеркнувшей славой. Поэтому Уэст незамедлительно ввел в запястье покойного состав, призванный предохранить тело от разложения до моего приезда. Тот факт, что у Ливитта, по-видимому, было слабое сердце, на мой взгляд, ставил под вопрос успех нашей затеи, но Уэста это, кажется, не слишком беспокоило. Он надеялся наконец добиться того, что ему не удавалось прежде, — повторно возжечь искру разума и вернуть в мир нормальное живое существо.

Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подвальной лаборатории, взирая на безмолвную белую фигуру, залитую ослепительным светом дуговой лампы. Бальзамирующий состав произвел поистине необыкновенное действие: с изумлением опядев крепкое тело, пролежавшее две недели без каких-либо признаков трупного окоченения, я обернулся к Уэсту, желая услышать подтверждение того, что этот человек действительно мертв. Он с готовностью заверил меня в этом, напомнив, что никогда не применяет оживляющий раствор, не удостоверившись в смерти исходного материала; ибо средство не подействует, если прежняя, естественная жизнь в организме еще не угасла. Уэст занялся подготовительными процедурами, а я пребывал под впечатлением от невероятной сложности нового эксперимента, в силу которой мой друг мог доверить его лишь собственным искусным рукам. Запретив мне даже прикоснуться к телу, он сделал укол в запястье мертвеца,

рядом с тем местом, где еще виднелся след от его шприца с консервирующим веществом. По его словам, эта инъекция должна была нейтрализовать действие консерванта и вернуть организм в обычное состояние, в котором он легко усвоит оживляющий раствор. Через некоторое время, когда по мертвым членам пробежала слабая дрожь и вид их несколько изменился, Уэст с силой прижал к подергивавшемуся лицу что-то вроде подушки и не отнимал до тех пор, пока тело не перестало содрогаться, позволив нам приступить к делу. Бледный, но полный энтузиазма, он для пущей надежности провел еще ряд тестов, остался ими удовлетворен и затем впрыснул в левую руку трупа точно отмеренную дозу жизненного эликсира, который приготовил днем — притом много тщательнее, чем мы привыкли со времен колледжа, когда были неопытны и действовали вслепую. Невозможно описать, с каким волнением мы, затаив дыхание, ожидали результатов эксперимента с нашим первым по-настоящему свежим подопытным — первым, из чьих уст не без основания надеялись услышать разумную речь, возможно, даже рассказ об увиденном за гранью непостижимой бездны.

Уэст был материалистом, не верил в существование души и всю деятельность сознания полагал исключительно телесным феноменом; соответственно, он не ждал никаких откровений об ужасных тайнах бездонных глубин, лежащих за порогом земного бытия. Теоретически я не отрицал его правоты, но вместе с тем во мне жили неясные инстинктивные отголоски примитивной веры моих предков, и потому, глядя на труп, я испытывал некоторый благоговейный трепет и мистические предчувствия. К тому же я не мог изгнать из памяти тот жуткий, нечеловеческий вопль, который мы с Уэстом услышали в ночь нашего первого эксперимента в заброшенном доме на аркхемской ферме.

Очень скоро я понял, что на этот раз попытка воскрешения по крайней мере не обернется провалом. Щеки, прежде белые как мел, окрасились румянцем, который постепенно разлился по всему лицу, покрытому необычайно густой рыжей щетиной. Уэст, державший руку мертвеца, проверяя пульс, внезапно со значением кивнул; и тотчас же зеркальце, поднесенное к губам трупа, затуманилось. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, грудь испытуемого начала вздыматься, и до нас донесся шум его дыхания. Я

глядел на опущенные веки, и вдруг мне показалось, что они встрепенулись. Затем человек открыл глаза — серые, спокойные, живые глаза, в которых, однако, еще отсутствовал проблеск мысли или хотя бы любопытства.

Повинуясь странному капризу, я прошептал в порозовевшее ухо несколько вопросов о других мирах, о которых наш подопытный, быть может, еще хранил воспоминания. Пережитый впоследствии ужас изгнал их из моей памяти, но, думаю, последним, что я спросил, было: «Где вы были?» До сих пор не могу с уверенностью сказать, получил я ответы или нет, ибо ни единого звука не слетело с красиво очерченных губ; но в тот момент я был твердо уверен, что эти тонкие губы беззвучно шевельнулись и в этом движении — если оно вообще имело какой-либо смысл — можно было разобрать слова «только сейчас». Как я уже сказал, в ту минуту меня переполняла уверенность, что великая цель наконец достигнута: возвращенный к жизни человек впервые произнес внятные, вдохновленные разумом слова. Триумф казался неоспоримым, поскольку раствор должным образом выполнил свою задачу и вернул мертвецу — пускай временно — рассудок и членораздельную речь. Но это чувство триумфа сменилось величайшим ужасом — не перед заговорившим покойником, а перед самим деянием, которое мне довелось увидеть, и человеком, с которым оказалась связана моя профессиональная судьба.

Ибо воскрешенный нами безупречно свежий труп, наконец полностью придя в сознание и вспомнив последние минуты своей земной жизни, широко раскрыл глаза и выбросил вперед руки, неистово рубя ими воздух, словно от кого-то отбиваясь; и внезапно, перед тем как вновь, теперь уже безвозвратно, уйти в небытие, он выкрикнул слова, которые и по сей день звучат в моем больном мозгу:

— Помогите! Прочь, проклятый маленький белобрысый изверг, — убери от меня этот чертов шприц!

V

Ужас из тьмы

Со многими людьми на полях мировой войны происходили ужасные вещи, о которых никогда не упоминалось в печати. Некоторые из этих историй заставляли меня терять сознание, другие вызывали приступ мучительной дурноты, прочие же доводили до

дрожи и побуждали бросить взгляд назад, в темноту; однако, какими бы жуткими ни были эти истории, тот шокирующий, невероятный, исходивший из глубин тьмы ужас, который случилось испытать мне, полагаю, не идет ни в какое сравнение с ними.

В 1915 году я служил в чине первого лейтенанта в канадском полку, расквартированном во Фландрии, где исполнял обязанности полкового врача, и был одним из многих американцев, которые вступили в эту масштабную битву раньше своего правительства. Я оказался в армии не по собственной инициативе, а скорее вследствие того, что в ее рядах состоял человек, чьим неизменным помощником я являлся, — знаменитый бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Он мечтал о возможности применить свои профессиональные навыки в условиях большой войны и, когда такой случай представился, увлек меня за собой едва ли не вопреки моей воле. К тому времени у меня уже были причины все сильнее тяготиться совместной медицинской практикой с Уэстом и радоваться возможности расстаться с ним; однако, когда он отправился в Оттаву и благодаря содействию коллеги получил звание майора, я не смог воспротивиться его настойчивым уговорам и согласился сопровождать его в своей обычной роли помощника.

Говоря о стремлении доктора Уэста оказаться на военной службе, я совсем не имел в виду, что ему была свойственна врожденная воинственность или тревога за судьбы цивилизации. Сколько я его знал, этот хрупкий голубоглазый блондин в очках всегда оставался холодной интеллектуальной машиной; полагаю, он украдкой посмеивался над приливами моего воинского энтузиазма и моим негодованием по поводу проводимой Америкой безвольной политики нейтралитета. И вместе с тем на полях сражений Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму, — нечто весьма далекое от потребностей и желаний других людей и связанное с той специфической областью медицины, которую он избрал предметом своих тайных занятий и в которой достиг поразительных и подчас устрашающих результатов. Ему был нужен обильный урожай свежих трупов различной степени расчлененности, не больше и не меньше.

Свежие трупы требовались Герберту Уэсту потому, что делом всей его жизни было воскрешение мертвых. Эта деятельность оставалась

скрытой от той модной клиентуры, у которой он, обосновавшись в Бостоне, стремительно приобрел известность, но была слишком хорошо известна мне, его ближайшему другу и единственному помощнику со времен учебы на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои ужасающие эксперименты — сперва на мелких животных, а потом и на нелегально добытых человеческих трупах. Он вводил им в вены особый раствор, и в тех случаях, когда они обладали необходимой свежестью, реакция на препарат оказывалась поразительной. Уэст долго бился над тем, чтобы отыскать оптимальную формулу раствора, поскольку для каждого биологического вида требовался свой стимулирующий состав. Когда он вспоминал о былых неудачных опытах, о кошмарных созданиях, обязанных своим появлением неверной формуле или недостаточной свежести исходного материала, в его душу закрадывался страх. Несколько монстров осталось в живых: один был заперт в психиатрической лечебнице, другие исчезли, — и, размышляя о возможных, хотя и крайне маловероятных последствиях, к которым могло привести их пребывание на свободе, Уэст нередко, сохраняя видимое спокойствие, внутренне содрогался.

Он довольно скоро установил, что залогом успеха его экспериментов является идеальная сохранность используемого материала, и, дабы заполучить в свое распоряжение мертвые тела, прибег к самым отталкивающим и противоестественным средствам. В колледже и в период нашей совместной практики в фабричном городке Болтоне я относился к нему едва ли не с благоговейным восхищением, но, по мере того как методы его исследований становились все более дерзкими, меня начал точить страх. Мне не нравилось, каким взглядом он окидывает живых и здоровых людей, а затем последовал тот кошмарный опыт, во время которого я узнал, что очередной испытуемый попал в руки Уэста, еще будучи живым. То был первый случай, когда ему удалось пробудить в мертвце способность разумно мыслить; и этот успех, купленный столь отвратительной ценой, вконец ожесточил его.

Не решаюсь рассказывать о методах его работы в последующие пять лет. Я не порывал с ним только из страха и был свидетелем таких зрелищ, которые человеческий язык описать не в силах. Постепенно

Герберт Уэст стал вызывать у меня куда больший ужас, чем все то, что он делал; до меня вдруг дошло, что естественное стремление ученого продлить человеческую жизнь незаметно переродилось в нем в болезненное, омерзительное любопытство, в тайную зачарованность кладбищенской красотой. Его научная увлеченность превратилась в извращенное влечение ко всему отталкивающему и патологическому; он невозмутимо взирал на созданных им чудовищ, при виде которых всякий нормальный человек упал бы замертво от страха и отвращения; за бледным ликом интеллектуала скрывался утонченный Бодлер физического эксперимента, томный Элагабал могил.

Опасности он встречал бесстрастно, преступления совершал хладнокровно. Полагаю, что апофеозом его безумия стал момент, когда он убедился, что может восстановить деятельность разума, и ринулся покорять новые сферы, инициировав опыты по оживлению отдельных частей человеческого тела. Им овладела фантастическая и оригинальная идея независимости жизненных свойств клеток и нервной ткани от естественных физиологических систем, и он добился некоторых первоначальных успехов: используя эмбрионы какой-то неведомой тропической рептилии, он получил из них неумирающую ткань, чья жизнедеятельность поддерживалась искусственным образом. Уэста чрезвычайно волновали два вопроса: во-первых, возможны ли хоть в какой-то степени работа сознания и разумные действия без участия головного мозга, лишь вследствие функционирования спинного мозга и различных нервных центров, и, во-вторых, существует ли какая-то нематериальная, неуловимая связь между отделенными друг от друга частями некогда единого живого организма? Вся эта исследовательская работа требовала огромного количества свежерасчлененной человеческой плоти — именно за ней Герберт Уэст и отправился на войну.

В одну из ночей в конце марта 1915 года в полевом госпитале за расположением наших войск в Сен-Элуа произошло фантастическое, неопишное событие. Даже сейчас я не устаю спрашивать себя, насколько реальным было это дьявольское наваждение. Уэст имел в своем распоряжении лабораторию, предоставленную ему по его личной просьбе для разработки новых радикальных методов лечения увечий, считавшихся неизлечимыми. Лаборатория находилась в восточной части похожего на амбар временного строения; там он и

трудился, словно мясник среди окровавленных туш, сортируя фрагменты тел с легкостью, к которой я так никогда и не смог привыкнуть. Временами он действительно выказывал чудеса хирургического искусства, возвращая к жизни раненых солдат; однако его главные достижения, куда менее филантропического свойства, были скрыты от посторонних глаз. Ему не раз приходилось объясняться по поводу доносившихся из лаборатории звуков, которые казались необычными даже посреди царившей вокруг дьявольской неразберихи. В числе этих звуков были и револьверные выстрелы, раздававшиеся довольно часто; вполне естественные на поле боя, они производили странное впечатление в стенах госпиталя. Но дело в том, что реанимированным образцам доктора Уэста не были суждены долгая жизнь и широкое внимание публики. Кроме человеческой ткани Уэст активно экспериментировал с образцом эмбриональной ткани рептилии, достигнув в этом беспрецедентных успехов. Свойства этой ткани лучше, нежели человеческий материал, подходили для поддержания жизни в отделенных друг от друга органах, и именно она стала главным предметом исследований моего друга. В темном углу лаборатории, над горелкой причудливой формы, выполнявшей роль инкубатора, Уэст разместил вместительный закрытый сосуд с упомянутой клеточной тканью, которая, отвратительно раздуваясь, непрерывно разрасталась и множилась.

В ночь, о которой я рассказываю, в нашем распоряжении оказался превосходный экземпляр — человек физически крепкий и вместе с тем наделенный высокоразвитым интеллектом, свидетельствовавшим об утонченной нервной организации. По иронии судьбы, это был тот самый офицер, который некогда помог Уэсту получить воинское звание и которому теперь предстояло стать нашим подопытным материалом. Более того, в прошлом он тайно изучал — в том числе под руководством Уэста — теорию воскрешения. Состоявший в чине майора сэр Эрик Морленд Клэпхэм-Ли, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», был лучшим хирургом нашей дивизии; когда вести о тяжелых боях в районе Сен-Элуа достигли штаба, майора срочно откомандировали нам в помощь, и он вылетел на аэроплане, которым управлял бесстрашный лейтенант Рональд Хилл. Самолет сбили прямо над местом назначения. Падение было зрелищным и ужасным; труп Хилла, по сути, не подлежал опознанию, а у

талантливого хирурга оказалась почти оторвана голова, тогда как тело не пострадало вовсе. Уэст с жадностью завладел безжизненными останками того, кто когда-то был его другом и коллегой. Меня передернуло, когда он окончательно отделил голову от туловища и, чтобы сохранить ее для будущих опытов, поместил в свой отвратительный сосуд с бесформенной тканью рептилии, после чего занялся обезглавленным телом, лежавшим на операционном столе. Он сделал переливание крови, сшил порванные вены, артерии и нервные волокна на обрубленной шее и скрыл страшную рану куском кожи, взятым у неопознанного трупа в офицерской форме. Я знал, чего он хочет: выяснить, способно ли это высокоорганизованное, но лишившееся головы тело обнаружить какие-либо признаки той умственной деятельности, которая отличала при жизни сэра Эрика Морленда Клэпхэма-Ли. Изучавший некогда теорию воскрешения, майор сам теперь был призван служить ее безмолвным наглядным пособием.

Я как сейчас вижу Герберта Уэста в зловещем свете электрической лампы, вводящего свой живительный раствор в руку безголового трупа. Я не в силах описать обстановку, в которой это происходило; когда я пытаюсь сделать это, мне становится дурно, ибо настоящее безумие царило в этой комнате, наполненной рассортированными частями тел и кусками человеческой плоти, местами по щиколотку покрывавшими скользкий от крови пол, а также чудовищными порождениями ткани рептилии, разросшимися, пузырившимися и кипевшими на тусклом голубовато-зеленом пламени, что разгоняло черные тени в дальнем углу.

Подопытный, как еще раз отметил Уэст, обладал превосходной нервной системой, и от него многого можно было ожидать; при первых же сокращениях мышц мертвеца мой друг, охваченный лихорадочным интересом, изменился в лице. Полагаю, он готовился получить подтверждение своей всевозраставшей вере в то, что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга, что в человеке нет главенствующего, объединяющего начала, что он — всего-навсего механизм, состоящий из множества нервных клеток, каждая часть которого более или менее автономна от остальных. Одним успешным экспериментом Уэст надеялся низвести тайну жизни до уровня устаревшего мифа. Тело вздрагивало все

сильнее, затем мертвец начал приподниматься, и, несмотря на ужас и отвращение, мы не могли оторвать глаз от его беспокойно шевелившихся рук, судорожно вытянутых ног и конвульсивно сокращавшихся мышц. Внезапно обезглавленный труп простер перед собой руки; его жест бесспорно свидетельствовал об отчаянии — осмысленном отчаянии — и наглядно подтверждал все предположения Герберта Уэста. Несомненно, нервы сохранили память о последнем прижизненном действии этого человека — безнадежной попытке выбраться из падавшего самолета.

О том, что произошло дальше, я не могу говорить с абсолютной уверенностью. Не исключено, что это целиком и полностью было галлюцинацией, ставшей следствием шока, в который нас повергло внезапное разрушение здания в результате немецкого артобстрела, — кто может подтвердить или опровергнуть увиденное, если мы с Уэстом являлись единственными свидетелями? Исчезнувший ныне Уэст в то время, когда мы еще были вместе, предпочитал считать это иллюзией, но иногда его одолевали сомнения: казалось странным, что одна и та же иллюзия возникла у нас обоих. Смысл того, что случилось, был куда важнее самих деталей происшествия, которые можно описать всего несколькими словами.

Лежавший на столе труп поднялся и стал наугад шарить руками вокруг себя, а потом до нас донесся некий звук, слишком ужасный, чтобы называть его голосом. Впрочем, ужаснее всего был не тембр и даже не смысл услышанного нами крика: «Прыгай, Рональд, ради всего святого, прыгай!» Ужаснее всего был сам источник звука.

Ибо этот звук исходил из большого крытого сосуда, стоявшего в том мерзком углу, где плавали черные тени.

VI

Легионы смерти

После того как около года назад доктор Герберт Уэст исчез, полиция Бостона учинила мне жесткий допрос. Меня подозревали в сокрытии фактов, а возможно, и в чем-то более серьезном; однако рассказать правду я не мог — ибо в нее никто бы не поверил. Полиции, впрочем, было известно, что деятельность Уэста выходила за общепринятые рамки: его жуткие эксперименты по воскрешению мертвых начались так давно и успели приобрести такой размах, что

соблюдать полную секретность стало уже невозможно. Однако катастрофа, положившая конец его изысканиям, оказалась столь сокрушительной и сопровождалась столь фантастическими и дьявольскими обстоятельствами, что даже я не мог не усомниться в реальности увиденного.

Долгое время я был ближайшим другом и помощником Уэста, единственным человеком, которому он всецело доверял. Мы познакомились много лет назад, будучи студентами медицинского факультета, и мне довелось стать свидетелем и участником его первых ужасающих опытов. Он терпеливо пытался усовершенствовать раствор, который, будучи введен в вены недавно умершего человека, возвращал бы его к жизни; для этой работы в изобилии требовались свежие трупы, что в свою очередь предполагало участие в самых противоестественных занятиях. Еще более шокирующими оказывались результаты большинства наших экспериментов — омерзительные куски мертвой плоти, пробужденные к слепой, тошнотворной, лишенной разума жизни. Для возвращения рассудка были необходимы безупречно свежие образцы, в чьих мозговых клетках еще не начался процесс распада.

Эта потребность в идеально свежих трупах и стала причиной нравственной гибели Уэста. Доставать их было трудно, и в один роковой день он осмелился использовать для своих целей живого, полного сил человека. Борьба, шприц и сильнодействующий алкалоид превратили его в мертвеца необходимой Уэсту кондиции, и эксперимент увенчался кратким, но впечатляющим успехом. Однако сам Уэст вышел из него с омертвелой, опустошенной душой — об этом говорил ожесточенный взгляд, которым он порой оценивающе окидывал окружающих людей, особенно тех, что отличались физической крепостью или утонченной нервной организацией. Со временем я стал смертельно бояться Уэста, ибо он начал посматривать подобным образом и на меня. Люди вокруг, похоже, не замечали его взглядов, но заметили мой страх, который позднее, после исчезновения Уэста, явился поводом для нелепейших подозрений.

На самом деле Уэст был напуган еще больше, чем я, поскольку эти отвратительные исследования вынудили его вести жизнь отшельника и шарахаться от каждой тени. Среди прочего он опасался полиции, но главной причиной его глубокого и смутного беспокойства были те не

поддающиеся описанию существа, которым он даровал противоестественную жизнь и у которых не успел ее отобрать. Как правило, он завершал свои опыты выстрелом из револьвера, но в некоторых случаях проявил недостаточную расторопность. Так было с его первым подопытным, который впоследствии пытался голыми руками разрыть собственную могилу. Так было и с трупом аркхемского профессора, который предался людоедству, после чего был схвачен и помещен неопознанным в сумасшедший дом в Сефтоне, где на протяжении шестнадцати лет бился головой о стены. О других предположительно выживших объектах его опытов говорить сложнее, ибо в последние годы энтузиазм ученого выродился в Уэсте в нездоровую, гротескную манию: он стал применять свое мастерство реаниматора уже не к целым телам, а к отдельным частям тел, иногда соединяя их с тканью других органических форм. Ко времени его исчезновения эти эксперименты сделались настолько омерзительными и жестокими, что я не могу говорить о них даже намеками. Его тяге к подобным занятиям весьма способствовала мировая война, в годы которой мы оба служили фронтowymi хирургами.

Говоря, что страх Уэста перед своими созданиями был смутным, я имел в виду прежде всего сложную природу этого чувства. Отчасти это чувство было вызвано самим фактом существования подобных жутких монстров, отчасти же — сознанием той угрозы, которую они могли в определенных обстоятельствах представлять лично для него. Ужас ситуации усугублялся их исчезновением — Уэсту была известна судьба лишь одного из них, несчастного пациента сумасшедшего дома. Кроме того, существовал и другой, еще более трудноуловимый страх — совершенно фантастическое ощущение, возникшее в результате необычного эксперимента, который Уэст провел, состоя на службе в канадской армии, в 1915 году. В разгар жестокого сражения он вернул к жизни майора Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, кавалера ордена «За выдающиеся заслуги», своего коллегу-врача, который хорошо знал о его опытах и был способен их повторить. У трупа была отсечена голова, что давало возможность подтвердить либо опровергнуть факт присутствия сознательной жизни в самом теле. Эксперимент увенчался успехом за несколько мгновений до того, как здание, где он проводился, было разрушено немецким снарядом: тело

совершило явно осмысленный жест, и, сколь бы невероятным это ни казалось, мы оба услышали звуки членораздельной речи, которые, несомненно, издала отсеченная голова, находившаяся в затененном углу лаборатории. Снаряд пощадил нас, однако Уэст не был полностью уверен, что лишь мы двое выбрались живыми из-под развалин, и не раз высказывал ужасные предположения о том, на что способен обезглавленный врач, умеющий воскрешать мертвых.

Последним местом жительства Уэста стал изящный старинный дом, окна которого выходили на одно из самых первых кладбищ Бостона. Он выбрал это жилище по чисто символическим и эстетическим мотивам — большинство захоронений на кладбище относились к колониальному периоду и, следовательно, были бесполезны для ученого, ставящего опыты на свежих человеческих трупах. В полуподвальном помещении располагалась тайно оборудованная рабочими-иммигрантами лаборатория с огромной кремационной печью, что позволяло хозяину дома надежно и незаметно уничтожать тела, их фрагменты и гротескные гибриды, порожденные его патологическими экспериментами и кощунственными развлечениями. Обустривая этот подвал, рабочие наткнулись на очень древнюю каменную кладку; это был подземный ход, который вел к старому кладбищу, однако он пролегал слишком глубоко, чтобы сообщаться с каким-либо из известных склепов. Проведя некоторые вычисления, Уэст заключил, что этот ход связан с тайником, расположенным под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в котором состоялось в 1768 году. Я присутствовал при осмотре влажных, пропитанных селитрой стен, обнажившихся под ударами лопат и мотыг, и готовился испытать мрачный трепет, который вызывает в нас раскрытие вековых могильных тайн; но впервые природное любопытство Уэста уступило его боязливости, и он изменил своей нездоровой натуре, приказав оставить кладку нетронутой и заново ее оштукатурить. В таком виде, скрытый одной из стен тайной лаборатории, этот ход и пребывал вплоть до той дьявольской ночи, которая оказалась для Уэста последней. Должен уточнить, что, говоря о его нездоровой натуре, я имел в виду исключительно внутренний мир и умственный облик; внешне же он до конца оставался прежним Уэстом: спокойным, хладнокровным, хрупким голубоглазым блондином в очках, над чьим

юношеским обликом, казалось, были не властны ни годы, ни испытания. Он выглядел спокойным, даже когда, вспоминая о разрытой руками могиле, косился через плечо и даже когда задумывался о плотоядном монстре, что царапал и грыз больничные решетки в Сефтоне.

Развязка наступила в один из вечеров, когда мы сидели в нашем общем кабинете и Уэст читал газету, временами поглядывая на меня. Листая мягкие страницы, он наткнулся на странный заголовок — и словно гигантский омерзительный коготь наступил на него по прошествии шестнадцати лет. В сефтонской психиатрической лечебнице, в пятидесяти милях от Бостона, случилось нечто страшное и невероятное, что потрясло тамошних жителей и привело в недоумение местную полицию. Рано утром группа людей в полном молчании зашла на территорию клиники, и грозного вида человек, возглавлявший процессию, разбудил медицинский персонал. Он был одет в военную форму и говорил не разжимая губ, словно чревовещатель, и казалось, что его голос исходит из большого черного ящика, который он держал в руках. Его бесстрастное лицо было ослепительно красивым, но, когда на него упал электрический свет из холла, потрясенный управляющий увидел перед собой восковую маску с глазами из цветного стекла. Очевидно, этот человек стал жертвой какого-то несчастного случая. За ним следом двигался верзила самой отвратительной наружности, чья синюшная физиономия была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал освободить чудовищного людоеда, доставленного в клинику из Аркхема шестнадцать лет назад, и, получив отказ, подал своим спутникам знак, ставший началом жестокой бойни. Изверги избивали, давили и рвали зубами всех, кто не сумел спастись бегством; умертвив четверых, они в конце концов освободили монстра. Те из жертв, которые смогли восстановить подробности инцидента, не впадая в истерику, показали, что нападавшие вели себя не как живые люди, а скорее как бессмысленные автоматы, руководимые своим предводителем с восковым лицом. К тому времени, когда наконец подоспела помощь, незваные гости и безумец, за которым они пришли, исчезли бесследно.

По прочтении этой заметки Уэст погрузился в глубокое оцепенение, из которого его вывел лишь звонок в дверь, раздавшийся

ровно в полночь и чрезвычайно его напугавший. Слуги уже спали наверху, и потому открывать пришлось мне. Как я позднее показал в полиции, на улице не было ни повозок, ни экипажей — только несколько человек странного вида. Они внесли в холл объемный квадратный ящик, и один из них промычал в высшей степени неестественным голосом: «Срочный груз — доставка оплачена». Затем они дерганым шагом вышли наружу и, как мне показалось, свернули в сторону кладбища, к которому примыкала задняя сторона дома. Когда я захлопнул за ними дверь, Уэст спустился на первый этаж и оглядел доставленный груз. На ящике, площадь которого составляла около двух квадратных футов, были написаны имя и нынешний адрес Уэста, а также имя и адрес отправителя: «От Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, Сен-Элуа, Фландрия». Именно там шестью годами ранее воскрешенное тело доктора Клэпхэма-Ли и его отсеченная голова, которая предположительно издала членораздельные звуки, были погребены под развалинами госпиталя, разрушенного прямым попаданием немецкого снаряда.

Уэст в этот момент не выглядел взволнованным — его состояние было много хуже. Он бросил коротко: «Это конец... Но давай сожжем... это». Тревожно прислушиваясь к любому шороху, мы перетасили ящик в лабораторию. Подробностей того, что мы делали, я не помню — можете вообразить, в каком умонастроении я находился; но утверждение, будто я сжег тело Герберта Уэста, — не что иное, как гнусная ложь. Мы общими усилиями засунули деревянный ящик в печь, не решившись открыть его, закрыли дверцу и пустили ток. Из ящика при этом не донеслось ни единого звука.

Уэст первым заметил, как от стены, за которой скрывалась древняя каменная кладка, начала отваливаться штукатурка. Я собрался было бежать, но он остановил меня. Затем я увидел, как в стене возникло маленькое черное отверстие, ощутил мерзкое леденящее дуновение и гнилостный запах могильных недр. В мертвой тишине неожиданно погас электрический свет, и на фоне тусклого мерцания, исходившего из этого адского мира, я увидел силуэты безмолвно трудившихся тварей, которых могло породить только безумие — или нечто худшее, чем безумие. На людей эти существа походили в разной степени — кто полностью, кто наполовину, кто лишь отчасти, а кое-кто не походил вовсе: толпа была невероятно пестрой. Неторопливо, камень

за камнем, они разбирали вековую стену. Затем, когда проем сделался достаточно большим, они друг за другом вошли в лабораторию, ведомые горделивым созданием с прекрасной восковой головой. Следовавшее за ним чудовище с безумными глазами схватило Герберта Уэста, который не сопротивлялся и не издал ни единого звука. После этого они скопом набросились на него и на моих глазах разорвали на части, которые утащили в свое на редкость омерзительное подземное обиталище. Голову Уэста унес их воскоголовый предводитель, облаченный в форму офицера канадской армии. Провожая взглядом этот трофей, я увидел, как голубые глаза моего друга за стеклами очков впервые осветились подлинным чувством — безумным и жутким.

Наутро слуги обнаружили меня лежащим без чувств. Уэст исчез. В кремационной печи нашли только неясного происхождения золу. Детективы учинили мне допрос, но что я мог им сказать? Они не усматривали связи сефтонской трагедии ни с исчезновением Уэста, ни с людьми, доставившими ящик, — более того, они даже не верили в существование этих посыльных. Я упомянул о подземном ходе, но полицейские указали на неповрежденную штукатурку и подняли меня на смех. Тогда я перестал говорить. Они думают, что я или сумасшедший, или убийца, — что ж, возможно, я и в самом деле сошел с ума. Но этого могло бы и не случиться, если бы те проклятые легионы мертвецов не были столь молчаливы.

Любовь до гроба... и после

Иоганн Карл Август Музеус

(1735–1787)

Похищение

Анекдот

Пер. с нем. Л. Бриловой

На берегу речушки Локвиц в Фогтланде, у границы с Тюрингией, расположен замок Лауэнштайн^[52], принадлежавший некогда женскому монастырю, который был разрушен в ходе гуситских войн. Оставшись без хозяев, церковная собственность снова перешла в светские руки, и граф фон Орламюнде, тогдашний владелец вотчины, пожаловал ее в лен своему вассалу, некоему юнкеру^[53], который заново отстроил на руинах монастыря замок и то ли наименовал благоприобретенное имение в свою честь, то ли, наоборот, присвоил себе его название — Лауэнштайн. Вскоре, однако, новым хозяевам пришлось убедиться, что церковное добро в руках мирян процветать не будет и за посягательство на святыни, пусть даже ненасильственное, рано или поздно последует воздаяние.

Праведные монахини, чьи останки уже многие столетия мирно покоились в сумрачном склепе, не могли равнодушно взирать на это святотатство. Трухлявые скелеты пробудились, шумели по ночам в подземелье и бряцали костями, поднимали отчаянный грохот в уцелевшей с прежних времен монастырской галерее. Часто монахини обходили торжественной процессией двор замка, блуждали по покоям и хлопали дверьми, лишая сна хозяина в его покоях. Куролесили они нередко и на чердаке, где ночевали слуги, в хлеву и на конюшне, пугали служанок и устраивали им каверзы, тиранили скот; коровы из-за них переставали доиться, лошади фыркали, вставали на дыбы и разносили стойла.

Чинимые святыми сестрами непотребства и бесконечные измывательства досаждали и людям, и животным; все, от сурового юнкера до свирепого булленбейсера, были близки к отчаянию. Владелец, не жалея никаких затрат, приглашал знаменитейших

заклинателей, чтобы умиротворить своих шумливых соседок и навеки заставить их замолчать. Однако время шло, а самые мощные заклятия, повергавшие в трепет все царство Белиала, и даже кропило, смоченное святой водой (средство, в обычных случаях истребляющее злых духов не менее успешно, чем мухобойка истребляет мух), оставались бессильны против упрямства призрачных амазонок, которые столь решительно отстаивали свои претензии на земли, бывшие некогда монастырской собственностью, что экзорцисты со всем их арсеналом священных реликвий обращались подчас в бесславное бегство с поля боя.

В те времена странствовал, однако, по германским землям некий предшественник Гасснера, занимавшийся тем, что выслеживал ведьм, ловил кобольдов и изгонял злых духов из одержимых; он сумел наконец призвать к порядку полуночных безобразниц и заключить их снова в темный склеп, где им было позволено раскатывать по полу свои черепа и сколько душа пожелает стучать и греметь костями. В замке наступило спокойствие, монахинь заново объял смертный сон; но минуло семь лет, и одно неугомонное привидение встрепенулось вновь. Оно принялось колобродить ночами и бесчинствовать как прежде, пока, утомившись, не дало себе семилетнюю передышку, по истечении которой явилось в замок с новой проверкой. Со временем обитатели замка привыкли к визитам монахини, и челядь, когда наступал срок, вечерами обходила стороной монастырскую галерею и по возможности вообще не покидала своих комнат.

После смерти первого ленника владение перешло к его законным потомкам; наследники мужского пола не переводились в роду вплоть до времен Тридцатилетней войны, когда расцвела его последняя ветвь, на которую природа, казалось, потратила весь остаток своих сил. Телесный материал был отпущен последнему Лауэнштайну в таком изобилии, что в лучшие свои дни суровый юнкер едва ли не сравнялся весом со знаменитым толстяком Францем Финатци^[54] из Пресбурга, объемом же — с упитанным голштинцем по прозвищу Пауль Бутерброд, представленным недавно на обозрение парижских дам, которые с немалым удовольствием ощупывали его налитые ляжки и ручищи. Меж тем юнкер Зигмунд не всегда походил на тыкву; прежде он почитался весьма статным мужчиной, который живет на собственной земле, ни в чем не нуждается, не проматывает

накопленное тароватыми предками наследство, а разумно использует его себе во благо. Как только предыдущий глава рода уступил свое место юнкеру Зигмунду, оставив ему замок Лауэнштайн, наследник, по примеру всех своих предков, вступил в брак; к обязанности продолжить знатный род он относился со всей серьезностью. Не заставил себя ждать и первенец их с супругой союза, оказавшийся, однако, прехорошенькой барышней, после чего фамильное древо уже не плодоносило. Не в меру заботливая жена с таким усердием принялась ублажать аппетит своего повелителя, что все надежды на умножение потомства потонули в его обильном жире. Мать семейства, которой с самого начала супружеской жизни досталась почетная обязанность единолично командовать домашним хозяйством, полностью взяла на себя и воспитание дочери. Чем более отрастал отцов живот, тем менее проявляла себя душа, и в конце концов юнкер полностью утратил интерес ко всему, что нельзя зажарить или сварить.

В круговерти хозяйственных дел заботу о фройляйн Эмилии предоставляли обычно матушке-природе, что отнюдь не шло девочке во вред. Названная тайная мастерица не любит рисковать своим репутацией и если совершает ошибку, то, как правило, умудряется при помощи какого-нибудь ловкого приема ее исправить; в дочери она соразмернее, нежели в отце, сочетала телесные объемы и духовные таланты: Эмилия была и красива, и умна. По мере того как расцветало очарование юной фройляйн, росли и амбиции ее матушки, которая рассчитывала с помощью дочери вернуть угасавшему роду прежний блеск. Эта дама отличалась скрытой гордостью, незаметной в обычной жизни, если не считать особой привязанности к генеалогическому древу, в котором она видела главное украшение своего дома. Во всем Фогтланде одно лишь семейство Ройсс представлялось ей достаточно древним и благородным, чтобы привить к его ветви последний цветок рода Лауэнштайн, и насколько страстно молодые соседи стремились заполучить прекрасную добычу, настолько ловко разбивала их замыслы ее хитроумная матушка. Она сторожила сердце фройляйн с той же бдительностью, с какой сборщик дорожной пошлины следит, чтобы через его заставу не проник контрабандный товар; неизменно отвергала матримониальные

прожекты доброхотных тетушек и кумушек и вознесла свою дочь столь высоко, что ни один юнкер не осмеливался поднять на нее взор.

Покуда девичье сердце не набралось опыта, оно напоминает челн на зеркальной поверхности озера, который покорно слушается весла; но поднимется ветер, суденышко всколыхнут волны — и вот оно уже не повинуется рулевому и следует туда, куда направят его ветер и волны. Послушная Эмилия позволяла вести себя на помочах стезей гордости: ее пока еще наивное сердце легко поддавалось влияниям. Она ждала какого-нибудь принца или графа, который падет жертвой ее чар; на ухаживанья не столь высокородных рыцарей ответом была неприступная холодность. Однако, прежде чем на лауэнштайновскую грацию нашелся достойный претендент, произошло событие, которое заметно поколебало внушенные матушкой матримониальные принципы, вслед за чем оказалось, что все князья и графы в Римской империи германской нации промедлили и сердце фройляйн для них уже потеряно.

В смутные годы Тридцатилетней войны случилось так, что в Фогтланде разместилось на зимние квартиры войско храброго Валленштейна. Во владениях юнкера Зигмунда не переводились непрошенные гости, учинявшие больше бесчинств, чем в свое время призрачные полуночники. Пусть они, в отличие от последних, не заявляли претензий на владение замком, но и прогнать их не мог ни один заклинатель. Владельцы были принуждены делать хорошую мину при плохой игре и всячески угощать и ублажать командиров, дабы они держали своих подчиненных в узде. Пирам и балам не было конца. Первыми заправляла хозяйка дома, вторыми — ее дочь. Роскошное гостеприимство смягчило суровых воинов, они стали почитать дом, столь щедро их принимавший; хозяин и гости были довольны друг другом. Среди сынов Марса имелось немало юных героев, способных совратить с пути истинного сластолюбивую супружницу хромого Вулкана, однако всех их затмевал один. Молодой офицер по прозванию Красавец Фриц походил на увенчанного шлемом бога любви; превосходная внешность его дополнялась приятными манерами. Он был кроток, скромн, любезен, к тому же обладал живым умом и ловко танцевал.

Прежде ни один мужчина не волновал сердце Эмилии, и только этот офицер пробудил в девичьей груди незнакомое чувство,

наполнявшее душу неизъяснимым наслаждением. Удивительным было лишь то, что прельстительный Адонис назывался не Красавцем-графом или Красавцем-принцем, а всего-навсего Красавцем Фрицем. Ближе познакомившись с некоторыми его сослуживцами, она расспрашивала их при случае о фамилии и происхождении молодого человека, но никто не мог ее по этому поводу просветить. Все нахваливали Красавца Фрица как храброго и бравого офицера и приятнейшего из людей, однако с родословной у него, по-видимому, было не все ладно; этот вопрос породил не меньше догадок, чем истинное происхождение и обоснованность амбиций всем известного и все же загадочного графа Калиостро, которого объявляли то отпрыском одного из гроссмейстеров Мальтийского ордена, а с материнской стороны — племянником султана, то сыном какого-то неаполитанского кучера, то родным братом Занновича, предполагаемого албанского принца, а по профессии — то чудотворцем, то изготовителем париков. Но все сходились в том, что Красавец Фриц дослужился при помощи своей пики до звания ротмистра и, если фортуна и дальше будет к нему благосклонна, возвысится в скором будущем до самого блестящего армейского чина.

Фрицу стало известно о расспросах любознательной Эмилии; друзья желали угодить ему этим известием и дополнили последнее всяческими приятными предположениями. Из скромности Фриц отвечал, что не принимает их слова всерьез, однако в глубине души был польщен тем, что барышня проявляет к нему интерес, ведь уже при первом взгляде на Эмилию он испытал восторг, какой обычно предшествует любви.

Не существует языка столь же энергичного и одновременно понятного и определенного, как чувство нежной симпатии; с его помощью переход от первого знакомства к любви происходит гораздо скорее, чем переход от пики к офицерской перевязи. Впрочем, словесное объяснение состоялось не так уж скоро, но, несмотря на это, обе стороны нашли способ поделиться своим умонастроением и понять друг друга; встретившиеся на полпути взгляды высказали все, что осмелилась поведать робкая страсть. Неосторожная мать, поглощенная домашними хлопотами, не вовремя оставила пост часового у сердечных врат любимой дочери, и этим воспользовался ловкий контрабандист Амур, чтобы под покровом сумерек незаметно

туда проникнуть. Утвердившись в сердце фройляйн, он стал учить ее совсем не тому, чему учила матушка. Завзятый ненавистник всяческих условностей, он первым делом освободил свою прилежную ученицу от предрассудка, гласящего, что сладчайшая из страстей должна принимать в расчет происхождение и ранг и что любящих, соответственно, можно классифицировать и разносить по графам таблиц, как дохлых жуков и червей в энтомологической коллекции. Лед сословной гордости растаял в душе девицы столь же быстро, как испаряются под приветными солнечными лучами белые цветы с разрисованного морозным узором стекла. Эмилии сделались не нужны генеалогическое древо возлюбленного и его дворянская грамота; проникшись духом бунтарства, она пришла даже к мысли, что старый добрый обычай, дающий одним сословиям привилегии по сравнению с другими, в делах любви подобен ярму, самым невыносимым образом стесняющему человеческую свободу.

Красавец Фриц проникся к фройляйн пламенным обожанием, а поскольку обстоятельства подсказывали, что любовная удача улыбается ему так же, как военная, он не замедлил при первом удобном случае смело открыть ей свои чувства. Эмилия выслушала любовное признание с краской на щеках, но с затаенной радостью, и преданные сердца, обменявшись клятвами нерушимой верности, слились воедино. В настоящем они были счастливы, но будущее внушало страх. Близилась весна, и героическое воинство должно было вновь перебраться в палатки. Предстоял сбор войск, печальное расставание любящих было не за горами. Следовало серьезно подумать о том, как законным образом оформить свой любовный союз, дабы ничто, кроме смерти, не смогло разлучить их. Фройляйн поведала нареченному жениху о взглядах своей матушки касательно брака; рассчитывать на то, чтобы хоть на йоту поколебать эти взгляды и расположить кичливую женщину к идее брака по любви, никак не приходилось.

Влюбленные перебрали сотню способов убедить матушку и все их забраковали, найдя в каждом существенный изъян, заставляющий усомниться в успехе. Тем временем юный воин удостоверился, что его нареченная невеста пойдет на все ради достижения своей цели, и потому предложил похищение — вернейшую находку, измышленную любовью, дабы переубедить родителей и одолеть их строптивое

упрямство; находку, которая принесла и принесет еще бесчисленное множество удач. Фройляйн без долгих раздумий согласилась. Но прежде чем броситься на шею желанному похитителю, требовалось преодолеть замковые стены и укрепления, а как это сделать? Ведь Эмилия понимала: как только Валленштейнов гарнизон покинет замок, матушка вернется на свой прежний пост и, не спуская с дочери глаз, будет стеречь каждый ее шаг. Однако нет таких трудностей, перед которыми спасовала бы любовная изобретательность. Фройляйн было известно, что ближайшей осенью, в День поминовения усопших, истекает семилетний срок с последнего появления в замке призрачной монахини и, согласно старинному преданию, та должна вернуться. Эмилия знала также, что все живущие в замке отчаянно боятся призрака, а потому ей пришла в голову дерзкая идея: втайне запастись по такому случаю монашеским одеянием, прикинуться призраком и под этим покровом совершить бегство.

Красавца Фрица привела в восторг эта остроумная находка, от радости он даже захолопал в ладоши. В годы Тридцатилетней войны вольнодумство еще не получило широкого распространения, однако юный воин обладал достаточно философским складом ума, чтобы сомневаться в существовании привидений, и, уж во всяком случае, не побоялся бы без долгах размышлений выступить в роли одного из них. Обо всем договорившись, он вскочил в седло, поручил себя защите бога любви и ускакал во главе своего эскадрона. Он смело шел навстречу опасности, но удача не изменила ему в походе: казалось, бог любви услышал просьбу Фрица и взял его под свое покровительство.

Фройляйн Эмилия тем временем пребывала между страхом и надеждой, трепетала за жизнь своего верного Амадиса и всеми способами пыталась узнать, как сложились судьбы недавних гостей замка на поле брани. Слухи об очередной схватке повергали ее в ужас, а ни о чем не подозревавшая матушка объясняла это добротой дочери и ее чувствительным сердцем. Доблестный воин не упускал случая время от времени тайно отправлять возлюбленной через ее преданную горничную письма, в которых описывал свои обстоятельства, и тем же путем получать от нее ответные послания. Когда военная кампания подошла к концу, Фриц занялся подготовкой к условленной тайной экспедиции: приобрел упряжку четырех черноголовых лошадей и

охотничий экипаж и стал следить за календарем, чтобы не пропустить день, в который нужно было явиться в условленное место, а именно в боскет при замке Лауэнштайн.

В День поминовения усопших фройляйн с помощью верной горничной собралась исполнить свой план: сослалась на легкое недомогание, раньше обычного ушла к себе и нарядилась самым милостивым привидением, какое когда-либо пугало земных обитателей. Вечерние часы тянулись, как ей казалось, нескончаемо; с каждым мигмом ее все больше одолевало нетерпение. Между тем замок Лауэнштайн осенила своим бледным желтоватым сиянием молчаливая союзница влюбленных — луна; в ее лучах стихла постепенно дневная суэта, уступив место торжественной тишине. В замке все заснули, за исключением разве что экономки, припозднившейся за сложным подсчетом кухонных расходов, поваренка, получившего задание ошипать к господскому завтраку три десятка жаворонков, привратника, что служил заодно ночным стражником и выкликал часы, и бдительного дворового пса Гектора, который приветствовал лаем лунный восход.

Едва пробил полночь, как храбрая Эмилия, сумевшая заpastись средством, которое затворит все двери в замке, отправилась в путь. Спускаясь тихонько по лестнице в галерею, она заметила, что в кухне все еще горит свет, и постаралась поднять как можно больше шума, бряцая связкой ключей и захлопывая дверцы каминов. Ей удалось без помех открыть дверь дома и калитку в воротах, так как четверо бодрствовавших, заслышав непривычный шум, тотчас приняли его за проказы монахини. Поваренок с перепугу метнулся в кухонный шкаф, экономка — в постель, пес — в будку, привратник — на солому к жене. Фройляйн выбралась на волю и поспешила в рощу, где, как ей почудилось, ее уже ждал экипаж, запряженный быстрыми лошадьми. Лишь вблизи она разглядела, что ее ввела в заблуждение обманчивая тень дерева. Решив, что пропустила из-за этой ошибки условленное место встречи, Эмилия исходила из конца в конец все тропинки, но рыцаря с экипажем нигде не было видно. Пораженная, она не знала, что и думать. Не явиться на условленное randevу — само по себе тяжелая провинность, но в данном случае это означало предательство еще более тяжкое. Эмилия не понимала, что произошло. Целый час она напрасно прождала, дрожа от холода и страха, и потом залилась

слезами. «Ах, изменник насмеялся надо мной, — жаловалась она. — Наверное, его удерживает в своих объятиях какая-нибудь распутница, а о моей верной любви он забыл и думать». При этой мысли в памяти Эмилии вдруг возникло забытое родословное древо, и ей сделалось стыдно оттого, что она унизилась до романа с человеком, не имеющим ни имени, ни понятия о чести. Избавившись от любовного угара, она тут же призвала в советники разум, чтобы уладить последствия своего неосторожного шага, и этот безотказный советчик подсказал верное решение: вернуться в замок и забыть изменника. Первое она осуществила незамедлительно и благополучно, чем очень удивила посвященную во все секреты горничную, которая никак не ожидала вновь увидеть хозяйку в ее спальне. Что касается второго, то об этом Эмилия решила поразмыслить заново и более тщательно.

Между тем человек без имени не был столь виновен, как полагала разгневанная Эмилия. В назначенное время он явился на место свидания. Сердце его было переполнено восторгом, пока он нетерпеливо ожидал минуты, когда сожмет в объятиях сладостный любовный трофей. Незадолго до полуночи он подкрался поближе к замку и стал прислушиваться, не скрипнет ли калитка. Фриц не ожидал, что желанный образ в монашеском одеянии покажется так скоро. Выскочив из укрытия, он со словами: «Поймал, поймал, и впредь уже не отпущу; Ты моя, сердечко мое, а я твой, ты моя, а я твой — телом и душой!» — радостно заключил монахиню в объятия. Ликуя, он отнес прелестную ношу в экипаж и по неровной дороге погнал его через горы и доли. Лошади фыркали и хрипели, трясли гривами; наконец они перестали слушаться удил и понесли. Отлетело колесо, резким толчком кучера выбросило далеко в поле, а лошади с каретой и пассажирами низверглись с кромки глубокого оврага и рухнули вниз. Нежный любовник не понимал, что с ним случилось: все тело ныло, голова трещала, память отшибло при падении. Придя в себя, Фриц не обнаружил своей возлюбленной спутницы. Остаток ночи он провел в том же беспомощном состоянии, а утром его нашли проходившие мимо крестьяне и отнесли в ближайшую деревню.

Экипаж с упряжью погиб, четыре черноголовые лошади сломали себе шеи, но Фрицу было не до этих потерь. Его безумно тревожила судьба Эмилии, он рассылал по всем дорогам людей, чтобы те навели справки, но так ничего и не выяснил. Недоумение разрешилось только

пополуночи. Едва часы пробили двенадцать, распахнулась дверь и в комнату вступила его потерянная спутница, но это была не прелестная Эмилия, а жуткий скелет призрачной монахини. С ужасом осознав свою роковую ошибку, Красавец Фриц покрылся холодным потом, принялся осенять себя крестом и бормотать все заклятия, какие в испуге пришли ему на ум. Монахиню, однако, эти «свят-свят-свят» не смутили, она шагнула к кровати и со словами: «Фридель, Фридель, смирись, я твоя, ты мой, телом и душой!» — погладила своей иссохшей ледяной рукой его цветущую щеку. Еще час Фрицу пришлось выносить эту муку, вслед за чем монахиня исчезла. Платонический флирт стал повторяться каждую ночь, вплоть до возвращения Фрица в Айхсфельд, где он в то время квартировал.

Но и здесь не нашлось ему покоя и отдохновения от любовной страсти призрака, отчего он окончательно впал в тоску и отчаяние. Весь полк, без различия чинов, стал замечать, что с Фрицем творится неладное, и всем достойным сослуживцам было его бесконечно жаль. Никто не знал, что за стих нашел на их доблестного соратника: Фриц помалкивал, не желая, чтобы о его несчастье кто-нибудь узнал. Правда, среди товарищей Красавца Фрица имелся один, кому юноша привык доверяться. Это был старый вахмистр-лейтенант, о котором ходили слухи, будто он сведущ во всевозможных знахарских искусствах — знает забытую тайну, как сделаться неуязвимым, умеет вызывать духов и может раз в день стрелять заговоренной пулей. Умудренный опытом воин принялся ласково, но настойчиво уговаривать приятеля, чтобы тот рассказал про потаенное горе, которое его гнетет. Несчастный заложник любовной страсти, которому уже сделалась не мила жизнь, не выдержал и, взяв с вахмистра клятву молчать, во всем ему исповедался.

— Братишка, только и всего? — отозвался заклинатель со смехом. — Этой беде легко помочь, пойдем-ка ко мне на квартиру.

Он проделал множество таинственных приготовлений, начертил на полу круги и буквы, и вот по зову мастера в темный покой, освещенный лишь тусклым магическим фонарем, явилась, на сей раз в полдень, привычная полуночная гостья. Заклинатель сурово отчитал ее за непотребство и назначил ей для пребывания ивовое дупло в одной уединенной долине, с наказом отбыть на сей Патмос незамедлительно.

Дух исчез, но в тот же миг задул ураганный ветер, от которого все в городе пришло в движение. Существовал, однако, старый благочестивый обычай: при сильном ветре двенадцать избранных бюргеров тут же садились в седла и торжественной кавалькадой следовали по улицам с покаянным песнопением, долженствующим заклясть непогоду^[55]. Стоило городу выслать в путь двенадцать апостолов в добрых сапогах и на добрых конях, как завывания урагана смолкли; призрака больше никто не видел.

Доблестный воин ничуть не сомневался, что чертова кутерьма была посягательством на его бедную душу, и потому безмерно обрадовался, избавившись от духа-мучителя. Ему снова пришлось отправиться с войском грозного Валленштейна на войну, в далекую Померанию, где он участвовал в трех кампаниях, не имея никаких известий от прелестной Эмилии, и выказал такую доблесть, что возвратился в Богемию уже во главе полка. Когда Фриц достиг Фогтланда и завидел замок Лауэнштайн, сердце у него заколотилось в тревоге: он не знал, осталась ли возлюбленная ему верна. Он велел доложить о себе как о старинном друге дома, не присовокупив никаких уточнений, и, согласно обычаям гостеприимства, двери перед ним тут же распахнулись. Как же всполошилась Эмилия, когда порог комнаты переступил предполагаемый изменник, Красавец Фриц! Нежная ее душа разрывалась между радостью и гневом. Она решила не удостаивать Фрица благосклонным взглядом своих прекрасных глаз, но каких усилий стоило ей их обуздать! Три года она не переставала задавать себе вопрос, следует ли забыть своего безымянного возлюбленного, нарушившего, судя по всему, обет верности, и именно поэтому постоянно держала его в мыслях. Перед ее взором вечно стоял его образ, а особым покровителем Фрица оказался бог Морфей: с тех пор как возлюбленный скрылся из виду, Эмилия потеряла счет снам, в которых он представлял невинным или заслуживающим прощения.

Статный полковник, чье почетное повышение в чине несколько поколебало строгие принципы хозяйки дома, скоро нашел случай поговорить с Эмилией наедине и проверить, так ли она холодна, как кажется. Он поведал ей о страшном приключении, к которому привела попытка бегства, а Эмилия чистосердечно призналась в том, что подозревала его в измене. Любящие сошлись на том, что пора

расширить круг тех, кто посвящен в их тайну, включив в него матушку Эмилии.

Достойная дама была одинаково ошеломлена как открытием потаенной сердечной привязанности хитрой Эмилии, так и *species facti*^[56] неудавшегося похищения. Она признала, что их любовь прошла через суровое испытание, и единственным, что ее отталкивало, оставалось отсутствие имени. Однако, услышав от дочери, что гораздо разумней избрать в женихи мужчину без имени, нежели имя без мужчины, мать не нашла что возразить против этого аргумента. А поскольку никакого графа она до сих пор не присмотрела, а тайный контракт возлюбленных уже созрел для подписания, материнское благословение было дано. Красавец Фриц обнял свою прелестную невесту, церемония бракосочетания прошла безоблачно, и протеста со стороны призрачной монахини не последовало.

Вашингтон Ирвинг

(1783–1859)

Жених-призрак

Рассказ путешественника

Пер. с англ. А. Бобовича

*Тот, для кого весь в яствах стол стоит,
Тот, мне сказали, недвижим лежит!
Вчера при мне он в горнице прилег,
А нынче стлал ему седой клинок.*

*Сэр Эджер, сэр Грэм и сэр Грей-
Стил*

На вершине одного из нагорий Оденвальда, дикой и романтической области в южной части Германии, лежащей близ слияния Майна и Рейна, в давние-давние годы стоял замок барона фон Ландсхорта. Теперь он пришел в совершенный упадок, и его развалины почти полностью скрыты от взоров буковыми деревьями и темными соснами, над которыми, впрочем, еще и поныне можно видеть сторожевую башню, стремящуюся, подобно своему бывшему владельцу — его имя я назвал выше, — высоко держать голову и поглядывать сверху вниз на окрестные земли.

Барон был последним отпрыском великого рода Каценеленбоген^[57] и унаследовал от предков остатки угодий и их тщеславие. Хотя воинственные наклонности предшественников барона и нанесли непоправимый урон фамильным владениям, он тем не менее старался поддерживать видимость бывшего величия. Времена были мирные, и германская знать, покидая свои уютные замки, прилепившиеся к горам, точно орлиные гнезда, строила себе более удобные резиденции в плодородных долинах. Барон, однако, гордо отсиживался наверху, в своей маленькой крепости, поддерживая с наследственным упорством старые родовые распри и вражду,

завещанную ему прапрадедами, и находясь по этой причине в дурных отношениях с некоторыми из своих ближайших соседей.

Барон был отцом единственной дочери; когда природа дарует родителям единственное дитя, она всегда сторицей вознаграждает их за это ограничение, создавая настоящее чудо, — и так было с баронской дочерью. Нянюшки, кумушки и окрестные родичи уверяли отца, что такой красавицы не найти в целой Германии, а кому же лучше знать о таких вещах, как не им? К тому же она выросла под неусыпным наблюдением двух незамужних тетюшек, проводших некогда, в дни своей молодости, несколько лет при одном крошечном немецком дворе и отлично осведомленных во всем, что требуется для воспитания знатной дамы. Следуя их указаниям, она превратилась в верх совершенства. К восемнадцати годам она научилась восхитительно вышивать и изобразила на коврах целые жития святых, причем выражение их лиц было до того непреклонным и строгим, что они скорее походили на души чистилища. Она могла также почти свободно читать и разобрала по складам несколько церковных легенд и почти всю «Книгу героев» с ее нескончаемыми чудесами и подвигами. Она сделала значительные успехи даже в письме: умела подписать свое имя, не пропустив ни единой буквы и так разборчиво, что тетюшки читали ее подпись, не прибегая к очкам. Она преуспевала и в рукоделии, снабжая дом изящными дамскими безделками всякого рода; была искусна в самых сложных новейших танцах, наигрывала на арфе и гитаре немало романсов и песен и знала наизусть все трогательные баллады миннезингеров.

Ее тетюшки — в дни молодости ужасные кокетки и ветреницы — были, можно сказать, предназначены к роли бдительных стражей и строгих судей поведения своей юной племянницы, ибо нет более чопорных и неумолимых дуэний, чем состарившиеся кокетки. За редкими исключениями она всегда находилась у них на виду: она никогда не выходила из замка без большой свиты или, вернее, охраны, и ей постоянно внушали правила благопристойности и беспрекословного послушания; а что касается мужчин, то — боже милостивый! — ее научили держать их на таком почтительном расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего дозволения она не посмела бы взглянуть и на самого

красивого кавалера в мире — да-да! — не посмела бы, умирай он даже у ее ног.

Прекрасные результаты такой системы были разительны и очевидны. Молодая девушка могла служить образцом послушания и благонравия. В то время как ее сверстницы растрачивали свое девическое очарование среди мирской сумятицы и мишуры, так что нежный цветок его мог быть сорван и потом выброшен какой-нибудь безжалостною рукой, она застенчиво и целомудренно, как роза между шипами-телохранителями, расцветала под бдительным оком добродетельных старых дев и превратилась наконец в прелестную девушку. Тетушки поглядывали на нее с гордостью и торжеством, похваляясь, что, хотя всем другим юным девам на свете недолго споткнуться, с наследницей рода Каценеленбоген, благодарение небу, ничего подобного случиться не может.

Хотя барону Ландсхорту и не посчастливилось быть отцом многих детей, все же за его стол садилась куча народу, так как судьба с избытком наградила его бедными родственниками. Все они как один обладали характером пылким и привязчивым, что вообще свойственно небогатой родне: все обожали барона и пользовались любым подходящим случаем, чтобы налетать к нему целыми стаями и оживлять своим присутствием замок. Свои семейные торжества эти славные люди неизменно справляли на счет барона и, угостившись властью, уверяли, будто на всей земле нет ничего упоительнее, чем эти семейные встречи, чем эти праздники сердца.

Несмотря на свой малый рост, барон обладал великой душой, и она пыжилась от удовольствия, сознавая, что в окружающем его крошечном мире ему принадлежит первое место. Он любил растекаться в длинных-предлинных рассказах о доблестных воинах доброго старого времени, чьи портреты хмуро глядели со стен, и нигде он не находил таких внимательных слушателей, как среди тех, кто кормился на его счет. Он всею душою тянулся к чудесному и безоговорочно верил бесконечным легендам и сагам, которыми в Германии славится любая гора и долина. Его гости были, впрочем, еще простодушней и слушали эти рассказы с широко раскрытыми глазами и ртами, причем никогда не забывали выразить свое изумление, хотя бы им в сотый раз приходилось выслушивать то же самое.

Так вот и жил барон фон Ландсхорт, оракул у себя за столом, абсолютный монарх в пределах принадлежавшей ему небольшой территории и, что существеннее всего, счастливцев, глубоко убежденный в том, что он — мудрейший человек своего века.

В момент, с которого, собственно, и начинается моя повесть, в замке происходило очередное сборище родственников, съехавшихся на этот раз по исключительно важному поводу: предстояло встретить жениха, избранного бароном для дочери. Между отцом невесты и одним престарелым дворянином-баварцем было достигнуто соглашение, ставившее своею целью объединить славу их благородных имен заключением брака между детьми. Предварительные переговоры протекали со всеми подобающими формальностями. Молодые люди были помолвлены, ни разу не повидав друг друга; уже был назначен день свадьбы. Молодой граф фон Альтенбург был вызван с этой целью из армии и в данное время находился в пути, направляясь в замок барона, чтобы тот передал ему из рук в руки невесту. Задержавшись по непредвиденным обстоятельствам в Вюрцбурге, он прислал оттуда письмо с указанием дня и часа своего прибытия.

В замке начались оживленные приготовления к приему долгожданного гостя. Прекрасную невесту наряжали с необычайной тщательностью. Тетушки, которым принадлежала верховная власть во всем, что касалось ее туалета, из-за каждой принадлежности ее свадебного наряда спорили целое утро. Используя их распрю, молодая девушка последовала указаниям своего вкуса, который, по счастью, оказался хорош. Она была так прелестна, как только мог пожелать юный жених. Тревога ожидания делала ее еще привлекательней.

Краска румянца, вспыхивавшая на ее лице и на шее, учащенное дыхание, колыхавшее грудь, глаза, время от времени погружавшиеся в задумчивость, — все свидетельствовало о нежном волнении, царившем в ее сердечке. Подле нее неизменно продолжали свои хлопоты тетушки, ибо незамужние тетушки проявляют особенный интерес к делам этого рода. Они преподали ей целую кучу благоразумных советов, наставляя ее, как держаться, что говорить и каким образом встретить своего суженого.

Барон был не меньше других занят приготовлениями. Сказать по правде, его вмешательство вовсе не требовалось, но этот живой, суеуелный от природы маленький человек не мог оставаться бездеятельным среди царившей вокруг суматохи. С невероятно озабоченным видом метался он по всему замку, непрерывно отрывая слуг от работы и увещевая их проявить как можно больше усердия; его жужжание, доносившееся из всех зал и комнат, было столь же докучливо и неутомомно, как жужжание большой синей мухи в разгар знойного летнего дня.

Между тем зарезали заранее откормленного теленка, леса огласились гиканьем охотников, кухня была завалена отменной провизией, из подвала извлекались целые океаны рейнвейна и ферневейна, даже на большую гейдельбергскую бочку была наложена некая контрибуция. Все было готово к приему бесценного гостя с обычным для немцев веселым и шумным гостеприимством. А гостя все нет как нет: он запаздывал. Час проходил за часом. Солнце, еще недавно освещавшее своими косыми лучами могучие леса Оденвальда, теперь золотило уже только самую кромку горных вершин. Барон поднялся на свою самую высокую башню и напрягал зрение в надежде увидеть где-нибудь в отдалении графа и его спутников. Однажды ему показалось, будто он уже видит их; из долины послышался звук рога, подхваченный горным эхом. Далеко-далеко внизу можно было различить всадников, медленно подвигавшихся по дороге; почти достигнув подножья горы, они внезапно повернули и поскакали в другом направлении. Угасли последние лучи солнца; дорогу уже едва можно было различить, на ней не было никого, кроме крестьян, устало тащившихся по домам после дневных трудов.

В те самые часы, когда старинный замок Ландсхорт пребывал в тревоге и беспокойстве, тут же, в Оденвальде, но несколько в стороне, произошло событие большой важности.

Молодой граф фон Альтенбург безмятежно совершал свой путь той легкой размеренной рысью, какая подобает человеку, едущему жениться и знающему, что благодаря заботам друзей он избавлен от хлопот и сомнений в исходе своего сватовства и его ждет невеста — ждет так же несомненно, как по окончании томительного пути его несомненно ожидает обед. В Вюрцбурге он встретился с товарищем

по оружию, некоторое время служившим вместе с ним на границе. Это был Герман фон Штаркенфауст, славившийся среди немецкого рыцарства необычайной силой и благороднейшим сердцем. Он возвращался ныне из армии. Замок его отца находился неподалеку от старинной крепости Ландсхорт, но обе семьи издавна враждовали между собою и никогда не общались. Обрадованные неожиданной встречей, молодые люди повели речь о своих успехах и похождениях, и граф среди прочего сообщил также историю своей предстоящей женитьбы на девушке, которой он никогда не видал, но которую ему описали как редкостную красавицу.

Так как друзьям предстояло ехать в одном направлении, они решили проделать остаток пути сообща и, не желая торопиться, выехали на рассвете из Вюрцбурга, причем граф велел своей свите последовать за ним несколько позже и в дороге нагнать его.

Они коротали путь в воспоминаниях об эпизодах боевой жизни и былых похождениях; впрочем, граф, рискуя наскучить собеседнику, снова и снова принимался описывать прославленную красоту своей нареченной невесты и говорить о счастье, которое его ожидает.

Беседуя таким образом, они начали подниматься на один из самых глухих и лесистых перевалов Оденвальда. Известно, что леса Германии всегда так же кишмя кишели разбойниками, как замки ее — нечистою силой; в то время, о котором здесь повествуется, число первых еще более возросло за счет беглых солдат, слонявшихся по стране. Никто поэтому не увидит ничего необычайного в том, что наши всадники подверглись в лесной глуши неожиданному нападению шайки этих бродяг. Они доблестно защищались, но их силы были уже на исходе, когда на выручку к ним подоспела графская свита. При виде ее разбойники разбежались, успев нанести графу смертельную рану. Медленно и бережно доставили его назад в Вюрцбург; из соседнего монастыря был вызван монах, славившийся своим умением врачевать с равным успехом и тело, и душу: впрочем, первое искусство оказалось излишним — часы несчастного графа были уже сочтены.

Перед смертью, изнемогая от удушья, он попросил своего друга немедленно отправиться в замок Ландсхорт и объяснить роковую причину, из-за которой он не мог явиться к невесте в назначенный срок. Не будучи чересчур страстно влюблен, он был человеком в

высшей степени аккуратным, и теперь, видимо, его очень заботило, чтобы это поручение было быстро и деликатно исполнено. «Если это не будет сделано, — сказал он, — я не смогу спать спокойно в могиле». Он произнес эти слова с особой торжественностью. Просьбу умирающего, высказанную при столь трагических обстоятельствах, следовало уважить. Штаркенфауст постарался его успокоить: он обещал в точности выполнить его волю и в подтверждение своих слов протянул ему руку. Умирающий пожал ее в знак благодарности и вскоре после этого впал в беспамятство. В бреду он говорил о невесте, о своих обязательствах перед нею, о данном им слове, требовал, чтобы к нему подвели коня, на котором он сейчас же поскачет в замок Ландсхорт, и скончался, воображая, будто садится в седло.

Штаркенфауст вздохнул о безвременно погибшем товарище, смахнул с глаз скупую слезу солдата и предался размышлениям о весьма неприятной миссии, выпавшей на его долю. Он брался за нее с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, ибо ему предстояло явиться незванным гостем к тем, кто считал его своим кровным врагом, и омрачить их празднество роковым для их радужных упований известием. Впрочем, в душе его пробудилось известное любопытство, и ему захотелось взглянуть на прославленную красавицу Каценеленбоген, столь ревниво скрываемую от света. Нужно сказать, что он принадлежал к числу страстных поклонников прекрасного пола, к тому же ему были свойственны эксцентричность и предприимчивость, так что любое приключение увлекало его до безумия.

Перед тем как покинуть Вюрцбург, он заключил с монастырской братией необходимое соглашение о погребальных обрядах над его другом, которого решено было похоронить в местном соборе, рядом с его славными родичами; глубоко опечаленная графская свита взяла на себя заботу о его бранных останках.

Однако пора возвратиться к древнему роду Каценеленбоген, члены которого, нетерпеливо ожидавшие гостя, еще нетерпеливее ждали обеда, а также к достойному маленькому барону; мы оставили его в час вечерней прохлады на сторожевой башне замка.

Спустилась ночь, но гостя все не было. Барон сошел с башни в отчаянии. Обед, который откладывался с часу на час, дольше не терпел отлагательства. Мясные кушанья перепрели, повар выходил из

себя, гости своим видом напоминали гарнизон крепости, вынужденной капитулировать из-за голода. Барону волей-неволей пришлось распорядиться подавать на стол, несмотря на отсутствие жениха. Но как раз в ту минуту, когда все, усевшись уже по местам, готовились приступить к долгожданному пиру, звук рога, раздавшийся у ворот, возвестил о прибытии путника. Еще раз протяжно протрубил рог, и старые дворы замка наполнились эхом. Стража подала со стены ответ. Барон заторопился навстречу своему нареченному зятю.

Спустили подъемный мост, путник подъехал к воротам. Это был рослый красивый всадник на вороном скакуне. Лицо его покрывала бледность, глаза горели романтическим блеском, на всем его облике лежала печать благородной грусти. Барон был слегка обижен, что гость приехал один, без подобавшей случаю пышности. На какое-то (правда, очень короткое) время он почувствовал себя оскорбленным и готов был рассматривать этот факт как недостаток уважения к столь значительному событию в жизни столь значительного семейства, с которым гость должен был породниться. Впрочем, он тотчас же успокоился и решил, что причина всему — нетерпение молодости, побудившее жениха опередить свою свиту.

— Я весьма сожалею, — начал путник, — что врываюсь к вам в столь неподходящее время...

Тут барон прервал новоприбывшего рыцаря, обратившись к нему с бесчисленными приветствиями и поздравлениями, ибо, надо сказать, он всегда гордился своею любезностью и своим красноречием. Гость попытался было два или три остановить поток его слов, но это оказалось тщетной попыткой, и ему пришлось склонить голову и предоставить барону свободу действий. Между тем барон сделал первую паузу только тогда, когда они прошли во внутренний двор; здесь путник снова попытался заговорить, но его намерению помешало появление женской половины семьи с оробевшей и зарумянившейся невестой.

Он взглянул на нее и замер как зачарованный; казалось, что в его взгляде пылает душа и что его навеки приковал к себе ее милый девический образ. Одна из ее незамужних тетушек шепнула ей что-то на ухо, девушка сделала усилие, чтобы заговорить; она робко подняла свои влажные голубые глаза, бросила застенчивый и в то же время

пытливый взгляд на незнакомого рыцаря и тотчас же отвела его. Она не вымолвила ни слова, но на устах ее заиграла улыбка, на щеках появились легкие ямочки — и это доказывало, что она отнюдь не разочарована. Впрочем, было бы странно, если бы столь изящный и привлекательный кавалер не пришелся по сердцу восемнадцатилетней девице, созданной для любви и замужества.

Поздний час исключал возможность немедленного открытия переговоров. Барон был по-прежнему неумолимо любезен и, отложив беседу делового характера до утра, повел гостя к еще не тронутому столу.

Он был накрыт в большом зале. На стенах висели портреты суровых, с грубыми и резкими чертами лица, героев рода Каценеленбоген, а также трофеи, добытые ими на полях сражений и на охоте. Нагрудники с прогибами от ударов, сломанные турнирные копья, изорванные в клочья знамена и тут же рядом — добыча лесных боев: волчьи пасти и кабаньи клыки, грозно скалившиеся среди самострелов и бердышей, огромные рога матерого оленя, разветвлявшиеся прямо над головой юного жениха.

Впрочем, рыцарь, похоже, не замечал ни окружавшего его общества, ни обильного угощения. Он едва прикоснулся к еде и, казалось, был всецело поглощен своею невестой. Он говорил совсем тихо, чтобы его не могли слышать соседи, ибо любовь никогда не говорит полным голосом; но разве существует на свете столь нечуткое женское ухо, которое не уловило бы самого невнятного шепота, если он исходит из уст возлюбленного? В его манере говорить сочетались сдержанность и неясность, что, видимо, производило на девушку сильное впечатление. Она слушала его с глубоким вниманием, и на щеках ее то вспыхивала, то угасала краска румянца. Время от времени она стыдливо отвечала ему на вопросы, а когда он отводил глаза в сторону, решалась украдкой бросить взгляд на его романтическое лицо и неслышно вздохнуть от избытка счастья и нежности. Было очевидно, что молодые люди влюбились друг в друга. Тетушки — а кому, как не им, знать толк в сердечных делах? — решительно заявили, что и он, и она прониклись любовью с первого взгляда.

Ужин протекал весело или, во всяком случае, шумно, ибо гости были счастливыми обладателями того благословенного аппетита, который сопутствует пустым кошелькам и горному воздуху. Барон

рассказывал самые лучшие и самые длинные из своих историй, и никогда он не рассказывал их так хорошо, или, по крайней мере, с бóльшим эффектом. Если в них попадалось что-нибудь сверхъестественное, его слушатели тотчас же начинали охать и ахать, если фривольное — хохотали, и притом в самом что ни на есть нужном месте. Барон, надо признаться, подобно большинству великих людей, был до того преисполнен сознания собственного достоинства, что никогда не снисходил ни до какой иной шутки, кроме разве что в высшей степени плоской. Но она неизменно подкреплялась бокалом отличного хокхеймера; а когда стол уставлен веселым старым вином, самая плоская шутка хозяина становится неотразимой. Много всякой всячины было выложено другими — не такими богатыми, зато более смелыми остряками; остроты их, впрочем, неповторимы, и воспроизвести их можно было бы, пожалуй, лишь в сходных условиях; много лукавых речей, сказанных на ушко женщинам, заставили их корчиться от еле сдерживаемого смеха, а один бедный, веселый и круглолицый кузен проревел несколько песенок, заставивших девственных тетушек укрыться за веерами.

Среди этого шумного пиршества молодой рыцарь сохранял какую-то совершенно особенную и неуместную тут серьезность. На его лице все явственней проступало выражение глубокой подавленности; по-видимому, как это ни странно, остроты барона еще больше усугубляли его тоску. Порой он впадал в задумчивость, а порой, напротив, глаза его беспокойно и безостановочно блуждали, выдавая, что ему как-то не по себе. Его беседа с невестой становилась все серьезнее и загадочнее; на ее чистом, безмятежном челе стало собираться хмурое облачко, по ее чувствительному, нежному телу время от времени пробегала легкая дрожь.

Все это не могло ускользнуть от внимания окружающих. Их веселье был отравлено непонятною мрачностью жениха; она проникала в их души. Они начали перешептываться, обмениваться тревожными взглядами, пожимать плечами и покачивать головой. Песни и смех стали раздаваться все реже; все чаще общую беседу прерывали зловещие паузы; вслед за ними потянулись диковинные истории и повествования о сверхъестественном. Один страшный рассказ влек за собою другие, еще более страшные. Наконец барон довел нескольких дам почти до истерики своей повестью о всаднике-

призраке, похитившем прекрасную Ленору, — эта жуткая, но правдивая история переложена была впоследствии в великолепные стихи и обошла в таком виде весь мир.

Жених выслушал повесть с глубоким вниманием. Он устремил на барона пристальный взгляд и, когда рассказ подошел к развязке, начал медленно подниматься с места; он становился все выше и выше, и замороженному взору барона почудилось, будто он превратился чуть ли не в великана. Как только повесть была закончена, рыцарь тяжело вздохнул и торжественно попрощался с присутствующими. Все были изумлены. Барона, казалось, поразил гром.

Как? Покинуть замок в полночный час! Но ведь все готово к его приему; если ему желательно отдохнуть, то его ожидает опочивальня.

Гость мрачно и загадочно покачал головой.

— Этой ночью, — сказал он, — этой ночью мне надлежит почивать в другом месте.

В ответе и в тоне голоса говорившего заключалось нечто, от чего сердце барона сжалось; он собрался, однако, с духом и повторил свое гостеприимное приглашение.

Гость молчаливо, но решительно отклонил его просьбу, махнул на прощанье рукой и медленно направился к выходу.

Тетушки просто окаменели; невеста опустила головку, в ее глазах заблестели слезы.

Барон последовал за своим гостем; они вышли на главный замковый двор, где, роя копытом землю и нетерпеливо пофыркивая, стоял вороной скакун жениха. Дойдя до ворот, глубокую арку которых тускло освещал факел, гость на мгновение остановился и глухим, мертвенным голосом, приобретающим под сводами еще более замогильный оттенок, сказал:

— Теперь, когда мы одни, я могу объяснить причину моего отъезда. Я связан священным, нерушимым обязательством...

— Но почему же, — прервал барон, — вам не послать кого-нибудь вместо себя?

— Заменить меня не может никто... я должен явиться лично... мне нужно вернуться в Вюрцбург, в собор...

— Если так, — сказал воспрянувший духом барон, — почему же не сделать этого завтра? Завтра вы повезете с собою невесту.

— Нет! Нет! — воскликнул гость намного торжественней. — Мои обязательства совершенно иного рода... и невеста тут ни при чем... Черви, черви ожидают меня. Я — мертвец... меня убили разбойники... мое тело покоится в Вюрцбурге... в полночь меня предадут погребению... меня ждет могила... я обязан явиться в назначенное мне место.

С этими словами он вскочил на своего скакуна, вихрем пронесся по подъемному мосту, и топот конских копыт затих в завываниях порывов ночного ветра.

Возвратившись в зал в состоянии крайней растерянности, барон рассказал обо всем происшедшем. С двумя дамами приключился самый что ни на есть настоящий обморок, остальные похолодели от ужаса при мысли о том, что они пировали с призраком. Одни высказались в том смысле, что это был, наверное, дикий охотник, которому принадлежит столь видное место в германских поверьях, тогда как другие толковали о горных духах, леших и иных сверхъестественных существах, с незапамятных времен неотступно преследующих славный немецкий народ. Один из бедных родственников отважился намекнуть, что это просто-напросто забавная выходка юного кавалера и что самая мрачность его причуды вполне согласуется с глубоко меланхолическим обликом юноши. Это предположение, однако, навлекло на смельчака негодование всего общества, в особенности барона, смерившего его таким взглядом, как если б он был псом неверующим, так что гостю пришлось поскорей отречься от своих еретических мыслей и вернуться в лоно истинной веры.

Но каковы бы ни были возникшие сомнения, на следующий день они разрешились, так как прибыло доставленное гонцом послание, подтвердившее сведения об убийстве юного графа и о его погребении в соборе города Вюрцбурга.

Легко представить себе, какой ужас охватил обитателей замка. Барон заперся у себя. Гости, прибывшие для того, чтобы разделить его радость, не могли, конечно, покинуть его в беде. Они слонялись по двору или собирались кучками в зале, покачивали головой, пожимали плечами, ужасаясь несчастьем, свалившемся на столь достойного человека, а потом сидели за столом дольше обычного и с еще большим рвением, чем обычно, ели и пили, дабы поддержать в себе

бодрость духа. Но наиболее горестным было, несомненно, положение овдовевшей невесты. Потерять супруга, прежде чем она успела обнять его, и притом... какого супруга! Ведь если призрак его обладает таким изяществом и благородством, то чем был бы живой жених! Своими жалобами она наполняла весь дом.

На вторые сутки своего вдовства она отправилась почивать к себе в комнату в сопровождении тетушки, пожелавшей провести ночь вместе с нею. Тетушка — одна из лучших на всей немецкой земле рассказчиц историй с участием привидений — долго тянула какую-то длинную-предлинную повесть и заснула на середине ее. Комната была уединенная и выходила окнами в небольшой сад. Племянница не спала; она задумчиво глядела, как лучи восходящей луны трепетали на листьях осины у самого переплета оконной рамы. Башенные часы только что пробили полночь, как вдруг из сада полились нежные, мелодичные звуки.

Девушка поспешно встала с постели и бесшумно скользнула к окну. В тени деревьев виднелась высокая мужская фигура. Когда незнакомец поднял голову, его лицо осветил лунный луч. О небо! Пред нею стоял жених-призрак... В то же мгновение за нею раздался пронзительный крик: тетушка, которую разбудила музыка и которая тихонько последовала за своей юной племянницей, упала на ее руки. Когда девушка снова посмотрела в окно, призрака в саду уже не было.

Оказалось, что из этих двух представительниц прекрасного пола в уходе и попечении нуждается главным образом тетушка, ибо со страху она окончательно потеряла голову. Что же до юной невесты, то даже призрак ее возлюбленного — и тот казался ей милым. В нем заключалось, как-никак, какое-то подобие мужской красоты, и хотя тень мужчины едва ли способна удовлетворить пылкие чувства жаждущей любви девушки, но раз нет ничего посущественнее, то и в ней можно найти чуточку утешения. Тетушка заявила, что не станет спать в этой комнате; в свою очередь, и племянница, впервые в жизни выказав непослушание, столь же решительно заявила, что не станет спать ни в каком другом помещении замка, из чего последовал вывод, что ей придется спать в одиночестве. При этом она взяла с тетушки обещание не разглашать истории с призраком и не лишать ее последней оставшейся ей на земле горькой отрады, а именно занимать комнату, у которой тень ее милого выстаивает ночами на страже.

Как долго могла бы держать свое слово добрая старая дама, сказать невозможно, — она обожала тараторить про всякие чудеса, и, если бы ей удалось раньше других рассказать об этой жуткой истории, ее ожидал бы настоящий триумф. Впрочем, в этих местах еще и поныне в качестве достопамятного примера упорства, с каким женщины способны хранить в себе тайну, ссылаются на то обстоятельство, что тетушка боролась с искушением в течение целой недели, пока как-то за утренним завтраком с нее не были сняты дальнейшие ограничения, ибо обнаружилось, что юная дева бесследно исчезла. Ее комната была пуста, постель не смята, окно раскрыто — птичка упорхнула!

Изумление и тревогу, порожденные этим известием, могут вообразить только те, кто когда-либо присутствовал при суматохе, которую несчастья великого человека вызывают между его друзьями. Даже бедные родственники — и те прервали на время свои неутомимые труды за уставленным снедью столом. Вдруг тетушка, которая в первую минуту потеряла дар речи, всплеснула руками и вскрикнула:

— Призрак... призрак... ее унес призрак!

В немногих словах рассказала она о жуткой сцене в саду и закончила утверждением, что невесту, бесспорно, похитил призрак. Двое слуг подкрепили это предположение; они показали, что приблизительно в полночь слышали у подножья горы цоканье конских копыт: то был, без сомнения, призрак, на вороном скакуне умчавший невесту в могилу. Присутствующим ничего иного не оставалось, как допустить вероятность этой ужасной догадки, ибо случаи подобного рода не представляют в Германии ничего необычного, что подтверждается великим множеством вполне достоверных рассказов.

До чего же плачевно было положение бедняги-барона! Душераздирающая дилемма предстала теперь перед ним, нежным отцом и представителем достославного рода Каценеленбоген. Одно из двух: либо его дочь, его единственное дитя, похищена мертвецом, либо ему предстоит иметь зятем кого-нибудь из лесных духов, а внучатами, чего доброго, — выводок лешенят. Как обычно, он потерял голову и поставил весь замок на ноги. Людям было приказано седлать лошадей и обшарить все дороги, тропы и доли Оденвальда. Сам барон, надев ботфорты и препоясавшись мечом, приготовился было

вскочить на коня, чтоб пуститься в безнадежные поиски, но неожиданное событие задержало его отъезд.

На богато убранном иноходце к замку подъехала какая-то дама и сопровождавший ее верхом кавалер. Подскакав к воротам, она спешила, бросилась в ноги барону и прильнула к его коленям. То была его пропавшая дочь, а вместе с ней жених-призрак. Барон остолбенел. Он взглянул на дочь, взглянул на призрака — и усомнился было в свидетельстве своих чувств. С женихом, надо сказать, после посещения им царства духов произошла чудесная перемена. На нем было роскошное платье, выгодно оттенявшее его благородное, мужественное сложение. Он не был уже ни бледным, ни скорбным. Его прекрасное лицо дышало юношескою свежестью, в его больших черных глазах бегали неукротимо веселые огоньки.

Тайна вскоре полностью разъяснилась. Кавалер (ведь вы знали на протяжении всей моей повести, что ее герой вовсе не призрак) объявил, что он — Герман фон Штаркенфауст. Он рассказал о гибели юного графа, о том, как торопился в замок с печальным известием, как красноречие барона помешало ему изложить его грустную повесть, как его с первого взгляда обворожила невеста, как, сгорая от желания провести подле нее хоть несколько коротких часов, он решился молчать, дабы отступить, соблюдая благопристойность, пока барон своими историями о призраках не подсказал ему наконец эксцентрический выход. Он сообщил также о том, что, из опасения перед старинною фамильною распрей, стал повторять свои посещения тайно, как приходил в сад под окна юной девицы, как добивался ее взаимности, добился ее, увез красавицу из дому и, короче говоря, обвенчался с нею.

При других обстоятельствах барон был бы неумолим, ибо ревниво относился к своей родительской власти и, кроме того, отличался редким упрямством, если дело касалось застарелой семейной вражды. Но он любил свою дочь, он оплакивал ее как погибшую и теперь радовался, обретя целой и невредимой; правда, муж ее происходил из враждебного рода, но зато, благодарение небу, не имел ничего общего с призраками. В проделке рыцаря, выдавшего себя за покойника, заключалось, надо признаться, нечто не вполне совпадавшее с представлением о безупречной правдивости, но некоторые из старых друзей барона, которым в свое время пришлось побывать на войне,

убедили его, что в любви прощительна любая военная хитрость и что кавалер имел на нее тем больше права, что совсем недавно оставил службу в войсках.

Итак, все уладилось как нельзя лучше. Барон тут же на месте простил молодую чету. Празднества в замке возобновились. Бедные родственники приняли нового члена семьи с радушием и любезностью: он был так учтив, так благороден и так богат. Тетушки, правда, были немного сконфужены, ибо принятая ими система затворничества и беспрекословного послушания нимало не оправдала себя, но приписали это своей небрежности, состоявшей будто бы в том, что они не позаботились поставить на окнах решетки. Одна из них никак не могла примириться с мыслью, что страшный рассказ ее безнадежно испорчен и что единственный призрак, которого ей довелось повидать, оказался подделкой; что же касается ее юной племянницы, то она, по-видимому, была бесконечно счастлива, обнаружив, что призрак состоит из самой что ни на есть доподлинной плоти и крови. Здесь повести нашей — конец.

Огюст Вилье де Лиль-Адан

(1838–1889)

Вера

Пер. с фр. Е. Гунста

Посвящается графине д'Омуа

Форма тела для него важнее, чем его содержание.

«Современная физиология»

Любовь сильнее Смерти, — сказал Соломон; да, ее таинственная власть беспредельна.

Дело происходило несколько лет тому назад в осенние сумерки, в Париже. К темному Сен-Жерменскому предместью катили из Леса последние экипажи с уже зажженными фонарями. Один из них остановился у большого барского особняка, окруженного вековым парком; над аркой его подъезда высился каменный щит с древним гербом рода графов д'Атоль, а именно: по лазоревому полю, с серебряной звездой посередине, с девизом *Pallida Victrix*^[58] под княжеской короной, подбитой горностаем. Тяжелые двери особняка распахнулись. Человек лет тридцати пяти, в трауре, со смертельно бледным лицом, вышел из экипажа. На ступенях подъезда выстроились молчаливые слуги с канделябрами в руках. Не обращая на них внимания, приехавший поднялся по ступенькам и вошел в дом. То был граф д'Атоль.

Шатаясь, он поднялся по белой лестнице, ведущей в комнату, где он в то утро уложил в обитый бархатом гроб, усыпанный фиалками и окутанный волнами батиста, королеву своих восторгов, свое отчаяние, свою бледную супругу Веру.

Дверь в комнату тихонько отворилась, он прошел по ковру и откинул полог кровати.

Все вещи лежали на тех местах, где накануне их оставила графиня. Смерть налетела внезапно. Минувшей ночью его возлюбленная забылась в таких бездонных радостях, тонула в столь упоительных объятиях, что сердце ее, истомленное наслаждениями, не выдержало — губы ее вдруг оросились смертельным пурпуром. Едва успела она, улыбаясь, не проронив ни слова, дать своему супругу прощальный поцелуй, — и ее длинные ресницы, как траурные вуали, опустились над прекрасной ночью ее очей.

Неизреченный день миновал.

Около полудня, после страшной церемонии в семейном склепе, граф д'Атоль отпустил с кладбища ее мрачных участников. Потом он затворил железную дверь мавзолея и остался среди мраморных стен один на один с погребенной.

Перед гробом на треножнике дымился ладан; над изголовьем юной покойницы горел венец из светильников, сиявших как звезды.

Он провел там, не присаживаясь, весь день, и единственным чувством, владевшим им, была безнадежная нежность. Часов в шесть, когда стало смеркаться, он покинул священную обитель. Запирая склеп, он вынул из замка серебряный ключ и, взобравшись на верхний приступок, осторожно бросил его внутрь. Он его бросил на плиты через оконце над порталом. Почему он это сделал? Конечно потому, что принял тайное решение никогда сюда не возвращаться.

И вот он снова в осиротевшей спальне.

Окно, прикрытое широким занавесом из сиреневого кашемира, затканного золотом, было распахнуто настежь; последний вечерний луч освещал большой портрет усопшей в старинной деревянной раме. Граф кинул взгляд вокруг — на платье, брошенное на кресло накануне, на кольца, жемчужное ожерелье, полузакрытый веер, лежавшие на камине, на тяжелые флаконы с духами, запах которых *Она* уже никогда не будет вдыхать. На незастеленном ложе из черного дерева, с витыми колонками, у подушки, где среди кружев еще виднелся отпечаток ее божественной, любимой головки, он увидел платок, обогранный каплями крови в тот краткий миг, когда юная душа ее отбивалась от смерти; он увидел раскрытый рояль, где замерла мелодия, которая отныне уже никогда не завершится; индийские цветы, сорванные ею в оранжерее и умиравшие теперь в саксонских вазах, а у подножья кровати, на черном мехе, —

восточные бархатные туфельки, на которых поблескивал вышитый жемчугом шуточный девиз Веры: «*Кто увидит Веру, тот полюбит ее*». Еще вчера утром босые ножки его возлюбленной прятались в них, и при каждом шаге к ним стремился прильнуть лебяжий пух туфелек. А там, там, в сумраке — часы, пружину которых он сломал, чтобы они уже никогда не возвещали о беге времени.

Итак, она ушла!.. *Куда же?* И стоит ли теперь жить? Зачем? Это невысказано, нелепо.

И граф погрузился в сокровенные думы.

Он размышлял о прожитой жизни. Со дня их свадьбы прошло полгода. Впервые он увидел ее за границей, на балу в посольстве... Да. Этот миг явственно воскресал перед его взором. Он снова видел ее там, окруженную сиянием. В тот вечер взгляды их встретились. Они смутно почувствовали, что души их родственны и что им суждено полюбить друг друга навеки.

Уклончивые речи, сдержанные улыбки, намеки, все трудности, создаваемые светом, чтобы воспрепятствовать неотвратимому счастью предназначенных друг другу, рассеялись перед спокойным взаимным доверием, которое сразу же зародилось в их сердцах.

Вере наскучили церемонные пошлости ее среды, и она сама пошла ему навстречу, наперекор препятствиям, царственно упрощая тем самым избитые приемы, на которые расходуется драгоценное время жизни. О, при первых же словах, которыми они обменялись, легковесные оценки безразличных к ним людей показались им стаей ночных птиц, улетающей в привычную ей тьму! Какие улыбки подарили они друг другу! Как упоительны были их объятия!

Вместе с тем натуры они были поистине странные! То были два существа, наделенные тонкой чувствительностью, но чувствительностью чисто земной. Ощущения длились у них с тревожащей напряженностью. Они так полно отдавались им, что совсем забывали самих себя. Зато возвышенные идеи, например понятия о душе, о Бесконечном, *даже о Боге*, представлялись им как бы в тумане. Сверхъестественные явления, в которые верят многие живущие, вызывали у них всего лишь недоумение; для них это было нечто непостижимое, чего они не решались ни осудить, ни одобрить. Поэтому, ясно сознавая, что мир им чужд, они тотчас же после

свадьбы уединились в этом сумрачном старинном дворце, окруженном густым парком, где тонули все внешние шумы.

Здесь влюбленные погрузились в океан того изощренного, изнуряющего сладострастия, в котором дух сливается с таинственной плотью. Они испили до дна все неистовство страсти, всю безумную нежность, познали всю исступленность содроганий. Сердце одного вторило трепету сердца другого. Дух их так пронизывал тело, что плоть казалась им духовной, а поцелуи, как жгучие звенья, приковывали их друг к другу, создавая некое нерасторжимое слияние. Восторги, которым нет конца! И вдруг очарование оборвалось; страшное несчастье разъединило их; объятия их разомкнулись. Что за враждебная сила отняла у него его дорогую усопшую? Усопшую? Нет! Разве вместе с воплем оборвавшейся струны улетает и душа виолончели?

Прошло несколько часов.

Он смотрел в окно, как ночь завладевает небесами, и ночь казалась ему *одухотворенной*; она представлялась ему королевой, печально бредущей в изгнание, и одна только Венера, как бриллиантовый аграф на траурной королевской мантии, сияла над деревьями, затерянная в безднах лазури.

«Это Вера», — подумал он.

При этом звуке, произнесенном шепотом, он вздрогнул, как человек, которого вдруг разбудили; очнувшись, он осмотрелся вокруг.

Предметы в комнате, доселе тускло освещенные ночником, теплившимся в потемках, теперь, когда в вышине воцарилась ночь, были залиты синеватыми отсветами, а сам ночник светился во тьме, как звездочка. Эта лампада, благоухавшая ладаном, стояла перед иконостасом, фамильной святыней Веры. Там, между стеклом и образом, на русском плетеном шнурке висел старинный складень из драгоценного дерева. От его золотых украшений на ожерелье и другие драгоценности, лежавшие на камине, падали мерцающие отблески.

На венчике Богоматери, облаченной в небесные ризы, сиял византийский крестик, тонкие красные линии которого, сливаясь, оттеняли мерцание жемчужин кроваво-алыми бликами. С детских лет Вера с состраданием обращала взор своих больших глаз на ясный лик Божьей Матери, переходивший в их семье из рода в род. Но, увы, она могла любить ее только *суеверной* любовью, и, в задумчивости

проходя мимо лампы, она порою простодушно обращалась к Пречистой Деве с робкой молитвой.

Граф взглянул на образ, и это горестное напоминание тронуло его до глубины души; он вскочил с места, поспешно задул священное пламя, оцупью в сумраке отыскал шнурок и позвонил.

Вошел камердинер — старик, одетый во все черное; лампу, которая была у него в руках, он поставил перед портретом графини. Обернувшись, он содрогнулся от суеверного ужаса, ибо увидел, что хозяин, стоя посреди комнаты, улыбается как ни в чем не бывало.

— Ремонт, — спокойно сказал граф, — *мы с графиней сегодня очень устали*; подай ужин в десять часов. Кстати, мы решили с завтрашнего дня еще более уединиться. Пусть все слуги, кроме тебя, сегодня же вечером покинут дом. Выдай им жалованье за три года вперед, и пусть уходят. Потом запири ворота на засов; внизу, в столовой, зажги канделябры; прислуживать нам станешь ты один. Отныне мы никого не принимаем.

Старик дрожал и внимательно смотрел на графа.

Граф закурил сигару, потом вышел в сад.

Сначала слуга подумал, что от непомерного, безысходного горя разум его господина помутился. Он знал его еще ребенком; сейчас он понимал, что внезапное пробуждение может оказаться для этого спящего наяву роковым ударом. Его долг прежде всего — сохранить слова графа в тайне.

Он поклонился. Стать преданным соучастником этой трогательной иллюзии? Повиноваться?.. Продолжать служить им, не считаясь со Смертью? Что за страшная мысль!.. Не рассеется ли она к утру?.. Завтра, завтра, — увы!.. Однако как знать?.. Быть может!.. Впрочем, это благочестивый замысел. И по какому праву он, слуга, берется судить господина?

Он удалился, в точности выполнил данные ему распоряжения, и с этого вечера началось загадочное существование графа.

Надо было создать страшную иллюзию.

Неловкость, сказывавшаяся в первые дни, вскоре исчезла. Ремонт сначала с изумлением, а затем со своего рода благоговением и нежностью старался держаться естественно и так преуспел в этом, что не прошло и трех недель, как он сам порою становился жертвою своего рвения. Истина тускнела. Иной раз голова у него начинала

кружиться и ему приходилось напоминать самому себе, что графиня в самом деле скончалась. Он все глубже и глубже погружался в эту мрачную игру и то и дело забывал действительность. Вскоре ему уже стало мало одних размышлений, чтобы убедить себя и опомниться. Он чувствовал, что в конце концов безвозвратно подпадет под власть страшного магнетизма, которым граф все более и более насыщал окружающую их обстановку. Его охватывал ужас, ужас смутный и тихий.

Д'Атоль действительно жил в полном неведении о смерти своей возлюбленной. Образ молодой женщины до такой степени слился с его собственным, что он беспрестанно чувствовал ее присутствие. То в ясную погоду он, сидя на скамейке в саду, читал вслух ее любимые стихотворения, то вечерами у камина, за столиком, где стояли две чашки чая, он беседовал с *Иллюзией*, которая сидела, улыбаясь, в кресле против него.

Пронеслось много дней, ночей, недель. Ни тот ни другой не отдавали себе отчета в том, что происходит с ними. А теперь начались странные явления, и тут трудно было различить, где кончается воображаемое и где начинается реальное. В воздухе чувствовалось чье-то присутствие — чей-то образ силился возникнуть, предстать в каком-то непостижимом пространстве.

Д'Атоль жил двойственной жизнью, как ясновидец. Порою перед его взором, словно молния, мелькало нежное, бледное лицо; вдруг раздавался тихий аккорд, взятый на рояле; поцелуй прикрывал ему рот в тот миг, когда он начинал говорить; чисто *женские* мысли рождались у него в ответ на его собственные слова; в нем происходило такое раздвоение, что он чувствовал возле себя, как бы сквозь еле ощутимый туман, благоухание своей возлюбленной, от которого у него кружилась голова; а по ночам, между бодрствованием и сном, ему слышались тихие-тихие речи: все это служило ему предвестием. То было отрицание Смерти, возведенное в конечном счете в какую-то непостижимую силу.

Однажды д'Атоль так ясно почувствовал и увидел ее возле себя, что протянул руки, чтобы ее обнять, но от этого движения она развеялась.

— Дитя! — прошептал он, вздыхая.

И он снова уснул, как любовник, обиженный шаловливой, задремавшей подругой.

В день *ее* именин он шутики ради добавил цветок иммортели в букет, положенный им на подушку Веры.

— Ведь она воображает, будто умерла, — молвил он.

Силою любви граф д'Атоль восстанавливал жизнь своей жены и ее присутствие в одиноком особняке, и благодаря его непоколебимой, всепобеждающей воле такое существование приобрело в конце концов некое мрачное и покоряющее очарование. Даже Ремон, постепенно привыкнув к новому укладу, перестал ужасаться.

То на повороте аллеи промелькнет черное бархатное платье, то веселый голосок позовет графа в гостиную, то утром, при пробуждении, как прежде прозвучит колокольчик — все это стало для него привычным; покойница, казалось, как ребенок, играет в прятки. Это было вполне естественно: ведь она чувствовала, что горячо любима.

Прошел год.

В канун годовщины граф, сидя у камина в комнате Веры, читал ей флорентийскую новеллу «Каллимах». Он закрыл книгу и, беря чашку чая, сказал:

— *Душка*, помнишь Долину Роз, берег Лана, замок Четырех Башен?.. Эта история тебе напомнила их, не правда ли?

Д'Атоль встал и, бросив взгляд на голубоватое зеркало, заметил, что он бледнее обычного. Он вынул из вазочки жемчужный браслет и стал его внимательно рассматривать. Ведь Вера только что, раздеваясь, сняла его с руки. Жемчужины были еще теплые, и блеск их стал еще нежнее, словно они были согреты ее теплом. А сибирское ожерелье с опалом в золотой оправе, который был до того влюблен в прекрасную грудь Веры, что болезненно бледнел, если молодая женщина на некоторое время забывала о нем? Некогда графиня особенно любила этот камень за его верность!.. Сегодня опал сиял, словно графиня только что рассталась с ним; он еще весь был пронизан очарованием прекрасной усопшей. Кладя ожерелье и драгоценный камень на прежнее место, граф случайно дотронулся до батистового платка, кровавые пятна на котором были еще влажны и алы, как гвоздики на снегу!.. А тут, на рояле, кто же перевернул страницу прозвучавшей некогда мелодии? Вот как? И святая лампада

в киоте тоже затеплилась? Да, золотистое пламя таинственно освещало лик Богоматери с прикрытыми глазами. А восточные, только что сорванные цветы, высившиеся в старинных саксонских вазах, — чья же рука поставила их здесь? Комната казалась веселой и полной жизни, жизни более значительной и напряженной, чем обычно. Но графа ничто не могло удивить. Все это казалось ему вполне естественным, и он не обратил внимания даже на то, что бьют часы, остановившиеся год тому назад.

А в тот вечер можно было подумать, что графиня Вера, преисполненная любви, порывается вернуться из бездны мрака в эту комнату, благоухающую от ее присутствия. Так много осталось здесь от нее самой! Ее влекло сюда все, что составляло суть ее жизни. Здесь все дышало ее очарованием; долгие неистовые усилия воли ее супруга, по-видимому, рассеяли вокруг нее туманные пути Невидимого!

Она была *принуждена* вернуться. Все, что она любила, находилось здесь.

Ей, должно быть, хотелось снова улыбнуться самой себе в этом таинственном зеркале, где она столько раз любовалась своим лилейным лицом! Нежная усопшая, вероятно, содрогнулась там, под фиалками, среди погасших факелов; божественная усопшая испугалась своего одиночества в склепе при виде серебряного ключа, брошенного на каменные плиты. Ей тоже захотелось вернуться к нему. Но воля ее растворялась в клубах ладана и в отчужденности. Смерть — окончательное решение только для тех, кто питает надежду на небеса; а ведь для нее и Смерть, и Небеса, и Жизнь — все заключалось в их объятиях. И призывный поцелуй мужа влек к себе в сумраке ее уста. А звуки затихшей мелодии, бывшие пылкие речи, ткани, облакавшие ее тело и еще хранившие его благоухание, магические драгоценности, льнувшие к ней и полные таинственного благоволения, главное же — царившее вокруг могучее и непреложное ощущение ее присутствия, которое передавалось даже неодушевленным предметам, — все призывало ее сюда, все уже так долго и так неотступно влекло ее сюда, что, когда она исцелилась наконец от дремоты Смерти, здесь не доставало *только Ее одной*.

О, идеи — это живые существа!.. Граф как бы наметил в воздухе очертания своей возлюбленной, и пустота эта непременно должна

была заполниться единственным одномерным ей существом, иначе вселенная распалась бы в прах. В тот миг возникла окончательная, непоколебимая, полная уверенность, что *Она тут, в комнате!* Он был уверен в этом твердо, как в своем собственном существовании, и все вокруг него было тоже убеждено в этом. Ее видели здесь! *И так как теперь недоставало только самой Веры* — осязаемой, существующей где-то в пространстве, то *она непременно должна была оказаться здесь*, и великий Сон Жизни и Смерти непременно должен был приоткрыть на мгновение свои неисчислимые врата! Дорога воскресения была верою проложена до самой усопшей! Задорный взрыв мелодичного смеха весело сверкнул, осветив брачное ложе; граф обернулся. И вот перед его взором явилась графиня Вера, созданная волею и памятью; она лежала, неуловимая, облокотившись на кружевную подушку; рука ее поддерживала тяжелые черные косы; прелестный рот был полуоткрыт в райски-сладострастной улыбке; словом, она была несказанно прекрасна, и она смотрела на него, еще не совсем очнувшись от сна.

— Роже! — окликнула она возлюбленного, и голос ее прозвучал как бы издалека.

Он подошел к ней. Их уста слились в божественной радости — неисчерпаемой, бессмертной!

И *тогда* они поняли, что действительно представляют собою *единое существо*.

Каким-то посторонним веянием пронеслось время над этим экстазом, в котором впервые слились небо и земля.

Вдруг граф д'Атоль вздрогнул, словно пораженный неким роковым воспоминанием.

— Ах, теперь припоминаю, — проговорил он. — Что со мною? Ведь ты умерла?

В тот же миг мистическая лампада перед образом погасла. В щель между шторами стал пробиваться бледный утренний свет, свет нудного, серого, дождливого дня. Свечи померкли и погасли, от рдевших фитилей поднялся едкий чад; огонь в камине скрылся под слоем теплого пепла; цветы увяли и засохли в несколько минут; маятник часов мало-помалу снова замер. *Очевидность* всех предметов внезапно рассеялась. Опал умер и уже не сверкал; капли крови на батисте, лежавшем возле него, тоже поблекли; а пыльное белое

видение, тая в отчаянных объятиях графа, который всеми силами старался удержать его, растворилось в воздухе и исчезло. Роже отчетливо уловил слабый, далекий прощальный вздох. Граф встрепенулся; он только что заметал, что он один. Мечта его внезапно рассеялась, он одним-единственным словом порвал магическую нить своего лучезарного замысла. Теперь все вокруг было мертво.

— Все кончено, — прошептал он. — Я утратил ее! Она одна! По какому же пути мне следовать, чтобы обрести тебя? Укажи мне дорогу, которая приведет меня к тебе!

Вдруг, словно в ответ ему, на брачное ложе, на черный мех, упал какой-то блестящий металлический предмет: луч отвратительного земного света осветил его... Покинутый наклонился, поднял его, и блаженная улыбка озарила его лицо: то был ключ от склепа.

Редьярд Киплинг

(1865–1936)

Рикша-призрак

Пер. с англ. А. Шадрина

*Да не смутят меня виденья,
Нечистой силы наважденья!*

Вечерний гимн

Одно из немногих преимуществ Индии над Англией — это возможность завести широкие знакомства. Прослужив пять лет, вы прямо или косвенно соприкасаетесь с двумя-тремя сотнями чиновников своей провинции, со всеми офицерами десятка полков и батарей и еще с полутора тысячами лиц, не состоящих на государственной службе. Через десять лет число ваших знакомых удваивается, а через двадцать вы уже знаете — лично или понаслышке — каждого англичанина в империи, и, куда бы вы ни поехали, вам нигде не придется платить по счетам.

Туристы, полагающие, что их право — встречать всюду радушный прием, совсем недавно злоупотребляли этим нашим простосердечием, однако и сейчас, если вы принадлежите к числу постоянно живущих здесь англичан и если вы не какой-нибудь грубиян или паршивая овца в стаде, двери всех домов открыты для вас и весь наш маленький мирок встречает вас приветливо, старается всячески вам помочь.

Рикит из Камарты лет пятнадцать тому назад останавливался у Полдера из Кумаона. Поначалу он рассчитывал пробыть у него дня два, но приступ ревматизма уложил его в постель, и он на добрых полтора месяца выбил Полдера из колеи, не дал ему работать и, в довершение всего, едва не умер у него в комнате. И что же, Полдер ведет себя так, будто он на всю жизнь в долгу перед Рикитом, и каждый год посылает его маленьким детям ящик с игрушками и другими подарками. Мужчины, которые убеждены, что вы сущий осел, и нимало не стараются от вас это скрыть, и женщины, которые

всячески ругают вас за плохой характер и никак не могут примириться с привычками и вкусами вашей жены, разбиваются ради вас в лепешку, заболеть вы или случись у вас какое несчастье.

Доктор Хезерлег, состоя на государственной службе, содержал еще на собственные средства больницу, «палаты для неизлечимых», как говорили его друзья, — на самом же деле это было нечто вроде ангара для лодок, поврежденных во время бури. В Индии часто бывают очень душные дни, а так как число кирпичей, которые надо уложить за день, остается тем же, а единственная предоставляемая льгота — это возможность доделать урок в нерабочие часы, то люди время от времени не выдерживают и «срываются», как срываются сейчас метафоры у меня с языка.

Хезерлег — милейший из всех когда-либо живших докторов; всем своим пациентам он неизменно предписывает: «Ложась, кладите голову пониже, ходите потише и старайтесь не волноваться». По его словам, от переутомления гибнет столько людей, что никакими благими целями этого нельзя оправдать. Он утверждает, что именно переутомление погубило Пэнси, умершего у него на руках три года тому назад. Разумеется, у него есть право утверждать это безапелляционно, и он просто-напросто смеется над моей теорией, что у Пэнси в голове была щель, через которую туда проникла нечистая сила, и что она-то и прикончила его. «Пэнси свихнулся, — говорит Хезерлег, — оттого, что ему слишком долго не давали отпуска и он не имел возможности поехать домой. А поступил ли он на самом деле подло с миссис Кит-Уэссингтон, мы в точности не знаем. Я считаю, что работа в Катабунди-сетлмент довела его до полного изнеможения: от этого он и сделался задумчивым и принял слишком близко к сердцу самый обыкновенный флирт в письмах. Не приходится сомневаться, что он был помолвлен с мисс Мэннеринг и что это она отказалась выйти за него замуж. А он еще вдобавок простудился — тут ему в голову и полезла вся эта чертовщина. От переутомления он захворал, от переутомления расхварывался все больше и больше, от него же потом и умер, бедняга. Спишите его за счет всей системы — один человек работал за двоих, если не за троих».

Я с этим не согласен. Мне не раз доводилось сиживать у постели Пэнси — случалось это обычно когда Хезерлег уходил на вызовы, а я

оказывался где-нибудь неподалеку. Несчастный доводил меня до совершеннейшего отчаяния, описывая своим тихим, ровным голосом процессию, которая, как он говорил, все время проходит у его изголовья. Рассказывать так упоенно умеют только душевнобольные. Когда он пришел в себя, я посоветовал ему записать все от начала до конца, зная, что этим он облегчит себе душу. Если мальчишка узнал какое-нибудь новое неприличное слово, он не успокоится до тех пор, пока не напишет его мелом где-нибудь на двери. И это тоже своего рода литература.

Он был в сильном нервном возбуждении, и этот проклятый журнальный язык, которым он стал описывать свои переживания, нисколько его не успокоил. Через два месяца его признали годным к несению службы, но, несмотря на то что он срочно понадобился, чтобы восполнить нехватку людей в одной из комиссий, вывести ее из трудного положения, он предпочел смерть; умирая, он поклялся в том, что его действительно терзали кошмары. Рукопись его, помеченная 1885 годом, попала в мои руки, когда он был еще жив. Вот как представлялось ему все, что с ним в это время происходило.

Мой доктор говорит, что мне нужен отдых и перемена обстановки. Очень может быть, что скоро у меня будет и то, и другое: отдых, которого не потревожат ни курьер в красной куртке, ни полуденный пушечный выстрел, и перемена обстановки куда более разительная, чем та, которую я нашел бы на пароходе, увозящем меня на родину. А до тех пор я решил не двигаться с места и, как раз наперекор тому, что советует доктор, открыть свое сердце всему миру. Вы будете иметь возможность сами в точности распознать сущность моей болезни и судить о том, есть ли на этой истомленной земле еще хоть один человек, на долю которого выпали бы такие муки, какие пришлось претерпеть мне.

Я говорю теперь так, как может говорить преступник, приговоренный к повешению, когда на шею ему уже собираются накинуть петлю, и утверждаю, что история моя, какой бы дикой и до ужаса неправдоподобной она ни показалась, во всяком случае требует к себе внимания. А поверить ей все равно никто никогда не поверит. Если бы два месяца тому назад мне кто-нибудь вздумал сказать, что со мной случится нечто подобное, я бы решил, что человек этот пьян или

сошел с ума. Два месяца тому назад я был счастливейшим из смертных во всей Индии. Сейчас же от Пешавара и до самого моря нет никого несчастнее меня. И это знаем только мы двое — мой доктор и я. Он объясняет все тем, что будто бы мозг мой, глаза и желудок не совсем в порядке. От этого будто бы у меня и бывают такие частые и упорные «обманы чувств». Ничего себе обманы чувств! Я в глаза называю его дураком, а он тем не менее продолжает говорить со мной, на лице его, обрамленном аккуратно подстриженными рыжими бакенбардами, светится все та же терпеливая улыбка, в обращении сквозит все та же профессиональная мягкость, — и мне в конце концов начинает казаться, что я пациент неблагодарный и нудный. Но, впрочем, вы сами лучше во всем разберетесь.

Три года тому назад я, на мое счастье — на мое великое несчастье, — возвращаясь после длительного отпуска из Грейвсенда в Бомбей, познакомился на пароходе с некой Агнес Кит-Уэссингтон, женою бомбейского чиновника. Что это была за женщина, вам совершенно не важно знать. Достаточно сказать, что, находясь еще в пути, оба мы влюбились друг в друга и потеряли голову. Господь свидетель, что я могу сейчас говорить об этом без тени тщеславия. В подобных случаях один человек всегда отдает, а другой принимает. С первого же дня нашего рокового сближения я увидел, что чувство Агнес сильнее, самозабвеннее и, если можно так выразиться, чище, чем мое. Отдавала ли она тогда в этом себе отчет, я не знаю. Впоследствии мы оба с горечью в сердце все это поняли.

В Бомбей мы прибыли весной. Каждый из нас отправился своей дорогой, и месяца три-четыре мы совсем не встречались, после чего мой отпуск и ее любовь свели нас в Симле. Там мы пробыли весь осенний сезон, и там чувство мое, вспыхнувшее было как солома, к концу года самым плачевным образом догорело. Я не буду пытаться обелить себя. Я ни в чем себя не хочу оправдывать. Миссис Уэссингтон многим пожертвовала ради меня и готова была пожертвовать всем. В августе 1882 года она услышала из моих собственных уст, что мне скучно с ней, что она попросту мне надоела и что даже звук ее голоса мне противен. Девяноста девяти женщинам из ста я и сам мог надоест так же, как они мне; семьдесят пять из них незамедлительно бы за себя отомстили, начав бурно и вызывающе

флиртовать с другими мужчинами. Миссис Уэссингтон была сотовой. Ни мое отвращение, которое я всячески старался ей выказать, ни грубые выходки, на которые я не скупился, когда мы бывали вместе, нисколько на нее не действовали.

— Джек, дорогой! — снова и снова, как кукушка, твердила она. — Я уверена, что все это ошибка, ужасная ошибка; вот увидишь, у нас еще все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джек, дорогой.

Обидчиком был я, и я это знал. Именно поэтому вместо жалости к ней у меня появилось какое-то терпеливое равнодушие, перешедшее потом в слепую ненависть, — верно, это было то самое чувство, которое заставляет вас с ожесточением топтать ногой раздавленного, но все еще живого паука. Этой ненавистью и завершилась для меня осень 1882 года.

На следующий год мы оба снова оказались в Симле. У нее было все такое же скучное лицо, и она по-прежнему робко пыталась склонить меня на примирение, а я по-прежнему ненавидел ее всеми фибрами души. Несколько раз мне не удавалось избежать встреч с ней наедине — и каждый раз она повторяла все те же слова. Все те же нелепые причитания по поводу того, что это «ошибка», и та же надежда, что в конце концов «у нас все будет хорошо». Если бы я был достаточно внимателен, я, вероятно, заметил бы, что эта надежда была единственным, что ее поддерживало. С каждым месяцем она все больше худела и бледнела. Только согласитесь все же, что такое поведение кого угодно могло довести до отчаяния. Она вела себя как-то несуразно, ребячливо, не по-женски. Конечно, она сама во многом была виновата — я в этом убежден. И вместе с тем бессонными ночами, когда меня колотила лихорадка, мне порой приходило в голову, что я мог бы обходиться с нею помягче. Но ведь именно это и есть «обман чувств». Я не мог больше делать вид, что люблю ее, когда на самом деле ее не любил. Не правда ли? Это было бы нехорошо по отношению к нам обоим.

В прошлом году мы встретились еще раз, и все повторилось снова. Всё те же усталые мольбы и те же грубости, срывавшиеся у меня с языка. Но мне как будто все же удалось убедить ее, до чего нелепо пытаться возобновить прежние отношения. К концу сезона мы все больше отдалялись друг от друга — просто ей стало не так легко встретиться со мной: у меня появились другие интересы, и они

поглотили меня целиком. Сейчас, когда я, лежа на своей койке, спокойно обо всем этом думаю, стараясь припомнить все по порядку, осень 1884 года кажется мне каким-то путаным кошмаром, в котором причудливо переплетаются свет и тени: мои ухаживания за Китти Мэннеринг, мои надежды, сомнения и страхи, наши долгие прогулки с нею верхом, мое робкое признание в любви, ее ответ; и вновь и вновь — бледное лицо женщины, которую провозят мимо меня на рикше, черные с белым ливреи (когда-то я так нетерпеливо их дожидался), машущая мне издали рука в перчатке, и всякий раз, когда миссис Уэссингтон встречала меня одного, что бывало редко, — ее однообразные, нудные оклики. Я любил Китти Мэннеринг, любил всем сердцем, безраздельно, — и чем больше я любил ее, тем сильнее ненавидел Агнес. В августе мы с Китти были помолвлены. На следующий день я встретил этих проклятых, пестрых, как сороки, джампани и, движимый каким-то мимолетным чувством жалости, остановился, чтобы все рассказать миссис Уэссингтон. Она уже знала.

— Я слышала, ты женишься, Джек, дорогой. — И потом в ту же минуту: — Я уверена, что это ошибка, ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас еще все будет хорошо с тобой, все как прежде.

От моего ответа содрогнулся бы даже мужчина. Умиравшую женщину он подкосил как удар бича.

— Прости меня, пожалуйста, Джек, я не хотела сердить тебя; но это так, это так!

И миссис Уэссингтон разрыдалась. Я ушел, предоставив ей мирно продолжать свою прогулку; я, правда, почувствовал себя самым последним подлецом, но длилось это каких-нибудь несколько мгновений. Оглянувшись, я увидел, что она повернула свою рикшу: должно быть, ей хотелось меня догнать.

Сцена эта запечатлелась у меня в памяти во всех подробностях. Освеженное ливнем небо (это было в конце периода дождей), намокшие, покрытые грязью сосны; на беспросветном фоне темных, расколотых взрывами скал отчетливо выделялись черные с белым ливреи четверых джампани, желтая полосатая двуколка и склоненная голова миссис Уэссингтон, ее золотистые волосы. В изнеможении она откинулась на подушки, левая рука ее сжимала платок. Я свернул на боковую дорогу возле Санджаулийского водоема и форменным образом обратился в бегство. Мне показалось даже, что я еще раз

услышал ее слабый голос, кричавший «Джек!». Впрочем, может быть, это мне просто почудилось. Я ни разу не остановился и не прислушался. Минут через десять я повстречал Китти, ехавшую верхом; мы отправились вдвоем на большую прогулку, и мне это было так радостно, что я начисто забыл о неприятной для меня встрече.

Через неделю миссис Уэссингтон умерла, и будто страшная тяжесть свалилась у меня с души. Упоенный своим счастьем, я уехал в Долину. Не прошло и трех месяцев, как я совсем позабыл об Агнес и только время от времени, натываясь на какое-нибудь ее старое письмо, с досадою вспоминал о наших прежних отношениях. В начале января, роясь в вещах, я собрал все, что оставалось от нашей переписки, и сжег. В начале апреля того же 1885 года я еще раз побывал в Симле — уже опустевшей Симле, — и для меня ничего тогда не существовало, кроме наших прогулок с Китти и обращенных друг к другу слов любви. Было решено, что мы поженимся в конце июня. Вы теперь поймете, что, любя Китти так, как я ее любил, я вправе сказать, что был тогда счастливейшим человеком в Индии, и это не будет преувеличением.

Две восхитительные недели пролетели незаметно. Вслед за тем, сообразив, как в подобных случаях должны поступать порядочные люди, я сказал Китти, что обручальное кольцо — это свидетельство ее достоинства и знак того, что она помолвлена, и что ей немедленно надлежит отправиться в ювелирный магазин Хэмилтона, чтобы заказать его там. До этой минуты, даю вам честное слово, мы оба даже и не вспомнили о столь малозначительном обстоятельстве. Итак, мы отправились к Хэмилтону, и было это в апреле 1885 года. Не забудьте, что тогда — какими бы доводами мой доктор ни старался убедить вас в обратном — я был совершенно здоров и находился в твердой памяти и в состоянии *полнейшего* душевного равновесия. Вместе с Китти мы вошли в ювелирный магазин, и там, нарушая заведенный порядок, я сам примерил Китти кольцо в присутствии несколько озадаченного продавца. Кольцо было с сапфиром и двумя бриллиантами. После этого мы поехали под гору по дороге, ведущей к Комбермирскому мосту и к кофейне Пелити.

В то время как мой уэлер осторожно пробирался по рыхлой земле, а Китти, ехавшая рядом, смеялась и весело болтала, в то время как вся Симла, то есть все те, кто приехал туда из Долины, толпилась вокруг

читальни и веранды Пелити, я услышал, что кто-то словно издали называет меня по имени. Поразило меня, что голос этот я уже слышал когда-то раньше, но где и когда, я сразу никак не мог вспомнить. За те несколько минут, которые занял путь от тропы у магазина Хэмилтона до начала Комбермирского моста, я перебрал в памяти не меньше семи человек, которые могли позволить себе подобное неприличие, и в конце концов решил, что у меня просто звенит в ушах. Как раз напротив кофейни Пелити внимание мое привлекли четверо джампани в сорочьего цвета ливреях, тащившие дешевую базарную рикшу, размалеванную желтыми полосами. За какое-то мгновение поток мыслей унес меня назад, к минувшему году и к миссис Уэссингтон, и меня охватили отвращение и злоба. Не довольно разве того, что эта женщина умерла, что с ней все покончено? Чего ради ее черным с белым слугам понадобилось сегодня являться снова, портить мне мой счастливый день? Кто бы ни была нанявшая их госпожа, я пойду к ней и попрошу в виде особой услуги одеть своих джампани в ливреи какого-нибудь другого цвета. Я сам найму их и, если понадобится, сорву с них эти ливреи, а им за все заплачу. Сейчас я не в силах даже описать, какую вереницу ненавистных мне воспоминаний вызвало их появление.

— Китти, — вскричал я, — джампани несчастной миссис Уэссингтон опять здесь! Интересно, кто теперь их хозяйка?

Китти немного знала миссис Уэссингтон по прошлому году и постоянно спрашивала меня об этой болезненного вида женщине.

— Что такое? Где? — спросила она. — Нигде ничего не вижу.

В это время ее лошадь, отскочив в сторону от навьюченного мула, кинулась прямо навстречу приближавшейся рикше. Я успел только вскрикнуть: «Осторожно!», когда, к моему неописуемому ужасу, лошадь и наездница прошли сквозь людей и двуколку, как будто это был воздух.

— Что случилось? — вспыхнула Китти. — Почему ты кричишь как оплашенный, Джек? Хоть мы и помолвлены с тобой, я вовсе не хочу оповещать об этом всех на свете. Тут бог знает сколько еще было места между мулом и верандой. И если ты думаешь, что я не умею ездить... Смотри!

С этими словами своенравная Китти вскинула свою хорошенькую головку и понеслась галопом по направлению к эстраде; как она

потом рассказывала мне сама, она была в полной уверенности, что я тут же последую за ней. Так что же со мной случилось? Да решительно ничего. То ли я был пьян или рехнулся, то ли в Симле водились злые духи. Я пришпорил своего нетерпеливого коня и повернулся кругом. Повернулась и рикша: теперь она стояла прямо напротив меня, возле левых перил Комбермирского моста.

— Джек! Джек, дорогой! — На этот раз я отчетливо различал слова: они звоном отдавались в моем мозгу, как будто мне кричали их прямо в ухо. — Это какая-то страшная ошибка, да, это так. Прости меня, Джек, пожалуйста, и пусть у нас с тобой все опять будет хорошо.

Верх рикши откинулся, и там, внутри, — это так же точно, как я днем молю о смерти и как боюсь ее ночью, — сидела златокудрая миссис Кит-Уэссингтон, склонив голову на грудь, сжимая в руке платок.

Сколько времени я простоял в оцепенении, я не знаю. Я пришел в себя, только когда саис взял моего уэлера под уздцы и спросил меня, не болен ли я. От ужасного до обыденного всего один шаг. Я кое-как сошел с лошади и, едва живой, бросился в кофейню Пелити выпить рюмку вишневой настойки. За столиками сидело несколько посетителей, обсуждавших очередные новости. В эту минуту их пустая болтовня была для меня успокоительнее, чем все утешения, которые дает человеку вера. Я сразу же ввязался в их разговор; я болтал, смеялся, шутил — а лицо у меня (я вдруг увидел его в зеркале) было совершенно белое и вытянутое, как у покойника. Несколько человек обратили внимание на мой странный вид и, должно быть, приписав его обилию выпитого коньяка, деликатно стали пытаться увести меня от собравшихся там гуляк. Но я воспротивился. Мне хотелось быть в обществе себе подобных — так ребенок, испугавшийся темноты, бросается в столовую, где обедают взрослые, и хочет остаться там вместе со всеми. Я проговорил, вероятно, минут десять, не больше, хотя мне эти минуты показались целой вечностью, когда вдруг услышал отчетливый голос Китти, донесшийся из-за двери: она спрашивала, где я. Через минуту она вошла в кофейню, готовясь уже как следует меня отчитать за мое недостойное поведение. Но вид мой ошеломил ее.

— Джек! — вскричала она. — Что все это значит? Что с тобой такое? Тебе худо?

Вынужденный пойти на прямую ложь, я сказал, что мне стало дурно, оттого что я долго пробыл на солнце. На самом деле все это случилось уже в пять часов вечера, был пасмурный апрельский день и солнце не выглядывало ни разу. Едва я успел произнести эти слова, как понял свою ошибку; я попытался было исправить ее, начав бормотать что-то совсем невразумительное, и вышел из кофейни вслед за охваченной царственным гневом Китти; все знакомые вокруг улыбались. Я извинился перед ней (теперь уже не помню, в каких именно выражениях), сославшись на плохое самочувствие, и поехал в гостиницу, где я жил, оставив Китти одну продолжать свою прогулку.

Придя к себе в комнату, я сел и попытался спокойно все обдумать. Итак, я, Тиболд Джек Пэнси, получивший хорошее воспитание бенгальский чиновник, в год благодати 1885-й, по всей видимости, в твердой памяти и, уж разумеется, совершенно здоровый, убежал от своей возлюбленной, повергнутый в ужас появлением женщины, умершей и похороненной восемь месяцев тому назад. Таковы были факты, которым приходилось глядеть в глаза. В ту минуту, когда мы с Китти уехали из магазина Хэмилтона, я мог думать о чем угодно, но уж никак не вспоминать миссис Уэссингтон. Стена напротив кофейни Пелити была самой обыкновенной стеной. Все это случилось среди бела дня. На дороге было множество народа. И представьте себе, именно здесь, вопреки всякому вероятно, словно вызов, брошенный всем законам природы, мне явилась покойница.

Арабская лошадь, на которой ехала Китти, прошла *сквозь* рикшу: это значило, что мелькнувшая у меня вначале надежда, что некая другая женщина, как две капли воды похожая на миссис Уэссингтон, наняла ее двуколку, а вместе с ней и четырех кули в их старых ливреях, была напрасна. Вновь и вновь в мозгу моем, словно мельничные жернова, кружились все те же мысли; вновь и вновь предположения мои рушились, и я в отчаянии от всего отступался. Голос оставался столь же необъяснимым, как и видение. Поначалу мне пришла в голову дикая мысль: все рассказать Китти, попросить ее поскорее стать моей женой и в ее объятиях вступить в борьбу с призраком, разъезжающим в рикше. «В конце концов, — убеждал я себя, — присутствия рикши самого по себе достаточно, чтобы

доказать, что все это только обман зрения. Бывают призраки мужчин и женщин, но, уж разумеется, не может быть призраков кули или двуколки. Все это просто нелепо. Не хватало бы еще увидеть призрак мусорщика!»

На следующее утро я послал Китти покаянную записку, умоляя ее простить меня за то, что накануне я так странно себя вел. Но моя богиня все еще гневалась на меня, и мне пришлось принести ей личное извинение. С развязностью, плодом тщательно отрепетированного за ночь притворства, я объяснил ей, что у меня внезапно начался приступ сердцебиения, вызванный расстройством желудка. Эта до крайности правдоподобная версия возымела свое действие. И когда во второй половине дня мы с Китти поехали на прогулку, нас разделяла тень моей первой лжи.

Ей во что бы то ни стало хотелось объехать галопом вокруг Джакко. Нервы мои все еще не могли успокоиться после вчерашнего, и я пытался было возразить против этого плана, предлагая поехать на Обсерваторскую гору, на Джутог, по Бойлоджонгской дороге — словом, куда угодно, только не вокруг Джакко. Китти рассердилась и даже как будто обиделась; тогда, боясь, что настойчивость моя может повлечь за собою новые неприятности, я решил уступить, и мы направились в сторону Чхота-Симлы. Большую часть пути мы проехали шагом и, по нашему обыкновению, очутившись у подножия Монастыря, проскакали оттуда галопом до ровной дороги близ Санджаулийского водоема. Наши бедные лошади, казалось, летели по воздуху, а сердце мое билось все сильнее и сильнее, по мере того как мы приближались к перевалу. В течение всего пути миссис Уэссингтон не выходила у меня из головы, и каждый кусочек дороги вокруг Джакко воскрешал в моей памяти наши с нею прогулки и разговоры. Ими была полна галька под копытами наших лошадей; о них у нас над головою звенели сосны; набухшие от дождей потоки потихоньку посмеивались и хихикали над этой постыдной историей, а ветер во весь голос распевал о моем вероломстве.

В довершение всего оказалось, что на середине ровной дороги, которую здесь называют Дамской, меня поджидал Ужас. На всем пространстве больше не было видно ни одной рикши; только все те же четверо черных с белым джампани, полосатая желтая двуколка и в ней то же женское лицо в обрамлении золотистых волос — все в точности

такое, каким было восемь с половиною месяцев назад! На какое-то мгновение я вообразил, что Китти должна была видеть то, что увидел я, — у нас с нею во всем было такое удивительное единение. Но в эту минуту она произнесла слова, тут же разрушившие мою иллюзию:

— Ни души вокруг! Поехали, Джек, прямо к Водоему и посмотрим, кто доскачет быстрее!

Ее крепкая арабская лошадка вспорхнула как птица, мой уэлер помчался вслед, не отставая ни на шаг, и мы оба ринулись вниз, под скалы. Через полминуты мы были уже на расстоянии пятидесяти ярдов от рикши. Я натянул поводья и подался немного назад. Рикша стояла как раз на середине дороги; и еще раз лошадь Китти прошла сквозь нее, а вслед за тем и моя. Слова: «Джек! Джек, дорогой! Прости меня, пожалуйста!» — душераздирающим воплем зазвенели у меня в ушах, а потом, немного погодя: «Все это ошибка, ужасная ошибка!»

Как одержимый пришпорил я лошадь. Когда, обернувшись, я взглянул на строения Водоема, черные с белым ливреи все еще ждали — терпеливо ждали у подножия серого склона горы, а ветер донес насмешливое эхо только что слышанных мною слов. Всю оставшуюся часть пути Китти изрядно подтрунивала над моей немотой. А перед этим я отвечал ей невпопад и нес какую-то невообразимую дичь. Я окончательно потерял способность говорить естественно и поэтому, сообразив, что благоразумнее будет молчать, от Санджаулийского водоема и до самой церкви не проронил ни слова.

В этот вечер я должен был обедать у Мэннерингов, и у меня едва оставалось время съездить домой и переодеться. Подымаясь на Элизийский холм, я вдруг в полутьме услышал разговор двух мужчин.

— Удивительное дело, — сказал один, — и следа-то никакого не осталось. Жена моя, знаете, была совсем без ума от этой женщины (что до меня, то я никогда не находил в ней ничего хорошего); так вот, когда она умерла, жена хотела, чтобы я забрал ее старую рикшу и четырех кули, даже купил бы, если вопрос будет в деньгах. Просто заскок какой-то, но тут уж ничего не поделаешь, приходится слушаться своей мем-сахиб. И подумайте только: человек, у которого она нанимала рикшу, говорит мне, что все четверо — а они были братья — умерли от холеры по дороге в Хардвар, вот бедняги-то; ну а рикшу хозяин сам поломал. Сказал мне, что ни разу больше не

пользовался рикшей покойной мем-сахиб. Будто она несчастье приносила. Странно, правда? Вообразите только, бедная миссис Уэссингтон, оказывается, может еще приносить кому-то несчастье, не только себе!

Тут я громко рассмеялся, и смех этот неприятно меня поразил. Так, выходит, действительно существуют призраки рикш и на том свете их тоже нанимают! Интересно, сколько же миссис Уэссингтон платит там своим людям? По сколько часов они работают? Куда они ездят?

И как бы в ответ на мой последний вопрос я увидел в полусвете сумерек весь этот дьявольский экипаж: он вдруг преградил мне путь. Покойники ездят быстро и какими-то молниеносными рывками, обыкновенные кули так не умеют. Я еще раз рассмеялся, но тут же подавил смех: мне стало страшно, что я сойду с ума. Да я, верно, уже в какой-то степени и рехнулся, потому что, помнится, подъехав к рикше, я придержал лошадь и вежливо поздоровался с миссис Уэссингтон. Ответ ее я слишком хорошо знал наперед. Однако я дослушал его до конца и сказал, что, правда, уже слышал все это раньше, но был бы счастлив, если бы она к этому что-то могла добавить. В этот вечер в меня, должно быть, вселился какой-то злой дух, и он был сильнее меня; я смутно припоминаю, что минут пять вел с моей потусторонней собеседницей разговор о каких-то самых обыденных вещах.

— Вот бедняга! Либо спятил, либо просто напился. Слушай, Макс, отвези-ка его домой.

Разумеется, это уже не был голос миссис Уэссингтон! Люди эти слышали, как я разговаривал сам с собой, и вернулись, чтобы за мной присмотреть. Они были очень внимательны и милы, и из их слов я понял, что они считают меня мертвецки пьяным. Смущенный, я поблагодарил их, поехал в гостиницу, переоделся и явился к Мэннерингам, опоздав на десять минут. Оправдываясь, я сослался на темноту; Китти не преминула упрекнуть меня, сказав, что я, должно быть, не очень ее люблю, после чего я сел за стол.

Там шел уже оживленный разговор, и, воспользовавшись этим, я стал нашептывать моей возлюбленной разные нежности, как вдруг услышал, что на другом конце стола низенький человек с рыжими

бакенбардами очень картинно рассказывает, как только что повстречал сумасшедшего.

Прислушавшись к этой истории, я убедился, что он говорит о том, что произошло полчаса назад. Доведя свой рассказ до середины, он, как это свойственно заправским рассказчикам, оглядел всех присутствующих, ища в их глазах одобрения, — тут наши взгляды встретились, и от всей его развязности не осталось и следа. На минуту наступило неловкое молчание, а потом человек с рыжими бакенбардами пробормотал какие-то не очень внятные слова, смысл которых сводился к тому, что «все остальное он позабыл», тем самым принеся в жертву свою репутацию отличного рассказчика, которую он снискал себе на курорте за целых шесть сезонов. Благословив его в душе, я спокойно стал доедать свою рыбу.

В положенное время обед закончился; с великим сожалением расстался я с Китти, будучи уверен — так же как в том, что существую на свете, — что Они ожидают меня у дверей. Человек с рыжими бакенбардами, которого мне представили как доктора Хезерлега, жителя Симлы, изъявил желание поехать вместе со мною, так как путь его лежал в ту же сторону. Я с благодарностью принял его предложение.

Предчувствие мое меня не обмануло. Они стояли наготове на бульваре, и даже — и это было какой-то дьявольской насмешкой над нашим миром — на двуколке горел фонарик. Человек с рыжими бакенбардами сразу же перешел к делу, и я понял, что в продолжение всего обеда он думал только об этом.

— Послушайте, Пэнси, что за чертовщина приключилась с вами сегодня вечером на Элизийской дороге?

Вопрос был задан настолько внезапно, что у меня как будто силой вырвали ответ, прежде чем я успел подумать.

— Вот это! — сказал я, указывая на Них.

— Насколько я понимаю, это либо *delirium tremens*^[59], либо проблемы со зрением. Во всяком случае, там, куда вы указываете, ровно ничего нет, хотя на вас пот проступил и дрожите вы как напуганная лошадка. Вот почему я думаю, что у вас не в порядке зрение. И мне надо во всем этом как следует разобраться. Поедемте ко мне домой. Я живу на Нижней Блессингтонской дороге.

К моему величайшему удовольствию, рикша, вместо того чтобы дожидаться нас, покатила по дороге и, опередив нас на двадцать ярдов, сохраняла это расстояние на протяжении всего пути, ехали ли мы шагом, рысью или галопом. Во время этого долгого ночного пути я рассказал моему спутнику почти все из того, что здесь написано.

— Имейте в виду, что вы испортили одну из самых лучших историй, какие мне когда-либо доводилось рассказывать! — воскликнул он. — Но я, так и быть, прощаю вас, помня о том, что вам пришлось пережить. Теперь едьте ко мне домой, и делайте все, что я вам скажу. А когда я вылечу вас, молодой человек, пусть это послужит вам уроком — до самой смерти остерегаться женщин и неудобоваримой пищи.

Рикша по-прежнему ехала впереди, и мой рыжеволосый друг, казалось, с особенным удовольствием выслушивал все сообщения о том, где именно она находится.

— Глаза, Пэнси, все решают глаза, мозг и желудок. И из всех трех желудок — самое важное. Вы слишком много внимания уделяли мозгу, слишком мало — желудку, а глаза у вас вообще никуда не годятся. Приведите в порядок желудок, и все остальное наладится. А все это проходит, когда вы начинаете глотать пилюли от печени. С этой минуты вашим единственным врачом буду я! Такой интересный случай никак нельзя упускать.

В это время мы уже далеко заехали под тенистые своды Нижней Блессингтонской дороги, и рикша остановилась как вкопанная под нависшей над нею шиферной скалой, на которой высидись сосны. Инстинктивно я в свою очередь придержал поводья и объяснил моему спутнику, почему это делаю. Хезерлег выругался:

— Послушайте, если вы думаете, что я буду на холоде ночевать, потакая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения, желудка и мозга... Боже милостивый! Что это?

Послышался приглушенный грохот, навстречу нам поднялось облако пыли, раздался треск, хруст ломавшихся веток, и не меньше десяти ярдов скалы — сосны, мелкий кустарник и все, что было вокруг, — обрушилось на дорогу и загромодило ее от края до края. Вырванные с корнем деревья несколько мгновений еще шевелились в темноте, пошатываясь, как пьяные великаны, а потом со страшным шумом, грянувшись оземь, полегли, простертые и недвижные. Наши

вспотевшие от испуга лошади замерли на месте. Едва только шум от падения земли и камней затих, мой спутник пробормотал:

— А ведь сделай мы еще несколько шагов вперед, мы бы уже лежали теперь в могилах футов десять глубиной.

Гораций, много в мире есть того... [60]

Поедемте теперь домой, Пэнси, и благодарите Бога. Эх, коньячку бы сейчас с содовой.

Мы вернулись назад, перевалили через гребень Церковной горы и в начале первого добрались до дома доктора Хезерлега.

Он немедленно же принялся лечить меня и в течение целой недели не отходил от меня ни на шаг. За эту неделю я много раз благословлял судьбу, столкнувшую меня с лучшим и добрейшим врачом в Симле. С каждым днем мне становилось легче и спокойнее на душе. Вместе с тем с каждым днем я все больше проникался его теорией «обмана зрения», возникающего в результате заболевания глаз, мозга и желудка. Я написал Китти, что упал с лошади, что у меня теперь небольшое растяжение связок, из-за которого придется посидеть несколько дней дома, но что, прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии, я успею поправиться.

Метод лечения Хезерлега был до крайности прост. Он состоял из пилюль от печени, холодных ванн и основательного моциона под вечер или ранним утром, ибо, как он разумно заметил: «Человек, получивший растяжение связок, неспособен отшагать десять миль в день, и ваша невеста изумилась бы, если бы вас увидала».

В конце недели, тщательным образом обследовав пульс мой и зрачки и строго-настроено предписав мне соблюдать диету и побольше ходить пешком, Хезерлег отпустил меня, и это было сделано все с той же грубоватой поспешностью, с какой он принял на себя опеку надо мной. Вот как он напутствовал меня на прощанье:

— Дорогой мой, могу вас уверить, что душевный недуг ваш я вылечил, а это означает, что я вылечил и большую часть недугов физических. А теперь забирайте-ка поскорее ваше барахло и отправляйтесь любезничать с мисс Китти.

Я пытался было отблагодарить его за его великодушие. Он наотрез отказался.

— Не подумайте, что я все это делал из любви к вам. Вели-то вы себя, в общем-то, как последний подонок. Но, несмотря на это, вы феномен, и то, что вы любопытнейший феномен, так же верно, как то, что вы подонок. Нет! — решительно заявил он, осмотрев меня еще раз, — ни одной рупии, прошу вас. Идите и проверьте, не повторится ли вся эта офтальмо-церебрально-гастральная штука еще раз. Если она повторится снова, за каждый раз плачу по одному лакху.

Через полчаса я сидел уже в гостиной Мэннерингов, рядом с Китти, опьяненный наступившим счастьем и радостной уверенностью, что я навсегда избавился от этого ужаса, что Они никогда меня больше не потревожат. Будучи твердо убежден, что теперь мне ничто не грозит, я тут же предложил моей невесте покататься верхом и, что лучше всего, объехать вокруг Джакко.

Никогда я не чувствовал себя так хорошо, никогда не был так жизнерадостен и полон сил, как в этот день — тридцатого апреля. Китти была в восторге от того, что я стал выплядеть лучше, и сказала мне об этом со всей своей очаровательной непринужденностью и прямоотой. Мы вместе выехали из дома Мэннерингов, смеясь и болтая, и отправились, как то всегда бывало раньше, по дороге в Чхота-Симлу. Я спешил поскорее добраться до Санджаулийского водоема, чтобы там, на месте, еще раз удостовериться, что я здоров. Лошади мчались во весь опор, но в нетерпении моем мне казалось, что они недостаточно быстры. Китти была поражена моей удалью.

— Что с тобой, Джек! — вскричала она наконец. — Ведешь себя как мальчишка. Что ты такое вытворяешь?

В эту минуту мы были как раз у подножия Монастыря, и я из чистого озорства щекотал моего уэлера кончиком хлыста, заставляя его бросаться вперед и выделять разные курбеты.

— Что я вытворяю? Да ничего, дорогая моя. Так и должно быть. Если бы ты целую неделю ничего не делала и только лежала, ты бы сегодня так же резвилась, как и я.

Пою, пляшу я оттого, что снова
Живым вернулся в мир живых,
Царем вселенной и всего земного,
Царем всех чувств моих.

Я едва успел процитировать эти стихи, как мы повернули за угол, уже над Монастырем; еще каких-нибудь несколько ярдов, и можно было бы увидеть противоположную сторону Санджаули. На самой середине ровной дороги меня ожидали белые с черным ливреи, желтая полосатая рикша и — миссис Кит-Уэссингтон. Я осадил лошадь, посмотрел, протер глаза и, должно быть, что-то сказал. Придя в себя, я увидел, что лежу ничком на дороге, а Китти, наклонившись надо мною, обливается слезами.

— Кончилось, милая! — задыхаясь, пробормотал я. В ответ Китти только разрыдалась еще сильнее.

— Что кончилось, Джек, дорогой? Что это все значит? Тут, верно, какая-то ошибка, Джек. Ужасная ошибка.

При этих последних словах я вскочил на ноги, совсем обезумев, охваченный бредом.

— Да, тут какая-то ошибка, — повторял я, — ужасная ошибка. Иди сюда и посмотри на Нее.

Смутно припоминаю, что я схватил Китти за руку и потащил по дороге туда, где была Она, и стал просить мою невесту ради всего святого поговорить с Ней, сказать Ей, что мы помолвлены, что ни смерть, ни преисподняя не могут порвать тех уз, которыми оба мы связаны. И одна только Китти знает, сколько всего еще я сказал тогда. Время от времени я исступленно взывал к Ужасу, сидевшему в рикше, моля Его подтвердить, что я говорю правду, и избавить меня от пытки, которую я больше не в силах переносить. Не иначе как я проговорился Китти о моих прежних отношениях с миссис Уэссингтон: я видел, как напряженно она вслушивалась в мои слова, как бледно было ее лицо, как горели глаза.

— Благодарю вас, мистер Пэнси, — сказала она, — этого вполне достаточно. Саис, гхора лао.

Саисы, невозмутимые, как вообще все восточные люди, вернулись с пойманными лошадьми. Когда Китти вскочила в седло, я вцепился в уздечку ее лошади и стал умолять разгневанную девушку выслушать меня и простить. В ответ я получил только удар хлыстом по всему лицу и два-три таких слова, какие даже здесь не решаюсь изобразить на бумаге. Я сделал из этого свой вывод, и вывод этот был правилен: Китти все знала. И я поплелся назад в сторону рикши. Лицо мое было изранено, из него сочилась кровь, а от удара хлыстом на скуле

образовался синяк. Я потерял всякое уважение к себе. В эту минуту подъехал Хезерлег — должно быть, он на расстоянии следовал за нами.

— Доктор, — вскричал я, поворачиваясь к нему так, чтобы он мог увидеть, во что превратилась моя скула, — посмотрите, как мисс Мэннеринг расписалась на приказе о моей отставке, и... я буду признателен вам, когда вы найдете возможным вручить мне обещанный лакх!

Хезерлег сделал такое лицо, что даже в том жалком и подавленном состоянии, в котором я находился тогда, я не мог удержаться от смеха.

— Я буду защищать мою профессиональную репутацию, — начал было он.

— Не валяйте дурака, — прошептал я. — Я лишился счастья всей моей жизни, и самое лучшее, что вы можете сделать, — это отвезти меня домой.

Спустя семь дней (это было седьмого мая) я пришел в себя и увидел, что нахожусь в комнате Хезерлега и что сил у меня не больше, чем у маленького ребенка. Хезерлег сидел за письменным столом и поверх бумаг внимательно за мною следил. Первые его слова оказались отнюдь не ободряющими, но я был настолько уже измучен, что особенно сильного впечатления произвести на меня они не могли.

— Вот видите, мисс Китти вернула вам все ваши письма. У моих молодых друзей, оказывается, была довольно обширная переписка. А вот в этом пакете похоже что кольцо; да, была еще премилая записка от Мэннеринга-отца — я взял на себя смелость ее сжечь. Почтенный господин не очень-то вами доволен.

— А Китти? — глухо спросил я.

— Судя по ее словам, она в еще большей ярости, чем ее отец. В довершение всего, перед тем как мне подъехать, вы предались еще, оказывается, любопытнейшим воспоминаниям. Она говорит, что мужчина, который мог позволить себе так вести себя с миссис Уэссингтон, должен был бы покончить с собой из одного только стыда за весь свой пол. Н-да, девица-то ваша, оказывается, с характером! Притом она уверяет, что, когда дорога вокруг Джакко пошла на подъем, у вас была *delirium tremens*. Говорит, что ей легче умереть, чем когда-нибудь еще встретиться с вами.

Я застонал и повернулся к стене.

— Ну вот, теперь решайте все сами, друг мой. Свадьбе вашей уже не бывать, а Мэннеринги не хотят поступить с вами несправедливо. Из-за чего же все, собственно, расстроилось, из-за *delirium tremens* или из-за приступов эпилепсии? К сожалению, ничего третьего я вам предложить не могу, если только вы не предпочтете наследственное умопомешательство. Скажите только одно слово, и я заявлю им, что это приступы эпилепсии. Вся Симла знает о том, что было на Дамской дороге. Решайте! Даю вам пять минут на размышления.

Мне показалось, что за эти пять минут я пристально обозрел самые глубокие круги ада, какие только могут открыться взгляду смертного. И одновременно с этим я наблюдал за самим собою, блуждавшим по темным лабиринтам сомнения, горя и безысходного отчаяния. Так же как сидевший в кресле Хезерлег, я сам не без интереса следил за тем, какую из двух ужасных альтернатив я выберу. Вскоре, однако, я услышал, как отвечаю — голосом, который с трудом мог узнать:

— В этих краях они до необычайности щепетильны в вопросах нравственности. Скажите, что это приступы эпилепсии, Хезерлег, и передайте им от меня привет. А теперь дайте мне еще немного поспать.

Тут мои обе разъединенные сущности соединились вновь воедино, и это уже прежний неделимый я (полубезумный, одержимый дьяволом) ворочался теперь в постели, стараясь воскресить в памяти одно за другим все случившееся за этот месяц.

— Но ведь я же нахожусь в Симле, — непрестанно твердил я себе. — Я, Джек Пэнси, нахожусь в Симле, и нет тут никаких духов. До чего же безрассудна эта женщина, если она думает, что они существуют. Неужели Агнес не могла оставить меня в покое? Я не сделал ей ничего дурного. Ведь то же самое легко могло бы случиться со мной. Только я никогда не стал бы возвращаться оттуда, для того чтобы ее убивать. Почему же нельзя было оставить меня в покое — оставить меня в покое, дать мне насладиться моим счастьем?

Солнце стояло высоко, когда я в первый раз проснулся; оно успело опуститься совсем низко, прежде чем я снова уснул — уснул так, как засыпает на тюремной подстилке истерзанный пыткой преступник, в изнеможении своем уже переставший чувствовать боль.

На следующий день я не мог подняться с постели. Утром Хезерлег сказал мне, что получил ответ от мисс Мэннеринг и что благодаря его, Хезерлега, дружескому участию в моем деле моя горестная история обошла всю Симлу вдоль и поперек и все меня очень жалеют.

— Гораздо больше, чем вы заслужили, — заключил он с улыбкой, — хотя один только Господь знает, через какие тяжкие испытания вы прошли. Ну не беда, мы еще вылечим вас, распутный вы феномен.

Я наотрез отказался от его лечения.

— Вы и так уже были чересчур добры ко мне, дорогой мой, — сказал я, — но сейчас, мне кажется, я могу обойтись без ваших услуг.

В глубине души я был убежден, что Хезерлег ничего не может сделать, чтобы облегчить гнетущее меня бремя.

Вместе с этим убеждением явилось также чувство безнадежного, бессильного протеста против всей этой нелепой истории. Было же множество людей ничем не лучше меня, а ведь их все-таки сразу не наказали за их грехи, им решили воздать за все на том свете. Мне казалось, что это горькая, жестокая несправедливость, что мне одному только досталась такая страшная участь. Это состояние сменилось другим, когда мне стало казаться, что единственными живыми существами в мире теней были я и рикша, что Китти — это дух, что Мэннеринг, Хезерлег и все остальные мужчины и женщины, которых я знал, — тоже духи; что даже высокие серые горы — это только бледные тени, явившиеся для того, чтобы мучить меня. Так за эти семь томительных дней бросался я из одной крайности в другую; меж тем физически я становился за это время все крепче и крепче, и наконец висевшее у меня в комнате зеркало окончательно заверило меня, что я возвратился в колею моей повседневной жизни и снова сделался таким, как все остальные люди. Интересно, что вся эта внутренняя борьба, которую я пережил, никак не отразилась на моем лице. Оно, правда, было бледным, но все таким же невыразительным и заурядным, как раньше. Я ожидал, что оно день ото дня будет меняться, что снедавший меня недуг оставит на нем некие видимые следы. Их не было.

Пятнадцатого мая в одиннадцать часов утра я покинул дом Хезерлега и по старой холостяцкой привычке отправился в клуб. Все присутствующие знали уже от Хезерлега, что со мной было, и встретили меня чрезвычайно предупредительно и любезно, хотя в обращении их все же замечалась некоторая неловкость. Но, несмотря на все их усилия, я понял, что, сколько бы мне ни было суждено прожить на этом свете, я уже всегда буду себя чувствовать среди них чужим, и с горечью позавидовал жизнерадостным кули там, внизу, на бульваре. Я позавтракал в клубе, а в четыре часа пошел побродить по бульвару, втайне надеясь где-нибудь встретить Китти. Возле самой эстрады со мною поравнялись черные с белым ливреи, и я услышал совсем близко голос миссис Уэссингтон — всё те же слова. Я ждал этого с той самой минуты, когда вышел из клуба, и удивлялся только тому, что это случилось не сразу. Рикша-призрак и я двигались рядом в безмолвии по дороге на Чхота-Симлу. У самого базара нас обогнала Китти, ехавшая верхом с каким-то незнакомым мне мужчиной. На меня она обратила не больше внимания, чем на собаку. Она даже не поблагодарила за то, что я уступил ей дорогу; день, правда, выдался дождливый, и можно было ее извинить.

Словом, Китти со своим спутником и я вместе с моею ветреною возлюбленной с того света, следуя попарно, медленно огибали Джакко. По дороге струились потоки воды; с веток сосен капало, как с водосточных труб, на скалы внизу, и самый воздух весь был полон тонким, хлестким дождем. Я поймал себя два или три раза на том, что почти вслух сказал: «Я, Джек Пэнси, в отпуске в Симле — в Симле! В обычной, живущей своей повседневной жизнью Симле. Я не должен этого забывать, да, не должен забывать». Потом я старался припомнить обрывки разговора, слышанного мною в клубе: цены на таких-то и таких-то лошадей — словом, все, что относилось к будничной англо-индийской жизни, которую я так хорошо знал. Я даже наскоро повторил про себя таблицу умножения, чтобы окончательно убедиться, что чувства мои мне не изменили. Меня это очень успокоило и даже помогло мне, должно быть, один раз не услышать обращенных ко мне слов Агнес.

Еще раз поднялся я, усталый, по склону Монастырской горы и выехал на ровную дорогу. Тут Китти и сопровождавший ее мужчина

перешли на галоп и ускакали дальше, а я остался в обществе миссис Уэссингтон.

— Агнес, — сказал я, — может быть, ты откинешь верх и скажешь мне, что все это значит?

Верх бесшумно откинулся, и я оказался с глазу на глаз с моей умершей и похороненной любовницей. На ней было платье, в котором я видел ее последний раз живой; в правой руке она держала все тот же тонкий платок, в левой — футляр для визитных карточек. (Женщина, умершая восемь месяцев назад, с футляром для визитных карточек!) Я должен был пригвоздить себя к таблице умножения и коснуться обеими руками парапета дороги, чтобы удостовериться, что по крайней мере он-то действительно существует.

— Агнес, — повторял я, — ради всего святого, скажи мне, что все это значит.

Миссис Уэссингтон наклонилась вперед, порывисто и чудно вздернула голову — движение, которое я так хорошо знал, — и заговорила.

Если бы рассказ мой уже не перескочил так далеко границ вероятного, мне следовало бы сейчас попросить у вас прощения. Хотя я знаю, что никто — никто, даже Китти, для которой я все это пишу, чтобы в какой-то степени оправдать мое поведение, — все равно не поверит мне, я буду продолжать. Миссис Уэссингтон заговорила, а я шел с ней рядом от Санджаулийской дороги до поворота возле дома командующего округом — так, как я мог бы идти рядом с рикшей, на которой сидела бы какая-нибудь живая женщина, поглощенный разговором с ней. Второе и самое мучительное из моих болезненных состояний внезапно овладело мною, и, подобно принцу в стихотворении Теннисона,

Я шел, казалось, среди живых теней.

У командующего округом были в этот день гости, и мы оба, миссис Уэссингтон и я, присоединились к группе возвращавшихся домой людей. Когда я взгляделся в них, мне показалось, что все они — только тени, бесплотные, фантастические тени — и что они расступаются для того, чтобы рикша миссис Уэссингтон могла проехать. О чем мы говорили во время этого загадочного свидания, я не решаюсь, собственно говоря, даже не смею сказать. Хезерлег

посмеялся бы надо мной и заметил, что я волочился за химерой, порожденной болезнью мозга, глаз и желудка. Это было страшное и вместе с тем каким-то неизъяснимым образом чудесное и ставшее драгоценным для меня переживание. Я спрашивал себя, возможно ли, что в этой жизни я могу еще раз ухаживать за женщиной, которую уже однажды убил своим небрежением и жестокостью.

Возвращаясь домой, я встретил Китти — она была тенью среди теней.

Если бы я стал описывать по порядку все, что произошло в течение двух последующих недель, я бы, верно, никогда не окончил мой рассказ и ваше терпение бы истощилось. Утро за утром и вечер за вечером рикша-призрак и я продолжали свои странствия по всей Симле. Куда бы я ни шел, четыре черных с белым ливреи всюду следовали за мной; вместе с ними я выходил из гостиницы, вместе с ними возвращался назад. Смотрел ли я какой-нибудь спектакль, выходя из театра, я находил их среди толпы крикливых джампани; играл ли я в клубе до полуночи в вист, они неизменно появлялись возле веранды; бывал ли я на праздничном балу, они терпеливо дожидались у входа; шел ли я куда-нибудь днем, они неизменно появлялись возле меня. Если не считать того, что она не отбрасывала тени, рикша во всех отношениях с виду была похожа на настоящую, сделанную из дерева и железа. В самом деле, мне не раз приходилось удерживать себя, когда я вдруг кидался предупредить какого-нибудь быстро ехавшего приятеля, чтобы тот не наскочил на нее. Не раз проходил я по бульвару, всю дорогу продолжая разговаривать с миссис Уэссингтон, к несказанному удивлению прохожих. Не прошло еще и недели после моего выздоровления, как я узнал, что версия «припадков» была оставлена и утвердилось убеждение, что я сошел с ума. Однако это не заставило меня изменить образ жизни. Я ходил в гости, разъезжал по городу, обедал у знакомых так же легко и непринужденно, как раньше. У меня появилось пристрастие к обществу людей, чего я раньше никогда за собою не замечал. Меня неудержимо тянуло к повседневной человеческой жизни, и вместе с тем на меня нападала какая-то смутная тоска, когда я надолго расставался с моей потусторонней подругой. Невозможно описать, как часто менялось мое настроение начиная с пятнадцатого мая вплоть до сегодняшнего дня.

Присутствие рикши попеременно то бросало меня в ужас, в безотчетный страх, то приносило мне какую-то смутную радость, уступавшую место самому безысходному отчаянию. Я не осмеливался покинуть Симлу; и вместе с тем я знал, что, продолжая жить там, я себя убиваю. Кроме того, я знал, что судьбою мне определено умирать медленно и понемногу каждый день. Единственное, чего я хотел, — это исполнить назначенную мне епитимью елико возможно спокойно. Я попеременно то стремился поскорее увидеть Китти, то с явным любопытством смотрел, как она флиртует с моим преемником, вернее сказать — с преемниками. Она занимала тогда так же мало места в моей жизни, как я — в ее. Днем я бродил в обществе миссис Уэссингтон и бывал, можно сказать, доволен. По ночам я молил Господа возвратить меня в тот мир, в котором я привык жить. Но сквозь все эти переменчивые состояния проходило чувство тупого, ледящего душу недоумения: как могло случиться, что видимый и невидимый миры так странно переплелись здесь, на земле, для того чтобы с такой жестокостью преследовать несчастную душу до самой могилы?

27 августа. Хезерлег просто неумолим в своих заботах обо мне; но только вчера вечером он посоветовал мне подать прошение об отпуске по болезни. Прощение, для того чтобы убежать от призрака! Просьбу, чтобы правительство любезно разрешило мне избавиться от пяти духов и от летающей по воздуху рикши, уехав в Англию! Совет Хезерлега вызвал у меня истерический хохот.

Я ответил, что спокойно буду ждать смерти в Симле; и я уверен, что ждать придется не так уж долго. Поверьте, я не могу даже сказать, как я боюсь ее прихода. По ночам я мучаюсь, прикидывая на все лады, какой она будет.

Умру ли я в собственной постели, пристойным образом, так, как подобает умереть уважающему себя англичанину, или на одной из моих прогулок по бульвару душу мою вырвут вдруг из тела и не дадут ей никуда убежать от этого ужасного призрака? Вернусь ли я на том свете к той, которой я верен, или встречу снова ненавистную мне Агнес и буду прикован к ней до тех пор, пока существует вселенная? Или обоим нам суждено носиться по воздуху над местами, где прошли наши жизни, до скончания века? По мере того как я чувствую

приближение смерти, ужас, который испытывает всякое живое существо к выходцам из могилы, становится все неодолимее. Как это страшно — негаданно очутиться в обители мертвых, не успев прожить и половину жизни. Тысячу раз страшнее ждать — как я жду сейчас, находясь среди вас, — ужаса, который немислимо себе представить. Пожалейте же меня хотя бы за то, что я поддался «обману чувств», ибо я знаю, что вы никогда не поверите тому, что я здесь пишу. Но если когда-нибудь человек бывал приговорен к смерти Силами Тьмы, то знайте: человек этот — я.

Будьте справедливы, пожалейте и ее. Ибо если когда-нибудь на свете мужчина убивал женщину, то знайте: я убил миссис Уэссингтон. И я еще не испил моего наказания до конца.

Густав Майринк

(1868–1932)

Женщина без рта

Пер. с нем. В. Крюкова

Обратиться к врачу? Смешно! Он, конечно же, с озабоченным видом примется ощупывать мою селезенку — не страдаю ли я лейкемией, — потом попросит показать язык, а там, глядишь, и клистир пропишет... Нет уж, благодарю покорно! Ну а если ему все откровенно рассказать? Этого еще не хватало! Да он тут же отправит меня на обследование в психиатрическую лечебницу и будет, наверное, по-своему прав, ведь все началось с того, что в одно прескверное ноябрьское утро я проснулся после глубокого, больше похожего на обморок сна совершенно другим человеком — со мной приключилось нечто странное и необъяснимое, меня вдруг как подменили: прежний веселый, общительный жизнелюб, всегда готовый приволокнуться за первой попавшейся юбкой, в течение ночи превратился в замкнутого, нелюдимого одиночку, который, внезапно оказавшись по ту сторону этого полного радости и наслаждений мира, с ужасом и недоумением ловит насмешливое эхо утраченной «действительности», доносящееся до него словно из бездны канувших в Лету тысячелетий.

Да разве кто-нибудь из этих психиатров способен понять муки того, кто оказался заживо погребенным в стеклянном коконе, сквозь толстые, преломляющие свет стенки которого видны образы внешнего мира, — искаженными и жуткими, похожими на полуразложившийся труп, предстают они взору моему, и тем не менее эти уродливые видения распадающейся «действительности» больше соответствуют истине, чем те обманчиво красивые декорации, которые притупленный будничным однообразием глаз «нормального» человека принимает за реальность.

Ну как мне объяснить всем этим эскулапам, что с того злосчастного ноябрьского дня я постоянно ощущаю нечто, стоящее за моей спиной?.. Нет-нет, оно не только позади, но и впереди, и рядом,

и надо мной, и подо мной, и вокруг меня — оно повсюду. Оно ближе всего самого близкого, ближе, чем то пространство, которое занимает мое тело, ближе, чем я сам... Возможно ли, чтобы мы в глубоком сне переживали вещи, находящиеся по ту сторону Стикса, — те столь непостижимые и изначально чуждые человеческой природе сущности, что наше ограниченное сознание их попросту не в состоянии вместить? Неужели рутинная повседневность окончательно лишила нас духовного зрения, так что сон воспринимается нами теперь как беспросветный мрак могилы?..

Когда-то давно, в далеком детстве, я принес домой красивую зеленую гусеницу, которую снял с ветки цветущего куста; мне сказали, что, если ухаживать за ней и кормить, она со временем превратится в чудесную ночную бабочку. Однажды утром я нашел ее мертвой, а приглядевшись, с ужасом увидел, как из маленького трупа выползает отвратительный черный инсект с овальной, лишенной рта головой, длинными паучьими лапками и чахлым тельцем с прозрачными крылышками. «Это наездник, — объяснили мне, — личинка которого, тайком присосавшись к эмбриону бабочки, пила из него жизненные соки». И почему воспоминание об этом давным-давно забытом и неприятном детском переживании после той мучительной, ставшей для меня роковой ночи вдруг снова оживило в душе моей?..

Почему запал мне в душу этот кошмарный образ, не знаю, но фантастическая, ни на чем не основанная идея, что таинственное нечто, заполняющее меня изнутри и обволакивающее снаружи, есть не что иное, как женщина, проникнув в мое сознание, стала мало-помалу точить его подобно ненасытной пиявке, проникая все глубже и глубже. Постепенно образ призрачной женщины, рот которой был сокрыт под черным непроницаемым газом, завладел всеми моими мыслями. Наяву я этой женщины никогда в жизни не видел — вот, пожалуй, то единственное, что не вызывало у меня сомнений.

Один знакомый, которому я в минуту откровения рассказал о преследующем меня кошмаре, клятвенно заверил, что где-то определенно видел не то фотографию, не то портрет этой женщины. Где именно, мой озадаченный конфидент припомнить уже не мог, однако совершенно точно он висел на стене какого-то ночного заведения, затерявшегося в каменном лабиринте Гарлема. Знакомый

считал, что я, скорее всего, тоже видел его однажды, только мой взгляд скользнул по нему мельком, так что в памяти осел лишь смутный призрак изображенной на портрете женщины. Однако ужас, который исходил от этой зловещей, исполненной поистине неслыханной извращенности личины с траурной повязкой на губах, все же успел запечатлеться в моей душе, заставляя меня теперь теряться в мучительных догадках, где и когда я видел этот inferнальный образ, — нечто подобное происходит, когда мы стараемся вспомнить какое-нибудь забытое имя...

Кажется, разговор наш состоялся совсем недавно, быть может даже вчера, однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что этому «вчера» уже по меньшей мере месяц, просто оно превратилось для меня в нескончаемое настоящее. «Как только тебе удастся найти этот портрет, — сказал тогда на прощание не на шутку встревоженный знакомый, — ты сразу избавишься от преследующего тебя наваждения. Все, что для нас, людей, становится объективной реальностью — будь то сам дьявол, — мгновенно утрачивает над нами всякую демоническую власть».

С тех пор я стал спать днем, а по ночам прочесывал злачные заведения в поисках проклятого портрета. Где только не пришлось мне перебивать: и в окраинных трущобных пивнушках, и в шикарном бродвейском кабаре, и в крошечных портовых подвальчиках, и на колоссальных аренах, заполненных до отказа десятками тысяч зрителей, которые, тесно прижавшись друг к другу подбитыми ватой плечами, с нарастающим напряжением следили за поединками истекавших кровью боксеров, однако моим претерпевшим метаморфозу чувствам все это море искаженных азартной лихорадкой лиц представлялось гигантским сонмом восставших из гробов мертвецов, чьи бледные, призрачные маски из стороны в сторону раскачивали порывы потустороннего ветра. Я исходил весь город вдоль и поперек, не пропуская ни одного негритянского танцевального салона, ни одного сомнительного бара, — просматривал залу за залой, обшаривал взглядом самые потаенные уголки, заглядывал под висевшие на стенах циновки... Тщетно...

Пристально вглядываясь в цветных оборванцев всех рас и оттенков кожи, я выискивал среди них таких, которые как свои пять пальцев знали подпольные притоны преступного Нью-Йорка, и при первом же

удобном случае заговаривал с ними, пытаюсь на невообразимой смеси доступных мне языков выяснить, не приходилось ли им встречать где-либо изображение женщины без рта. Бродяги, окинув меня подозрительным взглядом с головы до ног, либо недоуменно качали головами, либо с проклятиями гнали прочь, принимая не то за умалишенного, не то за окончательно спившегося забулдыгу, кое-кто, цинично ухмыляясь, предлагал мне рот без женщины... Однажды я, казалось, был уже у цели — один китаец в ответ на мой вопрос принялся усердно кивать: «Портрета нет, есть сивой сенсин... а рот нет, сасем рот?.. Селовать сенсин мосно без рот... Господина ходить са мной!..» — и, вцепившись в мою руку, он стал тянуть меня за собой. Я разочарованно отстранился: курильщик опиума...

Когда это было? Похоже, вчера... Во всяком случае, так мне кажется. А сейчас снова ночь, и я сижу в каком-то подозрительном гарлемском баре за стоящим особняком столиком, отделенном от залы зелеными занавесками, и жду некоего мистера Сида Блэка. Цветные говорят, что нет такой вещи на свете, о которой бы не знал «масса Блэк», ибо он ясновидящий. Родом сей колдун из Порт-о-Пренса, однако чрезвычайно гордится своими предками — чистокровными ашанти, выходцами из самого сердца Африки. Меня предупредили, что ясновидящий все время находится в полубессознательном состоянии, вызванном постоянным употреблением наркотиков, однако по нему не заметно ни малейших признаков кейфа: в эйфории пребывает лишь его дух, тело же, несмотря на безумные дозы вводимого в организм зелья, остается вне действия страшных препаратов...

Передо мной стоял высокий стакан «лимонада» — гремучая смесь рома и денатурированного спирта, — я сидел и ждал, отрешенно глядя на зеленый занавес, по ту сторону которого висевшие на стене часы пробили два раза. Кажется, прошли десятилетия с тех пор, когда я последний раз слышал бой часов. Этот забытый звук привел мою кровь в волнение, и я вдруг с какой-то пронзительной ясностью почувствовал: сейчас, в эту самую минуту, мне наконец откроется, кем в действительности была злобная женщина, скрывавшая свой рот под траурной вуалью. То, что ее изображения никогда не было, да и не могло быть, стало мне понятно час назад, когда внезапная вспышка озарения заставила меня вздрогнуть: мой знакомый

ошибался — он тоже никогда в жизни не видел ни портрета, ни фотографии женщины без рта. Наивно искать в этом мире то, что принадлежит миру иному. Судя по всему, своим рассказом я магнетически привлек эту жуткую потустороннюю сущность, и мой знакомый, с ужасом ощущая невидимое присутствие кошмарного призрака, на некоторое время утратил контроль над собственным сознанием, которое тут же, дабы окончательно не угаснуть, внушило ему «спасительную мысль»: мол, он уже где-то видел изображение этой странной женщины. Какой же демонически могучей должна быть призрачная власть сего inferнального суккуба, нижняя часть личины которого была словно окутана остатками полуистлевших погребальных пелен!..

Узкая рука в белоснежной лайковой перчатке раздвинула зеленые занавески, и в мой закуток проникла высокая узкоплечая фигура. Словно выточенное из эбенового дерева лицо этого одетого с изысканной элегантностью денди было таких безукоризненно классических пропорций, что мне на миг почудилось, будто я вижу перед собой античную эллинскую статую. Меня не обманули, Сид Блэк и вправду держался с аристократическим достоинством, ни единым движением не выдавая, что пребывает практически в трансе, и лишь по тем не совсем адекватным, характерно отрывочным фразам, с которыми обратился ко мне этот присевший за мой столик экстравагантный чернокожий, я мог хотя бы приблизительно составить представление о степени его неменяемости — думаю, она была почти предельной, так как мой собеседник поминутно извлекал из кармана изящную серебряную табакерку и, зажимая поочередно то левую, то правую ноздрю, быстро и жадно вдыхал белый порошок. Судя по всему, кокаин...

— Говорите! — резко и повелительно бросил колдун, и это прозвучало так, словно он обращался к своему лакею.

Уязвленное чувство собственного достоинства, всосанное всеми представителями белой расы с молоком матери, уже было восстало во мне — и тут же сникло, когда меня прожег испепеляющий взгляд этих мертво-стеклянных, горящих как уголья глаз, и слова вдруг сами, помимо моей воли, стали слетать с губ... Я говорил и говорил, пока не рассказал все... Однако колдун продолжал допытываться:

— У вас была когда-нибудь любовная связь с женщиной?

— Разумеется. И не раз...

— С одной совсем еще юной мулаткой?..

— Откуда вам это известно, мистер Блэк?

Негр пропустил мой вопрос мимо ушей.

— Она погибла...

— Совершенно верно, — выдохнул я, парализованный ужасом, — в результате несчастного случая... Все произошло так внезапно... Мы ехали в автомобиле... Случилась авария, и... и она ушла из жизни...

— Ушла из жизни? Человек, который любит, не может уйти из жизни. Тем более если он — ашанти! Она была квартиронкой, но в ней текла кровь ашанти.

— Мы страстно любили друг друга... — только и мог пролепетать я под впечатлением нахлынувших воспоминаний.

Колдун презрительно скривился:

— «Друг друга»?! «Страстно»?! Это она вас любила! Она! Что можете знать вы, белые, о страсти!..

Сид Блэк, как урожденный гаитянин, безукоризненно говорил по-французски, так что я довольно смутно, лишь наполовину, уловил смысл его длинной и сумбурной тирады, и все же мне стало не по себе от той безграничной ненависти, которую он испытывал к людям моей расы...

Четверть часа тому назад колдун ушел; в своем наркотическом делирии он, похоже, просто забыл о моем существовании. Окончательно сбитый с толку темными речами странного собеседника, я долго еще сидел в полутемном баре и, тупо уставившись на зеленые занавески, пытался собрать свои словно разметанные ураганом мысли... Итак, Лилит — так звали мою погибшую возлюбленную — была язычницей и принадлежала к тайной секте ямайских вуду. И ядовитая личинка ее колдовской страсти, проникнув ко мне в душу и присосавшись к ней, до тех пор пожирала мое мужское начало, пока не превратило меня в жалкого скопца, в бесполого раба Черной богини... Даже если бы мулатка все еще пребывала во плоти в мире сем, она своей необузданной, вампиричной похотью заставила бы иссякнуть жизненную силу любого белого человека...

«То полузабытое детское переживание с наездником, — нечто в этом роде говорил мне колдун, — было пророческим предсказанием вашей собственной судьбы. Лилит превратила вас в свое имаго, она и есть та самая женщина без рта, которую вы ощущаете вовне и внутри себя. Вас удивляет то, что она лишена рта? — мрачно усмехнулся негр. — Страсть черной крови не нуждается в словах, она не говорит, а если целует, то не губами...»

Ну а то, что сказал Сид Блэк в заключение, до сих пор звучит у меня в ушах зловещим эхом:

«Все вы, белые, обречены и погибнете от ядов, пред дьявольской силой которых вам не дано устоять, и одним из этих роковых для вас зелий будет женская страсть, ибо вам, духовным кастратам, нечего ей противопоставить. И тогда исполнится предначертанное, и мы, черные мужчины, воссядем на престоле мира сего...»

Этюды в багровых тонах

Джон Уильям Полидори

(1795–1821)

Вампир

Пер. с англ. С. Шук

Однажды, в пору зимних увеселений, в лондонских кругах законодателей моды появился дворянин, примечательный своей странностью более даже, чем знатностью рода. На окружающее веселье он взирал так, как если бы сам не мог разделять его. Несомненно, легкомысленный смех красавиц привлекал его внимание лишь потому, что он мог одним взглядом заставить его умолкнуть, вселив страх в сердца, где только что царила беспечность. Те, кому довелось испытать это жуткое чувство, не могли объяснить, откуда оно происходит: иные приписывали это мертвенному взгляду его серых глаз, который падал на лицо собеседника, не проникая в душу и не постигая сокровенных движений сердца, но давил свинцовой тяжестью. Благодаря своей необычности дворянин стал желанным гостем в каждом доме; все хотели его видеть, и те, кто уже пресытился сильными ощущениями и теперь был мучим скукою, радовались поводу вновь разжечь свое любопытство. Несмотря на мертвенную бледность, его лицо, никогда не розовевшее от смущения и не разгоравшееся от движения страстей, было весьма привлекательным, и многие охотницы за скандальной славой всячески старались обратить на себя его внимание и добиться хоть каких-нибудь знаков того, что напоминало бы нежную страсть. Леди Мерсер, от которой не ускользнул ни один чудак, сколько бы их ни появлялось в гостиных со времен ее замужества, воспользовалась случаем и разве что не облачилась в шутовской наряд, дабы оказаться замеченной им, однако все было напрасно. Он смотрел на нее, когда она стояла прямо перед ним, но взор его оставался непроницаем. Даже ее беспримерное бесстыдство было посрамлено, и ей пришлось покинуть поле битвы. Но хотя распутницам не удавалось даже привлечь к себе его взгляд, этот человек вовсе не был равнодушен к женскому полу. Однако с добродетельными женщинами и невинными

дочерьми он знакомился, выказывая величайшую осмотрительность, и потому его редко заставляли беседующим с дамой. Он имел репутацию очаровательного собеседника, и то ли красноречие скрадывало угрюмость его нрава, то ли его подчеркнутая неприязнь к пороку трогала женские сердца, но женщины, славившиеся своей добродетелью, разделяли его общество столь же охотно, как и те, кто успел запятнать свое имя.

Приблизительно в то же время в Лондон приехал молодой аристократ по имени Обри. Родители его умерли, когда он был ребенком, завещав ему и сестре большое состояние. Опекуны, заботившиеся лишь об имуществе детей, предоставили юношу самому себе, поручив воспитание его ума своекорыстным наставникам, и потому Обри развил свое воображение более, нежели умение судить о вещах. Соответственно, он обладал тем романтическим чувством чести и искренности, которое ежедневно губит не одну ученицу модистки. Он верил, что добродетель торжествует, а порок Провидение допускает ради живописности, как это бывает в романах; он полагал, что платье бедняка такое же теплое, как платье богача, но скорее привлекает взор художника обилием складок и цветистостью заплат. Словом, поэтические мечтания он принимал за реальную действительность. Стоило только милovidному, простодушному и вдобавок богатому юноше войти в блестящее общество, как его тут же окружили маменьки, которые принялись неустанно расхваливать своих томных или резвых любимиц, соревнуясь в преувеличениях. Лица дочерей при виде его загорались радостью, и стоило лишь ему заговорить, как глаза их светились счастьем, что внушило Обри ложное представление о собственном уме и талантах.

В романтические часы своего уединения Обри с удивлением обнаружил, что сальные и восковые свечи мерцают не по причине присутствия некоего духа, но оттого, что он забывает снять с них нагар; реальная жизнь не соответствовала сонму приятных картин, воссоздаваемых в тех многочисленных томах, из коих он почерпнул свое образование. Найдя, впрочем, некоторое удовлетворение в светской суете, юноша готов был уже отказаться от своих грез, когда ему встретилась необыкновенная личность, о которой говорилось выше.

Обри наблюдал за ним; однако невозможно было без взаимного общения постичь характер человека, столь замкнутого в самом себе, что значение для него окружающих предметов сводилось лишь к молчаливому признанию их существования. Позволяя воображению рисовать каждую вещь так, чтобы это льстило его склонности к экстравагантным вымыслам, юноша вскоре сделал из объекта своих наблюдений героя романа и продолжал наблюдать более поросль своей фантазии, чем находившуюся перед ним реальную личность. Обри постарался завязать с ним знакомство и уделял ему столь много внимания, что вскоре оказался замечен и признан. Постепенно юноша узнал, что дела лорда Рутвена расстроены, и по приготовлениям на ***-стрит обнаружил, что тот собирается отправиться в путешествие. Желая узнать поближе эту одинокую душу, которая до сего момента только подстегивала его любопытство, Обри дал понять своим опекунам, что для него настало время совершить поездку в дальние страны, которая — поколение за поколением — считается важной, так как позволяет юноше сделать решительные шаги на стезе порока и, став наравне со взрослыми, не выглядеть так, будто они свалились с неба, когда скандальные похождения упоминаются как предмет шутки или похвалы, в соответствии со степенью проявленного здесь искусства. Опекуны согласились, Обри немедленно уведомил о своем решении лорда Рутвена и был весьма удивлен, получив приглашение присоединиться. Польщенный этим знаком расположением со стороны человека, который очевидно не был подобен другим людям, Обри с радостью принял предложение, и через несколько дней они пересекли воды пролива.

До этого Обри не имел возможности изучать характер лорда Рутвена, и теперь он нашел, что многие поступки лорда, представшие его взору, позволяют сделать различные выводы из вроде бы очевидных мотивов его поведения. Щедрость его спутника была беспредельной; являвшиеся к нему лентяи, бродяги, нищие получали подавание, которое значительно превосходило их сиюминутные нужды. Однако Обри не мог не заметить, что милосердие лорда не распространялось на попавших в беду добродетельных людей (ибо и добродетель может быть подвержена превратностям судьбы). Таковые отсылались прочь с плохо скрываемой насмешкой. Но если какой-нибудь мот приходил просить подавания для удовлетворения не

насущных нужд, но своей страсти, или чтобы еще глубже погрузиться в бездну порока, то его награждали с безграничной щедростью. Обри, впрочем, отнес это за счет того, что разврату присуще обычно самое низменное упрямство, тогда как находящейся в нужде добродетели всегда сопутствует стыдливость. Было одно обстоятельство в щедрости его светлости, которое все более и более впечатляло Обри: все, кого он облагодетельствовал, со временем обнаруживали, что на его дарах лежит некое проклятие; несчастные либо оказывались на эшафоте, либо впадали в еще более беспросветную и унижительную нищету. В Брюсселе и других городах, через которые они проезжали, Обри поражался страстности, с которой его спутник искал средоточия всевозможных модных пороков. Донельзя воодушевленный, он подходил к игорному столу, делал ставки и всегда оказывался в большом выигрыше, если только его соперником не был какой-нибудь известный шулер. В этом случае лорд терял более, чем выигрывал, но всегда с неизменным равнодушием, с каким он вообще смотрел на окружавшее его общество. Иначе было, когда ему противостоял неоперившийся юноша или незадачливый отец многочисленного семейства; тут каждое желание лорда, казалось, становилось законом для фортуны, его всегдашняя небрежная рассеянность исчезала, и в глазах загорались хищные огоньки, как у кошки, играющей с полузадушенной мышью. В каждом городе он оставлял разоренного молодого богача, проклинавшего в тюремном одиночестве судьбу, которая свела его с этим демоном, тогда как многие отцы сидели, обезумев, под безмолвными, но красноречивыми взглядами своих голодных чад; от былой роскоши у них не оставалось ни фартинга, чтобы купить даже самое необходимое. От игорного стола он не брал ничего, но тут же проигрывал свои деньги разорителю многих, причем последний золотой мог быть вырван из судорожно сжатых пальцев неискушенного: возможно, это было результатом некоторых познаний, уступавших, однако, ухищрениям более опытных игроков. Обри часто испытывал желание объяснить это своему другу и убедить его отказаться от щедрости и развлечений, что приводят к крушению всего и не служат к его собственной выгоде. День за днем юноша откладывал этот разговор, надеясь, что друг предоставит ему возможность для открытой, честной беседы, но, к сожалению, этого не происходило. Лорд Рутвен, находился ли он в своей карете или

совершал прогулку по живописным диким местам, всегда оставался неизменен: глаза его говорили еще менее, чем губы, и хотя Обри постоянно пребывал вблизи предмета своего любопытства, он так и не смог найти удовлетворительную разгадку; его волнение лишь возрастало от тщетных попыток проникнуть в тайну, которая начала представляться его пылкому воображению чем-то сверхъестественным.

Вскоре они прибыли в Рим, и Обри на время потерял своего спутника из виду: лорд ежедневно посещал утренние собрания у одной итальянской графини, а Обри блуждал в поисках достопримечательностей другого, почти исчезнувшего города. Пока он предавался этим занятиям, пришли некоторые письма из Англии, которые он распечатал со страстным нетерпением. Первое было от его сестры и дышало любовью, другие от опекунов, и, прочтя их, Обри ужаснулся. Прежде его уже посещали мысли, что лорд Рутвен одержим некой злой силой, письма же представляли вполне убедительные тому доказательства. Опекуны требовали, чтобы юноша немедленно расстался со своим другом, и утверждали, что характер последнего ужасно порочен, что его развращающему влиянию невозможно противостоять и именно это делает его необузданные склонности чрезвычайно опасными для общества. Было обнаружено, что его видимое презрение к распутнице происходило не из ненависти к ее характеру, но что подлинное удовольствие он получал лишь тогда, когда его жертва и соучастница во грехе бывала свергнута с высот незапятнанной непорочности вниз, в глубочайшую пропасть бесславия и разврата. Все женщины, которых он добивался, очевидно стоявшие на вершине своей добродетели, после его отъезда сбросили маски и не постыдились выставить на всеобщее обозрение всю омерзительность своих пороков.

Обри решился порвать с человеком, в чьем нравственном облике не было ни одной привлекательной черты. Желая сыскать к тому благовидный предлог, Обри еще теснее сблизился со своим спутником и продолжил наблюдать за ним, не упуская ни одного, даже мимолетного, штриха. Он стал посещать дом графини и вскоре заметил, что лорд намеревается воспользоваться неопытностью ее дочери. В Италии редко встретишь в светских кругах молодую девушку, и потому лорд вынашивал свои замыслы в строжайшей

тайне. Но Обри удалось разгадать его уловки, и вскоре он узнал, что назначено свидание, которое почти наверняка погубит невинную, хотя и легкомысленную девушку. Обри поспешил к лорду и без обиняков расспросил его о намерениях относительно юной графини, не скрывая, что знает о свидании, назначенном как раз в предстоящую ночь. Лорд Рутвен ответил, что его намерения таковы, каковы и должны быть при подобных обстоятельствах. Обри поинтересовался, не предполагает ли его светлость жениться на девушке. Вместо ответа лорд расхохотался. Вернувшись к себе, Обри письменно уведомил лорда, что остаток путешествия им придется совершить порознь. Велев слуге подыскать новое пристанище, он поехал к матери девушки и сообщил ей все, что знал, о взаимоотношениях между ее дочерью и лордом Рутвеном и обрисовал ей характер его светлости в целом. Свидание было предотвращено. На следующий день лорд Рутвен через слугу передал, что против отъезда Обри возражений не имеет, однако никак не намекнул, что догадывается о том, кто разрушил его замыслы.

Из Рима Обри отправился в Грецию и, пересекши полуостров, вскоре прибыл в Афины. Остановившись в доме одного грека, он занялся изучением полуистлевших обломков былой славы, которые, словно стыдясь того, что запечатлели деяния свободных людей перед рабами, спрятались под слоем пыли и разноцветных лишайников. В том же доме жила молодая девушка, чья утонченная красота могла бы послужить образцом для художника, вознамерившегося запечатлеть на холсте воздаяние, обещанное правоверным в магометанском раю, если бы не ее выразительные глаза, которые выдавали в ней создание, имеющее душу. Танцевала ли девушка на равнине, ступала ли на горный склон — она несомненно была много прекрасней газели, ибо кто променял бы эти глаза — глаза одухотворенной природы — на сонный, сладострастный взгляд животного, который по вкусу лишь эпикурейцу? Ианфа легкой поступью часто сопровождала Обри в его поисках древностей, и он, позабыв о неразгаданных надписях, с восхищением любовался красотой ее форм, когда она, порхая будто сильфида, гонялась за пестрой кашмирской бабочкой. Ее взметнувшиеся локоны то вспыхивали, то гасли, переливаясь под лучами солнца, и вполне можно простить рассеянность антиквара, который забывал о драгоценных табличках, прояснявших тот или

иной отрывок из Павсания. Но к чему пытаться описать чары, которым легко поддается всякий, но которые никто не может постичь? Это были невинность, молодость и красота, не потерявшие своей естественности в переполненных гостиных и душных бальных залах. Пока Обри зарисовывал руины, над набросками которых ему хотелось бы впоследствии проводить часы раздумья, Ианфа стояла рядом, наблюдая, как под его карандашом проступают на бумаге картины родного ей края. Девушка рассказывала ему о хороводах на лугу, вспоминала о свадьбах, которые ей доводилось видеть еще в детстве, живописуя их в сияющих красках юной памяти, а затем обращалась к темам, сильнее всего впечатлившим ее ум, и пересказывала истории о сверхъестественном, которые слышала от няни. Обри поневоле заражался ее искренней верой в эти истории. И часто, когда она рассказывала о живом вампире, который подолгу пребывал в кругу родных и друзей, каждый год вынужденный питаться кровью красивых женщин, чтобы еще на несколько месяцев продлить себе жизнь, Обри холодел от ужаса, хотя и пытался высмеять наивную веру девушки в страшные сказки. Ианфа, возражая, называла имена стариков, которые в конце концов обнаруживали в своем окружении вампира, после того как их родственники и дети были найдены мертвыми с отметиной дьявольского укуса. Она заклинала его поверить, ибо те, кто осмеливался сомневаться в их существовании, всегда получали доказательство и принуждены были с растерзанным горестью сердцем признать это за истину. Девушка подробно описала обычный вид этих чудовищ, и, слушая ее, Обри со все возрастающим ужасом узнавал портрет лорда Рутвена. Он уговаривал Ианфу отбросить пустые страхи, но сам не переставал дивиться многочисленным совпадениям, подтверждавшим его догадки о сверхъестественной власти лорда Рутвена.

Обри все сильнее привязывался к Ианфе; ее невинность, столь непохожая на притворную добродетель женщин, среди которых он надеялся найти воплощение своих любовных мечтаний, победила его сердце; и хотя мысль о женитьбе благовоспитанного англичанина на необразованной гречанке казалась ему нелепой, он находил себя все более и более влюбленным в чудесное создание, которое видел перед собой. Иногда он покидал ее на некоторое время и отправлялся на поиски какой-либо антикварной редкости с намерением не

возвращаться домой, пока его цель не будет достигнута; однако он всякий раз оказывался неспособным сосредоточиться на окружавших его руинах, поскольку в мыслях своих лелеял облик, уже давно безраздельно владевший им. Ианфа не ведала о его любви и, как и прежде, хранила детскую непосредственность. Она неохотно расставалась с Обри, но лишь потому, что видела в нем спутника, в сопровождении которого могла посещать излюбленные ею окрестности, в то время как он зарисовывал или расчищал обломки, избежавшие всеокарашительного действия времени. Девушка не преминула также передать родителям, что Обри не верит рассказам о вампирах. Побледнев от ужаса при одном лишь упоминании об этих существах, родители Ианфы, приводя множество примеров, тщетно старались переубедить его.

Вскоре после этого Обри вознамерился совершить поездку, которая должна была продлиться несколько часов. Когда родители девушки слышали название местности, куда он хотел отправиться, они принялись в один голос умолять его не задерживаться там до позднего вечера, ибо путь пролегал через лес, куда ни один местный житель не отваживался ступить после захода солнца. Они рассказали, что в лесу этом по ночам устраивают свои оргии вампиры, и горе тому, кто отважится пересечь их тропу. Обри не воспринял всерьез этих предупреждений и постарался высмеять наивную веру в вампиров, но, заметив, какой ужас вызвали у родителей Ианфы его насмешки над сверхъестественными адскими силами, при одном упоминании которых кровь стыла в их жилах, юноша замолчал.

На следующее утро Обри отправился в путь один, без сопровождения; он был удивлен, заметив, сколь унылы лица его хозяев, и понял, что именно его насмешка над их верой в этих ужасных демонов служит тому причиной. Едва он сел в седло, Ианфа подошла к нему и умоляла воротиться прежде, чем наступит ночь и эти злые твари вновь обретут власть. Обри пообещал ей это. Однако он был настолько поглощен своими разысканиями, что не заметил, как приблизился вечер и на горизонте появилось небольшое облачко — одно из тех, которые в странах с жарким климатом стремительно разрастаются в грозные тучи и яростно проливаются на благодатную землю. Обри вскочил на лошадь, намереваясь стремительной ездой искупить свое промедление, но было уже поздно. В южных странах

почти не бывает сумерек; солнце стремительно садится, и наступает ночь. Прежде чем Обри успел отъехать на некоторое расстояние, гроза оказалась над ним: гром грохотал непрерывно, мощный ливень обрушился сквозь шатер листвы, зигзаги голубых молний падали и вспыхивали прямо у его ног. Внезапно лошадь испугалась и понеслась стремглав сквозь чащобу. Наконец, изнемогши, она остановилась, и при свете молний Обри заметил утлую лачугу, что едва возвышалась над окружавшими ее грудями сухих листьев и веток. Спешившись, Обри приблизился к лачуге в надежде, что ее обитатели помогут ему добраться до города или по крайней мере предоставят кров на время грозы. Едва Обри подошел к лачуге, гром на мгновение стих, и юноше почудились ужасающие крики женщины, сопровождаемые глухим торжествующим хохотом, с которым они слились почти нераздельно. Обри вздрогнул, но тут снова загрохотал гром, и с внезапным приливом сил юноша распахнул дверь хижины. Оказавшись в крошечной тьме, он стал продвигаться в ту сторону, откуда слышался шум. Появления его, очевидно, не заметили, ибо, хотя он звал, странные звуки продолжались и на Обри никто не обращал внимания. Наконец Обри наткнулся на невидимого противника и немедленно схватил его; незнакомец воскликнул: «Снова ты на моем пути!» — и громко расхохотался. Обри был сжат с нечеловеческой силой; намереваясь продать свою жизнь как можно дороже, юноша вступил в борьбу, но напрасно: его подняли в воздух и затем сверхъестественно мощным толчком швырнули оземь. Противник бросился на него, сдавил грудь коленом и уже схватил за горло, как вдруг в хижину через окно проник свет множества факелов. Потрясенный незнакомец вскочил, опрометью кинулся к двери, оставив свою жертву лежать на полу, и выбежал наружу. Громкий треск сучьев возвестил о его бегстве, и тут же все стихло. Гроза прекратилась, и люди с факелами расслышали стоны Обри. Они вошли в лачугу, огни осветили закопченные стены и соломенный потолок, покрытый хлопьями сажи. По настоянию Обри люди стали искать женщину, чьи стоны привлекли его во время ночной грозы. Юноша опять оказался во тьме; но каков же был его ужас, когда комната вновь озарилась факелами и он увидел бездыханное тело своей прежней прекрасной спутницы! Обри закрыл глаза, надеясь, что это было всего лишь видение, порожденное его расстроенным воображением, но, взглянув

снова, он увидел то же тело, распростертое подле него. Щеки и даже губы Ианфы лишились красок; живость, прежде нерасторжимо свойственная ее чертам, уступила место недвижимому покою. Шея и грудь были залиты кровью, и на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену. «Вампир, вампир!» — с ужасом воскликнули все, указывая на отметину. Были сооружены носилки, и Обри поместили рядом с той, которая еще недавно являлась предметом его сладостных мечтаний, ныне развеянных, ибо цветок ее жизни был оборван. Обри не в силах был постичь свои мысли, его разум оцепенел, перестал воспринимать реальность, ища спасения в бездействии. В руке юноша безотчетно стискивал причудливой формы кинжал, найденный в хижине. Вскоре печальная процессия встретила горожан, посланных на поиски Ианфы, чья мать была обеспокоена долгим отсутствием дочери. Когда они достигли города, их горестные восклицания предупредили отца и мать девушки о каком-то ужасном происшествии. Скорбь, охватившая ее родителей, не поддается описанию; однако, осознав причину смерти своего ребенка, они взглянули на Обри и указали на бездыханное тело. Оба были неутешны и умерли, снедаемые горем.

Обри пролежал несколько дней в жару; он часто бредил и звал то лорда Рутвена, то Ианфу; в силу какой-то необъяснимой связи он умолял своего спутника пощадить создание, которое было ему столь дорого. Иногда Обри призывал проклятия на голову Рутвена и обличал его как убийцу Ианфы. Лорду случилось в это время прибыть в Афины; когда он узнал о положении Обри, то, каковы бы ни были его мотивы, немедленно остановился в том же доме и ни на шаг не отлучался от юноши. Оправившись от лихорадки, Обри с ужасом увидел подле своей постели того, чей облик наводил его на мысли о вампирах; но лорд Рутвен говорил столь добрые слова, почти что раскаиваясь в дурном поступке, приведшем к их разрыву, и столь неустанно заботился о больном, что Обри вынужден был смириться с его присутствием. Его светлость, казалось, совершенно переменялся: от былой апатии, что когда-то поражала Обри, не осталось и следа. Однако, как только юноша пошел на поправку, к лорду постепенно вернулось прежнее умонастроение и разница меж прежним и нынешним лордом Рутвеном исчезла, разве что временами Обри с недоумением ловил на себе его пристальный взгляд, сопровождаемый

улыбкой злобного торжества, и не понимал, почему эта улыбка лорда Рутвена так мучительна для него. Пока больной выздоравливал, лорд проводил долгие часы на берегу моря, наблюдая рябь легкого бриза на воде или следя за ходом светил, вращающихся, подобно нашей планете, вокруг недвижимого солнца; для своих прогулок он выбирал наиболее уединенные места.

Рассудок Обри значительно ослаб после пережитого потрясения. Молодой человек, казалось, навсегда утратил бодрость духа. Подобно лорду Рутвену, он искал теперь уединения и тишины. Но возможно ли было сыскать их в Афинах? Когда он посещал древние руины, где часто бывал прежде, ему чудилось, будто Ианфа стоит рядом с ним, когда уходил в леса — Ианфа, казалось, легкой поступью бродила между деревьев, собирая скромные фиалки. Затем его расстроенному воображению она вдруг представлялась бледной, с прокушенным горлом и отрешенной улыбкой на устах. Несчастный собрался покинуть края, где все вызывало в нем такие горькие воспоминания. Он предложил лорду Рутвену, считая себя обязанным ему за его заботливый уход во время болезни, посетить те области Греции, в которых они еще не бывали. Они путешествовали повсюду и посетили все достойные обозрения места, но, кажется, словно не замечали того, что видели. Они были наслышаны о разбойниках, но мало-помалу стали забывать о предупреждениях, считая, что это выдумки проводников, которые толками о мнимых опасностях желают побудить путешественников к большей щедрости. Итак, пренебрегши советами местных жителей, они отправились в путь с немногими сопровождающими, которые служили скорее проводниками, чем охраной. Достигнув узкого ущелья, по дну которого, усеянному огромными валунами, сорвавшимися со склонов, бежал ручей, путешественники вынуждены были раскаяться в своем легкомыслии, ибо, едва вся партия проникла в ущелье, над их головами засвистели пули и эхо выстрелов раскатилось меж каменных стен. Проводники тут же отбежали назад и, спрятавшись за камнями, открыли огонь в том направлении, откуда раздались выстрелы. Лорд Рутвен и Обри, последовав примеру провожатых, укрылись за спасительным изгибом ущелья; но затем, устыдившись того, что отступили перед противником, который криками ликования возглашал о своем преимуществе, и, предвидя неизбежное кровопролитие в случае, если

разбойники вскарабкаются на скалу и нападут с тыла, они решились броситься вперед и настичь врага. Едва лишь они оставили укрытие, лорд Рутвен был ранен в плечо и упал наземь. Обри поспешил к своему спутнику; не обращая внимания ни на перестрелку, ни на грозившую ему самому опасность, он вскоре с удивлением увидел вокруг лица разбойников; проводники, едва заметив, что лорд Рутвен ранен, тут же побросали оружие и сдались.

Пообещав разбойникам большое вознаграждение, Обри убедил их сопроводить своего раненого друга до ближайшей хижины; согласившись на выкуп, он был избавлен от их доуки: лишь у входа в хижину была выставлена охрана до тех пор, пока один из разбойников не вернулся с суммой, о которой распорядился Обри. Лорд Рутвен быстро слабел; через два дня началась гангрена, и смерть приближалась к нему скорыми шагами. Его внешность и поведение не изменились; казалось, он не замечает боли точно так же, как когда-то не замечал окружавшей его обстановки; но на исходе последнего вечера он стал испытывать очевидное беспокойство и остановил свой взор на Обри, который все это время ухаживал за ним с необычайным усердием.

— Помогите мне! Вы можете спасти меня — и даже более чем спасти; кончиной своей я обеспокоен так же мало, как мимолетностью этого дня. Но вы можете спасти мою честь, честь вашего друга!

— Как я могу это сделать? Скажите, я исполню все, что должно! — отозвался Обри.

— Я нуждаюсь в самой малости. Жизнь моя убывает, и я не могу объяснить всего. Но если вы скроете все, что знаете обо мне, честь моя будет спасена от позорной молвы; и если о моей смерти некоторое время не будут знать в Англии, тогда — тогда я спасен.

— О ней никто не узнает, — заверил Обри.

— Поклянитесь! — воскликнул умирающий, приподнимаясь на постели в порыве величайшего волнения. — Поклянитесь всем, что есть сокровенного в вашей душе, всем, за что вы опасаетесь, что ровно один год и один день вы никому ничего не расскажете ни о моих преступлениях, ни о моей смерти — ни одному живому существу, ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось и что бы вы ни увидели.

Глаза лорда, казалось, готовы были вылезти из орбит.

— Клянусь! — сказал Обри. С хохотом лорд откинулся на подушку и испустил дух.

Обри удалился, чтобы отдохнуть, но сон бежал от него. Многие обстоятельства, сопутствовавшие его знакомству с этим человеком, неизвестно почему будоражили ум юноши; о данной им клятве он вспоминал с содроганием, как если бы она должна была навлечь на него некие ужасные последствия. Поднявшись рано утром, он уже собрался было вернуться в хижину, где оставил покойного, когда встретившийся ему разбойник сказал, что после ухода Обри он и его товарищи, исполняя обещание, данное его светлости, отнесли тело лорда на вершину ближайшей горы и оставили там в бледном сиянии восходящего месяца. Обри был потрясен; взяв с собой нескольких человек, решил он идти с ними и предать покойного земле. Но, когда они поднялись на вершину, он не обнаружил ни тела, ни одежды, хотя разбойники клялись, что это та самая гора, где они оставили умершего. Некоторое время Обри терялся в догадках, но в конце концов заключил, что разбойники похитили и тайно погребли покойного, дабы присвоить его платье.

Не в силах задерживаться долее в стране, где он пережил столько злоключений и где душу его охватывало суеверное уныние, Обри переехал в Смирну. В ожидании судна, на котором можно было бы отплыть в Отранто или Неаполь, он занялся приведением в порядок вещей, доставшихся ему после кончины лорда. Среди них он обнаружил небольшой сундук, где хранилось оружие, годное, чтобы насмерть поразить жертву. Это были кинжалы и ятаганы. Осторожно поворачивая их и рассматривая диковинные очертания, Обри с удивлением обнаружил ножны, орнамент на которых был точь-в-точь как на рукоятке кинжала, подобранного им в ту роковую ночь в лесной хижине. Он вздрогнул. Спеша удостовериться в своей правоте, он достал оружие, и можно вообразить себе его ужас, когда он заметил, что клинок в точности повторяет причудливую линию ножен. Взор его, прикованный к кинжалу, не нуждался в дальнейших подтверждениях; и все же Обри не желал верить своим глазам. Однако совпадение очертаний ножен и клинка и одинаковый орнамент на ножнах и рукоятке кинжала служили неопровержимыми

доказательствами, не оставлявшими места сомнениям; и тут, и там виднелись следы крови.

Обри покинул Смирну. Проезжая по пути домой через Рим, он первым делом попытался разузнать что-либо о юной девушке, которую ему удалось похитить из силков развратника. Ему сообщили, что родителей ее постигло несчастье и они впали в нищету, а о девушке со времени отъезда его светлости никто ничего не слышал. У Обри едва ум не помутился от столь часто повторявшихся ужасных событий; он опасался, что юная леди стала жертвой того, кто погубил Ианфу. Обри сделался мрачен и молчалив и был занят лишь тем, что торопил возничих, дабы из-за промедления не утратить еще одно дорогое существо. Он прибыл в Кале; бриз, словно повинувшись его воле, скоро доставил корабль к берегам Англии. Обри поспешил ступить под кров отчего дома и там, в нежных объятиях своей сестры, как будто позабыл о печальных переживаниях. Если прежде он был привязан к ней как к милому ребенку, то теперь в ее проступавшей женственности он обрел удовольствие дружбы.

Мисс Обри не обладала той чарующей красотой, что приковывает взоры и вызывает восхищение в великосветских гостиных. Ей не был присущ тот поверхностный блеск, который так часто можно встретить в переполненных разгоряченными толпами бальных залах. Легкомыслие никогда не сквозило в ее голубых глазах; в них читалась очаровательная меланхолия, происходившая, казалось, не из несчастья, а из некоего сокровенного чувства, испытываемого душой, которой ведомы иные, более светлые обитатели. Ее поступь не отличалась той легкостью, с которой девицы преследуют бабочку или устремляются к пестрому цветку, но соответствовала ее всегда спокойному, задумчивому настроению. Когда она бывала одна, ее лицо никогда не озарялось улыбкой радости; но когда брат одаривал ее любовью и забывал в ее обществе о горестях, разрушивших его покой — кто мог бы променять ее улыбку на улыбку распутницы? Казалось, ее глаза и лицо в такие мгновения озарял свет ее собственной духовной родины. Мисс Обри было около восемнадцати. Ее еще не представили свету: опекуны дожидались возвращения с континента брата, который мог бы оказывать ей покровительство. Решили, что в ближайший же официальный прием при дворе девушка вступит в «этот суетный мир». Обри, конечно, предпочел бы

оставаться в своем родном гнезде, предаваясь унынию. Он не испытывал теперь интереса к легкомысленным удовольствиям модных чудаков, так как его ум терзали события прошлого. Тем не менее он согласился пожертвовать собственным покоем ради заботы о сестре. Вскоре они приехали в город и занялись приготовлениями к предстоявшему торжеству.

В залах было многолюдно: собраний не устраивалось давно, и всякий, чье сердце жаждало королевской улыбки, торопился поспеть сюда. Обри приехал вместе с сестрой. Он стоял в стороне, безразличный ко всему вокруг, и вспоминал, что именно здесь он впервые встретился с лордом Рутвенем. Вдруг кто-то крепко сжал ему руку и знакомый голос произнес: «Помните о своей клятве!» Обри едва нашел в себе силы обернуться, ожидая увидеть восставший из могилы грозный призрак. Неподалеку от него во плоти стоял его прежний спутник. Обри чуть не лишился чувств и был вынужден опереться на руку стоявшего с ним рядом знакомого. Пробравшись сквозь толпу к выходу, он бросился к своей карете и направился домой. Торопливыми шагами ходил он по комнате, стиснув голову руками, словно боялся, что одолевавшие его мысли могут вырваться наружу. Лорд Рутвен снова здесь — события стали принимать ужасный оборот — кинжал — данная лорду клятва... Обри сердился на самого себя, он не верил собственным глазам — возможно ли, чтобы мертвец восстал?! Не воображение ли вызвало призрак человека, о котором он постоянно размышлял? Не может быть, чтобы это случилось наяву. Обри решил не избегать общества. Он хотел было навести справки о лорде Рутвене, но само это имя замирало у него на устах, и ему не удалось собрать никаких сведений. Несколько дней спустя он повез сестру на прием, который устраивала их близкая родственница. Оставив мисс Обри под покровительством почтенной матроны, он уединился в соседней комнате и всецело отдался своим мучительным думам. Наконец, заметив, что общество начинает расходиться, он встряхнулся, воротился в залу и нашел сестру окруженной тесным кольцом беседующих. Пытаясь пробиться к ней, он попросил одного джентльмена уступить дорогу. Тот обернулся — и Обри узнал ненавистные ему черты. Ринувшись вперед, Обри схватил сестру за руку и поспешно вывел на улицу. У входа в ожидании господ теснились слуги. Минуя их толпу, он снова услышал, как знакомый

голос шепнул ему: «Помните о своей клятве!» Обри, не осмеливаясь оглянуться, поторопил сестру, и вскоре они оказались дома.

Обри был близок к помешательству. Он и раньше только и думал, что о лорде Рутвене, теперь же мысли о воскресшем чудовище целиком поглотили его рассудок. Сестре он почти перестал уделять внимание; напрасно девушка пыталась выяснить у брата, в чем причина его странного поведения. К ее ужасу, Обри бормотал в ответ что-то невнятное. Чем больше он размышлял, тем больше путались его мысли. Данная им клятва ужасала его: может ли он позволить мертвецу бродить по свету и нести погибель близким его сердцу, не пытаясь пресечь его путь? Даже его сестра могла стать жертвой призрака! Но если он нарушит клятву и выскажет свои подозрения — кто поверит ему? Он мог бы своей рукой освободить мир от этого изверга, но тот явно плумился над смертью. Целыми днями Обри просиживал в своей комнате, не видясь ни с кем, кроме сестры. Она приносила ему пищу и со слезами на глазах умоляла хотя бы ради нее поддержать свои силы. Наконец, не вынеся неподвижности и одиночества, он покинул дом и отправился бродить по улицам, чтобы избавиться от преследовавшего его призрака. Забота о внешности были оставлены; юноша сделался неузнаваем и слонялся по городу, не боясь ни полуденного зноя, ни вечерней сырости. Поначалу он возвращался домой с наступлением сумерек, но потом стал ночевать там, где его одолевала усталость. Сестра, заботясь о его безопасности, заставляла слуг следить за ним, но он ускользал от преследователей быстрее, чем иной — от мысли. Вскоре, однако, его намерения изменились. Тревожась за неосведомленных об опасности друзей и знакомых, которым в его отсутствие угрожала гибель от демона, он решил вернуться в общество, наблюдать за своим врагом и, презрев клятву, предупреждать всех, с кем лорд Рутвен успел сойтись. Но когда он воротился домой, его дикий, испытующий взгляд был настолько поразителен, его внутренняя дрожь столь заметна, что обеспокоенная сестра принялась уговаривать его ради любви к ней не посещать общества, так пагубно на него повлиявшего. Уговоры оказались бесполезны, и тогда опекуны сочли необходимым вмешаться, полагая, что у их подопечного повредился рассудок и что самое время вновь приступить к обязанностям, некогда порученным им родителями Обри.

Желая оградить юношу от оскорблений и страданий, ежедневно испытываемых им на улицах, а также скрыть от сторонних взглядов признаки его вероятного безумия, они пригласили в дом врача, который должен был постоянно за ним наблюдать. Обри почти не замечал его присутствия. Ум его был занят одной-единственной ужасной мыслью. Наконец он стал вести себя так нелепо, что его заперли в комнате. Там он лежал целыми днями, безнадежно погруженный в тоску. Он выглядел истощенным, глаза его приобрели стеклянный блеск. Только в присутствии сестры он преображался, показывая, что не утратил окончательно памяти и способности любить. Когда она заходила к нему, он вскакивал, хватал ее за руки и, устремив на нее взгляд, повергавший ее в отчаяние, заклинал: «Остерегайся его! Если ты все еще любишь меня — не подходи к нему!» Она пыталась узнать, кого же брат имеет в виду, но он только повторял: «О, верь мне, верь!» — и снова погружался в тоску, из которой даже она бессильна была его вывести. Так прошло много месяцев. Год почти истек, Обри сделался не таким рассеянным и мрачным, и опекуны начали замечать, что он по нескольку раз в день пересчитывает что-то на пальцах и при этом улыбается.

Условленный срок близился к концу. Как-то, в последний день года, в комнату к юноше вошел один из опекунов и, обращаясь к врачу, выразил сожаление о том, что тот находится в столь прискорбном состоянии как раз накануне свадьбы мисс Обри. Молодой человек встревожился и спросил, за кого сестра выходит замуж. Собеседники, обрадовавшись, что к Обри возвращается разум, который, как они опасались, навсегда покинул его, назвали имя графа Марсдена. Обри остался доволен, так как подумал, будто речь идет о юном графе Марсдене, с которым он не раз встречался в свете и который был известен своими высокими достоинствами. К удивлению родных, он заявил, что хочет присутствовать на свадьбе сестры, и выразил желание немедленно ее видеть. Опекуны ничего не ответили, но через пять минут она уже была у него в комнате. Растроганный ее нежной улыбкой, Обри обнял сестру и расцеловал в обе щеки, мокрые от слез умиления, вызванных сознанием того, что брат вновь обретает способность любить. Он заговорил с ней, по обыкновению, с нежностью и благословил ее предстоящий союз с человеком столь выдающегося положения и достоинств. Внезапно, заметив медальон у

нее на груди, он открыл его и увидел изображение чудовища, которое имело столь долгое влияние на его жизнь. В ярости он схватил портрет, швырнул на пол и принялся топтать ногами. Девушка спросила, чем ему не по нраву ее будущий муж. Обри, вперив в нее безумный взор, схватил ее за руки и умолял дать обещание, что она никогда не станет женой этого монстра, ибо... Но он не мог продолжать — он как будто снова услышал голос, приказывавший ему хранить клятву. Обри с испугом оглянулся, думая, что рядом находится лорд Рутвен, но никого не увидел. Тем временем опекуны и врач, которые все слышали и решили, что у него вновь помутился рассудок, поспешно вошли в комнату и разлучили его с девушкой, убедив ее удалиться. Обри упал перед ними на колени и заклинал хотя бы на день отложить свадьбу. Те, воображая, что он безумен, всячески постарались успокоить его и ушли.

На следующий день после приема во дворце лорд Рутвен заезжал к Обри, однако он, как и все прочие, не был принят. Услышав о болезни Обри, лорд Рутвен тотчас понял, что он является тому причиной; когда же он узнал, что молодого человека считают безумным, то с трудом смог скрыть от собеседников свое радостное волнение. Он сделался частым гостем в доме бывшего спутника, прилежно расспрашивал мисс Обри о здоровье брата, выказывал свою привязанность к нему и тем снискал ее расположение. Кто смог бы противостоять его власти? Искусными и опасными речами он описал себя как человека, который ни в одной душе, населяющей этот мир, не находит сочувствия. Он заверял мисс Обри, что стал ценить жизнь лишь с тех пор, как встретил ее, что ему достаточно лишь слышать от нее слова утешения. Иначе говоря, владел ли он в совершенстве искусством змия или такова была воля судьбы, только лорд Рутвен сумел завоевать привязанность девушки. Графский титул, неожиданно доставшийся ему, и сопутствовавшее званию высокое дипломатическое назначение стали поводом к тому, чтобы ускорить свадьбу, несмотря на расстроенное здоровье брата мисс Обри. Брачные узы должны были связать ее и лорда Рутвена накануне его отбытия на континент.

Когда врач и опекуны ушли и оставили Обри одного, он попытался подкупить слуг, но безуспешно. Он попросил перо и бумагу, ему их подали. Несчастный написал письмо сестре, заклиная девушку ее

собственным счастьем, честью и памятью покойных родителей, некогда видевших в ней утешение и надежду семейства, отложить хотя бы на несколько часов свадьбу, которую он осыпал самыми тяжкими проклятиями. Слуги обещали доставить письмо по назначению, однако передали письмо врачу, который не счел нужным тревожить мисс Обри бреднями маньяка.

Всю ночь в доме не спали. Обри с ужасом, который легче вообразить, чем описать, понимал, что идут приготовления к свадьбе. Наступило утро, и он услышал, как подъехали экипажи. Он был близок к неистовству. Наконец сторожившие Обри слуги, поддавшись любопытству, потихоньку ушли, и он остался на попечении одной беспомощной старухи. Воспользовавшись случаем, Обри бросился вон из комнаты и через несколько минут был уже в покоях, где собрались все. Первым его заметил лорд Рутвен. Вне себя от злобы, он подскочил к Обри и, схватив несчастного за руку, в безмолвной ярости выволок за дверь. У лестницы лорд шепнул ему: «Помните о клятве! И знайте: если свадьба расстроится, сестра ваша будет обещена. Женщины слишком слабы!» С этими словами он толкнул его навстречу сбежавшимся слугам: его уже искали, так как старуха подняла переполох. Обри был сломлен: гнев его, не найдя выхода, разорвал кровеносный сосуд; молодого человека отнесли в его комнату и уложили на постель. Мисс Обри, которая не была свидетельницей его внезапного появления, ничего не сказали: врач боялся волновать ее. Брак был заключен, и молодые уехали из Лондона.

Слабость Обри возрастала; кровоизлияние вызвало симптомы, свидетельствующие о приближении смерти. Обри призвал опекунов сестры и, когда часы пробили полночь, во всех подробностях поведал им историю, уже известную читателю. Тотчас после этого он скончался.

Опекуны поторопились вослед мисс Обри, желая защитить ее, но было уже слишком поздно. Лорд Рутвен исчез; сестра Обри утолила жажду ВАМПИРА!

Теофиль Готье

(1811–1872)

Любовь мертвой красавицы

Пер. с фр. Н. Лоховой

Вы спрашиваете, брат мой, был ли я влюблен, — о да! Это удивительная и жуткая история, и, хотя мне уже шестьдесят седьмой год, я с трудом решаюсь ворошить пепел этого воспоминания. От вас я не хочу ничего утаивать, но человеку, не столь укрепившему свой дух, я бы не доверил подобного рассказа. Я сам не могу поверить, что это произошло со мной, — настолько необычно случившееся. Более трех лет я был жертвой удивительной, дьявольской иллюзии. Я, бедный сельский священник, ночи напролет видел во сне (дай Бог, чтобы это был сон!) себя, живущего светской жизнью — жизнью грешника, жизнью Сарданапала. Один только взгляд, брошенный на женщину, — взгляд, слишком исполненный симпатии, — и я мог бы погубить свою душу. Но в конце концов с Божьей помощью и при содействии моего духовного отца мне удалось изгнать вселившегося в меня дьявола.

К моему существованию тогда прибавилось совершенно другое — ночное. Днем я служил Господу, был занят молитвой и священными предметами, хранил целомудрие; ночью же, не успевал я закрыть глаза, как превращался в молодого господина, истинного знатока женщин, собак и лошадей, игрока в кости, любителя вина и богохульника. И когда с первыми лучами солнца я просыпался, мне казалось, что я, напротив, засыпаю и во сне вижу себя священником. Слова и образы, оставшиеся в моей памяти от этой сомнамбулической жизни, не дают мне покоя, и хотя я всю жизнь прожил священником, не покидая стен своего домика, но, слушая меня, можно было бы сказать, что это скорее одряхлевший прожигатель жизни, который наконец отказался от мира, постригся в монахи и жаждет спасения, несмотря на столь бурно протекающую молодость, нежели угрюмый семинарист, состарившийся никому не известным кюре в лесной глуши и никак не связанный с миром.

Да, я любил, как не любил никто на свете, — безумно и страстно. Я удивляюсь, как сердце мое не разорвалось от этой страсти. Ах, что за ночи это были, что за ночи!

Еще в самом нежном возрасте я чувствовал призвание быть священником; все мои занятия с детства были направлены в эту сторону, и жизнь моя до двадцати четырех лет была, по сути, сплошным послушанием. Получив богословское образование, я успешно прошел все низшие ступени иерархии, и мои наставники сочли меня достойным, невзирая на юный возраст, преодолеть последний и страшный рубеж: день моего рукоположения был назначен на Страстную неделю.

В миру я не бывал: мир для меня был ограничен коллежем и семинарией. Я смутно представлял себе, что существует нечто, именуемое женщиной, но это не занимало подолгу мою мысль; я был совершенно невинен. Два раза в год я виделся с моей престарелой матушкой, которая была тяжело больна, — этим ограничивалось мое общение с внешним миром.

Я ни о чем не жалел, не испытывал ни малейшего колебания; готовясь совершить этот бесповоротный шаг, я был исполнен радостного нетерпения. Никакой жених с таким лихорадочным жаром не отсчитывал часы: я не спал, я грезил, как буду служить мессе. Служить Господу... Я не знал ничего лучше в мире, не знал более высокой чести. Я не согласился бы стать королем или поэтом.

Я говорю все это, чтобы показать вам, сколь противоестественно случившееся со мной и сколь необъяснимо наваждение.

Когда настал великий день, я отправился в храм таким легким шагом, будто мог держаться в воздухе. Я казался себе ангелом с крыльями за плечами. Меня удивляли хмурые, озабоченные лица моих собратьев (нас было несколько человек). Я провел ночь в молитвах, и мое состояние было близко к экстазу. Сквозь церковные своды я видел небо, а епископ, почтенный старец, представлялся мне Богом Отцом, склонившимся над вечностью.

Вам известны подробности этой церемонии. Благословение, причастие хлебом и вином, помазание ладоней оглашенных и затем священная жертва, приносимая совместно с епископом, — я не буду подробно описывать все это. О, сколь же прав был Иов, и как неосторожен тот, кто не положил завета с глазами своими! Случайно я

поднял голову, до сих пор склоненную, и увидел молодую женщину редкостной красоты, одетую с королевским великолепием. Хотя она была довольно далеко, по другую сторону сквозной перегородки, но я видел ее прямо перед собою. Мне показалось, она стояла так близко, что я мог бы до нее дотронуться. Как будто пелена спала с глаз моих. Я ощутил себя слепым, который внезапно прозрел. Сияние, только что исходившее от епископа, вдруг померкло, пламя свечей на золотых подсвечниках побледнело, во всей церкви сделалась кромешная темнота.

И в этом мраке, как ангельское видение, вырисовывался ее чудесный образ: казалось, она сама светила и давала свет, а не принимала его.

Опустив веки, я твердо решил не подымать их более, чтобы освободиться от власти всего мирского, поскольку растерянность охватывала меня все больше и больше и я едва понимал, что со мною происходит.

Минуту спустя я вновь открыл глаза, ибо и сквозь ресницы видел ее — излучавшую в пурпурном мраке все цвета, преломленные сквозь призму, — так бывает, когда глядишь на солнце. Ах, как она была прекрасна! Величайшие живописцы, устремляясь к небесам в поисках идеальной красоты и возвращаясь на землю с божественным портретом Мадонны, даже близко не подошли к этой фантастической реальности. Ни стих поэта, ни палитра художника не в силах дать ни малейшего представления о ней.

Она была довольно высокого роста, с фигурой и осанкой богини. Ее нежно-белокурые волосы, разделенные пробором, струились по вискам как два золотых потока: она напоминала увенчанную короной царицу. Ее просторный чистый лоб сиял голубовато-прозрачной белизной над дугами темных ресниц, еще больше оттенявших глаза цвета морской волны, живости и блеска которых не вынес бы ни один мужчина: судьба его решалась в этих лучах. Что за глаза! Никогда еще в человеческих глазах не видел я такой жизни, такой огненной страсти, и такой прозрачной чистоты, и такого влажного блеска. Я ясно видел, как лучи их, подобные стрелам, достигали моего сердца.

Не знаю, с небес или из преисподней исходило пламя, озарявшее их; была ли эта женщина ангелом, или демоном, или, быть может, тем и другим сразу, — но, несомненно, она явилась из рая или из ада: она

не могла происходить от плоти Евы, матери всех людей. В улыбке ее румяных уст сверкали великолепные жемчужные зубы, и при каждом движении губ в розовом шелке прелестных щечек появлялись маленькие ямочки. Ее нос тонкостью и чисто королевским достоинством выдавал происхождение самое благородное. Агатовые отблески играли на гладкой, глянцевої коже ее полуоткрытых плеч; несколько рядов крупного белого жемчуга, почти того же тона, что и шея, спускались ей на грудь.

Время от времени она вскидывала голову каким-то волнообразным движением, как важный павлин или уж, и тогда легкий трепет передавался высокому ажурному вышитому воротнику, которым она была окружена, будто серебристой оградой.

На ней было алое бархатное платье, и из его широких рукавов, подбитых горностаем, виднелись бесконечно нежные руки патрицианки: длинные пухлые пальцы были столь идеально прозрачны, что пропускали свет, подобно перстам Авроры.

Я и теперь представляю себе эти подробности так ясно, словно видел все это вчера. Хотя я и был в крайнем смятении, ничто не ускользнуло от меня: крохотная черная точка сбоку на подбородке, неприметный пушок над уголками губ, нежный лоб, дрожащая тень ресниц на щеках — я улавливал мельчайшие детали, удивляясь своей зоркости.

Чем дольше я смотрел на нее, тем сильнее чувствовал, как во мне отворяются какие-то потайные двери, до тех пор запертые; всем чувствам сквозь закупоренные прежде отдушины приоткрывались неведомые миры; жизнь явилась мне в совершенно ином виде: я только что родился заново, и мысли побежали в другом направлении. Ужасная тревога сдавила мое сердце. Текли минуты, и каждая казалась мне то мгновением, то веком.

Между тем церемония шла своим чередом и уводила меня все дальше от мира, нарождавшиеся желания которого яростно бились, требуя впустить их. Я хотел сказать «нет» и все же сказал «да». Все мое существо восставало и протестовало против насилия, которое мой собственный язык совершал над моей волей. Какая-то тайная сила заставила меня произносить эти слова. Должно быть, именно так немало юных девушек идут под венец, хотя и верят до последней минуты, что во всеуслышание откажут навязываемому жениху, но все-

таки не решаются сделать это. И так же, наверное, столько бедных послушников надевают монашеское облачение, обещая себе разодрать его в клочья в момент произнесения обета. Человек не решается устроить такой скандал перед всем миром, обмануть ожидания многих людей; все эти благие намерения, все эти взгляды давят на него тяжелым гнетом, а кроме того, распорядок столь четок, все настолько расписано до деталей, столь неоспоримо и очевидно, что мысль слабеет и сдается под гнетом обстоятельств.

Выражение глаз прекрасной незнакомки менялось, по мере того как продолжалась церемония. Нежный и ласковый вначале, взгляд ее принял выражение презрительной досады, как будто оттого, что не был понят.

Я совершил усилие, которое могло бы свернуть гору, хотел крикнуть, что не хочу быть священником, но не мог совладать с собой.

Язык мой прилип к гортани, и я был не в силах даже, покачивая головой, обнаружить свои истинные помыслы. Так, наяву, я испытывал состояние, сходное с ночным кошмаром, когда хочешь кричать, когда от одного слова зависит вся твоя жизнь, — и не можешь раскрыть рта.

Она, похоже, чувствовала те муки, которые я испытывал, и, как бы подбадривая, бросала на меня взгляды, исполненные божественных обетований. Эти глаза были поэмой, каждый взгляд был песней. Она говорила мне:

«Если ты хочешь быть со мной, я сделаю тебя счастливее, чем сам Бог в своем раю. Ангелы будут завидовать тебе. Порви этот кладбищенский саван, в который собираешься облачиться. Я — сама красота, сама юность, сама жизнь. Идем со мной, мы будем сама любовь. Что мог бы дать тебе взамен Иегова? Наша жизнь будет течь как сон и будет вся одним бесконечным поцелуем. Пролей вино из этой чаши — и ты свободен. Я унесу тебя к неведомым островам; ты будешь засыпать у меня на груди, на постели из чистого золота, под серебряным пологом; потому что я люблю тебя и хочу отнять тебя у твоего Бога, перед лицом которого столько благородных сердец проливают потоки любви, не достигающие Его».

Мне казалось, я слышу бесконечно сладкий ритм этих слов, ибо взгляд ее почти звучал и фразы, которые посылали мне ее глаза, отзывались в глубине моего сердца, будто невидимые уста вдыхали их

в мою душу. Я чувствовал, что готов отказаться от Бога, и в то же время сердце мое механически исполняло все формальности церемонии.

Красавица снова взглянула на меня с такой мольбой и с таким отчаянием, что острые клинки пронзили мне сердце и я почувствовал в своей груди больше мечей, чем скорбящая Божия Матерь на иконе.

Все было кончено, я был уже священник.

Никогда лицо человеческое не окрашивалось такой мучительной тоской: девушка, которая видит, как жених внезапно падает замертво рядом с ней; мать перед опустевшей колыбелью ее ребенка; Ева у порога райских врат; скупец, который находит камень вместо своего сокровища; поэт, роняющий в огонь единственную рукопись своего самого прекрасного произведения, — не выпядят более потрясенными и безутешными. Кровь совсем отхлынула от ее прекрасного личика, которое стало мраморно-белым; ее великолепные руки упали вдоль тела, как будто расслабились, и она оперлась о колонну, потому что ноги ее подкашивались и отказывались ей служить. А я, мертвенно-бледный, истекавший кровавым потом, как Спаситель на Голгофе, шатаясь, направился к воротам церкви; я задыхался, эти своды давили мне на плечи, и казалось, одна голова моя выносила всю тяжесть купола.

Когда я собирался переступить порог, кто-то внезапно схватил меня за руку. То была рука женщины: я никогда раньше не прикасался к ним. Она была холодная, как змеиная кожа, но прикосновение ее оставило пылающий след, словно клеймо каленого железа. Это была она. «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» — произнесла она тихим голосом и исчезла в толпе.

Мимо прошел старый епископ, посмотрев на меня суровым взглядом. Я выглядел в высшей степени странно: я бледнел, краснел, терял сознание, я был ослеплен. Кто-то из моих товарищей, сжалившись, отвел меня в семинарию, ибо сам я был не в состоянии найти дорогу.

На углу какой-то улицы, когда мой юный собрат отвернулся, ко мне приблизился чернокожий паж в причудливой одежде и на ходу, не останавливаясь, передал мне небольшой конверт с золотой чеканкой по углам, сделав знак, чтобы я спрятал его. Я сунул конверт в рукав и держал так, покуда не остался один в своей келье. Там я сломал

замочек и увидел два листка со словами: «Кларимонда, дворец Кончини». Я так мало знал в жизни, что не имел понятия о Кларимонде, несмотря на всю известность этого имени, и совершенно не представлял себе, где находится дворец Кончини. Я строил тысячу догадок, одна сумасброднее другой, но, положив руку на сердце, мне хотелось только одного — увидеть ее снова, кем бы она ни была — дамой из высшего света или же куртизанкой.

Эта только что зародившаяся любовь уже пустила глубочайшие корни, и я даже не пытался вырвать их — настолько это казалось мне невозможным. Эта женщина овладела мною целиком. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы я изменился. Она вдохнула в меня свое желание. Я жил уже не в себе самом, а в ней и ею. Я сходил с ума, я целовал свою руку в том месте, где она коснулась ее, я часами повторял ее имя. Стоило закрыть глаза, и я видел ее так ясно, как если бы она вправду была рядом, и снова повторял те слова, которые она произнесла у порога церкви: «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» Я понимал весь ужас собственного положения, и все мрачные стороны только что избранного мною пути ясно открывались мне. Быть священником! Значит, хранить целомудрие, не любить, не иметь пола, возраста, отвернуться от всех проявлений красоты, выколоть себе глаза, пресмыкаться в холодной тени монастыря или церкви, видеть лишь умирающих, отправлять службу у безвестных мертвецов и самому нести свой траур под черной сутаной, так что из этого одеяния можно будет сделать обивку для моего же гроба!

И я чувствовал, как во мне поднимается жизнь, словно озеро, которое волнуется и выходит из берегов; в жилах моих с силой стучалась кровь; юность, так долго подавляемая, взорвалась внезапно, как цветок алоэ, который сто лет собирается цвести и потом вдруг лопается со звуком, подобным удару грома.

Что же делать, как вновь увидеть Кларимонду? Мне не разрешалось покидать семинарию ни под каким предлогом. Я не знал в городе ни души, я даже не должен был появляться там и только ждал, когда мне укажут мой приход. Я пытался снять оконную решетку, но она находилась на высоте, внушавшей опасение; без лестницы нечего было и думать об этом. А кроме того, я мог спуститься только ночью — и как бы я отправился по непроходимому лабиринту улиц? Все эти трудности, которые не существовали бы для

другого, были непомерно велики и непреодолимы для бедного семинариста, со вчерашнего дня влюбленного, не имевшего ни жизненного опыта, ни денег, ни платья.

Ах, если бы я не был священником, я мог бы видеть ее каждый день! Я стал бы ее возлюбленным, женился бы на ней, говорил я себе в ослеплении. Вместо того чтобы облачаться в унылый саван, я носил бы платья из шелка и бархата, золотые цепочки, шпагу и перья, как молодые красавцы-кавалеры. Мои волосы, теперь бесславно погубленные тонзурой, играли бы вокруг моей шеи волнистыми кудрями.

У меня были бы прекрасные напомаженные усы. Я был бы храбрец. Но прошел этот час перед алтарем, я пролепетал всего несколько слов — и вот уже я добровольно отделился от мира, стал живым мертвецом, сам запечатал камнем свою могилу, выпустил из рук засов своей темницы!

Я устремился к окну. Небо было восхитительно голубым, деревья облачились в весенние наряды; природа выставляла напоказ свое торжество. Площадь была полна народу. Молодые щеголи и юные красавицы прохаживались туда-сюда, пары одна за другой направлялись к саду и беседкам. Компании распевали застольные песни. Именно это движение, жизнь, одушевление, веселье неприятно подчеркивали мое горе и одиночество. В двух шагах от двери молодая мать играла со своим ребенком, целовала его маленькие розовые губки, еще покрытые каплями молока, и смешно дразнила его, придумывая тысячу милых плупостей, как умеют только матери. Отец, стоявший несколько поодаль, ласково улыбался этой милой компании. Он скрестил руки на груди, как бы пряча свою радость. Это зрелище было невыносимо для меня. Я закрыл окно, бросился на кровать с ужасной ненавистью и завистью в сердце, кусал пальцы и одеяло, как тигр, который три дня голодал.

Не знаю, сколько дней так прошло. Но внезапно, резко обернувшись, я заметил аббата Серрапиона, стоявшего посреди комнаты и внимательно глядевшего на меня. Я устыдился самого себя и, уронив голову на грудь, прикрыл глаза руками.

— Ромуальд, друг мой, с вами происходит что-то странное, — сказал Серрапион после нескольких минут молчания. — Ваше поведение совершенно необъяснимо! Вы, столь благочестивый,

спокойный и мягкий, мечетесь в своей келье, как дикий зверь. Будьте осторожны, брат мой, и не поддавайтесь сатанинскому наущению. Дьявол, взбешенный тем, что вы навсегда посвятили себя Господу, рыщет вокруг вас, как волк, стремящийся похитить жертву, и в последний раз пытается привлечь вас к себе. Вместо того чтобы дать ему свалить вас, обессилив, дорогой Ромуальд, наденьте на себя броню из молитв, ограждайте себя, умерщвляя плоть, и доблестно сразитесь с врагом. Вы победите его. Испытание необходимо, и золото выходит из тигеля более чистым, и добродетель нуждается в испытаниях. Не бойтесь и не падайте духом. Такие минуты испытывают самые твердые и Богом хранимые души. Молитесь, соблюдайте воздержание, размышляйте, и дьявол покинет вас.

Речь аббата Серапиона привела меня в чувство, и я стал немного спокойнее.

— Я пришел сообщить, что вас назначили в приход К***: там только что умер священник, и его высокопреосвященство поручил мне направить вас туда; к завтрашнему дню будьте готовы.

Я ответил кивком, что буду готов, и аббат удалился. Я раскрыл требник и начал вслух молиться; но строчки тотчас же стали сливаться у меня перед глазами, мысли в голове спутались, и книга выскользнула из рук, чего я даже не заметил.

Уехать завтра, не увидев ее снова! Еще и эта преграда вдобавок к тем, что уже сделали невозможной нашу встречу... Навсегда потерять надежду! Если только не произойдет чуда... Написать ей? Но с кем я пошлю письмо? В таком виде, в этих монашеских одеждах, кому открыться, кому довериться? Я был в жуткой тревоге. Потом мне наконец вспомнилось, что сказал аббат Серапион об ухищрениях дьявола. Необычность этого приключения; сверхъестественная красота Кларимонды; фосфорический блеск ее глаз; обжигающее ощущение от прикосновения ее руки, смятение, в которое она меня повергла; внезапная перемена, которая произошла во мне; моя набожность, исчезнувшая в мгновение ока, — все это ясно доказывало присутствие дьявола; и эта атласная рука, быть может, была всего лишь перчаткой, под которой он скрывал свои когти. От этих мыслей я весь затрепетал, подобрал требник, скатившийся у меня с колен на пол, и снова принялся за молитвы.

На следующий день Серапион пришел за мной: у дверей нас ожидали два мула, груженные нашими скудными пожитками. Он сел на одного, я, с грехом пополам, на другого. Проезжая по улицам города, я заглядывал во все окна, на все балконы, не покажется ли Кларимонда. Но было слишком раннее утро, и город еще спал. Мой взгляд силился заглянуть за шторы и сквозь занавески всех дворцов, перед которыми мы проезжали; я придерживал своего мула, чтобы успеть все разглядеть. Серапион, вероятно, приписывал это любопытство восхищению, которое вызывала во мне красота архитектуры.

Наконец мы проехали городские ворота и стали подниматься на холм. На самой вершине я оглянулся, чтобы в последний раз увидеть те места, где жила Кларимонда. Весь город покрывала тень от тучи; синие и красные крыши сливались в какой-то общий полутон; тут и там всплывали, как хлопья белой пены, утренние дымы. Благодаря странному оптическому эффекту вырисовывалось, бело-золотое под единственным лучом света, какое-то здание, возвышавшееся над соседними строениями, полностью погруженными в дымку; до него было еще далеко, но казалось, оно уже совсем рядом. Можно было различить малейшие детали, башенки, плоские крыши, окна, рамы — все, вплоть до флюгеров в форме ласточкиных хвостов.

— Что это за дворец я вижу там, освещенный лучом солнца? — спросил я Серапиона.

Он приложил ладонь к глазам и, приглядевшись, ответил:

— Это старинный дворец князя Кончини, который он подарил куртизанке Кларимонде. Жуткие дела там происходят...

В этот миг — я так и не знаю, на самом ли деле или то был обман зрения, — только мне показалось, что на террасе скользнула легкая белая фигура, сверкнула на мгновение и погасла. Это была Кларимонда!

О, знала ли она, что в этот час, на вершине суровой дороги, уводившей меня от нее, дороги, по которой мне нельзя было вновь спуститься, в жаркой тревоге, я не сводил глаз с дворца, где она жила и который ничтожная игра света, казалось, приближала ко мне, как бы приглашая войти туда хозяином. Наверное, она знала это, ибо ее душа была слишком связана с моей симпатической связью, чтобы не заметить малейших ее колебаний, и именно это чувство заставило ее,

еще облаченную в ночные одеяния, подняться на верх террасы, по ледяной утренней росе.

Тень поглотила дворец, и остался только неподвижный океан крыш и кровель, в котором были различимы лишь солнечные блики. Серапион тронул своего мула, за которым тотчас затрусил и мой, а потом город С... скрылся от меня навсегда за поворотом дороги; мне не суждено было возвратиться туда.

После трех дней езды по довольно унылым деревням из-за деревьев показался верх колокольни той церкви, где я должен был служить. Проехав несколько извилистых улиц, вдоль которых стояли крытые соломой хижины с палисадниками, мы оказались перед фасадом не слишком величественного вида. Паперть, украшенная нервюрами и двумя-тремя грубо обтесанными глиняными колоннами, черепичная крыша и контрфорсы из того же материала, что и колонны, — этим ограничивалась архитектура. Налево — кладбище, заросшее высокой травой, с большим железным крестом посредине; направо, в тени церкви, — дом священника. Дом этот отличался крайней простотой и сухой аккуратностью. Мы вошли. Несколько кур клевали редкие овсяные зерна, разбросанные по земле. По-видимому привыкшие к черным одеяниям церковнослужителей, они ничуть не были испуганы нашим появлением и едва потеснились, пропуская нас. Послышался сиплый, захлебывающийся лай, и во двор выбежала собака.

Это был пес моего предшественника. У него были тусклый, унылый взгляд, серая шерсть и все признаки самой глубокой старости, какой только могла достичь собака. Я тихонько погладил ее, и она тут же принялась расхаживать вокруг меня с видом неопишуемого удовольствия. Пожилая женщина, экономка бывшего кюре, тоже вышла нам навстречу, провела меня в низкое помещение и спросила, намереваюсь ли я оставить ее на службе. Я отвечал, что оставлю и ее, и собаку, и кур, и всю мебель, которую передал ей, умирая, прежний хозяин. Это привело ее в восторг. Аббат Серапион тотчас же дал ей жалованье, какого она хотела.

Покончив с моим размещением, Серапион возвратился в семинарию. Итак, я оставался один-одинешенек, безо всякой поддержки.

И снова мысль о Кларимонде овладела мною. Несколько раз пытался я увидеть ее, но все безуспешно. Однажды вечером, прогуливаясь по самшитовым аллеям вдоль моего сада, я, как мне показалось, увидел сквозь деревья женскую фигуру, которая будто бы перемещалась вслед за мной. В листве сверкали глаза цвета морской волны... Но то был всего лишь обман зрения, и, дойдя до конца аллеи, я не заметил там ничего, кроме отпечатка ноги на песке, — такой маленький след можно было принять за детский. Сад был окружен высокими стенами. Я заглянул во все углы и закоулки сада — не было ни души. Я так и не смог дать какое-либо объяснение этому странному обстоятельству, которое, впрочем, не выглядит столь удивительным на фоне последующих событий.

Так я жил целый год, четко выполняя все, что требовалось от меня по моему положению: совершал службу, молился, хранил воздержание, проповедовал, помогал больным и ограничивал себя в самом насущном. Но в глубине души я был до крайности нечувствителен ко всему этому, и источники благодати были закрыты для меня.

Священническое служение, утратив былую сладость, уже не было для меня счастьем. Мысли мои были далеко, и губы часто повторяли невольно, как рефрен, имя Кларимонды. Ах, брат мой, задумайтесь об этом! Из-за того, что я всего один раз поднял глаза на женщину, из-за одной оплошности, казалось бы, столь незначительной, я обрек себя на долгие годы смятения. Моя жизнь была поколеблена навсегда.

Не буду дальше задерживать ваше внимание рассказами о своей внутренней борьбе, о временных победах над собой, за которыми следовали все новые провалы, еще более глубокие, — а сразу перейду к решающему событию.

Однажды ночью ко мне в дверь постучались. Барбара — так звали старуху-экономку — пошла отпирать, и в тусклом свете ее фонаря я увидел фигуру незнакомого мужчины с медного цвета лицом, одетого богато, но по странной моде, с длинным кинжалом. Вначале бедная экономка в страхе отшатнулась, но он успокоил ее, сказав, что пришел ко мне по неотложному делу, касающемуся моей службы. Барбара проводила его ко мне. Я собирался уже лечь спать. Незнакомец сказал, что его возлюбленная, очень влиятельная дама, при смерти и хочет пригласить священника. Я ответил, что готов последовать за ним, взял

с собой все необходимое для последнего причастия и поспешил спуститься.

У дверей два черных как ночь коня в нетерпении били копытами и выдували себе на грудь длинные струи пара. Незнакомец поддержал мне стремя и помог забраться на коня, сам вскочил на другого, едва опершись рукой на головку седла. Он отпустил вожжи и пришпорил своего коня, который помчался как стрела. Мой конь, которого он держал за поводья, тоже понесся галопом и так же превосходно держался всю дорогу. Мы стремительно понеслись. Под нами текла серо-полосатая земля, и черные силуэты деревьев убежали, как обращенная в бегство армия. Мы пересекли незнакомый лес, в котором царил такой непроницаемый и ледяной мрак, что у меня по коже пробежал трепет от какого-то суеверного страха. Сноп искр, высекаемые из камней подковами, оставались за нами, как огненный след, и, если бы в этот ночной час кто-нибудь увидел нас, меня и моего провожатого, он принял бы нас за неких призрачных всадников из кошмарного сна. Время от времени на пути появлялись блуждающие огоньки, жалобно вскрикивали галки в лесной чаще, откуда то тут, то там иногда посверкивали фосфорические глаза диких кошек. Гривы лошадей все больше запутывались, по бокам их струился пот, из ноздрей вырывалось шумное и тяжелое дыхание. Но когда всадник увидел, что кони ослабели, он, ободряя их, испустил совершенно нечеловеческий гортанный крик, и яростная скачка продолжалась.

Наконец этот вихрь остановился; внезапно пред нами стало вырисовываться черное сооружение, на котором то и дело вспыхивали огоньки. На обитом железом полу шаги наших лошадей стали раздаваться слышнее, и мы въехали под темный свод, нависавший между двумя огромными башнями. В замке царило крайнее оживление; слуги с факелами в руках носились туда-сюда по двору, и огни то подымались, то опускались с лестницы на лестницу. Я смутно различал архитектурные детали: колонны, аркады, подъезды и балюстрады. Взору моему предстал роскошный, поистине королевский дворец. Мне помог сойти с лошади черный паж, и в ту же секунду я узнал его: ведь это он передал мне послание Кларимонды! Дворецкий, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на воротнике и тростью из слоновой кости в руках, приблизился ко мне.

Крупные слезы скатились из его глаз и заструились по щекам на белую бороду. «Поздно! — произнес он, качая головой. — Слишком поздно, господин священник. Но если уж вы не смогли спасти эту душу, то позаботьтесь о бедном теле». Он взял меня за руку и отвел в траурную залу. Я плакал так же горько, как и он, потому что понял: умершая была, конечно же, моя Кларимонда, так долго и безумно любимая.

Скамейка для молитвы размещалась рядом с постелью умершей. Голубоватое пламя, порхавшее на бронзовой чаше, освещало всю комнату слабым и неверным светом. На выступавших из тени углах мебели или карниза поминутно вспыхивали блики. На столе стояла увядшая белая роза, погруженная в чеканную урну; все ее лепестки, кроме одного, который еще держался, упали к подножию вазы, как благоухающие слезы. Вокруг по креслам были разбросаны всевозможные маскарадные костюмы, валялись разбитая маска, веер — все говорило о том, что смерть пришла в этот великолепный дом неожиданно, не предупреждая о своем приходе.

Я опустился на колени, не решаясь поднять глаз на постель, и принялся читать псалмы с величайшим усердием, благодаря Господа за то, что Он таким способом преградил путь моим мечтам о ней, чтобы я мог прибавить к своим молитвам ее имя, отныне священное. Но мало-помалу этот порыв стал угасать, и я погрузился в грезы. В этой комнате ничто не напоминало о смерти. Вместо трупного смрада, которым я привык дышать, отправляя службу у мертвецов, томный дым восточных благовоний и какой-то любовный аромат женщины тихо плыли в остывшем воздухе. Это был скорее бледный свет сумерек, предназначенных для страстной любви, нежели тусклый желтый свет лампы, подрагивающей около мертвеца. Я думал: какой удивительный случай дал мне возможность вновь найти Кларимонду и в тот же миг потерять ее навсегда! Вздох сожаления вырвался из моей груди. Мне показалось, что позади меня послышался другой вздох, и я невольно обернулся. То было эхо. При этом движении взгляд мой, до сих пор отводимый, упал наконец на роскошную постель. Шторы из красной узорчатой ткани, расшитые крупными цветами и схваченные золотыми шнурами, позволяли видеть целиком тело покойной и руки, скрещенные на груди. На ней было ослепительно-белое льняное покрывало, еще более яркое на фоне темного пурпура

драпировки и настолько тонкое, что не скрывало нисколько восхитительных форм ее тела и позволяло заметить эти прекрасные волнистые линии лебединой шеи... Сама смерть не смогла сделать ее окоченевшей. Она напоминала алебастровую статую, выполненную каким-нибудь искусным скульптором для могилы царицы, или еще заснувшую деву, на которую намело снегу.

Я больше не мог владеть собой и оставаться здесь. Вид этого алькова опьянял меня, лихорадочный аромат розы подымался в моем мозгу, и я принялся ходить по комнате большими шагами, останавливаясь на каждом повороте перед этим возвышением, чтобы рассмотреть очаровательную усопшую сквозь прозрачный саван. Странные мысли пробегали в моем уме: я воображал, что она на самом деле не совсем умерла, что это только уловка, имеющая целью привлечь меня в этот замок и поведать о любви. Мне даже показалось, что под белым покровом шевельнулась ее ступня и что складки савана справа чуть-чуть наморщились.

Потом я стал спрашивать себя: «Точно ли это Кларимонда? Какое доказательство у меня есть? Разве не мог этот черный паж перейти на службу к другой женщине? И я безумец, что так сокрушаюсь и волнуюсь теперь». Но стук моего сердца отвечал мне: «Это точно она, это точно она». Я приблизился к кровати и особенно внимательно взгляделся в предмет моего беспокойства. Признаться вам? Это совершенство форм, хоть и очищенное и освященное тенью смерти, взволновало меня более сладострастно, чем когда-либо прежде, и этот покой настолько напоминал сон, что можно было обмануться. Я забыл, что пришел сюда совершить похоронный обряд, и стал воображать себя молодым супругом, входящим в спальню к невесте, которая стыдливо прячет лицо и никак не хочет открыть его. Сокрушенный горем, обезумевший от счастья, трепещущий от страха и одновременно от радости, я склонился к ней, взялся за уголок полога и медленно приподнял его, затаив дыхание, опасаясь разбудить ее. Кровь моя стучала с такой силой, что, казалось, свистела у меня в висках, и пот струился по лбу, как будто мне предстояло сдвинуть с места мраморную плиту.

Это действительно была она — такая, какой я увидел ее в церкви во время рукоположения. Она была так же прекрасна, и смерть казалась еще одним изящным ее украшением. Бледность щек, менее

живая розовость губ, опущенные длинные ресницы, выделявшиеся темной бахромой на фоне этой белизны, придавали ей выражение печального целомудрия и задумчивого страдания невыразимо чарующей силы. Ее длинные распущенные волосы, в которые еще было вплетено несколько голубых цветков, лежали подушкой вокруг головы, скрывая под кудрями обнаженные плечи. Прекрасные руки, чище и прозрачнее облаков, лежали скрещенные в позе благочестивого покоя и молитвенного безмолвия, сплавивая все то, что могло быть, несмотря на смерть, слишком соблазнительно в этой изысканной округлости и гладкости слоновой кости обнаженных рук, с которых еще не были сняты жемчужные браслеты.

Я долго оставался так, поглощенный немим созерцанием, и чем больше смотрел на нее, тем меньше мог поверить, что жизнь навсегда покинула это прекрасное тело. Я не знаю, было ли то обманом зрения или игрой света лампы, но, казалось, кровь снова побежала по жилам под этой матовой бледностью; тем не менее она все еще оставалась совершенно неподвижна.

Я тихонько прикоснулся к ее руке. Она была холодна, но не так, как в тот день, когда она коснулась моей руки под церковным порталом. Я вернулся в прежнее положение, склоняясь над ней лицом, и позволил теплоте моих слез пролиться на ее щеки. Ах, что за горькое ощущение отчаяния и бессилия! Что за страдание эта ночная служба! Я хотел бы собрать воедино все силы моей жизни, чтобы отдать ей и вдохнуть в это ледяное тело огонь, пожиравший меня. Но шла ночь, и, предчувствуя близость вечного расставания, я не смог отказать себе в последнем и горьком наслаждении запечатлеть поцелуй на мертвых губах той, которой принадлежала моя любовь. И — чудо! Легкое дыхание смешалось с моим дыханием, и губы ее ответили на мой поцелуй. Глаза открылись и слегка блеснули, она вздохнула, опустила скрещенные руки и обняла меня за шею с видом неизъяснимого восторга.

«Ах, это ты, Ромуальд? — произнесла она томным и нежным голосом, похожим на заключительный аккорд в пьесе для арфы. — Что же ты делаешь? Я ждала тебя так долго, что распрощалась с жизнью, но теперь мы обручены, я смогу видеть тебя и приходить к тебе. Прощай, Ромуальд, прощай! Я люблю тебя, — это все, что я

хотела сказать тебе, я возвращаю тебе жизнь, которую ты пробудил во мне на минуту своим поцелуем; до встречи!»

Голова ее снова откинулась назад, но руки все еще обнимали меня, как будто удерживая. Яростный порыв ветра, выбив стекло, ворвался в комнату; последний лепесток белой розы дрожал некоторое время, как крыло, на конце стебелька, потом оторвался и вылетел в открытое окно, увлекая за собой душу Кларимонды. Лампа потухла, и я упал без чувств на грудь прекрасной усопшей.

Очнувшись, я обнаружил себя лежащим в постели в своей комнатке: старый пес прежнего кюре лизал мою руку, покоившуюся поверх одеяла. Барбара со старческой дрожью суетилась в комнате: то открывала, то закрывала выдвижные ящички стола, протирала пыльные стаканы. Заметив, что я открыл глаза, старуха вскрикнула от радости, собака затявкала и завертела хвостом. Но я был так слаб, что не мог ни вымолвить слово, ни пошевелиться.

Я узнал, что уже три дня находился в таком состоянии, не подавая признаков жизни, разве что еле слышно дышал. Я не заметил, как прошли эти три дня, и не знаю, где было мое сознание все это время, — у меня не осталось об этом никаких воспоминаний. Барбара сообщила мне, что тот же человек с медным лицом, который приезжал за мною ночью, поутру привез меня обратно в закрытых носилках и тотчас уехал. Едва собравшись с мыслями, я вновь припомнил все обстоятельства той роковой ночи. Вначале я решил, что оказался жертвой таинственного обмана чувств; но память о реальных, осязаемых событиях сразу же разрушила это предположение. Я не мог поверить, что это был сон, поскольку Барбара, как и я, видела этого человека с двумя воронными конями и описала детали его портрета с большой точностью. Тем не менее никто не знал в окрестностях ничего похожего на тот замок, где я нашел Кларимонду.

Однажды утром я увидел только что приехавшего аббата Серапiona. Барбара сообщила ему о моей болезни, и он тут же примчался. Хотя эта поспешность свидетельствовала об участии и заинтересованности в моей судьбе, его посещение не было столь уж приятно мне. Взгляд его был каким-то пронзительным и испытующим, и это смущало меня. Я чувствовал себя неловко, как если бы был виноват перед ним. Он стал первым, кто обнаружил мое внутреннее смятение, и мне была неприятна эта его прозорливость.

Лицемерно-сладким тоном он расспрашивал про здоровье, впериw в меня хищный взгляд желтых львиных глаз и погружая его мне прямо в душу, как бы прощупывая ее. Потом он задал мне несколько вопросов о том, как проходит моя служба, доволен ли я, как провожу время, свободное от выполнения моих обязанностей, появились ли у меня знакомые среди местных жителей, какие книги я предпочитаю, и многое другое выспрашивал он. Я отвечал на все эти вопросы по возможности кратко, а он, не дожидаясь конца ответа, переходил к следующему вопросу. Беседа эта, по всей видимости, не имела никакого отношения к тому, что он хотел сказать.

Наконец безо всякой подготовки, как будто о новости, которую он внезапно вспомнил и боялся опять забыть, он произнес ясным вибрирующим голосом, прозвучавшим у меня в ушах, как трубы Страшного суда:

— Известная куртизанка Кларимонда недавно скончалась во время оргии, которая длилась восемь дней и восемь ночей. В этом было какое-то дьявольское великолепие. Возвратились все мерзости пиршеств Валтасара и Клеопатры. В каком веке мы живем, Боже милостивый! Гостям прислуживали темнокожие рабы, говорящие на незнакомом языке, по виду сущие демоны; в ливрею ничтожнейшего из них мог бы облачиться в торжественный день какой-нибудь император. Вокруг этой Кларимонды все время ходили какие-то странные слухи; все ее любовники нашли самую ужасную или позорную смерть. Говорят, она была женщиной-вампиром, но я-то думаю, что это был сам Вельзевул во плоти.

Тут он умолк и взглянул на меня еще более пристально и внимательно, чем прежде, чтобы видеть, какой эффект произвели на меня его слова. Слыша имя Кларимонды, я не мог защититься ни единым движением, и это новое известие о ее смерти, вдобавок к тому страданию, которое оно мне причинило, по странному совпадению с ночной сценой, свидетелем коей я стал, повергло меня в трепет и ужас, отразившиеся на моем лице, как ни старался я овладеть собой. Серапион бросил на меня беспокойный и суровый взгляд, после чего произнес:

— Сын мой, я должен предупредить вас: вы стоите над пропастью. Будьте осторожны, не сверзьтесь туда! У сатаны длинные когти, и могила не всегда надежная защита. Надгробье Кларимонды надо было

бы запечатать тройной печатью; ибо она, говорят, не в первый раз умирает. Боже вас сохрани, Ромуальд!

Произнеся эти слова, Серапион медленно направился к двери. Я больше его не видел: он выехал в город С... почти тотчас же.

Я почти поправился и возвратился к своим привычным обязанностям. Воспоминания о Кларимонде и о словах старого аббата не выходили у меня из головы. Тем не менее не происходило ничего необычного, что могло бы подтвердить мрачные предсказания Серапиона, и я начинал думать, что нарисованные им ужасы и мои собственные страхи были сильно преувеличены. Но однажды ночью я увидел сон.

Едва я стал погружаться в забытие, как услышал, что полог над моей постелью поднялся и кольца на занавеси раздвинулись с громким шумом. Я резко поднялся на локте и увидел тень женщины, стоявшей передо мной. Я сразу узнал Кларимонду. Она держала в руке небольшую лампу, по форме напоминавшую те, что ставят на могилах; свет лампы придавал ее длинным, тонким пальцам розовую прозрачность, которая едва заметно распространялась дальше, переходя в матовую белизну обнаженных рук. Из одежды на ней был только льняной саван, который покрывал ее на той великолепной постели. Она придерживала его складки на груди, как бы стыдясь своего скудного наряда, но ее маленькой ручки было недостаточно для этого: она была такая белая, что цвет ее одеяния смешивался с цветом кожи, освещенной бледным лучом лампы. Облаченная в эту тонкую материю, выдававшую все линии тела, она напоминала скорее мраморную статую античной купальщицы, чем живую женщину. Была ли она живая или мертвая, статуя или все та же Кларимонда, — красота была прежней. Только зеленый блеск глаз немного потух, и губы, прежде ярко-алые, были теперь окрашены лишь в нежно-розовый цвет, почти такой же, как и щеки. Голубые цветочки, которые я тогда заметил у нее в волосах, теперь совсем засохли и почти все осыпались. Это не мешало ей быть очаровательной — настолько, что, несмотря на всю необычность этого происшествия и на то, что она вошла в комнату совершенно необъяснимым способом, я ни минуты не испытывал страха.

Она поставила лампу на стол и села в ногах моей постели, потом сказала, склоняясь ко мне, своим серебристым и одновременно

бархатным голосом, какого я не встречал ни у кого другого:

«Я заставила долго ждать себя, дорогой мой Ромуальд, и ты, должно быть, подумал, что я тебя позабыла. Но я пришла из самого дальнего далека — из таких мест, откуда никто еще не возвращался: в том краю, откуда я иду, нет ни луны, ни солнца. Там только пространство и темнота — ни дороги, ни тропинки. Никакой земли под ногами, чтобы дойти, ни капельки воздуха, чтобы долететь. И все же я здесь, ибо любовь сильнее смерти и в конце концов победит. Ах, сколько зловещих ликов, сколько ужасов видела я, покуда продолжалось мое путешествие! Как трудно было моей душе, возвращающейся в этот мир силою воли, отыскать тело и вернуться к нему! Сколько усилий пришлось мне приложить, чтобы поднять могильную плиту, которой меня накрыли! Смотри — мои бедные ладони все в ссадинах и ушибах. Излечи их поцелуями, любовь моя!» Она поочередно приложила к моим губам холодные ладони и, пока я осыпал их поцелуями, смотрела на меня с улыбкой, полной неизъяснимой благодарности.

Я признаю, к стыду своему, что совсем забыл о совете аббата Серрапиона и о том, как был при этом одет. Я сдался без сопротивления после первого же штурма. Я даже не пытался бороться с искушением: свежесть кожи Кларимонды пронизывала меня насквозь, и я чувствовал, как сладострастный трепет пробегает по моему телу. Бедное дитя! Несмотря на свершившееся, я все еще с трудом верил, что она могла быть демоном, — по крайней мере, с виду она совсем не походила на него: никогда сатана не смог бы лучше упрятать свои рога и когти. Ноги ее вновь ослабели, и она присела на край постели в позе, исполненной кокетливой томности. Время от времени она проводила своей маленькой ручкой по моим волосам и закручивала их в локоны, как будто стараясь обрамить мое лицо новой прической, сопровождая все это очаровательнейшей болтовней. Я позволял ей это с самой непростительной снисходительностью. Что примечательно, я несколько не был удивлен таким неожиданным поворотом дел, и с той же легкостью, с какой мы во сне принимаем как сами собой разумеющиеся события самые странные, я почитал все происшедшее совершенно естественным.

«Я любила тебя задолго до того, как увидела, дорогой мой Ромуальд, и повсюду искала тебя. Ты был моей мечтой, и в тот

злополучный миг я заметила тебя в церкви. Я тут же сказала: „Это он!“ Я бросила на тебя взгляд, в который вложила всю свою любовь, которую чувствовала к тебе до этого, в тот самый момент, и которую должна была чувствовать потом. Такой взгляд способен был обречь на вечные муки кардинала, заставить короля пасть на колени к моим стопам перед всем двором. Ты же остался бесстрастен и предпочел мне своего Бога.

Ах, как я завидую Богу, которого ты любил и любишь еще больше, чем меня! Горе мне, до чего я несчастна! Никогда сердце твое не будет принадлежать мне одной — мне, воскрешенной единственным твоим поцелуем, Кларимонде умершей, взломавшей ради тебя могильные врата и пришедшей посвятить тебе жизнь, которую она вернула лишь для того, чтобы сделать тебя счастливым!»

Все эти речи прерывались исступленными ласками, от которых чувства мои и рассудок были одурманены до такой степени, что я уже не боялся утешать ее, изрыгая чудовищные кощунства и заверяя, что люблю ее так же, как Бога.

Глаза ее снова ожили и загорелись, как хризопразы. «Это правда, в самом деле? Так же как Бога? — повторяла она, обвивая меня своими прелестными руками. — Но тогда ты пойдешь со мной, куда я захочу, ты оставишь свои безобразные черные одежды. Ты будешь самым благородным рыцарем, тебе все будут завидовать. Ты станешь моим возлюбленным. Быть возлюбленным Кларимонды, отказавшимся от рясы священника, — что может быть возвышенней и благородней! Ах, как счастливо мы заживем, у нас будет золотая жизнь! Когда мы отправляемся, мой благородный рыцарь?» — «Завтра, завтра!» — кричал я в исступлении. «Пусть будет так, завтра! — согласилась она. — У меня будет время переодеться, потому что мое платье несколько коротковато и совсем не подходит для такого путешествия. Надо также известить моих людей, которые думают, что я в самом деле умерла, и сокрушаются всей душой. Деньги, платье, кареты — все будет готово. Я приду за тобой в тот же час. Прощай, сердце мое». Она слегка коснулась губами моего лба. Лампа погасла, шторы снова задернулись, и я больше ничего не видел.

На меня навалился мертвый сон, сон без сновидений, и сковал меня до самого утра.

Я проснулся позже, чем обычно, и воспоминание об этом необычайном видении волновало меня весь день. В конце концов я убедил себя, что это был лишь плод моего разгоряченного воображения.

Тем не менее ощущения были столь живыми, что было трудно поверить в их нереальность, и я не без некоторого боязливого предчувствия лег в постель, сперва помолившись Господу с просьбой удалить от меня дурные помыслы и даровать мне чистый и целомудренный сон. Я сразу же глубоко заснул, и сновидение мое продолжилось. Шторы раздвинулись, и я увидел Кларимонду — не такую, как в прошлую ночь, когда она была бледная в своем бледном саване и с фиалками смерти на щеках, а веселую, бодрую и нарядную, в великолепном дорожном костюме из зеленого бархата, украшенного золотыми шнурами и подобранного сбоку, чтобы можно было видеть шелковую юбку. Ее белокурые волосы сбегали крупными локонами из-под широкополой черной фетровой шляпы с белыми, причудливо изогнутыми перьями. В руке она держала небольшой хлыстик с золотым свистком на конце. Она легко прикоснулась ко мне и сказала:

«Ну так что же, соня? Так-то вы приготовились? Я рассчитывала, что вы будете на ногах. Подымайтесь скорей, нам нельзя терять времени». Я спрыгнул с постели.

«Идемте! Одевайтесь и выходите, — говорила она, указывая пальцем на небольшой сверток, который принесла с собой. — Кони томятся и грызут удила у ворот. Мы уже должны быть в десяти лье отсюда».

Я поспешно оделся: она хохотала над моей неловкостью, сама подавала мне ту или иную часть туалета и показывала, как правильно ее надеть, когда я ошибался. Она немного завила мне волосы и после этого протянула карманное зеркальце венецианского хрусталя с серебряной филигранью и сказала: «Как ты себе нравишься? Не хочешь ли взять меня к себе на службу в качестве камердинера?»

Это был уже не я — я себя не узнавал. Я был непохож на себя настолько же, насколько законченная статуя непохожа на каменную глыбу. Мое прежнее лицо выглядело не более чем грубой заготовкой того, которое теперь отражалось в зеркале. Я был прекрасен, и эта метаморфоза приятно щекотала мое тщеславие. Эти изысканные одежды, эта богато расшитая куртка сделали из меня совершенно другого человека, и я изумлялся могуществу нескольких локтей ткани, выкроенных некоторым особым образом. Дух моего костюма пронизывал меня насквозь, и через десять минут я мог вполне сойти за щеголя.

Я несколько раз прошелся по комнате, придавая себе непринужденный вид. Кларимонда смотрела на меня с материнской снисходительностью и, кажется, была очень довольна своей работой.

«Ну, довольно ребячеств: в путь, мой милый Ромуальд! Нам ехать далеко, можем не успеть». Она взяла меня за руку и повлекла за собой. Все двери открывались перед ней, стоило ей коснуться их. Мы проскользнули мимо собаки, не разбудив ее. На пороге мы встретили Маргеритона — всадника, сопровождавшего меня в тот день. Он держал за поводья трех вороных коней, таких же, как те, — одного для себя, другого для нее, третьего для меня. Должно быть, это были испанские жеребцы, рожденные от коней, оплодотворенных Зефиром, ибо мчались они как стрела. Луна, которая вошла, освещая нам путь, катилась по небу, словно колесо, отскочившее от повозки. Нам было

видно, как она справа от нас прыгала с дерева на дерево и едва поспевала бежать за нами.

Скоро мы достигли какой-то равнины, где у рощицы нас ожидала карета, запряженная четверкой могучих коней. Мы сели в нее, и фореиторы пустили их бешеным галопом. Одной рукой я обнимал свою Кларимонду за талию, другой держал ее руку. Я чувствовал, как ее полуоткрытая шея слегка касается моего плеча, на которое она положила голову. Никогда я не испытывал такого глубокого счастья. В этот миг я забыл обо всем: я вспоминал о своей службе не больше, чем о том, что я делал во чреве матери, — настолько велика была власть дьявольских чар надо мной.

С этой ночи мое естество как бы расколосось надвое: во мне жили два человека, не знавшие друг друга. То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность. Молодой господин, щеголь и распутник насмеялся над священником; священнику были отвратительны выходки молодого распутника. Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались, — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил.

Несмотря на дикость этого положения, мне кажется, я ни на мгновение не бывал близок к безумию. В пределах обоих моих существований я всегда сохранял ясность восприятия. Была только одна нелепая вещь, которой я не мог дать объяснение: как это ощущение одного и того же «я» жило в двух столь различных людях. Это была единственная странность, в которой я не отдавал себе отчета, будь я кюре в деревне *** или *синьором Ромуальдо*, официальным любовником Кларимонды.

Я все время бывал (или, по крайней мере, думал, что бываю) в Венеции; я все еще не мог вполне отличить, что в этом странном приключении было иллюзией, а что реальностью. Мы жили в огромном мраморном дворце на Каналейо, где было множество фресок и статуй, с Тицианом лучших времен в спальне Кларимонды, — во дворце, достойном и короля. Каждый из нас имел в своем распоряжении гребца, гондолу, комнату для занятий музыкой и собственного поэта.

Кларимонда предпочитала в жизни все великое; она была по натуре немного Клеопатрой. Я же вел жизнь наследного принца и раздувал щеки так, будто происходил из семейства одного из патриархов и первосвященников светлейшей республики. Я не посторонился бы с дороги, чтобы пропустить дождя. Не думаю, что с тех пор, как сатана низвергнулся с небес, кто-либо был бóльшим гордецом и наглецом, чем я.

Я посещал Ридотто и предавался азарту игры, ставя на карту целые состояния. Я увидел все прелести светской жизни, проводя дни среди последышей погибших родов, театральных актрис, шулеров, прихлебателей и бретеров. Но, несмотря на безалаберность этой жизни, я оставался верен своей Кларимонде. Я любил ее безумно. Она могла бы расшевелить само пресыщение и приковать к себе саму неверность. Иметь Кларимонду было все равно что иметь двадцать женщин, всех женщин на свете, — настолько она была переменчивой, подвижной и всегда разной — настоящий хамелеон! Она заставляла изменять ей с нею же, как будто бы с другими, в совершенстве подражая внешности, манерам и красоте своих возможных соперниц. Она сторицей вознаграждала мою любовь, и тщетно молодые патриции и даже старцы из Совета Десяти делали ей самые блестящие и заманчивые предложения. Некий Фоскари дошел даже до того, что решился просить ее руки. Она отказывала решительно всем: у нее хватало золота, ей хотелось лишь любви — любви юношеской, чистой, которую она пробудила во мне и которая для нее была первой и последней.

Я был бы совершенно счастлив, не будь одного проклятого кошмара, мучившего меня каждую ночь, в котором я был сельским священником, умерщвлял плоть и постоянно каялся в своих дневных прегрешениях. Успокоенный привычкой быть с Кларимондой, я почти не думал уже о том, каким странным образом с нею познакомился. В то же время мне порой вспоминались слова аббата Серапиона и приводили меня в некоторое замешательство.

С некоторых пор Кларимонда стала чувствовать себя хуже; она чахла день ото дня. Приглашенные медики ничего не понимали в ее болезни и не знали, что предпринять. Сделав несколько незначительных предписаний, они больше не появлялись. А Кларимонда между тем бледнела на глазах и застывала все больше и

больше: она была почти такой же белой и мертвой, как в ту памятную ночь в незнакомом замке. Я был в отчаянии, видя, как она медленно угасает. Она, тронутая моим горем, улыбалась мне тихо и грустно роковой улыбкой человека, который знает, что умирает.

Однажды утром я, сидя у ее кровати, устроился завтракать на маленьком столике, чтобы не покидать ее ни на минуту. Разрезая какой-то плод, я случайно порезал палец довольно глубоко. Тотчас же пурпурными струйками побежала кровь, и несколько капель брызнуло на Кларимонду. Глаза ее загорелись, на лице появилось выражение дикой, звериной радости, которого я никогда прежде у нее не видел. Она спрыгнула с постели с ловкостью зверя — обезьяны или кошки, — устремилась к моей ранке и принялась высасывать кровь с видом несказанного сладострастия. Она плотала кровь маленькими плотками, медленно, как что-то драгоценное, — так гурман смакует какой-нибудь херес или сиракузское вино. Она слегка скосила глаза, и ее зеленые радужки из круглых стали продолговатыми. Время от времени она прерывалась, целовала мою руку, потом снова надавливала губами на края ранки, чтобы выжать еще несколько алых капель. Увидев, что кровь больше не течет, она подняла поблескивающие глаза. Ее теплая рука была влажна, посвежевшее лицо — розовее майской зари. Она была прекраснее, чем когда-либо, и чувствовала себя превосходно.

«Я не умру! Я не умру! — вскрикивала она, полуобезумевшая от счастья, бросаясь мне на шею. — Я смогу еще долго любить тебя! Моя жизнь — в твоей, и все, что есть во мне, — от тебя. Несколько капель твоей крепкой, благородной, драгоценнейшей крови, которая целительнее всех эликсиров на свете, возвратили меня к жизни!»

Эта сцена, внушившая мне некоторые сомнения относительно Кларимонды, долго не выходила у меня из головы. В тот же вечер, едва сон перенес меня в мой деревенский домик, я увидел аббата Серапиона, который был суров и озабочен, как никогда прежде. Он пристально взглянул на меня и произнес: «Мало того, что вы губите вашу душу, вы хотите погубить и тело! Несчастный юноша, в какую же ловушку вы попались!» Но сколь бы глубоко ни поразил меня тон сказанных слов, это впечатление вскоре рассеялось и тысячи других забот изгнали его из моего сердца.

Между тем однажды вечером я увидел в зеркало, расположенное мною так хитроумно, что Кларимонда не предполагала о его существовании, как она сыпала какой-то порошок в бокал шипучего вина, приготовляемый ею обычно после еды. Я взял бокал, для виду поднес его к губам, потом отставил в сторону, как бы намереваясь не спеша допить позже, и, пользуясь моментом, когда моя красавица отвернулась, выплеснул содержимое под стол. После этого я вернулся к себе в спальню и лег, твердо решив не засыпать и посмотреть, что будет. Мне не пришлось долго ждать: Кларимонда вошла в ночном уборе, разделась и легла на кровать подле меня. Убедившись, что я сплю, она обнажила мою руку, вынула из волос золотую булавку и зашептала:

— Одна капля, одна-единственная, красная, одинокий рубин у меня на кончике иглы... Если ты меня еще любишь, мне не нужно умирать... Ах, любовь моя, бедняжка, как прекрасна, как ослепительно пурпурна твоя кровь, сейчас я напьюсь ее... Спи, моя единственная радость, мое божество, спи, дитя мое, я не сделаю тебе зла, я не отниму у тебя жизнь, я возьму только часть ее: она нужна, чтобы не угасла моя жизнь. Если бы я не любила тебя так, я могла бы позволить себе завести других возлюбленных, которым осушала бы вены. Но с тех пор как я узнала тебя, весь мир мне противен... Ах, твоя благородная рука, такая полная, такая белая... Я никогда не осмелюсь проколоть эту прекрасную голубую вену!

И, продолжая шептать, Кларимонда заплакала. Я чувствовал, как ее слезы проливаются на мою руку, которую она держала в своих ладонях. Наконец она решилась, сделала маленький укол своей булавкой и стала высасывать бежавшую из ранки кровь. И хотя она выпила всего несколько капель, ее охватил страх, что я обескровлен: она помазала ранку какой-то мазью, от которой та мгновенно зажила, а потом заботливо перевязала руку маленькой ленточкой.

Сомнений больше быть не могло: правота аббата Серапиона была доказана. Но, даже несмотря на это, я не мог заставить себя разлюбить Кларимонду. Я по доброй воле отдал бы ей всю кровь, которая была нужна, чтобы поддержать ее призрачное существование. Я, впрочем, не испытывал большого страха: все-таки она была прежде всего женщиной, а не вампиром, и услышанное и увиденное убеждало меня совершенно. Крови в моих жилах имелось тогда в изобилии, она не

так уж скоро бы иссякла, и мне не жаль было отдавать жизнь по капле. Я сам обнажил бы свою руку и сказал ей: «Пей! И пусть моя любовь войдет в твое тело вместе с моей кровью!»

Я не сделал бы ни малейшего намека на историю со снотворным, которое она мне подсыпала, и на сцену с булавкой, и мы жили бы в самом добром согласии.

И все же совесть священника терзала меня больше, чем когда-либо прежде. Я не знал, какой еще способ послушания изобрести, чтобы обуздать и умертвить свою плоть. Хотя все мои видения были произвольны и я в них никоим образом не участвовал, я не дерзал прикасаться к распятию нечистыми руками и призывать Христа мыслью, оскверненной подобным развратом, будь то во сне или наяву.

Пытаясь избежать изнурительных галлюцинаций, я мешал себе погрузиться в сон, придерживал пальцами закрывавшиеся веки или стоял, вытянувшись вдоль стены, и изо всех сил боролся со сном. Но дремота вскоре накатывала на меня; я понимал, что вся моя борьба тщетна, в отчаянии и изнеможении руки мои опускались, и я вновь плыл по течению к берегам моего искушения. Серапион же все неистовей увещевал меня и жестоко упрекал за малодушие и недостаток рвения. Однажды, когда я был особенно встревожен, он сказал мне:

— Чтобы спасти вас от этого наваждения, есть только одно средство, самое крайнее, и тем не менее придется его использовать. От большой болезни — большое лекарство. Я знаю, — продолжал он, — где похоронена Кларимонда. Мы выкопаем ее: надо, чтобы вы увидели, в каком жалком состоянии пребывает объект вашей любви, и не пытались больше погубить свою душу ради смердящего трупа, изъеденного червями и готового рассыпаться в прах. Уж это наверняка заставит вас возвратиться к самому себе.

Я к тому времени настолько устал от своей двойной жизни, что легко поддался его уговорам, желая раз и навсегда удостовериться, кто же из нас — священник или благородный господин — существовал в действительности. Я решился погубить одного из них ради другого, а может быть, и обоих сразу, ибо подобное существование более продолжаться не могло.

Аббат Серапион вооружился киркой, железным ломиком и фонарем, и с наступлением полночи мы направились на кладбище

***, план которого он знал превосходно. Осветив потайным фонарем надписи на нескольких могилах, мы наконец подошли к одному камню, наполовину заросшему высокой травой, изъеденному мхом и растениями-паразитами. Мы разобрали начало надписи:

Здесь последний приют Кларимонда нашла —
Та, что первой красавицей в мире была.

— Это точно здесь, — сказал Серапион.

Он просунул лом в щель камня и начал приподнимать его. Плита поддалась, и он принялся работать киркой. Я смотрел, как он, чернее и молчаливее самой ночи, трудится, склонившись над могилой. Он делал свое страшное дело, истекая потом и тяжело дыша, словно и сам пребывал в агонии. Это было поистине странное зрелище, и, если бы кто-то увидел нас со стороны, он принял бы нас, вероятнее всего, за осквернителей могил и похитителей саванов, но не за служителей Господа. В усердии Серапиона было что-то дикое и тяжелое, что делало его похожим скорее на демона, чем на апостола или ангела. Его аскетичное лицо с крупными чертами, резко выступавшими в свете фонаря, не обещало ничего хорошего. Я чувствовал, как ледяной пот покрывает все мое тело, и волосы шевелились у меня на голове. В глубине души я считал, что суровый Серапион совершает мерзкое святотатство, и желал бы, чтобы из темных туч, которые тяжело плыли над нами, вышел огненный трезубец и поразил бы его, стер в порошок. Совы, сидевшие на кипарисовых ветвях, прилетали, напуганные светом фонаря, и тяжело ударялись крыльями землистого цвета о стекло, издавая жалобные стоны. Издалека доносилось тьяканье лисиц, и множество зловещих голосов раздавалось в тишине.

Наконец кирка ударилась о гроб; доски издали какой-то звук, одновременно глухой и звонкий, — такой ужасный звук издает ничто, если до него ненароком дотронуться. Серапион отвалил крышку, и я увидел Кларимонду — мраморно-бледную, со скрещенными руками; на ее белом саване пролегала вдоль тела всего одна складка. В уголке поблекшего рта сверкала, как роза, маленькая алая капелька. При виде ее Серапион пришел в ярость:

— Ах, это ты, бесовка, мерзкая блудница, пожирательница крови и золота!

Он окропил святой водой тело и гроб, изобразив кропилом крест. Едва эта Божья роса коснулась бедной Кларимонды, как ее прекрасное тело рассыпалось в прах; осталась лишь ужасающе бесформенная кучка пепла и наполовину обуглившихся костей.

— Вот ваша возлюбленная, синьор Ромуальдо, — неумолимо произнес священник, указывая на эти жалкие останки. — Надеюсь, вам больше не захочется путешествовать на Лидо и в Фузину с вашей красавицей?

Я поник головой. Внутри у меня все было разрушено. Я вернулся к себе домой, и синьор Ромуальдо, любовник Кларимонды, распрощался с бедным священником, с которым так долго водил в высшей степени странную компанию.

На следующую ночь я в последний раз видел Кларимонду: она говорила мне, как в первый раз, под церковным порталом: «Несчастный, несчастный, что ты наделал! Ты послушался этого глупого священника! Разве не был ты счастлив? И что я тебе сделала, зачем ты осквернил мою бедную могилу и обнажил нищету моего небытия? Отныне порваны все связи между нашими душами и телами. Прощай, ты будешь обо мне жалеть», — и затем растаяла в воздухе, как дым. Больше я ее не видел.

Увы, она была права. Еще не раз душа моя сожалела о ней: покой был куплен слишком дорогой ценой. Любовь Господа ни в коей мере не могла заменить ее любви.

Такова, брат мой, история моей юности. Никогда не подымайте глаз на женщину: всегда проходите мимо, глядя в землю, ибо, как бы ни были вы целомудренны и спокойны, достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять вечность.

Джулиан Готорн

(1846–1934)

Тайна Кена

Пер. с англ. С. Антонова

Как-то раз прохладным осенним вечером, на исходе последнего октябрьского дня, довольно холодного для этого времени года, я решил зайти на час-другой к своему другу Кенингейлу. Он был художником, а также музыкантом-любителем и поэтом; при доме у него была великолепная студия, где он обыкновенно коротал вечера. В студии имелся похожий на пещеру камин, стилизованный под старомодный очаг усадьбы елизаветинской поры, и в нем, когда того требовала наружная прохлада, ярко полыхали сухие дрова. Было бы как нельзя более кстати, подумал я, зайти в такой вечер к моему другу, выкурить трубку и поболтать, сидя у камелька.

Нам уже очень давно не доводилось вот так запросто болтать друг с другом — по сути дела, с тех самых пор, как Кенингейл (или Кен, как звали его друзья) вернулся в прошлом году из Европы. Он заявлял тогда, что ездил за границу «в исследовательских целях», — чем вызывал у всех нас улыбку, ибо Кен, насколько мы его знали, менее всего был способен что-либо исследовать. Жизнерадостный юнец, веселый и общительный, он обладал блестящим и гибким умом и годовым доходом в двенадцать-пятнадцать тысяч долларов; умел петь, музицировать, марал на досуге бумагу и весьма недурно рисовал — некоторые его портретные наброски были отменно хороши для художника-самоучки; однако упорный, систематический труд был ему чужд. Выглядел он превосходно: изящно сложенный, энергичный, здоровый, с выразительным лбом и ясными, живыми глазами. Никто не удивился отъезду Кена в Европу, никто не сомневался, что он едет туда за развлечениями, и мало кто ожидал в скором времени вновь увидеть его в Нью-Йорке, — ибо он был одним из тех, кому Европа приходится по нраву. Итак, он уехал; и спустя несколько месяцев до нас дошел слух, что Кен обручился с красивой и богатой девушкой из Нью-Йорка, которую встретил в Лондоне. Вот практически и все, что

мы слышали о нем до того момента, когда он — довольно скоро и неожиданно для всех нас — снова появился на Пятой авеню; Кен не дал никакого сколь-либо удовлетворительного ответа тем, кто желал узнать, отчего ему так быстро наскучил Старый Свет; все упоминания об объявленной помолвке он пресекал в столь категоричной форме, что становилось ясно: эта тема не подлежит обсуждению. Предполагали, что девушка нашла ему замену, но, с другой стороны, она вернулась домой вскоре после Кена, и, хотя ей не раз делали предложения руки и сердца, она и по сей день не замужем.

Каковы бы ни были истинные причины этого разрыва, окружающие скоро заметили, что Кен по возвращении утратил прежнюю беспечность и веселость; он выглядел мрачным, угрюмым, стремился к уединению, был сдержан и молчалив даже в присутствии своих ближайших друзей. Все говорило о том, что с ним что-то произошло или же он сам что-то совершил. Но что именно? Убил кого-то? Или сошелся с нигилистами? Или это было следствие неудачной любовной истории, которую он пережил? Некоторые уверяли, что уныние Кена не продлится долго. Однако к тому времени, о котором я рассказываю, его мрачность не только не рассеялась, а скорее усилилась и грозила стать постоянным свойством его натуры.

Хотя я дважды или трижды встречал Кена в клубе, в опере или на улице, мне до сих пор не представился случай возобновить наше знакомство. В былые времена между нами существовала более чем близкая дружба, и я полагал, что он не откажется вернуться к прежним отношениям. Но из-за происшедшей с ним перемены, о которой я так много слышал и которая не укрылась и от моих собственных глаз, я ожидал нынешнего вечера не только с радостью, но и с живительным любопытством. Дом Кена находится в двух или трех милях от основной части нью-йоркских жилых кварталов, и, пока я быстрым шагом приближался к нему в прозрачных сумерках, у меня было время перебрать в уме все то, что я знал о своем друге и что мог предполагать о его характере. В конце концов, не таилось ли в глубине его натуры, под покровом его всегдашнего жизнелюбия, нечто странное и обособленное, что могло в благоприятных обстоятельствах развиться в... во что? В тот момент, когда я задал себе этот вопрос, я достиг порога дома; минутой позже я с облегчением

ощутил сердечное рукопожатие Кена и услышал приглашение войти, в котором сквозила неподдельная радость. Он втащил меня внутрь, принял у меня шляпу и трость и затем положил руку мне на плечо.

— Рад тебя видеть, — повторил он с необыкновенной серьезностью, — рад тебя видеть и заключить в объятия — и сегодня вечером больше, чем в какой-либо другой вечер года.

— Почему именно вечером?

— О, это не важно. Кстати, даже хорошо, что ты не сообщил мне о своем визите заранее: перефразируя поэта, неготовность — всё. Ну а теперь можно выпить по стаканчику виски с содовой и сделать несколько затяжек из трубки. Мне было бы страшно провести сегодняшней вечер в одиночестве.

— Это посреди такой-то роскоши? — удивился я, оглядывая пылающий камин, низкие дорогие кресла и прочее богатое и пышное убранство комнаты. — Думаю, даже осужденный на смерть убийца обрел бы здесь душевный покой.

— Возможно; однако на данный момент это не совсем моя роль. Но неужели ты забыл, что нынче за вечер? Сегодня — канун ноября, и, если верить преданиям, в эту ночь мертвые восстают из могил, а феи, домовые и прочие призрачные создания обладают большей свободой и могуществом, чем в любое другое время. Сразу видно, что ты никогда не бывал в Ирландии.

— До этой минуты я полагал, что и ты там ни разу не был.

— Я бывал в Ирландии. Да...

Кен сделал паузу, вздохнул и погрузился в раздумье; впрочем, вскоре он с видимым усилием очнулся и направился к застекленному шкафу в углу комнаты, чтобы взять табак и напитки. Я тем временем бродил по студии, разглядывая наполнявшие ее различные украшения, редкости и диковины. Здесь имелось множество вещей, способных вызвать восхищение и вознаградить внимательного исследователя; ибо Кен был настоящим коллекционером и обладал превосходным художественным вкусом, равно как и средствами культивировать его в себе. Но меня более всего заинтересовали несколько эскизов женской головы, сделанных наспех масляной краской; они находились в укромном уголке студии и, похоже, не предназначались для взоров публики или критики. Их было три или четыре, и на всех было запечатлено одно и то же лицо, но с различных точек зрения и в

разном обрамлении. На первом наброске голову скрывал темный капюшон, чья тень не позволяла полностью различить черты лица; на втором девушка, казалось, печально смотрела в решетчатое окно, освещенное бледным светом луны; на третьем она представала в роскошном вечернем платье, с драгоценностями, сверкавшими в волосах, на мочках ушей и на белоснежной груди. Выражение лица тоже было разным: взгляд, сдержанно-проницательный на одном эскизе, становился нежно-манящим на другом, пылал страстью на третьем, а затем в нем начинала играть почти неуловимая озорная насмешка. И на всех изображениях это лицо было исполнено необыкновенного и пронзительного очарования, не уступавшего изумительной природной красоте его черт.

— Ты нашел эту модель за границей? — спросил я наконец. — На тебя явно снизошло вдохновение, когда ты рисовал ее, и я ничуть этим не удивлен.

Кен, который в это время готовил пунш и не следил за моими перемещениями, поднял голову и произнес:

— Я не думал, что их кто-нибудь увидит. Эти эскизы не удались мне, и я собираюсь их сжечь; но я не знал покоя до тех пор, пока не попытался воспроизвести... О чем ты спрашивал? За границей? Да... то есть нет. Все это было нарисовано здесь, в последние полтора месяца.

— Что бы ты сам о них ни думал, это определенно лучшие из твоих работ, которые мне доводилось видеть.

— Ладно, оставь их и скажи мне, что ты думаешь об этом напитке. Своим появлением на свет он обязан твоему приходу, и, по-моему, он сейчас попадет куда надо. Я не могу пить один, а эти портреты — не вполне подходящая компания, хотя, насколько я знаю, по ночам она покидает холст и садится вот в то кресло. — Затем, поймав на себе мой вопрошающий взгляд, Кен добавил с торопливой усмешкой: — Сегодня, видишь ли, последняя ночь октября, когда случаются довольно странные вещи. Ну, за встречу.

Мы сделали по большому плотку ароматного дымящегося напитка и одобрительно плюнули на стаканы. Пунш был великолепен. Кен открыл коробку сигар, и мы пересели к камину.

— А теперь, — заметил я после непродолжительной паузы, — не помешало бы немного музыки. Кстати, Кен, банджо, которое я

подарил тебе перед твоим отъездом, все еще у тебя?

Он так долго не отвечал мне, что я усомнился, расслышал ли он вопрос.

— Оно у меня, — произнес он наконец, — но оно больше никогда не издаст ни звука.

— Оно сломано? И его нельзя починить? Это был превосходный инструмент.

— Оно не сломано, но восстановить его действительно невозможно. Сейчас сам увидишь.

Сказав это, Кен встал, направился в другую часть студии, открыл черный дубовый сундук и вынул оттуда продолговатый предмет, обернутый куском выцветшего желтого шелка. Он протянул его мне, и, развернув ткань, я увидел то, что когда-то, возможно, и было банджо, но сейчас мало походило на этот инструмент. На нем виднелись все признаки глубокой старости. Дерево грифа было изъедено червями и покрыто гнилью. На пожухлой и ссохшейся пергаментной деке зеленела плесень. Обод, сделанный из чистого серебра, стал таким темным и тусклым, что напоминал старое железо. Струны отсутствовали, а бóльшая часть колков выпала из расшатанных гнезд. В целом эта вещь выглядела так, словно она была сделана до Всемирного потопа и затем пребывала в забвении на полубаке Ноева ковчега.

— Да, любопытная реликвия, — сказал я. — Где ты ее раздобыл? Я и не подозревал, что банджо изобрели так давно. Ведь ему явно не меньше двухсот лет, а возможно, намного больше.

Кен мрачно усмехнулся.

— Ты совершенно прав, — сказал он, — ему по крайней мере сто лет, и тем не менее это то самое банджо, которое ты подарил мне в прошлом году.

— Едва ли, — возразил я, в свою очередь улыбаясь, — поскольку оно было изготовлено по моему заказу специально в дар тебе.

— Я знаю об этом; но с тех пор прошло два столетия. Я сознаю, что это невероятно и противоречит здравому смыслу, однако это сущая правда. Это банджо, которое было сделано в прошлом году, существовало в шестнадцатом веке и с того времени пришло в негодность. погоди. Дай мне минуту, и я докажу тебе, что так оно и

есть. Ты помнишь, что на серебряном ободке были выгравированы наши имена и проставлена дата?

— Да, и, кроме того, там стояла моя личная метка.

— Прекрасно, — сказал Кен и потер ободок уголком желтой шелковой ткани. — А теперь смотри.

Я взял у него ветхий инструмент и осмотрел потертое место. Конечно, это было немыслимо, но там значились именно те имена и та дата, которые некогда наказал выгравировать я; и более того, там виднелась моя личная метка, всего полтора года назад нанесенная мною от нечего делать при помощи старой гравировальной иглы. Убедившись, что никакой ошибки быть не может, я положил банджо на колени и в замешательстве уставился на моего друга. Кен курил, сохраняя мрачное спокойствие и неотрывно глядя на полыхавшие в камине дрова.

— Признаться, я заинтригован, — сказал я. — Ну давай же, признавайся — что это за шутка? Каким образом тебе удалось за несколько месяцев состарить несчастное банджо на целые столетия? И для чего ты это сделал? Я слышал об эликсире, способном противостоять воздействию времени, но, похоже, твое средство, наоборот, заставляет время убыстряться в двести раз в одной конкретной точке пространства — тогда как во всех других местах оно продолжает двигаться своей обычной неспешной поступью. Поведай свою тайну, волшебник. Нет, в самом деле, Кен, как такое могло произойти?

— Я знаю об этом не больше твоего, — ответил он. — Либо ты, я и все прочие люди на свете сошли с ума, либо произошло чудо, столь же необъяснимое, как и любое другое. Как я сам это объясняю? Расхожее выражение, основанное на опыте многих, гласит, что в определенных обстоятельствах, в моменты серьезных жизненных испытаний, мы способны в единый миг прожить годы. Но это не физический, а психологический опыт, который применим только к людям и не может быть распространен на бесчувственные вещи из дерева и металла. Ты думаешь, что все это — какой-то хитроумный обман или фокус. Если так, то я не знаю его секрета. Я никогда не слышал о таком химическом веществе, которое могло бы за несколько месяцев или лет привести кусок дерева в столь жалкое состояние. Но подобного срока и не потребовалось. Год назад в этот самый день и час это банджо

звучало так же мелодично, как в день своего появления на свет, а спустя всего лишь сутки — я говорю истинную правду — оно стало таким, каким ты его видишь сейчас.

Это поразительное заявление было сделано с непритворной торжественностью и серьезностью. Кен верил в каждое сказанное им слово. Я не знал, что и думать. Конечно, мой друг мог быть не в своем уме, хотя и не обнаруживал никаких распространенных симптомов помешательства; но так или иначе, существовало банджо — свидетель, чьи безмолвные показания невозможно было опровергнуть. Чем дольше я размышлял об этой истории, тем более непостижимой она мне представлялась. Мне предлагали поверить, что две сотни лет равны двадцати четырем часам. Кен и банджо свидетельствовали в пользу этого равенства; все земные знания и весь житейский опыт говорили о том, что подобное невозможно. Что было правдой? Что есть время? Что такое жизнь? Я чувствовал, что начинаю сомневаться в реальности всего сущего. Такова была тайна, которую мой друг пытался разгадать с тех пор, как вернулся из-за границы. Неудивительно, что эта тайна его изменила, — скорее следовало удивляться тому, что она не изменила его сильнее.

— Ты можешь рассказать мне все с самого начала? — спросил я наконец.

Кен сделал плоток из стакана с виски и провел рукой по густой каштановой бороде.

— Я еще ни с кем не говорил об этом, — сказал он, — и не собирался когда-либо говорить. Но я попробую дать тебе некоторое представление о том, что со мной произошло. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было; ты поймешь то, о чем я расскажу, насколько это вообще можно понять, и тогда тяжесть, лежащая у меня на сердце, вероятно, будет угнетать меня не так сильно. Ибо, смею тебя уверить, это слишком жуткое воспоминание, чтобы пытаться изжить его в одиночку.

И вслед за этим Кен без долгих околичностей поведал мне историю, которая приводится ниже. Замечу кстати, что он был прирожденным рассказчиком, обладал глубоким, выразительным голосом и мог удивительно усиливать комический или патетический эффект фразы, растягивая отдельные звуки. Его живое лицо также чутко откликалось на различные проявления смешного и серьезного, а

форма и цвет глаз позволяли передать множество разнообразных эмоций. Печальный взор Кена был необыкновенно искренним и проникновенным; а когда мой друг обращался к какому-нибудь загадочному месту своего повествования, его взгляд становился неуверенным, меланхоличным, изучающим и, казалось, настойчиво вызывал к воображению слушателя. Но его рассказ вызывал во мне слишком сильный интерес, и я не замечал этих оттенков настроений, хотя они, несомненно, оказывали на меня свое влияние.

— Ты помнишь, что я отбыл из Нью-Йорка на пароходе компании «Инман лайн», — начал Кен. — Я высадился на побережье в Гавре и, совершив обычную туристическую поездку по континенту, прибыл в Лондон в июле, в самый разгар сезона. Мне оказали теплый прием, я свел знакомство со многими людьми, приятными в общении и известными в обществе. Среди них была и юная леди, моя соотечественница, — ты знаешь, о ком я говорю; я увлекся ею необычайно, и незадолго до отбытия ее семьи из Лондона мы обручились. На время нам пришлось расстаться, так как ей предстояла поездка на континент, а мне хотелось посетить Северную Англию и Ирландию. В первых числах октября я сошел на берег в Дублине и, пропутешествовав по стране около двух недель, оказался в графстве Корк.

Этот край богат на самые чарующие виды, когда-либо открывавшиеся взору человека, и, кажется, не так хорошо известен туристам, как другие, куда менее живописные места. Это также немногочисленный край: за время своих странствий я не видел ни одного чужеземца, да и местные жители встречались мне крайне редко. Казалось невероятным, что такая прекрасная местность может быть столь пустынна. Прошагав дюжину ирландских миль, набредаешь на два-три домика с единственной комнатой внутри, и зачастую у одного или двух из них отсутствует крыша и полуразрушены стены. Немногочисленные селяне, впрочем, приветливы и гостеприимны — особенно когда слышат, что вы прибыли из того земного рая, куда уже перебралось большинство их родственников и друзей. На первый взгляд они довольно бесхитростны и простоваты, однако на деле это такой же странный и загадочный народ, как и всякий другой. Они так же суеверны и так же верят в чудеса, знамения, фей и волшебников, как их предки, которым проповедовал святой Патрик, и вместе с тем

это изворотливые, недоверчивые, прагматичные и беспринципные лжецы. Одним словом, за время своего путешествия я не встречал другого народа, общество которого доставляло бы мне такое удовольствие и который вызывал бы во мне столько добрых чувств, любопытства и вместе с тем антипатии.

Наконец я достиг городка на морском побережье, о котором могу сказать лишь, что он находится в нескольких милях к югу от Баллимачина. Мне доводилось видеть Венецию и Неаполь, я путешествовал по Корниш-роуд, я провел целый месяц на нашем острове Маунт-Дезерт, и, признаться, все они, вместе взятые, не столь прекрасны, как этот яркий, полный сочных цветов, серебристого света и нежного мерцания старинный портовый городок, вокруг которого теснятся высокие холмы, а черные подножия прибрежных скал врезаются в прозрачную синеву моря. Это очень древнее поселение, чья история насчитывает столетия. Когда-то в нем проживало две или три тысячи человек; сегодня едва наберется пять-шесть сотен. Половина домов частично или полностью развалилась, многие из тех, что уцелели, пустыют. Горожане сплошь бедны, большинство пребывает в крайней нужде и слоняется по улицам босиком и с непокрытыми головами, — женщины в причудливых черных и темно-синих накидках, мужчины в таких необычных одеяниях, в которые только ирландцу придет в голову облачиться, дети полуголые. Единственные, кто выглядит прилично, — это монахи, священники и солдаты из крепости, стоящей на гигантских руинах своей предшественницы, которая существовала здесь во времена Эдуарда Черного Принца или в более раннюю эпоху; в ее поросших мхом бойницах виднеются жерла нескольких пушек, из которых солдаты периодически упражняются в стрельбе по утесу на противоположной стороне порта. Гарнизон крепости состоит из дюжины рядовых и трех или четырех офицеров и унтер-офицеров. Время от времени они, вероятно, сменяют друг друга на своих постах — хотя те, что попадались мне на глаза, похоже, успели стать неотъемлемой частью местного пейзажа.

Я остановился в замечательной маленькой гостинице, единственной в этом городке, и пообедал в баре площадью девять на пятнадцать футов, с висящим над каминной полкой портретом Георга I (репродукцией, покрытой для сохранности лаком). На

следующий день после ужина в баре — который, без сомнения, является общественной собственностью — появился некий юный джентльмен и заказал себе скромную трапезу и бутылку крепкого дублинского пива. Мы быстро разговорились; оказалось, что это офицер из крепости, лейтенант О'Коннор, превосходный образчик молодого ирландского военного. Выложив мне все, что знал о городке и его окрестностях, о своих друзьях и самом себе, он выразил готовность выслушать любую историю, которую я надумаю ему рассказать; и мне доставило удовольствие помериться с ним в откровенности. Мы сделались закадычными друзьями, заказали полпинты виски «Кинахан», и лейтенант с большой похвалой отозвался о моих соотечественниках, о моей родине и моих сигарах. Когда О'Коннор собрался уходить, я вызвался проводить его — ведь снаружи светила дивная луна — и простился с ним у ворот крепости, пообещав, что завтра вернусь и познакомлюсь с его товарищами. «И смотри, будь осторожен, дружище! — крикнул он, когда я повернулся в сторону дома. — Поверь, это кладбище — страшное место, и вполне вероятно, ты встретишь там женщину в черном!»

Упомянутое кладбище было заброшенным и пустынным местом в непосредственной близости от крепости: некоторые из тридцати-сорока шероховатых надгробных камней еще продолжали кое-как удерживать вертикальное положение, однако многие были настолько покорежены и разрушены временем, что напоминали торчащие из земли бесформенные древесные корни. Кто такая женщина в черном, я не знал и не стал задерживаться, чтобы выяснить это. Меня никогда не терзал страх перед потусторонними силами, и, по правде говоря, хотя мой путь пролегал через труднопроходимую местность, я добрался до гостиницы без каких бы то ни было приключений, если не считать рискованного карабкания по разрушенному мосту, перекинутому через глубокий ручей.



«Благочестивая профессия»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

— *Клянешься ли ты слушаться и почитать своих наставников и начальников, подметать чердаки, прятать паклю, бить в бубен, визжать, выть, летать, варить, подмазывать, сосать, поддувать,*

жарить — всякий раз как тебе прикажут? — Клянусь! — В таком случае, милая, ты уже ведьма. В добрый час!



«Когда рассветет, мы уйдем»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

А хоть бы и вовсе не приходили: никому вы не нужны

На следующий день я вспомнил о встрече, назначенной в крепости, и не нашел причин пожалеть о своем обещании; и мои дружеские чувства были с лихвой вознаграждены — главным образом, пожалуй, благодаря моему банджо, которое я захватил с собой: оно оказалось для собравшихся в новинку и имело у них большой успех. Главными участниками этого круга, помимо моего друга лейтенанта, были командующий гарнизоном майор Моллой — колоритный бывалый вояка с обветренным лицом, и доктор Дадин, врач, — высокий сухопарый остряк, неистощимый на байки и анекдоты, в рассказывании которых ему не было равных. Слушая его, мы изрядно повеселились и впоследствии еще не раз предавались подобному веселью. Меж тем октябрь быстро подходил к концу, и мне пришлось вспомнить, что я всего-навсего путешествую по Европе и не являюсь жителем Ирландии. Майор, врач и лейтенант единодушно и горячо воспротивились моему предполагаемому отъезду, но, поскольку с этим ничего нельзя было поделать, они устроили в мою честь прощальный ужин — в крепости, в канун Дня всех святых.

Как бы мне хотелось, чтобы ты побывал со мной на том ужине и своими глазами увидел, что такое ирландская дружба! Доктор Дадин был в ударе; майор затмевал лучших офицеров из романов Лавера; лейтенант, охваченный жизнерадостным весельем, сыпал шутками и отпускал комплименты в адрес местных красоток. Что до меня, я заставил банджо звучать так, как оно не звучало еще никогда, и остальные подхватили исполняемый мотив во всю силу своих легких, подобных которым нечасто встретишь за пределами Ирландии. Среди историй, коими потчевал нас доктор Дадин, была легенда о Керне из Кверина и его жене Этелинде Фионгуала, чья фамилия означает «белоплечая». Кажется, девушка сперва была обручена с неким О'Коннором (здесь лейтенант причмокнул), но в брачную ночь ее похитила компания вампиров, которые, похоже, являлись тогда для Ирландии сущим бедствием. Но в то время, когда они несли ее, бесчувственную, на ужин, где ей предстояло стать не едоком, а едой, юный Керн из Кверина, охотясь на уток, встретил упомянутую компанию и разрядил в нее свое ружье. Вампиры разбежались, и Керн принес прекрасную леди, все еще находившуюся без сознания, в свой дом.

— И кстати, мистер Кенингейл, — заметил доктор, вытряхивая пепел из трубки, — направляясь сюда, вы прошли мимо этого дома. Помните, тот, с темным арочным проходом внизу и большим двустворчатым угловым окном, так сказать, нависающим над дорогой...

— Многоуважаемый доктор Дадин, забудьте вы про дом, — перебил его лейтенант. — Неужели вы не видите — нам не терпится узнать, что случилось с прелестной мисс Фионгуала, храни ее Господь, после того как я отнес ее целой и невредимой наверх...

— Ей-богу, я могу рассказать вам об этом, мистер О'Коннор! — воскликнул майор, взболтав остатки виски в своем стакане. — Этот вопрос должен решаться исходя из общих принципов, как сказал полковник О'Халлоран, когда его спросили, что бы он сделал, если бы был герцогом Веллингтоном и пруссаки не появились бы в решающий момент под Ватерлоо. Клянусь, сказал тогда полковник, что...

— Эй, майор, почему вы перебиваете доктора, а мистер Кенингейл позволяет своему стакану пустовать?.. Храни нас Бог! Бутылка закончилась!

В сумятице, последовавшей за этим открытием, нить рассказа доктора потерялась — без особой надежды вновь ее отыскать; вечер затягивался, и я почувствовал, что пора уходить. Потребовалось некоторое время, чтобы мое намерение дошло до собравшихся, и еще большее время, чтобы его осуществить; так что, когда я, вдыхая свежий прохладный воздух, стоял за воротами крепости и в моих ушах еще звучали прощальные возгласы собутыльников, вокруг была уже глубокая ночь.

С учетом того, сколько я выпил в тот вечер, я на удивление неплохо держался на ногах и потому, когда через несколько десятков футов все же споткнулся и упал, то приписал это не действию виски, а неровности дороги. Когда я поднялся, мне как будто послышался чей-то смех, и я подумал, что это лейтенант, который провожал меня до ворот, потешается над моей неловкостью; но, оглядевшись, я увидел, что ворота заперты и вокруг нет ни души. Более того, этот смех, казалось, раздался совсем близко и, судя по высоте голоса, был скорее женским, а не мужским. По всей вероятности, мне это почудилось: рядом никого не было, и у меня просто разыгралось воображение; иначе надо было признать, что поверье о торжестве бесплотных духов

в ночь на Хэллоуин — не поэтический вымысел, а сущая правда. Суеверные ирландцы считают, что споткнуться — это не к добру, но тогда я не вспомнил об этой примете, а если бы вспомнил, то лишь рассмеялся бы про себя. В любом случае я ничуть не пострадал при падении и не мешкая продолжил путь.

Однако найти дорогу оказалось на удивление трудно — или, лучше сказать, я как будто бы шел теперь неправильной дорогой. Я не узнавал ее; я мог бы поклясться, что вижу ее впервые, — не будь я совершенно уверен в обратном. Луна, хотя и затмеваемая облаками, стояла высоко в небе, однако и ближайшие окрестности, и общий вид округи были мне незнакомы. Справа и слева возвышались темные, молчаливые холмы, а дорога по большей части круто уходила вниз, словно стремясь отправить меня в земные недра. Местность оглашали странные звуки, и временами мне казалось, что я бреду среди невнятного бормотания и таинственного шепота, а в отдалении, между холмами, снова и снова разносится дикий смех. Из темных теснин и расщелин веяло холодным воздухом, и его бесплотные пальцы легко касались моего лица. Мною стали овладевать серьезное беспокойство и страх, для которых не существовало никакой реальной причины — кроме того, что я запаздывал домой. Повинуясь странному инстинкту, свойственному людям, которые сбились с пути, я прибавил шагу, но то и дело косился через плечо, ощущая за собой слежку. Но ни одной живой души позади меня не было. Правда, луна за это время поднялась еще выше, и медленно плывшие по небу облака отбрасывали на голую долину сумеречные тени, очертания которых порой смутно напоминали гигантские силуэты людей.

Не знаю, как долго я шел, пока не обнаружил с некоторым удивлением, что приближаюсь к кладбищу. Оно располагалось на отроге холма, и вокруг него не было ни ограды, ни какой-либо иной защиты от случайных прохожих. Облик этого места заставил меня усомниться, что я видел его прежде и что передо мной — тот самый погост, который мне не раз доводилось миновать, направляясь к друзьям: последний отделяли от крепости несколько сотен ярдов, а в эту ночь я преодолел расстояние по меньшей мере в несколько миль. Кроме того, когда я подошел ближе, то заметил, что надгробия выглядят не такими старыми и ветхими, как на том кладбище. Но более всего мое внимание привлекла фигура, прислонившаяся или

присевшая на одну из огромных каменных плит, что стояла вертикально возле самой дороги. Это была женская фигура в черном, и при ближайшем рассмотрении, оказавшись в нескольких ярдах от нее, я понял, что она облачена в каллу, или длинный плащ с капюшоном, — старинное и самое распространенное одеяние ирландских женщин, несомненно испанского происхождения.

Я был немного испуган ее появлением — настолько внезапным оно было — и весьма удивлен тем, что какое-то человеческое существо могло очутиться в эту ночную пору в столь безлюдном и мрачном месте. Поравнявшись с незнакомкой, я непроизвольно остановился и устремил на нее пристальный взгляд. Но луна светила ей в спину, просторный капюшон плаща полностью скрывал ее черты, и я не смог различить ничего, кроме блеска глаз, казалось, с живостью отразивших мой собственный взгляд.

— Вы, похоже, знаете эти места, — заговорил я наконец. — Не могли бы вы подсказать мне, где я нахожусь?

В ответ таинственная особа весело рассмеялась, и ее смех, сам по себе приятный и благозвучный, заставил мое сердце биться чаще, чем при недавней быстрой ходьбе; ибо интонация и тембр голоса как две капли воды напоминали — либо мое воображение убедило меня в этом — смех, который я услышал час-другой назад, поднимаясь после падения. В остальном же это был смех молодой и, вероятно, привлекательной женщины; и тем не менее в нем слышалось нечто неистовое, высокомерное, издевательское, что мало соответствовало представлениям о человеке или, во всяком случае, не могло исходить от существа, наделенного привязанностями и слабостями, подобными нашим. Но такое впечатление, несомненно, возникло у меня под влиянием необычных и таинственных обстоятельств встречи.

— Конечно, сэр, — произнесла она. — Вы находитесь у могилы Этелинды Фионгуала.

Сказав это, она поднялась и указала на надпись, начертанную на камне. Я подался вперед и без особого труда разобрал имя и дату, которая свидетельствовала о том, что погребенная в этой могиле рассталась со своей телесной оболочкой два с половиной столетия назад.

— А как ваше имя? — осведомился я.

— Меня зовут Элси, — отозвалась она. — Но куда вы держите путь в последнюю октябрьскую ночь, ваша честь?

Я сказал ей, куда направляюсь, и спросил, не может ли она подсказать мне, в какую сторону нужно идти.

— Конечно, ведь мне и самой надо туда же, — ответила Элси. — И если ваша честь последует за мной и сыграет мне что-нибудь на этом чудесном инструменте, дорога покажется нам не столь длинной.

И она указала на завернутое в ткань банджо, которое я держал под мышкой. Я терялся в догадках насчет того, как она узнала, что это музыкальный инструмент; возможно, подумал я, она видела меня играющим на банджо, когда я гулял в окрестностях городка. Как бы то ни было, я ничего на это не возразил и, более того, дал понять Элси, что, когда мы доберемся до места, она получит более существенную награду. На это она опять рассмеялась и выразительным движением поднесла к голове руку. Я высвободил банджо, тронул пальцами струны и заиграл причудливую танцевальную мелодию, под звуки которой мы устремились по дороге. Элси шла чуть впереди, двигаясь в такт музыке. Ее поступь была такой легкой, плавной, упругой, что еще немного — и я подумал бы, будто она, словно бесплотный дух, парит над землей. Мое внимание привлекли ее стопы необыкновенной белизны, и я предположил, что она босая, но потом не без удивления разглядел белые атласные туфли, затейливо расшитые золотыми нитями.

— Элси, — произнес я, растягивая шаг, чтобы поравняться с нею, — где вы живете — и на какие средства?

— Разумеется, я живу своим трудом, — ответила она. — И если вы позднее захотите узнать как, вам нужно прийти и посмотреть своими глазами.

— Скажите, для вас обычное дело — ходить ночной порой за холмы в таких туфлях?

— А почему я не должна это делать? — в свой черед спросила она. — И откуда у вас на пальце это прелестное золотое кольцо?

Кольцо, не обладавшее большой ценностью, я углядел в скромной антикварной лавке в Корке. Это была очень старомодная, выдавшая виды вещица, которая, как уверял продавец, могла некогда принадлежать кому-то из первых королей или королев Ирландии.

— Оно вам нравится? — поинтересовался я.

— Ваша честь подарит его Элси? — наклонив голову, вкрадчиво спросила она.

— Возможно, Элси, но при одном условии. Я — художник и рисую портреты разных людей. Если вы пообещаете прийти ко мне в студию и позволите нарисовать вас, я дам вам это кольцо и вдобавок немного денег.

— И вы дадите мне это кольцо сейчас? — уточнила Элси.

— Да, если вы пообещаете.

— А вы мне еще сыграете? — продолжала она.

— Сколько захотите.

— Но, быть может, я окажусь недостаточно хороша для вас, — сказала она, украдкой глянув на меня из-под темного капюшона.

— Я рискну, — со смехом отвечал я, — хотя, с другой стороны, я не против того, чтобы посмотреть на вас заранее и лучше запомнить.

С этими словами я протянул вперед руку, намереваясь откинуть скрывавший ее капюшон. Но Элси каким-то образом ускользнула от меня и вновь засмеялась — все с той же дразнящей интонацией.

— Сперва дайте мне кольцо — и затем сможете меня увидеть, — уговаривающим тоном произнесла она.

— Тогда протяните руку, — ответил я, снимая кольцо с пальца. — Когда мы познакомимся ближе, Элси, вы не будете столь недоверчивы.

Она вытянула вперед тонкую, изящную руку, и я надел кольцо на ее указательный палец. Когда я это сделал, половинки ее плаща слегка разошлись, и я мельком увидел белое плечо и платье, сшитое, насколько я смог разглядеть в этой неверной полутьме, из роскошной и дорогой ткани; кроме того, я заметил — или мне это только показалось — ледяной блеск драгоценных камней.

— Эй, осторожнее! — пронзительно воскликнула вдруг Элси.

Я огляделся и неожиданно для себя осознал, что мы стоим посреди полуразрушенного моста, перекинутого через ручей, который стремительно бежал далеко внизу. Перила моста с одной стороны были разбиты, и я в самом деле находился в одном шаге от бездны. Осторожно миновав развалившийся пролет, я обернулся, чтобы помочь Элси, но ее нигде не было.

Что случилось с девушкой? Я звал ее, но ответа так и не последовало. Я внимательно осмотрел обе стороны моста, однако не обнаружил никаких следов ее присутствия. Если только она не кинулась в

пропасть, разверзшуюся подо мной, ей абсолютно негде было спрятаться — по крайней мере, все возможные укрытия я осмотрел. И тем не менее она исчезла; и поскольку ее исчезновение, вероятно, было преднамеренным, я в конце концов заключил, что все попытки отыскать ее бесполезны. Когда придет время, она объявится сама — или же не вернется совсем. Она очень ловко ускользнула от меня, и мне следовало с этим смириться. Пожалуй, это приключение стоило потери кольца.

Продолжив путь, я испытал заметное облегчение оттого, что снова стал узнавать окружающую местность. Мост, который я пересек, был тем самым, что я упоминал несколько раньше; я находился в миле от города, и дорога лежала прямо передо мной. Более того, облака на небе совершенно рассеялись, и луна сияла в полную силу. Что ни говори, а Элси оказалась надежным проводником — она вывела меня из зачарованной страны обратно в реальный мир. Несомненно, это было необыкновенное приключение; я размышлял над ним с тайным удовольствием, по мере того как не спеша шел вперед, напевая и аккомпанируя себе на банджо. Но что это? Чьи легкие шаги слышались у меня за спиной? Они напоминали шаги Элси; но Элси там не было. Однако, прежде чем я достиг окраины города, это впечатление или иллюзия — звук легких шагов позади или рядом со мной — возникло еще несколько раз. Оно не заставило меня занервничать — наоборот, я испытал удовольствие при мысли, что меня преследуют подобным образом, и предался романтическим и радостным грезам.

Миновав пару домишек, лишенных крыш и поросших мхом, я оказался в начале узкой, извилистой улицы, которая идет через весь город и в определенном месте несколько расширяется, словно для того, чтобы путник мог как следует рассмотреть удивительный старый дом, стоящий на северной ее стороне. Это величественное каменное здание напомнило мне некоторые дворцы старой итальянской знати, которые я видел на континенте, и весьма вероятно, что оно было построено кем-то из итальянских или испанских иммигрантов два-три столетия назад. Лепнина выступающих окон и аркообразного входа была густо испещрена резьбой, а на фасаде красовался герб в виде горельефа, хотя я не мог разобрать, что именно на нем изображено. Лунный свет озарял эту живописную громаду,

подчеркивая ее великолепие, и вместе с тем делал ее похожей на видение, которое может исчезнуть, когда сияние луны угаснет. Вероятно, я не раз видел этот дом прежде, и тем не менее у меня не осталось о нем ясных воспоминаний; до сей поры мне, так сказать, не доводилось рассматривать его пристально. Прислонившись к стене на противоположной стороне улицы, я долго разглядывал интересовавший меня дом. Массивное угловое окно было поистине превосходно. Оно нависало над мостовой, отбрасывая на нее густую косую тень; двустворчатый переплет был забран решеткой с ромбовидными стеклами. Как часто в былые времена это окно открывала прелестная рука, являя ожидавшему в лунном свете ухажеру очаровательное лицо его высокородной возлюбленной! То были прекрасные дни, которые давным-давно миновали. В этом величавом здании уже давно не обитал никто, кроме летучих мышей и хищных птиц. Где теперь пребывают те, кто его строил? И кем они были? Вероятно, даже их имена ныне забыты.

Пока я, вскинув голову, рассматривал особняк, меня посетило одно предположение, очень скоро превратившееся в уверенность. Уж не тот ли это дом, о котором мне рассказывал вечером доктор Дадин, дом, который некогда был пристанищем Керна из Кверина и его загадочной невесты? Здесь имелись и выступающее окно, и аркообразный вход, о которых упоминал доктор. Да, вне всяких сомнений, это был тот самый дом. У меня вырвался тихий возглас неожиданного интереса и удовольствия, и мои мысли приняли более мечтательное и вместе с тем более ясное направление.

Что случилось с прекрасной дамой после того, как Керн доставил ее, бесчувственную, на руках в свой дом? Она очнулась, и впоследствии они поженились и жили счастливо остаток дней — или же продолжение этой истории было трагическим? Я припомнил, что где-то читал, будто жертвы вампиров обычно сами становятся вампирами. Затем мне пришла на ум та могила на склоне холма. Она определенно находилась на неосвященной земле. Почему ее похоронили именно там? Белоплечая Этелинда! О, почему я не жил в то время; или почему его нельзя вернуть посредством какого-нибудь волшебства? Тогда я разыскал бы в ночи эту улицу и, стоя здесь, под самым ее окном, не раздумывая заиграл бы на своей лютне и играл бы до тех пор, пока Этелинда не откроет осторожно окно и не выплянет наружу.

Воистину сладостная мечта! Что же мешало мне воплотить ее в жизнь? Всего лишь пара столетий или около того. А в самом ли деле время — вечный предмет насмешек поэтов и философов — столь неподатливо и неизменно, что его невозможно преодолеть малой толикой веры и воображения? Так или иначе, у меня было банджо — прямой и законный наследник лютни, а память о Фионгуале заслуживала любовной песни.

Вслед за этим, настроив инструмент, я начал исполнять старинную испанскую любовную песню, текст которой обнаружил во время своих странствий в одной забытой богом библиотеке и к которой сам сочинил музыку. Пел я тихо, поскольку малейший звук отдавался эхом на пустынной улице, а моя песня предназначалась только для слуха моей госпожи. Слова были одушевлены пылом древнего испанского рыцарства, и я вложил в них всю силу страсти, какая отличала влюбленных в рыцарских романах. Несомненно, белоплечая Фионгуала смогла бы их услышать, пробудиться от своего многовекового сна, подойти к решетчатому переплету и взглянуть вниз! Чу! Что там? Что за огонек — что за тень как будто порхнула по комнатам заброшенного дома и теперь приближается к двустворчатому окну? Мои глаза обмануты игрой лунного света, или же решетчатое окно и в самом деле пришло в движение — в самом деле отворяется? Нет, это не галлюцинация, никакого обмана чувств тут нет. Есть лишь молодая, прекрасная, облаченная в роскошный наряд женщина, которая выплывает из окна и молча делает мне знак приблизиться.

Слишком изумленный, чтобы сознавать свое изумление, я пересек улицу и остановился под самым окном, и, когда женщина склонилась ко мне, ее лицо очутилось прямо надо мной на расстоянии всего лишь в два человеческих роста. Она улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй; что-то белое мелькнуло в ее руке, а затем, порхнув по воздуху, упало к моим ногам. В следующее мгновение она исчезла, и я услышал, как закрывается окно.

Я подобрал то, что она уронила; оказалось, что это тонкий кружевной носовой платок, привязанный к головке искусно выточенного бронзового ключа. Несомненно, то был ключ от входной двери, означавший, что меня приглашают войти. Сняв с него платок, от которого исходило приятное, едва уловимое благоухание,

напоминавшее аромат цветов в старинном саду, я направился к сводчатому дверному проему. У меня не было никакого дурного предчувствия, я не испытывал даже удивления. Все шло так, как я желал и как должно было идти: средневековые времена вернулись, и я почти физически ощущал, что с моего плеча свешивается бархатный плащ, а на поясе покачивается длинная рапира. Остановившись перед дверью, я вставил ключ в замок, повернул и почувствовал, как язычок сдвинулся с места. Мгновением позже дверь отворилась — по-видимому, изнутри; я переступил через порог, дверь снова закрылась, и я остался в одиночестве в темноте пустого дома.

Впрочем, нет, не в одиночестве! Когда я вытянул перед собой руку, дабы на ощупь определить, куда идти, ее встретила другая рука, нежная, тонкая и холодная, которая кротко легла в мою и повела меня вперед. Я не сопротивлялся. Вокруг была непроглядная тьма, но я слышал совсем рядом тихий шелест платья, а в воздухе, которым я дышал, чувствовалось прелестное благоухание, ранее исходившее от платка; меж тем пожатие отзывчивых холодных пальцев маленькой ручки, неразлучной с моей рукой, то слабело, то, напротив, становилось сильнее. Так, легким шагом, мы преодолели длинный извилистый коридор и поднялись по лестнице. Еще один коридор — и вот мы замерли на месте; открылась дверь, и из проема полился поток мягкого света, в который мы и ступили, по-прежнему держась за руки. На этом тьма и неизвестность закончились.

Внутренних размеров комната была обставлена и отделана с пышностью, характерной для минувших столетий. Стены были обиты тканями спокойных цветов; в блестящих серебряных канделябрах горели десятки свечей, умножаемых высокими зеркалами, которые располагались по углам комнаты. Массивные потолочные балки из темного дуба, сходящиеся под прямым углом, покрывала искусная резьба; портьеры и чехлы для кресел были пошиты из узорчатого полотна. У дальней стены стояла широкая оттоманка, а перед ней стол, на котором красовались огромные серебряные блюда с великолепными угощениями и хрустальные бокалы с вином. Сбоку возвышался огромный камин, в широкой и глубокой топке которого можно было бы сжечь целые древесные стволы. Огонь в нем, однако, не горел — виднелась только груда погасших углей; да и сама комната, при всей ее роскоши, была холодной — холодной как могила,

холодной, как рука моей возлюбленной, — и от этого холода в мое сердце закрался едва различимый озноб.

Но моя возлюбленная — как прекрасна она была! Я окинул интерьер лишь беглым взглядом, ибо мой взор и мои мысли были всецело поглощены ею. Она была одета в белое платье, точно невеста; в ее темных волосах и на белоснежной груди сверкали бриллианты; восхитительное лицо и тонкие губы были бледны, что особенно подчеркивал темный блеск глаз. Она смотрела на меня с какой-то странной, еле заметной улыбкой; и вместе с тем, несмотря на эту странность, в ее облике и манере держаться чувствовалось что-то смутно знакомое, похожее на припев из песни, слышанной очень давно и вспоминавшейся вопреки переменам жизненных обстоятельств. Мне казалось, что какой-то частью своей натуры я узнал ее, что я знал ее всегда. Она была той самой женщиной, о которой я грезил, которую я видел в мечтах, той женщиной, чьи лицо и голос преследовали меня с отроческих лет. Я не знал, встречались ли мы прежде в реальной жизни; вероятно, я, сам того не осознавая, искал ее повсюду, а она ждала меня в этой роскошной комнате, сидя у этих погасших углей до тех пор, пока в ее жилах не застыла кровь, которую отныне мог согреть только пыл моей любви.

— Я думала, ты забыл меня, — сказала она, кивая, словно в ответ на мои мысли. — Эта ночь наступила так поздно — наша единственная ночь в году! Как возликовало мое сердце, когда я услышала твой милый голос, который пел песню, так хорошо мне знакомую! Поцелуй меня — мои губы так холодны!

Они и вправду были холодны — холодны, как уста смерти. Но тепло моих губ как будто их оживило, и они слегка порозовели, а на щеках появился слабый румянец. Она сделала глубокий вдох, словно пробуждаясь от длительной летаргии. Неужели ей передалась частичка моей жизненной энергии? Я готов был пожертвовать ее всю без остатка. Моя избранница подвела меня к столу и указала на яства и вино.

— Поешь и выпей вина, — сказала она. — Ты долго странствовал, и тебе нужно подкрепиться.

— А ты не присоединишься ко мне? — спросил я, разливая вино.

— Ты — единственное угощение, которое мне нужно, — ответила она. — Это вино слабое и холодное. Дай мне вина, такого же красного и теплого, как твоя кровь, и я до дна осушу свой бокал.

При этих словах, сам не знаю почему, по моему телу пробежала легкая дрожь. С каждой минутой моя возлюбленная, казалось, обретала все большую жизненную силу, тогда как меня все глубже пробирал стоявший в комнате холод.

Внезапно она предалась необыкновенному веселью, захлопала в ладоши и принялась с детской беспечностью танцевать вокруг меня. Кем она была? И был ли я самим собой? Или она все же смеялась надо мной, когда намекала, что мы в прошлом принадлежали друг другу? Наконец она остановилась передо мной, скрестив на груди руки, и я увидел, как на указательном пальце ее правой кисти блеснуло старинное кольцо.

— Откуда у тебя это кольцо? — осведомился я.

Она тряхнула головой и рассмеялась.

— Ты серьезно? — спросила она. — Это мое кольцо — то самое, что связывает тебя и меня, то самое, что ты подарил мне, когда полюбил впервые. Это кольцо Керна — волшебное кольцо, а я твоя Этелинда — Этелинда Фионгуала.

— Да будет так, — произнес я, отбрасывая все сомнения и страхи и безоглядно отдаваясь во власть ее чарующих загадочных глаз и страстных губ. — Ты моя, а я твой, и мы будем счастливы, сколько бы нам ни суждено было прожить.

— Ты мой, а я твоя, — повторила она, кивнув с озорной улыбкой. — Сядь подле меня и спой ту нежную песню, что пел мне давным-давно. О, теперь я проживу добрую сотню лет!

Мы опустились на оттоманку, и, пока Этелинда устраивалась поудобнее на подушках, я взял банджо и начал петь. Песня и музыка оплашали пространство величественной комнаты, отдаваясь ритмичным эхом. И все это время я видел перед собой лицо и фигуру Этелинды Фионгуала в украшенном драгоценностями подвенечном наряде, устремлявшей на меня взгляд пылающих глаз. Она уже не выглядела бледной, а была румяной и оживленной, как будто внутри ее горело пламя. Я же, напротив, стал холодным и безжизненным — и тем не менее тратил остаток жизненных сил на то, чтобы петь ей о любви, которая никогда не умрет. Но в конце концов мой взор потускнел, в комнате как будто сгустилась тьма, фигура Этелинды то прояснялась, то делалась расплывчатой, напоминая мерцание угасающего костра. Я подался к ней и почувствовал, что теряю сознание, а моя голова склоняется на ее белое плечо.

В этом месте Кенингеил на несколько мгновений прервал свой рассказ, бросил в огонь свежее полено и затем продолжил:

— Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я очнулся и обнаружил, что нахожусь один в просторной комнате полуразрушенного дома. Ветхая драпировка клочьями свисала со стен, паутина густыми пыльными гирляндами покрывала окна, лишенные стекол и рам и заколоченные грубыми досками, которые давно прогнили и теперь сквозь щели и дыры пропускали внутрь бледные лучи света и сквозняки. Летучая мышь, потревоженная этими лучами или моим движением, сорвалась с куска обветшалой драпировки совсем рядом со мной и, покружив у меня над головой, устремила свой порывисто-бесшумный полет в более темный угол. Когда я, шатаясь, поднимался с груды хлама, на которой лежал, что-то с треском упало с моих коленей на пол. Подобрав этот предмет, я обнаружил, что это мое банджо — такое, каким ты видишь его сейчас.

Вот, собственно, и вся история. Мое здоровье оказалось серьезно подорвано; из моих жил как будто выпустили всю кровь; я был бледен и изможден, и холод... О, этот холод! — прошептал Кенингеил, придвигаясь к огню и вытягивая к нему руки, жаждавшие тепла. — Я никогда не избавлюсь от него; я унесу его с собой в могилу.

Джеймс Хьюм Нисбет

(1849–1923)

Девушка-вампи́р

Пер. с англ. С. Антонова

Это было именно такое жилище, какое я искал многие недели, ибо я пребывал в том состоянии духа, когда необходимо полное уединение. Я не доверял самому себе и сам себя раздражал. Странное беспокойство бродило в моей крови, ум прозябал в бездействии. Во мне росла неприязнь к знакомым предметам и лицам. Я жаждал одиночества.

Такое настроение охватывает всякую впечатлительную и художественную натуру, если человек переутомился или чересчур долго держался одной жизненной колеи. Так Природа намекает ему, что пришла пора искать новые пастбища; это знак того, что он нуждается в уединении.

Если человек не следует этому намеку, он теряет душевное равновесие, становится капризным, придирчивым и болезненно мнительным. Повышенная критичность по отношению к своей или чужой работе всегда является дурным симптомом — она означает, что человек утратил крайне важные качества: непосредственность восприятия и вдохновение.

Почувствовав, что приближаюсь к этой удручающей стадии, я поспешно собрал рюкзак и, сев в поезд, шедший в Уэстморленд, начал свое путешествие в поисках уединенных мест, живительного воздуха и романтических видов.

В начале лета я посетил множество мест, которые на первый взгляд удовлетворяли всем требуемым условиям, однако те или иные мелкие изъяны все же не позволили мне там остановиться. Где-то мне не пришелся по душе пейзаж; в других случаях я ощущал внезапную антипатию к хозяйке или хозяину и предвидел, что, оказись я на их попечении, через несколько дней их возненавижу. Некоторые места вполне бы меня устроили, но я не смог снять там жилье, ибо оно не

сдавалось. Судьбе было угодно привести меня в этот дом на вересковой пустоши — а судьбы никому не дано избежать.

Однажды я обнаружил, что нахожусь на широкой, лишенной дорог пустоши неподалеку от моря. Предыдущую ночь я провел в одном маленьком селении, но от него меня отделяли уже восемь миль, и за все время пути я не встретил ни единого следа человеческого присутствия; я пребывал наедине с чистым небом, раскинувшимся над моей головой, мягкий свежий ветер овеивал каменистые, поросшие вереском холмы, и ничто не тревожило моих дум.

Как далеко простирается эта пустошь, я не знал; я знал лишь, что если буду идти, никуда не сворачивая, то в конце концов окажусь среди прибрежных скал, а спустя некоторое время увижу впереди какую-нибудь рыбацкую деревушку.

У меня в рюкзаке имелся запас еды, и по молодости лет я не боялся провести ночь под открытым небом. Я жадно вдыхал восхитительный летний воздух, и ко мне возвращались утраченные было энергия и счастье; в мой ум, иссушенный городской жизнью, вливались свежие силы. Так, один за другим, плавно текли часы, пока, преодолев около пятнадцати миль, я не увидел далеко впереди одиноко стоящий каменный дом с грубой шиферной крышей.

«Если удастся, остановлюсь здесь», — сказал я себе, ускоренным шагом направляясь к дому.

Человеку, искавшему безмятежной и вольной жизни, этот дом подходил как нельзя лучше. Обращенный входом к пустоши, а задней стеной — к океану, он стоял на краю высокого утеса. Когда я подошел ближе, моего слуха достиг убаюкивающий говор мерно катившихся волн; как же они, должно быть, грохочут, когда налетают осенние ветры, заставляя морских птиц с пронзительным криком скрываться в зарослях осоки!

Перед домом был разбит небольшой сад, который окружала сложенная из камней ограда, достаточно высокая, чтобы на нее можно было, слегка наклонившись, лениво опереться. Сад пламенел алым цветом, перемежавшимся другими нежными тонами, которые характерны для бутонов созревшего мака, а именно он здесь и произрастал.

Когда я приближался, рассматривая эту замечательную маковую палитру и старомодную чистоту окон, открылась дверь и на пороге

появилась женщина, которая с первого взгляда мне понравилась; она неторопливо двинулась по дорожке в сторону калитки и отворила ее, словно приглашая меня зайти.

Она была средних лет и в молодости, вероятно, отличалась необыкновенной красотой. Высокая и все еще стройная, с гладкой светлой кожей, правильными чертами и безмятежным выражением лица, сразу внушившим мне чувство покоя.

В ответ на мои расспросы она сказала, что может сдать мне гостиную и спальню, и пригласила меня посмотреть на них. Взглянув на ее прямые черные волосы и холодные карие глаза, я подумал, что не стоит быть излишне требовательным к бытовым условиям и обстановке. С такой хозяйкой я, несомненно, найду здесь то, что искал.

Комнаты превзошли все мои ожидания: в спальне — изящные белые занавески и подушки, пахнувшие лавандой, гостиная простая, без излишеств, но очень уютная. Со вздохом безмерного облегчения я сбросил на пол рюкзак и сказал хозяйке, что остаюсь.

Она была вдовой и воспитывала единственную дочь, которую в первый день мне не довелось увидеть: девушка неважно себя чувствовала и оставалась в своей комнате; однако наутро ей стало лучше, и тогда мы встретились.

Стол был простым, но совершенно меня устраивал: очень вкусное молоко и масло с ячменными лепешками домашней выпечки, свежие яйца и бекон. Выпив крепкого чаю, я рано отошел ко сну, в высшей степени довольный своим жилищем.

Я был счастливым и усталым, однако ночлег мой оказался весьма беспокойным. Я приписал это новизне места, с которым еще не вполне свыкся. Я, несомненно, спал, однако сон мой был полон всевозможных видений, так что я пробудился поздно и при этом не чувствовал себя отдохнувшим; впрочем, прогулка по пустоши восстановила мои силы, и к завтраку я воротился с превосходным аппетитом.

Если верить «Ромео и Джульетте» Шекспира, для того чтобы юноша влюбился с первого взгляда, необходимо определенное умонастроение вкупе с внешними обстоятельствами, способствующими зарождению чувства. В городе, где мне ежедневно попадалось на глаза множество привлекательных женских лиц, я был

подобен стоику, но в то утро, переступив по возвращении с прогулки порог своего нового жилища, я мгновенно пал жертвой странных чар Ариадны Бруннелл, дочери моей хозяйки.

Тем утром она чувствовала себя несколько лучше, чем накануне, и смогла присоединиться ко мне за завтраком — в продолжение моего поста нам приходилось трапезничать вместе. Ариадна не была красавицей в классическом смысле слова: ее лицо выглядело чересчур бледным и неподвижным, чтобы понравиться с первого взгляда; впрочем, по словам матери, она некоторое время была нездорова, чем и объяснялось упомянутое несовершенство ее облика. Она не обладала идеально правильными чертами, ее волосы и глаза казались слишком черными на фоне удивительно белой кожи, а алость ее губ была бы уместна разве что в декадентских гармониях Обри Бердслея.

Однако благодаря фантастическим видениям минувшей ночи и утренней прогулке я оказался способен увлечься этим болезненным созданием, словно сошедшим с современного рекламного плаката.

Уединенность пустоши и пение океана сжали мое сердце оковами страстного желания. Неуместность тех броских и недолговечных маковых бутонов с их головокружительной расцветкой в этой тусклой местности заставила меня содрогнуться, когда я подходил к дому, а теперь я оказался полностью поработан другим поразительным контрастом, запечатленным в облике Ариадны.

Когда мать представала ее, девушка поднялась с кресла и улыбнулась, протянув мне руку. Пожимая ее мягкую белоснежную кисть, я почувствовал, как слабая дрожь прошла по моему телу и замерла возле сердца, отчего оно на миг перестало биться.

Это прикосновение, похоже, подействовало не только на меня, но и на нее: лицо Ариадны залил яркий румянец, так что оно просияло, словно освещенное алебастровой лампой; взгляд ее черных глаз, когда наши взоры встретились, стал более мягким и влажным, равно как и ее алые губы. Теперь она не казалась, как прежде, подобием трупа, а была обыкновенной живой женщиной.

Она позволила своей белой тонкой руке задержаться в моей дольше, чем это принято при знакомстве, а затем медленно высвободила ее, но еще пару секунд на меня был устремлен ее пристальный взгляд.

За то время, пока эти бездонные, бархатистые глаза смотрели на меня, они как будто забрали всю мою волю и превратили меня в своего жалкого раба. Они походили на глубокие темные водяные омуты — и вместе с тем они жгли меня огнем и лишали сил. Я опустился в кресло таким же разбитым, каким поутру поднялся с постели.

Тем не менее позавтракал я с аппетитом, Ариадна же почти ни к чему не притронулась, но, как ни странно, встала из-за стола оживленной, с легким румянцем на щеках, который настолько преобразил ее, что она выглядела помолодевшей и почти красивой.

Я пришел сюда в поисках уединения, но с того момента, как увидел Ариадну, мне стало казаться, что пришел я исключительно ради нее. Она не отличалась живостью натуры: в самом деле, оглядываясь спустя время на те события, я не могу припомнить ни единой самостоятельной реплики, которая прозвучала бы из ее уст; на мои вопросы она отвечала односложно, отдавая инициативу в разговоре мне; вместе с тем она как будто направляла ход моих мыслей и разговаривала со мной одними глазами. Я не в состоянии детально описать ее — я только знаю, что первым же своим взглядом и первым прикосновением она околдовала меня, и я уже не мог думать ни о чем другом.

Я оказался во власти стремительной, будоражащей, всепоглощающей страсти; весь день напролет я следовал за Ариадной, как ручная собачонка, каждую ночь я видел во сне ее сияющее лицо, ее внимательные черные глаза, ее влажные алые губы, и каждое утро я просыпался более слабым и утомленным, чем накануне. Порой мне снилось, что ее алые губы целуют меня и я вздрагиваю от прикосновения ее черных шелковистых локонов к моей шее; порой мне грезилось, будто мы парим в воздухе, она обнимает меня и ее длинные волосы окутывают нас обоих как черное облако, в то время как я совершенно недвижим и беспомощен.

В тот первый день после завтрака она отправилась вместе со мной на вересковую пустошь, и там я признался ей в любви и услышал ее ответное признание. Я держал ее на руках, мы целовались, и я не задумывался о том, как странно, что все это происходит так быстро. Она без промедления стала моей, или, точнее, я стал принадлежать ей.

Я сказал Ариадне, что сама судьба привела меня к ней, ибо я не сомневался в своей любви, а она ответила, что я возродил ее к жизни.

Следуя совету Ариадны, а также в силу понятной робости, я не открыл ее матери, как стремительно все произошло между нами; тем не менее, хотя мы вели себя максимально осторожно, я не сомневался, что миссис Бруннел видит, как сильно мы увлечены друг другом. В умении таиться любовники не далеко ушли от страусов. Я не боялся попросить у миссис Бруннел руки ее дочери, поскольку она уже выказала мне симпатию и доверила некоторые секреты из собственной жизни; посему я знал, что социальное положение не станет сколь-либо серьезным препятствием для нашего с Ариадной брака. Мать и дочь поселились в этом уединенном месте, так как считали его благоприятным для своего здоровья, а слуг не держали оттого, что не могли никого нанять на таком удалении от человеческого жилья. Мое появление стало для них обеих неожиданным и приятным подарком.

И все же, дабы соблюсти приличия, я решил подождать со своим признанием неделю-другую и сделать его деликатно, улучив для этого какой-нибудь удобный момент.

Меж тем Ариадна и я проводили время совершенно свободно, целиком предоставленные сами себе. Каждый вечер я уходил ко сну с намерением наутро заняться работой, и каждое утро я пробуждался утомленный беспокойными снами и не мог думать ни о чем, кроме своей возлюбленной. Она день ото дня становилась все здоровее, тогда как я словно заменил ее на одре болезни; и тем не менее я любил Ариадну безрассуднее, чем когда-либо прежде, и чувствовал себя счастливым только подле нее. Она была моей путеводной звездой, моей единственной отрадой — моей жизнью.

Мы не уходили слишком далеко, ибо мне больше всего нравилось лежать на сухом вереске и смотреть на ее румяное лицо и живые глаза, слушая гул далеких волн. Любовь сделала меня праздным, думал я, ведь если у человека есть все, чего он желает, он становится похож на домашнюю кошку и, подобно ей, лениво греется в лучах солнца.

Я стремительно поддался этим чарам. Мое избавление от них было не менее быстрым, хотя оно случилось задолго до того, как яд покинул мою кровь.

Как-то поздним вечером (это было через пару недель после моего появления в доме) я воротился с чудесной прогулки при луне с Ариадной. Вечер был теплым, луна светила в полную силу, и я оставил окно спальни открытым, чтобы впустить внутрь немного свежего воздуха.

Я был утомлен больше обычного, и все, на что у меня хватило сил, это скинуть обувь и верхнюю одежду, после чего я в изнеможении рухнул на одеяло и почти сразу заснул, так и не сделав глотка из чашки, которая всегда стояла на моем столе и из которой я всегда жадно пил перед сном.

В ту ночь я видел ужасный сон. Мне пригрезилась уродливая летучая мышь с лицом и локонами Ариадны, влетевшая в распахнутое окно и припавшая своими белыми зубами и алыми губами к моей руке. Я пытался прогнать этот кошмар, но не мог, ибо я, похоже, был связан и, кроме того, испытывал смутное удовольствие от того, что тварь с отвратительным упоением пьет мою кровь.

Я сонно огляделся и увидел мертвые тела юношей, лежавшие в ряд на полу; у каждого на руке была красная метка — в том самом месте, из которого вампирша пила теперь мою кровь; и я вдруг вспомнил, как с удивлением обнаруживал такую метку у себя на руке в предыдущие две недели. В один миг я уразумел причину своей странной слабости, и в то же мгновение внезапная колющая боль пробудила меня от призрачного удовольствия.

Охваченная жаждой, вампирша в эту ночь укусила меня чуть сильнее, чем прежде, не подозревая, что я не выпил перед сном усыпляющего зелья. Очнувшись, я узрел ее в ярком свете луны, со свободно ниспадавшими прядями черных волос и алыми губами, плотно прижатыми к моей руке. С криком, полным ужаса, я отшвырнул ее от себя и бросил последний взгляд на ее дикие глаза, сияющее белое лицо и окровавленный рот; потом я ринулся в ночь, гонимый страхом и отвращением, и не прерывал свой безумный бег до тех пор, пока между мною и проклятым домом на вересковой пустоши не пролегли многие мили.

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд

(1854–1909)

Ибо кровь есть жизнь

Пер. с англ. С. Антонова

Мы обедали на закате, расположившись на верху старой башни — там прохладнее всего даже в самые знойные летние дни, кроме того, трапезничать рядом с маленькой кухней, занимающей угол обширной квадратной площадки, удобнее, чем носить блюда вниз по крутой каменной лестнице, изъеденной временем и местами разбитой. Башня эта — одна из многих, возведенных вдоль западного побережья Калабрии императором Карлом V для отражения набегов берберийских пиратов в начале шестнадцатого века, в ту пору, когда неверные объединились с Франциском I против императора и Церкви. Ныне эти цитадели обращаются в руины, лишь немногие еще уцелели, и моя — одна из самых крупных. Каким образом она десятилетие назад перешла в мою собственность и почему я ежегодно провожу в ней часть своего времени, не имеет значения для рассказываемой ниже истории. Башня находится в одном из самых уединенных уголков на юге Италии, на краю изогнутого скалистого мыса, образующего маленькую, но надежную естественную гавань в южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скалеа, на котором, согласно старинной местной легенде, родился Иуда Искариот. Она одиноко высится на этой серповидной каменной шпоре; ни единого строения не видно на расстоянии трех миль вокруг. Когда я отправляюсь туда, то беру с собой двух матросов, один из которых — превосходный кок; а во время моего отсутствия за башней присматривает гномоподобный человечек, бывший некогда горнорабочим и состоящий при мне уже очень давно.

Иногда меня в моем летнем уединении навещает друг — выходец из Скандинавии, художник по роду занятий и, в силу обстоятельств, космополит по образу жизни.

Итак, мы обедали на закате; заходящее солнце вспыхивало и снова бледнело, окрашивая в пурпурные тона протяженную горную цепь,

окаймлявшую глубокий залив на востоке и делавшуюся все выше и выше к югу. Становилось жарко, и мы пересели в обращенный к побережью угол площадки, ожидая, когда с низлежащих холмов подует вечерний бриз. Воздух, утратив дневные краски, на короткое время стал сумрачно-серым; из-за открытой двери кухни, где ужинали слуги, струился желтый свет лампы.

Затем над гребнем мыса неожиданно вошла луна, залившая своими лучами площадку и озарившая каждый каменный выступ и каждый травянистый бугорок внизу, вплоть до самой границы берега и недвижимой воды. Мой друг раскурил трубку и сел, устремив взгляд в некую точку на склоне холма. Я знал, куда он глядит, и давно гадал, увидит ли он там что-нибудь, способное привлечь его внимание. Сам-то я хорошо знал это место. Было заметно, что в конце концов он заинтересовался, хотя прошло немало времени, прежде чем он заговорил. Подобно большинству живописцев, мой друг полагается на собственное зрение, так же как лев полагается на свою силу или олень — на свою быстроту, и потому всегда смущается, если не может согласовать увиденный образ с тем, что, по его мнению, он *должен был* увидеть.

— Это странно, — сказал он. — Видишь вон тот холмик по эту сторону валуна?

— Да, — ответил я и догадался о том, что последует дальше.

— Похож на могильный, — заметил Холджер.

— Совершенно верно. Он похож на могильный.

— Да, — продолжал мой друг, по-прежнему пристально глядя на пятно. — Но странно, я вижу тело, лежащее наверху. Конечно, — сказал Холджер, по обыкновению художников склонив голову набок, — это наверняка оптический обман. Прежде всего, это вообще не могила. Во-вторых, будь это могилой, тело находилось бы внутри ее, а не снаружи. Следовательно, это световой эффект, создаваемый луной. Ты не видишь тела?

— Превосходно вижу, как и в любую лунную ночь.

— Кажется, оно тебя не слишком интересует, — произнес Холджер.

— Напротив, интересует, хотя я успел привыкнуть к нему. Ты, однако, недалек от истины. Там действительно могила.

— Не может быть! — недоверчиво воскликнул Холджер. — Полагаю, сейчас ты скажешь, что наверху и в самом деле лежит труп!

— Нет, — ответил я. — Это не так. Я точно знаю, поскольку дал себе труд спуститься туда и посмотреть.

— И что же это? — спросил Холджер.

— Ничто.

— Ты хочешь сказать, что это световой эффект, так?

— Возможно. Однако в нем есть нечто, чего нельзя объяснить: этот эффект не зависит от того, восходит луна или заходит, прибывает или убывает. Если на востоке, или западе, или прямо над головой светит луна, то в ее сиянии всегда видны очертания тела на вершине холмика.

Холджер острием ножа перемешал табак в трубке и прикрыл чашу большим пальцем. Когда трубка разгорелась ярче, он встал с кресла.

— Если не возражаешь, — произнес он, — я спущусь и взгляну.

Он оставил меня, пересек площадку и скрылся в темноте лестницы. Я не двигался, но сидел, глядя вниз, и видел, как мой друг вышел из башни. Я слышал, как он мурлыкает старую датскую песенку, пересекая в ярком свете луны открытое место и направляясь напрямиком к таинственной могиле. Оказавшись в десяти шагах от нее, Холджер на миг остановился, сделал еще пару шагов вперед, а затем три-четыре шага назад и вновь замер. Я понял, что это значит. Он достиг того места, где Нечто переставало быть видимым, где, как сказал бы мой друг, менялся световой эффект.

Затем он двинулся дальше, подошел к холмику и остановился. Я по-прежнему видел Нечто, но оно не лежало, как раньше, а стояло на коленях, обхватив своими белыми руками торс Холджера и обратив взор к его лицу. Легкое дуновение ветра шевельнуло мои волосы в тот момент, когда с холмов начала спускаться ночная прохлада, однако в этом движении воздуха мне почудилось дыхание иного мира.

Казалось, Нечто пытается подняться на ноги, уцепившись за Холджера, который меж тем стоял, явно не чувствуя этого и глядя на башню, выплядывающую особенно живописной, когда Луна освещает ее с той стороны.

— Возвращайся! — крикнул я. — Не стой там всю ночь!

Мне показалось, что, отходя от холмика, он двигается неохотно или с трудом. Причиной было Оно. Нечто продолжало обхватывать

руками талию Холджера, но не могло ступить за край могилы. Когда мой друг медленно пошел прочь, за ним потянулось и окружило кольцом что-то вроде тумана, белого и тонкого; одновременно я отчетливо увидел, что Холджер поежился, словно от холода. В тот же миг ветер донес до моего слуха короткий возглас, полный боли, — возможно, это был крик небольшой совы, угнездившейся в скалах, — и затем кольцо тумана вокруг Холджера разорвалось, плавно заскользило обратно и распласталось, как прежде, поверх холмика.

Холодное дуновение ветра вновь коснулось моих волос, но в этот раз я почувствовал еще и ледяной ужас, от которого у меня по спине пробежала дрожь. Я хорошо помнил, что однажды спустился туда один в свете луны; что, приблизившись к этому месту, ничего не увидел; что, как и Холджер, я подошел к холмику вплотную; и я помнил также, как возвращался, убежденный, что там ничего нет, и внезапно ощутил уверенность, что, стоит мне обернуться, я все же обнаружу нечто; я сопротивлялся этому искушению как недостойному здравомыслящего человека, до тех пор пока, стремясь избавиться от него, не поежился так же, как Холджер.

И теперь я понял, что те белые туманные руки обнимали и меня, — понял в мгновение ока и содрогнулся, вспомнив, что тогда тоже слышал крик ночной совы. Но это не было криком совы. Это кричало Оно.

Я вновь набил трубку и наполнил бокал крепким южным вином. Минуту спустя Холджер уже вновь сидел напротив меня.

— Разумеется, там ничего нет, — сказал он, — но все равно мне как-то не по себе. Ты знаешь, когда я возвращался, я настолько отчетливо ощущал позади чье-то присутствие, что хотел обернуться и посмотреть. Мне с трудом удалось одолеть этот соблазн.

Он усмехнулся, вытряхнул пепел из своей трубки и налил себе немного вина. На некоторое время воцарилось молчание; луна поднималась все выше, а мы глядели на Нечто, лежавшее поверх холмика.

— Ты мог бы сочинить об этом историю, — произнес Холджер после продолжительной паузы.

— Она уже существует, — ответил я. — Если тебе не хочется спать, я расскажу ее.

— Давай, — согласился Холджер, который был любителем занимательных историй.

Старый Аларио умирал в деревне за горой. Ты, без сомнения, помнишь его. Поговаривали, что он нажил состояние, сбывая фальшивые драгоценности в Южной Америке, и сбежал, прихватив деньги, когда мошенничество было раскрыто. Подобно всем малым такого рода, вернувшись с деньгами, он незамедлительно занялся расширением своего дома и, поскольку здесь не было каменщиков, послал в Паолу за двумя рабочими. Ими оказалась пара мерзавцев грубоватой наружности — одноглазый неаполитанец и сицилиец со старым шрамом в полдюйма глубиной, пересекавшим его левую щеку. Я часто видел их, так как по воскресеньям они обычно спускались сюда и рыбачили, сидя на выступавших из воды камнях. Когда Аларио охватила лихорадка, которая затем свела его в могилу, каменщики еще были заняты работой. Поскольку было договорено, что частью причитавшейся им платы будут стол и кров, он оставлял их ночевать в доме. Аларио был вдовцом и имел единственного сына, который звался Анджело и вел много более достойную жизнь, чем его отец. Анджело предстояло жениться на дочери самого богатого жителя деревни, и, несмотря на то что брак был устроен родителями молодых, те, как ни странно, искренне полюбили друг друга.

Неудивительно, что Анджело был по сердцу всей деревне и, среди прочих, порывистому привлекательному созданию по имени Кристина, похожему на цыганку больше, чем любая другая девушка, когда-либо виденная мною в этих местах. У нее были ярко-алые губы и черные волосы, грация гончей и дьявольски острый язык. Но Анджело не обращал на нее никакого внимания. Он был простоватый малый, совершенно отличный от своего старого мошенника-отца, и в обычных обстоятельствах он, я уверен, никогда не взглянул бы на какую-либо другую девушку, кроме той милой толстушки с солидным приданым, которую отец определил ему в жены.

С другой стороны, один молодой и весьма недурной собой пастух с гор над Маратеей был влюблен в Кристину, кажется, не питавшую к нему ответного чувства. Кристина не имела постоянных средств к существованию, но она была прилежной девушкой, охочей до любой работы и готовой отправиться с поручением сколь угодно далеко за

буханку хлеба или чечевичную похлебку и возможность ночевать не под открытым небом. Она бывала особенно рада, когда ей доводилось делать что-либо возле дома отца Анджело. В деревне не было лекаря, и когда соседи увидели, что старик Аларио при смерти, то послали Кристину в Скалеа за доктором. Это было уже в конце дня, и если они и прибегли к этой чрезвычайной мере слишком поздно, то лишь потому, что умирающий скряга отказывался от нее до тех пор, покуда не утратил речь. Пока Кристина находилась в пути, положение больного резко ухудшилось, к его изголовью был призван священник, который, прочтя отходную молитву, заявил собравшимся, что, по его мнению, старик уже мертв, и оставил дом.

Ты знаешь здешних жителей. При встрече со смертью они испытывают физический ужас. Пока священник не заговорил, комната была полна людей. Едва слова слетели с его уст, она опустела. В наступившей ночи люди торопливо спустились по темным ступеням лестницы и покинули жилище Аларио.

Анджело, как я уже говорил, отсутствовал, Кристина еще не вернулась; служанка, которая ухаживала за больным, сбежала вместе с остальными, и тело осталось одиноко лежать в мерцающем свете масляной лампы.

Пятью минутами позже два человека опасно заглянули внутрь комнаты и затем прокрались к кровати. Это были одноглазый неаполитанский каменщик и его напарник-сицилиец. Они знали, что ищут. В мгновение ока они вытащили из-под кровати окованный железом сундук, маленький, но тяжелый, и задолго до того, как кто-либо решился вернуться в комнату, где лежало тело покойного, эти двое покинули дом и деревню, растворившись во мраке. Сделать это было довольно легко, так как жилище Аларио было последним перед ущельем, которое ведет сюда, к берегу, и воры просто-напросто вышли через черный ход, перелезли через каменную стену и оказались в безопасности — исключая разве что возможность встретить какого-нибудь запоздалого сельчанина, что было крайне маловероятно, ибо редко кто пользуется этой тропой. У них были мотыга и лопата, и они проделали свой путь без происшествий.

Я излагаю тебе эту часть событий в том виде, в каком они, вероятно, происходили, — свидетелей этому, разумеется, нет. Воры пронесли сундук через ущелье, намереваясь закопать его на берегу во

влажном песке, где он мог бы долгое время покоиться в целостности и сохранности. Но бумага неизбежно пришла бы в негодность, оставь они ее там надолго, поэтому они стали копать возле этого валуна. Да, как раз там, где ты видишь холмик.

Доктора Кристина в Скалеа не нашла — он был отозван в долину, в местечко на полпути к Сан-Доменико. Если бы она застала его, они могли бы добраться до деревни верхом на его муле по верхней дороге, более длинной, но не такой крутой. Однако Кристина избрала короткий путь через скалы, который проходит футах в пятидесяти над холмиком и огибает вон тот уступ. Те двое как раз рыли яму, когда она следовала мимо, и девушка услышала шум. Кристина не могла не остановиться, чтобы выяснить его источник, — она ничего на свете не боялась, а кроме того, знала, что время от времени здесь ночной порой пристают к берегу рыбаки, которые ищут подходящий камень для якоря или сухие ветки для костра. Ночь стояла темная, и возможно, Кристина оказалась слишком близко к тем двоим, прежде чем смогла увидеть, что они делают. Она их, конечно, узнала, и они тоже узнали ее и в мгновение ока сообразили, что находятся в ее власти. Злоумышленники могли сохранить свою тайну лишь одним способом, к которому и прибегли. Они ударили девушку по голове, вырыли глубокую яму и быстро зарыли тело вместе с окованным железом сундуком. Они, вероятно, понимали, что смогут избежать подозрений, только если вернуться в деревню раньше, чем их отсутствие будет замечено; вот почему они немедленно устремились назад и полчаса спустя были найдены мирно беседующими с человеком, который изготавливал для Аларио гроб. Он был их дружкой и прежде занимался ремонтом в доме старика. Насколько я могу судить, единственными людьми, знавшими, где Аларио хранил свое сокровище, были Анджело и старая служанка, о которой я упоминал прежде.

Нетрудно понять, почему никто больше не знал, где находятся деньги. Старик держал дверь запертой, ключ, уходя, уносил с собой и не позволял служанке прибираться в комнате в его отсутствие. Вся деревня, однако, знала, что он где-то хранил деньги и что каменщики, вероятно, обнаружили местонахождение ящика, проникнув в комнату через окно, когда Аларио не было дома. Не будь старик в бреду до того как потерял сознание, он, несомненно, трясся бы за свое богатство.

Верная служанка забыла о деньгах лишь на короткое время, когда удалилась из комнаты вместе с другими, охваченная ужасом при виде смерти. Не прошло и двадцати минут, как она вернулась с двумя отвратительного вида старухами, которых всегда призывали, когда требовалось приготовить умершего к погребению. Даже тогда ей не сразу хватило духу приблизиться к постели, однако она сделала вид, будто что-то уронила, опустила на колени и залянула под кровать. На фоне недавно побеленной стены она сразу увидела, что сундук исчез. Днем он еще находился на месте и, следовательно, был украден вскоре после того, как она покинула комнату.

В деревне нет карабинеров, нет даже сторожа, поскольку нет местного самоуправления. Полагаю, там никогда не было чего-либо подобного. Чтобы вызвать кого-нибудь из Скалеа, потребовалась бы пара часов. Старая служанка прожила в деревне всю свою жизнь, и ей ни разу не случалось обращаться за помощью к представителям власти. Она просто ударилась в плач и побежала в темноте через деревню, крича, что дом ее покойного хозяина ограблен. Многие сельчане выглядывали из своих окон, но поначалу никто не выказывал готовности прийти ей на выручку. Большинство из них, судя о ней по себе, шептали друг другу, что, вероятно, она сама и украла деньги. Наконец заговорил отец девушки, которой предстояло стать женой Анджело; собрав вокруг себя всех своих домочадцев, лично заинтересованных в богатстве, которое должно было достаться их семье, он заявил, что, по его мнению, сундук украли два пришлых каменщика, живших в доме. Он возглавил их поиски, которые, разумеется, начались с дома Аларио, а закончились в плотницкой мастерской, где воры были найдены распивавшими с хозяином вино над недоделанным гробом при свете единственной глиняной лампы, наполненной маслом и жиром. Искавшие тут же обвинили каменщиков в преступлении и пригрозили запереть их в винном погребе до тех пор, пока из Скалеа не придут карабинеры. Те двое обменялись быстрыми взглядами, загасили лампу, схватили стоявший между ними гроб и, используя его в качестве тарана, ринулись в темноте на своих противников. В несколько мгновений они исчезли из виду.

Так оканчивается первая часть этой истории. Сокровище исчезло бесследно, из чего жители деревни сделали вывод, что воры

преуспели в своем предприятии. Старика похоронили, и, когда Анджело наконец вернулся, он занял денег, дабы оплатить скромную заупокойную службу, что оказалось не совсем просто. Он ясно понимал, что с потерей наследства потерял и свою невесту. В этих краях браки основываются на строгих деловых принципах, и, если оговоренная сумма не вносится в назначенный день, невеста или жених, чьи родители отказались от платежа, должны быть готовы отказаться и от своих брачных притязаний. Бедный Анджело хорошо знал это. Его отец едва ли владел какой-либо землей, и теперь, когда деньги, вывезенные Аларио из Южной Америки, пропали, не осталось ничего, кроме долгов за строительные материалы, которые пошли на расширение и усовершенствование старого дома. Анджело был на пороге нищеты, и та милая толстушка, которая должна была стать его женой, при виде его надменно вздернула носик. Что до Кристины, прошло несколько дней, прежде чем обнаружилось ее исчезновение, — поначалу никто не вспомнил, что ее послали в Скалеа за доктором, который так и не прибыл. Она нередко отсутствовала несколько дней кряду, если находила работу на какой-нибудь отдаленной ферме в горах. Но когда ее отсутствие затянулось, сельчане стали дивиться этому и в конце концов заключили, что она была в сговоре с каменщиками и сбежала вместе с ними.

Я сделал паузу и осушил свой бокал.

— Такого рода вещи не могут произойти в каком-либо другом месте, — заметил Холджер, снова набивая свою неизменную трубку. — Удивительно, каким естественным очарованием окружены убийство и внезапная смерть в подобной романтической стране. События, которые выглядели бы всего-навсего жестокими и отвратительными, случись они где-нибудь еще, воспринимаются нами как драматичные и таинственные, потому что это — Италия и мы живем в настоящей башне Карла Пятого, построенной для защиты от берберийских пиратов.

— В этом что-то есть, — согласился я.

В глубине души Холджер — самая романтическая натура в мире, но всегда считает необходимым объяснять, почему он чувствует то или иное.

— Полагаю, тело несчастной девушки было обнаружено вместе с ящиком, — сказал он, помолчав.

— Кажется, ты заинтересовался этой историей, — произнес я в ответ. — Что ж, я расскажу тебе ее окончание.

Тем временем луна поднялась еще выше, и загадочный силуэт на верху холма стал еще отчетливее, чем прежде.

Очень скоро деревня вновь погрузилась в прежнюю размеренную жизнь. Никто не скучал по старому Аларио — тот провел в Южной Америке так много времени, что считался едва ли не чужаком в своем родном краю. Анджело жил в наполовину перестроенном доме, покинутый престарелой служанкой, которой он больше не мог платить; впрочем, в память о прежней службе у его отца она все же изредка приходила постирать ему рубашку. Помимо дома он унаследовал маленький клочок земли в некотором удалении от деревни; Анджело, как мог, возделывал его, но душа юноши не лежала к сельскому труду, ибо он знал, что никогда не сможет платить налоги и за землю, и за дом, который, несомненно, будет конфискован властями или арестован вследствие неуплаты долга за строительные материалы, которые поставивший их человек отказался забрать назад.

Анджело был глубоко несчастен. Когда его отец был жив и богат, каждая девушка в деревне была влюблена в него, но теперь все изменилось. В прошлом юноша с удовольствием принимал от окружающих знаки льстивого восхищения, его не раз зазывали выпить вина отцы, имевшие дочерей на выданье; ныне же он с тяжелым чувством ловил на себе неприветливые взгляды и порой слышал насмешки над тем, что потерял свое наследство. Он стряпал себе скудную еду и постепенно погружался в меланхолию и мрачное уныние.

По вечерам, когда замирали дневные заботы, он, вместо того чтобы околачиваться со своими молодыми сверстниками в окрестностях местной церкви, искал уединения на окраине деревни, где оставался вплоть до наступления темноты. Тогда он крадучись возвращался домой и ложился в постель, дабы сократить расходы на свет. Но в те одинокие сумеречные часы он начал видеть странные сны наяву. Он уже не всегда был один, ибо часто, сидя на каком-нибудь пне, там, где узкая тропка ведет в ущелье, он, без сомнения, видел женщину,

бесшумно, как если бы она была босая, двигавшуюся над неровной грядой камней; она останавливалась под купой каштановых деревьев всего лишь в нескольких ярдах от Анджело и манила его к себе, не говоря, однако, ни слова. Хотя она находилась в тени, он знал, что у нее алые губы и что, когда ее рот слегка приоткрывается в улыбке, обнажаются два маленьких острых зуба. Он знал это раньше, чем увидел воочию, и знал также, что это Кристина и что она мертва. Однако он не боялся; он лишь спрашивал себя, не сон ли это, ибо думал, что если это происходит наяву, то ему следовало бы бояться.

Кроме того, у мертвой были алые губы, а такое могло быть только во сне. Всякий раз, когда Анджело оказывался возле ущелья после захода солнца, она уже ожидала его там или появлялась вскоре после его прихода, и он уже почти уверился, что у нее кроваво-красный рот. Наконец все черты ее сделались отчетливо видны и с бледного лица на него обратился глубокий взгляд голодных глаз.

Глаза-то его и манили. Мало-помалу Анджело понял, что однажды видение не исчезнет, когда он повернется, чтобы уйти домой, а поведет его в ущелье, из которого возникло. Она была ближе сейчас, когда манила его. Ее щеки были не мертвенно-бледными, какими обыкновенно бывают щеки покойника, но впалыми от голода, неистового и неутоленного физического голода, которым горели ее глаза. Эти глаза пожирали его, проникали в самую душу, околдовывали и в конце концов приблизились к его глазам и завладели им всецело. Он не смог бы сказать, было ее дыхание горячим как огонь или же холодным как лед, воспалялись ли его губы от прикосновения ее алых губ или замерзали, оставляли ее пальцы следы ожогов на его запястьях или поражали холодом; он не смог бы сказать, бодрствовал он или спал, живой она была или мертвой, — но он знал, что она любила его, единственная из всех земных и неземных существ, и что ее чары имеют над ним необоримую власть.

Когда луна в ту ночь поднялась высоко, призрачная тень на могильном холме внизу была уже не одна.

Анджело пробудился на рассвете, сплошь покрытый утренней росой и продрогший до самых костей. Он открыл глаза и увидел, что в вышине еще сияют звезды. Он ощущал сильную слабость, его сердце билось так медленно, что он был едва не на грани обморока. Осторожно он повернул голову, покоившуюся на земляном

возвышении, словно на подушке, но ничьего лица рядом не увидел. Внезапно его охватил страх, неведомый и невыразимый; Анджело вскочил и бегом устремился в ущелье — и не оборачивался до тех пор, пока не достиг двери первого дома на краю деревни.

В унынии он принялся за дневную работу, и томительные часы потянулись за движением солнца, пока оно, коснувшись моря, не опустилось за горизонт, а остроконечные горы над Маратеей не окрасились пурпуром на фоне сизого восточного неба. Тогда Анджело взвалил на плечо тяжелую мотыгу и покинул поле. Он чувствовал себя не таким обессиленным, как утром, когда только приступил к работе, но дал зарок, что отправится домой, не задерживаясь в ущелье, приготовит себе наилучший ужин, на который способен, и проведет всю ночь в постели, как и полагается доброму христианину. На этот раз его не совратит с пути призрак с алыми губами и ледяным дыханием и он не отдастся во власть сна, полного ужаса и наслаждения. Он уже находился вблизи деревни; прошло полчаса с того момента, как закатилось солнце, и надтреснутый голос церковного колокола отзывался расстроеным эхом над скалами и ущельями, возвещая честному люду об окончании дня. Анджело на мгновение задержался на развилке тропы, от которой налево шел путь к деревне, а направо — вниз в ущелье, туда, где кроны каштановых деревьев нависали над узкой дорогой. Он постоял с минуту, сняв свою поношенную шляпу и глядя на море, стремительно темневшее на западе; его губы беззвучно повторяли привычную вечернюю молитву. Губы шевелились, но последующие, еще не произнесенные слова молитвы постепенно утрачивали в его сознании свой смысл и обращались в другие — и наконец увенчались именем, сказанным вслух: Кристина! Когда он выдохнул это имя, напряжение, в котором пребывала его воля, неожиданно ослабло, реальность исчезла, прежний сон опять завладел им и повлек, словно лунатика, все дальше и дальше по крутой тропинке в сгущавшуюся тьму. И скользившая подле него Кристина шептала странные, нежные слова в самое ухо Анджело — слова, которых он, бодрствуя, ни за что бы не понял; но сейчас они казались ему самым чудесным, что он когда-либо слышал. Затем она поцеловала его, но не в губы. Он почувствовал ее острые поцелуи на своем горле и знал, что ее рот алеет от крови. Безумный сон простерся над сумраком, темнотой, восходом луны и

великолепием летней ночи. Но в рассветном холоде Анджелио уже лежал, словно полумертвый, на верху могильного холмика, то приходя в себя, то вновь впадая в забытие, истекая кровью, однако странным образом желая вновь ощутить прикосновение алых губ. Затем его одолел страх, невыразимый, смертельный, панический ужас, стерегущий границы мира, которого мы не видим и о котором ничего доподлинно не знаем, но который ощущаем, когда его холод леденит все наши члены и волосы шевелятся на голове от прикосновения призрачной руки. С наступлением дня Анджелио вновь спрыгнул с могилы и направился через ущелье к деревне, однако теперь его шаг был менее уверенным и он задыхался так, словно бежал. И когда он достиг прозрачного ручья, струившегося на полпути к холмам, он упал на четвереньки, окунул лицо в воду и принялся пить так жадно, как никогда не пил прежде, — то была жажда раненого человека, который целую ночь пролежал, истекая кровью, на поле боя.

Отныне Кристина крепко держала его, он не мог от нее спастись и вынужден был приходить к ней каждый вечер на закате до тех пор, пока не лишится последней капли своей крови. Напрасны были его попытки избрать для возвращения другую дорогу и направиться домой по тропе, которая не проходит вблизи ущелья. Напрасны были обещания, которые он каждое утро давал самому себе, совершая на рассвете свой одинокий путь от побережья до деревни. Все было напрасно, ибо, как только пылающее солнце опускалось за горизонт и вечерняя прохлада являлась из своих потайных мест на радость утомленному миру, ноги сами обращали Анджелио на прежний путь, к тому месту, где его ожидала она, стоя в тени каштанов; и затем все повторялось, и она прямо на ходу целовала его горло, обвив юношу одной рукой и легко скользя по тропинке. И по мере того как кровь в его теле убывала, Кристина становилась все более голодной и с каждым днем испытывала все большую жажду, и с каждой новой зарей ему было все труднее заставить себя одолеть крутую тропу, ведущую к деревне; когда же он приступал к работе, то тяжело волочил ноги, а рукам его едва хватало сил, чтобы управляться с тяжелой мотыгой. Он теперь редко с кем-нибудь разговаривал, и люди утверждали, что он «чахнет» от любви к девушке, с которой был помолвлен перед тем, как потерял свое наследство, и, не будучи

излишне романтическими натурами, от души смеялись при мысли об этом.



«Тебе не уйти»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Конечно, не уйдет та, которая сама хочет быть пойманной



«Уже пора»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

На рассвете разбегаются в разные стороны ведьмы, домовые, привидения и призраки. Хорошо, что это племя показывается только ночью и в темноте. До сих пор никто не сумел узнать, где они прячутся днем. Тот, кому удалось бы захватить логово

домовых, поместить его в клетку и показывать в десять часов утра на Пуэрта-дель-Соль, не нуждался бы ни в каком наследстве

Тем временем Антонио, человек, который присматривает за моей башней, вернулся из поездки к родственникам, живущим в окрестностях Салерно. Он уехал, когда Аларио был еще жив, и ничего не знал о том, что случилось в деревне. Антонио говорил мне, что вернулся во второй половине дня и заперся в крепости, желая поесть и поспать, так как очень устал в дороге. Уже минула полночь, когда он проснулся; выплянув наружу и посмотрев в направлении насыпи, он увидел там Нечто и более уже не смыкал глаз в ту ночь. Когда утром он вновь обратил взгляд в ту сторону, то в ярком свете дня не обнаружил на холме ничего, кроме камней и песка. Тем не менее он не осмелился приблизиться к этому месту, а напрямик направился в деревню к дому старого священника.

— Я видел нечто зловещее этой ночью, — сказал он. — Я видел, как мертвец пил кровь живого человека, и эта кровь придала ему жизни.

— Расскажите мне, что именно вы видели, — попросил его священник.

Антонио подробно описал ему сцену, свидетелем которой стал ночью.

— Вы должны взять служебник и святую воду нынче вечером, — добавил он. — Я приду перед закатом, чтобы отправиться туда вместе с вами, и, если вашему преподобию угодно отужинать со мной, пока мы будем ждать, я все приготовлю для этой цели.

— Я пойду с вами, — отвечал священник, — ибо я читал в старинных книгах об этих странных созданиях, которые не являются ни живыми, ни мертвыми и лежат, не подвергаясь тлению, в своих могилах, выскальзывая оттуда на закате, чтобы вкусить жизни и крови.

Антонио не умел читать, но обрадовался, увидев, что священник понял суть дела; ибо книги, несомненно, должны были подсказать наилучший способ навсегда утихомирить это полуживое-полумертвое существо.

Итак, Антонио вернулся к своей работе, которая, когда он не удил рыбу, забравшись с леской на какой-нибудь камень и безуспешно пытаясь что-нибудь поймать, заключалась в основном в сидении на

затененной стороне башни. Но в этот день он дважды отправлялся взглянуть на пресловутый холм в ярком солнечном свете и кругами ходил вокруг него, ища какую-нибудь нору, через которую существо могло выходить наружу и вновь скрываться под землю; однако он ничего не обнаружил. Когда солнце начало садиться, а воздух в тенистых местах стал делаться все холоднее, Антонио отправился за священником, взяв с собой небольшую плетеную корзинку; в нее они положили бутылку со святой водой, чашку, кропило и необходимую священнику епитрахиль; затем добрались до башни и остановились у ворот ждать наступления темноты. Но еще когда дневной свет медленно превращался в серые сумерки, они увидели нечто движущееся прямо вон там. Их взорам предстали две фигуры — бредущий мужчина и женщина, которая бесшумно скользила рядом с ним, положив голову ему на плечо и целуя его в шею. Об этом мне рассказал священник, равно как и о том, что зубы его стучали и он схватил Антонио за руку. Видение проследовало мимо и растворилось в сумерках. Тогда Антонио достал кожаную флягу с крепким ромом, которую держал для особых случаев, и сделал такой плоток, который заставил его вновь почувствовать себя едва ли не юношей; он помог священнику надеть епитрахиль, дал ему святую воду, и они направились туда, где им предстояло свершить их дело. Антонио говорил, что, несмотря на выпитое, его колени дрожали, а священник запинаясь, бормоча свою латынь. Ибо, когда они оказались в нескольких ярдах от могилы, мерцающий свет фонаря упал на белое лицо Анджело, безмятежное, как если бы он пребывал во сне, и на его горло, из которого очень тонкая красная струйка крови сбегала на воротник; этот мерцающий свет выхватил из темноты и другое лицо, которое оторвалось от своего пиршества, озарил глубокие мертвые глаза, вопреки смерти наделенные взглядом, полуоткрытый, неестественно алый рот и два блестящих зуба, на которых сверкали розовые капли. Тогда священник, старый добрый человек, плотно смежил веки и окропил перед собой святой водой, и его сорвавшийся голос превратился почти что в крик. Затем Антонио, который, что ни говори, все же не робкого десятка, поднял одной рукой кирку, а другой — фонарь и прыгнул вперед, не представляя, что из этого получится; и тотчас после он, по его уверению, услышал женский крик, и Нечто исчезло, а Анджело остался лежать на холме без

сознания, с красной полосой на горле и предсмертной испариной на холодном лбу. Они подняли его, полумертвого, и положили на землю неподалеку, после чего Антонио принялся за работу, а священник помогал ему, несмотря на старость и слабость. Они выкопали глубокую яму, и наконец Антонио, стоя на дне могилы, наклонился, держа в руке фонарь, готовый увидеть все, что угодно.

У него были темно-каштановые волосы с седыми прядями у висков; прежде чем минул месяц с того страшного дня, он поседел как лунь. В юности он был горнорабочим; большинство этих малых во время несчастных случаев сталкивается с ужасными зрелищами, но он никогда не видел того, что увидел в ту ночь, — существа, которое не было ни живым, ни мертвым, ни жителем земли, ни обитателем могилы. Антонио принес с собой кое-что, чего не заметил священник, — острый кол, выточенный из старой плотной древесины. Этот кол был с ним, когда он спустился в могилу. Я не знаю такой силы, которая могла бы заставить его рассказать, что произошло потом, а священник был слишком напуган, чтобы смотреть. Он говорит, что слышал, как Антонио дышит словно дикий зверь и двигается в яме так, будто борется с чем-то столь же сильным, как и он сам; он слышал также некий зловеющий звук, словно что-то с трудом проходило сквозь плоть; и затем донесся самый ужасный звук — пронзительный женский крик, потусторонний крик женщины, которая не была ни живой, ни мертвой, но погребенной много дней назад. Бедный старый священник мог только трястись от страха и, упав на колени, громко читать молитвы и выкрикивать заклинания, чтобы заглушить эти ужасающие звуки. Внезапно из ямы вылетел маленький, окованный железом сундук и, перекувырнувшись, упал к ногам священника, а спустя мгновение показался Антонио; его лицо было таким же белым, как жир в мерцающем свете фонаря, он в неистовой спешке принялся сгребать песок и камни в могилу, до тех пор пока она не наполнилась до середины; по словам священника, руки и одежда Антонио были сплошь покрыты свежей кровью.

Я окончил рассказ. Холджер допил вино и откинулся на спинку кресла.

— Стало быть, Анджело получил свое наследство назад, — сказал он. — А женился ли он на той полненькой жеманной особе, с которой

был обручен?

— Нет, случившееся вселило в него глубокий страх перед женщинами. Он перебрался в Южную Америку, и с тех пор о нем ничего не известно.

— А тело несчастного создания все еще находится там, я полагаю, — произнес Холджер. — Интересно, оно теперь в самом деле мертво?

Меня это тоже интересовало. Но, будь это создание живым или мертвым, мне не хотелось бы его *увидеть* — даже при ярком дневном свете. Антонио, повстречавшись с ним, поседел как лунь и сделался после той ночи другим человеком.

1905

Ловец человекoв

Вашингтон Ирвинг

(1783–1859)

Дьявол и Том Уокер

Пер. с англ. А. Бобовича

В Массачусетсе, недалеко от Бостона, есть небольшая, но глубокая бухта, которая, начинаясь у Чарльз-Бей, вдается, делая петли, на несколько миль в материк и упирается в конце концов в заросшее густым лесом болото или, вернее, топь. По одну сторону этой бухточки тянется прелестная тенистая роща, тогда как на противоположном ее берегу, у самой воды, круто вздымается довольно значительная возвышенность, на которой растет несколько одиноких старых могучих дубов. Под одним из этих гигантских деревьев, как повествует предание, были зарыты сокровища Кидда. Наличие бухты позволило ему без особых хлопот, глухой ночью и сохраняя полнейшую тайну, перевезти в лодке свою казну к самой подошве возвышенности; высота места облегчила возможность удостовериться в том, что поблизости нет посторонних свидетелей; и, наконец, деревья, приметные издали, служили отличными вехами, с помощью которых впоследствии можно было бы без труда разыскать спрятанный клад. Предание добавляет также, будто руководство во всем этом деле принадлежало не кому иному, как самому дьяволу, который и взял под свою охрану сокровища Кидда; известно, впрочем, что совершенно так же он поступает со всеми припрятанными богатствами, в особенности если они добыты нечистым путем. Как бы там ни было, но Кидду так и не удалось возвратиться назад и воспользоваться своими деньгами: вскоре он был арестован в Бостоне, отвезен в Англию, осужден как пират и повешен.

В 1727 году, то есть в том самом году, когда Новую Англию постигли страшные землетрясения, побудившие многих закоренелых грешников преклонить в молитве колени, близ этого места проживал тощий скаредный малый по имени Том Уокер. Жена его отличалась такой же скаредностью; они были настолько скаредны, что постоянно норовили как-нибудь обмануть друг друга. Все, до чего добиралась

рука этой женщины, тотчас же попадало в ее тайники; не успеет, бывало, закудахтать во дворе курица, как она тут как тут, чтобы завладеть свежеснесенным яйцом. Ее муж постоянно рыскал по дому в поисках ее тайных запасов, и немало жарких споров происходило у них из-за того, что обычно считается общею собственностью. Они обитали в ветхом, одиноко стоявшем, с виду даже вовсе необитаемом доме, который всем своим обликом напоминал голодающего. Вокруг него росло несколько красных кедров, которые, как известно, являются эмблемой бесплодия; над его трубою никогда не вился дымок, ни один путник не останавливался у его двери. Жалкая тощая лошадь — ее ребра можно было пересчитать с такою же легкостью, как прутья рашпера, — уныло бродила на небольшом поле у дома, и тонкий слой мха, едва прикрывавший находившийся под ним щебень, терзал и обманывал ее голод. Выпядывая порой поверх изгороди, она жалобно смотрела в глаза прохожему и молила, казалось, о том, чтобы ее взяли с собой из этой страны вечного голода.

И дом, и его обитатели пользовались дурной славой. Жена Тома была на редкость сварлива, обладала вздорным нравом, неутомимым языком и тяжелой рукой. Нередко можно было услышать ее пронзительный голос во время словесных перепалок с супругом, а его лицо время от времени явственно свидетельствовало о том, что эти сражения не всегда оставались чисто словесными. По этой причине никто не отваживался вмешиваться в их ссоры. Одинокий путник, заслышав внутри дома крики и брань, норовил прошмыгнуть где-нибудь стороной, бросал косые взгляды на это царство раздора и радовался — если был холост, — что не познал прелестей брака.

Уйдя однажды на порядочное расстояние от дома, Том Уокер решил возвратиться кратчайшим путем — так, по крайней мере, ему казалось, — через болото. Как большинство кратчайших путей вообще, это была неудачно выбранная дорога. Болото заросло большими мрачными соснами и хемлоками, иные из них достигали девяноста футов высоты; поэтому даже в полдень в этих зарослях царил полумрак, что делало их убежищем для сов всей округи. Тут было множество ям и топей, лишь слегка прикрытых травой и мхом; их зелень нередко обманывала неосторожного путника, и он попадал в трясины, где его засасывала черная, вязкая грязь; тут были также темные замшелые лужи, уют головастиком, исполинских лягушек и

водяных змей, и лежавшие в этих лужах наполовину затонувшие стволы гниющих сосен и хемлоков были похожи на зарывшихся в грязь дремлющих аллигаторов.

Том долго и осторожно пробирался через этот предательский лес. Он перепрыгивал с кочки на кочку, но это были не слишком надежные точки опоры среди глубокой трясины, или ловко как кошка, тщательно рассчитывая шаги, подвигался вперед по стволам поваленных бурей деревьев, останавливаясь время от времени при неожиданном вскрике выпи или кряканье дикой утки, поднявшейся с какого-нибудь уединенного озерца. Наконец он достиг участка твердой земли, которая, наподобие полуострова, была окружена с трех сторон болотной топью. Это место было оплотом индейцев во время их войн с первыми колонистами. Здесь они воздвигли нечто вроде редута, на который смотрели как на почти неприступное укрепление и которым пользовались в качестве убежища для своих жен и детей. От старого укрепления, впрочем, не осталось почти ничего; разве только невысокая насыпь, которая, постепенно разрушаясь, почти сравнялась с землей и успела порости дубами и другими деревьями, листва которых составляла резкий контраст темным соснам и хемлокам, что высились на болоте.

Когда Том Уокер добрался до старого укрепления, было уже не рано, близилась сумерки. Он остановился, чтобы немного передохнуть. Всякий другой постарался бы не задерживаться в этом глухом, навевающем тоску месте, ибо в народе ходили о нем скверные слухи, порожденные рассказами времен ожесточенной борьбы с индейцами: утверждали, будто именно здесь происходили их колдовские шабаша и жертвоприношения в честь злого духа.

Подобные страхи, однако, были Тому Уокеру нипочем. Он отдыхал на стволе сломанного хемлока, прислушивался к зловещему кваканью древесной лягушки и расковыривал палкой кучку черной земли рядом с собой. Продолжая бессознательно раскапывать землю, он почувствовал, как его палка наткнулась на что-то твердое. Он выгреб из образовавшейся ямки слежавшийся в ней перегной, и перед ним оказался расколотый череп с глубоко вонзившимся в него томагавком. Ржавчина на его лезвии указывала на время, протекшее с той поры, как был нанесен этот смертельный удар. Это было мрачное

напоминание о кровавой борьбе, разразившейся в этой последней твердыне индейских воинов.

— Гм, — буркнул Том Уокер, ударив череп ногою, чтобы стряхнуть с него налипшую грязь.

— Оставь этот череп в покое, — произнес чей-то грубый и хриплый голос.

Том поднял глаза и увидел перед собою широкоплечего черного человека, сидевшего прямо против него на пне. Его поразило, что он не слышал и не видел, как появился его собеседник, и он пришел в еще большее изумление, когда, насколько позволила сгустившаяся мгла сумерек, рассмотрел незнакомца и обнаружил, что тот не негр и не индеец. Хотя он и был одет в грубую, наполовину индейскую одежду и обмотал вокруг своего тела красный пояс, вернее, шарф, но его лицо не было ни черным, ни медно-красным, а скорее смуглым, закопченным и измазанным сажей, точно он постоянно работал у горна. Его голову венчала копна черных, торчавших во все стороны жестких волос; на плече он держал топор.

Несколько мгновений он внимательно рассматривал Тома, устремив на него взгляд больших красных глаз.

— Что тебе надо в моих владениях? — спросил черный человек грубым и злобным голосом.

— В твоих владениях? — ответил Том, усмехаясь. — Не больше твоих, чем моих; они принадлежат дьякону Пибоди.

— Будь он проклят, твой дьякон Пибоди! — сказал незнакомец. — Я надеюсь, что так и случится, если он не подумает о своих собственных прегрешениях и не оставит в покое грехи своих ближних. Взгляни-ка туда, и ты увидишь, как обстоят дела дьякона Пибоди.

Том посмотрел в указанном направлении и увидел большое дерево, сильное и красивое с виду, но насквозь гнилое; оно было подрублено с одной стороны. Он понял, что час этого дерева пробил и первым же ветром оно будет свалено на землю. На коре дерева было вырезано имя дьякона Пибоди, человека в этих местах значительного, нажившегося на обмане индейцев. Он убедился также, что множество крупных деревьев помечено именами богатых людей колонии и что все хоть сколько-нибудь подрублены топором. То, на которое он присел и которое было, по-видимому, только что свалено, носило на себе имя

Кроуниншильда, и он припомнил этого богача, который кичился своим богатством, приобретенным, как передавали на ухо, при помощи морского разбоя.

— С этим уже покончено — пойдет на дрова! — сказал черный человек со злой радостью в голосе. — Люблю, понимаешь, запастись на зиму топливом.

— Но какое ты имел право, — спросил Том, — валить лес дьякона Пибоди?

— Право первенства, — ответил его собеседник. — Эти леса принадлежали мне с незапамятных пор, я владел ими задолго до того времени, как люди вашей бледнолицей породы ступили на эту землю.

— Но скажите, пожалуйста, осмелюсь задать вопрос, кто вы такой? — сказал Том.

— О, у меня много имен! В одних странах меня зовут диким охотником, черным рудокопом — в других. В этих местах я известен под именем черного дровосека. Я тот, кому краснокожие посвятили это местечко; воздавая мне почести, они время от времени поджаривали на костре белого, ведь жертвоприношение такого рода распространяет чудеснейший аромат. Ну а после того как вами, белыми дикарями, истреблены краснокожие, я развлекаюсь тем, что руковожу преследованием квакеров и анабаптистов; кроме того, я — покровитель и защитник работорговцев и великий мастер салемских колдуний.

— В итоге, если не ошибаюсь, — бесстрашно заметил Том, — вы тот, кого в просторечии зовут Старым Чертякой.

— Он самый, к вашим услугам! — ответил черный человек, почти учтиво кивнув.

Так, согласно преданию, началась их беседа; впрочем, она кажется мне чересчур фамильярной, и я сомневаюсь в правдивости приведенного мною рассказа. Иной мог бы подумать, что встреча со столь необыкновенной личностью, и притом в таком диком и глухом месте, должна была бы по меньшей мере ошеломить всякого, кем бы он ни был; но следует помнить, что Том был парнем отважным, нелегко поддавался страху и к тому же столь долго жил со сварливой женой, что ему и дьявол был нипочем.

Передают, что после вышеприведенного начала они долго и серьезно беседовали и что Том не скоро еще воротился домой. Черный

человек рассказал ему о несметных сокровищах, погребенных пиратом Киддом под дубами, что растут на возвышенности, недалеко от болота. Все эти богатства находятся в его власти, пребывают под его защитой и покровительством, и разыщет их только тот, кто отмечен его благосклонностью. Он предлагал предоставить клад Кидда в распоряжение Тома, ибо испытывает к нему исключительную симпатию, но, разумеется, готов это сделать лишь на известных условиях. В чем эти условия состояли, догадаться, конечно, нетрудно, хотя Том и не предал их гласности. Надо полагать, однако, что они были весьма тяжелы, ибо Том попросил времени на размышление, а он был не такой человек, чтобы мешкать по пустякам, когда дело идет о деньгах. Они подошли к краю болота; незнакомец остановился.

— Чем могли бы вы доказать, что все это правда? — спросил его Том.

— Вот тебе моя подпись, — сказал черный человек, приложив ко лбу Тома указательный палец. Произнеся эти слова, он свернул в заросли на болоте и, согласно свидетельству Тома, стал постепенно погружаться в трясину; голова и плечи были видны еще какое-то время; потом он вовсе исчез.

Воротившись домой, Том обнаружил у себя на лбу черный, точно выжженный огнем, отпечаток пальца, и его никакими силами невозможно было стереть.

Первое, что сообщила ему жена, было известие о внезапной кончине Абсалома Кроуниншильда, богача-буканьера. Газеты с обычным в таких случаях пафосом доводили до всеобщего сведения, что «пал среди Израиля муж велий».

Тому вспомнилось дерево, которое срубил и собирался сжечь его черный приятель. «Ну и пусть! Пусть себе жарится этот корсар! Какое кому до этого дело!» И он убедился, что все виденное и слышанное им в течение дня — сушая правда, а не игра его воображения.

Вообще говоря, Том не очень-то откровенничал со своею женой, но на этот раз его тайна была не из таких, которые легко держать при себе, и он волей-неволей поделился ею с супругой. Но едва поведал он о золоте Кидда, как в ней тотчас же проснулась вся ее жадность и она принялась настаивать, чтобы Том согласился на условия черного человека и не упускал возможности обеспечить себя на всю жизнь. Хотя Том и сам был бы не прочь продать душу дьяволу, он решил все

же не делать этого, чтобы не уступить, упаси боже, настояниям жены, и из духа противоречия наотрез отказался от этого плана. Его отказ вызвал немало жарких схваток меж ними, но чем больше она настаивала, тем непреклоннее делался Том, отнюдь не желавший брать на себя проклятие в угоду жене.

В конце концов она решила действовать самостоятельно и, если бы ее попытка увенчалась успехом, единолично завладеть всеми богатствами. Будучи столь же бесстрашна, как и ее достойный супруг, она направилась как-то под вечер к старому индейскому укреплению. Протекло немало часов, прежде чем она воротилась. Она была молчалива и избегала отвечать на вопросы. Правда, она упомянула о черном человеке, на которого наткнулась уже в сумерки и который рубил высокое старое дерево. Он был, однако, угрюм и не пожелал вступить с нею в переговоры; ей придется пойти туда еще раз с неким подношением, чтобы умилостивить его, — с каким именно, она сообщить воздержалась.

На следующий день, и опять на закате, она снова пошла к болоту; в своем наполненном до краев переднике она несла что-то тяжелое. Том нетерпеливо ожидал ее возвращения, но его ожидания оказались напрасны; наступила полночь — ее не было, миновали утро, полдень, и опять пришла ночь — жены по-прежнему не было. Тут Том стал беспокоиться, и его беспокойство возросло еще больше, лишь только он обнаружил, что она унесла в переднике серебряный чайник и ложки, вообще все ценное, что только могла взять с собой. Прошла еще одна ночь, миновало еще одно утро — жена так и не возвратилась. Короче говоря, с той поры о ней не было больше ни слуху ни духу.

Что приключилось с нею в действительности, этого не знает никто, несмотря на то, а может быть, и вследствие того, что слишком многие старались это узнать. Эта история принадлежит к числу тех, которые стали темными и запутанными из-за чрезмерно большого числа занимавшихся ею историков. Некоторые из них уверяли, будто, заблудившись в лабиринте тропинок, она угодила в яму или трясиину; другие — менее снисходительные — склонялись к тому, что, скрывшись со всеми домашними ценностями, она перебралась затем в другую провинцию, тогда как третьи высказывали предположение, что соблазнитель рода людского завлек ее куда-нибудь в

непроходимую топь, поверх которой и была найдена ее шляпка. Говорили — и это также служит доказательством истинности последнего предположения, — что в тот самый день, когда она ушла из дому, якобы видели поздно вечером какого-то дюжего черного человека с топором на плече, который шел со стороны топи и с торжествующим видом нес в руках узел, увязанный в передник из клетчатой ткани.

Наиболее распространенная и в то же время самая достоверная версия настаивает на том, что Том Уокер, обеспокоенный судьбой жены и имущества, пустился в конце концов на поиски их обоих и отправился с этой целью к индейскому укреплению. В продолжение долгого летнего дня бродил он в этих мрачных местах, но так и не нашел ни малейших следов жены. Он неоднократно звал ее по имени, но никто не откликнулся на его зов. Только выпь, пролетая мимо, отвечала ему, или в ближней луже меланхолически квакала большая лягушка, прозываемая быком. Наконец, как рассказывают, уже во мгле сумерек, в тот час, когда начинают завывать совы и носиться взад и вперед неугомонные летучие мыши, его внимание было привлечено карканьем кружившейся у кипариса стаи ворон. Он поднял глаза и увидел висевший на ветвях дерева узел, завязанный в клетчатый передник, и рядом — огромного коршуна, который, примостившись тут же, нес, казалось, его охрану. Том запрыгал от радости, ибо узнал передник жены и решил, что в нем он вновь обретет домашние ценности.

«Итак, вернем себе наши вещи, — подумал он с облегчением, — и обойдемся как-нибудь без жены».

Том влез на дерево; коршун, расправив могучие крылья, поднялся с места и с клекотом улетел во тьму вечернего леса. Том схватил клетчатый узел, и — о ужас! — в нем не было ничего — ничего, кроме человеческого сердца и печени.

Вот и все, что, согласно наиболее достоверной версии, осталось от жены Тома. Быть может, она попыталась вести себя с черным человеком так же, как привыкла вести себя с мужем, но, хотя на сварливую женщину смотрят обычно как на достойную пару для дьявола, тем не менее на этот раз ей пришлось, видимо, солоно. Она пала, впрочем, смертью храбрых, ибо, как рассказывают, Том обнаружил у подножия дерева глубоко врезавшиеся в землю отпечатки

копыт, а также клочок волос, вырванных, надо полагать, из жесткой шевелюры широкоплечего дровосека. Том знал по опыту, что представляла собою отвага его жены. Осмотрев следы отчаянной схватки, он только пожал плечами. «Вот это да! — сказал он, обращаясь к себе самому. — Туговато пришлось, однако, этому черту!»

Потеряв имущество, Том нашел для себя утешение в потере жены: ведь он был человеком мужественным и стойким. Больше того, он испытывал даже нечто похожее на благодарность к черному дровосеку, так как считал, что тот оказал ему значительную услугу. По этой причине он решил поддерживать это знакомство и в дальнейшем, но все попытки его встретиться с дьяволом некоторое время не имели успеха; старый плут вел осторожную и осмотрительную игру, ибо, хотя и принято думать, что он является по первому зову, на самом деле ему отлично известно, когда выгоднее всего «показать козырь», и он выпускает его только тогда, когда убежден в верном выигрыше.

Наконец, гласит предание, когда Том окончательно потерял терпение и решил пойти на любые условия, лишь бы не упустить вожделенных сокровищ, он повстречал однажды вечером черного человека, который, как всегда, в одежде дровосека, с топором на плече, медленно прогуливался по краю болота и напевал какую-то песенку. Сделав вид, что ему в высшей степени безразличны и Том, и его попытки к сближению, он продолжал идти своей дорогой, бросая с пренебрежительным видом короткие, отрывистые ответы и по-прежнему мурлыча себе под нос.

Тому удалось, однако, постепенно перейти к разговору о деле, и они принялись торговаться об условиях, на которых черный человек соглашался передать ему богатства пирата. Среди прочих условий не было забыто и то, о котором нет надобности распространяться, ибо оно неизменно подразумевается во всех тех случаях, когда дьявол дарит свою благосклонность. Но и в числе менее существенных условий были такие, от которых он ни за что не хотел отступить; он требовал также, чтобы деньги, которыми Том завладеет при его помощи, были использованы в его видах. Он предлагал, например, чтобы Том вложил их в работорговлю, а именно снарядил корабль для перевозки черных невольников. От этого, однако, Том решительно

отказался: он и без того достаточно обременял свою совесть, и сам дьявол не мог соблазнить его сделаться работником.

Встретив со стороны Тома столь большую щепетильность в этом вопросе, он не стал настаивать на своем предложении и высказал пожелание, чтобы Том сделался ростовщиком: дьяволу не терпелось увеличить число ростовщиков, ибо он смотрел на них как на исключительно полезный для его целей народ.

Возражений на этот раз не последовало, ибо ростовничество отвечало самым сокровенным вкусам и пожеланиям Тома.

— В следующем месяце ты откроешь в Бостоне меняльную лавку, — сказал черный человек.

— Если угодно, я сделаю это хоть завтра, — ответил Том Уокер.

— Ты будешь ссужать деньги из двух процентов ежемесячно.

— Клянусь Богом, я согласен драть все четыре! — воскликнул Том Уокер.

— Ты будешь требовать уплаты по векселям, отказывать в продлении закладных, доводить купцов до банкротства.

— Я буду доводить их до самого дьявола! — вскричал Том Уокер.

— Вот это ростовщик по мне! — сказал черный плут с удовольствием. — Когда бы ты хотел получить монету?

— Этой же ночью.

— Стало быть, все, — сказал дьявол.

— Стало быть, все, — повторил Том Уокер. И они ударили по рукам и на этом закончили сделку.

Через несколько дней Том Уокер восседал уже за конторкою меняльной лавки в Бостоне. Слава о нем как о человеке денежном, к тому же готовом в любое время предложить ссуду под солидное обеспечение, быстро распространилась по городу и за его чертою. Всем памятно, конечно, времена губернатора Белчера, когда наличных денег было особенно мало. Это было время кредита. Страна была наводнена государственными бумагами; был учрежден знаменитый Земельный банк; всех обуяла страсть к спекуляциям; народ просто-таки рехнулся, носясь с проектами заселения отдаленных областей и постройки новых городов в медвежьих углах страны; земельные маклеры возились с чертежами участков, планами населенных пунктов и бесчисленных эльдорадо, находившихся неведомо где, на которые, однако, было довольно охотников. Короче

говоря, спекулятивная горячка, которая время от времени охватывает нашу страну, приняла опасные формы, и решительно все мечтали составить себе несметное состояние из ничего. Как всегда, горячка в конце концов миновала; мечты пошли прахом, и вместе с ними исчезли, как дым, воображаемые богатства; люди, только что перенесшие приступ этой болезни, очутились в бедственном положении, и вся страна огласилась стенаниями о том, что наступили «тяжелые времена».

В эту столь благоприятную для него пору общественных бедствий Том Уокер открыл в Бостоне меняльную лавку. Его контора вскоре наполнилась жаждавшими кредита. Сюда валом валили и впавший в нужду, и прожженный авантюрист, и зарвавшийся спекулянт, и строивший воздушные замки земельный маклер, и расточитель-ремесленник, и купец, кредит которого пошатнулся, — короче говоря, всякий, кто любой ценой и любыми средствами старался раздобыть денег.

Том, таким образом, сделался другом всех нуждавшихся, и он вел себя так, как подобает истинному «другу в нужде», то есть, говоря по-иному, требовал хороших комиссионных и достаточного обеспечения. Чем бедственнее было положение просителя, тем жестче были его условия. Он скупал их долговые письма и закладные и, постепенно высасывая своих должников, в конце концов выставлял их сухими как губка, которую тщательно выжали, за двери конторы.

Он пригоршнями загребал деньги, сделался богатым и влиятельным человеком, задавал тон на бирже и все выше и выше задирали свою голову в треуголке. Побуждаемый тщеславием, он выстроил для себя, как полагается, большой каменный дом, но, будучи скарредом, значительную часть его оставил недоделанной и необставленной. Кичась своим богатством, он обзавелся также каретой, но предназначенных для нее лошадей держал на голодном пайке, и, когда ее немазаные колеса визжали и стонали на деревянных осях, вам могло показаться, будто вы слышите души обездоленных должников, которых он пустил по миру.

С годами, однако, Том начал задумываться над своим будущим. Обеспечив себе блага этого мира, он стал беспокоиться о благах мира грядущего. С сожалением вспоминал он о сделке, которую некогда заключил со своим черным приятелем, и измышлял всевозможные

ухищрения, чтобы как-нибудь увильнуть от своих обязательств. Неожиданно для всех он принялся усердно посещать церковь. Он молился громко и истово, точно благоволение неба может быть завоевано с помощью сильных легких. И по степени его воскресного пыла всякий имел возможность судить о тяжести прегрешений, совершенных им за неделю. Скромные христиане, которые медленно и упорно подымались вверх по стезе, ведущей в горний Сион, увидев, что этот новообращенный обогнал их в пути, осыпали себя горестными упреками. В делах религии Том проявлял такую же непреклонность, как и в делах денежных; он сурово судил своих ближних и был столь же суровым блюстителем нравов; он считал, казалось, что любой грех, записанный на их счет, попадает в столбик кредита на странице бухгалтерской книги его собственной жизни. Он толковал даже о том, что нужно возобновить гонения на квакеров и анабаптистов. Короче говоря, религиозный пыл и рвение Тома вскоре приобрели столь же значительную известность, как и его богатства.

Впрочем, несмотря на строгое соблюдение всех внешних форм и обрядов религии, в глубине души Тома одолевал и преследовал мучительный страх, что дьявол все-таки потребует от него уплаты долга. Чтобы не попасться врасплох, он не расставался, как говорят, с маленькой Библией, которую постоянно носил в кармане своего сюртука. У него была, кроме того, еще одна Библия — целый фолиант, — которую он держал у себя на конторке и за чтением которой нередко заставляли его посетители. В этих случаях он закладывал зелеными очками страницу, на которой было прервано чтение, и поворачивался к клиенту, чтобы заключить какую-нибудь новую кабальную сделку.

Некоторые передают, что на старости лет он слегка спятил и, вообразив, будто конец его близок, велел перековать своего коня наново, а также оседлать, взнуздать и закопать его вверх ногами, ибо он вбил себе в голову, что в день светопреставления мир, конечно, перевернется и в этом случае конь будет у него наготове; надо сказать, что он решил, на худой конец, улизнуть от своего давнего друга. Возможно, впрочем, что это не больше чем старушечьи рассказы.

Если он и впрямь принял подобные меры предосторожности, то они нисколько не оправдали себя — так утверждает, по крайней мере,

наиболее достоверная версия этой старинной легенды, которая следующим образом досказывает историю Тома.

Однажды в знойное утро — то было в самый разгар лета, надвигалась страшная грозовая туча — Том сидел у себя в конторе; на нем были белый льняной колпак и утренний халат из индийского шелка. В руках он держал закладную, срок которой истек и которую он собирался предъявить ко взысканию, что повлекло бы за собой окончательное разорение одного земельного спекулянта, связанного с ним, как считали, теснейшею дружбой.

Бедняга-маклер просил об отсрочке платежа на несколько месяцев. Том был неумолим, раздражителен и наотрез отказал в продлении закладной даже на день.

— Но моя семья пойдет по миру; ей придется обратиться к благотворительности прихода, — взмолился должник.

— Милосердие начинается дома, — ответил Том, — я должен прежде всего заботиться о себе — тяжелые времена, ничего не попишешь.

— Но вы столько нажили на моих делах, — попробовал заикнуться маклер.

Том потерял терпение и забыл о своем благочестии.

— Черт меня побери, если я заработал на вас хоть фартинг!

Не успел он вымолвить эти слова, как раздался громкий троекратный стук в дверь. Том поднялся с места, чтобы узнать, кто стучит. Черный человек держал на поводу вороного коня, который от нетерпения ржал и бил копытом о землю.

— Том! За мною! — грубо сказал его черный знакомец. Том отпрянул назад, но уже было поздно; он оставил свою маленькую Библию в сюртуке; его большая Библия лежала под просроченной закладной на конторке: никогда еще ни один грешник не бывал застигнут настолько врасплох, как это произошло с Томом Уокером.

Черный человек вскинул его, точно ребенка, в седло, хлестнул коня, и конь помчался среди грозы и ненастья, унося на своей спине Тома. Его клерки, заложив за ухо перья, пялили на него глаза из окон: Том несся по улицам прочь из города, его колпак болтался из стороны в сторону, халат развевался по ветру, конь при каждом ударе копыта высекал искры из мостовой. Когда клерки обернулись, чтобы взглянуть на черного человека, его уже не было; он бесследно исчез.

Тому Уокеру так и не удалось предъявить ко взысканию свою закладную: он не вернулся. Некий фермер, проживавший у края болота, рассказывал, что в самый разгар грозы, услышав на дороге бешеный топот, ржанье и крики, он подбежал к окну: перед ним мелькнул всадник совершенно такого же вида, как я описывал выше; конь, несясь точно безумный по полям и холмам, устремился в поросшую хемлоками черную топь и махнул в сторону старого индейского укрепления, и вскоре после этого в том же направлении низверглась ужасная молния и сразу запылал лес.

Славный бостонский народ лишь пожимал плечами да покачивал головами; но еще со времен первых переселенцев он настолько привык ко всевозможным призракам, колдунам и выходкам дьявола во всех его обличьях и видах, что описанное происшествие произвело на него гораздо менее жуткое впечатление, чем можно было бы ожидать. Для учета оставшегося после Тома имущества назначили душеприказчиков, но оказалось, что учитывать, собственно говоря, нечего. Вскрыв его сундуки, обнаружили, что все принадлежавшие ему векселя, закладные и другие бумаги превратились в горсточку пепла. Его железная шкатулка, в которой предполагали найти золото и серебро, на деле заключала в себе лишь щепки да стружки. В конюшне вместо двух его тощих коней нашли два истлевших скелета, и на следующий день после исчезновения Тома загорелся его большой каменный дом и сгорел дотла.

Таков был конец Тома Уокера и его нечистым путем нажитого богатства. Пусть поэтому все прижимистые ростовщики и менялы примут эту историю к сведению. Правдивость ее не вызывает ни малейших сомнений. Посудите-ка сами: яма под дубом, из которой Том извлек сокровища Кидда, существует и ныне, вполне доступна для обозрения, и, кроме того, на близлежащем болоте и около индейского укрепления ненастной порою нередко можно увидеть всадника в халате и белом льняном колпаке; этот всадник, вне всяких сомнений, не кто иной, как беспокойный дух злосчастного ростовщика. И еще последнее слово: эта история стала притчею во языцах, и от нее повела начало столь распространенная в Новой Англии поговорка: «Дьявол и Том Уокер».

Натаниель Готорн

(1804–1864)

Молодой Браун

Пер. с англ. Е. Калашниковой

Молодой Браун вышел в час заката на улицу Салема, но, переступив порог, обернулся, чтобы поцеловать на прощание молодую жену. Вера — так звали жену, и это имя очень ей шло, — высунула из дверей свою хорошенькую головку, позволяя ветру играть розовыми лентами чепчика, и склонилась к молодому Брауну.

— Милый мой, — прошептала она тихо и немного грустно, приблизив губы к самому его уху. — Прошу тебя, отложи путешествие до восхода солнца и проспай эту ночь в своей постели. Когда женщина остается одна, ее тревожат такие сны и такие мысли, что подчас она самой себя боится. Исполни мою просьбу, милый муженек, останься со мной — хотя бы одну только эту ночь из всех ночей года.

— Вера моя, любовь моя, — возразил молодой Браун. — Из всех ночей года именно эту ночь я не могу с тобой остаться. Это путешествие, как ты его называешь, непременно должно совершиться между закатом и восходом солнца. Неужели, моя милая, дорогая женушка, ты уже не доверяешь мне, через три месяца после свадьбы?

— Если так, иди с миром, — сказала Вера, тряхнув розовыми лентами. — И дай Бог, чтобы, вернувшись, ты все застал таким, как оставил.

— Аминь! — воскликнул молодой Браун. — Прочитай молитву, дорогая Вера, и ложись спать, как только стемнеет; и ничего дурного с тобой не приключится.

Так они расстались, и молодой человек пошел прямой дорогой до самого молитвенного дома; там, прежде чем свернуть за угол, он оглянулся и увидел, что Вера все еще смотрит ему вслед и лицо ее печально, несмотря на розовые ленты.

«Бедная моя Вера! — подумал он, и сердце у него дрогнуло. — Не злодей ли я, что покидаю ее ради такого дела? А тут еще сны, о

которых она говорила! Мне показалось, при этих словах в лице ее была тревога, точно вещий сон и вправду открыл ей, что должно свершиться сегодня ночью. Но нет, нет, она умерла бы от одной подобной мысли. Ведь она — ангел во плоти, и после этой ночи я никогда больше не покину ее и вместе с ней войду в Царствие Небесное».

Приняв на будущее столь похвальное решение, молодой Браун считал себя вправе пока что поспешить к недоброй цели своего путешествия. Он шел мрачной и пустынной дорогой, в тени самых угрюмых деревьев леса, которые едва расступались, чтобы пропустить узкую тропинку, и тотчас же снова смыкались позади. Трудно было вообразить себе более уединенное место; но в подобном уединении есть та особенность, что путник не знает, не притаился ли кто-нибудь за бесчисленными стволами и в сплетении густых ветвей, и, одиноко шагая по дороге, проходит, быть может, в гуще неведомой толпы.

«Тут за каждым деревом может прятаться коварный индеец, — сказал себе молодой Браун и, боязливо оглянувшись, прибавил: — А что, если сам дьявол идет бок о бок со мной?»

Все еще оглядываясь, он миновал изгиб дороги, потом снова посмотрел вперед и увидел человека в скромной и строгой одежде, сидевшего под большим раскидистым деревом. Как только молодой Браун поравнялся с ним, тот встал и зашагал рядом.

— Поздненько вы собрались, молодой Браун, — сказал он. — Часы на Старой Южной церкви били, когда я проходил через Бостон, а с тех пор прошло уже не меньше пятнадцати минут.

— Вера немного задержала меня, — отвечал молодой человек с легкой дрожью в голосе, которая была вызвана внезапным появлением спутника, не таким уж, впрочем, неожиданным.

В лесу теперь стало совсем темно, особенно в той стороне, которую им пришлось идти. Однако можно было разглядеть, что второй путник — человек лет пятидесяти, видимо, принадлежавший к тому же общественному сословию, что и молодой Браун, и очень с ним схожий, хоть, пожалуй, не столько чертами, сколько выражением лица. Их легко было принять за отца и сына. И все же, несмотря на то что старший был одет так же просто, как и младший, и так же прост в обращении, была в нем какая-то неизъяснимая уверенность знающего свет человека, который не растерялся бы и за столом у губернатора

или даже при дворе короля Вильгельма, если бы обстоятельства привели его туда. Впрочем, единственным, что при взгляде на него останавливало внимание, был его посох, напомилавший своим видом большую черную змею и так причудливо вырезанный, что казалось, будто он извивается и корчится, как живая гадина. Это, разумеется, был не более как обман зрения, которому способствовал неверный свет.

— Послушай, молодой Браун! — вскричал старший путник. — Таким шагом мы не скоро доберемся. Возьми мой посох, если ты уже успел утомиться.

— Друг, — возразил тот и, вместо того чтобы ускорить шаг, круто остановился, — я выполнил наше условие, встретившись с тобой здесь, но теперь хотел бы вернуться туда, откуда пришел. У меня возникли сомнения по поводу известного тебе дела.

— Вот как? — воскликнул обладатель змеиного посоха, незаметно улыбнувшись при этом. — Хорошо, но давай все же за разговором будем продолжать наш путь; ведь, если мне не удастся убедить тебя, ты всегда успеешь повернуть назад. Мы не так далеко ушли.

— Слишком далеко! Слишком далеко! — воскликнул молодой человек и, сам того не замечая, снова зашагал вперед. — Ни мой отец, ни отец моего отца никогда не пускались ночью в лес за подобным делом. Со времен первых мучеников в нашем роду все были честными людьми и добрыми христианами; так мне ли первому из носящих имя Браун вступать на этот путь и заводить...

— ...подобные знакомства, хотел ты сказать, — вставил старший путник, истолковывая таким образом его минутное замешательство. — Хорошо сказано, молодой Браун! Ни с кем из пуритан не водил я такой дружбы, как с вашим семейством; это что-нибудь да значит. Я помогал твоему деду, констеблю, когда он плетью гнал квакершу по улицам Салема; и не кто иной, как я, подал твоему отцу сосновую головню из собственного моего очага, которой он поджег индейский поселок во время войны с королем Филиппом. Оба они были мои добрые друзья; и не раз мы с ними, совершив приятную прогулку по этой самой дороге, весело возвращались после полуночи домой. В память их я и с тобой рад подружиться.

— Если то, что ты говоришь, правда, — возразил молодой Браун, — удивляюсь, отчего они никогда не поминали ни о чем

подобном; впрочем, удивляться тут нечему, ибо, если б только прошел об этом слух, им бы не видать больше Новой Англии. Мы тут люди богомольные, примерного поведения и не потерпели бы подобного нечестия.

— Нечестие это или нет, — сказал путник со змеиным посохом, — а только я могу похвалиться обширным знакомством здесь, в Новой Англии. Церковные староста многих приходов пили со мной вино причастия; олдермены многих селений избрали меня своим главой, а среди судей и советников большинство — верные блюстители моей выгоды. Также и губернатор... Однако это уже государственная тайна.

— Возможно ли! — вскричал молодой Браун. — А впрочем, что мне до губернатора и советников! У них своя совесть, и они не пример для скромного землепашца. Но если я пойду с тобой, как мне взглянуть потом в глаза нашему салемскому священнику, этому святому человеку? Ведь дрожь пробирает меня с ног до головы, едва я заслышу его голос в день Воскресения Господня или в день проповеди.

До сих пор старший путник слушал его слова с должной серьезностью, но тут им овладел приступ неудержимого веселья и весь он так затрясся от смеха, что, казалось, даже змеиный посох корчится в его руке.

— Ха-ха-ха! — покатывался он снова и снова; потом, немного успокоившись, вымолвил: — Отлично, друг Браун, продолжай, да только, прошу тебя, не умори меня со смеху.

— Так вот, чтобы сразу покончить с этим, — сказал молодой Браун с немалой досадой, — у меня есть жена, которую я люблю. Это разбило бы ее сердце, а я готов уж лучше разбить свое.

— Ну когда так, — сказал его собеседник, — ступай своим путем, друг Браун. Я не хотел бы огорчить Веру даже ради двадцати таких старушонок, как вон та, что бредет перед нами.

Говоря это, он указал своим посохом на женскую фигуру, двигавшуюся по той же тропинке, и молодой Браун узнал в ней некую весьма благочестивую и добродетельную матрону, которая в детстве учила его катехизису и до сих пор оставалась его советчицей в делах религии и нравственности наряду со священником и церковным старостой Гукином.

— Удивительно, в самом деле, как это тетушка Клойз очутилась одна в таком глухом месте, да еще в такой поздний час, — сказал молодой Браун. — Но если вы позволите, друг, я пойду напрямик через лес, покуда мы не обгоним эту добрую христианку. Ведь она вас не знает; как бы она не стала расспрашивать, с кем это я беседую и куда направляюсь.

— Пусть будет так, — отвечал его спутник. — Ступай же сам через лес, а я пойду дальше тропинкой.

Так уговорились; молодой человек свернул в сторону и пошел лесной чащей, но при этом старался не упустить из виду своего товарища, который бесшумно шагал по тропинке, покуда расстояние, отделявшее его от старухи, не уменьшилось до длины дорожного посоха. Она меж тем продолжала свой путь с удивительной для ее лет быстротой и на ходу не переставала бормотать что-то, должно быть молитву. Путник протянул посох и тем концом его, куда приходился хвост змеи, дотронулся до морщинистой старушечьей шеи.

— Что за черт! — взвизгнула благочестивая дама.

— Значит, тетушка Клойз признала своего старого друга? — спросил путник, остановившись перед нею и опершись на свой извивающийся посох.

— Ах, батюшка, да это и в самом деле ваша милость! — вскричала добрая старушка. — Вы и есть, да еще в образе старого моего куманька, констебля Брауна, дедушки того молодого дурня, который нынче носит это имя. Поверите ли, ваша милость, моя метла пропала; должно быть, эта ведьма, тетушка Кори, — петли на нее нет! — стащила ее, а я как раз только что натерлась вся мазью из настоя дикого сельдерея, лапчатки и волчьего корня...

— ...смешанного с просеянной пшеницей и жиром новорожденного младенца, — вставил двойник старого Брауна.

— Ах, ваша милость знает этот рецепт! — воскликнула почтенная особа, подобострастно хихикнув. — Ну вот, приготовившись ехать на сбор и не найдя своей лошади, я решила отправиться пешком; говорят, нынче будут посвящать новичка, славного молодого человека. Но теперь, если ваша милость захочет предложить мне руку, мы в мгновение ока будем на месте.

— Вот уж это едва ли, — отвечал ее друг. — Рука моя занята, тетушка Клойз; но, если хотите, вот вам мой посох.

С этими словами он бросил свой посох на землю, и, быть может, тот сразу же ожил, будучи сродни тем жезлам, которыми его обладатель некогда снабдил египетских магов. Этого чуда, однако, молодому Брауну не пришлось наблюдать. Он в изумлении поднял глаза к небу, а когда снова опустил их, то не увидел уже ни тетушки Клойз, ни змеиного посоха; только прежний спутник дожидался его на тропинке, спокойный и равнодушный, словно ничего не произошло.

— Она учила меня катехизису, — сказал молодой человек, и эти слова были в его устах полны значения.

Они продолжали свой путь, и старший все уговаривал младшего не поворачивать назад, а, напротив, прибавить шагу, так искусно подбирая при этом доводы, что казалось, они не им высказаны, а возникают в мыслях у самого слушателя. По дороге он отломил большой кленовый сук, чтобы сделать себе новый посох, и принялся очищать его от сучков и веточек, еще влажных от вечерней росы. И странно — как только он прикасался к ним пальцами, листья на них становились сухими и желтыми, словно целую неделю пробыли под палящим солнцем. Так, широким бодрым шагом подвигаясь вперед, дошли оба путника до глухого и темного оврага. Но тут вдруг молодой Браун уселся на придорожный пенек и отказался идти дальше.

— Друг, — сказал он с твердостью, — решение мое непреклонно. Больше ты меня не заставишь сделать ни шагу. Пусть этой глупой старухе угодно было отправиться к дьяволу, когда я думал, что она на пути к вечному блаженству, — разве это причина, чтобы мне покинуть милую мою Веру и поспешить туда же?

— Скоро ты переменишь свое мнение, — хладнокровно ответил его спутник. — Посиди тут, отдохни немного; а когда явится у тебя желание продолжать путь — вот тебе мой посох в подмогу.

Не говоря более ни слова, он бросил к его ногам кленовый сук и так быстро скрылся из виду, будто растаял в сгущавшейся мгле. Молодой человек еще несколько времени сидел у дороги, весьма довольный собою, думая о том, как завтра со спокойной душой встретит он священника в час его утренней прогулки и как ему не нужно будет прятать глаза от доброго старосты Гукина. И как сладко будет ему спать в ту ночь, которую он начал так дурно, но окончит теперь тихо и безмятежно в объятиях милой Веры! Среди этих

приятных и похвальных размышлений молодой Браун слышал вдруг конский топот и, помня о нечестивом замысле, приведшем его на эту дорогу, хоть и столь счастливо отвергнутом ныне, счел благоразумным укрыться в лесной чаще.

Все явственнее становился стук копыт и вместе с ним голоса всадников — два глуховатых старческих голоса, степенно ведших беседу. Судя по звуку, можно было заключить, что всадники едут по дороге в нескольких ярдах от того места, где прятался молодой человек, но, должно быть, тут, у оврага, сильно сгустилась тьма, потому что ни людей, ни коней не было видно. Слышалось шуршание задетых ими веток, но ни разу их фигуры не заслонили полоску слабого света в том месте, где сквозь гущу деревьев проглядывало ночное небо, хотя, проезжая по дороге, они непременно должны были пересечь это место. Молодой Браун то присаживался на корточки, то приподнимался на носки и, раздвинув ветки, насколько позволяла осторожность, вытягивал голову, но не мог ровно ничего разглядеть. Это было тем досаднее, что голоса показались ему знакомыми, и, будь что-либо подобное мыслимо, он мог бы поклясться, что это священник и староста Гукин мирно трусят рысцей бок о бок, как то бывало обычно, когда они ехали на собрание церковного совета. Миновав молодого Брауна, один из всадников остановился сорвать прутик.

— Что до меня, достопочтенный сэръ, — слышался голос старосты, — я бы лучше согласился пропустить парадный обед, чем нынешнее собрание. Говорят, кое-кто из наших явится сегодня из Фалмута и его окрестностей, а иные из Коннектикута и Род-Айленда, и еще будет несколько индейских шаманов, которые на свой лад искусны в чертовщине не меньше, чем самые опытные из нас. К тому же будут посвящать одну новенькую, очень благочестивую молодую женщину.

— Все это отлично, староста Гукин, — возразил густой бас священника. — Но вы пришпорьте свою кобылу, а то уже поздно. Ведь вы же знаете, без меня там не могут начать.

Копыта снова застучали, и голоса, так удивительно перекликавшиеся в пустом пространстве, затерялись в лесных чащобах, где никогда не собиралась паства и не молился одинокий прихожанин. Что же нужно было этим святым людям в глубине

языческого леса? Молодой Браун схватился за ближнее дерево, чтобы не упасть, потому что ноги у него подкосились от внезапной тяжести, болезненно сдавившей сердце. Он поднял глаза, сомневаясь в том, есть ли еще небо над его головою. Но синяя твердь была на своем месте, и на ней уже поблескивали звезды.

— Нет, Всевышний на небе и Вера на земле помогут мне устоять против дьявола! — воскликнул молодой Браун.

Все еще глядя в глубину небосвода, он воздел руки, чтобы прочитать молитву, но тут, хотя ветра не было вовсе, набежала откуда-то туча и застлала сверкающие звезды. Кругом по-прежнему было ясное небо, только прямо над его головой чернела эта туча, быстро двигавшаяся на север. Воздух вдруг наполнился смутным и нестройным гулом людских голосов, доносившихся сверху, как будто из недр тучи. Ему показались было, что он различает голоса своих односельчан, мужчин и женщин, праведников и нечестивцев, добрых людей, вместе с ним ходивших к причастию, и беспутных гуляк, не раз виденных им у дверей кабака. Но звуки были так неясны, что в следующий миг его взяло сомнение, не лес ли это зашелестел вдруг листвою. Потом докатилась новая волна знакомых голосов, которые каждый день при солнечном свете раздавались на улицах Салема, но никогда еще не звучали ему из ночного неба. Один голос выделялся из общего шума, голос молодой женщины; она как будто жаловалась на что-то, хотя и не очень горестно, и молила о какой-то милости, которую, быть может, страшилась заслужить; а весь невидимый рой святых и грешников подбадривал ее и торопил вперед.

— Вера! — вскричал молодой Браун голосом, полным ужаса и отчаяния; и со всех сторон понеслись насмешливые отголоски: «Вера! Вера!» — точно потревоженная нечисть искала ее по всему лесу.

Еще не улегся этот крик боли, гнева и страха, пронзивший ночную тишину, а несчастный уже затаил дыхание, ожидая ответа. Послышался одинокий вопль, но он тотчас же затерялся в гомоне множества голосов, который перешел в хохот и вскоре замер вдали; темная туча пронеслась мимо, и над молодым Брауном снова засияло безмолвное чистое небо. Что-то легко спустилось сверху и повисло, зацепившись за сук. Молодой человек протянул руку и увидел перед собой розовую ленту.

— Моя Вера погибла! — воскликнул он, когда прошел первый миг оцепенения. — Нет добра на земле, и грех — лишь пустое слово. Сюда, дьявол, теперь я вижу, что ты хозяин в этом мире!

Тут, словно обезумев от отчаяния, молодой Браун разразился долгим и громким хохотом, а затем ухватил кленовый посох и зашагал вперед с такой быстротой, что казалось, он не шел и не бежал по земле, а летел над нею. Дорога становилась все более мрачной и дикой, тропинка то и дело терялась в чаще, а под конец и вовсе пропала, но, следуя тому чутью, которое безошибочно ведет смертного к дурной цели, он шел напролом сквозь дремучие дебри. Со всех сторон лес оживал в страшных звуках — трещали ветки, выли дикие звери, перекликались индейцы; а ветер то гудел, точно колокол дальней церкви, то поднимал вокруг путника рев и хохот, как будто вся природа решила над ним посмеяться. Но страшней всего этого был сам молодой Браун, и никакие ужасы не могли его напугать.

— Ха-ха-ха! — вторил молодой Браун хохоту ветра. — Ну-ка, посмотрим, кто громче умеет смеяться. Выходи, ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский шаман! Выходи хоть сам дьявол — вот я, молодой Браун! Бойтесь меня так же, как я боюсь вас!

И в самом деле, вся нечисть, кишевшая в лесу, не могла быть страшней, чем молодой Браун в этот час. Без устали мчался он среди черных сосен, бешено размахивая посохом, и то изрыгал потоки неслыханных богохульств, то разражался смехом, от которого по всему лесу шел трезвон, точно стая демонов хохотала с ним вместе. Бес в подлинном своем образе куда менее страшен, чем когда он вселяется в человека. Так спешил этот одержимый к своей цели, покуда не увидел впереди, между деревьями, мерцающий красный свет, как бывает, когда на корчевье жгут срубленные стволы и сучья и зловещие отсветы пламени играют на полночном небе. Буря, гнавшая его вперед, немного утихла, он замедлил шаг, и откуда-то издалека донеслись до него волны торжественных звуков, похожих на пение многоголосого клира. Он узнал мелодию; то был гимн, который часто пели у них в молитвенном доме. Последняя нота стиха тяжело замерла вдали, но ее тотчас же подхватил хор, состоявший не из человеческих голосов, а из всех звуков полночного леса, которые сливались в дикой гармонии. Молодой Браун закричал, но даже сам не услышал своего голоса, прозвучавшего в унисон с криком дебрей.

В наступившей затем тишине он стал красться вперед, и вскоре свет ударил ему в глаза. На краю открытой полянки, окруженной темной стеною леса, высилась скала, которой природа придала некоторое сходство с алтарем или кафедрой, и вокруг нее, точно свечи на вечерней молитве, стояли четыре горящие сосны, вздымая на черных стволах объятые пламенем кроны. Густая листва, скрывавшая вершину скалы, тоже пылала, и огненные языки взвивались высоко в ночь, ярко озаряя все кругом. Каждая веточка, каждый завиток зелени полыхал огнем. Красные отсветы разгорались и гасли, и многолюдная толпа, собравшаяся на поляне, то ярко освещалась, то исчезала в тени и снова как будто рождалась из мрака, наполняя жизнью лесную глушь.

— Почтенные люди в темных одеждах, — прошептал молодой Браун.

И это в самом деле было так. Среди толпы в быстрой смене тьмы и света мелькали лица, которые накануне можно было увидеть в залах ратуши, глаза, которые каждое воскресенье молитвенно обращались к небу или отечески ласково взирали на паству с высоты прославленных своей святостью церковных кафедр. Утверждают, будто и супруга губернатора была там. Во всяком случае, были многие знатные дамы, близко к ней стоявшие, и жены почтенных мужей, и вдовы, целое скопище вдов, и старые девы с незапятнанным именем, и юные красотки, трепетавшие от страха, как бы не попасться на глаза маменькам. И может быть, резкие вспышки света среди мглы ослепили молодого Брауна, но только ему показалось, что он узнает десятка два прихожан салеминой церкви, славившихся своим примерным благочестием. Добрый староста Гукин был уже на месте и не отходил от святого старца, своего достопочтенного пастыря. Но тут же, в неподобающей близости с этими почтенными, богобоязненными и уважаемыми людьми, столпами Церкви, целомудренными матронами и непорочными девственницами, стояли мужчины, известные своей беспутной жизнью, женщины, пользовавшиеся дурной славой, отщепенцы, повинные во всех видах гнусного порока и подозреваемые в страшных преступлениях. Странно было видеть, что добрые не сторонились злых и грешников не смущало соседство праведников. Вперемежку со своими бледнолицыми врагами попадались в толпе и индейские жрецы, или шаманы, умевшие

держат в страхе родные леса силой таких заклинаний, каких не знает ни один колдун в Европе.

«Но где же Вера?» — подумал молодой Браун, и надежда, затеплившаяся в сердце, заставила его вздрогнуть.

Зазвучал новый стих гимна, медленная и скорбная мелодия, отрада благочестивых душ, но в сочетании со словами, которые выражали все оттенки греха, доступные человеческому разумению, и смутно намекали на большее. Премудрость бесовская непостижима для простого смертного. Стих следовал за стихом, и после каждого гудел по-прежнему хор лесных голосов, точно мощный бас исполинского органа, и последний раскат страшного этого антифона звучал так, как будто рев ветра, грохот потока, звериный рык и все нестройные шумы чащи вторили голосу преступного человека, вместе с ним воздавая хвалу Князю Тьмы. Четыре сосны разгорелись ярче, и в клубах дыма, стлавшегося над нечестивым сборищем, обозначались черты чудовищных призраков. В то же мгновение пламя на скале взвилось багровыми языками кверху и раскинулось огненным шатром, под сенью которого появилась человеческая фигура. Не прогневайтесь, но фигура эта как платнем, так и всей осанкой напоминала почтенных священнослужителей Новой Англии.

— Введите новообращенных! — прокричал чей-то голос, и эхо прокатилось по всей поляне и затерялось в лесу.

При этих словах молодой Браун выступил из тени деревьев и приблизился к греховной общине, в которой невольно чувствовал он собратьев по всему дурному, что находило отклик в его душе. Он мог бы поклясться, что видел, как из облака дыма выпянул призрак его покойного отца и поманил его вперед; но женщина с затуманенными скорбью чертами протянула руку, как бы предостерегая его. Быть может, это была его мать? Но он не в силах был отступить даже на шаг или воспротивиться хотя бы мысленно, когда священник и добрый староста Гукин подхватили его под руки и повели к пылающей скале. Туда же приблизилась стройная женская фигура под вуалью, в сопровождении тетушки Клойз, этой благочестивой наставницы юношества, и Марты Кэриер, которой дьявол давно уже обещал, что она будет королевой ада. И страшна же была эта старая ведьма! Оба прозелита дошли до подножия скалы и остановились под огненным балдахинном.

— Добро пожаловать, дети мои, — сказала темная фигура, — в час приобщения к родному племени! В расцвете молодости вам дано познать самих себя и свою судьбу. Оглянитесь назад, дети мои!

Они обернулись, и в яркой вспышке, словно в пелене огня, предстала их взорам толпа почитателей дьявола. Улыбка приветствия зловеще сверкала на каждом лице.

— Здесь, — продолжал черный призрак, — вы видите всех, к кому с детства привыкли питать уважение. Вы считали их добродетельнее других и стыдились своих грехов, думая о жизни этих людей, полной праведных дел и неземных устремлений. И вот теперь вы всех их встречаете здесь, где они собрались для служения мне. В эту ночь откроются вам все их тайные дела; вы узнаете, как седовласые пастыри нашептывали слова соблазна молодым служанкам на кухне; как не одна почтенная матрона, стремясь поскорее украсить себя вдовьим крепом, угощала супруга на ночь питьем, от которого он засыпал последним сном на ее груди; как безусые юноши торопились стать наследниками родительского состояния и как прелестные девы — не опускайте глаз, красавицы! — рыли маленькие могилки в саду и меня одного звали гостем на похороны младенца. Природная тяга человеческой души ко всему дурному поможет вам учуять грех всюду, где бы он ни совершился, — в церкви, в спальне, на улице, в лесу или в поле; и, ликуя, придете вы к мысли, что вся земля — не что иное, как единый сгусток зла, одно огромное пятно крови. Более того — вам будет дано проникать в глубь сердец, туда, где гнездится сокровенная тайна греха, неисчерпаемый источник злой силы, рождающей больше дурных побуждений, чем мог бы осуществить человек своей властью и даже моей! Ну а теперь, дети мои, взгляните друг на друга!

Они взглянули, и при свете факелов ада несчастный узнал свою Веру, и она увидела мужа, в трепете склонившегося перед неосвященным алтарем.

— Вот вы оба стоите здесь, дети мои, — продолжал призрак, и голос его, глубокий и торжественный, прозвучал почти грустно, как будто падший ангел еще мог скорбеть о нашем жалком роде. — Сердцем надеясь друг на друга, вы всё еще верили, что добродетель — не праздная мечта. Теперь ваше заблуждение рассеялось. Зло лежит в основе человеческой природы. Зло должно стать единственной вашей

радостью. Так добро пожаловать, дети мои, в час приобщения к родному племени!

— Добро пожаловать! — подхватила вся толпа почитателей дьявола, и в крике этом торжество сливалось с отчаянием.

А они стояли не двигаясь, единственные две души, колебавшиеся еще на грани нечестия в этом темном мире. В скале было углубление, похожее на чашу. Вода ли блестела в нем, покрасневшая в зловещих отблесках пламени, или то была кровь? Или, может быть, жидкий огонь? В эту чашу погрузил свои пальцы дух тьмы и приготовился начертать на челе у них знак крещения, посвящая их в тайну зла, чтобы они узнали о чужих грехах, будь то дела или помыслы, больше, чем знали сейчас о своих собственных. Муж бросил взгляд на бледное лицо жены, а жена посмотрела на мужа. Еще одно мгновение, и они предстанут друг другу гнусными тварями, содрогаясь при виде того, что прежде было сокрыто.

— Вера! Вера! — вскричал молодой Браун. — Обрати взор к небу и воспротивься злу!

Послушалась она или нет, он так и не узнал. Не успел он договорить, как очутился один в ночной тиши, нарушаемой только ревом ветра, глухо замиравшим в чаще леса. Пошатнувшись, он ухватился за скалу; она была влажная и прохладная, и свисавшая ветка, которую он только что видел в пламени, окропила щеки его ледяной росой.

На следующее утро молодой Браун медленно шел по улицам Салема, озираясь вокруг растерянным взглядом. Добрый старый священник прогуливался на кладбище, обдумывая новую проповедь и нагоняя аппетит к завтраку; увидя молодого Брауна, он ласково благословил его из-за ограды. Но молодой Браун отшатнулся от почтенного священнослужителя, словно тот хотел предать его анафеме. Староста Гукин читал молитву в кругу своих домашних, голос его долетал из раскрытого окна. «Какому богу молится этот колдун?» — прошептал молодой Браун. Тетушка Клойз, эта примерная христианка, грелась в лучах солнышка на своем крыльце, наставительно поучая маленькую девочку, принесшую ей кружку парного молока. Молодой Браун оттащил девочку прочь, словно вырывая ее из когтей самого дьявола. Завернув за угол молитвенного дома, он тотчас же заметил розовые ленты Веры, которая тревожно

всматривалась вдаль и так обрадовалась, завидев мужа, что вприпрыжку пустилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но молодой Браун строго и печально взглянул ей в лицо и прошел мимо, не сказав ни слова.

Что же, молодой Браун просто заснул в лесу и бесовский шабаш лишь привиделся ему во сне?

Пусть будет так, если угодно; но — увы! — для молодого Брауна то был зловещий сон. Иным человеком стал он с этой памятной ночи — строгим, печальным, мрачно-задумчивым, утратившим веру если не в Бога, то в людей. Когда во время воскресной службы запевали в церкви святой псалом, он не мог слушать; заглушая священную мелодию, бился у него в ушах кошунственный гимн греху. Когда священник, положив руку на раскрытую Библию, пылко и красноречиво говорил с кафедры о святых основах нашей религии, о праведной жизни и смерти, достойной христианина, о грядущем блаженстве или неизреченных страданиях, молодой Браун бледнел, ожидая, что вот-вот своды храма обрушатся на головы седого богохульника и его слушателей. Часто в полночь он вдруг просыпался и с содроганием отодвигался от Веры; а когда все домашние становились на колени во время утренней или вечерней молитвы, он хмурился, бормотал что-то про себя и, сурово глянув на жену, отворачивался в сторону. И когда, прожив долгую жизнь, седым стариком он сошел в могилу, когда Вера, и дети, и внуки, и соседи чинной толпой проводили его в последний путь, на надгробном камне не высекли слов надежды, ибо мрачен был его смертный час.

Роберт Льюис Стивенсон

(1850–1894)

Маркхейм

Пер. с англ. Н. Волжиной

— Да, сэръ, — сказал хозяин лавки, — в нашем деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет удача. Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят мне проценты. Попадаются люди бесчестные... — Тут он поднял свечу повыше, так что свет резко ударил в лицо его собеседнику. — Но в таком случае, — заключил он, — я выгадываю на своем добром имени.

Маркхейм только что вошел в лавку с залитой светом улицы, и его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, разреженной кое-где яркими бликами. Эти неспроста сказанные слова и близость горящей свечи заставили его болезненно сморщиться и отвести взгляд в сторону.

Антиквар усмехнулся.

— Вы приходите ко мне в первый день Рождества, — продолжал он, — зная, что, кроме меня, в доме никого нет, что окна в лавке закрыты ставнями и что я ни в коем случае не буду заниматься торговлей. Ну что ж, вам это будет накладно. Вы поплатитесь за то, что я потрачу время на подсчет нового итога в моей приходной книге, а также за некую странность вашего поведения, которая уж очень заметна сегодня. Я сама скромность и никогда не задаю лишних вопросов, однако, если клиент не смотрит мне в глаза, с него за это причитается.

Антиквар снова усмехнулся, но тут же перешел на свой обычный деловой тон, хотя все еще с оттенком иронии.

— Как всегда, вы, разумеется, дадите мне исчерпывающее объяснение, каким образом вещь попала к вам в руки, — сказал он. — Все из того же шкафчика вашего дядюшки? Какой он у вас замечательный собиратель редкостей, сэръ!

И тщедушный, сгорбленный антиквар чуть не привстал на цыпочки, всматриваясь в Маркхейма поверх золотой оправы очков и с

явным недоверием покачивая головой. Маркхейм ответил ему взглядом, полным бесконечной жалости и чуть ли не ужаса.

— На этот раз, — сказал он, — вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет никаких диковинок на продажу; в шкафчике моего дядюшки хоть шаром покати. Но если бы даже он был набит, как прежде, я, пожалуй, скорее занялся бы его пополнением, потому что за последнее время мне сильно везло на бирже. Цель моего сегодняшнего прихода проще простого. Я подыскиваю рождественский подарок для одной дамы. — Он говорил все свободнее, входя в колею заранее приготовленной речи. — И, разумеется, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил вас по столь ничтожному поводу. Но вчера я не удосужился заняться этим; мое скромное подношение надо сделать сегодня за обедом, а, как вы сами отлично понимаете, богатой невестой пренебрегать не годится.

Последовала пауза, во время которой антиквар как бы взвешивал слова Маркхейма. Тишину нарушало только тиканье множества часов, висевших в лавке среди прочей старинной рухляди, да отдаленное гроыхание экипажей на соседней улице.

— Хорошо, сэр, — сказал антиквар. — Пусть будет по-вашему. В конце концов, вы мой давний клиент, и, если вам действительно удастся сделать хорошую партию, не мне быть этому помехой. Вот, пожалуйста, отличный подарок для дамы, — продолжал он. — Ручное зеркальце. Пятнадцатый век, подлинное и из хорошей коллекции. Из чьей именно, я умолчу в интересах моего клиента, который, подобно вам, уважаемый сэр, приходится племянником и единственным наследником одному замечательному коллекционеру.

Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.

— Зеркало, — хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно: — Зеркало? На Рождество? Да можно ли?

— А что тут такого? — воскликнул антиквар. — Почему не подарить зеркало?

Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.

— Вы спрашиваете почему? — сказал он. — Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет. И никому не может быть приятно.

Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:

— Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.

— Я пришел к вам, — сказал Маркхейм, — за рождественским подарком, а вы... вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало — это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажете о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.

Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.

— Куда вы клоните? — спросил антиквар.

— Неужто не сердобольный? — хмуро проговорил Маркхейм. — Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?

— Сейчас я вам скажу, все или не все, — резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся. — Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.

— А-а! — воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством. — А вы-то сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.

— Я? — воскликнул антиквар. — Я — и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?

— Куда нам спешить? — возразил ему Маркхейм. — Стоим, беседуем — это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как

цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни — обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческого. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?

— Мне осталось сказать вам только одно, — проговорил антиквар. — Покупайте или уходите вон из моей лавки!

— Правильно, правильно, — сказал Маркхейм. — Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.

Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость, — и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.

— Может, вот это вам подойдет? — сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.

Время заговорило в лавке десятками негромких голосов — и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее огонек с торжественной мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся лавка наполнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.

Полный страха, блуждающий взгляд Маркхейма вернулся к телу его жертвы, которая лежала съежившись и в то же время словно распластавшись на полу и казалась до невероятия маленькой и, как ни странно, еще более жалкой, чем при жизни. В своей убогой, ветхой одежке, в этой нелепой позе антиквар стал похож на кучу опилок. Минуту назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а оказалось — вот только и всего! И тем не менее под его взглядом эта охапка заношенной одежды и лужа крови начинали обретать весьма выразительный голос. Вот так *оно* будет лежать; некому привести в действие хитроумные пружинки этого тела или управлять чудом движения — так ему и придется лежать до тех пор, пока его не обнаружат. Обнаружат! А тогда что? Тогда эта мертвая плоть так возвысит свой голос, что он разнесется по всей Англии и отзвуки погони наполнят весь мир. Да, мертвый, живой ли, он все еще враг. «Было время, когда у жертвы череп размозжен, кончался человек, и все кончалось», — вспомнилось ему, и мысль его сразу ухватилась за это слово: время! Теперь, после того как дело сделано, время, остановившееся для жертвы, обрело огромное безотлагательное значение для убийцы.

Эта мысль все еще владела Маркхеймом, когда сначала одни, потом другие — в разном темпе, на разные голоса, то густые, как у колокола на соборной колокольне, то звонко отстукивавшие начальные такты вальса — часы начали отбивать три пополудни.

Внезапный говор стольких языков, нарушивших безмолвие, ошеломил Маркхейма. Он заставил себя прийти в движение среди зыбких теней, которые обступали его со всех сторон, и со свечой в руке заходил по лавке, обмирая от страха при виде своих беглых отражений, возникавших то тут, то там. Эти отражения, точно скопище шпионов, замелькали в богатых зеркалах — английской, венецианской и голландской работы; глаза Маркхейма встречались с собственным шарящим взглядом, звуки собственных шагов, хоть и приглушенных, будоражили окружающую тишину. И пока он набивал себе карманы, разум с томительным упорством твердил ему о тысяче просчетов в его замысле. Надо было выбрать час затишья; надо было позаботиться об алиби; не надо было убивать ножом; надо было действовать осмотрительнее и только связать антиквара и засунуть ему в рот кляп; или же, напротив, проявить бóльшую смелость и

убить заодно и служанку — все надо было делать по-иному. Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь, как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим непоправимо содеянного. И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи, точно крысы, снующие на заброшенном чердаке, поднимали бурю в далеких уголках его мозга: вот рука констебля тяжело ложится ему на плечо — и нервы его дергались, как рыба на крючке; перед ним вихрем проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб.

Мысль о прохожих на улице осаждала его со всех сторон, как неприятельское войско. Ведь не может же быть, думал он, чтобы отзвуки насилия не достигли чьего-либо слуха, не пробудили чьего-либо любопытства. И он представлял себе, что в соседних домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись, — одиночки, встречающие Рождество воспоминаниями о прошлом и вдруг оторванные от этого сладостного занятия, и счастливые, семейные, и вот они тоже замолкают за праздничным столом, и мать предостерегающе поднимает палец. Сколько их, самых разных — по возрасту, положению, характеру, — и ведь хотят дознаться, и прислушиваются, и плетут веревку, на которой его повесят. Иногда ему казалось, будто он ступает недостаточно тихо; позвякивание высоких бокалов богемского стекла отдавалось в его ушах, как удары колокола; опасаясь полнозвучного тиканья часов, он готов был остановить маятники. А потом тревога начинала нашептывать ему, что самая тишина лавки зловеща, что она насторожит прохожих и заставит их задержать шаги. И он ступал смелее, не остерегаясь, шарил среди вещей, загромождавших лавку, и старательно, с напускной храбростью, подражал движениям человека, не спеша и деловито хозяйничающего у себя дома.

Но теперь страхи так раздирали Маркхейма, что покуда одна часть его мозга была начеку и всячески хитрила, другая трепетала на грани безумия. И с особой силой завладела им одна галлюцинация. Бледный как полотно сосед, замерший у окна, или прохожий, во власти страшной догадки остановившийся на тротуаре, — эти в худшем случае могут только заподозрить что-то, а не знать наверняка, сквозь каменные стены и ставни на окнах проникают лишь звуки. Но здесь, в

самом доме, один ли он? Да, разумеется, один. Ведь он выследил служанку, когда она отправилась по своим амурным делам в убогом праздничном наряде, каждый бантик которого и каждая ее улыбка говорили: «Уж погуляю сегодня вволю». Нет, конечно, он здесь один. И все же где-то наверху, в недрах этого пустынного дома, ему явственно слышался шорох тихих шагов — сам не зная почему, он ясно ощущал чье-то присутствие здесь. Да, несомненно! В каждую комнату, в каждый закоулок дома следовало за *этим* его воображение; вот *оно*, безликое, но зрячее, вот превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара, вновь ожившего, вновь коварного и злого.

Время от времени он через силу заставлял себя посмотреть на открытую дверь, которая все еще как бы отталкивала от себя его взгляд. Дом был высокий, фонарь в крыше маленький, грязный, день слепой от тумана, и свет, еле просачивавшийся сверху до нижнего этажа, чуть заметно лежал у порога лавки. И все же — не тень ли чья-то колыхалась там, в этом мутном световом пятне?

Вдруг какой-то чрезвычайно весело настроенный джентльмен начал колотить снаружи палкой во входную дверь лавки, сопровождая удары возгласами, шуточками и то и дело окликаая антиквара по имени. Оледенев от ужаса, Маркхейм бросил взгляд на мертвеца. Нет, убитый лежал неподвижно; он ушел далеко-далеко, туда, куда не достигали эти призывы и стук, утонул в пучине безмолвия, и его имя, которое он различил бы прежде даже сквозь рев бури, стало пустым звуком. Вскоре, однако, весельчак бросил ломиться в дверь и удалился.

Вот он, красноречивый намек, что надо поскорее все доделать, уйти из этих мест, которые несут в себе осуждение, погрузиться в глубь лондонского людского моря и достичь — уже по ту сторону минувшего дня — своей постели, этой надежной, оберегающей от улик гавани. Один гость сюда уже наведалься; в любую минуту может появиться другой, более настойчивый. Но сделать то, что сделано, и не пожать плодов — такая неудача будет непереносима. Деньги — вот о чем думал теперь Маркхейм, и средством к достижению этой цели были ключи.

Он оплянул через плечо на дверь, где все еще маячила, колыхаясь на пороге, та самая тень, и без душевного содрогания, но чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве. В ней не осталось

ничего живого, человеческого. Руки и ноги, разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками, — и все же в этом трупе было что-то отталкивающее. На взгляд он такой жалкий, невзрачный, но, когда прикоснешься, не почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного? Маркхейм взял антиквара за плечи и перевернул его навзничь. Он был на удивление легкий и податливый, руки и ноги, будто сломанные, под несуразными углами легли на пол. Лицо лишено всякого выражения, желтое как воск, а на правом виске страшно расплзлась кровь. Только это и резануло Маркхейма и мгновенно унесло его назад, к одному памяtnому ярмарочному дню в рыбацкой деревушке: серый день, посвистывающий ветер, людские толпы на улице, рев медных труб, буханье барабанов, гнусавый голос уличного певца и маленький мальчик, шныряющий среди взрослых. Мальчика раздражают любопытство и страх, и, пробившись наконец на площадь, туда, где толпа всего гуще, он видит балаган и большую доску с нелепыми, грубо размалеванными картинками: Элизабет Браунриг со своим подмастерьем, чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом, и еще десятка два других прогремевших на всю страну преступников. Это возникло перед ним как видение; он снова был тем маленьким мальчиком, снова с таким же чувством гадливости разглядывал мерзкие картинки, оглушительная барабанная дробь по-прежнему звучала у него в ушах. В памяти пронесся обрывок песенки, услышанной в тот день, и тут впервые его охватила дурнота и чуть затошнило, и он почувствовал слабость во всех членах, которую надо было немедленно пресечь и побороть.

Он решил, что разумнее будет не отмахиваться от этих новых мыслей и не бежать их, а смелее взглянуть в мертвое лицо, заставить себя осознать сущность и огромность своего преступления. Ведь совсем недавно в этом лице отражалась каждая смена чувств, эти бледные губы выговаривали слова, это тело было согрето волею к действию, а теперь, после того, что сделал он, Маркхейм, эта частичка жизни остановлена, подобно тому как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов. Но тщетны были все его доводы: на угрызения совести он не мог себя подвинуть. Сердце, содрогавшееся когда-то при виде аляповатых изображений убийств, бестрепетно взирало на действительность. Он чувствовал

лишь проблеск жалости к тому, кто, будучи наделен всеми способностями, которые могут превратить мир в волшебный сад, так и не использовал их, и не жил настоящей жизнью, и теперь лежал мертвый. Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени.

И, стряхнув с себя все эти мысли, он отыскал ключи и подошел к внутренней двери; она все еще стояла приоткрытая. На улице хлынул ливень, и шум дождевых струй по крыше прогнал тишину. Точно в пещере, со сводов которой капает, по дому ходило несмолкаемое эхо дождя, глушившее слух и мешавшееся с громким тиканьем часов. И когда Маркхейм подошел к двери, он услышал в ответ на свою осторожную поступь чьи-то шаги, удалявшиеся вверх по лестнице. Тень у порога все еще переливалась зыбью. Он подтолкнул свою мускулатуру всем грузом решимости и затворил дверь.

Слабый свет туманного дня тусклым отблеском лежал на голом полу и ступеньках, на серебристых рыцарских доспехах с алебардой в рукавице, загромождавших лестничную площадку, на резных фигурках и на картинах в рамах, развешанных по желтым стенным панелям. Шум дождя так громко отдавался во всем доме, что в ушах Маркхейма он начинал дробиться на разные звуки. Шаги и вздохи, маршевая поступь солдат где-то в отдалении, звяканье монет при счете и скрип осторожно открываемых дверей — все это как бы сливалось со стуком дождя по крыше и хлестанием воды в сточных трубах. Чувство, что он не один здесь, доводило Маркхейма почти до безумия. Какие-то призраки следили за ним, обступали его со всех сторон. Ему чудилось движение в верхних комнатах; слышалось, как в лавке встает с пола мертвец, и, когда он с огромным усилием стал подниматься по лестнице, чьи-то ноги тихо ступали впереди него и тайком следовали за ним. Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа была бы спокойна! И тут же, вслушиваясь с обостренным вниманием, он снова и снова благословлял это недреманное чувство, которое все время было начеку, точно верный часовой, охранявший его жизнь. Он непрерывно вертел головой по сторонам; глаза его, чуть ли не вылезавшие из орбит, всюду вели слежку, и всюду мелькало нечто, чему не подобрать имени, и всякий раз скрывалось в последний миг. Двадцать четыре ступеньки на верхний этаж были для Маркхейма пыткой, перенесенной двадцать четыре раза.

Там, наверху, три приотворенные двери, точно три засады, грозившие пушечными жерлами, хлестнули его по нервам. Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным от все примечающих людских взглядов; ему хотелось домой, под охрану своих стен, — зарыться в постель и стать невидимым для всех, кроме Бога. И тут он подивился, вспомнив рассказы о других убийцах, об их страхе перед карой небесной. Нет, с ним так не будет. Он страшился законов природы — как бы они, следуя своим жестоким, непреложным путем, не изобличили его. И еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов. Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила, выводя следствия из причин. Но что, если природа, как побежденный самодур, опрокидывающий шахматную доску, ломает форму этой взаимосвязи? Нечто подобное (как утверждают историки) случилось с Наполеоном, когда зима изменила время своего прихода. Так же может случиться и с ним; плотные стены вдруг станут прозрачными и обнаружат его здесь, как пчелу, хлопчущую в стеклянном улье; крепкие половицы вдруг уйдут из-под ног, точно трясина, и удержат его в своих цепких объятиях; да и более заурядные случаи могут принести ему погибель. Вдруг дом рухнет и заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний и со всех сторон к нему двинутся пожарные. Вот что его страшило, и ведь в какой-то мере все это можно будет счесть десницей Господней, подъятой против греха. Впрочем, с Богом он как-нибудь поладит: он содеял, бесспорно, нечто исключительное, но, как известно Богу, не менее исключительны и причины, приведшие его к этому. И там, в небесах, а не от людей, ждал он справедливого суда.

Когда он благополучно добрался до гостиной и затворил за собой дверь, у него отлегло от сердца. Комната эта была в полном беспорядке, к тому же без ковра, ее загромождали упаковочные ящики и самая сборная мебель: высокие трюмо, в которых он отражался под разными углами, точно актер на сцене, много картин в рамах и без рам — все поставленные лицом к стене, прекрасный шератоновский буфет, горка с инкрустацией и широкая старинная кровать под гобеленовым пологом. Окна здесь шли до самого пола, но, по великому счастью, нижняя половина их была закрыта ставнями, и это

скрывало Маркхейма от соседей. И вот, придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи. Дело это оказалось затяжным, да и докучным, ибо ключей было много, а в горке могло и не найтись то, что он искал, между тем как время летело быстро. Однако кропотливость этого занятия успокоила его. Уголкем глаза он видел дверь — изредка даже посматривал на нее, точно полководец в осаде, довольный надежностью своей обороны. Да, он был спокоен. Дождь за окнами шумел так естественно и уютно. А вот на другой стороне улицы проснулось чье-то фортепьяно, и хор детских голосов подхватил напев и слова гимна. Какая величавая и умиротворяющая мелодия! Какая свежесть в юных голосах! Подбирая ключи, Маркхейм с улыбкой слушал их, и в памяти у него толпились ответные мысли и картины: дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками, плывущими в небе по ветру; а с новой строфой гимна он снова в церкви, и снова дремотность летних воскресных дней, сладкий тенор пастора (вспомянутый с легкой улыбкой), раскрашенные надгробия времен короля Якова и полустертые буквы на доске с десятью заповедями в часовне.

Так он сидел, машинально перебирая ключи, и вдруг вскочил на ноги. Ледяная волна, волна огненная, кровь, забурлившая в жилах, захлестнули его; потрясенный, он замер на месте. Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул, и дверь отворилась.

Страх тискалами сжимал Маркхейма. Он не знал, чего ему ждать. Кто это? Мертвец ли идет сюда, или должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель, который случайно забрел в лавку и теперь препроводит его на виселицу? Но вот чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем — кивок и дружеская, словно знакомому, улыбка, а вслед за тем лицо это исчезло, дверь затворилась, и страх, с которым Маркхейм уже не мог совладать, вырвался наружу в хриплом крике. И, услышав его, неведомый посетитель вернулся.

— Ты звал меня? — приветливо спросил он, вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Маркхейм стоял и смотрел на него не отрываясь. Оттого ли, что глаза ему застилало туманом, очертания этого пришельца словно бы

менялись и подергивались зыбью, как у тех фарфоровых божков в зыбком освещении лавки. И то ему казалось, будто он знает его, то мерещилось в нем сходство с самим собой; и ужас глыбой давил ему грудь при мысли, что перед ним предстало нечто чуждое и земле, и небесам.

Однако в прищельце этом, с улыбкой смотревшем на Маркхейма, было что-то самое заурядное, и когда он спросил:

— Ты, наверно, ищешь деньги? — вопрос его прозвучал равнодушно-вежливо.

Маркхейм ничего ему не ответил.

— Я должен предупредить тебя, — снова заговорил прищелец, — что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обычного и скоро вернется. Если мистера Маркхейма застанут здесь, мне не надо объяснять ему, что из этого воспоследует.

— Ты меня знаешь? — воскликнул убийца.

Неизвестный улыбнулся.

— Ты мой давний любимец, — сказал он, — я долгие годы наблюдаю за тобой и не раз старался тебе помочь.

— Кто ты? — воскликнул Маркхейм. — Дьявол?

— Важна услуга, — возразил ему неизвестный, — а кто ее окажет, не имеет значения.

— Нет, имеет! — воскликнул Маркхейм. — Имеет! Принять помощь от тебя? Никогда! Только не от тебя! Ты еще меня не знаешь. Благодарение Богу, ты не знаешь меня!

— Я тебя знаю, — ответил неизвестный сурово, но без злобы. — Я знаю тебя наизусть.

— Знаешь? — воскликнул Маркхейм. — Кто меня может знать? Моя жизнь — пародия и поклеп на меня самого. Я прожил ее наперекор своей натуре. Все так живут. Человек лучше той личины, что прикрывает и душит его. Жизнь волочит нас за собой, точно наемный убийца, который хватается за свою жертву и набрасывает на нее плащ. Если б люди могли распорядиться собой, если б можно было видеть их истинные лица, они предстали бы перед светом совсем иными, они воссияли бы подобно святым и героям! Я хуже многих, я обременен грехами, как никто другой, но то, что послужит мне оправданием, знаю только я и Господь Бог. И будь у меня сейчас время, я раскрыл бы себя до конца.

— Передо мной? — спросил неизвестный.

— Прежде всего перед тобой, — ответил убийца. — Я полагал, что ты умен. Я думал, что — раз уж ты существуешь — ты сердцевед. А ты хочешь судить меня по моим делам! Подумать только — по делам! Я родился и жил в стране великанов. Великаны тащили меня за руки с того первого часа, как мать даровала мне жизнь. Великаны эти — обстоятельства нашего существования. А ты хочешь судить меня по моим делам! Но разве тебе не дано заглянуть мне в душу? Не дано понять, что зло ненавистно мне? Неужто ты не видишь там, в глубине, четкие письмена совести, хотя и пребывающие нередко втуне, но ни разу не перечеркнутые измышлениями ложного ума? Неужто тебе не дано распознать во мне существо самое заурядное среди людей — грешника поневоле?

— Все это изложено с большим чувством, — последовал ответ, — но я тут ни при чем. Твои логические выкладки меня не касаются, и мне безразлично, какие именно силы влекли тебя за собой, важно, что ты подчинился им. Но время летит; служанка идет не торопясь, разглядывает встречных на улице и щиты с афишами, но все-таки она подходит все ближе и ближе. И помни, это все равно что сама виселица шагает сюда по праздничным улицам. Ты примешь мою помощь — помощь того, кому ведомо все? Сказать тебе, где лежат деньги?

— А что ты потребуешь взамен? — спросил Маркхейм.

— Пусть это будет моим рождественским подарком, — ответил неизвестный.

Маркхейм не удержался от горькой, но торжествующей улыбки.

— Нет, — сказал он. — Из твоих рук мне ничего не надо. Если б я умирал от жажды и твоя рука поднесла мне кувшин к губам, у меня хватило бы мужества отказаться. Пусть это покажется неправдоподобным, но я не сделаю ничего такого, что ввергнет меня во власть зла.

— Я не возражаю против покаянной исповеди на смертном одре, — сказал незнакомец.

— Потому что не веришь в ее действенность! — воскликнул Маркхейм.

— Дело не в этом, — возразил ему неизвестный. — Пойми, что я смотрю на все такое под другим углом, и, когда жизнь человеческая

подходит к концу, мой интерес к ней угасает. Человек жил у меня в услужении, бросал на ближних своих черные взгляды, прикрываясь благочестием, или же, подобно тебе, сеял плевелы между пшеницей, безвольно потворствуя обуревавшим его страстям, и на пороге своего освобождения он может сослужить мне еще одну службу — покаяться, умереть с улыбкой на устах и этим подбодрить более робких моих приверженцев, из тех, что еще живы, и вселить в них надежду. Я не такой уж суровый властелин. Испытай меня. Прими мою помощь. Ублажай себя в жизни, как ты это делал до сих пор; ублажай себя вволю, сядь за пиршественным столом повольготнее, а когда ночь начнет сгущаться и настанет время спустить шторы на окнах — поверь мне, ради собственного спокойствия, — тебе будет совсем не трудно уладить свои неурядицы с совестью и раболепно вымолить мир у Господа Бога. Я только что от такого смертного одра, и комната была полна людей, которые искренне скорбели и проникновенно внимали последним словам умирающего; и, взглянув ему в лицо, прежде такое каменное, не ведавшее милосердия, я увидел, как оно осветилось улыбкой надежды.

— И ты полагаешь, что я тоже такой? — спросил Маркхейм. — Что побуждения у меня низкие: грешить, грешить и грешить и под конец пробраться в Царство Небесное? Мне претит самая мысль об этом. Так вот оно, твое знание человеческой природы! Или ты подозреваешь меня в такой низости только потому, что я попался тебе на месте преступления? Неужто же убийство — деяние столь нечестивое, что оно способно иссушить и самые источники добра?

— Я не ставлю его в какой-то особый ряд, — ответил неизвестный. — Всякий грех — убийство, так же как вся жизнь — война. На мой взгляд, род человеческий подобен морякам, гибнущим на плоту в открытом море, когда они вырывают крохи у голода, пожирая друг друга. Я веду счет грехам и после мига их свершения и убеждаюсь, что конечный итог каждого греха — смерть. В моих глазах хорошенькая девушка, которая мило капризничает и перечит матери, собираясь на бал, так же обагрена человеческой кровью, как и ты — убийца. Я сказал, что веду счет грехам? Добродетель я тоже не упускаю из виду, и разница между ними не толще гвоздя: порок и добродетель — всего лишь серп в длани ангела, пожинаящего жатву Смерти. Зло, ради которого я существую, коренится не в делах, а в

натуре человеческой. Дурной человек — вот кто дорог мне, но никак не дурные дела, ибо плоды этих дел, если проследить их в сокрушительном водовороте веков, могут стать более благотворными, чем плоды редчайших добродетелей. И я хочу помочь тебе скрыться не потому, что ты убил какого-то антиквара, а потому, что ты Маркхейм.

— Я буду откровенен с тобой до конца, — ответил Маркхейм. — Преступление, за которым ты меня застал, мое последнее. На пути к нему я усвоил не один урок, и оно само стало для меня уроком, серьезнейшим уроком. До сих пор я внутренне противился тому, что делал. Я был в рабстве у нищеты, она преследовала, бичевала меня. Есть на свете несокрушимая добродетель, которая способна устоять перед искушениями; моя не такова: я жаждал радостей жизни. Но сегодня из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение и богатство — то есть силу и новую решимость стать самим собой. Отныне я буду свободен во всех своих поступках, я уже вижу себя совсем другим человеком, вот эти руки творят добро, это сердце обретает мир. Что-то из прошлого возвращается ко мне: что-то такое, что я прозревал впереди, обливаясь слезами над великими книгами, о чем мечтал по воскресным вечерам под звуки церковного органа или беседовал с матерью в пору невинного детства. Вот он, мой жизненный путь: были годы, когда я отклонялся от него, но теперь передо мной снова встает вдали мое предназначение.

— Надо полагать, ты пойдешь с этими деньгами на биржу? — сказал незнакомец. — И, если не ошибаюсь, несколько тысяч ты уже проиграл там?

— О да! — воскликнул Маркхейм. — Но на сей раз я буду действовать наверняка.

— И на сей раз тоже проиграешь, — спокойно ответил ему неизвестный.

— Но половину-то я приберегу! — воскликнул Маркхейм.

— Эти деньги тоже проиграешь, — сказал неизвестный.

На лбу у Маркхейма выступил пот.

— Ну и что же? — вскричал он. — Пусть я все проиграю, пусть я снова впаду в нищету, но неужели же половина моей природы, худшая половина, всегда, до самого конца, будет одолевать лучшую? Зло и добро с равной силой влекут меня каждое в свою сторону. Нет во мне

любви к чему-то одному — я люблю все. Я могу отдать должное великим свершениям, жертвенности, мученичеству, и, хоть я и пал так низко, что совершил убийство, чувство жалости не чуждо мне. Я жалею бедных: кому другому лучше знать их злоключения? Я жалею бедных и помогаю им. Я готов славить любовь и люблю искренний смех. Все доброе, все истинное, что только есть на свете, — все люблю моему сердцу. И разве мою жизнь так и будут направлять пороки, а добродетели останутся лежать втуне, как мертвый груз? Нет, этого не может быть. Добро тоже способно побуждать к действию.

Но его собеседник предостерегающе поднял палец.

— Все тридцать шесть лет, что ты живешь на земле, я слежу за тобой, — сказал он, — я знаю твои колебания и постигшие тебя превратности судьбы и вижу, как ты падаешь все ниже и ниже. Пятнадцать лет назад ты содрогнулся бы при мысли о краже. Три года назад слово «убийство» заставило бы тебя побледнеть. Есть ли такое преступление, есть ли такая жестокость или низость, от которой ты еще способен отшатнуться? Через пять лет ты сам убедишься, что нет. Твой жизненный путь идет под уклон, все под уклон, и, кроме смерти, ничто тебя не остановит.

— Да, верно, — хрипло проговорил Маркхейм. — В какой-то мере я покорился злу. Но ведь это можно отнести ко всем людям: даже святые, поскольку жизнь идет своим чередом, день ото дня становятся все менее взыскательны к себе и под конец сливаются с окружающей их средой.

— Я задам тебе простой вопрос, — сказал собеседник Маркхейма, — и в зависимости от ответа прочту тебе твой духовный гороскоп. Ты стал во многих отношениях не так строг к себе; что ж, может быть, это и правильно, поскольку все люди таковы. Хорошо, допустим. Но есть ли что-нибудь — пусть это будет мелочь, — есть ли что-нибудь, с чем тебе труднее примириться в твоих поступках, или ты даешь себе волю во всем?

— Есть ли что-нибудь? — в мучительном раздумье повторил Маркхейм. — Нет, — с отчаянием проговорил он наконец. — Ничего такого нет. Я опустил ся во всем.

— Тогда, — сказал неизвестный, — принимай себя таким, каков ты есть, ибо тебе уже не измениться и твоя роль на этой сцене определена до конца.

Маркхейм долго стоял молча. Молчание первым прервал неизвестный.

— А если это так, — сказал он, — открыть тебе, где лежат деньги?

— А милосердие? — воскликнул Маркхейм.

— Разве ты не искал его сам? — возразил ему неизвестный. — Разве я не видел тебя года два или три назад на молитвенных собраниях и не громче ли всех звучал твой голос в гимне?

— Да, это правда, — сказал Маркхейм. — И теперь я знаю твердо, что делать, знаю, в чем состоит мой долг. Благодарю тебя от всего сердца за твои поучения; глаза мои открылись, и я наконец-то вижу себя таким, каков я есть.

В этот миг по всему дому разнесся резкий звон дверного колокольчика, и, будто дождавшись условного сигнала, неизвестный сразу заговорил по-другому.

— Служанка! — крикнул он. — Я предупреждал, что она вот-вот должна вернуться, и теперь тебе предстоит сделать еще один трудный шаг. Скажи ей, что ее хозяин занемог;пусти ее; вид у тебя должен быть уверенный и серьезный — не улыбайся, но и не переигрывай, и я обещаю тебе победу. Девушка войдет, дверь за ней захлопнется, и та же сноровка, с которой ты разделался с антикваром, поможет тебе убрать эту последнюю опасность с твоего пути. У тебя впереди будет весь вечер, а если понадобится, то и вся ночь, чтобы отыскать спрятанные здесь сокровища и благополучно скрыться. Под личиной опасности к тебе идет помощь. Спешите! — воскликнул он. — Спешите, друг мой! Твоя жизнь колеблется на весах! Действуй!

Маркхейм устремил твердый взгляд на своего советчика.

— Если я обречен на злодеяния, — сказал он, — одна дверь, ведущая к свободе, для меня еще открыта — ведь от действия можно отказаться. Если моя жизнь порочна, от нее можно отказаться. Хоть я и поддаюсь, как ты говоришь, любым ничтожным искушениям, я могу сделать решительный шаг и уйти из-под их власти, моя любовь к добру — пустоцвет, ну что ж, пусть так! Но ненависть ко злу во мне еще жива, и ты убедишься, к своему горькому разочарованию, что из этой ненависти я почерпну силу и мужество.

Чудесная, радующая взор перемена вдруг преобразила лицо неизвестного; оно смягчилось и просветлело чувством торжества и нежности, и, светлея, черты его стали таять и расплываться. Но

Маркхейм не потратил ни минуты на то, чтобы проследить до конца или осмыслить это преобразование. Он распахнул дверь и медленно, в глубоком раздумье спустился по лестнице. Прошлое потекло перед его трезвым взглядом; он видел его таким, каким оно было, безобразным и изнурительным, точно страшный сон, в нем властвовала беспорядочная игра случая — вот она, картина полного поражения! Жизнь, представшая перед ним, уже не искушала его; но по ту сторону жизни ему виделась тихая пристань, ожидавшая его челн. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где возле убитого все еще горела свеча. Какая странная тишина была там! Он смотрел на труп, и мысли об антикваре вихрем проносились у него в мозгу. Дверной колокольчик снова разразился нетерпеливым звоном.

Маркхейм встретил служанку у порога с подобием улыбки на губах.

— Сходите за полицией, — сказал он. — Я убил вашего хозяина.

Шарлотта Ридделл

(1832–1906)

Последний из Эннисморских сквайров

Пер. с англ. В. Полищук

— Видал ли я его? Нет, сэръ, сам не видал, и отец мой тоже не видал, равно как и дед, тоже Фил Риган, как и я. Однако все это правда, такая же правда, как то, что все это произошло именно там, куда вы сейчас смотрите. Мой прадедушка, проживший, к слову сказать, девяносто восемь лет, — так вот он сколько раз, бывало, рассказывал, как снова и снова встречался ему незнакомец, что одиноко бродил ночь за ночью по песчаному морскому берегу, как раз там, где прибывало обломки разбитых кораблей.

— А старый дом, значит, стоял вон за той полосой сосен?

— Точно так, и роскошный был дом. Отец мой, по его собственным словам, столько раз слышал рассказы об этом доме, что ему уж казалось, будто он знает в нем все комнаты наперечет, хотя дом превратился в руины еще до его рождения. После того как сквайр уехал, из семейства в доме больше никто не жил, да и прочие не отваживались там останавливаться. Все-то там раздавались какие-то жуткие звуки: сначала грохот да стук, точно что-то скатывается с самой вершины лестницы в холл, а потом гомон, будто множество людей беседует да звенит стаканами. А потом вроде как бочки в подвалах начнут перекатываться, а затем как подыметесь визг, и вой, и смех, так прямо кровь в жилах и стынет! Поговаривают, будто в тех подвалах зарыто золото, но никто не осмеливался искать его. Даже дети — и те не смеют играть там; а если кто пашет в поле, что за развалинами, и припозднится, нипочем не станет там ночевать. Когда опускается ночь и прилив подступает к берегу, многим мерещатся на берегу разные странности.

— Но что такое им является на самом деле? Когда я попросил хозяина рассказать мне эту историю от начала до конца, он отвечал, что, мол, запомывал. А по мне, так все это пустая болтовня, рассказы, которые повторяют на потеху приезжим.

— А кто ж такой ваш хозяин, как не приезжий? Откуда ему знать, что да как тут было в почтенных семействах вроде Эннисморов? Они-то ведь были самые что ни на есть родовитые, все как один настоящие дворяне. А уж таких злонравных, хоть всю Ирландию обыщи, и то не найдешь. Верно говорю: если Райли не сможет рассказать вам всю историю, то я смогу, потому что, как я уже говорил, моя семья в ней тоже была хоть как-то да замешана. Так что, если ваша милость соблаговолит присесть и отдохнуть вот тут, на бережку, я поставлю наземь свою вершу и поведаю всю правду о том, как сквайр Эннисмор ушел из Ардвинса.

Стоял чудесный день, самое начало июня, и англичанин, опустившись на песок, обвел бухту Ардвинс взглядом, полным несказанного довольства. Налево виднелся Багровый мыс, направо, до самого горизонта, белели, теряясь вдаль, атлантические буруны, а прямо перед англичанином расстилалась бухта, и ее зеленовато-синие волны сверкали в лучах летнего солнца, разбиваясь там и сям о прибрежные камни и обращаясь в пену.

— Видите, сэръ, какое тут течение? Тем-то наша бухта и опасна для несведущего путешественника, который рискнет сунуться в воду или отправиться на прогулку, не зная о приливе. Взгляните, как надвигается на нас море — ни дать ни взять лошадь, что несется к финишу на скачках. Вот эта песчаная полоса до последнего остается на поверхности, а потом не успеешь и глазом моргнуть, как ты уже в ловушке. Потому-то я и дерзнул заговорить с вами — смотрю, человек пришлый, надо предупредить, ведь бухта наша пользуется дурной славой не только из-за сквайра Эннисмора, но и из-за приливов. Но вы-то хотели послушать о сквайре и о старом доме. По словам моего прадеда, последним из смертных, попытавшихся жить в заброшенном доме Эннисморов, была некая Молли Лири, побирушка без роду и племени; целыми днями она попрошайничала, а ночи проводила в крытой дерном хижине, которую выстроила за канавой, и, уж будьте уверены, она на седьмом небе была, когда агент сказал: «Да пусть попробует пожить в доме; там есть и торф, и мореный дуб (говорит он ей), и полкроны в неделю на зиму, а к Пасхе — гинея», — это когда дом надо будет прибрать перед приездом господ; а жена его дала Молли кой-какую теплую одежду да пару одеял; вот Молли Лири там и устроилась.

Можете не сомневаться, комнату она себе выбрала не худшую, и поначалу все шло тихо-мирно, пока однажды ночью Молли не проснулась оттого, что какая-то неведомая сила подняла под ней кровать за все четыре угла и давай трясти, точно ковер. Надобно вам сказать, кровать-то была тяжеленная, с балдахинном, — так Молли с перепугу чуть концы не отдала. И вот трясет кровать, так что та скрипит хуже корабля, попавшего в шторм у наших берегов, а потом как бухнет на прежнее место — Молли от неожиданности чуть язык не прикусила.

Но как трясло кровать, это еще что, рассказывала затем Молли; а вот как пошли потом по всему дому шорохи, да топот, да смех, да визг! Даже если бы по комнатам, коридорам и лестницам бегала добрая сотня людей, они и то не наделали бы такого шума.

Молли и сама не помнила, как выскочила из дому; нашел ее один наш местный, который припозднился и возвращался домой с ярмарки в Балликлойне, — бедняжка съезжилась вон там, под кустом терновника, едва ли не в чем мать родила, да простит меня ваша милость за такие слова. Ее всю лихорадило, она несла окоlesiцу и с тех пор так и осталась малость не в себе.

— Но с чего все началось? С каких пор дом окружен дурной славой?

— А с тех самых пор, как покинул его старый сквайр. К тому-то я и веду. Пока сквайр не достиг преклонного возраста, он появлялся тут лишь наездами, а как состарился, поселился насовсем. В те времена, о которых я повествую, ему было уже к семидесяти, но осанка у него оставалась прямая, да и в седле он держался как молодой, и перепить мог кого угодно: бывало, все захмелеют и под стол повалятся, а ему хоть бы что, преспокойно ложится почивать, и вся нежить ночная ему нипочем.

Человек он был ужасный. Не найдешь такого порока, в котором он бы не превзошел сам себя; сызмальства грешил, все грехи испробовал: и пил, и играл, и на поединках дрался — ему это было как воздух. Но наконец натворил он в Лондоне таких гнусных дел, что и словами не опишешь, и порешил уехать оттуда, от англичан, подобру-поздорову, да поселиться в нашей глуши, где никто не знает, каков он есть. Поговаривали, будто вознамерился он жить вечно и что будто бы

имелись у него некие капли, дарившие вечную жизнь и здоровье. Так оно или не так, а только было в нем что-то на диво странное.

Как я уже говорил, сквайр с любимым молодым мог бы потягаться; и станом прям, и лицом свеж, точно юноша, и зорек что твой ястреб, да и по голосу не скажешь, что прожил на свете семь десятков лет!

Но вот наступил март месяц, когда сквайру Эннисмору должно было исполниться семьдесят, и выдался тот март хуже некуда, такого в наших краях еще не видывали — метельный, вьюжный, ветреный. Море все штормило, и вот в одну штормовую ночь разбилось у Багрового мыса какое-то чужеземное судно. Говорят, адский был шум, слышный даже сквозь вой ветра, — и треск, и грохот, и предсмертные вопли; и неведомо, что было страшнее — эти звуки или вид берега, усеянного телами людей самого разного возраста и звания, от мальца-юнги до седобородых моряков.

Кто они были и из каких краев приплыло то злосчастное судно, разузнать так и не удалось, но при покойниках обнаружили и нательные кресты, и четки, и все такое прочее, так что священник сказал, что это христианские души, и погибших отпели в церкви и похоронили как подобает, на нашем кладбище. Среди корабельных обломков ничего стоящего не нашлось; весь ценный груз потонул у Багрового мыса, и волны вынесли на берег бухты только большую бочку бренди.

Сквайр потребовал ее себе: ему по праву принадлежало все, что появлялось на его земле, и бухта тоже считалась его собственностью — вся бухта, каждый фут, до самого Багрового мыса, — так что, разумеется, бренди он забрал себе. Только скверно он поступил, не дав своим людям, выловившим бочонок, ничего, даже стакана виски.

Ну, короче говоря, в бочке оказался самый чудесный бренди, какой кому-либо доводилось пробовать. Съехались к сквайру на угощение разные господа, ближние и дальние, и пошли у них пирушки, да карты, да кости. Пили они и драли горло ночь за ночью, даже по воскресным дням, Господи, прости их, грешников! Аж из Балликлойна приезжали военные и осушали стакан за стаканом до самого утра понедельника, потому что из того бренди выходил великолепный пунш.

А потом вдруг раз — и как отрезало, гости больше не появлялись. Прошел слух, будто с бренди этим что-то неладно. Никто в точности не мог сказать, в чем дело, а только поговаривали, что кое-кому этот бренди начал приносить сплошные несчастья.

Те, кто испробовал напиток из бочки сквайра, стали очень быстро терять деньги. Им не удавалось обыграть сквайра, и среди них начались разговоры о том, что проклятую бочку следует вывезти в море и затопить на глубине полусотни морских саженей.

Шел конец апреля, и погода стояла необыкновенно теплая и ясная для этого времени года. И вот стали замечать, что ночь за ночью по берегу бухты в одиночестве бродит какой-то незнакомец — смуглый, как и весь экипаж судна, погребенный на нашем местном кладбище, в ушах золотые серьги, на голове чудная шляпа, а ходит так, будто пританцовывает. Из местных его видели несколько человек, и все диву давались. Пытались с ним заговорить, но он в ответ только головой мотал, так что никому не удалось разузнать, откуда он взялся и зачем явился в наши края. И потому решили, что незнакомец этот не кто иной, как призрак одного из многих несчастных, потонувших у Багрового мыса, бесприютная душа, которая ищет себе пристанища в освященной земле.

Наш священник отправился на побережье и тоже попытался разговорить неизвестного. «Чего ты ищешь? — спросил преподобный. — Христианского погребения?» Но смуглый в ответ лишь покачал головой. «Чего ты хочешь? Не весть ли подать женам и детям, которых оставили вы вдовами и сиротами?» Но и это оказалось не так. «Что обрекло тебя бродить здесь — уж не тяжкий ли грех у тебя на душе? Утешат ли тебя заупокойные службы? Вот язычник! — воскликнул преподобный. — Видали ль вы доброго христианина, который бы мотал головой при упоминании церковной мессы?» — «Быть может, он не понимает по-английски, преподобный, — предположил один из сопровождавших священника офицеров. — Попробуйте обратиться к нему по-латыни».

Сказано — сделано. Но преподобный обрушил на незнакомца такую длинную и причудливую тираду из латинских молитв, что тот обратился в бегство.

«Это злой дух! — воскликнул преподобный, который попытался догнать незнакомца, однако, запыхавшись, отстал. — И я изгнал его!»

Однако же на другую ночь неизвестный вновь как ни в чем не бывало явился на берег.

«Что ж, пусть остается, — объявил преподобный. — Меня вчера так прохватило на берегу, что теперь все кости ноют и в спине прострел, не говоря уж о том, как я охрип, выкликая молитвы на ветру. Да и сомневаюсь я, что он понял хоть слово».

Так продолжалось некоторое время, и незнакомец — или же призрак незнакомца — внушал местным жителям такой страх, что они не осмеливались и близко подойти к берегу. В конце концов сам сквайр Эннисмор, насмеявшийся над рассказами о призраке, надумал отправиться ночью на побережье и разузнать, что там творится. Может статья, мысль эта пришла сквайру от скуки и одиночества, поскольку, как я уже говорил вашей милости, гости стали обходить его дом стороной и пить ему теперь было не с кем.

И вот однажды ночью сквайр и впрямь отправился в бухту — идет себе и в ус не дует. Лишь немногие отважились последовать за ним, держась на почтительном расстоянии. Завидев сквайра, тот человек устремился к нему и на чужеземный манер приподнял свою шляпу. Чтобы не показаться неучтивым, старый сквайр ответил ему тем же.

«Я пришел, сударь, — заговорил он громко и отчетливо, дабы незнакомец понял его, — желая узнать, что вы ищете и могу ли я вам помочь».

Человек взглянул на сквайра с приятнью, словно тот сразу пришелся ему по сердцу, и вновь приподнял шляпу.

«Не о затонувшем ли судне вы печалитесь?»

Ответа не последовало, незнакомец лишь горестно покачал головой.

«Что ж, корабль ваш не у меня; он разбился у нашего берега еще зимой, а матросы надежно погребены в освященной земле», — сказал сквайр.

Незнакомец не шелохнулся, лишь смотрел на старого сквайра со странной улыбкой на смуглом лице.

«Так что вам угодно? — нетерпеливо спросил мистер Эннисмор. — Ежели что из вашего имущества потонуло вместе с судном, ищите это у мыса, а не здесь... Или вас интересует, что случилось с той бочкой бренди?»

В общем, сквайр так и сяк пытался добиться у незнакомца ответа, обращался к нему по-английски и по-французски, а потом и вовсе заговорил с ним на языке, которого никто из местных не понимал; и вот тут незнакомец весь вострепнулся — не иначе, слышал родную речь.

«Ах вот откуда ты родом! — воскликнул сквайр. — Отчего же было сразу не сказать мне? Бренди я тебе отдать не могу — бóльшая его часть уже выпита; но пойдём со мной, и я угощу тебя самым лучшим и крепким пуншем, какой ты когда-либо пробовал».

И они не теряя времени удалились, беседуя, как закадычные друзья — на том самом непонятном чужеземном наречии, которое для добрых людей звучало как суцья тарабарщина.

То была первая ночь их бесед — первая, но не последняя. Должно быть, незнакомец оказался в высшей степени приятной компанией, потому что старый сквайр никак не мог наговориться с ним вдоволь. Каждый вечер незнакомец приходил в его дом, всегда в том же наряде, вежливо приподымая свою шляпу, с неизменной улыбкой на смуглом лице, а сквайр велел подавать бренди и кипяток, и они пили и играли в карты до самого утра, хохоча и болтая.

Так продолжалось неделю за неделей, и никто не знал, откуда этот человек являлся и куда исчезал по утрам; а старая домоправительница заметила только, что бочонок с бренди почти опустел и что сквайр тает день ото дня; и до того ей стало не по себе, что она отправилась за советом к священнику, но и ему было нечем ее утешить.

Наконец старуха настолько встревожилась, что решила, чего бы ей это ни стоило, подслушать у двери столовой, о чем сквайр беседует со своим ночным гостем. Но те неизменно разговаривали все на том же неведомом заморском наречии, и были то молитвы или богохульства, она понять не могла.

История эта подошла к развязке одной июльской ночью, накануне дня рождения сквайра. В бочке к тому времени не осталось уже ни капли бренди — муху утопить и то не удалось бы. Сквайр и его гость опустошили бочонок досуха, и старуха трепетала, ожидая, что хозяин вот-вот позвонит и потребует еще, а где взять еще, ежели все выпито?

И вдруг сквайр с незнакомцем выходят в холл. В окна светила полная луна, и было светло как днем.

«Нынче ночью я пойду к тебе в гости, — заявляет сквайр, — для разнообразия».

«Так-таки и пойдешь?» — спрашивает его незнакомец.

«Так-таки и пойду», — отвечает сквайр.

«Ты сам это решил, запомни».

«Да, я сам это решил, а теперь в путь».

И оба удалились, а домоправительница тотчас кинулась к окну, чтобы поглядеть, куда же они направятся. Племянница ее, состоявшая при сквайре горничной, тоже метнулась к окну, а затем подоспел и дворецкий. Вот в ту сторону глядели они из окна и видели, как их хозяин и незнакомец идут вот по этому самому песчаному берегу напрямик к воде, и вот оба входят в воду, и вот волны морские им уже по колени, и вот уже по пояс, затем по шею и наконец сомкнулись над их головами. Но еще прежде того дворецкий и обе женщины стремительно выбежали на берег, взывая о помощи.

— И что же было дальше? — спросил англичанин.

— Ни живым, ни мертвым сквайр Эннисмор назад так и не вернулся. Наутро, когда начался отлив, кто-то увидел на песке отчетливые следы копыт, тянувшиеся к самой кромке воды. Тут-то все поняли, куда ушел старый сквайр и с кем.

— Что же, его больше не искали?

— Да помилуйте, сэръ, какой толк был искать?

— Полагаю, никакого. Как бы то ни было, странная история.

— Однако правдивая, ваша милость — до последнего слова.

— Ну, в этом я не сомневаюсь, — ответил довольный англичанин.

Джозеф Шеридан Ле Фаню

(1814–1873)

Сделка сэра Доминика

Легенда Дьюнорана

Пер. с англ. Л. Бриловой

Ранней осенью 1838 года мне пришлось отправиться по делам на юг Ирландии. Погода стояла восхитительная, все окружающее — и пейзаж, и люди — было для меня внове, поэтому я отослал багаж, под присмотром слуги, с почтовой каретой, а сам нанял на почтовой станции крепкую лошадку и, исполненный любознательности, не спеша пустился в двадцатипятимильное верховое путешествие, намереваясь достигнуть места назначения проселочными дорогами. Мой живописный маршрут пролегал по болотам, холмам и равнинам, мимо разрушенных замков и извилистых рек.

Я выехал поздно и, преодолев чуть больше половины пути, решил ненадолго остановиться в первом же подходящем месте, чтобы дать отдых лошади, а также подкрепиться.

К четырем часам дорога, постепенно поднимавшаяся в гору, забралась в узкое ущелье: налево от меня оказался крутой обрыв горной гряды, а направо внезапно черной тенью возник скалистый холм.

Внизу, под вереницей гигантских вязов, виднелись соломенные крыши деревушки, меж ветвями поднимались из низких труб тонкие струйки дыма. Слева, на несколько миль вверх по склону вышеупомянутой горной гряды, расстилался парк, где среди трав и папоротников торчали тут и там пятнистые от лишайника, разрушенные ветрами скалы. В парке кучками росли деревья, за деревушкой, к которой я приближался, имелся даже лес, который одевал неровный склон живописной, местами пожелтевшей листвой.

На спуске дорога, слегка извиваясь, следует справа от серой ограды (она сложена из ничем не скрепленных камней и местами окутана плющом) и пересекает неглубокий ручей; когда деревня была уже недалеко, я заметил, что за стволами мелькает длинный фасад

старого, разрушенного дома, который стоял среди деревьев, приблизительно на середине косогора.

Одинокий и печальный вид этих развалин вызвал у меня любопытство; я добрался до трактира (крытого соломой убогого домика с изображением св. Колумбкилла на вывеске, с мантиями, митрой и крестом на оконных перемычках), присмотрел, чтобы накормили лошадь, сам поел яичницы с беконом и, припомнив заросший склон с руинами, решился совершить получасовую прогулку в этот глухой лесной уголок.

Имение, как я выяснил, называлось Дьюноран. По ступенькам рядом с воротами я перебрался через стену и в приятном раздумье побрел по парку к разрушенному дому.

Длинная, поросшая травой дорожка, виляя и поворачивая, привела меня к старым стенам, на которые бросали тень обступившие их деревья.

Вблизи дома дорожка шла по кромке оврага, крутые склоны которого были одеты орешником, карликовым дубом и колючим кустарником; распахнутая парадная дверь безмолвного дома смотрела в сторону этого темного обрыва и леса, громоздившегося на противоположном его краю. Мощные деревья окружали дом, заброшенный двор и конюшни.

Я бродил, осматриваясь, по заросшим крапивой и сорными травами коридорам, из комнаты в комнату, где потолочные перекрытия давно сгнили, а с больших балок, ветхих и потемневших, свешивались усики плюща. Высокие стены, с которых осыпалась штукатурка, были покрыты пятнами плесени, кое-где слышался треск — это ходили ходуном остатки панельной отделки. Окна (от их переплетов уцелело немногое), также завешенные плющом, пропускали мало света, вокруг высоких труб носились галки, а из темной массы гигантских деревьев на противоположном краю обрыва доносился непрерывный гам грачей.

Прогуливаясь по печальным коридорам и заглядывая в комнаты (но не во все, поскольку это было небезопасно: настил пола прогибался и посередине полностью отсутствовал, а от крыши сохранились только жалкие остатки), я не переставал удивляться, почему же был заброшен прекрасный обширный дом, расположенный в таком живописном окружении. Я представил себе, как стекались сюда в давние времена

толпы гостей, какие сценки, напоминающие пиры Редгонтлета, могли разыгрываться здесь в полночные часы.

Широкая лестница была сделана из дуба, удивительно хорошо сохранившегося; я присел на ступеньки и погрузился в туманные раздумья о бренности всего земного.

За исключением хриплых криков грачей, слабо доносившихся издалека, ничто не нарушало глубокой тишины. Прежде я редко испытывал такое одиночество. Воздух был неподвижен, в коридорах не слышалось даже шелеста сухих листьев. Это действовало угнетающе. Высокие деревья вокруг создавали густую тень, отчего здание навевало, помимо печали, некоторую робость.

Охваченный таким настроением, я был неприятно удивлен, когда услышал голос, протяжно и, как мне показалось, плумливо повторявший: «Пища для червей, смерть и тлен; все в руке Божьей!»

Поблизости в очень толстой стене находилось окно, впоследствии застроенное, так что на его месте образовалась глубокая ниша; там, в тени, я разглядел человека с костлявым лицом, сидевшего свесив ноги. Его пронзительные глаза были устремлены на меня, губы насмешливо улыбались; прежде чем я успел оправиться от испуга, незнакомец произнес двустишие:

— Если бы жизнь за деньги покупали,
Богатые бы жили, а бедные умирали.

— В свое время, сэр, это был богатый дом, — продолжил незнакомец, — Дьюноран-Хаус, и владели им Сарзфилды, старинное семейство. Сэр Доминик Сарзфилд был в роду последним. Он лишился жизни здесь, менее чем в шести футах от того места, где вы сидите.

Произнося это, незнакомец спрыгнул на пол.

Передо мной стоял маленький горбун с худым смуглым лицом и указывал тростью на ржавое пятно, видневшееся на стенной штукатурке.

— Видите эту отметину, сэр? — спросил он.

— Да, — подтвердил я, вставая и разглядывая пятно, и приготовился выслушать интересную историю.

— Здесь семь или восемь футов от пола, сэр; нипочем не догадаетесь, что это такое.

— Нет, наверное, — согласился я, — разве что это следы непогоды.

— Если бы так, сэр, — отозвался незнакомец с той же ухмылкой и кивнул, по-прежнему указывая тростью на пятно. — Это брызги крови и мозгов. Они здесь уже век и останутся, пока стоит стена.

— Значит, он был убит?

— Хуже, сэр, — ответил незнакомец.

— Покончил с собой, наверное?

— Еще хуже, сэр, огради нас этот крест от всякого зла! Я старше, чем кажусь; нипочем не догадаетесь, сколько мне лет.

Он замолчал и поднял взгляд на меня, ожидая, по всей видимости, ответа.

— Ну что ж, думаю, около пятидесяти пяти.

Он усмехнулся, взял понюшку табака и произнес:

— Ровно столько, сэр, и еще чуток. На Сретение мне стукнуло семьдесят. А ведь по виду ни за что не скажешь.

— Клянусь, я бы вам столько не дал; мне и теперь не верится. Но все же вы, вероятно, не были свидетелем смерти сэра Доминика Сарзфилда? — сказал я, разглядывая зловещее пятно на стене.

— Нет, сэр, это случилось задолго до моего рождения. Но мой дед давным-давно служил здесь дворецким, и много раз я слышал его рассказы о том, как умер сэр Доминик. С той поры большой дом оставался без хозяина. Но о доме заботились двое слуг, одной из этих двоих была моя тетка; она держала меня при себе, покуда мне не исполнилось девять, — в тот год она взяла расчет и отправилась в Дублин, тогда за домом перестали присматривать, и он начал ветшать. Ветром сорвало крышу, дерево прогнило из-за дождей, и мало-помалу за шесть десятков лет все стало таким, как вы видите. Но мне здесь все равно нравится, потому что я помню прежние времена, и, когда случается проходить мимо, я каждый раз сюда загадываю. Вряд ли я еще долго буду любоваться старыми местами, ведь не за горами уже и смерть.

— Вы еще молодых переживете, — возразил я. А потом, оставив банальную тему, добавил: — Неудивительно, что вас сюда тянет: красота здесь редкостная, такие великолепные деревья.

— Хотел бы я, чтобы вы увидели этот овраг, когда созревают орехи — слаще их, наверное, нет во всей Ирландии, — вставил мой

собеседник, понимавший красоту сугубо практически. — Вы бы набили себе карманы, не сходя с места.

— Прекрасный старый лес, — заметил я, — красивей в Ирландии я не встречал.

— Э, ваша честь, что сейчас, вот раньше тут был лес. Когда мой отец еще пешком под стол ходил, все окрестные горы были покрыты лесами, а самым громадным был лес Мурроа. Больше всего росло дубов; их вырубил, и горы стали гладкими, как дорога. Ничего не осталось, что могло бы сравниться с прежними деревьями. Каким путем ваша честь изволили сюда прибыть — из Лимерика?

— Нет. Из Киллало.

— А, значит, вы проезжали там, где когда-то рос лес Мурроа. Вы побывали под Лиснаваурой — это крутой холм с круглой вершиной, в миле или около того от деревни. Лес Мурроа был оттуда неподалеку, как раз там сэра Доминик Сарзфилд впервые встретился с дьяволом — Господи упаси нас от всякого зла, — и это был недобрый день для сэра Доминика и для Сарзфилдов.

Меня заинтересовали приключения, сценой которых была столь очаровавшая меня местность. Мой новый знакомец, маленький горбун, не заставил себя долго упрашивать и, когда мы вновь уселись, рассказал вот что:

— Это было прекрасное имение, когда оно досталось по наследству сэру Доминику, и он закатил пир горой, музыкантов собрали чуть ли не со всей округи, привечали всякого, кто бы ни пришел. Хорошее вино лилось рекой, самогона было — хоть купайся, а для мальчишек с девчонками и стариков вроде меня — целое море пива и сидра. Праздник затянулся чуть ли не на месяц, пока не испортилась погода и не раскисла от дождя лужайка, где танцевали джигу, да и ярмарка в Аллибалли — Келлудин была уже на носу, вот и пришлось всем забыть о веселье и подумать о своих свинках.

Всем, но не сэру Доминику — он еще только начал веселиться. Каких только способов избавиться от денег и от имения он не перепробовал: пьянки, кости, бега, карты и все такое прочее. Совсем немного лет прошло, и имение оказалось в долгах, а сэра Доминик совсем обнищал. Пока можно было, он не показывал виду, а потом продал собак и большую часть лошадей и объявил, что отправляется путешествовать во Францию и еще куда-то, так что он на время

пропал и года два или три от него не было ни слуху ни духу. И вот наконец как-то ночью нежданно-негаданно кто-то постучал в окно большой кухни. Шел уже одиннадцатый час, и старый Коннор Хэнлон, дворецкий, мой дед, сидел один-одинешенек у очага и грел себе ноги. Той ночью вдоль горной гряды дул пронзительный холодный ветер, он свистел в кронах деревьев и уныло завывал в трубах. — Рассказчик бросил взгляд на ближайшую видимую с его места дымовую трубу. — Поэтому мой дед вначале не понял, что значит этот стук, встал и глянул в окно — и узнал хозяина.

Дед был рад видеть хозяина живым и здоровым, ведь от него уже долгое время не приходило никаких известий, но все же горько было думать, что имение уже не такое, как прежде, что за домом следят только двое — сам дед и Джагги Брудрик, — да один человек служит на конюшне, и что хозяин вернулся вот так, на своих двоих.

Сэр Доминик пожал Кону руку и говорит:

«Я пришел кое-что тебе сказать. Дика с лошастью я оставил на конюшне — быть может, он мне еще понадобится до утра, а может, и вовсе не понадобится».

С этими словами он вошел в большую кухню, придвинул скамеечку и сел к огню.

«Сядь напротив меня, Коннор, и послушай, что я тебе скажу, а потом будь готов выложить без боязни, что ты об этом думаешь».

Он произнес это, не сводя глаз с огня и грея руки, и вид у него был усталый и измученный.

«А с чего мне бояться, мастер Доминик? — говорит дед. — Вы были мне добрым господином, а до вас батюшка ваш — да покоится он в мире, — и я душу готов прозакладывать за любого Сарзфилда из Дьюнорана, а за вас и подавно, это уж точно».

«Со мной все кончено», — говорит сэр Доминик.

«Господи, непусти!» — воскликнул дед.

«Молись не молись, — говорит сэр Доминик, — но истрачено уже все до последней гинеи, теперь очередь за домом. Придется его продать, и я пришел сюда, сам не знаю зачем, словно привидение, в последний раз взглянуть на старые места и снова удалиться во тьму».

Потом сэр Доминик велел Кону, если тот услышит о его смерти, отдать дубовую шкатулку, что хранится в чулане при спальне, его двоюродному брату, Пату Сарзфилду, живущему в Дублине, а кроме

нее шпагу и пистолеты, которые были с его дедом при Огриме, и еще пару-тройку безделиц вроде этого.

А дальше он и говорит:

«Сказывают, Кон, если взять деньги у дьявола, то наутро они оборачиваются камешками, щепками и ореховой скорлупой. Знать бы, что он не обманет, я готов был бы сегодня заключить с ним сделку».

«Господи, спаси!» — воскликнул дед, вскакивая на ноги и осеняя себя крестом.

«Говорят, вокруг полным-полно вербовщиков, которые набирают солдат для французского короля. Если кто-нибудь из них мне попадется, я не отвечу отказом. Как все меняется! Сколько лет прошло с тех пор, как мы с капитаном Уоллером дрались на дуэли в Ньюкасле?»

«Шесть лет, мастер Доминик; вы тогда с первого выстрела раздробили ему бедро».

«Вот именно, Кон, — говорит сэр Доминик, — а теперь я бы предпочел, чтобы он прострелил мне сердце. У тебя есть виски?»

Дед вынул из буфета виски, хозяин налил немного в кубок и выпил.

«Пойду присмотрю за лошадьё», — сказал он и встал. Натягивая капюшон, он глядел угрюмо, словно задумал что-то дурное.

«Я тотчас сбегаю на конюшню и сам позабочусь о лошади», — говорит мой дед.

«Я не на конюшню собрался, — остановил его сэр Доминик. — Признаюсь, раз уж ты, видно, все равно догадываешься, я намерен пройтись по оленьему парку; жди меня через час, если я вообще вернусь. Но только лучше за мной не ходи, иначе я тебя застрелю, а это будет плохой конец для нашей с тобой дружбы».

Сэр Доминик свернул в этот коридор, отпер ключом боковую дверь в его конце и вышел на улицу, где светила луна и дул холодный ветер; мой дед поглядел, как сэр Доминик с трудом бредет к стене парка, подошел к двери и с тяжелым сердцем закрыл ее.

Дойдя до середины парка, сэр Доминик приостановился и задумался; выходя, он не знал, что делать дальше, а от виски у него хотя и прибавилось храбрости, но в голове не прояснилось.

Он не боялся сейчас ни холодного ветра, ни смерти, его не заботило вообще ничто, кроме позора и падения старинного рода.

И он решился, если по дороге ему не придет в голову ничего лучше, повеситься в лесу Мурроа на дубовом суку, сделав петлю из галстука.

Ночь стояла ясная, лунная, лишь изредка по луне пробегало легкое облачко, а в остальное время было светло почти как днем.

И сэръ Доминик направился вниз, напрямиком к лесу Мурроа. Каждый шаг, который он делал, казалось, не уступал длиной добрым трем обычным, и, не успев опомниться, он очутился под большими дубами; их корни переплетались, а сучья тянулись над головой, как балки ободранной крыши; под лучами луны они отбрасывали на землю кривые тени, черные, как мой башмак.

К тому времени сэръ Доминик малость протрезвел; он замедлил шаг и подумал, не лучше ли будет записаться в армию французского короля и посмотреть, что из этого получится, ведь покончить счеты с жизнью человек волен в любую минуту, а вот воскреснуть будет уже не так просто.

Едва он решил не накладывать на себя руки, как вдруг послышался четкий стук шагов по сухой земле под деревьями, и вскоре перед ним показался нарядный джентльмен, шедший ему навстречу.

Это был красивый молодой человек, вроде самого сэра Доминика, в треуголке, обернутой золотым кружевом (такое нашивают на офицерские мундиры), а одет он был, как одевались тогда французские офицеры.

Джентльмен остановился напротив сэра Доминика, и тот тоже застыл на месте.

Оба приветствовали друг друга, сняв шляпы, и незнакомый джентльмен сказал:

«Я набираю рекрутов, сэръ, для моего повелителя, и вы убедитесь, что мои деньги назавтра не обратятся в камешки, щепки и ореховую скорлупу».

И он вытащил большой кошелек, набитый золотом.

С первой минуты сэру Доминику почудилось в молодом джентльмене что-то необычное, а при этих словах волосы у него на голове поднялись дыбом.

«Не пугайтесь, — говорит джентльмен, — золотые вас не обожгут. Если они окажутся настоящими и пойдут впрок, то я хотел бы предложить вам сделку. Сегодня последний день февраля; я буду

служить вам семь лет, а когда этот срок пройдет, вы должны будете служить мне; я приду за вами через семь лет, в минуту, когда кончится февраль и начнется март, и первого марта — не раньше и не позже — вы отправитесь со мной. Вы увидите, что я хороший господин, да и слуга неплохой. Я люблю тех, кто мне принадлежит, и в моей власти все наслаждения и роскошь этого мира. Семилетний срок начинается сегодня, а истечет в полночь того дня, который я назвал, в году... (и он назвал год, не помню какой, но вычислить его было нетрудно), а если вы желаете повременить с подписью, то через восемь месяцев и двадцать восемь дней приходите сюда снова. Однако до той поры я смогу вам помочь лишь немногим, а если вы не подпишете и тогда, то и это немногое исчезнет и вы останетесь в том же положении, что и сегодня, и будете рады повеситься на первом же попавшемся суку».

Кончилось это дело тем, что сэр Доминик решил подождать и вернулся домой. Сэр Доминик снова постучался в кухонное окошко и, войдя, швырнул на стол мешок, выпрямился и расправил плечи, словно человек, сбросивший тяжелый груз; он смотрел на мешок, а мой дед — на хозяина, потом на мешок и опять на хозяина. И сэр Доминик, белый как полотно, произнес: «Не знаю, Кон, что там внутри, но тяжелее груза мне носить не доводилось».

Похоже было, он боится туда заглянуть; он велел деду подбросить в очаг торфа и дров, чтобы пламя загудело, а потом наконец открыл мешок и убедился, конечно, что внутри полным-полно золотых гиней, новехоньких и сияющих, будто прямо с монетного двора.

Сэр Доминик, приказав моему деду сесть рядом, сосчитал все до последней монеты.

Закончив считать, уже незадолго до рассвета, сэр Доминик заставил моего деда поклясться никому ни словом не обмолвиться о происшедшем. И его секрет надежно сохранялся многие годы.

Когда восемь месяцев и двадцать восемь дней почти уже миновали, сэр Доминик вернулся сюда сам не свой, гадая, что делать дальше, и ни одна живая душа не ведала, что с ним приключилось, кроме моего деда, да и тому не все было известно.

Назначенный день — в конце октября — приближался, и сэра Доминика все больше донимала забота.

Одно время он решил, что джентльмен из леса Мурроа и все прочие той же породы ему не товарищи и разговаривать с ними не о

чем. А потом сэр Доминик вспомнил о долгах, о том, что ему некуда податься, и сердце его дрогнуло. А за неделю до условленного дня все дела у него пошли наперекосяк. Из Лондона доставили письмо, где было сказано, что сэр Доминик заплатил три тысячи фунтов не тому, кому следовало, и придется платить заново; появился кредитор, о котором сэр Доминик раньше не знал, и потребовал денег; другой, в Дублине, отказался признать оплату громадного счета, а сэр Доминик не мог найти расписку, и так все остальное, за что ни возьмись.

Когда приблизилась ночь двадцать восьмого октября, у сэра Доминика голова шла кругом из-за кредиторов, опять набросившихся на него со всех сторон, а надеяться было не на что, только на ночную встречу в ближнем дубовом лесу со своим жутким знакомцем.

Ничего другого не оставалось, кроме как довершить начатое, и приблизительно в час своей прошлой прогулки в лес сэр Доминик снял с себя небольшое распятие, в котором прятал евангельское изречение и кусочек подлинного креста, — ведь сэр Доминик был католик и носил распятие на шее не снимая, потому что, взяв деньги у нечистого, стал трусить и всеми путями стремился от него оборониться. Но в ту ночь сэр Доминик не осмелился взять распятие с собой. Он вложил его в руки моего деда, не говоря ни слова, и, бледный как смерть, прихватив шляпу и шпагу, велел деду дожидаться и пошел испытать свою судьбу.

Ночь была прекрасная, тихая, луна — правда, не такая яркая, как в прошлый раз, — лила свет на вересковый ковер, скалы и унылый дубовый лес, раскинувшийся внизу.

Когда сэр Доминик приблизился к опушке, сердце его бешено колотилось. Все затихло; из деревни, оставшейся далеко позади, не доносилось даже лая собак. Второго такого тоскливого места не было во всей округе, и, если бы долги и денежные потери не подталкивали его вперед, лишая разума и заставляя забыть о душе, о надеждах на райское блаженство и обо всем, что нашептывал ангел-хранитель, сэр Доминик повернул бы обратно, послал бы за священником, исповедался и покаялся, изменил бы свою жизнь и стал бы вести себя примерно — для этого он был достаточно напуган.

В тени дубовых сучьев сэр Доминик замедлил шаги, а приблизившись к тому месту, где ему в прошлый раз встретился злой дух, остановился и огляделся; он чувствовал, что холодеет как

мертвец, а когда заметил того же джентльмена, выходящего из-за большого дерева совсем рядом, то — сами понимаете — от этого ему не полегчало.

«Деньги вам пригодились, — говорит джентльмен, — но их было мало. Не важно, вы получите достаточно, еще и с лихвой. Я позабочусь о вашей удаче и укажу, где ее искать; а если пожелаете меня видеть, то достаточно будет прийти сюда, представить себе мое лицо и пожелать, чтобы я явился. К концу года за вами не останется ни шиллинга долга; в картах, игре в кости, на скачках везение всегда будет на вашей стороне. Хотите?»

У сэра Доминика перехватило дыхание, но он все же сумел выдать из себя одно или два слова согласия; вслед за тем нечистый протянул ему иглу, велел нацедить три капли крови из руки, собрал кровь в желудевую чашечку и дал сэру Доминику перо, чтобы тот записал под диктовку на двух тонких полосках пергамента несколько непонятных слов. Один пергамент нечистый дух взял себе, а второй погрузил в ранку на руке сэра Доминика и сомкнул ее края. Все это так же верно, как то, что вы здесь сидите!

И сэр Доминик отправился домой. Он был смертельно испуган, да оно и понятно. Однако в скором времени он стал успокаиваться. Как бы то ни было, он очень быстро расплатился с долгами, деньги на него так и валялись: за что бы он ни взялся, все удавалось; в пари, в игре — всюду ему везло, но, несмотря на это, самый последний бедняк во владениях сэра Доминика был счастливей хозяина.

И сэр Доминик взялся за старое, потому что вместе с деньгами вернулись и прежние привычки: собаки, лошади, море вина, веселье, гульба и кутежи здесь, в большом доме. Кое-кто поговаривал, будто сэр Доминик думает жениться, но другие (а таких было больше) им не верили. Так или иначе, но отчего-то он сильнее обычного беспокоился и однажды ночью втайне от всех отправился в одинокий дубовый лес. Мой дед подозревал, что его тревоги были связаны с красивой молодой леди, которую он ревновал и любил до безумия. Но это всего лишь догадка.

В тот раз в лесу на сэра Доминика напал еще больший страх, чем раньше; он уже собирался развернуться и поскорей унести ноги, когда заметил рядом прежнего джентльмена, который сидел на крупном камне под деревом. Но теперь он выглядел не нарядным молодым

человеком в золотых кружевах и пышном платье, а настоящим оборванцем и казался в два раза выше ростом против прежнего; лицо его было испачкано сажей, а на коленях лежал жуткого вида стальной молот, большой и претяжелый, с рукоятью в добрый ярд длиной. Под деревом было так темно, что сэр Доминик не сразу его разглядел.

Джентльмен поднялся и оказался настоящим великаном. Что произошло между ними, мой дед так и не узнал. Но после этой встречи сэр Доминик сделался черен как туча, ничему не радовался, почти ни с кем не разговаривал и становился все угрюмей и мрачней. И тогда этот малый — кто бы он ни был — повадился являться к нему сам по себе, без приглашения; он подстерегал сэра Доминика в уединенных местах, то в одном, то в другом обличье, и временами составлял ему компанию, когда тот ночью возвращался домой верхом; так продолжалось, пока сэр Доминик не перетрухнул окончательно и не послал за священником.

Священник просидел у него долго и, когда выслушал всю историю, пустился на лошади за епископом; на следующий же день сюда, в большой дом, приехал епископ и дал сэру Доминику хороший совет. Он сказал, чтобы тот бросил играть в кости, божиться, пить и якшаться с дурными людьми; пусть ведет тихую, добродетельную жизнь, пока не истечет семилетний срок, и если дьявол не явится за ним в первую же минуту марта, сразу после боя часов, то уговор потеряет силу. До конца срока оставалось тогда месяцев восемь или десять, не больше, и сэр Доминик все это время строго следовал совету епископа и жил как анахорет.

Вы можете себе представить, что он чувствовал, когда настало утро двадцать восьмого февраля.

Как было условлено, явился священник, и сэр Доминик с его преподобием удалились вон в ту комнату и возносили молитвы, пока не пробило двенадцать, и еще добрый час после того, и все было тихо, никого они не видели; а потом священник проспал ночь в комнате по соседству со спальней сэра Доминика так спокойно, что лучше не бывает, а наутро они обменялись рукопожатием и поцелуем, как соратники после выигранного боя.

И тут сэру Доминику подумалось, что настала пора после всех постов и молитв провести приятный вечер, и он послал полудюжине соседей приглашение на обед, остался отобедать и священник, и на

столе задымилась чаша с пуншем, и не было конца вину, божбе, игре в кости и карты, и переходили из рук в руки гинеи, и звучали песни и рассказы, пригодные не для всяких ушей; его преподобие, увидев, какой оборот принимает дело, потихоньку удалился, а когда до полуночи оставались считанные минуты, сэр Доминик, сидевший во главе стола, поклялся, что «ни разу еще так весело не проводил день первого марта в обществе друзей».

«Сегодня не первое марта», — говорит мистер Хиффернан из Балливурина. Он был человек ученый и всегда имел у себя календарь.

«Тогда какое же сегодня число?» — вздрогнув, спросил сэр Доминик и вытаращился на мистера Хиффернана.

«Двадцать девятое февраля, ведь год нынче високосный», — говорит тот.

И не успел он умолкнуть, как часы пробили полночь, и мой дед, который дремал в холле, устроившись в кресле у очага, открыл глаза и увидел, что как раз в том месте, где сейчас на стену падает луч света, стоит маленький коренастый человечек, закутанный в плащ, с копной черных волос, торчащих из-под шляпы.

Мой горбатый приятель указал концом трости на стену, куда падал, разгоняя сгущавшийся в коридоре сумрак, закатный луч.

«Доложи своему хозяину, — произнес человечек страшным голосом, похожим на звериный рев, — что я явился как условлено; пусть спустится ко мне сию же минуту».

И мой дед вошел по тем самым ступенькам, на которых вы сидите.

«Передай ему, что я не могу сейчас спуститься, — говорит сэр Доминик, у которого на лице выступил холодный пот, и обращается к гостям: — Бога ради, джентльмены, не может ли кто-нибудь из вас выпрыгнуть в окошко и привести сюда священника?»

Гости обменялись взглядами, не зная, что и думать, а тем временем снова вошел мой дед и, весь дрожа, доложил:

«Он говорит, сэр, если вы не спуститесь к нему, то он поднимется к вам».

«Ничего не понимаю, джентльмены, пойду посмотрю, в чем дело», — сказал сэр Доминик, стараясь не подавать виду, что боится, и вышел из комнаты, как приговоренный, которого ожидает палач. Он спустился по ступенькам, и двое или трое джентльменов следили за

ним через перила. Мой дед сопровождал его, отстав шагов на шесть или восемь, и видел, как посетитель выступил навстречу сэру Доминику, обхватил его и, крутанув, стукнул головой об стену; тут же дверь холла рывком распахнулась, свечи погасли, а подхваченная ветром зола из очага искрами пробежала по полу под ногами у сэра Доминика.

Джентльмены ринулись вниз. Хлопнула парадная дверь. Народ со свечами в руках забегал вверх-вниз по лестнице. С сэром Домиником все было кончено. Тело подняли и прислонили к стене, но он не дышал. Он уже остыл и начал коченеть.

Той ночью Пат Донован возвращался в большой дом поздно; в полусотне шагов за ручейком, который пересекает дорогу, собака Пата вдруг свернула в сторону, перепрыгнула через стену в парк и подняла такой вой, что слышно было, наверное, на целую милю вокруг; в ту же минуту Пат заметил спускавшихся от дома двух джентльменов, которые молча прошли мимо, — один был коротенький и коренастый, другой фигурой походил на сэра Доминика, но в тени под деревьями встречные и сами мало чем отличались от теней; не уловив даже вблизи шума их шагов, Пат в испуге отшатнулся к стене; в большом доме он застал суматоху и лежавшее вот здесь тело хозяина с разбитой вдребезги головой.

Рассказчик поднялся и концом трости указал точное место, где лежало тело; пока я глядел, тени сгустились, красный закатный луч, упирившийся в стену, исчез, солнце спряталось за отдаленным холмом у Ньюкасла, оставив оваянный тайной пейзаж тонуть в серых сумерках.

Мое прощание с рассказчиком не обошлось без взаимных добрых пожеланий и скромного даяния, принятого им, судя по всему, весьма охотно.

Я вернулся в деревню, когда уже наступила ночь и возшла луна, взобрался на свою лошадку и в последний раз окинул взглядом местность, где родилась страшная легенда Дьюнорана.

Сезон ведѣм

Людвиг Тик

(1773–1853)

Любовные чары

Пер. с нем. под ред. А. Габричевского

В глубокой задумчивости сидел Эмиль за столом и ожидал своего друга Родериха. Перед ним горела свеча, зимний вечер был холоден, и сегодня Эмилю хотелось, чтобы его спутник был с ним, хотя обычно он охотно избегал его общества; в этот же вечер он собирался открыть ему одну тайну и спросить его совета. Нелюдимый Эмиль во всех делах и случаях жизни находил столько трудностей, столько непреодолимых препятствий, что, казалось, иронический каприз судьбы послал ему этого Родериха, которого во всем можно было признать прямой противоположностью его друга. Непостоянный, ветреный, поддающийся каждому первому впечатлению и мгновенно загорающийся, Родерих брался за все, знал толк во всем, ни одно начинание не было ему слишком трудным, никакие препятствия не были ему страшны; но во время выполнения какого-либо дела уставал и выдыхался он столь же скоро, сколь вначале был находчив и увлечен; встречающиеся помехи не подстрекали его увеличить усердие, но лишь побуждали пренебречь тем, за что он так рьяно брался; словом, Родерих так же беспричинно забрасывал и беспечно забывал свои планы, как необдуманно их затевал. Поэтому не проходило дня, чтобы между друзьями не завязывалось стычек, которые, казалось, грозили смертью их дружбе, однако, быть может, именно то, что по видимости разделяло их, связывало обоих особенно тесно; они нежно любили друг друга, но находили большое удовлетворение в том, чтобы выдвигать один против другого самые обоснованные обвинения.

Эмиль, богатый молодой человек впечатлительного и меланхолического темперамента, остался после смерти родителей хозяином своего состояния; для расширения кругозора предпринял он путешествие, но вот уж несколько месяцев как находился в одном большом городе, чтобы насладиться карнавальными развлечениями, о

которых нисколько не думал, и чтобы серьезно переговорить о своем состоянии с родственниками, которых вряд ли и посетил. Дорогой встретился ему непостоянный, чрезмерно подвижный Родерих, бывший не в ладах со своими опекунами; стремясь окончательно отделаться от них и их докучливых увещеваний, Родерих горячо ухватился за сделанное ему новым другом предложение взять его с собою в путешествие. В дороге они уже не раз готовы были расстаться, но при каждом столкновении оба только яснее чувствовали, как необходимы они друг другу. Едва выходили они из кареты в каком-либо городе, как Родерих успевал осмотреть все местные достопримечательности, с тем чтобы забыть их на следующий день, тогда как Эмиль в течение недели основательно готовился по книгам, чтоб ничего не пропустить, но затем из-за пассивности многое не удостаивал своим вниманием; Родерих немедленно заводил тысячи знакомств и посещал все общественные места; нередко случалось, что он приводил вновь приобретенных приятелей в одинокую комнату Эмиля, где и покидал его с ними одного, когда они начинали надоедать ему. Также часто смущал он скромного Эмиля, превознося сверх всякой меры его заслуги и знания перед учеными и умными людьми, которым давал понять, как много они могли бы получить от его друга сведений из области языкознания, старины или искусствоведения; сам же он никогда не мог найти времени выслушать своего спутника, когда разговор заходил об этих предметах. Стоило же только Эмилю настроиться на какое-либо дело, как он почти наверняка мог рассчитывать на то, что его непоседливый приятель простудится ночью на балу или при катанье на санях и будет вынужден лежать в постели; таким образом, Эмиль жил в величайшем уединении с самым живым, беспокойным и общительным человеком на свете.

Сегодня Эмиль ожидал его непременно, так как Родериху пришлось дать торжественное обещанье провести с ним вечер, чтобы узнать то, что угнетало и тревожило его задумчивого друга уже в течение многих недель. Пока что Эмиль записал следующие стихи:

Как жизнь весной мила, приятна,
Когда под соловьиным пеньем
Цветы и листья с упоеньем
Дрожат и шепчутся невнятно.

Как хороши при лунном свете
Вечерних ветерков порханья,
Когда на крыльях лип дыханья
Они резвятся точно дети.

Как сладостны нам пышность роз,
Когда в полях все расцветает,
Любовь из сотен роз сияет,
Из ночи звездной, полной грез.

Но мне милей, приятней, слаже
Свечи мельканье в келье скромной,
Лишь вспыхнет там огонь укромный,
Я пред окном стою на страже.

Слежу, как косы расплетает
Она рукою белоснежной,
Одежд касается небрежно,
Венками кудри украшает.

Как лютню со стены возьмет,
И звуки тихие проснутся,
Под нежным пальцем засмеются
И ускоряют свой полет.

Им шлет она вдогонку пенье,
Шутливо убегает звук
И в сердце прячется мне вдруг,
И там уж песня чрез мгновенье.

О злые! дайте вольным быть.
Они ж, замкнувшись в сердце, шепчут:
«Твое страданье будет вечным,
Узнай, что значит полюбить».

Эмиль нетерпеливо поднялся. Темнело, и Родерих все не шел, а он хотел открыть ему свою любовь к незнакомке, жившей напротив, любовь, не дававшую ему спать по ночам и удерживавшую его по целым дням дома. Но вот на лестнице раздались шаги, дверь отворилась, и в нее вошли без стука две пестрые маски с отталкивающими рожами; одна из них — турок, одетый в красный и

голубой шелк, другая — испанец, бледно-желтый и красноватый, с множеством перьев, развевавшихся на шляпе. Когда Эмиль стал терять терпение, Родерих сбросил маску, показал свое хорошо знакомое, смеющееся лицо и сказал:

— Э, дорогой мой, что за угрюмая мина! В карнавальное время и такой вид? Мы с любезнейшим нашим молодым офицером пришли за тобой, сегодня большой бал в маскарадном зале; и раз уж я знаю, что ты дал зарок не выходить иначе, как в черном платье, которое носишь всегда, то иди с нами так, как ты есть, потому что уже довольно поздно.

Эмиль на это разгневанно ответил:

— Как видно, ты по привычке совершенно забыл о нашем уговоре, очень сожалею (при этом он обратился к незнакомцу), что я ни в коем случае не могу вас сопровождать, мой друг слишком поспешил, давая согласие за меня; я вообще не могу уйти из дома, так как мне нужно поговорить с ним о важном деле.

Незнакомец, который был скромен и понял желание Эмиля, удалился, а Родерих совершенно равнодушно снова надел маску, стал перед зеркалом и сказал:

— Ну и мерзкий вид! Не правда ли? В сущности, это безвкусное, отвратительное изобретение.

— В этом не может быть сомнения, — произнес Эмиль с большим неудовольствием. — Делать из себя карикатуру, одурманивать себя — это как раз те развлечения, за которыми ты охотнее всего гонишься.

— Из-за того, что ты не любишь танцевать, — сказал тот, — и считаешь танцы зловредной выдумкой, и другие не должны веселиться? Как это досадно, когда человек весь состоит из причуд.

— Конечно, — возразил разгневанный друг, — и у меня достаточно случаев наблюдать это в тебе; я полагал, что, согласно нашему уговору, ты подаришь этот вечер мне, но...

— Но сейчас ведь карнавал, — продолжал Родерих, — и все мои знакомые и несколько дам ожидают меня на сегодняшнем большом балу. Подумай только, мой дорогой, ведь это у тебя настоящая болезнь, раз подобные вещи вызывают в тебе столь незаслуженное отвращение.

Эмиль сказал:

— Кого из нас двоих назвать больным, не стану разбирать; твое непостижимое легкомыслие, твоя жажда рассеяться, твоя погоня за развлечениями, которые не заполняют твоего сердца, — все это мне, по крайней мере, не представляется душевным здоровьем; в известных случаях ты мог бы пойти навстречу моей слабости, если только это слабость, и нет ничего на свете, что до такой степени расстраивало бы меня, как бал с его ужаснейшей музыкой. Ведь кто-то сказал, что глухому, который не слышит музыки, танцующие должны казаться бесноватыми, но я думаю, что сама по себе эта страшная музыка, это кружение немногих звуков, повторяющихся с отвратительной быстротой в тех проклятых мелодиях, которые непосредственно проникают в нашу память, я бы сказал даже, в нашу кровь, и от которых впоследствии долгое время нельзя отделаться, — это и есть само безумие и бешенство, ибо если танцы еще могут быть для меня более или менее выносимы, то только без музыки.

— Вот так парадокс! — ответил замаскированный. — Ты заходишь так далеко, что самое естественное, самое невинное и веселое на свете считаешь неестественным и даже страшным.

— Я ничего не могу поделать со своим чувством, — сказал Эмиль серьезно. — Эти звуки с самого детства делали меня несчастным и часто доводили до отчаяния. В мире звуков они являются для меня наваждением, ларвами и фуриями, и, подобно им, они носятся над моей головой и с отвратительным смехом скалят на меня зубы.

— Слабость нервов — точно так же, как и твое преувеличенное отвращение к паукам и некоторым другим невинным гадам, — отвечал Родерих.

— Ты называешь их невинными, — проговорил расстроенный Эмиль, — потому что они тебе не противны. Но для того, у кого при виде их подымается в душе и пронизывает все существо чувство тошноты и отвращения, такой же несказанный страх, как у меня, для того эта отвратительные чудовища, как, например, жабы и пауки, или еще это противнейшее из всех созданий — летучая мышь, далеко не безразличны и невинны, а наоборот, существование их враждебно противостоит его собственному. Конечно, можно посмеяться над неверующими, чье воображение не мирится с привидениями, страшными личинами и теми порождениями ночи, которые мы видим во время болезни или которые рисуют нам творения Данте, ибо даже

самая обыкновенная, осязаемая действительность пугает нас страшными, уродливыми образцами этих страхов. И действительно, разве мы могли бы любить красоту, не ужасаясь этим уродствам?

— Почему ужасаясь? — спросил Родерих. — Почему огромное царство вод и морей должно являть нам именно эти страхи, к которым твое представление привыкло, а не необыкновенные занимательные и любопытные маскарады, так что весь мир можно было бы рассматривать как комический бальный зал? Но твои причуды идут еще дальше: ибо, как ты любишь розу с каким-то идолопоклонством, с такой же страстностью ты ненавидишь другие цветы; но что же тебе сделала добрая, милая огненная лилия, как и многие другие создания лета? Так и некоторые цвета тебе противны, некоторые запахи и многие мысли, и ты ничего не делаешь для того, чтобы закалить себя в борьбе с ними, и мягко им поддаешься. В конце концов собрание подобных странностей займет то место, которым должно было бы владеть твое «я».

Эмиль был разгневан до глубины души и ничего не ответил. Он уже отказался от намерения открыться Родериху; да и легкомысленный друг, казалось, не жаждал вовсе узнать тайну, о которой его меланхоличный товарищ возвестил ему с таким серьезным видом; он равнодушно сидел в кресле, играя своей маской, и вдруг вскричал:

— Будь добр, Эмиль, одолжи мне свой большой плащ!

— Зачем? — спросил тот.

— Я слышу там, в церкви, музыку, — ответил Родерих. — До сих пор я каждый вечер пропускал этот час, сегодня же он мне особенно удобен, под твоим плащом я могу скрыть это одеяние, также спрятать под ним маску и тюрбан, а когда музыка кончится, тотчас отправиться на бал.

Ворча, Эмиль достал из шкафа плащ, подал его вставшему с места другу и принудил себя иронически улыбнуться.

— Вот тебе мой турецкий кинжал, который я вчера купил, — сказал Родерих, закутываясь в плащ. — Спрячь его; такой серьезный предмет не годится держать при себе для забавы, ибо никогда нельзя предвидеть, до каких бед он может довести в случае ссоры или других неприятных неожиданностей; завтра мы увидимся, будь здоров и весел.

Он не дождался ответа и быстро спустился вниз по лестнице.

Оставшись один, Эмиль постарался забыть свой гнев и найти в поведении друга смешные стороны. Он осмотрел блестящий, прекрасной работы кинжал и сказал:

— Каково должно быть человеку, который вонзает эту острую сталь в грудь противника или, что еще ужаснее, ранит любимое существо? — Он спрятал кинжал, затем осторожно растворил ставни окна и выглянул в узкий переулок. Но нигде не мелькнуло огня, в доме напротив было темно; дорогая ему девушка, жившая там и обычно занимавшаяся в это время домашними делами, очевидно, ушла из дому. «Быть может, она даже на балу, — подумал Эмиль, — хоть это и не подходит к замкнутому образу ее жизни». Но вдруг показался свет, и девочка, с которой любимая им незнакомка не разлучалась, с которой она и днем, и вечером все время возилась, пронесла через комнату свечу и притворила ставни. Осталась светлая щель, достаточная для того, чтобы Эмиль мог со своего места обозревать часть небольшой комнаты. Нередко, счастливый, стоял он там далеко за полночь как зачарованный и следил за каждым выражением лица возлюбленной. Он с удовольствием наблюдал, как она учила девочку читать или давала ей уроки шитья и вязания. Из расспросов он узнал, что малютка — бедная сирота, которую прелестная девушка из жалости взяла к себе на воспитание. Друзья Эмиля не могли понять, почему он жил в этом узком переулке, в неудобном доме, почему он так мало бывает в обществе и чем он занят. Безо всякого дела, в одиночестве, он был счастлив, недовольный лишь собой и своим нелюдимым характером, тем, что не решался искать более близкого знакомства с этим прелестным существом, хотя она несколько раз в течение дня любезно раскланивалась и отвечала на его приветствия. Он не знал, что и она с таким же упоением следит за ним, и не подозревал, какие желания рождались в ее сердце, на какие трудности и на какие жертвы она чувствовала себя способной, лишь бы вызвать его любовь.

После того как он несколько раз прошелся по комнате и свеча вместе с ребенком снова исчезла, он вдруг решил, вопреки своим склонностям и характеру, пойти на бал, ибо ему подумалось, что незнакомка могла изменить замкнутому образу жизни, чтобы хоть раз

насладиться светом и его развлечениями. Улицы были ярко освещены, снег хрустел под его ногами, проезжали экипажи, и маски в разнообразнейших костюмах свистели и щебетали, проходя мимо него. Из многих домов доносилась столь ненавистная ему танцевальная музыка, и он не мог заставить себя пройти кратчайшим путем к маскараднему залу, куда со всех сторон стекались, теснясь, толпы людей. Он обошел старую церковь, оглядел высокую башню, которая строго поднималась в ночное небо, и ему были приятны тишина и безлюдье площади. В углублении огромных церковных дверей, богатой скульптурой которых он всегда любовался, вспоминая старое искусство и давно прошедшие времена, Эмиль остановился и теперь, чтобы на несколько минут предаться своим размышлениям. Он простоял недолго, как вдруг его внимание привлекла какая-то фигура, которая беспокойно ходила взад и вперед, очевидно кого-то поджидая. При свете фонаря, горевшего перед изображением Мадонны, он явственно различил лицо, а также странную одежду. Это была старая женщина, необыкновенно уродливая, что особенно бросалось в глаза, так как в сочетании с ярко-красным корсажем, обшитым золотом, ее уродливость выглядела еще более чудовищно; юбка на ней была темная, а чепчик на голове также блестел золотом. Эмиль подумал сначала, что видит перед собой безвкусную маску, которая случайно забрела сюда, но при ярком свете увидел, что старое темное морщинистое лицо было настоящим лицом, а не личиной. Немного спустя появились двое мужчин, закутанных в плащи; казалось, они осторожно приближались к этому месту, часто озираясь, словно опасались, не идет ли кто за ними. Старуха подошла к ним.

— Свечи у вас с собой? — поспешно спросила она грубым голосом.

— Вот они, — сказал один. — Цена вам известна, кончайте дело быстрее.

Старуха, очевидно, дала ему деньги, которые тот пересчитал под плащом.

— Я полагаюсь на то, — снова заговорила старуха, — что свечи отлиты по всем правилам искусства и будут действовать наверняка.

— Не беспокойтесь, — заверил ее незнакомец и быстро удалился.

Другой, оставшийся, был молодой человек; он взял старуху за руку и сказал:

— Разве возможно, Алексия, чтобы все эти церемонии и формулы, эти таинственные старые заговоры, в которые я никогда не верил, сковали свободную волю человека и могли пробудить в нем любовь и ненависть?

— Да, это так, — сказала красная женщина, — однако все должно сложиться благоприятно, здесь не одни только свечи, отлитые в полночь новолуния и напитанные человеческой кровью, не одни лишь волшебные формулы и заклинания делают все это, здесь необходимо еще многое другое, известное тому, кто владеет этим искусством.

— Итак, я полагаюсь на тебя, — сказал незнакомец.

— Завтра после полуночи я к вашим услугам, — ответила старуха. — Вы не первый останетесь довольны моими услугами; сегодня, как вам уже известно, меня призывают к другому, и надеюсь, что наше искусство окажет должное действие на его чувства и разум.

Последние слова она произнесла полусмеясь, после чего оба разошлись в разные стороны. Эмиль, содрогаясь, вышел из темной ниши и обратил свои взоры к изображению Девы с младенцем.

— Перед твоим лицом, всеблагая, эти мерзавцы осмелились совершить свою сделку, готовящую ужасный обман. Но подобно тому как ты любовно обнимаешь свое дитя, так и мы чувствуем себя в объятиях незримой любви, и наше бедное сердце бьется и в радости, и в страхе пред тем великим сердцем, которое никогда не покинет нас.

Облака проносились над вершиной башни и крутой церковной крышей, вечные звезды с приветливой строгостью, сверкая, глядели вниз, и Эмиль решительно стряхнул с себя впечатление этого ночного ужаса и обратился мыслью к красоте своей возлюбленной. Он снова выступил на оживленные улицы и направился к ярко освещенному зданию, откуда до него доносились голоса, грохот экипажей, а в промежутках обрывки гремящей музыки.

В зале он тотчас же затерялся в бурлящей сутолоке; вокруг него скакали танцоры, маски мелькали взад и вперед, барабаны и трубы оглушали его, и ему казалось, что сама человеческая жизнь всего только сон. Он проходил сквозь ряды, и лишь глаза его бодрствовали, чтобы отыскать те любимые глаза, ту изящную голову в каштановых кудрях, по которым он нынче тосковал более, чем когда-либо, одновременно мысленно упрекая боготворимое существо за то, что

оно могло потонуть, затеряться в этом бушующем море суеты и лупости.

— Нет, — говорил он себе, — любящее сердце не захочет открыться этому дикому бушеванию, в котором тоска и слезы подвергаются издевательству и высмеиваются гремящим хохотом неистовых труб. Лепет дерев, рокот ключей, звон лютни и благородное пенье, льющееся из взволнованной груди, — вот звуки, в которых пребывает любовь. А так грохочет и ликует ад в неистовстве своего отчаяния.

Он не находил, чего искал, ибо никак не мог свыкнуться с мыслью, что любимое лицо может быть скрыто под отвратительной маской. Уже три раза прошелся он взад и вперед по залу и тщетно вглядывался во всех сидящих и немаскированных дам, когда к нему присоединился испанец и молвил:

— Хорошо, что вы все-таки пришли; вы, может быть, ищете своего друга?

Эмиль совсем забыл о нем; однако, устыдившись, он сказал:

— Действительно, я удивлен, не видя его здесь, потому что маска его довольно заметна.

— Знаете, чем занят теперь этот странный человек? — спросил молодой офицер. — Он не только не танцевал, но и недолго оставался в зале, потому что почти сейчас же повстречал своего друга Андерсона, приехавшего из деревни; их разговор коснулся литературы, и так как тот не знал еще недавно вышедшей поэмы, то Родерих не успокоился, пока ему не отперли одну из отдаленных комнат; там-то он и сидит теперь со своим приятелем и при свете одинокой свечи читает ему все произведение.

— Это похоже на него, — промолвил Эмиль, — потому что он весь — настроение. Я испробовал все, не опасаясь даже дружеских раздоров, лишь бы отучить его всю свою жизнь разминать на экспромты; однако эти чудачества до того глубоко укоренились в его сердце, что он готов скорее разойтись с лучшим другом, чем отказаться от них. Недавно он собрался прочесть мне то самое столь любимое им произведение, которое он всегда носит при себе, и я даже сам настаивал на этом; но едва было прочитано начало и я уже всецело отдался его красоте, как Родерих внезапно вскочил и, облекшись в кухонный фартук, вернулся обратно и с большими

церемониями велел раздуть огонь, чтобы зажарить мне вовсе не привлекавший меня бифштекс, в приготовлении которого он мнит себя первым в Европе, хотя в большинстве случаев блюдо ему не удается.

Испанец засмеялся.

— Он никогда не был влюблен? — спросил он.

— На свой лад, — очень серьезно ответил Эмиль. — Так, словно хотел поглумиться над самим собою и над любовью, во многих сразу и, по его собственным словам, до отчаяния, что, однако, не мешало ему через неделю снова забывать всех.

Они расстались в суতোлке, и Эмиль направился к уединенной комнате, откуда уже издали услышал голос громко декламирующего друга.

— А, вот и ты! — воскликнул тот при виде его. — Ты попал кстати, я как раз дошел до того места, на котором нас с тобой тогда прервали; если хочешь, садись и слушай.

— Сейчас я не в настроении, — сказал Эмиль, — кроме того, и час, и место кажутся мне мало подходящими для подобных занятий.

— Почему нет? — возразил Родерих. — Все должно подчиняться нашим желаниям, любое время удобно для возвышенных занятий. Или ты предпочитаешь танцы? В танцорах недостаток, и ты сможешь сегодня несколькими часами прыганья и парой измученных ног снискать расположение многих благодарных дам.

— Прощай! — крикнул Эмиль уже в дверях. — Я иду домой.

— Еще одно слово! — закричал ему вдогонку Родерих. — Завтра чуть свет я отравляюсь с этим господином на несколько дней за город — впрочем, я еще зайду к тебе проститься. Если ты будешь спать, что всего вероятнее, не утруждай себя пробуждением, так как через три дня я буду снова с тобой. Удивительнейший человек, — продолжал он, обращаясь к своему новому приятелю. — До того тяжел на подъем, нелюдим и серьезен, что сам себе портит всякую радость, или, вернее, для него не существует радости. Все должно быть благородным, великим, возвышенным, его сердце должно отзываться на все, стой даже он перед кукольным театром; и если игра не отвечает его претензиям, в сущности, совершенно сумасбродным, он впадает в трагическое настроение и весь мир кажется ему жестоким и варварским; а там он, уж конечно, будет требовать, чтобы

под маской какого-нибудь Панталоне или Полишинеля пылало сердце, полное тоски и неземных порывов, и чтобы Арлекин глубокомысленно философствовал о ничтожестве мира, а если эти ожидания не оправдаются, то, несомненно, из глаз его брызнут слезы и он сокрушенно и презрительно отвернется от пестрого зрелища.

— Он, значит, склонен к меланхолии? — спросил собеседник.

— Собственно говоря, — ответил Родерих, — он всего лишь избалован слишком нежными родителями и самим собою. У него вошло в привычку давать своему сердцу волноваться с правильностью прилива и отлива, и если когда-нибудь это волнение не наступает, он кричит о чуде и готов назначить премии, чтобы побудить физиков удовлетворительно объяснить это явление природы. Он — лучший человек в мире, но все мои старания отучить его от такой странности совершенно напрасны и бесполезны, и, дабы не терпеть неблагодарности за свои добрые указания, мне приходится предоставлять ему полную свободу.

— Может быть, ему следовало бы обратиться к врачу? — заметил собеседник.

— Это тоже одна из особенностей его натуры, — ответил Родерих. — Он от начала до конца презирает медицину, потому что думает, что всякая болезнь в каждом человеке является индивидуумом и не может вылечиваться по прежним наблюдениям или даже на основе так называемых теорий; он скорее готов прибегнуть к помощи старух или симпатических средств. Так же, но в другом отношении, презирает он и всякую осторожность и все, что называют порядком и умеренностью. Благородный человек был с детства его идеалом, а его высшим стремлением было выработать в себе то, что называет он этим именем, то есть главным образом личность, у которой презрение к вещам начинается с презрения к деньгам; поэтому только бы не внушить подозрения, будто он экономен, неохотно тратит или придает какое-нибудь значение деньгам, — он сорит ими крайне безрассудно, при своих обильных доходах он всегда беден и находится в затруднительном положении, и его одурачивает всяк кому не лень. Быть его другом — задача из задач, потому что он так раздражителен, что достаточно кашля, не слишком благородной манеры есть или даже ковыряния в зубах, чтобы смертельно его обидеть.

— Он никогда не был влюблен? — спросил друг, приехавший из деревни.

— Кого мог бы он полюбить? — ответил Родерих. — Он презирает всех дочерей земли, и стоило бы ему только заметить, что его идеал любит наряжаться или, чего доброго, танцевать, как его сердце разорвалось бы; еще ужаснее, если бы она имела несчастье схватить насморк.

Эмиль между тем снова находился в сутолоке; но внезапно его объял тот страх, тот ужас, который столь часто уже охватывал его сердце в возбужденной толпе людей, и погнал вон из залы, из дома, по пустынным улицам, и только в одинокой комнате своей вновь обрел он себя и способность спокойно рассуждать. Ночник был уже зажжен, он отослал слугу спать; напротив было спокойно и темно, и он присел, чтобы излить в стихах ощущения, навеянные балом.

Не знало сердце боли,
В оковах страсть дремала,
Но сила злобной воли
Безумье расковала.
Спасти из плена хочет;
Литавры загремели,
И слышно, как хохочет
Звук трубный и грохочет,
И флейты вдруг запели,
И звуки запестрели,
Пронзительно свистя,
Под переливные скрипок трели
В вихре безумном летя,
Дикой волной прошумели
И дерзким насильем своим тишину одолели.

Куда мы полетели?
Зачем хороводом маски
Несутся в буйной пляске?
Мчит мимо. Сверкает зала,
Уносит нас шум карнавала
И сердца робкого полет;
О! звонче звените,
О! громче гремите,
Цимбалы и дудки!
Пусть боль замрет,
Все смех захлестнет!

Твой нежный лик зовет меня,
Улыбкой, блеском глаз маня,
Ко мне! тебя схвачу я,
Умчу и отпущу я:
Я знаю, сгинет красота,
Замолкнут милые уста.
Ты жертва смерти злой.
Зачем, скелет, меня зовешь?
Не плачу с дрожью и с тоской,
Что нынче, завтра ты умрешь.
В земной юдоли
Что значат боли?
Я живу и парю в хороводе — ты мимо плывешь.

Глядишь, любя! Люблю тебя!
Ах! Скорбь и страх измены
Крадутся к нам за стены,
И боль в слезах, а горький стон
Со всех сторон
Тебя сковали.
Мы без печали
Встречаем смерть и гнет тревог.
Что значит страх? Что значит рок?
Пожали
Мы руки, спеша,
Как ты хороша!
Я бросился вспять, ты мчишься вперед —
И отчаянье сладость дает.

Где мы ликовали,
Где все — упоенье,
Родилось презренье
И горечи яд;
О, время услад!
Тебя презираю
И ту выбираю
Невестой своей;
Другая ж смелей
Глядит на меня:
«Так это твоя?»
Мы все ураганом
Несемся и канем
Из жизни в туман;
Нет жизни, нет счастья,
Нет в мире участия,
Все — смерть и обман.
Внизу ж на просторе,
Под цветом полей,
Мучительней горе,
Тоска тяжелей.
Так громче, цимбалы! Литавры, пьяней!
Гудите, ревите, рожки, веселей!
Шумите, гремите бодрей, горячей!
Нет жизни, нет счастья,
Нет в сердце участия,
Ликуя, уносимся в бездну теней!

Он умолк и встал у окошка. И вот напротив появилась она — такая прекрасная, какой он еще никогда не видал ее; распущенные каштановые волосы рассыпались волнами, игриво и своенравно завиваясь в локоны вокруг белоснежной шеи; она была почти раздета и, казалось, перед отходом ко сну в позднее ночное время хотела еще исполнить какие-то домашние работы, ибо она поставила по свече в двух углах комнаты, поправила скатерть на столе и удалилась. Эмиль был еще погружен в сладкие грезы и возвращался мыслями к образу своей возлюбленной, когда по комнате, к его ужасу, прошла отвратительная красная старуха; на ее голове и груди жутко

поблескивало золото, отражая огни свечей. Через миг она исчезла. Мог ли он верить своим глазам? Не было ли то ночное наважденье, которое призрачно промелькнуло перед ним, порождением собственной его фантазии?

Но нет, старуха вернулась, еще более ужасная, чем раньше: длинные седые и черные космы буйно и беспорядочно развевались по ее груди и спине. Прекрасная девушка следовала за нею бледная, с искаженными чертами, с обнаженной чудною грудью, всем обликом своим подобная мраморной статуе. Между ними шла прелестная малютка, которая плакала и умоляюще прижималась к красавице, не глядевшей на нее. Крошка просительно подымала ручонки, гладила бледную красавицу по шее и по щекам. Но та крепко держала ее за волосы, а в другой руке несла серебряную чашу; бормоча какие-то слова, старуха вытащила нож и перерезала белую шею ребенка. Тут за ними взвилось что-то, чего обе, по-видимому, не замечали, иначе они бы так же глубоко содрогнулись, как Эмиль. Отвратительная шея дракона, вытягиваясь все более и более, вся в чешуях, выползла из темноты, склонилась над ребенком, который с безжизненно повисшими членами лежал на руках старухи, черный язык стал лизать бившую ключом алую кровь, и зеленый сверкающий глаз пронзил через щель взгляд, и мозг, и сердце Эмиля, который в то же мгновение грянулся оземь.

Бездыханным нашел его Родерих через несколько часов.

Радостным летним утром общество друзей собралось в зеленой беседке за вкусным завтраком. Раздавались смех и шутки, все весело и дружно чокались за здоровье молодой четы и желали ей счастья и благополучия. Жених и невеста отсутствовали, так как красавица была еще занята своим нарядом, а молодой жених одиноко прогуливался в отдаленной аллее, размышляя о своем счастье.

— Жаль, — сказал Андерсон, — что мы должны обойтись без музыки; все наши дамы недовольны и никогда еще так не стремились танцевать, как сегодня, когда это невозможно; но это слишком ему неприятно.

— Могу вам открыть, — сказал один молодой офицер, — что у нас все-таки будет бал, да еще самый оживленный и шумный; все уже приготовлено, и музыканты уже тайком прибыли и незаметно

размещены. Все эти приготовления сделал Родерих, говоря, что ему не надо слишком уступать и сегодня менее чем когда-либо следует считаться с его чудачествами.

— Он стал теперь гораздо мягче и обходительней, чем раньше, — сказал другой молодой человек, — и потому я думаю, что эти изменения даже не покажутся ему неприятными. Ведь вся эта женитьба произошла так внезапно, против всех наших ожиданий.

— Вся его жизнь так же полна странностей, как его характер, — продолжал Андерсон. — Все вы, наверно, знаете, как он прошлой осенью во время затеянного им путешествия приехал в наш город, задержался здесь на зиму, жил как меланхолик, почти не выходя из своей комнаты и не обращая внимания ни на наш театр, ни на другие увеселения. Он почти порвал с Родерихом, своим самым душевным другом, из-за того, что тот старался его развлечь и не хотел потакать всем его мрачным настроениям. В сущности, его преувеличенная раздражительность и уныние были не чем иным, как зарождавшейся в его организме болезнью; вам небезызвестно, что четыре месяца тому назад он так тяжело заболел нервной горячкой, что мы все уже потеряли надежду на его выздоровление. Когда его бредовые фантазии отбушевали и он пришел в себя, оказалось, что он почти совершенно лишился памяти, представлял себе только свои ранние детские и юношеские годы и совсем не мог вспомнить того, что случилось с ним во время путешествия или перед болезнью. Ему пришлось вновь знакомиться со всеми своими друзьями, даже с Родерихом; лишь постепенно прояснялось его сознание и события прошлого, хотя еще и тускло, восстанавливались в его памяти. Дядя взял его к себе в дом, чтобы лучше за ним ухаживать; он же был как ребенок и предоставлял делать с собою все, что угодно. Когда он выехал в первый раз и посетил парк, овеянный весенним теплом, он увидел девушку, сидевшую, глубоко задумавшись, в стороне от дороги. Она подняла глаза, их взоры встретились, и, точно охваченный необъяснимым вдохновением, он приказал остановиться, вышел из экипажа, сел рядом с нею, схватил ее руки, и чувства его вылились в потоке слез. Снова начали опасаться за его рассудок; но он стал спокоен, весел и разговорчив, заставил себя представить родителям девушки и при первом же посещении попросил ее руки, которую и получил, так как родители не противились ее согласию. Он был

счастлив, новая жизнь расцветала в нем, с каждым днем становился он здоровее и веселее. Восемь дней тому назад он приехал ко мне сюда, в мое поместье; оно понравилось ему чрезвычайно, до такой степени, что он не успокоился, пока я не продал ему его. Вполне зависело от меня использовать его страстность к своей выгоде, ибо чего желает он, желает горячо и без промедления. Он сделал сейчас же необходимые распоряжения, велел привезти обстановку, чтобы уже на летние месяцы поселиться тут, и вот почему все мы собрались сегодня на его свадьбу в моем прежнем жилище.

Дом был обширен и находился в очаровательной местности. Одна сторона была обращена к реке и прелестным холмам, крупным и обрамленным разнообразными кустами и деревьями; непосредственно перед домом был разбит сад с душистыми цветами. Тут апельсиновые и лимонные деревья стояли в большом открытом зале, и маленькие двери вели в кладовые, погреба и подвалы для провизии. С другой стороны расстилалась зеленеющая лужайка, к которой примыкал парк; здесь оба длинных крыла дома охватывали просторный двор и широкие открытые переходы, образованные колоннадами, протянувшимися в три ряда одна над другой, соединяли все покои и залы дома, отчего здание с этой стороны приобретало какой-то пленительный, даже фантастический вид, ибо здесь по просторным галереям между колоннами непрерывно за тем или иным делом сновали люди и из каждой комнаты выходили все новые лица и появлялись то вверху, то снова внизу, чтобы скрыться в других дверях; сюда же сходилось общество для чая или игр, и потому снизу все принимало вид театра, перед которым каждый останавливался с удовольствием и мысленно ожидал вверху каких-то необычайных и привлекательных происшествий.

Компания молодых людей как раз собиралась встать из-за стола, когда через сад прошла наряженная невеста и приблизилась к ним. Она была одета в фиолетовый бархат; сверкающее ожерелье колыхалось на блистательной шее, сквозь драгоценные кружева просвечивала белая пышная грудь, венок из мирт и цветов дивно оттенял ее каштановые кудри. Она приветливо поздоровалась со всеми, и юноши были поражены ее совершенной красотой. Она нарвала цветов в саду и теперь направлялась во внутренние покои, чтобы присмотреть за устройством пиршества. В нижней открытой

галерее были расставлены столы, на них ослепительно сверкали белые скатерти и хрусталь, разнообразные цветы, в изобилии свисая из изящных сосудов, горели всеми красками, благоухающие зеленые и пестрые гирлянды обвивали колонны; и венцом этого очаровательного зрелища была невеста, которая с прелестной легкостью проходила теперь среди сверкания цветов между столами и колоннами, внимательно все оглядывая, и затем исчезла, и снова появилась наверху, чтобы войти в свою комнату.

— В жизни не видал девушки милее и красивее! — воскликнул Андерсон. — Наш друг — счастливец!

— Даже бледность, — вставил офицер, — добавляет ей красоты. Карие глаза над бледными ланитами, под темными волосами, блистают еще ярче, и эта почти жгучая алость губ превращает ее лицо в поистине волшебный образ.

— Сияние тихой меланхолии, — сказал Андерсон, — каким она окружена, озаряет ее словно бы ореолом величия.

К ним подошел жених и спросил о Родерихе; они уже давно заметили его отсутствие и сами недоумевали, где он находится. Все направились разыскивать его.

— Он внизу в зале, — сказал наконец какой-то молодой человек, которого они тоже спросили, — среди лакеев и конюхов, и показывает им фокусы на картах, а те никак не могут надивиться.

Все пошли вниз и нарушили бурный восторг челяди, между тем как Родерих как ни в чем не бывало продолжал свои магические фокусы. Окончив, он вышел с остальными в сад и сказал:

— Я делаю это только затем, чтобы укрепить в этих людях веру, потому что эти фокусы надолго наносят удар их кучерскому вольнодумству и способствуют их обращению.

— Как вижу, — сказал жених, — мой друг среди прочих своих талантов не пренебрегает также и шарлатанством, чтобы совершенствоваться в нем.

— Мы живем в удивительное время, — ответил Родерих. — В наши дни не следует ничем гнушаться, ведь неизвестно, что к чему еще может пригодиться.

Когда оба друга остались вдвоем, Эмиль снова завернул в темную аллею и сказал:

— Почему в этот день, самый счастливый день моей жизни, я настроен так мрачно? Но уверяю тебя, хотя ты и не хочешь с этим считаться, что не в моей натуре вращаться в людском потоке, быть обходительным с каждым, не пренебрегать никем из родни, ни с ее, ни с моей стороны, относиться с глубоким уважением к родителям, делать комплименты дамам, принимать гостей и надлежащим образом заботиться о дворне и лошадях.

— Все это делается само собой, — сказал Родерих. — Посмотри, ведь твой дом как раз для того и устроен, и твой дворецкий, который не сидит сложа руки и целый день на ногах, как будто на то и создан, чтобы умело все наладить и уберечь от замешательства самое многочисленное общество и достойно принять его. Предоставь же это ему и твоей прекрасной невесте.

— Сегодня утром, еще до восхода солнца, — сказал Эмиль, — я бродил по парку; на душе у меня было торжественно и радостно, и всем существом своим я чувствовал, что жизнь моя отныне определилась и стала серьезнее, что эта любовь дала мне родину и признание. Я проходил мимо беседки, услышал голоса: то была моя возлюбленная, с кем-то задушевно беседовавшая. «Ну что, — спросил незнакомый голос, — не вышло ли все, как я говорила? Именно так, как я и знала, что случится. Ваше желание исполнилось, будьте же довольны этим». Я не хотел подходить к ним; немного погодя я приблизился к беседке, но они уже удалились. И вот теперь я думаю и думаю: что бы могли означать эти слова?

— Быть может, ты был давно любим ею, сам того не подозревая, — сказал Родерих. — Тем больше твое счастье.

Запел поздний соловей; его песнь, казалось, сулила влюбленному радость и счастье. Эмиль задумался.

— Если хочешь развлечься, — предложил Родерих, — то пойдем со мной вниз, в деревню; там ты увидишь вторую пару, так как не воображай, пожалуйста, что сегодня только ты один празднуешь свадьбу. Один молодой работник от скуки и одиночества спутался с противной служанкой, и теперь этот дуралей считает себя обязанным жениться на ней. Сейчас они, наверно, уже нарядились; нужно не пропустить это зрелище, потому что оно, без сомнения, весьма занято.

Печальный юноша дал своему весело болтавшему другу увлечь себя, и вскоре они подошли к хижине. Шествие только что началось, направившись к церкви. Работник был в своей обычной холщовой куртке и мог похвастаться лишь кожаными штанами, которые он начистил до блеска; он был простоват на вид и казался смущенным. Загорелая невеста сохранила лишь немногие последние остатки молодости; она была грубо и бедно, но опрятно одета; красные и синие, уже слегка выцветшие шелковые ленты развевались на ее лифе; больше всего, однако, она была обезображена тем, что волосы ее при помощи жира, муки и булавок были гладко зачесаны назад и туго закручены на макушке; на самой верхушке воздвигнутой башни торчал веночек. Она смеялась и казалась веселой, но все же была стыдлива и застенчива. Старые родители шли за ними; отец был тоже только работник на дворе, и их жилище, домашняя утварь, а также одежда выдавали крайнюю нужду. Косоглазый грязный музыкант следовал за шествием, пикировал на скрипке и при этом кричал. Скрипка была склеена наполовину из картона, наполовину из дерева, вместо струн были натянуты три бечевки. Шествие остановилось, когда новый барин подошел к людям. Некоторые озорные слуги, молодые парни и девушки, балагурили, смеялись и издевались над женихом и невестой, особенно горничные, воображавшие себя красивее и казавшиеся самим себе несравненно лучше одетыми. Ужас охватил Эмиля, он оглянулся на Родериха, но тот снова исчез. Развязный парень с головой Тита, слуга одного из гостей, протиснулся к Эмилю и, желая показаться остроумным, крикнул:

— Ну, милостивый государь, что вы скажете о блестящей паре? Оба еще не знают, откуда завтра возьмут хлеба, а сегодня после обеда они все же дадут бал, музыкант уже прибыл.

— Нет хлеба? — сказал Эмиль. — Может ли это быть?

— Их нищета известна всем, — продолжал тот сплетничать, — но парень говорит, что он будет любить девушку, даже если за ней нету приданого! О, конечно, любовь всесильна! Эти голодранцы никогда не имели постели, даже эту ночь они должны спать на соломе. Брагу, которой они хотят упиться, они тоже себе выклянчили. — Все кругом громко хохотали, а оба осмеянных несчастных опустили глаза.

Эмиль гневно оттолкнул от себя болтуна.

— Возьмите! — воскликнул он и бросил в руки оцепеневшего жениха сто дукатов, которые получил утром. Родители и молодые громко заплакали, неловко упали на колени и целовали ему руки и платье. Он старался освободиться от них. — Уберегите этим себя от нищеты так долго, как только сможете! — крикнул он, ошеломленный.

— О, всю жизнь, милостивый господин, мы будем счастливы! — воскликнули все.

Он не знал, как ушел оттуда. Он очутился один и неверными шагами поспешил в лес. Он нашел в чаще уединенное место, бросился на холм, поросший травой, и дал волю слезам.

— Мне противна жизнь! — рыдал он, глубоко потрясенный. — Я не могу быть веселым и счастливым, я не хочу этого! Прими меня скорей, ты, милая земля, спрячь меня в своих холодных объятиях от диких зверей, которые называют себя людьми! Небесный Боже! Чем заслужил я, что покоюсь на пуховиках и ношу шелк, что виноград отдает мне свою драгоценную кровь и все настойчиво предлагают и несут мне любовь и честь? Эти бедняки лучше и благороднее меня, и нищета — их кормилица, а насмешка и ядовитая издевка — их поздравления. Греховным кажется мне всякий лакомый кусок, который я вкушаю, всякий напиток из граненого стакана, мой сон на мягкой постели, золото и драгоценности, что я ношу на себе, тогда как мир тысячи тысяч раз гонит несчастных, алчущих сухой корки хлеба, не знающих, что такое отрада. О, теперь я понимаю вас, благочестивые святые, вас, отверженные, вас, осмеянные, которые раздавали беднякам все, до одежды, и, опоясав чресла сумой, сами, как нищие, хотели испытать поношения и пинки, которыми грубая наглость и богатое распутство гонят нищету от своего стола; вы сами стали нищими, чтобы отогнать от себя грех пресыщения.

Все образы мира, подобно туману, заколебались перед его взором. Он решил принимать отверженных за своих братьев и удаляться от счастливых. Давно уж его ожидали в зале к бракосочетанию, невесту охватило беспокойство, родители искали его в саду и парке; наконец он вернулся, выплакавшийся и облегченный, и торжественный обряд был свершен.

Из нижней залы все направились к открытой галерее, чтобы сесть к столу. Впереди шли молодожены, остальные попарно следовали за

ними; Родерих предложил руку молодой девушке, бойкой и разговорчивой.

— Почему это невесты всегда плачут и при бракосочетании имеют такой серьезный вид? — спросила она, пока они поднимались на галерею.

— А потому, что в это мгновение они живее всего бывают проникнуты значительностью и таинственностью жизни, — отвечал Родерих.

— Но наша невеста, — продолжала девушка, — торжественностью своей превосходит всех, когда-либо виденных мною; и вообще, она всегда так грустна, от души смеющейся ее никогда не увидишь.

— Тем больше чести это делает ее сердцу, — ответил Родерих, который, против своего обыкновения, был не в духе. — Быть может, вы не знаете, сударыня, что новобрачная несколько лет тому назад взяла на воспитание прелестного ребенка, сиротку-девочку. Малютке этой она посвящала все свое время, и любовь нежного существа была ей сладостной наградой. Девочке минуло семь лет, когда она пропала во время прогулки по городу, и, несмотря ни на какие усилия, ее до сих пор не удалось найти. Благородное существо так близко приняло к сердцу это несчастье, что с того времени она страдает меланхолией и ничто не в состоянии отвлечь ее от тоски по маленькой подруге.

— В самом деле, преинтересно! — воскликнула девушка. — Все это в дальнейшем может развиваться весьма романтически и послужить поводом для приятнейших стихов.

Все заняли места за столом. Молодожены сели посредине; перед ними расстилался веселый ландшафт. Все болтали и провозглашали тосты; царило самое оживленное настроение; родители новобрачной были совершенно счастливы, только ее супруг оставался задумчив и тих, мало пил и ел и не принимал участия в разговорах. Он испугался, когда сверху раздались звуки музыки; однако снова успокоился, потому что в воздухе продолжали звучать лишь мягкие переливы рогов, которые нежно прошелестели над кустами, поплыли через парк и замерли у далекой горы. Родерих расположил музыкантов в галерее над обедающими, и Эмилию распоряжение это понравилось. К концу обеда он вызвал к себе дворецкого и сказал, обращаясь к супруге:

— Дорогой друг, позволь и бедности принять участие в нашем избытке. — Вслед за тем он приказал послать достаточно вина и в

изобилии разных печений и кушаний бедной новобрачной чете, чтобы этот день и для нее был днем радости, о котором она впоследствии могла бы охотно вспоминать.

— Вот видишь, мой друг, — воскликнул Родерих, — как на свете все прекрасно складывается! Ведь мои бесполезные шатания и болтовня, за которые ты меня так часто осуждал, вызвали этот хороший поступок.

Многим захотелось сказать хозяину что-нибудь приятное по поводу его сострадания и доброго сердца, и барышня заговорила о прекрасном образе мыслей и благородстве души.

— О, не будем говорить! — гневно воскликнул Эмиль. — Это вовсе не хороший поступок, даже вообще не поступок, это ничто! Если ласточки и коноплянки кормятся выброшенными крохами нашего избытка и носят их в гнезда своим птенцам, неужели я не должен был вспомнить о бедном нуждающемся во мне собрате? Если бы я мог следовать влечению своего сердца, то вы так же бы меня осмеяли, так же бы надо мной издевались, как над всяким другим, который удалился бы в пустыню, чтобы ничего больше не знать о свете и его благодетеле.

Все замолчали, и Родерих заметил в горящих глазах своего друга сильнейшее неудовольствие; он боялся, как бы тот не забылся еще больше в своей досаде, и постарался быстро перевести разговор на другие предметы. Однако Эмиль стал беспокойным и рассеянным; взгляд его особенно часто направлялся на верхнюю галерею, где деловито суетились слуги.

— Кто эта отвратительная старуха, которая так хлопочет там наверху и то и дело появляется в своем сером плаще? — спросил он наконец.

— Это одна из моих служанок, — сказала новобрачная. — Ей поручен надзор за камеристками и младшими горничными.

— Как можешь ты терпеть возле себя такое уродство? — возразил Эмиль.

— Оставь ее, — ответила молодая женщина, — ведь и уроды жить хотят, а так как она хорошая и честная женщина, то может быть нам очень полезна.

Тут встали из-за стола, и все окружили новобрачного, снова желая ему счастья, а затем стали упрашивать дать разрешение на бал. Супруга очень ласково обняла его и сказала:

— Ты не откажешь мне в моей просьбе, мой милый; ведь все мы предвкушали это удовольствие. Я так давно не танцевала, и ты сам еще ни разу не видел меня танцующей. Разве тебе не интересно посмотреть на мое искусство?

— Такой веселой я никогда еще не видал тебя, — сказал Эмиль. — Не хочу быть помехой вашей радости, делайте что хотите, только пусть никто не требует, чтобы я сам неуклюжими прыжками сделал из себя посмешище.

— Ну, если ты плохой танцор, — сказала она, смеясь, — то можешь быть уверен, что каждый охотно оставит тебя в покое. — С этими словами девушка удалилась, чтобы переодеться в бальное платье.

— Она не знает, — сказал Эмиль Родериху, с которым он отошел в сторону, — что я могу проникнуть к ней из соседней комнаты через потайную дверь; я хочу неожиданно войти к ней.

Когда Эмиль ушел и многие дамы также удалились, чтобы внести в свои туалеты необходимые для танцев изменения, Родерих отозвал молодых людей в сторону и повел их к себе в комнату.

— Уж близок вечер, — сказал он, — скоро стемнеет; теперь живо каждый в свой маскарадный костюм, чтобы как можно ярче и безумнее провести эту ночь! Что только вам ни взбредет на ум — не стесняйтесь, чем пуще, тем лучше! Чем страшнее будут уроды, в которых вы сумеете превратиться, тем больше я вас похвалю. Самые отвратительные горбы, самые безобразные животы, самые нелепые одеяния — все напоказ сегодня! Свадьба ведь такое удивительное событие; совершенно новый, необычный порядок вещей, точно в сказке, сваливается на голову повенчавшихся так внезапно, что этот праздник надо справлять как можно сумбурнее и глупее, хоть как-нибудь мотивируя этим в глазах новобрачных внезапною перемену, чтобы они, словно в фантастическом сне, перенеслись в новое состояние; а потому давайте беситься всю ночь и не поддавайтесь никаким уговорам тех, кто стал бы прикидываться благоразумным.

— Не беспокойся, — проговорил Андерсон, — мы привезли с собой из города большой сундук, полный масок и невероятных пестрых костюмов, ты и сам поразишься.

— Посмотрите-ка, — сказал Родерих, — что я купил у своего портного, который уже хотел изрезать это драгоценное сокровище на лоскутки. Он выторговал этот наряд у одной старой тетки, которая, вероятно, щеголяла в нем на шабаше у сатаны. Взгляните на этот багрово-красный корсаж, обшитый золотыми галунами и бахромой, на этот сверкающий позолотой чепец, который наверняка придаст мне необыкновенно почтенный вид; затем еще я надену вот эту зеленую шелковую юбку с ярко-желтой отделкой и эту безобразную маску и, переодетый старухой, поведу весь хоровод карикатур в спальню. Одевайтесь скорее, и мы торжественно отправимся за молодой.

Еще звучали рога, гости прогуливались по саду или сидели перед домом. Солнце скрылось за хмурыми тучами, всё окутали серые сумерки, как вдруг из-под облачного покрывала еще раз прорвался прощальный луч и словно багровой кровью обрызгал всю местность, и особенно здание с галереями, колоннами и гирляндами. Тогда родители новобрачной и остальные зрители увидели небывалое шествие, колыхавшееся вверх по лестнице: Родерих в образе красной старухи впереди, следом за ним горбуны, толстопузые уроды, чудовищные парики, тартальи, полишинели и призрачные пьеро, женщины в топорщившихся кринолинах и с высоченными прическами, — отвратительнейшие фигуры, все словно из какого-то жуткого ада. Паясничая, вертясь и раскачиваясь, семена и рисуясь, они прошли через галерею и исчезли в одной из дверей. Лишь немногие зрители засмеялись, так поразило всех странное зрелище. Вдруг из внутренних комнат раздался пронзительный крик, и оттуда в кровавый закат выбежала бледная новобрачная, в белом коротком платье с трепетавшими на нем цветами; прекрасная грудь была совершенно обнажена, густые локоны развевались по ветру. Как безумная, с блуждающим взором, с искаженным лицом, она ринулась через галерею и, ослепленная ужасом, не находила ни дверей, ни лестницы, а вдогонку за ней Эмиль с блестящим турецким кинжалом, зажатым в высоко поднятой руке. Она была уже в конце галереи, дальше бежать было некуда, он настиг ее. Маскированные и серая старуха бросились за ним. Но он уже яростно пронзил ей грудь и перерезал белую шею; ее кровь струилась, блестя в вечернем свете. Старуха схватилась с ним, чтобы оттащить назад; в борьбе он опрокинулся вместе с ней через перила, и оба разбились у ног родственников, в немом отчаянии созерцавших кровавую сцену. Наверху и во дворе, спеша вниз по галереям и лестницам, пестрыми группами стояли и сбегали отвратительные личины, подобные адским демонам.

Родерих обнял умирающего. Он застал друга в комнате его жены, игравшего кинжалом. Когда Эмиль вошел, она была почти одета; при виде отвратительной красной старухи в нем ожили воспоминания, перед ним встала жуткая картина той ночи; со скрежетом бросился он на дрожащую, метнувшуюся от него супругу, чтобы покарать ее за убийство и ее дьявольские козни. Старуха, умирая, подтвердила

совершенное преступление, и весь дом погрузился в скорбь, горе и отчаяние.

1811

Эрнст Теодор Амадей Гофман

(1776–1822)

[Сведения из жизни известного лица]

Пер. с нем. А. Соколовского

В тысяча пятьсот пятьдесят первом году на берлинских улицах стал с некоторого времени появляться, особенно в сумерки и по ночам, какой-то очень приличный с виду господин, одетый в прекрасный опушенный соболем кафтан, широкие штаны и разрезные башмаки. На голове носил он бархатный с красным пером берет. Манеры его обличали учтивость и хорошее воспитание. Встречным кланялся он чрезвычайно вежливо, особенно же женщинам и девицам, которых всегда старался занять приятным, любезным разговором.

— Сударыня! Позвольте вашему покорнейшему слуге употребить все свои услуги для исполнения ваших желаний, если только таковые существуют в вашем сердце! — так обращался он к знатым дамам, девицам же говорил: — Да пошлет вам, сударыня, небо дорогого сердцу, какого заслуживают ваша красота и добродетели!

Так же учтиво обходился он и с мужчинами, и потому нет ничего мудреного, что все очень сочувственно относились к незнакомцу и всегда были готовы ему помочь, если он останавливался перед широкой канавой, затрудняясь, как ее перейти. Надо заметить, что, несмотря на статное сложение, незнакомец был хром и ходил с костылем. Когда ему подавали руку, он брал ее очень грациозно и, опершись, прыгал футов на шесть вверх вместе с подавшим ему помощь, а затем становился по другую сторону канавы, шагах в двенадцати от того места, где был. Прыжок этот очень удивлял присутствовавших, и иногда случалось, что прыгавший с незнакомцем повреждал даже себе ногу, что всегда влекло за собой поток самых учтивых извинений с его стороны, причем он рассказывал, что был прежде придворным танцором венгерского короля и потому при малейшей помощи для маленького прыжка его так и тянуло в воздух. Объяснение это совершенно успокаивало любопытных, и они порой даже забавлялись, видя, как какой-нибудь почтенный советник или

судья, подав незнакомцу руку, внезапно прыгает с ним так несообразно своему важному званию. Но как ни любезен был незнакомец обыкновенно со всеми, порой на него находили странные минуты, когда он изменялся совершенно. Иногда ночью вдруг начинал он бродить по улицам, громко стуча во все ворота. Когда же ему отворяли, то видели перед собою высокую, одетую в саван фигуру, громко и злобно завывавшую, так что даже самые храбрые ощущали невольный страх. После таких ночей он обыкновенно извинялся, уверяя, будто должен это делать для напоминания добрым, благочестивым гражданам о смерти и о спасении их бессмертной души. И при этом он даже доходил до слез, чем искренно умилял слушавших. Незнакомец непременно присутствовал на каждом похоронах, провожая гроб тихими шагами со скорбным, благочестивым видом, и при этом плакал и всхлипывал так громко, что не мог даже присоединить своего голоса к пению похоронных псалмов. Но ежели он с подобающей горестью присутствовал на похоронах, то с таким же подходящим весельем любил посещать свадьбы граждан, совершавшиеся в то время так торжественно в здании городской ратуши. В этих случаях распевал он веселые песни, играл на цитре, танцевал по целым часам с женихом и невестой на своей здоровой ноге, искусно подобрав хромую, и вообще вел себя чрезвычайно учтиво и благопристойно. В особенности же присутствие его на свадьбах было приятно новобрачным, так как он всегда делал им ценные подарки: золотые цепи, запястья, дорогую утварь и прочее. Конечно, вследствие всего этого молва о благочестии, добродетели, щедрости и нравственности незнакомца скоро облетела весь Берлин и дошла до ушей самого курфюрста. Курфюрст полагал, что такой почтенный человек может украсить его двор, и потому приказал спросить, не пожелает ли он принять какую-нибудь придворную должность. В ответ на это предложение незнакомец написал на большом, шириною в фут, листе пергамента красными чернилами учтивое письмо, в котором верноподданнически благодарил курфюрста за оказанную честь, но от должности отказался, прося его высочество позволить ему остаться простым гражданином, так как мирная, спокойная жизнь гораздо более соответствует его наклонностям и привычкам. В заключение писал он, что выбрал Берлин местом своего жительства потому, что нигде,

по его словам, не встречал он таких милых, любезных людей, не видел столько сочувствия и внимания и вообще не мог найти места более подходящего к его нраву и привычкам. Курфюрст и весь двор немало удивлялись красноречию незнакомца, с каким он сумел учтиво ответить на высокое предложение и в то же время остаться при своем.

Около этого времени случилось, что супруга ратмана Вальтера Люткенса готовилась в первый раз разрешиться от бремени. Старая повивальная бабка Барбара Ролоффин предсказала, что такая красивая, здоровая женщина родит непременно мальчика, чем привела господина Вальтера Люткенса в совершенный восторг.

Незнакомец, присутствовавший на свадьбе господина Люткенса, посещал его и потом, и вот раз случилось, что, зайдя однажды в сумерки, встретился он там с Барбарой Ролоффин.

Старуха, едва его увидела, громко воскликнула от радости, и в ту же минуту присутствующим показалось, что морщины ее внезапно разгладились, бледные губы и щеки покрылись румянцем, словом, как будто она внезапно обрела силу и свежесть давно прошедшей молодости.

— Ах, ах, господин рыцарь! Вас ли это я вижу здесь! — завопила она с восторгом и при этом чуть не в ноги поклонилась незнакомцу.

Но тот разом осадил ее гневным взглядом, сверкнув глазами, точно в них блеснули искры огня. Никто из присутствовавших не смог понять, что он сказал затем старухе, тихо и смиренно убравшейся в отдаленный уголок.

— Берегитесь, любезный господин Люткенс, — сказал незнакомец ратману, — чтобы у вас в доме не случилось чего дурного при родах вашей супруги. Старая Барбара Ролоффин вовсе не такая искусная повивальная бабка, как вы полагаете. Я знаю давно как ее, так и то, что ей не раз уже случалось сгубить и роженицу, и ребенка.

Можно себе представить, как слова эти напугали господина Люткенса и его супругу и как упала Барбара Ролоффин в их мнении, особенно после того, как они видели, с каким испугом отнеслась старуха к незнакомцу, очевидно, знавшему за ней не совсем чистые дела. Понятно, что ее тотчас же выпроводили вон, запретив переступать порог дома, и сразу послали за другой повитухой.

Барбара Ролоффин перенесла, однако, эту обиду уже не с таким смирением и, уходя, с гневом воскликнула, что заставит господина и

госпожу Люткенс горько раскаяться в их поступке.

И действительно, скоро радость и надежды господина Люткенса превратились в горькое разочарование и печаль, когда супруга его вместо обещанного Барбарой Ролоффин славного мальчика родила отвратительного уroda темного цвета, с двумя рожками, огромными глазами, безносого, с широким, до ушей, ртом и почти без шеи. Голова торчала среди двух безобразных плеч, живот был раздут и весь в морщинах, а руки выходили откуда-то из бедер.

Горько плакал господин Люткенс.

— О господи! — восклицал он в отчаянии. — Что же мне теперь делать? Может ли мой сын пойти по достойным стопам своего отца? Где же это видано, чтобы бывали черные ратманы с двумя рогами на голове?

Незнакомец старался утешить несчастного отца, как только мог. Хорошее воспитание, по его словам, значило очень много. Несмотря на ясное уродство новорожденного, в его больших глазах светился, по мнению незнакомца, несомненный ум, что подтверждалось и значительно широким пространством лба между рогами. Если мальчик не достигнет звания ратмана, то все-таки сможет быть замечательным ученым, и тогда его безобразие будет даже к месту и, наверно, поможет ему снискать общее уважение.

Разбирая причины своего горя, господин Люткенс пришел к заключению, что во всем была виновата Барбара Ролоффин — это положительно доказывалось тем, что во все время родов старуха сидела на пороге дома. Госпожа Люткенс, сверх того, со слезами на глазах уверяла, что во время ее схваток ей постоянно мерещилось отвратительное лицо старой Барбары и что от этого кошмара она никак не могла отделаться.

Доказательства эти, однако, не могли быть признаны достаточными для уголовного дела. Но вскоре представился случай, и преступные деяния Барбары Ролоффин сами собой всплыли наружу.

Это произошло однажды во время сильной бури, налетевшей как раз в полдень. Люди, бывшие на улицах, уверяли, будто видели, как Барбара Ролоффин, возвращавшаяся от одной роженицы, пролетела, шипя и свистя, по воздуху и опустилась совершенно безвредно для себя на лежащий вблизи Берлина большой луг.

Связь Барбары Ролоффин с нечистой силой была таким образом доказана несомненно, и господин Люткенс подал на нее жалобу, вследствие которой старуха была заключена в тюрьму.

Сначала она во всем заперлась, почему и была подвергнута пытке. Тогда, не вытерпев мук, призналась она, что была уже давно в связи с сатаной и вообще занималась чернокнижием. Бедную госпожу Люткенс околдовала действительно она и, сверх того, умертвила и сварила в котле много других христианских детей с помощью еще двух колдуний из Блумберга, которым их нечистый союзник за несколько недель перед тем свернул шеи. Целью их занятий было, по ее словам, намерение произвести в стране общую дороговизну.

По приговору суда, последовавшему очень скоро, старая колдунья была присуждена к сожжению заживо на рыночной площади.

В день казни Барбару Ролоффин привезли, среди несметной толпы народа, на площадь и возвели на приготовленный эшафот. Перед казнью велели ей снять прекрасную шубу, бывшую на ее плечах, но она ни за что на это не соглашалась и умоляла помощников палача непременно привязать ее к столбу в том платье, в каком она была. Это ей было позволено.

Когда костер запылал со всех четырех углов, в толпе народа внезапно явилась исполинская фигура незнакомца, смотревшего сверкающими глазами прямо в лицо старухи.

Высоко взвивались клубы черного дыма; огненные языки уже охватили платье ведьмы, как вдруг она закричала ужасным, пронзительным голосом:

— Сатана! Сатана! Так-то ты исполняешь договор, который со мной заключил! Помоги мне, помоги! Час мой еще не пришел!

Едва успела старуха выговорить эти слова, как незнакомец исчез и вместо него вылетела из земли огромная летучая мышь. Быстрым взмахом крыльев спустилась она, громко крича, на костер, схватила шубу старухи и поднялась вместе с нею в воздух, а костер в ту же минуту рассыпался и погас.

Ужас овладел толпами народа. Всякий понял очень хорошо, что незнакомец был не кто иной, как сам сатана, успевший, по злобе на благочестивых берлинцев, воспользоваться добрым приемом, который они ему сказали, и с такой адской хитростью погубить и почтенного

ратмана Вальтера Люткенса, и много других достойных людей с их супругами.

Так велика власть дьявола, от чьих козней да избавит нас милость Господня!

1819

Натаниель Готорн

(1804–1864)

Хохолок

Назидательная сказка

Пер. с англ. В. Метальникова

— Диккон, — крикнула матушка Ригби, — горячий уголек для моей трубки!

Почтенная матрона произнесла эти слова, держа трубку во рту; она сунула ее туда, предварительно набив табаком, но не стала нагибаться, чтобы раскурить ее от огня в очаге. Да, по правде говоря, не было никаких признаков, чтобы в нем разводили огонь в это утро. Тем не менее не успела она отдать приказание, как ярко-красный огонек уже пылал в отверстии головки и струя дыма слетала с уст матушки Ригби. Откуда взялся этот горячий уголек и чья невидимая рука положила его в трубку — этого мне не удалось узнать.

— Ладно, — промолвила матушка Ригби, кивнув. — Спасибо, Диккон! А теперь займемся чучелом. Ты далеко не уходи, Диккон, на тот случай, если ты мне снова понадобишься.

Эта славная женщина поднялась в такую рань (ибо еще едва-едва рассветало), для того чтобы смастерить чучело, которое она намеревалась водрузить посреди своего кукурузного поля. Май был на исходе, и вороны и дрозды уже обнаружили маленькие зеленые, закрученные в трубочки листочки кукурузы, которые только-только начинали вылезать из земли. Поэтому она решила соорудить самое человекоподобное чучело из всех когда-либо существовавших и при этом смастерить его с ног до головы тотчас же, дабы оно могло немедленно начать свою охранную службу. А надо сказать, что матушка Ригби (что, вероятно, ни для кого не было тайной) являлась одной из самых ловких ведьм в Новой Англии и обладала самыми могучими чарами, так что ей ничего не стоило смастерить чучело достаточно безобразное, чтобы напугать самого священника. Но на этот раз, поскольку она проснулась в необыкновенно добром расположении духа и настроение это еще смягчилось от выкуренной

трубочки, она решила соорудить нечто весьма изящное, полное красоты и блеска, а отнюдь не безобразное и не отвратительное.

— Я вовсе не желаю сажать какое-либо чудище на собственное кукурузное поле, и притом чуть ли не у самого моего порога, — промолвила матушка Ригби, обращаясь к самой себе и выпуская изо рта струю дыма. — Я бы могла сделать так, если бы мне этого захотелось, но я устала совершать всякие чудеса, и потому для разнообразия я не выйду за пределы привычного и разумного. И вдобавок нет никакой нужды пугать маленьких детей на целую милю в округности, хотя бы я и была ведьмой.

Поэтому она твердо решила, что чучело будет изображать изящного джентльмена той поры, насколько имевшиеся в ее распоряжении материалы это позволяли.

Пожалуй, полезно было бы перечислить главнейшие предметы, послужившие к созданию этой фигуры. Из всех частей ее, вероятно, самой главной, хоть и наименее бросающейся в глаза, являлась некая палка от того помела, на котором матушке Ригби не раз приходилось летать по полуночному небу. Палка эта служила чучелу позвоночным столбом, или попросту хребтом, как выразился бы человек непросвещенный. Одной его рукой был сломанный цеп, которым в свое время пользовался покойный мистер Ригби, до того как его сжила с этого грешного света его любезная супруга. Вторая рука, если я не ошибаюсь, состояла из кухонной скалки и ломаной перекладки от стула, не слишком крепко связанных как бы в локте друг с другом. Что же касается ног, то правая представляла собой ручку от мотыги, а левая — самую обыкновенную, ничем не примечательную палку, вытасченную из кучи хвороста. Легкие, желудок и прочая требуха чучела были представлены мучным мешком, набитым соломой. Таким образом, мы полностью выяснили, из чего состояли его скелет и тело, за исключением одной лишь головы. Эта последняя была великолепно представлена несколько ссохшейся и съежившейся тыквой, в которой матушка Ригби просверлила два отверстия для глаз и прорезала щель вместо рта, оставив торчать посередине синеватую шишку, которая могла сойти за нос. Все, вместе взятое, составило, право, очень благопристойное лицо.

— Мне, во всяком случае, приходилось видеть на людских плечах головы куда хуже, — заметила матушка Ригби. — Да и у многих

благородных джентльменов на шее сидят не головы, а тыквы, совсем как у моего чучела.

Однако в данном случае самым главным в создании человека являлась одежда. Посему почтенная старушка сняла с вешалки старинный, цвета сливы, кафтан лондонского покроя с остатками золотого шитья вдоль швов, на манжетах, на клапанах карманов и на петлях, но при этом безнадежно изношенный и полинялый, с заплатами на локтях и разодранными полами и вытертый повсюду почти до самой основы. Слева на груди кафтана зияла круглая дыра, вероятно, на том месте, откуда была выдрана орденская звезда, или, может быть, там, где пламенное сердце прежнего владельца прожгло материю насквозь. Соседи матушки Ригби сплетничали, что этот роскошный наряд являлся частью гардероба самого дьявола, который хранил его у нее в хижине, чтобы с удобством переодеваться, когда ему взбредет в голову появиться во всем блеске за столом губернатора. Под стать кафтану был и бархатный жилет очень большого размера, некогда вышитый золотыми листьями, которые горели на нем, словно клены в октябре, но уже не сохранивший на своем бархате ни одной золотой нити. Вслед за тем появилась пара коротких алых штанов, принадлежавших некогда французскому губернатору Луисберга, штанов, которым в свое время даже довелось коленями касаться нижней ступеньки трона великого Людовика. Француз подарил их одному индейскому колдуну, который променял их старой ведьме на четверть пинты водки во время одной из плясок в лесу. Далее матушка Ригби вытащила пару шелковых чулок и натянула их на ноги чучелу, на котором они казались бесплотными как сновидения, в то время как обе деревянные палки, видневшиеся сквозь дыры, выглядели необыкновенно убого в своей низкой вещественности. И наконец, она водрузила парик своего покойного супруга на гладкую макушку тыквенной головы, увенчав все сооружение пыльной треуголкой, в которую было воткнуто самое длинное из перьев петушиного хвоста.

После этого почтенная матрона прислонила созданную ею фигуру к углу своей хижины и испустила удовлетворенный смешок, рассматривая ее желтое подобие физиономии с изящным маленьким носиком, вздернутым кверху. Физиономия эта была преисполнена

удивительного самодовольства и, казалось, говорила: «А ну, поглядите-ка на меня!»

— И очень даже стоит на тебя поглядеть, это уж верно! — промолвила матушка Ригби, восторгаясь делом рук своих. — Много я соорудила всяких кукурузных кукол, с тех пор как стала ведьмой, но, думается мне, этот всех лучше. Он даже слишком хорош для чучела. А теперь набьем-ка мы новую трубочку, а потом отнесем его на кукурузное поле.

Набивая свою трубку, старуха продолжала взирать с почти материнской нежностью на фигуру, торчавшую в углу. По правде говоря, благодаря ли случайности или ее мастерству — или попросту ее колдовству — было что-то удивительно человеческое в этом нелепом уроде в пестрых лохмотьях, а что касается его физиономии, то ее желтая поверхность как будто сморщилась в улыбку, непонятно только — презрительную или веселую, как будто он прекрасно сознавал, что является не чем иным, как насмешкой над человечеством. Чем больше матушка Ригби на него глядела, тем больше он ей нравился.

— Диккон! — резко крикнула она. — Еще уголек для моей трубки!

И как всегда, не успела она вымолвить эти слова, как пылающий уголек уже горел в ее трубке. Она сначала глубоко затянулась, а затем выпустила из уст мощную струю табачного дыма, за клубившегося в солнечном луче, который с трудом пробрался в комнату через пыльное оконное стекло ее хижины. Матушка Ригби неизменно любила разжигать свою трубку угольком из горящего очага, и притом непременно оттуда, откуда ей его только что принесли. Но где находился этот очаг и кто добывал ей угольки — этого я сказать не могу, и единственное, что мне известно, — это то, что невидимый слуга как будто отзывался на имя Диккон.

«Этот кукурузный кукленок, — подумала матушка Ригби, по-прежнему не отрывая глаз от чучела, — право, слишком хорош, чтобы все лето торчать среди кукурузного поля, пугая ворон и дроздов. Он годится и на что-нибудь получше. Да что говорить, я плясала кое с кем и хуже его на наших ведьминых шабашах в лесу, когда в кавалерах бывал недостаток! А что, если я дам ему возможность попытаться счастья среди других людей, таких же пустоголовых и так же набитых соломой, которые толкутся по белу свету?»

Старая ведьма затянулась еще три или четыре раза и улыбнулась.

«Он встретит сколько угодно своих собратьев на каждом шагу, — продолжала она размышлять. — Ну что же, я вовсе не собиралась сегодня колдовать — разве только чтобы разжигать мою трубочку, но я все же ведьма, была ведьмой и ею останусь, и никуда мне от этого не уйти. Превращу-ка я мое чучело в человека, хотя бы шутки ради».

Бормоча себе под нос эти слова, матушка Ригби вынула трубку из рта и сунула ее в то отверстие, которое изображало рот на тыквенной роже чучела.

— А ну попыхай-ка теперь из нее, дружок! — сказала она. — Затянись, красавчик, и выпусти клуб дыма! Твоя жизнь зависит от этого!

Разумеется, было очень странно обращаться с такими уговорами к чучелу, то есть к созданию из палок, соломы и тряпок, да еще со сморщенной тыквой вместо головы. Все же мы никак не должны упускать из виду, что матушка Ригби была ведьмой, обладавшей необычайной силой и умением. И если мы будем об этом помнить, то не найдем ничего неправдоподобного в удивительных происшествиях нашей повести. Ведь на самом деле мы сразу преодолеем самое главное затруднение, если только сможем заставить себя поверить в то, что стоило почтенной матроне попросить чучело закурить, как тотчас же струйка дыма вырвалась из его уст. Хотя, по правде говоря, эта первая струйка была еще очень жидкая, но за ней последовала другая и потом еще другая, и каждая последующая была гуще предыдущей.

— Пыхай, пыхай, радость моя! Затянись поглубже, милашка! — повторяла матушка Ригби с ласковой улыбкой. — Это для тебя дыхание жизни, уж ты мне поверь!

Безо всякого сомнения, трубка была заколдована. Колдовство должно было таиться или в самом табаке, или в ярко пылавшем угольке, который так таинственно разгорался в ее головке, или в едко-ароматном дыме, который вздымался над тлевшим зельем. Чучело после нескольких неудачных попыток наконец выпустило целый залп табачного дыма, который распространился из темного угла до самого солнечного луча. В полосе солнечного света клубы сперва закружились вихрем, а потом растаяли среди мерцавших пылинок. Видимо, такой результат потребовал от курильщика конвульсивного

усилия, ибо следующие выпущенные им струи дыма были уже значительно слабее, хотя уголек в трубке продолжал гореть, бросая красный отблеск на его физиономию. Старая ведьма захлопала в высохшие ладоши и поощрительно заулыбалась своему детищу. Она убедилась в том, что чары ее действовали вполне исправно. Сморщенное желтое лицо, которое еще недавно вовсе нельзя было назвать лицом, фантастически облекалось в какой-то неуловимый покров человечности, причем сходство с человеческим существом то усиливалось, то совершенно исчезало и все-таки после каждого выпущенного клубка дыма становилось все более и более отчетливым. Да и все тело чучела приобретало некую видимость жизни, которую, поддаваясь игре фантазии, мы порой приписываем смутным образам, возникающим среди облаков.

Если бы нам пришлось расследовать это дело более досконально, мы, весьма возможно, не обнаружили бы никакой перемены в жалких, истрепанных, ничего не стоящих и плохо между собой связанных материалах, из которых было создано чучело. Тут, надо полагать, все сводилось к призрачной иллюзии, к хитроумным эффектам света и тени, так умело рассчитанным, что они могли ввести в заблуждение большинство зрителей. Надо сказать, что волшебные чары, по-видимому, никогда особой тонкостью не отличались, и, если это объяснение будет признано неудовлетворительным, я ничего лучшего придумать не могу.

— Ладно дымишь, молодец! — продолжала кричать почтенная матушка Ригби. — А ну-ка выпусти еще клубочек дыма, погуще, во всю силу твоих легких. Пыхти так, как если бы дело шло о твоей жизни. Затянись поглубже, до самого сердца, до его доньшка, коли у тебя вообще есть сердце, а у него — доньшко. Вот так, отлично! Видно, теперь это стало доставлять тебе удовольствие!

И вслед за тем ведьма поманила чучело рукой, вложив в этот жест такую магическую силу, что, казалось, не было возможности ее послушаться, совсем как невозможно железу не отозваться на таинственный зов магнита.

— Зачем ты, лентяй, прячешься в этом углу? — обратилась она к нему. — Выходи вперед! Весь мир тебе теперь подвластен.

Честное слово, если бы я не слышал этой сказки, еще сидя на коленях у моей бабушки, и если бы тогда же, до того как я смог

проверить ее достоверность своим детским умом, она не утвердилась в моем сознании как нечто столь же достоверное, как и самые правдоподобные вещи, я сомневаюсь, посмел бы я ее теперь рассказывать.

Повинуясь приказу матушки Ригби и вытянув вперед свою руку как бы для того, чтобы успеть схватиться за ее протянутую кисть, чучело сделало шаг вперед, напоминая скорее порывистый скачок, затем зашаталось и едва не потеряло равновесие. А чего же другого могла ожидать от него ведьма? В конце концов, это было только чучело, водруженное на две палки вместо ног. Старая ведьма, однако, не унималась и, нахмутив брови, упорно продолжала его манить и так страстно заражала своей энергией это жалкое сочетание гнилого дерева, прелой соломы и рваных тряпок, что ему ничего другого не оставалось, как, наперекор всякому правдоподобию, проявить себя человеком. И таким-то образом чучело и выступило вперед и оказалось как раз под солнечным лучом. И так он и стоял посредине комнаты, этот несчастный урод, жертва случайной и вздорной прихоти, лишь весьма отдаленно напоминая человека, причем через тонкий слой внешнего сходства проступали нелепые деревянные палки и линиялые, рваные, ни на что не годные тряпки его истинной сущности, — стоял, готовый упасть бесформенной массой на пол, точно сознавая, что он недостойн передвигаться на ногах. Решиться ли мне на откровенное признание? На его теперешней степени оживления это чучело напоминает мне некоторые вялые, недоношенные образы, составленные из разнородных материалов, все вновь и вновь, в тысячный раз идущих в дело (а в сущности, ни для какого дела непригодных), которыми романисты (и надо полагать, я в том числе) перенаселили весь мир художественного вымысла. Между тем свирепая старая ведьма уже начинала сердиться, обнаруживая при этом самые неприглядные стороны своей дьявольской природы (можно было подумать, что змея, шипя, высунула головку у нее из груди). Она возмущалась малодушным повелением существа, которое она не поленилась соорудить своими собственными руками.

— Пыхти, подлец! — злобно кричала она. — Знай себе пыхти, пустоголовый соломенный болван! Ах ты, половая тряпка! Ах ты, мучной мешок! Ах ты, тыквенная башка, ах ты, ничтожество! Где мне подыскать для тебя достаточно меткое слово? Пыхти, говорю я тебе,

всасывай в себя призрачную жизнь вместе с табачным дымом, иначе я вырву трубку у тебя изо рта и брошу тебя туда, откуда я беру горячие уголья!

При таких угрозах несчастному чучелу ничего другого не оставалось, как, спасая свою шкуру, дымить что есть силы. Поэтому, хотя и по необходимости, несчастный стал затягиваться с таким усердием и выдувать такие клубы табачного дыма, что вскоре все вещи в маленькой кухоньке приняли смутные очертания. Один только солнечный луч мог еще кое-как прорваться сквозь туман и отобразить на противоположной стене подобие пыльного и потрескавшегося стекла.

Между тем матушка Ригби, упершись одной своей коричневой рукой в бок и протянув другую к чучелу, зловеще маячила среди полумрака, всей позой своей и улыбкой выражая то торжество, которое она обычно испытывала, когда, навлекши тяжкий кошмар на свои жертвы, стояла у изголовья, наслаждаясь их муками. В совершенном испуге, дрожа от страха, чучело продолжало дымить. Впрочем, эти его усилия, надо признать, привели к совершенно блестящим результатам, ибо после каждого вдоха и выдоха его фигура постепенно теряла свои смутные, неясные очертания и, казалось, приобретала все большую плотность. Более того, даже его платье испытывало на себе то же чудесное превращение, восстановив свой первоначальный лоск и вновь начав блестеть тем самым золотым шитьем, которое давным-давно с него осыпалось. В то же время наполовину скрытое табачным дымом желтое лицо обратило свой тусклый взор в сторону матушки Ригби.

В конце концов старая ведьма сжала руку в кулак и погрозила им чучелу. Нельзя сказать, чтобы она была и впрямь рассержена, однако она поступила так из убеждения — может быть, и неверного или не совсем верного, но, во всяком случае, доступного пониманию матушки Ригби, — что на слабые и сонные натуры, если сами они не могут побудить себя к действию, надо влиять страхом. Но тут дело подошло к критическому моменту. Она решила, если ей не удастся достичь того, что она сейчас задумала, безжалостно раззять это жалкое подобие человека на его составные части.

— Ты приобрел человеческую внешность, — сказала она строгим тоном, — так приобрети же намек или хотя бы пародию на голос. Я

приказываю тебе — говори!

Чучело раскрыло рот, с усилием плотноло воздух и наконец выдавило из себя какой-то шепот, который настолько сливался с его насыщенным табачным дымом дыханием, что трудно было понять, слово ли это сорвалось с его уст или клуб дыма. Некоторые рассказчики этой сказки придерживались того мнения, что как колдовские заклинания матушки Ригби, так и упорство ее воли заставило какого-то духа вселиться в тело чучела и что говорил именно он.

— Матушка, — промямлил жалкий приглушенный голос, — не будь со мной так жестока! Я бы охотно заговорил, но, ежели у меня нет мозгов, что я могу сказать?

— Так ты все-таки можешь говорить, мой голубчик! — воскликнула матушка Ригби, меня суровое выражение лица на приветливое. — Ты спрашиваешь, что тебе можно сказать? Нашел о чем беспокоиться! Ты принадлежишь к братству пустоголовых — и еще спрашиваешь, о чем тебе говорить! Ты будешь говорить о тысяче вещей и тысячу раз будешь повторять одно и то же, и все для того, чтобы ровно ничего не сказать. Пожалуйста, ни о чем не беспокойся, верь моему слову! Когда ты попадешь в большой свет, куда я тебя намерена послать незамедлительно, у тебя не будет недостатка в темах для разговора. Разговаривать! Ты будешь молоть языком как ветряная мельница, если только захочешь. На это-то, я уверена, у тебя мозгов хватит!

— Я к вашим услугам, матушка, — ответило чучело.

— Превосходно сказано, красавец! — заметила на это матушка Ригби. — Ты сейчас сказал как раз то, что тебе полагалось сказать, и при этом ничего не выразил. Тебе надо иметь в запасе сотню таких готовых выражений и еще пятьсот подобных им в придачу. А теперь, мой драгоценный, я так много вложила в тебя труда и ты так прекрасен, что, клянусь тебе, я люблю тебя больше всех ведьминых куклят на свете. А уж из чего только я не изготавливала их на своем веку! И из глины, и из воску, и из соломы, и из палок, и из ночного тумана, и из утренней дымки, и из морской пены, и из печного дыма. Но ты-то из всех самый лучший. Поэтому слушай внимательно, что я тебе сейчас скажу.

— Непременно, дорогая матушка, — отозвалось чучело. — Ваши слова мне западут прямо в сердце!

— Прямо в сердце! — вскричала старая ведьма, взявшись руками за бока и громко хохоча. — Как ты изящно выражаешься! Прямо в сердце! И ты даже приложил руку к левой стороне камзола, точно у тебя и впрямь есть сердце!

Итак, будучи чрезвычайно довольна всей этой фантастической затеей, матушка Ригби приказала чучелу отправиться в большой свет и занять в нем подобающее положение, ибо, уверяла она, в свете едва ли найдется один человек на сотню, который был бы более содержателен, чем он. И для того чтобы ее подопечный мог с кем угодно быть на равной ноге, она тут же снабдила его неисчислимым богатством. Оно состояло частично из золотых копей в Эльдорадо и из десяти тысяч акций предприятия по производству мыльных пузырей, затем из полумиллиона акров виноградников на Северном полюсе, из нескольких воздушных замков и, наконец, из арендной платы и доходов со всей указанной выше недвижимости. Далее она передала ему право на владение грузом кадисской соли, что везли на некоем судне, которое она сама десять лет назад при помощи своих магических чар пустила ко дну в самом глубоком месте океана. Если эта соль еще не растворилась, ее можно было доставить на рынок и, распродав там рыбакам, выручить изрядную сумму. А для того чтобы он не нуждался в наличных деньгах, она дала ему медный грош, отчеканенный в Бирмингеме (весь запас разменной монеты, которым она владела), и вдобавок приложила еще изрядное количество меди к его лбу, ибо, как известно, иметь медный лоб — все равно что быть бесстыжим, и таким образом заставила его лицо пожелтеть еще больше.

— Умно расходуя одну только эту медь, — заявила матушка Ригби, — ты сможешь оплатить путешествие вокруг света. Поцелуй меня теперь, мой красавчик. Все, что было в моих силах, я для тебя сделала.

Но далее, дабы этот удалой молодец мог воспользоваться всеми возможными удобствами и выгодами при начале своей карьеры, достопочтенная старая матрона сообщила ему секрет, каким образом попасть в милость к некому члену городского магистрата, судье, оптовому торговцу и церковному старосте (все эти четыре качества

относились к одному и тому же лицу), возглавлявшему высшее общество в соседнем городе. Секрет этот сводился к одному-единственному слову, которое матушка Ригби шепотом сообщила чучелу и которое ее посланец должен был в свою очередь тоже шепотом сказать купцу.

— Хоть он и подагрик, этот уважаемый старец, он со всех ног побежит исполнять любое твоё желание, как только ты шепнешь ему это словечко на ухо, — заявила старая ведьма. — Матушка Ригби хорошо знает достопочтенного судью Гукина, и достопочтенный судья её тоже неплохо знает!

И с этими словами ведьма, вплотную приблизив своё лицо к лицу чучела, залилась неудержимым смехом, вся дрожа от радостного возбуждения, что может сообщить ему пришедшую ей в голову блестящую мысль.

— У достопочтенного судьи Гукина, — шептала старуха, — имеется дочка, весьма недурная собой девица. А теперь послушай-ка меня внимательно, моя прелесть. Наружность у тебя хоть куда, и ума у тебе достаточно. Да не то что достаточно, а даже больше, чем нужно. Ты сам в этом убедишься, когда посмотришь, с каким умом живут на свете иные люди. И вот, с твоей наружностью и с твоим внутренним содержанием, ты как раз тот мужчина, который может завоевать сердце девушки. Ты в этом не сомневайся — я говорю тебе, что это так. Ты только будь смелее, вздыхай, улыбайся, размахивай шляпой, выставляй вперед ногу, как танцмейстер, почаще прикладывай правую руку к левой стороне камзола, и хорошенькая Полли Гукин будет твоей.

В течение всего этого разговора вновь возникшее создание усиленно всасывало в себя и затем выпускало изо рта ароматный табачный дым и как будто намеревалось продолжать это занятие и далее, с одной стороны, ради получаемого им от этого удовольствия, а с другой — потому, что оно являлось главнейшим условием его дальнейшего существования. Удивительно было наблюдать, как необыкновенно по-человечески вело себя это существо. Его глаза (ибо выяснилось, что оно обладает парой глаз) были обращены к матушке Ригби, и в нужный момент, оказывается, оно умело покачать головой — иногда положительно, иногда отрицательно. И разумеется, оно неизменно нападало на подходящие к случаю слова: «Правда?» —

«В самом деле?» — «Скажите!» — «Неужели?» — «Уверю вас!» — «Ни за что!» — «О!» — «Ах!» — «Гм!» — и иные столь же глубокомысленные замечания, выражающие заинтересованность, любопытство или несогласие слушателя. Даже если бы вы были непосредственным свидетелем того, как создавалось чучело, то у вас все равно не возникло бы никаких сомнений, что оно отлично понимает все коварные советы старой ведьмы, которые она нашептывала ему в его подобие уха.

Чем энергичнее раскуривало чучело свою трубку, тем более сходство его с человеком усугублялось: пронизательнее делались глаза, живее и естественнее — жесты и движения, а речь звучала громче и вразумительнее. Его одежда тоже начинала блистать все ярче, приобретая иллюзорное великолепие. Даже та самая его трубка, в которой горело волшебное зелье, совершившее все эти чудеса, перестала казаться почерневшим от дыма глиняным черенком, а превратилась в богато расписанное пенковое изделие, которое украшал янтарный мундштук.

Впрочем, поскольку иллюзия жизни в чучеле поддерживалась только табачным дымом, можно было опасаться, что она исчезнет тотчас же, как только табак превратится в пепел. Однако старая ведьма предусмотрела эту опасность.

— Подержи-ка свою трубку, золотце, — сказала она, — пока я тебе ее вновь набью.

Грустно было наблюдать, как изящный джентльмен постепенно бледнел и увядал, вновь превращаясь в чучело, в то время как матушка Ригби, выколов пепел из трубки, набивала ее табаком из своего кисета.

— Диккон! — взвизгнула она. — Еще один уголек!

Не успела она это произнести, как ярко-красная искра огня загорелась в головке трубки, и чучело, не ожидая приглашения со стороны ведьмы, сунуло мундштук в рот и сделало несколько коротких, судорожных затяжек, которые, впрочем, скоро сменились нормальным, ровным почихиванием.

— Итак, моя бесценная душенька, — продолжала матушка Ригби, — что бы с тобой ни случилось, ты не должен расставаться с трубкой. Жизнь твоя всецело от этого зависит. И это-то, по крайней мере, ты должен знать твердо, хотя бы ты больше ничего не знал.

Придерживайся своей трубки, я тебе говорю! Кури, дыми, пускай облака дыма и отвечай людям, ежели они тебя спросят, что ты это делаешь для здоровья и что тебе так приказали доктора. А как увидишь, дружок, что трубка гаснет, сейчас же отойди куда-нибудь в сторонку и, предварительно затянувшись как можно глубже, громко воскликни: «Диккон, свежую трубку табаку!» и еще: «Диккон, еще один уголек для моей трубки!» И засунь ее опять как можно быстрее в свой хорошенький ротик, иначе из галантного кавалера в камзоле с золотым шитьем ты превратишься в беспорядочное сборище всякой дряни — палок, лохмотьев одежды, мешка с соломой и ссохшейся тыквы. Ну а теперь — в путь, мое сокровище, и желаю тебе всяческого счастья!

— Не тревожься за меня, милая матушка, — заявило чучело решительным тоном, энергично выпуская изо рта густой клуб дыма. — Если честный человек и джентльмен не может не процветать, то я буду жить припеваючи.

— Ой, да ты меня просто уморишь! — воскликнула старая ведьма, задыхаясь от смеха. — Ведь какие слова говорит! Честный человек и джентльмен не может не процветать! Ты свою роль играешь так, что лучше нельзя. Попробуй, посоревнуйся с любым модным франтом. Я что угодно поставлю на тебя, на человека солидного, серьезного, с умом и с тем, что принято называть сердцем (не говоря уже о других качествах мужчины), против всех этих чучел на двух ногах. По твоей милости я с сегодняшнего дня считаю себя более умелой ведьмой, чем была. Разве не я тебя сотворила? И я сильно сомневаюсь, чтобы какая-нибудь другая ведьма в Новой Англии могла создать еще такого, как ты! На вот, возьми с собой еще мой посох!

Посох (хотя это была всего только обыкновенная дубовая палка) тотчас обратился в трость с золотым набалдашником.

— В этом набалдашнике не меньше ума, чем в твоей балде, — продолжала матушка Ригби, — и трость тебе укажет прямой путь к дому почтенного судьи Гукина. А теперь уходи отсюда, мой красавчик, мой дружок, бесценное сокровище! Если кто-нибудь тебя спросит, как твое имя, отвечай: Хохолок, потому что на шляпе у тебя торчит хохлом петушиное перо, и в твою пустую башку я тоже кинула целую пригоршню перьев. Да и на парике у тебя спереди локоны тоже завиты по моде, хохолком. Итак, зовись отныне Хохолок.

На этом Хохолок покинул хижину и широкими шагами направился в город. Матушка Ригби стояла на пороге своего дома, с удовольствием наблюдая, как ее питомец весь блестит и сияет в солнечных лучах, точно все его великолепие — самое подлинное, как старательно и любовно курит он свою трубку и как уверенно шагает, несмотря на некоторую деревянность походки. Она следила за ним, пока он не скрылся из глаз, и послала ему вдогонку свое ведьмино благословение, когда он исчез за поворотом дороги.

Между тем в соседнем городе около полудня, когда шум и суэта достигли своей высшей точки, на улице появился чужестранец весьма изысканного вида. Как его наружность, так и его платье говорили о том, что он по меньшей мере благородного происхождения. На нем был богато вышитый кафтан цвета сливы, камзол из дорогого бархата, роскошно украшенный золотым шитьем, пара великолепных алых штанов и самые тонкие и блестящие белые шелковые чулки. На голове его красовался парик, столь безупречно напудренный и причесанный, что было бы кощунством растрепать его, надев поверх шляпу. Вот почему он нес ее (а это была шляпа, обшитая золотым галуном и украшенная белоснежным пером) под мышкой. На груди его кафтана блистала яркая звезда. Он играл своей тростью с золотым набалдашником с беспечной грацией, характерной для изящных кавалеров той эпохи, и для того, чтобы последним штрихом довершить великолепие его наряда, руки его были наполовину скрыты тончайшими кружевными манжетами, которые достаточно ясно свидетельствовали, сколь непривычны эти руки к работе и как они аристократичны.

Характерной особенностью снаряжения этой блистательной особы было еще то, что она держала в левой руке необыкновенного вида трубку, украшенную тонкой живописью и янтарным мундштуком. Этот последний она всовывала себе в рот через каждые пять-шесть шагов, глубоко затягивалась табачным дымом и, задержав его одно мгновение в своих легких, выпускала затем тонкими струйками изо рта и из носа.

Как легко можно себе представить, вся улица пришла в волнение, желая узнать имя чужестранца.

— Это какая-нибудь очень высокопоставленная особа, в этом нет сомнения, — заявил один из городских жителей. — Вы видите, какая

у него на груди звезда?

— Но ее никак не рассмотришь, она так блестит, — возразил другой городской обыватель. — Ты прав, он должен быть человеком благородным, но вот скажи мне, каким образом мог этот лорд прибыть сюда, будь то морем или сушей? Ни одно судно из Англии не заходило к нам за последний месяц. А если он путешествовал сухим путем с юга, то позвольте спросить, где же его свита и где его экипаж?

— Ему никакой свиты не нужно, чтобы доказать принадлежность к высокому сану, — заметил третий горожанин. — Если бы он появился среди нас даже в лохмотьях, то его благородство просвечивало бы и через дыру на локте. Ни в ком я не встречал такого достоинства. Ручаюсь, что в его жилах течет древняя норманнская кровь.

— А мне скорее представляется, что он голландец или какой-нибудь там немец, — вмешался в разговор еще один горожанин. — У людей из этих стран вечно торчит изо рта трубка.

— Да и у турок тоже, — отвечал его приятель. — Но мне думается, этот чужестранец получил воспитание при французском дворе и научился там учтивости и прекрасным манерам, которыми никто так хорошо не владеет, как французское дворянство. Что у него за походка! Какой-нибудь простак нашел бы, что в ней нет плавности, он мог бы даже назвать ее деревянной, но, на мой взгляд, она полна удивительной величавости, и должно быть, он приобрел ее, постоянно наблюдая осанку Великого короля. Кто этот чужестранец и где он служит, теперь достаточно ясно. Это французский посланник, прибывший, чтобы договориться с нашими правителями об уступке нам Канады.

— Более вероятно, что он испанец, — сказал на это еще один человек, — и отсюда желтый цвет лица. Или, еще вернее, он прибыл к нам из Гаваны или из какого-либо другого порта на Карибском море, для того чтобы все подробно разузнать о пиратстве, которому, говорят, наш губернатор потворствует. Эти поселенцы из Перу и Мексики так же желты, как то золото, которое они добывают в своих копях.

— Желтый или не желтый, — воскликнула одна дама, — а он красивый мужчина! Как он высок и строен! Какие у него тонкие, породистые черты, благородной формы нос и изысканное выражение

рта! Господи ты боже мой! А как блестит его звезда! Положительно, она мечет кругом искры!

— Это делают ваши глаза, прекрасная леди, — отозвался чужестранец, обдав ее клубом дыма, так как он в этот момент проходил мимо нее. — Даю вам слово, они меня совсем ослепили!

— Слышали ли вы еще когда-нибудь такой оригинальный, такой очаровательный комплимент? — прошептала леди, наверху блаженства.

Среди всеобщего восхищения, возбужденного наружностью чужестранца, только два голоса не слились с общим хором. Один из них принадлежал нахальному псу, который, обнюхав каблук блистательного джентльмена, поджал хвост и, скрывшись у хозяина на заднем дворе, завыл оттуда самым возмутительным образом. Другим оказался маленький ребенок, который заревел во всю мочь своих легких, бормоча какую-то малопонятную чепуху относительно тыквы.

Хохолок между тем продолжал идти вперед вдоль по улице. Если не считать тех нескольких любезных слов, с которыми он обратился к леди, и порой легкого кивка в ответ на низкие поклоны прохожих, он всецело был поглощен своей трубкой. Не требовалось никаких иных доказательств его высокого звания и положения, чем та спокойная уверенность, с которой он себя вел, в то время как шумное любопытство и восхищение горожан росло так быстро, что скоро он оказался окруженным как бы сплошным гулом. С толпой любопытных, следовавших за ним по пятам, он дошел наконец до особняка, занимаемого достопочтенным судьей Гукином, миновал ворота, поднялся по ступенькам крыльца и постучал во входную дверь. Присутствующие обратили внимание, что, пока на его стук еще не ответили, чужестранец стал выколачивать пепел из своей трубки.

— Что это он сказал таким резким тоном? — спросил один из зрителей.

— Право, не знаю, — отвечал его друг. — Но что это — солнечный свет слепит мне глаза? Фигура его милости лорда стала почему-то вдруг совсем тусклой и блеклой! Боже милосердный, да что же это со мной делается?

— Поразительно то, — продолжал его собеседник, — что его трубка, которую он только что вытряхнул, уже снова горит, и при этом

зажжена она самым ярким угольком, какой только можно себе представить. Что-то таинственное есть в этом чужестранце. Смотрите, какой клуб дыма он выпустил! «Тусклый и блеклый», сказали вы про него? Помилуйте, вот он повернулся, и звезда на его груди загорелась как огонь.

— Что верно, то верно! — согласился его приятель. — И будьте уверены, что ее блеск того и гляди ослепит хорошенькую Полли Гукин, что выплядывает, как я вижу, из окна гостиной и смотрит на него.

Когда входную дверь наконец открыли, Хохолок повернулся к толпе и величественно преклонил перед ней свою голову, совсем так, как это делают власть имущие, принимая знаки уважения от простых смертных, после чего проследовал в дом. На его лице появилось некое загадочное подобие улыбки (если не лучше было бы назвать ее оскалом или гримасой), но из всей толпы, на него взиравшей, ни один человек, видимо, не обладал достаточной проницательностью, чтобы обнаружить призрачный характер чужестранца, кроме маленького ребенка и дворового пса.

Наша сказка тут несколько отходит от последовательности своего изложения и, перескакивая через предварительную встречу Хохолка с купцом, ищет возможности познакомиться с хорошенькой Полли Гукин. Она была девицей, обладавшей округлой фигуркой, белокурыми волосами, голубыми глазками и прелестным розовым личиком, казавшимся не так чтобы уж слишком лукавым, но и не очень простодушным. Эта молодая особа мельком увидела блистательного чужестранца, когда он стоял на пороге их двери, и посему, готовясь к свиданию с ним, надела кружевной чепчик, нитку бус, накинула на плечи свой самый лучший платок и обрядилась в свою самую тугонакрахмаленную узорчатую юбку.

Спеша из своей комнаты в гостиную, она увидела себя в большом зеркале и принялась, как это вошло у нее в привычку, упражняться перед ним в кокетливых позах. Она то улыбалась, то принимала вид чопорный и важный, то вновь улыбалась уже несколько нежнее, то посылала воздушный поцелуй, а потом гордо вскидывала голову и обмахивалась веером, а в зеркале в это время призрак этой юной особы повторял ее ужимки и проделывал всю ту плупую комедию, которую разыгрывала Полли, однако смутить неразумную кокетку он

не смог. Короче говоря, если ей не удалось превратиться в такое же искусственное создание, как сам знаменитый Хохолок, то это произошло скорее по причине ее неспособности, а не из-за отсутствия у нее желаний. И поскольку она явно пыталась извратить свою природную простоту, сотворенный ведьмой призрак мог вполне надеяться ее завоевать.

Как только Полли услышала, что к дверям гостиной приближаются подагрические шаги ее отца, сопровождаемые размеренным стуком башмаков на высоких каблуках Хохолка, она уселась на стул и, стараясь сидеть как можно прямее, с самым невинным видом начала напевать песенку.

— Полли! Дочка Полли! — закричал старый купец. — Подойди сюда, дитя мое.

Выражение лица судьи Гукина, когда он открыл дверь, было какое-то смущенное и растерянное.

— Этот вот джентльмен, — продолжал он, представляя чужестранца, — шевалье Хохолок, то есть, я прошу прощения, его милость лорд Хохолок, привез мне привет от одного моего стариннейшего друга. Приветствуй же его милость, дитя мое, и окажи ему то уважение, которое приличествует его званию.

После этих рекомендательных слов distinguished судья немедленно удалился из комнаты. Но если бы даже в это краткое мгновение хорошенькая Полли поглядела сбоку на своего отца, вместо того чтобы всецело отдаться лицемерию блистательного гостя, она была бы предупреждена о некоей грозившей ей опасности. Старик нервничал, был суетлив и очень бледен. Намереваясь выразить на своем лице любезную улыбку, он ослабил судорожной, кривой усмешкой, которую, как только Хохолок повернулся к нему спиной, он сменил на самое злобное выражение, потрясая в то же время кулаком и топя подагрической ногой о пол (невежливость, повлекшая за собой немедленное возмездие). По правде говоря, то самое слово (какое бы оно ни было), которое матушка Ригби велела передать богатому купцу, возбудило в нем значительно больше страха, нежели добрых чувств. Более того, будучи человеком удивительно острой наблюдательности, он заметил, что нарисованные на трубке Хохолка фигурки двигаются. Присмотревшись к ним поближе, он убедился, что фигурки эти представляют собой чертенят, украшенных, как им

полагалось, рожками и хвостиками, которые, взявшись за руки, скакали в веселом дьявольском хороводе вокруг трубочной головки. Далее, когда судья Гукин провожал своего гостя по коридору из кабинета в гостиную, звезда на груди Хохолка, как будто для того только чтобы подтвердить его подозрения, засверкала настоящим пламенем, кидая дрожащие отблески на стены, потолок и пол.

Неудивительно, что при столь мрачных и разнообразных по своему характеру предзнаменованиях купец не мог не почувствовать, что он подвергает свою дочь большому риску, знакомя ее с такой сомнительной личностью. Он проклинал в глубине души те вкрадчиво-элегантные манеры Хохолка, которыми щеголял этот блестящий кавалер, кланяясь, улыбаясь, кладя руку на сердце, глубоко затягиваясь из трубки и выпуская в воздух напоенные табачным ароматом клубы дыма. С радостью выкинул бы несчастный судья Гукин своего опасного гостя на улицу, но что-то сдерживало его, внушая ему страх. Нам представляется, что этот почтенный старый джентльмен в какой-то начальный период своей жизненной карьеры отдал что-то очень существенное в заклад злему началу и, может быть, теперь наступил срок выкупа, а расплачиваться ему приходилось собственной дочерью.

Дверь в гостиную купца была сверху остеклена и прикрыта шелковой занавеской. Случилось так, что складки этой занавески были несколько сдвинуты в сторону. Так велико было желание отца видеть, что же произойдет между хорошенькой Полли и галантным Хохолком, что, выйдя из комнаты, он никак не мог устоять от соблазна подглядеть за ними в образовавшуюся щель. Но ничего особенно поразительного увидеть было нельзя, ничто (если не считать вышеупомянутых мелочей) не подтверждало страха, что хорошенькой Полли грозит какая-то сверхъестественная опасность. Правда, чужестранец явно принадлежал к числу многоопытных людей света, прожженных волокит, неуклонных в своих действиях и полных самообладания, а следовательно — тех кавалеров, которым родитель ни в коем случае не должен был бы доверять скромную молодую девушку без соответствующего надзора за их поведением. Почтенный судья, которому приходилось встречаться с людьми всех сортов и рангов, не мог не отметить, что каждое движение, каждый жест изящного Хохолка были безупречны. Ни тени чего-либо грубого или

первобытного в нем найти было нельзя. Прекрасно усвоенная система условностей вошла в его плоть и кровь и превратила его в своеобразное произведение искусства. Возможно, что именно эта его особенность и наделяла его оттенком таинственности и жути. В самом деле, доведенная до совершенства искусственность в облике человека неизменно производит на нас впечатление иллюзорности, чего-то едва обладающего достаточной телесностью, чтобы отбросить от себя тень. Что касается Хохолка, то все о нем сказанное сочеталось в некое дикое, сумасбродное и фантастическое целое, точно весь он и его действия были подобны дыму, который, клубясь, подымался из его трубки. Но хорошенькая дочка купца ничего не замечала. Теперь оба они, Хохолок и Полли, прохаживались по комнате. Хохолок ступал по полу чрезвычайно изысканно и не менее изысканно кривил физиономию, а девушка следовала за ним с естественной девичьей грацией, чуть тронутой, но не испорченной аффектацией, которую она, по-видимому, переняла от своего чрезвычайно неестественного спутника. Чем дольше длилось их свидание, тем более очаровывалась хорошенькая Полли, пока ровно через четверть часа (что старый судья отметил по своим карманным часам) она не начала явно в него влюбляться. В том, что это произошло так быстро, чары ведьмы были совсем не повинны. Бедная девушка, видимо, обладала столь пылким сердцем, что оно растаяло от собственного жара, едва этот жар вернулся к ней отраженным даже от такого пустого подобия поклонника. Что бы ни говорил Хохолок, его слова звучали в ее ушах глубокой и созвучной ее душе мелодией; что бы он ни делал, его поступки представлялись ей героическими. К этому времени, надо полагать, румянец зарделся на щеках Полли, нежная улыбка заиграла на ее устах, светлая роса увлажнила ее глаза, а между тем звезда продолжала так же нестерпимо ярко сверкать на груди у Хохолка и маленькие чертенята еще разгульнее прыгали вокруг головки его трубки. О, прелестная Полли Гукин! Почему же должна эта нечисть так безумно радоваться, что глупое девичье сердце может достаться бесплотной тени? Разве уж это такое необыкновенное несчастье, а следовательно — и такое редкое торжество?

Но вот Хохолок остановился и, приняв величественную позу, казалось, вызывал хорошенькую девушку на то, чтобы она, окинув взглядом его фигуру, попробовала устоять перед ним, если ей это

удастся. Его звезда, его шитье на платье, его пряжки на башмаках сияли в эти мгновения с невыразимым блеском. Пестрые краски его наряда становились благороднее и гармоничнее; на всей его особе лежал отблеск некоего сияния или лоска, порожденного колдовством его безупречных манер. Девушка подняла глаза и замерла, смотря на него робким и восхищенным взором. Затем, как бы желая проверить, какую цену может иметь ее скромная миловидность рядом с таким великолепием, она кинула взгляд в огромное, отражавшее их с ног до головы зеркало, против которого они случайно остановились. Зеркало это было одним из самых правдивых на свете, неспособным к лести. И вот, стоило только ей увидеть отражения их обоих, как она вскрикнула, отпрянула от чужестранца и, уставясь затем на него с минуту, в диком ужасе упала без чувств на пол. Хохолок в свою очередь взглянул в зеркало и там вдруг узрел не иллюзорный блеск своей внешности, а лоскутное убожество своей истинной сущности, лишенное всякого волшебства.

Несчастный призрак! Мы почти готовы ему посочувствовать. Он вскинул руки с таким выражением отчаяния, что все его прежние проявления эмоций, которыми он хотел доказать свое право на звание человека, не шли ни в какое сравнение с этой горестной вспышкой. Ибо, возможно, в первый раз с тех пор, как эта столь часто пустая и обманчивая человеческая жизнь зародилась, иллюзия увидела себя и познала себя до конца.

В этот богатый событиями день матушка Ригби сумерничала у кухонного очага и только что вытряхнула пепел из своей новой трубки, как услышала, что кто-то поспешно шагает по дороге. И в то же время этот шум казался не столько топаньем человеческих подошв, сколько стуком деревянных палок или сухих костей друг о друга.

«Ха-ха! — подумала старая ведьма. — Что это за шаги? Любопытно, чей это скелет вышел вдруг из могилы?»

Внезапно кто-то опрометью вбежал в хижину. Это был Хохолок. Его трубка по-прежнему дымилась, звезда по-прежнему сверкала на его груди, золотое шитье по-прежнему сияло на его одежде, и при этом он ни в малейшей степени не потерял ни того достоинства, ни тех манер, благодаря которым его можно было спутать с нашими смертными братьями. И все-таки каким-то невыразимым образом (как это бывает со всяким обманом, когда мы раскусили его) убогая правда проступала сквозь мишурный блеск подделки.

— Что же это с тобой случилось неладное? — спросила ведьма. — Или этот привередливый лицемер выставил моего любимца за дверь? Ах он мерзавец! Я пошлю на него двадцать дьяволов, чтобы они его мучили до тех пор, пока он не падет на колени и сам не станет предлагать тебе свою дочь в жены.

— Нет, матушка, — возразил ей Хохолок весьма уныло. — Тут дело совсем в ином.

— Что же это? Неужели сама девица презрела мое сокровище? — переспросила его матушка Ригби, в то время как ее злые глаза запылали как два адских раскаленных угля. — Я покрою все ее лицо прыщами! Нос ее станет так же красен, как этот уголек в моей трубке! Передние ее зубы выпадут! Не пройдет и недели, как ничего хорошего в ней уже не останется!

— Оставь ее в покое, мать, — отвечал на это бедный Хохолок. — Девушка была уже наполовину покорена, и, мне думается, еще один сладкий поцелуй с ее уст — и я бы стал настоящим человеком. Но, — добавил он после короткой паузы и затем почти завыл в порыве самоуничижения, — я увидел самого себя, мать! Я увидел, что я за жалкое, истрепанное, выхолощенное существо! Я не хочу больше жить!

Выхватив трубку изо рта, он что есть силы хватил ее об очаг и в то же мгновение рухнул на пол, превратившись в кучу соломы и изодранной в клочья одежды с какими-то палками, торчащими из всей этой рухляди, и лежащей поверх нее сморщенной тыквой. Проверченные в этой последней дыры, заменявшие глаза, потеряли теперь всякий блеск, но грубо вырезанное отверстие, которое еще недавно было ртом, казалось, продолжало кривиться от отчаяния и еще не лишилось оттенка человечности.

— Бедняга! — промолвила матушка Ригби, печально взглянув на остатки своего неудачливого создания. — Бедный мой милый, хорошенький Хохолок! На свете существуют тысячи и тысячи всяких хлыщей и шарлатанов, составленных, подобно ему, из такой же кучи дряни, из таких же поношенных, устарелых, ни на что не годных вещей, и все же они живут себе припеваючи и никогда не видят себя такими, какие они есть. И почему же один только мой куленок должен был познать себя и от этого погибнуть?

Продолжая бормотать таким образом, ведьма набила трубку свежим табаком, но задержала ее между пальцев, точно раздумывая, сунуть ли трубку себе в рот или опять в рот Хохолку.

— Бедняга Хохолок, — продолжала она. — Я легко могла бы предоставить ему еще одну возможность и завтра же послать его вновь искать счастья. Но нет! Он слишком впечатлителен и чувствует все слишком глубоко. У него, видимо, слишком нежное сердце, чтобы бороться и побеждать в этом бесчувственном и бессердечном мире. Я все-таки сделаю из него пугало. Это невинная и притом полезная профессия, и она подойдет моему сокровищу как нельзя лучше. Если бы все его братья здесь, на земле, занимались бы, как он, таким же нужным делом, человечество бы от этого только выиграло. А что касается моей трубочки, то я в ней больше нуждаюсь, чем он!

Сказав это, она сунула мундштук себе в рот.

— Диккон! — крикнула она снова самым пронзительным тоном. — Еще один уголек для моей трубки!

Роберт Льюис Стивенсон

(1850–1894)

Окаянная Дженет

Пер. с англ. Н. Дарузес

Его преподобие Мердок Соулис очень долго прослужил пастором на болотах в приходе Болвири, что в долине реки Дьюлы. Суровый старик с холодным и жестким лицом, внушавший страх всем своим прихожанам, последние годы он жил совсем один, без родных и без прислуги, в уединенном пасторском домике, стоявшем на отшибе, близ горы Хэнгин-Шоу. Вопреки железному спокойствию в чертах лица взгляд у него был дикий, испуганный и неуверенный, а в то время, когда он беседовал наедине с кем-либо из прихожан о будущем нераскаянных грешников, казалось, будто этот взгляд проникает сквозь грозы времен в страшные тайны вечности. Многие из молодых людей, что бывали у него, готовясь к причастию, приходили в ужас от его речей. Каждое первое воскресенье после семнадцатого августа он читал проповедь на текст из Первого послания апостола Петра (гл. V, стих 8): «Диавол, аки лев рыкающий...» В этот день он обычно превосходил самого себя, и слушателей пробирал мороз по коже как от самой проповеди, так и от грозной манеры проповедника. Дети пугались до припадков, а старики после проповеди смотрели пророками и весь день беспрестанно намекали на то, против чего так восставал Гамлет. Пасторский домик стоял над водами Дьюлы, в густой сени деревьев; над ним с одной стороны нависала гора Шоу, а с другой — множество вершин подымалось к небу; почти с самого начала пастырского служения мистера Соулиса осторожные люди стали обходить стороной этот дом, особенно в сумерки; а старики, завсегдатаи деревенской пивной, только покачивали головами при одной мысли о том, чтобы пройти поздним вечером мимо такого дома. Собственно, там было одно особенно страшное место. Дом пастора стоял между рекой и большой дорогой; задняя его стена была обращена к небольшому селению Болвири, в полумиле от него, где была церковь; бедный сад перед домом, огороженный терновником,

занимал все пространство между рекой и дорогой. Дом был двухэтажный, с двумя большими комнатами в каждом этаже. Выход из него открывался не прямо в сад, а на мощеную дорожку, которая тоже выходила не в сад, а с одной стороны на большую дорогу, с другой же упиралась в высокие ветлы и кусты бузины, окаймлявшие реку. Вот этот-то кусок дорожки и пользовался среди юных прихожан Болвири особенно дурной славой. Священник часто прогуливался там в сумерки, время от времени прерывая молитву без слов громкими стонами; а когда его не бывало дома и дверь оказывалась заперта, самые отчаянные из школьников, играя в салки, отваживались пробегать с сильно бьющимся сердцем через это место, ставшее легендарным.

Такая атмосфера страха, окружавшая слугу Божьего, человека с безупречной репутацией и наделенного твердой верой в Господа Бога, обычно вызывала удивление и любопытство среди немногих чужаков, которых случай или дело приводили в эту глухую и отдаленную местность. Но даже среди прихожан многие не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса, а из тех, кто был осведомлен лучше, одни были молчаливы по природе, другие же боялись касаться этой темы. И только время от времени кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стаканчика, рассказывал о том, почему пастор у них и с виду такой странный, и живет отшельником.

Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис только что приехал в Болвири, он был еще совсем молодой человек, полный книжной учености: проповеди он читал хорошо, но, как оно и полагается молодому человеку, в делах религии смыслил еще мало. Которые помоложе из прихожан, те очень увлекались его ученостью и умением говорить, а те, что постарше, люди степенные и серьезные, молились за этого молодого человека: им казалось, что он, так сказать, заблуждается на свой счет и приходу это вовсе не на пользу. Это было давно, еще до «умеренных», задолго до них; да ведь все дурное, как и все хорошее, приходит не сразу, а мало-помалу. Находились и такие люди, которые говорили, что Бог покинул университетских профессоров, а молодежи, чем учиться у них, лучше бы сидеть в торфяной яме, как дельвали деды, когда их преследовали за веру, с Библией под мышкой и с молитвой в сердце. Как бы то ни было,

нечего и сомневаться, что мистер Соулис заучился в этом своем университете: он заботился и беспокоился о многом, но только не о том единственном, о чем нужно было беспокоиться. Книг с собой он привез пропасть, у нас в приходе раньше столько и не видывали, и возчику пришлось порядком с ними побиться; он едва не утопил их в болоте между Черной горой и Килмакерли. Книги были все Божественные, само собой, так они, во всяком случае, назывались; а люди серьезные держались того мнения, что куда их столько: ведь Слово Божие можно завязать в маленький уголок платка. И вот наш пастор сидел над этими книгами дни и ночи — а куда же это годится, — все писал да писал, не иначе; сначала боялись, что он будет сам сочинять проповеди, потом оказалось, что он пишет книжку, а это уж совсем неподходящее дело для такого неопытного молодого человека.

Как бы то ни было, ему полагалось взять себе для хозяйства какую-нибудь приличную, хорошего поведения, пожилую женщину, она бы ему и обеды готовила. Кто-то ему указал на одну старуху по имени Дженет Макклоур. Он никого толком не расспросил и взял ее в служанки. А ведь многие ему не советовали, потому что эта Дженет была у почтенных людей нашего прихода на дурном счету. Когда-то давным-давно у нее был ребенок от одного драгуна, к тому же она уже больше тридцати лет не ходила к исповеди, и деревенские мальчишки не раз слышали, как она бормочет что-то себе под нос в сумерки на вершине горы Киз-Лоан, а ведь и время, и место совсем неподходящие для богобоязненной женщины. Надо, однако, сказать, что сам лорд-помещик первый указал пастору на Дженет, а в те времена наш пастор сделал бы все что хочешь, лишь бы угодить помещику. Когда люди ему стали говорить, будто эта самая Дженет связалась с дьяволом, он ответил, что это, на его взгляд, одно суеверие, а когда ему упомянули про Библию и про Аэндорскую волшебницу, он сказал, что эти дни давно миновали, а дьявол с тех пор укрощен; все это, мол, сущие предрассудки.

Ну ладно. Когда по деревне прошел слух, что Дженет Макклоур будет служанкой в пасторском доме, то народ и на нее и на него сильно осердился. Некоторые наши женщины не придумали ничего лучше, как пойти к ее дому и выложить ей вслух все то, в чем ее обвиняли, и все, что про нее было известно — от солдатского

младенца до двух коров Джона Томсона. Говорить она была не охотница. Когда люди ее не трогали, она им давала волю болтать сколько хотят, а сама молчок — ни «здравствуйте», ни «прощайте», но уж если, бывало, ее заденут за живое, так язык у нее начинал молоть что твоя мельница. Вот и тут Дженет взбеленилась (припомнила все старые сплетни и мало ли еще что), они ей слово, а она им два; в конце концов женщины до нее добрались, стащили с нее платье и поволокли по деревне к реке, посмотреть, ведьма она или нет, потонет или выплывет. Шум поднялся такой, что слышно было под Хэнгин-Шоу; сама Дженет дралась за десятерых, и долго после этого, чуть ли не по сию пору, у многих наших женщин видны следы от ее когтей; и как бы вы думали, кто подоспел к самому разгару драки? Новый наш пастор (должно быть, за грехи Бог его наказал).

— Женщины! — крикнул он (а голос у него был зычный). — Заклинаю вас именем Господа, отпустите ее!

Дженет бросилась к нему, едва живая от страха, и стала его молить, Христа ради, чтоб он ее спас от гибели, а женщины тоже не отставали и рассказали ему все, что знали про Дженет, а может, даже и больше того.

— Женщина, — спросил он у Дженет, — правда ли все это?

— Как Господь меня видит, как Господь меня сотворил, ни слова правды тут нету! И про ребенка тоже, — прибавила она. — Я всегда была порядочной женщиной.

— Хочешь ли ты отречься от дьявола и дел его во имя Божие передо мной, Его недостойным слугою?

Что ж, надо прямо сказать: когда пастор ее спрашивал, она так ухмыльнулась, что всех, кто это видел, бросило в дрожь от страха, и всем было слышно, как зубы у нее застучали друг о дружку; но ничего иного ей делать не оставалось, и Дженет, подняв кверху руку, отреклась от дьявола и от дел его перед всеми.

— А теперь, — сказал мистер Соулис, — идите по домам, все до одной, и будем молить Бога, чтоб Он помиловал нас.

Он подал Дженет руку, хоть из одежды на ней мало что оставалось, кроме рубахи, и повел по деревне к ее собственному дому, будто леди-помещицу; а она визжала и хохотала так, что совестно было слушать.

В ту ночь многие почтенные люди долго молились перед сном, а когда наступило утро, такой страх одолел весь приход Болвири, что детишки попрятались и даже взрослые мужчины не решались выйти за дверь. По улице шла Дженет — она или ее подобие, — никто не мог бы сказать наверное: шея у нее была свернута, голова скривилась набок, словно у висельника, и на лице усмешка, словно у трупа, еще не снятого с виселицы. Мало-помалу люди к этому пригляделись и даже стали спрашивать у нее, что такое с ней случилось, но с этого дня она уже не могла говорить, как подобает христианке, а только пускала слюни да стучала зубами, словно ножницами; и начиная с этого дня ни разу ее уста не произнесли имени Божьего. Когда она хотела его выговорить, ничего у нее не выходило: видно, ей было невозможно назвать имя Божье. Кто знал, в чем тут дело, помалкивал, но уж больше никто не называл эту тварь именем Дженет Макклоур, ибо прежняя Дженет, как все думали, давно была в аду крошечном. Но ведь пастору не прикажешь и рот ему не заткнешь, а он только и твердил в своих проповедях, что о жестокости людской, которая будто бы довела Дженет до паралича, бранил мальчишек, которые ее дразнили и приставали к ней, и в тот же самый вечер взял ее к себе, и стали они жить вдвоем в пасторском доме под горой Хэнгин-Шоу.

Ну ладно, прошло после этого довольно много времени, и люди праздномыслящие начали было смотреть на это сквозь пальцы и стали даже забывать о том черном деле. О священнике все были теперь самого хорошего мнения: по вечерам он долго сидел за своим писанием. Люди видели, что свеча у него в доме на берегу Дьюлы горит и за полночь, и сам он как будто был доволен собой и держался так же, как и прежде, хотя всякому было видно, что он теперь стал совсем не тот. А что касается Дженет, так она свободно расхаживала всюду, и если она и раньше говорила мало, то теперь и подавно; правда, она никого не трогала, только смотреть на нее было страшно, и все у нас в Болвири удивлялись, как это ей доверили пасторский дом.

К концу июля настала такая погода, какой отродясь не видывали в наших местах: стояла жара — жестокая, гнетущая жара. Стада обессилели и не могли взобраться по склону Черной горы, дети не могли играть и скоро уставали, а к тому же порывы горячего ветра шумели в листве, и временами налетал дождь, но не освежал

нисколько. Каждый день мы думали, что к утру, должно быть, соберется гроза, но наступило одно утро и другое утро, а погода была все та же, ни на что не похожая, тяжкая для людей и животных. Из нас никто так не страдал от жары, как мистер Соулис: он не мог ни спать, ни есть — так он говорил церковному совету, — и если он не писал свою книжку, то бродил по окрестностям словно одержимый, и это в такое время, когда все были рады сидеть дома, в прохладе.

Поблизости от Хэнгин-Шоу, там, где поднимается Черная гора, есть у нас одно огороженное место с этакой чугунной решеткой: в старые времена там как будто было кладбище прихода Болвири, основанное папистами еще до того, как свет Господень озарил наше королевство. Сад был большой и, во всяком случае, подходящий для мистера Соулиса: в нем он, бывало, сидел и обдумывал свои проповеди, да и вправду там всегда было пустынно и тихо. Вот сидит он однажды на обрыве Черной горы и видит сначала двух, потом четырех, а там и семерых воронов, они все летают да летают вокруг старого кладбища. Летали они низко и тяжело и на лету каркали: мистер Соулис понял, что они чего-то испугались и слетели с деревьев. Пастор наш был неробкого десятка, взял да и пошел прямо туда, и как бы вы думали, что он увидел? Внутри ограды, на могиле, сидел кто-то — то ли человек, то ли одна видимость человека. Высокого роста, черный как ад, и глаза какие-то очень странные^[61]. Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных людях; но в этом черном человеке было что-то такое, от чего и пастора бросило в дрожь. Как ни жарко было, его проняло холодом до мозга костей, но он все-таки заговорил с ним и спросил:

— Друг мой, вы как будто нездешний?

Черный человек ничего ему не ответил, а вскочил на ноги и, хромая, отбежал к дальней стене кладбища; однако он все оглядывался на пастора, а тот стоял и плядел ему вслед до тех пор, пока черный человек, перебравшись через стену кладбища, не побежал к березовой роще. Мистер Соулис, сам не зная для чего, побежал за ним; но он уже устал от ходьбы, да и погода была жаркая, нездоровая, и сколько он ни старался, а все не мог подобраться поближе к черному человеку; тот только мелькнул раза два среди берез и наконец спустился с горы вниз. А внизу священник увидел его еще раз: хромая и ковыляя, он перешел через реку и направился к пасторскому домику.

Мистеру Соулису не очень-то понравилось, что это страшилище так вольно ведет себя в пасторских владениях; он зашагал быстрее, тоже перебрался через поток и помчался вверх по садовой дорожке, но дьявола, или черного человека, уже нигде не было видно. Пастор вышел на большую дорогу, осмотрелся, но и там никого не было; обошел весь сад кругом — нет нигде черного человека! Прошел он весь сад до конца и не без опасения, что было вполне естественно, приподнял дверную щеколду и вошел к себе в дом — и тут как тут перед ним встала Дженет Макклоур со своей кривой шеей, как будто не слишком довольная тем, что пастор вернулся домой. А его самого, как только он увидел Дженет, вновь пронизал могильный холод.

— Дженет, — спросил пастор, — не видели вы черного человека?

— Черного человека? — отозвалась она. — Упаси боже! Да что вы, пастор! Сколько не ищи, а у нас в Болвири не сыщешь черного человека.

Но она это говорила не как все люди, а сами можете себе представить как: словно лошадь, которая грызет удила.

— Ну что ж, Дженет, — сказал пастор, — если здесь не было черного человека, значит, я говорил с врагом рода человеческого.

И сел, а сам весь дрожит, словно в лихорадке, и зубы у него застучали.

— Пустяки! Как только вам не совестно, пастор? — сказала Дженет и дала ему плоточек бренди, которое у нее всегда водилось.

После этого мистер Соулис сейчас же ушел к себе в кабинет, где у него было очень много книг. Комната была длинная, темная, зимой в ней было холодно как в могиле, и даже в разгар лета сыро, оттого что пасторский дом стоял у самой реки. Вот он сел и стал думать обо всем, что случилось в Болвири за то время, что он здесь живет; вспомнился ему родной дом и те дни, когда он был еще мальчишкой и бегал по лесам и лугам, а этот черный человек все не выходил у него из головы, словно припев какой-то песни. И чем больше он думал, тем больше ему думалось про черного человека. Он попробовал молиться, да слова никак не шли у него с языка; говорят, пробовал он и писать свою книгу, но и это ему не удалось. Временами ему казалось, что черный человек стоит рядом, и тогда он весь покрывался потом, холодным, как колодезная вода, а временами он приходил в чувство и помнил обо всем этом не больше, чем новорожденный младенец.

Наконец пастор подошел к окну и долго стоял перед ним, глядя на воды Дьюлы. Деревья там растут очень густо, а вода возле пасторского домика глубокая и черная; смотрит он и видит, что Дженет полощет белье на берегу, подоткнув юбку. Она стояла спиной к пастору, и он даже не очень видел, что перед ним. Но вот она обернулась, и он увидел ее лицо. Мистера Соулиса опять пробрала та же холодная дрожь, что пробирала его дважды за этот день, и ему вспомнилось, как люди болтали, будто Дженет давным-давно умерла и сам дьявол вселился в ее холодное как лед тело. Пастор отступил немного назад и начал ее пристально разглядывать. Она топтала ногами белье и что-то про себя напевала, и — Боже ты мой милостливый, спаси нас! — какое страшное было у нее лицо! Временами она начинала петь громче, но ни один человек, рожденный женщиной, не мог бы понять ни единого слова из ее песни; а иногда начинала поглядывать искоса куда-то вниз, хоть смотреть там было не на что. Омерзение пронизало пастора до самых костей... И это было ему предостережением свыше! Но мистер Соулис все-таки винил одного только себя: как можно думать так дурно о несчастной, свихнувшейся женщине, у которой никого не было, кроме него. Он помолился за нее и за себя, выпил холодной воды — еда ему была противна, — и лег на голые доски своей кровати; наступили уже сумерки.

Эта ночь была такая, какой не запомнят в приходе Болвири: ночь на семнадцатое августа одна тысяча семьсот двенадцатого года. Днем все стояла жара, как мы уже говорили, но в эту ночь было особенно жарко и душно: солнце село в зловещие тучи, и сразу стало темно как в яме; ни звездочки, ни ветерка; в темноте не видно было собственной ладони перед лицом, и даже старые люди сбрасывали с себя простыни и лежали на своих постелях, задыхаясь от жары. Со всем тем, что было у пастора на душе, немудрено, что ему не спалось. Он то лежал неподвижно, то метался на кровати; чистая, прохладная постель словно прожигала его насквозь; он то засыпал, то просыпался; то он слышал бой церковных часов, то вой собаки на болоте, словно перед чьей-то смертью; иной раз ему казалось, что по комнате бродят призраки, а может, он видел и чертей. Уж не заболел ли он, так ему подумалось; да он и вправду был болен, но не болезнь его пугала.

Потом в голове у него немного прояснилось, он уселся в одной рубашке на краю постели и снова задумался о черном человеке и о

Дженет. Он не мог бы сказать отчего, может, оттого, что ноги у него озябли, но ему пришло в голову, что между этими двумя что-то есть общее и что либо один из них, либо они оба нечистые духи. И как раз в эту минуту в комнате Дженет, которая была рядом, послышался топот и шум, словно там кто-то боролся, потом раздался громкий стук, потом ветер засвистел вокруг всех четырех стен дома, и снова стало тихо как в могиле.

Мистер Соулис не боялся никого: ни человека, ни дьявола. Он достал огниво, зажег свечу и сделал три шага к двери Дженет. Дверь была заложена щеколдой; он приподнял ее и, распахнув дверь настежь, бесстрашно заглянул в комнату.

Комната у Дженет была большая, такая же большая, как у самого пастора, и обставлена тяжелыми, громоздкими вещами, потому что иной мебели у пастора не водилось. Там стояла кровать о четырех столбах со старинным пологом, стоял еще дубовый шкаф, битком набитый Божественными книгами — их поставили здесь, чтоб было посвободнее у пастора в комнате, — да кое-какие вещички Дженет валялись, разбросанные по полу. А самой Дженет нигде не было видно; не было видно и никаких следов борьбы. Пастор вошел (и очень немногие последовали бы за ним), огляделся по сторонам, прислушался. Но ничего не было слышно ни в пасторском доме, ни во всем приходе Болвири, и видно тоже ничего не было, только тени металась вокруг свечи. Вдруг сердце пастора сильно забилося и сразу же замерло, а по волосам словно пробежал холодный ветер; и такую страсть увидели глаза мистера Соулиса! Дженет висела на гвозде рядом со старым дубовым шкафом, голова у нее свалилась на плечо, глаза выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, и пятки торчали ровно в двух футах над полом.

«Господи, помилуй нас! — подумал мистер Соулис. — Бедная Дженет умерла».

Он подошел ближе к трупу — и сердце всю заколотилось у него в груди: каким уж это образом, человеку даже и судить не подобает, но только Дженет висела на одном гвоздике, на одной тоненькой шерстинке, какой штопают чулки.

Страшно это — очутиться среди ночи одному против таких козней дьявольских, но мистера Соулиса укрепляла вера в Господа. Он повернулся и вышел из комнаты, запер за собой дверь, спустился вниз

по лестнице, ступая со ступеньки на ступеньку тяжелыми, словно свинец, ногами, и поставил свечу на стол у подножия лестницы. Он не мог ни молиться, ни думать, только весь обливался холодным потом и не слышал ровно ничего, кроме «стук-стук-стук» своего собственного сердца. Так он простоял час, а может, и два — он потом не помнил, — как вдруг услышал смех, какую-то страшную возню и шум наверху; кто-то ходил взад и вперед по той комнате, где висел труп Дженет, а дверь в нее была открыта, хотя пастор помнил хорошо, что запер ее; вслед за этим раздались шаги на площадке лестницы, и ему показалось, будто мертвая Дженет перегнулась через перила и смотрит вниз, на него.

Он опять взял свечу (потому что в доме свет больше ему не был нужен) и тихо, как только мог, выбрался из дома на дорожку, в самый дальний ее конец. Было темно как в аду; пламя свечи, когда он поставил ее на землю, горело ровно, как в комнате, не колеблясь; ничто нигде не шевелилось, только воды Дьюлы шипели и плескались о берег, а те нечестивые шаги в доме звучали все отчетливее, доносясь уже с лестницы. Пастор очень хорошо знал эту походку: это была походка Дженет, — и от ее шагов, которые все близились, холод пробрал его еще глубже, до самых кишок. Поручив свою душу ее Творцу и Хранителю, он стал молиться. «О Господи, — взывал он, — дай мне силы на эту ночь, дай мне силы бороться со злом!»

Теперь шаги уже направлялись по коридору к двери; пастор слышал, как рука шуршала, скользя по стене: эта нездешняя гостья словно нащупывала себе дорогу.

Ветлы закачались и зашумели, сталкиваясь ветвями, над холмами пронесся долгий вздох, пламя свечи заметалось: перед ним стоял труп Окаянной Дженет, в ее всегдашнем домотканом платье, в черном платке, все с той же ухмылкой на лице, и голова все так же на плечо; совсем как живая — но только мистер Соулис знал, что она мертвая, — Дженет стояла на пороге пасторского дома.

Удивительно, до чего крепко сидит душа человеческая в его смертном теле! Священник видел все это, и сердце у него не разорвалось.

Дженет недолго стояла на пороге дома, она снова двинулась вперед и медленно пошла к мистеру Соулису, туда, к ветлам, под которыми он стоял. Вся жизнь его тела, вся сила его духа теперь

светились и горели в его глазах. Она как будто хотела заговорить, но слов у нее не нашлось, и она сделала ему знак левой рукой. Дохнул ветер, словно кошка фыркнула, задул свечу, ветлы застонали человеческим голосом, и мистер Соулис понял, что останется он жив или умрет, а этому должно положить конец.

— Ведьма, колдунья, дьяволица! — воскликнул он. — Заклинаю тебя властью Бога, уходи, если ты мертва, в могилу, если ты проклята Богом, — в ад!

И в эту самую минуту Божья десница поразила с небес нечестивый призрак: дряхлое, мертвое, оскверненное тело ведьмы, надолго разлученное с могилкой и обитаемое дьяволом, вспыхнуло серным огнем и тут же распалось во прах; грянул гром, раскат за раскатом, потом хлынул ливень, и мистер Соулис, кое-как пробравшись сквозь живую изгородь, опрометью бросился бежать в деревню.

В то же утро, когда пробило шесть часов, Джон Кристи видел черного человека около Макл-Керна; но еще не было и восьми, когда его видели около дома менялы в Нокдоу; а немногим позже Сэнди Маклеллан видел, как черный человек спускался по склону с Килмакерли. Тут нечего и сомневаться: это он жил так долго в теле Дженет, но в конце концов ему пришлось все-таки уйти; и с тех пор дьявол больше не появлялся у нас в приходе Болвири.

А для священника это было тяжким испытанием: он долго лежал больной и все бредил; но с того самого часа он сделался таким, каким вы сейчас его знаете.

Эдвард Фредерик Бенсон

(1867–1940)

Гейвонов канун

Пер. с англ. В. Полищук

Деревушка Гейвон, что в графстве Сазерленд, отмечена лишь на самой подробной военной карте, да и то удивительно, что хоть какая-то карта или атлас зафиксировали существование столь убогого поселения — в сущности, всего-навсего кучки лачуг, теснящихся на голом, неприятном мысу между болотистой равниной и морем, — поселения, до которого нет дела никому, кроме его обитателей. А чужакам куда интереснее река Гейвон (на правом берегу которой и толпится с полдюжины жалких, открытых всем ветрам хибарок), ибо в ней в изобилии водится лосось, в устье нет рыболовных сетей, и на всем ее протяжении до самого озера Лох-Гейвон, находящегося шестью милями вверх по течению, кофейно-темная вода образует одну запруду за другой; если река спокойна, а рыболов терпелив, берега этих запруд почти наверняка обещают богатейший улов. Во всяком случае, в первой половине сентября, когда я рыбачил на этих восхитительных берегах, мне ежедневно сопутствовала удача; и до середины месяца не проходило и дня, чтобы хоть один обитатель дома, где я поселился, не вылавливал хотя бы одну рыбу из Пиктовой заводи. Однако после пятнадцатого числа никто уже не отваживался там рыбачить, а почему — о том будет поведано ниже.

В этом месте речная стремнина, до этого мчавшаяся с добрую сотню ярдов, внезапно огибает скалу и яростно обрушивается в самую заводь. Заводь глубока, особенно на восточном конце, где часть потока стремительной темной струей бежит вспять, к ее началу, и образует водоворот. Рыбачить можно лишь у западной оконечности, поскольку на восточном краю, над упомянутым водоворотом, футов на шестьдесят в высоту вздымается из речных вод сплошная стена черного базальта, возведенная, несомненно, силами природы в результате сдвига геологических пластов. С обеих сторон скала практически отвесна, по верху вся зазубрена и так поразительно

тонка, что футах в двадцати от вершины трещина в камне образует, можно сказать, подобие узенького стрельчатого окна, сквозь которое сочится дневной свет. А поскольку не находится смельчаков, готовых закинуть удочку, взобравшись на зазубренный, острый как бритва, гребень этой причудливой скалы, то, повторяю, рыбачить приходится лишь на восточном берегу заводи. Однако, если размахнуться как следует, можно забросить удочку и на противоположный ее край.

Именно на западном берегу и находятся остатки того строения, которому заводь обязана своим именем, — развалины крепости пиктов, некогда возведенной из грубых, почти не обтесанных валунов, лишь кое-где скрепленных известковым раствором, и, невзирая на древность постройки, прекрасно сохранившихся. Крепость круглая, около двадцати ярдов в поперечнике. К главным воротам ведет лестница, сложенная из крупных каменных плит, со ступенями по меньшей мере фут высотой, а на противоположной стороне, обращенной к реке, имеется еще один выход, через который очень круто сбегает петляющая тропинка, требующая от путника энергии и осторожности и достигающая начала заводи у самого обрыва. Сохранилась в целости и даже не утратила крыши караульная над воротами, вырубленная в цельной скале: внутри ее можно различить остатки стен, деливших помещение на три каморки, а посередине — очень глубокую дыру, вероятно колодец. Наконец, сразу за выходом к реке, встречаешь небольшое искусственное возвышение футов двадцать шириной, как будто выстроенное в качестве фундамента для некоего святилища. На фундаменте там и сям еще виднеются каменные плиты и глыбы.

В шести милях к юго-западу от Гейвона лежит Брора, ближайший к деревушке городок с почтовым отделением, и дорога из Броры в Гейвон ведет через равнину — к водопаду, находящемуся непосредственно над Пиктовой заводью, которую можно пересечь по валунам, не замочив ног, если вода в реке стоит низко, однако при этом придется делать необычайно широкие шаги. Так можно кратчайшим путем добраться до крутой тропинки на северной оконечности скалы и, следовательно, до деревни. Однако подобное предприятие требует уверенности и ловкости, и приступ дурноты — еще благоприятный исход. Это самый короткий путь из Броры в Гейвон; иначе приходится давать изрядный крюк по болотистой

равнине, мимо ворот усадьбы Гейвон-лодж, где я как раз и остановился. По каким-то труднообъяснимым причинам сама заводь и крепость пиктов пользуются у местных жителей крайне дурной славой, и я несколько раз убеждался, что мой слуга, возвращаясь с рыбалки, предпочитает, несмотря на тяжесть улова, обогнуть заводь, а не идти напрямик через крепость. В первый раз, когда Сэнди, рослый молодой викинг с соломенной бородой, направился обходным путем, он объяснил свой поступок тем, что почва вокруг крепости якобы слишком уж топкая, хотя он был человек богобоязненный и не мог не понимать, что лжет мне. В другой раз Сэнди был откровеннее и заявил, что Пиктова заводь-де после заката — место нехорошее. Сейчас, после всего случившегося, я готов согласиться с ним, хотя, когда он лгал мне насчет заводи, он, полагаю, делал это потому, что, будучи человеком богобоязненным, опасался также и нечистой силы.

Итак, вечером четырнадцатого сентября мы с моим хозяином Хью Грэмом возвращались из леса за Гейвон-лодж. День выдался не осеннему теплый, и над холмами повисли кучерявые, пушистые облака. Сэнди, мой подручный, могучий шестифутовый молодец, о котором я уже упоминал, следовал за нами, ведя под уздцы пони, и я от нечего делать рассказал Хью о том, что парень почему-то старается обходить стороной Пиктову заводь после заката. Хью выслушал меня, слегка нахмурившись.

— Занятно, — произнес он. — Я знаю, что среди местных жителей бытуют какие-то туманные суеверия насчет заводи и крепости, однако еще в прошлом году тот же Сэнди определенно посмеивался над этими толками. Помню, я тогда еще спросил его, что такого страшного в этом месте, и Сэнди ответил — ему, мол, нет дела до пустой болтовни. А в этом году, смотрите-ка, и он поверил, избегает бывать там.

— При мне несколько раз избегал.

Некоторое время Хью молча попыхивал трубкой, бесшумно шагая по пахучему темному вереску.

— Бедолага, — сказал он, — даже и не знаю, как с ним быть. Похоже, толку от него все меньше.

— Пьет? — поинтересовался я.

— Да, попивает, но не это главное. До выпивки его довела беда, и она же, боюсь, доведет до кое-чего похуже.

— Хуже выпивки разве что нечистая сила, — заметил я.

— Совершенно верно. Туда-то его и тянет. Он к ней частенько хаживает.

— Помилуйте, о чем это вы? — не понял я.

— Что ж, это довольно любопытно, — начал Хью. — Как вам известно, я на досуге интересуюсь местным фольклором и суевериями и, сдается мне, наткнулся на одну престранную историю. Погодите-ка минутку.

Мы остановились в сгущавшихся сумерках, поджидая наших пони, с трудом одолевавших подъем в гору, и Сэнди, который как ни в чем не бывало размашисто и пружинисто шагал за ними по косогору — точно долгая прогулка не только не утомила его к вечеру, но, напротив, придала бодрости и пробудила дремавшую в нем силу.

— Ну как, вечером опять навестишь матушку Макферсон? — поинтересовался у него Хью.

— Ваша правда, сударь, пойду нынче проведаю старушку. Она ведь одна-одинешенька.

— Какой ты добрый малый, Сэнди, — сказал Хью, и мы двинулись дальше.

— Так о чем вы? — спросил я, когда пони снова отстали.

— Итак, поговаривают, что в здешних краях водится нечистая сила — будто бы ведьма. Буду с вами откровенен, меня это весьма интересует. Положим, попросите меня ответить под присягой, верю ли я в колдуний и ведьм, я скажу «нет». Но спросите меня под присягой, не кажется ли мне, будто я верю в ведьм, и я, думается, отвечу «да». А пятнадцатое число нынешнего месяца — Гейвонов канун.

— Силы небесные, кто же такой этот Гейвон? — удивился я. — И что с ним за беда?

— Как вам сказать... Полагаю, Гейвон — это не святой, а некий человек, чье имя носит наш край. А беда случилась с Сэнди. История эта довольно длинная, однако нам еще идти не меньше мили, и, если вам интересно, я расскажу ее.

По дороге я и выслушал эту историю. Некогда Сэнди был помолвлен с девицей из Гейвона, которая состояла прислугой в Инвернесе. Как-то раз в марте месяце, никому не сказавшись, парень отправился проведать ее и внезапно столкнулся с ней лицом к лицу на

той самой улице, где стоял дом, в котором она служила. С ней был какой-то мужчина, изъяснявшийся не по-местному обрывисто, на английский манер, и державшийся как джентльмен. Он учтиво снял перед Сэнди шляпу, был обрадован встречей и никак не объяснил, почему прогуливается с Катриной. Поскольку в Инвернесе нравы царили городские, подобное считалось в порядке вещей и не было ничего зазорного в том, что девушка прошла с мужчиной. На некоторое время Сэнди успокоил подобный ответ, тем более что Катрина тоже непритворно обрадовалась встрече. Но по возвращении в Гейвон в его душу заронились семена подозрений и пошли в рост, что твои грибы, и месяц спустя парень с превеликими мучениями, множеством клякс и помарок написал своей милой письмо, требуя, чтобы она вернулась из Инвернесса и незамедлительно вышла за него замуж. Позже стало известно, что из Инвернесса девушка действительно уехала; нашлись также свидетели, которые видели, как Катрина сошла с поезда в Броре. Оттуда она, поручив свою поклажу носильщику, пустилась пешком по равнине — тропой, что вела в Гейвон как раз по-над Пиктовой крепостью, через водопад. Однако в Гейвоне девушка так и не объявилась. И еще поговаривают, что, невзирая на жаркий день, шла она, кутаясь в широкий длинный плащ.

К этой минуте впереди как раз показались огни Гейвон-лодж, смутно мерцавшие сквозь пелену густого тумана, который зловеще растекался над холмами.

— Остаток истории я доскажу вам позже, — пообещал Грэм. — В нем столько же чудес, сколько в начале — сухих фактов.

По моему сугубому убеждению, желание лечь спать имеет свойство вызреть так же медленно, как желание подняться с постели; и потому, несмотря на оставшийся позади долгий день, я обрадовался, когда Хью возвратился из манящего полумрака спальни, скудно освещенной свечами (прочие мужчины в это время позевывали в курительной), — возвратился с той живостью движений, которая неоспоримо свидетельствовала, что упомянутое желание еще не одолело его в полной мере.

— Вы обещали дорассказать про Сэнди.

— Да, я как раз об этом подумал, — откликнулся Хью, усаживаясь в кресло. — Значит, видели, как Катрина Гордон покинула Брору, но в Гейвон она так и не явилась. Это факт. А теперь остаток истории. Не

припоминаете ли вы женщину, которая в неизменном одиночестве бродит у озера? Сдается мне, я вам как-то ее показывал.

— Припоминаю, — кивнул я. — Но это точно не Катрина, совсем наоборот — дряхлая старуха, даже смотреть страшно. Усатая, бородатая, да еще и бормочет себе под нос. И глаз от земли никогда не подымет.

— Верно, она самая и есть. Это не Катрина. Та была красавица, смотришь — душа радуется, ну просто майская роза! А старуха — это пресловутая матушка Макферсон, про которую судачат, будто она ведьма. Так вот, наш Сэнди каждый вечер ходит к этой карге, а идти до нее милю с лишним. Сэнди вы видели: сущий северный Адонис двадцати пяти лет. А теперь скажите мне, есть этому хоть какое-то разумное объяснение? Зачем ему ежедневно проделывать такой путь — чтобы навестить старую каргу, живущую на отшибе?

— Непохоже на то, — произнес я.

— Вот именно что непохоже! Совсем непохоже! — Хью поднялся с кресла и подошел к шкапу у окна, полному старинных книг. Извлек с верхней полки томик в сафьяновом переплете. — Это «Суеверия Сазерленда», — сказал он, вручая мне книгу. — Откройте страницу сто двадцать восемь и прочитайте, что там написано.

— «Пятнадцатое сентября, — начал читать я, — принято считать днем, в который, как говорят, нечистый справляет свой праздник. Существует поверье, будто в ночь на пятнадцатое число силы тьмы получали особое могущество и, если человек отваживался ступить за порог своего жилища и взывал к ним, превозмогали даже защиту Провидения Господня. Особую власть в эту ночь получали ведьмы; говорят, любая из них могла присушить к себе любого молодого человека, явившегося к ней за приворотным зельем или иным средством такого рода, и присушить так крепко, что, будь он помолвлен или женат, с той поры раз в год, а именно пятнадцатого сентября, он на всю ночь будет попадать во власть ведьмы. Однако, если молодой человек по милости Господней назовет имя Божье, чары ведьмы утратят свою силу. Бытует также убеждение, что в эту самую ночь ведьмы получают особую власть над умершими и способны посредством ужасных заклинаний и неопишимо богомерзких чар вызывать к жизни тех, кто покончил с собой».

— Теперь следующая страница. Первый абзац сверху можете пропустить, — сказал Хью. — Он не имеет отношения к нашей истории.

Я стал читать далее.

— «Говорят, что в этих краях, поблизости от маленькой деревушки Гейвон, в скале, возвышающейся над рекой на руинах крепости, выстроенной некогда пиктами, есть расщелина или трещина, и, когда ровно в полночь пятнадцатого сентября сквозь нее сияет луна, луч света падает на плоский камень, воздвигнутый у врат крепости и, по бытующему мнению, служивший в древности алтарем для языческих ритуалов. В наши дни суеверия в этих краях еще сильны и гласят, что злые духи и прочая нечистая сила, обретающая особое могущество в Гейвонов канун, откликнутся, ежели их призвать ровно в полночь, стоя на древнем алтаре в лунном свете, и исполнят всякое желание того, кто их вызвал, однако человек этот погубит тем самым свою бессмертную душу». — Я закрыл книгу, поскольку на этом раздел о Гейвоновом кануне заканчивался. — И что же? — спросил я у Хью Грэма.

— При благоприятном стечении обстоятельств дважды два равно четыре, — ответил он.

— А четыре означает...

— Следующее. Сэнди, несомненно, ходил за советом к старухе, которую считают местной ведьмой и которой ни один фермер не отваживается попадаться на глаза, когда наступает ночь. Сэнди, бедолага, дурья башка, жаждет любой ценой узнать, что же случилось с Катриной. Думаю, более чем вероятно, что завтра в полночь к Пиктовой заводи кое-кто придет. Но это не все. Вчера я рыбачил как раз напротив крепостных ворот и заметил нечто любопытное: кто-то притащил под самую расщелину огромную каменную плиту — судя по примятой траве, волок аж от подножия холма.

— Вы хотите сказать, что старая ведьма собирается вызвать Катрину из мертвых, если та погибла?

— Именно, и намерен собственными глазами увидеть, как это произойдет. Пойдемте со мной, — предложил Хью.

На следующий день мы с Хью отправились рыбачить вниз по реке, взяв с собой не Сэнди, а другого местного парня. Выудив две-три рыбины, мы перекусили на склоне холма у Пиктовой крепости. Как и

говорил Хью, на каменной площадке у крепостных ворот, обращенных к реке, была водружена громадная плоская плита, покоившаяся на грубых каменных подпорках, которые, как теперь казалось очевидным, именно для нее и предназначались. Этот каменный алтарь помещался прямо под стрельчатым окном в черной базальтовой скале над заводью, и, если в полночь лунный свет действительно заглянет в эту щель, он обязательно упадет на камень. Таким образом, стало понятно, что перед нами сцена, на которой в полночь должно было развернуться колдовское действие.

Как я уже говорил, под самой площадкой начиналась отвесная скала, и вода в заводи благодаря дождливой погоде стояла довольно-таки высоко, так что водопад струился, бурно пенясь и оглушительно плеща. Однако непосредственно под крутым откосом скалы на дальнем краю заводи вода была неподвижна и черна и являла собой тихий, глубокий омут. Семь ступеней, грубо высеченных в камне, вели от импровизированного алтаря вверх к воротам, по обеим сторонам которых, поднимаясь на высоту четырех футов, шли круговые стены крепости. Внутри виднелись остатки стен, некогда разделявших три помещения, и в одном из них, ближайшем к воротам, мы с Хью и порешили спрятаться. Если Сэнди и ведьма и впрямь сойдутся нынешней ночью у алтаря, то из этого наблюдательного пункта, скрытые тенью стены, мы сквозь проем ворот будем слышать каждый звук и видеть каждое движение, что бы ни творилось возле святилища или внизу, у заводи. Наконец, и до Гейвон-лодж было недалеко — всего десять минут ходьбы, если двигаться по прямой, — а значит, пустившись в путь без четверти двенадцать, мы сумеем войти в крепость со стороны, противоположной реке, ничем не выдав своего присутствия тем, кто будет ждать, когда полночный лунный луч упадет сквозь стрельчатое окно в скале на каменный алтарь у ворот над заводью.

Ночь выдалась тихая и безветренная, и когда без четверти двенадцать мы молча вышли из дому, небо на востоке было ясным, однако с запада напоззала тяжелая черная туча, которая почти что достигла зенита. По ее краю то и дело пробегали зарницы, а через какое-то время в небе лениво перекатывался глухой отзвук далекого грома. Однако же мне показалось, что надвигается гроза и иного рода,

ибо в воздухе висело напряжение, никак не соразмерное далекой темной туче и порожденное другими причинами.

На востоке, повторяю, небо все еще оставалось на диво ясным; траурная оторочка грозового облака была как будто расшита звездами, и по сизому, словно голубиное крыло, цвету неба на востоке становилось понятно: вот-вот взойдет луна. И хотя в глубине души я не верил, что наша экспедиция принесет какие-либо плоды помимо утомленных зевков, нервы мои были натянуты до крайности, что, впрочем, я объяснял себе наэлектризованной в преддверии грозы атмосферой.

Чтобы ступать как можно тише, мы обулись в башмаки на резиновой подошве, так что по дороге к заводу не слышали ничего, кроме далеких раскатов грома да собственных приглушенных шагов. Бесшумно и осторожно мы прокрались по ступеням к воротам крепости, а затем, прижимаясь к стене, обошли ее изнутри и выбрались ко вторым воротам, выходящим на реку, после чего выплянули наружу. В первое мгновение я ничего не разглядел — так густа и черна была тень, отбрасываемая скалой на темную воду омута, — однако постепенно глаза мои привыкли к темноте и я различил камни и поблескивание пены, окаймлявшей заводь. Если утром вода в реке стояла высоко, то теперь она поднялась еще выше и бурлила еще сильнее, и шум этот — грозный рев бегущей воды — тревожил слух. Только под самым основанием скалы вода была по-прежнему спокойна — чернота и ни единого клочка пены. Гладь воды, скрывавшая омут, оставалась неподвижной. И вдруг я увидел какое-то смутное движение во мраке. Там, над серой пеной, показалась сначала голова, затем согбенные плечи, а потом и вся фигура старухи, ковылявшей по берегу в сторону крепости. За ней шел мужчина. Оба приблизились к недавно возведенному алтарю и стали бок о бок; их силуэты четко вырисовывались на фоне белой пены водопада. Хью тоже увидел их и тронул меня за руку. Да, покамест он был прав: могучее телосложение Сэнди невозможно было спутать ни с чьим другим.

Внезапно сквозь мрак пролился тонкий луч света; у нас на глазах он ширился и рос, покуда не превратился в лунную полосу, падавшую на берег сверху, из щели в скале. Луч медленно, почти неслышно перемещался влево и наконец очутился между двумя темными

фигурами, озарив странным голубоватым сиянием камень, на котором они стояли. И тогда сквозь шум речного потока вдруг прорезался пронзительный, страшный голос ведьмы и руки карги взметнулись ввысь, будто призывая какую-то неведомую силу.

Поначалу мне не удавалось разобрать слова, но, поскольку ведьма повторяла их вновь и вновь, смысл ее заклинаний постепенно дошел до моего сознания, и, оцепенев от ужаса, точно в кошмарном сне, я понял, что внимаю самым отвратительным и неопишным кощунствам, какие только можно измыслить. Я не решусь повторить ни одного из них; довольно и того, что ведьма призывала сатану в самых благоговейных и молитвенных выражениях и обрушивала самые ужасные проклятия и хулу на Того, перед Кем нам должно преклоняться. Затем пронзительные крики прекратились так же неожиданно, как и начались, и на мгновение вновь воцарилось молчание, нарушаемое лишь ревом бегущей воды.

И вот ведьма вновь подала голос, и голос этот вновь заставил меня застыть от ужаса.

— Катрина Гордон! — воззвала ведьма. — Заклинаю тебя именем моего и твоего повелителя, восстань из могилы и явись! Восстань и явись!

И снова молчание; я услышал, как у Хью вырвался короткий всхлип или вздох, а сам он дрожащей рукой указал мне на черную водную гладь под скалой. Я взглянул и увидел то, что мгновением раньше заметил он.

Прямо у подножия скалы под водой возник зыбкий, бледный огонек, который дрожал и трепетал в темных струях. Поначалу он едва мерцал, крошечный и тусклый, но постепенно как будто всплывал из глубин омута и разгорался все ярче, пока не достиг размеров примерно в квадратный ярд.

Тогда воды речные разомкнулись и над поверхностью омута показалась голова — девичья голова с мертвенно-бледным лицом и длинными струящимися волосами. Глаза ее были закрыты, уголки рта опущены, точно она спала, и вспененная вода, словно кружевной воротник, огибала ее шею. Тело утопленницы поднималось все выше и выше, испуская бледный свет, покуда не замерло по пояс в воде — голова была опущена, руки сложены на груди. Утопленница не только поднималась из глубины, но и медленно, плавно двигалась к водопаду.

И тогда молчание нарушил надорванный мужской голос:

— Катрина! Катрина! Именем Господа нашего! Именем Господа!

Сэнди в два прыжка слетел по склону к заводи и бросился в бурлящую воду. Миг — и его руки взметнулись над водой, еще миг — и он исчез. И при первом же звуке имени Божьего нечестивое видение пропало, и в тот же самый миг небо над нами прорезала молния столь ослепительно яркая и сопровождаемая таким оглушительным раскатом грома, что я невольно спрятал лицо в ладони. Внезапно, как если бы в небесах разверзлись шлюзы, на землю обрушился даже не ливень, а сплошная стена воды, принудившая нас съежиться. Нечего было и думать о том, чтобы попытаться спасти Сэнди; нырок в бурлящие воды омута означал неизбежную гибель, и, даже если бы пловцу удалось уцелеть, отыскать юношу в непроглядном ночном мраке было немыслимо. И кроме того, я сомневаюсь, что смог бы заставить себя окунуться в пучину, из которой появился призрак.

Мы с Хью приникли к земле, и я осознал нечто такое, от чего ужас обуял меня с новой силой. Где-то во тьме, совсем рядом с нами, находилась женщина, чей пронзительный голос только что заставил меня покрыться испариной и едва не заморозил кровь в моих жилах. Я не выдержал и повернулся к Хью.

— Бежим! — взмолился я. — Не могу больше тут оставаться, бежим сейчас же! Где *она*?

— А вы разве не видели? — спросил он.

— Нет, а что?

— Молния ударила в камень в нескольких дюймах от нее. Надо... надо пойти и поискать ее.

Дрожа как в лихорадке, я спустился вслед за Хью по склону, ощупывая руками землю и смертельно боясь наткнуться на тело. Набежавшие грозовые тучи заслонили луну, луч, падавший сквозь щель в скале, погас, и мы ничего не видели в кромешной тьме. Спотыкаясь, мы обшарили все вокруг камня, который, треснув, накренился над водой, но так никого и не нашли и в конце концов оставили поиски, уверившись, что старуха от удара молнии свалилась в воду и теперь тоже лежала на дне омута, откуда вызывала покойницу.

Наутро никто не рыбачил в заводи, а из Броры явились люди с неводом. Под самой скалой они выловили два тела, лежавших подле

друг друга: Сэнди и мертвую девушку. Никого иного они не нашли.

Судя по всему, получив письмо Сэнди, Катрина Гордон, уже пребывавшая в тягости, покинула Инвернесс. Можно лишь гадать о том, что случилось с ней далее. Похоже, что она отправилась в Гейвон кратчайшим путем, намереваясь перейти реку по камням над Пиктовой заводью. Поскользнулась ли она, став случайной жертвой жадного омута, или же, страшась будущего, свела счеты с жизнью, кинувшись в воду, в точности сказать невозможно. Так или иначе, Сэнди и Катрина теперь покоятся вместе на мрачном, продуваемом ветрами кладбище в Броре, покорные непостижимому умыслу Господа.

1906

Примечания

1

Нуते-с! (*фр.*)

2

От *ит.* dappertutto — везде.

3

Пузырек, который дал Дапертутто, содержал, без сомнения, настой лавровишни, так называемую синильную кислоту. Даже ничтожная порция этой жидкости (менее одной унции) вызывает описанное действие. «Архив медиц. случаев» Хорна. 1813. Май–дек. С. 510.

4

Рыцарей Зеркал (*исп.*).

5

Пер. С. Сухарева.

6

Пер. С. Сухарева.

7

От *голл.* mijnheer — господин.

8

До свиданья (*фр.*).

9

До востребования (*фр.*).

10

Этот рассказ навеян анекдотом о Стюарте, поведанным в «Истории декоративных искусств» Данлопа — книге в высшей степени увлекательной для обычного читателя и, смеем думать, весьма интересной для художника.

11

Здесь: занемогли (*фр.*).

12

Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

13

Пристройки (*фр.*).

14

Счастливого пути! (*фр.*)

15

Господа (*нем.*).

16

Увы, мчатся! (*лат.*)

17

Девушка (*нем.*).

18

В сабо и гетрах (*фр.*).

19

Кретином (*нем.*).

20

Господи боже! (*нем.*)

21

Господин (*нем.*).

22

Черт! (*ит.*)

23

Орел! (*нем.*)

24

Бродягах (*исп.*).

25

Да (*исп.*).

26

Мула (*исп.*).

27

Ольи (*исп.*).

28

Кто знает (*исп.*).

29

Политик (*исп.*).

30

Покойной (*исп.*).

31

Намек на виселицу, которая, овдовев после очередной казни, ждет следующего преступника.

32

Разбойничьих шаек (*исп.*).

33

С Богом (*исп.*).

34

Гостиница, харчевня (*исп.*).

35

Боже милосердный! (*исп.*).

36

Жених (*исп.*).

37

Доме (*исп.*).

38

Доброй ночи, сеньорита (*исп.*).

39

Ружей (*исп.*).

40

Да покоится в мире (*лат.*).

41

Невозмутимость (*фр.*).

42

Развлечении (*фр.*).

43

Пер. С. Сухарева.

44

Берегись... (*лат.*).

45

И ты не познаешь даров Венеры (*лат.*).

46

Берегись любящей (*лат.*).

47

Что скажешь, ученейший муж? (*лат.*)

48

Fecit — сделал; *consecravit* — посвятил (*лат.*).

49

Возлагайте лилии щедрой рукой (*лат.*).

50

Ты мне за это заплатишь (*исп.*).

51

Родах (*лат.*).

52

То же название носят многие другие места, к примеру, старинный замок и городок в районе Рудные горы, небольшой город в Нижней Каринтии, замок на горе и местечко близ Ганновера. Быть может, этим список не ограничивается.

53

Здесь: помещик в Пруссии. — *Прим. составителя.*

54

Сей достойный господин, не испытывавший нужды в средствах на пропитание, весил на 56-м году жизни 488 фунтов.

55

Обычай «бурных» кавалькад сохраняется в городе по сегодняшний день.

56

Обстоятельствами (*лат.*).

57

То есть «локоть кошки». Это имя носили представители некогда могущественного рода. Нам говорили, что первоначально это было прозвище, данное в качестве комплимента одной бесподобной красавице, принадлежавшей к этой семье и славившейся красотой своих рук.

58

Бледная победительница (*лат.*).

59

Белая горячка (*лат.*).

60

Пер. Б. Пастернака.

61

В Шотландии распространено поверье, будто дьявол показывается в образе черного человека. Так свидетельствуют процессы ведьм, то же есть и в «Мемориалах» Лоу, этом собрании всего необычного и таинственного.